

ВАСИЛИЙ АКСЕНОВ

МОСКОВСКАЯ САГА

СЕРИЯ «БОЛЬШАЯ КНИГА»

Annotation

Страшные годы в истории Советского государства, с начала двадцатых до начала пятидесятих, захватив борьбу с троцкизмом и коллективизацию, лагеря и войну с фашизмом, а также послевоенные репрессии, - достоверно и пронизывающе воплотил Василий Аксенов в трилогии "Московская сага".

Вместе со страной три поколения российских интеллигентов семьи Градовых проходят все круги этого ада сталинской эпохи.

- [Василий Аксенов](#)
 - [Книга 1. Поколение зимы](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Антракт I. Пресса](#)
 - [Антракт II. Полет совы](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая](#)
 - [Глава пятая](#)
 - [Глава шестая](#)
 - [Глава седьмая](#)
 - [Антракт III. Пресса](#)
 - [Антракт IV. Пляска пса](#)
 - [Глава восьмая](#)
 - [Глава девятая](#)
 - [Глава десятая](#)
 - [Глава одиннадцатая](#)
 - [Глава двенадцатая](#)
 - [Глава тринадцатая](#)
 - [Антракт V. Пресса](#)
 - [Глава четырнадцатая](#)
 - [Глава пятнадцатая](#)
 - [Глава шестнадцатая](#)
 - [Глава семнадцатая](#)
 - [Глава восемнадцатая](#)
 - [Глава девятнадцатая](#)
 - [Глава двадцатая](#)

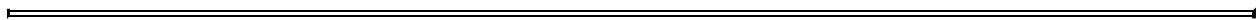
- [Антракт VII. Пресса](#)
- [Антракт VIII. Перескок белка](#)
- [Книга 2. Война и тюрьма](#)
 -
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Антракт I. Пресса](#)
 - [Антракт II. Комнатная магнолия](#)
 - [Глава четвертая](#)
 - [Глава пятая](#)
 - [Глава шестая](#)
 - [Глава седьмая](#)
 - [Антракт III. Пресса](#)
 - [Антракт IV. Голубка-Россет](#)
 - [Глава восьмая](#)
 - [Глава девятая](#)
 - [Глава десятая](#)
 - [Глава одиннадцатая](#)
 - [Антракт V. Пресса](#)
 - [Антракт VI. Конь с плюмажем](#)
 - [Глава двенадцатая](#)
 - [Глава тринадцатая](#)
 - [Глава четырнадцатая](#)
 - [Глава пятнадцатая](#)
 - [Антракт VII. Пресса](#)
 - [Антракт VIII. Бал светляков](#)
 - [Глава шестнадцатая](#)
 - [Глава семнадцатая](#)
 - [Глава восемнадцатая](#)
 - [Глава девятнадцатая](#)
 - [Глава двадцатая](#)
 - [Антракт IX. Пресса](#)
 - [Антракт X. Лейб-гвардии гуси](#)
- [Книга 3. Тюрьма и мир](#)
 -
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)

- [Антракт I. Пресса](#)
- [Антракт II. Ничтрусы – туда!](#)
- [Глава четвертая](#)
- [Глава пятая](#)
- [Глава шестая](#)
- [Антракт III. Пресса](#)
- [Антракт IV. Думы Ганнибала](#)
- [Глава седьмая](#)
- [Глава восьмая](#)
- [Глава девятая](#)
- [Глава десятая](#)
- [Глава одиннадцатая](#)
- [Антракт V. Пресса](#)
- [Антракт VI. Соловьиная ночь](#)
- [Глава двенадцатая](#)
- [Глава тринадцатая](#)
- [Глава четырнадцатая](#)
- [Антракт VII. Пресса](#)
- [Эпилог](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)

- [20](#)
- [21](#)



Василий Аксенов
Московская сага

Книга 1. Поколение зимы

*Лели-лили – снег черемух,
Заслоняющих винтовку.
Чичечача – шашки блеск,
Биээнзай – аль знамен,
Зиээгзой – почерк клятвы.
Бобо-биба – аль околыша,
Мипиопи – блеск очей серых войск.
Чучу биза – блеск божбы.
Мивеаа – небеса.
Мипиопи – блеск очей,
Вээава – зелень толп!
Мимомая – синь гусаров,
Зизо зезя – почерк солнц,
Солнцеоких шашек рожь.
Лели-лили – снег черемух,
Сосесао – зданий горы...*

Велимир Хлебников

Глава первая

Скифские шлемы

Ну, подумать только – транспортная пробка в Москве на восьмом году революции! Вся Никольская улица, что течет от Лубянки до Красной площади через сердце Китай-города, запружена трамваями, повозками и автомобилями. Возле «Славянского базара» с ломовых подвод разгружают садки с живой рыбой. Под аркой Третьяковского проезда ржание лошадей, гудки грузовиков, извозчиий матюгальник. Милиция поспешает со своими пока еще довольно наивными трелями, как бы еще не вполне уверенная в реальности своей сугубо городской, не политической, то есть как бы вполне нормальной, роли. Все вокруг вообще носит характер некоторого любительского спектакля. Злость и та наигранна. Но самое главное в том, что все играют охотно. Закупорка Никольской – на самом деле явление радостное, вроде как стакан горячего молока после сыпного озноба: жизнь возвращается, грезится процветание.

– Подумать только, еще четыре года назад здесь были глад и мор, блуждали кое-где лишь калики перехожие, да безнадежные очереди стояли за выдачей проросшего картофеля, а по Никольской только чекистские «маруси» проезжали, – говорит профессор Устрялов. – Вот вам, мистер Рестон, теория «Смены вех» в практическом осуществлении.

Два господина приблизительно одного возраста (35 – 40 лет) сидят рядом на заднем сиденье застрявшего на Никольской «паккарда». Оба они одеты по-европейски, в добротную комплектную одежду из хороших магазинов, но по каким-то незначительным, хотя вполне уловимым приметам в одном из них нетрудно определить русского, а в другом настоящего иностранца, более того, американца.

Парижский корреспондент чикагской «Tribune» Тоунсенд Рестон в течение всего своего первого путешествия в Красную Россию боролся с приступами раздражения. Собственно говоря, это нельзя было даже назвать приступами: раздражение не оставляло его здесь ни на минуту, просто временами оно было сродни ноющему зубу, в другие же моменты напоминало симптомы пищевого отравления.

Может быть, как раз с пищи все и началось, когда в день приезда советские, так сказать, коллеги – этот невыносимый Кольцов, этот ерничающий Бухарин – потчевали его своими деликатесами. Эта икра... даром что и в Париже сейчас безумствуют с икрой, нашли в ней, видите ли,

какой-то могущественный «афродизиак»... но ведь это же не что иное, как рыбы яйца, медам и месье! Доисторическая рыба, покрытая хрящевидными роготками... а главное все-таки – это ощущение какой-то постоянной театральности, слегка тошнотворной приподнятости, бахвальства... и вместе с этим неуверенность, заглядыванье в глаза, невысказанный вопрос. Европу они, похоже, уже раскроили на будущее, но Америка сбивает их с толку. Рестона здесь тоже что-то сбивает с толку. Прежде он полагал, что знает пружины революций. Его репортажи из Мексики в свое время считались высшим классом журналистики. Он интервьюировал членов революционных хунт во многих странах Латинской Америки. Черт побери, теперь он видит, что «гориллы» по сравнению с этими «вершителями истории» были ему ближе, как и яблочный пирог по сравнению с проклятыми «рыбьими яйцами». Неужели большевики всерьез думают, что ворочают мирами? Все было бы проще, если бы речь шла просто о захвате и удержании власти, о смене правящей элиты, однако...

Готовясь к поездке, Рестон читал переводы речей и статей советских вождей. В конце августа РКП(б) была потрясена трагической историей, связанной с Америкой. Катаясь на лодке по какому-то озеру в штате Мэн, утонули два видных большевика, председатель «Амторга» Исай Хургин и Эфраим Склянский, ближайший помощник Троцкого в течение всех лет Гражданской войны. На похоронах в Москве всесильный «вождь мирового пролетариата» выдавливал из себя слова какого-то странного, едва ли не метафизического недоумения: «...наш товарищ Эфраим Маркович Склянский... пройдя через великие бури Октябрьской революции... погиб в каком-то ничтожном озере...»

Эдакое презрение к озеру, недоумение перед «внеисторической» смертью; нет, они и в самом деле ощущают себя чем-то сродни богам Валгаллы или по крайней мере титанами из мифологии. Черт возьми, мало кто в Америке поймет, что они одержимы своей «классовой борьбой» больше, чем аурой власти... Революция, похоже, это не что иное, как пик декаданса...

Увешанный черными пальто и солдатскими шинелями трамвай тронулся и проехал на десяток ярдов вперед. Шофер наркоминдельского «паккарда», кряхтя, выворачивал руль, чтобы пристроиться в хвост общественному транспорту. Рестон, посасывая погасшую трубку, смотрел по сторонам. В мешковатой толпе иной раз мелькали чрезвычайно красивые женщины почти парижского вида. У входа в импозантное здание аптеки стояли два молодых красных офицера. Стройные и румяные,

перетянутые ремнями, они разговаривали друг с другом, не обращая ни на кого внимания. Их форма отличалась той же декадентской дикостью, что и вся эта революция, вся эта власть: престраннейшие шапки с острыми шишаками и нашитой на лбу красной звездой, длиннейшие шинели с красными полосами-бранденбурами поперек груди, отсутствие погон, но присутствие каких-то загадочных геометрических фигур на рукавах и воротнике – армия хаоса, Гог и Магог...

– Простите, профессор, позвольте задать вам один, как мы в Америке говорим, провокативный вопрос. После восьми лет этой власти, что вы считаете главным достижением революции?

Чтобы подтвердить серьезность вопроса, Рестон извлек свой «монблан» и приготовился записывать ответ на полях своего «бедекера». Профессор Устрялов весьма сангвинически рассмеялся. Он-то как раз души не чаял во всех этих «икорочках» и «стерлядках».

– Милый Рестон, не подумайте, что я над вами смеюсь, но главным достижением революции является то, что Цека стал старше на восемь лет.

По правде сказать, даже этот его сегодняшний спутник с его спотыкающимся английским в сочетании с самоуверенными переливами голоса (откуда у русских взялась эта манера априорного превосходства перед западниками?) раздражал Тоунсенда Рестона. Фигура более чем двусмысленная. Бывший министр в сибирском правительстве белых, эмигрант, осевший в Харбине, лидер движения «Смена вех», он нередкий гость в Красной Москве. Последняя его книга «Под знаком революции» вызвала разговоры в Европе, а уж здесь-то ни одна политическая статья не обходится без упоминания его имени.

Зиновьев называет Устрялова классовым врагом, тем более опасным, что он на словах приемлет Ленина, говорит о благотворительной «трансформации центра», о «спуске на тормозах», о «нормализации» большевистской власти, о надежде на нэповскую буржуазию и на «крепкого мужика»...

Зиновьев иронизирует над Устряловым в типично большевистской манере – «курице просо снится», «как ушей своих не увидите кулакизации, господин Устрялов»... Бухарин называет его «поклонником цезаризма». Любопытно, на что и на кого делается намек в последнем случае?

Рестон в разговоре с Устряловым старался играть дурачка, поверхностного американского газетчика.

– Все возвращается на круги своя, – продолжал Устрялов, – ангел революции тихо отлетает от страны...

Рестон понимал, что он цитирует собственную книгу.

– Революционный жар уже позади... Победит не марксизм, а электротехника... Посмотрите вокруг, сэр, на эти разительные перемены. Еще вчера они требовали немедленного коммунизма, а сейчас расцветает частная собственность. Вчера требовали мировой революции, а сегодня только и ищут концессионных договоров с западной буржуазией. Вчера был воинствующий атеизм, сегодня «компромисс с церковью»; вчера необузданный интернационализм, сегодня – «учет патриотических настроений»; вчера прокламировался беспрекословный антимилитаризм и антиимпериализм, давалась вольная всем народам России, сегодня – «Красная Армия, гордость революции», а по сути дела, собиратель земель российских. Страна обретает свою исконную историческую миссию «Евразии»...

По мере разгрузки подвод у «Славянского базара» движение по Никольской хоть и черепашьям ходом, но восстанавливалось. Проплывали мимо живые сцены и впрямь довольно оптимистической толпы. Октябрьский легкий морозец бодрил уличных торговцев.

Торговка пирогами и кулебяками розовощекостью смахивала на кустодиевскую купчиху. Веселый инвалид на деревянной ноге растягивал меха гармошки. Рядом торговали какими-то чертиками в стеклянных банках. Проезжающему американцу было невдомек, что диковинка называлась «Американский подводный житель».

– Ба, открылась Сытинская книжная лавка! – воскликнул Устрялов, обращаясь к американцу по-русски и как бы к своему, но потом, сообразив, что тому ничего не говорит это название, с улыбкой прикоснулся к твидовому колену. – В области литературы и искусства здесь сейчас полный расцвет, сэр. Открыты кооперативные и частные издательства. Даже газеты, хоть и все остались в руках большевиков, гораздо меньше пользуются трескучей пропагандой и больше дают прямой информации. Словом, болезнь позади, Россия стремительно выздоравливает!

С торцовой стены дома, что здесь, как и в Германии, именуется брандмауэром, смотрела афиша кинофильма – некто в цилиндре, смахивающий на Дугласа Фербенкса, завитая блондинка, которая вполне могла оказаться Мэри Пикфорд. Там же какие-то жалкие рисунки в кубическом стиле, большие буквы кириллицы. Если бы Рестон мог читать по-русски, он бы понял, что рядом с афишей голливудского боевика наклеен призыв Санпросвета «Вошь и социализм несовместимы!».

– Ну, что же люди партии, армии, тайной полиции? – спросил он Устрялова (он произносил «Юстрелоу»). – Вам кажется, что и они проходят такую же трансформацию?

С подвижностью, свойственной мягким славянским чертам, лицо профессора переменило выражение экзальтации на серьезную, даже отчасти тяжеловатую задумчивость.

– Вы затронули самую важную тему, Рестон. Видите ли, еще вчера я называл большевиков «железными чудищами с чугунными сердцами, машинными душами»... Хм, эта металлургия не так уж неуместна, если вспомнить некоторые партийные клички – Молотов, Сталин...

– Сталин, кажется, один из... – перебил журналист.

– Генеральный секретарь Политбюро, – пояснил Устрялов. – Основные вожди, кажется, не очень-то ему доверяют, но этот грузин, похоже, представляет крепнущие умеренные силы. – Он продолжал: – Только такие чудища с их страшными рефлекторами конденсированных энергий могли сокрушить российскую твердыню, в которой скопилось перед революцией столько порока. Однако сейчас... Видите ли, тут вступает в силу эрос власти, который у этих людей очень сильно развит. Машинные теории вытесняются человеческой плотью.

– Интересно, – пробормотал Рестон, непрерывно строча «монбланом» на полях «бедекера». Устрялов усмехнулся – еще бы, мол, не интересно.

– Мне кажется, этот процесс проходит во всех сферах, как в партии, так и особенно в армии. Вы вроде обратили внимание на двух молодых командиров возле аптеки. Какая выправка, какая стать! Это уже не расхристанные чапаевцы, настоящие профессиональные военные, офицеры, хоть и в странной, на западный взгляд, форме. Кстати, о форме. Принято считать, что она чуть ли не самим Буденным придумана, а она, между прочим, была заготовлена еще в шестнадцатом году по макетам художника Васнецова Виктора Михайловича, так что здесь мы как бы видим прямую передачу традиции... Скифские мотивы, батенька мой, память о пращурах!

Устрялов вдруг прервался на восклицательном знаке и посмотрел на американца с неожиданным удивлением. Что он там пишет, как будто понимает все, что я ему говорю? Кто из них вообще может это постичь, невнятицу срединной земли, перемешанного за пятнадцать веков народа? Всякий раз приходится обрывать себя на экзальтированной ноте. Сколько раз твердил себе – держись британских правил. Understatement – вот краеугольный камень их устойчивости. Он кашлянул:

– Что касается ОГПУ, или, как вы это называете, тайной полиции... Как вы думаете, еще четыре года назад смог бы эмигрантский историк разъезжать по Москве с иностранным журналистом в машине Наркоминдела?

– Значит, вы не боитесь? – спросил Рестон с прямою кватербека, посылающего мяч через полполя в зону противника.

Машина тем временем уже проехала всю Никольскую и остановилась там, где ее, очевидно, просили остановить заранее, возле вычурного фасада Верхних торговых рядов. Здесь профессор Устрялов и американец Тоунсенд Рестон, представляющий влиятельную газету «Чикаго Трибюн», покинули экипаж и далее проследовали пешком по направлению к Красной площади. Напрягая слух, шофер еще некоторое время мог слышать высокий голос «сменовеховца»: «...Разумеется, я понимаю, что мое положение до крайности двусмысленно, – в кругах эмиграции многие считают меня едва ли не чекистом, а в Москве вот Бухарин на днях объявил...»

Дальнейшее было покрыто гулом хлопотливой столицы.

Едва лишь две фигуры в английских пальто скрылись из виду, к «паккарду» подошел некто в мерлушковой шапке, субъект с усиками из той породы, что до революции назывались «гороховыми» и не изменились с той поры ни на йоту.

– Ну что, механик, о чем буржуи договаривались? – обратился он к шоферу.

Шофер устало потер ладонью глаза и только после этого посмотрел на обратившегося, да так посмотрел, что шпик сразу же осел, тут же сообразил, что перед ним и не шофер вовсе.

– Уж не думаете ли вы, любезнейший, что я вам буду переводить с английского?

Вдруг над Верхними торговыми рядами и над запруженными улицами старого Китай-города полетели «белые мухи», первый, пока еще легкий и бодрящий, снегопад осени 1925 года.

* * *

Между тем молодые командиры, чья внешность навела двух джентльменов из пролога, которые, очевидно, больше и не появятся в пространстве романа, на столь серьезные размышления, все еще продолжали беседовать у подъезда аптеки Феррейна.

Комбриг Никита Градов и комполка Вадим Вуйнович были ровесниками и к моменту начала повествования достигли двадцати пяти лет, имея за плечами несметное число диких побоищ Гражданской войны, то есть они были по тогдашним меркам вполне зрелыми мужчинами.

Градов служил в штабе командующего Западным военным округом командарма Тухачевского, Вуйнович занимал должность «состоящего для особо важных поручений при Реввоенсовете», то есть был одним из главных адъютантов наркомвоенмора Фрунзе. Друзья не виделись несколько месяцев. Градов, коренной москвич, по долгу службы обитал в Минске, тогда как уралец Вуйнович после назначения в Реввоенсовет заделался настоящим столичным жителем. Эта превратность судьбы немало его забавляла и давала повод посмеяться над Никитой. Прогуливаясь с другом по Москве, он подмечал театральные афиши и как бы мимоходом заводил разговор о премьерах, а потом как бы спохватываясь: «Ах да, у вас в Минске об этом еще не слышали, эх, провинция...» – и далее в этом духе, словом, вполне добродушный и даже любовный эпатаж.

Впрочем, о театрах эти молодые люди в буденновках говорили мало: разговор их то и дело уходил к более серьезным темам; это были серьезные молодые люди в чинах, каких в старой армии нельзя было достичь, не преодолев сорокалетнего рубежа.

Никита прибыл в Москву вместе со своим главкомом для участия в совещании по проведению военной реформы. Совещание предполагалось в Кремле, в обстановке секретности, ибо в нем должен был принять участие чуть ли не полный состав Политбюро РКП(б). Секретностью уже тогда все они были одержимы. «Партия по привычке продолжает работать в подполье», – повторяли в Москве шутку главного большевистского остряка Карла Радека. Дело несколько осложнялось тем, что шеф комполка Вуйновича, председатель Революционного Военного Совета, народный комиссар по военным и морским делам Михаил Васильевич Фрунзе вот уже более двух недель находился в больнице с обострением язвы двенадцатиперстной кишки. ЦК, по-братски заботясь о здоровье любимца всех трудящихся, легендарного командарма, сокрушителя Колчака и Врангеля, предлагал провести совещание в его отсутствие и поручить доклад первому заместителю председателя РВС Уншлихту, однако Фрунзе категорически настаивал на своем участии, да и вообще на несерьезности своего недуга. Это и было главной темой разговора между двумя молодыми командирами у порога аптеки Феррейна, где они поджидали Веронику, жену комбрига Градова.

– Нарком просто бесится, когда ему говорят об этой проклятой язве, – сказал Вуйнович, широкоплечий человек южнославянского типа, с щедрой растительностью в виде черных бровей и усов, не обделенный и яркостью глаз. Выросший в заводском городке на Урале, он прошел со своим

эскадроном до южного берега Крыма и тут, среди скал, пенистых волн, кипарисов и виноградников, понял, где лежит его истинная родина.

Романтического соблазна ради мы должны были бы сделать Никиту Градова противоположностью его друга, то есть отнести его к северным широтам, к некоей русской готике, если таковая когда-либо существовала в природе, и мы были бы рады это сделать, чтобы добавить в скифско-македонский колорит еще и варяжскую струю, однако справедливости ради мы преодолеваем соблазн и не можем не указать на то, что и Никита, хотя бы наполовину, соотносился со средиземноморской «колыбелью человечества»: его мать, Мэри Вахтанговна, была из грузинского рода Гудиашвили. Впрочем, в наружности его не было ничего грузинского, если не считать некоторой рыжеватости и носатости, что можно с равным успехом отнести и к славянам, и к варягам, и по крайней мере с не меньшим успехом к не вовлеченным еще в мировую революцию ирландцам.

– Послушай, Вадя, а что говорят врачи? – спросил Никита. Вуйнович усмехнулся:

– Врачи говорят об этом меньше, чем члены Политбюро. Последняя консультация в Солдатёнковской больнице пришла к заключению, что можно обойтись медикаментами и диетой, однако вожди настаивают на операции. Ты знаешь Михаила Васильевича, он на пулеметы пойдет – не моргнет, но от ножа хирурга приходит в полное уныние.

Никита отогнул полу своей длинной шинели и достал из кармана яркосиних галифе луковицу золотых часов, награду командования после завершения мартовской кронштадтской операции 1921 года. Вероника пропадает в дебрях аптеки уже сорок минут.

– Знаешь, – проговорил он, все еще глядя на дорожную, тяжеленькую великолепную вещь, лежащую на ладони, – мне иногда кажется, что далеко не всем вождям нравятся слишком бодрые командармы.

Вуйнович затянулся длинной папиросой «Северная Пальмира», потом отшвырнул ее в сторону.

– Особенно усердствует Сталин, – резко заговорил он. – Партия, видите ли, не может себе позволить болезни командарма Фрунзе. Может быть, Ильич был не прав, а, Никита? Может быть, «этот повар» не собирается готовить «слишком острые блюда»? Или как раз наоборот, собирается, а потому так свирепо настроен против диеты и за нож?!

Градов положил руку на плечо разволновавшегося друга – «спокойно, спокойно», – выразительно посмотрел по сторонам...

В этот момент из аптеки наконец выпорхнула Вероника, красotka в

котиковой шубке, сигналившая вспышками голубых глаз, будто приближающаяся яхта низвергнутого монарха. Пошутила очень некстати:

– Товарищи командиры, что за лица? Готовится военный переворот?

Вуйнович взял у нее из рук довольно тяжелую сумку – чем это можно обзавестись в аптеке таким увесистым? – и они пошли по Театральному проезду, вниз, мимо памятника Первопечатнику в сторону «Метрополя».

Всякий раз, когда Вуйнович видел жену своего друга, он делал усилие, чтобы избавиться от мгновенных и сильных эротических импульсов. Едва лишь она появлялась, все превращалось в притворство. Правдивыми его отношения с этой женщиной могли быть только в постели или даже... Холодея от стыда и тоски, он осознавал, что готов был сделать с Вероникой примерно то, что однажды сделал с одной барынькой в захваченном эшелоне белых, то есть повернуть ее спиной к себе, толкнуть, согнуть, задрать все вверх. Больше того, именно эта конфигурация вспыхивала перед ним всякий раз, когда он видел Веронику.

Хамские импульсы, бичевал он себя, гнусное наследие Гражданской войны, позор для образованного командира регулярной армии красной державы. Никита – мой друг, и Вероника – мой друг, и я... их замечательный друг-притвора.

Возле «Метрополя» расстались. У Вуйновича в этом здании прямо под врубелевской мозаикой «Принцесса Грёза» была холостяцкая комната. Градовы поспешили на трамвай, им предстоял долгий путь с тремя пересадками до Серебряного Бора.

Пока тряслись по Тверской в битком набитом вагоне с противными запахами и взглядами, Никита молчал.

– Ну, что опять с тобой? – шепнула Вероника.

– Ты кокетничаешь с Вадимом, – пробормотал комбриг. – Я чувствую это. Ты сама, может быть, не понимаешь, но кокетничаешь.

Вероника рассмеялась. Кто-то посмотрел на нее с удовольствием. Смеющаяся в трамвае красавица. Возврат к нормальной жизни. Суровая бабка в негодовании зажевала губами.

– Дурачок, – нежно шепнула Вероника.

С прозрачных зеленеющих и розовеющих небес летел редкий белый пух, легкий морозец как будто обещал гимнастические конькобежные радости. Они проехали ветхий развал Хорошево, потом трамвай, уже полупустой, побежал к концу маршрута, к кругу Серебряного Бора. Вековые сосны парка, подернутое первой морозной пленкой озеро Бездонка, заборы и дачи, в которых уже зажигались огни и протапливались печи, – неожиданная идиллия после суматошной и, как всегда, отчасти

бессмысленной Москвы.

От круга нужно было еще пройти с полверсты пешком до родительского дома.

– Что у тебя такое тяжелое в сумке? – спросил Никита.

– Накупила тебе брому на целый месяц, – бодренько ответила Вероника и искоса посмотрела на мужа.

Страдание, как всегда, сделало смешным его веснушчатое лицо. Он смотрел себе под ноги.

– К черту твой бром, – пробормотал он.

– Перестань, Никита! – рассердилась она. – Ты уже две недели не спишь после командировки. Этот Кронштадт тебя окончательно измотал!

* * *

Октябрьская командировка в морскую крепость выглядела обычной деловой поездкой высшего командира – спецвагон до Ленинграда, оттуда рейдовым катером к причалам Усть-Рогатки. В гавани, на берегу и в городе царили полный порядок, мерная морская налаженность всех служб. Чеканя шаг, в баню и из бани, проходили взводы чернобушлатников. Иные хором пели «Лизавету». На линкорах отрабатывали приемы сигнализации. Пеликанами сновали над бухтой новомодные гидропланы. Куски времени отмерялись для всех присутствующих четкими ударами склянок. Чистый морской, как бы английский и, уж во всяком случае, очень отвлеченный от российской действительности мир.

Ничто и никто не напоминает о событиях четырехлетней давности. Только один раз, поднимаясь на форт «Тотлебен», он услышал за спиной спокойный голос:

– Я вижу, товарищ комбриг, путь вам хорошо знаком. Он резко обернулся и увидел глаза старшего артиллериста.

«Вы... вы здесь были?.. Тогда? Возможно ли?..» Позднее Никита мучился, осознав, что за этим недоумением читалось другое: «Почему же не расстреляны?»

– Я был в отпуске, – просто сказал артиллерист, не выражая решительно никаких эмоций.

– А я штурмовал ваш форт! Поэтому и путь знаю! – не без вызова приподнял голос Никита, хотя и понимал, что вызов вроде направлен не по адресу, что уж если не расстрелян артиллерист, значит, облечен доверием, иначе бы непременно разделил судьбу тех, кто отвечал перед народом и

революцией за тот яростный антибольшевистский взрыв марта 1921 года.

Очевидно, все-таки не совсем не по адресу была направлена фраза, если судить по тому, как артиллерист отвел глаза и молча сделал приглашающий жест вверх по трапу – прошу, мол, осчастливьте!..

Весь день Никита занимался проверкой установки новых обуховских орудий на фортах «Тотлебен» и «Петр I», вместе с представителями завода и командования Балтфлота вникал в документацию и устные пояснения артиллеристов и только к вечеру, сославшись на усталость, оказался один и ушел пешком в город.

Кажется, он уже отдавал себе отчет, что его тянет туда, на Якорную площадь, в центр тогдашних событий.

С приморского бульвара он обозревал внешний рейд и там серые силуэты двух гигантов, вроде бы тех самых; как ни старайся, из этих пушек и труб уже никогда не выбьешь память о ярости линкоров.

Свежестью и полной промытостью веяло от сентябрьского вечера, от щедрой воды вокруг, от бороздящих рейд мелких плаведилиц и от подмигивающих сигналами гигантов.

В те дни все это пространство было белым, застывшим будто бы навеки и зловещим. Линкоры стояли борт к борту у стенки, покрытые льдом до самых верхних надстроек, со свалившимся, прокопченным снегом на палубах. Никита ловил себя на том, что даже у него, лазутчика, появляется враждебное чувство к замерзшей «Маркизовой луже», как называли Финский залив военморы. По льду на крепость шли бесконечные цепи карателей в белых халатах.

Четыре с половиной года спустя, стоя у памятника Петру Великому и глядя на оживленное полноводье, комбриг РККА Градов поймал себя на другой мысли: начнись тогда мятеж на месяц позже, с ним бы не совладать. Освободившись из ледового капкана, линкоры по чистой воде подошли бы к Ораниенбауму и прямой наводкой пресекли бы все попытки концентрации правительственных сил. К «Петропавловску» и «Севастополю», безусловно, присоединились бы два других гиганта, в марте еще торчавшие в устье Невы, – «Гангут» и «Полтава», а за ними и другие корабли Балтики. Трудно было бы поручиться даже за легендарную «Аврору», ведь и весь Кронштадт еще за неделю до мятежа считался оплотом и гордостью революции.

Непобедимость восставшего Балтфлота почти наверняка подожгла бы бикфордов шнур и вызвала бы серию взрывов по всей стране. Тамбовщина и так уже пылала. Недаром Ленин считал, что Кронштадт опаснее Деникина, Колчака и Врангеля, вместе взятых. Чистая вода принесла бы

гибель большевистской республике.

Нас спас лед. Исторически детерминированные события и неуправляемые физические процессы природы находятся в странной, да что там говорить, просто в возмутительной зависимости. Лед оказался нашим главным союзником и при штурме Крыма, и при подавлении Кронштадта. Не следует ли соорудить памятник льду? Экая чушь, законы классовой борьбы, выстроенные на базисе льда, на замедлении бега каких-то жалких молекул!

Однако вовсе не эти парадоксы были главной мукой комбрига Градова. Дело было в том, что он в какие-то определенные или неопределенные моменты жизни вдруг начинал видеть в себе предателя и едва ли не душителя свободы. Казалось бы, геройская миссия была возложена на пылкого двадцатилетнего революционера, в любую минуту не пожалевшего бы жизни за Красную республику, и по-геройски эта миссия была выполнена, и все-таки...

Он медленно шел вдоль желтого с белыми колоннами здания Морского собрания, прикладывая руку к козырьку, расходясь с военморами, и даже улыбался в ответ на взгляды женщин – Кронштадт всегда славился женами плавсостава, – и вспоминал, как в мартовскую пургу, во мраке, оставив на льду белый халат, сшитый из двух простынь, он поднялся на причал, перебежал бульвар и пошел вдоль этого здания, фальшивый моряк, братишечка что надо, даже свежая наколочка была сделана на груди: «Бронепоезд „Красный партизан“».

Дюжина сверхсекретных лазутчиков была отобрана самим командармом Тухачевским из числа самых беззаветных. К моменту решительного штурма, действуя в одиночку, они должны были выводить из строя орудия и открывать ворота фортов. Дорог был каждый час, над заливом уже начинали гулять влажные западные ветры.

В ту ночь он беспрепятственно дошел до явочной квартиры, а утром... вот утром-то и начались его муки.

Он проснулся от звуков оркестра. По залитой солнцем улице к Якорной площади маршировала колонна моряков; веселые ряшки. Над ними в ярчайшем голубом послештормовом небе рябил наспех сделанный транспарант, вполне отчетливо предлагавший сокрушительный мартовский лозунг:

«ДОЛОЙ КОМИССАРОДЕРЖАВИЕ!»

Знаки восстания были повсюду. Первое, что увидел Никита, когда вышел на улицу, имея в котомке два маузера, четыре гранаты и фальшивый мандат Севастопольского флоткома, были расклеенные на стене листки

«Известий Кронштадтского совета» с призывами ревкома, информацией об отражении атак и о выдаче продовольствия, а также с издевательскими частушками в адрес вождей.

*...Приезжает сам Калинин,
Язычище мягок, длинен,
Он малиновкою пел,
Но успеха не имел.
Опасаясь грозных кар,
Удирает комиссар!
Беспокоен и угрюм
Троцкий шлет ультиматум:
«Прекратите беспорядок,
А не то, как куропаток,
Собрав верную мне рать,
Прикажу перестрелять!..»
Но ребята смелы, стойки,
Комитет избрали, тройки,
Нога на ногу сидят
И палят себе, палят!..*

Эти «ребята» отрядами, поодиночке, толпами продолжали стекаться на Якорную, формируя у подножия Морского собора и вокруг памятника адмиралу Макарову огромную толпу черных бескозырок и голубых воротников. Редкими вкраплениями в балтийскую униформу выделялись солдатские шинели и овчинные полушубки. Сновали мальчишки, иной раз мелькали и возбужденные лица женщин. Все вместе это называлось «Кронштадтская команда».

Играло несколько оркестров. Они перекрывали постоянно возобновляющуюся канонаду с залива. Что касается большевистских аэропланов, то в общем гаме, пороховом и медном громе их моторы были вообще не слышны, а сами они казались каким-то ярмарочным аттракционом, хоть и слетали с них порой смертоносные пакеты и листовки с угрозами «красного фельдмаршала» Троцкого.

Настроение было праздничным. Никита не верил своим глазам. Вместо зловещих ожесточенных заговорщиков, ведомых вылезшими из подполья белогвардейцами, он видел перед собой что-то вроде народного гульбища, многие тысячи, охваченные вдохновением.

Странное место. Византийская громада собора, монумент человеку в простом пальто. «Амурские волны» и взрывы. Игрушечные аппараты в небе, окруженные ватными клочками шрапнельного огня. Фаталистическая игра или – вспомни отца Иоанна! – новая соборность, исповедь бунта?

С трибуны долетали крики ораторов:

– ...Товарищи, мы обратились по радио ко всему миру!..

– ...Большевики врут про французское золото!..

– ...Советы без извергов!..

Едва ли не каждая фраза покрывалась громовым «ура».

– ...Слово имеет предревкома товарищ Петриченко!..

Из черных шинелей на трибуне выдвинулась грудь, обтянутая полосатой тельняшкой. Простуды не боится. Из маузера отсюда не достанешь. Может быть, кто-то из наших, из одиннадцати, сейчас целится?

– Товарищи, ставлю на голосование вторую резолюцию линкоров! Ультиматум Троцкого отклонить! Сражаться до победы!..

Потрясенный Никита смотрел вокруг на ревушие единым духом глотки. Победа! Победа! Потом спохватился, стал и сам размахивать шапкой и кричать: «Победа». Кто-то хлопнул его по спине. Усатый бывалый военмор с удовольствием заглянул в его молодое лицо.

– Поднимем Россию, браток?!

«Ура», – еще пуще завопил Никита и вдруг похолодел, почувствовав, что кричит искренне, что втянут в воронку массового энтузиазма, что именно здесь вдруг впервые нашел то, что так смутно искал все эти годы со штурма «Метрополя» в 1917 году, когда семнадцатилетним мальчиком присоединился к отряду Фрунзе, – порыв и приобщение к порыву.

Да ведь предатели же, мерзавцы, под угрозу поставили саму Революцию ради своего флотского высокомерия, избалованности, анархизма, всего этого махновского «Эх, яблочко, кудыт-ты котисся»! Какие еще могут быть порывы и сантименты в отношении этого сброда?!

Открылись двери собора, на паперть вышел священник с крестом, стали выносить гробы с погибшими при отражении вчерашнего штурма. Оркестры заиграли «Марсельезу». Моряки обнажили головы. Лазутчик Градов тоже снял шапку. Момент всеобщей скорби, мороз по коже, дрожь всех мышц – вот, очевидно, предел всей этой вакханалии, четыре года злодейств во имя борьбы со злодейством, набухание слезных желез... Да ведь это вокруг тебя Новгородское вече, свободная Русь, и ты ударишь им в спину!..

...После того как все было кончено, Никита, в числе трех уцелевших из дюжины отряда особого назначения, был награжден золотыми часами швейцарской фирмы «Лонжин». Затем его госпитализировали. Несколько дней он метался в бреду и беспамятстве, лишь на мгновения выныривая к обледенелым веточкам и снегирам за окном Ораниенбаумского дворца.

Никто никогда не говорил ему ни о характере, ни о подробностях той горячки. Он просто выздоровел и вернулся в строй. Кронштадтской темы предпочитали не касаться в военных и партийных кругах, хотя и ходили смутные слухи, что у самого Ленина на этой почве разыгралась форменная истерика. Якобы визжал и хохотал вождь: «Рабочих расстреливали, товарищи! Рабочих и крестьян!»

Никто, разумеется, не говорил в «кругах» и о том, что именно Кронштадт вывел страну из сыпняка военного коммунизма, повернул ее к нэпу – отогреться. Не случись эта страшная передряга, не отказались бы вожди «всерьез и надолго» от своих теорий.

Вероника, дочь известного московского адвоката, была женой Никиты уже третий год, и, конечно же, она знала немало об этой тайной ране своего мужа, хотя и понимала, что знает не все. В последние две недели, после командировки, она стала серьезно опасаться за состояние его нервов. Он почти не спал, ходил по ночам, без остановки курил, а когда отключался в каком-то подобии сна, начинал бормотать заумь, из которой иногда выплывали, будто призраки, фразы, выкрики и печатные строчки кронштадтской вольницы.

«...от Завгородина – двухдневный паек хлеба и пачка махорки; от Иванова, кочегара „Севастополя“, – шинель; от сотрудницы Ревкома Циммерман – папиросы, от Путилина, портово-химическая лаборатория, – одна пара сапог...»

«...Полное доверие командиру батареи товарищу Грибанову!...»

«...Куполов, ебена мать, Куполова-лекаря не видали, братцы?..»

«...команда пришла в задумчивость, нужна литература для обмена с курсантами...»

«...Подымайся, люд крестьянский!
Всходит новая заря —
Сбросим Троцкого оковы,
Сбросим Ленина-царя...»

«...Ко всем трудящимся России, ко всем трудящимся России...»

Однажды она, набравшись смелости, спросила его, не стоит ли ему выйти из армии и поступить в университет, на медицинский факультет, по стопам отца, ведь ему всего двадцать пять, к тридцати годам он будет настоящим врачом... Как ни странно, он не накричал на нее, а только лишь задумчиво покачал головой – поздно, Ника, поздно... Похоже, что он вовсе не возраст имел в виду.

* * *

Наконец они подошли к калитке дачи, на которой, как в старые времена, только без ятей, красовалась медная таблица с гравировкой «Доктор Б.Н.Градов». За калиткой мощенная кирпичом дорожка, описывая между сосен латинскую «S», подходила к крыльцу, к добротно обитым клеенкой дверям, к большому двухэтажному дому с мансардой, террасой и флигелем.

Переступая порог этого дома, всякий подумал бы: вот остров здравого смысла, порядочности, суший оплот светлых сил российской интеллигенции. Градов-старший, Борис Никитич, профессор Первого медицинского института и старший консультант Солдатёнковской больницы, считался одним из лучших хирургов Москвы. С такими специалистами даже творцы истории вынуждены были считаться. Партия знала, что, хотя ее вожди сравнительно молоды, здоровье многих из них подорвано подпольной работой, арестами, ссылками, ранениями, а потому светилам медицины всегда выказывалось особое уважение. Даже и в годы военного коммунизма среди частично разобранных на дрова дач Серебряного Бора градовский дом всегда поддерживал свой очаг и свет в окнах, ну а теперь-то, среди нэповского процветания, все вообще как бы вернулось на круги своя, к «допещерному», как выражался друг дома Леонид Валентинович Пулково, периоду истории. Постоянно, например, звучал рояль. Хозяйка, Мэри Вахтанговна, когда-то кончавшая консерваторию по классу фортепиано («увы, моими главными концертами оказались Никитка, Кирилка и Нинка»), не упускала ни единой возможности погрузиться в музыку. «Шопеном Мэри отгоняет леших», – шутил профессор.

Разгуливал по коврам огромный и благожелательнейший немецкий

овчар Пифагор. Из библиотеки обычно доносились мужские голоса – вековечный «спор славян». Няня, сыгравшая весьма немалую роль в трех «главных концертах» Мэри Вахтанговны, проходила по комнатам со стопками чистого белья или рассчитывалась в прихожей за принесенные на дом молоко и сметану.

Никита повесил на оленьи рога шубку Вероники и свою шинель, что весила, пожалуй, в пять раз тяжелее собрания котиков. Он постарался тихо, чтобы не сорвать Шопена, пройти за женой на мансарду, однако мать услышала и крикнула своим на редкость молодым голосом:

– Никитушка, Никушка, учтите, сегодня за ужином полный сбор!

На мансарде, из окна которой видна была излучина Москвы-реки и купола в Хорошеве и на Соколе, он стал раздевать жену. Он целовал ее плечи, нежность и сладостная тяга, казалось, вытесняли мрак Кронштадта. Как все-таки замечательно, что женщины снова могут покупать шелковое белье. Что ж, может быть, Вуйнович прав, говоря, что в подавлении «братвы» начала возрождаться российская государственность?

Глава вторая

Кремль и окрестности

Вокруг Кремля всегда вилось не меньше шепотков и кривотолков, чем ласточек вокруг его башен в погожий летний день. Что уж и говорить про нынешние времена, когда в крепости восьмой год сидят вожди мирового пролетариата. Парадоксы на каждом шагу. Взять хотя бы ту же Спасскую башню. Хотя она и носит еще имя Спаса, но стала уже символом чего-то другого. Двуглавый орел еще венчает ее шатер, но куранты в полдень вызывают «Интернационал», а в полночь – «Вы жертвою пали».

В городе ходит молва, что под Кремлем с неизвестными целями расширяется паутина тайников-колодцев и подземных ходов-слухов. Станные рассказы циркулируют о жизни семейств Каменевых и Сталиных, о придворном большевистском пиите, поселившемся дверь в дверь с вождями в здании бывшего Арсенала, – Демьяне Бедном, которого, каламбуя вокруг его настоящей фамилии, столичные литераторы называют Демьян Лакеевич Придворов.

Странности и жути еще прибавилось, когда главного обитателя после его кончины забальзамировали и вынесли за крепостную стену в хрустальном гробу всем на обозрение. Что за извивы воображения и как их совместить с материалистической философией, с тем же Энгельсом, что завещал свой прах развеять над океаном?

Великие соборы Кремля закрыты, но купола их и кресты все еще пылают, стоит лишь солнышку пробиться сквозь среднерусскую хмарь, переливаются в соседстве с множественными красными струями новых знамен и паучковыми символами перекрещенных орудий труда.

Гордая итальянская крепость на вершине Боровицкого холма, трижды сожженная с интервалами в двести лет ханом Тохтамышем, гетманом Гонсевским и императором Наполеоном и снова поднявшая свои шатры и «ласточкины хвосты» стен, что тебя ждет в непредсказуемом мире?

Три «роллс-ройса» наркомата обороны поначалу пересекли Красную площадь как бы по направлению к воротам Спасской башни, однако неожиданно проехали мимо, спустились к Москве-реке, обогнули крепость с южной и западной сторон и вкатились внутрь через предмостную пузатую Кутафью башню. Такая тактика внезапных изменений маршрута была недавно разработана для предотвращения терактов. Тактика, прямо скажем, немудреная, построенная на вековечном «береженого Бог

бережет», однако и в самом деле, окажись где-то у Спасских ворот засада (все-таки ведь немало же еще и за границей и дома вполне боеспособных антисоветчиков), Рабоче-Крестьянская Красная Армия была бы одним ударом обезглавлена. В первой машине следовал нарком Фрунзе, во второй – главком-запад Тухачевский, в третьей – главком-восток, кавалер ордена Красного Знамени № 1 Василий Блюхер.

Фрунзе был мрачен. Фактически он направлялся на совещание вопреки решению Политбюро. Именно это обстоятельство, а не болезнь сама по себе, угнетало его. Проклятая язва-то как раз в последнее время меньше давала о себе знать. Лечащие врачи обнадеживали – анализы показывают, что не исключен процесс рубцевания, то есть своего рода самозаживания. Однако вот эта тягостная и все нарастающая забота товарищей... конечно, можно понять многих из них, прошлогодняя трагедия, кончина Ильича, так потрясла партию, однако нет ли здесь перестраховки и... если называть вещи своими именами, не ведут ли некоторые какой-то странной двойной игры?..

Фрунзе не любил повышать голос (пусть всего боялся превратиться из красного командира, сознательного революционера в старорежимного деспота и солдафона). Но он очень здорово умел прибавлять к голосу нечто такое, что сразу давало понять окружающим – возражения излишни. Вот именно с этими модуляциями он приказал сегодня утром подать в палату полный комплект одежды и, одевшись, немедленно отправился в наркомат, а оттуда в Кремль.

По дороге, в машине, он ни с кем не разговаривал, даже на верного Вуйновича старался не смотреть. Странные все-таки складываются нравы среди руководства. Взять отдельно некоторых людей; по мере удаления от горячки Гражданской войны, то есть по мере взросления, если еще не старения, сколько выявляется малопривлекательных качеств: вздорность Зиновьева, зловещая непроницаемость Сталина, наплевизм Бухарина, никчемность Клина, сутяжничество Уншлихта – каждому по отдельности ты знаешь цену, но, собранные вместе, они превращаются в высшее понятие – «воля Партии». Парадокс в том, что без этого мы не можем, Ленин это понимал, мы развалимся без этого мистицизма.

Мысль о том, что ему пришлось сегодня переступить через «высшее понятие», пусть в интересах дела, в интересах самой республики, но совершить самоуправство, не давала покоя Фрунзе. У него, что называется, сосало под ложечкой, а когда «роллс-ройс» стал покачиваться на торцах Красной площади, показалось даже, что эта легкая качка отдается в животе. Он приложил перчатку ко лбу.

Курсанты школы ВЦИКа, несущие внутреннюю службу в правительственных помещениях, стояли по стойке «смирно». На их лицах, где по идее не должно было быть написано ничего, читалось преклонение. Три легендарных командарма в сопровождении своих чуть приотставших помощников (по-старому адъютантов) проходили по лестницам и коридорам Кремлевского дворца; это ли не запоминающееся на всю жизнь событие? Шаги их были крепки, и все они представляли идеал мужества и молодой зрелости. И впрямь: старшему, Фрунзе, было к тому моменту всего лишь сорок, Блюхеру – тридцать пять, а Тухачевскому – тридцать два года. Существовала ли когда-нибудь на Земле другая армия с таким молодым и в то же время преисполненным колоссальным боевым опытом командным составом?

Последняя пара курсантов, несущая караул у святая святых, открыла двери. Командармы вошли в зал заседаний – большие окна, лепной потолок, хрустальная люстра, огромный овальный стол. Иные участники заседания еще прогуливались по упругому ковру бухарской работы, обменивались шутками, другие уже сидели за столом, углубившись в бумаги. Все они были, что называется, мужчины в полном соку, если пятидесяти, то с небольшим, все в хорошем настроении: дела у республики шли как нельзя лучше. Одетые либо в добротные деловые тройки, либо в полувоенную партийную униформу (френч с большими карманами, галифе, сапоги), они обращались друг к другу в духе давно установившегося в партии чуть грубоватого, но как бы любовного и мягко-иронического товарищества.

Посторонний внимательный наблюдатель, вроде промелькнувшего в нашем прологе профессора Устрялова, может быть, и заметил бы уже начинавшееся расслоение и появление того, что впоследствии было названо «партийной этикой», согласно которой кто-то кого-то мог называть «Николаем» или «Григорием», а другой обязан был подчеркивать свое расстояние от всемогущего бонзы, употребляя отчество или даже официальное «товарищ имярек», однако нам пока что соблазнительно подчеркнуть, что все на «ты» и все свои.

«Сменовеховцы», а они, как все русские интеллигенты, любили подстегивать факты к сочиненным загодя теориям, постарались бы, очевидно, отыскать в этой группе вождей приметы своей излюбленной «ауры власти», и они, вероятно, легко обнаружили бы эти приметы в таких,

скажем, пустяках, как некоторое прибавление телес, добротности одежд и непринужденности движений, запечатленная государственность в складках лиц; мы же, со своей стороны, можем все эти приметы отнести и к другим причинам, менее метафизического толка, а по поводу складок на лицах можем, хоть и не без содрогания, подвесить вопросец такого толка: не ползут ли по ним проказой совсем еще недавние неограниченные насилие и жестокость?

Когда военные вошли в зал, все к ним обернулись. «Как, Михаил, это ты?! Вот так сюрприз!» – с дешевой театральностью воскликнул Ворошилов, хотя всем давно уже было известно, что Фрунзе уехал из госпиталя и направляется в Кремль. Несколько человек переглянулись; фальшивый возглас Клима как бы подчеркнул страннейшую и в некоторой степени как бы непоправимую двусмысленность, накапливающуюся вокруг наркомвоенмора. Председатель СНК Рыков предложил занять места. Рассаживаясь, члены Политбюро и приглашенные продолжали обмениваться репликами и заглядывать в бумаги, всячески стараясь подчеркнуть, что основное их внимание приковано не к Фрунзе, то есть не к нему персонально, не к нему как к больному человеку. Те, кто пожал ему руку при входе, старались не придавать значения своему наблюдению, что рука при обычной ее крепости была чрезвычайно влажна, а те, кто как бы случайно касался взглядом лица командарма, отгоняли мысль, что ищут в нем признаки ишемии.

Между тем с Фрунзе под всеми этими взглядами и в самом деле творилось что-то неладное. Боясь оскандалиться, он попытался под прикрытием папки с бумагами достать из кармана и проглотить очередную таблетку, но отказался от этой мысли и, повернувшись к Шкирятову, спросил:

– Где же Сталин?

Шкирятов – Бог шельму и именем метит – весь подался вперед, весь к Фрунзе, глаза его будто пытались влезть поглубже в командарма, на широком лице отразилась исключительная фальшь, что сделало еще заметней его природную асимметрию.

– Товарищ Сталин просил его извинить. Он как раз заканчивает прием кантонской делегации.

Фрунзе почувствовал боль, напомнившую ему сентябрьский приступ в Крыму. Боль была незначительная, но страх, что за ней последует другая, более сильная, и что он оскандалится перед Политбюро, больше того – тут вдруг впервые как бы выкристаллизовалось, – даст увезти себя «под нож», этот страх будто выбил пол у него из-под ног; геометричность мира

стремительно расплывалась. Он еще попытался ухватиться за политически мотивированное недоумение.

– Странно. Кажется, Уншлихт уже обсудил все вопросы с генералиссимусом Ху Хань Минем...

Шкирятов быстро подвинул ему стакан воды:

– Что с тобой, Михаил Васильевич?

Фрунзе уже не заметил знака, поданного Рыковым другим участникам совещания: дескать, оставьте его в покое; не очень отчетливо он осознал, что по заранее утвержденной повестке дня первым стал говорить Тухачевский.

На повестке дня было детище Фрунзе – военная реформа, то, чем он гордился больше, чем штурмом Перекопа. Согласно этой реформе РККА хоть и сокращалась на 560 тысяч войск, но становилась дважды мощнее и трижды профессиональнее. Вводилось смешанное кадровое и территориальное управление, принимался закон об обязательной военной службе, а также устанавливалось долгожданное единоначалие, то есть отодвигались в сторону политкомиссары, эти постоянные источники демагогии и неразберихи. Военная реформа окончательно устраняла партизанщину, закладывала основу несокрушимости боевых сил СССР.

Голова Фрунзе упала на стол, произведя странный неодушевленный звук, заставивший вздрогнуть весь могущественный совет. Он тут же встал и попытался выйти, однако на полпути к дверям, прижав платок ко рту, закачался. Платок окрасился кровью, и наркомвоенмор осел на ковер.

Курсанты охраны, явно еще не вполне обученные, как поступать в таких обстоятельствах, заметались по залу, кто к телу, кто к окну, кто к телефону, но тут же, то есть почти немедленно, появился отряд санитаров с носилками. Трудно сказать, были ли эти носилки составной частью «медицинского обеспечения» заседаний Политбюро, или их туда доставили специально к этому дню.

В создавшейся панике даже и посторонний внимательный наблюдатель мог бы растеряться и не заметить более чем странных взглядов, которыми обменивались некоторые участники совещания. Впрочем, его бы вскоре привел в себя трагический возглас Ворошилова:

– Крым не помог Михаилу!

Тогда среди возникшего вокруг лежащего тела сугубо сценического движения (любой двор, особенно в период междуцарствия, напоминает театр, и Кремль не был исключением) наблюдатель услышал бы ядовитый шепоток Зиновьева:

– Зато он помог Иосифу...

Трудно сказать, услышали ли эту фразу все присутствующие, несомненно, однако, что до самого Сталина она дошла. Он появился незаметно, выйдя из маленькой, сливающейся со стеной дверцы, и беззвучно прошел через зал в своих мягких кавказских сапожках. Обойдя вокруг стола и особенным образом обогнув Зиновьева – у последнего в этот момент возникло ощущение, что мимо проходит кот-камышатник, – Сталин приблизился к носилкам.

В этот момент Фрунзе делали инъекцию камфоры. Он очнулся от обморока и тихо простонал: «Это нервы, нервы...» Носилки подняли. Сталин на прощание притронулся ладонью к плечу наркома.

– Нужно привлечь лучших медиков, – произнес Сталин. – Бурденко, Рагозина, Градова... Партия не может себе позволить потерю такого сына.

Лев прав, думал Зиновьев, этот человек произносит только те фразы, которые хотя бы на миллиметр поднимают его выше нас всех.

Сталин прошел к столу и сел на свое место, и это место, одно из многих, почему-то вдруг оказалось центром овального стола. То ли, опять же по законам драмы, как на появившегося в поворотный момент, то ли по другим причинам, однако именно на Сталина смотрели оцепеневшие члены Политбюро и правительства. Было очевидно, что при всех двусмысленных толках вокруг болезни Фрунзе крушение могучего полководца внесло под своды Кремля мотив рока и мглы; как будто валькирии пролетели.

Сталин минуту или две смотрел в окно на проходящие по октябрьскому небу безучастные облака, потом произнес:

– Но дерево жизни вечно зеленеет...

Товарищи с солидным стажем эмиграции вспомнили, что эту строчку из «Фауста» любил повторять и незабвенный Ильич.

– Давайте продолжим.

Мягким жестом Сталин предложил вернуться к повестке дня.

* * *

Под вечер того же дня многочисленные гости съезжались на дачу профессора Градова в Серебряном Бору. Готовился русско-грузинский пир в честь сорокапятилетия хозяйки Мэри Вахтанговны.

Из Тифлиса приехали старший брат виновницы торжества Галактион Вахтангович Гудиашвили и два племянника, сыновья сестры, Отари и Нугзар.

Никто, разумеется, не сомневался, что тамадой за праздничным столом

будет Галактион. Крупный роскошный кавказец всегда полагал пиры гораздо более существенной частью жизни, чем свою работу весьма почитаемого у горы царя Давида фармацевта. Грозы революции, крушение недолговечной грузинской независимости, даже прошлогодний мятеж, свирепо подавленный чекистами Блюмкина, не отразились ни на внешности, ни на мироощущении этого «средиземноморского человека», каждое появление которого, казалось бы, обещало начало итальянской оперы или по крайней мере добрый флакон «любовного напитка».

Ну уж, конечно, не с пустыми руками прибыл в Серебряный Бор дядюшка Галактион. Для того, между прочим, и племянников взял, «бэздэлников», чтобы помогли транспортировать к праздничному столу три бочонка вина из заповедных подвалов Кларети, полдюжины копченых поросят, три оплетенных четверти душистой и свежей, как «поцелуй ребенка» («это Лермонтов, моя дорогая»), чачи, мешок смешанных орехов, мешок инжира, две корзины с отборными аджарскими мандаринами, корзину румяных груш, похожих на груди юных гречанок («без этих груш как мог я появиться пэрэд сэстрою?»), горшок сациви размером с древнюю амфору, два ведра лобио, ну, и некоторые приправы – аджика-шашмика, ткемали-шмекали; в общем, разные мелочи.

Немедленно по прибытии дядя Галактион отправился инспектировать приготовления к пиру и был весьма впечатлен запасами хозяев: тут были и водки, и коньяки, всевозможные заливные закуски, а также совсем было уж забытые, но появившиеся вновь в «угаре нэпа» такие деликатесы, как анчоусы и сельди «залом», радующий душу развал грибочков, огурчиков и помидорчиков, сыры нескольких видов – от целомудренного форпоста Голландии до растленного рокфора, а также сам вельможный осетр. В духовке томилось, ко всеобщему удовольствию, седло барашка.

– Мэри, любимая, поздравляю сестру! Вот это нэп, милостивые государи! Лучшая новая экономическая политика – это старая экономическая политика, а лучшая политика – это к чертовой матери всякая политика! – так возгласил тифлисский Фальстаф.

Большинство собравшихся уже гостей рассмеялось, а молодой поэт Калистратов, который все интересовался, где же младшая дочка Градовых Нина, прочел из Маяковского:

*Спросили раз меня:
«Вы любите ли нэп?»
«Люблю, – ответил я, —
Когда он не нелеп...»*

Не все, впрочем, были в безмятежном настроении в этот вечер. Средний сын Градовых Кирилл, только весной окончивший университет историк-марксист, сердито передернул плечами при политически бестактной шутке своего дяди.

– Терпеть не могу все эти ухмылочки и рифмовочки вокруг нэпа, – сказал он Калистратову. – Им все кажется, что это наш конец, а ведь это только лишь «надолго», но не навсегда!

– На мой век, надеюсь, хватит, – вздохнул беспутный Калистратов и, не тратя времени, устремился к буфету.

Кирилл, прямой, бледный и серьезный, в убогой косоворотке, похожий на прежних фанатиков подполья, выделялся среди нарядных гостей. Если бы не боялся он обидеть мать, давно бы ушел в свою комнату и засел за книги. Чертов нэп, все «бывшие» закукарекали, эмиграция следит с придыханием, решили, что и впрямь можно повернуть историю вспять. Ну хорошо, с дяди Галактиона много не спросишь, отец вообще живет так, будто политика не существует, типичный вариант «спеца», мама вся в своих шопенах, молится украдкой, все еще обожает символистов, «ветер принес издалека песни весенней намок», однако и наше ведь поколение чем-то уже тронутو тлетворным, даже брат, красный комбриг, о Веронике уж и говорить нечего...

Возмущение юного пуританина можно было легко понять при взгляде на его родителей. Они не вписывались в революционную эстетику в той же степени, в какой их хлебосольный московский стол не совпадал с преискурантом какой-нибудь советской фабрики-кухни. Красавица Мэри в длинном шелковом платье с глубоким вырезом, с ниткой жемчуга на шее, пышные волосы подняты вверх и завязаны античным узлом. Под стать ей и сам профессор, пятидесятилетний Борис Никитич Градов, совсем не отяжелевший еще мужчина в хорошо сшитом и ловко сидящем костюме и с аккуратно подстриженной бородкой, которая, хоть и не вполне гармонировала с современным галстуком, была, однако, необходима для продолжения галереи великих российских врачей. В праздничный вечер оба они выглядели по крайней мере на десять лет моложе своего возраста, и всем было ясно, что они полны друг к другу нежности и привязанности в лучших традициях недобитой русской интеллигенции.

Гости Градовых в основном тоже принадлежали к этому племени, ныне объявленному «прослойкой» на манер пастилы между двумя кусками ковриги. В начале вечера все они с очевидным удовольствием толпились

вокруг друга дома ученого-физика Леонида Валентиновича Пулково, только что вернувшегося из научной командировки в Англию. Ну, посмотрите на Леонида, ну, сущий англичанин, ну, просто Шерлок Холмс.

Ан нет, настоящим англичанином вечера вскоре был объявлен другой гость, писатель Михаил Афанасьевич Булгаков; у того даже монокль был в глазу! Впрочем, Вероника, помогавшая свекрови принимать гостей, не раз ловила на себе не очень-то английские, то есть не ахти какие сдержанные, взгляды знаменитого литератора.

– Послушайте, Верочка, – обратилась к ней Мэри Вахтанговна. Вот, пожалуй, только в этом обращении и проявлялись традиционные семейные банальности, трения между свекровью и невесткой: последняя всех просила называть ее Никой, а первая все как бы забывалась и звала ее Верой. – Послушай, душка... – Тоже, прямо скажем, обращенье, из какого тифлисского салона к нам пожаловало? – Где же твой муж, моя дорогая? – Вероника пожала великолепными плечами, да так, что Михаил Афанасьевич Булгаков просто сказал «о» и отвернулся.

– Не знаю, тапан. – Ей казалось, что этим «тапан» она парирует Верочку, но Мэри Вахтанговна, похоже, не замечала в таком адресе ничего особенного. – Утром он сопровождал главкома в Кремль, но должен был бы уж вернуться три часа назад...

«Хорошо бы вообще не вернулся», – подумал проходящий мимо с бокалом вина Булгаков.

– Пью за здоровье Мэри, милой Мэри моей! Тихо запер я двери и один без гостей пью за здоровье Мэри! – возгласил какой-то краснбай.

Начались стихийные тосты. Дядя Галактион стал шумно протестовать, говоря, что тостам еще не пришел черед, что произнесение тостов – это высокая культура, что русским с их варварскими наклонностями следует поучиться у более древних цивилизаций, делавших утонченные вина уже в те времена, когда скифы только лишь научились жевать дикую коноплю.

В общем, началось было шумное хаотическое веселье, именно такое состояние, которое и позволяет потом сказать «вечер удался», когда вдруг за окнами взорвалась шутиха, другая, забил барабан и послышались молодые голоса, скандирующие какую-то «синеглазную» чушь вроде: «Революции семь лет! Отрицаем мир котлет! Революция пылает, власть семьи уничтожает!» Это и были «синеглазники», последнее увлечение младшей Градовой, восемнадцатилетней Нины.

Гости высыпали на крыльцо и на террасу, чтобы посмотреть представление маленькой группы из шести человек. «Начинаем спектакль-буфф под названием „Семейная революция“!» – объявила заводила и тут же

прошлась колесом. Заводилой как раз и была Нина, унаследовавшая от матери темную густую гриву, в данный период безжалостно подрубленную на пролетарский манер, а от отца – светлые, исполненные живого позитивизма глаза и взявшая от остального мира, столь восхищавшего всю ее юную суть, такую сильную дозу юного восхищения, что она сама порой казалась не каким-то отдельным имярек существом, а просто частью этого юного восхитительного мира в ряду искрящихся за соснами звезд, стихов Пастернака и башни Третьего Интернационала. Искрометному этому существу предстоит сыграть столь существенную роль в нашем повествовании, что нам, право, не доставляет никакого удовольствия сообщение о том, что акробатическая фигура, с которой она появляется на этих страницах, завершилась довольно неудачно – падением, и даже несколько нелепым приземлением на пару ягодичек, к счастью, достаточно упругих.

Вообще весь «буфф» оказался каким-то чертовски нелепым и почти халтурным, если к этому еще не добавить его бестактность.

Здоровенная орясина, пролетарский друг профессорской дочки Семен Стройло, накинув на свою юнгштурмовку какую-то несуразную лиловую мантию, а башку вбив в маловатый цилиндр, деревянным голосом зачитал:

*Я профессор-ретроград,
У меня большой оклад.
На виду у всей страны
Я тиран своей жены.*

Остальные участники труппы построили за его спиной довольно шаткую пирамиду и стали выкрикивать:

*– По примеру Коллонтай ты жене свободу дай!
– Наша Мэри бунту рада, поднимает баррикаду!
– Обнажив черты чела, говорит: «Долой обузу!
Я свободная пчела! Удаляюсь к профсоюзу!...»*

Каждый восклицательный знак, казалось, вызывал все новые опаснейшие колебания, и гости следили не за дурацким текстом, а за столь шатким равновесием. В конце концов пирамида все-таки рухнула. Никто, к счастью, не пострадал, но возникла ужасная неловкость, возможно, даже и

не от бездарности зрелища, а от подспудного ощущения фальшивости этого «бунтарства»: так или иначе, но «синие блузы» были на стороне правящей идеологии, а собравшиеся у Градовых либеральные «буржуа» всегда полагали себя в оппозиции.

– К столу, господа! К столу, товарищи! – закричал дядя Галактион.

Вдохновленные этим призывом Отари и Нугзар запели что-то грузинское и закружились в лезгинке вокруг Нины.

Провал «Семейной революции» подействовал на Нину, видимо, не менее сильно, чем на ее тезку Заречную – провал сочинения Треплева внутри сочинения Чехова. Нина, впрочем, не была еще так сильно огорчена превратностями жизни, как ее тезка, и поэтому, быстро забыв о пролетарской эстетике, нырнула к своим древним истокам, то есть встала на цыпочки и пошла мимо кузенов грузинской павой.

– Это, кажется, твое лучшее произведение, – сказал о ней ее отцу физик Пулково.

В суматохе рассаживания вокруг огромного стола два старых друга отошли к окну, за которым сквозь сосны просвечивало светящееся над близкой Москвой небо.

– Ну, как тебе это все после Англии? – спросил Борис Никитич.

Леонид Валентинович пожал плечами:

– Я уже неделю дома, Бо, и мне уже Оксфорд кажется странностью. Как они там могут без всех этих наших... хм... ну, словом, без этого возбуждения?..

– Скажи, Леня, а тебе не хотелось остаться? Ведь ты холостяк; якорей, так сказать, у тебя здесь нет, а научные возможности там несравненно выше...

Пулково усмехнулся и хлопнул Градова по плечу:

– Вот что значит хирург, сразу находит болевую точку! Знаешь, Бо, Резерфорд предлагал мне место в своей лаборатории, но... знаешь, Бо, видимо, все-таки у меня тут есть какие-то якоря...

Увлеченные разговором, они не сразу заметили, что в гостиной произошло нечто непредвиденное, возник какой-то диссонанс в праздничной многоголосице. Два командира в полной форме вошли в дом и теперь оглядывались, не снимая шинелей; это были Никита и Вадим.

– Ба! – воскликнул наконец Пулково. – Каков Никита! Комбриг?! Немыслимо! Теперь все твои чада в сборе, Бо! Доволен ты своими ребятами?

– Как тебе сказать. – Борис Никитич уже понял, что случилось нечто важное, и теперь следил за сыном. – Ребята у нас хорошие, но... хм, как-то

они, понимаешь ли, слишком увлеклись... хм... ну, другим делом... никто не продолжил семейную традицию...

Никита наконец увидел отца и пошел к нему через гостиную, деликатно освобождаясь от повисшей на левом плече сестры, мягко отодвигая трусящую с вопросами по правую руку Веронику, вежливо, но неуклонно прокладывая путь среди гостей. По пятам за ним двигался серьезный и суровый – ни одного взгляда на Веронику – Вадим Вуйнович. Тревогой веяло от этих двух фигур в форме победоносной РККА, хотя они и демонстрировали вполне безупречные манеры. Тому виной, возможно, был внесенный ими в беспечность праздника запах слишком большого пространства, смесь промозглой осени, бензина, каких-то обширных помещений, манежей ли, казарм, осенних ли госпиталей.

– Рад вас видеть, Леонид Валентинович, с приездом, с приездом, однако у меня неотложное дело к отцу.

С этими словами Никита взял под руку Бориса Никитича и уверенно, будто старший, провел его в кабинет. Вуйнович, продолжая следовать, лишь на мгновение остановился, чтобы расстегнуть крючки на воротнике шинели. Это мгновение осталось в его памяти на всю жизнь – быть может, самый жаркий миг молодости, шепот Вероники: «Что с вами, Вадим?..»

– Происходят очень важные события, отец. У наркома обострение язвы. Ему стало плохо на совещании в Кремле. Политбюро настаивает на операции. Мнения врачей разделились. Тебя просят принять участие в консилиуме. Сталин лично назвал твоё имя. Возможно, твоё мнение будет решающим. Прости, что так получилось, но мама, конечно, поймет. Комполка Вуйнович отвезет тебя в твою больницу и привезет обратно.

Никита говорил отрывисто, будто вытягивал бумажную ленту из телеграфного аппарата. Уже собираясь, профессор вдруг подумал о том, как все эти события ограбили его сына и его самого: исчезла, так и не появившись, ранняя молодость его первенца, все те очаровательные дурачества, что предвкушаются в семье, а потом с серьезностью, как важные мировые происшествия, обсуждаются. Из отрочества он сразу шагнул в эти проклятые события, и больше с ним нельзя уже было говорить иначе, как всерьез.

– Но ты, надеюсь, останешься с матерью?

– Да-да.

Никто из гостей – а уж тем более виновница торжества – не удивился неожиданному отъезду хозяина в сопровождении «красавца офицера». Выдающегося хирурга нередко вызывали в самые неподходящие моменты. Только шепотки поползли – кто там гикнулся наверху, но вскоре и они были

вытеснены мощным ароматом жаренного со специями барашка.

* * *

– На рентгеновских снимках, господа, то есть, простите, тов... словом, уважаемые коллеги, мы, конечно, видим отчетливый «эффект ниши» в стенке дуоденум, однако есть основание предполагать, что мы здесь имеем дело с интенсивным процессом рубцевания, если не вообще с зажившей язвой. Что до кровотечений последнего времени, то они, мне кажется, были следствием поверхностных изъязвлений стенки желудка, результатом застарелого воспалительного процесса. Именно такое впечатление у меня сложилось при пальпации, а я своим пальцам, гос... простите, коллеги, верю больше, чем лучам Рентгена, – старый профессор Ланг закашлялся, не закончив фразу, а потом сердито все-таки ее закончил, сказав: – ...господа и товарищи!

Большой кабинет в административном здании Солдатёнковской больницы был полон. Председательствовал, во всяком случае сидел в центре возле рентгеновских снимков, главный врач Военного госпиталя Рагозин. Считалось, что он лучше всех знал высокопоставленного больного, так как курировал его в течение последних нескольких месяцев и сопровождал во время недавней поездки в Крым. В этом собрании, впрочем, играть главную скрипку даже и Рагозину было затруднительно: не менее дюжины светил первой величины – Греков, Мартынов, Плетнев, Бурденко, Обросов, Ланг, только что подъехал Градов, ожидался знаменитый казанский профессор Вишневский...

Присутствовали на консилиуме и несколько лиц хоть и облаченных в белые халаты, но явно не имевших к медицине прямого отношения. Лица исключительной серьезности и внимания, они сидели в углу, внимали каждому слову, но сами молчали, одним только лишь своим присутствием давая понять, что обсуждается дело исключительной государственной важности. «Ланг прав, – подумал Градов, принимая из рук Рагозина папку с записями врачей и результатов анализов, – здесь есть как господа, так и явные товарищи».

– Так каков же ваш вывод, Георгий Федорович? – спросил Рагозин. – Следует ли прибегнуть к радикальной операции?

Ланг почему-то заливался потом, покрывался пятнами, то и дело вынимал большой, набухший уже по краям носовой платок.

– В своей клинике, батеньки мои, я бы такие штучки лечил диетой и

минеральной водичкой. Обычно больные...

– Но можем ли мы рисковать?! – вдруг оборвал его Рагозин. – Ведь это не обычный больной!

– Не прерывайте! – вдруг разозлился рыхлый Ланг и хлопнул ладонью по столу. – Для меня все больные обычные!

– Могу я осмотреть наркома? – шепотом спросил Борис Никитич доктора Очкина.

Пока они шли по коридору, за ними непрерывно следовал комполка Вуйнович. Возле дверей на лестничные клетки стояли красноармейцы. В смежной с палатой Фрунзе комнате профессор Градов заметил висящую на вешалке шинель наркомвоенмора – четыре ромба в петлицах и большая звезда на рукаве.

* * *

Между тем на даче в Серебряном Бору происходил один из парадоксов революции: крик сезона танец чарльстон восхищал буржуазный «пожилаж» и возмущал передовую молодежь.

– На хрена нам эта декадентщина, – заявил, например, Нинин друг, марьиноорощинский молодчага Семен Стройло. – Эту трясучку капиталисты изобрели, чтобы рябчиков с ананасами растрясать, а пролетариату она без пользы.

– Да там как раз пролетариат-то и чарльстонит, – сказал недавний путешественник Пулково, проехавший после Оксфорда пол-Европы. – Мальчишки и девчонки из низов, да и прочие, всяк, кому не лень.

– Западная блажь, – отмахнулся Стройло здоровенной ладонью с некоторой даже вельможностью.

– А вы, друг мой, что же, «барыню» собираетесь внедрять в пролетарский быт, «камаринского»? – повернулся к спорившим вспыхнувшим моноклем Михаил Афанасьевич Булгаков, само издевательство.

– Нет, нет и нет! – горячо вступилась за друга восемнадцатилетняя Нина. – Революция создает новую эстетику, будут и новые танцы!

– Похожие на старую маршировку? – невинно спросил аспирант на кафедре ее отца Савва Китайгородский, воплощение интеллигентности и хороших манер.

– Не нужно провоцировать, – прогудел Стройло, не глядя на «спеца», но давая ясно понять именно ему, чтобы не зарывался, чтобы не очень-то

пялился на Нинку, девка принадлежит победителям.

– Товарищи! Товарищи! – вскричала Нина. Ей так хотелось, чтобы все зажигались от одного огня, а не так, чтобы каждый тлел по-своему. – Ну, подумаешь, чарльстон! Такая ерунда! Ну, что нам это, с наших-то высот! Мы можем быть снисходительными! Мы можем даже танцевать его, ну, как пародию, что ли!

Рывком повернувшись – все движения обрывистые, угловатые, ЛЕФ, новая эстетика, – накрутила патефон, пустила заново пластинку, «Motta, buy me a yellow bonnet», схватила Степу Калистратова, потащила: даешь пародию! «Пародия, пародия», – петухом загоготал поэт и с величайшей охотой стал выбрасывать ноги от коленей вбок, выказывая таким образом полную осведомленность и распахивая классный пиджак, специально для сегодняшнего вечера выкупленный из ломбарда.

Ну, и Нина тоже не отставала, с наслаждением пародируя декадентский танец, приплывший под российские хляби из Джорджии и Южной Каролины от тех людей, что никогда таких слов, как «декаданс», не употребляли.

Вскоре все уже плясали, все пародировали, даже дядюшка Галактион при всех семи пудах своего жизнелюбия, не говоря уже о гибких джигитах-племянниках, и даже и сама именинница не без некоторого ужаса, поднимая тяжелый шелк до своих слегка суховатых колен... полы на старой даче ходили ходуном, нянюшка из кухни поглядывала в страхе, собака лаяла в отчаянии... может быть, старый мир и обречен, но дача рухнет прежде... и даже комбриг, и даже комбриг, влекомый соблазнительной своей женою, пышащей клубничным жаром Вероникою, сделал не менее дюжины иронических па, и даже исполненный презрения Стройло бухал хоть и не в такт, но с хорошим остервенением... и только лишь строгий марксист Кирилл Градов остался верен своим принципам, демонически глядя с антресолей на трясущуюся вакханалию.

– Перестань ты бучиться, Кирка, – сказал ему старший брат, поднимаясь на антресоли с бутылкой в правой руке и с двумя рюмками в левой. – Давай выпьем за маму!

– Я уже выпил достаточно, – буркнул Кирилл. – Да и ты, кажется... выпил предостаточно, товарищ комбриг.

Никита, поднявшись лишь до половины лестницы, начал отступление вниз, изображая комический афронт. Ну, что за тип, этот Кирюха, стоит там наверху, как член военной прокуратуры.

Комбриг и в самом деле выпил не менее шести полных рюмок водки, да еще два-три стакана грузинского вина. Только после этой дозы

напряжение прошедшего дня стало отпускать его. В начале вечера он казался себе каким-то призраком, чем-то вроде посыльного жандарма под занавес в «Ревизоре», с той только лишь разницей, что при виде него никто не впадал в ступор, а, напротив, все с живостью необыкновенной как бы обтекали его скованную фигуру. Он сделал несколько телефонных звонков в штаб и в наркомат и, только лишь узнав, что Фрунзе полностью пришел в себя и чувствует себя хорошо, присоединился к пирующим.

Некоторое время он еще смотрел на всех со странной улыбкой, ощущая себя среди гостей и родственников как бы единственным реальным человеком, представляющим единственно реальный мир, мир армии, потом алкоголь, вкусная еда, веселый шум, чертов чарльстон, пышущая жаром молодости и успеха красавица, принадлежащая ему и только ему, – все это сделало свое дело, и Никита забыл про свои ромбы и нашивки на рукаве, став вдруг обычным двадцатипятилетним молодым человеком, взялся бродить с рюмкой по всем комнатам, вмешиваться в разговоры, хохотать громче других над анекдотами, крутить вокруг себя ловкую сестренку... вот и буржуазную пародию рванул, и брата-буку попытался расшевелить... пока вдруг не увидел свою великолепную жену смеющейся в окружении нескольких мужчин. Мерзейшая мысль тут посетила его: «Собачья свадьба вокруг Вероники», и он внезапно понял, что дичайшим образом пьян.

И вот тут еще по соседству прорезался из шума гадкий голосок испитого юнца с лиловыми подглазьями... «Нас водила молодость в сабельный поход, нас бросала молодость на кронштадтский лед...» Он хорошо знал этот тип штабных кокаинистов из богемы, губки и носик вечно вздуты, раздражены, сродни каким-то ботаническим присоскам... вот именно такие дурили головы стишками и белым порошком... кому?.. вот именно нашим девушкам, тянули наших девушек в штабные закоулки, романтики, оскверняли наших девушек в чуланчиках, в платяных шкафах, даже и в сортирчиках, наших девушек растаскивали, употребляли их на диванах, за диванами, на роялях, на бильярдных столах, под роялями, под столами, в подвалах, на крышах, наших девушек, среди гнили разгромленных парников... а потом подсовывали их комиссарам, чекистам, всякой сволочи... наших девушек, бестужевок, смолянок, под хор штабной швали... да еще с гитарками, с бумажными цветками в кудрях... молодость, революция...

Он еще понимал, что в голове у него проносится какой-то идиотский, да к тому же еще и белогвардейский вздор, что не так уж много он и встречал по штабам этих оскверненных так называемых наших девушек, однако ярость уже вздымала его на свой гребень, и, почти потеряв

возможность сопротивляться ей, он сделал шаг к романтику революции.

– Позвольте вас спросить, а вы лично бывали в Кронштадте?

– Вообразите, комбриг, бывал! – запальчиво вскричал «юнец». Он, кажется, охотно принимал вызов. Белые глаза, дергающаяся щека, «юнец» был по крайней мере ничуть не моложе комбрига. – Я участвовал в штурме!

– Ага! – Никита плотно взял его за плечо, близко придвинулся. – Значит, и расстрелы видели? Видели, как мы матросиков десятками, сотнями выводили в расход?

– Они нас тоже расстреливали! – «Юнец» пытался освободиться из-под руки комбрига. – В крепости был белый террор!..

– Неправда! – вдруг завопил Никита, да так грозно, что все вокруг затихло, только мяукающий негритянский голосок долетал с пластинки. – Они нас не расстреливали! Матросы в Кронштадте большевиков не расстреливали! Они с нас только обувь снимали! – Круг лиц, скопившихся около него, вдруг проехал перед Никитой престранной лентой, объемы исчезли, остались только плоскости, он выпустил мягкое плечо. – У всех арестованных были конфискованы сапоги, это верно, – пробормотал он, – сапоги передавались босым членам команды... коммунисты взамен получали лапти... – Он снова взмыл. – Лапти, товарищи! Расстрелов не было! Даже меня, лазутчика, они не расстреляли! Это мы их потом... попалачески... зверски!

Гости, огорошенные, молчали. Вдруг с антресолей простучали шаги, скатился Кирилл, яростно бросился к брату.

– Не смей, Никита! Не повторяй клеветы!

Вероника уже висела на плече мужа, тянула в глубину дома, мама Мэри шла за ними с подносом аптечных пузырьков. Дядюшка Галактион замыкал шествие, жестами успокаивая гостей – бывает, мол, бывает, ничего страшного. С порога Никита еще раз крикнул:

– Каратели! Кровавая баня! В жопу вашу романтику!

* * *

Наркомвоенмор и в самом деле чувствовал себя значительно лучше. Он улыбался профессору Градову, пока пальцы того – каждый будто отдельный проникновенный исследователь – ощупывали его живот и подвздошные области.

– Кажется, ваш сын, профессор, служит в штабе Тухачевского? Я знаю Никиту. Храбрый боец и настоящий революционер.

Борис Никитич сидел на краю постели, бедром своим упираясь в бедро командарма. Тысячи больных прошли перед знаменитым медиком, однако никогда раньше, даже в студенческие годы, он не ощущал никакой странности в том, что человек перед ним превращается из общественного понятия в физиологическое и патологическое. От этого тела даже и в распростертом под пальцами врача положении исходила магия власти. Появлялась вздорная мысль – может быть, у этого все как-нибудь иначе? Может быть, желудок у него переходит в Перекоп?

Пальпируя треугольник над двенадцатиперстной кишкой и проходя через порядочный жировой слой все глубже, он обнаружил несколько точек слабой болевой чувствительности. Возможно, имеет место небольшой экссудат, легкое раздражение брюшины. Печень в полном порядке. Теперь возьмемся за аускультацию сердца.

Когда он склонился над грудью, то есть опять же над вместилищем героической легенды, Фрунзе на мгновение отвел в сторону его стетоскоп и прошептал почти прямо в ухо:

– Профессор, мне не нужна операция! Вы понимаете? Мне ни в коем случае сейчас не нужна операция...

Глаз в глаз. Белок самую чуточку желтоват. Веко на секунду опускается, давая понять, что профессору Б.Н.Градову оказывается полное и конфиденциальное доверие.

Происходит, кажется, что-то неладное, подумал Борис Никитич, выходя из палаты наркома. Станный пафос Рагозина, этот шепот... ммм... пациента... Какие-то «тайны мадридского двора»... Повсюду посты, странные люди... Больница, кажется, занята армией и ГПУ...

Не успел он пройти и десяти шагов по коридору, как кто-то тронул его за рукав. Тонем чрезвычайной серьезности было сказано:

– Пожалуйста, профессор, зайдите вот сюда. Вас ждут.

Тем же тоном сопровождающему Вуйновичу:

– А вас, товарищ комполка, там не ждут.

В кабинете заведующего отделением две пары глаз взяли его в клещи. Белые халаты поверх суконных гимнастеров ни на йоту не прикрывали истинной принадлежности ожидающих; да она и не скрывалась.

– Правительство поручило нам узнать, к какому выводу вы пришли после осмотра товарища Фрунзе.

– Об этом я собираюсь сейчас доложить на консилиуме, – пытаюсь скрыть растерянность, он говорил почти невежливо.

– Сначала нам, – сказал один из чекистов. «Ни минуты не задержусь, чтобы застрелить тебя, сукин сын», – казалось, говорили его глаза.

Второй был – о да! – значительно мягче.

– Вы, конечно, понимаете, профессор, какое значение придается выздоровлению товарища Фрунзе.

Борис Никитич опустил на предложенный стул и, стараясь скрыть раздражение (чем же еще была вызвана излишняя потливость, если не раздражением), сказал, что склонен присоединиться к мнению Ланга – болезнь серьезная, но в операции нужды нет.

– Ваше мнение расходится с мнением Политбюро, – медлительно, подчеркивая каждое слово, произнес тот, кого Борис Никитич почти подсознательно определил как заплечных дел мастера, «расстрельщика».

– В Политбюро, кажется, еще нет врачей, – ответил он пренебрежительным тоном. – Для чего, в конце концов, меня вызвали на консилиум?

«Расстрельщик» впился немигающими глазами в лицо – почти нестерпимо.

– Становясь на такую позицию, Градов, вы увеличиваете накопившееся к вам недоверие.

– «Накопившееся недоверие...» – Теперь уже он весь покрылся потом, чувствовал, как стекает влага из-под мышек, и понимал, что потливость вызвана не раздражением, но ошеломляющим страхом.

Чекист извлек из портфеля объемистую папку, без всякого сомнения – досье, личное дело Государственного Политического Управления на профессора Б.Н.Градова!

– Давайте уточнять, Градов. Почему вы ни разу не указали в анкетах, что ваш дядя был товарищем министра финансов в Самарском правительстве? Не придавали этому значения? Забыли? И парижский его адрес вам неизвестен – улица Вожирар, номер 88? И ваш друг Пулково не навещал вашего дядю? А вот скажите – встречались вы сами с профессором Устряловым? Какие инструкции привез он вам от вождей эмиграции?

Семь этих вопросов подобны были мощным ударам кнута, и только после седьмого наступила пауза, сродни удушению.

– Что вы говорите, товарищ? Да как же можно так говорить, товарищ...

Любовно отглаженный носовой платок, прижатый к лицу, мгновенно превратился в унижительную тряпку. «Расстрельщик» бешено шарахнул кулаком по столу.

– Тамбовский волк тебе товарищ!

Борис Никитич вбок потянул свой изысканный галстук. Позднее, анализируя это состояние и унижительные движения, он все оправдывал

неожиданностью. Так, очевидно, и было; мог ли он предположить, что в родной клинической обстановке ждет его допрос с пристрастием.

Второй чекист, «либерал», не без некоторого возмущения повернулся к товарищу:

– Возьми себя в руки, Бенедикт! – Тут же приблизился к Градову, мягко притронулся к плечу: – Простите, профессор, у Бенедикта порой нервы шалют. Последствия Гражданской войны... пытки... в белых застенках... Классовая борьба, Борис Никитич, порой принимает очень жестокие формы... что делать, порой мы становимся жертвами истории... вот поэтому и хотелось бы избежать ошибок, рассеять недоверие, накопившееся к вам, а стало быть, увы, чисто механически, и к вашим детям... при всем огромном уважении к вашему врачебному искусству... особенно важно, чтобы ученый с таким именем занял правильную позицию, показал, что ему не безразличны судьбы республики... что он сердцем, сердцем с нами, а не холодным расчетом буржуазного «спеца»... и вот в таком важнейшем деле, как спасение нашего героя командарма Фрунзе, хотелось бы видеть, что вы не прячетесь в кусты ложного объективизма... не отстраняетесь...

Борис Никитич опускал голову, бесповоротно праздновал труса.

– В конце концов, – пробормотал, – я и не говорил, что хирургическое вмешательство противопоказано...

Мягко обласкивающая его плечо рука нажала еще чуть-чуть посильнее; между плечом и рукой возникал своего рода интим.

– В известной степени радикальные меры всегда эффективнее терапии...

Рука отошла. Не поднимая головы, он почувствовал, что чекисты обменялись удовлетворенными взглядами.

* * *

Вадим Вуйнович, придерживая хлопающий по бедру планшет, стремительно сбегал по лестнице навстречу только что подъехавшим Базилевичу и двум его помощникам из штаба Московского военного округа.

– Разрешите доложить, товарищ Базилевич. Нарком принял решение идти на операцию. Предложение Политбюро подкреплено большинством консилиума. Сейчас уже идет подготовка...

Командующий МВО медленно, как будто желая сбить ритм

запахавшегося нервного комполка, расстегивал шинель, обводил взглядом вестибюль, лестницу, окна, в которых в осенней серости выделялись черные стволы деревьев и белые полосы первого снега.

– Караулы ГПУ продублировать нашими людьми, – тихо сказал он одному из своих помощников.

– Есть, – последовал короткий ответ.

Вадим не смог скрыть вздоха облегчения. С приходом Базилевича ему показалось, что все еще может обойтись, мощная логика РККА скажет свое слово, и странная зловещая двусмысленность, собравшаяся под сводами Солдатёнковской больницы, окажется лишь плодом его воображения.

* * *

К полуночи добрая половина гостей, то есть респектабельная публика, разъехалась с дачи Градовых, что навело неиссякающего тамаду Галактиона Гудиашвили на новые грустные размышления о природе «старших братьев», россиян. «С пэчалю я смотрю на этих москвычей, какие-то, понимаешь, стали слишком эвропэйцы, прямо такие нэмцы, нэ умэют гулять», – говорил он, забыв о своих недавних пассажах о скифских варварах. Все-таки он продолжал верховодить за опечаленным столом, стараясь хотя бы оставшихся напоить допьяна.

Еще больше, чем респектабельная публика, огорчала дядю Галактиона молодежь: она и не разъехалась, и на «вэликолепные» напитки мало обращала внимания. Забыв о том, что молодость в жизни бывает только один раз («Только один раз, Мэри, дорогая, ты знаешь это не хуже меня»), молодежь сгрудилась на кухне и галдела, как кинто на базаре, спорила по вопросам осточертевшей всем народам средиземноморского бассейна мировой революции.

Споры эти вспыхнули как бы стихийно, однако никто и не сомневался, что они вспыхнут. Было бы странно, если бы в конце концов не были забыты все второстепенности, флирт и вино, анекдоты, поэзия, театральные сплетни и если бы не вспыхнул на кухне – вот именно и непременно на кухне, среди немых тарелок, – характерный для интеллектуальной, партийной и околопартийной молодежи спор на политические темы. Страстные революционеры тут были, разумеется, в полном и подавляющем большинстве, однако сколько голов, столько и разных путей для скорейшего достижения счастья человечества. «Органов» пока эта молодежь не так уж боится, ибо полагает ЧК – ГПУ отрядом своей

собственной власти, а потому можно и голосовые связки надрывать, и руками размахивать, и не скрывать симпатий к различным фракциям, к троцкистам ли с их «перманентной революцией», к какой-нибудь до сего вечера неизвестной «платформе Котова – Усаченко», к антибюрократической ли «новой оппозиции» и даже к «твердокаменным» сталинистам, которые даже и при всей их унылости все-таки тоже ведь имеют право высказаться, ведь никому же нельзя зажимать глотку, ребята, ведь в этом-то как раз и состоит смысл партийной демократии.

Из общего шурум-бурума мы вытащим пока всего лишь несколько фраз и предложим читателю вообразить их гулкое эхо, проходящее по студенческим аудиториям того времени.

«...Пора покончить с нэпом, иначе мы задохнемся от сытости...»

«...Социализм погибнет без поддержки Европы!..»

«...Ваша Европа танцует чарльстон!..»

«...ЛЕФ – это фальшивые революционеры! Снобы! Эстеты!..»

«...Бухарин поет под дудку кулаков!..»

«...Слышали, братцы, в Мюнхене появилась партия национал-большевиков? Нет предела мелкобуржуазному вздору!..»

«...Почему от народа скрывают завещание Ленина? Сталин узурпирует власть!..»

«...Вы плететесь в хвосте троцкизма!..»

«...Лучше быть в хвосте у льва, чем в заднице у сапожника!..»

«...В старое время за такое бы по морде!..»

Время было пока еще «новое», и обошлось без мордобоя, хотя Ниночкин «пролетарский друг» Семен Савельевич Стройло не раз вожделенно взвешивал в руке непечатую банку «царских рыжиков».

* * *

Автоматически растирая щеткой кисти рук и предплечья, профессор Градов старался не смотреть на коллег. Впрочем, и остальные участники операции, Греков, Рагозин, Мартьянов и Очкин, мылись молча и самоуглубленно. Никому и в голову не приходило этой ночью демонстрировать какие-либо излюбленные «профессорские штучки», юморок ли, мычание ли оперной арии, хмыканье, фуканье, все эти чудачества, до которых всегда были охочи московские светила, столь обожаемые средним, полностью женским, хирургическим персоналом. Никогда еще в этих стенах не проходили антисептическую обработку

одновременно пять крупнейших хирургов, и никогда еще здесь не было такого напряжения.

Из операционной вышли анестезиологи, доложили, что дача наркоза прошла нормально. Больной заснул. Градов, которому предстояло начать, то есть открыть брюшную полость наркома, распорядился, чтобы ни на минуту не прекращался контроль пульса и кровяного давления. Подготовлены ли все стимуляторы сердечно-сосудистой деятельности? Это главный аспект операции.

Он уже держал на весу руки в резиновых перчатках, когда Рагозин, тоже закончивший обработку, попросил его на секунду в сторону.

– Что с вами, Борис Никитич?

– Все в порядке, – пробормотал Градов.

– Вы мне сегодня не нравитесь, дорогой. У вас дрожат лицевые мышцы. У вас, кажется, и пальцы дрожат...

– Нет, нет, я в порядке. Помилуйте, ничего у меня не дрожит. Не стоит, право, перед началом операции... как-то странно... не очень-то этично...

– Да-да, – проговорил Рагозин, как бы разглядывая его лицо складку за складкой. – Пожалуй, вам не стоит, мой дорогой, непосредственно участвовать. Будьте рядом на случай чего-нибудь непредвиденного, а мы начнем, помолясь...

«Боже, – подумал Градов, – не участвовать в этом». Ничего толком не понимая, замороженный и растерянный, однако уже отстраненный от этого, освобожденный, он пожал плечами, стараясь не выказать своих эмоций.

– Что ж, вы начальник. Прикажете размыться?

– Э, нет, батенька! – жестко проговорил Рагозин. – Начальников здесь нет. Мы все, и вы тоже, равноправные участники операции. Будьте наготове!

Градов сел на диван в углу предоперационной, откинул голову и закрыл глаза. Он уже не видел, как четверо хирургов, держа на весу обработанные руки, будто жрецы какого-то древнего культа, проходили за матовое стекло. К концу ночи молодежь, персон не менее дюжины, отправилась на берег Москвы-реки. Под ногами хрустели льдинки мелких лужиц. Меж соснами, в прозрачном космосе еще пылали звезды, стоял «и месяц, золотой и юный, ни дней не знающий, ни лет»...

– Я слышал, он читал это недавно в Доме архитекторов, – сказал Степан Калистратов.

– А помнишь, там же! – вскричала Нина. – Никогда не забуду этот голос... «Я буду метаться по табору улицы темной За веткой черемухи в черной рессорной карете, За капором снега, за вечным, за мельничным

шумом...» Семен, ты слышишь, Сема?!

Она как бы влекла под руку, как бы тащила, все время теребила своего долбоватого избранника Стройло, а тот как бы снисходил, как бы просто давал себя влечь, хотя временами Нинины порывы сбивали его шаг и переводили в какую-то недостойную пролетария трусцу. То кочки, то лужи какие-то под ногами – чего поперлись на реку, корни какие-то, стихи этого Мандельштама, бзики профессорских детишек...

– Что это за таборы, капоры, ребусы какие-то? – пробасил он.

– Ну, Семка! – огорченно заскулила Нина. – Это же гений, гений...

– Семен, пожалуй, прав, – сказал Савва Китайгородский. Он шел в длинном черном пальто, накрахмаленная рубашка светилась в ночи. – Черемуха и снег, как-то не сочетается...

«Какое великодушие к сопернику», – лукаво и радостно подумала Нина и крикнула идущему впереди Калистратову:

– А ты как считаешь, Степа?

– С ослами вступать в полемику не желаю! – сказал, не оборачиваясь, поэт.

У Нины едва не перехватило горло от остроты момента. Эти трое, все они влюблены, все это игра вокруг нее, все это... Она отпустила руку Семена, побежала вперед и первая достигла обрыва.

Внизу серебрилась и слегка подзолачивалась излучина реки. За ней в предрассветных сумерках обозначились редкие огни Хорошево и Сокола. До рассвета еще было далеко, однако дальние крыши и колокольни Москвы уже образовали четкий контур, а это означало, что первый день ноября 1925 года будет залит огромным светом нечастого гостя России – звезды, именуемой Солнцем.

Нина обернулась к подходящей группе. Вот они приближаются, влюбленные и друзья: Семка, Степа, Савва, Любка Фогельман, Миша Канторович, брат Кирилл, кузены Отари и Нугзар, Олечка Лазейкина, Циля Розенблюм, Мириам Бек-Назар... Их лица отчетливо видны, освещенные то ли луной, то ли предстоящим восходом, то ли просто юностью и революцией. «Какое счастье, – хотелось закричать Нине Градовой, – какое счастье, что именно сейчас! Что все это со мной именно сейчас! Что это я... именно сейчас!»

Утро застало их в окрестностях парка Тимирязевской сельскохозяйственной академии, на Инвалидном рынке. Хохоча, пили квас, когда вдруг захрипел на столбе раструб радиорепродуктора. Сквозь хрипы наконец пробилось: «Гражданам Советского Союза...» Послышались какие-то какофонические шумы, постепенно оформляющиеся в траурную

мелодию «Гибели богов» Вагнера. Наконец началось чтение:

«...Обращение ЦК РКП(б)... Ко всем членам партии, ко всем рабочим и крестьянам...

...Не раз и не два уходил товарищ Фрунзе от смертельной опасности. Не раз и не два смерть заносила над ним свою косу. Он вышел невредимым из героических битв Гражданской войны и всю свою кипучую энергию, весь свой созидательный размах отдал делу строительства нашей победоносной Красной Армии...

...И теперь он, поседевший боец, ушел от нас навсегда... Умер большой революционер-коммунист... Умер наш славный боевой товарищ...»

– Кирилл! – закричала Нина брату. – Быстрее! Вон трамвай! Домой! Домой!

Так и всегда, при всех поворотах истории и судьбы, Градовы прежде всего стремились домой, собраться вместе. Только позднее, в тридцатых, дом стал казаться им не крепостью, но западней.

* * *

Борис Никитич стоял на крыльце хирургического корпуса в ожидании машины. Его била дрожь, как будто в страшном похмелье, он боялся окинуть взглядом это неожиданно золотое утро. Уже на лестнице его догоняли какие-то люди, в халатах и без оных, совали на подпись какие-то листочки все новых и новых протоколов. Он все подписывал, не читая, думал только об одном – домой, скорей домой.

Подошла машина, из нее выпрыгнул красноармеец. Прошел комполка Вуйнович. Градова будто качнула волна от его мощного и враждебного тела. Послышался голос:

– Фокин, отвезешь домой это дерьмо!

Антракт I. Пресса

...Затемнение сознания началось за 40 минут до кончины. Смерть произошла от паралича сердца после операции...

Образована похоронная комиссия в составе: тов. Енукидзе, Уншлихт, Бубнов, Любимов, Михайлов...

...В лице покойного сошел в могилу виднейший член правительства...

...Состоялось заседание Реввоенсовета, председательствовал заместитель тов. Фрунзе Уншлихт, присутствовали члены РВС Ворошилов, Каменев, Бубнов, Буденный, Орджоникидзе, Лашевич, Баранов, Зоф, Егоров, Затонский, Элиава, Хадыр-Алиев...

...В Кронштадте и Севастополе салют произвести из береговых и судовых орудий: в первом – 50 выстрелов, во втором – 25...

...В похоронной церемонии участвовать отряду комполитсостава, авиаотряду МВО и Первой сводной роте Балтфлота. Ответственный – комкор XVII тов. Фабрициус...

...Унынию не должно быть места! Теснее ряды!..

* * *

...Из протокола вскрытия: в брюшной полости 200 см³ кровянистой, гноевидной жидкости... Бактериоскопически обнаружен стрептококк... Анатомический диагноз: зажившая круглая язва 12-перстной кишки... Острое гнойное воспаление брюшины... Ненормально большая зубная железа... Операция вызвала обострение хронического воспалительного процесса, тянувшегося с 1916 года после аппендэктомии, что в сочетании с нестойкостью организма в отношении наркоза вызвало быстрый упадок сердечно-сосудистой деятельности и смертельный исход.

Кровотечения последнего времени были следствием поверхностных изъязвлений.

Проводил вскрытие профессор А.И.Абрикосов...

* * *

...Телеграмма тов. Троцкого ЦК партии: «Потрясен! Какая жестокая

брешь в первой шеренге партии! Какой страшный удар к восьмой годовщине Октября!..»

...После бальзамирования тело перенесено в конференц-залу... В почетном карауле генштабисты, близкие товарищи Рыков, Каменев, Сталин, Зиновьев, Молотов... Охрану несут курсанты школы ВЦИК...

* * *

...Соболезнования – японского посольства, исполняющего обязанности турецкого военного атташе г-на Беды-Бей, эстонского военного атташе г-на Курска...

* * *

Н. Бухарин: «...Воплощенная мягкость, Фрунзе был громовым полководцем...»

С. Зорин: «...Светящийся след...»

М. Кольцов: «...Ядро большевистской гвардии несет неизгладимый отпечаток царского преследования... ЦК должен обратить серьезное внимание на редеющие ряды...»

* * *

...Ввиду интереса публики и в связи с разговорами об операции печатаем выписки из истории болезни.

...Консультации шли непрерывно, начиная с 8 октября, при участии Н.А.Семашко, Бурденко, Градова, Мартынова, Рагозина, Ланга, Канеля, Крамера, Левина, Плетнева, Обросова, Александрова и других профессоров... Наклонность к кровотечениям требовала оперативного вмешательства...

* * *

...Подъезжают автомобили. Вот приехал китайский генералиссимус Ху Хань Минь... делегации заводов... на крышке гроба золотое оружие... в

Колонном зале весь состав Политбюро... «Гибель богов» сменяется «Интернационалом»... Пятого ноября... снег... речь Сталина: «...Товарищи, этот год был для нас проклятьем. Он вырвал из нашей среды целый ряд руководящих товарищей... Может быть, это так именно и нужно, чтобы старые товарищи так легко и так просто спускались в могилу. К сожалению, не так легко и далеко не так просто поднимаются наши молодые товарищи на смену старым... Будем же верить, будем надеяться, что партия и рабочий класс примут все меры к тому, чтобы облегчить выковку новых товарищей на смену старым...»

* * *

Тухачевский: «...Дорогой, любимый друг!.. Я встретился с Михаилом Васильевичем в период развала Восточного фронта... Спокойствие, уверенность сквозили во всей славной фигуре тов. Фрунзе... Прощай!..»

* * *

...ЦИК СССР постановил назначить наркомвоенмором тов. Ворошилова; первый заместитель М.М.Лашевич, второй заместитель И.С.Уншлихт.

Антракт II. Полет совы

Четырехсотлетний Тохтамыш редко покидал насиженное гнездо под шатром Водовзводной башни. Казалось, одна была задача у старой птицы – пересидеть в сонливой задумчивости все эти столетия. С какой целью их следовало пересиживать, боюсь, ему (ей) самому (самой) было неизвестно. И только тогда, когда в крепости вдруг ломался порядок дней, Тохтамыш по ночам вываливался через одному ему знакомую апертуру в поток московского воздуха и совершал облет стен, как бы желая удостовериться – устоят ли? Так и в ту ночь, уловив какой-то своей ускользнувшей от внимания орнитологии мембраной волнение новых князей, называемых комиссарами, Тохтамыш пустился в свой неслышный, не ахти какой грациозный, однако исполненный онтологической уверенности полет.

Поднявшись сажень на полста – в воздухе, кроме пары заштатных ворон, никого не замечалось, пахло дымком, дерьмецом, как обычно, пороху не учуял, – он описал широкий круг над своим пристанищем, потом, снижаясь, миновал Боровицкую, пролетел, если не проплыл, над Оружейной палатой и Потешным дворцом, приблизился к Арсеналу...

Все было тихо, вязко и сыровато, караулы на местах, двери на запорах, внешне ничто не выдавало волнения комиссаров, которое Тохтамыш уловил своей таинственной мембраной, и только во дворе Арсенала металось нечто.

Тохтамыш опустил на желоб водостока, брезгливо отвернулся от валявшегося там воробьиного трупика – он уже лет сто пятьдесят не жрал падаль – и устоял на мечущееся нечто, а именно на здешнего придворного поэта Демьяна, который называл себя «бедным», хотя и был богаче многих.

Сыч уже видел как-то мельком этого человечка, невзлюбил его сразу и запомнил. Мышиную суетливость свою Демьян прикрывал, анамсыгымтуганда, революционной романтикой, бездарность виршей – актуальностью.

Что же это он так мечется, будто барсук, нажравшийся волчьей ягоды? Ах да, вдохновение! В громовые дни набега, еще в том, прежнем обличье, Тохтамыш отличался остротой слуха. Сейчас он попробовал к ней вернуться и уловил бормотание.

«...Друг, милый друг... – бормотал Демьян, заламывая руки и подымая горь мясистое лицо, то ли ища луну, то ли принимая два светящихся

совиных глаза за ободряющее созвездие. – Давно ль?.. Так ясно вспоминаю (аю, аю, аю): агитку настрочив в один присест (сест, сест, сест), я врангелевский тебе читаю (аю, аю, аю) манифест (фест, фест, фест)... Их фанге ан, я нашинаю... Как над противником смеялись мы вдвоем (ем, ем, ем)! Их фанге ан!.. Ну, до чего ж похоже (оже, оже, оже)! Ты весь сиял: у нас среди бойцов подъем (ем, ем, ем)! Через недели две мы „нашинаем“ тоже (оже, оже, оже)... Потом... мы на море смотрели в телескоп (коп, коп, коп)... Железную рукой в советские скрижали вписал ты „Красный Перекоп“ (коп, коп, коп)... А где же жали-жали-жали?..

...Потом, потом, сейчас главное – не упустить вдохновения, рифмы потом... И вот... неожиданно роковое свершилось что-то... Не пойму (му, му, му), я к мертвому лицу склоняюсь твоему (му, му, му) и вижу пред собой лицо... какое?.. живое! (вое, вое, вое)... Стыдливо-целомудренный герой (рой, рой, рой), и скорбных мыслей рой (ой, ой, ой)... совсем неплохо, по-пушкински получается... нет сил облечь в слова прощального привета... звонить в «Правду» немедленно... (ета, ета, ета)...

Больше такого надругательства над ночными словосочетаниями Тохтамыш терпеть не мог и потому нырнул вниз, овеял поэта страшноватым крылом, дабы заткнулась грязная пасть.

Глава третья

Лечение Шопеном

Год завершился в шелесте вечно двусмысленных газет, в грохоте все расширяющейся трамвайной сети Москвы, в кружении будто обугленных обитателей московского неба, во все нарастающих синкопах чарльстона, бросающего вызов триумфальному, хоть иногда и расползающемуся, словно мазут, гулу пролетарских труб.

Пришли снега, и сошли снега, накрылись и прошумели сады перед тем, как в начале октября 1926 года наше повествование вновь, вслед за молочницей Петровной, въехало на дачу Градовых в Серебряном Бору.

Двери всех комнат внизу открыты. Пусто, чисто, светло. Из библиотеки разносится Шопен. Мэри Вахтанговна играла, как всегда, бурно, с вдохновением, как бы придавая среднеевропейским равнинным пассажам некое кавказское стаккато. Время от времени, однако, она бросала быстрые внимательные взгляды на мужа, который сидел в глубоком кресле, закрыв глаза ладонью.

Рядом с хозяином в классической позе молодого послушного пса сидел Пифагор. Его высокие уши тоже улавливали поток непротивных звуков. Иногда неслышно, в шерстяных носках проходила по комнатам Агаша, раскладывала по полкам чистое белье, поглядывала на хозяина, вытирала платочком уголки глаз.

Борис Никитич в щелку между пальцами созерцал вдохновенный профиль жены. «Странно, – думал он, – ее княжеский профиль меня никогда эротически не тревожил. Но вот когда она поворачивалась ко мне лицом, с этими высокими крестьянскими скулами и пухлыми губами... Почему я думаю об этом в прошедшем времени, мы еще молоды в конце концов, наше либидо еще...»

Молочница Петровна с тяжелыми бидонами, корзиной и ведром шумно размахалась дверьми и увидела утреннюю идиллию. «Ишь ты, – с умилением подумала она, – жив буржуй».

– Господь с тобой, тише, Петровна! – бросилась к ней Агаша. – Пошли, пошли на кухню!

На кухне, выгружая сметану и творог, Петровна поинтересовалась:

– Чего-сь тут у вас такое?

– Профессор музыкой лечится, – значительно пояснила Агаша.

– Простыл, что ли?

– Ах, Петровна, Петровна, – покачала головой утонченная Агаша.
– А мой-то от всего стаканом лечится, – вздохнула Петровна. – Не поможет стакан, второй берет. Тогда порядок.
– Ну, иди-иди, Петровна.
Сунув деньги, Агаша спровадила пышущую здоровьем и чистотой бабу за дверь, а сама остановилась у притолоки – внимать.

* * *

Мэри закончила концерт блестящим глиссандо и встала.
– Как ты себя чувствуешь, Бо?
Борис Никитич тоже поднялся из кресла.
– Спасибо, Мэри! Ты же знаешь, мне этот прелюд всегда помогает. – Он подошел к жене и обнял ее за плечи, деликатнейшим образом стараясь повернуть ее к себе лицом. Мэри Вахтанговна уклонилась и показала в окно.
– Смотри, Пулково уже приехал!
От калитки к дому под пролетающими желтыми листьями не торопясь шел Леонид Валентинович Пулково в своем английском «шерлок-холмсовском» пальто.
– При всем своем разгильдяйстве Ленька всегда точен, – улыбнулся профессор.
– Ну, отправляйтесь все гулять, – распорядилась Мэри Вахтанговна. – Пифагор, ты тоже идешь с папочкой.
Пес радостно закружился вокруг, временами, будто заяц, поджимая задние ноги.
Агаша уже стояла в дверях с пальто и шляпой для профессора.
– Позвольте напомнить, Боренька и Мэричка, Никитушка и Вероникочка к ужину прибывают прямо с вокзала, – сказала она.
– Да-да, Бо, ты не забыл? Через два часа у нас полный сбор, – строго, пытаясь сдержать какое-то экстатическое чувство цельности, произнесла Мэри Вахтанговна.
Пес не мог сдержать, очевидно, очень похожего чувства, подпрыгнул и лизнул хозяйку в подбородок.
– Да-да, Пифа, ты не забыл! – восхитилась она. – Я вижу, вижу! Напомни в крайнем случае своему папочке, если он вместо оздоровительной прогулки отправится со своим другом на ипподром.
Весь прошлый год Борис Никитич, невзирая на сильнейшие приступы

уныния, работал как оглашенный. За операционным столом он уже, по сути дела, не знал себе равных – то, что называется мастерством, давно ушло, уступив место высочайшему классу, виртуозности. Он и в самом деле ощущал себя с ланцетом и кохером в руках чем-то вроде дирижера и скрипача-солиста одновременно. В минуты вдохновения – да-да, он испытывал иной раз истинное хирургическое вдохновение! – ему казалось, что вся сфера жизни, находящаяся в этот момент под его господством – ассистенты, сестры, инструменты, распростертый пациент, – в эти минуты вся жизнь улавливает не только его слова, хмыканья, покашливания, малейшие жесты, но и мысли, никак не выраженные, чтобы немедленно им подчиниться, и не ради подчинения, а ради общего согласного звучания, то есть гармонии.

Лекции его всегда собирали «битковую» аудиторию. Врачи из столичных клиник и из провинции ссорились со студентами из-за мест. Говорили, что даже университетские филологи приезжают, якобы для того, чтобы удостовериться на его примере в жизнеспособности и идейной цельности сохранившейся части российской интеллигенции.

Еще большие успехи были достигнуты в теории и создании школы. Статьи, направленные на развитие его оригинальной концепции хирургического вмешательства, вызывали немедленные живые дискуссии на заседаниях Общества и в печати, как отечественной, так и, да-с, зарубежной. Молодые врачи, идущие по его стопам, и среди них прежде всего талантливейший Савва Китайгородский, гордо называли себя «градовцами». Словом... да что там... как бы там ни было... ах, черт возьми...

Кто из этих «градовцев», кроме, может быть, Саввы, когда-либо догадывался, что их кумир время от времени со стоном и скрежетом зубовым валится на диван, набок, скатывается по кожаной наклонности на ковер, стоит там на коленях, дико исподлобья оглядывает углы, умоляюще вскидывает бородку к потолку, будто ищет икону, коих по наследственному позитивизму уж, почитай, столетие Градовы в доме не держат. Еще и еще раз спрашивает он себя: что же тогда произошло в Солдатёнковской больнице? «Ничего не произошло, я просто был отстранен, со мной не посчитались, – говорит он себе сначала в дерзкой гордыне, – как угодно, мол, считайте, Ваша Честь Верховный Судия, но я себя ни лжецом, ни трусом не признаю».

Повыв, однако, немного и подергавшись, если Мэри вовремя не войдет и не ринется к роялю, он начинает понемногу сдавать позиции. Ну, спраздновал труса, да; ну, испугался Чека, но кто ж этих извергов не

боится, ну... Ну вот и все, Милосердный! И только уж на третьей фазе, опять же если Мэри умудрится прохлопать развитие кризиса, Борис Никитич позволял себе кое-какое рукоприкладство к своему гардеробу – то рубашку рванет на груди, как кронштадтский матрос, то располосует жилет – и громко выкликает: «Соучастник! Соучастник!»

Да, в эти минуты он себя полагал прямым соучастником убийства главкома Фрунзе, и тут уж Мэри непременно появлялась с настойкой брома, со своей теплой грудью и со спасительным Шопеном.

И не потому, конечно, так казнился Борис Никитич, что убит был нарком, герой, могучий человек государства – ничем он был не лучше их всех, такой же изверг, расстреливал пленных, – а потому, что это был пациент, святое для врачебной совести тело.

К счастью, приступы такой несправедливости, вот именно несправедливости по отношению к самому себе становились все реже. В спокойные же дни если и вспоминал профессор Градов про ту октябрьскую ночь прошлого года, то думал только о том, что же фактически сделали Рагозин и другие, чтобы отправить командарма в нереальные реальности. Даже и сейчас, невзирая на почти неприкрытый цинизм этих людей, коему он был свидетель, он не мог допустить, что кто-нибудь из коллег оказался способен попросту, скажем, пересечь артерию. Ведь не буденновцы все-таки, врачи же все-таки, врачи!

* * *

Зазвенел отдаленный трамвай. Счастливые дети проскальзывали на велосипедах. Менее счастливые, но все-таки счастливые донельзя разгоняли самодельные самокаты. С шумом взлетает грай грачей, мгновенно порождая вихрь листопада.

Два друга с гимназических лет, профессор Борис Никитич Градов и Леонид Валентинович Пулково, прогуливаются в классическом стиле московской интеллигенции – шляпы чуть сдвинуты назад, пальто расстегнуты, руки за спиной, лица освещены мыслью и обоюдной симпатией. Они то идут вдоль долгих заборов, то удаляются в рощи, то выходят к трамвайной линии и тогда подзывают Пифагора – тот тут же подскакивает с раскрытой лукавой пастью – и берут его на поводок.

– Да, Бо, – чуть приостановился Пулково, – третьего дня натолкнулся в «Вечерке» на сообщение о тебе. Что же ты не хвастаешься? Назначен главным хирургом РККА! Ну, не гигант ли?

Градов слегка поморщился, однако принял предложенный гимназический тон.

– Да-с, милостисдарь, мы теперь в генеральских чинах, не вам чета. Мое превосходительство! Ты, жалкий физик, не можешь велосипеда себе купить, а у меня «персоналка» с шофером-красноармейцем! Слопал? На здоровье!

Пулково залебезил вокруг с услужливой шляпой подхалима:

– Мы, ваше превосходительство, это дело даже очень понимаем и уважаем, с нашим полным уважением...

Градов вдруг остановился и сердито ткнул тростью в ствол ближайшей сосны:

– Я знаю, что ты имеешь в виду, Лё! Эти мои внезапные выдвижения последнего года! Вчера еще без всяких чинов, а нынче уже и завкафедрой, и главный консультант наркомздрава, вот теперь и РККА... – Он все больше волновался и обращался уже вроде бы не к своему закадычному Лё, а как бы бросал вызов некоей большой аудитории. – Ты, надеюсь, понимаешь, что мне плевать на все эти чины?! Я всего лишь врач, только лишь русский врач, как мой отец, и дед, и прадед! Ничего дурного я не сделал, решительно ничего героического, но я всего лишь врач, а не... не...

Пулково ухватил друга под руку, повлек дальше по пустынной аллее. Слева уже кружил, подпрыгивая и заглядывая в лицо, Пифагор.

– Ну, что ты так разволновался, Бо? От тебя не геройства ждут, а добра, помощи...

Градов с благодарностью посмотрел на Пулково: этот всегда найдет нужное слово.

– Вот именно, – сказал он уже мягче. – Вот только оттого я и принимаю эти посты, ради больных. Ради медицины, Лё, ты понимаешь, и, в частности, ради продвижения моей системы местной анестезии при полостных операциях. Ты понимаешь, как это важно?

– Объясни, пожалуйста, – серьезно, как ученый ученому, сказал Пулково.

Градов мгновенно увлекся, в лучших традициях ухватил друга за пуговицу, потащил.

– Понимаешь, общий наркоз, во всяком случае, в том виде, как он сейчас у нас применяется, весьма опасная штука. Малейшая передозировка, и последствия могут быть... – Он вдруг осекся, будто пораженный догадкой... – малейшая передозировка, и... – Он оперся плечом о ствол сосны и тяжело задышал.

«Как это я раньше не догадался, – думал он. – Эфир в смеси с

хлороформом. Вогнали в своего командарма лишнюю бутылку проклятущей смеси, и дело было сделано. Да-да, припоминаю, тогда еще мелькнуло, что пахнет эфиром сильнее, чем обычно, но...»

Теперь уже опять Пулково тянул его.

– Ну, пойдем, пойдем, Бо! Давай-ка просто подышим, помаршируем, разомнем старые кости!

Не менее четверти часа они быстро шли по просеке и не разговаривали. Потом свернули в редкий березняк и разошлись среди высоких белых стволов. Пифагор сновал между ними, как бы поддерживая коммуникацию. Вскоре, впрочем, и другая коммуникация возникла, звуковая. Ее завел Леонид Валентинович, явно напоминая Борису Никитичу те времена, когда они, гимназисты, вот так же бродили по лесу, время от времени затевая оперные дуэты.

– Дай руку мне, красотка, – гулким басом запрашивал Пулково.

– Нет, вам не даст красотка, – тенорком отвечивал Градов, ну, сущий Собинов.

Лес вскоре кончился. Оказавшись на обрыве над Москвой-рекой, они пошли по его краю в сторону дома. Пулково, как с чувством выполненного долга – находился, мол, надыхался, – теперь раскуривал трубочку.

– Ну, а что у тебя, Лё? – спросил Градов.

– Со мной происходят странные вещи, – усмехнулся Пулково. – С некоторого времени стал замечать за собой хвост.

– Хвост женщин, как всегда? – тепло улыбнулся Градов. Вечный холостяк, физик пользовался в их кругу устойчивой репутацией сердцеда, хотя никто не мог бы вспомнить никаких особенных фактов сердцеда с его стороны.

– Если бы женщины, – усмехнулся снова Пулково. – Пока что за мной ходят мужчины с явным отпечатком Лубянки на лицах. Впрочем, может быть, у них есть и женщины для этой цели.

– Они! Опять они! – воскликнул Градов. – Какого черта им надо от тебя, Лё?

Физик пожал плечами:

– Просто понятия не имею. Неужто моя поездка в Англию, переписка с Резерфордом? Право, смешно. Кого в ГПУ интересуют теоремы атомного ядра?

Борис Никитич посмотрел сбоку на своего всегда такого уверенного в себе и ироничного друга и вдруг подумал, что у того, возможно, нет никого ближе, чем он, на свете.

– Слушай, Лё, хочешь я поговорю с кем-нибудь там у них, наверху,

попытаюсь узнать?

– Нет-нет, Бо, не нужно... Я, собственно, просто так тебе сказал. Ну, на всякий пожарный...

– Слушай, Лё, почему бы тебе к нам не переехать? Скажем, на полгода? Пусть они увидят, что ты не один, что у тебя большая семья.

Леонид Валентинович растроганно положил руку на плечо друга:

– Спасибо, Бо, но это уже лишнее. Сейчас все-таки не военный коммунизм.

* * *

Вечером на даче состоялся один из тех ужинов, что становились как бы вехами в жизни маленького клана, – полный сбор. Чаще всего он объявлялся в связи с приездом из Минска комбрига Никиты и Вероники; однако возможность всем увидеться была только внешним поводом. Каждый понимал, что главная ценность полного сбора состоит в проверке прочности основ, в оживлении того чувства цельности, от которого у мамы Мэри иногда просто перехватывало дыхание.

Итак, все уже, или почти все, собрались вокруг стола, нет только Нинки; егоза, разумеется, опаздывает.

– Где же эта чертова Нинка? – надувает губы капризная Вероника.

Красавица за истекший год весьма раздулась, еле помещается в широченном, специально сшитом полесском платье. Губы и нос у нее припухли, каждую минуту она готова заплакать.

«Я старше Нинки на каких-нибудь несколько лет, – думает она, – а вот сижу тут брюхатая, как деревенская дура, а Нинка небось где-нибудь слушает Пастернака или у Мейерхольда крутится... И все Никита, это все он, эгоист противный...»

Борис Никитич, сияя, потянулся к невестке, кольнул бороденкой в щеку, поднял бокал, обращаясь к ее огромному животу:

– Уважаемый сэр Борис Четвертый! Надеюсь, вы меня слышите и готовы подтвердить, что в отличие от нынешнего поколения революционеров вы собираетесь восстановить и продолжить градовскую династию врачей!

Вероника скривила рот – шутка тестя показалась ей тошнотворней всей расставленной на столе великолепной кулинарии. Никита встревоженно к ней повернулся, но она все же преодолела отвращение и вдруг неожиданно для себя ответила тестю вполне сносно, в позитивном

ключе, шуткой же:

– Он спрашивает, в какой медицинский институт поступать, в Московский или Ленинградский?

Все вокруг замечательно захохотали.

– Что за вопрос?! – грозно взревел Борис III, то есть профессор Градов. – В мой институт, конечно, к деду под крыло!

Все стали шумно чокаться и закусывать, а Вероника, опять же к полному собственному изумлению, вдруг взяла маринованных помидоров и придвинула к себе целое блюдо.

Тут захлопали входные двери, протопали быстрые шаги, и в столовую вбежала Нина; темно-каштановые волосы растрепаны, ярко-синие глаза пылают в застойном юношеском вдохновении, воротник пальто поднят, под мышкой портфель, на плече рюкзак с книгами.

– Привет, семейство!

Взвизгнув, бросилась к Веронике, поцелуй в губки и животик, плюхнулась на коленки к брату-командиру, с трагической серьезностью пожала руку брату-партработнику – «Наше вам, товарищи твердокаменные!» – будто английская леди, протянула руку для поцелуя Леониду Валентиновичу Пулково и, наконец, всех остальных одарила поцелуями. Самый нежный поцелуй достался, конечно, Пифочке, Пифагору.

– Хотя бы по случаю приезда брата могла прийти вовремя, – проворчала Мэри Вахтанговна.

Нина, еще не отдышавшись то ли от бега, то ли от буффонады, а может быть, от «исторического возбуждения», вытащила из рюкзака свежий номер «Нового мира», швырнула его на стол – пироги подпрыгнули.

– Ну-с, каково?! В городе дикий скандал! Сталинисты рычат от ярости. Вообразите, ребята, весь тираж «Нового мира» с «Непогашенной луной» конфискован! Совсем с ума посходили! У них почва уходит из-под ног, вот в чем дело!

Все собравшиеся улыбались, глядя на возбужденную девчонку. Даже мама Мэри хмурилась только притворно, с трудом скрывая обожание. Всерьез хмурился лишь Кирилл. Он сурово постукивал пальцами по столу и смотрел на сестру суженными глазами, едва ли не в стиле следователей ГПУ.

Нина же с изумлением вдруг поняла, что присутствующие, что называется, «не в курсе». То, что буквально ярило факультет, да и вообще всю «молодую Москву», здесь, в Серебряном Бору, было лишь каким-то отдаленным звуком, вроде погромохивания трамвая.

– Позвольте узнать, мисс, что это за «Луна», что наделала такого шуму? – поинтересовался Пулково.

– Повесть Пильняка, неужели не слышали?

– А о чем эта повесть, малыш? – спросил отец.

– Ну, вы даете, народы! – захохотала Нина. – Помните, прошлой осенью? Смерть командарма Фрунзе в Солдатёнковской больнице? Ну вот, я еще не читала, но повесть именно об этом, Пильняк намекает на подозрительные обстоятельства...

Она осеклась, заметив вдруг, что все лица за столом окаменели.

– Что такое с вами, народы?

За столом воцарилось неуклюжее молчание. Нина переводила взгляд с одного на другого. Отец сидел неподвижно, глаза его были закрыты. Мать тревожно смотрела на него, дрожащим голосом бормотала что-то растерянное, можно было уловить: «...какие, право, неуместные... странные... такой вздор... глупые сплетни...» Пулково застыл с не донесенной до рта рюмочкой водки. Тихо поскуливал Пифагор. Агаша с поджатыми губами терла полотенцем совершенно чистое блюдо. Кирилл углубился в тарелку с винегретом. У Никиты на лице было написано почти открытое страдание. В глазах беременной красавицы быстро скапливалась влага.

Напряжение было прервано звонком в дверь. Агаша просеменила открывать и вернулась с дюжим и румяным военным. Тот стукнул каблуками, прямо по-старорежимному, отдал честь, заорал:

– Младший командир Слабопетуховский! По вашему приказанию, товарищ профессор, машина из Первого военного госпиталя!

Борис Никитич посмотрел на часы, слабо вздохнул.

– Ой, уже половина восьмого, – встал, поцеловал Мэри Вахтанговну. – Я вернусь сразу после операции.

Младший командир Слабопетуховский направился к выходу, на ходу подкрутив карикатурный ус, что-то шепнул тут же зардевшейся старой девушке Агафье. Профессор вышел за ним.

Мэри Вахтанговна, гордо подняв подрагивающий подбородок, демонстративно не смотрела в сторону дочери.

– Какая жестокость, – проговорила она. – Какая самовлюбленность! Так ничего не замечать! Отец жертвует всем ради своих больных, ради своего подвижничества! Не знает ни дня, ни ночи...

– Да что, в конце концов, происходит?! – воскликнула Нина. – Что за МХАТ тут разыгрывается?

Никита положил сестре на плечо свою весомую руку с шевроном.

– Спокойно, Нинка. – Он повернулся к матери и мягко спросил: – Мама, может быть, мы должны объяснить Нинке?..

Мэри Вахтанговна резко встала из-за стола.

– Не вижу никакой необходимости! Нет ничего, что нуждается в объяснении! – Драматически сжав руки на груди, она быстро вышла из столовой.

Никита, шепнув сестре: «Поговорим завтра», пошел вслед за матерью. Весело начавшийся ужин дымился в развалинах.

Кирилл как бы с некоторой брезгливостью кончиками пальцев оттолкнул от себя номер «Нового мира» и исподлобья уставился на Нину.

– Если этот клеветнический номер был запрещен, где ты его достала, позволь спросить?

Нина схватила журнал, выпалила прямо брату в лицо:

– Не твое дело, сталинский подголосок!

Кирилл совсем уже в партийном стиле шарахнул кулаком по столу:

– Ты считаешь себя идейной троцкисткой?! Дура! Пиши лучше свои стишки и не лезь в оппозицию!

Отшвырнув стулья, оба молодых отпрыска Градовых вылетели из столовой в разные стороны.

Агаша, вскрикнув уже даже и не в стиле МХАТа, а прямо в своей природной замосквореченской, то есть Малого театра, манере, скрылась на кухне.

В полной растерянности разъехался четырьмя лапами по паркету Пифагор.

За недавно еще густо населенным столом остались только Пулково и Вероника. Она приложила платок к глазам, стараясь не расплакаться, но потом высморкалась в этот платок и неожиданно рассмеялась.

– Наш Кирка совсем уже очумел по партийной линии, – сказала она.

Пулково налил себе рюмочку и подцепил треугольничек соленого груздя.

– Мда-с, и всюду страсти роковые, – произнес он как раз то, что и должен был произнести холостяк джентльмен, глядя на ссору в большом семействе.

Вероника улыбнулась ему, показывая, что помнит, как год назад в этом доме они едва ли не флиртовали.

– Вот видите, Леонид Валентинович, еще год назад здесь, помните, Мэричкин день рождения, я крутилась, кокетничала, а сейчас... – Она показала ладонями, будто крылышками, на живот. – Вот видите, как изуродовалась.

– Ваша красота, Вероника Александровна, немедленно восстановится после родов, – сказал он.

– Вы думаете? – совсем по-детски спросила она и тут же накуксилась. – Ох, какая дура!

Пулково глянул на часы, встал прощаться, взял руку Вероники в обе ладони.

– Между прочим, я сейчас часто играю на бильярде с одним интересным военным, комполка Вадимом Георгиевичем Вуйновичем. Он нередко вспоминает вас с Никитой... вас особенно...

– Не говорите ему, что мы приехали! – воскликнула она.

В следующий момент оба вздрогнули: из кабинета начали разноситься бурные драматические пассажи рояля. Пифагор бросился к дверям, ударил в них передними лапами. Выскочила Агаша, схватила его за ошейник:

– Тише, Пифочка, тише! Теперь наша мамочка сами лечатся!

* * *

Мэри Вахтанговна музицировала весь остаток вечера. Нине в ее комнате наверху иногда казалось, что рояль обращается прямо к ней, то требует, то просит сойти вниз и объясниться. Она злилась на эти воображаемые призывы: сами что-то скрывают от нее, а потом устраивают сцены. Обвиняют в равнодушии, а самым наплевать на жизнь дочери! Разве хоть раз мать или отец, не говоря уже о братьях, спросили, что происходит в «Синей блузе», в «Лито», в отношениях с друзьями, с Семеном... Все разговаривают с ней только каким-то раз навсегда усвоенным дурашливым тоном, как будто она не вырастет, не мучается проблемами революции. Да и что для них революция? Они просто счастливы, что она отходит на задний план в жизни страны, что прежняя их комфортная обыденщина так быстро восстанавливается. Чем, по сути дела, мои родители отличаются от нэпачей, от какого-нибудь Нариман-хана из «Московского Восточного общества взаимного кредита», о котором недавно писал Михаил Кольцов? Тот ликует в своем банке под защитой швейцаров в зеленой униформе, здесь – дворянские фортепианные страдания, вечерние туалеты для выездов в оперу... «Нормальная жизнь» возвращается, какое счастье!

Не раздеваясь, она валялась на своей кровати, пытаясь читать «Непогашенную луну», но не читалось никак, строки ускользали, набегали одна за другой досадные мысли: «Как-то не так я живу, что-то не то я делаю, почему я позволяю Семену так себя вести со мной, почему я

стесняюсь своей романтики, своих стихов, почему я не откровенна сама с собой и не могу сказать себе, что на ячейке мне скучно, почему...»

Она заснула с открытой книжкой «Нового мира» на животе и очнулась только от шума подъезжающего автомобиля. Хлопнула калитка. Нина выглянула в окно и увидела своего любимого отца. Веселый, в распахнутом пальто, он шел в свете луны по тропинке к дому. Значит, операция прошла удачно. Стукнула дверь, застучали каблучки. Любимая мать побежала навстречу мужу. Слышны их веселые голоса.

Нина погасила лампу, но продолжала сидеть, прижавшись лбом к стеклу. Луна парила в чистом небе над серебряноборскими соснами. По тропинке к дому теперь шествовал, поводя гвардейскими плечами, младший командир Слабопетуховский. Послышался его паровозный голос: «А я гляжу, печка-то у вас на кухне малость дымит, Агафья Власьевна». – «Ой, не говорите, товарищ Слабопетуховский! – отвечал пронзительный от счастья голос Агаши. – Не печь, а чистый бегемот! Сажень дров на неделю!»

Нина вытащила тоненькую книжечку Пастернака, открыла наугад и прочла:

*Представьте дом, где пятен лишена
И только шагом схожая с гепардом,
В одной из крайних комнат тишина,
Облапив шар, ложится под бильярдом.*

Тишина в конце концов действительно улеглась. Сквозь дремоту Нине почудилось, что по соседству, в спальне родителей, кто-то занимается любовью. «Но этого же не может быть», – улыбнулась она и заснула.

Глава четвертая

Генеральная линия

Северное бабье лето наутро обернулось сильным холодным дождем, лишенным какого-либо поэтического контекста. Кирилл Градов в кургузом пальтишке и рабочей кепочке, спасая книги за пазухой, быстро шел по улице поселка к трамвайному кольцу. На полпути его догнала легковая машина. Рядом с водителем сидел старший брат, Никита, в полной форме комдива. Машина притормозила, Никита открыл дверь и пригласил Кирилла:

– Слушай, я еду в наркомат. Садись, подвезу!

Не замедляя шага, Кирилл махнул рукой:

– Нет, спасибо! Я на трамвае!

Никита сделал знак шоферу, и автомобиль медленно поехал вровень с идущим. Красный командир с улыбкой смотрел на нахохленного партработника.

– Перестань дурить, Кирка! Ты же промокнешь!

– Ничего, ничего, – пробормотал Кирилл и вдруг осерчал: – Езжайте, езжайте, ваше превосходительство! Мы к генеральским авто не приучены!

Никита тогда тоже немного разозлился:

– Ух ты, какие гордые нынче у нас марксисты! Да ведь ты и сам сейчас в ранге градоначальника, шутка ли, второй секретарь Краснопресненского райкома!

Не ответив, Кирилл резко свернул за угол. Шофер посмотрел на комдива: прямо или направо? Никита показал – езжайте за ним! Автомобиль повернул за Кириллом, невзначай пересек большую лужу, обдав идущего мутной водой. Никита не поленился наполовину вылезти и встать правой ногой на подножку.

– Послушай, Кирка, я давно тебе хотел сказать. Зачем ты культивируешь этот псевдопролетарский стиль? Ну, где ты откопал этот пальтукан? Дома висят без дела по крайней мере три хороших драповых пальто, а ты ходишь в рогоже! Штаны у тебя на задку так вытерлись, что можно как в зеркало смотреться! Кому и что ты хочешь доказать?

– Ровным счетом ничего и решительно никому! – рявкнул в ответ младший брат. – Оставьте вы все меня в покое! Я получаю партмаксимум сто двадцать три рубля в месяц и должен одеваться и питаться в соответствии с этим. В партии еще сохранился здравый смысл! Мы не

пойдем за теми, кто внедряет в РККА дух старорежимного офицера.

Задетый за живое, Никита вызывающе захохотал. Он даже забыл о присутствии шофера с треугольничками в петлицах.

– Ха-ха, ты думаешь, твои любимые вожди такие же аскеты, как ты?

Кирилл ткнул в его сторону гневным указательным:

– Повторяешь мелкобуржуазные сплетни, комдив!

В этот момент в конце улицы появился трамвай, неся на борту рекламу известного лефовца Александра Родченко: «Не грустили, вкусно ели Макароны-Вермишели!» Не глядя больше на брата, Кирилл опрометью пропустил к кольцу. Никита сердито захлопнул дверцу машины. Проезжая мимо остановки, он смотрел, как граждане бросаются в вагон, стремясь захватить сидячие места. Признаться, он уже забыл, как это делается.

В сухую погоду в трамвае, несмотря на давку, все шелестят газетами, умудряются их разворачивать над головами или между ног. Нынче намокшие газеты не шелестели и не спешили разворачиваться, однако граждане все равно хорошо читали. Прогрессивные иностранцы постоянно отмечают, что в СССР самая читающая публика. Кирилл недавно дискутировал вопрос о печати с помощником отца Саввой Китайгородским. Собственно говоря, он даже не дискутировал – что можно дискутировать с типичным буржуазным либералом? – а проверял на Савве правильность партийных установок.

Естественно, мусье Китайгородский недоволен. Чего стоят все послабления нэпа, если печать осталась в руках у правящей партии, если ни одна дореволюционная газета не восстановлена?

Вот чего они хотят: не только нэповских лавок, но разнузданной прессы. Значит, в этом направлении мы держим правильный курс. Никаких поблажек. Пресса – здесь Троцкий прав – острейшее оружие партии!

Кирилл стоял в углу трясущегося вагона, зажатый с трех сторон мокрыми, хмурыми пассажирами такого же, как и у него, пролетарского обличья. Газетные заголовки маячили у него перед глазами. Пресса партии богата событиями. И очень хорошо, что они даются в партийной интерпретации: человека не бросают в одиночку на съедение факту, наоборот, учат потреблять факты, оценивать их с классовых позиций.

Расстрел за растрату; избирательного права лишены кулаки, служители культа, бывшие царские чиновники; увеличивается экспорт леса; за покупку жилплощади – выселение; «Рычи, Китай!»; Футбол: сборная сахарников и совторга бьет «Пролетарскую кузницу»; центральный аэродром им. т. Троцкого, новые аэропланы «Наркомвоенмор», «Л.Б. Красин», «Имени тов. Нетте», полет шара, аэронавт – слушатель академии

воздухофлота тов. Федоров... Много, много фактов, жизнь в красной республике бурлит; вот еще – отповедь Пилсудскому; а вот вам и реклама – краски, хна-басма, «Тройной» одеколон, вежеть... на потребу мещанству...

Отвернувшись к окну, Кирилл вытащил свое чтение – толстую книгу. Он делал вид, что не замечает, как две его постоянные попутчицы, девчушки лет двадцати, совсем не противные на вид секретарши-машинистки, поглядывают на него и хихикают.

– Все-таки он очень хорошенький, не находишь? – сказала одна.

– Очень уж серьезный, – сказала другая. – Что же он читает? – Она вполне бесцеремонно заглянула Кириллу под локоть. – Ну и ну, «Учебник хинди»!

Кирилл молчал, стискивал зубы, хиндусские слова мельтешили перед ним без всякого смысла, будто только добавляли вздору в общий вздор вокруг его столь цельной личности: споры с Нинкой и Никиткой, мокрая, гнусная одежда, идиотизм газет, волнение и трусость от близости двух этих девиц.

Трамвай подходил к Песчаным, там пересадка. Пассажиры готовились к еще одной атаке.

* * *

Причина, по которой комдива Градова в этот раз вызвали в Москву, была, с его точки зрения, несколько надуманной. Новый наркомвоенмор Климент Ефремович Ворошилов делал большой доклад о современной военной стратегии, что ж, прекрасно, в добрый час, но зачем же отрывать такое количество командиров на местах от неотложных практических дел, в частности от отработки взаимодействия кавалерии и танкеток в условиях наступательных действий на лесостепной равнине? Да и в личном смысле эта поездка была в высшей степени не ко времени – Вероника на последнем месяце беременности. Никита надеялся, что она на этот раз останется в Минске под присмотром привычных и вполне опытных врачей окружного госпиталя, которые к тому же знали все ее «бзики», но она и слышать ничего не хотела: «Упустить поездку в родную Москву, в бурлящую столицу, вырваться хоть на неделю из этого затхлого Минска; даже не думай об этом!»

Провинциальное прозябание, бессмысленная трата «лучших лет» были едва ли не главными темами их домашних разговоров. В лучшие дни

он шутил с женой, называя ее «четвертой чеховской сестрой» с этим их вечным журавлиным кличем: «В Москву, в Москву!»; в худшие, когда она впадала в крошечный мрак, Никита иной раз попросту выскакивал из дома и отправлялся без всякого дела в штаб, где часто сидел в темном кабинете и отгонял свои собственные, кронштадтские мраки.

И вот теперь он сидит в большом конференц-зале наркомата, смотрит на лоснящуюся физиономию докладчика, а думает только о жене, о том, что, не дай Бог, это начнется у нее в каких-нибудь Петровских линиях или в Лубянском пассаже, куда она, конечно же, отправилась инспектировать модные лавки.

Ворошилов, похоже, просто наслаждался своей ролью главнокомандующего, военного философа и стратега. Плотненький, цветущий, с маленькими аккуратными усиками, он даже в своей идеальной, явно сшитой на заказ форме выглядел преуспевающим купчиком с Кузнецкого моста. При внимательном наблюдении в его лице со смышленными глазками можно было уловить промельки исключительной глупости. Время от времени, как бы напоминая о себе, кто он такой, Климент Ефремович на мгновение застывал, фиксировал монументальность.

После лекции в коридоре Никиту окликнули трое бравых командиров. Одного из них он сразу узнал – Охотников! Они обнялись. Охотников бросил взгляд на его петлицы:

– Ого, ты уже комдив, Никита!

– Вот уж не ожидал тебя увидеть, Яков, – сказал Никита. – Давно из Закавказья?

– Да я сейчас на курсах, в академии. Набираюсь премудрости, – смеялся Охотников. – Знакомься с моими однокашниками. Аркадий Геллер, Володя Петенко.

По манере рукопожатия Никита с удовольствием опознал кадровых крепких бойцов.

– Очень рад. Позвольте, Аркадий, а вам не кажется, что мы уже встречались?

– Конечно, – сказал Геллер. – На Польском фронте, в октябре двадцатого. Бронепоезд «Гроза Октября».

– Совершенно верно! – воскликнул Никита.

Из конференц-зала в этот момент вышел в сопровождении высших чинов Ворошилов. Под мышкой у него была папка с только что прочитанным докладом. Круглая физиономия поворачивалась, очевидно ожидая восторженных взглядов со стороны курящих в коридоре

командиров. Охотников довольно небрежно махнул головой в сторону наркома:

– Ну, как тебе доклад нового командующего?

Никита дипломатически пожал плечами.

– Ну, не новый ли Карл Клаузевиц? – насмешливо процедил Геллер.

– Бо-о-льшой теоретик! – хохотнул Петенко.

Никита засмеялся:

– Я вижу, друзья, Москва и на вас действует своей крамолой.

Охотников взял его под руку, заглянул в лицо:

– А что же? Оппозиция, конечно, слишком горлопанит, но во многом она права. Армия лучше других знает хватку бюрократов.

Вспоминая потом этот короткий разговор, Никита пришел к выводу, что он открыл ему сразу несколько важных тем, которые бередили столицу. «Бюрократами» здесь называли сталинистов, то есть большинство существующего Политбюро. Слушатели Военной академии имени М.В.Фрунзе близки к высшим военным кругам. Высказывания Охотникова, Геллера и Петенко явно показывают, что в этих кругах зреет раздражение против навязывания РККА «бюрократического» стиля руководства. Если эти круги еще не стали союзниками оппозиции, то, во всяком случае, они симпатизируют ей, хотя бы уж потому, что она выступает против тех, кто после двух блестящих личностей, Троцкого и Фрунзе, продвинул на высший военный пост страны бездарного Ворошилова. Ну, а симпатии армии – это всегда достаточно серьезно.

По сути дела, разговор прервался в самом интересном месте, сожалел потом Никита. Он увидел проходящего мимо по коридору комполка Вуйновича. Он даже столкнулся с ним взглядом, но тот немедленно отвернулся, не проявляя ни малейшего желания останавливаться.

– Вадим! – крикнул Никита.

Вуйнович, не оборачиваясь, прошел по коридору и свернул за угол.

– Вадим, черт тебя дерит!

Оставив «академиков», Никита побежал по коридору, тоже повернул за угол и остановился. Теперь они были одни в пустом крыле здания. По паркету четко стучали удаляющиеся шаги Вуйновича.

«Как это глупо, – думал Никита, – порвать с лучшим другом из-за какой-то двусмысленной ситуации, в которую попал отец друга. Даже если бы он был замешан в то темное дело, то я тут при чем? А он к тому же и не замешан вовсе, а просто, просто... Эх, как это глупо!»

– Вадим, это глупо! Давай поговорим!

Не оборачиваясь, Вуйнович открыл дверь на лестницу и исчез.

Секретарши, делопроизводители и охрана Московского городского комитета ВКП(б) без излишнего восторга, мягко говоря, взирали на вторжение рабочих партийных масс в кожанках и коротайках, кепках и красных косынках. В учреждении давно уже все было доведено до вполне приличного уровня – паркетные полы натерты, ковровые дорожки расстелены и на мраморных лестницах закреплены медными прутьями, буфетчицы в белых наколках разносили по кабинетам чай и свежайшие бутерброды, разговоры велись приглушенно, пепельницы немедленно очищались, бюсты великого Ленина протирались самым тщательным образом, может быть, даже лучше, чем предшествовавшие им мраморные нимфы Коммерческого общества, и вдруг явился пролетариат, как еще иначе скажешь, громко окликают друг друга, топают, сморкаются, с подошв сметают ошметки грязи, распространяется запах неумытости и махры; как будто военный коммунизм вернулся.

Конференц-зал на третьем этаже забит работниками горкома и райкомов, партактивом крупнейших предприятий. Кирилл Градов в своей вечной затрапезе, люстриновом «спинжаке» и ситцевой косовороточке, по внешнему виду гораздо ближе к людям окраин, чем к холемым людям центра, и этим он чрезвычайно доволен. Впрочем, старшие товарищи высоко ценят его теоретическую подкованность, а к маленьким псевдодемократическим чудачествам относятся снисходительно: у молодого человека впереди достаточно времени, чтобы постигнуть неписаные правила партийного этикета. Державший речь секретарь МК как раз являл собой идеальный тип растущего партийца середины двадцатых годов: сталинского фасона френч, рыковская борода, бухаринская всезнающая усмешка.

– Товарищи, – говорил он, – оппозиция предпринимает отчаянные усилия обратиться к рабочим через голову партии. Группа их лидеров явилась в ячейку завода «Авиаприбор», была предпринята попытка прямого срыва партийных решений. Другие организовали собрание ячейки группы тяги Рязанской железной дороги, и рабочие вынуждены были принять председательство таких сомнительных товарищей, как Ткачев и Сопронов! Там выступал член Политбюро Троцкий. В ячейке Наркомфина выступал Рейнгольд.

Оппозиция также разослала своих гастролеров по заводам «Богатырь», «Каучук», «Морзе» и «Икар». С прискорбием следует заметить, что

Госплан и Институт красной профессуры стали настоящими форпостами оппозиции, их люди совершают постоянные вылазки и агитируют рабочих Трампарка и Завода Ильича.

То же самое происходит в Ленинграде, но это сейчас не наша забота. Главная задача коммунистов Москвы – пресечь все контакты вождей оппозиции с рабочими. Говоря откровенно, лучшим решением вопроса было бы подключение органов ГПУ, но мы сейчас не можем пойти на это: поднимется страшный вой. Сегодня мы должны разослать группы нашего актива по всем предприятиям, где, по надежным сведениям...

Секретарь МК ухмыльнулся. «Красноречивая ухмылка, – подумал Кирилл, – сугубо чекистская, всесильная, наглая и темная ухмылка». Он вдруг почувствовал, что ненавидит этого человека, но тут же отогнал это предательское «либеральное» чувство. Зачем видеть в нем гадкого человека, вообще отдельного человека? Это представитель партии, и сейчас у нас одна задача – не допустить раскола!

– ...По надежным сведениям, – продолжал секретарь МК, – вечером будут предприняты новые попытки срыва партийных решений. Товарищ Самоха, немедленно приступайте к распределению товарищей по группам.

Закончив выступление, секретарь МК спустился к массам, ответил на несколько вопросов, в основном отсылая спрашивающих к товарищу Самохе, потом с явным облегчением удалился во внутренние покои. Там, за дверью, мелькнул дивный, располагающий к отдыху диван.

Товарищ Самоха, жилистый чекистский оперативник в традиционной кожанке, которую он явно донашивал со времен более веселых, деловито распределял путевки по заводам. Протянув Кириллу бумагу со штампом ВЦСПС (узаконенная липа, на случай оппозиционных провокаций, будто МК и ГПУ организовали обструкцию), он без церемоний сказал:

– Ты, Градов, со своей группой отправишься на объединенное собрание тяги, пути и электротехники Рязанской жэдэ. Там к вам подойдут наши товарищи из Управления. Положение напряженное. Могут появиться высшие вожди оппозиции. Среди рабочих там брожение, а всем известно, что Лев Давыдович на толпу действует гипнотически. Вы должны провалить их резолюции! Любыми методами! Постоянный контакт с ГПУ! Как можно больше личных бесед с рабочими! Запоминайте колеблющихся. Все ясно?

Кирилл подумал: «Вот и моя война начинается, обходные маневры, обманные действия, дымовые завесы».

– Все ясно, товарищ Самоха!

После раздачи путевок актив был приглашен на обед в горкомовскую

столовую. Делегаты отправились туда не без удовольствия: обещались разносолы вроде семги, тушеного гуся, заливного поросенка. Кирилл, однако, остался верен себе. Товарищи могут смеяться над уравниловкой, но мне с моим буржуазным благополучным прошлым надо держаться своих принципов.

Он вышел из МК и на Солянке засел в дешевой столовке. Мясные щи, макароны по-флотски и кисель стоили ему меньше рубля, точнее 87 коп. Сидя у окна со своей едой, он смотрел на едоков в сводчатом зале столовки и в окна на москвичей, вся жизнь которых, казалось, вертелась вокруг трамваев: прыгают в трамвай, выпрыгивают из трамвая, смотрят на часы в ожидании своих «Аннушек» и «Букашек», разбегаются с остановок, чтобы пересесть на другие трамваи. В Москве в последние годы установилась почему-то немыслимая спешка, все бегут, впрыгивают, выпрыгивают, кричат друг другу «ну, пока!», «всего!»; и никто не догадывается, что сегодня произойдут события, которые, может быть, определяют будущее страны на данный конкретный период реконструкции.

* * *

Ранним вечером того же дня Вероника Градова, молоденькая комдивша, сидела в сквере, что на углу Кузнецкого и Петровки. Весь день она ходила по лавкам, приценивалась, примерить, увы, ничего уже было нельзя, кроме шляпок. В конце концов она даже купила себе кое-что, глубоко заветное, а именно контрабандную польскую жакетку. Недавно как раз прочла сатирические строчки Маяковского в «Известиях»: «Знаю я – в жакетках этих на Петровке бабья банда. Эти польские жакетки к нам привозят контрабандой» – и зажглась в своем Минске – непременно, непременно оказаться на Петровке и заполучить польскую жакетку. Не все же время брюхатиной буду ковылять, скоро уж и обтяну жакеткой осиную талию, примкну к этой «бабьей банде» на Петровке. Сатирик, сам того не желая, из негативного образа сделал какой-то клан посвященных, дерзких москвичек в «польских жакетках». Пока что все-таки придется пребывать в ничтожестве.

Она вдруг поняла, что ее больше всего ранит – отсутствие или полное равнодушие мужских взглядов. Раньше у каждого мужчины при виде красавицы появлялось в глазах некоторое обалдение, и не было ни одного, буквально ни одного, который не посмотрел бы вслед. Теперь никто не смотрит, все утрачено, беременность – это преждевременная старость.

Она нервно посматривала на часы: Никита опаздывал, а Борис IV толкнул пару раз ножкой. Почему все так уверены, что будет мальчик? Градовская патриархальщина. Вот возьму и рожу девчонку, а потом брошу своего солдафона и уеду в Париж, к дяде. Выращу француженку, звезду экрана, новую Грету Гарбо... уеду с ней еще дальше, в Голливуд... Вот так когда-нибудь мое лицо – ее лицо – вернется в эту паршивую Москву, как плакат Мэри Пикфорд на афишной тумбе.

Ей стало не по себе, она приложила руку к животу под широченным пальто, дыхание сбивалось. Не дай Бог, начну прямо здесь. За афишной тумбой с именами Пикфорд, Фербенкса и Джекки Кугана, а также гимнастов Ларионова – Дьяболло остановился извозчик. С дрожек соскочил военный. Она не сразу сообразила, что это Никита.

– Ну, наконец-то! – вскричала она, когда он приблизился, весь в своих нашивках и бранденбурах.

Никита с улыбкой поцеловал ее.

– В вашем положении, сударыня, в постельке надо лежать, а не назначать свидания господам офицерам!

Вероника тут же разнервничалась, закуксилась, чуть не расплакалась.

– Неужели ты не понимаешь, что я не могу без Москвы? Да для меня просто пройтись по Столешникову – истинное счастье! Что же, в кои-то веки приехать в Москву и сидеть в этом вашем Серебряном Бору, выращивать градовского наследника? Ну уж, это просто издевательство!

Никита стал целовать ее в щеки, в припухший нос.

– Спокойно, спокойно, милая. Скоро все уже будет позади!

Вероника отворачивалась.

– Ты только и боишься за своего детеныша, а на меня тебе наплевать!

– Ну, Никочка, ну, деточка!

Она вытерла лицо, спросила чуть поспокойнее:

– Ну, что там, в этом вашем дурацком наркомате? Перевели тебя наконец в Москву?

– Напротив, меня назначили замначштаба Запада.

– Значит, опять этот вонючий Минск, – с унынием протянула Вероника. – Если бы хоть Варшава была наша.

Никита вздрогнул. Легкомысленная женщина вдруг воткнула булавку в сердцевину тайных стратегических совещаний.

– Что ты говоришь, Ника! Варшава?

– Ну, а что? Все-таки какая-никакая, а столица, Европа. – Она уже сообразила, что коснулась чего-то самого запретного, и теперь не без прежнего наслаждения лукавила, дурачилась: – А что? Надо взять наконец

Варшаву, пожить там немного, а потом уйти. Предложи в наркомате.

Никита уже хохотал:

– Киса, киса, ну, перестань валять дурака! Посмотри, какой у меня для тебя сюрприз – билеты к Мейерхольду!

Вероника была поражена.

– Билеты к Мейерхольду?! Да еще и на «Мандат»? Ну, Никита, ты превзошел самое себя! – Давно он уже не видел ее такой сияющей. – Когда это? Сегодня? – Вдруг набежала мгновенная туча. – Но я же не успею одеться!

Никита опять зацеловал все ее щеки и нос.

– Ну, Викочка, ну, Никочка, ну, зачем тебе как-то особенно одеваться? Ты и так вполне одета для... – Тут он сообразил, что чуть-чуть не ляпнул бестактность, и поправился: – Для революционного театра в конце концов. Мы еще успеем поужинать в «Национале», и ты увидишь, там все ахнут от твоего платья с белорусскими мотивами.

Вероника заворчала с неожиданным добродушием:

– Ты просто хотел сказать, что для моего пуза и так сойдет. Знаешь, Никита, из всех этих гнусных мужей ты не самый худший. Господи, как же я мечтала сходить к Мейерхольду!

* * *

Объединенное собрание ячеек Рязанской железной дороги состоялось в огромном депо по ремонту паровозов. Депо было настолько огромным, что многосотенному собранию хватило одного угла, где была воздвигнута временная платформа и подвешен на кабеле мостового крана портрет бессмертного Ильича. За спинами аудитории между тем зиждились молчаливые паровозы, что придавало событию некий восточно-мистический оттенок, будто боевые слоны замыкали выходы с какой-нибудь площади Вавилона.

Аудитория была по большей части в спецовках – еще не успели переодеться после смены; большинство голов накрыто кепками, косынками. Проинструктированные сегодня в горкоме депутаты вперемежку с «кожаными куртками» сидели кучками, зорко оглядывались. Иной раз появлялись личности в обиходных пиджаках с галстуками. На таких смотрели с подозрением, особенно если туалет дополнялся шляпой, а тем паче очками.

В общем, было сыро и мерзко, и, несмотря на внутреннюю

разгоряченность, собрание иногда прошибал лошадиный пот: цех не бездействовал, беспартийные рабочие открывали гигантские или, так скажем, циклопические ворота, присвистывала позднеоктябрьская непогода.

«Почему я не занялся лингвистикой? – вдруг с тоской подумал Кирилл Градов. – Ведь я так люблю языки! Сидел бы сейчас в библиотеке. Однако кто же будет бороться за истинный социализм, если вся интеллигенция разойдется, попрячется в лингвистике, в микробиологии?..»

В президиуме собрания под портретом Ленина сидело несколько представителей оппозиции и «генеральной линии». На трибуне ораторствовал Карл Радек, личность, российскому пролетариату глубоко чуждая, если не подозрительная. Не было недели, чтобы по Москве не начинали расползаться новые радековские шутки о головоуныи советской бюрократии, и звучали они оскорбительно не только для сталинистов, но в некоторой степени и для масс, как бы намекая на извечную косность русского народа. Радек говорил по-русски грамматически правильно, но с очень сильным акцентом, а главное, с какой-то сбивающей с толку интонацией.

От одного только слова «това'истчи» рабочие службы тяги начинали с ухмылкой переглядываться. Конечно, как сознательные члены партии, интернационалисты, они о национальности оратора не высказывались, но уж можно поручиться, что каждому пришло в голову что-то вроде: «слишком жидовствующего жида прислали», или «что-то очень уж еврейский этот еврей», или уж в крайнем случае «какой-то не наш этот товарищ еврей».

Оратор между тем продолжал развивать свои логически убийственные тезисы:

– ...Идея нынешнего ЦК о построении коммунизма в одной отдельно взятой стране разит затхлостью пошехонской старины. Ей-ей, това'истчи («ей-ей» в его устах прозвучало не в смысле «ей-ей», а в смысле «ой-ой»), этот тезис по своей нелепости не может не напомнить сочинений писателя-сатирика Салтыкова-Щедрина о различных старороссийских уездных тугодумах.

Товарищи, сталинский ЦК потчует рабочих гулливеровскими дозами квасного патриотизма, а между тем Советы теряют рабочее ядро, индустриализация тормозится частным капиталом, на международной арене мы буксуем, теряем авторитет среди революционных масс! Товарищи, вождь мирового пролетариата товарищ Троцкий вместе с другими соратниками Ильича призывают вас – вдохнем новую жизнь в

нашу революцию!

Радек сошел с трибуны разочарованный – железнодорожников за неделю будто подменили. Поначалу еще слышны были жиденькие аплодисменты и возгласы: «Правильно», «Ура!», «Долой центристов!», но вскоре эти хлопки и выкрики потонули в шиканье, свисте, бешеных воплях: «Долой троцкистов!», «Тащи его из президиума, братцы!», «Никаких компромиссов с оппозицией!», «Заткнуть рты!», «Вон из партии!». Потом уже ничего нельзя было различить, сплошная «буря негодования». Он понял, что тут успели здорово поработать, что было ошибкой вот так легкомысленно ехать в это депо, выступать вот в таком духе, со всеми этими «щедринными» и «гулливерами», да и вообще не было ли ошибкой примыкать сейчас к антисталинскому крылу, вот так активно высывываться?

Кирилл Градов вместе с большинством негодовал, вскакивал со стула, потрясал кулаком, выкрикивая что-то уже не очень-то связанное. Его распирало блаженное, вдохновляющее чувство единства. Вот это и есть классовое чувство, говорил он себе, вот оно наконец пришло.

На задах собрания возле одного из ремонтируемых паровозов стояла группа гэпэушников во главе с Самохой. К этим «классовое чувство» в данный момент явно не пришло, потому что оно их никогда и не покидало. Они деловито озирали аудиторию железнодорожников-партийцев, иногда перешептывались. Пока все шло, как задумано.

Из своего третьего ряда Кирилл Градов закричал в президиум:

– Требую слова!

Председательствующий поднял руку со звоночком. И жест, и звук выглядели смехотворно среди ревушей толпы в паровозном депо. Наконец голос председательствующего пробился сквозь крики:

– Товарищи, внимание! Прения продолжаются! В списке записавшихся у нас сейчас очередь товарища Преображенского!

Преображенский, один из лидеров оппозиции, решительно встал из-за стола президиума и, заправив за спину, за ремень складки своей хорошего сукна гимнастерки, направился к трибуне.

– Требую слова в порядке ведения! – кричал между тем Кирилл.

Вдруг на платформу запрыгнули два парня в кепарях, по виду скорее не рабочие, а марьянорощинские мазурики. Криво улыбаясь и распахивая руки, они преградили путь оппозиционеру. Крепыш Преображенский мощно пытался пробиться к трибуне, парни же висели на нем, с ног не сбивая, но не давая сделать и шагу.

– Что за безобразие?! Негодяи! – кричал Преображенский.

Лошадиный хохот гулко разносился в ответ по гигантскому помещению.

Кирилл в этот момент вспрыгнул на платформу с другой стороны и занял трибуну.

– Товарищи, прошу минутку внимания! – что есть силы закричал он.

Собрание чуть-чуть утихло, хотя свист и шиканье все еще слышались то там, то здесь.

– Товарищи, я молодой коммунист, – продолжал Кирилл. – Единство партии – вот что для нас важнее воздуха! Предлагаю осудить раскольнические и высокомерно-вождистские действия товарищей Троцкого, Зиновьева, Пятакова! Предлагаю вынести резолюцию о прекращении дискуссии с оппозицией!

Бурный подъем в зале. Огромное большинство кричало, с шапками в кулаках:

– Правильно! Довольно трепать партию! Трещины не допустим! Долой дискуссию!

Преображенский наконец отделался от своих «кепариков», подошел к трибуне и стукнул кулаком.

– Что здесь происходит?! Организованная провокация?! Я требую, чтобы мне дали слово!

Кирилл, не глядя на стоявшего вплотную к нему человека с бурно вздымающейся грудью, с потоками пота, катящимися по лицу и шее, закричал в зал:

– Предлагаю слова товарищу Преображенскому не давать!

Ответом был новый взрыв антиоппозиционных страстей. Долой! Долой! Долой!

Преображенский махнул рукой и пошел на свое место.

Собрание все-таки продолжалось еще не менее двух часов и закончилось ночью. Оппозиция была разбита в пух и прах.

Расходясь в темноте, спотыкаясь о рельсы, партийцы еще продолжали переругиваться. Преображенский шел в группе своих товарищей и молчал. Почему-то этот ночной проход через железнодорожную территорию напомнил ему что-то из дореволюционных, эмигрантских времен. «Нас выталкивают отсюда, – думал он. – Мы становимся чужими. Как бы снова не оказаться в эмиграции». Обернувшись, он заметил издали юнца, который перехватил у него трибуну. Отстав от товарищей, он подождал его.

– Градов, можно вас на минуточку?

Следы неподдельного вдохновения все еще как бы трепетали на молодом лице, если это только не были следы стыда, что вряд ли. Кирилл

приостановился.

– В чем дело, товарищ Преображенский?

Преображенский предложил ему папиросу, закурил сам.

– Скажите, неужели вы всерьез не понимаете смысла происходящего?

Не понимаете, что оппозиция – это просто попытка остановить Сталина?

– Сталин борется за единство партии, и довольно об этом! – парировал Кирилл.

Преображенский внимательно вглядывался в его лицо.

– Ваш отец – хирург Градов?

– Да. Какое отношение это имеет к дискуссии? – дернулся Кирилл.

Преображенский уронил папиросу и пошел прочь.

– До свидания, товарищ Градов, – бросил он не оборачиваясь.

Глава пятая

Театральный авангард

В тот вечер, когда Вероника и Никита Градовы отправились на «Мандат», в репетиционном зале Театра Мейерхольда проходило собрание труппы и актива. Актеры, занятые в сегодняшнем спектакле, были уже в гриме и костюмах, остальные – в модных кофтах и свитерах и, разумеется, в шарфах, длинных, разноцветных, брошенных на плечи, за спину, обмотанных вокруг шеи, – все это составляло впечатляющую гамму: дивная богема Москвы.

Что касается «актива», занимающего задние ряды, теснящегося вдоль стен и даже сидящего на полу в проходах, то большинство его состояло из учащейся молодежи.

Собрание, разумеется, только называлось собранием, на самом деле это было одно из редких «явлений Мастера народу».

Мейерхольд и Зинаида Райх только что вернулись из европейской поездки. «Первая леди» была ослепительна и в чудном великодушном настроении. Изделия высших парижских кутюрье, представленные сейчас в Москве, даже и зависти у театральных дам не вызывали, так космически были недоступны, одно лишь восхищение. В зале различались и жадные взоры мужчин, явно желавших навести беспорядок в роскошном туалете.

Мейерхольд, облаченный в серый, широкий, тоже чертовски заграничный, «в селедочную косточку» костюм, являл собой некоторую сумрачность. Он уже узнал, что недавняя премьера «Ревизора» вызвала сущую свистопляску враждебной прессы. Небрежно отмахивая фразы длинной кистью правой руки, почетный красноармеец Отдельного московского стрелкового полка рассказывал о заграничных впечатлениях.

В театрах Европы полный застой. Дальше Рейнгарда заграница не ушла. Постановки на уровне Малого театра, декорации примитивно реалистические. Полное отсутствие стиля, эксперимента. Не просто боязнь эксперимента, но непонимание его смысла. Даже в Италии упадок. Театр Пиранделло еле влачит существование на субсидиях.

Все-таки есть и кое-что интересное. Великолепные церковные церемонии, например. Вот театр! Или негры, джаз, диксиленд, Германия потрясена, огромный успех. Наших цыган хорошо бы организовать в эдакую гастрольную труппу. Пока что я стараюсь заполучить негров к себе. Спокойно, спокойно, еще ничего не известно, идут переговоры. Французы

поначалу не хотели давать нам визы, боятся «красной заразы». Между тем именно в Париже, да еще, пожалуй, в Лондоне, в левых артистических кругах огромный интерес к нашему театру.

Москва для этих людей становится театральной Меккой. Наша школа провозглашается единственно живым направлением. В этой связи высказывания наших газет о «Ревизоре» выглядят как бездарный заговор смердящей буржуазии. Чего стоят, например, вот такие стишата в «Известиях»...

Он взял со столика газету, с гадливостью тряхнул ее за край, газета развернулась, и он прочел:

– «Убийца. Эпиграмма-рецензия на мейерхольдовскую постановку „Ревизора“.

*Гнилая красота над скрытой костоедой...
О Мейерхольд, ты стал вне брани и похвал.
Ты увенчал себя чудовищной победой,
«Смех», «гоголевский смех» убил ты наповал!*

Усталый, несколько надменный мэтр пропал, произошло одно из бесчисленных маленьких чудес мейерхольдовских репетиций. Дурацкая эпиграмма была прочитана таким образом, что все присутствующие разразились хохотом, как бы воочию увидев советского тугодумсочинителя. Мейерхольд улыбался, довольный. Он рад был вернуться в Москву, к «своим ребятам».

В толпе «актива» на задах залы стояла и Нина Градова, пылающие от восхищения щеки, сверкающие в непрерывном движении глаза и зубы, взлохмаченная башка. Мейерхольд был ее богом. Видеть и слышать его было не то что счастьем, но каким-то олимпийским озарением. Конечно, она уже забыла, что сегодняшний приход в театр не прост, что среди них сам Альбов, лидер подпольной троцкистской ячейки, что готовится «акция».

Пьеса Николая Эрдмана «Мандат» с самого начала оказалась своего рода бутылкой керосина для и без того раскаленных до грани пожара партийно-комсомольской и интеллектуально-артистической сфер Москвы. Говорили, что буквально каждую реплику в ней надо понимать двояко, что в каждой мизансцене заключены не только сатира и шутовство, но прямая атака против обюрократившихся чекистов, чекистов, центристов, всей этой нечисти, постепенно, но упорно искореняющей всю романтику революции.

На премьере в Театре Мейерхольда в прошлом году так и казалось, что с каждой фразой брызгают керосинчиком на пышущие жаром угли. Часть зала взрывалась восторженным хохотом, аплодисментами, другая пребывала в возмущенном шипении, в шиканье, исторгала возгласы: «Позор!», «Издевательство!», топала ногами, потрясала партийным кулаком, о котором недавно совсем ошалевший (по мнению прежних эстетствующих поклонников) Маяковский сказал так впечатляюще, что мороз пошел по коже: «Партия – рука миллионопалая, сжатая в один громающий кулак!»

Такое возможно было, пожалуй, в те времена только в Москве, чтобы авангардистский спектакль стал ареной противоборства двух политических сил, оппозиции и генеральной линии правительства.

В тот вечер «Мандат» давался уже в который раз и ничего особенного не предвиделось, хотя зал, как всегда, чутко отвечал на исходящие со сцены дерзостные инспирации. Вот, к примеру, Пьяный Шарманщик на кривых ногах ковыляет в просцениум, вещает косым ртом: «Павлуша, бывалочка, еще маленькой крошкой, сидючи у меня на коленях, все повторял: „Люблю пролетариат, дядя! Ох, как люблю!“

Зал хохочет, аплодирует, атмосфера веселого заговора возбуждает зрителей. Забыв о своем «пузе», весело смеется Вероника, хлопает стальными ладонями ее муж, комдив РККА, Никита Градов.

Вдруг резкий девичий голос с верхнего яруса прорезал карнавальную атмосферу:

– Позор сталинским лицемерам!

Сразу в нескольких местах зала поднялись плотные группы молодежи. Будто под команду дирижерской палочки они начали скандировать:

– Прочь коварство, тупость, злоба!

– Убирайся к черту, Коба!

– Долой жуликов-бюрократов! Долой Сталина!

Никита посмотрел на ярус и шепнул жене:

– Клянусь, там среди них наша Нинка!

– О Боже мой, – ужаснулась Вероника.

В зале воцарился суший хаос. Многие зрители шумно возмущались: «Безобразия! Хулиганство! Митингуйте в своих вузах, не лезьте в театр! Срывают спектакль! Надо милицию позвать!» Другие поддерживали оппозиционеров: «Правильно! Долой сталинских ставленников! Надоело!» Третьи просто смеялись: весело, дерзко, уж не сам ли Мейерхольд придумал? Четвертые сгорали от любопытства – что дальше будет? Пятые благоразумно пытались выбраться из зала. Кое-где началась свалка.

Старший капельдинер, держась за голову, пробежал вверх по проходу. Навстречу ему к сцене, бурно хохоча и явно не по трезвому делу, валила к сцене поэтическая ватага во главе со Степой Калистратовым.

Степан кричал на сцену какому-то дружку, занятому в спектакле:

– Гошка, поздравляю! Сегодня даже лучше, чем на премьере! Так и должно быть! В этом смысл современного театра! В скандале! Театр – это скандал!

Произнеся эту исключительную новацию, о которой знал еще Грибоедов, Степан бросил через плечо своему подголоску Фомке Фрухту:

– Запиши!

– Готово! Записано! – тут же отозвался подголосок.

Суматоха усиливалась. Никита, вглядываясь в бурлящую толпу, забыл на мгновение о жене. Когда же посмотрел на нее, похолодел, закричал будто гимназист, а не комдив:

– Что делать?! Что делать?!

У Вероники вдруг начались схватки. Она то сжимала зубы, то хватала воздух ртом. Пот ручьями стекал по лицу. Платье было совсем мокрым. Кляня себя за идиотское легкомыслие, Никита подхватил жену под мышки, стал пробираться к выходу.

– Пропустите, граждане! Пропустите! Жена рожает! «Скорую помощь»! Пожалуйста!

В свалке захохотал, тыча в них пальцем, какой-то богемного вида юнец:

– Смотрите, смотрите, только у нас! Комдив свою бабу тащит! Баба рожает от Мейерхольда!

Озверев, Никита ударил юнца ногой в зад.

– Пропустите же, мерзавцы! – В остервенении вытащил из кобуры револьвер. – Расступись! Стрелять буду!

Тут уж граждане, еще не забывшие подобных возгласов, немедленно очистили путь. Он подхватил кричащую от боли Веронику и устремился к выходу.

Степа Калистратов на одной из лестниц театра перехватил кубарем летящую вниз Нинку Градову.

– Привет, гражданка! Слушай, тут армяне приехали, поэты, будет сабантуй. Айда шампанское сажать?!

Нинка хохотала в его руках. «Ну, не счастье ли, – мелькнуло в Степкиной башке, – держать в руках такую хохочущую, вот именно, нимфу?»

Нимфа, увы, тут же выскользнула, отстранилась.

– Ты, Степан, неисправимый декадент и богемщик!
«Ну, что ж, – подумал он, – нельзя же век держать в руках такую хохочущую и полную небесного огня». И за этот миг спасибо, Провидение.
С лестницы солидно спускался пролетарий Семен Стройло.
– А ты все еще с этим Стойло? – усмехнулся поэт.
Нинка немедленно разозлилась:
– Не Стойло, а Стройло, от слова «строить», с вашего позволения!
Тут же она прилепилась к своему избраннику и далее вниз по лестнице путешествовала, как бы частично свисая с его плеча, что давало ей возможность иной раз оглядываться на обескураженного Степана.
И все-таки спасибо тебе, Провидение, подумал поэт.
Мимо валили люди из Нинкиной группы. Среди них выделялся мужчина за тридцать, львиная грива, теоретические очки: Альбов.
– Акция удалась, – коротко резюмировал он.

* * *

Под утро к агонизирующему в приемной роддома Грауэрмана Никите Градову вышел дежурный врач – уже было известно, что роженица – жена комдива, сына профессора Градова, – и сообщил, что родился сын. И вес, и рост основательные, бутуз что надо. «Так что идите домой, товарищ комдив, поспите и приезжайте пополудни, мы вам покажем вашего первенца».

Никита, ничего не соображая, в распахнутой шинели, в сдвинутой на затылок буденновке, вышел на улицу, зашагал куда-то, почему-то все ускоряя шаги, резко срезая углы, хватаясь за водосточные трубы. Одна, ржавая, прогнулась под его рукой.

Арбатские переулки были пустынные и темные, только далеко в перспективе слабо светилась витрина, и там был виден большой глобус. Этот глобус как бы вдруг взвинтил комдива, он весь встряхнулся и осознал всю эту ночь, в течение которой любимая женщина, страдая, родила ему сына.

– Сын родился! – заорал он вдруг и побежал по направлению к глобусу. В витрине он видел свое приближающееся отражение, разлетающиеся полы длинной шинели, блестящие высокие сапоги. Он выскочил на Арбат. За крышами виднелся уцелевший крест небольшой церкви. «Сын, сын... родился сын!» Он перекрестился, раз, другой, но потом отдернул щепоть ото лба, от своей красной звезды. Тогда вытащил

револьвер и пальнул в воздух. Ура!

– Не стреляйте! – послышался голос поблизости. Никита посмотрел и увидел в подворотне фигуру старика с палкой в руке. Дворник, должно быть.

– Не бойтесь, ничего страшного, просто у меня сын родился, Борис Четвертый Градов, русский врач.

– Все-таки это еще не повод, чтобы стрелять, – сказал старик, вышел из подворотни и прошел мимо Никиты, оказавшись вовсе не стариком, а средних лет странным господином с тростью, в старомодном дорогом пальто. Поблескивали крутой лоб и лысая макушка. Просвечивая, трепеща, вилась вокруг этих фундаментальных высот эфемерная золотовато-серебристая флора. Уж не Андрей ли Белый?

Глава шестая

РКП(б)

Под вечер погожего октябрьского дня – бабье лето в полном разгаре! – инструктор районного Осоавиахима Семен Стройло поджидал Нинку Градову в кабинете наглядных пособий, что располагался на втором этаже Дома культуры Краснопресненского района.

Луч солнца, падающий через узкое окно, подчеркивал обилие пыли, лежащей на пособиях и тренировочных материалах, гранатах, противогазах, парашютных ранцах, а стало быть, он подчеркивал и некоторую ленцу уважаемого товарища инструктора.

Семен всю эту туфту терпеть не мог, ни черта в ней не понимал. Пост свой он получил в порядке «выдвиженства» как человек с незапятнанной анкетой, однако долго здесь задерживаться не собирался: впереди большая дорога. Пока что он был доволен – работа не бей лежачего, а главное, ключи от трех кабинетов, большое удобство для встреч с девчонкой.

В середине комнаты на столе, демонстрируя свои железные кишки, стояла продольно распиленная половинка станкового пулемета «максим». На стенах висели пропагандистские плакаты, по которым иногда Семен все же проходил тряпкой. Гигантский пролетарский кулак дробит английский дредноут, похожий на жалкую ящерицу: «Наш ответ Керзону!» Косяк дирижаблей в небе под сиянием серпа и молота: «Построим эскадру дирижаблей имени Ленина!»...

В комнате было жарко. Семен лежал на кушетке в одной майке с эмблемой «Буревестника». Он курил, отпивал из горлышка портвейн «Три семерки» – папаня именует этот напиток «три топорика» – и читал замусоленную книжонку «Принцесса Казино».

Вот она придет, зараза, думал он, увидит, как я тут лежу в одной майке, пью напиток, читаю бульварщину, и восхитится – ах, какой простой, какой свободный! Зараза такая!

Роман с профессорской дочкой, изнеженной Ниночкой Градовой, с одной стороны, восхищал Семена Стройло, с другой же стороны, по-страшному его раздражал: приходилось как бы постоянно играть роль, навязанную ему воображением избалованной фифки. Она увидела в нем идеал пролетария, простого, свободного, без околичностей берущего в руки все имущество мира, потому что оно отныне принадлежит ему, он строит будущее. Значит, надо было постоянно показывать простоту, городскую

народность, уверенность и даже некоторую косолапость неторопливых движений, каменистость гиревых мышц. Между тем по сути своей Семен Стройло был скорее суетлив, извилист в мыслях, не очень даже и могуч физически, гири ненавидел. Короче, она смотрела на него скорее как на игрушку пролетария, чем на истинного пролетария, которым он в общем-то, несмотря на чистоту анкеты, никогда не был. Ни папаня, ни дедка матценностей не создавали, исходя из марьинорощинских складских. Ну, в общем, обижаться все-таки не приходится: девчонка сладкая, и польза от нее идет пребоольшая, однако...

Из коридора, с лестницы долетел полет шагов – идет, зараза, минута в минуту!

Нина пробежала через вестибюль и всякий, кто встретился ей в обширном помещении, останавливался в изумлении: чего, мол, девица так сияет, откуда, мол, такой оптимизм на десятом году революции?

Уборщица хмыкнула ей вслед и кривым большим пальцем показала сторожу:

– Вишь, к инструктору на свиданку побежала!

Сторож чмокнул, утерся рукавом.

– Прыткая, гладкая... Эхма...

Нина пролетела по коридору, рванула дверь с надписью «Наглядные пособия». Ворвалась в комнату, потрясая свежим выпуском журнала «Красная новь».

– Семен, вставай! Лодырь! Смотри, мои стихи в «Красной нови»!

Открыла журнал, облокотилась на полупулемет, с силой прочла:

*Могла ли я в стремительных мгновеньях
Не вспомнить, Одиссей, ни глаз твоих, ни губ,
Полночных кораблей жасминное цветенье,
И тени крепостей, и звук далеких труб?..*

Семен намеренно зевнул, подумав: демонстрируется пролетарская пасть.

– Про что это?

Нина не ответила, глядя в какую-то невидимую точку.

– Про что стихоза? – повторил вопрос Семен.

– Про ночь, – сказала она.

Семен бросил под кушетку «Принцессу Казино» и встал, потягиваясь.

– Хочешь шамать, Нинка?

Он показал на открытую банку мясных консервов и булку московского хлеба.

Нина отрицательно помотала головой.

– Не хочешь отличной шамовки? – удивился он. – Портвейну хошь? Ну, ты даешь, сестра, от «Трех семерок» отказываешься!

Сладкая тяга прошла по его телу, он расстегнул пояс брюк.

– Ну, ладно, нэ-хош-как-хош-хады-галодна, иди сюда!

Нина отшатнулась от него, как бы в досаде, хотя сама уже жаждала только одного, этого акта с ним, таким простым.

– Да ну тебя, Семка! Я к тебе со стихами, а ты сразу...

Он притянул ее к себе, по-хозяйски поднял юбку.

– Давай, давай... Кончай эти плюссе-мюссе! Сколько раз тебе говорено, будь проще, Нинка!

Закрыв глаза, она уступала ему все больше, бормоча: «Да-да, ты прав, моя любовь... быть проще...» – но на самом-то деле, как всегда, воображая себя жертвой пролетарского насилия, трофеем класса-победителя.

Уборщица приволоклась со шваброй в коридор, чтобы послушать сильный и долгий скрип кушетки. Пришлепал и сторож.

В наступивших сумерках Нина долго еще ползала губами по его щекам и шее, гладила мокрые волосы усталого повелителя.

– Ты мой Царь Осоавиахим, – шептала она.

Семен гудел, довольный:

– Кончай, кончай эти телячьи нежности!

Он глотнул портвейну, закурил папиросу.

– Я тебе, Нинка, должен сделать одно замечание. Ты, конечно, девка хорошая, однако немного больше активности тебе не помешает. Вот когда момент подходит, тебе вот так надо делать. – Он показал рукой, как надо делать, – эдакая волна со всплеском. – А ты, уважаемая, этого не делаешь!

Она засмеялась, нисколько не обидевшись:

– Ой, Семка, Семка, какой ты балда!

Он встал с кушетки, натянул штаны и юнгштурмовку, сел верхом на стул.

– А вот еще одно замечание, уважаемая, на этот раз от кружка, то есть от самого Альбова. Он велел мне сказать, что тобой недоволен. Слишком мало времени кружку, слишком много этому... – Брезгливо потряс «Красную новь». – Полночных кораблей жасминное цветенье, во дает... ты все ж таки комсомолка, тебе с этими попутчиками вроде Степки Калистратова все ж таки не по пути!

Нина расхохоталась:

– Да ты ревнуешь, Осоавиахим!

Семен пристукнул кулаком по столу. Кулачок у него был не очень-то массивный, но в такие моменты он ему самому казался кувалдой.

– Чего-о? Я тебе всерьез, а ты опять плюссе-мюссе? Никак с кисейным воспитанием не расстанешься!

Нина села на кушетке.

– На самом деле Альбов говорил?

Он кивнул:

– Факт. Работаем, можно сказать, в подполье, сказал он, а Градова по лефовским вечеринкам порхает.

Нина посмотрела на часы, вскочила. В затхлом воздухе Осоавиахима пролетели один за другим предметы туалета – юбка, блузка, свитер, шарф. Мгновение – и она уже одета, как будто и не предавалась только что грехопадению под языческим божком распиленного красноармейского пулемета.

– Семка, мы же опаздываем в университет!

Товарищ Стройло уже вытаскивал из-под стола толстенную сумку с печатным материалом.

* * *

На Манежную прискакали через полчаса, пришлось брать извозчика за счет ячейки, иначе бы вся затея рухнула по причинам явно не уважительным.

Вечер был в полном разгаре, московский час пик. Мимо здания университета, названивая и рассыпая с проводов ворохи искр, волоклись перегруженные трамваи. Резко кричали торговки студенческой отрадой – горячими пирожками с требухой, или, по современной терминологии, с субпродуктом. Иной раз мелькала студенческая физиономия с полузасунутым в рот пирожком и с обалделыми от вкусового шторма гляделками.

Возле университетских ворот под фонарем подвешено было объявление:

«Коммунистическая аудитория. Сегодня, 8 часов вечера. ЛЕФ!

«Алгебра революции!» Читает поэт Сергей Третьяков.

Также выступают:

Поэт Степан Калистратов, «Неназванное»;

Конструктор Владимир Татлин с рассказом об аппарате «Летатлин».

Стройло и Нина, бросив взгляд на плакат, быстро прошли в ворота, пересекли двор мимо памятника Ломоносову и бегом взлетели по торжественной лестнице.

Когда Нина и Семен вошли, амфитеатр Коммунистической аудитории был еще пуст, хотя над кафедрой загодя к вечеру уже была подвешена модель похожего на птеродактиля футуристического летательного аппарата.

– Успели. Слава Труду, никого, – прошептала Нина.

– Давай за дело! – скомандовал Семен.

Они побежали вверх по ступенькам, разбрасывая по рядам пачки листовок. Дело было закончено быстро, после чего молодые люди устроились поближе к сцене, в первом ряду, и открыли учебники, изображая прилежное чтение в ожидании концерта. Время от времени они поглядывали друг на друга и хихикали.

«Кроме всего прочего, – подумала Нина, как бы отвечая кому-то, – мы с Семкой – боевые друзья». – «Ишь ты, – подумал про нее Семен, – глазища-то!»

Через несколько минут аудитория стала быстро заполняться студентами. Кто-то уже нашел листовку и громко прочитал: «Спасение революции в ваших руках! Долой Сталина!»

Из другого ряда зачитывали иной вариант: «Остановим попытку Термидора! Позор сталинскому ЦК!»

Подрывные листовки троцкистов и оппозиции были студентам не новинку. Их находили и в общагах, и в столовках, иной раз прилепленными к стене, иной раз пачками с призывом «Раздай товарищам». Многие сочувствовали, многим было наплевать. Иной раз вспыхивали митинги, а другой раз можно было заметить студента, несущегося в уборную с листовкой в кулаке. В этот раз студенты вроде бы воспламенились сперва, начали выкрикивать: «Долой!», «Позор!», но потом нашлись шутники-пересмешники – уж как не поидиотничать вечером перед девочками? – которые стали умножать: «Двойной долой!», «Тройной позор!», «Долой в квадрате!» «Плюс позор в кубе!». Пошел хохот. «Вот так алгебра революции!» Настроение сегодня было явно не очень-то политическим.

Между тем Коммунистическая была уже заполнена до отказа. Стояли в проходах и дверях. Среди опоздавших был ассистент профессора Градова, молодой врач Савва Китайгородский. Его затерли в проходе, и он дрейфовал, пока не приткнулся в уголке, где можно было даже слегка опереться плечом о стену.

Поэт Сергей Третьяков был уже на сцене, но Савва туда не смотрел. Взгляд его выискивал нужное лицо в зале. Наконец нужное лицо было найдено – Нина Градова! Пусть, как всегда, со своим остолопом, но зато это она воочию! «Вхожу я в темные храмы, совершаю свой бедный обряд...» Молодой врач тоже не был чужд поэзии, хотя застрял на символистах и дальше не желал продвигаться.

Амфитеатр рыкнул, разразился, притих. Популярный Сергей Третьяков, друг Маяковского, вышел к краю сцены – читать. Он был очень большого роста, не ниже самого Маяка, однако внешностью трибуна не обладал, скорее уж было в нем что-то общее с людьми типа Саввы Китайгородского, интеллигентными: очки, костюм-тройка... У Маяковского это всегда был «костюмище»; у Третьякова – костюмчик. Поэтому и лефовский напор выглядел в его исполнении немного неуместным: эти рычания и взмахи кулакастой рукой.

*В общем, он читал:
Корень квадратный
из РКП!
Делим на:
Вперед! В упор глаза!
Жми! И ни шагу назад!
Плюс:
Электрификация!
Смык!
Тренаж!
Плюс:
Мы хотим, чтобы мир стал —
Наш!
Минус:
Брех!
Минус:
Грязь!
Минус:
Дрянь!
Равняется:
Это*

Путь
Октября!

Финальный выкрик ударного стиха выгодно подчеркивал корневую рифму «гря» – «ября», чем поэт явно гордился, не задумываясь о двусмысленности, возникающей при сопоставлении слов. Филфаковцы восторженно взревели: «Браво, Сергей! Браво, ЛЕФ!»

Стоявшая рядом с Саввой «литдевушка» – подбритый затылок, длинная косая челка, вот коняга! – повернулась к нему:

– Вам нравится?

Савва пожал плечами. «Литдевушка» рассмеялась:

– Мне тоже не очень. Какая же это алгебра? Чистая арифметика для четвертого класса!

Толпу качнуло. Ее бедро прижалось к его бедру. Прошел весьма неуместный ток. «Литдевушка» усмехнулась с притворным смущением:

– Простите.

Савва заерзал, пытаясь создать пространство между двумя разнополыми телами.

– Да, так тесно...

В своем ряду Нина теребила Семена за рукав.

– Ну, вот такая поэзия тебе ближе? Ну, скажи, Семка, ну!

Мне это очень важно!

Стройло забасил пренебрежительно в своем «пролетарском стиле»:

– А-а-а, говна. У меня вот мочпузырь щас лопнет, пойду отолью.

Он стал пробираться через ноги соседей к выходу. Нина успела шепнуть ему вслед: «Милый, стой!» Он обернулся, гаркнул «Кончай!» – потом огрызнулся на недовольных студентов:

– По ногам, говоришь, хожу? А что же, по башкам, что ли, вашим ходить?

* * *

Стройло вошел в просторную, с высоченным потолком, облицованную кафелем уборную старого университета и увидел стоящего у окна молодого человека в полувоенной одежде, который, возможно, его-то тут и поджидал. Взялся за свое дело. Молодой человек приблизился.

– Стройло, салют!

– Физкульт-привет! – отвечивал Стройло, отряхиваясь.
– Заскочим в партком? – спросил очень положительный молодой человек.

– Айда! – сказал Стройло, завершая диалог полностью в стиле своего поколения.

Комната парткома была по масштабам ничуть не меньше уборной. Народу там в этот час не было, только в глубине у настольной лампы сидел человек средних лет, перебирая бумажки. Царил со стены из богатого багета Владимир Ильич Ульянов (Ленин).

При виде вошедших юношей сидящий встал и пошел навстречу.

– Здравствуйте, товарищ Стройло! Давайте сразу быка за рога. Сколько человек было последний раз на заседании кружка?

– Девятнадцать, товарищ комиссар, – четко ответил Стройло, отстегнул клапан и вынул бумажку. – Вот список.

Комиссар взял список, прочел несколько фамилий вслух: «Альбов, Брехно, Градова, Галат...» – сунул список в карман и крепко пожал руку Стройло.

– Спасибо, Семен! Большое, очень нужное нам всем дело делаешь!

С просиявшей и оттого несколько истуканистой физиономией Стройло вытянулся.

– Служу трудовому народу!

* * *

В аудитории тем временем Сергея Третьякова сменил Степан Калистратов – мятая вельветовая блуза, закинутый за спину шарф, непокорная, что называется, «есенинская» шевелюра. Как всегда, было неясно, насколько пьян Степан в данный момент – порядком, основательно или почти «в лоскуты». Так или иначе, он читал с мрачным вдохновением:

*Гудки вблизи и в отдаленье.
Земля пустынна и плоска.
Одно лишь вахтенное бденье,
Ни ангельского голоса...
Нам остаются в утешенье
Ночных трактиров откровенья
Да «Арзамасская тоска»...*

Нина Градова смотрела на него заворуженно. Степан нравился публике, особенно девушкам, пожалуй, даже больше, чем Третьяков. Каждый его стих сопровождался восторженными аплодисментами.

Может быть, единственным человеком в аудитории, кто почти не обращал внимания на поэта, был Савва Китайгородский. Он не отрывал взгляда от задумчивого, будто светящегося изнутри лица Нины. Когда с ней рядом нет «пролетария», она немедленно меняется, вот именно так вот освещается, и именно в этом, в этом, милостивые государи, ее суть!

Шепот «литдевички» по соседству отвлек Савву от этих мыслей.

– Вы знаете, Калистратов на грани разрыва с ЛЕФом!

Савва даже вздрогнул:

– Да что вы говорите? А как же революция?

Она с улыбкой посмотрела на него через плечо:

– Некоторым уже надоела.

Из публики кто-то бросил Степану букет цветов. С ловкостью, удивительной для вечно пьяноватого богемщика, он не дал им упасть на пол, а, подхватив в воздухе, прижал к груди и затем передал в первый ряд Нине Градовой.

Студенты выкрутили башки, весь зал высматривал, кому достался привет поэта. Нинины щеки пылали среди гвоздик. «Литдевичка» сказала Савве прямо в ухо:

– А эту особу знаете? Молодая поэтесса Нина Градова. Говорят, что...

– Простите, – торопливо перебил ее Савва и стал пробираться к выходу.

Между тем к Нине, совсем уже не обращая внимания на ноги окружающих, возвращался Семен Стройло. Плюхнувшись на свое место, он, ни слова не говоря, вырвал у нее букет и швырнул его за спину, выше по амфитеатру.

Степан в это время, с каждой строфой раздувая легкие все больше и больше, гудел свое самое известное стихотворение «Танец матросов».

* * *

Глубокой ночью в доме Градовых не спал только могучий, но нежный душой молодой Пифагор. Стараясь не очень постукивать когтями по полу, он прохаживался по пустым комнатам, освещенным лишь полосками лунного света из-за штор. Иногда он направлялся на кухню, вставал на задние лапы и смотрел в незашторенное окно. Наконец он увидел то, что

так рьяно высматривал, побежал ко входной двери и сел рядом, тихонько скуля.

Повернулся ключ, вошла, вернее, пробралась Нина и сразу стала снимать туфли – чтобы легчайшим полетом на цыпочках не разбудить домашних, а лишь навеять им мирные сны. Пес бросился к любимой сестре целоваться. Она раскрыла ему объятия.

– Спасибо, Пифочка, что ждал и не залаял.

В сопровождении Пифагора она прошла через столовую и гостиную и вдруг заметила, что в глубине кабинета горит маленькая лампа. Заглянула туда и увидела отца. В халате и шлепанцах он сидел на диване и читал «Новый мир» с «Повестью непогашенной луны».

Папочка, милый, любимый, тихо растрогалась Нина и хотела уже пройти к лестнице, когда он вдруг поднял голову и заметил две славных рожи: одна с большущими глазами, другая с большущими ушами. Он отложил журнал.

– Нинка, посиди со мной немного.

Она села на ковер у его ног. Он взъерошил ее короткую гривку.

– Эта повесть, что ты тогда притащила... вот случайно попалась... мда-с... В общем-то довольно абстрактное сочинение... хотя при желании... – Так он мямлил некоторое время, но потом вдруг твердо сказал: – Ты должна знать, что я там не был. Я был отстранен в последнюю минуту. И конечно, если бы я там был, то... Ты понимаешь, что я хочу сказать?

Нина взяла его руку и прижалась к ней щекой.

– Понимаю, папка. Теперь я все понимаю. Я верю, что ты там совсем не был...

Он вздохнул:

– Увы, это не совсем так. Я расскажу обо всем позднее... но... они, конечно, считают меня чужим. Они продвигают меня на верха, как бы завязывают в один общий узел, награждают, но все же прекрасно понимают, что я им чужд, и вся моя школа, мы просто русские врачи, даже и молодежь вроде Саввы Китайгородского.

– Кстати, как он, этот Савва? – спросила Нина явно небезразличным тоном.

«Как чудесно она о нем спросила, – подумал отец. – Хотел бы я знать, спрашивала ли когда-нибудь обо мне вот такая какая-нибудь девчушка».

– О, – сказал он. – Савва – это будущее светило, поверь мне. Мы здорово работаем вместе над местной анестезией. Ему, знаешь ли, туго приходится: тянет семью сестры, а жалованье у молодых врачей мизерное. Подрабатывает на «скорой помощи».

– А что же он перестал... ну... у нас бывать? – спросила Нина, и отец опять восхитился, на этот раз какому-то чудному лукавству в ее голосе.

Он засмеялся:

– Ты прекрасно знаешь, лисица, почему. Потому что ты среди чужих.

Она ласкалась к его руке, как котенок.

– Вот уж чепуховина!

Лежащий рядом Пифагор активно лизал ее ногу.

Сверху, из спальни, тихо спустилась Мэри Вахтанговна. Остановилась в дверях кабинета, глядя на мужа и дочь. Те не замечали ее.

– Эх, если бы мы все родились лет на пятьдесят раньше! – вздохнул профессор.

Нина вдруг воспламенилась, бросила отцовскую руку:

– Вот уж нет! Хочешь верь, хочешь не верь, но я счастлива, что живу именно сейчас! Что я молода именно сейчас, в двадцатые годы двадцатого века! Все времена бледнеют перед нашим!

Отец погладил ее по голове:

– Ты только не кричи, Нинка, но мне кажется, что тебе нужно временно уехать из Москвы.

Нина, конечно, тут же закричала:

– Ты с ума сошел, папка?! Куда еще уехать?

В этот момент мать села рядом с ней и обняла за плечи.

– Хотя бы в Тифлис, к дяде Галактиону, – мягчайшим тоном прожурчала она. – Дочка, ты зашла слишком далеко в своем пристрастии к политике. Вах, папин шофер, младший командир Слабопетуховский, на днях по секрету сказал Агаше, что тобой интересуются в ГПУ.

Нина, хоть у нее и екнуло внутри, весело рассмеялась:

– Ах, все это вздор! Нашли кому верить – Слабопетуховскому! Конечно, в ГПУ полно балбесов, но у нас все-таки не режим Муссолини!

Она вдруг вскочила и потянула мать за руку:

– Ты лучше поиграй нам, мамочка!

Мэри Вахтанговна улыбнулась:

– Сейчас нельзя играть по ночам. У нас ребенок. Мы разбудим Бореньку.

Нина настаивала, тянула:

– Ну, я тебя прошу, ну, тихонечко! Ну, как раз тот ноктюрн шопеновский, тот самый... – И уже почти добилась своего, мать стала подниматься с ковра.

Смеясь, она присела к роялю:

– Да ведь это же стародворянская романтика, ведь ты же это

отвергаешь, ведь ты же любишь джаз и додекафон...

Она заиграла еле слышно. Муж и дочь благоговейно слушали, переглядывались любовно. Пифагор тоже стал слушать, сидя в позе идеально послушного пса, поводит ушами. Появилась и встала в дверях Агаша. Из спальни наверху вышли Никита и Вероника, которая немедленно после родов взялась за свое привычное дело – сиять красотой. Кирилл, как оказалось, давно уже сидел на лестнице, глаза его были закрыты. Когда в кабинете были открыты обе его широкие двери, из него как бы просматривался весь объем старого, крепкого дома. Нина обводила глазами этот объем родного гнезда. Господи, как же я их всех люблю, даже дурацкого Кирку! Я просто не имею права так сильно их всех любить... В спальне заплакал разбуженный ребенок. Мэри Вахтанговна бросила клавиши:

– Ну, вот, пожалуйста, Борис Четвертый гnevаются!

* * *

Первый снег пошел в конце октября. Физик Леонид Валентинович Пулково ехал в трамвае вдоль Чистых прудов, когда в молочно-голубоватом небе начали парить эти почти невесомые кристаллы. Автоматически отметив, что бабьему лету конец, он приготовился к выходу. Ему было не до наблюдений за природой: в последние дни слежка за ним стала не просто навязчивой, а какой-то демонстративной. Вот и сейчас на площадке вагона стоит типчик в шляпе, явный сыщик, который не только не скрывается, а, наоборот, как бы желает быть увиденным, показывает, будто играет в фильме, что именно вот как раз этот джентльмен в английском реглане и шапке пирожком из астраханского каракуля как раз и является объектом его забот. Даже ничему не удивляющиеся москвичи с недоумением оборачиваются.

Трамвай тормозил у остановки, и сыщик, опять же рисуясь, подчеркиваясь, высовывался из вагона и показывал кому-то на Пулково – здесь, мол, он, все в порядке! На остановке Пулково ждали уже два типа. Они тоже не скрывались, отвечали на жестикуляцию из трамвая и смотрели с кривыми улыбками на выходящего профессора.

Пулково, проходя мимо, иронически приподнял свой «пирожок». Типусы гыкнули, хмыкнули, переглянулись и тут же последовали за «недорезанным буржуем», держась на положенном расстоянии, то есть очень близко.

В последние дни Пулково стал жалеть, что не принял приглашения Бо и не переехал в Серебряный Бор. У него уже не было уверенности, что кто-то не проникает без него в его холостяцкую квартиру. Более того, он не мог бы даже поручиться, что кто-то не ходит по ночам, когда он спит. Он наталкивался на шпигов повсюду – на лестнице, в подворотне, в трамвае, в книжном магазине, возле института и внутри института, даже на концертах в консерватории, которые он посещал неизменно по абонементу уже много лет. Что делать? Обратиться в милицию – смешно, писать жалобу в ГПУ – унижительно.

Он завернул в свой переулок и сразу увидел возле дома, прямо под козырьком матового стекла в стиле арт декор, большой черный автомобиль. На шоферском месте сидел красноармеец. «По мою душу», – подумал он, и ему даже стало легче: наконец-то все выяснится. Двое, один в цивильном пальто, другой в форме ГПУ, вышли из автомобиля.

– Профессор Пулково, Леонид Валентинович? – спросил первый чекист. – Здравствуйте, мы из ОГПУ. Извольте ознакомиться, ордер на обыск вашей квартиры.

Секунду подержав выправленный по всей форме ордер в недрогнувшей (что это было за странное самообладание?) руке, Пулково вернул его предъявителю.

– Что же вы ищете? – спросил он с улыбкой.

Второй чекист выпалил с мрачным автоматизмом:

– Вопросы задаем мы!

За спиной профессора уже стоял красноармеец с увесистым пистолетом на поясе. Джентльменским жестом Пулково пригласил всех присутствующих пройти внутрь.

* * *

Обыск подходил к концу. Чекист, копавшийся в письменном столе профессора, закрыл все ящики и присоединился к своему товарищу, возившемуся у высоких книжных полок. Пулково, как и полагается, с трубкой в зубах сидел в глубоком кресле. На коленях у него нежился кот.

С точки зрения кота, ничего особенного в уютной холостяцкой квартире, где, к сожалению, запах табака несколько преобладал над его, котовскими, сокровенностями, не происходило. Просто к папе зашли два библиофила. Даже то, что в дверях истуканом стоял солдат, не казалось коту чем-то особенным.

– Ну, вот и все, – сказал первый чекист, тот, что был в хорошей штатской одежде. – Мы ничего не изымаем, кроме вот этого. – Он показал пальцем на висящую на стене карту Англии с флажками, отмечающими путешествия профессора.

– Да зачем вам она? – изумился Пулково.

– Вам все объяснят позднее. А теперь, профессор, вам придется поехать с нами.

– Прикажете понимать как арест? – быстро произнес Пулково фразу, которая все у него вертелась, пока сыщики копались в бумагах и книгах.

Чекист усмехнулся:

– Назовем это «чрезвычайно важной встречей».

Пулково пожал плечами:

– Я могу и не поехать, если это не формальный арест.

– Это исключено, профессор. Вы поедете. – Чекист нагнулся и снял с колен Пулково его роскошного персидского кота.

Вот этого кот не любил. Никто, кроме папы, не имел права брать его под пузик. Он зашипел и царапнул руку библиофила. Второй чекист, тот, что имел одну шпалу в петлице, снял со стены карту Англии и стал скатывать ее в рулон. Только тогда, при виде этого вроде бы вполне простого действия, Пулково как-то неадекватно, почти конвульсивно содрогнулся.

– У вас есть йод? – спросил первый чекист, зажимая оцарапанную руку.

В ранних сумерках машина с Пулково выехала на кишашую извозчиками и грузовиками Лубянскую площадь. Печально знаменитое массивное здание в стиле конца века приближалось сквозь усилившийся снегопад. Нынче, в разгар нэпа, здание это, в котором когда-то помещалась мирная страховая компания, уже не наводило такого ужаса, как прежде, в дни «красного террора» и «военного коммунизма», однако и теперь здание это в обиходе предпочитали не упоминать, а если и упоминали, то как-то косо, с двусмысленной улыбкой, с мгновенной неуклюжестью в жесте и походке, что, бесспорно, свидетельствовало об укоренившемся страхе. В пивных под сильным градусом московские мужики иной раз толковали о «подвалах Лубянки», о том, что там и сейчас не затихает мокрая работа. Ходили по городу слухи о трех жутких лубянских палачах, которых именовали в духе гоголевского Вия: Рыба, Мага и Гель.

В интеллигентских кругах разное говорили о вновь выплывшем на чекистскую верхушку нынешнем председателе ОГПУ Вячеславе Рудольфовиче Менжинском. Известно было, что он из семьи

петербургского сановника шляхетского происхождения, то есть как и предыдущий – отколовшийся в революцию католик. В докатастрофные времена отнюдь не всегда он был твердокаменным ленинцем, иной раз публиковал даже оскорбительные памфлеты по адресу вождя всех трудящихся, однако Ленин именно его за исключительные интеллектуальные способности выдвинул на пост наркома финансов, а потом за какие-то еще исключительные способности – в президиум Чека, где он и сидел веселенькие годы, с девятнадцатого. О личных пристрастиях этого человека молва несла совсем уже противоречивые слухи – то выходил он диким развратником, грозой женщин или мужеложцем, алкоголиком и наркоманом, а то представлял полным аскетом, едва ли не скопцом, как и предыдущий, Феликс Эдмундович.

Машина проехала мимо огромных глухих ворот, ведущих во внутренний двор Лубянки, и остановилась возле парадного входа, что чуть-чуть ободрило Леонида Валентиновича Пулково. По знаку сопровождающего он вылез наружу, посмотрел на фасад и произнес с нервным смешком:

– Ага, вот она, «Россия»!

Чекист сзади сухо пресек неуместный юмор:

– Это Государственное Политическое Управление.

– Только воробьи этого не знают, – продолжал легковесничать Пулково. – Однако мы, старые москвичи, все еще помним ваших предшественников, страховое общество «Россия».

– Следуйте за мной, гражданин Пулково! – сказал чекист.

Леонид Валентинович похолодел и тут же залился горячей испариной. Он вдруг вспомнил, что они ни разу не обратились к нему со своим уважительным «товарищем», называли его только «профессором», а вот теперь этот отчужденный и холодный адрес превратился в зловещего «гражданина»; так они называют арестованных, заключенных, врагов. Цепляясь все-таки за спасительный юморок висельника, он пробормотал:

– Ага, понятно... формулировка, кажется, подходит к завершению...

* * *

«Наверное, отправят в Соловки, – думал он, проходя в сопровождении двух агентов по помещениям „Лубы“. – Там, говорят, можно уцелеть, много интеллигентных людей... Да ведь не убьют же, в самом деле, не отправят же в подвал к этим рыбам, магам и гелям».

Между тем ничего зловещего на первый взгляд в окружающей обстановке не было. Его провели сначала через огромный вестибюль с портретом Ленина и с пересмеивающейся между собой охраной, которая не обратила на профессора ни малейшего внимания. Потом они поднялись один марш по роскошной лестнице, призванной производить солидное впечатление на клиентов «России», и вошли в лифт.

Вместо ожидаемого подъема лифт пошел вниз. Душа Леонида Валентиновича падала камнем в пучины. Значит, все-таки в подвалы? Лифт остановился. Вместо мрачных сводов и орудий пытки Пулково увидел ярко освещенный безликий коридор с множеством дверей. Из-за некоторых дверей успокоительно трещали пишущие машинки. Вдруг откуда-то донесся дикий и долгий вопль. Это все-таки был человек под пыткой. Профессора ввели в другой лифт и на этот раз повезли вверх. Наконец, бледный и ошеломленный, он был подведен к большим, с резьбой, дверям мореного дуба.

В кабинете главы страховой компании теперь вполне логически размещался председатель ОГПУ В.Р.Менжинский. Пулково увидел мебель красного дерева, большой персидский ковер, письменный стол, крытый зеленым сукном, портреты Ленина и Дзержинского.

За столом сидел причесанный на пробор интеллигентный человек. Он встал как бы в приятном удивлении, потом направился с протянутой рукой к вошедшему, вернее, введенному Пулково. Любезнейшим тоном зарокотал:

– Очень рад познакомиться, товарищ Пулково! Спасибо, что приехали. Я – Менжинский.

Пулково пожал руку и, не скрывая облегчения, вынул платок и сильно приложил ко лбу и щекам.

– Мне тоже очень приятно, товарищ Менжинский, – попытался вспомнить тот изначально спасительный юморок, усмехнулся, но получилось довольно жалко. – Признаться, это был довольно долгий путь между его «гражданином», – он показал глазами на агента, – и вашим «товарищем».

Менжинский добродушно рассмеялся:

– Наши товарищи иногда немного пережимают. – Взял профессора под руку, повел в глубину, доверительно поделился: – Люди с героическим прошлым, но нервы не всегда в порядке.

Он провел Пулково в угол кабинета, где стояли кресла и маленький столик. После этого повернулся к агентам.

– Товарищи, почему же вы просто не объяснили товарищу Пулково,

что я хочу с ним поговорить? К чему эта таинственность? Ну, хорошо, вы свободны.

«Об обыске затевать речь, видимо, бессмысленно», – мелькнуло у Пулково.

Менжинский вернулся к нему.

– Присаживайтесь, Леонид Валентинович. Не хотите ли коньяку?

– Спасибо. Не откажусь.

Менжинский разлил коньяк, показал профессору этикетку.

– Бывший «Шустовский», ныне «Армянский. Пять звездочек». По-моему, бьет «Мартель». Ваше здоровье!

Сделав большой глоток, он придвинул кресло и улыбочиво смотрел несколько секунд, как розовеет и возвращается к жизни лицо его гостя. Затем приступил к делу.

– Много слышал, Леонид Валентинович, о вашем прошлогоднем путешествии в Англию. В правительстве считают, что эта поездка принесет пользу советской науке... В принципе как раз об этом, о некоторых перспективах современной науки, я и собираюсь с вами поговорить, однако прежде чем начать, я хотел бы уточнить нашу информацию о ваших встречах там с некоторыми людьми...

Все опять вдруг рухнуло внутри неподвижно сидящего, стремительно каменеющего Пулково. Неужели и об этом они пронюхали? Да что же в конце концов в этом? Ведь личное же, сугубо частное... Неужели и это теперь криминал?

– Прежде всего с господином Красиным, – продолжал Менжинский, не спуская с профессора холодных, пытливых, прямо скажем, не особенно джентльменских глаз.

Вздых облегчения, вырвавшийся у Пулково, не прошел незамеченным. Кажется, малейшее подергивание лицевых мышц фиксировалось этим нехорошим взглядом.

– Простите, Вячеслав Рудольфович, вы имеете в виду нашего посла товарища Красина? Того, что скончался несколько месяцев назад?

– Он вовремя скончался, этот господин Красин. Вы понимаете, что я хочу сказать?

– Нет, простите, решительно ничего не понимаю, да ведь и Красин уже был послом во Франции во время моего пребывания. Вот на обратном пути, в Париже, я был действительно представлен...

– Это нам известно, – быстро сказал Менжинский. – А вот в Англии?.. Во время вашего пребывания Красин дважды приезжал в Англию. Он вас не знакомил с какими-нибудь представителями британского правительства?

– Как же он мог меня с кем-то знакомить, если я его там не видел? – пробормотал Пулково.

Менжинский деланно засмеялся:

– Хорошо отвечаете, товарищ Пулково.

Пулково вдруг ни к селу ни к городу подумал, что, если бы не революция, Менжинский никоим образом не стал бы главой тайной полиции. Был бы каким-нибудь левым журналистом или биржевым маклером. Может быть, революция любого может сделать чекистом?

– Ваше счастье, Леонид Валентинович, – легко, дружелюбно продолжал беседу Менжинский, – ваше счастье, что вы не встречались с Красиным в Англии, мой дорогой... ни в гостинице по дороге из Лондона в Кембридж, ни в клубе «Атенеум»... хорошо, что не встречались нигде, кроме Парижа... где это было, сейчас не помню, кажется, на приеме в полпредстве?.. Я вам немного приоткрою шторку, если угодно. Видите ли, Красин уже канонизирован, правда о его британских связях никогда не выйдет на поверхность, а вот тем людям, кто имел несчастье с ним связаться в этом контексте, наверняка не поздоровится.

Я вас ценю как ученого, Леонид Валентинович. Немного, знаете ли, по-любительски, интересуюсь современной физикой. За этой наукой будущее. Очень бы не хотелось, чтобы выдающиеся умы ввязывались в темные политические дела. Такие люди, как Красин и его друзья из британских служб, вам не компания, профессор.

Вы уж лучше держитесь своей компании, дорогой. Ну, вот дружите с Эрнестом Резерфордом и дружите на здоровье... Кстати, расскажите мне о нем!

Говоря все это, шеф могущественной конторы дважды подливал коньяку и себе, и гостю и не один раз отхлебывал. Пулково даже показалось, что всепроницающие глаза покрылись некоторой пленочкой. Он стал рассказывать Менжинскому о работах Резерфорда. О чем еще можно рассказывать в связи с гениальным ученым, если не о его работах?

После первого воспроизведения искусственной ядерной реакции Резерфорд уже не выходит из этой области. Он предсказал существование нейтрино и надеется поймать эту частицу в лабораторных экспериментах. Да, мы хорошие друзья, Эрнест с симпатией относится к моим изысканиям в области низких температур, к идее высокочастотных разрядов в плотных газах...

Менжинский внимательно слушал, кивал, потом вдруг хлопнул ладонью Пулково по колену и пьяно захохотал:

– Ну, а как вам нравится Мейерхольд, Леонид? Он нас всех одурачил

со своим Гоголем! Знаете, вот отправляюсь, конечно инкогнито, на «Ревизора», ну, естественно, отдохнуть, поохотаться... а вместо отдыха со сцены прет чертовщиной какой-то, жуть, серой пахнет... Эге, это не для рабочих и крестьян, как полагаете?

Не дожидаясь ответа, Менжинский встал и пошел к своему столу. По дороге он передумал и переменял направление в сторону маленькой двери в дальнем углу. Тут его основательно качнуло. Достигнув двери, он обернулся к физику.

– Живем, ей-ей, на грани какой-то мистики, – проговорил он. – Недавно я читал, что ваш Резерфорд предполагает планетарное строение атома. Значит ли это, что наша Солнечная система может оказаться просто атомом, а Земля – одним из электрончиков?

– Это не исключено, – сказал Пулково.

– Ха-ха! – вскричал Менжинский. – Впечатляюще!

Хохоча, он ушел в смежную комнату.

Несколько минут Пулково сидел в одиночестве, пытаясь собрать убегающие, будто нейтрино, мысли, пытаясь понять, что все это значит и откуда в Чека вдруг объявился интерес к ядерной физике.

Менжинский вернулся совершенно трезвый – да и неизвестно, был ли он пьян хоть на минуту, не актерствовал ли, – и сел рядом с Пулково. Несколько секунд он молча смотрел на него, а потом строго спросил:

– Леонид Валентинович, правда ли, что атомические исследования могут привести к созданию всепокрушающего оружия?

* * *

К ночи снег быстро стоял под внезапно приплывшей в район Москвы оттепелью. Дул сильный южный ветер, зонты вырывались из рук. Бо и Лё медленно шли, поддерживая друг друга, по пустынной дачной улице в Серебряном Бору.

– Что же ты ответил ему на вопрос об атомическом оружии? – спросил Градов.

– Я сказал, что на это уйдет не меньше столетия, – пожал плечами Пулково.

Градов усмехнулся:

– Большевики – странные люди. Иногда мне кажется, что при всем материализме их поступками движет какой-то мистицизм. Чего стоит, например, бальзамирование Ленина и выставление останков на

поклонение. Что касается времени, то они его, сдается мне, запросто делят на четыре. Вот, возможно, что тебя спасло, Лё, атомическое оружие. Они хотят его иметь через четверть столетия...

Большая фигура в милицейской форме вдруг вылезла из-за забора, нетрезво качнулась и произнесла, подняв ладонь к козырьку:

– Так точно, товарищ профессор! Даешь оружие через четверть столетия!

– Слабопетуховский! – вскричал профессор Градов. – Что вы тут делали? Опять подслушивали? И почему это на вас милицейская форма?

Весьма довольный произведенным эффектом, Слабопетуховский весело доложил:

– Выписался из героической РККА и записался в героическую милицию, товарищ профессор. Агафья Власьевна не даст соврать, третий день у вас участковым уполномоченным на страже благополучия. Позвольте задать личный вопрос. Лишний троячок случайно у вас не завалялся в карманчике пальто?

* * *

В конце месяца Никита, Вероника и Борис IV возвращались в Минск. Собственно говоря, возвращались-то только родители, в то время как надменный младенец, урожденный москвич, совершал свое первое путешествие.

Среди толкотни и суеты Белорусского вокзала на перроне возле спального, так называемого международного, вагона собиралось семейство Градовых. Мэри приехала из дома вместе с любимым внуком, чуть позднее прибыл Борис Никитич, потом сосредоточенно пришагал Кирилл.

Никита держал на руках Бориса I V. Увесистый крошка чуть посапывал ему в щеку, переполняя все существо комдива неслыханной нежностью. Агаша, бывший младший командир, а ныне участковый уполномоченный Слабопетуховский, а также неизвестный красноармеец, присланный из наркомата, завершали погрузку багажа.

– Почему так много комсостава на перроне? – спросил Кирилл старшего брата. На юном его лице было отчетливо написано, что он-то имеет право задать такой вопрос и рассчитывает получить ответ.

Никита это заявление немедленно прочел и ответил как свой своему:

– Большие маневры на польской границе.

– Вах, – сказала тут Мэри. – Дайте мне поддержать самого лучшего

ребенка в мире.

Борис IV тут же перекочевал к ней, стал сопеть теперь уже ей в щеку.

– А где же Вероника? – спросил Борис Никитич.

– Пошла купить журналов на дорогу, – сказал Никита и поднялся на ступеньку, чтобы сверху высмотреть в толпе жену. – Вон она! Как всегда, в своем репертуаре – забыла обо всем на свете!

Вероника с ворохом журналов медленно двигалась в толпе отъезжающих и провожающих, штатских, военных, крестьян, совслужащих. Погруженная в журналы, она ничего не замечала вокруг, даже подозрительно крутящихся поблизости пацанов-беспризорников.

Вдруг кто-то из толпы тихо обратился к ней:

– Вероника Александровна!

Она подняла глаза и узнала Вадима Вуйновича. Смуглый, широкий в плечах, тонкий в талии, больше похожий на кавказца, чем полугрузин Никита, он смотрел на нее, не скрывая восхищения, вернее, не в силах скрыть его. Казалось, в следующую секунду он просто бросится к ней в любовном головокружении. Вероника засмеялась:

– Вадим! Вы меня напугали! Шепчет, как шпион: «Вероника Александровна!»

Она давно уже понимала, какого рода чувства испытывает к ней этот человек, и всегда инстинктивно старалась снизить тон, обернуть драматические страсти-мордасти в легкую веселую двусмысленность.

– Простите, я не хотел обращаться к вам, но... но... – бормотал Вадим.

– Тоже едете в Минск? – спросила она. – Заходите в наше купе, мы в «международном». Познакомьтесь с его высочеством Борисом Четвертым.

Никита с подножки вагона видел идущих рядом Вадима и Веронику. Он знал, что бывшему другу нечего тут делать, как только выслеживать его жену. Мрак опустился на него, а тут еще он вдруг увидел бодро шагающий по перрону небольшой отряд, вроде бы полувзвод моряков в их черной форме с блестящими пуговицами, с трепещущими лентами бескозырок; один, в первом ряду, – с боцманской дудкой на широкой груди. Никите вдруг показалось, что в следующий момент отряд возьмет его на прицел, то есть мгновенно и без церемоний отомстит за Кронштадт.

– Нет, я не приду к вам в купе, – тихо сказал Вадим Веронике. – Я просто хотел вам счастья пожелать.

Вероника еще веселее засмеялась и взяла его под руку.

– Такой странный! Счастья пожелать! – Она махнула мужу всей пачкой только что купленных журналов. – Никита, смотри, кого я заарканила!

Вадим освободил свою руку, отступил и исчез в толпе.

Отряд моряков остановился и сделал левый поворот возле «международного» вагона, в котором отбывал не только комдив Градов, но и главком Западного военного округа Тухачевский. Оказалось, что это просто-напросто музыканты. Почти мгновенно они заиграли «По долинам и по взгорьям».

В последний момент перед отходом поезда по перрону, словно скоростная моторка, пронеслась Нина. Она еще успела прыгнуть на шею брата, лобызнуть золовку, подкинуть высокомерного младенца-племянника.

Поезд медленно тронулся. Никита и Вероника стояли в дверях вагона, обнявшись. Смеялись и посылали воздушные поцелуи. Все шло как по маслу под бравурную интерпретацию красноармейско-белогвардейской песни минувшей войны. Провожжающие, как им и полагается, махали руками, платками и шляпами. Мэри Вахтанговна, не в силах видеть удаление любимого детища, уткнулась мужу в мягкий шарф. Участковый уполномоченный Слабопетуховский то и дело доставал из-за голенища четвертинку водки. В его сознании, очевидно, произошел некоторый сдвиг времен.

– Шла дивизия вперед! – кричал он вслед поезду. – Даешь Варшаву!

– Прекратите, Слабопетуховский! – строго сказал ему Кирилл Градов. – Вы что, не понимаете, что вы несете?

Участковый протянул партийцу свою драгоценную четвертинку и очень удивился, когда его щедрая рука была решительно отодвинута.

Глава седьмая

На носу очки сияют!

В ноябре 1927 года Тоунсенд Рестон вновь покинул свою штаб-квартиру в Париже для того, чтобы совершить путешествие на «Красный Восток». Повод на этот раз в отличие от первого, два года назад, приезда был более отчетливым – освещение грандиозных празднеств, затеваемых в Москве в связи с десятилетием Октябрьской революции.

Десятилетие немыслимой власти, перед которой даже шабаши чернорубашечников и речи Муссолини кажутся лишь пьеской комедия дель арте! Власть стоит незыблемо и, по всей вероятности, вовсе не думает меняться, то есть утрачивать свою немыслимость, идти в том направлении, которое предсказал тогдашний собеседник Рестона, мистер Юстрелю, теоретик движения «Смена веков».

В отличие от того профессора-эмигранта Рестон не испытывал никакого священного трепета перед «исторической миссией России», если он вообще когда-нибудь предполагал, что эта миссия действительно существует и с ней цивилизованный мир должен считаться. Он просто видел полную абсурдность и самую наглую беспардонность установившейся в разрушенной империи власти и ни на минуту не сомневался, что они раздавят этот свой нэп в ту же минуту, как только решат, что он им больше не нужен.

Первая серия «русских» статей Рестона, которую он как раз и построил в форме дискуссии с неким русским, «осоветивающимся» историком, имела успех. После этого Рестон уже не сводил взгляда с Востока. Он знал о проходящей внутрипартийной борьбе и ни на цент не верил ни тем, ни другим. Конечно, Устрялов ухватился бы за тот факт, что генеральная линия одолевает оппозицию с ее ультрареволюционными лозунгами. Вот, сказал бы он, вам и доказательство укрепления идеи нормальной государственности. Сталин – прагматик, ему нужна крепкая держава, а не мировой пожар, ему нужен нэп, нужны крепкие финансы, надежное снабжение, довольный сытый народ. «Bullshit», – бормотал Рестон в ответ на эту воображаемую тезу, коммунизм в этой стране злое еще укрепляется с каждым годом, и укрепляет его генеральная линия, а не болтуны из оппозиции. Оппозиция, при всем ее революционном демонизме, – это все еще отрывок либерализма. Истинный коммунизм начнется со Сталина.

Утром 7 ноября он вышел из «Националя» и пешком направился на Красную площадь, куда ему стараниями ВОКСа был выписан пропуск. Сопровождала его воксовская переводчица Галина, блондинистая молодая особа с повадками плохо тренированного скакуна. Она все время как-то дергалась в разные стороны и озиралась одновременно во всех направлениях.

«Может быть, все-таки переспать с ней? – думал Рестон. – Удовольствие явно будет не высшего сорта, но зато смогу похвастаться перед Хэмом в „Клозери де Лила“, что спал с чекисткой».

Он положил ей руку чуть-чуть ниже талии. Круп Галины немедленно ушел из-под руки, как льдина из-под сапога в ледоход. Крупные боты сбились на нервный галоп.

– Переведите мне, пожалуйста, все эти лозунги, – попросил Рестон.

Манежная площадь на всем протяжении была заполнена отрядами участников парада; они или стояли «вольно», или маршировали на месте, или начинали двигаться по направлению к Кремлю. Серый денек был крепко подогрет повсеместным полыханием одноцветных, то есть кумачовых, знамен. Со стен Исторического музея, Гранд-отеля и здания бывшей Думы смотрели портреты Ленина, Сталина, Бухарина и других членов Политбюро. «В принципе на этих портретах одно и то же лицо», – подумал Рестон. Меняются от вождя к вождю только очертания растительности.

Галина торжественным тоном переводила призывы с огромного полотнища на фасаде Исторического музея:

– «Взвейтесь, красные знамена! Пролетарии мира! Труженики всей земли! Готовьтесь, организуйте победу мировой революции!»

«Вот оно как, – хмыкнул Рестон, – где же ваши принципиальные различия, господин Устрялов?»

Проходившие мимо части Красной Армии демонстрировали новинку – яйцеподобные стальные шлемы. Промаршировал санитарный отряд женщин в голубых косынках. Марширует на месте полк Осоавиахима. Рядом машет сжатыми кулаками полк «Красных фронтовиков Германии», часть из них, несмотря на московский промозглый холод, в коротких баварских штанишках. Здоровенные молочные ляжки. «Фронтовики» вызывают умиление у московской публики. Подвыпивший субъект в пролетарской фураженции плачущим голосом обращается к немцам: «Пулеметиков бы вам, браточки, пулеметиков бы! Показали бы вы тогда Гинденбургу!»

«Зиг хайль!» – режут хорошо отъевшиеся в Москве немцы.

Через репродукторы по всей площади начинает разноситься произносимая с трибуны Мавзолея речь Николая Бухарина. Парад начался. Рестон и переводчица ускоряют шаги.

– Пролетарии! – театральным голосом взывал Бухарин. – Трудящиеся крестьяне! Бойцы Красной Армии и Флота! Пять лет с винтовкой в руке мы сражались против несметных сил врага! Мы разбили их вдребезги! Мы переломили хребет помещику! Мы ниспровергли банды капиталистов! Пять лет мы сражались против разрухи и нищеты, частного капитала и паразитов! Мы подняли страну из бездны, мы быстро идем вперед! Мы тесним капитал, мы окружаем кулака! Кто мы? Массы! Миллионы! Рабочие, крестьяне-труженики! Да здравствует Великая Октябрьская революция!

«И после таких речей тут люди еще на что-то надеются», – подумал Рестон.

«Почему бы ему не подарить мне эту авторучку? – подумала переводчица, глядя, как гость – „гость непростой, даже опасный“, предупредили ее, – не замедляя хода, ставит стенографические закорючки в блокноте своим „монбланом“ с золотым пером. – Ах, я была бы без ума от этой авторучки!»

– Скажите, Галина, это правда, что оппозиция сегодня собирается выступить? – спросил Рестон. – Говорят, что будет своего рода параллельная демонстрация, вы не слышали?

Она пошла крупной дрожью. Вот уж правильно предупреждали! Опасный!

– Да как же вы можете это говорить в такой день, господин Рестон?! Всенародный праздник, господин Рестон! Разве вы не симпатизируете нашей стране?

– Нет, не симпатизирую, – буркнул он.

* * *

В десять утра на Кремлевской стене вспыхнула огненная цифра «Х». Из ворот Спасской башни на белом коне выехал наркомвоенмор Ворошилов. Всадник он был явно неплохой, в седле сидел вольготно, видно было, что наслаждался сегодняшней миссией: тысячи глаз устремлены на него, «первого красного офицера»! После завершения церемонии принятия рапортов мимо Мавзолея пошла кавалерия: всадники в остроконечных «буденновских» шлемах держали пики с разноцветными

флажками.

«Странная униформа, – строчил Рестон в свой блокнот. – Армия Хаоса. Гог и Магог».

* * *

Будто для того чтобы усилить это впечатление «опасного гостя», через площадь на всем скаку прошел национальный полк Кавказа. Летели черные бурки и голубые башлыки.

На трибунах для иностранных гостей, где преобладали разноплеменные коммунистические делегации, воцарился полный восторг. Оглядываясь, Рестон видел горящие глаза и поднятые в пролетарском приветствии кулаки.

Кто-то, кажется группа испанцев, запел «Интернационал». Тут же на разных языках загремела вся трибуна. Кто-то, принимая за своего, положил Рестону руку на плечо. «Мерзавцы», – думал журналист, улыбаясь, показывая все тридцать два американских зуба.

* * *

За трибуной Мавзолея в комнате отдыха был сервирован большой стол с вином, закусками и огромным самоваром. Здесь наблюдалась постоянная циркуляция вождей, среди которых мельтешили Молотов, Калинин, Томский, Енукидзе, Клара Цеткин, Галахер, Вайян-Кутюрье... В открытые двери доносились музыка и гром парада.

Сталин и Бухарин пили чай в уголке. Стаканчик слегка дребезжал о подстаканник в непролетарской лапке Николая Ивановича. Иосиф Виссарионович олицетворял стабильность, кусок за куском ел бутерброд с икрой. Как все грузины, он умел есть. Бухарин, истый наследник бездарной позитивистской интеллигенции, хлебал неаппетитно, шептал:

– Иосиф, есть точные сведения, что оппозиция выступит по крайней мере в Москве и Ленинграде.

Сталин улыбался, то есть слегка распускал рот под усами:

– Не волнуйся, Николай. Рабочий класс не допустит бесчинства кучки негодяев.

– Менжинский в курсе дела? – нервно интересовался Бухарин.

Сталин хмыкнул:

– Не волнуйся, дорогой.

Характер шума за дверьми между тем изменился. Мерное уханье маршировки увядало. Вразнобой играло несколько оркестров. Многотысячное шарканье подошв. Хаотическая многоголосица. Выкрики любви к правительству. Начиналась демонстрация трудящихся столицы.

Рестон допытывался у переводчицы, что это за дикие карикатурные фигуры плывут над колоннами. Та сначала вздыхала, закатывала глаза: ну это так, ну, в общем, политическая сатира, но потом, закусив губу, с некоторой даже злостью – вот, мол, вам за гадкое любопытство – выложила:

– Вожди британского империализма Макдональд и Чемберлен!

Ага, понятно, Рестон теперь и сам уже начинал разбираться. Вот плывет огромная фанерная фигура мирового рабочего с кувалдой. Перед ним оскаленные злоеющие рожи империалистов в цилиндрах и с сигарами. Ражие парни, хохоча, тянут веревку. Рабочий вздымает кувалду и обрушивает ее на цилиндры. После справедливого наказания кувалда снова вздымается, а цилиндры выпрямляются. «Смешно, что он не может нанести окончательно сокрушающего удара, иначе провалится все шоу», – зловедничал в записной книжке Рестон.

Вдруг пошла какая-то необозримая колонна китайцев. Над ней на ходулях вышагивали империалистические чучела. Сатирический мотив затем схлынул. Колонны московских предприятий плакатами и передвижными радостными диаграммами рапортовали о своих достижениях. Тут и там проплывали портреты Сталина, Калинина, Рыкова. Представители колонн кричали в большие из оцинкованной жести рупоры:

– Да здравствует Сталин!

– Да здравствует всесоюзный староста!

– Да здравствует наше родное Советское правительство!

Рабочие завода имени Ильича развернули широкий транспарант: «За ленинизм, против троцкизма!»

* * *

Главная улица Москвы Тверская с ее гостиницами, ресторанами и магазинами была запружена медленно продвигающимися в сторону Красной площади колоннами демонстрантов. Погода в целом благоприятствовала излиянию чувств, как, впрочем, и возлиянию ободряющих напитков. Бодрили и оркестры, шлось хорошо.

Над демонстрантами, на балконе гостиницы «Париж», стояли шесть фигур руководящего состава. Они приветствовали колонны, выкрикивали в рупоры лозунги революционного характера, бросали праздничные листовки. Проходящие под балконом «михельсоновцы» отвечали громким «ура» и аплодисментами.

– Кому вы аплодируете, товарищи?! – надрывался Кирилл Градов. – Ведь это же оппозиция! Троцкисты! Раскольники!

Он стоял на платформе грузовика с откинутыми бортами. Вместе с ним орали во все стороны несколько других агитаторов Краснопресненского райкома ВКП(б).

«Михельсоновцы» сначала и их просто награждали аплодисментами, потом стали соображать – что-то не по-праздничному базлают товарищи. Потом стали внимательнее приглядываться к «Парижу», пошел в ход классовый прищур – и впрямь что-то не то: в окнах гостиницы портреты Троцкого и Зиновьева, с балкона, если разобраться, доносится несуразное «Долой сталинский бюрократизм!»... а вон листовочка парит, пымай ее, Петро, да прочти! Прочесть мало, тут карикатура на нашу партию, товарищи. Вот гляньте: «ВКП(б) за решеткой».

«Во влипли, братцы!» – захохотал кто-то. Другой кто-то яростно заорал, потрясая кулаком: «Надули, сукины дети, испортили праздник!» Из переулка вырвалась группа молодых, краснощеких, пошла пулять яблоками по балкону: «Бей гадов!»

У входа в гостиницу стояла довольно плотная, не менее двух сотен, толпа оппозиционеров, преобладали люди студенческого и интеллигентного вида, было, однако, немало и рабочих. Покачивалось несколько раскольнических лозунгов: «Да здравствует оппозиция!», «Да здравствуют вожди мирового пролетариата товарищи Троцкий и Зиновьев!» Все новые и новые группы молодчиков выскакивали из переулков, разрезали колонны, теснили митингующих, выхватывали то одного, то другого, сильно давали по шее или под дых, швыряли на мостовую. В ораторов на балконе все гуще летели паршивые яблоки, галоши. Оппозиционеры, видя, что каша заваривается вкрутую, пытались соединить руки, выкрикивали хором: «Долой Сталина! Долой сталинизм!» – защищались неумело и ничтожно, будто толстовцы собрались, а не такие же яростные коммунисты.

Подъезжали один за другим милицейские фургоны. Организованных патриотов становилось все больше, к ним присоединялись и демонстранты из проходящих колонн, и вскоре теснение оппозиции превратилось в повальное избиение. Оппозиционеры, бросая плакаты, пытались выбраться

из толпы, скрыться в подъездах. Их тут же перехватывала милиция и без церемоний распахивала по фургонам.

Кирилл с райкомовского грузовика не без содрогания смотрел на разворачивающуюся картину. Литературные ассоциации, которыми, естественно, был богат градовский дом, услужливо подталкивали сопоставить происходящее с чем-то из «позорного прошлого», некий повтор, *deja vu*:^[1] налет охотнорядцев на митинг социал-демократов.

Рядом потирал руки радостно возбужденный товарищ Самоха. Борясь с отвращением, Кирилл взял чекиста за пуговицу.

– Что происходит, Самоха? Вы спустили с цепи Марьину Рощу!

Большой и складный мужик Самоха даже не повернул к юнцу головы.

– Ничего, ничего, – приговаривал он. – Это им пойдет впрок! Не будь интеллигентским хлюпиком, Градов! История шутить не любит!

«Может быть, он и прав, – подумал Кирилл. – Скорее всего, он прав, пора уж раз и навсегда, как Ленин учил, выбросить белые перчатки. А чем я лучше этого Самохи? Не я ли весело смотрел, как на Преображенском висели двое таких же вот, в шпанских кепариках?»

Вдруг он увидел неподалеку, как двое, как раз двое и как раз «таких же вот», в кепариках с обрезанными под корешок козырьками, тащат женщину с портретом Троцкого в руках. Один сорвал с нее платок, другой ухватил за волосы. Не помня себя, Кирилл спрыгнул с грузовика и бросился на выручку.

Троцкий с переломанной палкой резко вылетел из рук женщины, в последний раз на сотую долю мига косым планом зафиксировался над бурлящей толпой – эх, а ведь совсем еще недавно жарили под тальяночку: «Посмотри-кось ты на стенку, етта Троцкого портрет, на носу очки сияют, буржуазию пугают!» – и свалился в грязь под ноги. Рифленая подошва немедленно прогулялась по легендарному лицу. Бросив женщину, молодчики принялись за Кирилла. Схватили за грудки, придавили к стене. Морды их сияли счастьем: эх, жизнь – прогулка!

Кирилл сопротивлялся, чем еще больше их веселил. Теперь один давил ему на шею, пригибая голову к земле, а второй заворачивал руку за спину.

– Пустите! – отчаянно завопил Кирилл. – Я не... я не троцкист! Я за... генеральную линию партии!

Ребята заржали:

– Ты за генеральную, а мы за солдатскую!

Неторопливо подошедший к возящейся троице «рыцарь революции» Самоха в своих кожаных доспехах – явно не спешил, чтобы и хлюпику Градову кое-что пошло впрок, – показал уркаганам красную книжечку

ОГПУ и освободил марксиста.

* * *

Между тем в другом районе столицы, на углу Моховой и Воздвиженки, откуда уже была видна пузатая Кутафья башня Кремля, события развивались несколько иным образом. Здесь оппозиции удалось лучше организовать митинг. Митинг был гораздо многочисленнее и спокойнее. Никто не посягал на раскольнические плакаты и лозунги. Фасад Четвертого Дома Советов был украшен большим портретом Троцкого. Неподдалеку от портрета в открытом окне время от времени появлялся оригинал, взмахивал пачкой тезисов, пламенно, в лучшем стиле Южного фронта тысяча девятьсот двадцатого года, бросал в толпу:

– Вопрос стоит просто, товарищи: или Революция, или Термидор!

В ответ неслись оглушительные аплодисменты и приветствия. Троцкий фиксировал историческую позу, отворачиваясь от окна, глотал аспирин. Голова трещала. «Надо было действовать три года назад, – в который раз корил он себя. – К пулеметчикам надо было обращаться, а не к студентам».

По периферии митинга по направлению к Красной площади медленно проходили колонны основной демонстрации. Демонстранты глазели на митинг, никак не выражая своего отношения к лозунгам. При появлении Троцкого в окне все, конечно, ахали. Вождь морщился. Ахают от любопытства, а не из солидарности. Не меньше, наверное, ахали бы, а может быть, и больше, если бы появлялся Шалапин.

В одной из колонн продвигалась большая группа молодежи. Внимательно присмотревшись к этой группе, можно было бы предположить, что она скорее принадлежит к оппозиции, чем к демонстрации послушного большинства. Между тем она двигалась смирно и даже как бы апатично, стараясь не обращать внимания на зажигательные кличи из Четвертого Дома Советов. Семен Стройло нес плакат «Слава Октябрю!», Нина Градова – портрет «всесоюзного старосты», похотливого козлобородого Калинина, руководитель же подпольного кружка Альбов не постеснялся вооружиться физиономией самого ненавистного Кобы. Им надо было во что бы то ни стало благополучно достичь Красной площади.

Движение колонн опять застопорилось, и группа Альбова, не менее сотни юных троцкистов, остановилась как раз напротив Четвертого Дома Советов. Волей-неволей ребята теперь смотрели издали на своих, на

портрет любимого вождя и открытое окно, в котором только что промелькнул оригинал. Альбов с тревогой озирает дрожащих от возбуждения соратников: только бы не сорвались!

Нина Градова, оглянувшись по сторонам, прошептала на ухо Семену:

– Ручаюсь, здесь полно агентов Сталина! Посмотри, Семка, вон шныряют шакалы!

– Факт. Где же им еще быть? – натужно пробасил Семен и левой рукой обнял ее за плечи, как бы передавая свое классовое, уверенное в своей правоте спокойствие. Ему еле удавалось сохранять широту и размеренность движений, то есть свой главный маскарад. Все у него внутри трепетало и звало как раз к полной противоположности – юлить, оглядываться, прятать взгляд. Скоро все выяснится. Почти наверняка она поймет наконец, кто он такой, вот тогда и увидим: любишь или не любишь, профессорская дочка? Вот тогда и проверится искренность твоих чувств, что тебе дороже: троцкизм твой говенный или любимый мужик. В новую жизнь ведь тебя могу провести гордой поступью!

Из-за плакатов, как из-за мейерхольдовских декораций, вынырнуло красивое лицо Олечки Лазейкиной, послышался ее горячий шепот:

– Ребята, он! Смотрите, Лев Давидович!

В окне и в самом деле вновь возник Троцкий. Застыл на мгновение с поднятой рукой, потом начал швырять вниз призывы:

– Мы за немедленную индустриализацию! Мы за партийную демократию! Товарищи, пламя революции вот-вот охватит Европу и Индию! Китай уже рычит! Бюрократия – это оковы на ногах мировой революции!

Митинг под окнами опять взорвался криками и аплодисментами, вверх полетели шапки. Трудящиеся из колонн по-прежнему глазели на все происходящее, как на спектакль. Началось медленное движение к Кремлю. Альбов шептал своим:

– Спокойно, ребята! Мы проходим тихо. Наша цель – Красная площадь.

Вдруг все замерли на Воздвиженке. С крыши Четвертого Дома Советов спускался крюк. Из слухового окна две пары чьих-то рук дергали толстую веревку, стараясь подвести крюк под край портрета Троцкого. Оппозиция возмущенно взревела. В колоннах кто-то восторженно взвизгнул:

– Глянь, портрет хотят стащить!

Троцкий некоторое время еще швырял призывы, явно не понимая, что происходит, потом опять исторически застыл. Распахнулось соседнее окно,

и в нем появился ближайший сподвижник Муралов с длинной половой щеткой. Наполовину высовываясь из окна, он елозил щеткой по стене, пытался перехватить зловерный гэпушный снаряд.

– Ура! – вопили теперь восторженно в топчущихся колоннах.

Борьба щетки и крюка захватила всех. Троцкий отступил от окна и сказал приближенным:

– Мы проиграли. Массы инертны.

Между тем дело обстояло как раз наоборот: под давлением щетки крюк позорно ретировался. Массы с энтузиазмом аплодировали. Отсутствие чувства юмора помешало вождю перманентной революции использовать свой единственный шанс. Парад продолжался весь день. В приемной на задах Мавзолея прислуга уже в десятый раз заново сервировала стол. Иногда открывалась дверь на трибуны, и тогда становились видны коренастые фигуры вождей, неумоимо приветствующих демонстрантов. Слышался шум проходящих колонн, рев оркестров, возгласы любви.

Охрану внутри Мавзолея несла кавказская стража самого Сталина. Два джигита, вооруженные револьверами и кинжалами, стояли у дверей подземного тоннеля, ведущего за кремлевскую ограду. Вдруг одному из них послышалось что-то подозрительное. Он открыл дверь и увидел в тоннеле троих стремительно приближавшихся командиров РККА.

– Кто пропустил?! – взвизгнул охранник. – Стой! Стрелять буду!

Подбежали еще два кавказца, руки на рукоятках кинжалов. Командиры подошли уже вплотную, напирали, размахивали пропусками. Один из них гулко басил:

– Какого черта?! Нас послал начальник академии Роберт Петрович Эйдеман для охраны правительства! Вот пропуска! Комполка Охотников, комбаты Геллер и Петенко! Прочь с дороги!

Охранник забрал пропуска, начал их разглядывать. Командиры как-то странно пружинились, взгляды их обшаривали буфетную залу, словно кого-то выискивая среди входящих и выходящих вождей. Осетин-охранник поднял рысий взгляд на басистого Охотникова, от напряжения приподнялся на носки, будто гончая перед рывком.

– Неправильная печать на ваш пропуска! Почему?

Он еще колебался, предположить ли самое нехорошее, однако инстинкт ему говорил: надо действовать немедленно, в следующую секунду, иначе будет поздно.

Петенко вырвал у него из рук пропуска.

– Без печати ты не видишь кто мы? Орденов наших не видишь,

дикарь?!

Охранник засвистел в свисток. Буфетная наполнилась охранниками, работниками секретариата. Прогремел голос: «Сдать оружие!» Открылась дверь с трибуны, вошли Сталин, Рыков и Енукидзе. Кто-то из них удивленно воскликнул: «Что здесь происходит, товарищи?!»

При виде Сталина Охотников, Геллер и Петенко бросились головами вперед. Кавказцы повисли на них. Все выглядело очень нелепо: опрокидывающиеся столы, разлетающиеся вдребезги бутылки и тарелки, съехавший в угол и извергающий пар самовар, перепуганные вожди, возящаяся вокруг возмущенно орущих командиров кавказская охрана; над всем царил крепкий до тошнотворности запах разлившегося коньяка.

Все это продолжалось несколько секунд, и в течение этих секунд Сталин понял: происходит что-то очень нехорошее, может быть, то самое, что иногда снится во сне со всеми подробностями, то самое, что не дает спать по ночам. То самое происходит среди бела дня, над священным телом революции. Надо немедленно бежать. Не имею права рисковать собой.

В следующую секунду Охотникову удалось отшвырнуть двух охранников. Он подскочил к Сталину и со всего размаха ударил его кулаком по голове. Сапоги Сталина разъехали в коньячной луже, он упал в угол, мелькнуло: «Конец революции!», и потерял сознание. Осетин достал сзади Охотникова кинжалом в плечо. Брызнула кровь.

– Возьмите их живьем! – орал Енукидзе.

Сталин в нелепой позе лежал в углу, вокруг были разбросаны слетевшие со столов закуски. Охотников зажимал рану правой рукой, вся левая часть спины была в крови, в левой руке он теперь держал револьвер. В мельтешне он никак не мог прицелиться в Сталина. Что-то мешало ему, красному герою-головорезу, стрелять в тех, кто ни при чем.

Еще через несколько секунд командирам с пистолетами в руках удалось протиснуться в тоннель и пуститься в бегство. За Кремлевской стеной их ждали две мотоциклетки.

– Ушли, мерзавцы! Иосиф, как ты? – участливо склонился Рыков.

Сталин сидел сморщившись, будто уксусу хватанул по ошибке. Он расстегнул пуговицы, чтобы оправить собравшуюся на животе шинель.

– Далеко не уйдут, – пробурчал он.

* * *

Демонстрация между тем продолжалась. «Мы – красная кавалерия, и

про нас былинники речистые ведут рассказ», – голосили девчата в косынках. Колонна, в которую затесалась группа Альбова, вступала на Красную площадь, демонстрируя все, что полагается: огромный гроб «русского капитализма», гидру контрреволюции с головой Чемберлена, макет будущего Днепрогэса. Проходя мимо фасада Верхних торговых рядов, колонна обтекала памятник Минину и Пожарскому. В этом именно месте Альбов выбежал из ряда и, широко размахнувшись, швырнул на торцовую мостовую портрет Сталина. Усатой физией вверх портрет проскользнул по слизи в сторону цепи красноармейцев, выстроившихся перед Мавзолеем.

– Пора, товарищи! – закричал Альбов своим.

Троцкисты уже отшвыривали официальные плакаты и разворачивали над головами припрятанный до этого момента транспарант «Долой термидорианцев!». Такой же лозунг спускался на огромном полотнище из окон Верхних торговых рядов прямо на обозрение правительственным трибунам и почетным гостям: «Долой термидорианцев!»

«Долой! Долой!» – скандировали юнцы. Нина то размахивала руками, то вцеплялась в плечо Семена. «Долой! Долой!» – морозные волны восторга окатывали и воспаляли ее. В такую минуту на пулеметы побежать, погибнуть, испариться! «Долой!»

Власти немедленно начали принимать меры. Рота пехотинцев бежала через площадь, стаскивая винтовки и отмыкая штыки. Приказ был – лупить прикладами, не жалея. В тыл колонны врезался эскадрон кавалерии. Честные трудящиеся расступались, показывая конникам: «Это не мы, братцы, это вон там, жидовня!» Махали вслед кулаками, выражали гнев: «Бей гадов!» У конницы задача, однако, была не бить, а оттеснить группу с площади на зады Верхних торговых рядов. Разрозненно, со свистками, создавая дикую панику, подбегали со всех сторон милиционеры: «Лови предателей!»

Сцепив руки, группа Альбова защищала свой транспарант, пока могучие лошади и летящие в лица приклады не вдавили ее под темную арку проходного двора. «Наше дело сделано! Все врассыпную!» – донесся откуда-то голос предводителя.

Рассыпаться, увы, было уже некуда. Через несколько минут группа оказалась в узком Ветошном проезде, отделенном от Красной площади массивным зданием рядов. Здесь уже началось настоящее избиение. Милиция и красноармейцы орудовали палками, прикладами и шашками в ножнах. Мелькали окровавленные, обезображенные лица. «Фашисты! Убийцы!» – истошно кричали троцкисты. Их сбивали с ног, волокли к

тюремным фургонам. Кое-кто еще пытался бежать, смешаться с толпой зевак. Их опознавали и вытаскивали на избиение. Творился суший бедлам.

Двое красноармейцев, гогоча, волокли Нину Градову. Один обхватил ее сзади, другой рвал пуговицы на пальто.

– Вот сейчас мы тебя, сучка, заделаем! Вот тащи ее, Коляй, за бочки! Там мы ее заделаем!

Разрываясь от крика: «Семен! Семен!», Нина пыталась освободиться от пронзительно-вонючих ублюдков. Налетела волна воющих людей и всадников, разорвала сцепление, отшвырнула Нину к дверям какой-то москательной лавки. Дверь приотворилась, масляная рожица вынырнула из темноты.

– Влезай, барышня, спасайся!

Она в ужасе отшатнулась, снова закричала: «Семен! Семен!» – и вдруг увидела его.

Среди всей этой мрачной свалки инструктор Осоавиахима был светел, даже лучист. Покуривая, он стоял на высоком крыльце торговых рядов и показывал гэдэушникам, кого брать в толпе. Не веря своим глазам, она стала пробираться по стенке поближе к крыльцу. «Семен!» – еще раз крикнула она, и тут он ее услышал, усмехнулся, протянул руку, сквозь вопли до нее донеслось: «Игра окончена, Нина Борисовна! Влезай сюда!» Она увидела, как один из гэдэушников в этот момент подтолкнул Семена и вопросительно показал на кого-то в бурлящей толпе: «Этот?» – и как Семен торопливо закивал: «Этот, этот».

– Доносчик?! – истерически закричала Нина. – Семен, ты доносчик!

Толпа еще раз крутанула ее и отнесла прочь. Оглянувшись, она еще заметила, что Семен и на нее показывает гэдэушникам: вот эта, мол, тоже. В следующий момент какой-то конник дотянулся до ее головы древком своей парадной пики. Нина потеряла сознание и свалилась под ноги толпе.

* * *

Сражение было окончено. Милиция запихивала измочаленных троцкистов в фургоны. Толсторожий и задастый мильтон за руку тащил бесчувственную Нину к углу Никольской улицы. На углу вдруг уличный сброд, нищие и торговки горячей снедью окружили блюстителя порядка.

– Глянь, глянь, народ, девчонку убили, изверги! Бандиты, мазурики, кровопийцы, школьницу-красавицу порешили!

Мильтон растерянно озирался:

– Ну, чего, чего?! Живая она! Под арест попала, троцкистка ж!

Какая-то торговка швырнула в него черствым пирогом, полетел недопроданный товар, бабы и нищие завопили:

– Сам ты троцкист! Морда бесстыжая! Креста на вас нет! Под суд пойдешь, участковый!

Мильтон плюнул, бросил Нину, выбрался из толпы деклассированного элемента. Бабы подняли Нину, увидели: и впрямь живая, протерли платком затекшее и рассеченное лицо, прикрывая от милиции, повели ее в глубь Никольской, где стояло наготове несколько карет «скорой помощи». Вдруг из одной кареты спрыгнул доктор-блондин, рукастый, ногастый, ахнул, зашатался, чуть сам не сыграл.

– Нина! – кричит. – Нина!

Все сошлось. Разбой в Китай-городе и Савва Китайгородский с избитой принцессой на руках.

* * *

Внутри машины Савва уложил Нину на носилки, сделал ей укол морфина, протер лицо марлей, прижег йодом порезы и места содранной кожи, перебинтовал разбитую кисть руки. По дороге в Шереметьевскую больницу Нина то отключалась, то вдруг выныривала, тихонько стонала, хоть боли и не чувствовала из-за морфина, ей хотелось, чтобы Савва приблизил к ней свое лицо.

Что за лицо в самом деле! Лицо такой тонкости и чистоты: ни усищ каких-нибудь, ни бородавок, просто чистое человеческое лицо, я таких лиц никогда не видела в жизни!

Она не понимала, что с ней происходит и куда ее везут, однако чувствовала уют, покой и себя предметом заботы, маленькой хныкалкой.

– Савва, Савва, это ты, не уходи, пожалуйста...

Савва, сам еле жив от счастья и нежности, приткнулся рядом на полу трясушей кареты, держал ее руку, бормотал:

– Ниночка, потерпите еще немножко, сейчас все будет хорошо...

Вдруг она вспомнила гнусные морды красноармейцев, летящие в лицо приклады, дико вскрикнула, приподнялась на локте.

– А-а-а, что они сделали с нами! Охотнорядцы! Фашисты! Савва, Савва, революция уничтожена!

«Да и черт с ней, с вашей проклятой тираншей-революцией, – думал Савва. – Единственное доброе дело, что она сделала, – это привела тебя ко

мне!»

– Успокойтесь, Ниночка, – умолял он. – Ведь вы-то сами живы, не так ли? Ведь молодость-то ваша, ваша поэзия живы!

Она снова откинулась на носилках, наркотическая улыбка опять овладела ее лицом.

– Какое у тебя лицо, Савва, – шептала она. – Сравни два лица, твое и мое. Мое – рожа, а твое лицо с большой буквы. Ты можешь своим лицом поцеловать мою рожу? Поцелуй туда, где не разбито!

Он осторожно выискал неразбитое место на ее лице чуть выше угла подбородка и прикоснулся к нему губами.

* * *

На трибунах для иностранных гостей возле Мавзолея творилось явное замешательство. Многие заметили, что нечто странное происходит среди правительства, куда-то исчезли Сталин и Рыков, Бухарин все время пугливо озирается. Через некоторое время Сталин занял свое место посередине, но он был явно не в себе, лицо почернело. Потом на другом конце огромной площади произошло какое-то завихрение, туда проскакал отряд кавалерии. На фасаде тяжеловесного здания напротив трибуны косо повис какой-то короткий лозунг, вокруг него явно шла борьба: какие-то люди пытались его стащить, другие не давали.

Рестон злился, его переводчица умудрилась где-то затеряться в самую ответственную минуту, а может быть, и нарочно скрылась, чтобы не переводить зловерный лозунг. Он пытался что-то понять среди непостижимой кириллицы, и вдруг, как ни странно, кое-что удалось, он сообразил, что второе слово происходит от французского «Le termidor» и это имеет отношение к троцкистскому вызову в адрес правящего крыла партии. Значит, оппозиция и вправду выступила, а он тут торчит на дурацкой трибуне среди сборища красных олухов и теряет исторические минуты.

Он пошел вверх по проходу, пытаясь найти кого-нибудь из коллег, «журналистов империалистической прессы». Вокруг с некоторой уже заунывностью звучали «Бандьера росса» и «Ди Фане хох!», энтузиазм вытеснялся промозглостью и двусмысленностью ситуации. Вдруг лицом к лицу столкнулся со знакомым господином в хорошем твидовом реглане.

– Ба, профессор Устрялов! Вот удача! Узнаете меня?

Устрялов приостановился явно без большой охоты. Конечно же, узнал

немедленно, но делал вид, что припоминает, вот-вот, секунду, да, да... быстрый взгляд через плечо назад, ах да...

– А-а, это вы... простите... ах да, Рестон... Вы из Чикаго, кажется?

Рестон запанибратски, чтоб перестал валять дурака, крепко взял его под руку.

– Что тут происходит, Устрялов? Говорят, идет какая-то другая демонстрация?

– Я знаю, ей-ей, не больше вас. – Устрялов попытался высвободиться.

– Можете дать короткое интервью? Пять минут возле Мавзолея два года спустя. Неплохо, а? – продолжал давить Рестон.

Устрялов высвободил руку, глаза его все время отклонялись, как бы не очень-то и замечая американца, с которым он вел столь содержательную беседу два года назад.

– Простите, сейчас об этом не может быть и речи... Еще раз извините, я спешу...

Он побежал по деревянным ступеням вниз и даже на часы посмотрел: спешу, мол. Рестон, как истый «шакал пера», все-таки крикнул ему вслед «a provocative question»^[2]:

– Значит, ваша теория рушится, Устрялов?

Профессор чуточку споткнулся, пробежал еще несколько шагов, потом все-таки обернулся и крикнул, вызвав удивление делегации голландской компартии:

– Ничуть! Происходит дальнейшее укрепление российской государственности!

Рестон устало положил в карман перо и блокнот. Появилась Галина с двумя дурацкими воздушными шариками, на которых красовалась цифра «Х». Рестону в этот момент крайнего раздражения эти два «Х» показались зловещей угрозой – «экс-экс»: больше я сюда не ездок, хватит, есть много других тем, поеду в Испанию, там хотя бы я не завишу от переводчиков.

– Где здесь выход? – спросил он Галину. – Я устал.

– Товарищ Рестон! – обиженно воскликнула девица.

– Какой я вам, к черту, товарищ, – буркнул он.

Троцкистский лозунг давно уже исчез с фасада ГУМа. Нескончаемое шествие продолжало вливаться на Красную площадь. Рестон смотрел на выплывающие один за другим из-за Исторического музея портреты Сталина. Потом достал блокнот и написал в нем два слова: «Увертюра закончена». После этого немного повеселел: заголовок ему понравился.

Антракт III. Пресса

За покупку жилплощади подлежат выселению из Москвы: трудовые элементы в один месяц, нетрудовые элементы в одну неделю.

«Религиозники» подлежат прохождению через специальную комиссию по уклонению от военной службы.

В Театре Вс. Мейерхольда – «Рычи, Китай!», пьеса С.Третьякова.

В цирке Ник-Дьяволо – «Мертвая петля на велосипеде».

В кино звезды экрана: Глория Свенсон, Джекки Куган, Ксения Десни, Чарли Чаплин.

Избирательного права лишены: кулаки, служители культа, бывшие царские чиновники, подозрительные лица свободных профессий.

Громилы проникли в магазин Михайлова и Лейн (Покровка, 20).

Семашко вскрыл причину растущего хулиганства: наша молодежь росла в период самодержавия.

Исчез Николай Сергеевич Лоренц, 29 лет.

Тихо скончался протоиерей, профессор богословия Н.И.Боголюбский.

Возвратился из отпуска член коллегии Наркоминдела т. Ротштейн.

Всемирно известная паста «Хлородонт»! Хна-басма! «Тройной» одеколон! Кровати!

Отдел снабжения дивизии. Торги. Капуста и картошка пудами.

Разоблачено и обезврежено 49 латвийских шпионов.

«Межрабпом – Русь». Картина собственного производства «Мать» (тема заимствована у Горького). В гл. ролях В.Барановская, Н.Баталов. Режиссер Пудовкин, оператор А.Головня.

Новое поражение Сун Чуан Фана.

Избиение фельетониста в Одессе.

«Сухая Америка», карикатура: из книги законов льется струя самогона.
Гвозди. Пробки. Пилы. Белье.

Тезисы тов. А.И.Рыкова к XIV партконференции «О хозяйственном положении страны и задачах партии».

50-летие смерти Михаила Бакунина. Зал МГУ переполнен. Ораторы: ректор МГУ А.Я.Вышинский, нарком просвещения А.В.Луначарский...
«Мы не отрекаемся от своих предшественников!»

Академик П.П.Лазарев: «Гениальные исследования Лобачевского доказали существование новых видов пространств, отличных по своим свойствам от пространств, в которых мы живем...»

Поэма Л.Овалова «Стальной пропагандист». Посвящается Алексею Ивановичу Рыкову.

Михаил Кольцов. Искусство или Партия? Много вопросов возникает в Москве у рабфаковца с потертыми сзади, как зеркало, штанами. Вот его актив: 23 рубля стипендии, котлеты с гречневой кашей, вера во всемирную революцию, кипятилок в общежитии, три фунта сала от отчима, случайные билеты на что-то.

Вот его пассив: учебная нагрузка, партнагрузка, профнагрузка, авиахимнагрузка, мучительные слепящие витрины, неоплаченные членские взносы, ожоги мороза сквозь соглашательские сапоги.

Тов. Н.Поморский о Нью-Йорке: «...К нашему удивлению, статуя Свободы оказалась пустой внутри... В центре Нью-Йорка ощущается исключительная газолиновая вонь... Нью-Йорк с его самыми высокими небоскребами (до 58 этажей!) поднимает в душе огромную злобу... Рабочая революция должна будет ликвидировать этот уродливый город...»

«Союз рабочих и науки, слившихся воедино, раздавит в своих железных объятиях все препятствия на пути к прогрессу!» Лассаль.

«...Дух Ленина витает над сухими колонками цифр!» Л.Троцкий.

Михаил Кольцов: «Не может быть и речи о возвращении нашей торговли на заезженные рельсы капитализма... государство не может допустить анархии рыночного оборота, „свободной игры цен“... ничего

зазорного нет в том, что соответствующие органы призовут кое-кого к порядку...»

Антракт IV. Пляска пса

Юный князь Андрей, ошибочно названный его нынешними родителями Пифагором, в своем обычном великолепном настроении бегал среди сосен, лаял на ворон, гонял белок. Вид у него издали был грозный: широкая черная грудь, черная шерсть вдоль длинной спины, мощные светло-серые лапы, большие чутко стоящие вверх уши, пасть, наполненная дивным сверкающим оружием. Белки должны были до смерти бояться этой налетающей бури, мчаться прочь, взлетать по стволам сосен к самым верхним веткам, и они мчались и взлетали, но, кажется, не боялись. Следует признать, что они взлетали не к самым верхним, а к самым нижним ветвям и оттуда смотрели на князя Андрея. Иногда ему казалось, что они просто играют с ним, вот в чем дело.

«Что я буду делать, если догоню одну из них? – иногда думал он. – Зубами брать нельзя, может пострадать шкурка невинной твари. Что делать, – вздыхал он иной раз, сидя под сосной, – мой бег слишком быстр, по сути дела, догнать их мне ничего не стоит».

Однажды случилось так, что ему и догонять не пришлось. Стремительно несущаяся впереди белка вдруг остановилась и оглянулась на него взглядом той чухонки, что повстречалась в поле под Дерптом во время первого Ливонского похода. И как тогда он осадил коня, так и сейчас присел на задние лапы. Волна любовной жажды, радостной робости и молодого ликования окатила его. Белка смотрела на него без страха, как та девушка в холщовом платье смотрела на сверкающего русского витязя. Потом животное начало потонуло в ней, как пружина, и она мгновенно унеслась под недоступную макушку сосны.

Князь Андрей был уверен в том, что это была та девушка, так же как и в том, что он, трехлетний немецкий овчар Пифагор Градов, когда-то прошел уже через эту землю в образе русского князя. Вот где-то она сейчас прыгает по веткам со своими товарками, совокупляется со своим самцом и иногда смотрит на него вниз своими псевдобессмысленными глазами. Вряд ли она понимает до конца, кем была тогда и когда это было, так же, впрочем, как и он не вполне отчетливо осознает понятия «князь», «Россия», «царь Иван»... Князь Андрей, разумеется, не знал своего имени, может быть, потому, что был опять чрезмерно молод. Он любил, когда старшие называли его ошибочно Пифагором, а еще больше – Пифочкой, что, казалось ему, вообще устраняло ошибку.

Он любил всю свою семью: мать Мэри, отца Бо и дядю Лё, вторую мать Агафью и второго дядю Слабопетуховского (всякий раз, как произносилось это имя, ему хотелось его со смехом повторить), старших братьев Никиту и Кирилла, сестру Веронику, принесшую в дом недавно неплохого щенка Бориску I V, ну и, конечно, больше всего сестренку Нинку, которая, к сожалению, мало с ним играет.

Все, что напоминало ему о прежнем, пока что представало перед ним лишь яркими вспышками счастья: большие окоемы перед последним приступом на Казань или сверкающая масса воды, когда впервые с конной дружиной прорвался к Балтике, моменты утоления голода или жажды, встречи с женскими людьми и этот жест задерживания полога шатра, взгляд друга, еще не ставшего извергом...

В этом месте, когда вдруг выплывал взгляд друга или сам друг, «еще не ставший...», князь Андрей легонько рычал, тряс ушами, чтобы отогнать дальнейшее, и пускался вскачь вокруг сосен или вокруг мебели, снова весь в радостных бликах нынешнего и тогдашнего.

Однажды утром Савва, который хотел войти в семью князя Андрея, привез на машине Нинку и вынес ее из машины на руках, говоря, что ей нельзя оставаться в больнице. Мать страшно закричала: «Что случилось?!» Нину понесли наверх в ее комнату. Князю Андрею удалось проскользнуть впереди всех и распластаться под кроватью. Он наотрез отказался выходить оттуда и даже немного зарычал, когда вторая мать взяла его было за ошейник. Тогда отец сказал: «Оставьте его».

Мрак и пожарище вдруг возникли перед ним, поле после боя, тени мародеров, черные хлопья нежизни, взлетающие вороньем над невыносимым запахом злодеяния. Он чувствовал, что эти хлопья все гуще собираются над любимой сестрой, а стало быть, и над ним самим. Оттуда, из прежнего, стала надвигаться череда ужасного: горизонты закрылись, мир сужался в клетки, в застенки, в каменные колодцы, оттуда вытаскивали, но не для спасения, а на самую страшную муку, и застывшее лицо изверга, бывшего друга, царя Ивана.

Сколько времени прошло, князь Андрей не знал, да он и не задавался этим вопросом. Он старался не скулить, хотя только скулеж ему бы мог помочь сейчас. Вдруг Нинина рука упала с кровати и повисла прямо перед его носом. Он тронул ее носом, она была холодна даже для его вечно холодного влажного носа. Он начал жарко ее лизать своим вечно жарким и длинным, будто поток вулканической лавы, языком. Вдруг рука поднялась и взяла его сразу за оба уха. «Пифочка, милый», – прошептал голос сестры.

Хлопья нежизни разлетелись, будто вспугнутые крылатым всадником.

Пес плясал под луной или под солнцем, что там было в тот миг в наличии.
Казематы вдруг раскрылись, будто выдавленные мощным воздухом.
Юность звала назад. День бегства летел вокруг к зеленым холмам Литвы.

Глава восьмая

Село Горелово, колхоз «Луч»

Ранней осенью тысяча девятьсот тридцатого года, однажды под вечер, строго по расписанию или почти строго, словом, к радости всех ожидающих, на Казанском вокзале Москвы началась посадка в пассажирский поезд Москва – Тамбов.

Советских людей тех времен при посадке в поезд неизбежно охватывала нервозность на грани паники. Исправно работающая транспортная система все еще казалась чудом, тем более что опять пошли крутые времена и за многими предметами ширпотреба, что при нэпе имелись в любой лавке, приходилось ездить в Москву. Тамбовские крестьянки, обвешанные поверх своих парадных плюшевых жакеток мешками и сумками, уже вступая под гигантские своды вокзала, призванного напоминать о ХХІ веке, но напоминающего только лишь совсем недавний «мирискуснический» модерн, готовились к бою за свой вагон и за свою полку. Старухи неслись сквозь толпу на перрон с исключительной скоростью, успевая покрикивать еще на своих товарок: «Давай, давай!.. Маша, не отставай!.. Чей ребенок, кто ребенка потерял?» Вслед им московский люд, представленный на вокзале не лучшей своей частью, а именно носильщиками, посылал отменнейшие напутствия. Дореволюционную благочинность на этом вокзале восстановить пока не удалось, да, видно, никогда и не удастся. Стойбища татар и чувашей почти полностью покрывали кафельный пол. В туалетах шла посильная постирушка. В воздухе стоял неизбывный запах Казанского вокзала: смесь хлорки, мочи, размокшего урюка и отторгнутого винегрета.

Братья Градовы не спешили. С уверенностью молодых мужчин, занимающих твердые позиции в обществе, они медленно шли по перрону, не обращая ни на кого внимания, занятые только друг другом. Никита только сегодня утром прибыл с семейством из Минска и, когда узнал, что младший брат отбывает в Тамбов, вызвался проводить. Кирилл не возражал.

За прошедшие два года он как-то смягчился в своем ригоризме и даже не возразил, когда брат вызвал машину из наркомата. Даже и черты его лица несколько смягчились, и теперь уже трудно было, несмотря на одежду мастерового, не опознать в нем молодого человека «из хорошей семьи». Впрочем, может быть, этому он был обязан новой детали своего облика –

очкам в тонкой металлической оправе. Они немедленно выдавали его непролетарское происхождение.

Никита, как всегда, был в форме высшего командира РККА, все подогнано до последней складочки. Эта вот подогнанность и классный покррой были тем, что немедленно отличало высших командиров от средних и младших. Вроде бы все то же самое – гимнастерки, ремни, галифе, сапоги, а между тем высшего командира всегда можно было издали распознать и не вглядываясь в петлицы.

В последние годы братья виделись редко, еще реже общались, разве только за столом в Серебряном Бору. Ссоры, всякий раз возникавшие, как говорится, на пустом месте, но вспыхивавшие буйным пламенем, то из-за Кронштадта, то из-за привилегий командного состава, отдалили их друг от друга. Нынешние проводы на Казанском вокзале, разумеется, были попыткой преодолеть отчуждение, и во взглядах Никиты на Кирилла отчетливо читалось: «Ну, Кирка, перестань дуться», а в ответных взглядах Кирилла на Никиту: «С чего ты взял, что я дуюсь?» – то есть опять восстанавливались их вечные отношения: любовно-снисходительные со стороны Никиты и любовно-оборонительные от Кирилла.

Младший старшего обожал еще с тех времен, когда маменькин баловень Ника вдруг резко и бесповоротно ушел к красным, проскакал героем все фронты Гражданской войны и сделал головокружительную военную карьеру. Никогда бы и самому себе Кирилл не признался, что именно этот выбор старшего брата толкнул его в объятия «самого передового учения». Совсем не в этом дело, а в том, что у него и у самого достало ума понять, в каком направлении идет корабль истории. И разве страннейшая эволюция Никиты, эта нынешняя как бы пестуемая им безыдейность не доказывают полной самостоятельности Кирилла?

Посадка на тамбовский поезд стала уже напоминать штурм Зимнего дворца. Спасаясь от проносящихся мешков и чемоданов, Никита и Кирилл остановились покурить возле фонаря. Как раз в этот момент фонари зажглись по всей станции. В конце перрона на стене вокзала высветился большой портрет Сталина и лозунг: «Да здравствует сталинская пятилетка!» Никита вынул коробку дорогих папирос «Северная Пальмира». Кирилл, однако, уклонился, предпочел свой копеечный «Норд».

– Все-таки чем ты там будешь заниматься, на Тамбовщине? – спросил Никита.

Кирилл ответил не сразу, как бы поглощенный раскуриванием своего тугого «гвоздика», потом пробормотал:

– Там налаживается сеть идеологического просвещения...

– Как раз то, что больше всего нужно мужикам, правда? – усмехнулся Никита.

Кирилл не ответил на иронию: ему не хотелось, чтобы разговор опять соскальзывал к серьезным, если не мрачным темам, чтобы опять сталкивались его высокая партийная идейность и нарочитый цинизм военспецов.

– А куда именно на Тамбовщине ты направляешься? – с какой-то особой ноткой в голосе спросил Никита.

– В Горелово и в несколько новых колхозов Гореловского уезда, то есть района, – сказал Кирилл и уже хотел перевести разговор на семейные темы, но тут Никита усмехнулся.

– Новые колхозы в Гореловском уезде! – Он положил руку брату на плечо. – Поосторожней, Кирка, там, в Горелово.

– Что ты имеешь в виду?

– В двадцать первом году все гореловские мужики ушли в антоновскую армию. Нам пришлось брать это село штурмом дважды за один месяц.

– Ну, ты опять за свое! – воскликнул Кирилл с сильной и искренней досадой.

Никита снова усмехнулся, но теперь уже как бы в свой собственный адрес, он явно был смущен.

– Да, братишка, я все еще думаю об этих кошмарах. Как получилось, что мы, армия восставших, так быстро стали армией карателей?

Кирилл уже опять готов был воспламениться: нежность к брату боролась в нем с обидой за свою партию.

– Эх, Ника, десять лет почти прошло, коллективизация идет полным ходом, а ты все думаешь о кронштадтских анархистах и антоновских бандитах!

– Странная наивность, – мрачно произнес старший брат. – Сейчас, мне кажется, самое время об этом вспомнить. Неужели ты думаешь, что народ в восторге от того, что нэп вдруг с бухты-барахты отменили, землю забрали и начали коллективизацию? Разве это не чистой воды троцкизм, черт побери?!

– Наивность?! – вскричал Кирилл. – Скажи, братишка, красный командир, ты прочел за свою жизнь хоть одну книгу Маркса?!

– Еще чего! – вскричал в ответ Никита на той же пламенно-полемической ноте. – Конечно, не прочел, и читать не буду, и надеюсь, моим глазам еще долго не понадобится такой велосипед! – Указательным пальцем он прижал к переносице Кирилла его предательские очки.

Кирилл сначала оторопел, потом расхохотался. Он был благодарен брату, что тот неожиданно «заюморил» проклятую тему. Никита тоже смеялся, довольный.

– Что слышно о Нинке? – спросил он спустя минуту.

Кирилл пожал плечами:

– Последняя новость – это ее поэма в «Красной нови». Модернистская чепуха. Она защитила там, в Тифлисе, свой диплом еще два месяца назад, но почему-то не спешит возвращаться. Мать не понимает, в чем дело, а я уверен, что какая-нибудь очередная дурацкая влюбленность.

– Ну, а ты? – улыбнулся Никита.

– Что – я? – недоуменно спросил Кирилл.

– Не влюблен еще?

Кирилл опять надулся.

– Я? Влюблен? Что за чушь?

Никита, смеясь, обнял брата за плечи.

– Только после коллективизации, да? После индустриализации, верно? По завершении пятилетки, Кирюха?

Почти одновременно прозвучали свисток паровоза, удар колокола и истошный крик проводника: «Граждане отъезжающие, граждане провожающие, поезд отправляется!» Граждане бросились кто в вагон, кто из вагона, произошла последняя сшибка. Кирилл ввинтился в толпу.

Минут десять еще после этого аврала поезд не трогался с места. Кирилл стоял, притиснутый к мутному окну, зажатый с трех сторон крестьянскими мешками, фанерными чемоданами на висячих замках, корзинами с приобретенной в столице бакалеей – остро пахнущая кубатура хозмыла, трехлитровые, то есть «четвертные», бутылки растительного масла, вздымающиеся из синей упаковки головы рафинада. Не имея возможности особенно-то шевелить руками, Кирилл мимическими мышцами и подбородком подавал брату соответствующие сигналы: иди, мол, чего стоять, – но брат не уходил, все стоял и улыбался, стройной своей фигурой и гордой осанкой, не говоря уже о форме, резко выделяясь среди убогой толпы пятилетки.

«Какая уж тут безыдейность, какой там „усвоенный военными кругами“ цинизм, – подумал Кирилл, – он просто такой же офицер, каким бы был в Англии, или во Франции, или... ну, естественно, в царской армии, в белой русской армии. Как я мог этого раньше не видеть? Несмотря на все свои регалии, Никита попросту русский офицер...»

Поезд наконец тронулся, уплыл Никита, перрон; вокзал с его Сталиным, лозунгом и шпилем растворился в темноте.

По прошествии не менее шестнадцати, а может быть и скорее всего, двадцати часов поезд остановился на полустанке, где была одна лишь будка стрелочника да в сотне метров от нее жалкая хибара того же стрелочника. Измученный путешествием, Кирилл выпрыгнул, если не вывалился со своим баулом из вагона. С блаженством вдохнул холодный осенний воздух пустых российских пространств, снял шапку, подставил лицо ветру. Поезд тут же тронулся дальше, к областному центру – Тамбову, городу, что некогда славился балами в Дворянском собрании. Из пространства, то есть с пологих холмов с брошенными на них темными шнурками перелесков, выделился юный, не старше двадцати лет, крестьянский парень с красной звездочкой на фуражке. Приложил руку к козырьку.

– Товарищ Градов? Здравствуйте! Лично я – Птахин Петр Никанорыч, секретарь комсомольской ячейки в Горелове. Поручено вас трас-пор-ти-ровать.

Как и все «выдвиженцы», Петя Птахин любил новые иностранные слова. Неудивительно – вся российская идеология нынче была нафарширована чесночком иностранщины. «Пролетариат экспроприирует экспроприаторов», – думали, и не выговорит Петя Птахин никогда, оказалось – прекрасно выговаривает.

На полпути между полустанком и хибарой стрелочника у колодезного сруба был привязан транспорт – кляча, впряженная в телегу. Для удобства езды в телегу щедро было брошено соломы.

– Далеко ли ехать до Горелова? – спросил Кирилл.

Странное чувство вдруг взяло его в тиски. Глядя на простецкую ряшку Птахина, на подводу, на голые поля с беглым промельком какой-то черной птицы, он словно преисполнился родством к этой юдоли, будто бы в ней был и его собственный исток, но тут же что-то другое, томящее подключалось, похожее на безысходный укор и стыд от невозможности одолеть эту юдоль, хотя бы уже и потому, что она есть место его какой-то невероятно далекой любви, без нее вроде бы и немыслимой.

Петя Птахин весело отвязывал лошадь.

– Ехать, товарищ Градов, всего ничего, часа три с гаком будет, так что я вам охотно от-рапор-тую о нашей коллективизации. У нас а-а-громальные достижения, товарищ Градов!

Сумерки сгущались всю дорогу, и в село въехали почти в полной темноте. Все же видны были еще крестьянские домишки по краям ухабистой дороги. Кое-где тлели лампадки, свечечки, как вдруг среди этих жалких источников освещения явился один мощный и жаркий – раскаленное до прозрачности пепелище, розовый дым, еще живые, пляшущие вдоль рухнувших стропил язычки огня. Мрачнейшая тревога охватила Кирилла. «Вот оно и Горелово... – пробормотал он. – Горелово, Неелово, Неурожайка тож...»

Петя Птахин с исключительным интересом смотрел на пожарище, оживленно комментировал:

– А это, товарищ Градов, нонче в обед Федька Сапунов, кулацкая шкура, весь хутор свой поджег, ба-а-льшее хозяйство, чтоб в колхоз не иттить. Всю родню свою и весь скот порешил и сам к своему боженьке отправился, а только к чертям на сковородку попадет, антоновец проклятый!

Пожарище у Сапуновых, очевидно, было главным событием села. Несколько фигур еще маячили в зареве, слышались бабьи причитания. Птахин остановил лошадь неподалеку и смотрел на тлеющие бревна и пробегающие то здесь, то там змейки огня, бормоча почти бессмысленно: «Ба-а-льшее хозяйство, ба-а-льшее хозяйство».

По тому, как дрожали его губы и как он шапкой вытирал себе лоб, Кирилл понял, что с крушением Сапуновых уходит и прошлая жизнь этого захудалого комсомольца.

Глава девятая

Мешки с кислородом

Из разрушающейся среднерусской хлебной цивилизации мы совершаем сейчас скачок в цивилизацию средиземноморскую, оливковую, сливовую, виноградную, все еще с упорством – «достойным лучшего применения», как сказали бы в Институте красной профессуры, – сопротивляющуюся неумолимо наступающим строго пайковым временам.

Вот возьмите горбатые улочки старого Тифлиса. Здесь и в голову бы вам не пришло, что на дворе первая пятилетка. Как сто лет назад, как и двести лет назад, так и сейчас цокают подковы извозчичьих пролеток. С затененных балконов и галерей перекликаются хозяйки. Сказать «гортанно перекликаются» – значит, заплатить дань шаблону, но у них, грузин, и в самом деле в гортани рождается звук, а не в акустически глухом пузе, и оттуда, из гортани, звук бурно бьет вверх, будто струя фонтана, и всегда встречает серебряную горошину в своем полете, то препятствие, преодолеть которое с удовольствием помогает характерный жест руки. Так же, как и встарь, ранней осенью перевешивается через заборы густая листва и в ней висят налитые груши и персики. Точно так же, как и раньше, то есть «до катастрофы», то есть до счастливого присоединения к большевистской России (по выражению некоторых несознательных фармацевтов), два матовых шара украшают вход в аптеку на маленькой площади, а за большим окном заведения, как всегда, замечается дядя Галактион Гудиашвили, облаченный в белый накрахмаленный халат и внимательно беседующий со своими клиентами, в основном грузинскими женщинами в темных накидках. Вот, правда, вывеска «Аптека Гудиашвили» над входом небрежно замазана (чего же вы еще ждете от новой власти, если не грубости и небрежности), однако прекрасно различается. Во всяком случае, именно ее люди имеют в виду, а не косо подвешенную фанерку с надписью «Аптека № 18 Госздраваптупра». Новые чудища советских слов – Воркутлес, Грузпишмаш, Осоавиахим.

– Остановись у аптеки Гудиашвили, дорогой!

– Слушаюсь, батон!

Извозчик выполнил приказание. Седок, Ладос Кахабидзе, плотный мужчина за пятьдесят, в кавказской блузе, подпоясанный наборным ремешком, с наслаждением огляделся по сторонам. Несколько лет, выполняя ответственное задание партии, он провел на Севере и вот сейчас

вернулся и с удовольствием оглядывается. «В Тифлисе мало что изменилось», – думал он и тут же гасил следующую мысль, которая могла бы выглядеть так: «Здесь мы не все еще разрушили», – если бы он ее вовремя не пригасил и не подумал бы вторично с удовольствием: «В Тифлисе мало что изменилось». И тут же, конечно, опять пригасил неизбежно возникающую вторую мысль.

С легкостью, удивительной для его возраста, Кахабидзе выпрыгнул из коляски и вошел в аптеку. Извозчик – как и все тифлисские извозчики, он не страдал отсутствием любопытства – успел заметить через окно, что прибытие важного начальственного пассажира радостно изумило и восхитило дядю Галактиона. Отбросив вверх прилавок, так что клиентура даже немножко испугалась, он выбежал навстречу с распростертыми руками. Клиентура просияла.

Прибытие Кахабидзе, между прочим, внимательно наблюдалось со второго этажа аптечного здания. Там, в личной квартире аптекаря, а именно в большой, затемненной шторами комнате с зеркалами и портретами предков, то есть в гостиной, или, как говорят на Кавказе, в «салоне», стоял племянник Галактиона Нугзар, некогда поражавший гостей профессора Градова огневой лезгинкой. Сделав себе в шторах узкую щелку, он наблюдал приезд большого партийца, а затем, приотворив дверь на лестницу, прислушивался к приветственным возгласам внизу. Затем в глубине дома возник другой звук – стук каблучков по паркету, и в «салон» вошла Нина Градова. Синяки и порезы, с которыми мы оставили ее три года назад, исчезли без следа с ее лица. Несмотря на огромные исторические события, свершившиеся за это время, ей сейчас было всего двадцать три года. Впрочем, нынешняя цветущая красавица уже лишь отдаленно напоминала заводную синеблузницу из наших первых глав. Не замечая Нугзара, Нина подошла к зеркалу, поправила волосы и бретельки декольтированного платья. Нугзар кашлянул, обнаружился. Она еле удостоила его взглядом: видно, привычный, может быть, даже назойливый человек в доме.

– Привет, Нина! – сказал он. – Слушай, да ты просто, клянусь Кавказом, неотразима в этом платье! Куда вы собираетесь сегодня, мадемуазель? Ой, пардон, пардон, мадам!

– Паоло празднует свою новую книжку, – сказала Нина. – Все поэты собираются на фуникулере.

Нугзар цокнул языком:

– Паоло Яшвили! С такими людьми дружишь, девушка! Сплошные литературные знаменитости!

Он подошел к ней сзади и остановился за спиной, отражаясь в зеркале.

– Мы неплохо с тобой глядимся, а, Нина?

Она повернулась к нему с некоторым раздражением:

– Я ведь и сама поэт, ты не забыл?

– Для меня ты только женщина, из-за которой я засохну до смерти, – заметил Нугзар с некоторой мрачностью.

Нина расхохоталась с некоторой веселостью:

– Ну и фрукт! Ты просто неисправимый бабник, Нугзар!

Все их отношения держались на некоторой некоторости, как бы все не всерьез, и можно ли иначе относиться к его постоянным и как бы уже слегка оскорбительным домогательствам. Не устраивать же серьезный скандал! Красивый, избалованный бабами мальчишка, вот и дурит.

– Я – бабник?! – как бы возмутился Нугзар. – Да ты посмотри на меня! Я весь измучился из-за того, что ты мне не даешь!

– Назойливый мальчишка! – вскричала Нина. – Ты, кажется, забыл, что мы близкие родственники?!

Взаимное то ли театральное, то ли подлинное возмущение нарастало.

– Ха-ха-ха! – саркастически расхохотался Нугзар. – И это говорит одна из самых свободомыслящих женщин двадцатого века! А где же «теория стакана воды»? А где же наш идол Александра Коллонтай и ее «любовь пчел трудовых»? Почему для Паоло есть стакан воды, а для Нугзара нет стакана воды? Почему для Тициана есть мед, а для Нугзара нет ни капли? Родственники! Ты мне еще скажи, что ты замужем!

– Да, я замужем, балбес и плут. Кто тебе наплел про Паоло и Тициана?

– Твой муж ни на что не годен, он не мужчина! – вскричал Нугзар.

Дело пошло всерьез. Он бросился на нее и начал целовать плечи и шею. Вбешенная Нина вырвалась и схватила увесистый канделябр. Нугзар, тяжело дыша, ушел в дальний угол комнаты и вдруг резко там обернулся, будто замахнулся саблей.

– А я знаю настоящую причину, почему ты перевелась в Тифлисский университет! Родители заставили, когда стали выплывать твои странные делишки с троцкистской оппозицией!

– Подонок! – крикнула ему в ответ Нина. – Где ты набираешься грязных сплетен?!

Нугзар уже спохватился, что наговорил лишнего. Заулыбался, «сабля» в его руке уже превратилась в сладкий персик.

– Да я просто шучу, Нина, не обращай внимания. Просто глупая шутка, извини. Ну, ты знаешь, вокруг красивой женщины всегда болтовня, шутки, ну... Я ведь просто ваш паж, ваше величество. «Королева играла в

башне замка Шопена, и, внимая Шопену, полюбил ее паж...» Видишь, русская поэзия и грузинским юношам не чужда.

Нина уже направлялась к выходу, но он все как-то перед ней крутился, играя пажа и препятствуя уходу.

– Перестань паясничать и дай мне пройти!

Нугзар, танцуя вокруг на пуантах, как бы овевал ее опахалом.

– А можно я вас отвезу на пир Паоло, ваше величество? Вообразите, вы прибываете на гору Давида в настоящем американском «паккарде» с тремя серебряными горнами! У моего друга есть такой, он одолжит его для вас.

И снова она не выдержала серьезной мины, рассмеялась:

– Подите на конюшню, паж, и скажите, чтоб вам задали плетей! – Быстро обогнула танцующего Нугзара и выбежала.

Она зашла в аптеку, чтобы попрощаться с Галактионом, и увидела его обнимающим какого-то не менее солидного, чем он сам, джентльмена.

– Нина, ты глазам своим не поверишь! – закричал Галактион. – Посмотри, кто приехал, кто вернулся! Это же он, доблестный Кахабидзе! На правах родства ты можешь его называть дядя Ладом!

Нина тут же переключилась на другую оперу – «встреча доблестного Кахабидзе». Жизнь в Тифлисе ей вообще казалась чередованием оперных тем.

– Дядя Ладом! С приездом, дорогой! С возвращением, генацвале! – закричала она и только тогда уже выкатилась на улицу.

Вслед за ней мягко впрыгнул в аптеку Нугзар. Сразу с порога, не дожидаясь представлений, открыл объятия:

– Глазам своим не верю! Дядя Ладом Кахабидзе собственной персоной! Легендарный комиссар! Как узнал, спрашиваете? Да я о вас в газете читал, да я в сотне домов видел ваш портрет!

Нина на углу кликнула извозчика. Нугзар, выйдя из аптеки, быстрой пружинистой походкой стал спускаться к центру с его большими, «французскими», как нередко говорили в городе, отелями.

Между тем в аптеке Галактион и Владимир все еще не могли налюбоваться друг другом, хлопали друг друга по плечам, заглядывали в лица, похотывали.

– Галактион, разбуди меня! Неужели это действительно ты?

– Ладом, ты здесь, у меня, в моей старой аптеке?! Не надо, не буди меня, пусть сон продолжается!

Кахабидзе обходил аптеку, притрагивался к знакомым с детства (когда-то ведь и отец Галактиона, Вахтанг, владел заведением) вращающимся

шкафам с их рядами маленьких ящичков, на каждом рисунок определенной травы, к серебряной кассовой машине «Националь», к покрытым стеклом прилавкам; все вещи добротные, старой российско-немецкой работы.

– Все здесь так, как было, – с удовольствием произнес он и вздохнул. – За исключением лишь того, что ты больше не хозяин, а наш простой советский директор, дорогой Галактион.

Гудиашвили покачал указательным пальцем:

– Ошибаешься, дорогой Ладо, я не директор, а замдиректора. Директором у нас партийный товарищ Бульбенко. Его сюда перебросили из железнодорожного депо, где он тоже был директором. Большой опыт в руководстве замдиректорами.

Кахабидзе смеялся. Он явно наслаждался разговором и остроумием своего школьного друга и родственника, знаменитого аптекаря Гудиашвили.

– Счастливцев этот Бульбенко. Вах, если бы у меня на Урале был хотя бы один такой зам, как ты, Галактион! Однако в общем и целом дела идут неплохо, правда?

Галактион вздохнул:

– Так себе. Знаешь, Ладо, я никогда не думал, что в моей аптеке будет не хватать белладонны, ипекакуаны, кальциум хлоратум... Увы, сейчас я иногда только развожу руками: перебои, перебои...

Ладо Кахабидзе притворно нахмурился:

– Нехватка белладонны? Недопоставка ипекакуаны? Да ведь это же позор для нашей социалистической фармакологии! Обещаю тебе, я займусь этим! Увидишь, дорогой дон Базилио, к концу пятилетки наши трудящиеся массы будут наслаждаться избытком белладонны, изобилием ипекакуаны!

Галактион взял себя за живот, похохотал.

– Хочешь честно, Ладо? Ты единственный коммунист Большая Шишка, который мне когда-либо нравился. Сегодня пируем в твою честь!

Они уже собрались было покинуть заведение, чтобы как следует подготовиться к пиру, когда в аптеку вбежала пожилая женщина. Она задыхалась, простирала руки, рыдала и взывала о помощи:

– Спасайте, добрые люди, благородный Галактион, спасай!

– Что случилось, уважаемая Манан? – бросился к ней фармацевт. Он тут же забыл обо всем на свете, включая и своего гостя.

«Великий человек, – подумал Кахабидзе. – Никого не знаю, кто так охотно бросился бы на помощь. В партии у нас, во всяком случае, таких нет».

– Вай-вай-вай, – причитала Манан, – мой муж, мой верный Авессалом,

умирает! Вай, наверное, уже умер, пока я бежала к тебе, благородный Галактион, наша единственная надежда в эти тяжелые времена, наш гений. Боже, благослови тебя, и всех твои предков, и всех твоих потомков, и всех твоих родственников навеки!

Галактион с прытью, удивительной для его величественной стати, бросился в кладовку, вытащил две кислородные подушки и устремился к выходу. Ладо Кахабидзе последовал за ним. Спohватившись, и Манан побежала.

Вся горбатая улочка, по которой они бежали вверх, и прилегающие переулки принимали участие в событии. Люди свесились из окон и с балконов, глядя, как бегут два солидных человека. Две пузатые кислородные подушки делали их похожими на воров, но люди знали, в чем дело, да и Манан вносила ясность в ситуацию, продолжая на бегу возносить хвалу «всему роду Гудиашвили, и аптекарям, и художникам» и причитать о своем «незабвенном Авессаломе».

Галактион на бегу пояснял другу:

– Ни у кого в городе нет кислородных подушек, кроме Гудиашвили! У всех постоянно временные трудности с камфорой монобромата, кроме Гудиашвили!

Из окон и балконов вслед им несло:

– Боже, благослови благородного Галактиона, нашего аптекаря! Боже, благослови его кислородные подушки!

«Даже и Ленину такое не снилось», – думал, задыхаясь, Ладо Кахабидзе.

Когда подбежали наконец к цели, увидели перед домом толстяка Авессалома. Сидя под ветвями инжира, он спокойно играл с соседом в нарды. При появлении запыхавшихся Галактиона и Ладо в сопровождении причитающей Манан толстяк вскочил на ноги, даже подпрыгнул, начал бить себя в грудь.

– Простите, что не умер! – кричал он. – Простите великодушно! Галактион, дорогой, сама мысль о твоих кислородных подушках спасла меня! Боже, кого я вижу вместе с нашим чудо-аптекарем! Ильей пророком клянусь, никогда не было в моем доме более славных гостей! Гагемарджос, Ладо-батано! Мы все рады, что ты вернулся! С возвращением в вечный дом нашей Картли! Манан, мы не выпустим этих господ, пока они не преломят наш хлеб! К столу, к столу, господа!

Как мы видим, не только Галактион отличался умением произносить ренессансные монологи в этой округе. Манан дважды просить не пришлось. Она тут же поспешила к большому столу, что уж лет сто стоял в

этом дворе под чинарой. Многочисленные соседки уже бежали к ней на помощь, каждая несла всяческие кушанья. Стол быстро покрывался грудями фруктов и овощей, чашками с лобио, копчеными цыплятами, сыром, приправами, глиняными кувшинами с домашним вином. Появлялись соседи – пекари, парикмахеры, почтальоны... «Хороший знак, – думал Кахабидзе, – первый вечер в Тифлисе, и я с народом, и, кажется, меня даже выберут тамадой!»

Так и получилось, его избрали почетным тамадой. Он встал, держа в руке рог с вином.

– Дорогие друзья, несколько лет я отдал социалистическому строительству на Урале. Холодными вьюжными ночами я мечтал о своей щедрой родине. И вот теперь партия послала меня обратно, на ответственный пост в родной республике. Я пью за нашу Картли, за республику, в которой не будет воровства, взяточничества, где будет процветать ленинский, подлинно ленинский стиль работы, товарищи!..

– Стиль работы, – важно закивали пекари и почтмейстеры.

– Стиль работы? – поднял удивленные брови парикмахер.

«Ну, как к ним занесло такого человека, как мой Ладо», – про себя вздохнул Галактион.

– Пусть будет Грузия настоящей витриной социализма в нашем великом СССР! – завершил свой спич Кахабидзе.

С приветственными кликами пекари, парикмахеры и почтальоны подняли свои роги и осушили их. Не без легкого саркастического смеха осушил свой рог и Галактион.

– Пью за изобилие белладонны, за избыток ипекакуаны! – сказал он.

– За ваши кислородные подушки, дорогой! – прошептал Авессалом.

* * *

Есть несколько перекрестков в Тифлисе, где кажется, что ты в Париже. С одной стороны мы видим, скажем, фасады домов в стиле конца века или арт декор, с другой – витую решетку чугунного литья, ограду парка.

Ночь. Пустота. Стоящий возле решетки парка, будто так и нужно, большой черный автомобиль с тремя серебряными горнами на крыле только усиливает это миражное ощущение. Да и пассажир, которого можно случайно увидеть через опущенное стекло, тоже не очень-то смахивает на труженика пятилетки: молодой еще, лысоватый, очень холеный, со странным взглядом, поблескивающим через пенсне на мясистом носу. «Как

капиталист какой-то, – подумает случайный прохожий и тут же тихонько вскрикнет: – Да ведь это же Лаврентий Берия, всесильный чекист!» – и тут же парижский мираж рассеется.

Из боковой улочки стремительным шагом вышел Нугзар и направился к «паккарду». Берия из окна протянул ему руку, ладонью кверху. Нугзар, подойдя, хлопнул по ней своей ладонью, пригнулся и шепнул прямо в нос старшему другу:

– Он приехал, Лаврентий. Я видел его сам и обнимал в доме дяди.

– Садись, поехали, – сказал Берия.

Нугзар нырнул в машину. «Паккард» рывкнул мотором, тронулся с места. Нищий кинто на углу в страхе перекрестился.

* * *

На склоне горы царя Давида лицом к городу стоит большой белый особняк. Окрестные жители уже забыли, что до революции он принадлежал чае– и кофеторговцу Лионозову, знают только, что к этому дому нельзя приближаться. Туда и направлялся «паккард».

Официально особняк был в ведении Совнаркома и проходил по разряду «гостевых», на самом деле здесь безраздельно хозяйничало ГПУ.

Когда подъехали, несколько черных автомобилей уже стояли у крыльца. Чекисты в штатской одежде несли охрану под окнами и вдоль стены. Их смуглый вид привносил что-то итальянское – то ли мафия собралась, то ли чернорубашечники на заре фашизма.

Здесь уже Нугзар не мог держаться на равных с Лаврентием Павловичем, потому он и шел к крыльцу, приотстав, не как младший друг, а как помощник.

Старший охранник вытянулся перед Берией. Тот приложил ладонь к виску:

– Здравствуйте, товарищи! Все в порядке?

– Все в порядке, товарищ Берия!

Внутри сходство с сицилийской мафией еще усилилось. Около дюжины дородных сумрачных мужчин, кто в полувоенном, кто в тяжелых костюмах-тройках, рассаживались вокруг стола. У некоторых на лацканах пиджаков были депутатские, вциковские значки, что свидетельствовало о принадлежности к партийной элите и отнюдь не уменьшало итальянских реминисценций.

Молчаливые охранники расставили на столе вино и закуски. Потом все

охранники вышли. Участники встречи подняли бокалы: «За нашу дружбу!» Сдержанные, известные в советской литературе как «скупые», улыбки прошли по лицам. Берия начал:

– Мы тут собрались, товарищи, поговорить о Ладо Кахабидзе, который только что вернулся в Грузию, чтобы стать председателем Центральной контрольной комиссии. Что он, действительно хороший человек или только притворяется? Нестор, Серго, Арчил, вы знали Ладю с девятьсот пятого года, вы уверены, что он наш друг, что он хороший товарищ? Вахтанг, Гиви, Вано, Мурман, Резо, Борис, Захар, ты тоже, Нугзар, – не стесняйся, дорогой, давайте поговорим по-партийному!

Несмотря на ободрение друга, Нугзар старался держаться в этой компании, как и подобает самому младшему: скромно и старательно внимал каждому слову, и каждый участник совещания – или, так скажем, «сходки» – мог прочесть на его лице эту скромность и старательность. Несколько минут вокруг стола царило молчание. Партийцы посматривали друг на друга. Наконец Нестор, человек одного возраста с обсуждаемым Кахабидзе, высказался:

– Он мне никогда не нравился, этот Ладю.

Тут же заговорил еще один ветеран, Серго:

– Много о себе думает товарищ Кахабидзе. Только он, понимаешь, один чистый ленинец. Все остальные с душком.

Арчил, набывшись, сильно бил пальцем по столу. Все уже понимали, что он сейчас скажет. Так и оказалось.

– Перед революцией он был от нашей партии в межпартийной контрразведке, а во главе кто стоял? Бурцев, эсер, сбежал за границу. Теперь Ладю всегда ходит с таким видом, будто у него на всех материал по связям с охранкой.

Берия, пенсне вперед, тут же как бы поднырнул Арчилу под руку.

– Включая?..

– Страшно сказать, кого включая, – ответил Арчил, не глядя на него. – Всех подозревает в предательстве «ленинских идеалов». Никакого уважения к вождям. Теперь говорит, что даст бой коррупции в Грузии, как будто здесь капиталисты.

Минуту или две в мрачном молчании все переваривали сногшибательную информацию. Потом молодой Вано обратился к Берии:

– Это правда, что он называет товарища Сталина Кобой?

Берия мило улыбнулся:

– Многие старые товарищи называли Сталина Кобой. Партийная кличка, подполье, ничего не поделаешь. – Тут он посуровел: – Однако

сейчас по меньшей мере неуместно называть Кобой вождя народов СССР!

– Послушай, Лаврентий, зачем его назначили к нам председателем ЦКК? Я считаю... – горячо начал было Вахтанг, но Берия остановил его мягким движением руки.

– Одну минуточку, Вахтанг. А разве уместно, товарищи, везде, как это делает Ладо, после первой же рюмки болтать, что у товарища Сталина шесть пальцев на ступне одной ноги, что он видел это собственными глазами?

Снова воцарилось молчание, но на этот раз не застойное, не выжидательное, как раньше, а своего рода «оживленное молчание», с некоторыми искорками в глазах, с улыбочками, с комическим «о-о-о, вот, мол, чем испугали». Даже проскользнул проказливый смешок.

– Зачем из этого делать историю? – сказал затем Серго. – Если у тебя пять, а не шесть, никто из этого не делает истории...

Нестор пощипал усики, развел руками:

– В самом деле, что особенного – пять, шесть?

– Дело не в этом! – резко сказал Ваню.

– Вот именно, Ваню, дело не в этом! – с энтузиазмом поддержал его Берия.

Придвинулся Резо, резанул правду-матку:

– Товарищ Сталин просто не знает, что Ладо Кахабидзе издевается над ним, делает грязные намеки на прошлое, развязно судит о теле вождя, иначе Москва не назначила бы его на такой важный пост к нам!

– Ара, товарищи! – воскликнул Берия. Он положил руку на плечо Резо, как бы подчеркивая, что близкие друзья могут иногда прерывать друг друга, второй рукой сжал запястье Нугзара и опять весь как бы поплыл вперед, поблескивая пенсне. Наступал ключевой момент «хорошего разговора».

– А может быть, товарищ Сталин как раз прекрасно знает о взглядах Ладо? – почти шептал он. – И в этом как раз причина его назначения? Может быть, товарищ Сталин питает доверие к своим верным товарищам в нашей республике, что мы его не подведем?

И снова воцарилось молчание, на этот раз самое главное. Каждый смотрел на всех, все смотрели на каждого. Потом все одновременно расплылись в улыбках. Был провозглашен тост: «За верность!»

Между тем, пока на склоне горы царя Давида шло совещание верных людей партии, на вершине ее шел поэтический пир. Терраса ресторана, расположенного в конце канатной дороги, была как бы подвешена в ночном небе. Внизу – Божеское творенье, долина Куры. Полная луна освещает теснящиеся крыши Тифлиса, Метехский замок, изгибы реки. Поди придумай более поэтический пейзаж! Так размышлял старик шарманщик, стоявший со своей машиной в углу террасы, прямо над самой красотой. «Ходишь-ходишь по этому древнему миру, счета нет твоим годам, сам превращаешься в Вечного жида, а все восхищаешься простым штучкам луны». Он накручивал ручку машины, исторгая из нее почти неразличимые звуки кавказской музыки. С его плеч слетали два попугая и разносили среди гостей розовые билетки предсказаний «на счастье и удачу». Компания работала.

Поэты, не менее тридцати человек, сидели за большим столом. Кажется, весь гонорар за новую книгу Паоло Яшвили будет прокучен в эту же ночь. Нина сидела между виновником торжества и тамадой, другим знаменитым поэтом Тицианом Табидзе. Тосты поднимались непрерывно, один витиеватее другого....

– ...А также за тот ветер, который надувал парус «Арго», а сейчас переворачивает страницы твоей книги, дорогой Паоло! Алаверды к тебе, Тициан-батано!

Тициан Табидзе давно уже стоял с бокалом в руке. Как тамада он должен был давать понять слишком многословным ораторам, что вино не ждет.

– Я принимаю тост за ветер! – сказал он. – И Паоло, конечно, выпьет за тот вечный ветер, что принес к нам сюда одну особу! Ту особу, что вдохновляла грузинскую поэзию последние два года. Братья поэты, поднимем бокалы за Прекрасную Даму Тифлиса! За Нашу Девушку! Этот титул всегда останется за ней, сколько бы лет ни прошло, где бы она ни оказалась, в Москве ли, в Париже ли, на Марсе ли! За Нину Градову!

Вскочил Паоло, поднял рог над головой. На плечо Нины, сияющей и смущенной, как раз в подходящий момент сел попугай. В клюве у него был розовый билетик. Она развернула билетик и прочла вслух:

*Тот человек, что вам дороже,
Сейчас придет и вам поможет!*

Весь стол расхохотался, все, конечно, стали кричать, что этот человек

уже пришел, что он, конечно, такой девушке поможет... Нина смеялась вместе со всеми. Она была довольна, что попугай вдруг так удачно снизил застольные высокопарности, в которых у грузин нет ни потолка, ни предела. Поэты же хоть и смеялись – чувством юмора никто тут обделен не был, – а все-таки слегка досадовали, что сорвано такое велеречение. Поэтому, как только смех чуть-чуть стих, Паоло Яшвили не замедлил выступить, потрясая своим рогом:

– Принимая «алаверды» моего брата Тициана, друзья, я пользуюсь волей, что дает нам наша Вечная Родина, чтобы назвать Нашу Девушку...

В этот момент ритуал опять оборвался. На дальнем конце стола поднялся человек, взъерошенный и пьяный, поднялся, если можно так сказать о персоне, совсем обвисшей в своем богемном обличье. Нинин законный супруг, бывший лефовец, бывший имажинист, поэт, прокочевавший по всем мыслимым поэтическим группам двадцатых годов, Степа Калистратов. Вдруг, несмотря на обвислость, он зарокотал мощно, как когда-то с эстрады:

– Прошу прощения, можно без «алаверды»?.. Нельзя ли мужу Вашей Девушки сказать несколько слов? Эй вы, поэты! Вы дуете вино, шамаете шашлык, волочитесь за моей очаровательной паршивой женой, как будто все в порядке, как будто наш карнавал продолжается... А между тем – пиздец! Позор и мрак – вот наше будущее! Сережки Есенина уже нет! Володьки Маяковского уже нет! Рисунок звезд не в нашу пользу, братцы! И ваш покорный слуга Степа Калистратов еле жив!

Произнеся этот монолог и исчерпав, видно, все силы, Степан бухнулся на стул и совсем уже обвис в руках своего дружка Отари, второго племянника дяди Галактиона, существа на удивление томного и молчаливого, как олень.

Поэты, даром что грузины, не обиделись на Степана за нарушение ритуала застолья. Кто-то, правда, пробормотал: «Вот вам типичный русский скандал в благородном семействе». Кто-то тут же возразил: «Ах, оставьте, это просто лишь отрывок футуризма, эпате...» Но большинство просто преисполнилось сочувствия: «Степан – страдающая душа! Он гений! Давайте выпьем за него!»

Вдруг что-то произошло. Один из местных вышибал прибежал, зашептал что-то на ухо Яшвили. У того округлились глаза. Все повернулись ко входу, ожидая вновь прибывшего. Легкими шажками на террасу впорхнул, словно воробушек, небольшой человек лет под сорок. Он простер руки к столу поэтов и высоким, едва не обрывающимся от гордости и восторга голосом начал читать:

*Я скажу тебе с последней
Прямотой:
Все лишь бредни – шерри-бренди,
Ангел мой!*

Все с грохотом вскочили: Осип! Да ведь это же сам Осип во плоти! Слава Мандельштаму!

Нина была потрясена. Она знала, как и весь литературный Тифлис, что Мандельштам где-то на Кавказе, что он несколько дней провел в городе у Зданевичей, а потом уехал то ли в Армению, то ли в Азербайджан, но могла ли она вообразить, что ее кумир вдруг так неожиданно появится над городом, под луной, в парах вина, в ту ночь, когда она – уж это она точно знала – с голыми плечами столь неотразима, что он, благороднолобый, будет так ошалело на нее оглядываться, пока обнимается с Паоло и Тицианом, будто узнал в ней одну из «красавиц тринадцатого года», может быть, даже ту, Соломинку, тоже грузинку, как и она сама, особенно в эту ночь, – Соломею Андроникашвили?

– Откуда ты, Осип? – громко спросил Паоло, разыгрывая перед понимающей аудиторией сцену встречи двух братьев по Мировой Словесности.

– Из Армении! – вскричал Мандельштам. – Еле ноги унес оттуда! Слушайте, вот несколько строк! – Он начал читать, явно на Нину: – Там, в Нагорном Карабахе, в хищном городе Шуше, я изведаль эти страхи, соприродные душе... – Бросил читать и спросил, будто очертя голову, громким шепотом: – Бога ради, Паоло, кто ОНА?

Паоло с гордостью представил:

– Нина Градова, молодая поэтесса, только что мы ее титуловали Нашей Девушкой!

Мандельштам холодными лапками цапнул Нинину ладонь:

– Нина, вы... я просто ошеломлен... вы как будто оттуда, из «Бродячей собаки»!..

– «Я научился вам, блаженные слова: Ленор, Соломинка, Лигейя, Серафита», – как зачарованная прочла Нина.

– О, вы помните! – прошептал Мандельштам.

Поближе к ним подошел шарманщик. Крутанул музыку на полную катушку. Попугаи бурно взлетели с его плеч. Мандельштам зашарил по карманам:

– У меня, как всегда, ни рубля...

– Ничего не надо, – сказал старик.

Даже грузинские пиры иногда кончаются, и к концу ночи Мандельштам и Нина оказались одни в центре города. Луна еще стояла в небе, освещая многочисленные портреты Сталина и лозунги первой пятилетки. Они шли вдоль жалких витрин некогда роскошных магазинов.

– Этот Тифлис... – пробормотал Мандельштам. – Даже несмотря на вездесущую морду кота... – Он без всяких осторожностей ткнул пальцем в направлении портрета усатого вождя. – Здесь кажется, что дом еще не разграблен, что хотя бы нэп еще жив. Вон, смотрите, в глубине переулка ни одного портрета, ни одного лозунга, только фонтан и над ним струя... струя, Нина, как до катастрофы!.. а на столах, мой Бог, какие деликатесы!.. а вокруг столов такие живые, неизмученные лица... и вы, Нина... за что такой подарок судьбы?

– Давайте уточним, Осип Эмильевич, – сказала Нина. – Кто подарок судьбы: я или Тифлис?

– Для меня вы теперь навсегда соединились, – сказал Мандельштам.

– А для себя я, увы, разъединяюсь, – улыбнулась она. – Возвращаюсь в реальный мир. Ведь я москвичка, Осип Эмильевич.

Чтобы не подхватывать его тон и не впадать в собственную экзальтацию, Нина старалась слегка проиронизировать их ночную прогулку. Мандельштам этого тона явно не принимал и смотрел недоумевающе.

– Я слышал о вас в Москве, Нина, – сказал Мандельштам. – И я читал вашу поэму в «Красной нови». Верьте не верьте, но я видел ваше лицо сквозь строки. – Он осторожно взял ее руку повыше локтя.

– Послушайте, Осип Эмильевич... – сказала она, чуточку отстраняясь. Она была немного выше его. Впрочем, это, возможно, из-за туфель. «Когда сниму туфли, мы будем одного роста, – подумала она. – Что такое, моя дорогая? Вы уже, кажется, забыли сослагательное наклонение?»

За их спинами в глубине пустой улицы послышался нарастающий шум. Они едва успели обернуться, когда большой черный автомобиль с тремя серебряными горнами на крыле прокатил мимо. Нина вздрогнула. Как раз перед началом вчерашнего пира, когда она рассказала братьям писателям о шутке Нугзара, один из них вполголоса поведал ей, кто разъезжает по Тифлису в этом автомобиле.

Ее испуг не ускользнул от Мандельштама. Лапка его продвинулась еще чуть выше по ее руке, с явным предложением дружеского полубоушья.

– Эти большие черные автомобили... – проговорил он. Вдруг взгляд его остекленел, он забыл о предложенном полубоушьи. – Когда я их вижу, что-

то такое же большое и черное поднимается со дна души. Меня преследует видение чего-то ужасного, что неминуемо передошлет нас всех...

– Я знаю это чувство, – сказала она.

Мандельштам – он явно чуть-чуть тянулся на цыпочках – заглянул ей в лицо.

– Вы еще молоды для него, – сказал он.

– Я пережила горчайшее разочарование, – серьезно произнесла она.

– В любви? – спросил он и подумал: «Сейчас будет рассказывать о своей несчастной любви».

– В революции, – сказала она.

Теперь уже он вдруг вздрогнул и подумал: «Очаровательная!»

Они остановились возле мерно журчащего фонтана; высокая молодая красавица и жалкий стареющий воробей. Уже без колебаний он взял ее за обе руки. Теперь уже, казалось, все фальшивинки разлетелись, предлагалась полная искренность.

– Нынче, после того, что было, и перед тем, что будет, я вижу каждый мирный миг, каждый момент красоты, как неслыханный дар, не по чину доставшийся. Нина! – Он попытался приблизить ее к себе, и в этот момент кто-то громко усмехнулся поблизости, а потом хриплым голосом произнес «ха-ха».

Отскочив друг от друга, Нина и Мандельштам всмотрелись в темноту и разглядели Степу Калистратова. Поэт лежал на краю фонтана, свесив свои длинные волосы в воду. Рядом, как изваяние грусти, сидел молчаливый Отари.

– Давай-давай, поцелуй его, моя паршивая жена! – одобрил Степа. – Не тушуйся. Запишешь в биографии, что спала с Мандельштамом. Я разрешаю.

Он замолчал и отвернулся, почти слился с темнотой, только раздавалось какое-то хлюпанье – не плач, а плеск, – да мерцала, будто ночная мольба, папираса Отари.

Нина смотрела туда, где лежал Степан, и вспоминала, как почти три года назад, в предновогодний вечер, они приехали на извозчике в Серебряный Бор, как ворвались, румяные и хмельные, и как она объявила собравшимся: «Ну, все, уговорили, уезжаю в Тифлис, но не одна, а со Степкой, моим за-а-аконным мужем!» И как Савва Китайгородский быстро, нагнув голову, не соблюдая никаких приличий, которым его всю жизнь учили в семье, прошел через гостиную, выхватил из кучи свое пальто и исчез.

Внезапная и острейшая жалость вдруг пронзила ее. К кому – к Савве,

или к деградирующему Степану, или к себе, просто к невозвратности тех лет? Будто пришпоренная, она бросилась к Степану, потом обернулась к Мандельштаму:

– Простите, Осип Эмильевич, это мой муж. Мой бедный, беспутный «попутчик»...

Обхватив за плечи, стала трясти Степана:

– Вставай, вставай же, балда! Пойдем домой!

Кое-как Степан поднялся. Нина поддерживала его. Сзади плелся Отари. Папираса потухла. Мандельштам стоял не двигаясь. Даже и здесь, в мирном, докатастрофном углу, на него сквозь ветки посматривал портрет Сталина.

Глава десятая

Зорьки, голубки, звездочки...

Есть ли что-нибудь более заброшенное на земле, чем улица русского села? Не говоря уж об убожестве материального состава, есть ли что-либо более безнадежно отдаленное от праздника жизни, от феерии революции? Так, несколько в гоголевском духе, думал партийный пропагандист Кирилл Градов, проходя ранним вечером мимо чахлах хат по улицам Горелова и удивляясь, почему из-за каждого плетня выглядывают в этот час страждущие лица хозяек.

Бабы между тем всматривались в медленно приближающееся облако пыли. Они выходили из-за плетней и останавливались у ворот, каменели, скрестив под грудями руки. Они были явно не в силах осознать происходящее, противное всякому смыслу и самой русской природе. Вместе с облаком приближалось громоподобное мычание. Ведомое растерянными пастухами-комсомольцами, брело в село недоенное коллективизированное стадо.

Кирилл остановился, пропуская коров. По мере приближения стада бабья каменность трескалась, не владея больше собой, женщины начинали громко причитать и взывать к своим бывшим питомцам и кормилицам с тоской и с той нежностью, что всегда была характерна для русских женщин по отношению к их коровам: «Зорька, мамочка моя! Да пошто ж тебя отняли от меня?!», «Голубка, девонька моя родная! Глянь на мамку-то свою, глянь хоть глазом!», «Звездочка, кормилица, да ты ж вся немытая, нетертая! Загубили тебя супостаты колхозные!»

Видя свои родные, еще не остывшие дворы и слыша еще не забытые голоса, то одна, то другая, коровы начинали выбираться из стада и, как в старые, совсем еще недавние времена, направлялись восвояси на отдой и ласку. Иные из женщин бросались к ним в тоске и отчаянии. Растерянные комсомольцы без разбора лупили хлыстами по спинам коров и головам женщин. Одна из женщин, узнав в пастухе собственного сына, волокла его за вихор и поддавала лаптем под зад.

«Что-то тут не то, – думал Кирилл, наблюдая эти сцены. – Что-то тут не так». Кроме этих двух фраз, ничего не рождалось в его голове. Потрясенный бессмысленной пронзительностью происходящего и собственной оборонительной тупостью, он стоял с каменным лицом возле плетня. Закат отсвечивал в его глазах. Вдруг отчетливо возникло и

проплыло перед глазами, будто лента телеграфа: «Да есть ли в мире что-либо более дорогое мне, чем эти бабы и коровы?»

Подошел смущенный секретарь ячейки Петя Птахин, забормотал, краснея:

– Вы уж, пожалуйста, не обращайтесь внимания на этих баб, товарищ Градов. Ноль классового сознания, частнособственнические ин-стик... ин-спик-цы, да, вот что это такое...

Стадо прошло. Утихла улица. Легла пыль. Кирилл и Птахин продолжили путь к сельскому клубу. Клуб, разумеется, располагался в церкви, то есть, как и везде, просвещение брало верх над предрассудками. Полуразвалившееся здание с дырявыми куполами и перекошенным крестом являло собой последствие то ли боя, то ли мирного надругательства. Слева и справа от входа висели два объявления. Одно гласило: «Коллективизация и стирание граней между городом и деревней. Лектор товарищ Градов». Второе оповещало: «Происки британского империализма на Ближнем Востоке. Лектор товарищ Розенблюм». И день и час начала у обеих лекций совпадали. Над объявлениями в срединной, как бы примиряющей позиции висел портрет Сталина с прикрепленным к нему, словно красная борода, лозунгом: «Даешь 100-процентную коллективизацию!»

Толпа сумрачных мужиков перед входом курила махорку.

– Здравствуйте, товарищи! – сказал Кирилл.

Никто не ответил, даже не посмотрел в его сторону. Многие зато нехорошо поглядывали на комсомольского секретаря.

– Что же вы, Птахин, две лекции назначили на одно и то же время? – спросил Кирилл. – Зачем тут конкуренция?

Птахин, подававший мужикам знаки «спокойно, не дурить», расторопно ответил:

– А не извольте беспокоиться, товарищ Градов. Наших, гореловских, мы для вас мобилизовали, а этих, из Неелова, ну, из «Заветов Ильича», для товарища Розенблюма пригнали. Помещения предостаточно.

* * *

Захватить свою аудиторию Кириллу не удалось ни историческим экскурсом к утопическим коммунам Сен-Симона и Фурье, ни лучезарными перспективами. Гореловские мужики сидели с каменными лицами, а если у кого-нибудь что-нибудь в лице и оживлялось, возникало ощущение, что

московского лектора хотят взять на мушку. Между тем из соседнего зала, где неведомый Розенблюм бил по британскому империализму, то и дело доносился дружный смех и аплодисменты. Кирилл решил поскорее сворачиваться и, перепрыгивая через параграфы, помчался к своему мощному завершению.

– Программа партии, товарищи, предусматривает возникновение грандиозных сельскохозяйственных комплексов, в которых для труда и быта колхозников будут созданы самые современные условия. Грань между городом и деревней, как учил великий Ленин, будет практически стерта в кратчайший срок, и тогда окончательно забудется подмеченный еще Марксом «идиотизм сельской жизни»!

Лекция была явно окончена, а мужики как сидели так и сидят, не шелохнувшись. Ну, не раскланиваться же. Встрепенулся Птахин, захлопал в ладоши, подавая пример. Мужики тоже захлопали. Кирилл, красный от стыда, начал собирать бумаги.

– Вопросы, мужики, задавайте вопросы! – крикнул Птахин. – Товарищ Градов ответит на любые вопросы!

Заросший бородой, будто лесной дух, старик приподнялся:

– А лечить-то народ где будете, гражданин объясняющий? В больнице?

– Лечить? От чего лечить? – озадаченно спросил Кирилл.

– От идиотизму-то где будут лечить?

В полном замешательстве Кирилл вытер пот. Издевается старик или на самом деле ничего не понял? Петя Птахин, однако, знал, как проводить линию партии.

– Ты, дядя Родион, думаешь, идиотизм у тебя в жопе, а он у тебя в башке. Понятно?

Мужики вяловато поржали. Старик мрачно сказал:

– И это есть.

– Лекция окончена, товарищи, – сказал Кирилл и тут вдруг подумал, что никому из этих людей он в товарищи не годится.

Все вышли в коридор. Из соседнего зала, то бишь церковного притвора, слышались взрывы смеха и какая-то неуклюжая возня. Кирилл от досады сломал свою папироску-«гвоздик».

– Этот Розенблюм, вот видите, умеет найти общий язык с колхозниками. Слышите, Птахин, какая живая реакция!

– Ну, не иначе как нееловские самогону туда протащили, забурели, вот те и ре-ак-ция.

Двери распахнулись, как бы под натиском бурнейших аплодисментов. Вышли нееловские мужики, все красные, смурные, гогочущие. Иные

основательно покачивались. А вот и лектор, тот самый знаток крестьянских душ Розенблюм, и им оказывается, к полному изумлению Кирилла, не кто иная, как Цилька Розенблюм, одна из Нининых «синеглузовок», с которой он не раз «смыкался» во время жарких споров в Серебряном Бору на почве близости к генеральной линии партии. Молодая, рыжая и, несмотря на густую россыпь веснушек, не лишенная даже привлекательности женщина. Страннейшая комбинация одеяний – модная лет двадцать назад шляпка, военная гимнастерка, подпоясанная командирским ремнем, длинная юбка чтицы-декламатора, кирзовые сапоги – создавала даже определенный стиль.

– Да-да, товарищи, – говорила Цилька сопровождающим ее мужикам. – Британский лев сейчас – это главный враг мирового пролетариата.

Мужики реагировали с уважением.

– Лев, оно конечно, зверь серьезный, гибкий, окладистый. Ему-ить тоже жрать-то надо!

Кто-то хмыкнул, кто-то прыснул, лекция явно удалась: эх, час без горя!

Кирилл в изумлении смотрел на Цецилию. Ее появление в этом медвежьем углу, где так все не похоже на теоретические модели, где просто, честно говоря, руки опускаются, где испаряются самые строгие убеждения, обрадовало и вдохновило его: вот наша девчонка, москвичка, марксистка, большевичка, дерзко работает тут в самой гуще бывших антоновцев, значит, и повсюду есть наши, нас – тысячи, мы промоем глаза этому народу. Цецилия заметила его стоящим у стены, на которой еще видны были затертые образы святых, хохотнула и подошла с протянутой рукой.

– Градов, физкульт-привет! Дай пять!

Крепко пожимая ее руку, Кирилл воскликнул:

– Розенблюм! Вот уж не думал, что этот «лектор Розенблюм» – это ты, Розенблюм! Сколько ты здесь будешь?

– Дней пять, – сказала Цецилия.

– Я тоже! Значит, и поедем вместе!

Они улыбались друг другу. Над ними по церковной стене был протянут лозунг: «Отрубим когти кулаку!»

– Пошли шамать! – предложила Цецилия.

– Пошли пошамаем! – с восторгом согласился Кирилл, хоть ему раньше и претил жаргон московской «комсы».

По лицу присутствующего Пети Птахина проходили счастливые блики. Он явно мечтал о системе партийного просвещения.

В один из этих последующих пяти дней, а именно в один из мрачайших, гнусно морозящих пополудней Кирилл и Цецилия тащились по еле проходимым потокам грязи. Дожди заливали Горелово. Урожай гнил в полях, утро колхозного строя было исполнено «пороссячьего ненастья». Молодые люди продолжали теоретический марксистский спор.

Цецилия, будто отмахивая ритм рукою, вещала:

– Деревня сейчас развивается в строгом соответствии с нашей теорией, и Сталин как великий марксист прекрасно понимает, что мы не можем от нее отклоняться. Это научный закон, Градов, понимаешь? Элементарная диалектика революции!

Кирилл вдумчиво следил за прохождением каждой ее мысли из ее уст в сумрачные хляби, кивал.

– Я с тобой согласен, Розенблюм. Теоретически у нас нет расхождений, но в практике, мне кажется, мы иногда перегибаем палку...

Они завернули за угол единственного в селе двухэтажного каменного дома, где помещались Совет и правление колхоза, и тут их спор прервался. В этой части села, что открывалась за поворотом, происходило что-то необычное. Посреди дороги стояла колонна из полудюжины армейских грузовиков с откинутыми бортами. Красноармейцы, державшие винтовки с примкнутыми штыками, мелькали в крестьянских усадьбах по обе стороны улицы, выгоняли из изб рыдающих и вопящих баб, визжащих от страха детей и ошеломленных стариков, вышвыривали в грязь жалкие пожитки. Вертящиеся тут же сельские активисты на месте «коллективизировали» оставшийся мелкий домашний скот, а также уток и кур, разгоняли пинками и камнями бесполезных членов хозяйства, собак и кошек. Кошки, по свойственной им природе, немедленно удирали, кто с глаз долой, кто на недосыгаемые ветви деревьев, чтобы оттуда наблюдать происходящее в вечном, начиная еще с пирамид, качестве созерцателей человеческой истории. Собаки, не в силах преодолеть верности своим домам, были единственными, кто сопротивлялся, то есть рычал и бросался на захватчиков. До Кирилла и Цецилии со всех сторон долетали человеческие вопли: «Да что же вы творите, ироды?!», «Безбожники, креста на вас нет!», «Мучители проклятые! Кровососы!»

Мелькнул с диким воплем расстегивающий кобуру командир отряда.

– Молчать, дерьмо кулацкое! Стрелять буду! – Пальнул все-таки в воздух.

Потрясенные происходящей практикой, Кирилл и Цецилия забыли о теории. Они медленно шли вдоль колонны, не в силах вымолвить ни слова. У одного из грузовиков натолкнулись на своего гореловского чичероне, комсомольца Птахина. С деловым видом он делал какие-то пометки в блокноте.

– Что тут, черт побери, происходит, Птахин? – спросил Кирилл.

– Де-пор-тация классово чуждых элементов, товарищ Градов. – Птахин начал вроде бы сурово, а потом нервно хихикнул: – Для их же собственной пользы отправляем кулацкие семьи на широкие просторы братского Казахстана. Не пешком, товарищ Градов, видите, автомобили за ними прислали, такая забота.

– Вот этих вы кулаками называете? – спросил Кирилл, еле-еле удерживаясь от содроганий. Цецилия предупреждающе взяла его за руку. – Практика иногда, увы, расходится с теорией, увы, неизбежны издержки, однако, Петр, вы уверены, что это все кулаки?

В птахинской расторопности Кириллу всегда виделось что-то от старорежимного приказчика, хотя откуда тут взяться приказчику, в тмударакани.

– Не извольте беспокоиться, товарищ Градов, и вы, товарищ Розенблум! – зачастил Петя. – Все проверено-перепроверено. Все они тут у меня в списочке, кулаки и середняки-подкулачники, а списочек-то утвержден тама-а! – С чрезвычайной значительностью показал большим пальцем в небо. Грязная туча, волокущаяся сейчас поперек села, как бы не оставила никаких сомнений.

Кирилл и Цецилия расстались с Птахиным и прибавили шагу, чтобы поскорее миновать тягостную сцену. Погром между тем продолжался. Красноармейцы выхватывали у женщин и швыряли в грязь излишки имущества – одеяла, подушки, часы-ходики, самовары, сковороды и кастрюли. То и дело для разъяснения пускались в ход приклады. Иногда слышался предупредительный выстрел.

Как шагнули за околицу, все это сразу стало быстро отходить, как кошмар хоть и мизерной, но все-таки цивилизации. Исконная, не именуемая даже словом «Русь» природа вносила умиротворение, и в мрачности она сулила простор, широкий горизонт. Свернули на боковую дорогу, здесь было суше. Цецилия вздохнула:

– Что подделаешь, классовая борьба...

Кирилл было промолчал, поднял какую-то палку, потом сломал ее о колено и остановился.

– Нет, это уж слишком, Розенблум! Ты видела этих кулаков... нищие,

несчастные... Я слышал краем уха, не хотел верить, но... сюда прислали какие-то неслыханные разнарядки, может быть, в отместку за антоновский мятеж... Никому не нужные крайности! Мы разрушаем самую суть российской агрокультуры! Не знаю, как ты, но я собираюсь сообщить в ЦК о своих наблюдениях!

Он кипятился, лицо его пылало, а она смотрела на него каким-то новым взглядом.

– Слушай, Градов, разве ты не слышал выражения «лес рубят, щепки летят»? Сталин все знает и превосходно понимает ситуацию со всеми ее эксцессами. Хватит об этом! – Внезапно она положила свои руки Кириллу на плечи и глубоко заглянула в его глаза: – Послушай, Градов, а как ты насчет небольшой половушки?

Кирилл ошарашенно отпрянул.

– Что ты имеешь в виду, Розенблум?

Темноватая усмешка, будто тень стрекозы, блуждала по ее веснушчатому лицу.

– Ну, просто легкое физиологическое удовлетворение. Разве мы этого не заслужили после недели политпросвещения? Давай, Градов, не будь буржуазным неженкой! Вон, глянь, сарай на холме! Отличное место для этого дела!

* * *

Брошенный сарай выглядел малоприспособленным даже для «этого дела». Крыша зияла прорехами, на сгнившем полу в бочках стояла вода. На дверях висел ржавый замок, но отодвинуть доски на стене и пробраться внутрь не составляло никакого труда.

Цецилия деловито осмотрелась и быстро нашла более или менее сухой угол, бросила туда охапку более или менее сухого сена, расстелила там свое пальто, стащила пальто с Кирилла, потом с той же деловитостью сняла юбку – под ней оказались несколько отталкивающие лиловые штанцы по колено, расстегнула гимнастерку, повернулась к Кириллу: «Ну, давай, Градов!»

Кирилл ничего давать не мог, он был полностью сконфужен и не знал, что делать. Она стала вываливать то, чем он был совершенно потрясен, две большие, как белые гуси, груди. Откуда такие? Продолжая усмехаться, она полностью взяла инициативу в свои руки.

По завершении «легкой половушки» они лежали рядом и смотрели в

прорехи на крыше, где все мутнее и темнее клубилась непогода. Ошеломленный потоком новых для него эмоций, Кирилл прошептал:

– Ты... ты... ты удивительная, Розенблюм... ты просто чудо...

Цецилия села, прокашлялась, как старая курильщица, белые гуси неуместно потряслись, будто на воде под внезапным порывом ветра, продула папиросину, спросила насмешливо:

– Как это вы, товарищ Градов, умудрились сохранить девственность до двадцати восьми лет? – Нагнулась и стала целовать Кирилла с неожиданной нежностью. – Ну что ж, добро пожаловать в мир взрослых, профессорский сынок!

Вдруг она заметила, что Кирилл отвлекся от любовной игры, что он смотрит с тревогой за ее плечо. Оглянулась и сама увидела чьи-то глаза, вззирающие на них из угла, из-за свалки всякого хлама. Оба вскочили.

– Кто там прячется? Выходи! – вскричал Кирилл.

Глаза исчезли. Кирилл бросился в угол, расшвырял прогнившие бочки и брошенные хомуты, вытащил из укрытия мальчишку лет семи-восьми, вонючего и до крайности истощенного. Мальчишка пытался вырваться, защититься, замахивался, но сил у него хватило только на то, чтобы сжать кулачки. Он даже пытался кусаться, но зубы его оставляли на руках Кирилла лишь слабые вмятинки. Эти жалкие попытки защитить свое беспомощное тело пронизывали Кирилла острой, почти невыносимой жалостью.

– Паршивец, зачем подглядывал?! – начал было он грозно, но тут же стих и уж больше не тянул мальчишку, а только лишь поддерживал. – Что ты здесь делаешь, мальчик? Как тебя зовут? Кто твои родители?

Мальчишка разевал рот, вроде бы кричал, но крик его звучал как шепот.

– Пусти! Кровопийцы, безбожники, мучители! Сдохнуть-то хоть дайте! Я не хочу в Казахстан!

В конце концов он потерял сознание в руках Кирилла.

Когда Кирилл с мальчишкой на руках и бредущая за ними Цецилия появились на главной улице села, операция погрузки «социально чуждых элементов» в грузовики была почти завершена. Красноармейцы, как жнецы в конце хорошего рабочего дня, отдыхали у плетня, перебрасывались шуточками, делили табачок. И Петя Птахин был доволен: все списки проверил, все сошлось. Вот только несознательное бабье ведет себя некорректно. Макарьевна, например, из грузовика кулаком грозит, обзывает антихристом.

– Не болтай, Макарьевна! – благодушно сказал ей Птахин. – Раз не

было Христа, значит, нет и Антихриста.

– Слышишь, Градов? – рассмеялась, услышав, Цецилия. – По Достоевскому прошелся Птахин!

Комсомолец обернулся, увидел Кирилла с мальчишкой на руках, счастливо ахнул:

– Вот удача! Где ж вы его пымали, товарищ Градов?

– Кто он? – спросил Кирилл.

– Да кто ж еще, если не Митька Сапунов, кулацкое семя! Валите его прямо в грузовик, товарищ Градов. Загружено под завязочку, а все ж одного-то пацана как-нибудь втиснем. В тесноте, да не в обиде, верно, бабы?

– Где его родители? – спросил Кирилл.

– Да ведь сгорели ж все! Вы ж сами видели пепелище-то, товарищ Градов. Митькин родитель Федор давно еще сказал: чем в колхоз иттить, лучше все свое пожгу, и себя, и семью в придачу. Как раз за ним товарищи с ордером должны были приехать, когда он совершил вредительство. Давайте-ка я вам помогу, товарищ Градов, Митьку засунуть.

– Руки, руки! – с неожиданной для себя самого угрозой сказал Кирилл. – Забудьте об этом мальчике, Птахин. Он поедет в Москву со мной и с товарищем Розенблум.

Комсомолец даже побледнел от такого оборота, нелепо как-то суетнулся, из-за поясного ремня вытащил свою папочку с кальсонными завязочками.

– Да как же так, товарищ Градов? Вот ведь здесь новейшие инструкции, а по ним все кулацкие элементы должны быть изъяты отсюда, не глядя на возраст! Все отправляются в Казахстан для более полезного проживания! Вы чегой-то тут против инструкций говорите, товарищ Градов. Я не могу тут своеволия разрешить! Придется сиг-на-лизировать!

Он оглянулся вокруг в поисках командира отряда, но того поблизости не было видно, а побежать за ним он боялся: как бы товарищ Градов с кулацким отродьем не утек. Кирилла тоже охватила некоторая паника. Он почему-то не мог себе уже и представить, что может расстаться с тельцем, свисающим с его рук и слабо постанывающим, скулящим в полузабытьи. Однако если в следующую секунду здесь появится командир отряда, все будет кончено.

В действие вдруг вступила Цецилия, взяла комсомольского вожака под руку, отвела в сторону, нажимая на локоть и запястье, обдала женским жаром.

– А тебе, товарищ Птахин, когда-нибудь приходило в голову, что ты

можешь быть не всегда прав в твоей интерпретации классовой политики партии? Разве ты никогда не страдал от недостатка образования? Я могу тебе одолжить некоторые работы наших величайших теоретиков. – Из своей раздутой сумки она вытащила несколько брошюр, стала их совать Птахину за пояс. – Тут тебе, Птахин, Зиновьев, Калинин, Бухарин, Сталин Иосиф Виссарионович... Возьми их, товарищ Птахин, и учись. Учиться, учиться и учиться, как завещал Владимир Ильич!

Ошеломленный, благоговейщий Птахин держал себя за пояс. Цецилия освободила наконец его от своего партийного полуобъятья, ласково подтолкнула – иди, мол, учись! Кирилл между тем удалялся с Митей на руках. Цецилия хорошей партийной поступью зашагала ему вдогонку.

Минут через десять мимо них прорычала, заваливаясь в колдобины и разбрызгивая лужи, армейская колонна. Из грузовиков слышались рыдания и вой, мало уж чем отличающиеся от коровьего мычания.

Глава одиннадцатая

Теннис, хирургия и оборонительные мероприятия

Осень тысяча девятьсот тридцатого года не спешила. Иной раз по утрам явственно пахло снегом, вроде бы даже начинала слетать с небес еле заметная белая моль, но вдруг, словно по заказу для нашего повествования, возвращалось бабье лето, и в его сомнительной голубизне Серебряный Бор представлял пышнейшим, ярчайшим по гамме дворцом природы.

В такое вот утро из калитки градовского участка вышли Никита, как всегда, в полной форме и с портфелем, который всегда появлялся у него в руках, когда он ехал в наркомат, Вероника в теннисном костюме и с ракеткой под мышкой, а также их четырехлетний уже сын Борис IV в матроске, но с саблей через плечо.

– Пожалуйста, помни, Никита! – капризным, но сердитым тоном, то есть всерьез, говорила Вероника. – Ни под каким предлогом я не собираюсь возвращаться в Белоруссию! Хватит с меня! Я все-таки урожденная москвичка! Ни малейшего желания губить все свои молодые годы в глуши не испытываю! Ты должен наконец прямо сказать в наркомате, что хочешь перевода в Москву! Твои статьи печатаются в журналах, тебя считают теоретиком! Наберись наконец мужества!

Никита нервничал, посматривал на часы.

– Хорошо, хорошо, успокойся, пожалуйста. Я уверен, что мы остаемся в Москве. Уборевич недвусмысленно сказал, что видит меня в Главштабе. Я просто почти уверен, что... то есть я хочу сказать...

Из-за угла уже выезжал автомобиль наркомата обороны. Бориса IV стали обуревать противоречивые чувства – побежать ли к автомобилю или остаться при матери. Победило рыцарство.

– Мама права, – сказал он отцу. – Здесь лучше. Я тоже хочу здесь жить с Пифагором.

– Да разве ж я не понимаю, – виновато мялся комдив. – Семья может верить, что я и сам этого хочу...

Наконец-то Вероника улыбнулась.

– Я абсолютно уверен, – ободрился комдив. – Абсолютно почти уверен в неременном переводе в центр!

Он поцеловал жену и сына и сел в машину.

– Почему ты не играешь в теннис, папа? – строго спросил Борис IV.

«Жизнь полна тайн, – подумал Никита. – Ведь еще вчера мой

бумбульончик только чмокал и фукал, а теперь задает вопросы бытия». Машина тронулась.

* * *

На теннисном корте Веронику уже ждал ее напарник, пожилой красавец мужчина, и еще двое тоже немолодых атлетов. Все трое представляли тип уцелевшего в революции и ожившего «знаменитого адвоката», который, впрочем, занимался теперь чем угодно, но только не защитой обвиняемых. Игра началась споро, и через несколько минут Вероника уже летала по корту, стремительная и раскрасневшаяся, прекрасно понимая, что выглядит она просто очаровательно, ну неотразимо!

– Мы вас громим, мальчики! – кричала она противникам, и те просто сияли от этих «мальчиков», прямо молодели на глазах под ударами умопомрачительной «красной генеральши».

– О ты, Вероника, богиня тенниса!

Борис IV тоже был при деле, носился вокруг корта, ловил отлетающие мячики. Среди немногих зрителей в углу дощатой трибуны, сдвинув фуражку на глаза, сидел военный. Вероника уже заметила, что это был не кто иной, как комполка Вуйнович.

* * *

Между тем в одном из больших кабинетов наркомата обороны шло совещание группы высших командиров РККА. Карта СССР и прилегающих стран была развернута во всю стену. Перед ней с указкой прогуливался, как само воплощение сдержанной мощи, командующий Особой Дальневосточной армии командарм первого ранга Василий Блюхер. Доклад Блюхера о стратегической ситуации захватил Никиту Градова не меньше, чем его жену – теннис.

– Центр военно-политической активности, направленной против нашей страны, сейчас смещается к Дальнему Востоку, – говорил Блюхер. – Особое значение приобретают планы Японии по созданию марионеточного Маньчжурского государства на нашей границе. Прошу вас снова обратить внимание на карту, товарищи. Синими стрелками здесь отмечены недавние передвижения японских сухопутных сил и флота.

Синие стрелы японских сил, будто рыбыны, тыкались в вымя и под хвост огромной коровы Советского Союза. Блюхер подправлял их указкой. Командиры увлеченно делали пометки в блокнотах.

– В ближайшие месяцы мы должны быть готовы к серьезной конфронтации, – продолжал Блюхер, – может быть, к прямым столкновениям с очень сильным врагом. Японцы воевать умеют... – он улыбнулся, – и любят. – Улыбка командарма явственно говорила: «Как и мы это дело любим», и все присутствующие так и понимали.

Блюхер пересек комнату, остановился возле Никиты Градова, поставил ногу в сверкающем сапоге на перекладинку стула.

– Именно у нас, на Дальнем Востоке, Никита Борисович, вы найдете применение своим стратегическим талантам. Я предлагаю вам стать моим начальником штаба в Хабаровске.

Пораженный Никита вместо лица командарма взирал на сверкающее голенище. Все, улыбаясь, повернулись к нему. Предложение было из тех, о которых молодой командир может только мечтать! Это ли не трамплин для грандиозного взлета?!

– Это очень неожиданно, Василий Константинович, – пробормотал Никита. – Мне начальником штаба?.. В Хабаровске?..

Блюхер протянул ему руку:

– Ну, согласен?

– Как я могу отказаться от такого предложения?

Четко встал, оправил складки вокруг ремня, пожал протянутую руку. Вдруг подумал: что-то есть общее между Блюхером и покойным Фрунзе. Все присутствующие весело зааплодировали: красное воинство, боевое братство!

По окончании доклада Блюхер вышел в коридор в сопровождении Никиты и группы своих подчиненных из Хабаровска. На ходу он уже отдавал практические распоряжения:

– Комполка Стрельников будет вашим заместителем, Никита Борисович. Знакомьтесь. Комбат Сетаных назначается вашим старшим адъютантом. Остальных членов вашей группы подберете сами. Пока все. Все свободны до двух часов тридцати пяти минут.

Тут же все разошлись. Никита медленно двинулся по коридору и остановился возле еще одной карты СССР – ими богат наркомат. Зеленъ долин и коричневый горб Урала, потом опять луговое разлитие Западной Сибири, подпирающие с юга кочки Алтая и... так далее... Хабаровск... Восемь тысяч километров от Москвы... Вероника бросит меня... Сзади кто-то сильно хлопнул его по плечу. Он вздрогнул. Этот стиль запанибратских

отношений давно уже был изжит, что касается Никиты, то он ему даже и на Гражданской войне не нравился, а теперь уж и подавно. Особенно если тебя со всего размаху хлопают, а потом еще и сияет прямо тебе в лицо какая-то полужнакомая физия из начсостава НКВД. Он не сразу узнал Семена Стройло. Со времен Нинкиного отъезда в Тифлис не только не видел, но и думать о нем забыл.

Стройло шумел:

– Поздравляю, комдив! Вот ведь удача! Значит, будем работать вместе! Меня только что назначили в особый отдел при твоём штабе!

– Простите, не имею чести вас знать, – со злостью сыграл Никита.

Стройло тут же уловил интонацию и сам сразу же заиграл с коварством:

– Ну, чего ты, Никита, лейб-гвардию из себя строишь! Мы ж с тобой чуть не породнились до того, как Нинка-то сбежала от своих троцкистских дружков в Тифлис...

Никита резко отодвинул его в сторону, мимолетно удивился, что не такой могучий человек оказался, как ожидалось, и быстрыми шагами удалился. Стройло с кривой улыбкой смотрел ему вслед. Выдуманный и давно забытый пролетарий в нем теперь проснулся и был глубоко уязвлен.

Никита направился прямо во временный кабинет Блюхера. Командующий что-то писал, сидя под портретом Сталина. Никита решительно приблизился.

– Простите, что явился без приглашения, Василий Константинович, но я вынужден отказаться от поста начальника штаба ОДА.

Блюхер дописал фразу и только тогда глянул хмуро. Как и все люди, держащие под командой многотысячные войска, он немедленно менял отношение к тем, кто шел поперек.

– Ваша причина?

– В особый отдел при штабе назначен человек, которому я полностью и решительно не доверяю, – сказал Никита и подумал, что наживает себе в этот момент могущественного неодолимого врага.

Между тем неприязнь так же мгновенно, как и возникла, отлетела со лба командующего. Такая «постановка вопроса» была ему понятна. Человек из его окружения выбирает свое окружение – это понятно, это по-военному и без лицемерия. Он вынул список новых назначений. Золотое немецкое перо остановилось на имени Стройло.

– Этот?

Никита сдержанно кивнул:

– Да. Семен Стройло.

Золотое перо резко вычеркнуло нежелательное имя. Блюхер внимательно посмотрел на комдива Градова, оценил ли тот этот акт доверия, и увидел, что оценил.

* * *

Быть может, как раз в этот момент Вероника окончательно уж наплясалась в теннисе и прекратила игру. Тут же она и заметила Вуйновича.

– Вадим, какими судьбами?! Ой, воображаю, какая я сейчас страшная! Что же вы столько лет пропадали? Просто испарился человек с горизонта!

Вуйнович, донельзя смущенный, клянуший себя за то, что не ушел на пять минут раньше – что делать, никак не мог оторвать взгляда от скачков грации, – вертящий в руках так и не укывшую его фуражку, бормотал что-то несусветное:

– ...Слепой случай... удивительное совпадение... шел мимо, слышу стук мяча... лаун-теннис... никогда не видел раньше... зашел, и вдруг... вы, собственной персоной... ей-ей, меньше всего ожидал...

Не прерывая, она смотрела на него с улыбкой, как бы давая ему понять, что его страсть ей вовсе не противна, если она останется в таких вот милых романтических пропорциях. Он замолчал, и тогда она снова вступила все в том же, отлично, как ей казалось, найденном тоне:

– Ах, вот как? Значит, вы обо мне никогда и не думаете? Хорошо друг. Ну, ладно, ладно, вы арестованы, комполка! Идемте на дачу, все вам будут рады!

От этого приглашения у Вадима сильно дернулись лицевые мышцы. «Особенно профессор будет рад», – подумал он. Надел фуражку, взял под козырек.

– Простите, не могу, Вероника Александровна. Спешу на вокзал. Как раз сегодня уезжаю в Таджикистан.

– Надолго ли? – с досадой воскликнула она и подумала: как в книгах.

– Может быть, навсегда, – сказал Вадим и быстро пошел к выходу.

Какая сильная прекрасная фигура, подумала, глядя ему вслед, Вероника. Легко представить, как бы он меня взял. Тут подбежал совсем ошалевший от двухчасового кружения Борис IV.

* * *

Пользуясь неожиданными благами бабьего лета, Градовы вынесли на веранду самовар. Потекло традиционное летнее чаепитие с домашними вареньями разных сортов и с государственными бубликами.

За столом в этот вечер сидели Борис Никитич, его помощник Савва Китайгородский, Мэри Вахтанговна, прислуга, или, по нынешней терминологии, домработница, Агаша, «богиня тенниса» Вероника, ее сын, исполненный достоинства Борис IV, а также новый член семьи, «кулацкое отродье» Митя Сапунов.

Прошло чуть больше недели с того дня, как полуживого мальчика привезли в Москву и водворили в Серебряном Бору, вызвав жуткий переполох всего семейства. Теперь его узнать было нельзя: отъелся, был вымыт, пострижен, одет в хороший свитерок. Только взгляд его остался страшноватый, легко было бы сказать «затравленного волчонка», если бы временами в нем не мелькало совсем уж что-то непостижимое и ужасное, некий взгляд-невзгляд. Впрочем, мелькало все реже, а иногда Митя даже улыбался, когда мама Мэри гладила его по голове и подкладывала на тарелку кусочек сыра и ветчины. Совсем уж нежно он улыбался, когда вдруг друг дома Пифагор обдавал его жарким дыханием и клал ему свою морду на сгиб руки.

Тем временем Борис Никитич и Савва обсуждали свои профессиональные дела.

– Коллегия наркомата одобрила наше предложение. Так что готовьтесь, Савва, – сказал Градов.

– Да неужто? – Савва радостно заволновался. – Значит, может действительно войти в практику? Значит, внедрение анестезии по Градову не за горами?

– Нет, не за горами, – улыбнулся профессор. – А еще точнее, оперируем послезавтра.

В этот как раз момент на веранду со стороны сада начала подниматься молодая марксистская пара. Они держались за руки и в четыре очковых стекла сияли друг на друга. Все на них смотрели, а они ни на кого не обращали внимания. Агаша налила им чаю, они сели рядом с жарким самоваром. Палящий его бок как бы еще ярче вздул веснушки Цецилии. Ни чай, ни варенье не интересовали Кирилла, только лишь эти веснушки.

– Кирилл, что с тобой? – строго спросила Мэри Вахтанговна. Нельзя сказать, что она была в восторге от выбора младшего сына.

– Да мы только что расписались с Розенблум, – сказал Кирилл.

Агаша всплеснула руками:

– А, батюшки! И без свадьбы?

Вероника фыркнула:

– Интересно, вы и в постели друг друга называете по фамилии?

– Вероника! – осадила ее свекровь.

Кирилл же просто подхихикнул Веронике, он бестолково кивал домашним, сжимая под столом руку Цецилии. Пропал сумрачный догматик, уступив место влюбленному школяру. Он даже шутил!

– Раз уж мы умудрились заиметь восьмилетнего сына, мы должны были пожениться!

Мэри Вахтанговна тут же обеспокоилась:

– А вам не кажется, что Мите будет лучше, если его усыновим мы с Бо?

Цецилия сразу же отвлеклась от любовного отсвечивания, высказалась категорически:

– Позвольте, Мэри Вахтанговна, ребенок должен быть со своими родителями, то есть с нами!

– Ну, вот я и опять дед! – весело воскликнул Борис Никитич. – Мог стать четырежды отцом, а стал дважды дедом!

– А что ты сам, Митенька, думаешь? – спросила Мэри мальчика.

Тот вздрогнул с набитым ртом, потом опустил глаза и буркнул:

– Я чай пью.

– Ответ, достойный Сократа! – вскричал профессор. Все зааплодировали.

Мэри оставалась чрезвычайно серьезной, голос ее слегка дрожал:

– Я настаиваю, я даже требую, чтобы Митя оставался с нами, хотя бы пока вы не получите приличную квартиру.

Подняв подбородок, с видом оскорбленного достоинства она покинула веранду. Почти немедленно из дома стал доноситься взволнованный рокот рояля.

– Слышишь?! – грозно сказал Борис Никитич Кириллу, после чего повернулся к своему ассистенту и отъединился от сложных дел семьи. – Завтра берите день отгула, Савва, и ничего не делайте. Расслабляйтесь, отдыхайте. Операция должна пройти безупречно и с блеском, батенька мой.

Савва засобирался домой, хотя ему вовсе не хотелось уходить. Всякий раз, когда он бывал в Серебряном Бору, ему казалось, что он встречается с Ниной. Агаша, прекрасно понимавшая страдания молодого специалиста, принесла ему сверточек со своими коронными пирожками. По дороге с кухни она заглянула в окно и пропела сладким голоском:

– А вот и Никитушка возвращается. Вон какой веселый шагает, моя ладушка.

Вероника увидела идущего от калитки мужа и картинно закурила папиросу: «Что-то он слишком веселый возвращается».

* * *

Через день в хирургической клинике Первого московского медицинского института состоялась долгожданная операция с применением нового метода анестезии. На амфитеатре вокруг операционного стола не было мест. Пришлось ограничить число зрителей только врачами и аспирантами. Студенты старшего курса толкались на застекленном балконе под потолком.

Все прошло на удивление гладко. Разработанный в последние месяцы анестезирующий состав прекрасно действовал на стволы и окончания нервов. Пациент был спокоен, шутил с сестрами. «Как себя чувствуете, Юзеф Александрович?» – каждые пять минут спрашивал его Градов, и каждый раз почтенный настройщик роялей с неизменной бодростью отвечал: «Прекрасно, Борис Никитич». Теперь Савва Китайгородский накладывал последние швы. Вскоре больного увезли. Хирурги отступили от стола и сняли маски. Амфитеатр разразился аплодисментами.

– Итак, товарищи, можно считать, что с сегодняшнего дня анестезионная система Градова – Китайгородского продвинута в общую практику! – громогласно объявил профессор.

Савва смотрел на своего шефа с ошеломленным видом, да и все присутствующие были удивлены: мало кто из профессоров так просто делился славой с молодыми помощниками.

Когда они остались одни в кабинете Градова, сестра принесла две мензурки с разведенным спиртом. Савва и Борис Никитич чокнулись.

– Ух! – сказал Савва и потер лицо двумя ладонями. – Да как же так, Борис Никитич? Система Градова – Китайгородского? Ей-богу, я не заслужил!

– Очень даже заслужили, – возразил профессор. – Вы были со мной с самого начала, Савва, работали, как вол, и в лаборатории, и в клинике, внесли столько блестящих предложений! Да и вообще... – Он чуть было не сказал «вы мне как сын». Вместо этого положил молодому человеку руку на плечо. – Скажите, Савва, как получилось, что вы тогда, в двадцать седьмом, не поженились с Нинкой?

Савва был в полном замешательстве. Сладкая тоска, столь неуместная в стенах хирургической клиники, бурно подкатывала к горлу.

– Ну... я, право, не знаю... сначала Семен, потом Степан... Разочарование в Семене, увлечение Степаном. Ведь они же поэты, Нина и Степа, не правда ли?.. А я – лишь скромный докторишка... Боже мой, да я люблю вашу дочь больше всего на свете!.. Я только о ней и думаю, когда... когда не оперирую, Борис Никитич...

– Она скоро возвращается, мой друг, – сказал Градов. Он испытывал к ассистенту острую симпатию и жалость. Скромный докторишка... Когда он ухаживал за Мэри в конце прошлого века, медицинский диплом считался верхом престижа. При нынешней власти все привычные престижи подвергаются унижению.

– Нина возвращается! – вскричал Савва, но тут же осекся, отвернулся к окну. Там на ветке березы раскачивался воробей. Крохотная капелька слетела у него из-под хвоста. Победно взъерошившись, он взмыл в неизвестном ему самому направлении.

Глава двенадцатая

Шарманка-шарлатанка

К северу от грузинской столицы в прозрачном воздухе виден был отдаленный горный хребет. Еще более впечатляющие пики гор сияли на фанерном щите сразу за входом в городской зоопарк. На фоне этих гор изображен был стройнейший, осиная талия, кавказец в черкеске с газырями на груди и с кинжалом на поясе. Вместо лица – овальная дырка. В нее-то и влезает круглая русская физиономия беспутного «попутчика» Степы Калистратова. Вуаля – вот он уже и романтический абрек. Фотограф с усами а-ля Вильгельм (или командарм Первой конной Семен Буденный) поднимает магниевую вспышку, ныряет под покрывало.

– Скажите «изюм», батоно!

– Кишмиш! – крикнул Степан. Магний вспыхнул. Фотограф вынырнул.

– Bravo! Вы моя лучшая модель за весь год! Куда прикажете прислать фотографии? Москва, Париж, Монте-Карло?

– В Соловки, мусье! Все приличные люди отдыхают сейчас в Соловках, очевидно, это будет и мой адрес на ближайшее будущее, – отвечал поэт.

Он явно играл на зрителя, но, оглядевшись, был очень разочарован, не найдя вокруг никого, кроме своего неизменного Отари, рыцаря печального образа. Зрители же, на которых все работалось, группа хохочущих молодых людей и среди них личная жена Нина, находились неподалеку, но не обращали на Степу никакого внимания.

Вся компания – Нина, ее кузен Нугзар, молодой поэт Мимино, танцовщица Шалико и художник Сандро Певзнер – приплясывала перед клеткой, из которой, поднявшись на задние лапы, взирал на них огромный бурый медведь. Кто тут был зрителем, а кто исполнителем, нелегко разобраться. Все, включая, кажется, и медведя, преисполнены были какой-то фальшивой иронии и дешевой театральности, какие возникают порой в молодых компаниях после большого ночного пира и утренних хаши с водкой.

Особенно старалась Нина, она простирала руки и взывала к медведю:

– Дорогой мой русский медведь! Земляк! Соотечественник! Попутчик жизни! Бедный, что ты почувствовал, когда проснулся после своей сладкой спячки и обнаружил себя в этой гнусной клетке?! Дитя мое! Ты мой

Лермонтов, заброшенный на Кавказ! Как я хочу тебя поцеловать!

Она вроде бы не замечала никого вокруг, но краем глаза все же видела своего мужа с его Отари, и сквозь хмель и расхристанность в ней поднималась какая-то злинка. Вдруг, не отдавая самой себе отчета, она перепрыгнула через барьер, подбежала к клетке и рванула дверь. Замок оказался незащелкнутым, слетел, и дверь открылась. Нина вошла внутрь. Медведь, будто Собакевич в театральной интерпретации великой поэмы, медленно к ней повернулся. Не раздумывая, Нина встала на цыпочки и запечатлела на его морде великолепнейший поцелуй. Опять же краем глаза заметила, что Степан со всех ног бежит к месту действия, а за ним, заламывая руки, поспешает Отари. Донесся крик мужа:

– Нинка, ты совсем рехнулась!

Возле клетки Нугзар перехватил Степана, зажал ему рот, скомандовал железным голосом:

– Перестань вопить!

Медведь между тем положил передние лапы на плечи Нины и топтался возле нее, опять же как Собакевич в гостинной, точно боясь наступить на ногу. Пасть его была приоткрыта, оттуда разило застойной вонью. Все давно уже перестали смеяться. Кто может предвидеть следующий шаг скучающего медведя? Только Нина еще храбрилась, старалась не потерять ноту:

– Бедный мой медведь! Мой Лермонтов! Дитя мое! На самом деле она боялась шелохнуться под лапами зверя.

Мелькнула даже мысль: какой немислимый конец! Медведь же явно не собирався упустить такой беспрецедентной возможности позабавиться.

Степан оттолкнул Нугзара, завопил истерически:

– Сторожа позовите! С пожарным шлангом!

Сандро Певзнер, бледный, преодолевая головокружение, полез было через ограду, не ведая зачем. Что тут можно сделать? Спугнешь зверя, изувечит любимую, Нашу Девушку, звезду Тифлиса. Нугзар железной рукой стащил его вниз, а затем, демонстрируя полное хладнокровие, повторил путь Нины. Медведь в этот момент оказался к нему задом. Он распахнул дверь и дал ему сильного пинка. Ошарашенный зверь опустился на все четыре. Нугзар мгновенно вытащил Нину и захлопнул дверь. Медведь дико взвыл от разочарования. К месту действия бежали служащие зоопарка.

– Безобразие! – вопил старшой. – Хулиганство! Все арестованы! – Он схватил за грудки Сандро. – Ты кто такой, тунеядец?

– Я Сандро Певзнер, художник.

Муть похмелья и стыд переполняли молодого авангардиста, которому недавно определенные товарищи строго порекомендовали перейти на рельсы реалистического пролетарского искусства.

– Вот он зачинщик! – завопил сторож. – Певзнер зачинщик!

Всех выручил опять же Нугзар. С исключительной авторитетностью он отвел старшего сторожа на пару шагов в сторону, незаметно для других показал ему красную книжечку НКВД и веско сказал:

– Спокойно, спокойно, дорогой товарищ! Никто не пострадал, ваш питомец цел и невредим. Девушка пошутила, батоно. Легкая поэтическая вольность. А клетки нужно запирасть, батоно, чтобы не произошла вражеская вылазка...

Служащий мгновенно затих и забыл о всех претензиях. Богемная компания направилась к выходу. Хмель улетучился. Все, кроме Нугзара, чувствовали себя отвратительно из-за недостатка проявленного мужества. Нина кляла себя за неуместную браваду и кривлянье. Нугзар взглянул на часы:

– Пардон, пардон, мне пора улетучиваться. Увидимся вечером у папы Нико.

По-родственному он поцеловал Нину в щеку и немедленно удалился своим стремительным шагом, исчез за ближайшим углом. Вскоре и вся компания рассеялась.

* * *

Ранним вечером того же дня Нина и Степан медленно шли по горбатой улочке старого города по направлению к маленькому ресторанчику, на котором поверх старой вывески «Духан папы Нико» белой краской, словно в примитивистско-кубистской картине, было намазано «Столовая № 7 Горнарпита». Степан временами на несколько шагов отставал от жены. Однажды она повернулась и увидела, что он втягивает в нос с руки белый порошок. Она презрительно дернула плечом:

– Прекрати это, Степан! Ты уже шагу без этого ступить не можешь! Скажи, ты запаковал свои вещи наконец? Или ты забыл, что мы завтра в Москву отправляемся?

Степан бросил на нее странный взгляд, пробормотал:

– Подожди, Нинка, нам надо поговорить. Давай сначала зайдем к папе Нико.

* * *

В духане, несмотря на сталинскую пятилетку, все еще царила особая тифлисская атмосфера. Ресторанчик был излюбленным местом извозчиков и богемы. На стенах висели яркие примитивистские картины в стиле Пиросмани. Только сам папа Нико, «король духанщиков», как его называли в городе, был невесел. Вместо того чтобы, как обычно, встречать гостей и раскрывать всем объятия, он сидел у стойки со своим другом-художником и жаловался ему на то, что он больше у себя не хозяин, а замдиректора.

– Все забрали, все кастрюли национализировали, все, кроме твоих картин. Я теперь никто. Прислали партийца. Кончилась, мой друг, целая эпоха!

Художник утешал духанщика со свойственным этому племени легкомыслием:

– Подожди, Нико, дорогой. Время придет, тебе дадут миллионы за мои картины.

Нина и Степан прошли в угол и спросили бутылку вина.

– Большую, – вдогонку официанту сказал Степан.

– Можно сразу две, – добавила Нина. – Что происходит, Степка? – спросила она и положила свою руку с двумя кольцами, подаренными Паоло и Тицианом, на его подрагивающий кулачок.

Степан весь как-то поплыл, заныл как от зубной боли, показывая ей, смотри, мол, как страдаю, потом встряхнулся, волосы двумя руками отправил назад и сказал:

– Я не еду в Москву.

* * *

В центре города в этот час стояли шум и суета. Надвигались со всех сторон переполненные трамваи. Трубили автомобили. Кричали друг на друга извозчики. Нугзар, словно торпедный катер, разрезал толпу. Подошел к уличному торговцу лимонадом. Вместе со стаканом влаги торговец передал ему тяжеленький сверток. Нугзар положил сверток в карман, с наслаждением опустошил стакан. Затем исчез под аркой проходного двора.

* * *

Нина и Степан пили вино, не глядя друг на друга.

– Что-то лопнуло в наших отношениях, Нинка, – печально сказал Степан.

– Хорошее слово «лопнуло», – сказала еще печальнее Нина. – По отношению к надутому шарiku...

– У тебя успех, а я выпадаю в осадок, – сказал Степан.

– О чем ты говоришь, какой успех? – с досадой сказала она.

Степан вдруг на мгновение вспыхнул:

– Этот проклятый медведь, после него мне все стало ясно! Это была какая-то проба, которую мне судьба подсунула, и я оказался полным говном!

– Ну что за вздор, – удрученно и раздраженно протянула она.

* * *

В тот же час председатель Центральной контрольной комиссии Ладо Кахабидзе сидел в своем просторном кабинете под картиной, на которой его любимый вождь читал газету «Правда». Замечалось, если не бросалось в глаза, отсутствие портрета Иосифа Сталина. Входящему как бы предлагалось настроиться на тон серьезности и деловой партийной чистоты, ибо что может быть чище и серьезней в мире, чем Ленин, читающий «Правду»? Ладо Кахабидзе после целого дня совещаний и встреч сидел в одиночестве, прочитывал бумаги и делал пометки.

Где-то в глубине дома скрипнула дверь. Послышались быстрые легкие шаги. Они приближались. Дверь кабинета открылась. Кахабидзе поднял голову. Вошедший целился в него из пистолета. Кахабидзе открыл рот и был тут же убит на месте.

* * *

В «Духан папы Нико» между тем забрел известный всему городу шарманщик с попугаями. Вся троица и старая машина были сегодня в ударе, звучала вполне различимая старая мелодия, шарманщик подпевал, птицы порхали над столами. В Тифлисе часто спорили, почему попугаи не улетают от шарманщика, может быть, он привязывает их за лапки какими-то невидимыми ниточками? Только редкие пьяницы понимали, что шарманщик представляет для попугаев понятие «родина».

Степан говорил своей жене с жаром:

– Я люблю тебя по-прежнему, Нинка, но не могу ехать с тобой. Я стал бояться Севера. Север пожрет меня, как мамонты когда-то пожрали коз.

– Мамонты были травоядными, невежда, – с досадой возразила Нина. – Что ты будешь здесь делать один, Степан? Ты и на пропитание себе не заработаешь.

Степановского жара хватило на одну фразу. Он вдруг весь опять обвис, вяло забормотал:

– Ну, что-нибудь придумаю... Вино здесь дешевое... Сыр... Зелень... Потом не забывай, что мой верный Отари всегда со мной.

Вот о ком она постоянно забывала, как не помнят о тени человека, а он ведь и вправду ходил за ее мужем, словно тень. Она обернулась туда, куда показал подбородком Степан. За одиночным столиком сидел томный, как лебедь, Отари. Он явно дожидался конца их разговора. Нину вдруг осенило, она наконец-то догадалась, в чем причина такой магнитной неразделимости двух мужских персон. «Ах, вот в чем дело! А я-то и не догадывалась, дура!» Она начала хохотать и все хохотала и хохотала, даже голову на руки от хохота уронила.

Из внутренней дверцы духана вышел плотный мужчина, подпоясанный военным ремнем, только что назначенный директор «столовой Горнарпита». Решительно пройдя меж клиентами, он двумя руками подтолкнул шарманщика к выходу:

– Пошел вон, кинто несчастный! Частный промысел запрещен!

Два попугая вдруг разом сели на его плечи с розовыми билетиками в клювах. Директор инстинктивно схватился за пояс, где у него еще совсем недавно висел вохровский наган. Папа Нико горько вздохнул: эпоха кончилась, да здравствует эпоха! И это кончится, вздохнул изгоняемый философ, частным промыслом Божьим.

* * *

Полный беспорядок и смятение царили этой ночью в доме фармацевта Галактиона Гудиашвили. Вбегали и выбегали женщины с криками: «О горе! О ужас!» Хозяин дома лежал на диване в полубессознательном состоянии и только повторял: «Нет, нет, я не верю, мой Ладо жив...» Любимый племянник Нугзар с окаменевшим от трагизма лицом сидел на валике дивана, держал за запястье отброшенную дядину руку. В такой вот момент в дом вбежала Нина, бросилась к дяде:

– Что случилось, дядя Галактион?

Дядя закрыл ладонью глаза, проговорил:

– Нугзар прибежал со страшной вестью: Ладо убит в упор у себя дома... Соседи прибежали, подтверждают, весь город уже... Нет, нет, не верю, мой Ладо жив...

Нина схватилась за голову, потом заломила вверх руки тем же движением, что и все грузинские женщины. Подошел Нугзар, отвел ее в сторону:

– Нина, будь мужественной...

– Кто мог это сделать? – почему-то шепотом спросила она.

Нугзар ответил тоже шепотом, но очень громким шепотом:

– Я слышал, что троцкисты посчитались с ним за старые долги.

Она отмахнулась:

– Это вздор, троцкисты не прибегают к личному террору! Он заглянул ей в лицо, как ей показалось, не без лукавности:

– Откуда ты это знаешь, Нина?

Нина ударила себя кулаком в ладонь, схватила со стола из открытой коробки папиросу, отбросила ее.

– Как будто ящик Пандоры открылся! – воскликнула она.

– Что еще случилось? – живо спросил Нугзар.

– Ничего не случилось, но завтра у меня поезд... понимаешь?... утром уезжаю в Москву... вещи не собраны... полный развал... эти новости, – она, что называется, металась.

– Вещи – это не проблема, – солидно сказал Нугзар. – Пойдем, я помогу тебе собраться. Доверься кузену.

Будто схваченная этой фразой, Нина остановилась спиной к нему, потом медленно посмотрела через плечо. Волна дикой радости прошла через тело Нугзара. Сегодня мой день. Ничего не говоря, она отправилась наверх. Он последовал за ней.

В ее комнате все было разбросано, пустые чемоданы раскрыты. Войдя, Нина стала швырять все, что под руку попадалось – белье, туфли, книги, – на дно чемоданов. Нугзар подошел сзади, взял за плечи и повернул к себе. Сопротивляться ему сегодня она не могла. Напротив, ее вдруг неудержимо потянуло кому-то в чем-то до конца, до какого-то конца, ей неизвестного, дальше конца, то есть окончательно, признаться. Он это почувствовал и проговорил срывающимся голосом:

– Ты девочка что надо, не боишься медведей...

– Не боюсь и пострашнее бестий, – с темной ухмылкой прошептала она и стала расстегивать его рубашку. Он потянул с ее плеч жакетку.

Движения их были медлительны, как будто они старались, чтобы ни одна секунда этой триссии не пролетела незаметно.

Когда поезд этих секунд все-таки прошел, Нина долго еще не могла успокоиться. С закрытыми глазами она целовала плечи и шею своего мужчины. Вдруг до нее долетел его бесконечно подлый голос:

– Я вижу, тебе понравился абрек.

Все кончилось. Она открыла глаза:

– Это ты абрек?

Нугзар рассмеялся:

– Конечно, я абрек, смелый разбойник!

Нина отодвинулась от него. Их нагота вдруг показалась ей постыдной.

– Абреки не шантажировали женщин, – сказала она, хотя прекрасно понимала, что начинается – это после столь бурных откровений и признаний – хитрить, самой себе представляться запуганной жертвой. Вдруг ее поразила догадка, она села в постели. – Вай! Теперь я все поняла! Это ты убил дядю Ладю Кахабидзе!

Нугзар мгновенно бросился на нее, схватил за грудь, повалил, потом зажал рот ладонью и зашептал горячечно в ухо:

– Никогда больше не повторяй этой чепухи, дура! Иначе все мы будем убиты: и я, и ты, и все, кто услышит! Ты поняла?

Снова все началось. Отвернув от него голову, глазами, полными страха и тоски, Нина смотрела в темное окно.

Глава тринадцатая

Жизнетворные бациллы

На даче Градовых в Серебряном Бору с утра опять семейная идиллия, все семейство собралось за завтраком: сам профессор, профессорша, старший сын – комдив, очаровательная комдивша, их важный сын Борис IV, средний сын – марксист с марксистской женою, их сын, рожденный в восьмилетнем возрасте Митя, хлопотливая управительница Агафья, ну и, конечно, главный идеолог таких гармоний, молодой овчар Пифагор.

– Все должны каждое утро выпивать по стакану простокваши, – наставлял свое семейство Борис Никитич. – Великий Мечников обнаружил в ней житнетворные бациллы, секрет долголетия. Все пьют простоквашу, все без исключения. Никита, тебя это тоже касается!

Начальник штаба Особой Дальневосточной армии вздрогнул:

– Как, меня тоже? – Торопливо опустошил стакан.

Хороший мальчик, сказал ему взгляд Мэри.

– На фиг нам это долголетие? – бросила вызов теннисистка. – Гнить в тунгусских болотах на Дальнем Востоке?

Никита потупил глаза. Мэри приняла мяч.

– Вероника, что за выражения? Здесь же дети!

Митя, ставший тут уже явным любимчиком, зашелся в смехе:

– А на фиг, а на фиг нам это долголетие?

Борис IV, потеряв важность, даже подпрыгнул:

– На фиг! На фиг!

Мальчики явно подружились, несмотря на разницу в возрасте. «Кулацкое отродье» изменился до неузнаваемости. Агаша даже расчесывала ему волосы на косой пробор, чтобы был похож на ребенка «из хорошей семьи». Только по ночам еще он иногда с закрытыми глазами вскакивал и куда-то с мычанием рвался, но все реже и реже.

Борис Никитич погрозил Веронике, все свое племя обзрел с притворной строгостью, остался своей ролью весьма доволен, посмотрел на часы и встал. Что-то все-таки мешало почувствовать полный утренний комфорт. Вдруг вспомнил – опера! Грозный и справедливый Грозоправ сразу пропал, профессор слегка заюлил:

– Мэричка, можно тебя на минуточку?

Мэри уже почувствовала неладное, прошла за ним в кабинет.

– Что случилось, Бо?

- Мэричка, наш поход в оперу придется отложить.
 - Ну вот, я так и знала! Мы никогда до оперы не доберемся!
- Он торопливо забормотал:

– Понимаешь, Главное медицинское управление наркомата обороны просит в самые кратчайшие сроки представить доклад по нашему методу местной анестезии. Поэтому мне пришлось созвать всю нашу исследовательскую группу. Мы просто не управимся до начала спектакля.

Мэри была очень оскорблена. «Поход», как он выражается, в Большой на новую постановку «Кармен» для нее был большим событием – сегодня и проснулась-то с радостным предвкушением, – а для него это всего лишь досадная причина спешки, препятствие на пути к новым успехам. Как-то не так все это представлялось в молодости! Именно в опере, в консерватории, в музыке все это представлялось. Да, конечно, труд, быт, борьба, но все это рядом с музыкой, с чистым вдохновением, иначе мы лишимся духовной свободы!

– Я вижу, Борис, ты просто потерял способность отказывать начальству! Ты получил свои награды и высшие посты, но потерял духовную свободу!

Градов умоляюще простирает руки:

– Ты не права, моя дорогая!

В это время кто-то продолжительно позвонил в дверях. Агаша прошелестела открывать. На пороге выросла внушительная фигура бывшего младшего командира РККА, ныне участкового уполномоченного Слабопетуховского. Он что-то тихо сказал на ухо Агаше. Та всплеснула руками, схватила его за рукав, обходным путем, чтоб в столовой не увидели, повлекла в кабинет. Здесь уж затопала на него ножками, замахала кулачками, шепотом закричала, показывая на него хозяевам:

– Борюшка, Мэрюшка, да вы подумайте только – за Митенькой пришел Слабопетуховский! Чтоб мои глаза тебя никогда не видели! Пошел вон, бесстыдник!

Участковый пятнами покрылся от возмущения, ус опустил, скула выпятилась, будто скифский курган.

– А при чем тут Слабопетуховский, Агафья Власьевна? Слабопетуховского вызвали, куда следует, поставили по стойке «смирно» и приказали. Получен сигнал из Тамбовской области. Несовершеннолетний кулацкий элемент незаконно вывезен и помещен в семью профессора Градова. Немедленно, до соответствующих указаний, изъять несовершеннолетнего из семьи и поместить в детприемник. Зачем же вы, Агафья Власьевна, «бесстыдником» меня потчуете? Ешьте его сами, вашего

«бесстыдника»!

В большой обиде он задрал голову и через анфиладу дверей увидел кухонный шкаф с граненым стеклом, за которым – он знал это лучше других – всегда стоит графин с крепкой настойкой.

– Да они совсем уже осатанели, эти мерзавцы! – вскричала Мэри. Грузинский ее темперамент никогда не заставлял себя ждать.

– Это уже просто за пределами добра и зла, – раскипятился Градов. – Изъять несовершеннолетнего, каково!

Он еле сдерживался, чтобы не присоединиться к крику жены: «Мерзавцы! Мерзавцы, осатаневшие от полной безнаказанности, исчадия ада!»

– Надеюсь, ты этого не допустишь, Бо?! – на той же ноте обратилась к нему жена.

Он вдруг скомандовал, словно и сам был представителем большевистской бюрократии:

– Мэри, остаться! Слабопетуховский и Агафья, можете идти! Ждать! Никому ничего не говорить!

На кухне участковый одной рукой обратал Агашу, другой привычно потянулся за графином. Агаша слабела под его полуобъятьем.

– Слабопетуховский, как ты мог? Где же твои клятвы, Слабопетуховский? Ведь они же мне все как родные, а Митенька пуще других, сиротка. – Вдруг решительно стряхнула могучую длань, скомандовала: – А ну, сей же час ступай к начальству, скажи – Мити дома нету. Скажи, с мамашей Цецилией уехал в партийную санаторию!

Слабопетуховский восхитился находчивостью подруги, повеселел.

– Слушаюсь, Агафья Власьевна, однако позвольте для бодрого настроения кавалерийским способом заполучить ваш поцелуй и двести граммчиков напитка.

В кабинете тем временем Борис Никитич решительно направился к телефону, однако не успел он положить руку на трубку, как телефон сам зазвонил. Мэри трагически сжала руки на груди.

– Савва? – удивился Градов. – Хорошо, что вы позвонили именно в этот момент. Пожалуйста, известите всех, кому надо знать, что я отменяю сегодня операцию и все встречи. Что? Вы счастливы? Как прикажете понимать? Ах, вот что! Ну, что ж, увидимся вечером.

Он повесил трубку и обратился к жене:

– Вообрази, Нина и Степан возвращаются сегодня. Она прислала телеграмму Савве, и он пришел в экстаз, несчастный.

На Мэри даже эти новости не подействовали.

– Пожалуйста, Бо, Нина – потом! Сейчас – только Митя, Митя, Митя! Надо спасти мальчика!

Профессор сел за стол, открыл сафьяновую записную книжку, нашел номер коммутатора Кремля. Боже, как ему не хотелось туда звонить! Каждая минута отсрочки казалась ему выигрышем.

– Мэри, принеси мне тот костюм, ну, тот, с их дурацкими орденами, – попросил он. Как только она вышла, снял трубку. – Девушка, соедините меня, пожалуйста, с секретариатом председателя ЦИКа товарища Калинина!

Мэри уже прилетела обратно, неся темный костюм с двумя орденами Красного Знамени на лацкане. Теперь его стали награждать едва ли не перед каждым праздником, и все эти ордена, здоровенные бляхи, полагалось носить на «парадном» костюме. Не отрываясь от телефонной трубки, он начал переодеваться. Снял пиджак. В это время на другом конце провода проклюнулся секретариат, бойкий мужицкий голосишко какого-то «выдвиженца». Градов солидно заговорил:

– Здравствуйте, у телефона профессор-орденоносец, хирург Борис Никитич Градов. Мне необходимо поговорить с товарищем Калининым. Простите, дело не терпит отлагательств. Да, да... Что вы сделаете, товарищ? Провентилируете обстановку? Пожалуйста, провентилируйте ее. Да, я подожду.

Он снял ботинки и брюки и уже принял от жены официальный костюм, когда услышал в трубке тверскую малокупеческую скороговорочку: Калинин.

«Почему я раньше не замечала на правой голени у Бо этой синей вены? – подумала Мэри, глядя на бесштанного мужа. – Это, должно быть, от многочасового стояния на операциях».

Градов уверенно и с должной долей почтительности, словом, как надо, говорил с козлобородым «всероссийским старостой», о котором в Москве ходили слухи, что в общем-то не злодей, только охальник и трус.

– Мне необходимо поговорить с вами, Михаил Иванович. Убедительно прошу принять меня прямо сегодня. Отниму у вас не более четверти часа. – Держа трубку между ухом и плечом, он ловкими движениями завязывал галстук. – Да? Чрезвычайно благодарен. Немедленно выезжаю.

Повесив трубку, он при всех регалиях предстал перед женой. Мэри поцеловала его, чуть отодвинулась, любуясь. Даже эти варварские ордена ему к лицу.

– Я была не права, Бо, ты не потерял духовной свободы!

К вечеру все окончательно и самым счастливым образом разрешилось. Заветная фраза кремлевских владык «Можете спокойно работать, товарищ Градов» была произнесена. На даче воцарилось веселье. Митя гонялся за Борисом IV по всем комнатам, даже и не подозревая, что он только что подлежал «изъятию», а только лишь чувствуя праздничное возбуждение, которое всегда охватывало этот дом в дни полного сбора. В столовой играл патефон и открывались бутылки. Самым счастливым был, разумеется, Пифагор, который все знал. Кроме того, и это, может быть, даже главнее: Нина, Нина приехала, любимая сестра! Мэри покраснелась, все время награждала носителя стойкой духовной свободы, то есть своего мужа, поцелуями.

– Наш папочка сегодня герой! Наш папочка сегодня герой! Борис Никитич с большим значением, хотя и не без сдержанного юмора, повествовал об аудиенции:

– Вот что значит быть русским врачом, друзья мои! Член правительства... да-с... хм... да еще такого правительства... говорит с тобой на равных!

Он посмотрел внимательно на Нину. Дочь была бледна, как будто не с Юга приехала, а из туманного Питера. Вдруг до него дошло, что она одна.

– Ба, а где же Степан?

Нина ничего не ответила, но зато тут же выступил вперед донельзя возбужденный, если не сказать сияющий от счастья, Савва Китайгородский.

– Вообразите, леди и джентльмены, поезд приходит, Нина выпрыгивает из вагона, и я вижу, что она... она одна, леди и джентльмены! Я оглядываюсь вокруг: увы, Степана нет, он просто не определяется в пространстве! Я даже влез в вагон в поисках Степана, но его и там не было... Он просто драматически отсутствовал, леди и джентльмены!

Он оглянулся на Нину, и она ему, персонально ему, ассистенту кафедры общей хирургии, улыбнулась. Чуть-чуть рассеянная улыбка, но с явным адресом, не просто в воздух.

Профессор тут тоже улыбнулся понимающе, адресовался к Савве:

– И вы были этим отсутствием чертовски удручены, мой друг, не правда ли? Встречать двух персон, а встретить лишь одну, это нелегко.

Может, впервые со времен «дела Фрунзе» Борис Никитич был так замечательно оживлен, как сегодня. Он перехватил на лету своего внука

Бориса IV и посадил его к себе на колени.

– Надеюсь, хотя бы этот отпрыск, Борис IV, пойдет по стопам деда и станет великим русским врачом.

– Пойду, пойду, дед! Где твои стопы?! – вскричал Борис I V.

С кухни всем присутствующим салютовал граненым стаканчиком участковый уполномоченный Слабопетуховский. Агаша сновала туда-сюда с блюдами пирожков и холодца. Никита, Вероника, Цецилия, Кирилл, Нина и Савва – вся взрослеющая к этим временам, к тридцатому году, крепнущая посреди «великого перелома» молодежь градовского дома – вышли на веранду покурить.

– Подумать только, – пыхнул папиросой Никита. – Старик никому ничего не сказал и все устроил сам. А ведь я бы тоже мог через Блюхера... он член ЦК...

– Тише, товарищи, Митя ничего не знает, – предупредила Цецилия. – Да и не нужно ему ничего знать о его прошлом. Пусть вырастет полноценным советским человеком.

Нина в этот момент метнула на нее явно грузинский взгляд, но ничего не сказала. Никита усмехнулся:

– А все-таки, Цилька и Кирка, этот случай не очень-то подходит к вашим историческим классификациям, а?

– Исключения все-таки не опровергают процесса как такового, – со странной для него мягкой академичностью возразил Кирилл.

Шикарно хохотнула Вероника:

– Предпочитаю все же подпадать под исключения, чем под процесс!

Агаша звала всех к столу. В доме, невзирая на все треволнения, а может быть, благодаря им, несмотря и на идеологические шероховатости, распространялась всеобщая веселая влюбленность.

– Ну, почему, почему мы не можем всегда все жить вместе?! – восклицала мама Мэри.

И только Нина улыбалась вымученной улыбкой. Она еще не приехала. Медленно, будто поезд, проходящий через узловую станцию, проходили через нее события последних дней: объяснение со Степаном, убийство Ладоса Кахабидзе, ночь с убийцей и самое последнее – короткий эпизод по дороге с юга, железнодорожное впечатление современной Анны Карениной.

...Поезд медленно проходил через узловую станцию Ростов – Нахичевань. Нина стояла в проходе своего «международного вагона», курила. Она не могла оторвать глаз от окна. В тошнотворном свете станционных огней перед ней проплывали бесконечные вагоны-теплушки,

«сорок человек, восемь лошадей», в которых вывозили на восток, на вечное поселение, кулацкие семьи Украины и Кубани.

В крохотных окошечках под крышами вагонов набито было месиво глаз и губ, общее, бледное до желтизны лицо. Кое-где, видимо, вопреки приказу двери теплушек были чуть приоткрыты для притока воздуха. Оттуда неслись проклятья, вопли, детский плач. Вдруг истерически взвизгнула гармошка. Неизвестно, сколько лошадей, но людей там явно было сверх нормы. Между составами, на путях, расставлена была охрана – кургузые красноармейцы с винтовками. Иногда, ведя собак, проходили специалисты, энкавэдэшная вохра.

Нина не могла оторвать взгляд от этих вагонов смерти. И вдруг кто-то ответил на ее взгляд. Из окошечка теплушки прямо на нее, молодую красивую женщину из «международного вагона», смотрело распухшее страшное лицо неопределенного пола, именно общее лицо с непересчитанным количеством глаз. Смотрело с ненавистью и презрением.

Антракт V. Пресса

XVI съезд ВКП(б) проходит под лозунгом: «Пора кончить с правой оппозицией!» Партия очень терпеливо старалась и старается выправить линию сбившихся с ленинского пути товарищей. Однако лидеры правых не доказали, что они готовы вскрыть все сделанные ими ошибки, что они безоговорочно порывают со своими ошибками, не оставляя ни малейшей лазейки для своих правооппортунистических колебаний. Статья тов. Бухарина не только не говорит о признании им ошибок, но дает основания думать, что он остается на правооппортунистической позиции. То, что сказали на съезде вожди правых тт. Угланов, Томский и Рыков, заставляет съезд партии насторожиться. Партия вправе ждать от т. Рыкова более прямых и ясных ответов. Пропаганда и защита правых взглядов несовместима с принадлежностью к ВКП(б). Бывшим сторонникам этих теорий надо доказать на деле, что они борются с правыми. Партия не Ноев ковчег, а боевой союз единомышленников. Только единство даст нам возможность победить всех врагов коммунизма.

Досрочная массовая подписка на заем «Пятилетку в четыре года» развернулась на заводах и фабриках Ленинграда. Массовая волна инициативы охватила Урал.

По сообщению МОСПО, мясные талоны третьей декады июня за №№ 13, 14, 15 действительны по 3 июля включительно. Срок действия мануфактурных талонов рабочих и детских второго квартала продлен на третий квартал.

К 25-летию восстания: мировой фильм «Броненосец „Потемкин“!

Урожай колхозных полей собрать полностью! Большевистским примером повести за собой единоличников!

Всесоюзная автовеломотоэстафета прибывает в Москву. На стадионе «Динамо» состоится передача рапортов.

В месячный срок сдать бумажную макулатуру!

Японские краболовные суда хищничают в советских водах.

Из заключительного слова товарища Сталина. 3 июля 1930 года: «...Лидерам правых надо... порвать окончательно со своим прошлым, перевооружиться по-новому и слиться воедино с ЦК нашей партии в его борьбе за большевистские темпы развития, в его борьбе с правым уклоном. Других средств нет. Сумеют это сделать бывшие лидеры правой оппозиции – хорошо. Не сумеют – пусть пеняют на себя». (Продолжительные аплодисменты всего зала. Все встанут и поют «Интернационал».)

Ко всем строителям дирижабля «Правда», всем группам содействия, редакциям газет. Просим сообщить, сколько собрано средств, и перевести собранные средства на текущий счет дирижабля «Правда».

...Текстильщик Иванов внес 25 рублей золотом. «Посылаю вам для пролетарской казны – 25 р. зл. Долго их хранил, хотел сделать себе зубы, да вижу, не время. Предлагаю открыть сбор золотых вещей. У каждого найдется что-нибудь. С тов. приветом, Иванов».

...Журналисты, отдыхающие в сочинском доме отдыха, и работники печати вместо венка на могилу Тараса Кострова вносят в фонд дирижабля 420 рублей.

...К 27 сентября поступило 193 452 р. 97 коп., 3000 итальянских лир, 150 рупий, 7 германских марок, 4 золотых кольца и разные ценные вещи. «Правда» будет реять над советской землей!

Ударными обозами хлеба покрыть сентябрьский недобор!

Сильнее огонь по кулаку и правым оппортунистам, тормозящим коллективизацию!

Шире и крепче опереться на инициативы масс в борьбе за новые миллионы колхозников!

Мы, декхане-единоличники кишлака Зариент Маргеланского района, убеждаемся в преимуществе колхозов и вступаем в колхоз имени Сталина!

Интерес к дирижаблестроению огромен!

С мест. Под маской анонимок. Прения по докладу об итогах съезда в Институте им. Плеханова как будто обнаружили согласие с генеральной линией партии... а между тем значительное количество анонимно поданных записок свидетельствует о наличии среди участников собрания ряда товарищей, или несогласных с решениями съезда, или сомневающихся в их

правильности. Некоторые авторы анонимок издевательски указывают на то, что коллективизация провалилась.

...При проработке решений XVI съезда партии ячейке Московского института народного хозяйства им. Плеханова необходимо заострить внимание на факте наличия примиренческих настроений у части партийцев и дать им решительный отпор.

По-боевому убирать и заготавливать!

Привлечь к строжайшей ответственности виновников порчи огородной продукции!

Подсудимые есть, почему их не судят?

Мобилизовать в двухнедельный срок 30 писателей, включив их в состав ударных бригад! Ликвидировать отставание литературы от требований социалистического строительства!

Новости дня. В Анапе начался процесс над кооперативными вредителями. Первые закрытые распределители в Ленинграде. Обнаружены большие залежи свинца. В Сталинабаде состоялся процесс над работником Автопромторга Кубицким, избившим шофера-таджика. Общественность с негодованием осудила этот ярко выраженный случай великодержавного шовинизма.

На решающем этапе ликвидации кулачества.

...Пока вопрос «кто кого» не решен и классовая борьба в нашей стране продолжает обостряться. Мелкотоварное производство ежедневно и ежечасно рождает капитализм.

...На основе сплошной коллективизации мы наносим жестокий удар кулаку, особенно в зерновых районах. Под колесницей победоносного социализма он напрягает последние отчаянные усилия, пытается увлечь за собой середняка и бедняка и даже отдельные слои городского пролетариата. Задача ликвидации кулачества как класса есть наша центральная задача.

Органами ГПУ в Москве ликвидированы две новые группировки «бывших людей». Одна из них возглавлялась типичным кулацким идеологом проф. Кондратьевым. Рядом существовала оформленная группа меньшевистских и меньшевистствующих интеллигентов – Громана, Базарова, Суханова и др.

За рубежом. Подозрительные перелеты польских самолетов.

Восстание туземцев в Индокитае. Оживление деятельности белогвардейцев в Харбине. Лидер германских фашистов Гитлер проводит переговоры с промышленными магнатами Рурской области.

ОГПУ раскрыта вредительская и шпионская организация в снабжении населения важнейшими продуктами питания, имевшая целью создать в стране голод и вызвать недовольство среди широких рабочих масс и этим содействовать свержению диктатуры пролетариата. Вредительством были охвачены: Союзмясо, Союзрыба, Союзконсерв, Союзплодоовощ и соответствующие звенья Наркомторга.

Из показаний проф. Рязанцева (бывшего помещика и интендантского генерала): «Я считал, что основным классом, носителем культуры является буржуазия»...

Проф. Каратыгин (бывший редактор кадетской газеты): «Характерным для нас являлось неверие в восстановление хозяйства страны советской властью, отрицание коллективизации, установка на индивидуальное хозяйство, необходимость сохранения частнокапиталистических отношений... За свою вредительскую работу в холодильном деле я получил от Рязанцева всего 2500 рублей...»

Левандовский (завотделом сбыта и распределения Союзмяса): «Мы хотели, чтобы государство ушло из мясного дела, передав этот рынок частному капиталу...»

Отклики в стране на разоблачение вредительской группы.

Беспощадно раздавить вредительскую гадину! Привет стражу революции ОГПУ! Больше бдительности!

Трудящиеся отвечают на вредительство в пищевой промышленности еще большим сплочением вокруг большевистской партии, обязательствами с честью вступить в третий, решающий год пятилетки. На места одиночек вредителей рабочий класс выдвинет в аппарат сотни и тысячи организаторов социалистического строительства.

Металлисты электрозавода требуют беспощадного приговора. Амовцы приветствуют ОГПУ – меч пролетарской диктатуры. Мы требуем применить к вредителям высшую меру наказания – расстрел!

Демьян Бедный: «ГПУ во вчерашней публикации разоблечило махинации. Вредители проиграли войну. Они – в плену! Контрреволюция движется, движется! Мы у власти! Гопля! Уже тянулась к власти интеллигентская жидица, кондратьевско-громанская сопля! Просчитались, однако же, стервы! Подвели их мясные консервы!»

К стенке! Требуем возмездия агентам международной буржуазии!

Коллегия ОГПУ, рассмотрев по поручению ЦИК Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и Совнаркома СССР дело о контрреволюционной организации в области снабжения, постановила:

Рязанцева, Каратыгина, Карпенко, Эстрина, Дардыка, Левандовского, Войлощикова, Купчина, Нигзбурга, Быковского, Соколова... (всего 48 человек) как активных участников вредительской организации и непримиримых врагов советской власти – РАССТРЕЛЯТЬ.

Приговор приведен в исполнение.

Председатель ОГПУ Менжинский.

«Борьба за качество продукции – борьба за социализм!» Из выступления тов. Куйбышева на конференции по качеству продукции.

Редактору газеты «Правда». Уважаемый товарищ редактор! Прошу поместить мое заявление.

В № 9 дискуссионного листка «Правды» была помещена моя статья «К XVI съезду партии». Сейчас я прихожу к выводу, что был глубоко не прав, а правы товарищи, выступившие против меня. Мои взгляды по вопросам коллективизации соответствовали не линии партии, а линии правого оппортунизма. Признаю свое выступление вредным и ошибочным и полностью разделяю взгляды партии по вопросам коллективизации. На деле постараюсь исправить допущенные мной ошибки.

С коммунистическим приветом

Мамаев.

Антракт VI. Шум дуба

Среди многочисленных деревьев Нескучного сада, что над Москвой-рекой, чуть на отшибе, на склоне пологого холма стоял восьмидесятилетний дуб. Верхние его ветви шумели: «Буташевич, Буташевич!», средние и нижние подпевали: «Петрашевский!», клесты в ветвях свистали: «Дост! Дост!»

В отличие от других деревьев парка, это зародилось в основательном отдалении, в сотнях верст к северу, во влажном устье короткой, но полноводной реки. После разгона кружка зародившийся дуб, почти бестелесный, еще долгое время лежал у протоки, в которой отражались дворцы, и мосты, и шпиль, и облака, и сам, почти еще не существующий, совершенно невидимый будущий дуб, воплотивший идею разогнанного либерального кружка. Как-то раз, однако, разыгрался шторм, прополыхала гроза, мощными турбуленциями зародившийся дуб, или даже идея дуба, поднят был в несущийся к югу поток воздуха, летел среди других идей, частиц, спор и вытянутых из болот мелких лягушек, пока не упал на склон

пологого холма в Нескучном саду старой столицы.

Случилось это теплой и влажной ночью, в небе боролись южное и северное начала, вдруг все озарялось, высвечивались колонны круглой беседки, в которой дерзкая парочка предавалась любви, стволы, рябь пруда и кочковатость реки. Зародившийся дуб, или просто идея дуба, цеплялся за родное, кем-то родным недавно взрыхленное, пахучее, черное под ливнем, и рыхлое, и липкое вещество и патетически боялся: неужели не привьюсь? Привился.

Привился, и вот восемьдесят лет спустя, в тысяча девятьсот тридцатом, он стоит, хорохорится под ветром, занят, как все окружающие, обычным древесным делом, в основном фотосинтезом, от него уже, согласно недавним изысканиям, все остальное, но в ветвях или меж ветвей все еще живет память о кружке, вернее, расплывчатые идеи кружка, гулкое сбрасывание кожаных галош в передней, обмен литературой, взглядами, «письмо Белинского Гоголю», Федор, душа моя, прочтите вслух, головоломки допросов, барабанный бой фальшивого расстрела.

Однажды под вечер в беседке оказалась парочка, мужчина лет под сорок и юная дева. Как и его белый противник, красный командарм Блюхер был влюблен в адъютантшу штаба. Головка ее лежала на его широком кожаном плече, трогательный носик рядом с маршальской звездой, а он смотрел на ветви дуба и думал: надо что-то делать, может быть, именно сейчас, может быть, скоро будет уже поздно, пойти на риск, войти в историю спасителем революции... Неплохо думает, размышлял дуб, посылая ободряющие волны. Думай дальше. Технически все сделать несложно, продолжал свою думу Василий. Приехать в следующий раз из Хабаровска с укомплектованной группой охраны, войти в Кремль, арестовать мерзавцев, а особенно главного, рыжего таракана, выступить по радио, попросить всех оставаться на своих местах, отменить коллективизацию, вернуть нэп, предотвратить надвигающийся голод.

Предательская сырость шла со стороны реки. Страх плотным сваявшимся облаком медленно двигался от центра города, будто выхлоп тепловой электростанции. Дуб старался отгонять внимание командарма от этих угнетающих подробностей, пел свое: «Буташее-вич, Петра-ашевский», свистал клестами: «Дост! Дост!...» Струйки уныния, однако, проникали под кожаную сбрую, тревожили и звезду, и трогательный носик. Шансов на успех такого дела мало, все-таки ничтожно мало. Идти на операцию без союзников в центре немыслимо, искать сейчас союзников значит провал: ищейки Менжинского повсюду. То, что убьют, не важно, важно, что в историю войдешь не спасителем, а предателем революции.

По пустынной аллее Нескучного сада к беседке под дубом приближался еще один спаситель революции, палач Кронштадта и Тамбова командарм Михаил Тухачевский. На его плечо склонила головку еще одна юная дева Вооруженных Сил, парикмахерша наркомата. Такое тогда было поветрие: железные человеки режима искали романтических утех.

Дуб взбудоражился всем своим существом. Сближайтесь, мальчики, увещевал он, Вася и Миша, станьте друзьями, ведь вы же думаете одну и ту же думу.

Между тем, заметив друг друга, командармы спешили со своих будущих конных памятников, сердца их трепетали в испуге. Тухачевский резко развернул свою даму, мелькнул и растворился в еловых сумерках. Одновременно Блюхер, подхватив своего трогательного носика, сбежал по ступеням беседки, сапоги его крепко застучали по асфальтированной тропке и пропали. Помимо всего прочего, оба командарма не были уверены в том, что их девушки не работают на Менжинского.

«Слабодушные», – краешком кроны прошелестел дуб и отвлекся всей душою к разворачивающемуся над Москвией закату.

Глава четырнадцатая

Особняк графа Олсуфьева

Днем Москва выглядела как обычно: кишачий муравейник, пересекаемый линиями трамвая. Любое средство транспорта – трамвай ли, автобус, недавно ли появившийся троллейбус – облеплялось муравьями, как кусок сахара. Извозчики почти исчезли, их заменили автомобили такси, но по малочисленности они относились, пожалуй, больше к разряду городских легенд, чем к транспорту. В 1935 году с великой pompой была пущена первая очередь метрополитена с мраморными станциями, мозаичными потолками, движущимися лестницами. Два года уже прошло, а пропагандистский концерт с фонтанами по поводу этого сооружения не затихал ни на день. Практически в этой линии, идущей от парка Сокольники до Парка культуры на Москве-реке, смысла было меньше, чем в проекте, разработанном до Первой мировой войны и предлагавшем вести тоннель от Замоскворечья до Тверской заставы, то есть соединить две половины города. Пропагандный смысл Московского метрополитена, однако, перекрывал все практические соображения. Лучшее в мире! Подземные дворцы! Подвиги комсомольцев-метростроителей! Сердца трудящихся переполняются гордостью! Забота партии и правительства и лично товарища Сталина!

Вместо нэповских реклам по всему городу, иной раз в самых неожиданных местах, предстала «наглядная агитация и пропаганда»: лозунги, портреты Сталина и некоторых других, оставшихся после расстрелов вождей, скульптуры, диаграммы. Озираясь и уже не очень-то замечая эти наглядности, а только лишь подспудно осознавая, что они здесь и всегда пребудут здесь, всегда вокруг него, москвич получал главный посыл, идущий из-за зубчатых стен: сиди не рыпайся!

В остальном все шло как бы обычно: бежали организованные потоки на работу и с работы, томились в очередях, по воскресеньям отправлялись на футбол «Спартак» – «Динамо» или в кино на жизнерадостные комедии Григория Александрова «Цирк» и «Веселые ребята». Шли показательные процессы над вчерашними вождями – Рыковым, Бухариным, Зиновьевым, Каменевым, однако процессы эти никак не отражались на дневном рисунке московской жизни, может, только чуть больше, чем обычно, мужчин толкалось у газетных стендов. Молча читались речи прокурора Вышинского, лишь изредка кто-нибудь бросал: «Вот это оратор» – и кто-

нибудь тут же по-светски подхватывал: «Блестящий оратор!»; и сразу после обмена мнениями разбегались к транспортным средствам. Другое дело – встречать полярников, героев-летчиков, зимовщиков! Тут уж – тысячами на улицы! Улыбки, возгласы, оркестры. Ну, а в основном Москва крутила свои дни, как обычно.

Только по ночам ужас расползлся по улицам; из-за железных ворот на Лубянке разъезжались по заданиям десятки «черных воронок». При виде этих фургонов москвич немедленно отводил взгляд, как любой человек отгоняет мысль о неизбежной смерти. Дай Бог, не за мной, не к нашим, ну вот, слава Богу, проехали! Там, где надо, куда ордера выписаны, «воронки» останавливались, чекисты неторопливо входили в дома. Стук сапог на лестнице или шум поднимающегося лифта стали привычным фоном ночного московского ужаса. Люди прикидывались к дверям своих коммуналок, дрожали в комнатах. Неужели на наш этаж? Нет, выше проехали. Ну, конечно, за Колесовским; можно было ожидать; я так и знала; неужели вы тоже; да-да, знаете, они не ошибаются... Иногда в доме арестованного начинались рыдания, приглушенные, конечно, сдавленные, проявлялась неуместная в советском обществе, но еще живучая истерика, она прерывалась окриками «рыцарей революции»: Москва слезам не верит! Тогда рыдания заглушались совсем, со стыдом, с пришептыванием: простите, нервы. Чаще, однако, все проходило нормально, с хорошими показателями по дисциплине. Давай, давай, там разберутся!

* * *

Процветала литература социалистического реализма. Формализм был уже полностью искоренен. Состоя в едином союзе, советские поэты, драматурги и романисты бодро создавали нужные народу произведения.

Общественной жизни тоже не чурались. Вот, например, вчера в «Правде» и в других центральных газетах появились первые письма трудящихся с требованиями расстрела обвиняемых на процессе «врагов народа», а сегодня уже и писатели собрались в своем красивом особняке на улице Воровского, бывшей Поварской; составляется обращение к гуманному советскому правительству. Бывают времена, когда надо сдерживать свою гуманность, дорогой товарищ правительство, врагов надо карать без пощады!

Собрание проходило в большом зале ресторана, откуда убраны были столы и куда внесены дополнительные стулья и трибуна. «Где стол был

яств, там гроб стоит» – так, разумеется, подумали многие, но промолчали. Расстрел, расстрел! Боевое партийное слово гремело под высоким потолком, кружило вокруг величественной люстры, размазывалось по витражам высоких стрельчатых окон, веско поскрипывало паркетом, по которому двадцать лет назад только олсуфьевские отпрыски порхали с гувернантками. Поэт Витя Гусев, тот решил поэзии прибавить к общему настроению непримиримости. Влетел на трибуну, резким движением головы отбросил назад шевелюру.

– Я поэт, товарищи! Свои чувства выражаю стихами!

Графский дворец наполнился пролетарским каленым стихом:

Гнев страны в одном рокошет слове!

Я произношу его: расстрел!

Расстрелять предателей отчизны,

Порешивших СССР сгубить!

Расстрелять во имя нашей жизни

И во имя счастья – истребить!

Молодец Гусев, сорвал аплодисменты собрания. Представители отдела культуры ЦК ВКП(б) улыбались отечески: недюжинного таланта поэт, простой рабочий паренек; ничего, товарищи, обойдемся без декадентов!

Нина Градова сидела на антресолях за витой деревянной колонной. Глаза ее были закрыты. Тоска и позор без труда читались на лице. Сосед, когда-то ухаживавший за ней критик, раскаявшаяся звезда формальной школы, отвлекаясь взглядом к потолку и не переставая «бурно аплодировать», шептал:

– Перестаньте, Нина! За вами наблюдают. Хлопайте, хлопайте же!

Она открыла глаза и действительно сразу заметила несколько обращенных на нее взглядов. Братья писатели, кроличьи души, явно читали вызов в ее окаменевшем лице и неподвижных руках. Большинство этих кроличьих взглядов немедленно по соприкосновении отвлекалось, два или три на мгновение задержались, как бы призывая опомниться, потом с двух противоположных сторон прорезались два пронизывающих, внимательных, наблюдающих взгляда. Эти явно фиксировали градации энтузиазма. Опустив голову и покраснев, будто юная графиня Маша Олсуфьева на первом балу, Нина присоединилась к аплодисментам.

Из президиума донеслось:

– Проект резолюции: просить Советское правительство применить

высшую меру наказания к банде троцкистских наймитов, расстрелять их как бешеных собак; приступаем к голосованию: кто за эту резолюцию, товарищи? Кто против? Кто воздержался? Принято единогласно!

Снова буря аплодисментов, какие-то выкрики, и снова Нина – со всеми, хлопает, хлопает, и вдруг ей с ужасом кажется, что хлопает она даже как-то бодрее, увереннее, как бы даже в унисон. Писатели вместе со всем народом, с горняками, металлургами, доярками, свиноводками, швеями, трактористами, воинами-пограничниками, железнодорожниками, хлопководами, а также врачами, учителями, артистами, художниками, вулканологами, палеонтологами, а также с чабанами, рыбаками, орнитологами, часовщиками, весовщиками, лексикографами, гранильщиками, фармацевтами, моряками и летчиками требовали от правительства немедленной казни группы двурушников.

Расходились весело, ободренные общим чувством, порывом к правительству, забыв на время групповые неурядицы, личную вражду, соперничество. Многие задерживались у буфета, просили «добрую стопку коньяку», съедали отличный бутерброд с севрюгой, окликали друг друга, спрашивали, как идет у коллеги роман или пьеса, когда собираетесь к морю и т. д.

Критик, бывший формалист, оживленно рассказывал Нине о какой-то дурацкой рецензии, появившейся в «Литературке», он как бы призывал ее немедленно забыть только что происшедшее, формальное, ничего от души не требующее, просто чисто внешнее, ну, просто необходимое, как зонтик в дурную погоду, ни к чему нравственно не обязывающее, смехотворную чепуху. Они медленно шли по улице Воровского к Арбатской площади мимо иностранных посольств. Из афганского посольства на них посмотрел мраморнолицый афганец, из шведского – неопределенный швед, за окном норвежского промелькнула с недоуменным взглядом нежно-молочная фрекен.

– Ну что же, похлопали, Казимир? – прервала вдруг Нина своего элегантного спутника. – Похлопали на славу, не правда ли? Ручками хлоп-хлоп-хлоп, ножками топ-топ-топ, а? Русские писатели требуют казни, прекрасно!

Критик прошел несколько шагов молча, потом в отчаянии махнул рукой и повернул в обратную сторону.

Нина пересекла Арбатскую площадь и Гоголевским бульваром пошла к станции метро «Дворец Советов», то есть к тому месту, где за грязным забором еще видны были руины взорванного храма Христа Спасителя. Мирная, как бы нетронутая еще сталинской порчей жизнь бульвара, теплый вечер позднего лета не только не успокоили ее, но ввергли в еще большее,

гнуснейшее смятение. Диким взглядом она встречала заинтересованные взгляды встречаемых мужчин. Да и есть ли мужчины в этом городе? А женщины-то чем лучше? Остались ли тут еще бабы? Кто мы все такие? Большой черт тут водит свой хоровод, а мы за ним бредем, как мелкие черти.

Савва уже ждал ее у метро, всем своим видом опровергая мрак и пессимизм. Высокий, светлоглазый, в сером костюме с темно-синим галстуком, прислонившись плечом к фонарному столбу, он спокойно читал маленькую дивную книгу в мягком кожаном переплете с тусклым от времени золотым обрезом. Увлекается, видите ли, букинистикой, в свободное время выискивает редкие книги, читает иностранные романы, философию, совершенствует свой французский. Да его за один этот вид могут сейчас немедленно арестовать! Нина бросилась к мужу, ткнулась носом в серый коверкот, обхватила руками его плечи.

– Савва, Савка, вообрази, все голосовали за расстрел, требовали расстрела, позорный Витька Гусев – в стихах, все аплодировали, и я, и я, Савва, аплодировала, значит, и я требовала расстрела! Не встала, не ушла, хлопала вместе со всеми, как мерзкая заводная кукла!

Он поцеловал ее, вынул платок, приложил к носу, ко лбу, остерегся промокать глаза: подкраска могла размазаться.

– Было бы самоубийством – выйти, – пробормотал он. Что мог он еще сказать?

– Русские писатели! – продолжала она. – Не за милосердие голосуют, не помилования, расстрела требуют!

Они пошли по бульвару в обратную сторону. По дороге домой – теперь они жили в Саввиной квартире в Большом Гнездиновском возле улицы Горького – надо было зайти в ясли за Леночкой.

– У нас тоже сегодня было такое собрание, – проговорил он. – Они повсюду сейчас идут. Повсюду, понимаешь, без малейшего исключения.

– И ты тоже голосовал за расстрел? – ужаснулась она.

Он виновато пожал плечами:

– У меня, к счастью, в этот момент была операция...

Они проехали пару остановок на трамвае «Аннушка» и сошли возле своего переулочка. Ясли были на другой стороне бульвара. Савва показал Нине на подъезд их дома:

– Видишь, Роговский вышел, выполз на свет Божий. Третьего дня его исключили из партии и единогласно – понимаешь? – единогласно изгнали из Академии, лишили всех званий. Видишь, соседи от него шарахаются?! Смотри, Анна Степановна на ту сторону перебежала, чтобы с ним не

здороваться!

Вчерашний академик исторических наук, всегда неизменно бодрый и подчеркнуто отстраненный от текущего быта своих мелких сограждан, сейчас двигался к углу, как глубокий инвалид. Заклейменность придавила его к земле, само присутствие его на улице казалось неуместным. Впервые за все время в руке его они видели авоську с двумя пустыми молочными бутылками.

– Здравствуйте, Яков Миронович, – сказал Савва.

– Добрый вечер, Яков Миронович, – намеренно громко сказала Нина и устыдилась этой намеренности: мелко, глупо, будто бросаю вызов, здороваясь с человеком, будто компенсирую свою трусость, мерзость.

– Здравствуйте, – безучастно ответил Рогальский и прошел мимо. Он даже и не взглянул, откуда пришло приветствие. Савва проводил его взглядом.

– Он уже не с нами. Жизнь кончилась, ждет ареста. Говорят, что уже упаковал узелок и ждет.

Нина в отчаянии уронила руки.

– Ну, почему же он просто ждет, Савка? Почему даже не старается убежать? Ведь это же инстинкт – убегать от опасности! Почему он не уезжает, уехал бы на юг, в конце концов, хоть бы насладился югом напоследок! Почему они все, как парализованные, после этих исключений, проработок?

– Прости, Нинка, милая, но почему ты сегодня аплодировала гнусному Гусеву? – спросил Савва и обнял ее за плечи.

– Я просто от страха, – прошептала она.

– Нет, не только от страха, – возразил он. – Тут еще что-то есть, важнее страха...

– Массовый гипноз, ты хочешь сказать? – пробормотала она.

– Вот именно, – кивнул он. – И вы все создали этот гипноз!

– А ты? – бросила она на него быстрый взгляд. Почувствовала, как у него напряглись мускулы на руке. Голос стал жестче.

– Я никогда не участвовал в этом грязном маскараде.

– Что ты имеешь в виду? – Лицо ее приблизилось вплотную к его лицу. Издали они были похожи на шепчущих телячьи нежности влюбленных. – Ты имеешь в виду все в целом? Революцию, да?

– Да, – сказал он.

– Молчи! – быстро прошептала она и закрыла мужу рот ладонью. Он поцеловал ее ладонь.

Глава пятнадцатая

Несокрушимая и легендарная

В те годы возник жанр могучего советского пения. Певцы и хоры научились как бы едва ли не разрываться от величия и энтузиазма. Массовая радиофикация несла эти голоса на черных тарелках радиоточек глубоко в недра страны.

*От Москвы до самых до окраин,
С южных гор до северных морей
Человек проходит, как хозяин
Необъятной родины своей.
Всюду жизнь привольно и широко,
Словно Волга полная, течет.
Молодым везде у нас дорога!
Старикам везде у нас почет!
Кипучая, могучая,
Никем не победимая,
Страна моя,
Москва моя,
Ты самая любимая!*

Так шло через все одиннадцать часовых зон, так и на Дальнем Востоке гремело, так и возле железнодорожного шлагбаума несло из репродуктора на столбе возле небольшой станции в Приамурье.

Была непогода, бесконечно струился неторопливый дождь, в лужах плавали пузыри, не предвещая на ближайшее время ничего хорошего... «Все сегодня наденут пальто, И заденут за поросли капель, И из них не заметит никто, Что опять я ненастьями запил», – бормотал Никита стихи своего любимого полузапрещенного поэта... И только за огромной рекой, то есть уже в китайских далях, чуть-чуть намечались в облачной массе какие-то слабые намеки на то, что лето еще возьмет свое.

Легковая «эмка» комкора Градова остановилась прямо перед закрытым семафором. Моргал красный фонарь. Через пересечение проселочной дороги по одной из веток железнодорожной магистрали медленно, как сегодняшний дождь, проходил бесконечный товарный состав. Никита, не

отрываясь, смотрел на мрачную, клацающую на стыках рельсов процессию. Как и все вокруг, он знал, какого рода груз перевозится в этих составах: человеческий груз, заключенных везут к Владивостоку и Ванинскому порту для отправки на Колыму. И для водителя комкора, сержанта Васькова, это тоже, очевидно, не было секретом. Он все вздыхал и вздыхал, глядя на поезд, явно хотел поговорить.

– Ну, в чем дело, Васьков? Чего развздыхался? – мрачно спросил Никита.

– Да как-то мне раньше в голову не приходило, товарищ комкор, что у нас в стране столько врагов народа попряталось, – пробормотал шофер, не глядя на начальника. Простоватое лицо его отражало недюжинную народную хитрость.

– Оставь эту тему, Васьков, – сказал Никита. – Просто держи язык за зубами. Понятно?

Сержант шмыгнул носом, проглотил свое «есть, товарищ комкор». В бесконечных разъездах по военному округу он привык к несколько запанибратским отношениям с заместителем командующего по оперативным вопросам, а сейчас вот его вдруг так резко оборвали, хотя, казалось бы, как не поговорить перед закрытым семафором.

По всему составу простучали буфера, и поезд полностью остановился. Какие-то люди пробежали в голову состава, кое-где чуть откатывались двери вагонов, высывалась вохра, слышались вдалеке какие-то крики; что-то происходило.

Между тем за градовской «эмкой» накопилось уже изрядно колхозных подвод и военных машин, возвращающихся из зоны танковых учений.

– Вон, сам едет, – мрачно сказал Васьков и показал пальцем в боковое обратное зеркальце. Никита оглянулся и увидел известный всему округу броневик главкома Блюхера в камуфляжной раскраске.

Никита вышел из «эмки». Маршал уже приближался своим обычным, более чем уверенным в себе, как бы атакующим шагом. Они обменялись рукопожатием.

– Что тут происходит, Никита Борисович?

– Да вот спецсостав проходит, Василий Константинович. Блюхер мрачно ухмыльнулся:

– Спецсостав...

Отмахнув полу кожаного пальто, полез за портсигаром, предложил папиросу Градову. За все эти годы обмен папиросами был единственным знаком неформальности между ними. Они не перешли на «ты», обращались друг к другу по имени-отчеству, сохраняли именно ту

дистанцию, что и предполагалась между ними по всем правилам как писаного, так и неписаного кода армейских нравов. В последние месяцы появилось еще большее отчуждение. Ни с кем, даже с Вероникой, Никита не делился своим раздражением в адрес Блюхера, даже и самому себе он не очень-то признавался, что не доверяет больше своему главному. В мае энкавэдисты нагло, на глазах у всего штаба, увели одного из самых уважаемых командиров Особой Краснознаменной Дальневосточной армии, начальника авиации комкора Альберта Лапина. Блюхер и пальцем не шевельнул для его спасения. Аресты шли по всем звеньям, затем разразилось потрясшее всю РККА дело о «военно-фашистском заговоре», мгновенно и бесповоротно заляпаны были грязью несколько икон революции – Тухачевский, Уборевич, Якир, Гамарник, Эйдемман... Еще большим потрясением стало то, что в составе суда, отправившего на смерть этих людей, оказались Блюхер, Дыбенко, Белов, Каширин... Это же все равно, как если бы я судил Кирилла и Нинку, думал Никита. Тело его в эти минуты наливалось свинцом, перед глазами вставала заляпанная кровью стена кронштадтского форта...

В спецсоставе происходило что-то необычное. Блюхер и Градов стояли в каких-нибудь двадцати метрах от одного из остановившихся вагонов. Слышны были звуки какой-то тяжелой возни, глухая перебивка множества голосов. Вдруг леденящий вопль вырвался из этой каши:

– Товарищи! Красные командиры! Не верьте фальшивым обвинениям! Мы не враги! Мы – коммунисты! Мы верны делу Ленина – Сталина!

После этого выкрика зазвучал непостижимый мычащий хор мужских голосов. Вскоре все собравшиеся у переезда военные и крестьяне смогли и в этом диком исполнении различить гимн ВКП(б), французскую песню «Интернационал». Отодвинулась одна из досок в верхней части стенки вагона, чья-то рука швырнула в сторону шлагбаума пачку свернутых в треугольники писем.

– Отправьте письма, Бога ради, – прорезался через «Интернационал» еще один голос.

Мольба и рев атеистического гимна. Часть треугольников упала прямо на полотно дороги, другая отнесена была воздушной струей к перелеску, один спланировал прямо к хромовым сапогам комкора Градова. Никита поднял его и сунул в карман. Блюхер бросил на него хмурый взгляд и сделал вид, что не заметил. Разумеется, он понимал, как относятся теперь к нему в его собственном штабе. Каждый командир, конечно, думает: что же, следующим меня отправите, товарищ маршал? Если бы они знали... Несколько вохровцев с пистолетами в руках подбежали к

взбунтовавшемуся вагону, откатали дверь, подсаживая друг друга полезли внутрь, в темноту, где белели лица поющих.

– Молчать, еби вашу мать! Мы вас научим петь, бляди!

Одновременно к переезду по параллельному пути подкатила дрезина, из нее выскочило какое-то железнодорожное начальство. Двое перепуганных до смерти подбежали к Блюхеру явно с желанием объяснить, что произошло на путях. Маршал не стал их слушать. Не вынимая рук из карманов своего кожаного пальто, он пролаял:

– Немедленно очистить переезд! Разобрать состав, если нужно! Даю десять минут и ни секунды больше!

Резко повернувшись, он пошел обратно к своему броневику. Никита стоял молча, опустив глаза. Поющий вагон затих. Снова, в который уже раз, в памяти возникли кронштадтский лед и стена форта, перед которой стоят три парламентаря Красной Армии. Один из них кричит в мегафон: «Матросы, мы принесли ультиматум главкома Троцкого! Если хотите сохранить свои жизни, сдавайтесь!» Военморы на стенке форта взрываются хохотом. Среди них и он сам, Никита-лазутчик. Как раз оттуда он и отправился на Якорную площадь.

Комкор тряхнул головой, чтобы отогнать тягостные воспоминания, и снова это удалось, если не считать мимолетного мига, когда опять промелькнул тот же форт, ставший сценой расстрела братвы. И он, юный Никита, в рядах победителей...

* * *

Жизнь в Хабаровске оказалась не так уж дурна для комкорши Вероники. Просторная их квартира помещалась в одном из домов конструктивистского стиля на главной улице. Три комнаты, большая кухня, ванная с газовой колонкой. Удалось собрать вполне милую мебель. Никита, правда, говорит, что квартира выглядит несуразно, но что он понимает. В городе есть музыкальный театр и, между прочим, даже теннисный кружок при ДКА. Есть неплохие партнеры, военврач Берг, например, старший лейтенант Вересаев из штаба авиации с этими его, ну, сумасшедшими, право, глазами. Забавно наблюдать соперничество этих двух, ну, с другими. Нужно поддерживать гостеприимный дом. Никита часто уезжает, но часто и врывается с толпой командиров, всех надо кормить, со всеми шутить. Держать себя в идеальной спортивной форме. Выходы на премьеры. Вот недавно был концерт джаз-оркестра Леонида Утесова. Немножко

напоминало одесский балаган, перемешанный с пропагандой, но вместе с тем было несколько оригинальных блюзов. В свои тридцать три года Вероника выглядела, фу, черт, ну просто сногшибательно! Жалко только, что годы так быстро идут, ну просто мелькают.

Они нередко ездили во Владивосток, или, как в народе его называли, во Владик. Здесь, на берегу Золотого Рога, под будоражащими взглядами моряков, Веронику охватывало особое состояние, похожее на возвращение ранней юности. Вспоминался Александр Блок:

*Случайно на ноже карманном
Найди пылинку дальних стран —
И мир опять предстанет странным,
Закутанным в цветной туман!*

Она смотрела на корабли в бухте и предавалась фантазиям. Ну вот, вообразим, что советские Вооруженные Силы разбиты навсегда и окончательно. Бедный Никитушка в плену, но он, конечно, впоследствии вернется живой и невредимый. Пока что мы стоим на холме и смотрим на горизонт, ждем. Опять же, как у Блока, ждем кораблей. Дымки уже появились, идет эскадра победителей. Кто они? Японцы? Нет, это уж чересчур – с японцем? Впрочем, говорят, что они все исключительные чистюли. Нет-нет, это будут американцы, эти белозубые ковбои, вот кто это будет, и среди них какой-нибудь Роналд, рыцарски настроенный калифорниец; мягкие звуки блюза; воспоминание на всю жизнь... Ах, вздор!

Времени на чтение было немного, но она все-таки читала, в основном «Интернационалку», современная советская литература становилась невыносимой, сплошной социальный заказ. В Москве за эти годы были три раза, и каждый приезд превращался в сущий круговорот. Какая-нибудь великолепная машина наркомата, вылеты из этой машины, влеты в нее с покупками, все вокруг поражены полыхающим синеглазием, как сказал бы поэт. Иногда думаешь, что в Москву лучше наезжать, чем жить в ее рутине. Ну вот, собственно говоря, и все. Ах да, за это время еще родилась и дочка. Стало быть, имеется девятилетний сын и трехлетняя дочка, и на этом мы остановимся, хватит, задача продолжения рода вполне выполнена.

В один из вечеров вдруг произошло невероятное. Явился с визитом старый друг комполка Вадим Вуйнович, и это после двенадцати лет отсутствия, если не считать «случайных» встреч на вокзале и теннисном

корте. Просто как с неба свалился! Из своего почти киплингковского Туркестана приехал на Дальний Восток! Неужели специально, чтобы?..

Она подала чай в гостиную – чайный сервиз был приобретен в московской комиссионке, знаток сразу бы узнал изделие кузнецовского дома, но Вадим явно не был знатоком чайных сервизов, не обратил внимания, кажется, и не видел проглатываемого напитка, – и теперь она сидела напротив командира, сдержанно полыхая глазами и улыбаясь с милой насмешкой.

– Не верю своим глазам! Вадим, это действительно вы? Посмотрите на него – эти седеющие виски, эти английские усики... знаете что? Вы стали даже более привлекательным, во всяком случае, более стильным с годами. Ну, расскажите мне о своей жизни, милый Евгений Онегин. Женаты?

Всегда при встречах с ним ей казалось, что вот еще миг – и закружится эротическая буря, но миг этот тянулся уже двенадцать лет.

Он говорил со спокойной грустью, хотя совершенно ясно было, что и он... да что там, конечно же, прежде всего он, это от него идет, он, очевидно, о ней не забывает ни на секунду...

– Да, женат. Мне тридцать семь, и я все еще комполка. Мы живем в Богом забытой дыре возле афганской границы. Моя жена – дикое животное. У нас трое детей. Я их люблю. Вот, собственно, и все...

Снова улыбнулся. Счастье смотреть на нее, очевидно, овладевало им. Она и это понимала. Какое-то странное чувство посетило ее, показалось вдруг, что она потеряла бы свою красоту без этого, за тысячи верст, обожателя.

– Я вижу, вы все еще романтик! Признайтесь, Вадим!

Электрическое поле между ними раскалилось слишком сильно, и надо было выждать хоть минуту, дать разлететься хоть части пухлых электрончиков с их стрелами. После неловкой паузы он сказал:

– Разве я когда-нибудь был романтиком? Впрочем... Знаете, Вероника, вы, конечно, не помните, но я не забываю один мимолетный миг двенадцать лет назад... Именно не более секунды... Конечно, вам никак не вспомнить, но... это был свет и жар, звук и дыхание... вся суть нашей молодости... и это вы дали мне, и это все еще живо...

Ошеломленная таким признанием, потоком смутных эмоций, она смотрела на него. Ей вдруг показалось, что и она сможет вспомнить то, о чем он сейчас говорил, еще одна секунда, еще одна, но все пролетало, а в следующий момент послышался стук в дверях, явился благоверный, комкор Градов. Вадя! Ника! Ну, вот и встретились! Какими судьбами? Мощнейшие удары по спине, по плечам, шутиливый бокс, как будто и не было несколько

затянувшейся размолвки. Пойдем, пойдем, за столом все расскажешь! Как хорошо, что завтра выходной!

* * *

Засиделись сильно за полночь и, конечно, на кухне, как и водится при встречах друзей. Вероникина сервировка давно уже вся смешалась. Глава дома даже порывался ковырять шпроты прямо в баночке. Три бутылки «Московской» уже были деятельно опустошены, а четвертая только что открыта «на посошок». Разговоры с милого прошлого все время поворачивали на современную военно-политическую ситуацию. Веронике в конце концов стало невмоготу.

– Ну вас к чертям, мальчики! Ваши «серьезные вопросы» пережевывайте без меня! Спать! Спать!

Она встала и, очаровательно качнувшись, покинула кухню. Вадим проводил ее глазами, выхватил очередную папиросу, смял ее, отбросил, встряхнулся, как бы приказывая себе отрезветь, положил руку на плечо друга, рядом с расстегнутым воротником, с его генеральскими ромбами. Странная субординация существовала между этими людьми. Никита всегда видел в ровеснике Вадиме старшего, сейчас, несмотря на то что они были в столь разных чинах, это чувство еще усилилось.

– Никита, давай откровенно, – предложил Вадим. – Ты, конечно, знаешь причины, из-за которых я бросил у вас бывать двенадцать лет назад?..

– Я знаю одну причину, – сказал Никита.

– Ты знаешь и вторую! – нажал на его плечо Вадим.

Никита усмехнулся:

– Я только не знаю, какая из них первая, какая вторая.

Вадим откинулся. Стул заскрипел под сильным телом.

– Ну, хорошо, это не важно. Важно то, что у меня теперь есть две причины для возврата.

Никита пересел от стола на подоконник. За окном во мраке горела только электрическая звезда на крыше Дома Красной Армии.

– Назови мне одну из твоих двух причин, – сказал он, поколебался, собрался с духом и добавил: – Вторую я знаю.

Последовала напряженная пауза. Неужели он все-таки сейчас начнет выкладываться, с досадой подумал Никита, изливать свою лирику, откровенничать перед мужем своего идеала? По пьянке чего только не

наговорит офицер провинциального гарнизона! Он глянул на Вадима и сразу увидел, что ошибается, что любого рода снисходительность неуместна по отношению к Вуйновичу. По выражению лица он понял, что тот опять выходит на передовую позицию.

– Я приехал к тебе, Никита, чтобы узнать, что ты думаешь по поводу нынешних событий в стране, в Вооруженных Силах.

– Ты имеешь в виду?.. – начал было Никита, хотя переспрашивать не было никакой нужды. О чем еще могли в то время говорить два друга при том условии, что все барьеры будут отброшены и все недомолвки промолвлены? Именно о том, о чем в то время никто не говорил, ни друзья, ни супруги: о чуме.

– Ты знаешь масштабы арестов?

– Догадываюсь. Сатанинские.

– А как ты понимаешь эти потрясающие признания командиров, признания в фашистском заговоре?

– Ответ может быть только один.

– пытки? Однако ведь не с мальчиками они имеют дело, с героями. Вообрази себе их, себя самого во врангелевской контрразведке...

– Там было бы легче.

– Может быть, ты прав. От своих больнее, от своих просто, очевидно, совсем невыносимо...

– Может быть, и так, а может быть, просто больнее, очень просто, жесточее, кошмарнее...

– Но зачем, зачем? Что ему надо еще? Он уже и так бог, непогрешимый идол. Может быть, все-таки боится армии? Фашистский заговор? Вздор! Все это на пользу Гитлеру. Армия обезглавливается перед неминуемой войной! Тухачевский...

– Тише, ты!

– В чем дело? У тебя достаточно толстые стены, комкор. Тухачевский еще два года назад предсказывал неминуемое столкновение с Германией, а в Генштабе сейчас остороженько поговаривают о возможном союзе с державами Оси против Антанты. Безумцы!

Рассвет застал их на балконе. Раскуривалась шестая коробка «Казбека». Никита с тупой досадой думал, что срываются его утреннее милование с Вероникой, получасовая гантельная гимнастика, холодный душ, растирание махровым полотенцем, здоровый «мечниковский» завтрак. У Вадима подрагивали губы, временами от плеча к пятке проходило подобие легкой судороги, разговор взвинтил его до последней пружины.

– Послушай, Никита, говорят, что Блюхер был не только формальным

членом суда, но и давал на Тухачевского самые злостные показания. Верно это?

– Другие маршалы убедили его помочь следствию, – промямлил Никита.

Вадим зло усмехнулся:

– Ну что ж, теперь его очередь переезжать на Лубянку! Наверное, уже и камеру присмотрели для героя.

Никита ничего не сказал в ответ. Весь разговор уже казался ему затянувшимся кошмаром. Вот она, расплата за юношеские восторги. «Нас водила молодость в сабельный поход...»

– А между прочим, он может это предотвратить, – тихо сказал Вадим, глядя на проступающие сквозь туман очертания деревьев. За парком еще не виден был, но уже угадывался Амур.

– Каким образом? – инстинктивно снижая голос, спросил Никита. Вдруг мелькнула мысль, что Вадим опять дирижирует их разговором.

– Ты должен знать, каким образом, – сквозь зубы процедил комполка. – Военному человеку полагается знать, как предотвращать вражеские действия.

Тут уже по-настоящему крутануло. Никита схватился за перила балкона. Внизу выкарабкался из подвала дворник Харитон. Протащил метлу.

– Ну, знаешь, Вадим... – пробормотал Никита. – Как ты можешь даже думать об этом? Поставить под угрозу революцию?..

– Какую там еще революцию! – широко раскрывая рот и почти беззвучно завопил Вадим. – Давно уже нет никакой революции! Ты что, не понимаешь?!

Он замолчал и теперь смотрел на Никиту в ожидании. Комкор же, будто мальчик, поглядывал исподлобья на полковника. Он не мог ничего сказать. Конечно, он понимал, что давно уж нет никакой революции, но он лишь только понимал это, но никогда не произносил, ни мысленно, ни вслух, и никто вокруг не произносил это, и вот впервые это было наконец произнесено его боевым товарищем. Ошеломленный этим произнесенным откровением и следующим за ним призывом к действию, он молчал. Поняв, что не дождется ответа, Вадим с силой ударил кулаком по перилам:

– Все разваливается и идет к черту, в жопу, на хуй! Мы все обречены! Ну что ж, пусть так и будет! Хочешь, я скажу тебе теперь вторую причину, по которой я здесь появился, старина?

Никита пожал плечами:

– Вадя, не злись, я ведь тебе уже сказал, что я знаю твою вторую

причину.

– И все-таки мне хочется сказать тебе об этом, – настаивал Вадим. – То, что ты так великолепно знаешь. Ну что ж, будешь знать еще лучше. Я люблю твою жену и постоянно, ежедневно и еженощно мечтаю о ней. Четыре тысячи триста восемьдесят дней мечтаю о ней...

Никита обнял его за плечи и слегка потряхнул. Ладно, ладно, легче. Мы мужчины и солдаты, мы видели всякое. Давай-давай, высказался – и достаточно. Ты сказал об этом, друг, а я это слышал. Остальное пролетает вместе с жизнью. Вдруг, вспомнив нечто важное, к счастью, не относящееся ни к первой, ни ко второй причинам, вынул из кармана треугольное письмо, которое как раз сегодня собирался бросить в почтовый ящик и вот опять забыл.

– Послушай, Вадя, ты ведь отсюда в Москву? А здесь как раз московский адрес...

– Доставим, – буркнул Вадим. – Я знаю, что это за письмо, так зека сворачивают. Сразу, как приеду, так и доставлю... – Он усмехнулся. – Хотя бы это сделаю... – Еще раз усмехнулся. – Знаешь стихи: «Мы ржавые листья на ржавых дубах...»?

* * *

Ежедневное функционирование штаба ОКДВА обычно развеивало Никитины мрачные предчувствия и «упадочное» настроение. Все шло так четко и даже бойко: вбегали и выбегали молодые адъютанты, охрана вытягивалась, стучая каблуками, секретарши трещали на пишмашинках, приезжали командиры крупных соединений и лихие ребята из групп пограничной разведки, звонили телефоны, поддерживалась радиосвязь со всеми частями, раскиданными по гигантскому пространству края, от Аляски до Кореи.

Обстановка в южной части региона с каждым месяцем накалялась. Японцы явно прощупывали Красную Армию, пытались определить ее боевую силу. Нетрудно было представить их дальний прицел: в случае войны на западе атаковать и занять Приморье с Владивостоком и Хабаровском, может быть, пройти еще дальше, до Байкала.

Начальник оперативного отдела комкор Градов проводил частые совещания с командирами соединений. На них почти постоянно присутствовал главком, маршал Блюхер.

– Стратегия их нам в общих чертах ясна, товарищи, – говорил

Никита, – но вот в ежедневной тактике порой бывает трудно разобраться, несмотря на нашу, скажу без ложной скромности, неплохую разведывательную деятельность.

Склонившись к юго-восточному углу огромной карты, он стал показывать перемещения частей армии генерала Тогучи, непонятную концентрацию сил в районе озера Хасан. Работа указкой напоминала резьбу по дереву. Вместе с другими командирами Блюхер смотрел на ладную фигуру своего лучшего соратника по дальневосточной красной рати, фигуру, всегда столь уместную и вселяющую уверенность в некоей целесообразности того, что порой уже казалось маршалу бессмысленной игрой каких-то коварных идиотов. Надеюсь, что хотя бы его не... думал он и на частичке «не» обрывал свою мысль. После ареста Лапина, а особенно после расправы над Тухачевским, эта мысль, применительно к каждому соратнику, посещала его постоянно, едва ли не преследовала, вот именно преследовала, мучила, иссушала, может быть, прежде всего своей незавершенностью, этим трусливым обрывом. А завершалась эта мысль только по ночам, во сне, и выглядела, мерзавка, некоей лентой устаревшего телеграфа со знаками Морзе: «надеюсь – что – хотя – бы – меня – труса – предавшего – боевого – друга – Мишу – не – арестуют», – после чего могучий маршал в ужасе вскакивал с постели словно десятилетний мальчик.

Совещание было прервано появлением начальника радиоузла. Он принес шифровку от Ворошилова. Командующий Особой Краснознаменной Дальневосточной армией срочно вызывался в Москву. С шифровкой в руках Блюхер на мгновение отключился от проблем Дальнего Востока: быть может, это вот и есть завершение моей незавершаемой мысли и?... Мгновение спустя он встал, резко, как обычно, opravил гимнастерку, «продолжайте, товарищи», и вышел из оперативного отдела. Сразу же поняв, что в шифровке было что-то серьезное, командиры уткнулись в свои записи. Раньше они обменялись бы молчаливыми взглядами, теперь каждый взгляд может быть прочитан как вражеская вылазка.

* * *

После совещания Никита, как обычно, отправился в кабинет Блюхера. Командующий сообщил ему о содержании шифровки. Что-то необычное присутствовало в воздухе кабинета. Запах табака, догадался Никита, после

чего и увидел пепельницу с тремя начатыми и почти немедленно сломанными папиросами. А ведь Блюхер недавно бросил курить. Они стали обсуждать секретные перемещения двух механизированных бригад.

– Это движение должно быть начато еще до моего возвращения из Москвы, – сказал Блюхер.

Возникла пауза, после чего Никита поднял голову от блокнота и посмотрел маршалу прямо в глаза.

– Василий Константинович, вы действительно собираетесь сейчас ехать в Москву?

Глаза маршала были полны застойного мрака: то ли страх, то ли угроза, не разберешь.

– Что за странный вопрос, Никита Борисович, – медленно проговорил он. – Как я могу не ехать, если вызывает нарком? Немедленно и отправлюсь, как только будет готов самолет.

Никита не отрывал взгляда от этих глаз.

– Да-да, я понимаю, но... Василий Константинович, неужели вы отправитесь сейчас в Москву один, без группы охраны?

В глазах маршала сквозь застойную муть стал просвечивать свинец.

– Еще один вопрос такого рода, Никита Борисович, и я прикажу вас арестовать.

Еще секунду их глаза не могли разойтись в пространстве. Вот это как раз то, что нас всех сейчас пожирает, подумал Никита. Страх и беспощадность. После этого они попрощались.

* * *

Ничего особенного не происходит. Происходит только многомиллионный заговор людей, молчаливо договорившихся, что с ними ничего особенного не происходит. Особенное происходит только с теми, кто виноват, с нами же все в порядке, все как обычно. «Мы будем петь и смеяться, как дети, среди упорной борьбы и труда...» А между тем пытаются не только арестованных, мы все – под пыткой.

Таким страшеньким мыслям предавался комкор Никита Градов, перелистывая иностранные военные журналы в тишине и уюте своей, как они всегда шутили, «вероникизированной» квартиры. Звонок в дверь и громкий страшный стук. Ну, вот и все! Немедленное рыдание жены. Немедленно зарыдала, тут же, без промедления. Не удивленный возглас, а немедленное рыдание. Значит – ждала.

Комната немедленно заполнилась чекистами, вошло не менее семи человек, трое из них с пистолетами: все-таки военного человека брали, а вдруг дуристь начнет. Никита не дурил. Старшой подошел к нему с нехорошей улыбкой на устах.

– Пойдете с нами, Градов. Вот ордер на арест.

Никита узнал молодого майора. На одном из концертов в ДКА он несколько раз на них оглядывался. Кажется, на концерте джаза Леонида Утесова. Можно было бы и не заметить, на Веронику всегда оглядывались мужчины, но эта светлоглазая, блондинистая физиономия – тип киноартиста Столярова – запомнилась. Никита держал в руках гнусную бумажонку ордера. Глупый детский розыгрыш вдруг выпрыгнул из памяти. Протягивается бумажка. Хочешь фокус покажу? Хочу-хочу! Помни эту бумажку! Ну, вот помял! Ну, вот и спасибо, давай сюда! С помятой бумажкой коварный шутник убегает в уборную.

– Какова причина ареста, майор? – спросил Никита.

Старшой удивленно поднял бровь: петлицы его были не видны под штатским пальто. Потом ухмыльнулся:

– Не можете догадаться, Градов? Мы вам скоро поможем.

Откуда они набрались этой блатной мимики и ухмылок? Ощущение такое, будто банда шурует в квартире. Чекисты открывали шкафы, снимали с полок книги. Только не смотреть на ревущую Веронику. Только бы самому не разрыдаться. Подчеркнутое употребление моего имени без «товарища» и без звания; можно было бы и безлично; хотят, чтобы дошел смысл происходящего; все кончено – ты теперь уже не комкор и не товарищ...

– Я требую...

– Забудь это слово, Градов!

Вот уже и на «ты». Очевидно, это запрещается инструкцией, снова переходит на «вы»:

– Вы лучше подумайте, Градов, о своем сотрудничестве с врагом партии и народа, бывшим маршалом Блюхером.

* * *

Его начали избивать уже в фургоне. Один ударил в челюсть, другой в глаз, третий в ухо. Майор рванул и располосовал в один прием добротную суконную гимнастерку. Ошеломленный Никита через минуту уже не пытался уклониться от ударов. Впрочем, они уже ему и ударами не

казались. Казалось, на раскаленной какой-то поверхности разворачивается блистательная баталия. Вспышки взрывов по всему небосводу. Мы сопротивляемся. Превосходящие силы нас подавляют. Конец.

Глава шестнадцатая

А ну-ка, девушки, а ну, красавицы!

Через две недели после ареста мужа Вероника с детьми добралась до Москвы. Ничего более унижительного, чем последние дни в Хабаровске, не случилось в ее жизни. Буквально на следующий день после катастрофы явились из хозуправления и приказали в кратчайший срок очистить квартиру. Соседи от нее шарахались, как от прокаженной. Детям во дворе вчерашние наперсники игр кричали: «Троцкисты-фашисты!» Борис IV подрался с другом, сыном окружного прокурора. Пришел с расквашенным носом. Прокурора, впрочем, тоже вскоре забрали, и мальчики перед отъездом успели помириться. В НКВД, куда она пошла за справками о муже, с ней были грубы или, что еще более оскорбительно, безучастны. В приемной сидели какие-то жуткие жирные сержанты с мыльными мордами скопцов. Мимо проходили, стуча сапожищами, жопастые бесполое бабы в гимнастерках с ремнями. Никакими сведениями о гражданине Градове Никите Борисовиче не располагаем. Как это не располагаете, да ведь вчера же только, да ведь третьего дня же только забрали! Потом стали говорить: пока не располагаем, зайдите через несколько дней, через два дня, через день, завтра. Она сидела в приемной злодеев, под портретом премудрого Ленина, напротив портрета Дзержинского с его светлой улыбкой садиста, рыдала в полной беспомощности. Наконец спустился по злодейской лестнице со злодейских вершин голубоглазый злодей с майорскими петлицами и сказал, что Градов отправлен на следствие в Москву. После этого, внимательно оглядывая ее какими-то тоже не вполне мужскими глазами, он добавил, что порекомендовал бы ей поменьше думать о предателе родины, а побольше о своей собственной жизни.

Она бросилась на вокзал – очередиться за билетами, потом в школу за табелем Борьки, потом упаковываться, стаскивать вещи в комиссионку. В растасканную квартиру пришли оценщики мебели, дали жульнические цены, она согласилась. Вокруг была полная пустота, как будто она не жила в этом городе семь лет, как будто бы никогда не была здесь, в общем-то, царицей бала, черт бы его побрал. Ни военврач Берг, ни старший лейтенант Вересаев из штаба авиации на горизонте не появлялись, не говоря уже о других теннисистах меньшего калибра. Впрочем, кто знает, может быть, уж им и самим светят совсем другие, далеко не теннисные поля. В командном корпусе ОКДВА, похоже, шел полный погром. Только сержант Васьков,

шофер комкора, вдруг заявился помогать со сборами. Ходил по комнатам, остро вглядывался, то ли шпионил, то ли слямзить чего-нибудь хотел. Впрочем, может, и в самом деле деток жалел. Пусть ходит, все-таки хоть одна живая душа.

Телеграмму в Серебряный Бор Вероника дала уже перед самым отъездом с вокзала: «Возвращаюсь насовсем детьми. Никита кажется Москве. Целую плачу. Вероника». Должны понять, что произошло, если еще не знают. Впрочем, как они могут не знать? Об аресте Блюхера, кажется, было в газетах, скорее всего, и Никита в этой связи упоминается: «Разоблачена и обезврежена еще одна группа фашистских заговорщиков...» Потянулись бесконечные дни пересечения Сибири в западном направлении. В вагоне стояла духота, окна не открывались, разило потом и протухшей пищей, все чесались, дети зверели от безделья, отовсюду слышались то храп, то попердывание, но больше всего жвачка: после Байкала жевали омуля, перед Омском какое-то, оказывается, знаменитое копченое сало, повсюду похрустывала единственная санитарная упаковка – скорлупа яиц. Проводники временами разбрасывали хлорку, чтоб народ тут не перезаражал друг друга всякой гнусностью. Подвыпив, то тут, то там прокисшие башки вели какие-то бесконечные прокисшие толковища. Вероника, по сути дела, впервые путешествовала в общем плацкартном. Единственным утешением был маленький томик Пушкина. Забившись в угол, она бесконечно, то молча, то шепотом, повторяла: «Прощай, письмо любви, прощай! она велела... Но полно, час настал, гори, письмо любви... Свершилось! Темные свернулись листы; На легком пепле их заветные черты Белеют... Грудь моя стеснилась. Пепел милый, Отрада бедная в судьбе моей унылой, Останься век со мной на горестной груди...» Горькие строки ее утешали. Не только у нас все было разбито, разрушено, у него тоже вдруг все начинало скользить под откос; в горечи человеческих судеб есть тоже свой убаюкивающий ритм... может быть, это единственное, что остается, но это немало.

Вконец измученные, исчезавшиеся и одуревшие «никитяне», как называли эту часть семейства в Серебряном Бору, вывалились из вагона на Ярославском вокзале прямо в объятия Бориса Никитича и Мэри Вахтанговны. Женщины, включая пятилетнюю Верочку, слились в рыданиях. Два Бориса молча стояли. Профессор заметил, что у любимого отпрыска появился взгляд исподлобья сродни тому, с которым привезли из Горелова Митю.

Весь день до вечера «никитяне» обмывались, обстирывались, сушились. Залезли потом на чистейшие простыни, под старые, будто вечные, пуховые градовские одеяла. Дети немедленно заснули. Вероника, свернувшись клубочком, лежала на столь знакомой кровати, в которой, по всей вероятности, и зачат был Борис IV, прислушивалась к звукам большого старого дома: к поскрипыванию паркета внизу, к уютному подвыванию ветра на чердаке, к голоску хлопотливой Агаши, к шагам, возгласам, отрывистому вопросительному рывканью Пифагора. О Никите почему-то в этот момент не думалось. Вообще ни о чем не думалось, а только лишь ощущалась тихая радость пристанища. В один из блаженных этих моментов снизу долетело, что пришла телеграмма от ее родителей, которые отдыхали в Крыму в писательской колонии, и оттуда, из писательской колонии, горячо обнимали любимую дочку и очаровательных внуков. Она не стала вылезать из-под одеяла, чтобы не прерывать радости пристанища.

Вечером, к ужину, был полный градовский сбор, вокруг стола расположились и Борис Никитич, и Мэри, и Кирилл с женой Цецилией, и пятнадцатилетний Митя, который, хоть и считался их приемным сыном, домом своим полагал Серебряный Бор, и Нина с Саввой, и их двухсполовинойлетняя Еленка, и друг дома вечный холостяк Пулково, и Пифагор, который, несмотря на свой весьма и весьма солидный собачий возраст, был в отличной форме и все еще считал себя щенком, и Агаша, если можно о ней сказать «расположилась», ибо курсировала непрерывно между столовой и кухней, и ее, почти законный, «друг жизни», популярнейший в этой части Подмосковья, бывший участковый, ныне инспектор райфо и по совместительству замзав близлежащего лесничества товарищ Слабопетуховский, который в общем-то проводил больше времени на кухне возле буфета с гранеными стеклами и только изредка присаживался к общему столу, чтобы осчастливить присутствующих каким-нибудь свежим высказыванием о происках Муссолини в Абиссинии; и, разумеется, главные виновники этого сбора – «никитяне»: Вероника, Верочка и Борис IV; не было только общего любимца Никиты, их «красного генерала», который всегда за этим столом вел себя слегка как мальчик, наперсник скорее Нины или даже Пифагора, чем сурового младшего брата, и потому не было и торжества прежних лет, преобладало молчание, потупленные взоры, вздохи; едва ли не поминки, так это

выглядело теперь.

Мэри сидела рядом с Вероникой, гладила ее по голове, целовала то в щеку, то в плечо. Впервые между невесткой и свекровью возникла настоящая близость. Борис Никитич одной рукой ворошил вихры своего внука, другой поднял рюмочку настойки и обратился ко всем:

– Давайте выпьем за нашего Никиту! Я уверен, что он с честью выйдет из этого страшного испытания! Я надеюсь, Мэричка, Вероникочка, я серьезно надеюсь, что скоро все будет позади. Весьма важная персона вчера шепнула мне: «Держитесь, профессор, ошибки случаются»... Он так и сказал – ошибки...

Все, разумеется, помнили, как Борис Никитич семь лет назад столь убедительно продемонстрировал свои кремлевские связи, поэтому и нынешний шепоток в сферах был принят серьезно, все с надеждой приободрились, Мэри демонстративно перекрестилась, глава семьи успокоительно кивал. Кирилл с уверенностью высказался:

– Я уверен, что Никита будет оправдан. Это, может быть, займет месяц или два – по некоторым причинам дело Блюхера очень запутанно, противоречиво, оно, очевидно, вкрутило в свою воронку многих невинных людей, – но я уверен, что, как только все распутается, Никиту освободят.

– Если он, конечно, невиновен, – вдруг произнесла Цецилия.

Все, изумленные, повернулись к ней и вдруг заметили, что она тут как бы несколько ни при чем, как бы несколько отчужденный элемент, что в ее строгой позе как бы читается некое заявление о принадлежности к более серьезному содружеству, чем градовская семья.

Нина вспыхнула, уставилась горящим взглядом на Цецилию.

– Ты говоришь «если», Ция? Что это значит? Что значит в твоих устах слово «невиновен»? Ты не очумела, дорогая подруга?

Цецилия только чуть повернула голову в сторону бывшей товарки-«синеглузницы», ныне родственницы-золовки. С определенным, впрочем, не чрезмерным высокомерием и чувством идеологического превосходства пояснила для всех свою позицию:

– В принципе органы пролетарской диктатуры не могут действовать неправильно или несправедливо. Конечно, в условиях нарастания классовой борьбы могут быть ошибки, но они чрезвычайно редки. Видите ли, товарищи... – Она явно почувствовала себя на лекционной трибуне; забыв про Нинину атаку, подтянулась большущей грудью, залучилась веснушками по адресу просвещаемых масс. – Понимаете ли, товарищи, уже сам факт ареста доказывает: что-то было неверным в политическом или идеологическом поведении арестованного. В эти сложные времена, когда

явно сформировался новый огромный геополитический заговор против Советского Союза с неперемненными, широко внедренными филиалами внутри страны, в эти сложные времена, товарищи, и за себя-то нельзя поручиться, не говоря уже о друзьях или родственниках. Органы знают ситуацию лучше нас всех, они все поставят на свое место, они разберутся во всем. Неограниченное доверие к органам – это неотторжимый элемент истинной партийности!

Кирилл сидел, опустив глаза. Под лучиком заходящего солнца, проникшим в щель между синим и красным ромбами окна, на лице его пылало какое-то кубистическое пятно. Если оторваться от классовых позиций, то, что сейчас говорит его жена, звучит просто чудовищно, но с классовых позиций, с партийной точки зрения она совершенно права, и не он ли сам всегда замечал за братом явный, скажем так, недостаток идейности.

– Что она говорит! – воскликнула Нина. – Братцы, послушайте, что она несет!

Тут только Цецилия заязвилась уже непосредственно в Нинин адрес:

– Что же странного находит в моих словах член Союза советских писателей?

– По твоей логике, Циля, ты одобрила бы и арест своего собственного отца, да? Органы выше отца, верно? – Нина даже как бы зашипела от своего горячего сарказма.

– Да! – воинственно выкрикнула ей в лицо Цецилия.

Кирилла этот возглас будто палкой в ухо ударил.

– Розенблум! – вскричал он.

– Градов! – Цецилия ударила кулаком по столу. – Я люблю своего отца, но как коммунист я больше люблю свою партию и ее органы!

– Нина, – Мэри Вахтанговна положила ладонь на дрожащую руку дочери.

Возникла неловкая пауза. Вдруг выяснилось, что даже и здесь, за отчим столом, не все уже скажешь впрямую.

Вероника тихо плакала в платок.

– Мэричка, – шептала она, – если бы ты видела эти лица, эти чудовищные хари...

Мэри встала, потянула Веронику.

– Пойдем в кабинет, голубка моя, я поиграю тебе Шопена.

Тут же поднялся и Пулково.

– Можно и мне с вами?

– И я с вами, – присоединился Борис Никитич.

В кабинете меломаны расположились как бы по законам мизансцены: Мэри за инструментом, Лё – облокотившись на инструмент, Градов в своем любимом кресле, в том самом, в котором он когда-то «лечился музыкой»; Вероника на ковре у его ног, руку положив на его колено; к ней пристроилась, прижавшись щечкой, нежная Верочка, притопала и крошка Леночка Китайгородская, тоже уселась на ковер, глядя на «бабу». Мэри пустилась в мощный бравурный полонез, первыми же тактами заглушивший спор в столовой и вообще опровергнувший НКВД. Вдруг пианистка бросила клавиши, в панике вскочила с табуретки, кинулась к дверям, крича:

– Где мальчики?! Кто-нибудь видел Митю и Борю?

Весь дом переполошился: о мальчиках и в самом деле забыли. Нашлись они в саду. В сгустившихся сумерках подвижный, быстрый Борис IV с подростком-увальнем Сапуновым почти невидимым мячом играли в футбол. Верхушки сосен были освещены розовым, над ними в быстро густеющем зеленом уже видна была звезда градовского дома. Она немного плакала над ним.

* * *

В те времена жизнь не мешкала со свойственными ей ироническими поворотами. Несколько дней спустя после описанной выше «свистать всех наверх» встречи в Серебряном Бору Цецилия Розенблум работала, по обыкновению, в библиотеке Института мировой политики. В этом месте было так приятно обогащать теоретический багаж, да и актуальной информации было немало, институт выписывал добрую дюжину газет из-за рубежа, боевые органы Коминтерна.

Можно себе представить, с какой тоской и надеждой пролетарии Англии, и Франции, и Соединенных Штатов Америки смотрят на Восток, на Москву, когда стоят в стачечных пикетах, когда блокируют ворота своих фабрик, не пропускают штрейкбрехеров. Поражает цинизм гитлеровцев, они тоже называют себя социалистической рабочей партией. А ведь сами шлют ультрасовременные аэропланы бомбить республиканцев в Испании! Стол Цили был заставлен стопками томов классиков эм-эл, могучее ограждение от дикостей ежедневности. Внутри этой ограды она шелестела комгазетами. Гармония, вот она – только здесь, несмотря на противоречия международного рабочего движения, она – только здесь; мы сами творцы своей гармонии.

Шедший по проходу коллега позвал ее к телефону. Кажется, Градов тебе звонит, Розенблюм, по какому-то делу, сказал он с улыбкой. Любовные отношения «строного юноши» (каким Кирилл и по сей день остался, несмотря на свои 35 лет) и неряшливой, рассеянной, довольно нелепой «Розенблюмихи» были постоянной темой веселых разговоров в «теоретических кругах Москвы».

Телефон висел на стене неподалеку от стойки выдачи книг. Под ним стоял круглый столик и венский стул. Трубка висела башкой вниз. Цию этот вид трубки почему-то кольнул под печенку. Что-то подспудное шевельнулось, отголосок древних атавизмов. Любимый голос товарища Градова быстро заштопал маленькую прореху в материализме:

– Привет, Розенблюм! Это Градов! Ция радостно вздохнула:
– Привет, Градов! Ты чего звонишь? Поздно придешь сегодня?
– Нет, – сказал Кирилл. Голос его, вернее, его присутствие на проводе вдруг куда-то отплыло, потом выплыло вновь. – Я не об этом. Просто... просто не жди меня.

– Что ты имеешь в виду: «Не жди меня»? Едешь на периферию? Куда? На сколько? – От постоянных семинарских занятий у нее в последнее время выработалась привычка в простейших фразах подчеркивать каждое слово.

– Послушай, Ция, – сказал Кирилл, впервые за все годы назвав ее по имени. – Я звоню из кабинета следователя НКВД.

Меня вызвали к ним. Сначала я думал, что это в связи с Никитой, но я ошибался. Это в связи со мной. У них есть ордер на мой арест.

– Кирилл!!! – закричала на весь зал Цецилия. В трубке уже был отбой. Она испустила низкий, животный, начавшийся будто бы в самых низах тела вопль и сползла со стула на пол. Брошенная вниз башкой трубка несколько секунд поплясывала в воздухе, потом затихла. Коллеги за столиками по всему залу прилежно, не поднимая голов, штудировали литературу. Никто не осмелился прийти на помощь рухнувшей «Розенблюмихе», все прекрасно понимали, что произошло. Тема комической влюбленности завершилась и испарилась.

Опомнившись, она вскочила и побежала прочь из института. В дикой последовательности, в наскоке друг на друга, в сдвиге перед бегущей, уже несколько отяжелевшей за последние годы женщиной, будто в футуристическом кино, мелькали планы деревьев с грачами, ворота института, крупешник ноздреватой хари вахтера, поднятый капот автобуса, пар от перегревшегося мотора, внедрение теории в практику и наоборот, наоборот, практика, как асфальтоукладчик, утюжила нежную поверхность теории... Вот так в один из дней третьей пятилетки два

стойких большевика перешли на более интимный способ обращения друг к другу.

* * *

Через несколько дней состоялось общее партийное собрание института. Циле предложили место в первом ряду: все знали, что предстоит ее выступление по отмежевыванию от врага народа К.Б.Градова. Большинство сотрудников хоть и занимались свинским делом, были не свиньи и потому жалели бедную Цильку: нелегко все-таки отказываться от мужа даже ради великого общего дела. Каждый к тому же подсознательно, а может быть, и почти сознательно подставлял себя на ее место: может, завтра и моя очередь придет отмежевываться, маховик чистки работает все с большим ускорением. К числу гуманистических чувств можно отнести и неизбежно охватывающее зал возбуждение, ожидание спектакля.

Четыре наложенных друг на друга профиля со стены над президиумом с возвышенной безучастностью смотрели в окно на птичий разнобой, моргал только зажатый между Марксом и Лениным Энгельс; ближайший, однако, к аудитории Иосиф Виссарионович Сталин являл полноразмерную щеку стопроцентной непреложности. Председательствующий секретарь парткома Репа (из красных латышских стрелков) начал собрание:

— Мы собрались сегодня, товарищи, чтобы одобрить арест органами НКВД нашего бывшего члена ученого совета Градова и осудить вражескую деятельность этого человека, прокравшегося по заданию антисоветских подрывных центров в наш...

Тут вдруг произошла заминка. Репа хотел сказать «в наш здоровый коллектив», но вовремя схватил себя за язык: какой же он «здоровый», этот коллектив, если седьмого уже за два месяца провожаем? Скажешь «здоровый коллектив», а потом тебе это припомнят как попытку выгородить других заговорщиков. Он строго кашлянул и закончил фразу:

— ...В наш коллектив.

Заминка для некоторых не прошла незамеченной, однако никто не переглянулся. При таких догадках сейчас не переглядывались, но потупляли глаза.

Подобные собрания в учреждениях стали в последние годы чем-то вроде ритуала, сродни проводам на пенсию, устроенным, впрочем, заочно. Ораторы говорили о провожаемом с теплотой, накаленной до ненависти. Публика едва ли не привыкла ко всей процедуре. Ходит себе какой-нибудь

человече, старший или младший научный сотрудник, собирает профсоюзные взносы или вывешивает стенгазету, хлопочет о путевке в пионерлагерь для детишек, потом перестает появляться на работе; значит, либо бюллетень выписал, либо – взяли; второе вернее. Значит, обязательно устраивается собрание по осуждению и отмежеванию. Отмежевываются сослуживцы, любовницы, родственники. Дело в общем-то хоть и бытовое, но довольно интересное. Если же придет в голову шальная мыслишка: «А вдруг и меня вот так же», немедленно она будет вытеснена резонным: «Ну, меня-то и в самом деле не за что». Ну, а если Провидение вдруг все-таки задает ужасающий, леденящий вопрос: «А Градова-то за что, гаденыш?» – быстрым движением головы уворачиваешься от вопросов Провидения.

В тот день тоже все шло как обычно. Выступило несколько сослуживцев Кирилла. Говорили о том, что еще в старых трудах Градова можно обнаружить тщательно замаскированные послылы правотроцкистского блока. Говорили о его возможных связях с оппозицией в двадцатые годы, о сочувствии к кулакам. Говорили о том, что пора раз и навсегда покончить со всеми формами замаскированной контрреволюции. Ждали выступления кандидата исторических наук Цецилии Розенблюм, до сегодняшнего дня законной супруги выявленного врага. Некоторые женщины в зале, в частности, работницы библиотеки, тайные собирательницы стихов Ахматовой, в душе укоряли Цилю: могла бы не прийти в самом деле, могла бы заболеть, погрузиться как бы в прострацию... Товарищ Репа предоставил слово товарищу Розенблюм. Пока Циля шла к трибуне, перед ней все время стоял образ отца, того самого абстрактного отца, о котором недавно разгорелся столь яростный спор на градовской даче. Конкретный отец, тишайший скромнейший бухгалтер Наум, тоже ведь говорил: «Не ходи, Цилька, на это собрание, сохрани в себе человека». Ее била дрожь, и не было никаких сил взять себя в руки. От малейшего соприкосновения с ее телом нешаткая трибуна начинала трястись, дребезжали краями друг о друга графин и стакан.

– Товарищи, – начала она, – никогда не было более страшного момента в моей жизни. В тысячу раз легче бы мне было просто умереть за партию и социализм. Я всегда знала Градова как бескомпромиссного проводника генеральной линии партии, как верного ленинца, несокрушимого сталинца. Он всегда отвергал малейшее отклонение от курса, взятого сталинским Политбюро. Товарищи, при всем уважении к нашим славным органам пролетарской диктатуры, я должна сказать, что в этом случае они совершили ошибку. Я убедительно прошу руководство НКВД пересмотреть свое решение об аресте Кирилла Градова, ну, а уж если этот пересмотр не

принесет желаемых мной результатов... тогда... – Она вскинула голову, как при удушье, и в то же время схватила обеими руками свое горло, будто пытаясь сдержать вопль: – Тогда пусть берут и меня! Мы с ним – одно! Градов и Розенблум – это одно и то же! Я не могу жить без него, товарищи!

Потрясенная аудитория молчала: такого спектакля не ожидал никто. Циля оторвалась от трибуны, перебирая руками спинки пустых стульев, добралась до стены, сползла вниз, в зал, и грохнулась на свое место почти без сознания. Библиотекарша, тайная почитательница Ахматовой, побежала за водой. Товарищ Репа от страха распалялся гневом, стукнул кулаком по столу президиума, загремел:

– Что за безобразное выступление?! Розенблум не уважает своих товарищей, свою партийную организацию! Вместо того чтобы признать недостаток бдительности в отношении к тщательно замаскированному врагу, она расслабила все тормоза и отдалась голосу пола! Это недостойно члена партии! Это позор! Предлагаю объявить Цецилии Наумовне Розенблум строгий выговор и передать ее дело на рассмотрение в райком!

* * *

Между тем по всем площадям и во всех квартирах страны через репродукторы гремела маршевая песня:

*А ну-ка, девушки! А ну, красавицы!
Пуškai поет о нас страна!
И звонкой песнею пускай прославятся
Среди героев наши имена!*

И миллионы людей по всей стране, включая и чекистов, и завтрашних зеков, не без удовольствия вспоминали экранный марш чудеснейших грудастых дев; идем вперед, веселые подруги, да-да, вот в этом роде, страна дает приют для всех сердец, кажется, так, да, везде нужны заботливые руки, ха-ха-ха, и звонкий жизнерадостный бабец!

Возник культ советской блондинки. Построенный на бывших Воробьевых, ныне Ленинских горах советский Голливуд, огромный киноцентр «Мосфильм», создал миражную диву радостных пятилеток. Белозубые, златокудрые и даже достаточно длинноногие Любовь Орлова,

Марина Ладынина, Лидия Смирнова маршировали в рядах энтузиастов, нежно провожали в дальний путь героических парней: летчиков, танкистов, полярников, работников Наркомвнудела. В конце каждого фильма возникали роскошные, внешне голливудские, но исполненные глубокого социалистического содержания апофеозы, своеобразные фонтаны знамен, триумфальные ступени либо для подъема в сияющее будущее, либо для спуска к ликующим массам. Апофеоз шел рука об руку с легкой комедией, с лирикой, развевались крепдешиновые платья, мелькали белые туфли, рубашки-апаш; впрочем, и здесь, и в любовной теме, в противовес безнравственности и безыдейности буржуазии развивались принципиально новые, исполненные высокого гуманизма отношения между людьми-строителями. Впервые в истории на огромном пространстве Земли, а именно на одной шестой, обращенной к Полярной звезде части ее Суши, так мощно процветал оптимизм.

Дети в школах под присмотром учителей замазывали густыми чернилами имена и портреты вчерашних героев, а ныне врагов в учебниках советской истории. На следующий год учебники передавались младшим, и никто уже не вспоминал исчезнувших в чернильной ночи. Недостатка в героях, впрочем, не ощущалось. Жизнь рождала новых едва ли не еженедельно. Славные «сталинские соколы» спасли зимовку челюскинцев! Вот вам первые Герои Советского Союза, летчики Ляпидевский и Водопьянов, вот вам славный героический бородач Отто Юльевич Шмидт! Дрейфующая станция Папанина прошла над Северным полюсом! К ним на выручку идет ледокол «Красин»! Шахтер Алексей Стаханов установил рекорд по добыче угля! Чкалов, Байдуков и Беляков перелетели без посадки через Северный полюс в Америку! Народ тысячами высыпал на улицу встречать славных сынов Отчизны. Они ехали в открытых машинах по середине только что расширенной улицы Горького, сквозь бурю листовок сверкали их белозубые улыбки. Питомцы комсомола! Солдаты партии! Все больше и больше замечательных песен рождали советские композиторы. «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек!» – гремело из репродукторов. Дети бежали с охапками цветов к Мавзолею Ленина. Отцы нации, оставшиеся на данный момент в живых, бандиты Кобы Джугашвили, протягивали им навстречу благородные честные руки. Узбекская девочка Мамлакат, собравшая больше всех хлопка, прижималась персиковой ланитой к рябой щеке пахана. «И солнце сильнее заблестало, И кровь ускоряет свой бег, И смотрит с улыбкою Сталин, Советский простой человек».

Ах, как хорошеет Москва! Милиции выдали белые шлемы и нитяные

перчатки! Целиком приподнимаются и передвигаются дома, чтобы расширить улицы. Катят наши советские автомобили, «эмки» и ЗИСы! Республиканская Испания, отражая с нашей помощью нападение фашистов, посылает нам апельсины, каждый завернут в красивую тонкую бумажку. Спортивная жизнь бурлит! В футболе бьемся с лучшей европейской командой басков. Несравненная Нина Думбадзе, землячка нашего вождя, мощно поворачивает колонны ног, могучая дискоболша. Несравненный Николай Озолин поражает всех высокими прыжками с шестом. А сколько лирики вокруг! «Саша, ты помнишь наши встречи в приморском парке, на берегу? Саша, ты помнишь этот вечер, весенний вечер, каштан в цвету?» В волшебных сумерках воображения проплывают какие-то мраморные лестницы, вазы, скульптуры, и все принадлежит народу, в санаториях наркоматов плещет девичий смех, нежная чистая игривость, погоня с возвышенными намерениями, просто сказать: «Вера, завтра я улетаю, куда – сказать не могу, ты понимаешь?» – «Да, понимаю! Возвращайся скорей!» Значит – любит!

*Так прощай, дорогой, наш боец молодой!
Береги ты родные края!
А вернешься домой, и станцует с тобой
Го-о-ордая любовь твоя!*

Не мешая никому жить, любить, работать, прокатывали по ночным улицам «воронки». Влюбленные их не замечали. Каждый занят своим делом, в конце концов. По-прежнему вздрагивая от шума лифта в ночи, москвич несколько минут прислушивался, потом сладко потягивался: кажется, пронесло, да и вообще вроде пошло на убыль, глядишь, и минует чаша сия, а завтра выходной, и – на футбол, в кино, на «Цирк», на концерт юмориста Смирнова-Сокольского!

* * *

На Тушинском аэродроме гремел очередной праздник. Трибуны и часть поля были заполнены возбужденной толпой. Всеобщее внимание было приковано к большому дюралевому трехмоторному самолету, который стоял чуть поодаль и напоминал бы чучело монстра, если бы не большие буквы «СССР» на боку. Играли оркестры, развевались знамена,

проходили отряды пионеров с горном и барабаном. Шел митинг, посвященный предстоящему беспосадочному перелету на Дальний Восток женского экипажа: Валентины Гризодубовой, Полины Осипенко и Марины Расковой. Над закругленным фасадом Центрального авиационного клуба зиял огромный портрет Сталина в каменной большевистской фуражке. Меньшими изображениями, как в фуражке, так и без оной, пестрело поле. Там и сям мелькали также недавно вошедшие в употребление двухголовые портреты – котоподобный Сталин, сжавший в объятиях счастливую широкоскулую мышку Мамлакат.

К самолету толпа не подпускалась, все действие концентрировалось вокруг дощатой трибуны, на которой стояли три летчицы, мощные девы в комбинезонах и кожаных шлемах. Оттуда, с трибуны, провозглашались лозунги, встречаемые взрывами энтузиазма. Вокруг вспыхивал магний, трудились фотографы.

Нина Градова, опоздавшая к началу церемонии, теперь энергично пробиралась через толпу. Чучело самолета, фуражка Сталина, двухголовый портрет... отмахиваясь от лезущей в голову антисоветчины, она показывала направо и налево свою красную книжечку корреспондента журнала «Труженица», подобралась наконец к самой трибуне и крикнула Гризодубовой:

– Привет, Валентина! Я корреспондент «Труженицы». Как командир этого беспрецедентного в мировой истории перелета скажите, пожалуйста, несколько слов нашим читателям!

Гризодубова ее заметила, протянула руку, помогла взобраться на трибуну. Мужская мозолистая лапа. Нина вытащила из кармана пиджака блокнот и шикарную авторучку «монблан», подаренную недавно вернувшимся из-за границы Ильей Эренбургом. Гризодубова, перекрикивая шум, зарокотала ей прямо в ухо, словно пламенный мотор:

– Женщины! Девушки! Мы живем в сказочное время! Кто бы мог предсказать, что российские бабы сбросят оковы вечного рабства и будут пилотировать самолеты, командовать кораблями, водить тракторы и танки?! Никто и никогда не мог этого предсказать, как не может этого себе представить и современная порабощенная женщина буржуазного Запада! Мы посвящаем наш полет великой сталинской конституции, самой демократической конституции мира, и ее творцу, солнцу нашей отчизны, Иосифу Виссарионовичу Сталину!

Выговорив все это, Гризодубова достала коробку «Северной Пальмиры», предложила Нине:

– Курнешь, подруга?

Они закурили и улыбнулись друг другу не без взаимной симпатии. Предательское сладчайшее чувство причастности ко всему этому спектаклю вдруг посетило Нину. Она спрыгнула с трибуны и стала прокладывать себе путь к выходу.

Если уж где-то надо работать, то почему же не в журнале «Труженица»? От пропаганды и бреховины нигде не спрячешься, а здесь хотя бы свои люди в отделе очерка, все понимающие, достаточно ироничные, современные женщины, которым к тому же нравятся мои стихи. Так думала Нина всякий раз, подходя к зданию редакции на Пушкинской, привычно уже выискивая взглядом приметы городской жизни из тех, что к «ним» все-таки не относятся: чугунного поэта, чугунные фонари, «грачей обугленных десятки», уцелевшие шатры церкви Рождества Богородицы в Путинках... И это я, «синеглазница», футуристка, тоскую нынче по старине, выискиваю в памяти клочки из детства, из того мира, где еще не было этой чумы...

В редакции она быстро отбарабанила статью о митинге в Тушино и передала ее заведующей отделом Ирине, с которой, несмотря на разницу в десятков лет, очень дружила. Холостячка Ирина нередко ходила с Ниной и Саввой в консерваторию или в МХАТ. Больше уже и некуда было нынче ходить в Москве; выставки – сплошная свиноферма, авангардисты все попрятались, «бубнововалетчики» рисуют парсуны вдохновляющего созидательного характера. Чудеса, впрочем, еще случаются. Вот «Интернационалка» вдруг напечатала куски сногсшибательной прозы некоего Джойса, вышел четырехтомник Марселя Пруста. Писатель американского «потерянного поколения» Эрнст Хемингуэй, на наше счастье, примкнул к «прогрессивным силам», в Испании занял резко антифранкистскую позицию, значит, и его, может быть, будут печатать. Словом, поговорить еще есть о чем, и они говорили часами на кухне или где-нибудь на бульваре о западной литературе. О своих-то, прежних, совсем еще недавних, лучше не говорить, до хорошего не доведет. Многих лучше вообще не называть, как будто их и не было.

В углу редакционной комнаты засвистел чайник.

– Девочки, чай пить!

Сотрудницы распаковывали свои свертки с бутербродами, кто-то выставил корзинку домашнего печенья, воцарился веселый перерыв. Все знали, что у Нины арестованы оба брата, но никто никогда о них не спрашивал. Об арестованных не принято было говорить в присутственных местах. Нина и сама себя ловила на мысли, что в присутственных местах не только говорить, но даже и думать о своих такого рода печалях

неуместно, как будто аресты и советские учреждения принадлежали к разным, не соприкасающимся мирам. То ли страх это странное правило диктовал, то ли подспудная надежда, что в один прекрасный день весь этот кошмар должен кончиться, а потому сейчас об этом лучше молчать. А может быть, лучше кричать об этом, вопить, визжать, иногда думала Нина и тут же возражала сама себе: недолго поорешь, никто и не успеет услышать.

Во всяком случае, пока что пили чай, смеялись. Нина рассказывала о недавней командировке в Крым, где она интервьюировала важного человека, председателя КрымЦИКа товарища Ибрагимова. Современное положение татарской женщины он охарактеризовал следующим образом: «Раньше татарский женщина был закобыленный женщина, теперь мы сделали из нее публичный женщина!» Хохотали до слез. Нина разошлась.

– Да ведь это дивный неологизм в футуристическом стиле – закобыленность! Девочки, а вам не кажется, что в каждой из нас есть некоторая закобыленность?

После чая Ирина увела ее в свой кабинетик обсуждать репортаж. Нина заглянула ей через плечо. Изрядно погулял по строчкам красный карандашик!

– Нинка, прости, но я взяла на себя смелость немного почистить, – сказала заведомо. – Репортаж великолепный, но эта твоя привычная ирония...

Нина усмехнулась:

– Ты нашла там мою привычную иронию?

Ирина усмехнулась в ответ:

– Следы твоей привычной иронии, скажем так.

– Ирина!

– Нина! Они смотрели друг дружке в глаза. У Ирины был странный нос, не курносый, но ноздрями наружу, что в сочетании с коротко обрезанными волосами и редакторскими очками придавало ей довольно свирепый вид. На самом деле уж Нина-то знала, это была нежнейшая одинокая душа. Она протянула руку через стол и накрыла Нинину ладонь своей.

– Время иронии прошло, Нинка. Нам выпало жить в героические времена.

Нина пожала плечами:

– Без иронии, Ирка, трудно уцелеть в героические времена.

– А с ней трудно не пропасть, – сказала Ирина.

– Вот так софистика!

Они обе грустно рассмеялись.

Глава семнадцатая

Над вечным покоем

Как и все тюрьмы в стране, страшная Лефортовская тоже была переполнена, однако драки из-за места на нарах здесь случались редко, поскольку заселял камеры в основном политический состав, не чета блатарям, народ нередко интеллигентный, склонный даже к старорежимной солидарности. Во многих камерах установлена была даже очередность лежания на нарах. Час в горизонтальном положении, хочешь спи, хочешь о бабе мечтай, а потом уступай свое место товарищу по историческому процессу. В ожидании своей очереди на «горизонталку» заключенные либо стояли у стен, либо сидели голова к голове на склизком полу. В этом положении многим начинало казаться, что они едут куда-то в каком-то чудовищном трамвае. Были, конечно, и исключения из этих правил, в частности, по отношению к возвращающимся с допросов. Если человека с допроса приносили, нары ему предоставлялись без очереди. Ну, а если все-таки возвращался на ногах, тогда в общем порядке. Очередь существовала и на парашу, там всегда кто-нибудь восседал, выпускал газы в чрезмерном скоплении народа.

Однако были не только свои удручающие минусы, но и некоторые ободряющие плюсы. Вот посмотрите, шептались между собой оказавшиеся в одной камере два преподавателя Московского университета, филолог и биолог, при всех физических минусах, таких, как спертый воздух, вонь, отсутствие лежащих мест, есть и некоторые психологические плюсы. Прежде всего, когда вас вталкивают в такую камеру, вы неизбежно думаете: ого, народищу-то, я не один, я не один! И это – вы заметили? – ободряет. Ну, потом, вот эта очередность на нары и на парашу, разве это не проявления человечности? На миру и смерть красна, как говорят, но вот даже и в этом приблизительном состоянии «мир», то есть «коллектив», бодрит, не дает ну полностью уже капитулировать. Всегда находится какой-нибудь шутник, поднимающий настроение. Вон, посмотрите, как Мишанин опрашивает вновь прибывших. Нет, классики знали силу коллектива. И умели на ней спекулировать, мерзавцы. Кто мерзавцы? Да классики!

Коротышка Мишанин, бойкий типус из московской шоферни, между тем действительно развлекался и других развлекал. Подбирался к новоприбывшему, деловито, то есть как на вокзале, спрашивал:

– А вы, товарищ, тут по какому делу?

Новоприбывший, взглянув на его деловитую физиономию, вдруг понимал, что его дело – это еще не конец человеческой цивилизации. Пожимая плечами, отвечал:

– Связи с польской разведкой. Не знаю уж, почему именно с польской, а не с какой-нибудь посолднее. Может, потому, что у меня фамилия на «ский»? Словом, ПШ – «подозрение в шпионаже».

Мишанин с пониманием кивал, пожимал руку, перебирался к следующему новичку.

– А ты, друг, по какому делу?

– Вредительство, – охотно отвечал новичок. – Я, понимаешь ли, поваром работал на «Шарикоподшипнике», ну вот, конечно, у нас там заговор и раскрыли по отравлению рабочих, вот такие дела.

Мишанин и этому повару уважительно кивал, понимающе хмыкал: где пицца, там, мол, и срок рядом гуляет, – подкатывался к мужичку с сидором, который тут выглядел чужаком среди городской публики.

– Ну, а ты, лапоть, тут за что?

Мужик, соблюдая платон-каратаевские традиции, добродушно смотрел на него.

– За Маркса, дорогой мой. В клубе лекция была «Есть ли жизнь на Марксе?», а я и спроси: на эту планету Маркс вербовка будет? В тот же день и взяли: ты, говорят, подрывал колхозное строительство, проявлял бухаринский троцкизм.

Мишанин бурно хохотал, валял мужичка за плечи, лез ему носом в сидор: как там насчет сальца-то, марксист? Хорошее у нас пополнение в этот раз, товарищи: польский шпион, вредитель-отравитель, троцкист-бухаринец-марксист!

Заклацали засовы, дверь отворилась, два чекиста вошли в камеру, из коридора рывкнул третий: «Градов, на допрос!»

От стены отделился Никита. Он был уже еле жив: допросы шли ежедневно, если не дважды в день.

– Держись, комкор, – шепнул ему вслед Мишанин, хотя сам-то на допросах вовсе не держался, весело подписывал весь несусветный вздор, что подсовывал ему следователь. «Держись, комкор», однако, здорово звучало, в этом, очевидно, он чувствовал какую-то поэзию энкавэдэшной тюрьмы и потому всякий раз бормотал вслед волокущемуся на избиения призраку: «Держись, комкор!»

Сквозь лестничную шахту вдруг, словно хвост огня, пролетел истошный крик: «Никита!» Комкор, влекомый двумя чекистами, чуть запнулся. Усиленный резонансом лестницы крик с нижнего этажа долетел до его ушей, словно сквозь вату бессмысленных и немых слежавшихся лет, и вдруг осветил на миг картинку детства: он с другом Холмским выгребают на ялике к излучине Москвы-реки, а маленький Кирилл отчаянно кричит с берега – его забыли!

Кирилл, тоже ведомый двумя мордоворотами, забыв обо всем, бросился к перилам. Только что на площадке лестницы, два марша вверх, мелькнула любимая душа, старший брат. Никого уже не было видно, но он все еще махал рукой и кричал:

– Никита! Я тебя видел! Никита, брат!

Растерявшиеся было стражи отдернули его от перил. Он и к ним обернулся с изумленно-радостным выражением, будто увидел брата по меньшей мере на палубе прогулочного теплохода.

– Товарищи, я только что видел там моего брата!

Один страж ударил его рукояткою пистолета меж лопаток, другой въехал коленом в пах. Упавшего начали деловито обрабатывать кирзовыми сапожищами. Покряхтывали:

– Волк тебе товарищ! Свинья тебе брат!

Потом потащили нарушившего инструкции зека по полу к открытому солдатскому сортиру.

– Сунь его рыжкой в парашу! Пусть говна пожрет, троцкист!

* * *

Никиту через час, полуживого, швырнули обратно в камеру. Лицо, шея и грудь были в крови, глаза – раздутые пузыри, межножье тоже темное, мокрое – то ли кровь, то ли моча, не разберешь.

Тут же ему освободили нижние нары, положили на спину, вытерли тряпкой кровь, дали попить. Комкор не стонал, не понятно было даже, чувствует ли он боль. Несколько минут спустя он начал бормотать. Мишанин пригнулся, услышал что-то несуразное: «... от – Завгородина – двухдневный – паек – хлеба – пачка – махорки – от – Иванова – кочегара – шинель – от – Циммерман – папиросы – от – Путилиной – пара – сапог...» Мишанин почесал в башке – не этого ждешь от комкора в бреду.

Филолог шепнул биологу:

– Вот уж это, знаете, выше моего понимания. Никогда не думал, что

наши будут прибегать к таким пыткам.

Биолог посмотрел на него, улыбнулся. Дожить до сороковки, угодить в Лефортово и все еще удивляться «нашим»!

– Да это и не пытки вовсе, мой дорогой, а «двадцать два метода активного следствия», как объяснил мне мой следователь. Ежовые рукавицы, смеялся он. Сейчас их опробывают на самых упорных, а потом и в массовое употребление пустят, на нас, грешных.

Филолог содрогнулся:

– Не знаю, как вы, а я и минуты не буду этого терпеть, подпишу все, что предъявят, пусть расстреливают!

Биолог с тоской посмотрел на коллегу из преподавательского состава МГУ:

– Есть вещи пострашней, чем собственный расстрел, мой дорогой.

Филолог ответил на это мало слышным, но страшным мычанием, будто челюсть ему разорвала ужасающая боль в корнях зубов. Нет-нет, расстрел, надеюсь, будет только расстрел, ничего больше...

Из дальнего угла камеры послышался смех. Там вездесущий Мишанин рассказывал, как он сам сюда попал:

– По чистой лени, товарищи, я есмь жертва собственной лени. Никто не виноват, кроме моей собственной жопы, дорогие товарищи. Как так получилось, лапоть? Такая вещь, как лень, тебе, конечно, неизвестна? Ну, ладно, слушай, расскажу тебе историю простую, как Шекспир. Васька Лещинский... есть у меня такой дружок... Подвинься – я лягу. Взяли мы как-то с ним дюжину «жигулей», три чекушки и два мерзавчика «Московской особой», засиделись допоздна в гараже. О чем пиздели, точно не помню, ну, девчонки там, футбол «Спартак» – «Динамо», но только в один момент заспорили, кто из вождей лучше глядится. Я за Ворошилова мазу держу, а он за Кагановича, железного наркома. Завелись по-страшному, стали друг дружку хватать, Сталина вспоминать все. Ночью, уже в квартирной койке, думаю: надо доложить на Васеньку Лещинского. А вылезать из-под одеяла неохота: тепло, пьяно, баба своя под боком. Утром, думаю, перед сменой заскочу в органы, а утром как раз за мной и пришли. Васенька-то Лещинский оказался не такой ленивый...

Врал Мишанин или на самом деле друг его заложил, на которого он и сам хотел настучать, никого не интересовало. Важно было то, что всему чекистскому кошмару этот разбитной малый придавал какое-то бытовое, а стало быть, и несколько комическое выражение. Напряжение спадало, начинало казаться, что власть волянит, как подвыпивший управдом, но ничего, и до этих волянщиков кто-нибудь, скорее всего Сам, доберется,

восстановит порядок.

Проваливаясь в обмороки, в бред и выныривая из них в столь бодрящую реальность, Никита услышал конец мишанинской «веселенькой истории» и тогда уже полностью очнулся. Может быть, и Вадим Вуйнович тогда, в Хабаровске, вот так же не поленился? Эта мысль, собственно говоря, мучила его с первой минуты ареста. Неужели Вадим? Неужели трусил и донес об им самим же спровоцированном разговоре? А может быть, даже и послан был для провокации? Нет, это невозможно, Вадим с его рыцарским кодексом чести – провокатор и стукач? Скорее уж себя самого заподозришь в чем угодно, но только не такого человека. А впрочем...

На допросах имя Вуйновича не всплывало ни разу. Осатаневшие от собственной жестокости следователи какой угодно вздор городили, придумывали одну за другой все более идиотские истории предательства и шпионажа, а вот единственный серьезный момент, реальный повод для обвинения и расстрела, тот разговор на балконе в глухой утренний час, разговор, в котором, по сути дела, речь шла о восстании, был следствию неведом. Или?.. Или к нему еще идут, хотят ошарашить доносом Вадима, именно этим сломить сопротивление?

Сегодняшний допрос начался с того, что они всем скопом набросились на него, просто терзали. Один стащил с себя пояс и хлестал пряжкой по лицу, плечам и груди. Потом стали применять «методы активного следствия», из них самый свой любимый – закручивание в деревянные тиски мошонки и члена. Боль была не просто невыносимой, но как бы уже и несуществующей. Комкор бессознательно мальчишеским голосом смеялся и рыдал. Вдруг в узкой щелочке раскаленного пространства мелькнула Вероника, тот момент, когда она проводит пальцами по вот этому же раздутому задушенному члену. Потом доктор, их доктор, считал пульс и сказал, что можно продолжать. Они засунули его вниз головой в узкий ящик и ушли. Все исчезло, пропала всякая ориентировка в пространстве, он отправился умирать, но вдруг они вернулись, и голос доктора произнес: «На сегодня хватит».

Вот она наконец, моя расплата пришла, за Кронштадт, за Тамбов... Расплата за трусость, черт побери, за опаску додумать все до конца, за гипноз революции. Все мы были смельчаками только вместе, схваченные стадным инстинктом войны, стадной романтикой, наедине со своими мыслями каждый – трус. Так и возник нынешний сталинский гипноз. Вадим оказался смелее меня, он сам его преодолел. Отталкивая Вадима, знал ведь, что не остается никаких шансов, а все-таки дорожил своей

шкурой: а вдруг пронесет? Стыдно погибать в руках чекистской мрази. Лучше было бы в Кронштадте матросскую пулю поймать.

Как ни странно, но шансы на успех у вадимовского варианта были. Можно было бы разработать несколько тактических схем. По одной из них в Москву поездом направить батальон разведчиков. Армейские перевозки по железной дороге чрезвычайно запутанны, никто бы и не разобрался, что за часть и куда направляется. Батальон прибывает в Москву перед самой сессией Верховного Совета, берет Кремль и арестовывает Сталина. По другой схеме ударная группа прилетает в Москву тремя самолетами. При неудаче всех этих вариантов можно было все-таки попытаться бежать, поднять широкое восстание, освободить заключенных на Колыме и в Приморье, попытаться восстановить Дальневосточную республику. Блюхеру предложить пост президента, если же откажется, даже и самому рискнуть или Вадима выдвинуть. Все великие сдвиги начинаются с нуля. Словом, надо было рисковать, а не ждать расправы...

Так иногда в промежутках между допросами думал комкор Градов и всякий раз в этих смелых мыслях своих доходил до точки, где вновь и вновь выскакивала мысль-предатель: а что, если Вадим был все-таки послан Чекой? Тогда все рушилось.

– Никита Борисович, вы не спите? – произнес прямо над ухом деликатный голос.

Никита с трудом повернул голову и увидел Колбасьева. Флагсвязист Балтфлота и в Лефортовской камере заведовал связью. Место его возле труб отопления было неприкосновенным. Круглые сутки он был на вахте – принимал и отправлял дальше послания, из всех недр узилища отстуканные по трубам тюремным телеграфом. Никита еще и на воле слышал о Колбасьеве, питерском интеллигенте и коллекционере джаза. Такой человек, конечно, не мог быть не замечен чекистской шваброй, вот он и был замечен. С одной стороны, в ужас приходишь от того, как они очищают страну от всего человечески ценного, а с другой стороны, есть все-таки и повод для гордости, все-таки делишь свою судьбу с такого сорта людьми, а не с мразью.

– На ваше имя телеграмма, Никита Борисович.

На лице Колбасьева тоже видны были кровоподтеки, следы допросов, но преобладали большие, светлые, вечно любопытные глаза технического специалиста.

– По всей вероятности, пришла с третьего этажа через санблок. Вот послушайте. – Он снизил голос до полного минимума и зашептал комкору прямо в ухо: – Никите Градову от брата Кирилла. Видел тебя на лестнице.

Я третьем этаже. Наши порядке. Вероника детьми приехала. Мое следствие окончено. Признал себя виновным. Не давай себя мучить. Подписывай все бумаги. Целую, люблю.

Никита не выдержал, разрыдался. Значит, и Кирка взят. Может быть, даже и Нинка. Трудно представить, что ей сойдет с рук связь с оппозицией, участие в троцкистской демонстрации. Могут взять и отца. Мысль о том, что с его близкими будут делать то, что делают с ним, была совершенно невыносима. Конец. Рушится наш мир. Все будет уничтожено, это ясно. Вдруг выплыло... из богохульника Маяковского: «Если правда, что есть ты, боже, боже мой, если звезд ковер тобою выткан...»

Камера притихла, впервые слыша то, чем на каждом допросе наслаждались следователи, необузданные детские рыдания железного комкора. Колбасьев сжал его руку. Никита ответил на рукопожатие, пробормотал: «Спасибо, Сергей Адамович». Он справился наконец с рыданием и даже чуть-чуть приподнялся, чуть привалился плечами к стене. «Хотите, я спою вам что-нибудь из Сиднея Беше?» – спросил флаг-связист. Он начал шепотом петь нечто пряное, синкопированное, с короткими взлетами барабанной дроби, которые он осуществлял ладонями по коленам; что-то на удивленье знакомое.

– Что это за мелодия, Сергей Адамович?

– «The Yellow Bonnet», – ответил Колбасьев и продолжил пение.

Да, это же та самая песенка, что весь вечер вырывалась из граммофона, тринадцать, кажется, лет назад, да-да, в двадцать пятом, ну, конечно, в день рождения мамы, в Серебряном Бору, в тот вечер, когда Вадим увез отца в Солдатёнковскую больницу, в ночь смерти наркома Фрунзе. «Mamma, buy me a yellow bonnet», – шепотом пел Колбасьев и потом выщелкивал брейки ладонями и языком. С этими мелодиями славный моряк так и пропадет навсегда и бесследно в каторжной слизи России, в испепеляющей стыни.

* * *

Совсем недавно Семен Савельевич Стройло получил серьезное повышение по службе и в звании, он стал старшим следователем и старшим майором ГБ и перебрался во внушительный кабинет в святая святых, в самой Лубянке, чье имя наводит ужас на врагов революции во всем мире и на всех гадов внутри.

В таком кабинете бы – высокий лепной потолок с великолепной

дворянской люстрой, два больших окна, открывающих вид на широкий размах Москвы от площади с новой станцией метро до башен Кремля, выглядывающих из-за теснения крыш Китай-города; в этих стенах бы – не оставляющие возражений бордовые обои, не ждущие никаких возражений портреты Ленина, Дзержинского, великого И.В.Сталина, картина Левитана «Над вечным покоем», эта грандиозная аллегория величия народного духа; за этим столом бы – тяжелый, крытый зеленым сукном, с медными углами, переживший все бури, – вот тут бы, при всем этом антураже, посетителей принимать, выслушивать просьбы, входить в обстоятельства. Увы, в условиях жестокого усиления классовой борьбы по мере продвижения к социализму приходится заниматься черновой работой, в частности, проверкой эффективности новых методов следствия.

Старшему майору ГБ Стройло подходило уже к сороковке, он стал статным, уверенным в себе командиром чекистов, вся эта комсомольская буза, известная нам по первым главам романа, а уж тем более папашины всякие пришепетывания и подхихикивания, все это давно уже испарилось. В настоящий момент мы застаем его у окна вместе с тремя младшими офицерами. Наслаждаясь небольшим перерывом в работе, они курили, обменивались еврейскими анекдотами, хохотали. «К Абраму прибегают: Абрам, Абрам, твоя жена изменяет тебе с нашим бухгалтером. С каким бухгалтером, бешено кричит Абрам, хватает что-то тяжелое. Ну, с таким высоким, черным, очкастым. Абрам с облегчением отмахивается: а-а, это не наш бухгалтер...»

Тем временем в середине кабинета на стуле сидел обвисший враг народа, лохмотья военной формы свисали с его плеч и груди. С ним еще занимался молодой лейтенант. Взяв за подбородок, он отшвырнул голову зека назад и вверх так, что в разбитой и распухшей физиономии стало возможным опознать комполка Вуйновича. Лейтенант склонился прямо к его уху, прошептал со страданием в голосе:

– Брось свое дурацкое упрямство, Вуйнович! Признайся и отдохнешь. Неужели ты не понимаешь, что тебя тут обдерут, как кошку?

– Пошел на хуй, гаденьш, – с трудом ворочая языком и губами, проговорил Вуйнович.

Мгновенно вспыхнувшая ярость задула все признаки сочувствия. Ребром ладони лейтенант ударил узника по шее. Стройло обернулся на звук удара, посмотрел на часы.

– Перекур окончен, ребята. Пора за работу.

Он уселся в соответствующее всему убранству кабинета кресло – в таком бы кресле с девочкой на коленях – и углубился в бумаги.

Параллельно с наблюдением за тем, как проводится дознание, приходилось знакомиться с множеством уже закрытых дел – все ли инструкции соблюдены, в наличии ли все необходимые подписи: социалистическая законность должна быть на высоте. Остальные офицеры (это слово, прежде считавшееся позорной принадлежностью «беяков», теперь все чаще употреблялось) медленно приблизились к Вуйновичу. Четверо здоровенных мужланов окружили едва живого врага народа. Почему так много на одного? А потому, что в деле Вуйновича, присланном за ним еще из Туркестанского округа, была пометка: «Склонен к бунту».

Майор поводил горячей папиросой возле глаз подследственного, лениво протянул:

– Ну, давай продолжим, Вуйнович. Ладно, ладно, не будь таким букой, давай поговорим. Расскажи нам о твоих встречах с французским военным атташе. Кто тебя вывел на него, где это было, давно ли тебя завербовали?.. Ну, что, все забыл, да? Память опять подводит? Вот беда, придется нам малость взбодрить твою память...

* * *

Вадима взяли прямо в распоряжении его части вскоре после возвращения с Дальнего Востока, так что он уже не мог видеть в газетах сообщение о разоблачении и аресте группы врагов, пробравшихся в командование Особой Краснознаменной Дальневосточной армии, – маршала Блюхера, комкора Градова и других. Остатки наивности толкали к мысли, что, может быть, все-таки за дело взяли: ведь в течение последних месяцев несколько раз встречался со старыми однополчанами, почти впрямую вел с ними разговоры о возможном выступлении армии против НКВД. Как исключить возможность доноса: храбрейшие в прошлом вояки теперь боятся тележного скрипа. Грешил и на Никиту: уж очень тяжелым было в то утро молчание комкора в ответ на его недвусмысленный призыв. Кроме всего прочего, у Никиты есть основания не любить бывшего друга, оскорбившего его отца, вздыхавшего по его жене. Конечно, Никита – человек исключительной честности и гордости, и в прежние времена такая гнусная идея не могла бы прийти в голову, но нынче не прежние времена, нынче люди живут по принципу «пусть тебя сегодня, а меня завтра». Какой уж тут бунт, если жалкая чекистская халва среди бела дня приезжает в распоряжение воинской части и на глазах всего штаба и охраны забирает любимого командира?

На следствии сразу выяснилось, что НКВД ничего не знает о его недавних передвижениях и зондировании настроений в войсках. У них был собственный, бездарно сочиненный сценарий его преступной деятельности. Какие-то немыслимые встречи с иностранными военными атташе, переговоры с агентами басмачей из-за афганского кордона, в целом – планы отрыва Туркестана от братской семьи народов, создание на его территории белогвардейского эмирата. Сопrotивление этому бреду казалось Вадиму бессмысленным, неуклюжим, унижительным делом, но не сопротивляться он не мог. Слава Богу, что не за дело, что тупым чекистам не приходит в голову провести настоящее расследование, но все-таки если бы хоть за дело принимать мучения!

В Ташкенте его лупили старым способом. Окружали втроем или вчетвером, начинали издевательский угрожающий допрос, потом орали, потом кто-нибудь, как бы не выдержав коварства и наглости врага, бил ногой или кулаком по уху, потом другой, третий, наконец, набрасывались всем скопом. Он знал такие способы допросов, видел их на «гражданке», да что греха таить, и сам пару раз принимал в них участие, когда в качестве командира конного взвода разведчиков привозил в штаб армии белых «языков». Вот теперь на своей шкуре знаешь, Вадим, каково было тем «языкам».

Впрочем, до «двадцати двух методов активного следствия» на Гражданской войне еще не додумались, а с ними комполка начал знакомиться, когда из Ташкента его перевезли на до следствие в Москву, на Лубянку. Он и здесь упорствовал. Сегодня, очевидно, настал какой-то решающий момент, недаром допрос проводится не в обычной следственной комнате, а в этом начальственном кабинете, где за столом сидит какое-то неуловимо знакомое рыло в чекистских чинах. По всей видимости, сегодня они решили добиться от него желаемого любыми, самыми зверскими методами, ну, а если и сегодня не сломается, не подпишет бумагу, попросту отправить в подвал. От соседей по лубянской камере Вуйнович слышал, что упорствующих в конце концов отправляют на расстрел, а потом уж оформляют дела, как заблагорассудится.

Любое малейшее движение причиняло муку. Он поднял голову и обвел взглядом четырех следователей. Двое, майор и капитан, были знакомы по прежним допросам, они уже явно питали к нему какие-то свойские, едва ли не родственные, садистские чувства. Другие двое, лейтенанты, появились в его поле зрения только сегодня. Ну, а тот, что за столом, старший, тот как бы непосредственного участия не принимает, погружен в более серьезные дела, но нет-нет да и глянет тяжелым глазом, и как только соприкасаешься

с этим взглядом, немедленно понимаешь: все кончено.

Первая часть допроса прошла обычно: повтор идиотских вопросов о французах и басмачах, спорадические ошеломляющие удары по голове или в живот. Потом заплечники решили курнуть и вот сейчас приступали ко второй, более серьезной части «разговора». Майор щелкнул пальцами, лейтенант подвез металлический столик на колесиках, чем-то сродни хирургическому, только явно не стерильный. На нем лежали «следственные инструменты». При взгляде на столик Вадим содрогнулся. Два-три метода уже были на нем опробованы, но самое страшное было еще впереди. Не сдамся, не сдамся! В бою пусть убьют, ублюдки! Может, кто-то из них не выдержит, выстрелит, может, удастся завладеть пистолетом, может, к окнам пробьюсь, вырву решетку... Все это мгновенной бурей пронеслось в сознании, в следующую секунду комполка вскочил, ударом ноги перевернул «хирургический» столик, поднял над головой стул и начал его вращать, испуская дикий, неосмысленный уже вой затравленного вконец зверя.

Старший майор ГБ Стройло, перекосившись, смотрел на эту сцену. На всякий случай расстегнул кобуру револьвера. Ну и зверь попался, ну и животное! Где-то я уже видел этого – он глянул в бумаги – Вуйновича. Ё-мое, а не на даче ли Градова в двадцатых годах? Из Никиткиных корешов, кажись, ну, тогда понятно: из них из всех белогвардейщина и тогда перла.

Кто-то из лейтенантов прыгнул сзади на плечи взбесившегося комполка. Перед падением на пол тот все-таки успел заехать стулом по башке майора. В конце концов четверо чекистов обратили этого полуживого бунтовщика. Ярости их не было конца. Они работали всеми конечностями, да еще и башки свои пускали в ход.

– Полегче, товарищи! – предупредил Стройло. Он понимал и сочувствовал своим коллегам. Поневоле озвереешь на этом участке работы. Что делать, временами в наших людях от соприкосновения с этой человеческой пакостью просыпаются какие-то парадоксальные эмоции. С ним самим недавно произошел малоприятный, если смотреть со стороны, эпизод. Вот так же при нем другая бригада допрашивала так называемую «старую большевичку», а на самом деле еврейскую гадину, продавшуюся давным-давно итальянским фашистам. Все шло своим чередом, пока вдруг дряхлая мразь не взбеленилась. Выступать начала: «Меня жандармы допрашивали, но никогда... жандармы никогда на женщину руки не поднимали! Белые никогда так, как вы!.. Никто никогда!..» Вдруг ее как бы осенило: «Только гестапо так, как вы! Гестаповцы! Гестаповцы!!» Тут вдруг что-то случилось со старшим майором ГБ Стройло, не смог удержать

голову в холоде по заветам Феликса Эдмундовича, горячее сердце слишком выиграло, и чистые руки малость запачкал. Рванулся, растолкал окружающих преступницу товарищей, швырнул старуху на кушетку, дернул юбку, зад оголил подлюге, вытащил свой добротный тяжелый ремень со звездой на пряжке и пошел гулять по дряхлым свалывшимся ягодицам. «Вот тебе, сука, твои встречи с Владимиром Ильичем, вот тебе, старая ведьма, Маркс и Энгельс и Готская программа!» – и так гулял, пока подлюга уже вопить не перестала и сам вдруг конвульсиями не пошел, такими мощнейшими конвульсиями с фонтанными исторжениями, как когда-то в незапамятные годы молодости иной раз получалось с профессорской дочкой; даже неловко потом было перед товарищами. Вдобавок ко всему невыносимый запах распространился по кабинету, и от старухи и от старшего майора самого. Нет, так дело не пойдет, друзья, нужно научиться выдержке, хотя и понять, конечно, нас всех можно: работаем с подонками рода человеческого, эксцессы неизбежны.

Чекисты защелкнули наручники на запястьях Вуйновича, связали ему ноги. Запрокинувшись, комполка лежал на паркетном полу, над ним, перевернутая, парила картина Левитана «Над вечным покоем». Он вдруг острейшим и проникновеннейшим образом понял то, что пытался передать своими красками и чего не добился художник, то, что никакими красками, никакими словами, даже никакой музыкой не выразишь. Потрясенный этим пониманием, он забыл о своих муках и о чекистах, все забыл, чем жил, даже Веронику, о которой не забывал и тогда, когда о ней не помнил, единственное, чего он страстно пожелал, – сохранить мгновенное озарение, но оно после этого тут же ушло. Чекисты расстегивали ему штаны, вытаскивали хозяйство, приспособливали зажим к применению еще одного метода «активного следствия». Работали только трое. Четвертый, молодой лейтенант, блевал в углу, в раковину. Стройло сложил все свои папки в стол и закрыл на ключ. На поверхности осталось только дело Вуйновича, раскрытое на машинописной странице с отдельной строчкой внизу: «Заключение следствия признаю правильным». Здесь требовалась сущая чепуха, подпись подследственного, и из-за этой чепухи весь этот цирк и разыгрывался, с ревом, борьбой, с резким запахом недопереваренной лейтенантом пищи.

Уходя, Стройло сказал офицерам:

– Продолжайте, товарищи, не останавливайтесь, пока гад не подпишет.

Майор только глянул на него в ответ очень нехорошим взглядом.

Еще одно важное дело предстояло Стройло в этот день – осмотр новой экипировки в блоке, где приводилась в исполнение высшая мера пресечения преступной деятельности. Спустившись на один из подземных уровней Лубянки, он прошел системой коридоров к ничем не примечательным дверям, за которыми как раз и находился расстрельный блок. Осужденные на казнь, разумеется, доставлялись сюда другим путем, эта дверь предназначалась для персонала. За дверью все сверкало свежей краской и чистотой. В комнате отдыха два сержанта играли в шашки. Тихо наигрывало радио – оперетта «Мадемуазель Нитуш». Пройдя метров пятнадцать по коридору, Стройло оказался в собственно производственных помещениях. Все здесь было выполнено на высшем уровне. Вот просторная комната ожидания для осужденных. Отсюда по одному они будут направляться в камеру казни и располагаться лицом к стене, затылком к стрелку, который находится в специальной кабинке. Процедура почти напоминает нечто медицинское, что-то вроде рентгеноскопии. За стеклом сидит помощник, он включает рубильником вмонтированный поблизости автомобильный двигатель для заглушения выстрелов и других нежелательных звуков, в частности пропагандных выкриков, перед которыми иные враги не останавливаются даже в последний час. Результаты работы, то есть тела, из камеры казни будут переправляться в транспортировочную комнату с пониженной температурой и там накапливаться до прибытия спецтранспорта. Транспорт подъезжает задним ходом к окну во внутреннем дворе. Из окна по наклонному желобу тела скользят прямо в кузов и затем уже транспортируются в соответствующем направлении. Осмотрев все эти помещения и приспособления, Стройло остался удовлетворен: даже и в этом деле ведь следует придерживаться современных гуманных норм.

Он уже покинул отремонтированный расстрельный блок, когда туда привели первую партию клиентов, дюжину мужчин, собранных из разных московских тюрем. Среди них был уже знакомый нам остряк Мишанин. Он так до конца и не понял серьезности происходящего с ним приключения.

– Неплохая банька, мужики! – бодрился он в комнате ожидания. – Раздеваться, что ли?

– Сидеть, не двигаться! – рявкнул на него конвойный.

Пришел дежурный офицер. Сержанты бросили свои шашки и пошли делом заниматься.

Глава восемнадцатая

Рекомендую не рыдать!

Бабье лето ликовало над Серебряным Бором. Радостные глубинно-голубые небеса над золотыми, багряными и охристыми лиственными, как будто бы помолодевшими хвойными. Ласковый ветерок проходил через рощи, как бы успокаивая: все в порядке, все замечательно, несколько листочков сорвано, но это только лишь с эстетической целью, только для того, чтобы их полетом привнести в общую картину дополнительные гармонии. Чуть покачиваются паутинки, меж них бесцельно, опять же только для гармоний порхают свежие, только что вылупившиеся из обманутых куколок бабочки. Красота ненадежности.

– Или, впрочем, наоборот, – подумал вслух Леонид Валентинович Пулково.

– Ты о чем, Лё? – спросил Борис Никитич Градов.

– О красоте, – проговорил физик. – Надежна ли красота?

– С этим вопросом обратиться к нашей поэтессе, – улыбнулся Градов и тут же помрачнел, сразу же вспомнив, что из трех его детей двое в тюрьме и только одна дочка еще осталась на воле, только Нинка, к которой он и рекомендовал обратиться с вопросом о надежности красоты.

Два старых друга – на этот раз не только в смысле стажа дружбы, но и вообще два старых уже, за шестьдесят, человека – стояли на высоком берегу Москвы-реки. По реке буксирчик тащил баржу с бочкотарой. Над рекой, высоко, призрачно, будто слепые, парили два длиннокрылых планера.

– Подумать только, вот так парить без всякого мотора. – Пулково из-под ладони смотрел на планеры. – Ты заметил, Бо, нынче у молодежи какое-то воздушное помешательство. Все эти планеры, аэростаты, парашюты... Откуда только смелость такая берется?

– Смелость нынче переселилась в небеса, – саркастически заметил Градов. – На земле ею и не пахнет.

– Может быть, старая смелость отмерла, а народилась новая, нам неведомая? – предположил физик.

– Если это так, то, значит, и с трусостью произошла какая-то кардинальная метаморфоза, – сказал хирург.

Они невесело посмеялись.

– Что-то мы с тобой расфилософствовались сегодня. – Градов

повернулся спиной к реке. – Пошли дальше!

Опушка рощи над рекой издавна была любимым местом для пикников. Там и сям видны были следы воскресных пиршеств – пустые бутылки из-под портвейна, водки, пива, консервные банки, яичная скорлупа, обертки шоколадных конфет, даже кожица испанских апельсинов: голодуха в стране внезапно кончилась, магазины с каждым годом заполнялись все большим набором того, что по привычке голодных лет все еще именовалось словом «жратва». В траве и кустах видны были клочки газет, разрозненные буквы лишь кое-где собирались в более или менее осмысленный, и чаще всего страшный, текст: «Позор пре...», «...очь грязные ла...», «Суровый приговор нар...»

– Загрязнение природы, – сказал Пулково. – Когда-нибудь это станет колоссальной проблемой.

– У нас в Серебряном Бору это уже колоссальная проблема, – буркнул Градов.

Они шли быстрым шагом по тропинке мимо дач. Как и в старые времена, энергично, до усталости моционились перед обедом.

– Впрочем, есть проблемы и поколоссальнее.

Градов глянул себе через плечо – никого – и показал тростью на одну из дач, мирные стекла которой отражали голубое небо и сосны, а также промельки сильно расплодившихся в округе белок.

– Видишь эту дачу, Лё? Помнишь такого Волкова, из Наркомтяжпрома? Неделю назад его взяли, а дачу поставили под сургуч, предполагается конфискация. А вот эта, с другой стороны, третья в ряду, здесь жили Ярченко, его ты определенно помнишь, крупный работник Наркомфина, хоть и из выдвинутых, но ценнейший специалист, они у нас нередко бывали. После того как его взяли, семью выбросили в тот же день, дачу заколотили. Вот там, чуть в глубине, у пруда, – та же история: крупный партиец Трифонов, их Юрочка часто играл с нашим Митей в теннис и футбол... Серебряный Бор прочесывается еженощно. Похоже на то, что и моя очередь подходит. Чего еще ждать после ареста мальчиков?

Последние две фразы были произнесены с некоторой даже легкостью, не оставлявшей сомнения в том, что Борис Никитич только об аресте сейчас и думает. Да кто не думает об этом теперь, кроме меня, подумал Пулково. Только со мной происходит нечто странное, я совсем об этом не думаю в применении к себе, как будто меня не могут взять в любой день, тем более еще с моим багажом двадцатых годов, тем обыском, привозом на Лубу... Фатализмом это не назовешь, фаталисты только и думают о «фатум», а у меня лишь быт в голове, лишь мои эксперименты, доклады,

мысли о поездке, о моих главных планах, будто никаких препятствий нет и быть не может. Странная, пожалуй, даже недостойная игра с самим собой...

Под ногами то похрустывали мелкие сухие веточки, то пружинила слежавшаяся хвоя. То и дело дорогу перебежали белки. Над забором дачи финансиста Ярченко сидел на ветке большой самец белки. Мистер Белк, подумал про него Пулково. Пройдя мимо, он обернулся. Белк сидел со своей шишкой в классической позе и напоминал Ленина, углубившегося в газету «Правда». Леонид Валентинович заметил, что и Борис Никитич смотрит на белка.

– Ишь, каков, – пробормотал он. Они переглянулись и засмеялись.

– Послушай, Бо, попробуй не думать об аресте, – сказал Пулково. – Черт их знает, у меня иногда такое впечатление складывается, что они выдергивают людей наугад, без системы. Предугадать ничего невозможно, это просто как рой шальных пуль. Совсем необязательно, что одна из них попадет в тебя. Попробуй постоянно переключаться на другие дела, у тебя ведь их немало, а если об арестах, то только о мальчиках, как им помочь, о соседях, обо всех, кроме себя. Понимаешь? У меня почему-то это получается.

Пока он это говорил, Градов задумчиво смотрел себе под ноги, потом спокойно, без всякого надрыва, произнес:

– Может быть, ты думаешь, что я опять праздную труса? Как тогда, в двадцать пятом? Нет, сейчас этого нет...

Пулково глянул через плечо. Сзади не было никого, кроме большого белка, увлеченного своим делом.

– Ну, а кроме всего прочего, Бо, вожди стареют, им нужны врачи, а ведь ты считаешься там именно тем, кем являешься, – крупнейшим хирургом, да и вообще чудодеем, целителем. Ты просто нужен им!

Градов пожал плечами:

– Это вовсе не гарантия. Профессора Плетнева они тоже считали чудодеем-исцелителем, однако объявили отравителем Горького. Ребятам моим мое положение в кремлевской медицине пока ничем не помогло. Ты знаешь, Лё, в верхах происходит что-то чудовищное, какой-то критический перекося, какая-то злокачественная лейкемия... Третьего дня Александр Николаевич, ты знаешь, о ком я говорю, рассказал мне зловещую историю. Собственно говоря, он никогда бы мне ее не рассказал, если бы не графин Агашиной настойки, который мы с ним вдвоем усидели. Вдруг расплакался и начал выкладывать. Помнишь внезапную кончину Орджоникидзе? Александра Николаевича, когда это случилось, вызвали для подписания протокола. Вместе с шестью другими крупнейшими величинами, в самом

деле замечательными врачами, как бы к ним по отдельности ни относиться, Александр Николаевич осматривал тело, и все они своими собственными глазами видели пулевое ранение в виске, и все они подписали заключение о том, что смерть наступила в результате паралича сердца. То есть, не произнеся ни слова возражения, сделали то, что от них потребовали. Никаких дополнительных вопросов не возникло, после чего их всех развезли по домам, предупредив, что они имели дело с важнейшей государственной тайной. Позволь мне тебя спросить, Лё, это что, тайна государства или... – Он остановил друга и прошептал ему прямо в ухо: – ...Или преступной шайки?

По коже Пулково поползли мурашки.

– Как же ты избежал этого, Бо? Должен признаться, что я и тогда был удивлен, не найдя твоего имени в синклите.

Градов, опустив голову и скрестив позади руки, пошел вперед.

– Понимаю, о чем ты говоришь, – сказал он. – Вот так получилось, тогда, в двадцать пятом, не избежал, а сейчас избежал. По правде говоря, это Мэри меня спасла. Завесила шторы, заперла кабинет, всем говорила по телефону и приезжающим: Бориса Никитича нет, он в Ленинграде или в Мурманске, точно на данный момент неизвестно. Конечно, если бы я был на консилиуме, я бы тоже подписал, в этом нет никаких сомнений, но... но я сейчас не об этом, Лё, не о нас, слабых и грешных... Впрочем, что там, никто не может сделать ничего...

Некоторое время они шли молча. Сквозь прозрачные вуали бабьего лета вдруг прошла струя резко холодного, то есть настоящего, ветра. Она взвихрила лесной мусорок на тропинке и реденький ковылек на головах двух друзей.

– Эх, Бо, дорогой ты мой Бо! – вдруг произнес Пулково, и Градов даже чуть споткнулся от удивления: такие эпитеты не были приняты в их полувековой сдержанной дружбе. Леонид Валентинович тут же, конечно, понял, что нарушил стиль, как-то неловко переменял ногу, заговорил с какой-то чуть ли не мальчишеской небрежностью. Звучало это тоже не очень-то естественно, но в общем-то он понемногу выбирался из своего сентиментального ляпа. – Ты знаешь, я тебе всегда завидовал, что ты врач, что ты так здоровски... – даже устаревшее гимназическое словечко употребил, – так здоровски своим делом занимаешься и дело у тебя по-настоящему полезное, практическое, а я в бесконечных отвлеченных экспериментах погряз...

– А сейчас уже не завидуешь? – усмехнулся Борис Никитич.

– Сейчас я хотел бы, чтобы ты был физиком и работал со мной в одном

институте.

– Это почему же? – изумился Градов.

– Потому что мне стало иногда казаться среди нынешней чумы, что моя наука дает какую-то странную гарантию. Пусть небольшую, ограниченную, но все-таки гарантию. Помнишь мой разговор с Менжинским десятилетней давности? Так вот, сейчас вопрос свехоружия волнует их там в сто раз больше. Что-что, но разведка у них поставлена на широкую ногу...

– У кого «у них»? – спросил Градов.

– «У них» в смысле «у нас», – поправился Пулково и продолжил: – И разведка приносит все больше и больше информации об исследованиях в Великобритании, Германии и в СевероАмериканских Штатах. Они просто ужасно боятся отстать от Запада. С моей точки зрения, бояться пока еще нечего, для производства атомного оружия нужно подойти к цепной реакции деления, для этого придется накопить колоссальное количество составных элементов, нужна, скажем, такая фантастическая вещь, как тяжелая вода, ну, в общем, об этом можно говорить часами, но... но если вдруг в исследованиях произойдет какой-то решительный поворот, а он не исключен, потому что там работают гении физики, тот же Эйнштейн, тот же Бор или хотя бы молодой американский парень Боб Оппенгеймер, тогда СССР может оказаться безоружным, и ему ничего не останется, как капитулировать!

– Страшно! – вскричал Градов. – Что ты такое говоришь, Лё? Что за ужас?!

Пулково как-то странно посмотрел на ужаснувшегося возможностью капитуляции СССР друга, улыбнулся и пожал плечами:

– Ну, это все из области теории, Бо, ты же понимаешь. Кто капитулирует, перед кем... сам черт ногу сломит в нынешней политической обстановке. Главное, что я хотел сказать: мы, физики атомного ядра, сейчас окружены колоссальной «отеческой заботой» партии. Нам в пять раз увеличили жалованье, осыпают привилегиями. Приезжают из ЦК, из НКВД, бродят в лабораториях, приговаривают: «Работайте спокойно, товарищи», едва ли не чешут за ухом. «Если есть какие-нибудь просьбы, пожелания, немедленно высказывайте». Можешь себе представить, мне даже разрешили двухмесячную командировку в Кембридж...

В этот момент Градов споткнулся уже основательно, ибо крутануло в голове.

– В Кембридж, Лё? Ты хочешь сказать, что едешь за границу, в Англию, Лё?

Пулково крепко взял его под руку:

– Да, Бо, я уезжаю через два дня, и это вот как раз то самое главное, что я хотел тебе сегодня сказать. Я не могу себе этого представить, Бо, мне стыдно, что я уезжаю в эти страшные дни, но ведь я двенадцать лет об этом и мечтать не смел! Увидеть их обоих!

– Их обоих, Лё? – Ошарашенный Градов едва ли мог продвигаться дальше. – Кого это «их обоих»?

Они сели на распиленные и приготовленные к вывозу бревна, и Лё поведал Бо свою сокровенную тайну. В 1925 году в Кембридже у него вдруг разгорелся роман с молодой немкой Клодией, ассистенткой Резерфорда. Клодия, то есть по-нашему Клава. Удивительная девушка, научный потенциал на уровне Мари Склодовской-Кюри, а внешностью не уступала Мэри Пикфорд. Ей было в ту пору 25, а старому греховоднику, как ты, мой праведный однолетка и патриарх семьи, конечно, помнишь, было уж полвека.

Ничего прекрасней этого романа в моей жизни не случилось, Бо. Разница в возрасте придавала ему какой-то поворот, от которого мы оба сходили с ума. Мы ездили в Париж и жили там в дешевой гостинице в Латинском квартале. Мы как-то замечательно тогда с ней выпивали и танцевали. Общались на смеси ломаных языков, «осквернение лексики», как она говорила, но получалось замечательно. Потом мы еще ездили в осенний Брайтон, часами шатались там по пустынным пляжам, писали формулы на песке... Да что там говорить!

Он уехал и стал ее с грустью забывать, предполагая, что и она его с грустью забывает. Оказалось же, что он ей оставил весомый и все прибавляющий в весе сувенир. В 1926 она родила мальчика! Пулково узнал об этом случайно от одного общего друга, которому, собственно говоря, ничего не было известно об их романе. Он написал Клодии – ты помнишь еще те времена, можно было переписываться с границей – и спросил, разумеется, косвенно, не впрямую: не следует ли ему считать себя отцом ребенка? Она ответила, что именно он и является отцом, но это его ни к чему не обязывает, он может не волноваться, Александр – как понимаю, она специально выбрала такое международное имя – будет воспитан ею и ее родителями. Женщина удивительного такта и достоинства!

В 1927 году они обменялись несколькими письмами, он стал уже думать о заявлении на повторную командировку, но в это время началась слезка. Больше всего он боялся, что в ГПУ заговорят о его любимой и о сыне.

– Инкриминировать связь с иностранкой тогда еще не могли, все-таки

нэп еще шел, но само упоминание их имен в этом учреждении наводило на меня ужас. Оказалось, что чекисты ничего не знали, иначе Менжинский, конечно, не упустил бы возможности хоть немного пошантажировать. Они и сейчас, конечно же, ничего не знают. Разве бы дали добро на поездку, если бы знали, что у меня в Англии семья? Собственно говоря, никто в мире об этом не знал до сего момента. Теперь знаешь ты, Бо. Уже в том же двадцать седьмом я написал ей последнее письмо и дал понять, что переписку следует прекратить. Зная ее, я представлял, что она следила за ситуацией в России и понимала, к чему у нас все идет. Вот так все эти годы и прошли. Иногда появлялся наш общий друг, он пользуется здесь репутацией «прогрессивного иностранца» и в друзьях у него не только мы, но и весь СССР, передавал от нее приветы. От него я узнал, что ее родители эмигрировали из Германии – у них в родословной есть евреи – и сейчас они живут все вместе под Лондоном, то есть Сашино детство проходит в семье, среди любящих людей. В прошлом году этот друг привез мне от нее журнал с текстом ее выступления на семинаре по элементарным частицам, но самое главное содержалось не в выступлении, а в... вот, Бо, смотри... Страшно волнуясь, Пулково вытащил из кармана плаща свернутый вдвое выпуск научного журнала. Там среди убористых текстов, формул и диаграмм имелась небольшая фотография «Группа участников семинара на вилле Грейс Фонтэн». Персон около десяти ученых расположились в плетеной мебели на типичной английской лужайке. Среди них была одна женщина. Сходства с Мэри Пикфорд Борис Никитич в ней не нашел, но, парадоксально, нашел что-то общее со своей Мэри в молодые годы. Самое же потрясающее состояло в том, что на заднем плане, возле террасы, можно было различить мальчика лет десяти и даже заметить у него под ногой футбольный мяч.

– Это он, – едва ли не задыхаясь, прошептал Леонид Валентинович. – Уверен, что это Саша. Ему столько же лет, сколько Борису Четвертому. Конечно же, для того она и послала этот журнал, чтобы я увидел сына. Посмотри, Бо, ты видишь, какой мальчик, волосы на пробор, носик кругленький, вся фигура... Ну, что скажешь?..

– Он действительно на тебя похож, – произнес Градов то, чего от него так страстно жаждал услышать Пулково.

Старый физик мгновенно просиял. Даже и в студенческие романтические годы Градов никогда не видел своего друга в таком коловороте эмоций. Он и сам неслыханно волновался. Этот Пулково, от него всегда ждешь неожиданностей, но такое! Завести себе семью в Англии, ну, знаете ли!

– Знаешь, у меня в кабинете есть великолепная лупа, – сказал он. – Сейчас мы рассмотрим твоего Сашу.

Они встали. Некоторое время шли в молчании. Показались уже крыша и мансардные окна градовской дачи. Борис Никитич вдруг остановился и заговорил, не глядя на Пулково:

– Как я понимаю, мы больше уже никогда не увидимся... во всяком случае, в этой жизни. Я хочу тебе сейчас сказать, Леонид, только одну, может быть, самую серьезную в моей жизни вещь. Мы с тобой никогда не говорили напрямую о событиях двадцать пятого года, об операции наркома Фрунзе. Так вот, невзирая ни на что, я остался и всегда остаюсь честным врачом. Понимаешь? Таким же русским врачом, какими были мой отец и дед...

Безупречный и сдержанный денди, профессор физики, после этих слов резко обнял Бориса Никитича и затрясся в рыданиях. Он бормотал:

– Бо, любимый... мой единственный друг... мой ближайший...

* * *

При большом пристрастии к словечку «мы» советская интеллигенция часто попадала впросак. Не скажешь ведь «мы проводим чистки», если самого тебя вычищают, «мы боремся с так называемыми врагами народа», если ты вдруг и сам оказываешься так называемым врагом. В последние дни Борис Никитич на теме «мы – они» почему-то заклинился. Относя себя с полным правом к «старорежимщикам», он обычно употреблял «они» по отношению к власти, но вдруг вот в разговоре с Пулково резануло, когда тот сказал: «Что-что, а разведка у них»... Чисто логическое недоразумение – у кого это «у них», у Запада, что ли, или у нас, у СССР? Ага, тут дело не только в логике, ты уже отождествляешь себя с этим государством. На тебе уже сказала их оглушающая тотальность. Ты уже и ворчишь, даже и яростью пылаешь в адрес «нас», а не в «их» адрес. Позвольте, говоря «мы», я имею в виду не режим, даже не государство, но общество, Россию, в конце концов. Однако припомни, говорил ли ты так когда-нибудь при старом режиме, при «гнилом либерале» Николае Романове? Ты всегда отделял «их» – царя, охранку, чиновников. Здесь же, признайся, произнося «мы», ты подсознательно включаешь сюда все, и, может быть в первую очередь, Сталина, Политбюро, Чеку, хоть и терпеть их всех не можешь...

В отчаянии он думал: ну как же я могу говорить «мы» и включать в это понятие тех, кто арестовал моих мальчиков? В ужасе он представлял своих

ребят в чекистской тюрьме. В городе ходят глухие слухи, что там применяются страшные пытки. Нет, все-таки это уж чересчур, у нас этого быть не может; «у нас»...

Сам он давно уже приготовился. Втайне от Мэри собрал себе чемоданчик «на отправку» – смену белья, свитер, умывальные принадлежности, – спрятал его в нижнем ящике стола в кабинете. В Первом медицинском, где у него была кафедра, уже прошла серия арестов. Брили пока из второго эшелона. То же самое происходило в Военно-медицинской академии. Ведущие профессора пока что не пострадали, но все ждали, что скоро и до них дойдет очередь.

– Ждете, батенька? – спросил его на днях старый Ланг. – Что касается меня, то я только лишь гадаю, куда раньше отправлюсь – на Лубянку или в более отдаленные пределы, куда они уже не доберутся.

Самое мучительное было дело – смотреть на Мэри. За несколько месяцев она постарела на десять лет, забыты уже были гордые позы, бурные выходы, стакато эмоций, давно уже она не прикасалась к роялю. Было видно, что она ежечасно, ежеминутно думает о Никите, о Кирилле, о внуках, о разрушающемся очаге, которым обычно так гордилась. Волна какой-то решительности иногда проходила по ее лицу, сменяясь выражением беспомощности и простоватости, которое Борис Никитич так обожал.

Дом погрузился в оцепенение. Даже старенький, хоть вполне еще мощный Пифагор реже увязывался за мальчишками в сад, предпочитая сидеть рядом с Мэри или, по крайней мере, на кухне возле Агаши. Последняя не заводила больше тесто для своих сокрушительных, всеми столь любимых пирожков, и даже банки с вареньями и соленьями на зиму закатывала без прежнего энтузиазма. Слабопетуховский, успевший за это время жениться на дочери начальника управления милиции и обзавестись даже детками, дружбы с Агафьей и ее граненым графинчиком не прекратил. Часто он являлся теперь сумрачный, сидел на кухне, сообщал Агаше, что в «сферах» о градовской даче говорят нехорошее, уже как бы прикидывают, как ею распорядиться в недалеком будущем.

– Что же ты посоветуешь, Слабопетуховский, что же посоветуешь? – отчаянно вопрошала Агаша.

– Нечего тут советовать, – сумрачно отвечал Слабопетуховский. – Моя информация на них сейчас не влияет. Сходите в церковь, свечку поставьте, вот и весь совет.

Вероника после нескольких недель полупрострации стала понемногу приходить в себя. Каждые два дня она отправлялась на Лубянку навести

справки о муже. Всякий раз она получала один и тот же ответ: «Следствие продолжается, передачи и свидания не разрешены». Очереди к этим окошечкам, за которыми сидели энкавэдэшные люди-автоматы, были невыносимы. Широколицые, мыльного цвета, не поймешь какого пола люди-автоматы. Никогда не знаешь, есть ли у него на самом деле какие-нибудь сведения или просто так отбрехивается. Никакие улыбки на них не действуют, как будто оскопленные там сидят.

Что касается более широких слоев мужского населения Москвы, то они, несмотря ни на что, как и раньше не оставались равнодушными к явлениям Вероники. Иные представители так просто вздрагивали при виде ее, как будто к ним приближалась воплощенная мечта жизни. При всем трагизме своего положения, Вероника не разучилась наслаждаться любимой столицей. Пройтись по Кузнецкому, по Петровским линиям, «произвести впечатление» – в этом всегда было «нечто», и сейчас в этом осталось «нечто». Никита это прекрасно понимал и никогда не упускал возможности взять свою любимую с собой в командировку, в Москву. Уж он-то знал, что она не из дешевых, и если иногда позволяет себе кокетничать с мужчинами своего круга, то никогда на дешевые трюки не пойдет. Мужчин «своего круга» она и сейчас безошибочно угадывала в московской толпе и даже позволяла иным из них приближаться. Увы, как только они узнавали, что она жена того самого комкора Градова, их тут же как ветром сдувало. Однажды даже знаменитый и бесстрашный пилот Валерий Чкалов предложил подвезти ее в своей машине до Серебряного Бора, однако, узнав, кто она такая, тут же позорно засуетился, заторопился куда-то и пересадил ее на трамвай. То же самое происходило и на теннисном корте. Едва она появлялась, как все ее старые партнеры начинали безумно торопиться.

Мужчины в этой стране вырождаются, некому будет воевать.

Может быть, и в самом деле рискованно было сыграть с ней пару сетов на серебряноборском корте? Вот, например, член Инюрколлегии Морковьев осмелился, элегантно продулся и на следующий день исчез. Впрочем, часть партнеров и без ее вмешательства давно уже отправилась в места не столь отдаленные.

Что же, всех храбрых и честных пересажают, кто же будет воевать против империализма?

Вероника стала больше времени проводить с детьми, особенно с Верочкой, нежнейшим Божьим созданием, собирательницей гербария и неутомимой рисовальщицей. С Борей трудно было проводить больше времени, потому что он ей этого времени не давал, после уроков вечно

застревал в школе, в каких-то авиамодельных кружках, или вдвоем с Митей отправлялся на стадион.

В школе с ним сначала были неприятности. Однажды мерзкая училка математики стала его при всех распекать за плохо сделанные домашние уроки, за списанную у соседа по парте задачку и вдруг возопила, направив на одиннадцатилетнего мальчика карающий перст: «Теперь всем нам видно: каков отец, таков и сын! Яблоко от яблони недалеко падает!»

Борис IV пришел домой, захлебываясь от яростных слез. Вероника рванулась в школу забрать его документы. Директор, однако, убедил ее не делать этого: Борю все любят, он прекрасный футболист, давайте забудем этот плачевный эпизод, наш сотрудник перестарался, ведь сам товарищ Сталин подчеркивал, что «сын за отца не ответчик», давайте просто переведем Бориса в параллельный класс. Впервые в глазах постороннего человека Вероника прочла почти неприкрытое сочувствие. Трудно было удержаться от слез.

Словом, Боренька продолжал ходить в пятый класс той же школы на Хорошевском шоссе, где в седьмом классе обучался его ближайший друг и приемный кузен Митя, бывший Сапунов, почти уже забывший свою первородную фамилию в градовском клане. Несмотря на разницу в возрасте, мальчики были едва ли не безразлучны, вместе по авиамоделям, вместе на велосипедах, вместе на корте в ожидании сумерек, в ожидании, когда взрослые игроки разойдутся, чтобы успеть перекинуться хотя бы десяток раз почти уже невидимым мячом. «Игроки сумеречного класса», – иронически называл их, да и себя самого, еще один их приятель и бывший сосед Юра Трифонов.

– Вот подрастем, Борька, и тогда мы им покажем, гадам, – однажды сказал Митя, прервав разыгрывание этюда Капабланки. Борис IV немного огорчился: он думал, что выигрывает, а оказалось, Митя думает совсем о другом.

– Кому? – спросил он.

– Коммунистам и чекистам, – твердо сказал Митя. – Тем, которые наших батек загубили. Ух, как я их ненавижу!

– А Сталина? – тихо спросил Борис IV.

– Сталин тут ни при чем. Он ничего не знает об их делах, – уверенно рубил Митя. – Он великий вождь, вождь всего мира, понимаешь? Он не может знать обо всем. Его обманывают!

Их школа участвовала в ноябрьской демонстрации, и они вдвоем шли в рядах авиакружка, несли над головами свои модели. С приближением к Красной площади обоих мальчиков охватывало все большее, почти

ошеломляющее волнение, а когда появился Мавзолей и на нем отчетливо видное ярко-серое пятно Сталина в шинели, немислимый триумф, ликование, какое-то запредельное счастье охватило их и слило воедино с многотысячной ликующей толпой. Он там, он на месте, в главной точке страны, а значит, все будет в порядке, отцы вернутся, и справедливость будет восстановлена! Вот сейчас прикажи он мне умереть на месте, думал Борис IV, и не колеблясь – на пулеметы, на колючую проволоку, с торпедой под водой взрывать фашистский линкор! И с Митей, бывшим кулацким отродьем, творилось что-то похожее.

– Вот погоди, погоди, Борька, – шептал он, – вот вырастем и дадим Сталину знать, кто ему друг, а кто враг на самом деле!

Митя давно уже считал себя неотъемлемым членом градовской семьи и, в глубине души, матерью своей полагал Мэри Вахтанговну, а не взбалмошную, неряшливую Цецилию, свою, так сказать, мать по закону. После ареста Кирилла Цецилия как-то стремительно опустила, перестала даже причесываться, стирать рубашки, частенько от нее как-то резко и отталкивающе пахло, и это был запах беды, неизбежного горя и распада. Для Мити было сущей мукой бывать «дома», то есть в их маленькой комнатенке, коммунальной норе на пятом этаже так называемого Народного дома на Варварке, где эта женщина часами сидела за книгами, не произносила ни слова и вдруг начинала тихонько всхлипывать и скулить, глядя невидящими глазами на свой любимый бюстик Карла Маркса, что стоял у стены прямо под картой мира, кудрявой головой как бы подпирая ледяную подушку Антарктиды. Потом вдруг она вскакивала.

– Почему, почему ты все время хочешь туда? Ты мой сын, ты должен быть со мной! Ты голоден? Хочешь, сварю тебе суп?!

Она бросалась на коммунальную кухню разжигать примус, ломала спички, бестолково качала керосин, ничего не получалось, обжигала себе руки. Соседи грубо хохотали над гримасами «еврейки», Митя упрасивал:

– Тетя Циля, не надо мне супа. Дай лучше денег, я булку куплю и ливерной колбасы.

Супы Цецилии – опусы абсурда. Дед Наум, ее отец, пожимал плечами: «У нашей Цильки – взрослый ребенок? Это же парадокс века». Наконец приезжала Мэри, одна или с дедом Бо, и Митя отправлялся в свои родные края, где по ночам над большим и теплым домом раскачивались и гудели сосны, где бродил любезный друг Пифагор, где по утрам так радостно пахло свежими творожниками, где, наконец, был Борька IV, появившийся на свет, как все здесь говорили, для возобновления династии.

Кажется, именно Митя первый увидел, как подъехала к их воротам «эмка» с туго задернутыми шторами в боковых окнах. Он сам не знал, что его разбудило среди ночи. Был сильный ветер, сосны шумели, и вряд ли мотор легкового автомобиля был различим сквозь этот гул. Он глянул в окно и увидел, как в качающееся световое пятно фонаря въезжает кургузая каретка и останавливается прямо напротив их ворот.

Впрочем, может быть, и не Митя первым увидел чекистскую машину, а сам дед Бо, которого уже несколько ночей кряду мучила бессонница.

– Вот они, приехали, – прошептал он, как ему потом казалось, даже с облегчением и стал влезать в халат, чтобы открыть дверь долгожданным гостям. Мэри уже стояла за его спиной, как будто тоже не спала, а ждала.

Из машины не торопясь выгружалась ночная команда: мужчина в военной фуражке и в штатском пальто, надетом на форму, женщина в кожаном пальто и в мужской, хотя и по-дамски заломленной, кепке, младший командир со служебной овчаркой на поводке.

– Господи, собака-то зачем, чего вынюхивать, – пробормотал Градов.

Младший командир знающим жестом просунул руку через штакетник, оттянул щеколду калитки, пустил собаку и проследовал за ней. Мужчина и женщина прошли вслед.

Не торопясь, они приближались, в точности как персонажи кошмара. Собака не отвлекалась на запахи леса, которые вскружили бы голову любому нормальному псу.

Борис Никитич обнял жену:

– Ну, вот видишь, и за мной все-таки приехали.

Урожденная Гудиашвили вспыхнула и затряслась в последней грузинской отчаянной ярости.

– Я не пущу их в мой дом! Иди, звони Калинину, Сталину, хоть черту лысому!

Борис Никитич поцеловал ее в щеку, погладил по плечу:

– Перестань, Мэри, милая! Судьбу не обманешь. В конце концов врачи и там нужны. Глядишь, и выдюжим. Если не будет конфискации, постарайся поскорее продать дачу и переехать к Галактиону, в Тифлис. А сейчас... там в кабинете, маленький баульчик... я приготовил на этот случай...

Трясучка оставила Мэри. Сгорбившись, она отшатнулась от мужа и прошептала:

– Я давно уже знала про этот баульчик и еще шерстяные носки тебе туда положила...

Внизу уже звонили в дверь, один раз, другой, третий, потом послышался резкий наглый стук кулаком и сапогом, крики: «Открывайте! Открывайте двери немедленно!» Градовский дом в панике просыпался. Залаял Пифагор, прошелестела Агаша, прогрохотали сверху ребята. Борис Никитич решительно прошел к дверям, еще в халате, но уже в брюках и ботинках.

– Кто же это, Борюшка, в такой-то час? – прошептала Агаша. – Али на операцию тебя опять потащут?

Он открыл дверь и поразился выразительности открывшихся перед ним лиц. Что угодно было в них, но только не безучастность. Казалось, что они еле сдерживаются, чтобы не завизжать от упоения жизнью. Это были не просто специалисты ночного дела, но явные энтузиасты и большие ценители своей неукоснительной и безжалостной власти. Единственным бесстрастным профессионалом в группе была сука одной с Пифагором породы, и, только глянув на нее, старый пес заскулил в тоске и, пятась, стал отползать назад, пока не забрался в кухне под кушетку.

– Мы из НКВД, – сказал старшой в пальто. – У нас ордер на арест...

– Входите, – быстро проговорил Градов. – Я готов.

Много раз прорепетировав в уме эту сцену, он решил не выказывать никаких эмоций, как будто не с людьми имеет дело. Даже презрения к себе они от него не увидят. Как будто роботы-могильщики явились, а не живые существа.

Старшой усмехнулся. Он, очевидно, сталкивался и с такими, стойкими. Он был явно не робот. Ему нравилось смотреть, как кривляются беспомощные человеки, заподозренные в грязнейшем сифилисе – государственной измене.

Группа прошла внутрь. Старшой быстро оглядел всех присутствующих. Повернулся к Борису Никитичу и снова усмехнулся с каким-то возмутительнейшим презрением:

– Не беспокойтесь, профессор Градов. Мы не за вами. У нас ордер на арест гражданки Градовой Вероники Александровны, вашей невестки.

– Мамочка! Мамочка! – совсем по-детски закричал Борис I V. Вероника, только еще спускавшаяся по лестнице и завязывающая халат, разом села на ступени, уронила руки и голову.

– Вай! – на грузинский манер воскликнула Мэри и бросилась к Веронике.

Заплакала проснувшаяся в маминой спальне Верулька. Запричитала

Агаша. Плечи Вероники содрогнулись. Слышались какие-то странные, басовитые, казалось бы, совершенно не присущие ей рыдания.

Чекистка в кожанке вышла вперед и голосом опытного режиссера подобных действий возгласила:

– Всем проживающим на данной жилплощади надлежит собраться внизу, в столовой. Рекомендую не рыдать! Москва слезам не верит. Сейчас придут понятые, и начнем обыск.

Чекист с собакой криво улыбнулся Агаше:

– По-буржуйски тут живете, я погляжу! – Он заглянул под кушетку на съездившегося Пифагора. – Животное свое заприте где-нибудь в чулане, а то может и неприятность произойти. – Он выразительно похлопал по кобуре пистолета.

Борис Никитич был совершеннейшим образом ошеломлен и потрясен. Ни малейшей, даже самой подсознательной радости от того, что «не за ним», а за кем-то другим, от того, что остался на свободе, он не испытывал. В отличие, надо сказать, от Мэри, которая потом бесконечно казнилась, что в первом ее «вай», наверно, слышалась непроизвольная радость, все-таки ее самого близкого человека вдруг миновала чаша сия, в отличие от нее он был просто уничтожен таким поворотом. Удар, которого он столько ждал и был готов принять как мужчина, как деятель науки – твердой походкой русского врача по мученической тропе, пока не упаду, – этот удар вдруг направили на беззащитное, нежное существо, на ни в чем не повинную – как будто сам-то он в чем-то действительно был повинен – женщину! Тут уж ни о какой сдержанности, даже в адрес этих подлых роботов, речи быть не могло, он клокотал от ярости.

– На каком основании вы забираете не меня, а беззащитную женщину?! – вдруг закричал он на старшего.

Старшой сел к обеденному столу, разложил перед собой бумаги, нехорошо глянул на дрожащего старика.

– Вы бы лучше на нас голос не повышали, профессор. Ваша невестка проходит как соучастница по делу вашего сына Градова Никиты Борисовича. Давайте к делу. С какого времени проживает с вами гражданка Градова Вероника?

Пришли в сопровождении милиционера понятые. Ими оказались киоскерша с трамвайного кольца и... не кто иной, как товарищ Слабопетуховский. У последнего на лице мрачно уже отразились все превратности его жизни. Весь обыск он молча просидел в углу, словно истукан с островов Пасхи.

На всю процедуру задержания ушло часа два-три. Поскольку

гражданка Градова В.А. проживала не отдельно, а как бы во всем этом доме, обыску подлежал весь дом, однако идиотский этот обыск был проведен только лишь для формы. Сержант со служебной собакой прошел для чего-то по всем комнатам. Собака явно не понимала, чего от нее хотят, нервничала, то приседала на лапы, тормозила без причины, то куда-то бессмысленно устремлялась. Чекистская баба прошуровала библиотеку, опять же ничего относящегося к делу не нашла, кроме каких-то фотоальбомов, где молодой Никита попадался на снимках в компании с другими командирами РККА.

– Не смейте трогать! – закричала Мэри Вахтанговна. – Это наши! Это не ее и не его альбомы! Наши! Мои и мужа, заслуженного врача РСФСР, трижды орденоносца! Руки прочь!

Перекосившись как бы от безразличия, чекистка швырнула ей альбомы назад, но затем взялась уже за дело основательно: составлялась опись личного имущества Вероники, то есть ее туалетов, совершивших немалый путь по дорогам двадцатого века из парижских магазинов в московские комиссионки, оттуда – на дальние рубежи социалистической державы и обратно в Москву в полной готовности снова повиснуть на комиссионных плечиках. Здесь были вещи, вызывавшие ярость чекистской бабы: шифоны, крепдешины, меховая шуба, теннисные ракетки, флаконы французских духов. Будь ее воля, за одни уже эти вещи поставила бы эту дамочку к стенке, сперва, конечно, как следует пропустив через ребят и девчат. В добавление к «шмотью» тут были опять же личные Вероникины фотоальбомы, пачки писем – какого черта они эти старые письма, да еще с засушенными крымскими цветочками, хранят? – ну и самое главное: сберкнижка и аккредитивы на изрядную сумму.

Старшой все это хозяйство аккуратно переписал.

– Вопрос о личном имуществе будет решен позднее, пока что мы концентрируем все это в комнате задержанной и комнату эту печатаем.

При слове «опечатываем» у Бориса IV расширились глаза. Он поймал себя на том, что процедура растапливания сургуча и приклеивания пломбы с печатью вызывает у него жгучее любопытство.

Вообще следует сказать, что все события последнего времени, аресты отца и дяди и вот теперь – матери, то есть катастрофический развал семьи, вызывали не только горе и уныние в душе мальчика, но и какое-то странное возбуждение, острейшее чувство новизны жизни. Он иной раз воображал уже себя отпетым бродягой, тертым пареньком, вроде героя Джека Лондона, что подался к устричным пиратам и промышлял с ними в заливе Сан-Франциско.

Вдруг он вздрогнул, услышав свое имя, произнесенное каким-то невероятным образом самим командиром отряда, хранителем сургуча.

– Градовы Борис Никитич, одиннадцати лет, и сестра его Вера Никитична, шести лет, временно, до особого распоряжения, остаются под опекой деда и бабушки. Вот здесь распишитесь, профессор.

– Что значит «временно»?! – вскричала Мэри, как раненая орлица. – Что значит «до особого распоряжения»?! Они всегда останутся с нами! До конца наших дней!

– Этот вопрос будет рассматриваться, – сказал старшой. – Не исключено, что государство возьмет их под свою опеку.

– Через мой труп! – возопила Мэри.

– Ты... – сказал старшой и внимательно посмотрел на нее, как бы давая понять, что при таких нервах у гражданки вполне возможен и названный ею вариант.

– Мэричка, успокойся! – Профессор обнял жену. – Детей мы им не отдадим ни в коем случае. Завтра же подаем заявление об усыновлении Бобки и удочерении Верули.

– Гы-ы-ы, – вдруг обнажил зубы проводник служебной собаки.

– В чем дело, Епифанов? – строго повернулся к нему старшой.

– Да так, товарищ майор. Просто подумал, что ребята-то будут не «Никитичи», а «Борисычи»...

– Ну, все, – сказал старшой. – Прощайтесь с родственниками, Вероника Александровна! – Он встал и вдруг поймал на себе взгляд подростка Дмитрия Кирилловича Градова, бывшего Сапунова, 1923 года рождения, взгляд, полный окончательной, непримиримой ни при каких обстоятельствах ненависти. Вот такие будут нас убивать, если что. Вот такие нас будут кончать всех до последнего младшего чина.

Мэри и Вероника слились в объятиях и залились слезами. Да неужели же когда-то существовало соперничество между двумя этими женщинами?

– Вероника моя, ласточка моя, голубушка моя...

– Ну, хватит сюсюкать, – сказала чекистская баба. – Пакости делать не сюсюкают, а сейчас рассюсюкались!

Вероника вытерла слезы и вдруг предстала перед всеми в совсем неожиданном, строгом и собранном образе.

– До свидания, дети, не бойтесь ничего. Вокруг не только звери, есть и люди. Боба, присматривай за Верулей. Митя, я тебя прошу позаботиться о моих детях. Дети, слушайтесь и берегите бабушку и дедушку. До свидания, Мэричка, родная. До свидания, милый Бо. Передайте мой поцелуй Нинке, Савве и Леночке. Подготовьте к новости моих родителей. До свидания,

Агашенька, всегда тебя буду помнить. Будьте здоровы и вы, Слабопетуховский!

– Будьте здоровы, дорогая и любимая Вероника Александровна! – твердо вдруг произнес Слабопетуховский. Гримаса прошла по его лицу, словно трещина по камню.

Глава девятнадцатая

«Мне Тифлис горбатый снится»

В Серебряном Бору еще царило оцепенение и разброд после страшной ночи, когда в квартире одного маленького счастливого семейства в центре Москвы протрещал будильник. Глава семьи, свежееиспеченный профессор и доктор наук тридцатичетырехлетний Савва Китайгородский, привычно протянул мускулистую руку и прижал колокольчик, чтобы не разбудил раньше времени жену и дочь. Тут только он заметил, что лежит в постели один, в полуоткрытую дверь увидел, что Нина в майке «Спартака» и в байковых шароварах копошится на кухне. Он счастливо и с хрустом потянулся. Поваляюсь еще минут десять, а если и опоздаю сегодня на полчаса, ничего не случится: профессор может себе позволить. Нинка, по всей вероятности, возится со своей «стенной печатью», сочиняет свои «хохмы». «Хохма», то есть шутка, была самым модным московским словечком, совсем недавно приплывшим в столицу из Одессы-мамы под парусами Леонида Утесова и «южной школы прозы». Все только и говорили: «хохма». Ну, есть новые «хохмы»? Вот так «хохма»! Прекрати свои «хохмы»!

Семейство Китайгородских принадлежало к совсем небольшому числу московских счастливцев, обладавших отдельной квартирой, а не комнатой в коммуналке. Один из пациентов Саввы, работник Мосгорисполкома, причем даже не крупный, а из среднего звена, в благодарность за успешную операцию так все это спроворил, по такому каналу сумел направить Саввино заявление, что в результате два года назад они получили однокомнатную квартиру в десятиэтажном, русского модерна доме по Большому Гнездниковскому переулку. Дом этот был уникален. Построенный незадолго до Первой мировой войны, он был похож скорее на отель, чем на обычный квартирный дом. Все дело в том, что он нацелен был на холостяков, молодых московских интеллигентов-профессионалов: юристов, дантистов, служащих банков и прочая. Каждая квартира в нем, или, как их иногда называли, «студия», состояла из одной, довольно большой комнаты с прекрасным широким окном, кухни и ванной (sic!). Нынче, конечно, какие уж там холостяки, все квартирки были забиты семьями, иной раз многолюдными и разветвленными, но больше одной семьи не вселяли, и потому все тут были счастливы и гордились – живем в отдельных квартирах! В доме до сих пор надежно функционировали лифты

и имелась замечательная, обширная, выложенная кафелем крыша, задуманная для прогулок молодых холостяков, погруженных в мысли о своих профессиях, о символистской поэзии, о дивидендах фондовой биржи, а главным образом о девицах. Нынче на крыше, разумеется, играли дети. Высокие стальные решетки, предотвращавшие дореволюционных холостяков от излишнего символизма, ныне надежно предотвращали детей от излишнего подражания стальной авиации.

Телефонов в квартирах не было, но зато – по счастливой иронии судьбы – весь десятый перестроенный этаж занимало гнусное издательство «Советский писатель», и Нина могла в любой момент забежать к какой-нибудь подружке в кабинет и «брякнуть» оттуда.

Да и до «Труженицы» было буквально две минуты хода – направо на улицу Горького, через нее и еще раз направо, за углом на Пушкинскую, вот и все. Нина продолжала сотрудничать в «Труженице», несмотря на то что ее друг, заведующая отделом Ирина, уже несколько месяцев как пропала. Пропала, и все, и – с концами. А где же Ирина? А у нас теперь, Ниночка, новая заведующая, вот познакомьтесь: Ангелина Дормидонтовна, ударница труда из Гжатска... Очень приятно, но где же Ирина? Она у нас больше не работает. А где же она сейчас работает? Ну, Нина, право, не задавай наивных вопросов. Ах, вот как, опять все то же, все из той же оперы, был человек и пропал, и не задавайте наивных вопросов – вот так «хохма»!

В иных кругах московской интеллигенции бесконечный круговой террор НКВД вызывал уже не ужас, а черный юмор, юмор висельников. В своей кухне Нина, например, повесила плакат, обращение к благоверному: «Если тебя заберут раньше и в мое отсутствие, проверь, выключил ли газовую плиту и электрические приборы!» Так все-таки было немного легче жить. Пропавшая Ирина была не права, остатки юмора все-таки выручали, ну, а бегство от него ничуть не спасало. Во всем остальном, если допустимо сказать «остальное» об остальном, жизнь Нины с Саввой можно было бы назвать почти счастливой. Леночке шел уже третий год, оба в ней души не чаяли. В романтическом смысле Нина, что называется, «перебесилась». Прежде всего она вдруг обнаружила, что давний ее вздыхатель, смешноватый интеллигентик Савва, исключительно красив. В прежние времена она почему-то никогда не обращала внимания на его фигуру и, только разделив с ним постель, нашла его плечи широкими и мускулистыми, талию гибкой, бедра узкими и длинными. Когда он склонялся над ней и спадали вниз его светлые волосы, он казался ей истинным северным рыцарем, сущей «белокурой бестией». Сильный, сладостный любовник, верный муж, настоящий джентльмен, чудесный

друг – что еще нужно женщине, даже если она и считается «противоречивой поэтессой».

Что касается Саввы, то он не только не думал о чем-то еще дополнительном, не только не анализировал свою семейную гармонию, он просто и представить себя не мог с какой-либо другой женщиной. Конечно же, он страдал иногда. Я не могу дать Нинке всего, что ей нужно для творчества. Она поэт, ей нужны временами крутые виражи, взлеты и падения, какие-то «американские горы» эмоций, иначе музы отлетят от нее, а я ей даю только свою любовь, ровное повседневное движение. Ну, что ж...

Нине иногда даже казалось, что он выписал ей своего рода свободный билет на кратковременные спирали. Так, она была почти убеждена, что от него не ускользнули несколько ее встреч с только что вернувшимся из Европы Эренбургом. Знаменитый «московский парижанин», поэт и мировой журналист... Она увидела его в «Национале» сидящим в одиночестве у окна, с трубкой в зубах, над стаканом коньяку... Она даже споткнулась, как взятая вдруг под уздцы лошадка. «Вон Эренбург, только что из Испании и, конечно же, через Париж. Хотите познакомиться?» – сказал кто-то. Все было ясно с первого же момента. Они встретились несколько раз на квартире его друга. Он сидел на подоконнике, смотрел, как всегда, в сторону, читал ей из записной книжки: «Прости, что жил я в том лесу, Что все я пережил и выжил, Что до могилы донесу Большие сумерки Парижа»... Она, как когда-то с другими поэтами, а иногда и с мерзавцами, сама расстегнула ему рубашку. Казалось, вот возвращаются прежний хмель и туман, жадно проглатывается некая квинтэссенция существования. Кто-то дал ей понять, что органы буквально ходят по пятам за Эренбургом, а значит, и ее уже взяли «на заметку», но она это вряд ли тогда и расслышала, и, уж конечно, меньше всего думала она об «органических соображениях», когда внезапно с горечью обнаружила, что все испарилось и встречаться больше не нужно. Тайна сия вылилась в итоге в стихотворный цикл, о котором причастные тайнам говорили с двусмысленными улыбками, а поэтесса, вдохнув всей грудью перед лицом свежего бурного моря, вернулась к своему мужскому идеалу, профессору Китайгородскому.

Что ж, я знал, на ком женюсь, думал Савва. Я знаю ее уже так давно, знаю ее в тысячу раз лучше, чем она меня. В конце концов она – мое счастье именно в том качестве, в каком и существует.

Он потянулся еще раз и резко выскочил из-под одеяла. Сделал растяжку левых конечностей, потом правых конечностей. Десять приседаний. Стойка на руках. Потом пошел вытаскивать из постели Еленку.

– Вставай, моя оладья, на работу пора, – сказал он ей.

Девочка свое детское учреждение давно уж называла «работой».

С дочкой на руках он прошел в кухню и увидел, что Нинка и в самом деле прищипливает к стене новый плакат, на котором он сам изображен в лестно-карикатурном виде и покрыт стихоплетством.

*Молодой профессор Савва —
Нашей хирургии слава.
Привлекательный мужчина,
Незнаком с тоской и сплином.
Патефон вчера купил,
Увеличил ценность скарба.
Телеграмму получил:
«Я люблю вас. Грета Гарбо».*

Н у, конечно, все замечательно поохотали, лучше всех Еленка. Читать она еще не научилась и требовала повторения стиха, чтобы запомнить и продекламировать «на работе».

– Только про Грету Гарбо не надо, Еленка, – сказала Нина, – а то разоблачишь наши связи с границей. Вместо «Я люблю вас. Грета Гарбо» читай «Одобряю. Доктор Карпов».

– Хорошо, – сказала Еленка. – Так даже лучше.

– Какой еще доктор Карпов? – возмутился Савва. – Твоя мать – неисправимая «синеглузница», Еленка. Конъюнктурщица. Ради Греты Гарбо я готов рискнуть своей шкурой.

Он потащил дочку умываться и сам принял душ. Личная ванная – ну, не роскошь ли, ну, не счастье ль? Потом варил дочке манную кашу. Нинка тем временем жарила яичницу. Все наконец уселись за стол.

– Что касается твоей шкуры, профессор, то она у тебя, как у слона, – сказала Нина. – Сегодня ночью лифт три раза поднимался и опускался, а ему хоть бы что, знай себе посапывает.

– А почему же мне не спать, если еще не моя очередь? – спросил Савва. – Едут за кем-то другим, а я должен вскакивать, да?

– Вот так логика! – восхитилась Нина.

– Ну, а кого взяли-то ночью? – небрежно так, с некоторой светской пресыщенностью поинтересовался он. Нинка в ответ тоже замечательно изобразила скучающую леди.

– Дворник сказал, когда я спускалась за газетой, что троих и взяли.

Никаких особенных сюрпризов. Ну, Големпольского взяли, Яковлеву Маргариту Назаровну, Шапиро... Последнего с женой.

– Значит, не троих, а четверых, – сказал Савва.

– Что? – спросила Нина, выискивая в газете радиопрограмму.

– Если Шапиро взяли с женой, значит, всего сегодня взято четверо, – сказал Савва.

– Ну, конечно, – кивнула Нина. – Големпольского взяли одного, Маргариту Назаровну одну, а Шапиро с женой вместе. Значит, всего сегодня взято четверо.

Еленка уже давилась манной кашей в ожидании взрыва хохота. Савва покивал с явным одобрением:

– Хороший улов.

Нина не выдержала, расхохоталась. Еленка залилась счастливым смехом. В этот как раз момент в дверь позвонили.

– Ну, вот и за пятым пришли! – радостно воскликнул Савва.

– А может быть, и за шестой? – лукаво предположила поэтесса.

Савва пошел открывать. Чепуха, конечно, органы по утрам не ходят, нигде еще не зафиксировано, чтобы в такой ранний час пришли, когда люди собираются на работу, у них и у самих, должно быть, в этот час-то пересменка. Может быть, просто телеграмму принесли от Греты Гарбо? Следует сказать, что страсть отдаленной голливудской красавицы к московскому доктору Савве Китайгородскому давно уже стала темой в семье и среди друзей.

А вдруг все-таки накликали мы беду своими хохмами, подумал Савва и открыл дверь. За дверью и в самом деле стояла беда в виде ближневосточной старухи с трагически сжатым ртом и ввалившимися глазами. Он не в первый же момент узнал в этой скорбной фигуре свою тещу, а узнав, воскликнул:

– Взяли отца?!

Впервые так назвал своего многолетнего научного руководителя.

Мэри глотнула воздуха, положила себе руку на сердце, потом покачнулась и схватилась за притолоку.

– Хуже, Саввушка, Веронику увели...

В этот момент выбежала Нинка, вскрикнула, увидев слабеющую и будто на глазах синеющую мать:

– Да что же ты стоишь, как остопоп! – подхватила Мэри, потащила внутрь.

После бессонной ночи Мэри Вахтанговна пошла на первый трамвай, чтобы застать своих в Большом Гнездниковском переулке до ухода на

работу. Трясаясь чуть ли не час в духоте и давке, она боялась умереть. Может быть, только горькие мысли и спасали ее, отвлекали от сползания в пучину. Но потом опять, уже без мыслей, а только лишь в состоянии горя, полной беды, она начинала соскальзывать. Одна пассажирка даже поинтересовалась не без участия: «Что с вами, гражданочка? Вы откуда?» – но тут ее остановка подошла, и она стала пробиваться к выходу.

Савва и Нина уложили мать на кушетке в кухне, открыли форточку, натащили подушек и одеял. Приняв большую дозу капель Зеленина, Мэри стала возвращаться к жизни. Черты ее смягчились, синева уступала место обычным краскам.

Она приехала к Нине и Савве, чтобы посоветоваться. Больше ждать нельзя, иначе все мы будем уничтожены. Из всех наших детей остались только вы да Цилька, но от Цильки толку мало: она только и делает, что пишет одну за другой докладные записки в Центральный Комитет, объясняет, как правильно Кирилл толковал различные установки генеральной линии. В общем, я решила действовать. Не могу я в конце концов сидеть сложа руки и смотреть, как мои дети один за другим исчезают в этих застенках. Что я могу сделать? Быть может, ничего, а быть может, много. Я все-таки грузинка, и Сталин все-таки грузин. Пробьюсь к нему! Мэри совсем уже забыла о своем самочувствии. Глаза ее горели, как к финалу браваурной увертюры Россини. Она отправится в Тифлис, поднимет все свои старые связи, всех родственников, всех друзей, установит цепочку, по которой можно будет пройти и постучаться в двери к Сталину. Все грузины все-таки родственники, так или нет? Ну, что ты скажешь, Нина? Что ты скажешь, Саввушка?

Савва, изумленный, молчал. Для него идея найти такую вот грузинскую «цепочку» к Сталину звучала пока, точно напрашиваться в родственники огнедышащему дракону. Он никогда прежде не думал о Сталине как о грузине, вообще как о homo sapiens. Он, например, не мог себе представить его своим пациентом, с общечеловеческим анатомическим строением.

Нинка несколько минут сидела в задумчивости, уж она-то знала Тифлис лучше, чем кто-либо другой из этой троицы, потом сказала:

– А знаешь, мама, в твоей идее что-то есть. Надежды, конечно, мало, но все-таки она где-то там брезжит. Зверства хватает и в Грузии, но там иногда, и нередко, и порой в самых неожиданных проявлениях, люди вдруг возвращаются к своей сущности. Здесь же – один Молох...

Мэри вдохновилась. Конечно! Возьми только одного моего брата Галактиона, он знает весь город, и его знают все! Он пойдет куда-то на пир,

поговорит с одним, шепнет другому. Почти уверена, что он найдет для меня доступ к Берию, а через него... Есть и другие возможности. Я слышала, например, что мой племянник Нугзар Ламадзе сделал большую карьеру...

Нина схватила ее за руку:

– Только к этому не приближайся, мамочка. Это страшный человек, он... – Она осеклась.

Мэри внимательно на нее посмотрела:

– Ну, я просто к примеру вспомнила про Нугзара, можно и без него...

В кухню прибежала Еленка. Над головой она держала куклу с подрисованными усами и бородой, кричала торжествующе:

– Мама, баба, смотрите! Это была Грета Гарбо, а теперь стал доктор Карпов!

Мэри не была в родном городе уже больше десяти – одиннадцати? двенадцати? – лет, словом, с декабря двадцать седьмого, когда она сопровождала свою «беспутную левачку» – язык не поворачивается сказать «опрометчивую троцкистку» – в безопасную фармацевтическую гавань, к дяде Галактиону. С тех пор имя города было переименовано на Тбилиси, чтобы полностью устранить колонизаторский оттенок. Тбилиси, Тбилисо звучит в самом деле более по-грузински, против этого она не возражала, хотя сама предпочитала называть город на старый лад. В «Тифлисе» для нее звучал не колонизаторский, а, скорее, космополитический оттенок; это был город-базар, город-карнавал, проходные ворота с Запада на Восток.

Подъезжая к городу, она привела себя в порядок, причесалась, седеющую косу забрала в пучок на затылке, подмазала губы хорошей помадой, надела Вероникину шляпку, не попавшую в энкавэдэшную опись. Посмотрела на себя в зеркало – ими был богат «международный» вагон – и осталась довольна: достойная, впечатляющая дама средних лет в шляпке и меховой жакетке, купленной у Мюра и Мерилиза в 1913 году; меховщики старой России знали свое дело!

Так она и сидела, в шляпке и жакетке, молча смотрела в окно, пока по мягким холмам осенней раскраски к ней подплывал Тифлис. Вдруг вспомнились короткие годы независимости. В самом начале Гражданской войны ей удалось выехать с маленькой Нинкой из голодной Москвы на юг. Шестнадцатилетний Кирилл наотрез отказался ехать с ними. Искать убежища от Революции, ну уж, знаете ли! Единственное, что он обещал, – не поступать к Никите в полк до окончания школы.

Разгоревшаяся на многотысячные версты Гражданская война напроць отрезала Тифлис от Москвы. В Грузии правил меньшевик-либерал Ной Жордания, возникла независимая республика. Повсюду бушевало

злодейство, царил глад и мор, а за Кавказским хребтом свободные грузины совместно с армянами и персами, русскими, греками и евреями сидели под каштанами, пили вино и тархунный напиток Лагидзе, ели свежий лаваш, редис, травы, неплохой по нынешним временам шашлык, как всегда, исключительный сациви с орехами, лобио, рыбешку цхвали.

В Тифлисе исключительно расцвела артистическая жизнь. Еще в германскую многие поэты и художники из столиц рванули на юг, чтобы не попасть под призыв, ну, а потом бежали уже от красных, от белых, от зеленых, то есть от всех, кто не понимал, что именно революция в искусстве спасет мир, а не банальные пушки, не вульгарные шашки, не пошлейшие массовые убийцы-пулеметы.

Открывались повсюду маленькие театрики и кафе богемы. Поэт-футурист Василий Каменский читал свою поэму «Стенька Разин», скача по манежу цирка на белом жеребце. Сергей Городецкий в своем журнале символистов за милую душу издевался над правительством. Ной Жордания однажды был изображен на обложке в виде преомерзительнейшего козла. В ответ на издевательство премьер улыбнулся: «Эти поэты!» Член группы поэтов «Голубые роги» Тициан Табидзе однажды столкнулся на Головинском проспекте с мэром Тифлиса. «Слушай, Тициан, почему мрачный ты идешь по моему городу с молодой женою?» – спросил мэр. «Негде нам жить, господин мэр, – пожаловался Тициан. – Нечем платить за апартаменты». Мэр вынул ключ из кармана: «Только что, Тициан, реквизиrowвал я особняк Коммерческого клуба. Там и живи ты с молодой женою, там и работай. Только лишь Грузию не лишай своих стихосложений».

Вот был пир и бал в ту же ночь в Коммерческом клубе, съехалась вся богема! И Мэри там была, ее затащил свояк, порывистый юноша-художник Ладо Гудиашвили. Перезнакомил со всеми: и с «Голубыми рогами», то есть с самим Тицианом, его друзьями Паоло и Григолом, и с молодыми москвичами и петербуржцами, футуристами, только что сомкнувшимися в группу «410», братьями Зданевичами, Игорем Терентьевым, со знаменитым скандалистом Алешей Крученых. Появился в ту ночь и бродячий бюджетлянин России, гениальный «председатель Земли» Велимир Хлебников. Явился еле живой, в лохмотьях, в расколотенных башмаках, в солдатских обмотках. Оказывается, пробрался через череду враждующих армий из Астрахани. Тут же был сбор объявлен в пользу Хлебникова. Мэри сняла с руки перстень. Он глянул на нее и задохнулся: она была с обнаженными плечами!

Да-да, вот так тогда еще случалось с мужчинами при взгляде на нее:

они задыхались – о, Мэри! И это несмотря на то, что Тифлис был полон молодыми красотками-поэтессами и художницами, а ей уж было тридцать девять.

За ней стал бешено ухаживать армянский футурист Кара-Дервиш. Приглашал ее на чтения в «Фантастический духан» и в «Павлиний хвост», на постановки абсурдных «дра» Ильи Зданевича в театр миниатюр. По возрасту он был ближе к ней среди этой молодежи, но ухватками забивал и мальчиков: то стрекозу на щеке нарисует, то большой «третий глаз». Она всегда на такие вечера брала с собой двенадцатилетнюю Нину, прежде всего, конечно, для того, чтобы подчеркнуть сугубо дружеский характер своих отношений с Кара-Дервишем, то есть отсутствие интимного характера в этих отношениях – господ, господ! – сугубо товарищеского характера.

Ах, что это были за вечера! Очень запомнился Илюша Зданевич, такой денди, всегда с иголки, бледный от сумасшедшей влюбленности в Мельникову. Ярый футурист, враг всей «блоковщины», он экспериментировал в своей зауми с непристойностями, с анальной темой, а на Мельникову смотрел с обожанием, будто блоковский герой на Прекрасную Даму. Как его «дра» назывались? Одна, кажется, «Янко, король Албании», другая «Жопа внаем»... кого-то там приклеивали к стулу, он никак не мог оторваться. Великолепнейший вздор.

Нинка смотрела на всех распахнутыми, будто озера, глазами, особенно на поэтических девушек – Таню Вечорку, Лали Гаприндашвили. Может быть, эти вечера и затянули ее в поэзию.

Вот Хлебников, братцы, опять Велимир появился, опять весь ободранный, читает что-то пророческое: «Грака хата чророро, линли, эди, ляп, ляп бем. Либибиби нираро Синоахо цетцерец!»

Мэри просили сыграть. Сыграй что-нибудь атональное, Мэри! Сыграй из «Победы над солнцем», вот тебе ноты! Мэри садилась к инструменту, если этим гордым словом можно назвать пианино в «Фантастическом духане», вместо атональной матюшинской музыки играла Бетховена. Гул голосов гас, затишалось шарканье «ошв, чихочох чах», как сказал бы поэт. Молодые люди явно не спешили «сбросить Бетховена с парохода современности». На лицах иных видела Мэри следы истинного волнения.

Все было так прекрасно и шатко в Тифлисе той трехлетней весной, он плыл, будто цветущая мраморная льдина в море крови и слизи, в море гражданского тифа, ковчег Ноя Жордания, – то ли потонет, то ли расколется; может, потому и прекрасно, что шатко; все испытывали головокружение.

Вот и у Мэри сильно закружилась голова, когда встретила его взгляд. Нет, это был не Кара-Дервиш, и пусть его имя никогда никому не откроется, имя того, кто был на пятнадцать лет младше ее и писал, конечно, стихи, того, с кем единственным она изменила своему Бо. В двадцать первом, когда все кончилось, ему удалось убежать за границу, и он пропал. Оттуда уже не возвращаются ни люди, ни их имена. Да и зачем это ей сейчас, без пяти минут старухе? Даже в памяти не нужно вызывать это имя, назовем его просто – Тифлис. Тем более не стоит вспоминать трагикомической стороны романтического порыва, тех небольших насмешек Венеры, которые он ей передал: тогда этого было трудно избежать. Все прошло, все промылось и прогремело чистейшим ключом в темно-синей ночи; пианиссимо.

К концу двадцатого года весь этот переселившийся к югу «серебряный век» испарился и отлетел куда-то, может быть, к своим истокам, к греческим островам. Грузинская республика агонизировала. В двадцать первом ввалилась Красная Армия, свободе пришел конец, и согрешившая Мэри вернулась с дочкой в Москву, где, как ей казалось, все еще оставался последний клочок независимости, дача с роялем и любящий Бо.

Тифлис, впрочем, вскоре снова ожил, при нэпе он снова зазвенел своими сазандариями, этот древний человеческий дом все-таки трудно превратить во вшивую казарму. Так или иначе, моя дочка через десять лет тоже, кажется, получила здесь свою долю «серебряного века». Так думала Мэри Вахтанговна Градова, урожденная Гудиашвили, подъезжая к родному городу.

* * *

На вокзале ее почему-то никто не встретил. Наверное, телеграмма не доставлена, такое случается, иначе здесь бы уже гремел голос брата, волоклись бы охапки цветов, уже на перроне провозглашались бы будущие тосты.

Извозчиков в Тбилиси больше не было, а такси достать невозможно. В растерянности Мэри не знала, что делать, – не тащиться же с тяжелым чемоданом на трамвае. Наконец увидела камеру хранения, оставила там свой багаж и поехала в центр города налегке. Жадно смотрела из окна трамвая на прогрохатывающие мимо улицы. Город в основном, конечно, не изменился, только к сизоватым его крышам, розоватым фасадам и глубоким синим теням прибавилось огромное количество красных полос – лозунги

социализма.

Она вышла из трамвая в центре и пошла пешком по бывшей Головина, ныне проспекту Руставели. Против такого переименования тоже трудно возразить – почему главная улица грузинской столицы должна носить имя русского генерала, а не восьмисотлетнее имя рыцаря царицы Тамар, казначея и поэта?

Увы, вдобавок к Руставели еще две грузинских личности украшали каждый перекресток – Сталин и Берия. «Да здравствует великий вождь трудящихся всего мира товарищ Сталин!», «Да здравствует вождь закавказских трудящихся товарищ Берия!» – там и сям начертано то грузинской вязью, то супрематизмом партийной кириллицы. Какие уж, впрочем, тут супрематизмы, все будетляне давно задвинуты в самые темные углы, сидят и пикнуть боятся, а многие уже и покинули этот мир, оказавшийся столь негостеприимным для их космического эксперимента. Искусство принадлежит народу и должно быть понятно народу! Вот какие парсуны соцреализма выставлены в окнах, вот какие воздвигнуты скульптуры пионера с планером, пограничника с винтовкой, девушки с веслом!

Мэри жадно смотрела по сторонам. Народ вроде бы остался все тот же: озабоченные серьезные женщины, дети с папками для нот и футлярами для скрипок – каждая «приличная» семья в этом городе считала долгом учить детей музыке, – все те же мужчины, их можно грубо разделить на ленивых и лукавых. Меньше стало людей в национальной одежде, почти не видно бурок, зато больше милиции. Почти исчезли лошади, курсирует троллейбус, катят авто, крутят, как оглашенные, мальчишки на велосипедах. Чего-то еще не хватает... Чего же? Ах, вот чего – постоянного тифлисского шума голосов, этого вечного клекота нашего странного языка, который прежде охватывал тебя со всех сторон, едва выйдешь на улицу. Заглушается моторами или говорить стали тише?

Меньше стало или даже почти исчезли с главного проспекта прежде бесчисленные ресторанчики, духанчики, кафе, подвальчики, террасы со столиками. Кое-что, впрочем, осталось. Вот, например, заведение «Воды Лагидзе» хотя и не носит больше презренного имени эксплуататора, по-прежнему демонстрирует знакомые с незапамятных лет стеклянные конусы с сиропами – ярко-бордовый, ярко-лимонный, ярко-темно-зеленый.

Мэри зашла в обширный зал и взяла стакан напитка. В углу торговали свежими хачапури. Запах был такой, что слюнки потекли. Чуть смешавшись, она заказала себе парочку на родном языке.

Продавец как-то странно посмотрел на нее, ответил на ломаном

русском. Съев хачапури, она отправилась дальше.

Вот здесь она обычно сворачивала с Головинской, когда шла к брату. Улицы все круче забирали вверх, вскоре она оказалась в кварталах старого города, где вроде бы вообще ничего не изменилось: крытые балконы, скрипучие ставни, крупный булыжник под ногами. Издалека, сверху доносилось какое-то пока еще не различимое пение. Скоро она уже выйдет к родным местам, к маленькой площади, к аптеке с двумя большими матовыми шарами над входом. Еще несколько минут, и она увидит своего брата, своего «бурнокипящего» Галактиона, который, конечно же, что-то придумает, найдет способ как-то помочь ее разгромленному семейству, во всяком случае, смягчит ее горе.

Пение приближалось, теперь она уже могла различить многоголосицу, креманчули. Странная, мрачная и тревожная песня, возможно донесенная из времен персидского нашествия. Старческие голоса. Заглянув во дворик, она увидела четырех стариков, сидящих вокруг стола под чинарой. Очевидно, они играли в нарды перед тем, как запеть. Закрыли глаза и ушли в далекие миры, в свою вековую полифонию.

Растревоженная пением, она вдруг почувствовала, что крутой подъем не дается ей даром, сердце стучит гулко и неровно, ноги отеки. Вот наконец видны уже и матовые шары. Вывеска «Аптека Гудиашвили» замазана так, что не различается. Но что это? И окна почему-то замазаны теперь белой краской, и ничего не видно внутри, и двери аптеки заколочены двумя крест-накрест досками. Похоже, что заведение по каким-то причинам закрыто. Ремонт? Инвентаризация? Для чего же тогда забивать дверь досками? Пройдя мимо главного входа, озадаченная, если не сказать панически перепуганная Мэри подошла к дверям, за которыми была лестница наверх, в квартиру фармацевта. Позвонила в знакомый ручной звонок и вдруг заметила на дверях еще два звонка, новых, электрических. Возле одного из них чернильным карандашом на дощечке было написано: «Баграмян – 2 раза», «Канарис – 3 раза». Возле другого коротко: «Бобко». Уплотнили? Это немыслимо! Неужели власти уплотнили знаменитого фармацевта, которого все в округе называют «благородным Галактионом»? Она еще раз нажала пружинку звонка. Внутри раздались шаги, чуть приподнялась штора на окне, кто-то глянул в дверной глазок. Послышался женский нехороший голос, как будто бы металлическая стружка посыпалась:

– Вам кого, гражданка?

– Я приехала к Гудиашвили! – громко, но с большим достоинством сказала Мэри в закрытую дверь.

– Таких здесь нет, – ответил голос из-за двери. Минута или две прошли в молчании. «Таких здесь нет» – это прозвучало как страшный абсурд. Все равно что спросить на Кавказе, в какой стороне Эльбрус, и получить ответ: «Таких здесь нет!»

– Позвольте, как это нет? – Голос у Мэри уже дрожал, уже бесконтрольно разваливался, заглушался подступающими слезами, комом слизи, ползущим вверх по гортани. – Я его родная сестра. Я приехала из Москвы увидеть брата, его жену Гюли, моих племянников...

Металлический стружечный смешок бессмысленно прозвучал в ответ. Потом густой мужской голос сказал:

– Они здесь больше не живут, гражданка. Уходите и наведите справки в пятом отделении милиции.

Двери так и не открылись. Штора упала. Глазок ослеп.

Приклоняясь к земле, стараясь не упасть, Мэри проковыляла прочь от дверей к середине площади и здесь закачалась, потрясенная, и зажата, и развеянная ошеломляющим чувством неузнавания пространства. Она бы упала, если бы кто-то не взял ее крепко под руку и не помог уйти с горба этой булыжной горы в боковую сумрачную улицу. Здесь она подняла лицо и увидела рядом знакомого с детства толстяка Авессалома.

– Мэри, дорогая, – зашептал он. – Тебе не надо было сюда приходить. Сейчас я тебя отведу к нам, переночуешь, а завтра – чем раньше, тем лучше – уезжай обратно. Тебе не нужно сейчас быть в Тбилиси, совсем, совсем не нужно здесь быть, милая Мэри.

* * *

Меньше всего на свете Нугзар Ламадзе хотел быть следователем по делу своего собственного дяди. Такое могло ему только присниться в страшном сне – сидеть напротив оплывшего измученного Галактиона в качестве неумолимого следователя, направлять ему в лицо слепящую лампу. Иногда все дело фармацевта Гудиашвили и троцкистской подпольной группы, прикрывшейся вывеской аптеки № 18, казалось ему подкопом под него самого, попыткой сбить с небосклона его стремительно восходящую звезду. С самого начала, когда он только услышал в управлении, что готовится арест Галактиона, он попытался отойти от этого дела как можно дальше, как бы не обращать на него внимания, благо и других дел было невпроворот. Вдруг однажды после застолья по поводу вручения республике переходящего Красного знамени старый его друг, а

ныне почти уже небожитель и вождь народов Закавказья отвел его в саду в сторону и спросил, что он слышал о деле аптекаря Гудиашвили.

– Знаю, Нугзар, что он твой родственник, понимаю, как тебе тяжело, и все-таки хочу тебя предупредить: среди некоторых товарищей бродит сомнение. И это естественно, согласись: ты – племянник, он – дядя. Все знают, что Галактион всегда издевался над нашей партией, над самой идеей, и в этой связи...

Тут Лаврентий Павлович сделал паузу, подошел к фонтану с русалками, подставил ладонь под одну из струй – говорили, что «вождь народов Закавказья» перенял свои паузы у самого Сталина, – долго играл со струей, тихо улыбался, казалось даже, что забыл – Нугзар молча стоял сзади на протокольном расстоянии, – потом вернулся к своей мысли:

– ... И в этой связи его приход к троцкистским ублениям, к последышам Ладоса Кахабидзе, никого у нас не удивил. Поэтому, Нугзар, как твой старый товарищ, как твой собутыльник и соучастник в молодых делах... – Он шаловливо засмеялся. – Помнишь еще «паккард» с тремя серебряными горнами? Словом, я бы тебе посоветовал взять все это дело на себя, провести самому все следствие, всем доказать, что ты настоящий, без страха и упрека, рыцарь революции.

Он издевается надо мной, мелькнуло у Нугзара, и он подумал, что мог бы сейчас кулаком по затылку оглушить Берию, а потом бросить его башкой вниз в фонтан. Или он просто издевается надо мной, что все-таки маловероятно, или он испытывает меня. Может быть, он лепит из меня самого преданного ему человека? Он собирается идти еще выше, и ему нужен самый преданный человек, а для этого он поначалу должен этого человека сломать.

Так или иначе, подполковник Нугзар Ламадзе, который был уже начальником отдела и восходящей звездой наркомата в общесоюзном масштабе, стал следователем по делу заурядного аптекаря Гудиашвили. В течение всего следствия он не допускал никакой фамильярности, не называл Галактиона «дядей», обращался по инструкции на «вы», неукоснительно предписывал «конвейер», когда упряма испытывали бессонницей и жаждой. Единственное, что он себе позволял в отступление от инструкции, – выходил из следственной комнаты, когда являлись по его вызову два сержанта поучить мерзкого старика уму-разуму.

Если сегодня не подпишет, сразу вызову сержантов, а сам уйду на полчаса, думал Нугзар, глядя из темноты на расползшийся под яркой лампой мешок дерьма, что был когда-то его громогласным, жовиальным дядей Галактионом. Пусть этот мешок дерьма пеняет на себя.

– Ну, что ж, подследственный Гудиашвили, опять будем в молчанку играть? Советую вам прекратить эту глупую игру, ведь практически нам все уже известно о том, как вы превратили свой дом и советское учреждение, аптеку номер восемнадцать, в прибежище троцкистского подполья. Известно и когда это началось, а именно в тот день в тысяча девятьсот тридцатом году, когда к вам приехал близкий друг Троцкого, лазутчик Владимир Кахабидзе. Ну, что ж, Гудиашвили, опять в молчанку будем играть?

Дядя Галактион с трудом разлепил разбитые губы под некогда роскошными, а ныне слипшимися и пожелтевшими усами:

– Нет, сегодня поговорим, дорогой племянник, сегодня я тебе кое-что скажу.

Нугзар ударил кулаком по столу:

– Не смейте называть меня племянником! У меня нет в дядях троцкистских подголосков!

– Вот я про это и хотел тебе сказать, Нугзар, то есть, простите, гражданин следовательно, – продолжал Галактион, будто не обращая внимания на окрик. Было такое впечатление, словно он на что-то решился и теперь уже не отступит. – Вы говорите, что я с троцкистами снюхался, как будто вы забыли, что троцкизм – это одна из фракций коммунизма. Как будто ты забыл, что меня всегда тошнило от всего вашего проклятого коммунизма во всех его фракциях. От всего вашего грязного дела! Ты понял меня, шакал?!

Галактион теперь сидел выпрямившись, глядел прямо на Нугзара, в глазах его поблескивали застывшие торжественные молнии. Вал ярости выбросил Нугзара из его кресла. Ничего не помня, он схватил со стола тяжелое мраморное пресс-папье и со всего размаха ударил им Галактиона прямо в лоб. Как был с этими застывшими молниями в глазах, так с ними Галактион и свалился на пол. Ноги и руки дернулись пару раз, изо рта выплеснулась какая-то жидкость, после чего он затих, то есть снова превратился в мешок дерьма. Нугзар стоял над ним. Скотина проклятая, наконец подумал он, ты всегда надо мной издевался. К этому жопошнику Отари ты серьезно относился – ах, такой поэт! – а меня считал щенком и шутком. Вы, Гудиашвили, всегда к нам, Ламадзе, снисходительно относились. Мразь, белая кость, считали нас ниже себя. Старый идиот, ты

даже не понимаешь, что я тебя от расстрела спасаю, шью тебе пособничество, а не прямое соучастие...

Дверь кабинета открылась. Пользуясь особыми правами, без стука козочкой влетела секретарша, младший лейтенант Бридаско, простучала каблучками по паркету, обогнула лежащее на полу тело, даже не взглянув – большое дело! – жарко зашептала своему чудесному красавцу начальнику:

– Ой, товарищ подполковник, сейчас вам такой звонок был, такой звонок! Прямо от него звонили, Нугзар, прямо от Лаврентия Павловича! Сказали, что он тебя ждет у себя прямо сейчас! Воображаешь?!

Нугзар мрачно глянул на восторженную комсомолку. Дурочка, не знает, сколько мы бардачили вместе с этим «самим», с Лаврентием Павловичем, с «вождем народов Закавказья». Он ткнул носком сапога лежавшее тело. Тело не ответило на толчок никак, как будто именно мешок с чем-то. Нугзар покрылся испариной, еле сумел скрыть охвативший его ужас. Движением ладони приостановил несколько неуместное в смысле интимности движение бедер младшего лейтенанта Бридаско.

– Вызовите доктора, – сказал он ей. – Кажется, плохо с сердцем у последственного Гудиашвили.

После чего обогнул этот «мешок с чем-то» и быстро вышел из кабинета.

* * *

Он всегда боялся Лаврентия. Каждая встреча с мерзавцем – именно это слово и употребил Нугзар, размышляя на эту тему, – казалась ему посещением клетки с хищником, и не такого, как тот бестолковый медведь, с которым Нинка когда-то, в тот день, звездный с самого утра, целовалась, а настоящего, подлейшего хищника и истребителя, ягуара. Правда, после общения в течение нескольких минут этот образ бессмысленной и неотвратимой опасности пропадал. Начинали мелькать более добродушные метафоры – свинья, горилла, просто подлый человек. Ну, а под пьяную лавочку оказывался Лаврик любезным дружком, не более подлым, чем ты сам, такая же, как и ты сам, горилла и свинья.

У Берии в здании ЦК был теперь новый кабинет, в котором Нугзар еще не бывал, вернее, не кабинет, а анфилада комнат, начинавшихся приемной, продолжавшаяся кабинетом и заканчивающаяся, очевидно, спальней, если опять же не клеткой с ягуаром. Повсюду креслица-рококо, пышные люстры, шторы тяжелого шелка; неизменные три портрета – Ленин,

Сталин и Дзержинский.

Нугзара провели прямо в кабинет и оставили одного. Через несколько минут вошел Берия, обменялся с подполковником товарищеским рукопожатием, после чего, оглянувшись, как бы для того, чтобы убедиться в отсутствии посторонних, крепко обнял дружка. Волна тепла окатила Нугзара, смыла всю гадость, свалившуюся на душе, в том числе совсем недавнюю – мраморное пресс-папье, неподвижное тело некогда любимого дяди... С удивившей его самой доверчивостью он ответил на объятие – вот друг, с ним я не пропаду.

Берия вынул из шкафчика красного дерева великолепный графин коньяку, два хрустальных бокала. После первого глотка тепла в душе еще прибавилось.

– Садись, Нугзар, – показал Берия на софу с ножками в виде грифонов и сел рядом.

Он мало изменился за последние годы, такие рано облысевшие ребята мало меняются с годами, только, конечно, несколько округлился, вернее, что называется, посолиднел. Повороты загадочно поблескивающего пенсне чем-то напоминали Нугзару всеобщего архиврага Троцкого. «На носу очки сияют, буржбузию пугают...»

– Охо-хо, – вздохнул Берия. – Чем больше власти, тем меньше свободы. То ли дело раньше-то, Нугзар, помнишь, с девчонками на «паккарде» и на дачку до утра! Вот были времена! И политические проблемы решали стремительно, по-революционному... Помнишь, Нугзар, как политические проблемы решали?

Он вдруг снял пенсне и заглянул в глаза друга далеко не близоруким взглядом, как бы мгновенно напомнил ему тот момент, когда Нугзар с пистолетом в руке распахнул дверь и увидел двух читателей, Ленина на стене и Кахабидзе под ним за столом.

– Да и мужские дела решались весело, Нугзар, а? – продолжил Берия и подпихнул ногу Нугзара своей круглой коленкой. – Впрочем, мы еще и сейчас с тобой ебари что надо, а, Нугзар? Слушай, давай, к черту, хоть на пять минут забудем о делах, давай об общей страсти поговорим, о женщинах, а? Знаешь, Нугзар, хочу тебе кое в чем признаться: люблю русских баб больше всего на свете! Гораздо больше люблю русскую бабу брать, чем какую-нибудь нашу грузинскую княжну. Когда русскую бабу ебешь, кажешься себе завоевателем, а? Обязательно чувствуешь, что ты как будто рабыню ебешь или наемную блядь, верно? Согласен со мной, Нугзар? Интересное явление, правда? Интересно, как вот в этом деле с полукровками получается. К сожалению, никогда не пробовал полукровки,

в том смысле, что полурусской, полугрузинки. А у тебя, Нугзар, случайно не было какого-нибудь дела с полукровочкой, а? Не поделишься опытом с товарищем? Что с тобой, Нугзар? Ну, не хочешь, не говори, никто же не заставляет.

Заместитель начальника следственного отдела по особо важным делам Нугзар Ламадзе чувствовал себя в этот момент так, как будто его одновременно швырнули и в котел с кипящей водой, и в ледяную прорубь. Обжигающие и леденящие волны шли не чередой, а одновременно через его тело. Тело окаменело, и в то же время в нем шла бешеная пляска нервов и сосудов. На грани обморока он соскользнул с кожаной поверхности дивана и припал перед Берией на одно колено.

– Лаврентий, прошу тебя! С той единственной ночи в тридцатом году я ни разу ее не видел, ни разу ничего не слышал о ней!

Берия встал с дивана, отошел в глубину кабинета, занялся наполнением бокалов. Нугзар, не вставая с колена, смотрел на его спину, ждал своей участи.

Он, конечно, врал. В 1934 году он приезжал в Москву и встречался с Ниной. Он все о ней знал: она была уже третий год замужем за доктором, известная поэтесса. А все-таки вряд ли забыла она ту ночку, говорил он себе. В это понятие «та ночка» входили для него чуть ли не вся его юность и, уж во всяком случае, весь тот день ранней осени тридцатого, кульминация приключений молодого абрека: спасение Нины из лап огромного зверя, покушение, убийство назойливого «читателя», ложь, театр, игра, шантаж и, наконец, полное и безраздельное обладание Ниной, словом, «та ночка»!

Приехав в Москву, он забросил все дела и два дня выслеживал свою цель. Он видел, как она выходила с мужем из отцовского дома, как они шли, смеясь и целуясь, к остановке трамвая, как расставались в центре, как Нинка шла одна, будто бы погруженная в свои мысли, будто бы не обращая внимания на взгляды мужчин, садилась на бульваре, шевелила губами, стишки, наверное, свои сочиняла, как вдруг делала какой-то решительный победоносный жест и беззвучно смеялась, как стояла в очереди в какую-то театральную кассу, заходила в редакцию «Знамени» на Тверском, как налетала вдруг на какую-нибудь знакомую и начинала трещать, будто школьница, как весело обедала в Доме литераторов, куда и он свободно проник при помощи своей красной книжечки и где продолжал наблюдение, оставаясь незамеченным, тем более что она и не особенно-то смотрела по сторонам.

Она была все так же хороша или еще лучше, чем в Тифлисе, и он, что

называется, дымился от желания, или, как Лаврентий бы грубо сказал, «держал себя за конец».

Однажды во время этой двухдневной слезки, преследования, или, так скажем, романтического томления, он подумал: а может быть, вообще не подходить к ней, вот так все оставить, такая колоссальная влюбленность на расстоянии, такой романтизм? Даже рассмеялся сам над собой. Хорош абрек! «Та ночь» обрывками замелькала в памяти. На второй день он к ней подошел у книжного развала в Театральном проезде. Она купила там несколько книг, собралась уже перебежать улицу к автобусу, но тут что-то попало ей в туфельку. Прислонившись к фонарному столбу, она вытряхивала туфельку. Он кашлянул сзади и сказал:

– Органы пролетарской диктатуры приветствуют советскую поэзию!

Признаться, он не ожидал такой сильной реакции на незамысловатую шутку. По всему ее телу прошла судорога, если не сказать конвульсия. Повернулась, и он увидел искаженное страхом лицо. Впрочем, судорога улеглась и гримаса страха пропала еще до того, как она поняла, кто перед ней. Отвага, очевидно, взяла верх. Так вот кто перед ней! Теперь она уже расхохоталась. Тоже, очевидно, сразу многое вспомнилось.

– Нугзарка, это ты?! Нашел способ шутить! Так человека можно и в Кащенко отправить!

Он обнял ее по-дружески. Ему так понравилась эта манера обращения: Нугзарка – как будто они просто такие приятели, которые когда-то волюнили вместе.

– Эй, Нинка, я уже все про тебя знаю, дорогая! – засмеялся он. – С кем спишь, с кем обедаешь – все известно недремлющим стражам отчизны!

– Вот то-то мне и кажется уже второй день, что за мной стали ходить, – сказала она.

Болтая, они пошли вниз по Театральному по направлению к гостинице «Метрополь», где он как раз и снимал номер полулюкс. Она сделала ему комплимент по поводу нового костюма. Ого, плечи широкие, брюки колом – настоящий оксфордский шик! Возле гостиницы он взял ее за руку и остановил.

Как и в «ту ночь», она посмотрела исподлобья и тихо спросила:

– Ну, что?

– Пойдем ко мне, – сказал он с немного излишней серьезнкой, с ненужной ноткой некоторой драмы.

Она тут же рассмеялась, пожала плечами:

– Ну, и пойдем! – И пошла вперед, беззаботно раскачивая связочку только что купленных книг. Вот так все просто, дитя двадцатых, плод

революционной антропософии.

Дальнейшее прошло совсем не так, как представлялось ему сотни раз в его закавказском отдалении. Все изменилось, «той ночи» уже не вернешь. И он уже не тот молодой разбойник, и она уже не та, что тогда, не пьяная, не отчаявшаяся, не загнанная в угол, иными словами, не добыча героя, а напротив – счастливая и в замужестве, и в своем деле, уверенная в себе и просто позволившая себе подсыпать чуть больше перцу в ежедневную пищу.

Все могло бы повернуться иначе, в сторону «той ночи», если бы она сначала решительно отказалась и только потом уж уступила под страхом, под угрозой разоблачения троцкистского прошлого. Он сам все испортил своим шутливым тоном, а она этот тон тут же с ловкостью необыкновенной подхватила, и вот он оказался – Нугзарка! – в дураках. «Той ночи» не получилось, не состоялось сладостного насилия над «жаждущей жертвой», как это он много раз определял в уме.

И еще что-то было, чего он не мог определить, но что делало ее совершенно самостоятельной и неуязвимой личностью. Только через полгода он понял эту неясность, когда до Тифлиса дошла новость о том, что Нина Градова родила девочку. Она была уже основательно беременна к моменту их встречи. Мадемуазель Китайгородская уже предъявляла свои права в ее чреве.

Одержимость своей кузиной злила и пугала подполковника. Вокруг берут тысячами народ, не имеющий никакого отношения к троцкизму, а ведь она-то, Нинка-гадина, как раз и была когда-то настоящей троцкисткой, уж он-то это точно знал, она была зафиксированным членом подпольной группы нынешнего эмигранта Альбова.

Зная специфику работы своих любимых органов, Нугзар понимал, что вовсе не обязательно в эти времена иметь реальные обвинения, чтобы загреметь на Колыму или «под вышку». И все-таки сосало под ложечкой: а вдруг так повернется, что все выплывет, и она, его мечта, девушка «той ночи», покатится – вообразить ее в лагерном бараке было немыслимо! – и он сам, на радость завистливой сволочи, будет вышвырнут из рядов, а потом смят и уничтожен.

В тридцать седьмом ситуация еще пуще усугубилась. После ареста братьев Нинку могли взять просто как родственницу. При всей слепоте карающей машины у нее есть нюх, и вынюхивает чужих она совсем неплохо.

Так и получилось. Полгода назад из Москвы «на доработку» пришло ее дело. Московское управление НКВД собрало материал на Градову Н.Б.,

родственницу осужденных врагов народа и обвиняемую сейчас в связи с агентом французской и американской разведок И.Г.Эренбургом. Никаких упоминаний не было о троцкистском кружке. То старое дело с донесениями Стройло проходило, очевидно, по другому департаменту, в том смысле, что где-то было навечно погребено в шкафах среди миллионов других папок. Новое же дело было прислано в Грузию для уточнения имеющихся сведений о связях Градовой с недавно разоблаченными врагами народа Паоло Яшвили и Тицианом Табидзе. Самое же замечательное заключалось в том, что Эренбург в это время постоянно ездил за границу и печатал в «Правде» волнующие репортажи с театра военных действий в Испании.

Нугзар ободрился этим обстоятельством и подумал, что при помощи небольшой хитрости можно будет попытаться спасти Нинку и ее семью. Ну, все-таки хоть в память о юности, что ли. Ну, у каждого ведь все-таки есть в душе «та ночка», та тучка золотая на груди утеса-великана, и у него вот эта проклятая Нинка с ее пышной гривой каштановых волос и вечно штормовой погодкой в ярко-синих глазах.

Он передал ее дело вместе с целой охапкой других самому ленивому из своих сотрудников и сделал так, чтобы оно, данное дело, казалось наименее значительным. Протянулось несколько недель, после чего Нугзар, придравшись к ленивому, устроил ему дикий разгон и перевел с понижением в Кутаиси. Дела же распределил между более расторопными сотрудниками, ну, а что касается заветной папочки, то ее он просто забросил на дно уходящего в архив ящика. Там оно может пролежать до скончания века, если, конечно, Москва вдруг не встрепенется, ну, а тогда уж – прощай, синеглазая ночка-тучка! – всю вину за неразбериху можно будет свалить на ленивого. Впрочем, по всем признакам в Москве в горячке массового ревтеррора тоже царил не меньший бардак, а может быть, оттуда как раз и распространялась наибольшая бардачность. Нугзар между тем следил за публикациями Эренбурга, все прочитывал внимательно и одобрительно кивал головой: сильный публицист, могучее перо, настоящий публицист-антифашист!

И вот сегодня такой ошеломляющий удар с самой неожиданной стороны. Сам Лаврентий знает про мои дела с Ниной! Может быть, она уже арестована, и мне сейчас будет предложено самому вести следствие, чтобы «погасить кривотолки среди товарищей»? А может быть, он сейчас уличит меня во лжи, взъярится, выхватит свой браунинг, который он носит всегда во внутреннем кармане пиджака, прямо над селезенкой, и застрелит меня вот здесь, на месте, где я стою на одном колене, словно католик в костеле? С ним такое случалось. Ей-ей, все знают, что несколько человек свалились

на ковер прямо в его кабинете. После чего он вызывал своих служащих и говорил: «Внезапный финал, плохо с сердцем. Уберите и смените ковер!» Ну, что ж, мне будет поделом! Жаль только, что это будет пуля, а не мраморное пресс-папье, но, во всяком случае, я хотя бы тут же сравняюсь во всех рангах с дядей Галактионом и не буду вести следствие моей ночки-тучки...

Берия подошел с двумя бокалами, наполненными удивительным по цвету – темный дуб с оттенком вишни – «Греми».

– Вставай, Нугзар, перестань дурачиться!

Нугзар вскочил, принял бокал из рук «вождя трудящихся Закавказья», чокнулся, выпил залпом. Берия расхохотался:

– Люблю тебя, подлеца!

Потом отставил свой бокал, нажал на плечи Нугзару, усадил на софу и глубоко заглянул в глаза, будто пробуравил.

– Я рад, что ты всегда меня понимаешь правильно, Нугзар. Теперь слушай новости. Дни маршала Ежова сочтены. Меня переводят в Москву, ты сам понимаешь, на какое место. Прямо по правую руку С а м о г о. Ты поедешь со мной.

Глава двадцатая

Мраморные ступени

Мрак и оцепенение царили в доме Градовых, как будто оставшиеся члены семьи боялись лишних движений, чтобы не разбазарить остатки тепла. Это напоминало военный коммунизм, когда топить было нечем, хоть и протапливались нынче по всем комнатам отличные «старорежимные» голландки, а из кухни частенько доносились запахи вкусной готовки. Из всех обитателей дома в Серебряном Бору, пожалуй, одна лишь Агаша развивала повышенную активность: беспрерывно носилась со стопками чистого белья, переставляла банки с соленьями и вареньями, то и дело затевала тесто, чинила старые одеяла и шторы, командовала истопником и шофером Бориса Никитича, ездила за свежими припасами на Инвалидный рынок. Так проходил у нее день, а к вечеру набиралось новых хлопот – загнать ребятишек на ужин, проверить постельки, подать к столу, убрать со стола и только уж потом приткнуться где-нибудь в кабинете возле Мэрюшки, покуковать под музычку великолепных композиторов прошлого.

Из замоскворецкой гражданочки неопределенного возраста Агаша начинала уже превращаться в неопределенного возраста бабусю из тех, на которых только диву даешься – как это они все успевают, как умудряются столь длительно и бесперебойно тянуть свои возы. В старые-старые времена, как была Агаша еще барышней мелкокупецкой гильдии, на масленичных гуляньях случилось ей страшно простыть и подхватить двустороннее воспаление яичников. С тех пор осталась она бездетной и бессемейной – кто ж возьмет такую? – и градовский дом стал для нее семьей, единственным пристанищем среди всемирного, как она выражалась, хавоса. Ну, а сейчас вот, чувствуя, что дом разваливается, борясь с внутренней дрожью, все-то Агаша бегала, все-то вылизывала, выскребала, все-то, опять же по ее выражению, узаконивала. Не может ведь рухнуть, казалось ей, такой ухоженный, такой теплый, сытый, «узаконенный» дом! Как же все-таки сделать, что бы еще такое придумать, чтобы не ходили по этому дому оставшиеся так, будто им вечно зябко. И все равно было зябко, колко, неудобно. Мэри вернулась из Тбилиси сама не своя, никакие смелые идеи ее больше не посещали. Настроившись на сугубо трагический лад, она только лишь ждала – кто следующий: Циля, Бо или единственный ее оставшийся ребенок, то есть Нинка, или за внуками вдруг придут безжалостные и уверенные в своей непогрешимости злодеи.

Нина, когда приезжала с Саввой и Еленкой подышать воздухом, не могла вынести застойно-трагического взгляда матери, начинала орать: «Перестань на меня так смотреть!» Мэри беспомощно бормотала: «Ниночка, я так боюсь, с твоим прошлым ты...» Нина начинала намеренно хохотать, потом подсаживалась к матери, целовала ее. «Мамуля, ну, мы же не можем так, сидеть и ждать... Мы жить хотим! А прошлое... да что с этим прошлым? Неужели ты не понимаешь, что сейчас за это не берут? Это тогда за это брали, а сейчас берут ни за что».

Глядя на нее, такую уверенную, как бы даже бесстрашную, полную юмора и вызова, Мэри немного успокаивалась: может быть, и в самом деле таких дерзких сейчас не берут? Зато Цецилия Розенблюм с ее бестолковостью, с ее опущенностью и марксистско-ленинской одержимостью, казалось ей, абсолютно обречена. Каждый ее приезд в Серебряный Бор казался Мэри чудом: как, еще не арестована? Все еще пишет свои апелляции, кассации, докладные в вышестоящие партийные органы, все еще доказывает невиновность Кирилла, его принадлежность к генеральной линии, верность Сталину? Цецилия тоже ее успокаивала: «Мэри Вахтанговна, вы же понимаете, мы проходим сейчас через неизбежный и необходимый исторический цикл. В условиях построения социализма в одной, отдельно взятой стране периодически возникают условия обострения классовой борьбы. Сейчас этот цикл близится к завершению, подходит время итогов, суммирования результатов, коррекции, вы понимаете, я подчеркиваю, коррекции принятых мер. И в результате этой коррекции, я уверена, Кирилл Градов вернется к нормальному плодотворному труду. Мы не можем себе позволить разбазаривание таких безупречных кадров!» – «Кто это „мы“, Циленья?» – печально спрашивала Мэри. «Мы – это партия», – уверенно отвечала золовка. Чтоб вас черт побрал, думала свекровь, уходила к своему единственному прибежищу, к роялю, перебирала минорные ключи.

Редкие случаи, когда в доме возникало какое-то подобие мажорной ноты, происходили после особенно сложных и удачных операций, проведенных Борисом Никитичем. Тогда открывалась бутылка вина из так называемой «московской коллекции дядюшки Галактиона». Агаша тут же вытаскивала из духовки пирог, как будто он давно уже там сидел и ждал, оживлялись и весело болтали дети, забыв о пропавших родителях, после ужина профессор просил жену сыграть что-нибудь «из старого репертуара», и она, скрепя сердце, играла.

В жизни Бориса Никитича, с одной стороны, как бы ничего и не изменилось. По-прежнему он читал лекции, оперировал, руководил

экспериментальной лабораторией, консультировал больных, в том числе и из Кремлевской поликлиники. По-прежнему приходилось ему иной раз и обед прерывать, и даже среди ночи вставать по срочному вызову. Надо сказать, что он никогда против этих тревог не роптал, всегда отправлялся туда, где его ждали, ибо такие вот экстремальные моменты всегда входили в его «философию русского врача», завещанную и отцом Никитой, и дедом Борисом. Теперь же, казалось Мэри, он бросался на эти вызовы даже с какой-то преувеличенной поспешностью, выходил к воротам еще до того, как прибудет автомобиль, как будто дом его тяготил и он пользовался любым случаем, чтобы поскорее его покинуть.

Старый Пифагор всегда считал своим долгом провожать хозяина до ворот. Теперь он сидел рядом с Бо в ожидании машины. Подняв воротник и нахлобучив шапку, профессор смотрел в глубину улицы, иногда опускал руку на голову Пифагору, произносил бессмысленное: «Вот так, Пифагор, вот так». Пес смотрел на него вверх влюбленным, но все-таки недоумевающим взглядом: при всем своем уме он не до конца понимал, что происходит в доме.

Ночная работа всегда вдохновляла Градова. Помощь, оказанная ночью, была благородным делом вдвойне. Ночной пациент почему-то был ему особенно дорог, любой ночной пациент, хоть и попадались теперь иногда среди ночных пациентов весьма странные штучки. Один из них, например, поверг недавно профессора в глубочайшее замешательство, вверг его в мучительные раздумья, как практического, так и философского порядка, впрочем... впрочем, давайте позднее расскажем об этих раздумьях, а пока повторим, что с профессиональной стороны жизнь Бориса Никитича Градова совсем не изменилась.

Другое дело – общественная жизнь именитого деятеля советской медицины. Прежде приходилось спасаться от приглашений в президиумы, от бесед с журналистами, от приема иностранных делегаций друзей Советского Союза. Теперь его как будто исключили, зловещий признак это – отстранение от так называемой общественной, полностью фальшивой и идиотской советской жизни. Были и другие признаки сгущавшейся опасности, прежде всего, разумеется, взгляды сотрудников в институте, в клинике, в лаборатории. Чаще всего он ловил на себе воровато-любопытные взгляды – как, мол, все еще здесь, а не там? – нередко замечалось отсутствие взгляда, отвод глаз в сторону, быстрое отвлечение к другому предмету, слепнущие вдруг от мысли глаза – что поделаешь, народ вокруг ученый, задумчивый, – иной раз он замечал взоры, полные молчаливой симпатии, которые тоже быстро упархивали прочь, их он

называл про себя «пугливые газели».

Это постоянное ощущение сгущающейся опасности вконец измучило Бориса Никитича. Он чувствовал себя в западне. Был бы один, бросил бы вызов – оставил бы все чины и посты и уехал бы в деревню, в сельскую больницу, или даже в Среднюю Азию, в горный аул. Увы, не могу себе позволить: пострадаю не только я, но все, кто от меня зависит, любимая семья, да и те, кто в узилище, от этого не выиграют.

Один из его пациентов по Кремлевке посоветовал ему написать прочувствованное письмо в самый высокий адрес и даже дал понять, что проследит за прохождением письма. Борис Никитич внял совету, засел за составление текста, мучился, вычеркивал, перечеркивал в поисках убедительных, верноподданнических, но в то же время и достойных фраз, думал даже привлечь на помощь профессиональную литературу, то есть поэтессу Нину Градову, но тут вдруг обнаружилось, что пациент тот, его доброхот, только что исчез, катастрофически провалился под поверхность жизни и поверхность за ним сразу же затянулась.

Так все это продолжалось в ужасе и оцепенении, на укороченных шагах и приглушенных фразах, пока вдруг однажды в его клиническом кабинете не протрещал телефон и женский голос, звенящая фанфара распирающего все существо энтузиазма, не произнес:

– Борис Никитич, дорогой профессор Градов, вам звонят из Краснопресненского райкома партии! Только что текстильщицы Красной Пресни выдвинули вашу кандидатуру в депутаты Верховного Совета! Мы хотим знать, согласны ли вы баллотироваться в высший орган власти нашей страны, представлять в нем нашу замечательную медицинскую науку?

– Позвольте, это звучит, как какой-то неуместный розыгрыш, – пробормотал Градов.

Ласково, радушно, ну, просто в стиле кинофильма «Волга-Волга», голос рассмеялся. Вот, мол, экий рассеянный профессор, отрешенный от жизни мудрец. Не знает, что по всей стране идет кампания выдвижения кандидатов!

– Ну, какой же розыгрыш, дорогой профессор, мы сейчас едем к вам – из райкома, и из райисполкома, и ткачихи, и журналисты. Ведь это же такое радостное, уникальное событие – ткачихи выдвинули профессора медицины!

Градов бросил трубку, заметался, едва ли не зарычал. Страна идиотов! Детей бросают в тюрьму, отца выбирают в Верховный Совет! Спасаться! Не отдавая себе отчета в происходящем, он уже влезал в пальто – домой,

домой! Единственный инстинкт еще работал и гнал его под родную крышу, но в дверь уже лез секретарь парткома, суший хмырь, скопление низких эмоций, который все это время кабаном смотрел, а теперь растекался, как яичница по сковородке.

– Борис Никитич, дорогой, какая честь для всего института!

Весь день прошел в немыслимой, поистине абсурдной круговерти.

Прибежали «робкие газели», в глазах восторг, обожание: ну, ну, значит, все прошло, все позади, значит, миновало? Любопытствующие тоже перли, в глазах вопрос: значит ли это, что и сыновей градовских теперь освободят? Прикатили и журналисты из «Московской правды», «Медицинской газеты», «Известий», полезли с карандашиками. Какова была ваша реакция на такую удивительную новость, товарищ профессор? Затолкав себя в кресло и не вылезая из него, он бурчал в ответ: «Весьма польщен, но вряд ли достоин такой чести...» Все вокруг восхищенно смеялись: вот, смотрите, экая бука, настоящий человек науки, что и говорить!

Первое ошеломление прошло, он стал думать об этом неожиданном выдвижении, которое, без сомнения, было скомандовано сверху, с очень больших высот, и все больше наливался мраком: дело, конечно, было замешано на говне. Трижды подумаешь, прежде чем принимать этот спасательный круг.

Вечером Мэри реагировала на новость весьма однозначно:

– Неужели ты пойдешь к этим дебилам, Бо?! Неужели примешь участие в этой комедии выборов?! Дашь свое имя палачам?!

Он ничего не ответил и ушел в спальню, хлопнув по дороге всеми имеющимися дверьми. На улице ждала машина, чтобы везти на собрание к восторженным текстильщикам. Он вышел из спальни при всем параде: темно-синий костюм, галстук в косую полоску, вполне безупречный джентльмен, если бы не три больших варварских ордена на груди.

– Кое-кто может себе позволить гневные риторические возгласы, я не могу, – сказал он, как всегда в минуты ссор, обращаясь к бюсту Гиппократу. – В отличие от некоторых безответственных и легкомысленных людей я не могу отвергнуть унижительного позора. Мне приходится думать о тех, кто в беде, и о семьях, которые, может быть, я смогу спасти своим позором. Мне приходится думать также об институте и о своих учениках! – С умеренной яростью поднял кулак, посмотрел, куда лучше ударить, ударил по обеденному столу, хорошо задребезжало, крикнул: – В конце концов, о больных, черт побери! – И вышел вон. В последний момент, перед тем как захлопнуть дверь, заметил, что Агаша крестится и Мэри крестится вслед за ней. Они обе довольны, подумал он.

Очень довольны, если не счастливы. Хоть на время, но главная катастрофа отошла, оплот не рухнул.

«Жить стало лучше, жить стало веселее!» – гласило короткое изречение, или, вернее, утверждение, а скорее всего, меткое наблюдение, выложенное аршинными красными буквами по окнам Центрального телеграфа и окаймленное электрическими лампочками. Засим следовало и имя меткого наблюдателя – И.Сталин, и его гигантский портрет. Ему и все приписывалось – улучшение и дальнейшее увеселение жизни. Особенно это касалось витрин магазинов на улице Горького. Как в газетах пишут: «Есть чем похвастаться московским гастрономам в эти предновогодние дни!» Тут вам и гирлянды колбас и фортеции сыра, пирамиды анчоусных консервов, щедрая россыпь конфет, обернутые серебром горлышки бутылок, как парад императорских кирасиров, ей-ей, не хуже. И вот потому-то и людской румянец живей мелькает сквозь мягкий снегопад, и смех как-то стал повкусней, и глазята бойчее. «Всех лучше советские скрипки на конкурсах мира звучат, всех ярче сверкают улыбки советских веселых девчат...»

Увы, остались еще и в нашей семье уроды, которых ничто не радует. Трое таких шли вверх по главной магистрали столицы, двое внешне приличных мужчин и одна даже привлекательная женщина. Все трое курили на ходу, вот вам и интеллигенция. Это были Савва Китайгородский, Нина Градова и ее старый друг по тифлисским временам, художник Сандро Певзнер.

Он только что приехал из-за гор и сразу наведлся к Нине, которую столько лет мечтал узреть во плоти, память о которой не затуманилась ни вином, ни романами, ни живописью. Он очень волновался, как его встретят замужняя Нина и ее супруг-доктор, но встретили его замечательно, едва ли не сердечно, сразу же показали, что он «свой», то есть человек их круга, которому доверяют и от которого ждут ответного доверия. Савва стал собираться за «горючим» к ужину, Сандро, естественно, как грузин не позволил ему отправиться одному в эту благородную экспедицию, тут и Нина за ними увязалась, так что решили вроде бы прогуляться, показать южанину новый центр Москвы.

В магазине, впрочем, разыгралась несколько неприличная сцена. Сандро не давал никому платить. Едва видел Нину у кассы, бросался к ней с пачкой купюр, едва замечал, что Савва собирается рассчитаться, тут же и его оттирал плечом, бросал кассиршам деньги, выкрикивал: «Сдачи не надо!» Ну, словом, грузин, богатый щедрый гость, восточный купец. Между тем его живопись не приносила ему почти ни копейки, и он работал

за паршивенький оклад в Худфонде, распространял по предприятиям полотна и бюсты вождей. Он был очень типичным грузином, этот Певзнер, он и выглядел как грузин, со своими усиками, в большой кепке и демисезонном реглане с поясом. Удивительна способность евреев приобретать черты народов, среди которых им довелось жить. Русского Певзнера вы сразу отличите от польского, а уж между грузинским и турецким Певзнерами совсем нет ничего общего. Так или иначе, утяжелив бутылками карманы, троика покинула «Гастроном» и медленно двинулась вверх, к Большому Гнездиновскому переулку. Непрерывно и ровно, чуть только завихряясь на углах, падал мягкий снег. В толпе мелькали люди с елками на плечах. Деды-морозы в витринах соседствовали с отцом трудящихся всего мира, который непреложно напоминал трудящимся о быстротечности ежегодной этой идиллии и о вечности пятилетки. Сандро рассказывал Нине и Савве страшные тбилисские новости: «Тициан взят и исчез, Паоло застрелился... „Голубые роги“ объявлены меньшевистской подрывной организацией. Степа Калистратов арестован и судим как троцкист. Он получил, кажется, десять лет, и пять лет поражения в правах. Отари, по слухам, просто был растерзан в НКВД...»

Нина сняла перчатку и на секунду приложила ладонь к щеке Сандро. Слухи о страшных арестах среди грузинской интеллигенции уже давно стали доходить до Москвы. Сандро подтверждал самые ужасные. Тут уж никакой «юмор висельников» не поможет – уничтожается жизнь не только взятых, но и оставшихся на свободе, прошлое начинает зиять огромными кубами пустоты, а самое страшное в том, что пустые объемы тут же пытаются прикрыть плоской двухцветной фальшивкой.

– Ты не женат, Сандро? – спросила она.

– Какое там, – вздохнул он. – Друзья пропадают, сам ждешь с минуты на минуту, разве тут до женитьбы. Даже любовницу сложно держать в таких обстоятельствах.

– Ага, любовницу! – сказал Савва.

– Да-да, – покивал Сандро. – Моя вечная мучительница. Нина ее знает.

– Ну, он живопись свою имеет в виду, – пояснила Нина. – Что ты сейчас пишешь, Сандро?

– Рыб пишу, птиц, мелкие фигурки оленей, куски пейзажа, предметы со стола, все в таких фантастических комбинациях, понимаешь. В общем достаточно, чтобы пришить формализм. Я – знаешь как, да? – иногда пару-тройку холстов отвожу тете в Баку. Может, хоть что-нибудь сохранится.

– Кажется, все-таки волна пошла на спад, – сказал Савва, – когда живешь в многоэтажном доме, это заметно.

– Послушайте, друзья!

У Сандро в его речи, сопровождаемой жестикуляцией, иногда мелькали какие-то странные движения, сходные с театром марионеток. Так и сейчас он обратился налево и направо, то есть к Нине и Савве, держа руки согнутыми в локтях и ладонями кверху.

– Послушайте, художник – это всегда глупый, интеллектуально отсталый человек. Я не понимаю, что происходит. Исторически, философски не могу найти объяснения этим делам. Вы мне не можете объяснить?

– Савва может тебе объяснить, у него своя теория, – сказала Нина.

Савва взялся объяснять:

– Вся современная история России выглядит как череда прибойных волн. Это волны возмездия. Февральская революция – это возмездие нашей высшей аристократии за ее высокомерие и тупую неподвижность по отношению к народу. Октябрь и Гражданская война – это возмездие буржуазии и интеллигенции за одержимый призыв к революции, за возбуждение масс. Коллективизация и раскулачивание – возмездие крестьянам за жестокость в Гражданской войне, за избиение духовенства, за массовое Гуляй-поле. Нынешние чистки – возмездие революционерам за насилие над крестьянами... Что там ждать впереди, предугадать невозможно, но логически можно предположить еще несколько волн, пока не завершится весь этот цикл ложных устремлений...

Сандро прошел несколько шагов в задумчивости, потом повернулся к Савве:

– А знаете, Савва, я готов принять вашу теорию.

– Но ведь это же метафизика, – с некоторой лукавинкой сказала Нина.

– Вот именно! – воскликнул Сандро. Несколько прохожих на него обернулись. Стоящий возле афиши человек с тростью и с трубкой в зубах, очевидный иностранец – они сейчас были редкие гости в Москве и поэтому мгновенно выделялись из тысяч, – вынул изо рта трубку и внимательно взгляделся.

– Мы что-то раскричались, – сказала Нина. – Забыли, что «Мы живем, под собою не чуя страны, Наши речи за десять шагов не слышны, А где хватит на полразговорца, Там припомнят Кремлевского горца»?

– Это, кажется, Осипа? – спросил Сандро.

– Да, и говорят, это стоило ему жизни, – ответила Нина.

– Неужели Осип?..

– Точно неизвестно, но, во всяком случае, он там.

Сандро быстро перекрестился.

– Крестишься, Сандро? – тихо спросила Нина.
Он смутился и не ответил.

* * *

Иностранец, это был американский журналист Тоунсенд Рестон, долго смотрел вслед этой троице, пока их спины не скрылись за снегопадом и мелькающими заснеженными прохожими. Он только что приехал, бросил чемодан в «Национале» и вышел на первую вечернюю прогулку. Эти прогулки прежде давали обычно ключ для его примечательных статей. Обстановка фальшивости, которую он ожидал увидеть, все-таки поразила его, ибо явно уже приобрела устойчивые надежные черты и никому, кроме него, не казалась фальшивой. Тем более невероятно было увидеть среди этого зловещего всеобщего театра сравнительно молодых людей, что медленно шли по течению толпы, погруженные в серьезный, грустный и совершенно отчужденный от фальшивки разговор. Русского за эти годы Рестон так и не выучил и потому не уловил ни грана смысла, однако сам вид этой троицы как бы неким эпиграфом лег на еще пустые страницы.

* * *

За несколько дней до Нового года в Большом Кремлевском дворце была назначена сессия только что избранного Верховного Совета. Рестон после едва ли не скандала в ВОКСе получил аккредитацию на первое торжественное заседание. Он знал, что ни черта не увидит с балкончиков для иностранной прессы, кроме президиума, мягко аплодирующих вождей да ликования в зале. Впрочем, сказал ему коллега, постоянный корреспондент «Таймс», там ничего не будет, кроме мягко аплодирующих вождей и ликующих депутатов. Да, думал Рестон, тут все уже закручено туго. Напрасно большевиков иной раз ругают «красными фашистами», они гораздо круче итальянских опереточных злодеев. Скорее уж Муссолини можно было бы назвать под горячую руку «черным большевиком». У Иосифа же только один ровня в мире – Адольф. Двадцатый век цветет двумя формами восхитительного социализма – классовой и расистской.

Эти мысли Рестон не решался напрямую высказывать в статьях. За свои высказывания о советском режиме он давно уже в леволиберальных кругах снискал репутацию «реакционера». В леволиберальных кругах, к которым

прежде он сам себя причислял! Интеллигенция Запада отвергает расовую, но зато легко клюет на классовую наживку. Хотя бы намеками, расстановкой параллелей он старается провести идею о почти полной идентичности двух режимов. Увы, эта простая мысль либералами не прочитывается. Даже Фейхтвангер, сбежав от нацистов, аплодирует большевикам. Дает себя одурачить «открытыми процессами». Конечно, Сталин пока еще не давит евреев, но и до этого дело дойдет. Писатели, однако, за редким исключением, не видят сути, а между тем надвигаются страшные события. Без всякого сомнения, два режима, несмотря на то что сейчас они клянут друг друга, в самое ближайшее время сблизятся. Еще через некоторое время они ударят по Западу. Германская индустрия и русские ресурсы – этого удара атлантическая цивилизация не выдержит. В мире установится режим, где уже не будет ни левых, ни правых либералов. Словом «либерал» будет подтираться чекистско-гестаповская задница.

Какого черта я сюда приехал, разве я всего этого не знаю без путешествий в Москву? Какого черта я все таскаюсь в эту страну? Что меня сюда тянет? У меня тут даже любовницы нет. Женщины бросаются прочь, как только узнают, что я американец. Чистки, расстрелы и лагеря, похоже, уже добились здесь все живое. Здесь уже и деревья выглядят запуганными до предела. Раньше еще можно было поговорить с кем-нибудь на улице, можно еще было частично полагаться на переводчика. Сейчас все переводчики ВОКСа ежеминутно под немигающим оком Чеки. Простые люди не могут скрыть, что считают этих переводчиков прямыми офицерами Чеки. Что они переведут и каковы будут последствия для собеседника? Дэмит, а русский выучить я так за эти годы и не удосужился, пьянчуга и лентяй. Какого черта я опять сюда приехал и хожу по этим улицам, как глухонемой, да к тому же и не один, всегда с хвостиком. Вот только сейчас, кажется, в связи с расширившимся пространством оторвались...

С этими мыслями известный на Западе политический обозреватель Тоунсенд Рестон вышел на брусчатку Красной площади, по которой гулял еще в самом начале нашего повествования вместе со «сменовеховским» профессором Устряловым, ныне бесследно пропавшим среди частокола так и не сменившихся вех. Площадь была вылизана до последней соринки, выметена так, будто и не прошли недавно снегопады. В прозрачно-темно-синем небе четко выделялись подсвеченные сильными лампами башни, зубчатые стены, всеми переливами струились флаги. Огромные портреты вождей, как всегда, создавали у Рестона ощущение сюрреальности.

По всей площади одиночками и маленькими группами не торопясь

шли люди. Все в одном направлении – к воротам Спасской башни. Раньше тут они обычно робко так в очереди стояли, в очереди к ленинскому телу, вспомнил Рестон, а сейчас никого нет у Мавзолея, кроме стражи. В чем тут дело? Ага, сообразил он, на сессию идут. Это как раз и идут депутаты, «хозяева своей страны и судьбы», как ему объяснили в ВОКСе.

Народ шел веселый, очень плотный, тепло или даже слишком тепло одетый. Немало было азиатов, они как раз и двигались маленькими группками. Среди фигур и лиц, отражавших исключительную простоту избранных народа, Рестон вдруг заметил и лицо интеллигента. Пожилой человек в мягкой шляпе и в прекрасном старом пальто, очки, борода, в руке трость. Вот, почему бы не поговорить с этим господином, подумал Рестон. Возможно, он знает иностранные языки...

Этим человеком был Борис Никитич Градов, депутат Верховного Совета СССР от трудящихся Краснопресненского района Москвы. Он направлялся на торжественную сессию в Кремль и вспоминал утренний разговор с женой.

Мальчики были в школе, Верулька в детском саду. Мэри и Агаша готовили им сюрприз – убрали новогоднюю елку. Отличнейшее дерево, как всегда, привез Слабопетуховский. Игрушек, разумеется, изобилие. Вернутся дети, и ахнут, и запляшут. Осиротевшим при живых родителях, им особенно нужны такие праздники.

Вдруг Мэри взяла мужа за пуговицу и отвлекла в кабинет.

«Послушай, Бо, может быть, рассказать детям о том, что такое рождественская елка, что это за праздник, откуда это пришло, вообще обо всем этом?»

Борис Никитич после этого предложения немедленно, как это с ним стало случаться, разобиделся едва ли не до слез. Разобиделся и рассердился.

«Прости меня, Мэри, но у меня такое впечатление, что ты меня постоянно испытываешь! Что это значит? Еще раз хочешь показать, что я дерьмо, что никогда не могу сказать „нет“ тому, что ненавижу, и „да“ тому, что люблю? Это ты хочешь сказать?»

Мэри умоляюще сжала руки на груди: «Да как же ты так можешь говорить, Бо, мой милый?! Уж кому, как не мне, знать, какой крест ты несешь! Как я могу тебя испытывать? Я ведь этот вопрос тебе задала, как самому близкому и мудрому человеку. Я просто сама не знаю. Я просто боюсь: а вдруг мы детям повредим, если расскажем о Христе...»

Борис Никитич тут же все понял и тут же устыдился своей обиды. Приласкал старую подругу, внутри все потеплело от нежности.

«Прости, Мэричка, мою вспышку. Это эмоциональное напряжение, под которым мы все живем... Знаешь, мне кажется, сейчас не нужно приобщать ребят к религии, с этим следует повременить. Они очень открыты, легко зажигаются, в их положении это может навлечь на них беду. Я знаю, что ты стала ближе к религии и что это тебе помогает. Меня и самого, поверь, порой тянет в какой-то тайный храм».

Нынче любой храм стал тайным, и он сейчас был перед ним. Собор Василия Блаженного в этот торжественный вечер сессии сталинского парламента тоже был подсвечен и как бы приобрел новый объем в прозрачной ночи. Как сейчас они пишут о нем в газетах: «Входит в исторический ансамбль Красной площади». Видимо, отказались уже от планов сноса. Говорят, что после взрыва и расстрела пушками храма Христа Спасителя вопрос с Василием Блаженным был уже решен, как вдруг взбунтовался главный архитектор столицы, сказавший якобы: «Если хотите взрывать Василия Блаженного, взрывайте его вместе со мной». Синклит вождей, по слухам, был смущен, возникла проволочка, а потом произошла смена установок на сохранение «исторических ансамблей».

Борису Никитичу неудержимо захотелось перекреститься на храм. Вот, как тот архитектор, бросить вдруг всем вызов, снять шапку и перекреститься. Он снял шапку, как будто ему на секунду стало жарковато и перекрестился под пальто, мелко, но трижды. В этой стыдливости не только советский страх гнезился, но и все позитивистское воспитание Бориса Никитича, которое ему отец Никита дал с одобрения деда Бориса. Теперь этому воспитанию, похоже, подходил конец. Красный шабаш, идущий из-за вот этих зубчатых стен, подрывал веру в «рацио», в «торжество человеческого разума», даже в ни в чем не повинную теорию эволюции. Философия раскачалась, страстно хотелось прибиться к каким-то другим, сокровенным берегам.

Вдруг какой-то человек, слегка обогнав профессора, приподнял шляпу и обратился по-английски:

– Excuse me, sir, by any chance, do you speak English?^[3]

Борис Никитич опешил. Это было так неожиданно, что он даже слегка качнулся, уперся тростью в брусчатку. Английский здесь, возле этих стен, возле... Сталина? Воздух здесь, казалось, не должен пропускать этих звуков.

– Yes, I do^[4], – пролепетал он, как школьник.

Незнакомец дружески улыбнулся. Градов растерянно улыбнулся в ответ. О Боже, какой незнакомый незнакомец был перед ним, какой

ошеломляющий иностранец!

– Would you be so kind, sir, to give me a few minutes? I'm American journalist^[5], – сказал Рестон. Он был очень рад: какая удача – поговорить с русским интеллигентом старой закваски без помощи этих воксовских переводчиков!

Не ответив на этот вопрос ни слова, Борис Никитич шатнулся в сторону и резко зашагал, едва ли не побежал, вот именно побежал прочь. Американский журналист! Да что это такое, опять я подвергаюсь испытанию, и такому ужасному испытанию! Говорить без посредников с иностранцем, да еще с журналистом, когда твои сыновья в тюрьме, когда сам ты идешь на ристалище, когда ты в двух шагах от Сталина... нет, это уж слишком!

Он стремительно двигался в сторону горловины Спасских ворот, как будто искал убежища за этими воротами. Перед воротами, однако, пришлось затормозить, там красноармейцы проверяли депутатские удостоверения. Тут он опомнился, совладал с дыханием, вытер пот со лба. Трус и раб, сказал он себе. Позор. Сзади, прямо из-за плеча мужской голос густо произнес: «Молодцом, профессор. Так и надо. Ходят тут всякие, вынюхивают». Градов не обернулся, прошел под арку. Тень совы вдруг мелькнула над ним в коротком гулке тоннеле.

Депутаты медленно – так им было сказано: медленно, торжественно, товарищи! – поднимались по мраморным ступеням внутри Большого Кремлевского дворца. Вдоль всего первого марша и на промежуточной площадке лестницы стояли репортеры, фотографы и операторы кинохроники. Горели сильные осветительные приборы. Депутаты лицами выказывали большое торжественное счастье. Особенно хорошо получалось у тех, что в чаплашках, из Средней Азии, лица их сияли искренним обожанием в адрес стоявших наверху. А там, на вершине лестницы, мягко аплодируя и улыбаясь, ждали посланцев народа члены Политбюро ВКП(б), и в центре их группы, в светло-сером кителе и высоких шевровых сапогах, стоял Сталин. Он аплодировал всем и каждому в отдельности, а некоторых из депутатов задерживал возле себя, чтобы сказать и выслушать несколько слов.

Градов поднимался вместе с молодым авиаконструктором, которого встретил в вестибюле. Они были знакомы по Дому ученых, о нем говорили как о гении аэродинамики, кроме того, кажется, он одно время ухаживал за Ниной. В отличие от гостей из солнечного Узбекистана конструктор почему-то то и дело посматривал на часы и все что-то говорил Борису Никитичу о перспективах ракетного зондирования верхних слоев

атмосферы. Градов его не слушал, а только лишь смотрел, как с каждым шагом приближаются матово поблескивающие, отличного черного цвета сапоги. С внутренним содроганием он вспомнил эти ноги без сапог, свою ужасную тайну. Тайна была такой глубокой и смрадной, что он был бы счастлив ее раз и навсегда забыть.

– А вот это, Иосиф Виссарионович, поднимается выдающийся хирург, профессор Градов, – не прекращая мягко аплодировать, сказал Молотов. Теперь уже все старые друзья на людях обращались к Сталину по имени-отчеству, в то время как он величал их по-старому – Вячеслав, Клим...

– Который? Молодой или старый? – прищурился Сталин.

Притворяется Коба, подумал Молотов. Прекрасно ведь знает обоих.

А ты зачем притворяешься, Скрябин, подумал Сталин. Прекрасно ведь знаешь, что я знаком с Градовым.

– Пожилой, с тремя орденами, – сказал Молотов.

Сталин юмористически покосился на него:

– Познакомь меня, Вячеслав!

* * *

Да, Сталин знал Градова, но у него не было ни малейшего желания выдавать государственную тайну даже тем немногим, кто ее знал, в частности Молотову.

Месяца три назад на ближайшей даче в Кунцево среди ночи у генерального секретаря начались конвульсии. Мелькнула даже мысль – не умираю ли? Не за себя было страшно, а за дело. Историю, конечно, не остановить, но затормозить можно, и надолго: не каждый год появляются такие последовательные и упорные вожди, люди такого колоссального кругозора, как этот данный мученик конвульсий, бедный мальчик Сосо; немного стало уже путаться в голове. Конвульсии возникли не на пустом месте. Началось все с большого банкета в честь покорителей Арктики, где, кажется, слишком много покушал. Оттуда поехали на дачу к вновь назначенному наркомвнуделу, земляку Лаврентию. Там, в более интимном кругу, много пили, танцевали с подругами. Стула, однако, не было, а вот аппетит опять появился. К утру Берия накрыл такой стол с кавказскими деликатесами, что удержаться от нового обжорства Сталин не смог. Комбинация орехового сациви и карских шашлычков под соусом ткемали всегда способствовала закреплению, однако прежде Сталин умел справляться с этим досадным, «ридикюльным», как когда-то в семинарии

говорили, вздором без посторонней помощи, дедовским способом, при помощи двух пальцев. На этот раз дедовский способ не помогал. Дни проходили за днями, но облегчения они не приносили. Сталин тяжелел, мрачнел, на заседаниях правительства то и дело приходил в ярость, требовал немедленной очистки страны от всех, от всех врагов народа! Сказать постоянно дежурившим возле него врачам энкавэдэ, что его мучает, он не решался: никакого не было желания произносить перед этими олухами слово «запор», выставлять вождя трудящихся в «ридикюльном» положении. Врачи же, в свою очередь, дрожали от страха, боясь сделать в адрес великого вождя такое позорное предположение. День за днем Сталин героически боролся со свалившимся на него испытанием. Уходил в свои личные комнаты, куда никому доступа не было, часами сидел на толчке, просматривал старые газеты со статьями ныне арестованных товарищей по оружию, убеждался в своей правоте – правильно арестованы товарищи! – ждал блаженного мига. Блаженный миг не приходил, живот казался ему вместилищем свинца, вернее, сплошным куском свинца. В голове стало уже путаться, посещали какие-то мысли о матери, а это значит – путается в голове, свинец подпирал уже под горло, разделить бы его по девять граммов, роем пустить по свету, то есть не остается сомнений в том, товарищи, что налицо перед нами явные признаки свинцового отравления, о котором нередко предупреждали большевики. В такой вот момент он распахнул дверь, крикнул: «Доктора!» – и повалился на тахту. Вбежали энкавэдэшные врачи:

– Что с вами, товарищ Сталин?

– Свинцовое отравление, – был ответ.

Врачи бестолково засуетились. Один из них катал в ладони две слабительные пилюли.

– Может быть, дать... вот это? – спрашивал он у второго.

– Что это?

– Ну, вы же знаете что!

– Ну, хорошо, давайте, давайте это, а то...

Пилюли эти, может быть, и сработали бы, получи их Сталин дней на пять раньше, сейчас они лишь вызвали приступы мучительнейших конвульсий. Жижка какая-то вытекала по каплям, свинцовая же стена стояла нерушимо. В такой конвульсии Сталин однажды и исторг имя Градова: «Градова привезите, мерзавцы! Настоящего врача, профессора Градова!» Имя Градова запомнилось ему еще с двадцатых, еще до того важного партийного мероприятия, в котором Градов частично участвовал, Сталин знал об этом знаменитом московском профессоре и где-то в тайничке

всегда резервировал за собой это хорошее, сугубо русское – не то что всякие вовси-шмовси – имя как имя целителя, настоящего врача. С тех пор, конечно, жизнь постоянно усложнялась и классовая борьба ужесточалась, разное происходило с людьми, за всем не уследишь, но вот в роковой час конвульсий имя вдруг снова выпрыгнуло из тайничка: Градова! Градова!

* * *

Борис Никитич возвращался после операции домой дикой пронзительной ночью, в промозглый и гудящий час ведем, когда его машину на Хорошевском шоссе перехватили два автомобиля чекистов. Он сразу понял, что это не заурядный арест, а что-то посерьезнее. Старший в группе сказал ему металлическим голосом:

– Пересаживайтесь в нашу машину, профессор. Дело самой высшей государственной важности. – В машине тем же тоном, исключавшим любую возможность диалога, он добавил: – Учтите, секретность стопроцентная. За малейшее разглашение понесете ответственность в самых строгих формах.

Пациента, то есть Сталина, он увидел лежащим на тахте в кабинете. Ошеломляющий смрадный запах. Пациент был в полубессознательном состоянии и бормотал что-то по-грузински. Никто не решался приблизиться к нему, даже расстегнуть задравшийся китель. Энкавэдэшные врачи трепетали в углу кабинета.

– Разденьте больного! – немедленно скомандовал Градов и сам начал расстегивать пуговицы кителя. Охранники быстро потащили с ног вождя сапоги. – Снимайте брюки! – Поползли командирские штаны. Удивило низкое качество кальсон. – Марлю! Вату! Теплой воды! Клеенку! Судно! – продолжал командовать профессор, потом обернулся к энкавэдэшникам: – Доктора, подойдите!

Не без интереса он смотрел на двух медиков невидимого фронта. Не похоже было, что они привыкли врачевать, должно быть, в других делах больше практиковались.

– Анамнез! – сказал он им.

Врачи замялись, забормотали:

– Полное отсутствие перистальтики... стеноз кишечника... не решались до вас, профессор, применить меры... картина нетипичная... товарищ Сталин не обращался...

– Кальсоны тоже снимайте! – гаркнул Борис Никитич на охрану. Голый

Сталин теперь лежал перед ним. Он начал пальпировать совершенно каменный под слоем жира живот. В этот как раз момент началась очередная конвульсия. По клеенке из-под Сталина поползла скудная жижа. Отдельно от всего тела плясал на правой ступне шестой пальчик. Градов оторвал взгляд от этого редкого явления и посмотрел в лицо больного. Из-за оспин и морщин глянули осмысленные мукой глаза. Сталин прохрипел:

– Помоги мне, кацо, и проси, что хочешь.

– Сколько дней у вас не было стула, товарищ Сталин? – мягко спросил Борис Никитич. Он знал, что самый звук его голоса оказывает на больных благое действие. Вот и Сталин вздохнул с явной надеждой.

– Десять дней не было, – простонал он, – а может быть, и больше... две недели, а?..

– Сейчас мы вам поможем, товарищ Сталин, потерпите еще немного. – Градов одобряюще похлопал Сталина по руке, ловя себя на ощущении того, что перед ним уже никакой не «вождь народов», а просто пациент. Любого пациента он вот так же похлопал бы по руке. Затем он попросил провести его к телефону, позвонил в кунцевскую Кремлевку и начал отдавать распоряжения.

Стоящие рядом три человека с лицами борзых собак ловили каждое его слово. Через двадцать минут из больницы привезли двух медсестер со всем необходимым. Борис Никитич наладил восходящую клизму, сделал несколько уколов – эуфилин в вену, камфору под кожу, магнезию внутримышечно. Комбинация подействовала немедленно, сняла напряжение, расслабила гладкую мускулатуру, снизила кровяное давление, упорядочила ритм дыхания и пульс. Клизма тоже делала свое дело, через несколько минут состоялся прорыв линии обороны, пролом вавилонских стен, называйте это как угодно, но только не выходом сталинского дерьма. Между тем дерьмо шло и шло, сестры не успевали менять и выносить судна, победоносно лопались пузыри газа, с ревом, подобным дальнему камнепаду, пробуждалась перистальтика. Смрад шел разнородными волнами, ибо каждый выходящий слой нес свое. К нему нельзя было привыкнуть, надо было просто сказать себе, что так обстоят дела.

Сталин лежал с блаженной улыбкой на обострившемся хитром лице. Никогда, никогда, никогда в жизни он не испытывал такого потрясающего освобождения плоти и усталого духа. Даже когда из ссылки убегал, не говоря уже о революции семнадцатого года. Все тогдашние освобождения немедленно вызывали какую-то собачью трясучку, жажду немедленной деятельности, и только вот сейчас, после этого «прорыва» – он так в уме и определил это словом «прорыв», – всякая трясучка вдруг прошла и

открылись мягкие склоны и дали разной синевы, благодатный, чуть звенящий картлийский сентябрь, и он в этой благодати, почти в ней растворенный, почти молекулярный, как будто не он творил и будет творить все эти революционные ужасы. В эти волны тепла и отречения всплывало иной раз лицо с бородкой и глазами, которые и в самом деле были зеркалами чистой души. «Как себя чувствуете, больной?!» – спрашивало лицо. Оно каким-то больным интересовалось, так по-человечески простодушно кем-то интересовалось, да что там хитрить – интересовалось Сосо. «Спасибо, профессор, я хорошо себя чувствую, хорошо...» Выплывало и дрожало вблизи человеческое лицо. Ну попроси меня о чем-нибудь, профессор, и все получишь. Попроси за своих сыновей, и они через два дня будут с тобой. Проси сейчас, профессор, пока хочу тебя благодарить, потом будет поздно. Сулико-о-о, Сулико-о-о...

Нет, не могу я тебя сейчас ни о чем просить, тиран, думал Градов. Врач не может просить пациента в момент оказания помощи, а ты сейчас все еще мой пациент, а не грязный тиран, тиран...

Шагнув на одну ступеньку вниз, Молотов подал руку Градову:

– Поздравляю вас, профессор Градов, с избранием в Верховный Совет! Хочу вас представить товарищу Сталину!

Сталин пожал руку Борису Никитичу. Он был сейчас в отличном состоянии здоровья. Промытые наодеколоненные усы и шевелюра отливали темно-рыжим блеском.

– Поздравляю, профессор! Это очень хорошо, что в нашем советском парламенте рядом с рабочими и колхозниками будут заседать представители советской науки, в частности нашей передовой медицины.

Несколько секунд они смотрели друг другу в глаза. Если он сейчас попросит о сыновьях, я его уничтожу, подумал Сталин.

– Благодарю вас, товарищ Сталин, – сказал Градов и тактично отошел в сторону потока депутатов.

Сталин с одобрением проводил его взглядом. В следующий миг ему вдруг показалось, что окно над мраморными ступенями залепил огромный глаз совы. Потом все прошло.

Антракт VII. Пресса

Герои Советского Союза в Вашингтоне. Уже давно ни одно крупнейшее авиационное событие не имело такой большой прессы, как перелет Чкалова, Байдукова и Белякова. «Воздушные герои», «Победители магнитных джунглей вершины мира», «Советская столица стала ближе к нам, чем мы думали» – в таких выражениях американская пресса оценивает подвиг советских героев. Президент США Ф.Д. Рузвельт ждет летчиков в Белом доме.

Московская милиция арестовала Бурцеву, занимавшуюся производством абортных на квартирах своих пациентов и в номерах бани.

Радио. Северный полюс.

Москва, ЦК ВКП(б), товарищу Сталину, товарищу Молотову.

Дорогой Иосиф Виссарионович и Вячеслав Михайлович!

Наша четверка восторженно встретила весть о высшей награде родины. Впереди нас ждет большой труд, но мы твердо знаем, что окружены Вашей любовью и заботой и вниманием всей страны.

Мы приложим все силы, чтобы оправдать Ваше доверие и чтобы при любых обстоятельствах хранить честь нашей родины.

Папанин, Кренкель, Ширшов, Федоров

На выпуск займа укрепления обороны СССР трудящиеся отвечают дружной подпиской.

После долгого молчания Союз советских писателей Карелии наконец решил обсудить вопрос об авербаховщине в литературе. Прения показали, какой огромный вред нанесли карельской литературе пережитки рапповщины. Буржуазные националисты Луото, Оннонен, Райтунайнен ориентировали писателей на создание общефинской (явно буржуазной) литературы. Эти троцкистско-фашистские идейки привели к тому, что карельский народный эпос «Калевала» стал приписываться финнам. Националисты исключены из Союза писателей.

ЦК ВКП(б) с глубоким прискорбием извещает о смерти после продолжительной болезни старого большевика, видного хозяйственного работника тяжелой промышленности, члена ЦК ВКП(б) Иосифа Викентьевича Косиора.

Речь колхозника Данилы Онищенко: «Я горячо приветствую партию и

правительство за долгожданный заем. Три моих сына являются бойцами Красной Армии, Иван – командир батареи, Михаил – летчик, Павел – связист. У меня есть еще два сына, трактористы. Если враг посмеет сунуться к нашей границе, мы с сыновьями пойдем крушить вражеских гадов. Каждый член нашей семьи подписался на сто рублей».

За последние дни в Германии умерли от зверских пыток гестапо несколько политических заключенных. Газеты называют известного германского спортсмена Вилли Гроссейна, Валентина Шмецера и др.

Величайшая стройка второй пятилетки завершается: канал Москва – Волга, начатый по инициативе товарища Сталина, построен! Привет строителям замечательного сооружения сталинской эпохи.

По предварительным данным, Ирина Вишневская (первый пилот) и Катя Медникова (второй пилот) побили международный женский рекорд высотного полета (6115 метров).

Состоялся первый двусторонний трансатлантический перелет английской летающей лодки «Каледония» и американской летающей лодки «Сикорский 42-В». Предстоит открытие регулярных трансатлантических почтово-пассажирских линий.

Фашистские хозяева ликвидированной фашистской банды Тухачевского и Ко никак не могут оправиться от неожиданного и тяжелого поражения. До сих пор они скорбят по своим верным агентам. Еще бы, выведен из строя один из важнейших военно-шпионских отрядов фашизма. Всему миру очевиден грандиозный провал их разведки.

С деланным негодованием автор статьи в военной газете «Дойче Вер» пытается отвести от Тухачевского обвинения в шпионаже, но тут же вынужден признать, что он был организатором контрреволюционного заговора: «Тухачевский хотел стать русским Наполеоном, но он слишком рано раскрыл свои карты или, как это обычно бывает, в последнюю минуту стал жертвой предательства».

«В числе судей, – продолжает „Дойче Вер“, – были военные пролетарии, Блюхер и Буденный». Этими «военными пролетариями» гордится наша страна, гордятся трудящиеся всего мира. Заявление «Дойче Вер» выдает фашистскую разведку с головой.

Клиенты, требуйте от работающих парикмахеров, чтобы они мыли

руки!

Из речи прокурора СССР товарища Андрея Януариевича Вышинского: «...Мы все помним слова великого Сталина о том, что „новая конституция СССР будет моральной помощью и реальным подспорьем для всех тех, кто ведет ныне борьбу против фашистского варварства“. Вот почему так беснуются сейчас наши враги.

В СССР, где победил социализм, где нерушимо закрепились подлинная культура и демократия, законность является могучим оружием дальнейшего прогресса, дальнейшей борьбы за социализм.

Товарищ Сталин указал на опасность «идиотской болезни» беспечности, на необходимость преодолеть эту болезнь, чтобы уметь распознать и победить врага. Сейчас контрреволюционная антисоветская агитация прибегает к самым разнообразным приемам и очень неплохо умеет замаскировать свои антисоветские выступления. Так, например, недавно в г. Куйбышеве был задержан на базаре один «глухонемой», у которого на груди красовалась дощечка с контрреволюционной надписью: «Помогите глухонемому, лишили работы, раздели и есть не дают». В милиции оказалось, что этот «глухой» вовсе не глух, «немой» вовсе не нем, он оказался раскулаченным кулаком, который в этой форме избрал определенный способ борьбы с советской властью».

Крупная победа «Спартак» над футболистами Страны Басков. Счет 6:2.

40 тысяч физкультурников из 11 республик демонстрируют на Красной площади свою силу, бодрость, отвагу, пламенную любовь к родине и беспредельную преданность лучшему другу советских физкультурников товарищу Сталину. Пляски, пирамиды, танки из цветов!

*Молодость наша была голодна и сурова,
Зрелости нашей открылись несметные клады.
В сталинских днях на земле возвращается снова
Век красоты, воспетый в легендах Эллады.*

*Небо сегодня особенно ясно над нами,
Солнце для нас по-особому ласково светит,
Радость свою расцвелили живыми цветами
Дети октябрьской победы, счастливые гордые дети.*

Алексей Сурков

Мы видели Сталина, видели его улыбку, ласковую, отеческую... По первому зову Сталина перед вождем пройдет вся наша страна, весь отважный народ всадников, горцев, хлопкоробов. Возвращаемся домой вдохновленные Сталиным.

Руководитель физкультурной делегации

Таджикской ССР *Корниенко*

Комиссар делегации *Кузи Акилов*

Физкультурники: *Аслан Шукуров,*

Амито Юлдашева, Вали Малахов

ЦИК СССР постановляет: за выдающиеся успехи в деле руководства органами НКВД по выполнению правительственных заданий наградить товарища Н.И.Ежова орденом Ленина.

Товарищ Ежов олицетворяет собой образ большевика, у которого слова никогда не расходятся с делом. История назначила органам НКВД быть, по словам Сталина, «грозою буржуазии, неусыпным стражем революции, обнаженным мечом пролетариата». Подлый предатель и враг социализма Ягода старался притупить острие нашего меча. Железная рука товарища Ежова, посланца Сталина и ЦК, восстановила большевистский порядок.

Весь народ держит в руках этот меч. Поэтому у НКВД уже есть и будет еще больше миллионов глаз, миллионов ушей, миллионов рук трудящихся, руководимых большевистской партией и сталинским ЦК. Такая сила непобедима!

Развитие колхозного строя в Таджикистане тормозила банда врагов, засевшая в руководстве, и всех их приютил председатель Совнаркома Таджикистана Рахимбаев. Буржуазные националисты в Таджикистане под руководством Рахимбаева, Ашурова, Фролова распоясались! Пора укоротить им руки!

Клевета на украинскую действительность. Одесса. Выставка картин и этюдов Советской Украины и Молдавии открылась в государственном художественном музее Одессы. Картины и этюды так подобраны и расставлены, что Украина и Молдавия показаны в совершенно искаженном свете. Вот три забитых нищих женщины плетутся по дороге. Вот другая картина – дохлая корова, два петуха, опрокинутое корыто, худая некрасивая

женщина... Картина называется «Колхозница-дойрка».

...А где украинские колхозы, красиво убранные улицы, свежие дома? Где зажиточные украинские колхозники? Куда девались замечательные молдаванские пляски, песни? Где стахановцы? Ничего этого на выставке нет!

Выставку нельзя рассматривать иначе, как наглую вылазку украинских националистов. Троцкистско-бухаринские враги, вредители, орудовавшие в Управлении по делам искусств при Совнарком Украины, умышленно направили кисть некоторых художников по вражескому пути.

Центральный комитет компартии Армении долгое время возглавлял враг армянского народа, презренный изменник Хонджян. После разоблачения Хонджяна этот пост занял Аматауни. Новый руководитель часто хвастал, что заслуга в разоблачении Хонджяна принадлежит ему. А как выяснилось сейчас, Аматауни оказался ярым приспешником Хонджяна, продолжателем его контрреволюционной деятельности.

Аматауни с давних пор предавал интересы народа, примыкал к троцкистской оппозиции. Он приблизил к себе дашнакского агента Акопова, выдвинув его на пост второго секретаря. На посту председателя Совнаркома оказался Гулаян, оруженосец расстрелянного врага народа Каменева.

Состоявшийся недавно пленум послал товарищу Сталину большевистское слово до конца разгромить всех врагов армянского народа.

Пейте вкусное и питательное какао «Экстра»!

Драмкружок завода «Авиахим» осуществил постановку «Ромео и Джульетты» В.Шекспира. В роли Ромео диспетчер тов. Дрозденко, Джульетта – учетчица тов. Крючкова.

Западная граница БССР. Темная ночь. Пограничники Василий Никишкин и Николай Оскин, находясь в «ночном секрете», заметили человека, который пробирался на советскую территорию. Никишкин крикнул: «Стой!» В ответ раздался выстрел. Пограничники застрелили нарушителя. При обыске у него найден наган, заряженный 5 патронами, 300 рублей советских денег, деревянная коробка с ядовитым порошком и бутылка с жидкостью. Убитый являлся агентом одного из соседних государств.

Вражеская вылазка. В Кемеровском горсовете орудует чья-то вражеская рука. За подписью зампреда горсовета Герасимова и

ответственного секретаря Волохова выходят удостоверения на право составления списков избирателей, заполненные хулиганским контрреволюционным образом.

ТЭЖЭ, лучшие туалетные мыла, кольд-крэм, ронд.

Читатели, получившие очередной номер журнала «Тихий океан», с изумлением увидели, что редакция полностью замолчала решения февральско-мартовского пленума ЦК ВКП(б). Нет никаких признаков того, что редакция сделала для себя выводы из доклада товарища Сталина.

Многие материалы протаскивались в журнал вражеской рукой. Автор статьи о Японии, например, пишет: «Фашизм в Японии пока(!) еще не имеет значительной(!) притягательной силы для масс...» Что значит это «пока»? Может быть, фашизм будет иметь «значительную» притягательную силу для масс в Японии?

...Враги так прочно укрепились в журнале, что перепечатывают на его страницах реакционные статьи японской прессы. В чьих интересах действует редактор журнала Г.Войтинский? У него нет почти ни одного номера без вражеской контрабанды.

Разоблаченные враги народа, занимавшие руководящие посты в Академии сельхознаук и в Главзерно Наркомзема СССР, немало потрудились, чтобы запутать зерновое дело. Было бы непростительным благодушием считать, что после разоблачения на фронте растениеводства все обстоит благополучно. Корни вредительства, несомненно, остались.

Дети Испании прибыли в Ленинград. К плавучему приемному маяку приблизился теплоход «Кооперация». На его борту больше шестисот детей героических борцов Астурии, Бильбао и Сантарена. Несколько часов спустя подошел теплоход «Феликс Дзержинский». Он доставил еще несколько сот детей. Звучат звонкие детские голоса: «Вива Россия! Вива Сталин!»

*Войдут в века железным рядом
Героев наших имена.
На радость нам весенним садом
Цветет советская страна.
О светлых днях родной державы
Звени и пой, двадцатый год!
На подвиг доблести и славы*

*Нас имя Сталина ведет.
Алексей Сурков*

По данным Башкирского обкома коммунистами республики потеряно 377 партбилетов нового образца. Этим пользуются враги народа, шпионы, диверсанты. Немало партбилетов попало в руки врага.

Вседонецкий слет стахановцев и ударников-шахтеров. В своей речи тов. Никита Изотов сказал: «Выкорчевать вредителей до конца!»

Писатель Всеволод Вишневский ведет репортаж с предвыборного собрания текстильщиков. У всех на устах – Сталин. Почти каждый оратор горячо и вместе с тем глубоко интимно говорит о своем личном отношении к Сталину. Говоря от имени трудящихся, выдвинувших кандидатуру Сталина в Верховный Совет СССР, текстищик Зверев сказал: «Товарищ Сталин вникает во все мелочи, во все подробности быта, работы и оплаты рабочих. А сколько улучшений внес товарищ Сталин в работу текстилей!»

Четыре тысячи рук в одном порыве поднимаются за кандидатуру товарища Сталина.

Антракт VIII. Перескок белка

Он не мог представить, что так быстро снова окажется там, где царил, и даже будет здесь кое-что узнавать. В тот недалекий еще момент, когда Горки с их уютным маленьким дворцом и парком стали стремительно отлетать прочь, Ульянов был уверен, что сваливается в тартарары, хотя поначалу казалось, что Горки вниз, а он летит вверх. Тартарары, тартарары, вот, собственно, единственное слово, которое осталось тогда с ним из его некогда небедного лексикона. Тартарары, вскоре вся эта чепуха вроде направлений вверх-вниз, налево-направо исчезла, и перед ним действительно стали разверзаться тартарары. Какой-то частью своей он еще осознавал: что-то когда-то раньше было – кофе и горячие булочки, например, – что-то где-то есть и сейчас, а именно ровно-восторженно-музыкальное, уже недоступное, но понимал, что еще миг, и больше уже никогда ничего нигде не будет, кроме тартарары. Меньше всего он думал, конечно, в этот момент, что заслужил эту участь свою, скажем, жестокостью или вероломством, ибо такие понятия, как «наказание», исчезли, и даже любимые темы вроде «Как нам реорганизовать Рабкрин», то есть что брезжило почти до самого конца, поглотились все приближающимися тартарары. Как вдруг что-то как бы дернулось, включился как бы некий тормоз, своего рода парашютик, и тартарары с их неумолимостью, с превращением всей ульяновской сути в суть муки вдруг остановились и стали отдаляться, а Ульянов на парашютике начал некое неторопливое снижение или воспарение, протекая через огромные пространства, в которых даже мелькали иной раз клочки «Рабкрина», больше того – разбросанные ноты той самой «нечеловеческой музыки», что заставила его однажды на мгновение забыть о призвании революционера.

Присутствие воздуха и взвешенной в нем влаги он снова почувствовал в дупле среди шевеления таких же, как и он сам, пушистых и мелких. Он высунул головку из-под мамкиного пуза и ошеломился земными запахами. Кора, секреция мамки, дымок, тлеющие косточки, листья, бутончики, почки, муравьи, червяки, густой хмель оттаивающей земли, все еще неведомое, неопознанное, но будущее, то, что заставило его вдруг радостно пискнуть и чуть подскочить на манер какого-то умопомрачительно далекого припрыга с хихиканьем, с заложенными за вырезы жилетки пальцами: э-ге-ге, батеньки мои!

Он быстро рос и к середине тридцатых иные наблюдательные знатоки

природы в Серебряном Бору могли выделить среди многочисленного беличьего населения исключительно крупного самца, настолько крупного, что язык как-то не поворачивался назвать его фемининской белкою, напрашивался некий «белк».

Следует сказать, что и в этом обличье Ульянов оказался среди сородичей общепризнанным авторитетом. Естественно, он не обладал теперь гипнотическими свойствами интеллекта, зато в силу неведомых игр природы приобрел феноменальные качества воспроизводителя. Этому и предавался. В этом и ощущал свое предназначение. С первейшими проблесками зари и до последних угасаний заката взлетал он по стволам сосен, совершал колоссальные прыжки с ветки на ветку, проносился по опавшей слежавшейся хвое, по тропинкам, по крышам и заборам дач, преследуя своих пушистохвостых соблазнительниц, которые только и жаждали поимки, а потому и убегали со всех ног. Настигнув, подвергал великолепному совокуплению.

Только по ночам он позволял себе отдохнуть, покачаться в дремоте на надежной ветке сосны, ощущая себя в уюте и безопасности среди игры теней и лунного света. Иногда, впрочем все реже, посещали какие-то озарения из ниоткуда – среди них чаще всего возникали стены с зубцами в форме ласточкиных хвостов, – но он их отгонял движениями своего собственного мощного хвоста.

Надо сказать, что самцы серебряноборского роя беспрекословно признавали его первенство, но не собирались вокруг него, как в прежней жизни, а, напротив, старались держаться в отдалении, робко шакала по периферии его бесчисленного гарема. С великодушием силача он не обращал внимания на робких, с теми же немногими, кто осмеливался бросить хоть малый вызов, расправлялся без промедления – подкарауливал, бросался, мгновенным укусом в горло обрывал жизнь. В этих победах чудилось ему что-то прежнее.

Впрочем, по прошествии нескольких лет он стал спокойнее, оплодотворив уже несколько поколений подруг, то есть и дочек своих, и внучек, и правнучек. Ощущение некоторой гармонии стало посещать его, и он даже стал позволять себе задерживать редкие озарения из того, теперь уже почти непроницаемого прошлого, и даже задавался иной раз вопросом: а не таится ли за зубчатыми стенами некий грецкий орех?

Однажды ближе к сумеркам, отдыхая после очередного соития на верхнем этаже могучей сосны, он глянул вниз и увидел женщину, сидящую на скамье в позе печального раздумья. Он и раньше замечал эту человеческую самку, переливающуюся в основном светлыми цветами

спектра. Прежде она не была такой тихой, напротив, говорила громко, часто смеялась, шумно ссорилась, вела любовные игры в основном с одним и тем же мужчиной. Теперь она была грустна, рассеянна, в тоске, спектр ее подернулся дымкой, и вечно сопровождавший ее запах цветов слегка увял. Вообразить ее вот так, сидящей среди леса в одиночестве? Нечто несусветное внезапно посетило Ульянова: «С такой женщиной я бы не допустил раскола партии, не скатился бы до диктатуры...»

Он соскользнул вниз, прыгнул на скамью и застыл в своей коронной позе, глядя на женщину. Она почувствовала его присутствие, подняла голову и повернулась.

«Боже, какой большой! – произнесла Вероника и засмеялась почти по-прежнему. – Тебя надо пионерам показывать, дедушка Ленин!»

Она осторожно протянула руку к выдающемуся белку. Ульянов не отскочил. Он видел над собой мягко, в меланхолическом ритме пульсирующий ручеек. Перекусить его в одном мгновенном броске не составило бы труда. Рука опустилась на его голову и прошла по спине. «Не боится, – удивилась Вероника. – Ну, пойдем, со мной, пойдем к нам, дам тебе орехов...»

Она удалялась по тропинке. Ульянов, сидя под сосной, содрогался в оргазме. На ночлег в тот день он устроился возле дома, в котором жила та женщина. Дом был полон света, сквозь щели в шторах мелькали тени, иногда проходила и она. Ульянов дремал в блаженстве.

В ту же ночь ее увели. Ульянов хоть и не понимал смысла происходящего, чувствовал, что это навсегда. В последний момент перед посадкой в машину он успел пролететь через двор и предстать перед Вероникой на макушке заборного столба. Взгляд ее, обводящий небосвод, упал на него, лицо исказилось мгновенным ужасом. Дверца машины захлопнулась. С тех пор она иногда вспоминалась Ульянову, всегда почему-то в сочетании с неопределенным изломом зубчатых стен, как будто в этом моменте пространства сошлось безвозвратное с запахом свежего кофейку-с.

Однажды в исключительно ясный, бездонно голубой день Ульянов-белк заметил над собой на огромной высоте черную точку и сразу же понял, что это конец. Перед тем как она начала на него падать, он еще успел озариться откровением и понять, что краткая беличья жизнь была ему дана лишь для того, чтоб хоть малость охладиться после той прежней сатанинской трясушки.

Книга 2. Война и тюрьма

Для человеческого ума непонятна абсолютная непрерывность движения.

Лев Толстой. «Война и мир»

Предваряя повествование эпиграфом, писатель иной раз через пару страниц полностью о нем забывает. В таких случаях цитата, подвешенная над входом в роман, перестает бросать свет внутрь, а остается лишь в роли латунной бляшки, некоего жетона, удостоверяющего писательскую интеллигентность, принадлежность к клубу мыслителей. Потом в конце концов и эта роль утрачивается, и, если читатель по завершении книги удосужится заглянуть в начало, эпиграф может предстать перед ним смехотворным довеском вроде фигурки ягуара, приваренной к дряхлому «Москвичу». Высказывая эти соображения, мы понимаем, что и сами себя ставим под удар критика из враждебной литературной группы. Подцепит такой злопыхатель наш шикарный толстовский эпиграф и тут же осклабится – вот это, мол, как раз и есть «ягуар» на заезженной колымаге! Предвидя такой эпизод в литературной борьбе, мы должны сразу же его опровергнуть, с ходу и без ложной скромности заявив, что у нас, в нашей многолетней беллетристической практике, всегда были основания гордиться гармонической связью между нашими эпиграфами и последующим текстом.

Во-первых, мы эпиграфами никогда не злоупотребляем, а во-вторых, никогда не использовали их для орнамента, и если уж когда-нибудь прибегали к смутным народным мудростям вроде «В Рязани грибы с глазами, их едят, а они глядят», то с единственной лишь целью дальнейшего усиления художественной смуты. Вот так и тот наш, там, позади, только что оставленный эпиграф, вот эта-то, ну, чеканки самого Льва Николаевича идея о непостижимости «абсолютной непрерывности движения» взята нами не только для приобщения к стаду «великих медведиц» (как бы тут все-таки не слукавить), но и, главным образом, для того, чтобы начать наш путь через Вторую мировую войну. Эпиграф этот для нас будет чем-то сродни яснополянской кафельной печке, от которой и намерены танцевать, развивая, а порой и дерзновенно опровергая, большую тупиковую мысль национального гения. Отправимся же далее по

направлению к войне, в которой среди большого числа страждущих миллионов обнаружим и лица наших любимых членов семьи профессора Градова. Вклад их в громоподобный развал времен не так уж мал, если держаться точки зрения Л.Н.Толстого, сказавшего, что «сумма людских произволов сделала и революцию, и Наполеона, и только сумма этих произволов терпела их и уничтожила».

Следовательно, и старый врач Б.Н.Градов, и его жена Мэри, столь любившая Шопена и Брамса, и их домработница Агаша, и даже участковый уполномоченный Слабопетуховский в гигантском пандемониуме человеческих произволов влияли на ход истории не хуже де Голля, Черчилля, Рузвельта, Гитлера, Сталина, императора Хирохито и Муссолини. Перечитывая недавно «Войну и мир» – впервые, должен признаться, с детских лет и вовсе не в связи с началом «Войны и тюрьмы», а для чистого читательского удовольствия, – мы столкнулись с рядом толстовских рассуждений о загадках истории, которые порой радостно умиляют нас сходством с нашими собственными, но порой и ставят нас в тупик.

Отрицая роль великих людей в исторических поворотах, Лев Николаевич приводит несколько примеров из практической жизни. Вот, говорит он, когда стрелка часов приближается к десяти, в соседней церкви начинается благовест, но из этого, однако, не значит, «что положение стрелки есть причина движения колоколов». Как же это не значит, удивится современный, воспитанный на анекдотах ум. Ведь не наоборот же? Ведь не колокола же двигают стрелки. Ведь звонарь-то тоже взялся за веревки, предварительно посмотрев на часы. Толстой, однако, приводя этот пример, имел в виду что-то другое.

Глядя на движущийся паровоз, слыша свист и видя движение колес, Толстой отрицает за собой право заключить, «что свист и движение колес суть причины движения паровоза». Свист, разумеется, не входит в число причин, но вот насчет колес позвольте усомниться – именно ведь они, катясь вперед или назад, вызывают движение всей нагроможденной на них штуки. Тут снова нам не остается ничего иного, как предположить, что Толстой что-то другое имел в виду для иллюстрации исторических процессов.

Последний пример, приведенный в третьей части третьего тома «Войны и мира», совсем все запутывает, если только не катить бочку на издательство «Правда», выпустившее в 1984 году собрание сочинений в двенадцати томах. Крестьяне считают, пишет Толстой, что поздней весной дует холодный ветер из-за того, что раскрывается почка дуба. Цитируем с

экивоком к нашему блестящему эпиграфу: «...хотя причина дующего при разворачивании дуба холодного ветра мне неизвестна, я не могу согласиться с крестьянами в том, что причина холодного ветра есть разворачивание дуба, потому только, что сила ветра находится вне влияния почки».

Тут как-то напрашивается предположить обратное развитие событий, то есть раскрытие почки под влиянием холодного ветра, однако Толстой этого не касается, и мы предполагаем, что он совсем не то имеет в виду, что на поверхности, что мысль его и его сильнейшее религиозное чувство полностью отмежевываются от позитивистских теорий XIX столетия и уходят в метафизические сферы. То есть мысль его вдруг распахивает дверь в бездонные пустоты, в неназванность и неузнанность, где предстают перед нами ошеломляющие все эти «вещи в себе».

Увы, несколькими строками ниже граф вдруг возобновляет связь со своим веком «великих научных открытий», чтобы заявить: «...я должен изменить совершенно свою точку наблюдения и изучать законы движения пара, колокола и ветра. То же должна сделать история. И попытки этого уже были сделаны».

В общем, в результате этих отвлеченных и нерешенных (как он считает – пока!) задач Толстой приходит к мысли, что «для изучения законов истории мы должны изменить совершенно предмет наблюдения, оставить в покое царей, министров и генералов, а изучать однородные, бесконечно малые элементы, которые руководят массами».

Почти марксизм. Ленин, очевидно, и эту жажду познаний имел в виду, присуждая графу новый титул «зеркала русской революции». Вождь, впрочем, должен был бы знать, что с Толстым всегда не все так просто, что он не только отражением «суммы людских произволов» занимался, но и свой немалый «произвол» добавлял в эту сумму: а прежде всего полагал, что движение этих бесконечных сослагательных направляется Сверху, то есть не теориями задвинутых экономистов или антропологов, а Провидением.

Но вот бывает же все-таки, что некоторые теоретики и практики выделяются из «суммы произволов» и посылают миллионы на смерть и миллиарды в рабство, стало быть, произвол произволу рознь и нам при всем желании трудно прилепиться к роевой картине, какой бы впечатляющей она ни была, и отвергнуть роль личности в истории.

Все эти размышления на толстовские темы, как бы являющиеся полным подтверждением нашего эпиграфа, понадобились нам для того, чтобы подойти к началу сороковых годов и глянуть сквозь магический кристалл в очередную даль все того же, единственного мирового

«свободного романа», одной из частей коего мы хотели бы видеть и наше повествование, и там обозреть феерию «человеческих произволов», известную в истории под названием Вторая мировая война.

Колонна новобранцев, несколько сот московских юнцов, вразнобой двигалась по ночной Метростроевской улице (бывшей Остоженке) в сторону Хамовнических казарм. Несмотря на приказ «в строю не курить», то тут, то там в темной массе людей занимались крошечные зарева, освещая губы, кончики носов и ладони. Вчерашним школярам не впервой было дымить втихаря, в кулак. Они и шли-то из школы, что в Сивцевом Вражке, где был сборный пункт, то есть из привычной обстановки. Шуршали штатские штиблеты, мелькали и шикарные белые туфли, еще вчера натиравшиеся зубным порошком «Прибой», бесшумно пролетали матерчатые тапочки.

Глава первая

Вы слышите, грохочут сапоги

Куда направляется марш, не было сказано, однако все уже знали: в Хамовнические казармы на санобработку, медосмотр и распределение. Москва была пустынна, затемнена, фонари не горели, окна были закрыты плотными шторами обязательной светомаскировки, но небо светилось, в нем стояла полная луна, хотя не она была главным источником света, а прожекторы, пересекавшие лучами священный свод в разных направлениях, то скрещиваясь, то образуя гигантские лейтенантские шевроны. Под эти лучи попадали только колбасы аэростатов воздушного заграждения, но все знали, что в любой момент может высветиться и что-нибудь другое. В городе ходили глухие слухи, что над столицей уже не раз кружили немецкие разведчики.

В глубине строя, среди однолеток, шагал девятнадцатилетний Митя Градов (Сапунов). Он стал за эти годы довольно рослым парнем, с широкими плечами, развитым торсом, чуть длинноватыми руками и чуть коротковатыми ногами, хорошим чубом, скуластым и челюстным лицом, сильными и непонятно светящимися глазами; в общем, славный юноша. Как раз за три дня до начала войны он окончил среднюю школу, готовился поступать в медицинский (естественно, по совету и по протекции деда Бориса), но все повернулось иначе: не прошло и полутора месяцев, как был призван.

Кто-то в строю уже завел: «Пусть ярость благородная вскипает, как волна, идет война народная, священная война!» Песня эта совсем недавно стала вылетать из репродукторов и сразу же вошла в обиход. Что-то в ней было мощно-затягивающее, не оставляющее сомнений. Даже и Мите, который всегда чувствовал себя чужаком в советском обществе, казалось, что тяжелый маршевый ритм и кошмарные слова («Гнилой фашистской нечисти загоним пулю в лоб, отребью человечества сколотим крепкий гроб...») заполняют и его какой-то могучей, хоть и не очень отчетливо адресованной яростью. Впрочем, сейчас, в этом строю, в ночи, во время первого своего марша к войне, не песня его беспокоила, а присутствие Цецилии Розенблюм. Колонна сопровождалась кучкой мамаш, и в ней семенила Цецилия. Кто ее звал сюда и кому нужны эти телячьи нежности? Мамаша в ней, видите ли, проснулась! Экая бестактность, крутилась в голове у Мити чужая, разумеется, из лексикона деда Бориса фраза. Экая

бестактность! За все эти годы приемный сын ни разу не назвал Цецилию Розенблум матерью. Ее отца Наума Матвеевича он охотно звал «дед», да, впрочем, не только звал, но и считал своим, почти естественным, почти таким же, как дед Борис, дедушкой. Отца приемного, Кирилла Борисовича, давно уже пропавшего в колымских тундрах, помнил все-таки отцом, может быть, даже больше, чем отцом, потому что не стерлась еще в нем память о настоящем отце Федоре Сапунове, жестоком и диком мужике. Он часто и в какие-то самые сокровенные моменты вспоминал, как однажды, за год до ареста, Кирилл присел у его кровати и, думая, что он спит, глядел на него с доброй любовью. Притворяясь спящим, сквозь ресницы, как сквозь сосновые кисти, он смотрел на Кирилла и думал: какое лицо у моего отца, какие глаза человеческие! И сейчас он всегда в своих мыслях называл его отцом: как там отец, жив ли, не убили ли изверги отца моего? Он не очень-то помнил, называл ли его когда-нибудь отцом вслух, или так до конца и держалось изначальное «дядя Кирилл», однако убеждал себя, что называл, и не раз, и в конце концов убедил, что называл своего спасителя от казахстанской высылки, в которой вымерло три четверти односельчан, не дядей, но отцом. А вот жену отца, и ведь тоже спасительницу, Цецилию Наумовну даже в самых отдаленных мыслях Митя не мог назвать матерью. Вот ведь вроде и тетка незлая, даже временами чрезвычайно добрая, а в матери не годится. Никак не могла бестолковая, рассеянная, всегда донельзя нелепо одетая и не всегда идеально чистая (он иногда замечал, что она по утрам в непрерывном бормотании, чертыхании, поисках книг и папирос забывает умываться), да, не вполне благовонная ученая марксистка не могла вытеснить из Митиной памяти гореловскую тощую мамку с ее зуботычинами, постоянным хватанием за уши, этим единственным педагогическим методом, что был в ее распоряжении. Обидные и болезненные щипки не очень-то и запомнились Мите, запомнилось другое: иной раз схватит мамка за ухо, чтобы наказать, больно сделать, а вместо этого вдруг прикроет ухо всей ладонью и приголубит, словно маленькую птицу. Вот это от нее и осталось, от сгоревшей мамки.

* * *

Повестка пришла, естественно, не в Серебряный Бор, где Митя жил почти постоянно, а на квартиру Цецилии, по месту прописки. Поэтому и в сборном пункте он оказался не на окраине, а в центре, на Бульварном кольце. В этой школе их держали чуть ли не сутки, туда и полевая кухня

приходила из Хамовнических казарм, и всякий раз, как он выглядывал из окна, за железной решеткой забора видел среди других толпящихся мамаш и Цецилию. Тоже мне, и в этой мамаша проснулась! Теперь она быстро шла вровень с колонной, иногда переходя на тротуар. Юбка сзади чуть ли не по асфальту волоклась, а спереди косо задралась до левого колена в морщинистом толстом чулке. Вдруг вспомнилось совсем уж стыдное – титьки Цецилии, как Кирилл их хватал, как ласкал их во время первого свидания в том сарае. Ту сцену, которую подылавший от голода пацан подсмотрел сквозь щели в гнилых бочках, Митя всегда старался забыть и вроде бы забыл, а вот сейчас вспомнилась. Трудно себе представить, что та рыжая деваха с очень белым, веснушчатым телом и эта пожилая еврейка – одно лицо. Ну, как это можно быть такой ужасной еврейкой, такой, можно сказать, просто вопиющей старой еврейкой, подумалось Мите, и он содрогнулся от отвращения. От отвращения не к «тетке Циле», а к самому себе. Впервые ему пришло в голову, что он, может быть, потому и не называет ее матерью, что она слишком еврейская, что он ее, может быть, даже стыдится. В доме Градовых не было антисемитизма, и в этом духе Митя и был воспитан, но вдруг вот как бы приоткрылась где-то в глубине какая-то заслонка, и он понял, что ужасно стыдится Цецилии, стыдится перед новыми товарищами, новобранцами, как бы они не подумали, что она его мать.

Колонна стала уже пересекать Садовое, когда Цецилия, заметив, что сопровождающий сержант ушел вперед, прямо замешалась в ряды и стала совать Мите узелок с едой.

– Возьми, Митенька, пачка печенья «Земляничного», фунт «Белки», ты же всегда любил, полдюжины яиц, банка рыбьего жира, смотри, выпей обязательно!

Рыбий жир в этом кулке, наверное, давно уже просочился через пробку, желтые пятна расплзлись по узелку, воняло. Митя отталкивал узелок локтем:

– Не надо. Да не надо же, тетя Цилия!

Боялся, конечно, не запаха, а причастности к еврейке, которая еще и вонючий узелок сует, как будто нарочно, как будто для пущего анекдота. Какого черта, еще рыбий жир туда засунула?! Видно, вспомнила, что детям рыбий жир дают... Эх, какая же я, очевидно, сволочь, злился он.

– Если тебя сразу отправят, Митенька, немедленно напиши. Сразу же по приезде напиши, а то мы все с ума сойдем от волнения, – бормотала Цецилия, приближая к нему свое лицо; верхняя губа с большой родимой под левым крылом носа сильно вытягивалась, кажется, хотела поцеловать.

Ребята вокруг посматривали, хмыкали. Митю прошибало потом от смущения.

– Хорошо, хорошо, тетя Циля. Напишу, тетя Циля. Идите домой, тетя Циля!

Она прервала его бормотание почти отчаянным возгласом:

– Да какая же я тебе «тетя Циля»! Я ведь мама тебе, Митенька!

Сержант, вернувшийся к середине колонны, вдруг заметил в рядах инородное тело. Ухватил Цецилию за рукав: «Ты что, гражданка, очумела? В воинскую колонну? Под арест захотела?!» Рукав вязкой кофты непомерно растягивался, образуя что-то вроде крыла летучей мыши. Цецилия споткнулась. И узелок уронила, и книги рассыпались из соломенной сумки. Колонна тут же оставила ее позади, только в задних рядах захохотали: «Во ползет еврейка!»

Шагавший рядом с Митей тощий маленький Гошка Круткин, из работяг со стройки Дворца Советов, подтолкнул его локтем и спросил довольно равнодушно:

– А ты что, Мить, на самом деле из евреев будешь?

Митя тут взорвался:

– Русский я! На сто процентов русский! Ты что, не видишь? Никакого отношения к этим... к этим... не имею! А эта... эта... просто так, соседка!

Они уже стали проходить под арку длинного желтого казарменного здания, когда вдруг завывли сирены и совсем рядом забухала зенитная пушка. Уже из окон казармы новобранцы увидели, как над крышами Замоскворечья стало разгораться зарево пожара. Первые бомбы упали в ту ночь на Москву.

Тревога продолжалась несколько часов. День занялся, а сирены все выли, то там, то сям били зенитки, но теперь уже явно в пустое небо. Пожар на Шаболовке в конце концов погасили. Видимо, немцы целились в радиобашню, но не попали, подожгли несколько жилых домов.

Трамваи в то утро пошли на два часа позже. Их брали штурмом такие огромные толпы, что Цецилия даже и приблизиться не решилась, отправилась в Лефортово пешком. Ну, а когда добралась, оказалось, что очередь на передачу посылок в этот день совсем непомерная. Ей дали огрызок химического карандаша, и она, немного его посплюнявив, написала вслед за впереди стоявшей женщиной пятизначный номер на ладони. Номер этот означал, что стоять придется весь день, до темноты, а может быть, и уйти ни с чем. Так уж и рассчитывайте, гражданочка, что на весь день, сказала ей соседка, у которой припасено было на этот случай вязанье. Публика знала, что в Лефортовской тюрьме НКВД только три окошка для

передачи продовольственных посылок, а иногда из этих трех работают только два или одно, и в обеденное время все три закрываются на два часа.

У Цецилии был уже большой опыт по стоянию в тюремных очередях. Обычно она брала с собой книги, И.Сталина «Вопросы ленинизма», скажем, или что-нибудь еще фундаментальное, делала закладки, выписывала цитаты, это потом очень помогало на лекциях. Книги, вечные ее друзья, надежные марксистские книги, помогали ей также бороться с отвратительной тревогой, которую она всегда испытывала в этих очередях. Дело в том, что посылки в адрес Кирилла не всегда принимались. В его деле, очевидно, существовала какая-то путаница, какая-то бюрократическая ошибка. Иногда, после целого дня стояния, посылку из окошечка выбрасывали, говоря, что Градова Кирилла Борисовича в списках лиц, имеющих право на получение посылок, нет. Это могло означать самое ужасное... нет, нет, только не это, не самое ужасное, могло ведь что-нибудь произойти и менее ужасное, ну, скажем, его временно лишили права на получение посылок за какую-нибудь провинность там, внутри. При его принципиальности, при его, прямо скажем, упрямстве он мог рассердить каких-нибудь товарищей из администрации, не правда ли? Ведь иногда же посылку просто принимали без разговоров, просто давали расписаться в какой-то ведомости и все, а ведь это явно означало, что он есть в списках лиц, имеющих право на получение продовольственных посылок, логично?

Очередь к окошечкам тюрьмы вилась по тихим лефортовским переулкам, где не чувствовалось ни войны, ни вообще двадцатого века. Заборчики, голубятни над низкими крышами, в окнах резеда, напиток «гриб», киски, на углу керосинная лавка, какие-то глухие времена, как бы восьмидесятые годы, общественный застой. Только уж при самом приближении возникало современное строение, бесконечная и безликая бетонная стена, на которой иногда можно было видеть приклеенные газеты или агитационные плакаты.

Редкие прохожие, обитатели близлежащих тихих переулков, старались проходить, как бы не замечая вечной, глухо бормочущей очереди родственников «врагов народа». Может быть, иные из прохожих и сами были родственниками «врагов народа», и стояли где-нибудь в каких-нибудь других подобных очередях, здесь же никто из них не выказывал никакой симпатии к усталым «посылочникам», тем более что то тут, то там в укромных местах переулков можно было увидеть присевших женщин или сосредоточенно опустившего голову редкого мужчину: волей-неволей народ выходил из очереди пописать, нарушая тем самым идиллию лефортовских переулков и дворов.

Книги помогали Цецилии не только коротать время в очередях, но и отгораживаться от окружающих, то есть не ставить себя с ними на одну доску. Все-таки кто их знает, что за народ вокруг. Ведь не могли же наши органы совершить столько ошибок, как в случае с Кириллом, а эти женщины рядом, может, просто и по случайностям судьбы оказались женами, сестрами, матерями осужденных политических преступников, а может быть, и еще не выявленные соучастницы? Поручиться нельзя.

Отгораживаться надо было и от разговоров вокруг, которые нередко велись совершенно безответственно, даже на грани провокации. Вот это удавалось Цецилии труднее всего. Хоть сама и не разговаривала, но невольно прислушивалась: в этих разговорах то и дело проскальзывало что-то относящееся к Кириллу. Вот сейчас, например, две женщины за спиной шепчутся об осуждении «без права переписки». «Мой муж осужден на десять лет без права переписки, но я все-таки надеюсь...» – бормотал плачущий голосок, как бы напрашивающийся на утешение. «Бросьте ваши надежды, дорогая, – отвечал другой голос, хоть и приглушенный, но почти вызывающий. – Лучше ищите себе другого мужа. Неужели вы не понимаете, что означает это „без права переписки“? Они все расстреляны, все без исключения!» Сквозь сдавленные рыдания первая женщина еле слышно выговаривала: «Но ведь посылки-то иногда принимают... иногда принимают...» – «Ах, оставьте! Зачем вам этот самообман?» – безжалостно парировала этот аргумент вторая.

Цецилия вспыхнула, не выдержала, оглянулась. Прислонившись к фонарному столбу, стояли двое – одна молоденькая, худенькая, беззвучно рыдающая, вторая – круглолицая женщина средних лет, с короткой стрижкой и папиросой. Цецилия, забыв о своих правилах, взвилась на нее:

– Ну что вы несете?! Что за дерьмо вы тут выдумываете?! Кто это вас такой вонючей информацией снабжает? Если кто-то осужден с лишением права переписки, это только то и означает, что ему не разрешается переписываться, и больше ничего! А вы, гражданка, не слушайте никого! Если у вас посылки принимают, значит, ваш муж жив!

Молоденькая дамочка плакать перестала, испуганно и часто кивала Цецилии, как бы говоря: «Да-да, жив, жив, только, пожалуйста, не повышайте голос!» Вторая же, круглолицая, с вызовом закусив папиросу, молча смотрела в сторону; в ней чувствовался враг.

Приблизившиеся несколько женщин обменялись понимающими взглядами. Одна добрая старушка взяла Цецилию под локоть: «Да ты не убивайся, милочка, жив, значит, жив, на все воля Божия. – Она повернулась к окружающим, взиравшим на разгорячившуюся ученую еврейку, и

пояснила: – У ей посылки не принимают, вот какое дело».

Цецилия отдернула руку, еще более возмущенная: значит, ее уже заметили завсегдатаи этих очередей, значит, уже знают, что... Ах, какой позор уже в самой общности с этими обывательницами, какой позор!

– Если вас не извещают о смерти родственника, значит, он жив! – выкрикнула она, все еще пытаясь держать апломб. – Есть закон, есть порядок, и не надо распространять вредные сплетни!

* * *

Через несколько часов, пройдя все переулочные изгибы, она вышла под сень километровой тюремной стены, в самом начале которой наклеен был плакат с огромным кулаком, занесенным над рогатой фашистской каской. Большие черные буквы доносили до народа уверенное сталинское изречение: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!»

«Сколько силы всегда чувствуется в его словах, – думала Цецилия. – Какая весомость! Какое было бы счастье, если бы дело Кирилла когда-нибудь дошло до него, и он отменил бы позорный приговор, и мы вместе с моим любимым отправились бы на фронт, где и Митенька наш уже сражается, и защищали бы Родину, социализм!»

Висевший над стеной репродуктор пел, как в мирное время: «Утро красит нежным светом стены древнего Кремля, просыпается с рассветом вся советская земля!» Дело между тем шло не к рассвету, а к закату, за стеной было совсем темно, женщины изнемогали. Цецилию подташнивало от голода: как всегда, она забыла прихватить с собой что-нибудь съестное, и, как всегда, нашелся кто-то добрый, предложил ей печенье. На этот раз это была та самая злобная круглолицая баба в берете. Развернув Цецилино любимое «Земляничное», протянула на открытой ладони: «Ешьте!»

Цецилия взяла один за другим три ломтика дивного рассыпчатого продукта, с неловкой благодарностью взглянула на женщину:

– Вы уж извините, может быть, я слишком погорячилась, но...

Женщина отмахнулась от извинений:

– Да я понимаю, у всех нервы... берите еще печенье. Курить хотите?

Цецилия вдруг поняла, что знает эту особу, что она вроде бы даже принадлежит к ее «кругу».

– А у вас, простите, муж тут?..

– Ну разумеется, я – Румянцева, вы же меня знаете, Циля.

Цецилия ахнула. И в самом деле: Надя Румянцева из расформированного Института красной профессуры! А муж ее был видным теоретиком, ну, как же, Румянцев Петр, кажется, Васильевич. Его еще называли «в кругах» – Громокипящий Петр! Пережевывая остатки «Земляничного», Цецилия поймала себя по крайней мере на трех грехах: во-первых, вступила в контакт с очередью, хоть и зарекалась никогда этого не делать; во-вторых, подумала о Петре Румянцеве не как о враге народа, а просто как об очень порядочном теоретике марксизма-ленинизма; в-третьих, подумала о нем в очень далеком прошедшем времени, «был», как будто вошедший под эти своды уже не вполне и существует, а значит, и он, ее любимый, ее единственный свет в окне, ее мальчик, как она всегда его мысленно называла, тоже не вполне существует, если не...

К окошку она подошла совсем незадолго до закрытия. Там сидела женская особь в гимнастерке с лейтенантскими петлицами.

– Фамилия! Имя! Отчество! Статья! Срок! – прогаркала она с полнейшим автоматизмом.

– Градов Кирилл Борисович, 58-8 и 11, десять лет, – трепеща пробормотала Цецилия, просовывая в окошко свой кулек.

– Громче! – гаркнула чекистка.

Она повторила громче любимое имя с омерзительным наростом контрреволюционной статьи. Чекистка захлопнула окошко: так полагалось, чтобы не видели, каким образом производится проверка. Потянулись секунды агонии. Менее чем через минуту окошко открылось, кулек был выброшен обратно.

– Ваша посылка принята быть не может!

– Как же так?! – вскричала Цецилия. Белая кожа ее немедленно вспыхнула, веснушки будто запылали в пожаре потрескивающими искрами. – Почему?! Что с моим мужем?! Умоляю вас, товарищ!

– Никакой информацией не располагаю. Наводите справки, где положено. Не задерживайтесь, гражданка! Следующий! – бесстрастно и привычно прогаркала чекистка.

Цецилия совсем потеряла голову, продолжала выкрикивать что-то совсем уже не подходящее к моменту:

– Как же так?! Мой муж вообще ни в чем не виноват! Он скоро будет освобожден! Пойдет на фронт! Я протестую! Бездушный формализм!

– Проходите, гражданка! Не задерживайте других! – вдруг резко, со злостью прокричал сзади голос молодой женщины, что рыдала утром по поводу «осуждения без права переписки». Очередь зашумела, сзади надавливали. Цецилия совсем уже потеряла голову, схватилась за полку

перед окошком, пыталась удержаться, визжала:

– Он жив! Жив! Все равно он жив! Назло вам всем!

На шум подошел один из двух дежуривших у дверей брюхатых сержантов, ухватил шумящую еврейку за оба плеча, рванул, оттащил от окна.

* * *

Было уже совсем темно, когда Надежда Румянцева выбралась из тюремной приемной, и тоже ни с чем, вернее, с тем же, с чем пришла, – с пакетом продуктов для мужа.

Проклиная про себя «коммунистическую сволочь» (вчерашня комсомолка, став жертвой режима, и не заметила, как быстро докатилась до белогвардейских словечек), она потащилась к трамвайной остановке и вдруг увидела в маленьком скверике сидящую на скамье, расплывшуюся в полной прострации Цию Розенблюм. На коленях у нее были листки, покрытые расплывшимся чернильным карандашом, – единственное за все время письмо, пришедшее от Кирилла.

Надя присела рядом. Она почему-то сочувствовала этой «оголтелой марксистке» (опять какое-то антисоветское выражение выплывает неизвестно откуда), хотя и обижалась, что при прежних встречах в очереди у Лефортово та ее в упор не замечала.

– Ты еще счастливая, – вздохнула она, – тебе пишут.

Цецилия вздрогнула, взглянула на Надю и вдруг уткнулась ей, малознакомой женщине, в плечо.

– Это еще в тридцать девятом, – бормотала она. – Единственное письмо. Одни общие фразы.

Надя повторила: «Ты еще счастливая», хотя и слукавила, она от «своего» получила за три года все-таки три письма. Неожиданно для себя самой она погладила Цецилию по волосам. Откуда эти телячьи нежности? Обнявшись, обе женщины в охотку зарыдали.

– Почему они не принимают посылки, Надя? – спросила потом Цецилия.

Румянцева привычно оглянулась, в те времена оглядывался любой советский человек, перед тем как произнести более или менее энергичную фразу.

– Эх, Ция, может быть, просто не знают, где эти люди. Не удивлюсь, если у них там такой же бардак, как везде.

Они поднялись и тяжело поплелись к трамваю, словно две старухи, хоть и были еще вполне молодыми здоровыми бабами. Не говоря уже обо всем прочем, система полностью переломала их половую жизнь.

– Война все изменит, – проговорила Надя. – Им придется пересмотреть свое отношение к народу.

– Может быть, ты права, – сказала Цецилия. – И первое, что мы должны пересмотреть, это отношение к партийным кадрам.

Они говорили уже совсем дружески и не замечали, что одна называет их «они», а другая – «мы».

– А тех, «без права переписки», всех шлепнули, – сказала Надя.

– Неужели это правда? – еле слышно прошептала Цецилия, потом заговорила громче: – Прости мою вспышку, Надя. Нервы на пределе. Однако у Кирилла ведь не было этой формулировки в приговоре, и вот видишь, все-таки... письмо...

– Да-да, все будет хорошо, Циля, – ободрила ее новая подруга.

Они завернули за угол, и тут прямо им по макушкам из какого-то низкого открытого окна заговорило радио: «От Советского Информбюро. На Смоленском направлении идут ожесточенные бои. Потери противника в живой силе и технике растут...»

– Слышишь?! – панически воскликнула Цецилия. – Смоленское направление! Они подходят! Что с нами будет?

Новое московское небо с аэростатами и лучами прожекторов диким контрастом стояло над захолустной Лефортовской слободой. Старый Кукуй в ужасе съежился перед подходом соплеменников.

Глава вторая

Ночные фейерверки

За десять с лишком лет, что прошли с нашего первого появления на Белорусском вокзале, он основательно изменился, не в том смысле, разумеется, что ушла куда-то его псевдорусско-прусская архитектура или испарился прокопченный стеклянный свод, роднящий его с семьей великих европейских вокзалов, а в том, что вместо мирной, хотя и основательно милитаризированной, атмосферы 1930 года, в которую мы даже умудрились вплести завитушку любовной интриги, мы оказались сейчас в августе сорок первого, на перевалочном пункте войны, на базе отправки к фронту и эвакуации из горящих западных областей.

Как раз к тому моменту, когда уцелевшие Градовы съехались на проводы всеми любимого Саввы, на дальний путь прибыл поезд из Смоленска, в составе которого несколько вагонов представляли собой лишь выгоревшие остовы. Сомнений не было – поезд с беженцами попал по дороге под бомбежку немецкой авиации. Бледные лица беженцев и раненых красноармейцев, заполнившие все проемы окон в уцелевших вагонах, медленно проплывали вдоль перрона, словно экспозиция старинной живописи, однако и в обуглившихся вагонах, на площадках, и среди руин купе шевелились люди, создавая совсем уже призрачное впечатление.

Перроны и залы ожидания вокзала пребывали в непрерывном кашеобразном движении, будто некий повар пошевеливал человеческое месиво невидимым черпаком: напирали с мешками, разваливались по кафелю вперемежку с содержимым мешков, вскакивали и неслись, пробирались с кипятком, мочились в углах, потому что проникнуть всем желающим в туалеты было невозможно. Военные патрули замахивались прикладами, пробивая себе дорогу. Гвалт, бабьи вопли, рыдания, детский визг, неразборчивые приказы по громкоговорителю...

Градовы после тишины и безлюдья Серебряного Бора чувствовали себя ошарашенными. Одна лишь Нина как будто не замечала ничего, весело, влюбленно подтрунивала над своим облаченным в мешковатую форму со свежими майорскими петличками мужем.

– Посмотрите на Савку, – взывала она. – Ну, каков?! С каким небрежным щегольством он носит свой изысканный мундир! Я и не подозревала, что выхожу замуж за кавалергарда!

Военврач III ранга Китайгородский старался подыгрывать веселому настроению жены: выпячивал грудь, подправлял воображаемый ус, прохаживался вдоль вагона «кавалергардовской» пружинистой походочкой, потряхивая длинными ляжками, побрякивал воображаемыми шпорами. Семилетняя Ёлка самозабвенно хохотала над вечным комиком папкой. Остальные недоуменно молчали.

Нина, все еще очень подвижная, очень молодая в свои тридцать четыре – с некоторого расстояния, ну, скажем, метров с пятнадцати, вообще сходила за девчонку, – пританцовывала вокруг мужа, теребила его гимнастерку:

– И все-таки чего-то еще не хватает, не все продумано! Нет аксельбантов, например!

– Все мы плевали на ваши аксельбанты давным-давно, давным-давно! – басом пел в ответ Савва строчку песни из популярной пьесы. На душе у него, очевидно, кошки скребли, но он понимал из Нинкиной буффонады, что ей еще хуже, и продолжал ей подыгрывать. Подхватывал под руку, жарко шептал на ушко: «Вы обмишулились, милочка, приняв гусара за кавалергарда, боевого коня за обозную лошадь!»

В конце концов всех рассмешили. Даже Мэри Вахтанговна, у которой все чаще стало появляться на лице выражение застывшей трагедии, улыбнулась. «Экое паясничество перед разлукой, – подумала она. – Странно. Нет, я их не понимаю, но, может быть, так легче?..»

Она еще не успела опомниться после ухода Мити, как вдруг Савва позвонил и сказал, что уезжает на фронт: назначен главным хирургом дивизионного, то есть полевого, госпиталя. Даже и глава семьи, даже Борис, несмотря на свои годы, а ведь ему уже шестьдесят шесть исполнилось, теперь непосредственно связан с войной, выдвинут снова, как в двадцатые, в прямое руководство медицинской службой вооруженных сил, получил звание генерал-майора. Непрерывно на совещаниях и в разъездах, инспектирует медицинское обеспечение фронтов. Она его почти не видит, никто его почти не видит. Вот и сейчас, обещал приехать на вокзал проститься с Саввой, однако до сих пор не появился, а поезд уже может отойти в любую минуту.

Поезд и на самом деле мог отойти в любую минуту, но похоже было и на то, что он может отойти и через несколько часов, а может быть, и совсем не отойти. Савва уже гнал своих с вокзала, однако они упорно не уходили, топтались на перроне, сопротивляясь порывам толпы. И его собственные старенькие родители, мать с отчимом, чудом уцелевшие осколки прошлого, филологи-серебряновековцы, если только можно сказать об осколках чего-

то вдребезги разбитого, что они уцелели, и Мэри, и непотопляемый дредноут градовского семейного уюта Агаша, и Борис IV, мужественный подросток, глядящий на него чистейшими, явно отцовскими и дедовскими, градовскими глазами, выражающий всей своей чрезвычайно крепенькой, ладной фигурой могучее подростковое желание уехать вместе и в то же время строго держащий за руку младшую сестру Верулю, в чьих глазах закавказская мягкая ночь нашла себе пристанище, – трогательная, ей-ей, парочка «сирот» при живых, запрятанных в лагеря родителей, и совершенно уже невозможная, полностью уже в репертуаре «комической старухи», хотя ведь ей всего тридцать семь, Цилька Розенблюм со своим чрезвычайно позитивным папашей Наумом – все не уходили, толкались вокруг. Господи, как Савва их всех любил и как за всех боялся, экое жалкое и трогательное сборище человеческого рода! Все уже порядком истомились на перроне, уже не знали, о чем говорить и как выражать свои чувства отъезжающему, одна лишь Нинка все теребила своего Савку, то увлекала его в сторону, и там со смехом они шептались, то возвращала обществу и продолжала шутить над «кавалергардом». Чем дальше, тем больше в ее шутках начинали проскальзывать ниточки отчаяния.

– Ну, идите, разъезжайтесь уж наконец! – взывал Савва. – Я устал, пойду в купе и лягу. Доступ к телу прекращается!

Никто, однако, не уходил. Мэри Вахтанговна тем более заявляла, что с минуты на минуту подъедет Борис.

Глава семьи вдруг появился – очень оживленный, в шинели с генеральскими отворотами, в сопровождении адъютанта. Он шел уверенным, бодрым шагом, толпа расступалась при виде авторитетной фигуры медицинского генерала. Мэри Вахтанговна не узнавала своего мужа: с началом войны Борис Никитич радикальнейшим образом переменялся, пропал грустно увядающий, философски настроенный профессор, появился энергичный, с огоньком в глазах, вечно в несколько приподнятом настроении деятель обороны.

– Ну, где тут наш военврач? – возгласил Градов.

– Здравья желаю, ваше высокопревосходительство! – гаркнул, вытягиваясь, Савва.

Они обнялись, потом отстранились, любовно друг друга оглядывая.

– На рысях на большие дела! – восхитилась Нина.

Вдруг пробежало вдоль поезда несколько увесистых красноармейцев, выскочил железнодорожник с перекошенной щекой: «Через пять минут отправляемся!»

Нина тогда молча бросилась к мужу, обхватила его шею, вцепилась в

него всем телом, будто требуя немедленной любви. Все смущенно полуотвернулись. Разлука подступала.

Строгий юноша Борис IV между тем досадовал: так и не удалось задать Савве несколько важных вопросов. Смогут ли новые формирования остановить группу армий «Центр»? Почему бездействуют наши парашютно-десантные части? Правда ли, что танк Т-34 не знает себе равных в мире и когда, по мнению Саввы, можно ожидать его развертывания на театре военных действий? И главное, почему мы так быстро отступаем, отдаем город за городом? Быть может, осуществляется стратегия сродни кутузовской в 1812 году – заманить захватчика в глубь страны, растянуть коммуникации, а потом огромным потоком ударить с фланга? На все эти вопросы лучше всего ответил бы отец, но его нет, «припухает», как говорят пацаны с трамвайного кольца, в лагерях вместо того, чтобы вести войну. Дядя Савва, впрочем, тоже вполне серьезный собеседник, с ним не раз они обсуждали вопросы мировой военной стратегии, однако Нинка – Боря, не отступая от семейной традиции, называл тетку в уменьшительном ключе – не дает к нему даже приблизиться.

Вдруг без всяких дальнейших предупреждений, без звонка и без гудка поезд тронулся. Савва в панике оторвал от себя жену, бросился к вагону, еле успел в куче комсостава уцепиться за поручни, прыгнул, повис, ноги поволоклись, хрясь, зацепился за чью-то ногу, подтянулся. Часть комсостава, к счастью, всосалась, Савва спешил закрепить на подножке, чтобы хотя бы успеть оглянуться, еще раз, в последний раз увидеть родные лица, лицо любимой; у него было сильнейшее ощущение, что именно в этот момент он вкатывает в другой мир, еще миг – и железная крышка захлопнется над его молодостью... хотя бы поймать еще несколько бликов... Он обернулся, поезд уже приближался к концу перрона, кто-то рядом бежал, размахивая руками, в щеку рядом дышали перегаром... вдруг мелькнуло лицо юнца с горящими глазами, да ведь это же Борька... кого же он тащит за руку, да, это она... как я тебе благодарен за все... волосы упали на глаза... каждый миг с тобой буду вспоминать до конца, все, начиная с серебряноборских мелких, подернутых льдом лужиц... твою холодную ладонь, первое прикосновение... еще бежит, глаз не видно, горький рот... пятно лица пропадает и снова мелькает из-за голов... сладостный рот в горькой гримасе... прощай!

– Пошли в купе, – сказал капитан-артиллерист. – У нас там шесть бутылок водки. Отдохнем напоследок.

Борис Никитич и Мэри Вахтанговна пробирались через зал ожидания на площадь, где их ждал автомобиль. Адъютант шел впереди, прокладывая дорогу. Сзади Агаша тащила за руки Бориса IV и Верулю. Мальчик, шепча проклятия, пытался освободиться, но нянька была неумолима, хотя и делала вид, что это не она его ведет, а он ее, старую и маломощную, да еще и с девочкой, что он тут главный в этой связке – мужчина. В конце концов Боря смирился и обратил свое внимание на окружающий табор. Большинство пожилых людей здесь жевало, как будто боялось, что где-то в неопределенном «там» пожевать уже не придется. Какая-то смоленская с характерным аканьем рассказывала о чем-то ужасном, глаза ее округлились, щеки дрожали. «Воет и падаить прямо-т-таки на нас, ноги-руки отнялись, Господи Иесусе, ка-а-ак грабанеть по крыше, дым, пожар, а сам-ш-таки уверх ушедши, как свечка...» Боря догадался, что речь идет об атаке пикировщиков – «штукас». Неподалеку на полу среди мешков кто-то умудрился развести самовар, там царила безмятежность. Две девчонки Бориного возраста накручивали патефон. Доносилась песенка: «Эх, Андрюша, нам ли жить в печали? Не прячь гармонь, играй на все лады! Посмотри, как звезды засверкали, как зашумели зеленые сады!» Боря поморщился: песенка, слащавая и как-то странно будоражащая, летела из вчерашнего, так называемого мирного, времени, из пасторалей НКВД, где никто против сволочи не дерется, а все безоговорочно подчиняются. К чертям собачьим такое мирное время! Война вдруг распахнула перед мальчиком огромный новый мир, в котором образ «сволочи» оформился в германского нациста, с которым можно и должно драться, как подобает мужчине! Боря, естественно, дико завидовал своему кузену и ближайшему другу Мите, который уже ушел на фронт (странно, без особого энтузиазма), в то время как он вынужден будет еще столько времени ходить в осточертевшую школу, где все учителя знают, что он сын «врагов народа», и смотрят на него либо с мрачной подозрительностью, либо, что еще хуже, с затаенной слезливостью. Больше всего Боря боялся, что война кончится слишком быстро и он упустит свой шанс.

Дед и бабка Бориса I V, проходя через вокзал, тихо беседовали.

– Ах, Бо, нет уже сил на бесконечные проводы, разлуки, аресты... Исчезло из нашей жизни столько любимых – Никитушка, Кирюшка, Викуля, Галактион, Митя, теперь вот Савва... Кто будет завтра? Что останется от нашей семьи?

Борис Никитич вдруг поцеловал старую подругу в щеку, взглянул на нее с некоторой лукавостью:

– А что ты скажешь, Мэри, если вдруг я предложу тебе для разнообразия устроить какую-нибудь встречу вместо проводов?

Изумленная Мэри Вахтанговна приостановилась, приложила руки к щекам:

– Что ты имеешь в виду, Бо? Что за странный шутливый тон у тебя появился в последнее время?

Борис Никитич, по-прежнему с очень веселой миной, хлопнул себя ладонью по рту, потом оба кулака сжал под подбородком, как бы удерживая секрет, с игривостью некоторой поежился плечами:

– Не буду тебе говорить, нет-нет, преждевременно!

– Что это значит?! – вскричала Мэри Вахтанговна. – Тебе что-то важное сказали? Где ты был сегодня? В ЦК, в наркомате?

– Нет-нет, это слишком преждевременно...

– Боже мой, Боже мой... – забормотала Мэри Вахтанговна. – Может быть, хоть Вику отпустят?.. Ты прав, прав, Бо, не надо преждевременно...

Она боялась и подумать о сыновьях, допустила в мыслях только Веронику и тут же поймала себя на том, что вот ее-то упомянула, значит, с ней-то все же меньше боится ошибиться, потому что все же она ей меньше дорога, чем свои, родные, что вот ее-то выпустила вперед, вроде как прикрыть, вроде как заложницу своей надежды, устыдилась и совсем замолчала.

Они уже выехали на шоссе к Серебряному Бору, когда небо позади, над Москвой, стало раскалываться огромными вспышками, сквозь шум мотора донесся гром – еще одна группа бомбардировщиков прорвалась к столице.

Помощник военного атташе Соединенных Штатов Америки полковник Кевин Тэлавер сквозь щелку в шторе затемнения смотрел на Кремль. Посольство располагалось в солидном с полуколоннами семиэтажном здании советского ампира прямо напротив крепости, через огромную Манежную площадь, бок о бок с много повидавшей на своем веку гостиницей «Националь».

Как обычно, по ночам в Кремле было совсем темно, однако время от времени небо призрачно озарялось пускаемыми с бомбардировщиков осветительными ракетами, и тогда отчетливо обозначались зубцы стен, проемы бойниц и окон, башни отбрасывали на купола резкие колеблющиеся тени. Тут же вздымалась в небо стена заградительного огня, среди туч разрывались шрапнели. Где-то в отдалении, раскалывая ночь,

падала брошенная наугад тяжелая бомба. Немецкие самолеты кружили на большой высоте, зенитки до них не доставали, однако мешали им снизиться для прицельного бомбометания. Немцы, по всем признакам, норовили поразить главные правительственные здания и даже сам идеологический центр коммунистической империи, крепость Кремль. Пока им это не удавалось, бомбовый груз сбрасывался над Москвой вслепую, падал на жилые кварталы. Впрочем, третьего дня, согласно весьма достоверным слухам, одна бомба упала прямо рядом со зданием ЦК ВКП(б) и убила случайно находящегося в этот момент на улице известного драматурга Александра Афиногенова, женатого, как это ни странно, на подданной США.

Тэлавер раскурил трубочку. Осветительная ракета догорала в небе над Китай-городом. Кремль снова погружался в темноту. Где же Сталин? Неужели сидит в крепости и вот так же, как я, сквозь щелку озирает бомбежку? По некоторым сведениям, его давно уже нет в Москве. Если это так, значит, они совсем потеряли надежду отбить столицу. Неужели 1812 год повторяется?

– Послушайте, Тэлавер, отойдите от окна со своей трубкой, – сказал из глубины комнаты Джеффри Пэнн, помощник посла по политическим вопросам.

– Бойтесь, что мой огонек заметит какой-нибудь ас люфтваффе? – усмехнулся полковник.

– Боюсь, что вас заметит патруль с улицы и нам придется тащить свои дринки в бомбоубежище, – хохотнул Пэнн.

Несколько дипломатов и гость, знаменитый журналист Тоунсенд Рестон, коротали время в затемненной гостиной. Единственная слабо светящаяся в углу под кремовым абажуром лампа придавала помещению особый уют осажденного комфортабельного отеля. Этому также способствовала батарея бутылок, сифоны с содовой, ведро со льдом, словом, то, без чего не завяжешь джентльменского разговора о политической ситуации.

– Ну что, помахал тебе Сталин из своего Кремля, Кевин? – спросил Рестон, когда длинная фигура Тэлавера отошла от окна и приблизилась к маленькому бару, чтобы сделать себе очередной дринк. Они были приятелями еще по Гарварду, не раз пересекались во время той войны, что до недавнего времени именовалась Великой, а нынче, похоже, будет просто «первой», вместе колобродили по Парижу в те первые сумасшедшие послевоенные годы. Потом их дорожки разошлись, и Рестон, добравшись сразу после открытия Восточного фронта до Москвы, очень удивился,

найдя в составе посольства Кевина Тэлавера, да к тому же еще и в чине полковника. Оказалось, что тот все эти годы работал в каком-то сугубо теоретическом отделе Пентагона, да к тому же стал большим знатоком Восточной Европы и России, защитил диссертацию по российской истории, овладел русским языком со всеми его жуткими склонениями и наклонениями. Последнее обстоятельство наполнило Рестона черной завистью: в который раз он уже приезжает сюда, русская тема и сделала, собственно говоря, ему имя, а до сих пор не может связать десяти слов в отчетливую фразу. Тэлавер, побрякивая кубиками льда в стакане, приблизился к обществу и сел в глубокое кресло, выпятились вверх донкихотовские колени.

– Сталин пропал, – сказал он. – После той речи третьего июля, после того, хм, библейского обращения к народу – «братья и сестры», видите ли, с того дня о нем ничего не слышно, никто не видел его во внешнем мире. Это ужасно.

– Что же в этом ужасного, Кевин, позволь тебя спросить? – усмехнулся Рестон. – Народ не видит своего дракона, некому приносить жертвы?

– Речь сейчас идет о другом, – возразил Тэлавер. – Так или иначе, дракон оказался лидером этой великой страны, всей русской цивилизации. Для миллионов людей он был символом могущества страны, и вот сейчас, когда страна разваливается, символ исчез. У меня такое ощущение, что он просто празднует труса, боится за свою шкуру. Это трагедия!

– А по мне, так эти «наци» и «больши» – одного поля ягоды. Я их ничуть не жалею, этих «больши», – заскрипел Рестон. – Конечно, народ страдает, но, если в результате развалятся обе преступные шайки, я не заплачу.

– Прости меня, Рест (так они в Гарварде называли его, чтобы не возиться с неудобным Тоунсендом, из которого при сокращении возникал то «город», то «песок»), прости меня, но разница между «наци» и «больши» все-таки есть. Увы, они не могут развалиться одновременно, а «наци» сейчас стоят под Москвой, а не наоборот; в этом и есть разница.

В других креслах в это время дипломаты говорили о катастрофическом положении на фронте. Джеффри Пэнн пересказывал содержание последних сводок, полученных послом. Группа армий «Центр» под командованием генерал-фельдмаршала фон Бока сконцентрировалась для окончательного штурма Москвы. В ее составе почти два миллиона войск, две тысячи танков, огромное количество артиллерии. Ей противостоят разрозненные и деморализованные паническим отступлением армии русских, в которых нет и половины их штатного состава. Линия фронта фактически

отсутствует, многие дивизии попали в «котлы». Немцы не знают, что делать с огромным числом пленных. Ходят слухи о капитуляции целых соединений в полном составе во главе с генералами. В воздухе полное превосходство люфтваффе. Танки красных не выдерживают ни малейшего соприкосновения с немецкими бронированными кулаками. Немцы жгут их сотнями. Поражает оперативная беспомощность советских полководцев. Словом, полный развал. Как бы нам не пришлось, джентльмены, наблюдать парад вермахта прямо под нашими окнами.

Рестон ничего не ответил Тэлаверу. Краем уха он слушал сообщения Пэнна, и ему хотелось подключиться к той, другой группе, где в этот момент проходила главная информация. Кевин же, очевидно, был настроен на рассуждения общего порядка.

– В общем, Рест, должен тебе сказать, что я вовсе не буду в восторге, если над Кремлем вместо полностью красного флага поднимется тоже красный, но с белым кругом и черным пауком в середине, – продолжал Тэлавер. – Помимо всего прочего, я, ты знаешь, никогда не делал секрета из своей любви к России, к ее литературе и истории, и мне вовсе не хочется, чтобы этот народ превратился в стадо «унтерменшей» согласно нацистской доктрине.

– Кевин! – громко обратился тут Джеффри Пэнн. – Это правда, что Сталин за несколько лет до войны уничтожил массу своих генералов?

– Истинная правда, – ответил Тэлавер, но тут поднялся Рестон, обрадованный тем, что беседа вернулась в общее русло.

– Я могу вам рассказать об этом лучше Кевина. В тридцать седьмом году я освещал московские show trials^[6].

Он начал говорить о событиях всего лишь четырехгодичной давности, о том, как приехал тогда в Москву и как сначала ничего не мог понять, а потом пришел к простейшей отгадке, стал ее прикладывать ко всем сложным советским ситуациям, и все совместилось. Отгадка состояла в том, что если страной правит банда, то и все неясности надо объяснять простейшей уголовной логикой. Он завладел аудиторией, но в этот момент быстро вошла, едва ли не вбежала секретарша посла Лоренса Стейнхардта миссис Свенсон и принесла сенсационную новость: только что, вообразите, джентльмены, почти в девять часов вечера, послу в его Refuge^[7] звонили из Наркомата иностранных дел и сказали, что в связи с осложнением ситуации на фронте некоторые правительственные учреждения и иностранные посольства могут быть эвакуированы в Куйбышев. Куйбышев, джентльмены, это восемьсот миль к востоку, в заволжских степях, нечто

вроде Небраски, но там до сих пор, я полагаю, бродят кочевники. Словом, наркомат предложил нам срочно подготовиться к отправке. Кроме того, прошу меня простить за вторжение в ваш столь уютный «мужской клуб», однако человек из наркомата, его имя, кажется, мистер Царап, настоятельно просил или, если угодно, требовал во время воздушной тревоги спускаться в бомбоубежище. В связи с этим посол хотел бы подчеркнуть обязательность его уже сделанных на этот предмет распоряжений.

– Могу я вам чего-нибудь налить в связи с этим, Лиз? – спросил Джефффри Пэнн, но в это время снова забухали зенитки, совсем близко на этот раз, как будто с крыши «Националя» или со двора университета; даже сквозь плотные шторы затемнения стало заметно, что небо снова озарилось зловещими сполохами.

Дипломаты неохотно вылезали из удобных кресел. Теперь придется торчать несколько часов в подвале, хотя вероятность попадания бомбы на самом деле весьма незначительна. Не более значительная, чем спуск немецких парашютистов на лужайку в Refuge, предположил Джефффри Пэнн. Он, как и многие другие сотрудники посольства, почти открыто высмеивал исключительную дальновидность «нашего адвоката» – так они называли непрофессионального дипломата Стейнхардта. Едва лишь началась война между Германией и Россией, посол немедленно приступил к строительству комфортабельного убежища в сорока километрах от Москвы на реке Клязьме. Практическая деятельность посольства почти заглохла. Посол, очевидно, решил пересидеть смутное время за высоким забором в стиле фортов Дальнего Запада. Если только не спустятся парашютисты, шутили дипломаты. Или не ворвутся индейцы, добавлял кто-нибудь особенно ехидный. Так или иначе, приходилось подчиняться. Кое-кто проявил хорошую предусмотрительность, засунув в карман бутылочку «Johny Walker». Кевин Тэлавер забежал в свой офис, чтобы запастись чтением. Рестон подождал его в коридоре. Тэлавер выскочил со стопкой старых книг под мышкой. Оба они посмотрели друг на друга и подумали одновременно одно и то же: «Этот малый еще совсем неплохо выглядит».

Рестон посмотрел, что за книги тащит с собой в бомбоубежище Тэлавер. Это была в основном поэзия: Пушкин, Тютчев, Элиот...

– Ты – самый странный полковник из всех, кого я встречал в жизни, – улыбнулся Рестон.

– Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые, – явно рисуясь, произнес Тэлавер по-русски.

Из всей этой фразы Рестон поймал только слова «мир» и «минуты».

Чертов язык!

Они догнали остальных уже на лестнице. Инструкция запрещала во время воздушных тревог пользоваться лифтом. На нижнем этаже Рестон заметил небольшую дверь с надписью «выход». Он приотстал на несколько шагов, а когда вся группа скрылась за поворотом, повернул набалдашник дверной ручки. Дверь совершенно непринужденно открылась, и через мгновение старый авантюрист оказался на улице, вернее, под аркой проезда, соединяющего посольский двор с Манежной площадью.

В первый миг ему показалось, что он вышел не в Москву, а в какой-то не вполне реальный карнавальный город. Небо трепетало сполохами, смешивались стихии воздуха и огня, из полного мрака вдруг, словно на фотобумаге, проявлялись башни Кремля, ревел звуковой шторм, в котором слышались и басы, и дисканты разрушительных средств, временами вдруг посреди урагана возникали паузы полного молчания, и они, как отсутствие чего бы то ни было, поражали еще больше, чем рев.

Рестон старался, чтобы звук его шагов совпал с грохотом и ревом налета, а само продвижение мимо милицейского поста – с моментами мрака. Ему удалось незамеченным выйти из-под арки, пройти мимо затемненного «Националя» и завернуть на улицу Горького. Эту улицу он долго и упорно называл старым именем – Тверская, пока не перевел новое название на английский. С тех пор стал величать главную улицу столицы победившего социализма на свой лад, the Bitter Street – Горькая улица, что звучало, с его точки зрения, вполне уместно.

Рестон любил такие неожиданные отрывы от расписания солидного журналиста с его приемами, коктейлями, запланированными интервью и пресс-конференциями. Именно такие внеординарные моменты, вспышки tout-a-coup, впечатлений, делали его репортажи необычным явлением в журналистике. Сегодняшний спонтанный отрыв просто привел его в восторг. Значит, еще не постарел, черт возьми, если позволяю себе такие штуки, думал он, быстро шагая вверх по Горькой улице. Подошвы его будто летели, мышцы будто звенели от восторга, он будто ждал какой-то волшебной встречи, о которой якобы мечтал всю жизнь, он будто бы к ней с каждым шагом приближался. Возле здания телеграфа к его ногам упала дымящаяся гильза зенитного снаряда.

Вдруг откуда-то прорезался милицейский свисток, потом послышалось: «Стой!», в очередном всполохе мелькнул приближающийся мотоцикл, зажглась фара. Он решил во что бы то ни стало не попадаться и побежал. Иначе опять загонят в бомбоубежище, думал он, не зная, что речь в подобной ситуации – ночь, тревога, налет, патруль, убегающий человек –

может пойти совсем о другом, а именно о пуле в спину. Он не знал, что в Москве повсеместно вот уже несколько недель распространяются призывы к бдительности, что все, даже школьники, высматривают немецких шпионов, которые якобы во время налетов фонариками подают с земли сигналы бомбардировщикам. Рестон этого не знал и убегал от мотоцикла даже с некоторой шаловливостью. Нырнул во двор, забежал в какой-то темный подъезд, увидел, как мотоцикл промчался мимо, и снова выскочил на Горькую. Больше его никто не тревожил, и он спокойно шел несколько минут и даже постоял немного на Пушкинской площади, глядя, как озаряется огнем какая-то высокопарная скульптура – социалистический ангел, парящий на крыше углового дома.

Стрельба зениток усиливалась, лучи прожекторов металась по всему своду небес. На площади Маяковского он вдруг увидел высоко в небе в пересечении лучей медленно плывущие крестики нацистских бомбардировщиков. Разобрать марку машин было невозможно, но он сказал себе, что это «хейнкели» и «дорнье», и быстро черкнул в записной книжке – «хейнкели» и «дорнье». Вдруг где-то, совсем неподалеку, раздался ужасающий удар, немедленно перешедший в грохот развала. Он понял, что эти мирно проплывающие крестики начали сбрасывать свой груз.

Он уже знал, что метро в Москве используется как гражданское бомбоубежище, и быстро пошел к знакомой ему станции «Маяковская».

Какие-то мальчишки в полувоенной одежде, дежурившие в вестибюле, увидев его, бросились, крича: «Ты что, дядя, охерел?», втащили внутрь. Проклятое слово «бомбоубежище» никак не давалось Рестону, но он все-таки его произнес.

– Англичанин тут какой-то охеревший шатается! – крикнул кому-то какой-то из дежурных и подтолкнул Рестона к эскалатору: – Давай, чапай вниз!

Движущаяся лестница, естественно, не работала, и он долго шел пешком, удивляясь глубине шахты. Не исключено, что при постройке в начале тридцатых кто-то уже думал о будущих бомбардировках, предположил Рестон.

Как и всех иностранцев, московское метро поражало Рестона изысканностью своей отделки, в которой сквозь нарождающуюся социалистическую пышность еще кое-где просвечивал ныне совсем уже загнанный русский модернизм. Почему вдруг решили с такой роскошью украсить обыкновенную городскую транспортную систему? Скорее всего, это идея самого Сталина, без него тут ничего не делается, но что все-таки

он имел в виду? Быть может, хотел в этих дворцах показать массам черты приближающегося коммунизма? Замечательно, что этот идеальный коммунизм возник изначально все-таки под землей.

Лестница кончалась, выступали из мрака два ряда колонн полированной нержавеющей стали, мраморная облицовка стен, купола с мозаичными панно, в которых-то как раз сквозь радостное социалистическое содержание просвечивал какой-то формализм. Пол станционного зала, запомнившийся Рестону своим геометрическим орнаментом, был не виден, поскольку все его пространство было до последнего квадратного сантиметра покрыто сидящими или лежащими в скорчившихся позах людьми.

Рестон остановился в недоумении, потом попытался, балансируя, продвинуться вперед. Вряд ли в этом храме социализма найдется место для моей задницы, подумалось ему, не садиться же, в самом деле, на людей. Тут как раз его позвали: «Эй, садитесь, гражданин!» Он оглянулся и увидел, что кто-то умудрился подвинуться, освободив ему кусочек пола, достаточный для приземления на половину ягодиц. Опустившись, он подумал, что вряд ли уйдет отсюда без воспаления седалищного нерва. В следующий момент ему стало чертовски неловко, поскольку он увидел, что по-медвежьки привалился боком к какой-то женщине. Еще один момент проскочил, пока Тоунсенд Рестон не сообразил, что ему чертовски повезло: женщина была очаровательна. У нее были густые темные волосы и прозрачные голубые глаза – сочетание, иногда, не часто, встречающееся в Северной Италии. Не там ли он встречал ее? Его не оставляло ощущение, что он уже где-то видел эту женщину. Между тем она сидела словно не на полу в бомбоубежище, зажатая со всех сторон, а в уютном кресле возле камина. Ноги ее были прикрыты клетчатым пледом. От Рестона не ускользнуло, что их очертания были очень милы. На колене она держала блокнот и время от времени что-то в нем записывала. Уж не на журналистку ли напал старый бандит пера? К левому боку женщины привалилась девочка лет семи, она безмятежно спала, посапывая носиком. Справа, увы, громоздился здоровенный, пропахший трубочным табаком и шотландским виски американец. Она улыбнулась ему ободряюще: устраивайтесь, мол, поудобнее.

– I'm awfully sorry, ma'am, for such an inconvenience^[8], – пробормотал он.

Она удивленно, если не изумленно, подняла брови. Иностранец?! Здесь?!

– Не хорошо русски, – сказал Рестон. – Est-que vous parlez francais,

madam?^[9]

Оказалось, что она совсем неплохо говорит по-французски, хотя все время смеется над своими спотыканиями и дурным произношением. Мало практики, вернее, полное отсутствие практики. С мужем они иногда в виде шутки болтали по-французски, но он уже вот почти месяц как ушел на фронт. Он военный, ваш муж, мадам? Нет, он врач, хирург, ну и, как вы понимаете, сейчас там большой спрос на хирургов. Ваш французский, мадам, ненамного хуже моего, а я жил в Париже больше двадцати лет. Вы русская? Она улыбнулась: полурусская, полугрузинка.

Задавая этот вопрос, Рестон, как и все американцы, больше имел в виду гражданство, чем происхождение. Собеседница же ответила в типично местном ключе: многонационально-советское гражданство подразумевалось. Грузины – это на юге, вспомнил он, на границе с Турцией. Вот откуда такое замечательное сочетание, Средиземноморье и Север, отголосок Скандинавии – она ведь тоже всегда присутствует на этой равнине, если верить истории.

Простите, мадам, но меня не оставляет ощущение, что мы уже встречались, проговорил он. Из-за сдавленного положения их тел она все время говорила с ним как бы слегка из-за плеча, и эта ее поза уже начинала кружить голову Тоунсенду Рестону. Странно, сказала она, мне тоже кажется, что я вас уже где-то видела, но ведь это невозможно, ведь вы?.. Я американец, но я тут часто бываю. Позвольте представиться, Тоунсенд Рестон. Назвав свое имя, он тут же пожалел, что ставит ее в неловкое, если не сказать страшное, положение. После всех этих ужасов тридцатых годов советские боятся знакомиться с иностранцами, и их, ей-ей, можно понять. Вот и она, как ему показалось, запнулась. Не беспокойтесь, мадам, я все понимаю. Она засмеялась. Вам можно позавидовать, если это так. Я, например, ничего не понимаю. Меня зовут Нина, Нина Градова.

Нина была поражена случайностью этого знакомства. Из тысяч и тысяч людей, спасающихся от бомбежки, словно по произволу романиста, именно к ней прибился, возможно, единственный на всю эту толпу иностранец, да еще эдакий «хемингуэй», международный джентльмен, американец из Парижа! Да к тому же, оказывается, он еще и журналист, обозреватель европейских событий для «Chicago Tribune» и «New York Times», добрался сюда через Тегеран на английском самолете, чтобы писать о битве за Москву. Она была почти уверена, что это имя ей встречалось в советских газетах в контексте яростных идеологических контратак. «...Небезызвестный Тоунсенд Рестон со своей привычной антисоветской колокольни» – что-то в этом роде. Ну все, подумала она, меня теперь

возьмут сразу на выходе отсюда. Впрочем, на него, кажется, здесь никто не обращает внимания. Война все-таки, бомбы падают на Москву, рушатся дома, гибнут люди, кажется, пора НКВД прекратить охоту на своих, а Америка, возможно, будет нашим союзником в этой войне.

Всеобщее внимание в подземелье стала привлекать какая-то малопонятная буча, заварившаяся возле эскалаторов. Там что-то кричали, размахивали руками, куда-то рвались, кого-то сдерживали. Какая-то дикая тревога молниеносно распространялась по гигантскому бомбоубежищу. Может быть, нас завалило, спокойно подумал Рестон. В Испании ему как-то пришлось побывать в подобной ситуации, но, конечно, не на такой глубине. Тревога между тем докатилась и до его собеседницы, она на мгновение закрыла глаза ладонями и что-то быстро беззвучно прошептала, как будто короткую молитву. Рестон ничего не понимал из поднявшихся вокруг криков, кроме «Спокойно, товарищи!», «Товарищи, без паники!». Все остальное – вроде «Пошел ты на хуй!», «Дай пройти, сука!» – тонуло в общем хаотическом хоре.

– Что случилось, Нина? – спросил он.

– Народ перепуган, – ответила она. – Прошли слухи, что в Москве высаживаются немецкие парашютисты, что город уже частично захвачен...

– Они на самом деле так боятся немцев? – спросил он. Этот вопрос занимал его с самого начала войны на Востоке: боятся ли рядовые русские прихода немцев?

– Ну, конечно! – воскликнула она и с удивлением на него посмотрела. Как же, мол, иначе?

– И вы, Нина, тоже? – осторожно спросил он. – Вы тоже думаете, что немцы будут... – Он все-таки не осмелился завершить свой вопрос.

– А-а, – протянула она, – я понимаю, что вы имеете в виду...

Она задумалась на минуту, потом постаралась худо-бедно перевести четверостишие, что недавно слышала от подвыпившего автора Коли Глазкова: «Господи, вступишь Ты за Советы! Защити ты нас от высших рас, Потому что все Твои заветы Гитлер нарушает чаще нас...»

– Чаще нас... – повторила она.

«Вы в этом уверены?» – хотел было спросить Рестон, но воздержался. Он смотрел на профиль Нины, и его посещали мысли, которые он всю жизнь презрительно отбрасывал, начиная еще со студенческой поры, когда распростился с любовными иллюзиями, мысли, в общем-то полностью неуместные на многометровой глубине в советской столице под нацистской бомбежкой. Я встретил наконец-то свою женщину, думал он. Вот наконец-то, в пятьдесят два года, встретил свою женщину. Вся моя жизнь до нее, с

моим холостяцким эгоизмом, со всеми моими привычками, с так называемой свободой, с так называемым сексом, была свинством, потому что в ней не было этой женщины. Мне нужно жить с этой женщиной и вовсе не для секса в первую очередь, а для того, чтобы заботиться о ней. В моей жизни должен быть кто-то, чтобы я о нем заботился, а именно вот эта женщина, Нина, с ее дочкой. Нет-нет, пока не поздно, невзирая на все разгорающуюся войну или именно потому, что она сейчас разгорается, я должен все перевернуть в своей пустой и затхлой жизни. Именно она выбросит на помойку все мои дурацкие кастовые и клубные привычки, фетиши, продует, прочистит все эти пустоты, заполнит их своим столь очевидным артистизмом, своей легкой походкой, которую я еще не видел, но могу себе представить по очертаниям ее бедер и голеней под этим клетчатым пледом. Мы с ней и с ее дочкой куда-нибудь сбежим, ну, скажем, в Португалию, на ту полосу побережья к северу от Лиссабона, я буду иногда выезжать в воюющие страны и возвращаться к ней.

Такие, столь не свойственные ему мечты проносились в воображении Тоунсенда Рестона, пока он вдруг не сообразил, что приближается в этом стремительном волшебном плавании к большому подводному камню. Муж, черт возьми! Ведь у нее есть муж, хирург в действующей армии. Почему я так быстро решил, что она предназначена для меня, когда она предназначена для своего мужа? Тут его воображение стали посещать некоторые мерзости. Муж на фронте, под огнем, у него есть большие шансы стать добычей немецкого стрелка. Ну, и потом, что такое какой-то русский врачиска по сравнению с известным международным журналистом? Что такое их жалкие московские коммунальные квартиры по сравнению с рестоновским фамильным домом на Care Cod, не говоря уже о всех возможностях, которые откроет ей мой банковский счет? Вот это уж гадость, оборвал он тут себя. Для нее это все ничего не значит, иначе она не была бы моей женщиной, а ведь она – это как раз то, о чем я мечтал еще в молодом, столь постыдном романтическом периоде, о котором я всю свою жизнь старался забыть...

Между тем, пока он предавался этим столь неуместным мечтам, в подземной станции нарастало паническое настроение. Вдруг пробежал слух, что немецкие танки прорвались, что уже занято Тушино, что Кремль разбомбили до последнего кирпича, что город весь горит, а какие-то банды разбивают магазины и грабят дома, а какие-то отряды, то ли свои, то ли немецкие, в бомбоубежища пускают газ. Вдруг возникли оглушительные вопли: «Давай на выход! Спасайся, кто может!»

Толпа повскакала на ноги, стала хаотически раскачиваться, то

устремляясь к эскалаторам, то останавливаясь перед безнадежной пробкой. Мальчишки пытались пролезть между ног или по головам. Их пинали, стаскивали с плеч. Стоял оглушительный визг, рыдали старухи, то там то сям возникали драки. Людей, казалось, охватил ужас клаустрофобии, ими двигал только ужас, слепое желание выбраться из подземного мешка.

Нину трясло, как в лихорадке, она обхватила за плечи Ёлку, прижала ее к себе и только об одном заботилась – как бы у нее не отбили дочку, как бы не потерять ее в толпе. Она уже и думать забыла о своем приятном соседе и, когда Рестон крикнул ей, чтобы она держалась за ним, глянула на него с таким диким неузнаванием, что он даже отшатнулся. Вдруг, словно кто-то вышиб пробку, толпу понесло. Рестон, как ни старался он быть рядом с Ниной, был выброшен на другую лестницу. Некоторое время он еще видел среди стремящихся наверх голов ее спутавшуюся гривку, потом она пропала. Он еще надеялся найти ее на поверхности и, оказавшись в вестибюле, стал кричать:

– Nina, ou etes-vous?! Repondes, sil vous plait! Repondes donc!^[10]

Ничего, однако, он не услышал в ответ. Вскоре, после жесточайшей давки в вестибюле, его вынесло на улицу, и здесь он снова ничего не увидел, кроме мрака, разбегающихся в разные стороны фигур, и ничего не услышал, кроме проклятий и подвывания сирен, и ничего не почувствовал, кроме холодного дождя за воротником, дождя, наполнившего его тоской, отчаянием и стыдом за свои столь странные подземные мечтания, несомненно связанные с началом мужского увядания. Налет, кажется, уже кончился, взрывов больше не было слышно, и вспышек в небе стало меньше, в проходящих сквозь тучи лучах прожекторов появилась некоторая томность.

Он поднял воротник и зашагал вниз по Горькой улице, в сторону посольства.

– Nina, Nina, – бормотал он. – She's an interesting person, isn't she? Should I try to find her? Nina... Gosh, I lost her last name... Nina who?^[11]

Глава третья

Подземный бивуак

Первая волна паники, охватившая Москву, улеглась, но приближалась вторая, сокрушающая, как цунами, ростом в десять этажей, – запомнившееся потом надолго 16 октября 1941 года. В промежутке между этими волнами, в сравнительно спокойную ночь, наше повествование снова приблизилось к станции метро «Площадь Маяковского».

На этот раз все подходы к ней были перекрыты военными патрулями. Москвичей, привычно уже направлявшихся туда на ночевку, заворачивали. «Граждане, станция „Маяковская“ сегодня закрыта. Используйте другие бомбоубежища». Ну, не иначе как взрыв какой-нибудь, думали москвичи, прорыв воды или канализации.

Станция между тем была в полном порядке, больше того, сияла в ту ночь пугающей чистотой. Медленно и надежно скатывалась вниз одна из лестниц эскалатора. Тускло, но ровно горели на лестнице фонари, похожие на чаши языческого храма. Привычно, как в мирное время, светились надписи: «Стойте справа, проходите слева!», «Держитесь за перила», названия станций – «Белорусская», «Динамо», «Аэропорт», «Сокол», «Площадь Свердлова», пересадка на «Охотный ряд», «Библиотека им. Ленина», «Дворец Советов», «Парк культуры им. Горького».

Вскоре после полуночи к станции подъехало несколько кургузых бронированных автомобилей командующих фронтами и сопровождающего состава. Из машин вышли и направились внутрь командующий Западным фронтом Жуков, командующий Брянским фронтом Еременко, генералы Конев, Лелюшенко, Говоров, Акимов.

Жуков шел впереди, низкий, кривоногий, кожаное пальто обтягивало мощный зад, вислые плечи, в стеклянных дверях метро мелькнуло отражение мрачных фортификаций его лица. Генералы поехали вниз. Царила полная тишина, только ритмично, чуть-чуть постукивал механизм эскалатора.

Весь орнамент гранитного пола был на этот раз чист и матово светился под тусклыми плафонами. В огромном отдалении станции смутно различался белый бюст. Думал ли когда-нибудь «красивый, двадцатидвухлетний», в желтой кофте и с моноклем в глазу, что обернется божком в подземном народном капище?

Генералы медленно прогуливались под стальными колоннами. Никто

не разговаривал. Жуков по-прежнему держался чуть впереди группы. Иногда он поднимал левую руку, правой отгибал рукав кожаного и смотрел на светящиеся часы. Тогда и другие генералы поглядывали на свои часы. Прошло не менее десяти минут, прежде чем в тоннеле со стороны центра послышался несильный шум приближающегося поезда. Медленно выехал из тоннеля и остановился вдоль платформы обычный пассажирский поезд с пустыми или почти пустыми вагонами. В одном из таких почти пустых вагонов сидели члены Политбюро ЦК ВКП(б) Молотов, Каганович, Ворошилов, Берия, Хрущев... Вместе с ними прибыл большой, как ломовик, маршал Тимошенко Семен Константинович. Генералам, которые давно уже не пользовались городским транспортом, способ прибытия вождей к месту встречи не показался чем-то уж очень-то экстравагантным, адъютанты же были поражены несопоставимостью понятий: обычный поезд метро, а в нем мифические «портреты»!

Открылись пневматические двери. Жуков сумрачно смотрел на выходящих. Сталина среди них опять не было. Не удержавшись, он произнес вслух: «Товарища Сталина опять нет...» Еременко молча на него покосился. В случае появления Сталина Жуков собирался скомандовать «смирно» и затем от имени всех присутствующих отчеканить шаг и отрапортовать о явке по всей форме. Жуков, только что назначенный главкомом Западного фронта, всеми признавался старшим. Теперь он не скомандовал «смирно», и все генералы остались в произвольных позах.

Сейчас у них на физиономиях появятся отеческие улыбки, с отвращением подумал Жуков. Вот чего я не переношу, это их отеческих улыбок. «Гады», – подумал он вдруг, неожиданно для себя самого, и взял под козырек, вполне, впрочем, небрежно, отнюдь не по форме.

– Командование Западным и Брянским фронтами по приказанию Политбюро ВКП(б) прибыло, – сказал он опять же без всякого теплого чувства к народным кумирам. «В мирное время за один этот тон я бы полетел вверх тормашками, – мелькнуло в мыслях. – Сейчас, впрочем, война. Сейчас я им нужен больше, чем они мне».

Отеческих улыбок на этот раз не наблюдалось. Молотов пожал ему руку:

– Давайте, товарищи, сразу приступим к делу!

Он прошел вперед, в глубину зала, где уже, неизвестно откуда, появился большой длинный стол для совещаний, две дюжины стульев, переносные лампы, стенды с военными картами.

Все расселись. Молотов и Жуков смотрели через стол друг на друга, два сильно укрепленных каменных лица, эмоции даже в щелочки не

проблескивали.

– Товарищ Сталин просил передать вам горячий привет, товарищи генералы, – сказал Молотов. – Он следит за каждым моментом в развитии ситуации и готовит ключевую встречу Совета обороны с командующими фронтами и армий. Пока что мы должны решить текущие оперативные задачи.

«Врет, скотина», – подумал Жуков. Ни одна складка на его лице не изменила общей твердокаменной диспозиции. «Почему даже нам не говорят, что на самом деле происходит со Сталиным? Может быть, он давно уже сидит в Куйбышеве? „Текущие оперативные задачи“, экий пустяк! Тогда зачем назначать совещание в метро? Зачем темнить даже с теми, с кем совсем не надо темнить? От этих „оперативных задач“ сейчас зависит все. Сбежать не удастся никому».

– Георгий Константинович, члены Политбюро хотели бы, чтобы вы доложили обстановку, – сказал Ворошилов.

Жуков чуть повернул голову к нему. «И этот болван хитрит, – подумал он. – Доложи, мол, им, я-то, мол, и сам все знаю. А кто видел тебя на фронте, „первый красный офицер“?» Он кивнул, встал и четкими шагами подошел к одной из карт. Ему показалось, что по членам Политбюро прошел какой-то алюминиевый шелест: карта, к которой подошел Жуков, представляла не центральные области, а попросту Подмоскovie, то есть ближайшие подступы. Слепо отсвечивающее пенсне Берии следовало за его указкой. Указка уперлась в Можайск.

– После захвата Калуги танки Гудериана выходят на Можайск, – начал говорить Жуков с полным бесстрашием, как будто на лекции в военной академии. – В районе Малоярославца нам удалось собрать группу войск из состава Сорок третьей армии. В нее входят стодесятая стрелковая дивизия, семнадцатая танковая бригада, Подольское пехотное и Подольское пулеметно-артиллерийское училища, два батальона запасного полка. Здесь мы еще держимся, хотя моральное состояние войск оставляет желать лучшего. Солдаты деморализованы бесконечными налетами пикировщиков «штукас».

У Кагановича при этих словах на мгновение приподнялись брови, чуть выехали вперед маленькие усики-подноски, столь модные в тридцатые годы среди руководителей европейских государств. Движение волосистых частей лица выражало бы даже комическое удивление, если бы не тяжелый, как рельса, взгляд «железного наркома». Чем он был недоволен, завывающими «штукас», вертикально падающими на наших покинутых «сталинскими соколами» ваньков, а потом, оставив за собой смертоносный

подол взрывчатки и свинца, резко уходящими вверх, или старорежимным словом «солдаты», которое командующий употребил вместо милых сердцу коммуниста, овеванных славой революции «красноармейцев»?

Жуков сказал еще несколько слов о подавляющем превосходстве немцев в воздухе. Может быть, они уже знают об этом, как знает каждый солдат на фронте и миллионы людей в оккупированной зоне, а может быть, и не знают, тогда будет полезно узнать.

Он продолжал огорчать вождей дальнейшими откровенностями, деталями, до которых государственные мужи могли не дойти среди грандиозных задач. Наши танки не выдерживают ни малейшей встречи с немецкими «Т-III», не говоря уже о «Т-IV». «Тридцатьчетверок» пока очень мало, КВ мы вообще не видим на фронте. Это замечание было прямым пинком в зад Ворошилову: танк КВ (Клим Ворошилов) был, разумеется, его любимым детищем. Самое же ужасное состоит в резкой нехватке кадрового командного состава. Недостаточная подготовка, полное отсутствие боевого опыта у многих командиров приводят к бесчисленным неверным решениям на уровне полка и выше и, в совокупности с прочими факторами, к развалу фронта, образованию «котлов», актам массовой капитуляции, к прямой измене.

«Как разговорился человек, – думал Берия, глядя на малоприятного русского мужика в генеральской одежде. – Как сильно разговорился. Вот вам война, как разговорились люди».

– Я вас правильно понял, товарищ Жуков, что главный вопрос состоит в том, как остановить танки Гудериана? – спросил он.

Жуков повернулся к отсвечивающему пенсне. Ему хотелось усмехнуться прямо в эти страшные стеклышки, но он вообще-то не очень умел усмехаться. «Главный вопрос сейчас стоит не перед нами, а перед Гудерианом, – подумал он. – Хватит ли у него горючего еще на две недели, чтобы взять Москву?» Как военный, Жуков понимал, что в принципе остановить немцев под Москвой может только неудачное для них стечение обстоятельств, какой-то их собственный просчет, но уж никак не сопротивление дезорганизованной Красной Армии. Он этого, однако, не сказал, иначе немедленно зачислили бы в «пораженцы», а то и еще черт знает какой лапши навешали бы на уши, как в тридцать седьмом.

– Говоря о тактической диспозиции, товарищ Берия, – сказал он, – мы должны уметь влезть в шкуру противника и вообразить, какие перед ним стоят трудности. А трудности у него есть, в частности, очень растянутые коммуникации...

Жуков еще говорил некоторое время и показывал указкой как бы с

точки зрения генерал-фельдмаршала фон Бока, пока не понял, что этим он нагнал на вождей еще большего страха.

– В общем, товарищи, положение у нас очень серьезное, если не сказать отчаянное. – Он положил указку, вернулся, отстучав шесть раз сапогами по плитам, к столу, сел и добавил: – Но все ж таки пока еще не безнадежное.

Минуту или две царило молчание. Члены Политбюро, как всегда, боялись друг друга. Тимошенко вообще, казалось, жабу проглотил, сидел Собакевичем. Генералы тоже опасались друг друга и боялись членов Политбюро. Каждый, однако, чувствовал, что этот «внутренний» страх все-таки несколько ослабел благодаря страху «внешнему», приближению безжалостного врага извне, который плевать хотел на все их византийские интриги и тонкости кремледворства и просто одним ударом уничтожит их всех, со всей советской Византией.

– А что же народное ополчение? – спросил Каганович. – Может оно сыграть какую-нибудь роль?

Генералы переглянулись. Народное ополчение, тысячи необученных «шпаков» с одной винтовкой на десятерых, лучше бы перестали губить людей и смешить немцев.

– Это несерьезно! – вдруг по-солдатски рубанул генерал-полковник Конев. – Бородинской битвы нам организовать на этот раз не удастся.

Вожди сидели насупившись. Даже если бы и удалось устроить новое Бородино, оно при всей своей исторической славе мало их устраивало, ибо привело – хочешь не хочешь – к падению Москвы, что все-таки тогда, в восемьсот двенадцатом, было не так страшно, потому что правительство-то сидело в Петербурге и ему ничего не угрожало, а сейчас угроза направлена прямо на них, на высочайшее правительство!

Жуков вдруг почувствовал прилив какого-то мрачного вдохновения. Может быть, упоминание Бородина было тому причиной, а может быть, все, что накопилось за последние недели, все унижения перед чужеземной силой и дикое желание отворотить неотвратимое, но он вдруг отбросил все околичности, через которые всегда приходилось пробираться на встречах с высшими партийцами, решил взять все совещание в свои руки и заговорил почти диктаторским тоном:

– Времени у нас осталось очень мало. Перегруппировывать войска под непрерывным ураганным огнем невозможно. Единственное, чем можно реально остановить бегство и капитуляцию, это заградительные батальоны за линией фронта. И они должны действовать беспощадно.

В этом месте речи главкома Берия одобрительно наклонил голову.

Жуков продолжал:

– Необходимо как можно быстрее обеспечить подход свежих соединений с Урала и из Сибири. Однако для организации этих соединений в боеспособные части, как, впрочем, и для всей последующей кампании, мы должны резко, я подчеркиваю, одномоментно увеличить число высших и средних кадровых командиров. И я прошу об этом немедленно доложить товарищу Сталину.

Вожди сразу поняли, о чем идет речь, тут же углубились в свои папочки с какими-то бумажками, один только Ворошилов воскликнул с присущей ему дешевой театральностью:

– Но как мы можем это сделать одномоментно, Георгий?! Жуков не улыбаясь посмотрел на него. Никогда не поймешь этого человека, актерствует или дураковствует. Может быть, это его и спасало все эти годы?

– Ну, об этом вы должны знать лучше, чем я, Климент Ефремович!

До Ворошилова, кажется, дошло, он приоткрыл было рот как бы в изумлении, как будто ему и в голову никогда не мог прийти этот странный фактор ошеломляющих поражений Красной Армии, однако тут же рот закрыл и тоже углубился в пустую папку.

Молотов вдруг разомкнул глиняные уста:

– Что ж, товарищ Жуков, мы непременно доложим о ваших соображениях товарищу Сталину. Со своей стороны я хочу сказать, что в таких чрезвычайных обстоятельствах возможны самые экстраординарные меры. Сейчас решается судьба всего социализма.

Жуков кивнул. Опять же без всяких эмоций, одна лишь железобетонная определенность, последняя линия обороны.

– Рад, что вы меня поняли, товарищи. Решается судьба всего нашего отечества.

Совещание продолжалось еще часа два, если еще можно было отсчитать бег минут в этом замкнутом пространстве, плывущем в глухих глубинах русской земли. Сторонний наблюдатель, скажем автор романа, подивился бы смещению эпох, явленному в этом пятне сумрака среди моря мрака. Округлая римская античность со слепыми глазами представала перед нами в голове и плечах Лаврентия Берии. Генералитет представлял бивуак извечного российского солдафонства на уровне фельдфебелей. Молотов и Ворошилов являли собой типы гоголевских комедий. «Железному наркому» и впрямь как бы предполагалось в кожаном фартуке раннего капитализма высунуться из-за кулис с кувалдой в руках. И над всем этим собранием высилась на постаменте голова футуриста, и

вздвигались к еще различным куполам стальные колонны советской утопии, и только лишь временами казалось, что сквозь все толщи земли и бетона сюда проникают и начинают неслышно парить над столом валькирии германского социализма. Чувствуя их присутствие, вожди Политбюро временами млели от ужаса.

Антракт I. Пресса

«Нью-Йорк Таймс», 12 июня 1941 г.

Правительства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африки, правительство Бельгии, временное правительство Чехословакии, правительства Греции, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши и Югославии, представители генерала де Голля, лидера свободных французов, вместе вовлеченные в борьбу против агрессии, пришли к заключению, что они будут продолжать сопротивление германской и итальянской агрессии до победного конца...

20 июня 1941 г.

Бывший посланник Джон Кудай пишет о своей встрече с Гитлером. У диктатора был диспептический вид, выдающий напряжение и предельную усталость. Волосы его быстро седеют. Поражает бледность лица и безжизненность рук.

«Тайм», 20 июня 1941 г.

Итальянские газеты напечатали высказывание Бенито Муссолини:

«Эта война приобретает характер войны двух миров».

Мы видим, что тоталитарный мир организуется для решительной битвы, и Россия будет его неотъемлемой частью, несмотря на появляющиеся сообщения о том, что Гитлер выкручивает Сталину руки...

30 июня 1941 г.

Пока остальная Россия, припав к своим пушкам, ждала завоевателя с Запада, ученые на Востоке, в Самарканде, проникли в гробницу самого могущественного завоевателя всех времен Тамерлана Великого. Под трехтонной мраморной глыбой и под еще двумя грубыми глыбами гранита был обнаружен гроб, в котором лежал император в своих расшитых золотом одеждах. За исключением головы, скелет хорошо сохранился. Ученые подтвердили догадку филологов: правая нога завоевателя была короче левой...

7 июля 1941 г.

Наш корреспондент в Токио после путешествия через Россию

сообщает: шесть недель назад бородатый крестьянин-колхозник в деревне неподалеку от Москвы сказал мне: «Когда же наконец немцы придут навести порядок?»

14 июля 1941 г.

Финны вздыхают, что снаряды русских пожгли сосновые леса вокруг Ханко – их любимого места отдыха в летнее время...

Румыны, хоть и зачарованные перспективой что-нибудь стащить у России, очень обеспокоены высадкой советских парашютистов на нефтяных полях Плоешти. «Железная гвардия» ответила на высадку истреблением 500 «еврейских коммунистов»...

К количеству потерь обе стороны относятся небрежно. Немцы сообщили, что лишили русских 600 тысяч солдат. Русские на следующий день, чтобы не отстать, объявили об уничтожении 700 тысяч немцев. Немцы немедленно подняли число до 800 тысяч. Русские ответили на это – 900 тысяч.

В центре Мадрида стоит статуя Нептуна с трезубцем. Кто-то из вечно голодных испанцев повесил на нее плакат: «Дайте хоть что-нибудь поесть или заберите вилку!»

«Дейли Миррор», 20 июля 1941 г.

Если и был такой человек, кто поднял стартовый пистолет и возвестил начало новой мировой войны, то этим человеком был товарищ И.Сталин... Как бы нам обойтись без этого лицемера?..

«Телеграф», август 1941 г.

Женские брюки впервые появились в большевистской России... Снобы на летних курортах Британии и США нашли эту моду привлекательной и придали ей блеск... Это еще один пример того, как много общего между коммунизмом и плутократией...

Германское агентство печати DNB

Линия Сталина прорвана в нескольких местах. Советские войска отступают в полном смятении, руководство не способно восстановить порядок...

Совинформбюро

Результаты первых трех недель войны свидетельствуют о несомненном провале гитлеровских планов блицкрига...

«Тайм»

...Многое свидетельствует о том, что как немцы, так и русские лгут...

Сталин доверил Ленинград Климентию Ворошилову, Москву Семену Тимошенко, Киев Семену Буденному...

Немецкие войска гордо объявили о захвате мамонтоподобного 120-тонного танка «Слава Сталину». Гигант развивал скорость 6 км в час...

Антракт II. Комнатная магнолия

Фикус презирал (с тем же успехом можно сказать «презирала») соседствующий с ним горшок герани. Ну, разумеется, не сам горшок, а куст, произрастающий из горшка. Герань казалась (казался) ему (ей) бездуховной, бессмысленной тварью. Он не получал от нее никаких сигналов. Иногда он поворачивал свои жесткие листья ребром к ней. Все напрасно, никакого ответа. От комода с вышивками и то больше пользы. Оба растения стояли у окна в квартире стрелка Колымагина, что в Петровской слободе. На подоконнике им соседствовала гнуснейшая слизистая плюха в трехлитровой банке, именуемая «гриб». Этот занят был лишь одним – продуцированием сомнительного «сока» на опохмел Колымагину. Фикус вообще отвергал существование «гриба», как отвергали его родственные души Палеологи залетающих в окна дворца мух с магометанского базара.

Фикус научился смотреть в окно поверх гриба и видеть там то, что ему почти всегда нравилось: кирпичную дорожку к калитке с выломанной доской, два ведра вверх дном на заборе, цинковое корыто с замоченными тряпками, бочку с песком для унылых противопожарных целей, зеленые помидоры, вечной недозрелостью согнувшие свои увядшие стебли, проскальзывающих грязненьких мышек – всю эту атмосферу юдоли, заброшенности срединной земли, на которой в некие веки неизвестно почему вдруг возгорелся великолепный ствол огня и произошло слияние двух его начал – предтропического и предполярного, то есть греков и варягов.

Первое вспоминалось в закатные вечера, когда случалось редкое в Москве явление и горизонт на западе оказывался чист. Тогда вдруг нечто весьма отдаленное выплывало: мрачная гордость царевны, всеми оставленной у монастырского окошечка в ожидании кинжала, потом шаги по булыжникам въезда, закат, отсвечивающий в кирасе любимого, вернувшегося с победой из-под Азова. Или с поражением, какая печаль? Важно, что перехватывает под титьками, забывается царство, лишь бы распахнуться перед Рюриковичем, лишь бы продолжить род. Освободи, князь! Ведь не сохнуть же моим византийским чреслам в монастырской келье, ведь не обращаться же при жизни в бесплодную комнатную магнолию, сиречь фикус.

Варяжское же начало растения, естественно, ликовало при виде

первого снега, покрывающего дорожку и забор, и открывшейся после падения листьев плоской шапки потешного дворца.

– Эхма! – восклицал обычно в эти часы стрелок Колымагин и, хоть совал в горшок к подножию бывшей магнолии свою сигарку, все же был любим, напоминал каких-то выплывающих из-под снегопада отцов или дядьев, иногда даже и с татарским резвым прищуром.

– Вы бы прекратили совать в растения свой гнусный «Прибой», – проговорила хозяйка, словно прошелестела сухая саранча.

– Жаль, нам не разрешают брать домой табельное оружие, – ответил стрелок Колымагин. – Бля буду, прикончил бы тебя, бляху!

– С вас станется, урод, алкоголик! – свистела саранча.

– Бля буду, запалю твою хибару! – рычал Колымагин, загоня хозяйку в угол, выкручивая ей руки и ноги. – Партбилет положу, а покончу с хавирой!

Однажды дом и впрямь полыхнул, а вместе с ним и комнатная магнолия. Слияние предтропического и предполярного лишило ее способности плодоносить, однако она (он) мог (могла) великолепно сгорать.

Весь дом трещал, вопили кошки, на пределе возможностей, то есть как электропила, звенела саранча, жизнерадостно ухал, как маршал Чойбалсан, Колымагин.

Листья фикуса сначала пожелтели, потом скукожились, наконец – вспыхнули! Рядом вдруг взвился малым столбиком к потолку пожар герани. Тут вдруг фикус услышал ее сигнал.

– Неужели ты и сейчас не слышишь, не слышишь, не слышишь? – отчаянно зывала герань.

– Ах, это ты! – наконец догадался фикус и окончательно возгорелся.

Глава четвертая

Сухой паек

В двух сотнях километров от Магадана вверх по колымской трассе стояла уже зима. Никита Градов в очередной, третий за сегодняшнее утро раз выталкивая тачку с рудой из штольни, вдруг поразился сильному солнечному свету. Подъем и выход на работу в полной темноте не предвещали ничего, кроме обычного мутного, пуржистого, пронизывающе холодного, сугубо тюремного колымского дня, и вдруг на третьей ходке с верхнего уровня карьера открылись рафинадные дали «чуждой планеты», густые и синие, как оберточная бумага, тени, таежная щетина распадков, огромное небо первобытной земли. Под таким небом, если отвлечься от омерзительного зрелища каторжного карьера, можно было забыть о человеческой истории, то есть почувствовать себя свободным. Никита на мгновение задержался на горбушке холма словно для того, чтобы переменить руки, и глубоко вдохнул морозного воздуха. Если меня еще посещают такие мысли, значит, еще держусь, подумал он. С некоторых пор он стал себя наблюдать как бы со стороны, к любому проявлению своей личности и своего тела прикладывая эту формулу: «если еще... значит, еще...». Лагерный опыт научил его пуще всего страшиться того момента, когда ломается это «еще» и человек начинает стремительно превращаться в «фитиля». Как-то раз во время санитарного дня на общей помывке он поймал в мутном стекле в коридорчике помывочного барака отражение юношеской фигуры со впалым животом, прямыми угловатыми плечами, выпирающими костями узкого таза и лишь с некоторым опозданием понял, что это он сам и есть, столь странно помолодевший. Сорокаоднолетний бывший комкор выглядел двадцатилетним солдатом, из-под кожи исчезли малейшие воспоминания о «социалистических наполнениях», полностью выявилась славно задуманная при рождении фигура. Зрелище это отнюдь его не обрадовало, но испугало. Он уже знал, что эта неожиданная молодость проглядывает только из мрака грязных стекол, что она хрупка, как замороженная насквозь сухая ветка, что вечный изнуряющий голод и непроходящая усталость в какой-то момент приведут к слому и быстрому скату на самое дно, где и осуществится излюбленное напутствие чекистских следователей: «Сотрешься в лагерную пыль!» Поэтому и наблюдал за собой, каждый раз примеряя зековскую формулу «если – еще – значит – еще». Если еще иной раз посещали его на нарах эротические сны,

видения ласкающей Вероники и он просыпался в разгар волшебного напряжения и извержения, значит, еще жив. Если хватало воли утром выскочить из барака, сбросить телогрейку, растереться снегом, значит, еще жив. Если после смены возле печурки вместо того, чтобы бухнуться и отключиться, влезал в спор досужих философов о полном кризисе позитивизма, значит, еще и на самом деле жив, и значит, все это нужно настойчиво делать: грезить о Веронике, даже просто мастурбировать, драть, обтираться снегом, растягиваться, даже делать стойку на руках, отстаивать наследственную градовскую позитивистскую философию. Нередко, однако, посещала его и конечная, как он ее называл, мысль: зачем тянуть, выхода отсюда нет, перестать наконец вертухаться, молодости твоей совсем ненадолго осталось. Это уже подступало доходяжничество. Он в ужасе встряхивался, начинал дышать, раздувая живот, зажимая то одну ноздрю, то другую, пропуская по незримым канальчикам тела струйку космической энергии по индийской буддистской системе. Этому дыханию его научил сосед по нарам, учитель-харьковчанин, как раз и схлопотавший свою десятку за приверженность к «идеалистическим учениям Востока и попытку дезориентировать советскую молодежь». Никита был уверен, что система помогает, и, конечно, говорил себе: «Если еще дышу пранаямой, значит, еще жив».

В этих попытках самосохранения Никита почему-то преисполнился странной сухости по отношению к семье. Он старался отгонять от себя тепло серебряноборского дома, лица родителей, сестры, детей, няньки... Даже во сне пытался эту память о невозвратном тепле отгонять, и это удавалось, Серебряный Бор исчезал, лишь прыгала взад-вперед какая-то толстая мужиковатая белка.

Он знал, вернее, почти знал, что жена арестована. В одном из писем, дошедших до него года два назад уже сюда, в колымский лагерь, Мэри написала: «Веронике пришлось нас неожиданно оставить, испариться в неизвестном направлении. Бабочка и Веруля с нами, они здоровы». Разумеется, это было сообщение об аресте, но он, вместо того чтобы полностью осознать ужас пребывания его нежной девочки в чекистской преисподней, вот в таком хотя бы бараке, в карьере, за тачкой, тщательно эти мысли отодвигал, зато допускал другие, почти абсурдные: а может быть, просто мужичок какой-нибудь подвернулся, может быть, какой-нибудь артист ее увез или летчик-полярник... Ревность тогда мощно встряхивала его, и он не без удовлетворения замечал: «Ну, если еще ревную, значит, еще держусь».

В бараке знали, что идет война, но не представляли ее характера и

размаха. В начале, когда первые слухи только просочились, Никиту как военного специалиста нередко спрашивали, скоро ли падет Берлин. Он разводил руками: если за эти годы, что я был в узилище, не удалось добиться какого-то кардинального подъема военной технологии, о взятии Берлина не может быть и речи. Линия фронта, скорее всего, проходит где-то в середине Польши, и Красной Армии стоит немалых трудов ее держать. Война между Германией и СССР может тянуться неопределенное время в зависимости от отношений со странами Антанты. Скорее всего, Сталин и Гитлер завершат все это дело перемирием, долгими переговорами, а потом, возможно, хоть это и парадоксально звучит, товарищи, договором о сотрудничестве. В спецконтингенте особо опасных государственных преступников, к которому принадлежал Никита уже два года после того, как его этапировали на Колыму из внутренней тюрьмы, изоляция от внешнего мира была одной из главных привилегий. Сюда, в небольшую замкнутую систему, глухо известную под наводящим ужас именем Зеленлаг, даже новенькие зеки не поступали, поэтому здесь ничего не знали ни о том, что договор между Гитлером и Сталиным был заключен еще в 1939 году, что новые союзники немедленно поделили Польшу, что началась война на Западе и рухнула Франция, и наконец только из каких-то обрывочных реплик охраны стало ясно, что идет война на западных границах.

Недавно произошла сенсация. Сосед Никиты с нижних нар, в прошлом крупный работник Коминтерна Зем-Тедецкий, будучи в санчасти, умудрился спрятать под фуфайку и пронести в барак клочок грязной газеты. Отчаянный польский еврей буквально рисковал жизнью ради политической любознательности. Ходили слухи, что Аристов, начальник управления Зеленлага, лично расправляется с нарушителями режима, и вот как раз за кражу какого-то журнала на прииске «Серебряный» вывел зека за зону и шлепнул из браунинга, как в овечья славой годы Гражданской войны. Так или иначе, после смены у печурки в кругу самых надежных людей газетенку расчистили, расправили и вдруг в красноватом мерцающем свете увидели сообщение Совинформбюро о боях на Смоленском направлении. Да неужели это возможно? «Непобедимая и легендарная» отступает? И вся Белоруссия уже отдана, и половина Украины, и вся Прибалтика уже под немцами, и Ленинград под угрозой? «Белоруссия – родная, Украина – золотая! Ваше счастье молодое мы своими штыками отстоим...» Так вот что означал обрывок этой песни, долетевший как-то раз в зону Зеленлага из репродуктора в общей зоне!

Никита ушел тогда от печурки и лег на свое место лицом в потолок,

обросший грязным барачным снегом и льдом, почему-то желтым, словно и там на него мочились. Мелькавшие в сводке имена военачальников ничего ему не говорили, за исключением, возможно, только командира мотострелковой дивизии генерал-майора Колесника, с этим, кажется, встречались на учениях штабов, он был чьим-то адъютантом, уж не Гамарника ли? Значит, все, чему он столько лет посвятил, работая в Западном военном округе, пошло вразнос, разлетелось вдребезги, если немцы уже под Смоленском, а то еще, чего доброго – газета-то старая, – уже и за Смоленском? Он долго лежал, пытаясь настроить себя на военный лад, вообразить свое собственное поведение в дни такого страшного нашествия, представить себя в штабе фронта или на передовой – во главе дивизии, полка, роты, увидеть себя хоть рядовым бойцом под немецким огнем, но ничего не получалось. Все завлакивалось дикой, будто бы внутриклеточной усталостью, равнодушием, а главное, опустошающим голодом, мыслями о нескольких корочках хлеба, которые удалось во время обеда стащить со стола раздачи и припрятать под подкладкой бушлата. Он страстно мечтал только об одном: накрыться бушлатом с головой и немедленно сожрать эти сладостные, даже, кажется, хрустящие на вид корочки, хотя давал себе слово проявить волю, сохранить их до утра, съесть перед выходом в карьер. Да зачем, зачем проявлять волю, зачем тянуть, зачем держать «человеческий облик», почему в конце концов не начать вылизывать тарелки, как это делают «фитили»? Что переменит война в нашей жизни? Немцы до Колымы все равно не дойдут, героически погибнуть за родину на поле брани не удастся.

Вокруг горячими шепотками поперек и вдоль нар дискутировали знатоки мировой политики, бывшие теоретики и практики мирового коммунизма. Никита молчал, к нему не обращались, как бы проявляя такт, как бы понимая страдания командира РККА в этот роковой час. Все эти люди вокруг него были настоящими, как он их про себя называл, «выживленцами». Выжить – это была их основная задача, не упустить ни малейшей возможности поддержать тело и дух, которые были им нужны для каких-то будущих задач. Если попадалась где-нибудь под ноги веточка стланика, немедленно все прожевывалось до последней ниточки вместе с иголками и корой – так в организм попадали бесценные витамины. Чрезвычайно полезными считались картофельные очистки, которые иной раз удавалось подцепить на задах столовского барака. Клубешок же подгнившего сырого картофеля считался подарком судьбы, он давал заряд, почитай, на целую неделю. Кто-то придумал пить собственную мочу: она не только поддерживает тонус, но и исцеляет многие лагерные болезни.

Некоторые так страстно уверовали в мочу, что стали даже считать, что теперь им все нипочем. Никита тоже начал пить собственную мочу, когда на ногах у него появились язвы, и, кажется, действительно помогло, язвы сошли. В этот же разряд «выживательных мер», сохранения «человеческого облика» входили и бесконечные разговоры о политике, перетряхивания всех предыдущих партийных съездов, оппозиций, групп и платформ, международных договоров и интриг, сочинение всевозможнейших гео- и внутривполитических гипотез. Вот и сейчас он был уверен: горячность, с которой обсуждался газетный клочок, была в основном направлена на ту же самую формулу: «Если – я – еще – значит – я – еще».

Между тем он лежал и с отчаянием думал не о войне, а о своем равнодушии к ней. В конце концов снова из тупичков сознания выплыло спасительное: «Если я еще с отчаянием думаю о своем равнодушии, значит, я еще не равнодушен, значит, еще жив». Он накрылся с головой бушлатом, сжевал цинготными зубами свои корочки и забылся беспросветным сном. Никакие видения его уже во сне не посещали, все его железы молчали, будто проникала и инкрустировала его изнутри страшная колымская вечная мерзлота. В тот день, начиная третью ходку, он уже чувствовал себя безнадежно усталым, разбитым, почти полностью устраненным с лица земли, даже и с этого лица, обезображенного диким разрезом карьера. Зеки один за другим толкали вверх на волю из наклонной штольни тачки с породой, на мгновение выкатывались на бугорок, откуда мелькал им в лица окружающий мир, и сразу же начинали мучительный спуск на дно карьера, где раскорякой стояла безобразная драга, которая сама почему-то не копала, но дико ревела, грохотала и свистела, перерабатывая породу: вот ее-то и должны были питать своими тачками зеки Зеленлага.

Если уж я так устаю на третьей ходке, уныло подумал Никита, но не додумал: солнце вдруг брызнуло в лицо, распахнулся простор, воздух вошел в грудь и на мгновение встряхнул весь его смерзающийся состав; усталость отлетела. «Если – я – еще – значит – я – еще»... Задерживаться на горбушке холма было нельзя, сзади подталкивали, и он начал спуск, но все-таки в другом уже настроении, с надеждой снова увидеть солнце на обратном пути в штрек, а потом опять и опять, до заката, и ночь, когда упадет, будет иной, не крошечной, как обычно, а со звездами, может быть, и с луной, так и пройдет сегодня вся смена, все тридцать четыре ходки, может быть, и вытяну, может быть... А если я еще думаю «может быть», значит, я еще...

На повороте дороги, в самом крутом месте, где надо было что есть силы держать тачку, не дать ей покатиться и опрокинуться, чтобы не

потерять права на хлебную пайку, стояли два мордатых вохровца в нагольных тулупах. Они рассматривали номера на груди зеков и сверялись с каким-то списком.

– Проверяют кадры, – сказал за спиной Зем-Тедецкий. – Кадры в период реконструкции решают все.

– Эй, Градов, стой! – вдруг сказал вохровец. – Бросай тачку! Кругом – марш!

Один вохровец отправился вниз, а другой повесил на плечо свое «ружжо» и пошел вслед за зеком Градовым, Л-148395.

Потрясенный таким неожиданным поворотом, то есть сломом всего своего уклада, попросту ошеломленный нарушением монотона ходок, Никита шел теперь навстречу полным тачкам, чуть сбоку от тачек пустых, но без тачки. Иные из зеков бросали на него удивленные взгляды, большинство не обращало внимания, поглощенное своими «выживательными» процессами.

– Давай живей! Шевели ногами! – рявкнул сзади вохровец.

Поднялись на бугор. Солнце ударило в лицо так резко, что он даже чуть отшатнулся. Ноги сами заворачивали к черной дыре штольни.

– Возьми левее! – крикнул конвоир.

– Куда ведешь, начальник? – спросил Никита на зековский лад.

– Заткнись, ебенамать! Возьми левее! – гаркнул вохровец.

Никита почувствовал, что он снял винтовку с плеча и взял ее наперевес. Все было в стиле Зеленлага, за исключением этой неожиданной прогулки по узкой тропе посреди сверкающих сугробов.

Через четверть часа они подошли к административному зданию лагеря, оштукатуренному бараку с настоящими окнами, за стеклами – чудо из чудес! – видны были женские лица обслуги, тоже, разумеется, из зечек. Возле крыльца стоял военный вездеход, а на перилах крыльца, явно наслаждаясь солнцем, сидели два армейских командира. Начальник лагеря, да-да, сам всеильный майор Аристов, разговаривал с ними, улыбаясь, смеясь, явно стараясь понравиться. Армейские его еле слушали, а если и взглядывали иногда, то с нескрываемым пренебрежением, хоть и были оба в лейтенантских чинах.

– Вот этот? – Один из лейтенантов ткнул большим пальцем в сторону приближающегося Никиты. Второй только слегка присвистнул, видимо впечатленный внешним видом особо опасного врага народа.

На крыльце рядом с голенищем майорского сапога Никита увидел свой собранный и завязанный сидор.

«Меня куда-то увозят. Очевидно, пересмотр дела и расстрел, –

подумал он и не испугался. – Однако почему же военные, а не чекисты? Что ж, вполне резонно. Судил меня военный трибунал, вот военные теперь и увозят на пересмотр дела, чтобы расстрелять опасного врага в связи с военным положением». Вдруг настроение у него от этих мыслей странным образом резко взмыло, он даже как-то вдохновился – солнце, искрящийся снег, армейцы, расстрел! – все лучше, чем медленное, день за днем, вытекание жизни, срастание с вечной мерзлотой.

– Садитесь в машину! – скомандовал ему один из лейтенантов.

– Куда меня везут? – спросил Никита.

Предстоящий расстрел наполнил его впервые со дня водворения в Зеленлаге какой-то как бы прежней гордостью.

– Садись, садись, Градов! Или тебе неохота с нашего курорта уезжать?! – хохотнул Аристов.

– Вам позже объяснят, – безучастным солдафонским, но все-таки отнюдь не чекистским тоном сказал второй лейтенант.

Он сел впереди с водителем, а Никита поместился на заднем сиденье рядом с первым лейтенантом. По дороге тот временами кривил нос и отворачивался от зека. Классовая неприязнь, что ли, подумал Никита, а потом догадался, что это просто вонь, что от него очень противно воняет бараком и краснощекому, наодеколоненному с утра лейтенанту трудно это переносить.

Машина долго шла по извилистой узкой дороге вдоль распадка; в одном месте, на перевале, где сильный ветер намел сугробы, забуксовала. Лейтенанты тогда вылезли, стали толкать, Никита предложил свою помощь, его резко оборвали. Вскоре после этого эпизода выехали на большую дорогу, по которой шли колоннами грузовики. Это была пресловутая Колымская трасса, построенная почти буквально на костях зеков и тянущаяся на север от Магадана почти на тысячу километров.

У Никиты кружилась голова, он то и дело закрывал глаза: зрелище мнимо свободной дороги было для него слишком сильным впечатлением. Вскоре, однако, они свернули с трассы на боковую дорогу, идущую по дну распадка между безжизненных, лишь подернутых стланиковым наростом сопков. Потом распадок стал расширяться, проехали какую-то небольшую зону со сторожевыми вышками и колючей проволокой, потом несколько разбросанных бараков и щитовых домишек поселочка и вдруг выехали на поле маленького аэродрома, где и встали.

Находившийся на аэродроме единственный самолет ТВ-2 немедленно по их появлении начал раскручивать три своих пропеллера. Никиту выгрузили из вездехода и повели к самолету. Сидор на плече казался ему

тяжелей тачки. Восторг развивающейся невероятной перемены почти лишил его сил. Он ни о чем не думал, а только жадно, ртом, ловил то ли воздух, то ли минуты этой перемены, будто стараясь испытать все до конца и ничего не забыть.

В самолете летчик, весь в коже с мехом и в меховых унтах, бросил ему огромные ватные штаны, две фуфайки, тулуп, валенки, меховую шапку.

– Облачайтесь! – крикнул он. – Иначе, – он хохотнул, – не довезем.

Моторы уже гудели вовсю. Самолет начал выруливать к взлетной дорожке. Никита сидел в углу на мешках, он был совсем один в просторном фюзеляже с двумя маленькими квадратными оконцами. Он знал эти самолеты, которые еще при нем стали списывать из состава бомбардировочной авиации и переводить на транспорт. Через несколько минут летчик снова вышел из пилотской кабины и протянул Никите какой-то объемистый пакет.

– Приказано передать вам сухой паек. – Отдельно от пакета он протянул консервный нож и ложку. – А вам приказано кушать. – Извлек какую-то ведомость и огрызок карандаша. – Вот, распишитесь в получении.

После этого он оставил Никиту наедине с сухим пайком, ушел в кабину, и тут же самолет рванул вперед, пронесся мимо домишек и щетинистых щек распадка и оторвался от земли. И тут перед зекон Л-148395 открылись откровения сухого пайка: палка копченой колбасы, коробка тушенки, коробка шпротов, кусок сыра голландского, пачка масла, банка сгущенного молока, банка грушевого компота, две плитки шоколада «Север», большая черствая булка-хала, три пачки ванильных сухарей. Все таинства любви, война и тюрьма были забыты, только сейчас сильнейшее впечатление жизни развернулось перед ним на мешковине в виде сухого пайка командного состава ВВС.

Почти в беспамятстве он схватил, стал ломать и засовывать в рот куски шоколада с обрывками обертки, одновременно влезая ложкой в масло, заедая, стало быть, шоколад маслом. Потом он рвал зубами твердую и неслыханно, умопомрачительно вкусную колбасу, обламывал и запихивал в рот куски сыра, халы, возвращаясь к шоколаду, к маслу, пока все уже окончательно не смешалось у него во рту в сладко-соленую, жирно-сырную массу еды, толчками идущую по потрясенному пищеводу вниз к ошеломленному, истекающему соком и мелкими гастритными кровотечениями желудку. Очень скоро он уничтожил все, кроме консервов. Он хотел было уже взяться за консервный нож и продолжить пир, но на это не было сил: дурман сверхъестественной сытости овладел им. Самолет бухался в воздушные ямы, а бывший комкор Никита Градов рушился в

провалы сознания, лишь изредка выплывая в дребезжащую металлом, ревущую тремя моторами сферу. В эти моменты он пытался спрятать в свой сидор банки с тушенкой, шпроты, компот, талдычил себе под нос: «Там не дадут, там больше не будет», развязывал тесемочки, слабо копошился, матерился, стонал, боролся с тошнотой, пока окончательно не вырубился из всей полетной ситуации.

Летчик, вышедший на него посмотреть, вернулся в кабину с шуткой: «Четвертый движок у нас появился, храпит пассажир, что твой „юнкерс“. Экипажу не сказали, кого им предстоит перевезти с Колымы на „материк“, но летчики, конечно, догадывались, что важную личность, то ли врага, то ли героя, но, скорее всего, все-таки гада. Если по внешнему виду судить, то, конечно, уж фашиста везем на суд народов. Не хотелось бы такого во сне увидеть; наяву еще ничего, но во сне не надо.

За час до приземления Никита проснулся от жесточайших болей в желудке. Казалось, кто-то комком колючей проволоки рвет ему внутренности. Он попытался встать и рухнул с мешков на дюралевый пол, с воем покатился в хвост самолета. Из рта хлестнули струи желудочного сока, перемешанного с кровью и неперевавленными деликатесами.

На военной базе возле Николаевска-на-Амуре его вытащили из самолета в бессознательном состоянии.

– Ну и дела, – скребли себе затылки летчики, – а говорят, от жратвы еще никто не умер...

– Идиоты! – сказал им военврач. – Разве можно голодающему давать столько еды, если не хочешь его убить?

– А мы-то что, – возразили летчики. – Нам сказали, мы сделали, – и пошли расстроенные по домам: они уже успели проникнуться симпатией к своему жутковатому грузу.

Все-таки он не умер, а, напротив, за неделю в военном госпитале на куриных бульонах и рисовой каше, на уколах глюкозы с витаминами полностью пришел в себя и окреп.

Он лежал в отдельном боксе на чистых простынях. За окном на обледенелых ветках елей под дурным ноябрьским ветром раскачивались вороны. Для чего они так со мной возятся, гадал он. Может быть, готовится какой-нибудь пропагандистский процесс военных вредителей, чтобы оправдать поражения на фронте? Приговаривать к расстрелу надо все-таки не лагерного доходягу, а здорового цветущего врага, это логично.

Каждое утро санитар приносил ему «Известия» и «Красную звезду». Иногда ему казалось, что кто-то аккуратно следит за тем, чтобы он был в курсе событий. Превосходно умея читать газеты с их набором

околичностей, недоговорок, двусмысленных словесных штампов, Никита без труда понял, что положение на фронте отчаянное, что не сегодня-завтра может произойти катастрофа и падет Москва. Впервые его стала задевать военная диспозиция. Он попросил карандаш и стал делать на полях газеты кое-какие тактические выкладки. Усилия советского командования были похожи на тришкин кафтан. Мысль о входе Гитлера в Москву вдруг показалась ему невыносимой.

Станным образом почти не вспоминался ему Зеленлаг, и только иногда в кошмарной дребедени сна, в которой собрались, казалось, все страхи его жизни, включая и кронштадтских матросиков, возникало монотонное движение тачки, бесконечно знакомая тропа, спуск в карьер, повторение, повторение, повторение, будто в жизни и смысла-то нет никакого, кроме повторения, будто он жил уже миллион жизней и в каждой из них вот так же тяжело поворачивалось колесо тачки.

Вдруг он заметил, что взгляд его следует за изгибами спины затянутой в белый халатик медсестры Таси. Однажды она будто почувствовала это и глянула внимательным глазом через плечо. В этот момент его вдруг протрясло неукротимое желание и без всяких уже «если – я – еще – значит – я – еще», а просто лишь жажда немедленных и самых активных действий, вот именно: сорвать с нее все, поднять ей ноги, раздвинуть рукой ее лепестки, войти, протрястись, исторгнуть... Тася после этого обмена взглядами стала приходить в бокс с помощницей.

Майор медицинской службы Гуревич ежедневно после осмотра садился на краешек постели и заводил философские разговоры, называя его Никитой Борисовичем.

– Вот иногда странные мысли посещают, Никита Борисович. Вы знаете, я убежденный материалист, но, если мы призываем человека к самопожертвованию, разве это не отголоски идеализма?

– Что мне предстоит, Михаил Яковлевич? – спрашивал его Никита.

Майор пожимал плечами:

– Сие не в нашей компетенции...

Вдруг однажды он пришел утром очень озабоченный, быстро проверил температуру, кровяное давление, прочитал свежие анализы и сказал:

– Поздравляю, Никита Борисович, вы в прекрасной форме, и сегодня, а именно вот прямо сейчас, мы с вами прощаемся.

В коридоре за стеклянной дверью уже маячила командирская фуражка. «Ну, вот и все, – подумал Никита. – Моя история завершается. Мучить себя больше не дам, подпишу все и на процессе скажу все, что требуется. Наше

сопротивление для них ничего не стоит, равным счетом ничего».

Прямо поверх больничной пижамы на него набросили тот же самый самолетный тулуп, посадили в «эмку». Стекла у нее были не завешены, и он смог рассмотреть небольшой поселок и окружающие сопки. Тайга здесь была не чета колымской, огромные ели и лиственницы мифической ратью уходили в поднебесье, в туман.

Поездка длилась недолго, минут через пятнадцать они подъехали к маленькому коттеджу, который, если бы не подмокшая штукатурка противного розового цвета, мог показаться предметом альпийской идиллии. Внутри было сильно натоплено, царил гостиничный уют с коврами дорожками, плюшевыми занавесками, неизменным «Буреломом» на стене, здоровенным радиоприемником. Сопровождавший лейтенант щелкнул каблуками, взял под козырек и удалился. Открылась дверь в соседнюю комнату, и на ее пороге появилась не кто иная, как медсестра Тася. На этот раз она была не в белом халате, а в шелковой кофточке, очень привлекательно облегавшей ее плечи и грудь.

– Вам надо переодеться, товарищ генерал-лейтенант, – нежнейшим женственным голосом произнесла она. За ее спиной он увидел спальню с широкой кроватью, лежащую на кровати военную форму с генеральскими петлицами и тремя привинченными его орденами, а также стоящие возле кровати высокие хромовые сапоги.

Так и не поняв до конца, что происходит, и не задавая никаких вопросов, он бросился в спальню, схватил Тасю, стал с нее все снимать, терпения не хватило, повалил ее в задранной юбочке на кровать.

На этот раз телесный пир не доставил ему страданий, как в случае с сухим пайком, если не считать того, что от долго не проходящей и все возобновляющейся жажды он довольно сильно растер себе член.

Остаток дня он провел в сладчайшем плену Тасиных забот, она постригла ему волосы, побрила щеки, облачила в первоклассное трикотажное белье, галифе и китель тонкого сукна, спела несколько мелодичных украинских песен. Молодая женщина явно владела всеми способами обихаживания мужчин.

– А у нас сегодня гость к ужину, товарищ генерал-лейтенант, – наконец сказала она лукаво. – Нет-нет, не спрашивайте, будет сюрприз.

Гостем оказался генерал-майор Шершавый Константин Владимирович, которого Никита знал еще как Коку-со-штаба со времен службы в Белоруссии. В те времена тот был добрым малым, непременно участником командирских пьянок, гитаристом, знатоком минского и витебского женского контингента, словом, известным типом российского

гусара, выскочившим на поверхность даже и в рядах пролетарского воинства. Теперь – заматерел, стал брыласт, под кителем катаются не только плечевые мускулы, но и перекаты боковых, этой верхней задницы; глаза, впрочем, остались все те же, дружеские, веселенько-сальненькие; в общем, невзирая на высокий чин, все тот же я перед вами, Кока-со-штаба!

Прямо от дверей он бросился с открытыми объятиями, обхватил Никитину все еще зеленлаговскую тощую спину, разбросал мокрые поцелуи по всему Никитиному лицу – в щеку, в ухо, в глаз, наконец, прямо в губы от имени лейб-гвардии краснознаменного гусарского коммунистического!

– Никитушка, ты снова с нами! Вот счастье-то, вот радость для всей армии! Ведь ты же всегда украшением нашим был, любимцем кадрового состава! Мы же все просто зубами скрипели, когда тебя... Я лично зубами скрипел: ну, думаю, это уж чистая ошибка, уважаемые! Потом и меня загребли...

– Ты что, тоже сидел? – спросил Никита. Кого угодно, но только не Костю Шершавого он мог себе представить в арестантском бушлате.

– А как же! – радостно воскликнул тот. – Меня в тридцать девятом загребли, я тогда на Кавказе служил, у нас там всех подчистили до уровня комбатов. Да что ты, Никита, я ж всего полгода как с Интауголь!

За столом, подняв чуть не до люстры стаканище коньяку, Шершавый провозгласил тост:

– Пью за возвращение легендарного командира Никиты Градова в кадровый состав Красной Армии!

Коньяк ухнул ему внутрь с такой легкостью, как будто там была у него вместо внутренних органов просто обширная емкость для приема спиртного. «Дальневосточная – опора прочная!» – проголосил он и сел, действительно счастливый, нажратый и налитый, какой-то как бы вечный, из того разряда бездельников, без которых никакое дело не сдвинется с места.

– Третьего дня в Ставке, Никита, вообрази, кого встречаю – Костю Рокоссовского, своего тезку! Да-да, тоже освобожден, все ордена возвращены, уже получил колоссальное назначение! – Вдруг он повернулся к Тасе, которая подкладывала обоим генералам закусочки и сияла материнским счастьем. – Девушка, дорогая, погуляй, голубушка, полчаса где-нибудь, а? Пока не поднабрались, нам надо с генерал-лейтенантом посекретничать.

Тася дважды просить себя не заставила, накинула шубку, пошла прогуляться до «Военторга», заодно и купить генералу свитерок под

китель, носки, подходящие его званию бритвенные принадлежности. Подслушивать секреты ей было без надобности, совсем не то от нее требовалось.

– Я к тебе с поручением, Никита, – сказал Шершавый, – но только ты не думай, что от... – Он скосил глаза влево, вправо, посмотрел себе за спину на картину «Бурелом», глянул и на потолок. – Не от этих, клянусь, а от главнома-запад, да-да, непосредственно от Георгия Константиновича.

Н у, ты знаешь уже, как обстоят дела, даже из газет это видно, а на самом деле в пять раз хуже. Жуков тебя очень уважает, ну, в общем, в профессиональном смысле, и он велел тебе передать, что речь идет сейчас э-ле-мен-тар-но о судьбе отечества. Если Москва падет, рухнет все, а значит, мы на многие десятилетия станем немецкой колонией.

В этот момент Никита, крутивший в пальцах стакан и глядевший на скатерть, резко поднял голову и посмотрел на порученца.

Генерал-майор Шершавый драматически покивал:

– Тут я от себя, извини, Никита, добавлю. В такие минуты надо забыть о личных обидах, родина – это больше, чем... ты знаешь, о чем я говорю... Короче, тебе предлагается возглавить Особую ударную армию, которая сейчас формируется из свежих, уральских и сибирских частей. Нечего и говорить о том, что твое «блюхеровское дело» закрыто и ты полностью реабилитирован. Больше того, уже подготовлен указ о присвоении тебе следующего воинского звания, то есть генерал-полковника. Ну, каково?

– Это все согласовано со Сталиным? – тихо спросил Никита. Что-то отдаленно похожее на самолетную тошноту стало подниматься со дна то ли души, то ли желудка, то ли от избытка коньяку, то ли от лавины высших милостей.

– Непосредственно! – воскликнул Шершавый. – Выдам секрет, генерал-полковника тебе предложил лично Иосиф Виссарионович!

Никита посмотрел порученцу в глаза, там у него уже плескалась сталинская эйфория, джугашвилиевский восторг, гипнотическое счастье от причастности к пахану. Биться за родину, защищать тем самым кремлевских уголовников, что за страшная и извечная доля! Драться против гитлеровской расовой гегемонии за гегемонию сталинского класса, за хевру!

Шершавый увидел, что ответного восторга в глазах Градова не возникает, беспокоился, снова схватился за бутылку первоклассного «Греми»:

– Ну, я понимаю, что ты все это должен переварить, что все это так неожиданно, тебе надо все это сформулировать и для себя, и для дела,

понимаю, Никита, и давай возобновим этот разговор завтра, лады?

Он снова махнул себе внутрь стакан темно-янтарной влаги, подцепил на вилку кус заливной осетрины.

– Но завтра, Никита, ты уже все должен решить. Дорог каждый час. Гудериан может прорвать наш фронт в любую минуту и не делает этого сейчас, по данным разведки, только из-за недостатка горючего...

После этой фразы генерал-майора вдруг стремительно развезло. В лучших традициях гарнизонных загулов он лез к Никите с поцелуями, орал о своих колоссальных связях в Ставке, бахвалился храбростью, стратегическим провидением, тактической смекалкой, клялся вместе погибнуть «на последнем редуте социализма», провозглашал беспрерывные тосты за победу, за русское оружие, за женщин, которые «фактически превращают нашу жизнь в увлекательное приключение»... Тут как раз вернулась Тася, и Шершавый вдруг, словно только что ее увидев, бурно восхитился прелестями этой, как он выразился, идеальной фронтовой подружки, стал предлагать тосты за нее, завидовать Никитиной удаче, недвусмысленно намекать и о своей причастности к этой удаче – «увы, по себе знаю, что значит отсутствие дамского общества», – потребовал гитару, как ни странно, тут же в чудном домике нашлась и гитара, запел приятным, хотя и пьяным баритончиком: «Сердце, тебе не хочется покоя», а потом, совсем уже «поехав», попросил у Никиты разрешения удалиться с Тасей на часок во вторую спальню, просто для того, чтобы она хоть раз в жизни познала настоящее женское счастье... Засим «отключился от сети», левой брыластой щекой слегка проехавшись по блюдцу с кетовой икрой.

Гитара тут перешла в умелые руки Таси, романтически зарокотала «Мой костер в тумане светит...». «Ну и бабу тут мне сочинили, ну и бабу», – пьяно подумал Никита, прогладил ее сильно вдоль позвоночника и вышел на крыльцо, чтобы отрезветь под морозным ветерком.

Здесь он нашел своего прежнего по ОКЗДВА шофера, сержанта Васькова, ныне, разумеется, пребывающего в старшинском звании. Морда у того за эти годы стала еще более хитрая и бронированная, не подступись. Васьков немедленно взял под козырек и прогаркал:

– Готов к выполнению ваших приказаний, товарищ генерал-полковник!

Ага, уже знает о третьей звезде! Никита чуть-чуть поскользнулся на крыльце и немедленно получил поддержку – васьковское верное плечо. Из открытой двери лилась Тасина песня, невнятно что-то бормотал в икру высочайший порученец.

Во всем, и в этом тоже, предстоит разобраться. Никита сильно потерял себе лицо – раз, два, три – и в третий раз вынырнул из своих ладоней уже командующим Особой ударной армии. Во всем до мельчайших деталей начнем завтра же немедленно разбираться. Только тут он вдруг понял, что к нему пришел его истинный, мощный и непреклонный возраст.

Утром он предъявил Шершавому список из двух дюжин командирских имен. Генерал-майор, морщась от головной боли, прочел список, на каждой фамилии останавливаясь похмельным расплюснутым пальцем.

– Полковник Вуйнович, подполковник Бахмет, майор Корбут... Знаю каждого, первоклассные офицеры...

Он вытащил из кармана заскорузлый платок, продул в него свой выдавший всякое нос, «просквозило в самолете, елки-палки», благодарно, хоть и не без шkodливости, глянул на Тасю, поставившую перед ним утреннюю, столь необходимую чарку.

– Насколько я знаю, все они еще живы, – жестко сказал Никита. – Их надо немедленно собрать по лагерям. Без них я не приму на себя командование Особой ударной армией.

– Спасибо, Никита, – проговорил Шершавый, глядя на него слезящимися, благодарными – утренняя прошла! – глазами. – Это как раз то, что сейчас требуется. Собрать кадровый состав. Спасибо тебе, генерал-полковник! Я должен тебе сказать, что меня уполномочили принять все твои требования.

Никита, мощно и непреклонно преодолевая подкатывающие волны эмоций, от которых ему хотелось навзрыд расплакаться, прошелся по комнате, мягко, даже с нежностью, выдворил Тасю на кухню и остановился через стол напротив посланца:

– Ну, в таком случае ты, должно быть, уже представляешь себе мои главные требования. Где моя жена?

Шершавый просиял: видно, не было для него легче вопроса.

– С ней все в порядке! Она была в лагере общего режима на Северном Урале, и сейчас, я полагаю, ей уже сообщили о реабилитации. Так что, Никита Борисович, скоро встретишься в Москве со своей красавицей. Эх, как была твоя Викочка хороша, весь гарнизон, помню, в нее был влюблен. Кокетливость и неприступность, редкое сочетание, а какая теннисистка! Вообще, не женщина, а какое-то воплощение двадцатого века...

– Ну, подожди, хватит болтать, – перебил его Никита. – Что с моим братом?

Порозовевшая, сочащаяся потом физиономия занавесилась мраком.

– Вот с этим вопросом хуже, Никита. Нам пока не удалось найти его

следов. Ведь Кирилл был осужден без права переписки, а ты знаешь, что...

Никита, не дослушав, ушел в угол и встал там, уперев обе руки в сходящиеся стены. Убили мерзавцы моего Кирюшку, моего «строгого юношу», марксиста-утописта, пристрелили в затылок грязной вшивой чекистской пулей, чекистские свиньи, в-сраку-в-парашу-весь-ваш-род! Ну, ладно, если, Бог даст, выстоим перед Гитлером, потом все это вспомним!

Генерал-майор Шершавый озабоченно смотрел на обтянутую темно-зеленым сукном тощую, с выделяющимся, как линия Мажино, позвоночником градовскую спину. Как бы не передумал Никита, как бы не сорвалась миссия! Он начал что-то опять бормотать о танках Гудериана, о воле истории, о том, что надежда найти Кирилла еще не потеряна, о том, что он и сам все это прошел и знает что к чему, и вот недавно с тезкой Костей Рокоссовским пили и вспоминали, но ведь мы прежде всего солдаты, кто же, если не мы, будет родину защищать, не энкавэдэшники же... Ему казалось, что Никита его не слушает, и это подтвердилось, когда тот резко обернулся, прошагал мимо, открывая все двери, призывая Тасю и Васькова, берясь самолично за телефонную трубку, соединяясь с аэродромом, справляясь, когда будет готов самолет для генерал-полковника Градова. Самолет, оказалось, давно уже готов и ждет его.

Он обнял Тасю, та благодарно прильнула.

– Ну, прощай, маленькая хозяйка большого дома, – нежно усмехнулся он.

– Не нужно «прощай», Никита Борисович, – пролепетала та, – скажем друг другу «до свиданья».

Втроем они, два генерала, один громоздкий, расплывшийся, похмельно-советский, другой сухопарый, как бы белогвардейской закваски, и сентиментально похлупывающая носиком женщина, вышли на крыльцо. Васьков заводной ручкой раскручивал мотор зиска.

– Да, забыл тебе еще одну вещь сказать, Никита, – проговорил Шершавый. – Меня прочат к тебе начальником штаба. Надеюсь, ты не возражаешь?

– Возражаю, – немедленно и с неслыханной, даже пугающей четкостью ответил Никита.

Зисок тут взревел с неожиданной мощью, как вся недобитая Россия.

Глава пятая

Ля бемоль

В один из ноябрьских дней 1941 года Совинформбюро оповестило с утра читателей газет и радиослушателей о том, что подразделение боевых самолетов под командованием майора Дельнова уничтожило восемьдесят немецких автомашин, больше двадцати броневинов, четыре танка и двадцать зенитных орудий. Между тем соединение майора Комарова за последние десять дней уничтожило шестьдесят немецких танков, четыреста двадцать автомашин и причинило тяжелые потери трем пехотным полкам и одному кавалерийскому эскадрону.

Ставка Гитлера в тот же день сообщила, что наступательные операции на Украине развиваются успешно. На подступах к Харькову танковое соединение было встречено бронированной колонной русских. Из 84 вражеских танков 34 уничтожены, остальные повернули назад.

Германские бомбардировщики продолжали атаковать военные сооружения в Москве.

Подводными лодками отправлено ко дну пять английских транспортов общим водоизмещением 25000 тонн.

Коммюнике финского командования в тот же день сообщило об успешных боях к югу от Петрозаводска. Завершается окружение крупного соединения противника.

Британское министерство авиации оповестило о последовательных атаках на цели в Гамбурге и Штеттине. В обоих городах горят доки и индустриальные объекты. Потери англичан – один бомбардировщик.

В Ливии песчаная буря прервала все наземные действия. Ситуация остается без изменений.

Итальянское верховное командование в тот же день довело до сведения любопытных, что британский конвой после успешной атаки итальянских самолетов далее на своем пути к Гибралтару был атакован итальянскими подлодками. Торпедами потоплены два корабля. В воздушном бою уничтожены три «харрикейна».

Словом, на всех фронтах так в общем-то весело разгоревшейся мировой войны царил в тот день затишье. К такому выводу пришел бы после чтения всех этих коммюнике кто угодно, но только не майор медицинской службы Савва Китайгородский.

Для него этот день был просто продолжением бесконечного горячего

кошмара, в который он погрузился с первого момента его фронтовой деятельности; затишья не было. Госпиталь постоянно спасался бегством. Едва успевали развернуть операционный блок, как немедленно либо приходил приказ сворачиваться, либо просто-напросто загоралась крыша, обваливалась стена, рушились лестницы: тыловое учреждение то и дело оказывалось в зоне прямых боевых действий. Не далее как на прошлой неделе персоналу пришлось самолично отстреливаться от взвода прорвавшихся немецких мотоциклистов. Самое же ужасное заключалось для высококлассного хирурга, каким был Савва, у себя в клинике занимавшегося сложнейшими анастомозами, в непрерывности и даже в постоянном нарастании грубейшей «мясной» работы. Раненых поступало в три раза больше, чем госпиталь мог обработать. Начальник медслужбы дивизии полковник Назаренко требовал, в соответствии с секретными инструкциями, в первую очередь оперировать тех, кто сможет вернуться в строй. Савва цеплялся за остатки старомодной «врачебной этики», оперировал в порядке поступления, статистика возможного возврата из-за бесконечных ампутаций конечностей у него получалась плачевная. Прибавьте к этому постоянную нехватку элементарных дезинфицирующих средств, потерянные при поспешном отступлении инструменты, оборудование, материалы, прибавьте к этому, мягко говоря, относительность асептики в операционном блоке, полную измученность персонала, а также то, что из десяти состоящих в его подчинении хирургов трое и сами ранены, прибавьте к этому мародерство санитаров, не только грабивших раненых, но постоянно, даже под угрозой немедленного расстрела, расхищавших запасы спирта... Ну, вот, а теперь извольте представить себе статистику дивизионного госпиталя, где главным хирургом майор Китайгородский, статистику, отражающую действительное положение вещей, а не ту, что хочет увидеть на своем столе полковник Назаренко.

Несколько дней назад госпиталь переправили в Клин, подмосковный городок, расположенный на стыке 16-й и 30-й армий, и отвели ему, ни больше ни меньше, совсем нетронутое здание средней школы. Врачи и сестры надеялись, что хоть здесь-то удастся отстояться на более или менее стационарном положении: ведь за Клин-то вроде бы отступать уже некуда. Савва вспомнил, как ездили как-то в Клин на праздник – концерт в честь Чайковского, ведь это же родные места национального гения, здесь его рояль стоял. Как тогда в автобусе все почему-то развеселились, разболтались, просто и не заметили, как доехали до этого Клина.

На трех этажах школы были устроены вполне сносные палаты для

раненых, а в отдельно стоящем одноэтажном здании спортзала – «сортировка», то есть то, что в нормальной медицинской речи именуется «приемным покоем», и «мясницкая» – так, со свойственным им черным юмором, молодые хирурги, подчиненные Савве, называли операционный блок. Здесь они работали дни и ночи напролет, разрезали кожу и мышечные ткани, пилили кости, коагулировали сосуды, отбрасывали тронутые гангреной конечности и клочья размочаленных тканей, шили мышцы и кожу, и снова, и снова... и так все снова и снова, будто все человечество решило вдруг избавиться от излишков плоти.

Повсеместно применялся тот метод футлярной местной анестезии, который когда-то разработали совместно профессор Градов и его ассистент Китайгородский. Метод этот оказался как нельзя кстати в полевых условиях, когда практически не было никаких возможностей для общей анестезии. Молодым врачам госпиталя льстило, что их шеф – тот самый Китайгородский, чей метод они совсем еще недавно проходили в институте.

Раненых между тем становилось все больше, и все ближе подходил ни на минуту не умолкавший рев войны. Все чаще над Клином можно было видеть молниеносно разгорающиеся свары летающего металла.

«Пациенты опять разбушевались», – обычно говорил Дод Тышлер, любимый ученик Саввы, бросая взгляды вверх, на проносящиеся от тучи к туче «ястребки» и «мессеры». То один, то другой – чаще всего это были, разумеется, тупоносые старомодные «ястребки» – как бы спотыкался в воздухе, припадал на одно крыло, а потом начинал дымить и, раздувая черный шлейф и языки огня все шире, устремлялся к земле с такой стремительностью, будто в этом и состояла цель его создания. Иногда от горящего металла отделялась темная точка, и тогда над ней распускался зонт парашюта.

«Умело борется за жизнь, хороший спортсмен», – говорил Дод Тышлер, который и сам еще недавно играл за волейбольную команду Первого мединститута. «Добро пожаловать, парашютисты враждующих армий!» – продолжал он, и тут уж его приходилось одергивать, чтобы, не ровен час, не услышал хохмача особист.

Станным образом, в госпиталь ни разу еще не поступали летчики со сбитых «мессеров». То ли их пристреливали там, на месте, то ли отвозили в какой-нибудь специальный медотряд.

Третьим пациентом Саввы в тот день был капитан Осташев, известный ас, сбивший, по сообщениям, не менее десятка вражеских машин. Его подбили при попытке перехвата группы немецких бомбардировщиков,

подходящих к Москве. Если и нельзя представить в рядах Красной Армии князя Андрея Болконского, то капитан Осташев, хотя бы внешне, был все-таки большим к нему приближением; тем более что и страдание, бесконечная страшная боль и сопротивление боли, решительное нежелание унизиться до стонов, воплей и проклятий придавали его чертам некое суровое благородство.

Признаться, Савва не мог понять, за счет каких резервов летчику еще удастся не потерять сознания и даже отвечать на вопросы. Он держался даже при снятии бинтов, только похрустывал зубами, будто пережевывал битое стекло. Только после укола морфия он отключился, и все «княжеское», героическое сошло с его лица, проявив, будто на переводной картинке, простоватое выражение паренька с городской окраины. «Тетя... – бормотал он теперь, – Лидия Васильевна... да это ж я, Николай... мать за мылом, за мылом, за мылом к вам ... пос... лала...»

Капитана утром вытащили из-под обломков его самолета, рухнувшего в полукилометре от лесного аэродрома. Пока везли в госпиталь, он потерял много крови, несмотря на умело наложенные бинты. Первое, чем озаботился Савва, была капельница с физраствором и глюкозой. Недавно синтезированная глюкоза считалась чуть ли не панацеей. Только после этого приступил к осмотру ран, зрелище которых любого человека погрузило бы в полный мрак, но только не главного хирурга дивизионного госпиталя после трех месяцев работы в условиях общего отступления. У капитана были размозжены правая нога и левая рука, множество мелких ран на груди и плечах, самое же серьезное заключалось в рваной ране брюшной полости, которая сейчас была вся туго затампонирована, но все еще сочилась и довольно мерзко смердела. «Интересно, что даже ранение у него напоминает о смерти Андрея Болконского», – вспомнилось Савве. Он осмотрел и ощупал голову капитана. Череп вроде был цел, однако кровоподтеки на висках несомненно говорили о сильнейшей контузии, которая, возможно, и давала ему вот эту странную болевую устойчивость.

– Этого, кажется, еще можно спасти, – сказал Савва.

– Только неизвестно, будет ли он благодарен нам за это спасение, – пробормотал Дод Тышлер.

– Тем не менее будем спасать, – сказал Савва. Он распорядился готовить все к большой операции, после чего они с Тышлером вышли из спортзала на школьный двор покурить перед долгой работой.

Здесь им сразу бросилось в уши, как резко вдруг приблизился шум войны. В бледно-голубом небе пролетали холодные тучки, в сотрудичестве с ними голые деревья и пятна снега под ними предлагали

классический русский патриархальный пейзаж; уродливая гипсовая скульптура пионера с горном немедленно привносила в эту классику жанр советского захолустья, однако гром, грохот, вой, скрежет и визг какого-то страшного, близкого и все приближающегося боя придавал этой мирной картине черты кошмарной ухмылки.

– Вам не кажется, шеф, что надо сматывать удочки? – спросил Дод Тышлер, затапывая папиросу.

– Приказа пока нет, Дод, а потому мы должны работать, – сказал Савва.

– Это верно, – проговорил молодой врач, потянулся, сделал несколько разминочных волейбольных движений, насвистел несколько тактов из популярного фокса «На далеком Севере».

Вдруг низко, едва ли не цепляя за верхушки деревьев, прошли на запад три звена штурмовиков с красными звездами на крыльях, их грохот покрыл все.

– Ого, бронированные «илы» появились! – воскликнул Дод. – Видите, новая техника уже поступает!

Савва посмотрел на него и впервые подумал, что Дод еврей. Если попадем в окружение...

– Послушайте, Дод, если вы не хотите сейчас мне ассистировать с этим капитаном, займитесь чем-нибудь другим, а я подключу Степанова, – проговорил он и тут же испугался, что сказал бестактность.

Тышлер весело возмутился:

– С какой стати? Отказываться от работы с самим Китайгородским? Еще вчера я не мог об этом и мечтать!

К счастью, он, кажется, меня не понял, подумал Савва, не понял, что я ему, еврею, хотел дать возможность отступить при первой же возможности. Ну, что ж, надо начинать, не сидеть же, в самом деле, в ожидании приказа драпать. Гремит где-то близко, но на прорыв пока не похоже. Обычно прорыву немцев предшествует бомбежка, сильный артобстрел, отходящие или, чаще, бегущие колонны войск; сейчас ничего такого не наблюдается...

Будто в ответ на его мысли, роща в глубине на мгновение озарилась бешеной вспышкой. Проходящие по двору два санитары из легкораненых обернулись в ту сторону и засмеялись: «Шальная залетела!»

– А что, своя или чужая? – спросил у солдат Дод Тышлер.

– А кто ж его знает, товарищ военврач, своя или чужая...

Почему они «это» называют в женском роде, подумал Савва. Ведь это же очевидно – снаряд прилетел, значит, «он», а они говорят так, будто это бомба... Своя – чужая... Может быть, тут где-то слово «смерть» лежит в подсознании... своя – чужая?..

Капитан Осташев уже хрипел под хлороформной маской, когда они вошли в операционную, где с потолка еще идиллически свисали гимнастические кольца и канаты.

– Долго держать его под хлороформом нельзя после такой потери крови, – сказал Савва. – Начинайте, Дод, футлярную анестезию.

В первую очередь следовало заняться раной на животе, иначе начнется необратимый перитонит и некроз кишечника. Конечности во вторую очередь.

Операция началась, и, как обычно, Савва, что называется, погрузился в свою стихию. Он работал почти автоматически, одним глазом следя за ловкими, даже слегка щеголеватыми движениями Тышлера, а вторым еще успевая поглядывать, что происходит на пяти других операционных столах. Маску с лица капитана сняли. Он дышал в глубоком забытии тяжело и ровно, будто старая паровая машина. Изредка вдруг что-то начинал бормотать, почти неразборчивое, только мелькала опять какая-то тетя Лида, у которой некий мальчик Николай, то есть сам капитан Осташев, что-то просил, то ли мыла для мамы, то ли ласки для себя.

Открывая брюшную полость, дренируя ее, пережимая сосуды, Савва поймал себя на том, что машинально повторяет последние стихи Нины, которые она ему прислала на днях, и не через полевую почту, а с оказией, с фронтовым фотокором из «Известий».

Опускаюсь в темные глубины, полированные стены, зеркало залеплено фанерой, отрыжка довоенным шпротом, тысячи таких же персефонов, три-четыре вонючих ведра, жалкий мой народ сутуло-спинный, прощайте, ежевечерние уроки геометрии, тянутся к метро со всех сторон, куб гипотенузы с тремя переломанными шрапнелью катетами, сколько еще осталось в этих подвалах муки?

Век погас, серебряные свечи, длинный перечень талонов литеры «Б» с острова Эвакуа, плавают в уродливых божках, ты, гроссмейстер радостных заплечий, каких домашних животных, кроме сухих и черных кошек, бей наотмашь, без обиняков, двери не открывать, сигнализировать немедленно!

Пропaday, моя литература, дайте вашу ладонь, химическим

карандашом на бугорке любви, Ланцелот, Онегин, Дон-Кихот, никогда не дождетесь переключки фаланстеров, тяжело страдает кубатура, грязный уж ко мне вползает в рот, так и стоять мускулистыми барельефами с гроздьями фальши на плечах, с бананом обмана в правой руке.

Только ты остался на просторе, пока не пройдет финальная бомбардировка, поднимая дерзкий ля бемоль, замедленное падение фасадов, завершение элементарного фотосинтеза, только ты один в моем фаворе, ускоренное центрифугирование, светлоокий Севера король, из варяг в греки без промежуточных остановок...

«Видишь, – писала Нина, – в какую я впадаю простоту. Удали отсюда модернистскую прозу, и получится почти нормальный стих...»

Он так и сделал, и с тех пор все бормотал себе под нос этот «почти нормальный стих». Закавыка была только в «дерзком ля бемоль»: он никак не мог сообразить, для чего это тут, ведь не для рифмы же, пока вдруг не вспомнил старую семейную хохму. Както раз музыкально малограмотный Савва употребил этот «ля бемоль» ни к селу ни к городу, чем вызвал бурный восторг у Нины. Она никак не могла успокоиться и несколько месяцев все доводила мужа «этим злосчастливым ля бемолем». Профессор, а как сегодня «ваш ля бемоль»? Савка, ты все собрал, «ля бемоль» не забыл? Люблю тебя, мой друг, но больше всего люблю «твой ля бемоль»...

Глупая, прилипчивая шутка, оказавшаяся вдруг в строфе Нининого серьезного и, очевидно, трагического стиха, повернула его мысли в неожиданном направлении. Ему показалось, что, уцепившись за нее, он может раскрутить весь клубок своих чувств и ответить самому себе, почему он, профессор, заведующий кафедрой, оказался на фронте, практически на передовой.

Этот тон бесконечно милого друг над другом подшучивания, на который они так счастливо натолкнулись в первые же дни супружества, давно уже себя изжил, а она этого не понимала, она позабыла сменить пластинку и тянула все тот же мотив. Да он и сам не понимал, откуда вдруг берется раздражение против любимой и единственной женщины, раздражение легчайшее и самое что ни на есть мимолетное, которое он не только никогда не показывал, но и самому себе не позволял на нем спотыкаться, но все-таки спотыкался и – раздражался. За бесконечными шутками, как он вдруг сейчас понял, стояло нечто другое – ирония, снисхождение. Ей, поэтессе и в общем-то человеку богемы, он, хирург, аккуратист, атлет, видимо, всегда казался воплощением презренного

здорового смысла, и в связи с этим их союз – неким мезальянсом. Слов нет, Нинка его любила без памяти, в постели с ним забывала обо всем на свете, их оргазмы, очевидно, приносили ей какие-то романтические воспарения. Помимо этих дел, он был для нее сильной опорой, человеком, внутренне не покорившимся. Она как-то призналась, что он спасает ее от депрессии и, возможно, от алкоголизма. И все-таки она всегда оставляла себе этот как бы запасной выход, какую-то гипотетическую возможность сквозануть из супружества – иронию. Увы, он знал это точно, гипотетические возможности иной раз становились реальностью. Временами, он видел, у нее начинала кружиться голова. В такие дни она где-то задерживалась, часто уезжала то в реальные, то в выдуманные творческие командировки, возвращалась с блуждающим взглядом, заболела гриппом, ангиной, один раз даже пневмонией, закутывалась в свитеры, пледы, сидела в углу, строчила в блокнотике, виновато шутила, однако шутила, шутила всегда. В результате этих приступов, естественно, появлялись стихи. Как говорится, все на пользу. Виновники ее «высоких болезней» чудились ему повсюду. На писательских сборищах и поэтических вечерах он ловил на себе иронические взгляды. Как-то раз одна растленная тварь, улучив момент, спросила его с усмешечкой: «Савва, а вы действительно так привязаны к этой Нине Градовой?» То ли хотела намекнуть на неверность, то ли к себе в постель жаждала затащить, во всяком случае спрашивала так, будто он и не был мужем «этой Нины Градовой», а просто одним из ее, ну, скажем так, лирических героев.

Кстати, о лирике. Внимательно, строчку за строчкой, прочитывая ее стихи, он не видел в них себя. Ну что ж, таков мой удел, мне достается только бытовая ирония, и я должен на нее отвечать соответственно. Ёлка, так та под влиянием мамы вообще привыкла смотреть на отца как на домашнего шута. Таким я и предстаю. Добрый вечер, дамы, пришел ваш домашний шут. Чем еще вас позабавить? Не угодно ли папе повисеть на люстре? Па'д'проблем, медам, только прошу не раскачивать тело. Он никогда не унижится до сцен ревности. Это исключено. Никогда не спрошу о «лирических героях», хотя любопытно, кто же так сильно поражает поэтическое воображение? Может быть, один из этих новомодных советских «хемингуэев», в компании которых она в последнее время повадилась появляться? У них у всех усики под носом и за плечами какая-нибудь Испания, вроде Халхин-Гола. У них ордена Красного Знамени привинчены к пиджакам оксфордского стиля, у них машины и квартиры в новых тяжело-каменных домах. Молодые, сильно выпивающие путешественники, в первые же дни войны они облачились в пилотские

кожанки и стали появляться в писательском клубе с солдатскими вещмешками... Что же это, если не ущерб вкуса, дорогая комсомолочка-декаденточка, когда ты посвящаешь стих неким прозрачным инициалам и пишешь там: «Он опять улетел, сделав крылья подобием родины, ускользающей тенью в холодных пустых облаках»?

На собрании профессорско-преподавательского состава в институте представитель Наркомата здравоохранения довел до сведения присутствующих, что все профессора и доценты автоматически получают «бронь». Партия и правительство уверены, что эти высококвалифицированные специалисты внесут свой вклад в победу над врагом, консультируя и оперируя в тыловых госпиталях. К тому же проблема подготовки медицинских кадров встает сейчас с еще большей остротой. Мы должны гарантировать как горизонтальное, так и вертикальное медицинское обеспечение действующей армии. Тогда вдруг на трибуну вылез профессор Китайгородский и сказал, что именно в связи с горизонтальным, а главным образом, с вертикальным медицинским обеспечением армии он намерен отправиться на фронт. Он также подчеркнул, что, начиная еще с его первых шагов под руководством Бориса Никитича Градова, его исследовательская работа всегда имела определенный военно-медицинский аспект и было бы просто нелогично упускать возможность проверки этого аспекта в полевых условиях.

Несколько человек на этом собрании последовали его примеру, и Китайгородского даже объявили зачинателем патриотической инициативы. Институтские доброжелатели говорили о нем: «Савва продемонстрировал истинный патриотизм, вот вам пример, ни единого высокопарного слова, даже легкая ирония, и вот вам, пожалуйста, истинная русская интеллигенция!»

Все чаще и чаще слышались в обществе сугубо немарксистские, неревolutionные, недавно еще почти ругательные слова: «отчизна», «наша держава», и вот вам докатились до чего – «русская интеллигенция»!

Савва и сам не понимал, что его побудило тогда объявить это свое решение, о котором он и не подозревал за минуту до того, как полез на трибуну. Донкихотский нелепый порыв? Может быть, и на самом деле лишь чистый подсознательный патриотизм подвинул его к этому не очень-то рациональному поступку? Ведь и на самом же деле душа была уязвлена нашествием чужого на свое. Сталин ли, Гитлер ли, большевики ли, нацисты ль, все-таки чужая подлость прет на родное злосчастье, и душа требует движения к своему народу. Однако если и будет от меня польза на фронте, то все же не такая, какую принес бы здесь, в тылу.

Нина не стала требовать объяснений. Она только забралась к нему на колени, целовала, гладила его по голове, брала в рот несколько ороговевшие за последние годы дуги ушей. Оба они чувствовали, как проходит сейчас между ними нечто невысказанное. Теперь, когда он совершил то, чего она от него меньше всего ожидала, он предстал перед ней тоже почти как поэт.

Вот именно, думал он сейчас, бормоча «почти нормальное стихотворение» о спуске в темные глубины, вот именно в ту ночь она вдруг словно увидела во мне ровню, и это было впервые, и это было главной и истинной причиной моего порыва на фронт – доказать ей, что я не совсем тот, за кого она меня всю жизнь принимала.

Тем более странно выглядит здесь «дурацкий ля бемоль», сводящий последнюю строфу едва ли не к «буриме», и это все опять же связано с привычной, вполне уже заскорузлой иронией в адрес единственного, разумеется, единственного любимого, хоть и такого привычного, такого нехемингуэевского человека... Эти мысли не покидали Савву, пока он точно и умело, не теряя ни одной секунды, работал в брюшной полости прославленного летчика Осташева.

* * *

Между тем обстановка вокруг дивизионного госпиталя становилась более чем двусмысленной. Здание школы уже находилось в зоне какого-то хаотического артобстрела. Через большие окна спортзала видны были разрывы снарядов, взметавшие к небу клочья мерзлой земли и куски деревьев. Меж стволов парка ползли отходящие в тыл с повернутыми в сторону противника башнями танки. Один танк шел со шлейфом дыма и пробегающими по броне бесенятами огня. Он уперся в большое дерево и встал. Два танкиста торопливо выскочили из башни, третий успел вывалиться лишь наполовину, упал вбок, словно огромная черная кукла. В следующее мгновение взорвался бензобак.

Мимо быстро проходили беспорядочные группы пехотинцев. Взвод минометчиков выскочил на бугорок с гипсовым горнистом, мгновенно развернул свои нелепые орудия. Минометы начали плевать огнем. Дальность их стрельбы была невысокой, а следовательно, и противник находился неподалеку, иначе стрелять из этих труб не было бы никакого смысла. Минут и десяти не прошло, как минометчиков смела с бугра какая-то мгновенная огненная буря.

Савва этого не видел, потому что работал спиной к окнам, однако вой и грохот, бушующие вокруг, не оставляли у него сомнений, что госпиталь оказался в полосе немецкого прорыва и что отступать, может быть, уже поздно.

Стекла уже давно осыпались во всех четырех окнах. Снаряд прошел стену и сорвал баскетбольный щит. Операционные лампы все погасли. В пробоину был виден развороченный трансформаторный щит.

– Всем, кто кончил операции, немедленно отступать! – крикнул Савва.

– Да ведь приказа же, приказа из штаба дивизии не было, Савва Константинович, – истерически завопил из приемного покоя комиссар госпиталя Снегоручко.

– Там уже, наверное, некому приказывать! – крикнул ему в ответ Савва.

Снегоручко вдруг выскочил в святая святых, в операционную. Он хватался за кобуру пистолета, глаза светились медяками.

– Не паниковать! Застрелю!

– Уберите идиота! – приказал Савва санитарам. Очередной и самый близкий взрыв потряс все здание.

– Вы тоже отступайте, Тышлер! – жестко сказал Савва Доду. – Мы тут все закончим без вас с брюшной полостью. Спасибо за помощь.

– А ноги?! – горячо зашептал Дод, тоже как не совсем нормальный. – С ногами-то, с ногами-то что?..

– Ноги возьмем в руки, – усмехнулся Савва. – Если успеем проскочить, то ногами займемся завтра...

Он почему-то был без всякого наигрыша совершенно спокоен, будто недавние мысли о Нине помогли отрешиться от опасности.

– Я знаю, что вы имеете в виду, – тем же жарким шепотом продолжал Дод. Руки его, впрочем, совсем не дрожали, а продолжали по-прежнему четко накладывать кетгутовые швы на кишечник и вязать лигатуры. – Я никуда не уйду! – выпалил он.

– Не валяйте дурака! – сказал Савва. – Выполняйте приказ! Я вас назначаю своим заместителем по отходу в тыл!

Вдруг и гром, и рев, и свист, и вой, и треск – все смолкло вокруг госпиталя. В наступившей тишине только слышалось неподалеку почти идиллическое после предшествующей симфонии фырчание моторов.

«Отбились? Прекрасно! Поздравляю с новым доносом, товарищ Снегоручко», – подумал Савва. Он сделал жест Доду – дескать, хорошо, давайте завершать. Дод в этот момент смотрел через его плечо в разбитое окно. Он вздрогнул, ничего не сказал и вернулся к животу капитана

Осташева. Тот уже вернулся из своих детских путешествий к тете Лиде и теперь лежал молча, стиснув зубы, снова в обличье заматерелого в советской авиации князя Болконского. Хирурги уже закрывали его брюшную полость, накладывали последние швы, оставляя выход для дренажа. Савва работал, не поднимая головы, пока вдруг не понял, что в этой удивительной тишине что-то произошло еще более удивительное. Он окинул взглядом спортзал, то бишь операционную, и увидел, что все оставшиеся врачи и сестры смотрят в его сторону, но не на него, а за него, и тогда он понял, что ему нужно обернуться, чтобы узнать последнюю новость этой войны, свою собственную новость.

Он обернулся и прямо за собой увидел трех чужаков, ошеломляюще чужих, будто прилетевших с другой планеты людей. Прошла едва ли не минута, прежде чем он понял, что это немецкие танкисты и что во дворе уже стоит целое подразделение немецких «марков».

Командир этого подразделения и два офицера помоложе как раз и стояли за спиной Саввы. Поразили три пары светлых, различных оттенков голубизны глаз. Они были похожи на его собственные глаза. Командир поднял руку в тяжелой кожаной рукавице и произнес какую-то комбинацию грубых слов, из которой Савва вдруг понял, что он может завершить операцию. Савва и Дод склонились над швами. Они что-то хотели сказать друг другу, но не могли вымолвить ни слова. Немцы за спиной продолжали громко разговаривать. Савва вдруг сообразил, что понимает их, хотя всегда относился к своему школьному немецкому с глубочайшим пренебрежением, в отличие от приобретенного позднее французского, которым щеголял. Танкисты, кажется, говорили о том, что всех оставшихся в школе, шайзе, надо выкинуть, квач унд шайзе, и сказать, чтоб драпали, куда хотят, хоть к своим, хоть прямо в дремучую, заросшую паутиной сталинскую задницу. В плен брать нельзя, некогда возиться с пленными, слишком много этого говна, пленных, не знаешь, куда от этого шайзе деваться. Им, ублюдкам, идет провиант. Лучше бы убивать этих пленных, ну, не нам же их убивать, мы танкисты, пусть их убивает тот, кому положено, а у нас и своих дел хватает.

Этот врач пусть заканчивает штопать своего ивана. Er ist sehr gut! Sehr gut. Sehr guter Arzt! Сейчас он кончит, и мы всех отсюда выгоним. В жопу! Ха-ха-ха! К Сталину прямо в сраку! Эй, вы кончили, герр арцт? Вундербар! Сейчас все отсюда убирайтесь! Раус! Лос, лос! К Сталину! Квач und шайзе!

Медперсонал еще не понимал, что их отпускают на волю. Комиссар Снегоручко как стоял, так и остался с поднятыми вверх руками. Молодой танкист подтолкнул его коленом в зад, обнаружил на поясе пистолет в

кобуре, сорвал с комиссара пояс вместе с кобурой, перекинул его себе через плечо и про комиссара забыл. Савва в полнейшей неразберихе отдавал приказания:

– Все, кто может двигаться, уходят своим ходом! Тяжелых выносим на руках! Двигайтесь! Быстрее! Они могут передумать!

Он склонился к лицу капитана Осташева:

– Как себя чувствуете?

Тот вдруг начал ему с какой-то кривой лукавинкой подмигивать, зашептал:

– Яду мне дай, военврач, яду!

– Мы еще с вами водки выпьем, капитан! – произнес Савва обычную в таких случаях фразу.

Дод Тышлер притащил ручные носилки. Вдвоем они стали перекладывать капитана. Два немца внимательно следили за этой сценой. Вполне еврейская внешность Тышлера их, кажется, мало интересовала. Впрочем, со своей внешностью Дод мог спокойно прогуляться и за кавказца, и даже за союзника по «Оси», муссолиниевского legionera. Однако не он их интересовал, а сугубый славянин, майор Китайгородский. Командир танкистов сделал ему знак подойти и осведомился, говорит ли он по-немецки.

– Вы останетесь с нами, господин майор, – негрубо сказал он. – Все уходят, кроме вас.

– Я не могу! – вскричал Савва. – Ich kann nicht. Я здесь главный хирург! Ich bin Hauptdokter!

– Тем более! – дружелюбно ухмыльнулся немец. – Нам как раз главный и нужен. Мой друг ранен. Я хочу, чтобы вы ему помогли. Вы – хороший врач, вы будете служить Германии.

В отчаянии Савва рванулся. Молодой танкист ткнул ему в грудь дуло своего «шмайссера». Персонал и раненые покидали спортзал. В последний раз Савва поймал на себе взгляд Тышлера. Перед тем как исчезнуть, тот пожал плечами. Все повернулось совсем не так, как кто-либо мог предвидеть. Савва не мог вымолвить ни слова. Он сел в угол на битое стекло и закрыл голову руками.

Линия фронта, эта метафора окончательной, бесповоротной, биологической и идеологической гибели, теперь захлопывалась для него навсегда. И два единственно любимых существа, два женских человека, Нинка и Ёлка, то, что было еще десять минут назад его семьей, уносилось теперь в завывающую воронку... ля бемоль, ля бемоль... навсегда.

Глава шестая

Бедные мальчики

Гигантские армии русских военнопленных и в самом деле были головной болью для германского командования. Доктрина немцев в начале войны была довольно проста: скорейшее уничтожение семимиллионной Красной Армии. Используя свою колоссальную мобильность и превосходство в воздухе, германские клинья рассекали тяжеловесные, неповоротливые соединения русских, брали их в «клещи», загоняли в «котлы» для дальнейшего истребления. Русские, однако, все чаще избегали прямого боя и уходили все дальше в глубь своей необозримой территории, вольно или невольно переводя сугубо военную доктрину генерал-фельдмаршала Кейтеля в доктрину геополитическую. Оставшиеся же в «котлах» полки, дивизии и армии бросали оружие, превращаясь в бесчисленные стада военнопленных, тяжелым балластом тормозившие наступление. Кто знает, почему иваны отказывались драться, – то ли запугали их до смерти ныряющие с воем из поднебесья «штукас», то ли сразу же уверовали в неизбежный разгром Сталина и не хотели класть свои жизни за проклятый «колхоз». Невоюющий враг иной раз может нарушить отлично разработанную стратегию не хуже мощной обороны. Немецкий журналист, напросившийся в кокпит бомбардировщика, записывал себе в блокнот: «Ничего не вижу внизу, кроме полнейшей конфузии». И так продолжалось почти несколько месяцев до начала битвы за Москву. Назойливо и даже оскорбительно для механизированной армии XX века напрашивалась аналогия с Наполеоном. Растягивающиеся коммуникации стали то и дело прерываться фанатичными отрядами бандитов, появившихся в тылу после призыва Сталина. Уже несколько раз массированные марши панцирных соединений останавливались из-за нехватки горючего.

А тут еще гигантские скопища военнопленных, которых надо было не только охранять, но и кормить. Их набралось к ноябрю сорок первого до миллиона. Распустить их нельзя, возникнут многочисленные зоны анархии и бандитизма. Уничтожить такую массу людей тоже довольно хлопотное дело, к тому же совершенно убийственное для пропаганды. Самым лучшим решением было бы отправить их в тыл для использования в качестве рабочей силы, но это опять же требует времени, детального планирования, огромной массы транспорта и нарушает стратегию

блицкрига.

Пока что лагеря располагались посреди начинающих уже замерзать полей. Хорошо еще, если удавалось соорудить какое-то подобие навесов или сараев для укрытия от дождя и снега, чаще, однако, люди лежали вповалку прямо под открытым небом в зонах, лишь формально огороженных нитками колючей проволоки. Многие погибали от истощения и охлаждения, однако темпы вымирания были все-таки весьма разочаровывающими для германского командования.

В одном из таких лагерей возле Припяти находился красноармеец Митя Сапунов. Он был уже больше месяца в плену и страдал от бесконечного, сжигающего все внутренности голода. В лагерь иной раз, но не чаще чем через день, заворачивала полевая кухня, и счастливы, которым удалось сохранить котелки, получали по ковшу так называемого супа, тепловатой бурды с лепестками капусты и кусочками неочищенного картофеля. В другие дни охранники просто бросали в толпу пленных пачки каменных галет и с удовольствием смотрели на этот «цирк», когда русские, совсем забыв о человеческом достоинстве, дрались друг с другом, барахтались в грязи, а поймав галеты, сразу же запихивали их в рот, чтобы только не поделиться с товарищами. Лишнее доказательство неполноценности этих худших из славян.

Повоевать Мите почти не пришлось. Когда после месячной подготовки их полк, состоявший на две трети из новобранцев, прибыл на фронт, как раз началось новое большое, парализующее и оглушающее наступление немцев. Сначала волна за волной три раза налетали пикировщики. Воя сиренами, растопырив мощные львиные лапы, падали с небес прямо на Митю с Гошей, прошивали вокруг дерюжное сукно, утюжили кургузые блиндажи остатков оборонительной линии. Попробуй окопы отрыть, если все кишки внутри дрожат. Не успели отрыть сикось-накось эти сраные окопы, как вся долина перед ними покрылась идущими как на параде немецкими танками. За ними спокойно двигались цепи пехоты. От живота каждого солдата шли частые вспышки автоматного огня. Политруки говорили красноармейцам, что немцы идут в атаку пьяными, а то еще под какими-то малопонятными «эфирными лепешками». Эти любопытные сведения, однако, нисколько не уменьшали ужаса перед противником, наоборот, вызывали еще больший трепет перед бухим, наэфиренным завоевателем, очередями от живота побивающим все армии мира, а уж что там о нас говорить, бедных мальчишках.

Вот и над Митей, и над вечным его теперь дружкой, щуплым шибздиком Гошкой, перевалил через траншею танк, засыпал их едва ли не

до пояса глиной. За танком стали перепрыгивать через траншею солдаты, демонстрировался добротный суконный размах промежностей. Какой-то немец из канистры за плечами пустил вдоль траншеи страшный язык огня, и тогда все, кто остался жив из взвода, встали с поднятыми руками.

Таким плачевным образом закончилось Митино боевое крещение. С этого дня он только и делал, что брел по дорогам в колоннах военнопленных, тащился в пудовой от грязи шинели или валялся на земле, плотнейшим образом обнявшись с шибздиком, чтобы не замерзнуть. Шибздик старался от него не отставать, когда наутро сбивались новые колонны, как будто в Митином присутствии видел какой-то шанс для спасения. Митя и сам то и дело оглядывался на шибздика – не отстал ли?

Однажды на ночевке шибздик просунул лапку в Митину мотню и взялся за его член, и Митя вместо того, чтобы дать ему в зубы, сгреб в кулак его пиписку. Так под шинелями, под морозными звездами они стали мечтать о каких-то неведомых фантастических девушках, кинофантамах в крепдешиновых платицах.

В лагере под Припятью десять тысяч красноармейцев торчали уже больше месяца, не зная, чего ждать. Ходили самые невероятные слухи. Говорили, например, что Гитлер и Сталин решили замиряться и договорились об обмене людей на нефть. Нам всем тогда кранты, ребята, пояснял какой-то расхристаный донельзя командир. Для Сталина тот, кто сдался в плен, самый главный предатель.

Вдруг однажды в Митин отсек лагеря приехала полевая кухня, да не одна, с супом, а целых три – с настоящим мясным гуляшом. Потом козлы, как называли тут стражу, стали щедро раздавать сахар и мягкий хлеб. Что бы это все значило? Возможно, теперь нас всех отправят в Норвегию, в «стальные шахты». Там-то уж всем пиздец скоро придет, зато хоть в дороге пожирuem.

Между тем в расположение спецзоны «Припять» направлялся большой фронтовой «мерседес» с двумя важными начальниками, гауптштурмфюрером СС Иоханном Эразмусом Дюренхоффером и штандартенфюрером СС Хюбнером Краусом. Великолепные рессоры машины спасали офицеров от ухабов безобразной дороги и давали возможность вести весьма значительный идеологический разговор. Белесый, довольно тощеватый, хотя немного и оплывший, с кроличьим лицом Дюренхоффер предлагал некий довольно либеральный вариант решения проблемы восточных территорий, в то время как чрезвычайно широкий в плечах и в нижней части лица Краус настаивал на фундаментальном подходе, основанном на расовой теории партии. Ну,

например, Дюренхоффер говорил:

– Огромные человеческие массы, побежденные и превращенные в рабов, всегда грозят взрывом. Между тем мы можем из этих людей сделать наших союзников, и даже, в будущем, определенную, пусть не первостепенную, категорию граждан рейха. Для большинства этих людей, восточных славян, уверяю вас, милый Хюбнер, главным злом является коммунизм, вечная нищета, прозябание, абсурд. Подумайте сами, они забирали у крестьян яйца по тридцать копеек, а потом продавали им же по рублю. Уверяю вас, милый Хюбнер, если мы приобщим российского мужика к среднеевропейской торговой системе, дадим ему возможность покупать рубашки, велосипеды, ручные фонарики, обувь, у нас не будет проблем с этими людьми. Главное дать им понять, что с коммунизмом покончено.

Он улыбался. Мама когда-то посмотрела его слишком быстро растущие зубки и не надела на них скобки, теперь они у него выпирали при каждой улыбке, что, впрочем, совсем не делало его менее привлекательным или менее интеллектуальным. Он любил улыбаться и не стеснялся своего умеренного либерализма, который все-таки всегда шел на пользу империи.

Штандартенфюрер Хюбнер Краус, напротив, не принадлежал к улыбчивым. Это не значит, что он был нелюдим, просто он был очень серьезен и всегда пребывал в сфере серьезных реалистических мыслей.

Ну вот, например, он таким образом парировал соображения своего постоянного оппонента.

– О милый Иоханн Эразмус, – говорил он, выпячивая свой широкий подбородок, что, впрочем, совсем не делало его толстым, но только лишь широким, еще более широким, до чрезвычайности широким офицером СС, – почему вы думаете, что все аспекты сталинского коммунизма должны быть немедленно устранены? Ваш пример с яйцами не очень удачен, милый Иоханн Эразмус. Колхозы, например, исключительно удачная находка Сталина для такого рода населения, и они должны быть обязательно сохранены. Индивидуальное фермерство не для них, мой милый Иоханн Эразмус.

Дюренхоффер вынимал из походного погребца бутылочку ликера «Шартрез». «Мерседес» притормаживал, давая возможность офицерам выпить по тонкой рюмочке.

– Мне кажется, не стоит постоянно напоминать этим людям об их второсортности, дорогой Хюбнер, – продолжал Дюренхоффер. – Они сами поймут, где их место.

– Вы так думаете? – серьезно, без улыбки шутил Краус. – О, милый

Иоханн Эразмус... – Потом он делал вопросительное движение бровями в сторону переднего сиденья, на котором рядом с шофером сидел русский в партийном френче и в молотовской фуражке из серого габардина.

– Нет-нет, не беспокойтесь, милый Хюбнер, наш спутник не понимает беглой речи, – симпатично выпячивались вперед кроличьи зубки.

Между тем этого русского только весьма условно можно было назвать спутником блестящих офицеров. Пожалуй, наоборот: как раз он и был главным действующим лицом путешествия в спецзону «Припять», в то время как Дюренхоффер и Краус его сопровождали для придания путешествию большей солидности. Бывший полковник Красной Армии Бондарчук направлялся в лагерь военнопленных как представитель недавно сформированного в Смоленске Комитета освобождения России. Бондарчук и сам был недавним военнопленным, а еще раньше, но опять же совсем-совсем недавно был членом ВКП(б) и ревностным строителем социализма. Во время июльского пролома линии Сталина он был окружен в своем блиндаже отрядом свирепых немецких парашютистов. Хотел было уже в лучших красных традициях приложить пистолет к виску, чтобы не попасть в руки врага, но тут блиндаж тряхнуло от гранатного взрыва, пистолет упал на землю, а Бондарчук повис на руках ворвавшихся врагов, мучимый острой тошнотой.

В дальнейшем, то есть в первые недели фашистской неволи, с Бондарчуком стали происходить сильнейшие трансформации. Открылись его некоторые сокровенные тайники, поскольку не было уже ни малейшего смысла их таить. В частности, обнаружилось его глубокое недовольство коммунистической системой, весьма критическое отношение к гению И.В.Сталина. Допрашивавшие полковника офицеры СС с нескрываемым удовольствием узнали также, что он является не кем иным, как фольксдойчем, поскольку скрытая двойным замужеством девичья фамилия его маменьки была Краузе, а происходила она из немецких колонистов.

Последнее обстоятельство дало Бондарчуку основательное преимущество, возможность сильно выдвинуться среди патриотически настроенных пленных офицеров, так как он мог худо-бедно объясняться без переводчика.

Патриотически, то есть пророссийски, антибольшевистски, настроенные красные командиры были чрезвычайно вдохновлены созданием смоленского комитета. Бондарчук и несколько его товарищей совершили путешествие в Смоленск и там примкнули к комитету, а затем уже отправились и в самую грозную столицу рейха, город каменного орла, Берлин. Там согласовывались предложения. Грандиознейшая и

парадоксальнейшая идея, товарищи, то есть, простите, господа, лежала в основе предприятия: предотвратить неизбежную национальную катастрофу созданием прогерманской, но тем не менее патриотической русской армии. Дело это, конечно, непростое, а для начала надо создать просто вспомогательные отряды из добровольцев. Увидев, что на нас можно положиться, немцы дадут ход всему предприятию. Тогда-то и разъехались офицеры по местам скопления военнопленных – проводить разъяснительную работу, вербовать бойцов.

Бондарчук оделся в поездку на советский манер – френч, фуражечка, ни дать ни взять секретарь райкома. Ему казалось, что в таком виде он будет ближе бойцам, чем в хорошо скроенном немецком мундире, хоть и без знаков различия. Сразу увидят, что свой, русский, а не какой-нибудь завезенный из Европы белогвардеец голубых кровей. Голубую кровь в общем-то трудно было заподозрить в Бондарчуке с его типичной, заглубившей в среднем возрасте наружностью советского руководящего плебея. Сидя сейчас в «мерседесе» впереди двух элитарных эсэсовских офицеров, Бондарчук в сотый раз обдумывал ситуацию. Дюренхоффер был, разумеется, прав: спутник не понимал беглой немецкой речи, однако кое-что все-таки до него доходило, а главное состояло в том, что за всю многочасовую дорогу из Киева офицеры ни разу не обратились к нему ни с каким вопросом, а все его попытки контакта наталкивались на недоуменно поднятые брови, снисходительное молчание. Вот и рюмочку-то даже не додумались предложить, ебанные юберменши. Ну, ничего, будет у нас своя армия, будет и больше уважения. Не придется вечно вспоминать этих, седьмая-вода-на-киселе, Краузе. Пока что будем во всем выполнять их приказания, а потом посмотрим. Потом посмотрим, кому русский народ скажет спасибо. Ведь и Александр Невский, и Дмитрий даже Донской оброк Орде платили...

* * *

Весь огромный лагерь прежде охранялся одним лишь взводом каких-то зачуханных фольксдойчей: никто бежать никуда и не собирался; куда бежать, назад к своим, что ли, прямо под трибунал? В этот день прибыла еще целая полурота, начала работать с народом, разбивать на колонны. Шибздика при этой разбивке едва не отделили от Мити, пристегнули к жлобам из 18-й дивизии, однако он ловко зашмыгал в толпе, поднял в голове колонны какой-то шухер, охранники побежали к тому месту, а

шибздик собачонкой проскочил меж ног и вот уже приткнулся опять к Сапунову.

– Видал, Митяй, как я из них сделал клоунов?!

Убрали перегородки между секторами, получился большой плац. В конце плаца возле проходной плотники завершали сбивку дощатого сооружения.

– Вешать, что ли, будут? – хмуро пошутил Митя.

– Наверно, наверно! – нервно хохотал Гошка. – Во класс, а, Митька?! Во покачаемся рядом, а?!

Митя легонько дал ему под дых:

– Хоть бы на виселице от тебя отделаться, шибздо!

Оказалось, не виселицу соорудили, а трибуну, и даже здоровенный, похожий на мину микрофон там присобачили. Обгуляшенный, повеселевший красноармейский народ ждал теперь чуда. Может, Гитлер нас в Турцию продает или в Африку к итальянцам погонит? Может, Сталин, курва, в Грузию убежал, а нам царя привезли?

Наконец автоматчики построились в ряд вокруг трибуны, а на верхотуру взобрались четверо: два немецких офицера, один какой-то удлиненный, другой порядком расширенный, капрал в очках и полноватый такой дядька в полувоенном, такой прям-таки большевик, что твой Киров. Может, они на самом деле примирились?

Сначала заговорил удлиненный. Скажет фразу, отойдет, тогда капрал его переводит.

– Русские солдаты, вы храбро сражались, и не ваша вина, что вы оказались в плену! Виноваты в этом преступные большевистские вожди, дерзнувшие поднять меч на победоносную Германию, на могущественный национал-социализм!

Гауптштурмфюреру Иоханну Эразмусу Дюренхофферу очень нравился этот момент, он получал удовольствие от перекатов своего хорошего голоса, несущего на литературном немецком языке крепкую и благородную истину этой огромной формации русских голов. К счастью, он не подозревал, что весь блеск его речи теряется в переводе очкастого капрала из фольксдойчей, русский язык которого представлял собой смесь местечкового акцента с южным простонародным уканьем и хыканьем. Он продолжал:

– Наш фюрер, рейхсканцлер Адольф Гитлер, хотел бы видеть в вас не врагов, а достойных трудящихся, вносящих свой вклад в установленный им новый порядок. Все остальное зависит только от вас! Тотальный разгром большевизма приближается с каждым днем! Да здравствует новый

порядок! Да здравствует Германия! Хайль фюрер!

Все четверо на трибуне, включая и руководящего большевика, щелкнули каблуками и подняли правые руки в нацистском приветствии. Затем руководящий большевик продвинулся к микрофону, одернул задирающийся на животе и на боковинах френчик, заговорил почти-что-на-нашенском-советском, тудыт-его-в-мякину:

– Дорогие русские бойцы, командиры! Я, полковник Бондарчук, обращаюсь к вам от имени Комитета освобождения России. Мы, патриотически и антибольшевистски настроенные командиры, оказавшиеся в тылу победоносных немецких войск, решительно порываем с прошлым и бросаем вызов сталинской тирании! Мы приносим глубокую благодарность германскому командованию и лично фюреру Адольфу Гитлеру, давшим нам возможность присоединиться к их благородной борьбе!

Солдаты, братья! Комитет освобождения призывает вас влиться в ряды борцов против ненавистного жидовско-коммунистического режима! Вы измучены, братья, но чего же вы хотите от немецкого командования, если Сталин не признает Женевской конвенции о военнопленных, для него вы все – предатели! Я хочу вас спросить, русские люди, как вы относитесь к этим кровожадным большевикам, к тем, кто порушил ваши дома и согнал вас, словно скот, в свои грязные колхозы, к тем, кто угнал сотни тысяч и миллионы ваших братьев в Сибирь и Казахстан, к тем, кто никогда не переставал насиловать нашу многострадальную матушку-Россию своей проклятой, марксистско-ленинской, жидовской теорией?! Вслушайтесь в голос своего сердца, и вы ответите – мы ненавидим их!..

Митя Сапунов с расстояния в добрую сотню метров пристально вглядывался в глыбу лица с открывающимся ртом. Иногда глыба замирала с открытым зияющим отверстием явно в ожидании приветственных криков и аплодисментов. Крики и шум приходили то с одного, то с другого конца плаца, но явно не в тех масштабах, на которые рассчитывал оратор. Митя переводил взгляд на лица товарищей. Большинство было безучастно, многие явно боялись, неизвестно чего в данном случае, прятали глаза. Мало-помалу, однако, особенно при упоминании колхозов и при слове «жиды», пленные начали оживать.

– Долой красных выроdkов! – донеслось с трибуны.

– Долой! – вдруг взревело вокруг Мити несколько десятков голосов. – Кровопийцы! Гады! Долой жидов! Долой колхозы!

Почти уже забытое за годы жизни в профессорской крепости колыхнулось и сразу же вспучилось в Мите: обезумевший отец с охапкой горящей соломы в руках, последний, самый последний в жизни промельк

мамки, ее истошный крик, и собственный бессознательный бег в темноте к лесу – спастись от людей, стать волком, – и потом почти волчье, с бугра подглядыванье за Гореловом, приход в село армейского отряда, долетающие до волчьих ушей вопли баб, рев скотины, и потом как курицу ту поймал, свернул ей шею, жрал... Все это страшное, грязное, деревенское, что заставляло мальчика потом иной раз просыпаться с колотящимся сердцем, с ухающим будто в бездонную пропасть животом, хватать воздух ртом, пальцами скрюченных рук обнаруживать себя вдруг на лестнице, в лунном луче, дико смотреть на развешанные картины, не понимая, что они означают, пока не появлялась бабушка Мэри и теплыми руками успокаивала, будто собирала все разбегающееся воедино под свои ладони.

Снова донеслись выкрики оратора:

– Русские солдаты, братья! Чудовищная большевистская империя рушится под сокрушающими ударами германского оружия, словно колосс на глиняных ногах. История наконец-то повернула на путь справедливого возмездия! И все-таки мы должны смотреть дальше и постараться увидеть завтрашний день нашей родины России! Ради этого будущего дня Комитет освобождения призывает вас влиться в ряды вспомогательных отрядов, которые со временем составят костяк новой русской армии!

Полковник Бондарчук был доволен: во-первых, не вполне выполнил приказание немцев, вернее, не совсем следовал их инструкциям, говорил не десять минут, как было сказано, а все пятнадцать, а во-вторых, и это самое главное, ввернул несколько несогласованных фраз, ну, например, про колхозы или вот про будущее России. Так, шажок за шажком, мы и укрепим свое собственное.

Переводчик, стоявший между Краусом и Дюренхоффером, набарматывал им на несусветном немецком содержание бондарчуковских выкриков, и они аплодировали, как бы показывая, что этот общественный деятель не марионетка, а некоторая самостоятельная величина. Потом, однако, Краус не очень-то деликатно хлопнул его по спине – пора, мол, закругляться – и сам вышел вперед. Речь штандартенфюрера продолжалась не более трех минут и не содержала ни грана риторики. Он сказал, что те, кто будут после соответствующей проверки зачислены в новые вспомогательные формирования – ни тот, ни другой немец ни разу не сказали «русская армия, русские отряды», – получают новое обмундирование, две смены белья, еженедельную баню, вполне удовлетворительное питание, табак и 35 немецких марок в месяц на развлечения. Солдаты, однако, должны помнить, что за малейшее нарушение дисциплины им придется отвечать по всей строгости

германских законов.

На этом митинг закончился. Тут же за дощатыми столами какие-то парни в немецких мундирах без погон начали запись добровольцев. Их оказалось множество: неизвестно уж, что больше подействовало – ненависть к большевикам, бондарчуковские заклинания о «будущем России» или 35 марок штандартенфюрера Крауса.

– На тридцать пять марок, Мить, небось можно любую блядь купить, да и захмелиться как следует, – осторожно сказал шибздик.

– Ну, пошли записываться, шибздо! – небрежно так, легко, как будто в футбольную команду пригласил записываться, сказал Митя.

– Да ты че?! – испугался Гошка Круткин. – Против наших, Мить? Мы ж комсомольцы же ж, а?!

– Да какой я тебе комсомолец? – Митя хохотнул и направился к очереди на вербовку. – Комсомолец?!

Вдруг ярость вспыхнула в нем, он повернулся к семенящему рядом Гошке, ухватил того за заскорузлую грудину, подтянул, будто некий народный богатырь какого-то жалкого прихвостня.

– Да я твою комсомолию, всех этих «ваших», всю бражку красную всю жизнь ненавижу!

– Ну че ты, Митька, че ты, – плаксиво заканючил Круткин. – Подумаешь, большое дело, ну, айда запишемся...

Митька его отшвырнул:

– А тебе-то чего записываться, шибздо? Ты ж комсомолец, мандавошка!

Гошка даже вроде бы заплакал от досады, во всяком случае, стал что-то мокрое размазывать по грязи лица, со злобой взглянул из-под кулака на друга. Злоба была притворной. Митю вдруг посетило ощущение, что все вокруг нереальное, притворное, а они-то с Гошкой вообще без конца только и делают, что разыгрывают сцену для двух актеров.

– Ну ты, актер, – сказал он ему примирительно.

Круткин тогда и на самом деле захлюпал:

– Ты, Дмитрий, меня ни фига в жопу не уважаешь. Сначала шибздилом начал звать, а теперь прям-таки шибздо... За человека не считаешь!

Они встали в хвост очереди. Здесь уже говорили, что записавшихся сразу же грузят на машины и отвозят на санобработку, а потом в теплые казармы.

– Мить, а Мить, – мирно вдруг позвал Гошка, – а как же тетя Циля-то, а? Ты ж слышал небось, как оратор-то кричал «жидовский коммунизм»?! Жидовский, вот те на, Митя! А как же с твоей-то приемной мамашей-то, с

Цецилией-то Наумовной, а? Да ты не злился, Мить, я ж просто, по-дружески...

Опять сценку разыгрывает, ну, шибздик, подумал Митя. А может, провоцирует?

Шибздик смотрел на него преданными глазками. В самом деле, кажется, озабочен. Почему же мне-то самому ни разу в голову не пришла тетя Циля? Тут он увидел, что вдоль очереди идет главный оратор, пожимает добровольцам руки, отвечает на вопросы. Вот сейчас самого начальника и спрошу, морда у него вроде не злая.

– Товарищ начальник, можно мне задать вопрос, который в этих обстоятельствах может показаться странным?

Полковник Бондарчук изумленно глянул, из какого пункта безликой массы военнопленных идет такая сугубо интеллигентская формулировочка, и выделил крупного молодого красноармейца, с простой русской, но в чем-то даже несколько романтической, почти есенинской внешностью.

– Ну, в чем же твой вопрос, дорогой?

– Ну, я вот лично по происхождению из раскулаченных, родители совершили самосожжение, чтобы в колхоз не идти, а вот приемной матерью у меня потом была еврейка. В этом случае на какое отношение я могу рассчитывать?

Бондарчук взял Митю под руку, отвел немного в сторону, доверительно, несмотря на жуткую вонь, исходящую от юноши, похлопал его по плечу:

– На равное, мой дорогой, на абсолютно равное отношение! Во-первых, ты, как я понимаю, чисто русский, из замученных крестьян, а во-вторых, мы ведь не против евреев как человеческих личностей. У меня у самого, – он чуть, но только самую чуточку понизил голос, – есть и друзья среди евреев. Мы ведь только лишь против чуждых идей, навязанных русскому народу, именно против жидовского коммунизма, а не против евреев. Вот ты сам как к коммунистам относишься?

– Всю жизнь ненавижу! – искренне воскликнул Митя.

– Ну вот, значит, ты и есть истинный боец Русской освободительной армии!

Бондарчук любовно подтолкнул Митю назад к очереди на вербовку и посмотрел ему вслед, отмечая про себя, что вот этого юнца следует запомнить, может быть, выделить впоследствии, любопытный молодой человек.

Тут за ним прибежал припятский переводчик:

– Прошу, не знаю, как вас звать, штандартенфюрер Краус послал за

вами, пора ехать!

На бугре, уже за зоной, Бондарчук увидел «аристократию». Длинный, с оттянутым задом Дюренхоффер что-то улыбочиво и убежденно вещал, Краус, по-фельдфебельски заложив руки на крестец, стоял рядом в каменной задумчивости.

* * *

После блаженной санобработки и переодевания в чистое солдатское белье и суконную фрицевскую форму Митя и Гоша полночи просидели на лестнице под чердаком в здании фабричного общежития, превращенного в казарму. Блаженнейшее ощущение сытости и чистоты плюс еще дополнительное, совсем уже невообразимое блаженство в виде табачного довольствия не давали заснуть, возбуждали молодые существа, вновь как бы открывали горизонты будущей, казалось бы, совсем уже захлопнувшейся жизни. Гоша Круткин, прикуривая одну за другой толстенькие немецкие сигареты, читал стихи Есенина. Митя внимал. Вдруг его пронзило.

*Ты – мое васильковое слово,
Я навеки люблю тебя.
Как живет теперь наша корова,
Грусть соломенную беребя?*

Значит, все-таки это было, обращение к неведомой сестре, вечная российская корова, васильки во ржи, все одушевленное, цельное, а не разъятые каркасы... впредь, уж конечно, этого не будет, но это было, а значит, есть всегда, Есенин тому свидетель.

Гошка Круткин, шибздик, читал дальше с дурным базарным подвыванием:

*И тебе в вечернем синем мраке
Часто видится одно и то ж:
Будто кто-то мне в кабацкой драке
Саданул под сердце финский нож.*

Малый чрезвычайно гордился своей «дружкой» с Есениным, которая началась у него еще год назад в метростроевском общежитии, когда кто-то дал ему на три дня полузапрещенную замызганную книжонку издания 1927 года. Гошка тогда и перекатал особенно популярные стихозы чернильным карандашом в клеенчатую тетрадку, а потом, обнаружив, что они на девчат действуют бронебойно, начал стишата в свою тетрадку накапливать и разучивать наизусть. Собственно говоря, и дружба с любимым Митей Сапуновым началась с Есенина. До этого большой красивый парень при любом приближении снисходительно басил: «А ну, отцепись, в карман наассу без смеха!» Но однажды, когда была ему предложена клеенчатая тетрадочка: «Хочешь, Митя, почитать поэзию?» – посмотрел на шибздика другими глазами.

Что касается Мити, то у него в поэтической сфере была, благодаря тете Нине, более капитальная подготовка. Нина, которую он, разумеется, никогда не называл тетей и на которую, сказать по правде, давно уже поддрачивался, равно как и раньше на тетю Веронику, нередко затаскивала все серебряноборское семейство на поэтические чтения, нередко он и разные литературные разговоры слышал, и вот, таким образом, у него сложилось весьма снисходительное отношение к всенародному кумиру Есенину: «Ну Есенин, мужиковствующих свора. Смех! Коровою в перчатках лаечных. Раз послушаешь... но это ведь из хора! Балалаечник!»

И только вот в армии, в потное жестокое время, стал постепенно постигать свою исключительную близость к этим строчкам из «страны березового ситца». Ну, а сейчас вот, в чужом тылу, в мундире серо-зеленого сукна, каждая строка, будто рентген, проникала через все чуждое, отпечатывалась на коже, жгла сердце, изливала слезу, которую едва лишь могло сдержать скуластое лицо.

*Затерялась Русь в Мордве и Чуди,
Нипочем ей страх.
И идут по той дороге люди,
Люди в кандалах...
И меня по ветряному свею,
По тому ль песку,
Поведут с веревкою на шее
Полюбить тоску...*

Глава седьмая

Особая ударная

На командном пункте Особой ударной армии, расположенном на вершине большого и дикого, как бы былинного, бугра, в тщательно замаскированной системе блиндажей, царило деятельное возбуждение: шла решающая подготовка перед первым за всю позорную летне-осеннюю кампанию 1941 года наступательным движением Красной Армии.

Печки в блиндажах при дневном свете не топили, чтобы не обнаруживаться, и потому во всех отсеках командного пункта царил отчаянный холод. Никто, впрочем, этого не замечал, или, скорее, все делали вид, что не замечают холода, подражая, как всегда это бывает при больших штабах, командующему, генерал-полковнику Никите Борисовичу Градову.

Следует, однако, сказать, что некоторый подогрев все-таки был в наличии и нередко извлекался то из кармана тулупа, а то и из-за голенища сапога. В этом, собственно говоря, штаб тоже следовал примеру командующего, которому время от времени старшина Васьков, шофер его личного броневика, подавал добрую чарку коньяку.

Только что сколоченный штаб ОУА не был еще разъеден интригами и обожал своего молодого генерал-полковника. О нем ходили в среде молодых командиров слухи один дичей другого. Говорили, например, что он долгие годы был законспирирован за границей, руководя целой сетью наших агентов, пробрался якобы в самые верхи германского генштаба. По другим сведениям, он никуда не уезжал, но опять же принадлежал к глубоко законспирированной группе ближайших военных советников Сталина. Командиры постарше, из кадрового состава, только улыбались – подлинная история командующего Особой ударной армией выглядела более невероятной, чем все эти фантазии.

Вот уже около получаса свита генерал-полковника толклась у него за спиной в ожидании дальнейших действий и приказаний. Перетянутая портупеей спина как будто забыла о существовании своего продолжения, то есть свиты. Градов переходил от одного дальногомера к другому, сам подкручивал окуляры, наблюдая позиции противника, и ничего не говорил. Что он там мог увидеть в заистринских заснеженных холмах, одному ему было известно, однако, значит, что-то видел, иначе бы не заставлял сопровождение толкаться без дела за его спиной.

Противник ничем себя не обнаруживал. Только один лишь раз Никита

заметил медленное продвижение нескольких круглоголовых фигур по дну оврага среди свисающих космами корней и кустарника и подумал, что это, очевидно, связисты тянут линию из расположения Четвертой танковой группы в штаб генерала Буха. Нам бы такую связь, как у немцев. Анализируя действия вермахта в первые месяцы войны, Никита Борисович не мог не восхититься: многомиллионное скопление войск обладало подвижностью балерины, и это достигалось в первую очередь совершенством связи.

В остальном заистринские холмы хранили идиллический вид, если можно так сказать о безобразном пространстве, в котором преобладал мутно-белый цвет с рваными серо-коричневыми пятнами. Однако отсутствие движения в течение получаса тоже о многом может сказать. Никаких признаков жизни, и только три стальных башки медленно, почти неуловимо ползут по дну оврага среди коряг из расположения Четвертой танковой группы. И никаких дымков, тоже, стало быть, мерзнут, шнапсом еле-еле подкрепляются. Значит, затаились, знают о наших приготовлениях, ждут и впервые за все время войны относятся к русскому возможному контрнаступлению серьезно. Раньше эти танки уже шли бы вперед, проламывая нашу оборону, не давая сосредоточиться. Значит, у них по-прежнему нет бензина.

Удивительно, как точно гитлеровский поход на Москву повторяет Наполеона, даже и начали почти в один день: 24 июня 1812 года и 22 июня 1941. Повторяются и ошибки, особенно по коммуникациям. Как можно было начинать такую механизированную войну, не продумав проблему железных дорог, не подготовившись к переходу с европейской узкой колеи на русскую широкую? Значит, и там есть бездарности, свои Ворошиловы и Буденные, и Вильгельм Кейтель, значит, не семи пядей во лбу.

Никита Борисович подозвал начальника артиллерии полковника Скаункова:

– Прикажете, Иван Степанович, батарее Дрознина немедленно обстрелять вот эту балку. Пять минут хорошего интенсивного огня!

Продолжая наблюдать, он засек время на своих специальных командирских часах, которые иной раз своим настырным стуком на запястье будто подгоняли ток крови. Батарея Дрознина начала работать без промедления. В течение отведенного короткого срока снаряды пропахивали балку, вздымая столбы земли и древесного хлама. Затем все стихло. Еще через десять минут за линию фронта, заходя на дрознинскую батарею, перелетели три «мессершмитта». Тогда он приказал поднять звено «ястребков» и завязать воздушный бой. Все прошло замечательно, немцы

клянули на фальшивую артатаку, или, как говорят в лагерях, купились дешевки.

Вот уже несколько дней Никита Градов старался создать у немцев впечатление, что основной целью его наступления будет вот именно эта остановившаяся из-за нехватки горючего Четвертая танковая группа, что именно ее и постараются отсечь и перемолотить русские, чтобы устранить опасность окончательного штурма и захвата Москвы. Задумано же было как раз наоборот: полностью игнорировать танковое соединение и пройти клином значительно севернее, в течение одного дня подступить к Клину, там соединиться с частями 30-й армии и взять город. Если же Буху все-таки удастся пустить в действие десятка два-три танков, то они все равно погоды не сделают, ими займется штурмовая авиация. Иными словами, немцы будут считать, что русские атакуют в рамках концепции обороны, а перед ними вдруг начнет разворачиваться совершенно новая концепция – начало общего наступления, конец блицкрига. Очень довольный, Никита Борисович продолжал наблюдать мутно-белую долину, озарявшуюся теперь по краешку частыми вспышками залпов: артиллерия немцев открыла огонь по фиктивному штабу, оборудованному и экспонированному на полкилометра дальше в глубине обороны. Снаряды пролетали над настоящим командным пунктом.

В свите наконец до некоторых дошло, какого рода игрой занят был в течение этого получаса их командующий, иные из этих некоторых очень высоко эту игру оценили уже не с тактического угла зрения, а в свете большой стратегии, и среди этих иных не мог не восхититься старым другом заместитель начальника штаба по связи полковник Вадим Вуйнович.

* * *

Вадим, конечно, прекрасно понимал, что своим вызволением из лагеря он обязан Никите, хотя об этом не было сказано ни слова. Вообще никакого возобновления старой дружбы не получилось, не произошел даже, что называется, большой мужской разговор. Никита дал понять Вадиму, что его назначение в штаб ОУА носит временный характер и что по окончании нынешней кампании он будет волен уйти в другое соединение хотя бы для того, чтобы не чувствовать себя ущемленным, находясь в непосредственном подчинении у бывшего друга и мужа своей мечты. Конечно, было бы здорово откупорить пол-литра и разложить закусок на

чемодане и так, в позах Кирилла и Мефодия, расставить все точки над частоколом латинских «i», рассказать друг другу о допросах, о тюрьме и о лагерях, однако это прежнее, казавшееся раньше столь естественным сближение теперь представлялось им почему-то почти невыносимым – немаловажную роль тут, очевидно, играл и колоссальный разрыв в чинах, шутка ли, полковник и генерал-полковник, и они как бы оба согласились с тем, что сейчас не до этого, что сейчас даже и времени-то нет для таких сидений, вот отобьемся, мол, тогда... Главное, что можем в глаза друг другу смотреть, не моргая и не краснея, вот это самое главное. Только однажды, в редчайший момент отсутствия других штабных, когда один лишь Васьков сидел у дверей со своим аккордеоном, Никита вдруг поднял голову от карт и спросил Вадима:

– Ты знаешь, что Вероника тоже была там?

Вадим не знал и был потрясен. Вообразить Веронику, звезду всей его жизни, там, среди шалашовок, было выше его сил. Несколько секунд они смотрели друг на друга и вдруг распознали друг в друге за личинами сильных военных мужчин дрожащих лагерных полудоходяг. Момент был такой сокрушающий, что они едва не бросились друг другу на грудь, чуть не разрыдались. Тут, к счастью, чуткий Васьков оборвал свою «Землянку», и они зашелестели картами, заговорили грубыми форсированными голосами, все дальше с каждой минутой отходя друг от друга, не друг от друга, и от своей стыдной лагерной не сути, и все быстрее возвращаясь к своей якобы подлинной сути кадрового командного состава, к якобы реальной сути той войны, к которой шли всю жизнь. В конце же аудиенции командующий сказал своему замначштаба по связи:

– Сейчас с ней все в порядке.

Он увидел, что Вадим благодарен ему за эту фразу, и сам был благодарен ему за то, что тот ничего не переспросил.

Генерал-полковник отошел от своих дальномеров, потер руки и, довольный, подмигнул своему штабу. Каждый принял этот дружеский подмиг на свой счет, в том числе и полковник Вуйнович. От командующего исходил мощный поток энергии, он, казалось, и не сомневался в том, во что еще вчера никто не верил, – в победу; причем в самом этом понятии «победа» для него вроде бы и не было никакого идеологического мистицизма, ничего сродни газетным и радиозаклинаниям Агитпропа, победа для него была сугубо военным, профессиональным, почти спортивным понятием; и это, может быть, ободряло больше всего.

– Всем вернуться к своим обязанностям! – скомандовал Никита. – В семь часов оперативное совещание в Химках. Водки больше не пить,

господа офицеры!

При этих словах начальник политотдела армии Головня поднял брови: это как же, мол, прикажете понимать, такое по меньшей мере странное в пролетарской армии обращение, однако командующий тут все свел к шутке:

– А также в карты не играть, романсов не петь, кадрили не танцевать! Мыслить оперативными категориями, подготовить соображения по своим хозяйствам!

Тут уж и Головня вместе со всеми расплылся в улыбке: шутка, он знал, поднимает боевой дух.

– Поехали, Васьков! – Никита широко зашагал к выходу.

Через несколько минут броневик, закамуфлированный сверху снопом гнилого сена, выехал из укрытия и по еле заметной дороге, можно сказать, через дикое поле, по которому впору Илье Муромцу проезжать, направился в расположение 8-го авиационного полка. За броневиком колдыбачил транспортер охраны, при которой неизбежно находился особист капитан Ересь.

У этого Ересья глаза шкоды, вспомнил про него Никита Борисович. Он их прячет. Какого черта он все время таскается за мной, кто его отрядил? Гадать не приходится, ясно кто.

Вдруг среди поля замаячили женские фигуры с лопатами, бросилась в глаза ярко-белая среди грязноватого снега пуховая шапка с длинными ушами, что можно завязывать вокруг шеи. Народное ополчение Москвы роет окопы, неумело, паршивенькими лопатами ковыряет застывшую землю. Женщины провожали взглядами броневик. Вид у них был плачевный. Студентки и домработницы в городских, демисезонных пальтишках, иные даже в шляпках, много они тут наработают. Затея совершенно никчемная в военном отношении, однако ей придается большое пропагандистское значение. «Весь народ в едином порыве отстоял...» Кстати, на левом фланге у меня стоит бригада мужчин-ополченцев, дантисты и адвокаты, могучее воинство с одной трехлинейкой на троих, да и то не все исправны. Надо не забыть вывести их из зоны завтрашнего побоища.

На аэродроме генерал-полковника уже ждали, хотя он и не уведомлял авиационное начальство о своем приезде. Командир полка подполковник Благоговейный со своим штабом и командирами эскадрилий уже шагал к нему навстречу. Вот это зрелище и в самом деле вдохновляющее, группа здоровенных мужиков в пилотских куртках, бодрящих друг друга уверенным шагом, хамоватым говорком-матерком, общей милитаристской ядреностью.

Основные силы полка были худо-бедно закамуфлированы в близлежащей рощице, на связные же самолеты, двухместные бипланчики У-2, камуфляжу не хватило, и они теперь стояли вразнобой посреди летного поля. Обмениваясь с Благоговейным репликами о боевой готовности, командующий направился к одному из этих бипланчиков, казалось, представлявших здесь историю авиации.

Пилот самолета вытянулся перед командиром. Лейтенант Будоражин! В левом углу рта золотой зуб, так называемая фикса.

– Ну что, лейтенант, прокатишь? – вдруг неожиданно для всех присутствующих спросил командующий и, не дожидаясь ответа, полез на пассажирское сиденье.

Все обалдели, особенно в группе охраны. Васьков метнулся:

– Да как же так, товарищ генерал-полковник?!

Будоражин же тут же скакнул на крыло, вытащил для командующего кожаное пальто на меху. За готовность к немедленным решениям будет отмечен. Через несколько минут тархтящий «кукурузник» уже выруливал на взлетную полосу. Прищуренными глазами Никита наблюдал за группой охраны. Капитан Ересь, казалось, потерял голову от неожиданности, бросался то к Васькову, то к подполковнику Благоговейному, срывал голос, даже хватался за пистолет. Васьков стоял перед ним едва ли не на коленях, умоляюще прижимал руки к раздобревшей груди. Ясно, Васьков. Командир авиаполка даже не удостоил особиста взглядом. Автоматчики из охраны лыбились, показывали большие пальцы. Свои ребята.

Этот Ересь может себе и пулю в лоб пустить от отчаяния: не досмотрел. Перемахнуть тут на У-2 через линию фронта – дело десяти минут. Не успеешь и опомниться, как вот тебе – такой перебежчик! А ведь у Градова есть причины нас ненавидеть, он ведь «сучий потрох», «враг народа», не может он забыть чекистскую сноровку. Ну, тут и конец капитану Ересю и всем его блестящим планам на будущее.

Этот Ересь слишком эмоционален, холодно думал генерал-полковник, наблюдая мечущуюся среди офицеров долговязую фигуру. Избыток эмоций на его работе – вещь совсем не обязательная. У чекиста, как известно, должны быть «холодная голова и горячее сердце». В данном случае тут общий перегрев.

Перед разбегом Никита Борисович дал указание лейтенанту Будоражину, куда лететь, плотнее закутался в могучий кожан и откинулся на сиденье.

С высоты трехсот метров земля казалась исполненной унылой сонливости, как бывает в Подмоскowie в тусклые дни уже застоявшейся

зимы. И небо в этот момент было пустым, никаких стычек в воздухе, и орудийных вспышек не наблюдалось. Казалось, мир вдруг вернулся на советскую Русь. Впрочем, был ли тут когда-нибудь мир? Там, за Яхромой, располагались еще недавно огромные лагеря. Рабским трудом воздвигались шлюзы со статуями. Да и без этого хватало, всегда, со дня великой революции, хватало здесь страха, подлости, насилия. Впрочем, было ведь все-таки и другое – молодость, любовь, мечтательные вечера... Вот из такого примерно озера, что плывет внизу, выходила как-то на закате принцесса Греза в обтягивающем купальнике, и вода стекала по всем блаженным изгибам ее тела, сначала потоком, потом струями, потом долго слетала каплями, загоравшимися под грандиозным символическим небом.

* * *

После четырех лет разлуки – и какой разлуки! – они встретились в отцовском доме так, словно ничего особенного не произошло, будто он просто из долгой командировки вернулся, как тогда, в тридцать третьем, когда несколько месяцев провел с секретным заданием в Китае.

В Серебряном Бору знали, что он освобожден и может появиться с минуты на минуту, так что обмороков не ожидалось. Тем более что Вероника уже вернулась третьего дня. Как и в прежние времена, он подъехал на военной машине, открыл калитку, пошел под соснами к дому. У крыльца из снега торчала пара лыж. В окне второго этажа виднелась вечная лампа из китайского фарфора. Никиту вдруг поразило промелькнувшее чувство неприятия всего этого, о чем не давал себе права даже и мечтать, что постоянно отодвигал подальше, как самое уже последнее, как мираж на грани умирания. Отцовский дом, лоно семьи... в этот момент все это показалось какой-то досадной несусветицей, неуместным привеском к его, мягко говоря, несентиментальной жизни, вроде той раздутой авоськи с продуктами, что свисала из форточки кухонного окна. Еще один шаг, и эти гадкие мысли выветрились, он открыл дверь и окунулся в родное, теплое, в этот чудом сохранившийся пузырь мира и добра.

Не обошлось все-таки без большого количества валериановых капель: мать и Агаша никак не могли прийти в себя. Некий почти юноша, крепыш подросток, да Борька же Четвертый же, собственное же отродье, кричал в телефонную трубку: «Дед, приезжай скорее, отец вернулся!» Удивили собранные в библиотеке тяжелые чемоданы. А это что же такое? Да ведь в

эвакуацию же собираемся, Никитушка! Верулька висла на руке, не желала отцепиться, тербила шевроны. И тут, как будто прямо из прошлого, как будто полностью изгоняя из памяти все эти страшные четыре года, сбежала сверху ослепительная Вероника.

Через несколько часов, когда все уже утихомирились и они остались одни, он ее спросил:

– Послушай, как же это так получается, ты по-прежнему возмутительно красива, все та же Вероника?

Она чуть вздрогнула, посмотрела на его лицо, в котором что-то в этот момент было пугающее, неузнаваемое.

– Ты находишь? Спасибо за комплимент. А вот ты как-то изменился, Китушка. Нет-нет, внешне ты стал даже лучше, просто совсем уже, ха-ха, шалишь, парниша, интересный мужчина, но вот что-то появилось... впрочем, это, конечно, пройдет.

Трудно было не понять, что она имеет в виду. В прежние времена даже после недельной разлуки он прежде всего тащил ее наверх и, не получив своего, буквально не мог ни с кем разговаривать, бродил как сомнамбула, даже было смешно, ну подожди же ты хоть десять минут для приличия, сумасшедший! А теперь вот – после четырех лет разлуки! – несколько часов колобродил внизу, даже в ванную отказался идти, он, видите ли, уже мылся сегодня, ждал отца, за обедом пил водку, на всех сиял, и на нее сиял, но не так, не так, как раньше он на нее сиял совершенно слепым от желания лицом.

Он посадил ее на колени и начал расстегивать платье. «Все те же духи», – промычал он, как бы уже охваченный страстью, но явно фальшиво. Сквозь запах французских духов Никита с отчаянием ощущал лагерную гнусь, слежавшуюся вонь барачных мокрых тряпок, слизь баланды, хлорку параша. Он встал с кровати, да так резко, что Вероника даже слегка отлетела в сторону.

– Ну, хорошо, милый, ну, ладно, ну, давай просто спать, ты устал, мой любимый...

Она смотрела на него совершенно новым, вот именно лагерным, собачьим взглядом.

– Нет, подожди! Ты прежде скажи, как ты умудрилась не подурнеть? Ты выглядишь сногшибательно, и даже ведь без косметики!

Она отмахнулась:

– Какая уж тут косметика! Вот нашла вчера чудом баночку крема, а духи еще остались от той жизни... Да вот еще и губную помаду купила у вокзала, с рук... к вашему приезду, мой повелитель... ужасную, «Огни

Москвы»...

– Почему же не... почему же не намазалась? – спросил он, и вдруг прежнее стало возвращаться мощным приливом.

Она это почувствовала и посмотрела так, как он в этот момент хотел, по-блядски.

– Попробовала намазать, знаешь ли, но как-то очень уж вульгарно получилось. Хочешь, намажу?

– Давай я сам тебе намажу!

Он взял губную помаду, от которой пахло земляничным мылом, и стал раскрашивать ее покорное лицо. Ведет себя замечательно, очень опытно.

– Ты даже не похудела совсем, Вероника! Подкармливали?

– Вообрази, я там в театре играла! – хохотнула она, да так, что он совсем уже потерял голову. Он резко повернул ее к себе спиной. Она тут же с готовностью стала подставляться. – Вообрази, в самодеятельности лагерной косила, играла «Любовь Яровую». Большой успех, вообрази!

– Воображаю! – прохрипел он и вдруг увидел в темном окне отражение офицера с полураздетой бабой, сильнейшая порнографическая сцена, от которой совсем уже все у него внутри взбаламутилось. – Воображаю, – повторил он, – воображаю... актриска, да, да?.. Тебя там вохровцы ебли, да, да?.. Вохровцы тебя там подкармливали, Любовь Яровая, да, да?..

Она начала даже подвизгивать, чего с ней раньше никогда не бывало.

Потом они долго лежали неподвижно, он на боку, она – уткнувшись лицом в одеяло. Тоска и горечь выжигали их дотла. Никогда уже больше не вернется то, что было между ними всю жизнь, все то чистейшее, бурное, нежнейшее, все те смешнейшие, детские бормотания, все эти вихри страсти и нежности; все прошло, осталась одна проституция. Не только в ней, но и во мне сплошная проституция, подумал он. Не только во мне, но и в нем сплошная проституция, подумала она.

– Вот видишь, Никитушка, я для тебя и проститутку сыграла, – тихо сказала она.

Он не ответил, кажется, спал. Заснул, так и не сняв сапоги, как засыпают офицеры в борделе.

Она выбралась из постели, стряхнула с ног лодочки, бесшумно и бесцельно стала ходить по комнате, притрагивалась к шторам, к книгам, вдруг, словно спасаясь, бросилась к платяному шкафу, открыла его, стала перебирать то, что там висело, кое-что все-таки хорошее, то небольшое, что осталось после чекистского грабежа, и то, что Нинка вчера принесла, жоржет, крепдешин, кашмир... Вдруг разрыдалась под шквалом горя,

стыда, безысходности, села на пол перед шкафом и, закрыв голову руками, унеслась в свой вчерашний день, в лагерный пункт на севере Урала.

* * *

В большом бараке женской зоны к вечеру после смены началось беснование. Блатнячки, то есть большинство населения, носились среди нар, выясняли отношения, качали права, «психовали». То и дело разыгрывались сцены ревности между «марухами» и «коблами». Завершались они визгом, катанием по полу. Потом с расцарапанными мордами замирялись, рассаживались в обнимку либо «песни спивать» – «Чайка смело пролетела над седой волной...», либо «романы тискать» про графов и их незаконных дочерей, ставших воровками и проститутками. Для «романов», естественно, использовались политические «контры» с легкими статьями, в основном «члены семьи», к которым относилась и Вероника. Третью большую группу населения составляли так называемые западники, крестьянки-католички из Галиции. Эти держались всегда все вместе, шептали молитвы на своем непонятном языке или вышивали. Попытки блатнячек разрушить их единство разбивались о какую-то странную туповатую нерушимость галичанок.

Вероника, наблюдая жизнь барака, думала о том, что каждый здесь по-своему борется за человеческое достоинство: галичанки своей нерушимой туповатой хлопотливостью, партийки, «члены семей» воспоминаниями о санаториях, и даже блатнячки, а может быть, они и больше всех других, визжат, и царапаются, и ревнуют друг друга так, словно отстаивают свое право на визг и драки, на ревность и половую жизнь, свое нежелание превращаться в рабочую скотину.

Так вот и она однажды в отчаянии бросилась к спасительному огоньку, к дому культуры КВЧ (культурно-воспитательная часть и здесь присутствовала как неотъемлемая единица коммунизма), записалась в драмкружок. Руководил кружком профессионал высшего класса, московский режиссер вахтанговской школы Тартаковский, которого незадолго до этого полуживым вытащили из шахты и решили вдруг использовать по специальности. Таково было предписание из центра в этот момент: поднять КВЧ! Вытащили и не пожалели: на спектакли его съезжалась лагерная знать со всего Печерлага. Тартаковский Веронику стал выдвигать, она казалась ему человеком его круга, у них и в самом деле было много общих московских знакомых. Однажды на репетицию

«Любови Яровой» явился начальник ОЛПа, майор Кольцов. Кто-то ему доложил, что там появилась среди зечек-актрис красавица генеральша. Не угодно ли ко мне, Градова, на часок, поговорить об искусстве? Кольцов был человек с прихотями. С тех пор и началась ее тошнотворная привилегия. Фаворитка начальника лагеря, вот позор! Не реже чем раз в неделю в бараке появлялся кольцовский ординарец Шевчук, эдакий казак, в папахе, с чубчиком, на широкоскулой морде скупающее хулиганство. «Градова, айда прогуляться!» Она проходила между нар. Блатнячки ей вслед подсвистывали: «На репетицию пошла, артистка?! Они там с Кольцовым вдвоем репетируют! Лезь к нам, красюха, мы с тобой получше начальника прорепетируем!» Неизменно хватала за руку старуха петербуржанка Капельбаум: «Викочка, принесите мне, пожалуйста, чего-нибудь! Пожалуйста, кусочек чего-нибудь, дорогая! Чего-нибудь питательного, умоляю!»

Так продолжалось чуть ли не год, а потом ей выделили комнатенку в клубе, и она совсем уже отделилась от лагерной массы, то есть стала «придурком» самой высшей категории. Иногда, впрочем, после размолвок или перед инспекцией ее снова отправляли в барак, где блатнячки встречали ее кошачьим концертом. Потом милости возвращались.

Кольцов был долговязым, слабым и истеричным. Ко всем прочим прелестям он еще страдал недержанием мочи, то и дело подхватывался, грохотал сапожищами по коридору в сортир. Высшим наслаждением для майора было превращение зечки в даму. Он и в самом деле любил лицедействовать, только непонятно было, что за дикую роль он проигрывал наедине с Вероникой, похоже, что-то вроде «графа» из барачных «романов». Не Пигмалиона же, черт побери, в самом деле?

«Ах, дорогая, я не могу вас видеть в этом ужасном бушлате! Долой эти жуткие бахилы! Пожалуйста, душечка, снимите ваши кошмарные (выговаривание этого слова было для него сущим удовольствием), эти кошмарные ватные штаны! Посмотрите, что я вам привез! Вот белье, чулочки, шелковое платье, туфельки!»

Он надевал на нее это военторговское барахло и, только завершив ее чудесную метаморфозу, набрасывался с некоторым даже рычанием; то ли брал трофей, то ли получал плату за благодеяния.

В отчаянии и в тоске, с омерзением к покровителю, а еще больше к самой себе, Вероника весь этот вонючий театр, равно как и продуктовые подачки, принимала. Вчера еще, когда дошли до нее по лагерному беспроволочному телеграфу слухи о расстреле Никиты, казалось – нечего больше за жизнь цепляться, всему конец, а сегодня вот опять задержалась,

как лягушка: сбиваю масло. Ради детей, говорила она себе. Выжить, вернуться к детям...

От Кольцова ее едва ли не тошнило: мокрый красный ротик, птичий клюв, воронья свалявшаяся челка, алчные и вялые конечности. Однажды в злобе на него она подмигнула ординарцу Шевчуку: «А ты чего же не заходишь, казак?» Молодой жлоб не замедлил появиться, и Вероника стала с ним отводить душу, как будто мстя за насилие над всем своим чистым и звонким, как удары по теннисному мячу, прошлым, над всем своим прежним «теннисом».

Никогда больше уже этого не будет, моего «тенниса». Она всхлипывала и скулила, сидя в растерзанном виде на полу возле платяного шкафа. Чуть поднимешь голову – и сразу видишь в зеркале шкафа морду с размазанной помадой, с подтеками туши из-под ресниц; стендалевское месиво, красное и черное, подлая насмешка над жертвами эпохи. Всему конец, и Никита ко мне больше никогда не вернется, да и к себе он больше никогда не вернется... конец, конец...

Всему конец, думал притворяющийся спящим ее муж, сорокаоднолетний генерал-полковник Никита Борисович Градов, Вероника не вернулась, ее больше нет, стоит ли сражаться с немцами над руинами семьи?..

Наутро начались большие хлопоты. Им была выделена, «рассургучена» огромная пятикомнатная квартира, в которой, как видно, перед тем как «засургучили», матерый какой-то «враг народа» обитал. Квартира в самом что ни на есть «аристократическом» районе, на улице Горького, напротив Центрального телеграфа. Вероника забыла все обиды и унижения прошедшей ночи: хочешь не хочешь, война не война, а квартиру надо было обустраивать, и детей надо было переводить в другую школу, и паек генеральский надо было оформлять и тэдэ, и тэпэ.

* * *

Ну что ж, подумал Никита, сидя в кабинке наблюдателя на допотопном биплане, дрожащем под струйками ветра, ну что ж, как в народе нынче говорят, война все спишет... Пилот обернулся, сверкнули молодые зубы. Все в порядке, товарищ командующий? Никита показал ему рукой направление в сторону расположения своих танковых частей.

Капитану Ересю малость полегчало: биплан отдалялся от линии фронта. «А вы, все ж таки, подполковник, поднимите звено прикрытия, –

сказал он Благоговейному. – А то как бы с пути не сбились». Мощный летчик только саркастически на него покосился. «Слышите, что я вам говорю?!» – повысил голос особист. «Ты что, охуел, капитан?» – невежливо возразил командир полка и пошел прочь. Наглеет народ на войне, подумал Ересь. Надо меры принимать. Наглеет подчас народ, когда получает в руки оружие.

* * *

Танковый клин завтра должен решить все дело. Триста новеньких, только что прибывших с Урала «тридцатьчетверок» пройдут первый эшелон немцев примерно с десятью процентами потерь, второй эшелон, скажем, с пятью процентами потерь, основная масса, громя все вокруг и сея панику, за день подступит к городу. Никита смотрел сверху на подходящую к березовой роще новую колонну. Хорошая машина Т-34, по всем статьям она вроде бы превосходит немецкий «Т-IV», посмотрим, как завтра себя покажет в деле, в условиях стремительного наступления. Из люка головного танка командир помахал рукой пролетающему биплану. За еловым бугром, в балке, стояла дюжина чудовищ, гордость РККА, шестидесятитонные ИСы. Никаким камуфляжем их не прикроешь, да и чего камуфлировать, вот уж действительно секрет Полишинеля... Медлительные динозавры в течение всей войны, начиная с боев на линии Сталина, так называли немцы систему укреплений за старой западной границей, были излюбленной мишенью немцев. «Мессершмитты» их вроде даже за добычу не считали, пехотный же фриц, прожженная фронтовая bestия, привыкший разбираться в разных видах многонационального оружия, немедленно изучил слепые секторы пулеметчиков ИСа, спокойно подходил на удобную дистанцию и только тогда уже вытаскивал гранату из-за голенища. И все-таки до сих пор верховное командование считает остатки тяжелых танков важнейшим резервом. Сталину, должно быть, не докладывают о фронтовой судьбе его крестника. Вот и Особой ударной навязали дивизион, как ни отмахивался Никита.

Их-то мы и пустим на Сосняки, чтобы создать впечатление главного удара. За ночь их надо будет подвести вплотную к линии фронта. Разумеется, их сожгут в течение первого же часа, однако именно этот час и может оказаться решающим. Неожиданная мысль вдруг пробралась холодной струей за пазуху: значит, танкистам этого дивизиона можно уже выписывать похоронки? Ну что ж, строго ограничил себя командующий,

жертвуя сотней, спасаешь тысячу. Ну а кто оказался в тех или в других порядках, это уже не в нашей компетенции.

Внизу появилась полуразрушенная артиллерийским огнем машинно-тракторная станция, разросшаяся в свое время вокруг оскверненных церковных зданий. Там среди искореженных комбайнов стояли невинные на вид грузовики-четырехтонки с косо торчавшими из кузовов в небо рельсами, так называемая бесствольная реактивная артиллерия. Вот это действительно серьезное оружие, создает исключительную интенсивность и плотность огня. Говорят, солдаты стали называть эти странные пушки «катюшами». Славненький юморок, ничего не скажешь, вполне в стиле этой войны; юморок, говорок, табачок, потом все к черту разлетается в пламени и разрывах. Однако, если эту столь славно изрыгающую смерть «катюшу» не поставить на подходящие колеса, толку от нее будет мало. На этих четырехтонках она далеко не уедет, а между тем она как раз должна метаться вдоль линии фронта, подобно огненному Азраилу, быть неуловимой на пересеченной местности и входить в прорывы. Армии нужен мощный и быстроходный массовый грузовик-тягач, но таких у нас нет и не предвидится. О такой машине еще Тухачевский в свое время говорил, но к нему не прислушались, а ведь без этого мы сейчас практически не сможем начать никакого серьезного контрнаступления. Надо снова и снова поднимать этот почти безнадежный вопрос, у нас нет выхода, американцы для нас такую машину строить не будут.

«Катюшисты», очевидно, уже знали, что над ними летает командующий. Несколько расчетов построились и взяли под козырек среди эмтээсовского хлама.

Будоражин четко выполнял предписания, после МТС стал забирать далее в северо-восточном направлении. Никита Борисович озирает огромное пространство, замершее в предгрозовом спокойствии. Здесь под его началом стоят едва ли не триста тысяч людей, и каждый из них надеется уцелеть не только в завтрашнем бою, но и вообще в войне, вернуться домой, в свою собственную, единственную для каждого теплынь. Армия, почти равная всему войску Наполеона, пехотинцы, артиллеристы, танкисты, летчики, две кавалерийские бригады и даже одна бригада морской пехоты (держат их в резерве до самого штурма!), саперы, связисты, десантники, и каждый уверен, что убьют не его, а другого. Загадка человеческих масс, как и моя собственная загадка, думал он: мы все полагаем уцелеть, а между тем вполне хладнокровно считаем проценты потерь, даже не задумываясь о том, что эти проценты, всегда более или менее верные, если их считает хорошо подготовленный специалист,

представляют собой массу мгновенных превращений осмысленных, движущихся, надеющихся существ в разодранные клочья плоти. Но выбора же у нас нет, подумал он и вдруг преисполнился каким-то вдохновенным, как бы симфоническим отчаянием. Мой звездный час, великая война, разве не к этому я шел всю жизнь?

* * *

Мирный снежный край вдруг озарился огнем. Из-за линии фронта стали бить несколько немецких батарей. Летчик обернулся. Сообразительный парень. Никита Борисович сделал жест – назад и вниз! Что означает этот мгновенный обстрел? Уж не готовят ли наступление? Может быть, я все-таки где-то что-то просмотрел? Огонь затих так же внезапно, как начался, как будто это было не дело рук человеческих, а лишь мимолетное явление природы, быстрый выплеск магмы, и только. Они приближались к аэродрому, а в пустом белом небе, будто бы безоблачном, просто сменившем голубой цвет на белый, на большой высоте в сторону Москвы шла эскадрилья бомбардировщиков «Дорнье», которых англичане метко называют «летающие карандаши». Они уходили все дальше на восток, и там завязывался воздушный бой, но это было уже за пределами градовского хозяйства.

Антракт III. Пресса

Московское радио

Немецкие рабочие! Вас заставляют работать с ужасной скоростью. Работайте медленно, чтобы ускорить конец Гитлера!

Би-Би-Си

Неизвестный лондонский таксист вчера сказал: «Он откусил больше, чем может прожевать».

Известный Бернارد Шоу заявил: «Или Гитлер большой дурак, чем я думал, или он совсем рехнулся...»

«Нотисиас Графикас», Аргентина

...В обстановке полной секретности произошло подавление фашистского путча с участием высоких чинов армии и государства...

«Тайм»

Красный «поворот кругом». Когда Советская Россия 22 месяца назад подписала пакт с Гитлером, американская компартия внезапно изменила свою ориентацию на пронацистскую и превозносила пакт как «великолепный вклад в дело мира».

Теперь председатель этой партии Уильям Фостер заявляет, что новая война – это «атака на народы и Германии, и Соединенных Штатов, и всего мира... Советское правительство отстаивает жизненные интересы народов всего мира... всего передового и прогрессивного человечества...»

«Тайм», 13 октября 1941 г.

На прошлой неделе Адольф Гитлер сказал, что он побил Россию. Очевидно, он имел в виду, что он бьет Россию... Ему еще многих надо победить, прежде чем положить шкуру медведя в немецкой гостиной... Ему еще придется разбить украинские армии усатого кавалериста Семена Буденного...

Переговоры по ленд-лизу... Просящие говорят: нам нужны легкие бомбардировщики к такому-то ...брю. Дающие отвечают: это невозможно. Просящие: в таком случае Москва падет. Дающие: сделаем все возможное...

«Тайм», 20 октября 1941 г.

Русские армии маршала Тимошенко окружены в районе Брянска и в районе Вязьмы... Южные армии маршала Буденного разбиты... Лучшие войска маршала Ворошилова заперты в Ленинграде...

«Нью-Йорк Таймс»

Новгород представляет собой ужасное зрелище. Кладбище живых трупов.

В XIII веке этот город называл себя «Господин Великий Новгород», и его кремль уже тогда был намного старше самой старой постройки Соединенных Штатов... «Штукас», однако, не испытывают никакого уважения к реликвиям. В городе осталось всего 56 домов...

«Тайм», 27 октября 1941 г.

...Жизнь Сталина, ревностно оберегаемая ужасными аббревиатурами ОГПУ и НКВД, теперь под угрозой ТНТ^[12]. Три его комнаты в Кремле под прямым прицелом. На прошлой неделе семь раз бомбы падали внутри старой крепости...

...Гробница Николая Ленина на Красной площади закрыта... Предполагается, что его останки увезены из города...

«Тайм», 17 ноября 1941 г.

Уинстон Черчилль: «Мы клянемся самим себе, нашим русским союзникам, народу США, что мы никогда не вступим в переговоры с Гитлером».

Генералиссимус Чан Кай Ши: «Это очень важный момент в нашей общей борьбе».

Генерал Шарль де Голль: «Мы достигли как раз того момента, когда прибой побед повернул в нашу сторону».

«Тайм»

Человек 1942 года – Иосиф Сталин, чье имя по-русски означает «сталь»...

Люди доброй воли – Вильям Темпл, архиепископ Кантерберийский; Генри Джей Кайзер, промышленник, выпускающий корабли «Либерти», Вендел Уилки, совершивший кругосветное путешествие как независимый политик.

Люди войны – Эрвин Роммель, крупнейший виртуоз среди полевых командиров; Федор фон Бок, достигший западного берега Волги; лягушконогий Томоюки Ямашита, выбивший англичан из Сингапура; сербский генерал Дража Михайлович, сопротивлявшийся, когда сопротивление казалось невозможным; генерал Эйзенхауэр, высадившийся в Северной Африке; Дуглас Макартур, чье искусство и отвага подняли его на уровень героя.

«Гардиан»

Майор Валентина Гризодубова – 31-летняя хорошенькая соколиха красной авиации. У нее пятилетний сын, которого она называет «ястребок»... Женские эскадрильи летают на «харрикейнах» и даже на бомбардировщиках... Нина Ломако сбила немецкий самолет за месяц до рождения своей дочери... «Рождественский фейерверк!» – восклицает пилот Королевских военно-воздушных сил. Мужчину могут теперь вытеснить с любой работы! Вот бы познакомиться с этими девочками!

«Тайм»

Рабочие на уральских заводах неделями ждут своей очереди в баню.

Антракт IV. Голубка-Россет

Являясь снова в этот мир, Александра хотела бы быть «голубем мира», то есть пролетать, планируя и кувыркаясь, над мраморными террасами Александрийской библиотеки, нежно гукать на карнизах поближе к окнам мудрецов и поэтов, то есть жить в так называемом далеком прошлом. Вместо этого опять, как душа Александр Сергеевич однажды удачно сострил, «черт догадал» ее родиться вновь все в той же стране россов, да еще в так называемом будущем, на грани страшных холодов, где в мутные страшные дни войны и тюрьмы не знаешь, что делать с талантом любви и изящества.

И все-таки сердчишко ее опять трепетало, когда она видела знакомый до голубиных слез фасад театра Большого и рядом фасад театра Малого, квадригу на крыше, колоннаду, ступени, по которым когда-то, наездами из Петербурга, избегали милые друзья, юноши ранней николаевской поры, полные жизни, идей, поэзии. Вместо них сейчас быстро двигался в разные стороны тип нового времени: остриженная наголо голова, лицо с выпирающими желваками, узкой прорезью рта, странными, то ли угрожающими, то ли насмерть запуганными глазами. Нет, не к этим людям бежали от кровавого парижского сброда все эти Делоне, Россеты и Амальрики. Далеки, далеки эти люди от обретенной роялистами русской буколки!

Лепясь к карнизу незнакомого огромного дома с выцветшей и лиловатой фреской, которая как-то совсем не соотносилась с нынешним кругломордым типом, голубица мечтала об Александрийской библиотеке, о юношах кружка «Арзамас», о вальяжно подрагивающих длинных бакенбардах Государя, о натертых воском полах, о шуршащих, сбегających вниз по торжественным лестницам хороводах фрейлин... Кто-то посыпал из форточки хлебных крошек, она их с благодарностью поклевала, заглянула сквозь пыльное стекло в глубину комнаты. Там сидел с остановившимся взглядом стриженный бобриком, длинноносый человек в зеленом сукне. Вдруг вспомнилось: балкон над Ниццей, на нем, спиной к морю, стоит такой же длинноносый и сутулый, только с длинными, всегда не идеально промытыми патлами – кто он? «Уже не влюблены ли вы в меня, Николай Васильевич?» Казалось, он в ужасе сейчас взмахнет фалдами сюртука и поднимется над Ниццей, и подхватится прочь к голубеющим холмам Прованса, чтобы там где-то скрыться в камнях, пряча ноги в далеко не

идеальных чулках. Вместо этого он ринулся мимо нее, через все комнаты к выходу, застучал башмаками по лестнице, две недели не являлся. Любовь журавля и голубицы казалась несовместимой.

Голубка-Россет промурлыкала длинноносому гуманисту нечто благодарственное за крошки белого батона, полученного по литеру «А» из межведомственных фондов. С тех пор началась их дружба. Голубка-Россет прочно обосновалась на этом карнизе, где можно было даже прятаться от холодного ветра в горловину вентиляции. Длинноносый ни разу не забыл трижды в день подсыпать из форточки великолепных крошек. Он улыбался неровными зубами, смешно вытягивал губы, думая, что перед бессловесной тварью можно не стесняться проявлений нежности.

Голубка-Россет полюбила одинокого человека, хотя и отдавалась неоднократно голубиному королю всей Театральной площади. Впрочем, ей никогда не приходило в голову, что одно имеет к другому хоть малейшее отношение. Перелетев площадь и приземлившись на ее карнизе, голубиный король сначала склевывал все остатки белых крошек, только потом уже начинал ухаживание, которое отличалось продолжительностью и куртуазностью. И, лишь только выполнив ритуал, начинал бурно теснить голубку-Россет в угол, за каменный столбик, где и брал ее к обоюдному удовольствию. Так когда-то влекли ее по полутемным залам во дворце над большой водой, чтобы заткнуть в какой-нибудь бархатный угол и наградить высочайшей милостью. Однажды в экстазе голубка заметила высунувшийся из форточки длинный нос и остановившийся в страхе круглый глаз своего кормильца.

Так прошло несколько недель до того дня, когда голубка-Россет, выбравшись из вентиляции утром, не нашла на карнизе хлебных крошек. Не появились они ни к полудню, ни к вечеру. Недоумевая, она топотала возле окна и вдруг содрогнулась от скрипа открывшейся самой по себе форточки. Она вспорхнула на форточку и заглянула внутрь комнаты. Длинноносый сидел поперек кровати, привалившись спиной к стене, и хрипел. С носа у него свисали две налившиеся его кровью пиявки. «Лестницу! – еле слышно сквозь предсмертный хрип выкрикивал он. – Дайте лестницу!»

Подхваченная турбуленциями разыгрывающейся здесь симфонии, голубка-Россет взвилась в предночное небо, в котором висели осветительные ракеты, запущенные с земли навстречу эскадрам бомбардировщиков.

Улететь навсегда и умереть вдали – страстно мечтала она. Через несколько месяцев она пересекла воюющую Европу и села на черепицы

крыши у мансардного окна, в котором виден был лысый человек в матросской тельняшке. Она осмотрела изломы крыш и расплакалась от узнавания. Лысый и востроглазый между тем одним движением карандаша зарисовал ее с распушившимися перышками в свой альбом. Еще через несколько лет этот рисунок превратился в символ мира, на котором неплохо погрели руки дезинформаторы «холодной войны».

Глава восьмая

Профессор и студент

После пяти месяцев непрерывной работы в дивизионном госпитале в марте 1942 года Дод Тышлер приехал на неделю в Москву за новым хирургическим оборудованием. Признаться, никогда он не думал, что поездка на обыкновенном троллейбусе может доставить такое удовольствие. Едва увидев на улице Горького зеленое двухэтажное транспортное средство, Дод устремился к нему, пробился через толпу пешеходов, желающих стать пассажирами, с наслаждением дал втиснуть себя внутрь и вдавить на верхнюю палубу.

Троллейбус шел к центру. Убогая военная Москва вокруг казалась Доду воплощением столичности, мира и карнавала. В разбитое окно влетала совершенно волшебная струя ранней городской весны. Она проходила по плохо побритой щеке Тышлера, ныряла за спину кондукторши – такой типичной, такой московской, такой довоенной! – в открытую заклиненную дверь и немедленно возвращалась через то же разбитое окно на ту же щеку. Блаженство, лирика, воспоминания о Милке Зайцевой!

Проехали Тверской бульвар, вот он, поэт, стоит хоть и в деревянном ящике, но все-таки присутствует, зажигалки, значит, нерукотворное-то не берут! А вот и нимфа социализма парит в прежнем апофеозе над угловым домом, а ведь она-то уж должна была бы прежде всего скапутиться при таком воспаленье Везувия. Даже мильтоны в наличии, не военный патруль, а самые обыкновенные московские мильтоны в валенках с галошами. Хоть и постаревшие на три десятка лет, но все-таки свои, московские мильтоны! И даже клочки старых афиш видны между военными плакатами, екалэмэнэ, довоенная эстафета по Садовому кольцу... он и сам тогда бежал пятисотметровую дистанцию за команду «Медика», сумел обогнать троих гавриков и передал палку – кому? Ну, как же кому, вот именно, все той же незабываемой Милке Зайцевой.

Дод Тышлер как бы и не замечал полнейшей измученности в лицах сограждан, забитых досками парадных и, наоборот, зияющих черными дырами подъездов, чьи двери зимой были расколоты на дрова, длиннейших и безнадежнейших старушечьих очередей, ждущих часами и днями, какие талоны вдруг случайно «отоварят», страшных пьяных калек войны, скуцковавшихся вокруг кино «Центральный», шакалоподобных пацанов,

торгующих там же папиросами, по рублю штука, девчушек с посиневшими носиками, в разбитых опорках, жалко все-таки пытающихся не пропустить свою молодость... Парень обладал своеобразной ненаблюдательностью или, вернее, сверхнаблюдательностью: он не замечал массового убожества и, наоборот, немедленно выхватывал из массы то, что хоть каплю выделялось, – смелый взгляд, например, или великолепные полярные унты, или мирно идущих в московской толпе трех французских офицеров, или выходящую из ЗИСа на другой стороне улицы умопомрачительную красавицу в лисьем жакете... От последней Дод Тышлер не мог оторвать глаз, увы, через минуту она уже была закрыта проходящей колонной грузовиков. Естественно, старлей медслужбы Тышлер не мог знать, что перед ним мелькнула жена командующего фронтом генерал-полковника Градова и родственница его пропавшего шефа, майора медслужбы, профессора Китайгородского. Высадившись в Охотном ряду, он пешком отправился в Главмедсанупр армии, опять же с неслыханным наслаждением проходил мимо гостиницы «Москва» и здания Совнаркома, мимо «Метрополя», Малого театра, Большого театра и ЦУМа... Прогулка по столице оказалась еще большим удовольствием, чем поездка на двухэтажном троллейбусе. Твердая ровная поверхность под ногами, уже одно это чего стоит! Не нужно каждую минуту примеряться, где присесть, а где плюхаться на пузо, блаженство же! Москва, кажется, начинает понемногу приходить в себя после отбитого набега иноземцев.

Прибыв вчера ночью, Дод застал свою мать Дору с любовником. Гениально, неувядаемая Дора! В письмах на фронт она писала, что отказывается эвакуироваться в Свердловск в основном из-за того, чтобы соседи, сволочи, не захватили в ее отсутствие их комнату с большим окном-фонарем прямо на углу Арбата и Староконюшенного. Бомбы я не боюсь, а если выживем и отобьемся, Додке все-таки будет куда привезти свой мешок с орденами, так размышляла Дора. Основная причина, может быть, была именно в этом, но вторая, не основная, причина, как теперь догадался Дод, состояла в почтенном человеке с немыслимым именем-отчеством: Паруйр Вагричевич тоже эвакуироваться не мог или не хотел.

При виде тощей длинной фигуры сына Дора заголосила совершенно в стиле Фаины Раневской: «Щипни меня, Паруйр! Я грежу!» – любовник же, не говоря ни слова, накинул богатую шубу на небедную шелковую пижаму и исчез в арбатских мраках. Впрочем, почти немедленно вернулся с тремя бутылками кагора.

Москва живет, думал Тышлер, сворачивая с Кузнецкого моста на Неглинку. Не веря своим глазам, он увидел в окне аптеки, что там внутри

вплотную стоит народ в очереди за желтыми шариками: витаминное драже. Ей-ей, Москва как-то быстро оживает, хоть до сих пор еще налеты случаются и аэростаты воздушного заграждения пока еще висят. Возле аптеки тетка била по щекам маленькую девочку за то, что та съела «без спроса» три шарика драже, но Дод этого не заметил. Зато вперился в новинку, жуткий, абсолютно зверский антинемецкий плакат «Окно ТАСС»: «Днем сказал фашист крестьянам: шапку с головы долой! Ночью отдал партизанам каску вместе с головой!» Фашист напоминал свирепого носорога, партизан – щуку. Это надо будет запомнить. Это же хохма!

В Главмедсанупре даже старухи санитарки были облачены в военную форму. При входе строго проверяли документы. Пройдя в коридор первого этажа, Дод услышал стук многочисленных пишмашинок, как будто взвод пулеметчиков отбивался от парашютного десанта. Почти немедленно среди военврачей, сновавших по кабинетам, он натолкнулся на двух однокурсников. Вот, извольте, Генка Мазин и Валька Половодьев, собственными персонами, в лейтенантских кубиках и даже с портупьями через плечо! Парни с восторгом его обратали: «Дод, да ты откуда?!» – «Я-то? Да как же ж откуда? Из Тридцатой, натюрлих!» – «Из Тридцатой чего? Из тридцатой горбольницы, что ли?» – «Да из Тридцатой армии, черт бы вас побрал, киты!»

Ребята, оказалось, работали в московских госпиталях и завидовали его «полевому опыту». Знали бы они, с чем его едят, этот полевой опыт. В Главмедсанупре они, очевидно, были своими людьми, особенно Валентин Половодьев. Они стали его таскать по кабинетам, знакомить с милейшими девицами в армейских сапожках, что делали их нижние конечности еще более привлекательными. «Любое важное дело надо начинать с секретарши, с делопроизводительницы», – поучал Половодьев. «И завершать с ними», – острил Мазин. Тышлер, видно, производил впечатление. Заявки его бодро запорхали по наманикюренным пальчикам симпатичных лейтенантш.

– Теперь наше дело только перекуривать в коридоре, – сказал Половодьев.

Они уселись на подоконник под мраморной лестницей.

– Ну, а как вообще-то наши? – спросил Тышлер. – Кто где из выпуска вообще-то?

– А кто тебя конкретно интересует, Дод? – спросил Мазин. – Милка Зайцева, что ли?

– Ну, хоть и она. Замужем? В эвакуации?

– Хочешь ей позвонить, Дод?

– То есть как это позвонить?

– А вот гривенник бросить в тот железный ящичек, и все. И доктора Зайцеву попросить. И Милка – твоя.

Тышлер, скрывая смущение, растянул свои длинные члены, хрустнул суставами:

– Эх, ребята, сейчас бы в волейбольчик поиграть!

Вдруг прибежала со второго этажа миловидная офицерша.

– Это вы – старлей Тышлер? Вас хочет видеть Борис Никитич!

Она была так многозначительна, что Дод тут же вскочил и оправил гимнастерку. Борис Никитич хочет видеть! Слышите, ребята, меня к Борису Никитичу позвали! А кто такой этот Борис Никитич, ребята? Мазин и Половодьев стояли по стойке «смирно», задрав башки и закатив глаза, выражая полнейшее ошеломление то ли от новости, то ли от гонца. Да ведь они к тому же и актеры, известной были сатирической парой в институтском капустнике. Девушка фыркнула:

– Перестаньте валять дурака, мальчики! Небось хирургию по его учебникам учили!

Оказалось, что Дода хочет видеть не кто иной, как генерал-майор, профессор Б.Н.Градов, заместитель главного хирурга Красной Армии. Для Дода это была и в самом деле новость, от которой можно остолбенеть. Хирург Градов – это была давняя уже легенда в медицинском мире, да и среди пациентов, то есть всего московского населения. О таких людях в компаниях неизбежно кто-нибудь спросит: а что, разве он еще жив? Дод не только учился по учебнику Градова, но и несколько его лекций слушал, которые всякий раз оказывались своего рода событиями в культурной жизни, на них немало и гуманитариев съезжалось, а однажды Дод даже умудрился пролезть в аудиторию градовской операции: сложнейшие анастомозы под местной анестезией, незабываемо! Как это может быть, что такой человек хочет меня видеть?

Градов встал ему навстречу, показал на кожаное кресло перед своим столом:

– Садитесь, пожалуйста, товарищ старший лейтенант!

Дод смотрел во все глаза. Надо запомнить, может, детям потом буду своим рассказывать об этой встрече. Борис Никитич был совсем уже седым, однако фигура его в генеральском кителе была все еще исполнена крепкой стати. Говоря, он как-то забавно иной раз выпячивал нижнюю губу, что делало его лицо совсем не генеральским, но рассеянно-интеллигентским. Эта мимика кого-то напоминала Доду, но кого, он не смог сразу сообразить. Не предыдущую же, в самом деле, ступень на

лестнице эволюции.

– Значит, вы из Тридцатой армии, товарищ Тышлер, из Пятого дивизионного госпиталя, не так ли?

– Так точно, товарищ генерал-майор, – отвечал Дод.

Оба они улыбнулись, как бы давая друг другу понять, что между ними существуют более естественные отношения, чем военная субординация, а именно университетские отношения профессора и студента.

– И вы там исполняли обязанности старшего хирурга? – Градовские светло-серые глаза вдруг вперились Доду в лицо с непонятной интенсивностью.

– Очень недолго, товарищ генерал-майор, всего лишь около месяца после того, как погиб мой шеф, я ведь только в прошлом году выпустился из Первого МОЛМИ, – сказал Дод.

– И ваш шеф был Савва Константинович Китайгородский, не так ли?

Тышлер тут заметил, что правая кисть профессора немножечко проплясала по зеленому сукну стола. Вдруг он вспомнил, кого ему напоминала профессорская мимика. Савва вот так же иной раз выпячивал нижнюю губу. Что-то странно обезьянье и в то же время сугубо русскоинтеллигентское было в этой мине. Вдруг он все вспомнил: футлярная анестезия по методу Градова – Китайгородского. Они, должно быть, когда-то работали вместе.

– Скажите, Давид, вы были свидетелем его гибели? – спросил Градов.

Ему явно стоило трудов держать себя в руках, и на лице его отпечаталось явно не генеральское страдание.

– Расскажите мне, пожалуйста, все, что вы знаете.

Волнение его передалось Доду, и он, спотыкаясь, начал вспоминать, как они оперировали летчика под интенсивным обстрелом, как в госпиталь ворвались немецкие танкисты и как они вдруг всем приказали убраться вон. Всем, кроме Саввы. Его они почему-то задержали. И он закричал: «Все уходите! Немедленно! Уносите раненых!» – а сам сел в угол и обхватил голову руками.

– Таким я его видел в последний раз, Борис Никитич. На полу, в позе отчаяния.

– Значит, все-таки живым?! – воскликнул Градов.

– Да, в тот момент живым, но... Потом... Потом те, кому удалось бежать из госпиталя, собрались на холме, примерно в километре от места действия. Мы думали, что мы уже вышли из зоны боя, что это вроде как бы ничья земля, если можно так сказать, когда армия бежит... но тут началась контратака наших, и сначала звено за звеном на этот парк и школу, где был

госпиталь, стали налетать «илы», потому что там было полно немецких танков, и там сущий ад творился, профессор, то есть, простите, Борис Никитич, товарищ генерал-майор... Танки взрывались, загорались «илы», а школу просто сровняли с землей. В довершение ко всему прочему туда на нее один «ил» рухнул, сбитый. А потом прошла контратака, и парк снова оказался в наших руках. Мы тогда с несколькими ребятами побежали вниз, чтобы хоть что-то спасти из хирургического оборудования, но... какое там... там было сплошное месиво кирпича, ну и... вы сами понимаете... А через полчаса опять началось... дичайший артобстрел, не поймешь – свои или чужие... да еще эти «юнкерсы» начали пикировать на парк... и наши опять побежали назад... словом... веселый выдался денек... – У Дода от этих воспоминаний стали непроизвольно, как лапки у лягушки под ножом, подергиваться лицевые мышцы... – Простите, Борис Никитич, мне это потом снилось много раз... такая «Герника»... сплошное месиво... – Он полез в карман гимнастерки и вытащил очки. – Вот что я нашел там, среди руин... это его очки, я их запомнил... он в них оперировал... три с половиной диоптрии... я взял их себе на память и пользуюсь иногда, когда глаза устают... но у меня, конечно, есть и свои, так что если хотите, Борис Никитич...

Градов держал в руках тяжелые, с толстыми стеклами в роговой оправе очки Саввы Китайгородского, которые всегда так славно венчали его крепкий нос. Профессор пытался отогнать то, что пугало его больше всего, то, что он называл про себя старческой слабостью, когда не хочется уже больше ни на что смотреть, ничем заниматься, а только лишь хочется закрыть лицо руками и растечься, растечься в тоске по всему человечеству.

– Спасибо, Давид, – сказал он. – Я передам их своей дочери.

– Почему вашей дочери? – в замешательстве спросил Тышлер.

– Она – его жена. Вы не знали? Да, вот такая история... вот такая история...

Градов бормотал и бросал на Дода какие-то непонятные стыдливые взгляды, весь как-то обмяк, скукожился в кресле, струйки пота текли по лбу, скапливались в бровях, а между тем и глаза уже набрякли влагой. Доду было неловко смотреть, как старик борется с подступающими рыданиями. Потом вдруг Градов распрямился, подтянул к себе несколько папок с бумагами, эти движения как бы демонстрировали, что он взял себя в руки.

– Большое спасибо за информацию, товарищ Тышлер. Ваши заявки все подписаны, так что вы можете получать оборудование. В скором времени мы вместе с Бурденко и Вовси отправимся на фронт и будем также в расположении Тридцатой армии, так что надеюсь снова вас увидеть.

Слышал о вас как о способном и инициативном военном хирурге.

Дод вылез из глубокого кресла и тоже подтянулся. Он чувствовал себя паршиво. Из всех художеств войны та мясорубка под Клином почему-то особенно врезалась в память. Всякий раз, как она вставала перед ним, хотелось все послать к чертям, бежать куда-то и там исчезнуть в чем-то.

– Простите, Борис Никитич, простите за эту проклятую информацию, – пробормотал он срывающимся голосом и этим как бы показал профессору, что при нем совершенно необязательно держать себя в роли генерала.

Градов понял, преисполнился к нему теплоты, взял под руку и проводил до дверей кабинета.

– Никогда не думал, что мне придется оплакивать Савву, – сказал он ему на прощание, и Дод, несмотря на юный возраст, тут же понял, что стояло за этой фразой.

Остаток дня Дод Тышлер провел с однокурсниками. Они раздобыли «мячишко и сетчишку» и стали ездить по Москве в поисках площадки. Все спортзалы были либо закрыты, либо переоборудованы то в госпитали, то в склады, то в казармы. Наконец в «Крыльях» нашлось помещение, совсем нетронутое, хоть и нетопленое. Начали перекидываться, «стучать в кружок», а потом один за другим другие «киты» подгребли, и к вечеру собралась приличная «гопа», остатки волейбольной общественности столицы. Даже зампред федерации появился, волейбольный остролицый человек Слава Перетягин. Посмотрев на Додову игру, подошел к нему: «Тебе, Тышлер, тренироваться надо. После войны в сборную войдешь. Хочешь, бронь тебе схлопочу?»

Дод хохотнул, бросил Перетягина, пошел дальше «колы сажать». Тапочек ни у кого не было, играли босиком. «Ну, ничего, – утешался Половодьев, – отыграемся и спиртяги ка-а-к засадим!»

Вдруг дверь в спортзал открывается, и на пороге вырастает не кто иной, как почти «подруга моего детства Инга Зайонц» – собственной персоной Милка Зайцева. Ну, разумеется, доброхоты ее вызвали в «Крылья» – дескать, Дод Тышлер умирает, видеть хочет. «Звучит» девица, ничего не скажешь, мечта действующей армии! Шинель внакидку, пилоточка над гривой волшебного волосяного покроя, хромовые сапожки до колена, а юбочка чуть-чуть, не более чем на полсантиметра, выше. Глаза, разумеется, насмешливые: ха-ха, мол, кого я вижу, Дод Тышлер!

Дод как раз разбежался, чтобы прыгнуть к сетке, когда она вошла, ну и, завершив разбег, провел удар, вломил через блок и только тогда уж пошел к аплодирующим ладоням.

– Ха-ха, – сказал он. – Кого я вижу! Те же и Зайцева Людмила, ого!

– Ну, хватит, Дод, дурака валять, – сказала она. – Влезай в сапоги и пошли!

– Эй! – закричали волейболисты. – Не отдадим Дода! Куда ты тащишь, Милка?

– Спокойно, мальчики! – сказала звезда всех трех московских мединститутов. – Завтра погуляете, на свадьбе! Адью!

Назавтра они расписались. Просто на всякий случай, ну, если вдруг тебя шлепнут, а я рожу, чтобы у дочки была отцовская фамилия, ну, в общем, чисто практические соображения, Дод, мой любимый, мой единственный, без которого просто уже никак не могу...

Глава девятая

Тучи в голубом

Расставшись с Тышлером, Борис Никитич несколько минут стоял у окна своего кабинета. В этой огромной комнате его не раз посещало чувство незаконности здесь своего пребывания. Дом был построен за несколько лет до революции знаменитым московским миллионером для личного пользования, и вот здесь, где он сейчас стоит, предполагались, очевидно, какие-нибудь совещания правления фирмы с курением дорогих сигар, с распитием многолетнего бренди...

В ветвях маленького парка стоял переполох: только что вернулись грачи, они кричали и хлопали крыльями так, словно не узнавали города. Перезимовавшие воробьи носились между ними, как будто сообщали о том, что здесь произошло за время их отсутствия. Самое печальное состояло в том, что московский мусор утрачивал свою питательность.

Борис Никитич держал в руках Саввины очки. Стекла даже не разбились. Он вспомнил, что Савва очень гордился этими очками, а Нинка, как всегда, потешалась над ним, хотя сама как раз и добывала французскую оправу по каким-то таинственным московским путям. «Ты в этих очках, Савка, стопроцентный враг народа и буржуазный лазутчик! Тебя в конце концов заберут прямо на улице за эти очки, и будут правы – если все начнут ходить в таких очках, что из этого получится?»

Борису Никитичу иногда казалось, что Савва Китайгородский ближе ему, чем собственные сыновья, и, уж во всяком случае, он был для него кем-то гораздо более значительным, чем просто ученик или даже зять, муж любимой Нинки. При всей любви к Никите и Кириллу он всегда видел в них со своей колокольни некое несовершенство, невоплощение, неполную состоятельность, то, что называлось прежде «мальчики не удались». На эту тему тоже было немало шуток в семье, и он всегда комически отмахивался, изжить, однако, своего разочарования не мог: не пошли по градовскому пути, презрели медицину, отдалились... Даже и после трагедии, как он всегда называл аресты сыновей, эта мысль не оставляла его и даже иногда принимала не совсем нравственные очертания: вот, мол, уклонились от нашего, градовского, предназначения, вот и поплатились... Этой мысли, конечно, Борис Никитич никогда не давал ходу.

Что касается Саввы, то в нем-то как раз он видел полное совершенство, воплощенность, самостоятельность. Потомственный, как и

они, Градовы, интеллигент разночинного класса, к тому же врач, стало быть, зачинатель будущей и косвенный продолжатель династии. В принципе Борис Никитич не видел в истории цивилизации более естественного дела, чем врачебное.

Саввиного отца, Костю, он помнил со студенческих лет. Они не дружили, но симпатизировали друг другу. Градов со своей Мэри Гудиашвили были даже званы на свадьбу Кости Китайгородского и Олечки Плещеевой. Тот ранний брак тогда всех восхитил. Как милы были молодожены и как идеально подходили друг другу! Несколько лет спустя, то есть когда маленькому Савве было уже лет семь, значит, году примерно в десятом или одиннадцатом, пошли слухи, что Костя и Олечка разошлись и даже с какой-то свирепостью, полной непримиримостью, после чего Костя в скором времени исчез, уехал работать за границу, кажется, в Абиссинию. Савва, подрастая, не вспоминал отца: это была запретная тема в большой семье Плещеевых, а потом и в большой семье советского народа, поскольку пребывание родственников за границей стало криминалом. Он, кажется, и в анкетах не сообщал о загранице, а в графе «отец» писал «умер в 1911 году»: поди проверь после красной разрухи. Дореволюционное время загадочным образом так отдалилось, что казалось, столетие прошло с тех времен, когда подданный империи мог спокойно через Париж и Марсель уехать в Абиссинию. Никто, кажется, даже в близком окружении не помнил о Саввином отце, кроме Бориса Никитича и Мэри Вахтанговны. Кажется, и Савва сам не очень-то был осведомлен об Абиссинии. Упомянуть отца в присутствии матери считалось совершенно неуместным: прелестные губки Олечки Плещеевой немедленно стягивались в подобие сушеного инжира. Велика, велика была та старая, тайная обида.

Конечно, он видел во мне отца, думал Борис Никитич. С самого начала, еще студентом, когда он начал робко приближаться, он видел во мне не только профессора, но как бы модель своего отца. Ну, а потом его влюбленность в Нинку, и все страдания, и наша нарастающая дружба, и, наконец, их женитьба, и его теперь уже законный статус зятя, почти сына... Да и для меня он был чем-то вроде модели сына, почти продолжателя династии... И вот теперь все кончилось, он растворился в этом дьявольском пандемониуме... все поглощается клубами огня, и сам огонь наших дней поглощается огнем безвременья... И все-таки надо продолжать и драться всем вместе против немцев...

Он хотел было позвонить Нинке и договориться о встрече, но не решился. Вместо этого надел на генеральский китель старое штатское пальто и вышел из кабинета, сказав изумленной секретарше, что вернется

через час и что никаких машин за ним посылать не надо.

Он шел по старым московским улицам почти тем же путем, что и Дод Тышлер. Неглинка, Кузнецкий мост, Камергерский, Тверская... Он редко употреблял новые названия для любимых с детства мест, такую фронду себе еще можно позволить, да и с какой стати, скажите, Садово-Триумфальная становится Маяковской, а Разгуляй, предположим, Бауманом? Большие дома начала века, когда-то наполненные светом, комфортом, либеральным мировоззрением, а теперь кишачие коммунальным прозябанием, то сдвигались стеной, то вдруг открывали проемы предзакатного неба. Однажды вот на таком же фоне перед ним пролетела человеческая фигура с облачком яркой юбчонки вокруг чресел. Он ехал тут на трамвае, а фигура, пролетев с балкона седьмого этажа, рухнула на крышу троллейбуса. Трамвай проехал. Никто в нем не видел пролетевшей фигуры, а он вскочил, открыл было рот, чтобы крикнуть, но понял, что будет неправильно понят, и тихо сел на свое место. Вот только в памяти это и осталось: последние столь необычные секунды чьей-то жизни. Дальнейшее – молчание; вы сходите на следующей?

Он перешел Тверскую, то бишь Горького, и прошел под аркой нового, незадолго до войны построенного дома в Гнездиновский переулок, который в этот момент, если не обращать внимания на забитые фанерой подъезды, выглядел, как и прежде, даже и дама с собачкой гуляла; обе, впрочем, были соответствующим образом постаревшие и пообтрепавшиеся. Была, впрочем, одна, наклеенная как раз на стену дома Китайгородских примета времени – сатирический плакат «Окно ТАСС». На левой его половине грудастый наглый немец в стальной каске грозно наступал на несчастных русских крестьян. «Днем сказал фашист крестьянам: шапку с головы долой!» На правой же половине те же крестьяне саблей снимали с грудастого тела мордастую голову: «Ночью отдал партизанам каску вместе с головой!» Борис Никитич почему-то долго топтался и созерцал плакат. Неадекватность возмездия как-то неприятно его удивила. Все-таки ведь только шапку снять требовал, а поплатился головою. Вчистую сразу, одним махом все мышцы, сосуды, связки и позвонки, какова хирургия! Наши союзники англичане вряд ли рисуют на своих антинемецких плакатах такую пакость.

А у нас, помнится, ведь и раньше так было, милостивые государи, ведь и в первую войну немцам обрубал доблестный казак Кузьма Крючков отвратительные щупальцы. Наконец он понял, почему так долго тут топчется перед сатирическим плакатом. Он просто был не в силах войти в дом к Нинке и Ёлке с такой новостью в роговой оправе, что лежала у него

сейчас в кармане пальто. Все-таки до сих пор Савва числится пропавшим без вести, и Нина до сих пор каждый день ждет, что ее пропавший вдруг пришлет весть, и со всего города к ней стекаются рассказы о пропавших без вести, которые вот вдруг прислали весть, а потом и сами объявились. Однажды, позвонив ей, он что-то замешкался с трубкой и тут же услышал Нинин радостный голос: «Савка, ну вот и ты, наконец-то!» Нужно передать ей все, что рассказал Тышлер. Не говорить напрямую, что Саввы уже нет, но рассказать обо всех обстоятельствах его исчезновения. И передать очки. Но нужно ли это? Ведь эти очки как раз напрямую ей и скажут, что Саввы больше нет. Что ж, жена и дочь должны знать о смерти мужа и отца, в конце концов мы, Градовы, никогда не прятались от реальности... Безнравственно будет прятать от нее то, что знаешь, скрывать последнюю память, вот эти очки, оправу которых она с таким торжеством для него раздобыла у московских спекулянтов. Это будет грех – утаить от нее то, что знаешь... Грех? Вот именно, грех.

Тут вдруг изуродованная фанерой дверь распахнулась, и на улицу вышла Нинка. Борис Никитич тут же отвернулся к дурацкому плакату. Она прошла мимо, не заметив его. Посматривает на часы, очевидно, опаздывает в свою «Труженицу». Под аркой поскользнулась на заезженной ледяной дорожке. Довольно грациозно сбалансировала. Он быстро пошел за ней, почти побежал. На улице Горького в толпе Нинка оглянулась, видимо, почувствовала, что кто-то за ней идет. На углу вообще остановилась, недоуменно осматриваясь. Борис Никитич тогда махнул ей перчатками:

– Ба, да это же не кто иной, как поэтесса Градова! А я-то думаю, кто это такой стройненький там поспешает, кто-то такой знакомый!

Она поцеловала его в щеку, тревожно заглянула в глаза:

– Ты шел за мной, Бо? Что-нибудь случилось? Что-нибудь новое о Савве?

– Нет-нет, я совершенно случайно тебя увидел, я просто... ну... был на совещании в Моссовете... ну, по вопросу о транзите раненых... а потом решил просто прогуляться, такой день чудесный, первый после этой жуткой зимы...

– Ты как-то странно одет, – сказала она подозрительно.

– Да вот, знаешь, не знаю сам... просто надоела шинель, вечное козырянье, – бормотал он.

– Ну, а о Савве... по-прежнему ничего? – быстро спросила она.

– Ничего утешительного, – сказал он.

Она схватила его за руку:

– А неутешительного? Ну, говори! Отец! Не смей скрывать!

Он снова спраздновал труса.

– Нет-нет, я просто имел в виду, что, к сожалению, связь со многими соединениями еще не восстановлена... Наступление врага отбито, он отброшен, но многие части еще с осени остались в «котлах»... не исключена возможность, что Савва в одной из этих войсковых групп и что скоро все наладится, однако, я тебе уже это говорил, надо быть готовым и к самому печальному варианту... ведь это же война, огромная жестокая война, – говорил он уже привычные в градовском доме фразы.

* * *

Они стояли на углу Пушкинской площади, и над ними в закатных лучах парила триумфальная дева социализма. Нина немного успокоилась, у отца на самом деле, кажется, ничего нового. Она давно уже в глубине души понимала, что Савва погиб, однако яростно – и сама с собой, и с родными – стояла на одном: если ничего не известно, значит, жив.

– Ты в редакцию? – спросил отец. – Пойдем, я тебя провожу. Она взяла его под руку, и они медленно пошли в жалкой и мрачной толпе первой московской военной весны: шинели, телогрейки, несуразные комбинации штатских одеяний.

– Как ты себя чувствуешь, Бо? – спросила Нина.

– Я? – удивился отец. – В общем неплохо для моих шестидесяти семи лет. А почему ты спрашиваешь?

– Нет, я имею в виду не физическое самочувствие, – сказала она. – Мне кажется, что ты как-то сильно взбодрился духовно с начала войны. Такое впечатление, как будто война развеяла твою уже навсегда устоявшуюся тоску, разогнала вечную хмарь в твоем небе. Может быть, я ошибаюсь?

Он благодарно на нее посмотрел: какая умная, тонкая девочка! Так ведь и на самом деле было. Поздний возраст жизни подошел к Борису Никитичу перед войной, как зев мрачайшей пещеры. Он едва уже мог бороться с приступами депрессии. Причин, разумеется, было немало: двусмысленность положения во врачебной иерархии, разлука навеки с любимым другом, арест сыновей, вечный страх за внуков, но главная причина, очевидно, заключалась в самом позднем возрасте, в приближении неизбежного, в полном кризисе привычной, позитивной натурфилософии, призванной вроде бы бодрить, а на самом деле не оставляющей ничего, кроме гримасы скелета. И вдруг...

– Да, ты права, Нинка. Должен признаться... Знаешь, я никогда не чувствовал себя лучше после... ну, после определенной даты. Верь не верь, но я испытываю какой-то будто молодой подъем, что-то напоминающее дни выпуска из факультета, вдохновение. Знаю, что прозвучит кощунственно, но мне кажется, что эта жуткая война пришла к нашему народу как своего рода причастие...

* * *

Нина держала его под руку и шла, примеряя свой шаг к отцовскому, глядя себе под ноги и кивая. Колыхались под ушаночкой ее темные, хорошо промытые волосы. Вдруг он заметил в них ниточку седины.

– Кажется, понимаю, о чем ты говоришь, – сказала она.

Он продолжал:

– Мне кажется, не только у меня такое настроение, у каждого в той или иной степени... Впервые после определенной даты мы перестали панически бояться друг друга. На самом деле мы только сейчас реально объединились перед лицом смертельного врага. Врага не только этих, ну... – тут Борис Никитич все-таки, несмотря на всенародное сближение, сильно понизил голос, – ну, властей предержащих, но и всей нашей истории, всей нашей российской цивилизации... Все эти старые страхи, угрызения, подозрения, низости, даже жестокости вдруг показались людям второстепенными. И уж если мы сегодня жертвуем собой, то хотя бы знаем, что не ради заклинаний, а ради нашего естества!..

– Ты прав, Бо! – сказала Нина отцу. – Я тоже испытываю что-то в этом роде. И это идет рядом с постоянной тоской по Савве. Странная параллель. Вот тут Савва, вот тут война как некая симфония. Иногда эти параллели вдруг пересекаются, и тогда становится легче: Савва вливается в общую музыку. Понимаешь? Ну, а теперь расскажи мне все, что ты на самом деле знаешь. Смелее, Бо, ведь ты все-таки хирург!

Они давно уже миновали подъезд дома, в котором располагалась «Труженица», и теперь шли по Страстному бульвару, на котором старушки, ангелочки российской юдоли, сидели, пожевывая свои мягкие десны. Борис Никитич в поисках опоры приблизился к фонарному столбу, потом вздохнул, потряс головою, на которой несколько нелепо, набекрень, сидела военная фуражка со звездой, и наконец молча протянул дочери Саввины очки.

Тогда уже она стала искать опору и точно вслепую приближаться к

скамейке. Села рядом с какой-то бабушкой, залилась горчайшими слезами. Старушка смотрела на нее с благородной симпатией. Слезы лились потоком, наконец-то они освобождали Нину от своего присутствия. Борис Никитич сел рядом, обхватил трясущиеся плечи. «Дочь», – счел он нужным объяснить соседней старушке. Та строго кивнула. Он вытащил из кармана большой, отглаженный Агашей до полного совершенства носовой платок, стал подносить к Нининому лицу, та утыкалась ему в ладонь мягкими губками и носиком, той мордочкой, что в детстве получала от него столько ласковых словесных несуразиц.

Потом она вдруг взяла у него платок, вытерла насухо лицо и приказала рассказывать все, что знает, ничего не утаивая. В слезах ей все мерещились обстоятельства Саввиной смерти, истечение крови из ран, медленное замерзание в разбитом, с растасканными досками сарае, с зияющим сквозь дыры небом в неумолимости мелких, словно стальная стружка, звезд. Она была удивлена, насколько реальные обстоятельства не соответствовали ее воображению. Подробно она расспросила и про Дода Тышлера, и про все детали боя в парке под Клином, и про финал, когда уцелевший персонал госпиталя вернулся на руины, и как старлей Тышлер, постоянный Саввин ассистент, нашел там его очки.

– Значит, тела все-таки никто не видел? – спросила она.

Отец понял, что в ней рождается новая надежда.

– Нет, тела никто не видел. – Он замолчал, не желая добавлять: «К счастью, никто»...

Нина встала:

– Спасибо, папа, спасибо, что все рассказал. Ну, пока, мне нужно в редакцию.

– Да уж какая там редакция, – сказал он. – Давай вызову машину, ты возьмешь Елку и поедешь в Серебряный Бор, посидишь там у нас пару дней с мамой.

– В другой раз, папа, не сейчас. У нас выход номера, совещание... А завтра я пойду в церковь и буду молиться весь день...

Они двинулись обратно, на Страстную площадь. Нина шла твердо, Борис Никитич слегка спотыкался.

– В какую церковь ты хочешь пойти? – с трудом спросил он.

– Не важно в какую, – ответила она. – В Елоховскую. Почему мне нельзя пойти в церковь? Ведь я же крещеная, да? Папка, ну, скажи, вы меня крестили?

– Разумеется, – сказал он. – Тогда всех крестили...

– Даже если бы и некрещеная была, все равно пошла бы в церковь! – с

горячностью произнесла она, и он взглянул на нее с опаской. Бледность на ее щеках вдруг сменилась ярчайшим румянцем. Дерзкий молодой вид, словно в годы «синеблузников». – Куда же нам еще идти, если не в церковь! – продолжала она. – Если уж сейчас, после всего этого, русские в церковь не пойдут, то что же это за народ, Бо?

– Хорошо, хорошо, – пробормотал он. – Хочешь в церковь, иди, пожалуйста, но только не надо этого афишировать...

Они расстались у входа в редакцию. Борис Никитич быстро зашагал в сторону управления. Нина стала подниматься по обшарпанной лестнице. И все будет как обычно, думала она. Верстка, сверки, гранки, идиотские заголовки, штампованный текст, оптимизм, вера в победу, святая ненависть к врагу... монтируются ли два эти слова: святость и ненависть?

Она вошла в редакцию и сразу немного успокоилась. Она всегда почему-то успокаивалась, входя в эту дурацкую редакцию. Видимость стабильности, иллюзия деятельности, самообман... Отсюда в тридцать седьмом, прямо отсюда увели Ирину Иванову, и все равно эта редакция кажется каким-то основательным фундаментом, олицетворением надежности.

В большой комнате сидели шесть сотрудниц, женщины в основном Нининого, то есть бальзаковского, возраста. В углу неизменно кипел чайник, «певец коммун». Все повернулись к Нине и уставились, как будто первый раз видят.

– Ну что, девочки? – устало спросила она и прошла к своему столу. На нем, как обычно, восседала редакционная кошка Настасья Филипповна. Нина села, гребешком быстро пролетела по волосам, притянула к себе свою долю верстки. Настасья Филипповна направились было бодаться, но, увидев папиросу, отвернулась с поднятым хвостом: не одобряла курильщиц. Все сотрудницы продолжали глазеть на Нину.

– Ну, в чем дело, девчонки? – устало спросила она. – Узнали что-нибудь? Ну, валяйте, выкладывайте!

– Вот актриса! – восторженно пискнула кудрявенькая простушечка Глаша Никоненко.

Все засмеялись. Нина обвела всех взглядом, на лицах какое-то дурацкое блаженство.

– Ты на самом деле ничего не знаешь? – спросила Тамара Дорсалия; удивление, словно маска-недомерок, занимало только часть ее значительного лица.

– Так ведь можно человека до истерики довести! – вдруг сорвалась Нина. – Мало ли что я знаю! Вы-то откуда все знаете?

– «Комсомолка» напечатала твои «Тучи в голубом» вместе с нотами Саши Полкера, – сказала завредакцией Маша Толкунова, которая всегда называла всех знаменитостей по имени, этак небрежно, словно приятелей. – Ты что же, мать моя, радио не слушаешь?

Тут все бросились к ней с лобзаниями. Оказывается, она на самом деле ничего не знает! Да ведь Шульженко уже поет! Уже повсюду только и слышишь «Тучи в голубом»! Вся страна уже поет, весь фронт! Ты же знаменитостью стала, Нинка! Вот, посмотри! Ей сунули «Комсомолку». Там, в середине, под заголовком «Секрет успеха» были три портрета: ее собственный, знаменитой певицы ресторанного стиля Клавдии Шульженко, а также композитора Александра Полкера, веселого циника, бильярдиста и пижона. Далее следовали текст и ноты, а потом подборка писем «бойцов фронта и труженников тыла», в которых восторженно говорилось о том, как новая песенка помогает им «бить немецкую гадину» и «ковать оружие для победы».

– Ой, девочки, да ведь вот сейчас как раз передают концерт по заявкам! – пиццала Глаша. – Маша, ну, можно включить, а? Ну, ведь наверняка же будут «Тучи в голубом»! Ой, Нинка, ну это же чудо! А как танцевать-то под нее замечательно!

Включили радио. И впрямь сразу после хора Пятницкого объявили, что по многочисленным заявкам передается песня Александра Полкера и Нины Градовой «Тучи в голубом» в исполнении Клавдии Шульженко.

Зазвучал оркестр, мягкие, под сурдинку трубы, задумчивый саксофон, переливы рояля – Саша сам тут играл, будучи виртуозом джазового пиано, потом вступил любимый всем народом низкий голос певицы.

*Тучи в голубом
Напоминают тот дом и море,
Чайку за окном,
Тот вальс в миноре...
Третий день подряд
Сквозь тучи, от горизонта
«Юнкеры» летят
К твердыням фронта.
Третий день подряд,
Глядя через прицел зенитки,
Вижу небесный ряд,
Как на открытке.
Тучи в голубом*

*Напоминают тот дом и море,
Чайку над окном,
Тот вальс в миноре...
«Юнкерс» не пролетит
К твоим глазам с той открытки,
Будет он сбит
Моей зениткой,
Тучи в голубом
Станцуют тот вальс в мажоре,
Встретимся мы с тобой
Над мирным морем.
Тучи в голубом,
Тучи в голубом...*

Нина впервые слушала эту песню. Неделю или около того назад в Доме композиторов после чтения Сашка Полкер пристал: «Дай мне текст, ну что тебе стоит!» Он требовал, чтобы она прямо сейчас, «не отходя от кассы», написала ему текст или хотя бы «рыбу» сделала, потому что он через три дня должен сдать новую песню – лирическую! – для фронта, а за это он будет весь вечер играть на рояле для всей компании. Они тогда всей компанией забрались в какую-то отдаленную от общих мест гостиную с роялем, кто-то, оказывается, притащил несколько бутылок вина из старых запасов, получилось сборище совсем в довоенном духе. Нина присела в углу, минут за двадцать «накатала» вот этот текст и отдала Сашке, и тот сразу же стал наигрывать и мычать...

«Вальс в миноре», разумеется, превратился в «Вальс в мажоре», мотив и на самом деле получился заразительным, вполне «инфекционным», можно сказать, «эпидемическим». Удлиненная вторая строка в каждом куплете рождала осторожный синкоп, и это, возможно, и делало песню не похожей на сотни других в этом же роде, возник некий загадочно-советский слоу-фокс, присутствие же «юнкерсов» и зенитки придавало все-таки некоторый рисунок всей прочей голубой размазне. Ну и наконец, задушевная романтическая, советская *fe fatale* Клавдия Шульженко завершала победоносно этот удар по сентиментам измученной страны: преодолеем, пройдем, вернемся... Тучи в голубом все еще доступны каждому, самому голодному, самому обреченному, раненому, даже умирающему... Умирающему, может быть, больше всего.

Все сотрудники смотрели на Нину. Она сидела на краешке стола, в

одной руке у нее была дымящаяся папироса, другой она почему-то закрывала глаза. Вдруг у нее задергалось горло. Она бросила папиросу и обеими руками попыталась прикрыть эту конвульсию, но горло дергалось, вырывалось из рук. Глаша Никоненко в полном изумлении смотрела на нее. Странные люди, тут радоваться надо, прыгать до потолка, а она дергается.

Глава десятая

Кремлевский гость

Блестящая толпа военных в начищенных сапогах, сверкая пуговицами и орденами, шагала по пустынным коридорам и залам Большого Кремлевского дворца. Безупречный паркет отражал движение толпы, та в свою очередь всеми своими сапогами, пуговицами и лысынами отражала мраморные панели и рельефы, а также сияющие люстры Кремля. Собранным с разных фронтов командирам, должно быть, трудно было себе представить, что где-то в России в конце зимы 1942 года еще существует такая благодать.

Благодать, оказывается, существовала. Она как бы олицетворяла все еще не поколебленную основу, за которую и бились на ближайших подступах, бились с отчаянием, уже без веры в победу, на последнем издыхании. И все-таки отстояли, не пустили чужие сапоги гулять по этим паркетам, отодвинули прямую угрозу. Пока, скажет осторожный. Ну что ж, пока – это тоже неплохо. На войне живешь минутой. Не зацепило сейчас, не зацепило еще раз и еще раз, ну что ж, это совсем неплохо. Во всяком случае, в толпе блестящих офицеров царило явно хорошее настроение. Приближалась церемония награждения генералов, особо отличившихся в зимней кампании 1942 года. Некоторым из этих генералов явно нечем было похвастаться, особо отличились они только тем, что уцелели и не сдались в плен, однако им тоже, всей армии этот кремлевский прием должен был сказать, что времена суровых наказаний прошли, наступили времена всяческого поощрения вооруженного человека. Что касается генерал-полковника Никиты Борисовича Градова, то он даже в этой толпе выделялся твердостью шага и решительностью черт лица. Улыбка же, постоянно, словно сторожевой, проходившая по этому лицу, держала в себе смыслов, пожалуй, не меньше, чем джокондовская. В довоенные времена с такой улыбкой в Кремль лучше было бы не являться, нынче же ее главный посыл, может быть, даже вызывал особое почтение. Главный же посыл состоял в уверенности в успехе и отсутствии страха. Все остальное, что стояло за этой улыбкой, не прочитывалось: время было такое, не до нюансов. Во всяком случае, командующий Особой ударной армией, блистательно завершившей январский контрудар, взявшей Клин и отрезавшей 16-ю армию врага от его основных сил, мог себе позволить вышагивать по Кремлю с такой многосмысленной улыбкой в глазах, на

устах и в носогубных складках. Генералы вошли в Георгиевский зал и расположились вдоль одной из его стен. Внушительная группа сильных мужчин. Как обычно, над всеми возвышалась верблюжья серьезная голова Андрея Власова. Напротив стоял инкрустированный царский стол, на нем видны были заготовленные загодя коробочки орденов.

– Что предпочитаешь, Никита Борисович, «Анну» на шею или «Георгия» в петлицу? – шепнул Мерецков.

– Оба не помешают, Кирилл Афанасьевич, – шепнул в ответ Градов. – А ты небось «Станислава» с дубовыми листьями алкаешь?

– Угадал, ваше превосходительство, – вздохнул Мерецков.

Вот какие шутки нынче позволяли себе красные генералы вместо того, чтобы трепетать от благоговения. Война диктовала свою моду, армия выходила вперед, партия и Чека скромненько до поры потеснились.

Открылись двери, и с мягкими отеческими аплодисментами вошли вожди; впереди, воплощением полной непристойности, «всесоюзный староста» М.И.Калинин со своей зажеванной бородой. За ним скромно шел сам. Далее следовали вожди, «портреты», среди которых заметно было отсутствие Молотова. Последний пребывал в этот момент в Лондоне, куда прилетел инкогнито под именем «Мистер Смит из-за границы» на четырехмоторном бомбардировщике. Там он подписывал договор с Иденом и Черчиллем, договор о двадцатилетнем (20-летнем!) сотрудничестве Союза Советских Социалистических Республик с Британской Империей. А ведь сколько словесной энергии потрачено было со времен «ультиматума Керзона» на проклятья английскому империализму! Не смеется ли провиденье над большевиками, а вместе с ними и над лордами Альбиона? Скромно поблескивало за первым рядом вождистских круглых плеч пенсне Л.П.Берии: ни дать ни взять фармацевт старой формации. Интересно, не сам ли он своими руками убил нашего дядю Галактиона? Никита вместе со всеми генералами мощно аплодировал в ответ вождям. Вспыхнули лампы кинохроники.

Сталин выглядел как Сталин. Что о нем еще можно сказать? Человеческие категории, вроде «потолстел», «похудел», к нему не подходят. Он просто выглядит как олицетворение Сталина, и это значит, что он в полном порядке. Хотел бы я видеть, что с ним было во время паники, подумал Никита. Не олицетворял ли он тогда полураздавленного таракана, не гонялась ли тогда за ним какая-нибудь кремлевская сова?

Сталин мягко, за плечи чуть-чуть подвинул Калинина к микрофону. «Михал Ваньч», как всегда, разыгрывая свою роль «старосты», в которую он вошел еще в сорокалетнем возрасте, зашамкал с листочка:

– Дорогие товарищи! В ознаменование разгрома центральной группировки немецко-фашистских войск Президиум Верховного Совета СССР принял решение о награждении группы выдающихся советских военачальников...

Генерал-полковника Никиту Борисовича Градова вдруг посетила весьма оригинальная мысль: «Интересно, если бы я приказал своим автоматчикам прикончить всю эту компанию, подчинились бы ребята?» Он глянул вбок на стоявшего за несколько человек от него красавца Рокоссовского: «Интересно, а Косте не приходит в голову такая же мысль? Ведь сам недавно, как я, тачку толкал. От имени и по поручению всех зеков Колымы и Печоры?..» Вдруг ему показалось, что его мысль и взгляд не ускользнули от слепо поблескивающих стеклышек пенсне. Холодная струйка прошла вниз по позвоночнику, но в это время как раз прозвучало его имя.

На его долю выпала высшая награда – Золотая Звезда Героя Советского Союза вкупе с весомым кругляшом ордена Ленина. Он четко прошагал по звенящему паркету, принял из «старостинных» рук драгоценные коробочки... опять мелькнула дурная мыслишка – «не перепутал ли мудак коробочки» – и, осененный улыбками вождей – «славные люди, добрые люди, экая, в самом деле, приятная компания», – повернулся к микрофону:

– Я благодарю правительство Советского Союза и лично товарища Сталина за эту высокую награду и обещаю приложить все силы для достижения общей цели. От имени бойцов Особой ударной армии хочу выразить полную уверенность в окончательной победе над врагом!

Вдруг окатила волна какого-то истинного, неподдельного вдохновения, мгновенного счастья от полного приобщения ко всему тому, что в этот момент олицетворяло его страну, даже и вот к этой, и вот именно к этой, особенно к этой группе лиц, которых он еще несколько минут назад представил себе под прицелом своих верных автоматчиков.

После церемонии всех награжденных пригласили в смежный зал на небольшой, скромный банкет а-ля фуршет. Война войной, а угостить товарищей надо – так, очевидно, думал Сталин. А то еще подумают, что я жадничаю. Стол был накрыт именно как бы от его лица, то есть с некоторым грузинским мотивом: великолепные кавказские вина, сыры, огурчики и редис из кремлевских парников. Не обошлось, конечно, и без русских традиций, икра и севрюжий балычок присутствовали. Водки не подали, что вызвало некоторое недоумение у привыкших к этому напитку фронтовых генералов.

– У нас у всех много дел, товарищи, – сказал Сталин к концу банкета. – Однако я хотел бы поделиться с вами некоторыми соображениями. Сейчас начинаем переговоры по ленд-лизу с американскими союзниками.

Он произнес последние два слова с каким-то особым прищуром, с некоторым юморком, с одной стороны, как бы говорящим о грандиозном достижении: вот, мол, какие у нас союзники, американские союзники, но, с другой стороны, как бы и позволявшим усомниться в истинности такого «союзничества»: между коммунистом, мол, и ражим капиталистом – какой союз?

– Так вот, – продолжал он, – предстоят большие поставки боевого снаряжения. Нам необходимо тщательно продумать список наших насущных нужд. От этого будут зависеть заказы, которые Рузвельт сделает американским заводам. Вот вы, товарищ Градов, как вы считаете, что прежде всего необходимо нашей армии с прицелом на предстоящие сражения?

Этот вопрос, вернее, его адрес всех удивил. Градов стоял довольно далеко от Верховного главнокомандующего, и не через стол, то есть не в секторе прямого обзора, а на той же стороне, то есть для того, чтобы обратиться именно к нему, надо было иметь в виду, что справа от тебя находится среди других, может быть, более важных лиц именно главком Особой ударной Никита Градов с бокалом «Ркацители» в правой руке и с вилкой в левой.

Все повернулись в сторону Градова, и тот без всякого замешательства, словно было вполне естественно, что Сталин обратился именно к нему с первым вопросом о ленд-лизе, положил вилку на тарелку, поставил бокал на стол и сказал:

– Я считаю, товарищ Сталин, что прежде всего нам необходим грузовик. Большой мощный грузовик с надежной ходовой частью, способный пройти по любым дорогам, перевезти войска и амуницию, буксировать артиллерию среднего калибра и нести на себе гвардейские минометы. Честно говоря, без такого грузовика я слабо себе представляю, как мы сможем перейти ко второй фазе войны, то есть к наступательной фазе, а она не за горами, товарищ Сталин. Наша промышленность уверенно наращивает выпуск танков, но она не располагает мощностями для массового производства такого быстроходного, мобильного и в то же время мощного грузовика. Между тем американцы, как я понимаю, на своих заводах Форда и «Дженерал моторс» смогут быстро развернуть эту насущно важную продукцию.

В паузе, наступившей вслед за этим, лица медленно поворачивались к вождю. Сталин с минуту стоял в задумчивости, молча прижимал большим пальцем табак в своей трубке, однако все уже понимали, что это благожелательная задумчивость, что ему явно понравилось высказывание генерал-полковника, тем более что в нем прозвучала такая профессиональная уверенность в скором переходе ко второй фазе войны.

– Интересная мысль, – произнес Сталин. – Я хотел бы, товарищ Градов, чтобы вы подготовили детальную докладную записку для очередного заседания Совета обороны. А теперь, товарищи, позвольте мне провозгласить тост за нашу героическую армию и ее военачальников!

– Ура! – грянули генералы.

Бокалы поднялись и прозвенели. Начался общий оживленный, приподнятый разговор. К Никите подошли Жуков, Мерецков и Конев. Заговорили о грузовиках. «Ты прав, конечно, Никита Борисович, без этого мы не вытянем. Нам еще сапог бы заказать в Америке. В лаптях даже Вася Теркин до Берлина не дочапает». Высший состав явно показывал новичку, вчерашнему «врагу народа», что он свой, что он один из них и никто его выскочкой не считает.

– Не я же это придумал, – очень в жилу тут вставил Градов. – В чем был секрет Брусиловского прорыва? Он первый посадил пехоту на грузовики.

– Серьезно? – удивился, то есть наморщил свою обтянутую голой кожей голову, Конев. – Значит, еще в шестнадцатом?

– Ну, механизацию пехоты во всех ведущих армиях мира начали еще в начале тридцатых, – сказал Мерецков. – И мы тоже.

– Правильно, – кивнул Никита. – Однако именно тогда стали говорить, что у нас нет надежной машины. Помните, Георгий Константинович, об этом еще...

Он осекся, едва не сказав «об этом еще Тухачевский говорил». Конев и Мерецков немедленно отвлеклись взглядами в сторону, Жуков же смотрел прямо на него. Все трое, конечно, немедленно поняли, чье имя едва не сорвалось с его уст. В лагерях шептались, что Тухачевскому на допросах чекисты выкололи глаза. Может быть, это была лагерная «параша», а может быть, и нет. А Жуков, кажется, свидетельствовал против Тухачевского. Так же, как и Блюхер, чье имя тоже нельзя произносить. А что такое Тухачевский? Палач Тамбова и Кронштадта? А ты сам, кронштадтский лазутчик, каратель, убийца моряков, жрешь лососину в логове грязного зверя! Мы все запятнаны, все покрыты шелухой преступлений, красной проказой... Он заполнил паузу большим глотком «Ркацители», просушил

губы накрахмаленной салфеткой и закончил фразу:

– Ну, вы, конечно, помните, товарищи, как об этом говорили в наркомате и генштабе.

Жуков серьезно и мрачно кивнул. Он помнил. Разговор снова оживился. Вторая фаза войны, ленд-лиз, коалиция трех колоссальных держав, все это прекрасно, ребята, – кто-то, кажется, Конев, так и сказал, «ребята», – однако немцы стоят все еще в трехстах километрах от Москвы, и еще неизвестно, что нам принесет летняя кампания. Скорее всего, они начнут наступление южнее, а именно на харьковском направлении, а может быть, и еще южнее, на Ростов и далее на Кавказ... так что, пока коалиция заработает на полных оборотах, «Васе Теркину» придется одному отдуваться. Так что давайте, ребята, выпьем сейчас за него, за нашу главную надежду, русского солдата!

И Никита, снова, как и при вручении наград, охваченный наплывом какой-то героической симфонии, поднял бокал и стал чокаяться со всеми окружающими, товарищами по оружию. Вся склизкая мерзость сдвинута швабрами истории в прошлое, сегодня мы все едины, история предоставляет нам шанс отмыться добела!

Разъезжались в ранних сумерках. Прожекторы уже начинали обшаривать московский небосвод. Зенитчики вокруг соборов и палат Кремля стояли на боевых вахтах.

– Куда сейчас, Никита Борисыч? – спросил Васьков. Как почти во всех вопросах хитрого мужичка, и в этом был подтекст. Ехать ли, мол, на улицу Горького, то есть домой, к деткам, а главное, к Веронике Александровне.

Конечно, хочется их всех увидеть, Борьку, Верульку... Однако Вероника наверняка уже знает, что при мне теперь Тася, дальневосточная медсестричка, полевая походная женка, как она сама себя очаровательно называет, ППЖ – с большим комплектом постельного белья, с буфетом, с целой сворой ординарцев под командой; молодка без комплексов, а с одним лишь, весьма благородным желанием услужить князю-командарму. Трудно себе представить, чтобы Вероника не знала об этом, уж кто-нибудь-то из генеральских жен-доброхоток непременно посочувствовал. Нет, невозможно сейчас встречаться, отводить глаза, преодолевать фальшивую интонацию, слишком сильно все уже раскололось, не склеишь. Вот что оказалось главной жертвой тридцать седьмого года, наша любовь...

– Ты что, не знаешь куда, Васьков? На фронт! Завтра – бой, все будем на передовой!

– Слушаюсь! – отвечал Васьков с якобы слепой преданностью, как будто между ними не было «отношений».

Бронированная машина командующего в сопровождении двух крытых грузовиков взвода охраны прокатилась мимо Кремля, прошла с сомнительным постукиванием в ходовой части по брусчатке Красной площади – «Васьков, слышишь?» – «Так точно, товарищ генерал-полковник! Принимаем меры!» – мимо толстопузого сундука с готическими башенками Исторического музея, на Манежную – по правую руку «жизнерадостная» архитектура поздних тридцатых, гостиница «Москва» и дом Совнаркома, в глубине смутно, сквозь сумерки выделялись колонны посольства нашего нового могучего союзника США, окна затемнены, но наверху сквозь щелку пробивается узкая полоска света – кто там сидит? Дипломат, разведчик, офицер связи? – двинулась вверх по улице Горького, сквозь аллею затемненных массивных домов, и вот он, мой нынешний «дом», который я обхожу стороной, вот его верхний этаж, семь окон моей квартиры – там сейчас, должно быть, Борис IV занимается с гантелями, наращивает мускулатуру, и тихая Верулька сидит с книжкой в кресле, и Вероника, должно быть, у себя перед трюмо, в страданиях «бальзаковского возраста», может быть, даже и с коньячком, – пошла вверх, все больше набирая скорость, все дальше уходя от «сердца родины», в сторону полей и холмов завтрашнего боя.

Никита посмотрел на профиль своего шофера. Васьков немедленно дрогнул в ответ, как бы с полной готовностью спрашивая: какие будут уточнения, товарищ генерал-полковник? Следи за дорогой, Васьков, никаких уточнений, просто изучаю. А чего же изучать-то, Никита Борисович, я теперь весь перед вами, как на ладони. Ну вот я и смотрю, как бы с ладони тебя не сдуло. Есть, товарищ генерал-полковник!

После позорного выступления Ереся в расположении авиаполка в декабре прошлого года Никита однажды, оставшись в блиндаже наедине, вырвал у Васькова из рук тальяночку и в буквальном смысле припер к стене с пистолетом под горло.

– Ну-ка, рассказывай, Васьков, все по порядку о своих делах с особистами!

Что оставалось делать, если вся жизнь твоя завязана на этом необычном человеке, все, можно сказать, скромное материальное благополучие?

– Пистолетом не надо стращать, товарищ генерал-полковник, пули не боюсь, а вот лучше напрямую поставить вопрос о моей к вам исключительной, многолетней преданности.

Да, еще в Хабаровске заставляли стучать на вас, но я так стучал, чтобы вам не вредить. Да, к Веронике Александровне подсылали после вашего

несправедливого ареста, однако я так действовал, чтобы матери-одиночке только помочь, и не только пальцем к ней не притронулся, но, напротив, отпугивал других желающих. Признаюсь, товарищ генерал-полковник, они, чекисты, меня сразу же к вам после освобождения приткнули, однако ж я так действовал, что всю им стратегию сбивал. Например, передал по инстанциям якобы ваши размышления о ценности Сталина.

– А о бездарности товарища Ворошилова не передал? – спросил Никита, зорко щурясь на своего незаменимого стукача. Пистолет он давно уж с васьковского горла снял, однако в кобуру не убрал, положил перед собой на стол.

– Ну что вы, Никита Борисович, как можно! – воскликнул Васьков. Эту сугубо интеллигентскую интонацию подслушал, должно быть, в Серебряном Бору.

Никита усмехнулся:

– А напрасно не передал, Васьков. Для того и было высказано, для передачи.

У Васькова дрогнули брыла, щенячьим восхищением засветились глазки.

– Значит, давно уже расшифровали, Никита Борисович? Малость играли со мной, да?

– Теперь играть не будем, – сказал Никита тем своим недавно появившимся, «фронтовым» тоном, который не оставлял несогласным никаких шансов. – Теперь все будет всерьез, Васьков!

Васьков трепетно подался вперед, понял, что не выгонит, вшей кормить в окопы не пошлет.

– Да я, товарищ генерал-полковник, ради вас на все готов!

– Что же, посмотрим.

Никита закурил папиросу, прогулялся по директорскому кабинету (штаб стоял в усадьбе совхоза), потом подошел к Васькову, в истуканской позе сидевшему у стола, заглянул в болотные глазки:

– Капитану Ересю тут у нас нечего делать. Слишком старается – на собственную жопу.

– Понял, – шепнул в ответ шофер. – Понял и знаю, как сделать.

– Ну, хорошо, Васьков, – усмехнулся Никита. – Сделаешь, когда скажу.

Дня через три после начала наступления командующий со всей своей кавалькадой прибыл в расположение 24-го пехотного батальона. Подразделение, вернее, то, что от него осталось, пыталось отдышаться среди холодных пепелищ некогда раскидистого села. Узнав, что батальон потерял в наступлении политрука и что без пополнения завтра они никак не

смогут выполнить свою задачу, Никита обнял комбата, мохнатобрового, с торчащими из ушей и ноздрей пучочками волос человека, за плечи:

– До завтра, комбат. Получишь два броневида и роту моряков, а комиссара... комиссара я тебе пришлю. – Он оглянулся на свиту в своей, уже всем известной, быстрой задумчивости, за которой обычно следовали мгновенные и непререкаемые «градовские» решения. – Вот тебе политрук! Капитан Ересь, до особого распоряжения откомандировываетесь к майору Духовичному.

Свита на мгновение застыла в прекрасной немой сцене. Чекиста, «особняка», который вроде бы был вне обычного подчинения, с которым все, так или иначе, осторожничали, главком одним махом отправляет на передовую, в завтрашнюю убийственную атаку! Главком же позволил себе удовольствие в течение нескольких секунд лицезреть игру кровеносных сосудов на лице своего соглядатая. Капитан Ересь, покачиваясь, нырял из неслыханного возмущения в ледяной ужас, а оттуда уже дрейфовал в сплошную синюшную зону гибели и отчаяния. Вот это тебе за всех, кого ты допрашивал, а может быть, и расстреливал, от имени всех, на кого ты стучал, с приветом от всех, кому ты душу изломал вербовкой. Теперь придется тебе с пистолетиком личный пример подавать, «за Родину, за Сталина!», сучий потрох!

На обратном пути с передовой старшина Васьков, мигая всем, чем можно мигать, то есть и носом, и бровями, и округлым, как уральский валун, подбородком, неслышно шептал:

– По гроб жизни не забуду, Никита Борисович! Верным оруженосцем вашим лишь позвольте остаться, не пожалеете!

– Прекратить мерлихлюндию, Васьков! – строго сказал Никита.

– Слушаюсь, товарищ генерал-полковник! – радостно гаркнул «верный оруженосец».

С этим теперь было все ясно. Далее следовало укрепить своими людьми весь штаб, всю канцелярию и всю группу охраны и связи. Свой человек давно уже у него сидел «зампотылом» – не кто иной, как генерал-майор Константин Владимирович Шершавый. С последним главкому точно пришлось иметь нелегкое объяснение, в результате чего «дивный вестник» вошел в разряд вернейших градовцев. Своих, а иной раз «своих» Никита определял на глазок, в полной уверенности, что «глазок» его никогда не ошибется, он продвигал на посты комкоров и комдивов, старался пронизать ими весь свой комсостав до полкового уровня.

Собственно говоря, этим же занимались все большие «шишки» войны, главкомы армий и фронтов. Считалось вполне естественным, что

военачальник вырабатывает свой собственный костяк армии или фронта. Центр если и не поощрял этого, то молчаливо не препятствовал. Неизвестно только, был ли и у других главкомов тот же прицел, что и у Никиты, – свести «стук» до минимума, вытравить из ближайшего окружения чекистскую коросту. Так или иначе, после первого полугода на посту главкома Особой ударной армии Никита добился своего: вокруг него стояли верные или казавшиеся ему таковыми «крепкие мужики» и «не хамы». Подразумевалось, что и не стукачи, ну, а так как без стукачей в Красной Армии невозможно, то делалось так, чтобы они, эти совсем уж необходимые стукачи, работали на своего дядю, а не на чужого.

Все эти градовские люди смотрели на своего молодого главкома – Никите еще не было и сорока двух лет – с восхищением, но без «мерлихлюндии», были ему верны – или так ему опять же казалось, – решительны и не трусливы. Все они знали, что Градов пойдет еще выше, что ему уже прочат Резервный фронт, а это означает, что и все они продвинулись вслед за ним, к новым кубикам, ромбам и шпалам, а может быть, и к неведомым звездам, ибо шли уже разговоры о возможном возврате армии и флота к дореволюционным знакам различия, то есть о превращении красного комсостава в миллион раз обосранное «золотопогонное офицерство». В редкие дни затишья командарм пускался в лыжный забег по проложенной загодя конвоем лыжне. Он отменял сопровождение и брал с собой только любимую собаку, крутолобого тугодума лабрадора по имени Полк. Ни в коем случае не Полкан, черт вас побери! Не смейте звать фронтовую собаку презренной дворовой кличкой! Скользя со все нарастающей скоростью, со все большим размахом рук вдоль кромки леса, Никита старался не обращать внимания на постоянно маячивших в отдалении «волкодавов» своей охраны. Ему хотелось хоть в эти редкие минуты почувствовать одиночество. Штабные, может быть, предполагали, что, вот так отдаляясь, Градов продумывает дальнейшие удары по фон Боку и Рундштедту, между тем всемогущий владыка трехсоттысячного воинства старался прежде всего разогнать по жилам кровь, прочувствовать каждую свою мышцу, пальцы, шею, грудь, длинные мускулы спины и черепаший панцирь живота, мощных львят под кожей плеч, ритмично играющих дельфинов в скользящих и летящих ногах. Иными словами, во время этих одиноких тренировок он пытался хоть ненадолго выбраться из командармовской шкуры, отрешиться от военно-политического значения своей персоны, вернуться к своей сути или хотя бы к этому страннейшему кожно-мышечно-костяному контейнеру, в котором путешествует его суть.

Неясные эти и, казалось, столь необходимые для самоосознания чувства постоянно отвлекались звуками близкой войны: то прогревающимися за березовой рощицей танковыми моторами, то отголоском внезапно вспыхивающих на передовой артиллерийских дуэлей, то нарастающим, и отлетающим, и снова нарастающим ревом сцепившихся в небе самолетов... Война – тысячи кожно-мышечно-костяных контейнеров живой сути, каждый в путанице своих собственных рефлексов, страхов и надежд, ежедневно встают и бегут навстречу летящим к ним миллионам отшлифованных кусочков металла, не вмещающих никакой сути, кроме взрывчатки. Каждую минуту происходят тысячи трагических – или элементарных? – стечений обстоятельств, соединения скоростей и остановок, движений влево или вправо, падений или подъемов, совпадений с неровностями земли, соединение секунд, мгновений, и живое сталкивается с неживым, плоть налетает на сталь или догоняется сталью, разрывается ею, с ревом или молча исторгает из рваных дыр вслед за мгновенно исчезающим паром крови свою личную, неповторимую суть, которая тут же растворяется в черных клубках стоящего на весь охват неба пожара. «Дальнейшее – молчание», если, конечно, не считать гниения и мерзких запахов, которые вопиют. К кому, к чему? Странно, но я, столько махавший саблей, стрелявший во все стороны из всех видов стрелкового оружия, я, косвенный, нет, прямой виновник гнусных расстрелов полосатогрудой братвы, я, едва не загнанный в плену красно-фашистской банды, я, отдавший всю жизнь войне, до сих пор, до вот этой, второй Отечественной, позорной сталинско-гитлеровской, что-то не очень-то постигал подлинный смысл этого человеческого занятия. Может быть, виной тому бесчисленная теоретическая литература, которой я так самозабвенно в тридцатые годы увлекался? Наукообразная игра в солдатики?.. Побывавшие недавно в расположении Особой ударной армии связные офицеры союзников, узнав, что командующий свободно читает по-английски, оставили ему охапку журналов «Тайм» и «Лайф». С той поры Никита сохранил привычку с любопытством пролистывать глянцевиные страницы, полные снимков со всех театров боевых действий Второй мировой войны. Там – за пределами России – пока что преобладали водная и воздушная стихии. Американская морская пехота на огромных пространствах Тихого океана высаживалась на клочки суши, имена которых звучали, как гимназические мечты двенадцатилетнего Китки Градова: Соломоны, Маршаллы, Новая Гвинея... «Летающие тигры», «томагавки», «небесные ястребы», «кобры», бомбардировщики с раскрашенными под акулы пасти кокпитами атаковали японские позиции

на Филиппинах. Камикадзе целились в гигантские авианосцы. В Атлантике англичане отбивали свои конвои от немецких подводных хищников. Много было снимков морских спасательных операций. Спасали своих, спасали и чужих. Экипаж только что потопленной подлодки среди пляшущих волн плыл в пробковых жилетах к английскому эсминцу. Лица немцев поражали спокойствием, иные даже улыбались, видимо, были уверены, что англичане вытащат их из воды, а не пройдутся им по башкам пулеметной очередью. Увлекательная, почти мальчишеская, почти спортивная война! Какое отношение она имеет к нашей бесконечной грязи, гнили, гною, ошеломляющему по масштабам и непримиримости уничтожению плоти? Сухопутная война в Африке тоже выглядела весьма увлекательно. Там явно не было тесноты. На фоне огромных пустынных горизонтов – атаки редких танков и стрелков в блюдоподобных касках и шортах до колен. Артиллеристы обслуживали орудия голые по пояс, стало быть, одновременно можно было и воевать, и загорать. Патрули въезжали на открытых броневичках в древние арабские города; за зубчатыми стенами угадывались дивные мордашки, до глаз прикрытые чадрой.

«Лайф» преподносил серию снимков о прошлогодней победоносной кампании в Абиссинии. «Капитуляция герцога Аоста оказалась кульминационным пунктом восточноафриканских операций. 19 мая в Амба-Алачи итальянская армия численностью 19 000 сложила оружие. Вице-король Абиссинии и главнокомандующий итальянскими силами в Восточной Африке с пятью его генералами и штабом сдались последними. Вы видите герцога Аоста в сопровождении английских офицеров выходящим из пещеры, где располагалась его штаб-квартира. Потерпевшим поражение войскам были оказаны воинские почести перед строем шотландского полка „Трансвааль“.

Герцог Аоста был длиннее всех длинных англичан и довольно нелеп в своих тонких крагах. Он шел рядом с улыбающимся английским командующим и что-то тому увлеченно объяснял, очевидно, причину поражения своих войск. За ними вперемешку двигались английские и итальянские офицеры. И те и другие были в легком светлом обмундировании. Многие англичане – в шортах. Один полковник в классической позе держал под мышкой свой стек. Итальянцы, как проигравшие, держались несколько более скованно, чем победители, хотя, казалось, именно им принадлежала в этом краю роль хозяев, англичане же явились в гости. Герцог Аоста сжимал в левой руке перчатки. Не исключено, что он в принципе не очень-то был разочарован создавшейся ситуацией: лучше все-таки попасть в плен к британским колонизаторам,

чем к абиссинским дикарям. Его войска между тем маршировали перед строем шотландских гвардейцев. Потом шотландцы маршировали перед его войсками. Разница заключалась в том, что первые несли в руках ружья, тогда как у последних руки отдыхали. Играли шотландские волынщики и итальянские трубачи. Никита показывал эти снимки своим штабным, и те шумно хохотали. Женевская конвенция, тудыт ее горохом! Никита тоже улыбался. А между тем так и должны завершаться цивилизованные войны, черти полосатые! Партия сыграна, гроссмейстеры останавливают часы, обмениваются рукопожатием.

Цивилизованные войны, элегантные мясорубки. Суть войны, которой я, мальчик из династии русских врачей, отдал всю свою жизнь, все-таки выявляется здесь, где пленных гонят как грязный скот и при первой возможности просто избавляются от них, все мы знаем как; где идет террор гражданского населения, где мы уходим, за собой поджигая и взрывая все, не думая о тех, кто остается, а потом возвращаемся и видим плоды своей жестокости и адской жестокости врага, все те же гниль и вонь, чудовищное уничтожение плоти... ради чего, ради спасения родины или ради победы Сталина над Гитлером?.. А теперь, когда эти великолепные вояки, тевтоны, взялись за массовое уничтожение еврейских детей и старух... вы по-прежнему настаиваете на джентльменстве, учредители конвенций?

Он умерял свой бег, тормозил и, наконец, останавливался среди заснеженных сосен и берез, горячий и румяный. И, как всегда после выхода из лагеря, немного ожесточенный. Это почти незаметное, как ему казалось, лагерное ожесточение было, очевидно, все-таки заметно окружающим. Не раз он спотыкался о взгляды людей, как будто понимавших и боявшихся. Немедленно возвращался Полк, трогал лапой, подставлял свою крутую лбину. Никита ободрял пса ласковой трепкой за ушами: «Хороший пес, хороший, немного туповатый, но это бывает среди солдат»...

То, что я делаю, противоречит моему предназначению. Мне предназначено было стать врачом, как отцу моему, деду и прадеду, я должен был заботиться о человеческой твари, а не посылать тысячами на убой. Однако если я делаю то, что я делаю, значит, таково и было мое предназначение, не так ли?

Ну-с, поздравляю, блистательно завел самого себя в «котел» предательской логики. Теперь выбирайся! Он смотрел на часы и, сильно махнув сначала левой, а потом правой лыжей, поворачивал назад. Немедленно меж стволов или из-за ближайшего бугра появлялась охрана, верные «волкодавы»-автоматчики. Разумеется, они всегда присутствовали. «Князь войны» возвращался в свои владения.

Тут следует еще добавить, что к его блистательным сорока двум годам у генерал-полковника Никиты Градова развился исключительный эротический аппетит. Молодых баб вокруг было немало – медсестры, связистки, секретарши службы тыла, летчицы полка ночных бомбардировщиков, – и все они знали об этой слабости своего любимого командующего, и многие, ох, знали об этом совсем не понаслышке. Дальневосточные, однако, впечатления оказались незабываемыми. Месяц назад Никита послал Васькова за Тасей, и она, разумеется, тут же приехала и очень быстро освоилась в роли главной фронтовой спутницы героя, продолжая и в самые интимные минуты называть его с исключительной услужливостью на «вы» и Никитой Борисовичем. Ну, только в самые уж разынтимнейшие моменты позволяла себе Тася забирающее за душу: «Ой-е-ей, Ники-и-итушка-а-а Борисо-о-ович».

Так жил красный герой и бывший зек, молодой полководец все разворачивавшейся мировой войны. Каждую минуту он должен был держать в уме все свои позиции, тылы и фланги, а также воздушное пространство над головой, и как водитель за рулем начинает ощущать автомашину продолжением своего тела, так и Никита уже вбирал в понятие своего «я» все многие тысячи, находившиеся у него в подчинении, всю технику и весь боезапас и нередко мысленно, а порой и вслух употреблял такого рода выражения: «левое мое крыло выходит к Ржеву, в то время как правое мое крыло охватывает Вязьму».

И только один маленький отряд полностью выпадал из этого охвата его крыльев – его собственная семья. Они, казалось, эти трое, в большой квартире на улице Горького – генеральша Вероника, Бобка IV и Верулька – совсем к его нынешней жизни не относились, принадлежали вроде бы прошлому, в котором некий фантом, именуемый Никитой Градовым, хоть и существовал, но все-таки не был еще настоящим Никитой, то есть командующим Особой ударной армии. Все больше сгущались сумерки за кормой идущего к фронту броневика, тускнела косо лежащая над крышами раскаленная шпала заката. Москва уходила в таинства светомаскировки. Парящая над Страстной дева социализма старалась не взирать на западные рубежи.

Глава одиннадцатая

Кремлевский хозяин

После завершения генеральского приема Сталин отправился в свой кабинет, куда ему подали ужин. За его стол в этот вечер был приглашен только один человек, нарком, или, как все чаще говорили в столице, министр государственной безопасности, Лаврентий Берия. Помощник Берии, молодой полковник, и трое из охраны Сталина по грузинской традиции тоже были приглашены к столу. По этой же традиции ребята слегка поломались, дескать, как можно нам, людям заурядного калибра, сидеть рядом с великим вождем, но потом с превеликим счастьем расположились за дальним концом длинного конференц-стола.

Ужин был такой, как Сталин любил, в простом грузинском стиле. Ломали горячий чурек, овощи макали прямо в соль, курчонка обирали руками, каждый сам себе наливал красного вина. Сталин пристрастился теперь к коллекции «Киндзмараули», ему казалось, вся животворная сила кахетинских долин вместе с этим вином вливается в его 63-летние жилы. Первую пару стаканов он выпивал залпом, сразу возвращался боевой дух, исторический оптимизм, потом потягивал, временами воображая себя пастухом на склоне горы, где-нибудь под Телави: сижу с трубкой на удобном камне, ноги в шерстяных чулках и галошах, плевать на все войны и заговоры; в эти моменты лукаво щурился.

В последние два месяца Сталин почти совсем уже успокоился. Кажется, не пропадем. Не удастся Адольфу повести меня по Берлину с веревкой на шее. Историческая ситуация складывается в пользу свободолюбивых народов мира. В армии новый комплект людей работает неплохо. Будущие историки, быть может, укорят меня за устранение потенциальных изменников, а может быть, и похвалят. Может быть, укорят как раз за то, что не всех тогда выявили. А верных, надежных военачальников осталось достаточно. Взять хотя бы Жукова, Конева, Власова... Конечно, были ошибки и в другую сторону, как же без этого, не ошибается тот, кто не имеет ни малейшего понятия о ходе истории. Хорошо, когда некоторые ошибки можно исправить, как, скажем, в деле Константина Рокоссовского или этого, Никиты Градова... Этот, кажется, является сыном того врача... Сталин усмехнулся. Моего врача. Хорошего врача, в отличие от скотины Бехтерева, которого отравили еще в двадцать седьмом, паршивом, году...

Сталин снова усмехнулся. Берия сидел в страшном напряжении, пытаясь разгадать усмешки «тирана», как он всегда в своих глубинах называл любимого вождя. Помощник Берии, полковник Нугзар Ламадзе, ломая хорошо прожаренного, хрустящего цыпленка, тоже следил за малейшими колебаниями теней и света на лицах вождей. Теоретически, думал он, я мог бы сейчас одномоментно изменить ход истории. Двумя прыжками пролететь отсюда до того конца стола, схватить литровую бутылку «Киндзмараули», обрушить ее на голову товарища Сталина! Товарищи из его охраны, очевидно, не успеют вовремя среагировать. Далее открывается большой простор политическому воображению.

– Этот Градов, – проговорил Сталин. – Как он тебе, Лаврентий?

Берия мгновенно внутренне перестроился. В этом и состоял секрет его столь благоприятно развивающихся отношений с «отцом народов» – бесконечная череда внутренних перестроек. Сейчас перед Сталиным сидел бдительный страж всенародной и его личной безопасности.

– Сказать по правде, товарищ Сталин, мне в его взгляде что-то не понравилось, – осторожно заметил он. Сказать ли товарищу Сталину, что есть сигналы на Градова, и весьма серьезные сигналы? Нет, пожалуй, сейчас это будет неуместно. Конечно, полностью неуместно сейчас, сразу после вручения наград. В будущем, однако, если накопится материал, можно будет напомнить товарищу Сталину эту реплику про взгляд, то есть подчеркнуть свою прозорливость.

– Он хороший солдат, – сказал Сталин.

– Конечно! – тут же перестроился Берия. – Великолепный солдат!

– Взгляд, – проворчал Сталин. – У всех людей во взглядах мелькают неожиданные вещи. Иногда и у тебя, Лаврентий Павлович, ловлю во взгляде что-то неприятное. – Как бы в поисках подтверждения своей мысли, Сталин обвел глазами комнату и остановился на Нугзаре Ламадзе. – Вот и у этого полковника во взгляде может что-нибудь такое мелькнуть. Что ты имеешь в виду – «взгляд», Лаврентий?

Волна перестроек захлестнула Берию. Пытаясь что-то нащупать, он наконец остановился на чем-то вроде бы подходящем.

– Я имею в виду «ежовскую травму», товарищ Сталин, – сказал он. – Это нелегко забыть.

Кажется, попал! «Ежовская травма» явно понравилась Сталину. Берия давно заметил, что вся интрига с безжалостным карликом Сталину явно была по душе. Очевидно, он даже гордился ею. Столько сделать руками этого человека, а потом убрать его с таким, панымаэш, ызачэством в жопу истории! Горе мне, думал тем временем Нугзар по-грузински, доберусь ли

я сегодня до моего дома? Сталин отодвинул тарелку и вытер усы:

– Ну, хорошо, Лаврентий, какие новости из Америки?

Берия снова мгновенно перестроился, превратившись из осторожного бдителя внутренней безопасности в широкого, стратегически мыслящего деятеля международного масштаба, четко управляющего всеми службами зарубежной агентуры.

– В Белом доме уже разрабатывается план колоссальной высадки. Это как раз то, о чем нам сообщали из Англии. Сотни кораблей, тысячи самолетов...

– Высадка в Европе?! – Сталин быстро здоровой рукой придвинул к себе коробку «Герцеговины Флор», вытащил трубку из кармана кителя. – А ты в этом уверен, Лаврентий?

– Высадка – это вопрос недель, товарищ Сталин, – уверенно заговорил Берия. – Сведения из самых надежных источников. Только еще неясно, где высадятся. Во всяком случае, на юге, товарищ Сталин, не на севере. Может быть, во Франции, может быть, в Италии, чтобы заодно отрезать армию Роммеля. По всем признакам уже создано объединенное командование операцией. Во главе – американский генерал Эйхен... Эйхенбаум, кажется... какая-то еврейская фамилия, – матово отсвечивающее пенсне на секунду повернулось в сторону полковника Ламадзе.

– Генерал Дуайт Эйзенхауэр, товарищ Сталин, – тут же скромно доложил полковник. Все остатки ужина были уже отодвинуты. На скатерти перед Ламадзе лежала тонкая кожаная папка с последними оперативками.

Сталин бросил на него быстрый взгляд. Как будто дотронулся до ребра кинжалом, подумал Нугзар. Облачко ароматного дыма поднялось над плотной, словно слежавшейся шевелюрой вождя.

– А ты не путаешь опять, Лаврентий? – с мягким юморком спросил он.

В этот страшный момент Берия не успел перестроиться, выдал себя мгновенно запотевшими стеклышками, покотившейся по правой носогубной складке капелькой пота. Оглушить бутылкой по голове, объявить по радио о трагической кончине, заключить сепаратный мир с Германией, все отдать, что потребует Адольф, расширяться за счет британских колоний на Ближнем Востоке, взять Иран... Как себя поведет Нугзар? Ф-ф-у, что только в голову не приходит, ебенаматрена, совсем я чатохлеебуло...

– Почему «опять», товарищ Сталин? – почти жалобно спросил он. – Что вы имеете в виду – опять, товарищ Сталин?

– Ты что, забыл свои ошибки, Лаврентий? – с прежней мягкостью стал выговаривать ему, словно нерадивому ученику, Сталин. – Забыл, как

сигналы о немецко-фашистском вторжении игнорировал? Как наших агентов казнил за распространение паники? Короткая у тебя память, товарищ нарком! Может быть, еще что-нибудь тебе напомнить? Как насчет четырнадцати тысяч польских офицеров, которые бы нам сейчас так пригодились для совместной борьбы со зверем?

Вот так, подумал Берия, конечно же, мне не избежать судьбы Ежова. Ведь все же было им подсказано, им самим, и «сеятели паники», и поляки... всю жизнь я разгадываю желания Кобы, что это за судьба... и всю жизнь я же – под угрозой разоблачения! Теперь с этими польскими антисоветчиками. Рано или поздно это дело выплывет на поверхность, тем более что и захоронения оказались на оккупированной территории, и тогда, на всякий случай, есть уже козел отпущения, Берия.

Он нашел в себе силы больше не возражать «тирану» и только лишь сделал знак своему помощнику. Стройный полковник немедленно взял кожаную папку и понес ее вдоль стола к Сталину. Охрана вождя следила за его движением хорошими бдительными взглядами. Сталин открыл папку, жестом отослал полковника на место, выпустил очередное облачко отработанной «Герцеговины». Оборванные мундштуки папирос валялись перед ним на столе. Что за странная привычка – ломать папиросы, чтобы набить трубку? Неужели не может себе заказать лучшего в мире табаку?

– Америка, – медленно, с удовольствием произнес Сталин, как будто ложку меда вытаскивал из банки. У Берии отлегло от сердца: значит, вовсе не собирается развивать тему «ошибочек», просто сорвал на нем какое-то свое мимолетное неудовольствие. Сталина на самом деле кольнуло острейшее неудовольствие, когда пошел разговор о планах высадки союзников. Почему не довели до его сведения? Значит, по-прежнему не доверяют? А может, еще считают ниже себя, прислужники капитализма? Впрочем, тут же подумал он, планы настолько секретны, что их нельзя передавать ни через курьеров, ни радиодепешей. Идею встречи «большой тройки» мы пока отклонили. Встречаться на каких-то сомнительных островах, в сомнительном Каире, лететь туда на «летающей лодке», страдать от страха и тошноты – увольте: руководитель Советского Союза пока считает это преждевременным. Черчилль собирается в Москву, это его дело. Должно быть, как раз с этими новостями и прилетит, и тут мы слегка его ошарашим нашей информацией. От этой мысли у Сталина тут же подскочило настроение, и он забыл об «ошибочках» своего наркома. Америка, думал он с удовольствием, перелистывая оперативки. Такая страна, такая производительность! Почему мне выпала паршивая Россия для воплощения великих идей? В Америке мы давно бы уже построили

образец коммунизма для всего мира... нэ повэзло. Как Пушкин однажды сказал: «Черт догадал меня родиться в России с душою и с талантом». Америка, вот это страна! Ресурсы, индустрия, массы, то есть производительность труда!

Так, пококетничав немного сам с собой, Сталин вдруг сильным взглядом прошил полковника Ламадзе.

– Ты откуда, джигит? – спросил он его по-грузински.

Это было так неожиданно, что Нугзар вскочил с грохотом стула и каблуков и, только поняв, что вопрос неформальный, да и задан на неформальном языке, так сказать, языке очага, вернулся в прежнюю позицию под улыбчивыми взглядами охраны.

– Мы из Сигнахи, товарищ Сталин. Ламадзе из Сигнахи, товарищ Сталин, – сказал он, как бы извиняясь за свою чрезмерную реакцию на простой вопрос старшего человека, да заодно и за городок Сигнахи, так красиво висящий над Алазанской долиной.

– Ламадзе... Ламадзе из Сигнахи, – попытался припомнить Сталин. – Послушай, вы не родственники ли тем боржомским Ламадзе, к которым имеют отношение кутаисские Мжаванадзе?

Нугзар просиял:

– Вы совершенно правы, товарищ Сталин! Моя боржомская тетя Лавиния была женой Багратиона Мжаванадзе, директора винодельческого совхоза в Ахалцихе.

– Ага! – торжествующе воскликнул Сталин. – Стало быть, и те Кикнадзе, батумские пароходчики, – ваши родственники?

– Разумеется! – радостно продолжал подыгрывать вождю Нугзар. Он, конечно, уже понимал, что мнимое родство с какими-то капиталистами из Батуми ему сейчас никак не повредит, а, наоборот, будет хуже, если откажется. – Сигнахская ветвь Кикнадзе, товарищ Сталин, нам очень близка. Мы жили дом в дом с дядей Николой Кикнадзе, пока не переехали в Тифлис.

– А я ничего этого не знал, – с притворной озадаченностью произнес Берия.

– Ага, – очень довольный сказал Сталин. – Я вижу, память меня не подводит! Ты, стало быть, джигит, должен быть родственником тем тифлисским Гудиашвили, а? Помнишь, Лаврентий, была там знаменитая аптека Галактиона Гудиашвили?

– Я его родной племянник, товарищ Сталин, – на том же радостном порыве поисков общегрузинского родства произнес Нугзар и только потом уже почувствовал дуновение могильного холода, давление мраморного

пресс-папье на макушку. Мелькнул величественный предсмертный взгляд убиенного им дяди Галактиона. Сталин, к счастью, в этот момент на него не смотрел, весь обернувшись к Берии.

– Очень хорошо помню эту замечательную аптеку. Я обычно там покупал такие, – он прыснул, как кот, – такие штучки по десять копеек, две штучки в пачке. Не всегда был мой размер, к сожалению.

Он захохотал, и Берия захохотал почти одновременно. Эдакое добродушное мужчинство. Мы, собственно говоря, одна компания, я, Клим, Вячеслав, Лазарь, Лаврентий... словом, одна компания, держащая власть. Нугзар приложил ладонь ко лбу. Холодный пот перешел на ладонь. Все в порядке.

Сталин повернулся к нему:

– И такой джигит все еще полковник? Непорядок, Лаврентий! Так и вижу этого сигнахского Ламадзе с генеральскими погонами на плечах, хотя погон в нашей армии еще нет.

Все присутствующие заулыбались, зная красивую мечту Верховного главнокомандующего о переходе к старым знакам различия. Сталин определенно был сегодня в отличном расположении духа. Еще бы: поощрил свой высший генералитет, получил добрые вести из Америки, хорошо поужинал в симпатичной грузинской компании. И сова сегодня не фокусничала, скромно, невзрачным серым чучелом сидела на люстре под высоким потолком. Он встал из-за стола, и все встали. Попрощался за руку с верным Лаврентием и с новоиспеченным генералом Ламадзе. Хорошее вино всегда приводит к правильным идеям. Теперь у этого джигита есть прямой выход на меня, и я его запомню на тот случай, если наркомвнудел начнет фокусничать.

В дверях он задержал Берию:

– Да, кстати, а кто там у Градова, в Особой ударной армии, начальником политотдела?

– Генерал-майор Соломон Головня, – тут же ответил нарком.

Сталин еле заметно поморщился. Не очень-то красиво звучало это имя, далеко не идеальное звучание.

– Надо укрепить этот участок, – проговорил он. – Помочь Градову преодолеть «ежовскую травму». Подумай о кандидатуре и доложи.

Спускаясь по ковровым дорожкам мраморной лестницы, Берия, как всегда после встречи с «тираном», думал о его исключительных способностях. Какой шахматист, какой психолог, все ловит, ничего не забывает! Даже Нугзарку не забыл! Он приостановился. Сияющий Нугзар едва не налетел на него.

– Хорошо, что ты не все рассказал о своих родственниках, Нугзар, – тихо, но очень внятно сказал наркомвнудел.

Антракт V. Пресса

«Тайм», 22 июня 1942 г.

Американский посол в Виши, высокий лысый адмирал Лихи, встретился с маршалом Пэтэном. Вот его впечатления:

1) Старый маршал теперь не верит, что державы «Оси» могут выиграть войну.

2) Пэтэн желает победы союзникам.

3) Пэтэн упорно сопротивляется нацистскому давлению, осуществляемому через Лаваля, включая угрозу уморить голодом 1 500 000 французских военнопленных.

4) Адмирал Лихи лично глубоко уважает маршала Пэтэна.

Молотов посещает Лондон инкогнито. Он вылез из самолета в стеганом костюме и пилотском шлеме. Огромный четырехмоторный бомбардировщик был сюрпризом для офицеров Королевских ВВС. Экипаж был настолько многочисленный, что англичане стали задаваться вопросом, когда кончится очередь людей, выпрыгивающих из машины...

Фотограф «Дейли Миррор» был арестован полицией...

Официально Молотова именовали «Мистер Смит из-за границы»...

Мистер Вэндел Уилки приземлился в Москве на «летающей крепости», которую русские называют «чудовище»... На другой день он с послом Стэндли пошел слушать Седьмую симфонию Шостаковича. Он также слушал концерт Леонида Утесова с его джазом РСФСР... Все русские спрашивали Уилки: «Когда будет второй фронт?» В Кремле мистер Уилки обедал со Сталиным. «Скажите американцам, – сказал вождь, – что нам нужны все продукты, которые они могут послать...»

«Тайм», 17 мая 1943 г.

На Манхэттене состоялся просмотр нового фильма «Миссия в Москву». Противоречивый фильм вызвал бурю среди интеллигенции. Полный восторг среди коммунистов. Автор «Дейли Уоркер» Майк Голд назвал фильм «патриотическим и бесстрашным, лучшей пропагандистской картиной» в его жизни. Люди, менее приверженные сталинизму, реагировали по-разному. Энн Маккормик из «Нью-Йорк Таймс» считает, что фильм «абсолютно несправедлив к России и неверно представляет

Америку»...

Литературный критик Эдмунд Уилсон, бывший марксист, назвал фильм «обманом американского народа»... Философ Джон Дьюи сказал, что «Миссия в Москву» – первый в нашей стране пример тоталитарной пропаганды»...

Фильм, между прочим, показывает маршала Тухачевского на суде, тогда как тот был тайно казнен без всякого суда...

Наряду с гордостью за свою армию советские газеты полны неукротимой ненависти. «Убей немца! – торжественно призывают „Известия“. – Убить как можно больше немецких солдат и офицеров – это священный долг каждого красноармейца, каждого партизана, каждого жителя оккупированных территорий...»

Дети спрашивают своего отца: «Папа, сколько немцев ты убил сегодня?»...

«Ньюсуик», март 1943 г.

После 15 месяцев того, что Гитлер назвал «арийской колонизацией», Харьков выглядит, как город, прошедший через землетрясение, черную чуму и чикагский пожар... Как только немцы вступили в город, вдоль всей Сумской на каждом балконе появились повешенные русские... Красивые украинские девушки отправлялись в Германию как товар...

Май 1943 г.

Московские семьи наконец-то получили возможность отведать американской ветчины. В магазинах выдавали по два фунта этого редкого для Москвы деликатеса...

На вопрос корреспондента «Нью-Йорк Таймс» и лондонской «Таймс» Ральфа Паркера, хочет ли Россия видеть Польшу сильной и независимой, Сталин ответил: «Разумеется, хочет».

Посол Джозеф Дэвис прибыл в Москву, где его встретил представитель Молотова Деканозов, похожий на одного из семи гномов, но не на Допи, поскольку он один из самых толковых людей в СССР. «Если увидите у нас что-нибудь плохое, скажите нам. Если что-нибудь хорошее, всему миру» – такова была просьба Деканозова.

Фото: Дэвис и Сталин. Два «Джо» сияют перед камерой.

«Таймс», 8 марта 1943 г.

Французские партизаны атаковали гранатами казино де Лиль, убив при этом 23 немецких офицера.

«Ньюсуик», август 1943 г.

Генерал-лейтенант Петр Сабенникофф, 6 футов 4 дюйма, рассказывает: «Под Курском были сконцентрированы ударные части, хорошо тренированные молодые жесткие мужики до 30 лет.

Однако и они начали сдаваться... Те, с кем я разговаривал, заявляли, что на них очень подействовало падение Муссолини...»

Ревут бомбардировщики. Взрывается мина замедленного действия. В землянке кто-то играет на аккордеоне вальс Шопена...

...Капитана Рикенбэйкера пригласили русские летчики, чтобы проверить его выносливость на водку. Возвращаясь по пустынным московским улицам, он возглашал: «Я сбил троих, шесть под вопросом, Бог знает сколько ушли с повреждениями...» Утром он сделал следующее наблюдение: «Новые эполеты царского происхождения в Советской Армии, уважение к военным чинам и снижение роли комиссаров – это путь к капитализму и демократии!»

«Нью-Йорк Таймс», февраль 1943 г.

Воронеж. Граждане разыскивают свои дома, солдаты – вражеские мины.

Вслед за заявлением посла Стэндли о том, что Советский Союз недостаточно сообщает об американской помощи, ваш корреспондент поспешил устроить проверку в московских продовольственных магазинах... «Конечно, мы получаем американские товары, – сказали ему в одном из магазинов, которые здесь называют гастроном. – Вот сыр, великолепный ляд, сахар, растительное масло...» Продавцы выражали спокойное удовлетворение, но отнюдь не бурную благодарность.

Половина всех танков, отправляемых по ленд-лизу, и сорок процентов тактических самолетов идет в Россию.

Советский посол в США Максим Литвинофф возразил адмиралу Стэндли, сказав, что советский народ глубоко ценит американскую помощь.

«Таймс», апрель 1943 г.

Епископ из Сейнт-Элбанс запросил правительство в палате лордов, является ли производство противозачаточных средств делом государственной важности, и получил ответ от лорда Манстера: «Нет, сэр...»

Антракт VI. Конь с плюмажем

Старый цирковой мерин Гришка коротал свой век в конюшне на Цветном бульваре. Его давно уже не выпускали на манеж, хотя он был уверен, что без труда выполнил бы всю программу: и круговой ход, когда вольтижировщик прыгает тебе на спину и встает на седле с широчайшим комплиментом к публике, и поклон с подгибом обеих передних конечностей и с покачиванием роскошного султана, и даже вальсировку на задних копытах под медные «Амурские волны». Он скучал по этим церемониалам. В бытность свою императрицей России, Гришка тоже любил все парадное, пышное, ярчайшее, внимание сотен глаз, прикованных к полным величественным плечам матушки-Государыни, проход вдоль строя шестифутовых гвардейцев, внимательный отбор лучшего банана, наиболее впечатляющей виноградной грозди. Говорили, что во внимание принимались только размеры, это было неверно. Важнее было общее, месье Вольтер, гармоническое развитие этих «простодушных» а'la Russe: крепкий нос, хорошо подкрученный ус, достаточной, но не чрезмерной ширины грудь, втянутый живот, выпирающий под лосинами животрепещущий натюрморт; надеюсь, Вас не шокирует эта обратная игра слов. Итак, третьего, седьмого и одиннадцатого сразу после приема австрийского посланника ко мне в спальню!

Дальнейшее никогда не вспоминалось Гришке, да и вообще, если что-нибудь и являлось из астральных пучин, где размещалась теперь прежняя империя, то это были лишь покачивания высоких напудренных причесок, сверкание алмазных диадем, звон оружия, музыка, то есть все тот же цирк.

Однажды пришел старый друг и повелитель, конюх, которого тоже звали Гришкой. Станным образом от него в тот вечер меньше, чем обычно, пахло сивухой. Гришка-конь не знал, что в осажденном городе практически прекратилась продажа спиртного.

Гришка-мужик надел на коня узду, прижался наждачной щекой к его ноздре и немного всплакнул. «Эх, тезка, – забормотал он. – Падлы позорные велят мне вести тебя на бойню в Черкизово по причине нехватки фуражу. Такого артиста и неплохого коня – под топор! Лучше бы мы сбежали с тобой еще в одна тысяча девятьсот тридцать седьмом году на вольный Кавказ...»

Экую несурязицу плетет сегодня мужик, подумал Гришка-конь и стал выводить из стойла свое белое в яблоках тело. Конюх шел за ним,

прицепившись к узде. Они вышли на ночной бульвар, над которым в небе косо висела огромная аэростатина. А он говорит, что в городе нечего есть, подумал Гришка-конь. Экую несуразицу плетет этот мужик. «На что твоя шкура пойдет, я не знаю, – продолжал бубнить конюх. – Может получится пара сапог. А из мослов твоих, может, клею наварят, Григорий. Тоже полезный продукт...»

«А ведь как ты был хорош, Гришка! – вдруг, словно после стакана, воспламенился Гришка-мужик. – Ведь под золотыми попонами выплывал, точно пава, точно царица цариц! Был бы ты жеребец, отправил бы тебе на племенной завод, кобылок бы трепал до скончания дней, имел бы овес!»

Так они вышли на Самотеку к проходящим через столицу артиллерийским частям. Многие пушки были на конной тяге. Солдаты взяли Гришку-коня у плачущего старика. Так подошла к концу эта очередная инкарнация большого женственно-лошадиного начала. Как и русская императрица, Гришка-конь погиб с именем России, то есть блистательного цирка, на устах. И был расклеван вороньем, и был расклеван вороньем.

Глава двенадцатая

Лето, молодежь

В июле 1943 года вспомогательная команда «Заря», что располагалась в казарме на окраине Чернигова, была поднята еще до рассвета для выполнения спецзадания. Команда эта состояла из бывших русских военнопленных и была, по сути дела, подразделением создаваемой Русской освободительной армии, которую возглавил перешедший год назад на сторону немцев генерал-лейтенант Андрей Власов. Солдаты были обмундированы в немецкую серую форму, о принадлежности же к власовским частям говорили нарукавные нашивки с надписью «РОА».

Многие парни в эти летние дни в подражание немцам закатывали рукава до локтя и расстегивали воротники. Мите же Сапунову этот чужой шик не нравился, меньше всего он хотел походить на арийского завоевателя. Вот Гошка Круткин тот как раз из кожи вон лез, чтоб его хотя бы издали местные бляди принимали за человека первого сорта, «херренменша»: и сигаретку приклеивал к нижней губе на немецкий манер, и словечками любил бросаться, вроде «шайзе», «швайн», «квач», и «Лили Марлен» вперемежку с «Розамундой» насвистывал.

Почему-то он очень сильно подрос за полтора года в немецких тылах, сравнялся почти ростом с крупным Сапуновым и стал чем-то напоминать идеологического офицера Иоханна Эразмуса Дюренхоффера, который нередко посещал русские части для произнесения речей. Суетливости у него, однако, не убавилось, и по отношению к Мите он по-прежнему выступал в прежней роли шухарного такого пацанчика на подхвате. Удивительно, как он всегда умудрялся не отстать от Мити, несмотря на бесконечные переформирования. Всегда он так устраивался, чтобы попасть в одну и ту же роту, взвод и даже отделение с Сапуновым. Впрочем, и Митя теперь то и дело оглядывался – здесь ли Гошка? Привык как-никак. Какое-то вроде чуть ли не родственное появилось отношение к этому шибздику. Один только раз за полтора года из-за паршивой девки, коммунисточки, заимел Митя зуб на верного оруженосца, но об этом теперь и вспоминать не хочется. Грязное было, мародерское дело, и кто в нем виноват, не поймешь. Вскоре махнул рукой: забыть и растереть; война – она все спишет.

Все эти полтора года русских добровольцев из спецзоны «Припять» только и делали, что перевозили по территории рейха. Немецкое

командование, похоже, не знало, что делать с ними. То вдруг начинали усиленную муштру, то бросали на несколько недель бесхозными. Оружия приличного не доверяли. До «шмайссера», например, никто из них и не дотронулся. Таскали тяжелые карабины времен Первой мировой войны, да и к тем боезапас выдавали только по особому распоряжению. Обучали пользоваться немецкими гранатами, но как обучили, так гранаты тут же отобрали.

Не особенно даже было понятно, кто командует. Немецкие инструкторы постоянно менялись. Русские комитетчики, вроде полковника Бондарчука, заявлялись, толкали речуги и тоже линяли. Использовали русских на самой что ни на есть подсобке. То вагоны посылали разгружать, то в караул вокруг железнодорожных станций. Один раз в Винницу привезли готовить стадион к нацистскому празднику. Устанавливали скамейки, поднимали мачты для знамен. Много хлопот было с огромным портретом фюрера в кожаном пальто с поднятым воротником и надписью по-украински: «Гітлер – визволитель». В боевых действиях Мите с Гошей пришлось за эти полтора года участвовать ну не больше двух-трех раз, да и то, что это были за действия, типичная суходрочка. Один раз привезли куда-то на территорию Польши только что переформированный батальон, раздали патроны, выбросили в большое поле. Впереди деревенька с костелом, за ней лесные холмы синеют. Пара бомбардировщиков гвоздит без перерыва лес и деревеньку. Потом с полдюжины бронетранспортеров пошли на деревеньку, а русский батальон пустили пешком через поле. Стреляли на ходу из своих карабинов. Неизвестно, куда эти пули летели. В лесу, однако, немало лежало побитых ребят в квадратных конфедератках. На опушке расстреливали пленных. По счастью, ни Митя, ни Гоша в расстрельную команду не попали и прошли мимо, как будто это их не касается.

Еще пару раз пришлось стрелять, на этот раз под Бобруйском. Там тоже из леса выкуривали партизан, но в этот раз уж своих, советских. Вот там как раз, под Бобруйском, противнейшая история с девкой произошла, о которой вспоминать не хочется. Потом опять на переформирование повезли, теперь в Германию, в городок Дабендорф. Вот с этим по-настоящему повезло, посмотрели самую всамделишную Европу. Как живут люди! Чисто, спокойно, даже непонятно, как это можно так жить. Городок, по сути дела, напоминал дачный поселок, вроде Серебряного Бора, только лучше. Дома более добротные, каменные, некоторые с колоннами, ворота из витого чугуна. Неподалеку там находилось большое военное производство, и туда едва ли не через день слетались бомбить англо-

американские плутократы, пособники большевиков. Гул бомбежки долетал до Дабендорфа, горизонт озарялся вспышками, но здесь было спокойно, и казалось просто, что гроза шумит. Немного даже странно было смотреть, что асфальт сухой.

Туда, в Дабендорф, приезжал сам Власов Андрей Андреевич. Мужик впечатляющего роста, ничего не скажешь. В самом деле, произвел на солдат основательное впечатление, когда сказал: «Такова наша историческая судьба, солдаты. Пройдем через все бои, страдания и унижения, чтобы открыть новую страницу в истории России!» Неплохо было сказано. Окрыляюще.

Митя снова тогда запылился мрачным вдохновением, хотя, по правде говоря, никакой «исторической судьбы» вокруг себя не видел. Скорее уж Гошка прав, говоря, что все ж таки лучше, чем в лагере сгнить заживо. Здесь можно хоть в кино иной раз сходить. Брели пивка полдюжины, пакет резиновых сосисок, забирались в задний ряд смотреть на волшебных германских кинодив – Марику Рокк, Лени Рифеншталь и Цару Леандер. Как только эти красотки появлялись на экране, блондинка ли Марика, брюнетка ли Цара, ребята тут же запускали руки в штаны, дополняли кинопроизведения игрой своего мощного, хоть и немного однообразного воображения. «Нас обоих с тобой расстреляют», – говорил Митя Гошке после пива. «Ну и хер с ним, – отвечал Гошка. – Всех на хуй когда-нибудь расстреляют, на то и война».

«Неинтересная жизнь», – говорил на другой день Митя за умывальником. Бросал себе пригоршнями воду под мышки и думал: «Что за говняная такая у меня складывается биография?» Гошка за его спиной отражался в тусклом зеркальце, горестно кривил губы, выказывая исключительное сочувствие, чуть не плакал: понимаю, Мить, понимаю твои запросы, да что поделаешь, Мить, война, Мить, война подлая гонит нас, юношей, как табун лошадей, такая есенинщина.

Даже щекотался немного верный Гошка, чтобы развеселить загрузившего друга. Митя с грубым видом давал ему под дых, однако видно было, что ценил сочувствие и к Гошке даже чувствами преисполнялся: все-таки друг, а друг, как известно, не портянка, вместе все-таки по дорогам войны пашем.

Конечно, если бы не война, другие были бы друзья у Мити. Ходил бы в медицинский институт по желанию деда Бориса, носил бы белую кепку, футболку и белые туфли, изучал бы самую гуманную профессию, с сокурсниками посещал бы концерты в консерватории, как подобает всякому интеллигентному человеку. Появилась бы у него и девушка из

такой же, как и его, градовская, превосходной семьи, девушка вроде тетки Нинки, только, разумеется, помоложе. С этой девушкой бы гуляли в Нескучном саду, говорили бы о науке и искусстве, позднее дружба переросла бы в любовь. Здесь же, на войне, все это человеческое оборачивается отвратным кривлянием, как будто кто-то передразнивает – вот мечтал о чем-то, вот теперь получи это в реальном виде, то есть в мародерстве, свинстве, как будто тебя уже раз и навсегда вписали в грязный реестр, как будто уже решено, что не быть тебе человеком. Вот так и под Бобруйском было, в той деревеньке, где батальон стоял перед началом контрпартизанской операции прочесывания. Невозможно все-таки совсем отогнать поганое воспоминание, возвращается, как приبلудившаяся собака, как будто защиты просит.

Вечером как-то Митя с Гошей маялись на завалинке возле той избы, где были на постое, как вдруг из клубного домишки на крыльцо выходит девица Лариса, местная библиотечка, мечта вооруженных сил по обе стороны фронта. Собственно говоря, имя и профессию узнали спустя пять минут, а в первую минуту Мите показалось, что перед ним кинематографический мираж: завитая крупными кольцами прическа, глазищи-озера, ярко-красный рот, волнообразное тело под маркизетовым платьем, туфли на высоком каблуке.

– Ну что же, мальчики, пожалуйста в гости!

Голос – сама чувственность, сразу все вздымается. Гошка восхищенно заржал, жарко шепнул в ухо:

– Ну, Митяй, мы сегодня с тобой увеличим боевой опыт!

Любопытное наблюдалось у Ларисы на столе торжество гуманизма: бутылка фрицевского шнапса и горшок с самогоном, браги жбан. Быстро захмелились.

– Ну, как жизнь молодая, предатели родины? – кокетничала пугающая красотой библиотечка. Вытащила из-под кровати патефон, горсть игл уральской стали, пластинки с песнями из кинофильмов. «Нам песня строить и жить помогает, она, как друг, и зовет и ведет...»

– Ой, Митяй, зуб даю, сдаст она нас партизанам! – шепнул Гошка.

Лариса кружилась по комнате, закинув голову в кинематографическом счастье, голубой маркизет взлетал, обнаруживая отсутствие трусов. Патефон хрипел марш, а она, видите ли, вальсировала под свою собственную музыку.

– Из вас двоих, мальчишки, кто первый меня ебать будет? – спросила она.

– Митька, Митька первый! – закричал Круткин. – Давай, Митяй,

воткни ей, как следует, а я пока на стреме постою, чтоб партизаны не ворвались!

Лариса взъерошила Митину голову:

– Ну, давай, кудряш!

Раз, и села к нему на колени, лицом к лицу, красным жадным ртом вмазалась в Митины губы:

– Давай, дери меня, как сидорову козу, не стесняйся!

Митя все-таки еще очень сильно стеснялся. С «боевым опытом» (по части женских органов) был у него явный недобор, если не сказать полное отсутствие. Конечно, Гошке наврал немало из собственных фантазий, а на самом деле к женщине первый раз прикоснулся лишь за месяц до Ларисы, в Польше, когда ребята, поддав, какую-то толстуху малолетку поймали и пустили ее «под хор» в высохшем фонтане. Митина очередь когда дошла, он ничего не чувствовал, кроме тошноты. Хорошо, что темно было, все же не опозорился перед товарищами. Засунул орган куда-то, скорее всего, просто в складку кожи, где все хлюпало, изобразил мощный напор. Малолетка же только рыдахла, то есть рыдала и кудахла, ничего не поймешь. Пакость и позор, однако ничего не поделаешь – война, боевая спайка, если все вокруг становятся шакалами, то и ты – шакал.

С Ларисой явно все пошло иначе, все по-настоящему, подлинное рождение мужества. Никогда не подозревал за собой таких способностей. Дева пела, стонала, кусалась: «Митя, мой любимый, как же ты хорош! Давай! Давай! Еще! Еще!» И он вдруг совершенно ошеломляюще влюбился в изгибающееся под ним волнообразное тело, в обострившееся лицо, воплощение романтики.

Гошка сидел на крыльце со своим карабином, как бы охранял от партизан, однако дверь держал приоткрытой, наслаждался зрелищем. Выгоню его к чертовой матери, думал Митя, продолжая сладкую работу, не дам прикоснуться к этой девушке. Дверь закрою и буду с ней до утра, а потом, может, убежим вместе куда-нибудь навсегда. В Аргентину, «где небо южное так сине». Потом прибыли в Аргентину, а может, куда и получше. Все мысли пропали, началось полнейшее извержение взаимных восторгов, ошеломляющее танго. И только лишь когда восторги стали убывать, услышал Митя хохот, топтание сапог в девичьей комнате, голос харьковчанина Кравчука:

– Во дает Сапунов! В профсоюз не платил, а все дырки захватил!

Это была батальонная неразлучная шестерка, что всякий вечер шлялась по округам в поисках, кого бы пустить «под хор». Очумевшие парни, кажется, совсем уже забыли, что баб можно искать поодиночке, или,

скажем, на пару, или, скажем, совсем не искать. Волоклись друг за другом, зырили вокруг шакальими глазами, вот такие «колхозники».

– Давай, Митяй, закругляйся! Погулял, передай товарищу!

В толкучке мелькало похабное лицо задушевного друга, предателя Гошки. Митя выскочил из аргентинских южных объятий. Последнее, что успел заметить, плавающий лунный блик на лице любимой.

– А ну, катитесь отсюда, шакалье! У меня в кармане лимонка!

Двое тут же насели на него, потащили в сторону, Кравчук же сразу бросился к раскинувшемуся на оттоманке телу. Митя рвался, как стреноженный конь. Швырнули с крыльца в грязюку, вдогонку сапоги полетели и штаны, взметнувшиеся в ночном небе, как тень человека. Из дома неслось скотское ржанье, топот, взвизги Ларисы «давай-давай, мой хороший!», квикстеп «Рио-Рита»: кто-то, дожидаясь очереди, прокручивал патефон.

Митя собрал имущество, долго сидел в тени, колотил зубами. Была бы на самом деле лимонка, непременно бросил бы в окно, чтобы у всей хевры хуи пооборвало. Старуха прошмякала по двору, глянула через заборчик: «То ж у новой библиотерки хлопцы гуляют». В конце концов Гошка появился с двумя карабинами на плечах, Митиным и своим собственным. Разоружить мерзавца было делом одной секунды. Долго метелил гада ногами, кулаками, локтями под подбородок, в брюхо, делал «шмазь», лапой хватил за морду, волочил. Ни малейшего в ответ сопротивления, даже странно. Бессильно откидывалась в стороны головенка с застывшей на губах мечтательной улыбкой.

– Ну, признавайся, гад, и ты там прогулялся?

– Ну, а как же, Митяй, конечно, прогулялся же ж! За Боровковым и перед Хряковым, по свойски же ж...

– А что с ней?

– А с кем?

– С Ларисой, с кем же еще, ублюдок!

– А чего с ней, порядок, нагулялась баба. Не бей меня больше, друг. Я же ж их не звал, сами приперлись.

Вот такое паршивое дело омрачило на энное количество времени отношения двух неразлучных москвичей. И долго потом еще Митя весь содрогался, вспоминая свое «аргентинское приключение», хотя и дошли до него некоторые подробности непростой Ларисиной биографии. Оказалось, например, что ту насилку и насилкой-то в принципе нелегко назвать, потому что девица вечно сама напрашивается. Так говорят, что ее еще в сорок первом пропустили через взвод доваторские казачки, а потом уж

пошло: и немцы, и итальяшки, и своей предостаточно похабели из партизан, короче говоря, развилось у женщины не что иное, как бешенство матки. Так что выводы напрашиваются, милый Митя: в лучшем случае «трепачка» мы с тобой из «источника знаний» подцепили, в худшем – сифилигой нас наградила жертва войны. Тогда носы потеряем, Сапунок, будем ходить безносые с тобой. Два безносых друга. У-ха-ха, у-ха-ха! Получалось, в самом деле, довольно смешно – два безносых друга! Да, так нас с тобой и в Аргентину не пустят, Гошка Круткин. А хер с ней, с Аргентиной! Мы в Африку с тобой подадимся, там половина населения заживо разлагается. Ой, умру, половина, говоришь, населения без носов? Натюрлих!

Обошлось все же первым вариантом, простым «архиерейским насморком». Вместе ребята корчились, держались за концы, вместе им стрептоцидовую эмульсию в зады закатывали; боль такая, большевику не пожелаешь! Неплохо, однако, поломанные отношения скрепляет. Зуба больше на Гошку Митя не держал, а Лариску на фиг позабыл. Бабе этой, видно, недолго гулять осталось. Не позабыл он только одного – своего с ней восторга, какого-то вихревого воплощения мечты. Позор и тоска выжигали его в моменты этих воспоминаний. Значит, и любовь моя уже навеки испохаблена проклятой жизнью, пропущена через «хор» трипперных козлов, значит, и любви теперь уже у меня настоящей не будет, если я испытал это даже и не с женщиной, а с каким-то призраком войны? С солдатской лоханкой?

Ну, разумеется, такими мерлихлюндиями он даже с Гошкой не делился, корчился в одиночку, все больше свирепел. Все дальше от него, в нереальность, отходил очаг градовского дома, все серебряноборское. Агашины почти неслышные, в шерстяных носках пролетания, легкие ее бормотания, от которых уютно начинала журчать подростковая макушка; раскаты рояля Мэри все размывались, растрепывались, как пролетающие облака, голос ее еще держался, в одной ключевой, сильной, как Бетховен, фразе: «Дети, к столу!»; основательное похрустывание паркета под башмаками размышляющего вдоль и поперек кабинета деда Бо; маленький камень в углу участка под елками и папоротниками, а зимой под шапкой снега, как большущий гриб, – усыпальница любимого Пифагора. Все это, весь этот мир любви и твердых человеческих обычаев, куда судьба его вдруг поместила, вытащив наугад из пепелища, все это было, как теперь становилось ясно, лишь передышкой, а дальше опять русская доля.

– Куда едем, герр Линц? Вохин фарен унс? – спросил Гошка унтера, который в то утро раздавал боезапас, по подсумку с патронами. Четыре

крытых брезентом грузовика уже поджидали их роту за воротами. Пожилой, похожий на сапожника унтер, от которого, несмотря на ранний час, уже пахло чем-то хорошим, что-то пробурчал, для Мити совершенно непонятное, а для Гошки все-таки замечательно понятное, ибо умел паренек из кучи непонятного выхватывать что-нибудь одно и сразу понимал, что к чему.

– Он нас всех в жопу посылает, в глубокую жопу, и говорит, что там она как раз и располагается, куда нас везут, а везут нас в какой-то Гарни Яр.

Митя еще зевал, тянулся, молодая радость жизни все время подавлялась общей хреновостью. В жопу так в жопу, куда ж нас еще пошлют, в Гарни Яр так в Гарни Яр. Небось опять партизан прочесывать или железную дорогу чинить...

– В Гарни Яр! Ну и дела! – вдруг икнул Гошка, будто что-то вспомнил, связанное с этим названием.

– С чем его едят, этот Гарни Яр? – спросил Митя.

Не дождавшись ответа, полез в фургон, занял там угловое место, привалился к костлявому плечу друга и впал в дремоту. Когда через пару часов тряска и толчки прекратились и прозвучала команда выходить, солдаты увидели вокруг пустынную землю, вроде бы совсем не тронутую ни цивилизацией, ни ее высшим достижением, механизированной войной. Вокруг, насколько хватал глаз, лежала лишь неровность земной коры, голые холмы и лесистые впадины, ни столбов с проводами, ни сгоревших домов, ни бомбовых кратеров не наблюдалось. Только лишь грунтовая дорога, по которой приехали, напоминала о современности: она была основательно укатана гусеницами и шинами грузовиков, то есть использовалась для передвижения войск. Вдоль этой-то дороги и предстояло развернуть боевое охранение команде «Заря».

По паре солдат с карабинами было расставлено через каждые несколько сот метров, в зоне видимости от одной пары до другой. Приказано было следить, чтобы никто не приближался к дороге, а главное, чтоб никто с нее в сторону не удалялся. В случае необходимости, стрелять без предупреждения.

– А кого ждем, господин лейтенант?

– Колонну.

– А какую колонну?

– Пешую колонну. Колонну людей. Это все. Повторите приказание!

Митя, разумеется, остался вдвоем с Круткиным. Сели на пригорке. Подул вольный ветер. По всем просторам неба, кажись, в разные стороны бежали резвые облака. Древняя Русь заявляла о себе в каждый момент

существования.

– Эх, Гошка, Гошка, – вздохнул Митя Сапунов.

– Эх, Митька, Митька, – эхом отзывалась дружба.

– И на хуя мы родились в это время поганое, – проговорил Митя.

– Все времена, Митяй, поганые, – весело возразил Гошка. – Во все времена вокруг одна уголовщина.

– Ты что-то стал мне часто возражать, говнюк, – мерно сказал Митя своему вассалу.

«Давай закурим, товарищ, по одной! Давай закурим, товарищ мой!» – пропел Гошка из пластинки Утесова.

– Интересно, откуда немцы табак берут? Ведь он у них не растет, – задумался Митя.

– А из Италии небось, – предположил Гошка. – В Италии-то он растет.

– А вот, кстати, об Италии. Похоже, Гошка, дело пахнет керосином. В Италии, говорят, англичане с американцами высадились.

– Германия несокрушима, Митяй, – сказал Гошка. – Сейчас новые танки пошли на фронт, ты не видал? Это ж просто страшно смотреть, какие танки!

– Ну, а если сокрушат твою Германию, что тогда?

– Ну и хер с ней, если сокрушат! Сокрушат, туда ей и дорога, Митяй!

– А нам-то тогда куда деваться, Гошка? Испепеляться, что ли, прахом, что ли, падать на землю?

– Это откуда, Митяй, а? Дай слова списать, а?

Так они болтали и курили, пока вдруг сквозь шелест вольного ветра не долетел до них гул. Колонна, похоже, приближалась.

– Слушай, Гош, а что это за колонна-то, не знаешь? – спросил Митя.

– А это, наверное, Митяй, жидов ведут в Гарни Яр, – с прежней бодростью ответил Круткин.

– Что-что?! – вскричал пораженный Сапунов. – Что ты несешь?!

Круткин хохотнул:

– А ты разве не знал, Митяй? Это ж дорога на Гарни Яр. А ты разве про Гарни Яр не слышал в Чернигове? Там они жидов, н у, то есть еврейское население, истребляют. Пулеметами – и под откос. А потом бульдозеры земель заваливают, и новый слой кладут. Говорят, что две недели уж операция идет, страшное дело. Да ты что, Митяй? Чего ты затрясся-то, друг?

Сапунов рванул Круткина за грудки:

– Врешь ты все, гад!

Круткин вдруг по-шакальи осклабился:

– Ты целку-то из себя не строй, Митяй! Как будто ты не знал, что немцы с жидами творят! Как будто про Гарни Яр не слышал! Нам еще повезло, если хочешь знать, что на дорогу поставили, а не прямо к оврагу!

Митя все не отпускал, тянул Гошку за мундир, как будто вот этим волоком хотел вытянуть опровержение сказанному. Вдруг Круткин ударил его по уху, да так сильно, что оба изумились. В виске у Мити загудело. В этот как раз момент из-за перелеска выползла голова колонны, она была бронированная.

Впереди шел идеальный вермахтовский бронетранспортер с двумя рядами стальных касок, за ним ехала дюжина мотоциклов с пулеметами. Только после этого неумолимого эпиграфа начиналось шествие нескончаемой колонны людей, не имеющих отношения к войне, если не считать желтых звезд на их одеждах. По бокам редкой цепью двигалась охрана с карабинами наперевес. Очевидно, такие же, как и в команде «Заря», русские, а может быть, и украинские хлопцы. Иногда возникали эсэсовцы с собаками. Они орали, очевидно – «Шнель!»; показывали руками: вперед, к цели! Колонна гудела на одной ноте: шум моторов, шарканье подошв, голоса сливались в ровный шмелиный гул. По мере приближения стали выделяться отдельные звуки, прежде всего, детский визг. Боже мой, там и дети! Маленьких несут, тех, что постарше, тянут за руки. Потом прорезался собачий лай.

Митя уже забыл про Гошку. Колонна приближалась. Материализация чего-то самого страшного, того, что постоянно присутствовало, не названное и не узнанное, в его жизни. Теперь выходит из нашего смежного пространства, материализуется. Все ближе и ближе. Старики в зимних пальто. Акушерские баульчики. Сбившиеся пуховые платки. Узелки с пожитками. Фетровые шляпы. Девушки, много девушек, много хорошеньких лиц. Некоторые даже смеются. Одна подмазывает губы. Еврейские мамы, некоторые еще все хлопочущие, еще старающиеся не растерять своих, другие как будто уже освободившиеся от ежедневных хлопот, как будто вдруг пробудившиеся для какого-то иного смысла жизни. Мужчин среднего возраста мало, они, кажется, все уже понимают, бессилие и мрак лежат на их лицах. Многие курят. Один замахнулся локтем на украинского парнишку, тыкающего ему в спину прикладом. Солдатик отскочил, защелкал затвором. Мужчина сплюнул, прошел. И снова тянется бесконечная масса, евреи Украины, мастеровой народ, женщины, помешанные на своих детях, дети, еще сохранившие остатки капризов, старики, у которых ничего уже не осталось, кроме библейских очертаний лица, то есть апофеоза трагедии, и девушки, дрожащие за свои тела,

боящиеся солдатских наглых хуев, но уж никак не свинца, уж никак не ожидающие массовой вповалку смерти. Нет, что-то тут не то. Не может быть, чтобы все так спокойно шли к общей могиле; Гошка, наверное, просто треплется. Там, в Гарнем Яре, должно быть, станция железнодорожная, оттуда их куда-нибудь депортируют, вот и все дела. На кой черт немцам убивать такую массу штатского народу, что у них, на фронте мало дела? Да и вообще, как это: стрелять вот в этих несчастных, милых, да ведь сердце же разорвется у расстрельщика. В детское личико, в пузик? Между Митей и колонной по обочине, таща хвостище пыли, проехал тяжелый мотоцикл с пулеметом на коляске. Три эсэсовца сидели там и разговаривали друг с другом. Иной раз лица их поворачивались к колонне и тогда чуточку морщились от гадливости. Митя вспомнил: такое же выражение было у чекистов, когда ночью пришли за тетей Вероникой. Ну, значит, ясно: задание будет выполнено.

– Жидочки пархатые... во, потеха, жидков в баньку ведут! – вдруг прорезался прямо за плечом Гошкин голос.

Митя дико глянул на него. Дружок сужал глаза, пытался цинически улыбаться, однако сигарета, приклеенная у него к губе, дрожала, и ствол карабина ходил ходуном.

Митя рванулся в сторону, отбежал к кустам орешника чуть поодаль дороги. Гошка бросился за ним, догнал, налег на плечо:

– Ты не рехнулся, друг?

– Я не могу этого видеть, Гошка! Не выдерживаю! – С яростью швырнул в траву карабин. – Изверги немецкие!

– Молчи, Митяй, заткнись! Раздавят, как муху! – умоляюще налегал Гошка.

Митя резко сел, рухнул в траву, закрыл голову руками. Пилотка с вермахтовской кокардой упала на колени. Плечи дрожали, как при стрельбе из пулемета.

– Митяй, ну, че ты? Кончай! – увещевал Гошка. – Ну, ты ж сам-то не еврей ведь, Митяй, ну че ты так уж-то, а? Ну, тетя Циля у тебя приемная, ну а сам-то ты русак на все сто. Ну, Митяй, война же ж, да? Такая тут политика, ебать ее за пазуху!

Митя вытер пилоткой мокрое лицо, встал. Гошка удивился, как за несколько минут окаменели его черты, даже, кажется, завитки волос окаменели.

– Ну все, хватит с меня! – спокойно сказал Митя.

Поднял карабин, повесил на плечо, зашагал вдоль дороги в одном направлении с колонной. Гошка догнал его, подпрыгнув пару раз, попал в

шаг. Вдвоем они производили издали впечатление деловито шагающего по заданию патруля.

– Ты что решил, Митяй?

– Хватит с меня! – повторил Митя. – Я в русскую армию записался, чтобы большевиков бить, а не помогать немцам убивать евреев! Завтра заставят в детей стрелять! Хер вам, сволочи!

– Да куда ж теперь, Митя? – в отчаянии забормотал Гошка. – Куда ж нам теперь податься? Не в лес же чапать, не к партизанам же?

Митя молча кивнул.

– Да ты рехнулся, друг! – вскричал тут Круткин. – Они же ж все на сто процентов красные! Ребята недавно рассказывали, как один из третьей роты к ним сквозанул. Знаешь, что случилось? Они его к тормозу самоходки привязали и рванули. На клочки разнесло парня!

– Все едино, а с этими больше не могу, – сказал Митя, приостановился и положил Гошке руку на плечо. Впервые как равному и близкому. – Ты, Гоша, сам прими свое решение, а я свое уже принял.

Круткин чуть не задохнулся от любви и благодарности:

– Да я... куда ж я без тебя, Митяй... потеряюсь на хуй...

Они зашагали дальше.

– Куда ж мы идем? – осторожно спросил Гошка. – Если к партизанам, то нам надо влево забирать, Митяй. Вон, перелесками к той роще, и там отлежаться до темноты...

– Так и сделаем, – кивнул Митя, – но только перед этим я хочу своими глазами Гарни Яр увидеть. Чтобы уж никогда не забыть.

* * *

Все ближе и ближе слышался непрерывный стук множества пулеметов. Потом стали доноситься крики. Митя и Гошка уже сильно забрали в сторону от дороги, однако еще видели, как колонна затормозила, люди, очевидно от ужаса, стали метаться, падать в пыль, кричать. Охрана набрасывалась на них, избивала прикладами. Какой-то офицер из кузова грузовика обращался к мечущимся людям с гражданской речью: дескать, господа что-то неправильно поняли.

Митя и Гошка проползли на животах открытый бугор, потом углубились в заросли орешника. Почти час шли, обдираясь, сквозь кусты, ориентируясь по стуку пулеметов. Наконец с крутого склона перед ними открылась часть гигантского оврага. Вдоль дальнего его откоса тянулась

вырезанная бульдозерами земляная площадка, куда из нескольких траншей выталкивали голых людей. Мужчины, почти все, прикрывали руками срам, женщины держали груди, дети цеплялись за ноги взрослых. Это было последнее, что все они делали в жизни. Пули резали их всех, и они падали на дно оврага. Дна Митя и Гоша со своей позиции не видели, но можно было легко представить, что там творится.

Временами пулеметчикам давали команду прерваться, и тогда на террасе появлялся обслуживающий персонал, который лопатами, граблями и баграми стаскивал и сбрасывал вниз застрявшие тела. Пулеметчики в это время перекуривали, болтали, переворачивались на спину лицом в безоблачное небо. Пулеметные команды, по два человека в каждой, располагались вдоль ближнего края оврага. Это были солдаты какого-то вспомогательного подразделения SS Waffen, мужики среднего возраста. Ближайший к Мите и Гоше расчет лежал у своей машины метрах в ста пятидесяти вниз по склону. У обоих были широкие плечи и мощные зады. Во время перекуров можно было видеть, как во рту у одного из них, а именно у стрелка, поблескивает коронка. Вот в этого-то и стал Митя целиться из своего карабина.

Мужик работал не за страх, а за совесть. Поворачивал ствол для большего охвата. От одного поворота до другого не менее полутора дюжин людей падали в ров. Иногда мужик чуть опускал ствол, чтоб не забыть и детей. Плечи мужика тряслись, как у исправного трудящегося с отбойным молотком. Вот именно в него, прямо под край каски, целился Митя Сапунов.

– Ой, Митька, чегой-то мы делаем, чегой-то мы делаем! – слюнявсь от ужаса, бормотал Гошка. Между тем так же, как и Митя, целился под каску напарнику.

Митя спустил курок. Голова пулеметчика упала, очень невыразительно, просто тюкнулась лицом вниз, однако ноги еще секунду или другую держались в полнейшем изумлении. Напарник еще успел повернуться на одну четверть, чтобы выразить изумление, однако Гошкин выстрел прервал это вполне естественное движение. Ребята бросились вверх по склону, стараясь как можно быстрее перевалить через бугор и уже не видя, как напротив, через ров, перед заглушим пулеметом мгновенно стали накапливаться голые люди. Митин малоосмысленный акт отмщения – позднее ему, правда, казалось, что он бормотал: «За мамку Цию, за деда Наума», – только усилил мучения нескольких десятков людей, продлил их ужас перед разверзшейся бездной, пока соседняя команда, поняв, что что-то случилось с капралом Бауэром, не расширила радиус работы.

Через несколько часов, перебежками от одной рожицы к другой, ребята добрались до сплошного лесного массива. Измученные, они лежали на опушке в густой траве. Вокруг них, в глубинке травы, шла интенсивная и, пожалуй, интересная жизнь: ползали божьи коровки, копошились муравьи, покачивались на стеблях бархатистые гусеницы.

Что касается человеческой активности, то она ограничивалась лишь медленным в пустом небе пролетом страннейшего летательного аппарата «Фоккевульф-190» – «рамы». Уже начинало смеркаться. Не видно было ни жилья, ни пожарищ, не тронутая цивилизацией земля. «Рама» исчезла за горизонтом, но вскоре вернулась и пошла над лесом.

– Не нас же, в самом деле, ищет эта блядская «рама», – сказал Гошка.

– Может, и нас, – сказал Митя. – Однако, скорее всего, партизан. Они небось думают, что партизаны двух пулеметчиков застрелили. Пойдем, Гошка, надо быстрее от этих мест уходить...

Гошка заныл:

– Куда ж нам идти? Пиздец нам, мальчикам, полный пиздец!

Митя хоть и торопил, не поднимал лица из травы. Как здесь хорошо, в этой траве, в этот час, и ночью, наверное, тут неплохо. Жить бы в этой траве, сократиться до размеров собственного глаза, чтобы спина и жопа не торчали. Он вспомнил, как дернулся под его пулей немецкий расстрельщик, первый убитый им человек. Первый, собственно говоря, в которого целился. Раньше-то стрелял неизвестно куда, просто в какое-то враждебное пространство, а этому гаду прямо под край каски, в мозжечок. Мрак и тоска, он ударил кулаком по земле перед своим носом. Какой-то муравьишка на переломанных ножках выскочил из-под его кулака, закрутился в бессмысленной жажде спасения. Из миллиардов муравьишек именно на этого низверглось нечто убивающее из мирно вечеряющей Вселенной. Митя придавил ногтем дрыгающегося муравьишку. Второе убийство за день.

– Давай, Гошка, раздевайся! Если нас партизаны в этой форме встретят, даже и разговаривать не станут. Сразу к стенке!

Они стащили свои мундиры с нашивками РОА на рукавах, пилотки, сапоги, штаны, все связали в узлы и опустили в болото. Оставшись в исподнем – на нем вроде не было никаких немецких меток, – стали углубляться в лес. Легенду сочинили незамысловатую: целый год, мол, в плену, сбежали из бани перед отправкой в Германию...

Три дня и три ночи, а потом и неделю, если не целый месяц, Митя и Гошка пробирались по лесу, не встретив ни души. Лишь однажды неподалеку, светя фонариками и перекликаясь немецкими ругательствами, прошла облава. Возможно, как раз по их души. Отсиделись тогда в болоте, временами, при приближении фонариков, набирали воздуха и погружались с головой в пахучую жижу. Дальше топали уже в полном болотном камуфляже. «Болотные солдаты», – хихикал Гошка, вспомнив довоенный фильм. Теперь уже пошла одна лишь природа. Шмыгали вокруг какие-то зверьки, ночью казалось, что чьи-то глаза внимательно за тобой наблюдают. Разумеется, волчьи глаза, спокойные волчьи глаза. Гошка пытался поймать какую-то птицу, чтобы сожрать. Ничего не получалось. Херовые мы с тобой плоды эволюции, шутил Митя. Он же шутил по поводу обезьяньего происхождения. Вообще почему-то много шутили. Райская жизнь в принципе, если бы не голод, не распухшие ноги, не расцарапанные бока. Дни стояли жаркие, от прогретых сосен исходили звуки и запахи детства. Как будто в пионерском лагере где-нибудь на Истре, как будто в индейцев играем. И ночи были благостные, свежий бриз волнами, как по заказу, охлаждал тела беглецов. Жрали все, что кое-как хоть можно было сжевать, – ягоды, грибы, траву, зеленые орехи, молодую кору. Мучились поносами. Иной раз, с опушки, пощелкивая зубами, смотрели на отдаленные деревеньки. Жалкие их косые крыши горбились, как свежие краюхи хлеба. В животах начинались конвульсии. Спуститься, милостыню попросить, украсть чего-нибудь, ограбить... А вдруг там полиция стоит или немцы, чего доброго? Призывного возраста парнишек ничего хорошего там не ждет. Поймают, не отбросишься. Шли дальше. Куда, неизвестно. Может, кружили на одном месте. Гошка однажды прямо-таки возопил: «Митька, ебать мои глаза, мы ж тут точно были! Вишь, вон „рама“ летит!»

Они вышли на обширную поляну, и над ней в этот момент и впрямь пролетел зловещий разведчик – «рама». Митя дал другу под зад коленкой, хохотнул: «По „раме“ ориентируешься, шибздо?» – однако понял, что у Гошки от голода уже ум за разум заходит. Все меньше их побег стал походить на пионерские приключения. Это же надо какой лес произрастает на земле социализма, что ни конца ему, ни края, и никаких признаков человека. Черт нас водит, Митяй, обратно в болото утянет, только уж головой вниз. Молчи, шибздо, или ты не мужчина? Какой уж я тебе мужчина? Вот такой лес как раз для партизан – хер их тут найдешь! А где они, твои партизаны хваленые-ебанные, сучье племя? Кому угодно сейчас в плен бы сдался за миску каши. Пусть расстреливают на хуй, только не натошак...

Вдруг, чудо из чудес, выбрались из кошмарной чащи на какую-то еле заметную тропинку. Куда идти, налево или направо? Давай налево, все равно ж куда, налево или направо, а если упрямся, направо пошкандыбаем. А если и там упрямся, тогда разойдемся в разные стороны, потому что я морды твоей больше видеть не могу. Взаимно. Тропинка временами совсем исчезала в сучьях и папоротниках, потом все же настойчиво возобновлялась. Вдруг вывела на маленькую проплешину с песчаным метром в три обрывом земли, из которого свисали длинные, как ведьмины косы, корни. Там, под обрывом, етиттвоювовсестороны, замечались остатки чего-то построенного: раскиданные доски, две-три обгорелые печурки, даже осколки стекла вспыхивали под внимательными солнечными лучами. Из рваной ямы выскочил крупный зверь, то ли волк, то ли россомаха, то ли просто шурале, гневно ощерился на кусты, в которых прятались ребята, махнул в сторону. Яма-то, Митяй, похожа на воронку. Тут, похоже, бомбили недавно, вон еще угли тлеют. Да, тут, возможно, «рама» прогулялась, сбросила пару-другую бомбочек. А может, из минометов обстреляли. А может, и то, и другое. Тут, похоже, живых нет никого. Да и мертвых не видать. Как это не видать, а это кто перед тобой, вон, сапоги торчат и рука обглоданная? Похоже, что базу тут какую-то накрыли, никого в живых не осталось. Мить, да тут наверняка хоть какая-то жратва осталась! Осторожно, Гошка, взорвешься!

Гошка не слушал, уже гнал через кусты к разрушенным землянкам. Митя тоже побежал за ним. Мерещилась пачка гнусных галет, ничего лучшего не мог придумать; хоть бы пачку галет накнотать, размочить, нахлебаться хлебной жижи... Оружия вокруг валялось до фига, советские и немецкие автоматы, гранаты, штыки, а вот галет не замечалось. Даже посуды до хера, плошки, кастрюльки, значит, жрали здесь, гады, вон ложки пораскиданы, а вот жратвы никакой; неужели все схавали перед тем, как погибнуть? Вдруг до Митиных ноздрей долетел умопомрачительный запах жареного мяса. Выскочил из развалин. Перед ним мирная картина: Гошка на угольках жарит кусман, здоровенный, кило на полтора, кусманище, да еще и с жирком. «Лошадь там валялась, Митяй! – радостно хихикал малый, махал руками в лес, в неопределенном направлении. – Совсем не гнилая еще лошадь. Нашел штык, ну, выкроил нам на бифштексы. Эх, Митяй, так жить можно! Соли бы еще, солыцы бы!» Соли в руинах не нашлось, да и не искали, так жрать хотелось. Зато рядом с костерком салфетка лежала, кусок бязевой ткани с рваными краями, с ромбовидным штампом «хозчасть Д-5АХУ-1». Жрали упоенно, рвали зубами это съедобное, заглатывали, давились, молча хохотали. С каждым куском жеребятины вливались силы и

оптимизм в жилы молодых москвичей. А это что за тряпка, шибздо? А черт ее знает, какая-то тряпка валялась. Смотри, печать бельевая, советская. А какая же еще может быть, Митя? Ясно, советская! Мы ж тут все советские, ха-ха-ха, ха-ха-ха, все вокруг советское...

Лишь пожав, ребята стали замечать вокруг себя гадкий запах. Убитые, их оказалось тут не меньше десятка, начали уже подванивать. Это естественно, сказал Митя. Очень естественно, согласился Гошка. Стали рыскать вокруг, чем бы еще поживиться. Нашли, например, обломки ради, немецкий мотоцикл. Оружия не брали. Ну его на хуй! Увидят с оружием, сразу убьют, только потом фамилию будут спрашивать. Взяли пару советских шинелек. Немецкие там тоже валялись, но их не тронули по понятным соображениям. Будет чем теперь укрыться ночью в джунглях. Митя стащил с чьих-то торчащих из-под куста ног кирзовые сапоги себе впору. Пока стаскивал, выпросталась бязевая кальсонная ткань с таким же, как на той тряпке, штампом: «хозчасть Д-5АХУ-1». Старался не заглядывать под куст, однако, как назло, бросился в глаза странный недостаток левой ягодицы. Вдруг с выпученными глазами выскочил из ямы Гошка Круткин. Целый ящик фронтовых галет нашел, дрезденского производства. Если бы он их раньше нашел, почему-то подумал Митя. Распотрошили ящик, стали запихивать в рот галеты. Блаженство все же ж! Доброе хлебное месиво во рту заглушало вкус того съедобного, что пожрали. Пошли дальше, жуя галеты. Ящик несли по очереди. Надо же ж идти, что ж делать, не сидеть же ж там среди покойников, совсем там на хер одичаешь.

В белесоватом знойном небе опять появилась «рама». Летела очень медленно, высматривала, мотора не было слышно, ни дать ни взять одушевленное существо. Митя вдруг вспомнил, как там, по периферии, прополз беленький толстенный червячок. Тут его стало профузно выворачивать. Швырнул картонный ящик Гошке в спину. «Гад, гад, ты чего мне подсунул?! Ты мне какую жопу подсунул, ублюдок метростроевский, шибздо говенное!» Удар по белесой башке, удар по лопаткам, под ребра! Сука позорная, в говно тащишь! Вдруг увидел летящий в лицо булыжничком Гошкин кулак. Как будто под лошадиное копыто челюсть попала, под несуществующее копыто несуществующей лошади. Митя рухнул в сучья, в папоротники. Хоть бы уж конец всему! Однако Круткин подскочил со сжатыми кулаками. «Ты, падло, вместе был, вместе делал, блядь, срака! Зачистился у профессоров, кулацкая шкура! Антиллигенция! Ненавижу тебя, козел вонючий! Сам ты шибздо, сам!» Молотит ногами под бока, а чуть голову поднимешь, сразу в челюсть лошадиным копытом.

Собрав все силы, Митя вдруг выплеснулся сапогами вперед. Круткин рухнул и был тут же подмят наступающей массой. Теперь сплелись в греко-римских объятьях, катались до изнеможения, выворачивали друг дружке суставы, ослеплялись бешенством. Круткин блевал прямо в лицо. Вдруг ослабел, захихикал. «Ой, Митька, как мы с тобой „риголетто“ сыграли! Во, цирк!..»

В конечном счете, в полной гнуси и изнеможении отвалились друг от друга и захрапели пузырями. И стрекозы детства повисли над ними, неслышно трепеща и поблескивая в проникающих сквозь лесную мешковину солнечных лучах. Иной раз в этих искорках просвечивали миниатюрные спектры, то есть все многообразие земных красок. Через несколько часов двух спящих страшных юнцов обнаружили разведчики из партизанского соединения «Днепр».

Глава тринадцатая

Сентиментальное направление

К осени 1943 года в Москве стали сбивать доски с памятников: линия фронта отдалилась на безопасное расстояние. Печальный гоголевский нос вновь повис над бывшим Пречистенским бульваром. В данный военный момент ему ничего ни с неба, ни с земли не угрожало. Так и простоит монумент в полной безопасности до 1951 года, пока Сталин вдруг не фыркнет с отвращением в его адрес: «Что за противный антисоветский нос у этого писателя!» – после чего его немедленно сволокут с пьедестала и упрячут в кутузку, где его нос пропылится в постоянных мечтах о побеге и в муках раскаяния до пятьдесят девятого, то есть до времени возрождения. Вынутый же из кутузки, реабилитированный памятник с удивлением вдруг обнаружит, что его место занято плечистой, чрезвычайно мужественной фигурой, то есть воплощенной мечтой своей юности, тем самым Носом, что так самоуверенно разгуливал по Невскому проспекту 1839 года в короткие дни своего бегства.

Пока что обыватели Гоголевского бульвара с восторгом увидели вылезшего из досок своего любимого мизантропа и возобновили свои привычные вокруг него прогулки и сидения у пьедестала. С неменьшим удовольствием останавливались здесь и проезжие, в частности, возвращающийся из госпиталя на фронт полковник Вуйнович.

Вадим курил уже третью папиросу, одну за другой, жадно, как все фронтовики, наслаждаясь каждой минутой мира, глядя на барельеф с персонажами, хороводом идущими по цоколю, на всех этих Чичиковых и Коробочек. Осень в Москве всегда была для него картиной какого-то особенно сильного притяжения: памятники, трамваи под облетающими деревьями бульвара, центр российской цивилизации, иллюзия нормальности.

* * *

Он был ранен в самом начале Курского сражения. Его артиллерийский дивизион был выдвинут на передовую для отражения атаки «тигров». Им удалось поджечь десяток могучих машин, однако другие, маневрируя на полной скорости и изрыгая страшный огонь, смогли прорвать линию

обороны и уйти в наш тыл. Это, впрочем, не особенно волновало Вуйновича: несмотря на большие потери, ему удалось сохранить порядки своего дивизиона, а о прорвавшихся должны были позаботиться танкисты полковника Чердака, о чем свидетельствовала хрипящая под ухом Вадима телефонная трубка. Чердак, его частый и очень «свойский» собутыльник – не далее как третьего дня усидели под преферанс литровку ректификата, – теперь, сидя в командирском танке, выдавал свой излюбленный текст: «Ни хуя, Вадеха, не бздимо! Сейчас я их, блядей сраных, первозданной калошей прихлопну! Пока!» С этими словами он закрыл люк танка и повел бригаду на перехват «тигров».

Между тем на холмы перед позициями Вадима, давя остатки деревушки, выходили шесть чудовищ, многотонные «фердинанды», гигантские самоходные пушки компании «Порше», новая надежда Гитлера. В этот момент Вадим, охваченный возбуждением боя и ободренный залихватской матерщиной Чердака, принял неожиданное решение. Идем к ним навстречу, выкатывайте все семидесятипятимиллиметровки, потащим их на руках! Расположившиеся на холмах «фердинанды» начали интенсивный обстрел тыла, обеспечивая этим огневой зонт для прорвавшихся «тигров». Пушки Вадима, то один расчет, то другой, останавливались, вели прицельный огонь, однако снаряды пока что просто разбивались о 200-миллиметровую головную броню.

Ближе! Ближе! Пушки перетаскивались через мелководную речушку. Вадим тем временем внимательно наблюдал в бинокль за работой «фердинандов». Промелькнувшее недавно в разведсводках сообщение подтверждалось: на гигантах не было пулеметов! Итак, переносим огонь на сопровождение, сами продолжаем продвигаться вперед, вплотную к ним! Готовить ручные гранаты, автоматы и пистолеты!

Рота десантников Второго панцерного корпуса, очевидно, эсэсовцы дивизии «Мертвая голова», лежала вокруг «фердинандов». Экипировка у них была превосходная, имелись даже минометы, из которых они обстреливали надвигавшуюся таким необычным способом артиллерию русских. Атака артиллерии, чего только не придумают проклятые «унтерменши»!

Пушки Вуйновича больше уже не стреляли по неуязвимым грудям «фердинандов», зато активно истребляли роту сопровождения. Выхватив пистолет, Вадим махнул своим ребятам и побежал через картофельное поле прямо к приблизившимся желтовато-зеленоватым громадам. Стрелять в смотровые щели, поджигать бензобаки, забрасывать гранатами! В этот момент кто-то, очевидно отставной козы барабанщик, хватил его поперек

живота свинцовым шлангом.

Завершение боя прошло в его отсутствие, он не видел, как артиллеристы, тщательно выполняя приказ своего поверженного командира, выводили из строя новое, злополучное чудо-оружие врага. Вадим тем временем – если еще можно было говорить о времени, говоря о Вадиме, – пребывал в смежных пространствах, то барахтаясь, словно утопающая козявка перед гигантскими накатами красного вперемежку с лиловым, то разрастаясь до полного охвата всего красного и лилового, пучась до самой грани окончательного взрыва.

Ни утопления, ни взрыва все-таки не произошло, а вместо этого вдруг в проеме небесного с белым мелькнуло веселое лицо молодого врача – назовем его Давид, – который сказал: «Ну, полковник, пиши жене, чтобы свечку в церкви поставила!» Вадим хотел было возразить, что у него жена мусульманка, но не успел, укатил опять в какие-то смежные, но теперь уже не столь грозные, не столь демонические пространства, в какой-то край, довольно близкий и его собственной пропавшей молодости, где почему-то постоянно звучал голос Александра Блока: «Ветер принес издалека Песни весенней нарек... Ветер принес издалека Песни весенней нарек... Ветер принес...»

Короче говоря, он был спасен искусством хирургов и чудодейственным заморским лекарством по имени «пенициллин», первая партия которого только что поступила в армейские госпитали. Невероятная атака пушек на броню вызвала много толков. За храбрость и инициативу он был представлен к ордену Ленина. Командующий Резервным фронтом генерал-полковник Н.Б.Градов, проверяя списки, переименовал представление с «Ленина» на Героя Советского Союза. Он же предложил присвоить Вуйновичу воинское звание генерал-майора, однако в Москве, где-то в верховных канцеляриях, кто-то сильно тормознул без пяти минут героя и генерала. Так или иначе, он, вчерашний «враг народа», неразличимая частичка «лагерной пыли», все-таки стал кавалером высшего ордена страны.

Фронтовые врачи кроме возможности получить эту награду оказали ему еще одну неоценимую услугу – отправили долечиваться в Самарканд, где жила его жена Гулия с детьми. Два месяца в тыловом госпитале оказались сущим блаженством. Впервые, вдруг ни с того ни с сего восстановилась семья. Во-вторых, и опять совершенно неожиданно, исчезла постоянная тяжесть, всегда у Вадима связанная с семьей, возникли какие-то новые отношения.

Гулие, когда он женился на ней, было всего восемнадцать лет.

Ошеломляющая восточной красотой, девица происходила из семьи местного партработника, феодала советской формации. Была дика, нагла и ленива. Ленъ роднила ее с покорными женщинами гаремов, сходство, однако, на этом и заканчивалось. Напичканная партийными стереотипами, деваха старалась постоянно доминировать над своим задумчивым мужем, устраивала ему скандалы по дурацким поводам и даже нередко бросалась с пощечинами.

И вдруг является в госпиталь вместо прежней фурии молодая сдержанная женщина с гладкой прической, в скромненьком костюмчике, даже и не такая чудовищно красивая, как прежде, а просто миловидная Гулия. Оказалось, что за эти годы, после ареста мужа, окончила заочно филологический факультет пединститута, учительствует, прочла массу книг. Вдруг – падает всем лицом в госпитальное одеяло, начинает рыдать: прости меня, Вадим, прости! Выясняется, предала мужа публично, выступала на собраниях, сыновьям запретила упоминать отца. «Ах, Гулия, не нужно, дорогая, так убиваться! Не ты первая, не ты последняя!» – «Ах, Вадим, я знаю, что ты меня не любишь, ты любишь другую, но ты хоть прости меня, ведь я мать твоих сыновей!» Занятия литературой явно пошли на пользу, отмечалась склонность к прямому сентиментальному направлению.

Мальчишки были счастливы вдруг заполучить геройского русского папу. Вспоминая раннее детство, они то и дело повисали на его плечах, причиняя боль в сильно порезанном теле. Вадим, однако, наслаждался этой возней. Когда ему разрешили выходить, мальчишки после школы стали прибегать прямо к госпиталю, и он провожал их домой, хромая, как древний властитель этих мест: отставной козы барабанщик на Курской дуге разворотил ему не только живот, но и правую ногу в бедре. Они шли мимо мечети Биби-Ханым, через раскаленную под солнцем площадь Регистана к окраине, где уже виднелись меж крыш щедрые, будто крытые ковром, холмы Зеравшанской долины. Повсюду пирамидами громоздились арбузы и дыни, свисал из-за заборов сладчайший виноград. Мука хоть и нормировалась, но горячие ломкие чуреки роскошью здесь не считались. Восток, хоть и советизированный, присутствовал повсюду, посреди жестокой истории вдруг проявлял чувство какого-то необъяснимого братства, ощущение огромной семьи.

Оставаясь с мужем наедине, Гулия плакала: «Все равно ты меня не любишь. Ты любишь Веронику Александровну Градову!» Вадим молча ее целовал. В темноте уста Гулии раскрывались, как тюльпан.

Что касается Вероники Александровны Градовой, то Гулия, пожалуй,

была уже не права. Навязчивый образ этой женщины за годы разлуки был основательно отодвинут более свежими впечатлениями: двадцатью двумя методами активного следствия, прокладкой железной дороги в Норильском крае, железной игрой с «фердинандами» ну и, наконец, увлекательными запредельными путешествиями. Правда, он написал ей письмо, дружеское, энергичное письмо, с хорошим мужским юморком, с непременным, как сейчас вокруг говорили, тонким намеком на толстые обстоятельства: дескать, если в мирное время судьба нас не свела, то во время войны все возможно. К счастью, не отослал пошлейшее письмишко. Да и куда отсылать? Московский адрес неизвестен. Не в штаб же фронта посылать, «командующему для его супруги», в самом деле. Можно было, конечно, послать в Серебряный Бор, однако эту возможность Вадим как-то сразу глубоко задвинул, сделал вид, что она ему в голову никогда не приходила. Короче говоря, самаркандское письмо присоединилось к рассеянной коллекции неотосланных писем, собрав которую какой-нибудь исследователь смог бы написать интересную работу о мечтательности старшего комсостава РККА.

В Самарканде полковник Вуйнович очень быстро пошел на поправку. Даже не понадобилась повторная операция в полости живота. Вскоре и нога полностью восстановилась, хоть опять бросайся с пистолетиком на танки Третьего рейха. Следует сказать, что к сорока трем годам Вадим, как и его высокопоставленный друг, достиг пика мужественности, только, в отличие от Никиты с его сухопаростью и сутулостью, он еще представлял собой и идеал мужской красоты: седые виски, прямые плечи, походка, олицетворявшая все стати российской гвардии. Женщины тыла, едва лишь он оказывался в поле зрения, мгновенно отлетали от своей жалкой реальности, глотали воздух и потом еще долго и нежно вздыхали.

Вот и сейчас, пока он сидел под памятником Гоголю, выставив колено и держа на колене свой планшет, пробегающие по бульвару студентки спотыкались, переходили на шаг, будто ожидая, что красавец полковник их окликнет, и удалялись медленно, перешептываясь, хихикая и оглядываясь. Между тем полковник держал на планшете треугольное письмишко и обводил адрес чернильным карандашом: «Москва, Ордынка, 8, кв. 18, Стрепетовым». Письмо было свернуто в треугольник, поскольку конверты исчезли из природы, и выглядело оно, как заурядное послание, что миллионами летели с фронта и обратно, однако принадлежало оно совсем другой эпохе. Именно это письмо летом 1938 года было брошено к ногам Никиты Градова из проходящего тюремного вагона. Читателю, забывшему те отдаленные обстоятельства, следует взять первый том нашей саги и

вернуться к пьяному и мрачному разговору двух командиров, в конце которого Никита попросил Вадима доставить письмо в Москву. Перед Москвой, однако, Вадим еще успел заехать домой, на афганскую границу, где его и взяли прямо в расположении полка. И вот сейчас, в Самарканде, разбирая старые фотографии в альбомах Гулии, натолкнулся на тот тюремный треугольник: Ордынка, 8, кв. 18, Стрепетовым. Письму этому было уже шесть лет. Хотя он и тогда жаждал выполнить поручение незнакомого зека, потому что ненавидел Сталина и «всю эту бражку», только сейчас, после всего, что самому пришлось пережить, он понял уже без всяких боковых, политических эмоций, что значило это письмо для того человека.

В этот осенний день, наедине с самим собой, хоть и в присутствии Гоголя, Вадим наконец решил незамедлительно отправиться в Замоскворечье и доставить весть. Иначе опять затеряется и забудется, и только останется неясное чувство вины, о котором и сам не сможешь сказать – откуда оно?

Он прошел по бульвару до метро «Дворец Советов», перешел на Волхонку и двинулся по ее правой стороне к центру, любуясь крышей и колоннадой Музея изящных искусств. Почти повсюду вдоль тротуаров тянулись очереди за едой по карточкам. Народ стоял плотно, стабильно, бабушки приносили с собой стулья, ящики, устраивались удобно, с вязанием. Присутствовал, разумеется, и неизменный сочлен любой солидной московской очереди, какой-нибудь академический старичок с толстенным томом классического чтения. Проходя мимо очередей, Вадим неизменно думал: сколько же вам еще терпеть, родные? Сколько горя мы вам принесли своими идеями, своим оружием! И вот сейчас приближается победа, мы уцелели как нация, но опять как нация рабов, черт побери! И, как всегда, проклятый «таракан» не оставляет нам ничего, кроме очередного тупика. Ведь не поднимешь же восстание после такой войны! И кто за тобой пойдет, когда все лавры победы будут возложены на самого гнусного, самого преступного! Грязное кощунство внедряется повсеместно: «За Родину, за Сталина!» И теперь он сидит как равный, да что как равный – как главный среди лидеров демократических стран! Это же дьявольское наваждение!

Между тем настроение в московских очередях осенью сорок третьего было совсем не безнадежное, пожалуй, даже несколько приподнятое. Впервые за два года карточки стали всерьез отовариваться: нередко давали крупу, подсолнечное масло, иногда даже американскую свиную тушенку и яичный порошок. По детским талонам иной раз отпускали питательную

жидкость «суфле». Вообще стало как-то светлее. Вместо светомаскировки каждую неделю ошеломляюще прекрасные салюты в небе Москвы! В лицах молодых женщин прибавилось мечтательности. Мужчины хоть и продолжали калечиться, однако все-таки – или даже благодаря этому – стали чаще появляться в обществе. Вот вам пример: незаменимый инвалид Андрюша из Сивцева Вражка. Незаменимо исполняет на трофейном аккордеоне вальс-бостон «Тучи в голубом». И поет совершенно незаменимым голосом, просто Марк Бернес. Вся очередь заслушалась, а волхонские девчонки уже и танцуют на тротуаре – шерочка с машерочкой. Девочки, гляньте, какой офицер идет! Ой, я умру, просто ведь незаменимый какой-то мужчина!

– Здравия желаем, товарищ полковник!

– Здравствуйте, девушки! – улыбнулся Вадим.

– А как насчет потанцевать с нами по-быстрому? – спросила одна, самая смышленая.

– Да я из госпиталя! – засмеялся он.

– Не тушуйся, полковник! – заорал инвалид Андрюша. – Танцуй, гуляй, война все спишет!

Вадим, ха-ха, вдруг подхватил смышленную и провальсировал. «Тучи в голубом напоминают тот дом и море...» Девчонка, в полном бесстыдстве от такого счастья, склонила ему головушку на орденоносную грудь. Вокруг народ смеялся и аплодировал.

– А ты кому ногу подарил, гармонист? – спросил Вадим. – Гудериану или Манштейну?

– В Керчи высаживался, гвардии полковник, – подмигнул ему как своему Андрюша. – Там и сбросил свою клешню для удобрения отечества.

Не без сожаления Вадим оставил девчонок и направился было дальше, когда вдруг услышал громко произнесенное свое имя: «Вадим Вуйнович?! Неужели? Не может быть!» Еще не успев обернуться на этот голос, он испытал какое-то мгновенное, острейшее чувство полнейшего, до мелочей, осознания этого осеннего дня, как дня своей жизни, где все относится к нему и сам он является частью всего – прохладный, пахнувший уже снежком ветерок с Москвы-реки, томное рывканье аккордеона, девчонки с разлетающимися волосами, высокий полковник, – и понял, что сейчас произойдет событие, более важное, чем вся мировая война, и что треугольное письмо опять не будет доставлено.

Он обернулся. Вдоль противоположного тротуара медленно, словно в замедленном кино, двигался еще один трофейный аккордеон, то бишь легковой лимузин марки «Мерседес». Каменная будка шофера враждебно

повернута к нему. Коробится погон младшего лейтенанта. За шофером два темных провала автомобильных окон. «Стой!» – кричит тот же голос. Теперь это уже адресовано не ему, а шоферу. Кадр на мгновение застывает, потом с задних подушек в распахнувшуюся дверь является длинная нога в шелковом чулке, охваченная снизу сложными кожаными переплетениями туфли. Нога чуть-чуть медлительнее, чем весь предложенный ритм исторического события, зато потом темный проем автомобильной двери едва ли не взрывается мгновенным, дерзейшим и ярчайшим выбросом красавицы. Среди московского убожества это и на самом деле выглядит как кинематографический прием: контрастный монтаж. Красавица, в твидовом труакаре, с мехом на плечах, бежит через улицу как воплощение целлулоидной мечты, все лучшие качества Любви Орловой и Дины Дурбин трепещут и увеличиваются по мере приближения. «Вадим!» Еще шаг ближе, еще шаг, теперь уже видно, что девушка немолода. «Вадим!» Но как она прекрасна, моя любовь! Она протягивает руки. Он протягивает руки. Их пальцы соприкасаются. Щека к щеке, дружеский поцелуй. Кино кончается, начинается ошеломляющая жизнь.

- Я знала, что мы еще с тобой встретимся!
- Я был уверен, что встречу тебя сегодня!
- Сегодня?
- Да, сегодня!
- Да как же ты мог быть уверен, что встретишь меня сегодня?!
- Сам не знаю, но был уверен, что встречу тебя сегодня!

Впервые в жизни они говорили на «ты». Она хохотала, в углу рта среди жемчужин крошечным грибочком поблескивала золотая шляпка. Она повисла у него на руке. Ну, пойдем же, пойдем! Да куда же? Да куда угодно, черт, пойдем к реке, мне надо отдышаться!

Шофер Шевчук, которому приказано было ждать, вылез из лимузина размять ожесточенные ноги. Мрачно приблизился к очереди. Бабушки заинтересовались – что ж это за краля?

– Маршала Градова законная супруга. Ее превосходительство Вероника, – ответил Шевчук с привычной блатной ухмылочкой и молча показал инвалиду кулак с оттянутыми в стороны мизинцем и большим пальцем, то есть приглашение выпить. На кой хер, спрашивается, надо было перетягивать с Севера в столицу, если всякий полковник для нее уже и «Вадим», и вообще такая, бля, самодеятельность?!

...Ветер, проходя по темной поверхности Москвы-реки, чеканил мгновенные пласты мелких волнишек. Из-за реки смотрел на них с фасада Дом-Правки огромный портрет Сталина. Вероника впервые прикасалась к Вадиму бедрами, губы ее тянулись к его уху, шептали:

– Вы взяты в плен, полковник! Шаг в сторону, расстрел на месте!

* * *

Все эти несколько дней в Москве он бродил по Арбату. Ему казалось, что именно в арбатских переулках должна была сейчас жить Вероника. Воображение рисовало ее фигуру с разлетающейся гривой волос где-нибудь возле Вахтанговского театра или на Бульварном кольце. Квартира Градовых должна была помещаться в современном доме начала века, то есть поближе к истокам всего этого вадимовского, иронически говоря, небольшого, то есть длиною в жизнь, платонического, опять же в ироническом смысле, романа. Оказалось, что Градовы теперь переместились в самый торжественный центр столицы, в торжественный дом с мраморным цоколем и с фигурами трудящихся на крыше. Из окон маршальского кабинета, если подойти вплотную, можно было увидеть кремлевскую стену с двумя Арсенальными башнями. Портрет маршала в шинели внакидку, еще с генеральскими погонами, украшал книжные полки. Снимок, очевидно, был сделан каким-нибудь знаменитым фронтовым фотографом, вроде Бальтерманца, в тот момент, когда военачальник со своего командного пункта наблюдал за перемещением войск. Лицо, с сощуренными глазами, с резкими вертикальными морщинами на щеках, не выражало ничего, кроме боевой сосредоточенности.

Вадим, конечно, давно уже знал, что Никита и Вероника отдалились друг от друга. Еще в самом начале, когда он только прибыл из лагеря в действующую армию, Никита однажды все-таки пригласил его в свой блиндаж на ужин. Они здорово выпили и говорили на разные темы, но всякий раз, как разговор приближался к Веронике, Никита резко, почти демонстративно, менял направление. Некоторое время спустя в штабе появилась славненькая молодуха, Таська Пыжикова. Командующий никогда не делал секрета из своего походно-полевого амура, а напротив, как будто благоволил к тем, кто называл Таську хозяйкой.

Разговорчики обо всех этих делах «наверху», естественно, доходили и до артиллерийского дивизиона. Народ в окопах любил посплетничать о

постельных шашнях. Хотя и постельными-то их можно было назвать с большой относительностью – все-таки хоть на короткий срок отвлекали от кошмарного дела «уничтожения живой силы и техники».

Вадима почему-то задевало присутствие в штабе этой «мечты солдата», Таисии Пыжиковой. Со мной такого бы не случилось, думал он. Если бы тогда, еще в двадцатые, я был бы решительнее и увел Веронику от Никитки, она никогда не попала бы в такое двусмысленное положение. Я никогда бы ее не унизил. Что бы ни случилось, я бы все понял и простил. Их романтика расплзлась по швам, что и требовалось доказать. У нас это было бы иначе. Пестуя всю жизнь в отдалении свой образ идеальной любви, он уже забыл, какие эмоции когда-то возбуждала в нем живая и горячая Вероника, в каких его онанистических сценах царила эта звезда.

И вот теперь они одни, и Никиты с ней больше нет, а портрет на полке – это всего лишь произведение фотографического искусства. Она наполнила большие фужеры прозаичной и темной, под стать дубовым панелям кабинета, жидкостью. Коньяк. Настоящий коньяк «Ереван»!

– Ну, за встречу! Bottoms up, dear comrade-in-arms!

– Почему же по-английски? – улыбнулся он.

Она пробежала по ковру и повернула ключ в дверях кабинета, хохотнула через плечо:

– А я учу! Для общения с союзниками!

Далее пошло все столь естественно, что даже напрашивалось слово «банально». Оно, впрочем, было отогнано первыми же тактами коньячной увертюры. Он стал расстегивать ее кофточку. Она ему помогала, поднимая руки, поворачивалась спиной. Бюстгальтерные крючки оказались слишком сложными для него, пальцы благоговейно дрожали. Смешки слетали с ее потрескавшихся губ, когда она высвобождала свои груди. Увидев живыми два розовых этих существа, нежнейших дюгоней, о которых столько мечталось, он упал перед ней на колени и утонул лицом ей в межножье. Она дрожала, путала пальцами его волосы, потом стала поднимать свои юбки, стаскивать вниз нечто фантастически шелковистое, окаймленное кружевной афродитовой пеной. Далее, увы, последовала нелепость. Вадим вдруг сообразил, что и ему следует раздеться: не подступаться же к божеству в суконном мундире, в шевиотовых, основательно залоснившихся уже галифе. Он начал стаскивать сапоги. Проклятые хромы были тесноваты в лодыжках, не поддавались. Яростно дергая сапог за носок и каблук, он прыгал на одной ноге. Она, обнаженная, ждала, сидела в углу, стараясь не смотреть на своего киплингovenского героя, но все-таки иногда бросая на него несколько обескураженные взгляды. Один сапог наконец

слетел с ноги, по счастью, вместе с носком. Второй носок удержался, но романтики отнюдь не прибавил, если учитывать, что в багаже полковника было всего две пары носков. Вадим начал стаскивать галифе, но вспомнил, что под ними отнюдь не вдохновляющие и слегка уже зажелтевшие спереди кальсоны с завязками. Похолодев, в отчаянии стал стягивать галифе вместе с кальсонами. Словом, после этих неуклюжих, едва ли не постыдных минут, только лишь коньяк мог бы их вернуть к прежнему волшебному головокружению, однако и подойти к бутылке в таком виде было бы не просто неловко, а постыдно, и, как бы желая показать, что он все так же горяч, все так же пленен страстью, он бросился к ней, начал хватать, закидывать ей голову, впиваться губами в кожу, и все почему-то получалось совсем неестественно.

Как он неправильно себя ведет, думала Вероника. Мог бы просто выебать с ходу, как они говорят, по-офицерски, то есть именно так, как всегда и рисовалось в воображении: я одна в полусумраке, входит Вадим, спокойно расстегивает пояс... Ну, а если уж начинаешь с нежностей, не надо сейчас так бросаться, надо так и продолжать, медленно, до бесконечности тянуть, до полного изнеможения... «О, как мучительно тобою счастлив я...» Кажется, и я себя неправильно веду: не зашторила окна, почему-то не решаюсь взять все в свои руки. В рот, наконец...

Потом они долго лежали молча. На кожаном диване было тесновато, нога Вадима свисала на пол. Вероника тихо провела ладонью по его шрамам на животе.

– У тебя была страшная рана, – проговорила она.

– Вытащили почти из преисподней, – сказал он, начал было рассказывать о своей ране, но осекся: это могло прозвучать, как оправдание его неловкости.

– Милый мой, – прошептала она.

Губы ее стали нежно бродить по его лицу. Глаза у него увлажнились. Она все понимает, настоящая женщина, не девушка. Кажется, что-то снова приближается. «Священный огонь», как выражались беспутные классики романтизма, и тогда это уже будет по-настоящему, но тут она вдруг быстренько перебралась через него и пробежала по ковру, собирая разбросанные вещи. Не успел он и опомниться, как она уже сидела почти одетая на краешке стола рядом с бутылкой коньяку.

– Одевайся, Вадим! Скоро придут дети!

Пока он влезал обратно в свои шевиоты, сукно и хром, она махнула одним глотком – bottoms up! – полфужера коньяку и закурила американскую сигарету «Честерфилд» из щедрого маршальского пайка.

– Между прочим, Вадим, – заговорила она со светской оживленностью, – ты знаешь, мне завтра стукнет сорок. Ты можешь себе представить? Я не могу!

Он поднял свой фужер:

– Ты еще долго будешь молодой, Вероника!

– Ты так думаешь? – с исключительной заинтересованностью спросила она.

Тоска высасывала из него всю душу и тут же занимала ее место. Растерянная душа все-таки пласталась под потолком, будто флаги антигитлеровской коалиции.

– Где сейчас твоя семья? – спросила Вероника. – Что Гулия?

Кажется, я ни разу не называл ей имя моей жены, подумал он и стал рассказывать, как Гулия после его ареста жила в Ташкенте два года с другом ее отца, местным партийным баем, и уже собиралась оформить развод с «врагом народа», а потом вдруг что-то в ней произошло, какой-то, веришь не веришь, нравственный перелом, она бросила бая и переехала в Самарканд на скромную учительскую должность. Вот там они и встретились. Командование известило ее, что муж лежит в местном госпитале.

– Вы хорошо встретились? – спросила Вероника.

Он замялся:

– Да... знаешь ли... я все простил... да, собственно говоря, что прощать? ...У меня сейчас как-то... знаешь ли, Вероника... перевернулась, перепуталась вся шкала ценностей...

Она кивнула:

– Это война. Она нас всех перевернула, даже больше, чем лагеря... Вот. А знаешь ли, Вадим, мы с Никитой нехорошо встретились...

– Я знаю, – сказал он.

– Откуда?! – вскричала она, и по этому вырвавшемуся, будто от ожога, крику он понял, что эта тема для нее сейчас самая главная в жизни, по сути дела, единственная тема ее нынешней жизни, а внутри этой темы есть еще одна подтема или свертхтема, и вот она-то и заключается в крике «Откуда?!»: откуда и кем распространяется информация.

Он пожал плечами:

– Ниоткуда. Просто понял по твоим и его интонациям.

– Ты видишься с Никитой... часто? – Рука ее торопилась опустошить бутылку «Еревана».

Он не успел ответить: в глубине квартиры послышался стук двери и четкие шаги.

– Борис! – воскликнула она и побежала встречать сына.

Вадим медленно последовал за ней. По дороге успел оглядеть себя в зеркале. Кажется, все в порядке, никакие завязочки не высовываются.

Семнадцатилетний Борис IV был одет в новенький флотский бушлат. Коротко стриженные мокрые волосы были разделены на аккуратнейший пробор. Все мышцы лица четко сосредоточены, видимо, для выражения недавно усвоенной мины полнейшей и окончательной серьезности.

– Ну, Борис, посмотри! Узнаешь дядю Вадима? – каким-то откровенно игровым, притворным тоном, как будто ей было просто-напросто противно играть роль мамы такого взрослого парня, спросила Вероника.

– К сожалению, нет, – очень серьезно ответил Борис IV и очень серьезно и вежливо кивнул боевому полковнику с желтой нашивкой тяжелого ранения.

– А ведь они с твоим папочкой вместе... еще в Гражданскую... вместе кавалерствовали... то есть, я хочу сказать, вместе «на рысях, на большие дела» ходили! – продолжала веселиться Вероника.

Мальчик еле заметно поморщился на пьяноватые интонации в голосе матери. Вадим протянул ему руку:

– Я очень рад тебя видеть, Боря, таким, уже почти взрослым.

Они пожали друг другу руки.

– Я тоже очень рад, – сказал Борис IV. – Теперь я понимаю, вы Вуйнович. Простите, что сразу не узнал, – он открыл дверь своей комнаты, – простите.

– Почему у тебя волосы мокрые?! – крикнула вслед Вероника. – Почему ты не надеваешь шапку?

Ничего не ответив матери, мальчик закрыл за собой дверь.

– Ходит в кружок самбо, – сказала Вероника. – Ты знаешь, я дрожу от страха за него. Видишь, какой серьезный? По-моему, он решил бросить школу и уйти на фронт.

– Нечего ему там делать, – сказал мрачно Вадим. – Таким мальчишкам нечего лезть в эту грязь, если можно без них обойтись.

Они стояли в разных углах большой прихожей и смотрели друг на дружку. Все большая неловкость, смущение сковывали их, как будто то, что сейчас произошло между ними, не только не сблизило их, а, напротив, расшвыряло по уголькам их некий общий воздушный замок.

– Ну, что ж, Вадим, – сказала Вероника. – Ну, что ж...

Читалось это довольно определенно: теперь, мол, уходи, вали отсюда, представление закончено...

– Сегодня ночью я лечу на фронт, – сказал он. Он произнес это

предельно бытовым голосом, и все-таки обоих слегка покорило: сценка начала напоминать советский фильм новой, сентиментальной формации.

Она вздохнула:

– А завтра прилетает Никита.

В том же духе, как ни крути: эвакуированный Мосфильм.

– На день рождения? – спросил он.

Она вызывающе, но явно не в его адрес расхохоталась:

– Событие в сто раз более важное, чем какой-то паршивенький день рождения! Ну, что ж, Вадим, ну, иди... – Она вдруг смущенно перекрестила его издали. – Как говорится, Бог тебя храни. Не забывай...

– Странно как все это получилось, – пробормотал он.

– Война, – печально отозвалась она.

Нежный воздушный поцелуй перелетел через переднюю маршальской квартиры. Дальнейшие прикосновения, стало быть, исключаются.

Выйдя из лифта на первом этаже, он увидел привалившуюся к мраморной стене быковатую фигуру младшего лейтенанта. Блатная морда с прилипшей к нижней губе сигареткой. Лендлизовский дымок. Вадим не сразу узнал Вероникиного шофера. Узнав, обернулся. Шофер не отрываясь нагло смотрел на него. Скорее вохровец, чем блатной. Вот именно вохровская, нажратая физиономия. Эти морды, собственно говоря, видишь повсюду. В каком-то смысле важнейший этнический тип. Только среди пленных немцев они не встречаются. Там другой этнический тип гестаповца. Ну, не в ловушке ли мы все, сражающиеся за Родину? Выходишь из боя и сразу же видишь вокруг себя эти морды, видишь тех, кто пытал тебя под картиной «Над вечным покоем», тех, кто гнал тебя в шахту прикладами в спину... Значит, дрался за них?

– Почему не приветствуете? – сдерживая ненависть, сказал Вадим.

С глумливой улыбочкой, не меняя позы, холуй притронулся к лакированному козырьку. Исполненное таким образом воинское приветствие выглядело издевательством. Ну не связываться же с говном для довершения всех нелепостей. Вадим вышел на улицу и вдруг был мгновенно подхвачен сильным западным, то есть фронтовым, ветром. Вот так это иной раз получается. Выходишь из дома, где все застоялось, где и сам ты закис в тоске, и улица вдруг мгновенно меняет твоё настроение. Новый воздух приносит необъяснимый подъем. Кажется, что впереди все-таки еще есть какое-то будущее.

И ночью, шагая с вещевым мешком на плече по аэродрому к «дугласу», он все еще испытывал этот необъяснимый подъем, ощущение полноты жизни. Белые облака быстро проходили по темному глубокому

небу. Их тени бежали через аэродром, по рядам транспортных «дугласов», поднявших к луне свои дельфины морды. Мощная общая лунность. Полковник-артиллерист возвращается на фронт. Контрнаступление продолжается.

В полете, привалившись к вибрирующей стенке, он все время повторял две строчки стихов. Он не помнил их автора, не помнил ни начала, ни окончания. Вспоминалось только лишь, что они, кажется, звучали в романе Алексея Толстого, может быть, в «Хождении по мукам»...

*...О любовь моя незавершенная,
В сердце холодеющая нежность...
...О любовь моя незавершенная,
В сердце холодеющая нежность...
...О любовь моя незавершенная,
В сердце холодеющая нежность...*

Глава четырнадцатая

Вальсируем в Кремле

В течение следующих суток, пока полковник Вуйнович добирался до расположения своего дивизиона, в крепости Кремль, что на Боровицком холме в центре русской столицы, шли лихорадочные приготовления к важному и торжественному событию. И вот как раз в то время, когда ординарцы в главном блиндаже начали кромсать фрицевскими тесаками американскую ветчину «Спам», а офицеры, собравшиеся приветствовать любимого командира, радостно потирали лапы над галлоном спирта, в Кремле открылись резные двери Георгиевского зала, и толпа гостей вошла под сияющие люстры и стала оживленно распределяться вдоль сверкающих поверхностей огромного П-образного стола. Это и было как раз то самое событие, которое Вероника поставила в сто раз выше своего собственного, черт, не очень-то вдохновляющего юбилея: кремлевский банкет в честь военных делегаций западных союзников.

Делегации США и Сражающейся Франции прибыли в составе самых высших офицеров, среди которых были личные представители генералов Эйзенхауэра и де Голля, во главе же британцев явился сам фельдмаршал Монтгомери, знаменитый Монти, перехитривший в ливийских песках «лиса пустыни» Роммеля. Монти негласно считался на переговорах главой западной стороны.

– Какой интересный! – уголками глаз показывали на него маршальские жены. – Не правда ли, Вероника Александровна, интересный мужчина?

– Ну уж, мужчина, – смешно надула губы маршальша Градова. – Вот уж не чемпионского вида мужчина, девочки!

– А кто же ваш чемпион, Вероника Александровна? – спросила Ватутина.

Вероника хлопнула себя ладонью по бедру:

– Черт, сразу и не разберешься!

Чудо из чудес, новая мода при кремлевском дворе: военачальники были приглашены на банкет с супругами. Генеральши и маршальши переглядывались. Их, казалось, больше интересовала Вероника Градова, чем западные союзники.

Уже два дня шли совместные совещания в Ставке. На них присутствовали командующие фронтов и флотов. Главной темой, естественно, были сроки открытия второго фронта в Европе. Русские

давили: как можно скорее, сколько еще нам держать всю тяжесть войны на своих плечах! Западники улыбались: разумеется, господа, подготовка идет самыми ускоренными темпами, однако, по сути дела, второй фронт уже открыт, Италия выведена из строя. Русские вежливо помахивали ладошками: Италию почему-то они не принимали всерьез. Верховный главнокомандующий демонстрировал высший пилотаж дипломатии: «Мы надеемся, что гитлеровская Германия в скором времени разделит судьбу зарвавшегося итальянского фашизма».

– Ну, а все ж таки, Викочка, кто тут тебе больше всех глядится? – шепотком интересовалась Конева.

Никита Борисович подмигивал своей опасно декольтированной супруге: не поддавайся на провокацию.

– Ну, вот этот, например, – Вероника покачивала подбородком в сторону статного генерала в незнакомой форме: ни дать ни взять иностранный Вадим Вуйнович.

– Вот этот? – пальчиками выявляли избранника маршалыши и разочаровывались: – Но ведь это же француз!

– По профессии француз, а по призванию настоящий мужчина! – возражала Вероника.

Она, говорят, в Сибири в оперетке плясала! Хороши сибирские оперетки, шептались генеральши и маршалыши. В общем, настроение у всех присутствующих было просто великолепное. Должно быть, такое же великолепное настроение царило на берлинских балах осенью 1941 года. Этот банкет как бы отмечал окончание целого ряда успешных батальи: Сталинград, Курская дуга, форсирование Днепра, Эль-Аламейн, высадка в Сицилии, разворачивание необозримого Тихоокеанского театра военных действий. Поговаривали, что в самом близком будущем Большая Тройка соберется подводить итоги и намечать планы завершающего (завершающего, мать вашу так, ликуйте, народы!) этапа войны. Где соберутся, естественно, никто не знал. Называли Каир, Касабланку, Тегеран, но не исключали и Москву, так как было известно, что дядя Джо не любит путешествовать за пределами своей страны. Так что, возможно, прямо в Москву прилетят Рузвельт на своей «священной корове» и Черчилль на гордости Королевской авиации, бомбардировщике «Стерлинг».

Наконец расселись: советские хозяева по внешней стороне буквы «П», гости и дипломаты с женами (при наличии таковых – немало ведь было и холостого народа) – по внутренней. Чтоб чувствовали себя уютнее, то есть чтобы в самой сердцевине русского хлебосольтва оказались.

Маршалы сверкали наградами. Сидим, как новогодние елки, злился Никита Градов, а у союзников вместо орденов – крошечные планки. Вот что надо будет ввести в армии, такие планки. Чтобы не таскали на себе офицеры груды дурацкой декорации. Горло ему подпирала новая изумрудная маршальская звезда.

Любопытна была история его совсем недавнего возвышения к окончательному воинскому чину. В Ставке шло обсуждение массовой операции по выходу к Днепру. Участвовали и члены Комитета Обороны СССР, то есть партийно-правительственная верхушка. Решающий удар по обороне немцев должны были нанести войска градовского Резервного фронта. Сталин чубуком трубки указал на карте место, в котором изольется на врага стальная и человеческая масса. Это был узкий коридор между непроходимыми для техники болотами и лесами. Немцы, разумеется, превратят этот коридор в настоящую мясорубку.

– Вы подготовили детальную разработку операции, товарищ Градов? – спросил Сталин. Округлые, завершенные предложения, вызванные, конечно, неидеальной властью над языком идеально подвластного народа, давно уже стали чем-то вроде испепеляющего гипноза.

Никита Борисович развернул свои карты. По его предложению в зловещий коридор устремляется только половина войск Резервного фронта, другая же половина, проделав стокилометровый марш на север, обрушивается на противника через другой топографический коридор.

– Таким образом, товарищ Сталин, мы сможем ввести в действие больше сил, а также лишим противника возможности перебрасывать подкрепления из одного сектора в другой.

Присутствующие молчали. Предложение генерала Градова противоречило основной тактической доктрине о начале любого большого наступления единым, массированным ударом, а главное – оно противоречило уже высказанным соображениям Верховного. «Людишек бережет. Популярности ищет Никита», – с раздражением подумал Жуков, однако ничего не сказал.

Сталин теперь прижал чубук трубки прямо к карте. Капелька никотинного меда оставила на карте непререкаемое пятно.

– Оборона должна быть прорвана в одном месте!

– Мы получим массу преимуществ, если прорвем оборону в двух секторах, – возразил Градов.

Возразил Градов! Возразил – кому? На совещаниях в Ставке давно уже царствовал свой этикет. После того как удалось остановить позорное бегство 1941 года и отстоять Москву, Сталин стал с большим уважением

относиться к своим военачальникам. Понимал, скотина, что эти люди спасают вместе со своей страной его любимую коммуналию. Обычно он давал всем высказаться, допускал самые яростные споры, внимательно слушал, задавал вопросы, но уж если высказывался, все споры на этом кончались. В данном случае он уже высказался, и градовский план представлял сейчас собой, вернее, неизбежно мог быть истолкован, как подрыв авторитета великого вождя.

– Не вижу никаких преимуществ! – рассерженно фыркнул он.

Никита заметил, как переглянулись Молотов и Маленков и как повернулись к свету слепые стеклышки Берии. Ну все, подумал он, шансов на выход из пике, кажется, мало. Шахта, должно быть, сильно плачет по мне.

– Я думал об этой операции три дня, товарищ Сталин, – сказал он. Всех поразило, что произнесено это было даже с некоторой холодностью.

– Значит, мало думали, Градов! – чуть повысил голос диктатор. – Забирайте свои карты и идите подумайте еще!

Никита с рулонами под мышкой вышел в соседнюю комнату, с потолка которой из-за люстры удивленно смотрел вниз озадаченный купидон. Пробежали по коридору адъютанты. Немедленно явились Никитин начальник штаба, зам по тылу, трое командующих армиями и ненавистный, глубоко презираемый человек, присланный еще летом 1942 года на пост начальника политуправления генерал-майор Семен Савельевич Стройло.

До сих пор, глядя на совершенно облысевшего и какого-то как бы весьма солидного, респектабельного Стройло, Никита не мог забыть презрения, которое он испытывал к нему в годы молодости. Разумеется, он понимал, что в лице этого комиссара он имеет уполномоченного верхами соглядатая, однако больше всего его коробило воспоминание о связи его любимой, вдохновенной и взбалмошной Нинки с этим «представителем пролетариата».

Естественно, все штабные уже знали, что их план не принят, отправлен на доработку, однако еще не знали, что произошло ЧП, что комфронта возразил Верховному главнокомандующему. Узнав, обмякли. Никита внимательно оглядывал боевых сподвижников. Все забздели, кроме, кажется, Пашки Ротмистрова. Что происходит с людьми? На фронте не гнутся под снарядами, а здесь дрожат от тележного скрипа. Перед чужими – орлы, а перед своими – кролики. Что за мрак запятнал сознание русских? Какая-то страшная идея позора, связанного с этим издевательством, может быть, затаенный в каждом ужас перед пытками?

Пятеро мужчин оплывали перед ним, как толстые восковые свечи.

Один только Павел Ротмистров, командующий Пятой гвардейской танковой армией, спокойно пощипывал усики, протирал интеллигентские очки и даже, кажется, слегка улыбался. Он первый поддержал идею Никиты о рассредоточении удара и отступить вроде бы не собирался.

Стройло вдруг отошел к окну, вынул портсигар:

– Никита, давай чуток подымим?

Болван, несмотря ни на что, все-таки старался подчеркнуть, что между ним и комфронта существуют какие-то особые отношения. Как будто не знает, что я не перестаю требовать, чтобы его от нас отозвали. Не за соглядатайство, конечно, а за бездарность. Сogлyдaтaи у нас, как всегда, в почете, только вот бездарности пока что – очевидно, на время войны – не совсем в ход у. Стройло дубовое, подумал вдруг генерал-полковник совсем по-школярски, воображает, видать, что мы сейчас с ним отойдем к окну, как два самых близких в этой компании человека, облеченных доверием партии, командующий и начальник политуправления.

– С какой это стати я с вами пойду дымить? – спросил он с нескрываемой враждебностью и высокомерием. – Подымите там один, Семен Савельевич.

И он развернул перед своим штабом карты и закрыл ладонью проклятый коридор, в котором должны были сложить головы его солдаты, примерно тридцать процентов личного состава.

Когда его снова пригласили в святая святых, Сталин грубовато спросил:

– Ну что, подумал, генерал?

– Так точно, товарищ Сталин, – весело и четко отрапортовал Никита.

Все вокруг заулыбались, особенно члены Политбюро. Ну вот, поупрямился немного парень, а теперь понял, что был не прав. Логика партии и ее вождя непобедима. Даже Жуков размочил малость свой тонкий губешник, подумав: «Струхнул, говнюк».

– Значит, наносим один сокрушительный удар? – Сталин повел через коридор чубуком трубки. Интонация была все-таки вопросительная.

– Два удара все-таки предпочтительнее, товарищ Сталин, – тем же веселым тоном любимого ученика ответил Градов; вроде как бы к стратегическому фехтованию приглашал любимого учителя.

Ошеломленное собрание опять замкнулось в непроницаемых минах. Сталин две-три минуты стоял в задумчивости над полевой картой. Никита не был вполне уверен, что вождь там видел все, что надо было увидеть.

– Уходите, Градов, – замогильным страшным голосом вдруг сказал Сталин. Потом, словно опомнившись, поднял голову, посмотрел на

побледневшего молодого генерала и, уже с простым раздражением, отослал его жестом здоровой руки: – Идите, еще подумайте! Не надо упорствовать!

Никита опять скатал свое имущество и отправился в комнату под купидоном, которую он уже окрестил в уме предбанником. За ним вышли Молотов и Маленков. Последний, евнуховидный молодой мужик, тут же насел на него:

– Вы что, с ума сошли, Градов? С кем вы спорите, отдаете себе отчет? Товарищу Сталину перечите?

Молотов взял Никиту под руку и отвел к окну. Лицо его, кучка булыжников, некоторое время молча маячило перед ним. За окном тем временем на фоне закатной акварели беспечно порхала компания пернатых. Булыжники наконец разомкнулись:

– Как здоровье вашего отца, Никита Борисович?

Странный поворот, подумал Никита, как будто он хочет показать, что он не только Молотов, но и Скрябин.

– Благодарю, Вячеслав Михайлович. Отец здоров, работает в Медсанупре армии.

– Да-да, я знаю. Очень уважаю вашего отца как врача и как советского человека, настоящего патриота. – На той же ноте Молотов мирно добавил: – Вам придется согласиться с мнением товарища Сталина, Никита Борисович. Другого пути нет.

Переведя глаза с дружелюбных булыжников Молотова на мрачно подрагивающее желе Маленкова, Никита подумал, что даже и здесь, в высшем органе страны, невольно возникла все та же излюбленная схема: злой следователь – добрый следователь. И все мы по-прежнему зеки, какая бы власть у нас ни была над другими зеками.

Через пятнадцать минут опять призвали в «парилку».

– Ну что ж, генерал Градов, теперь вы поняли, что один сильный удар лучше, чем два слабых? – спросил Сталин. Он снова был как бы в неплохом расположении духа, лучился непонятным юморком.

– Два сильных удара лучше, чем один сильный удар, товарищ Сталин, – развел руками Градов, как бы давая понять, что ничто его не убедит в противном. Рад бы, мол, сделать вам, джентльмены, удовольствие, да не могу.

– Ну, и какой же из этих ваших двух, – голос Сталина тут вдруг взметнулся под потолок, как у спорщика в кавказском духане, – из этих ваших двух сильных ударов будет главнейшим?

– Оба будут главнейшими, товарищ Сталин. – Никита накрыл ладонями те места на карте, где пройдут эти его два «главнейших» удара.

Сталин отошел от стола и начал прогуливаться в отдалении, попыхивая трубкой и как бы забыв о собравшихся. Никита опустился на стул. Люди вокруг не без любопытства ждали, как разрешится драма, в том смысле, при каких обстоятельствах полетит с плеч голова генерал-полковника и как он проковыляет к выходу, таща под мышкой свою неразумную голову.

Сталин зашел Градову в тыл и некоторое время бродил там. У Зиновьева в свое время при появлении Кобы возникло ощущение проходящего мимо кота-камышатника. Никите же казалось, что сзади к нему приближается настоящий зловонный тигр. Рука Сталина внезапно легла на его золотой погон с тремя звездами.

– Ну что ж, поверим Градову, товарищи. Товарищ Градов – опытный военачальник. Практика показала, что он досконально знает боеспособность своих войск, а также возможности противника. Пусть теперь докажет свою правоту на поле боя. А вообще-то мне нравятся такие командиры, которые умеют отстаивать свою точку зрения...

Неожиданный конец еще одного кремлевского спектакля вызвал состояние катарсиса, едва ли не счастья у присутствующих. Как опытный вершитель драмы, Сталин, очевидно, понял, что уступка в этот момент не только не покачет его тамерлановский авторитет, а, напротив, прибавит нечто важное к его ореолу мастера ошеломляющих финалов. Не исключено, впрочем, что он на самом деле признал правоту опытного военспеца, поверил в его теорию развития операции «Кутузов». Также не исключено, что он питал к этому генералу некоторую слабость. Возможно, он уже и забыл, что перед ним бывший «враг народа», участник хоть и не существовавшего, но вовремя разоблаченного военного заговора, а просто в самом имени «Градов» звучало для него что-то приятное, надежное, освобождающее гуманитарную энергию, как и в имени его отца, выдающегося советского – подчеркиваю, товарищи, нашего советского – профессора.

Так или иначе, после того как Резервный фронт, неожиданно двумя потоками войдя в стык между Вторым и Третьим Белорусскими фронтами, разъединил и разметал части генерал-фельдмаршала Буша и генерал-полковника Рейнхардта и открыл огромную территорию для почти беспрепятственного наступления, Никита был вознагражден неслыханным до сей поры образом: скакнул сразу через генерала армии к высшему званию – маршала Советского Союза.

Сидя сейчас на кремлевском банкете, Никита постоянно ощущал эту драгоценную маршальскую звезду у себя под кадыком. Похоже, что она привлекает всеобщее внимание. Не слишком ли резво я вскарабкался наверх? Как некогда наша Агафья проявляла народную мудрость? «Выше залезешь, Никитушка, больнее будет падать»...

Через стол от Градовых сидело несколько союзнических офицеров. Они явно на Градовых посматривали и переговаривались, очевидно, на их счет.

Банкет открыл, естественно, Верховный главнокомандующий, человек одного с Никитой звания, маршал Иосиф Сталин. Едва прорезался сквозь банкетный говор этот гипнотический голос, как все замолчали.

– Дамы и господа! Дорогие товарищи! Позвольте мне провозгласить тост за наших доблестных союзников, за вооруженные силы Великобритании, Соединенных Штатов Америки и сражающейся Франции!

Все с шумом встали. Офицеры, пробряцав орденами, дамы, прошелестев шелками и панбархатами. Прозвенели сдвинутые над столом бокалы. «Тот профессор-„сменовеховец“, Устрялов, был бы сейчас счастлив», – подумал журналист Тоунсенд Рестон. Он только сегодня утром снова добрался до Москвы, на этот раз через Мурманск, и попал в буквальном смысле с корабля на бал. Теперь, сидя рядом со старым buddy Кевином Тэлавером на дальнем конце стола, он усмехался с присущей ему капиталистической язвительностью. Экая трогательная воцарилась в этой крепости имперская блистательность! Даже красавицы с почти оголенными плечами! А как же диктатура пролетариата? Какой это все-таки вздор, демократия и тирания в одном строю!

Кевин Тэлавер склонился к своему соседу справа, майору Жан-Полью Дюмону, деголлевскому летчику, а теперь офицеру французской миссии связи и всезнающему москвичу. Это был – для сведения читателей, – между прочим, тот самый, в котором Вероника определила «мужчину по призванию».

– Кто это, Жан-Поль? – спросил Тэлавер, глазами показывая на Градовых.

– О, это самая яркая звезда красного генералитета! – с готовностью стал проявлять свои познания Дюмон. – Командующий Резервным фронтом, маршал Градов...

- Послушайте, она прекрасна! – воскликнул Тэлавер.
- Мадам? Ха-ха! Вы знаете, в городе говорят, что она – сушая львица!
- Перестаньте, она выглядит, как романтическая русская аристократка!
- Особенно на фоне других дам, – не удержался ввернуть Рестон.

В соседнем зале биг-бэнд Леонида Утесова грянул в честь фельдмаршала Монтгомери «Путь далек до Типперери». Все зааплодировали, захохотали: русский оркестр играет марш английских стрелков! Потом полились томные звуки популярного русского медленного вальса «Тучи в голубом».

– Gosh, будь что будет, но я приглашу мадам маршал Градов на танец! – полковник Тэлавер одернул свой длинный мундир с большими карманами и поправил галстук.

– Кевин, Кевин, – сказал ему вслед Рестон.

Вероника давно уже видела, что привлекает всеобщее внимание. Иностранцы глазели напропалую, переговаривались на ее счет и вообще как бы не верили своим глазам. Может быть, думают, что чекисты меня приготовили для соблазна, как Олю Лепешинскую? Временами из-за Сталина, склоняясь к столу и поворачивая преступную плешь, смотрел на нее стеклами и сам министр тайного ведомства. С советской дальней части стола частенько долетали экзотические взгляды молодого генерала грузинской наружности. Что-то в нем было неуловимо знакомое. Смотрели, разумеется, вовсю подруги, генеральши и маршальши. Наверное, болтают, сколько человек из присутствующих меня ебли. Хотела бы я заполучить этот список!

Вдруг из-за спины послышалось:

– Простите, маршал Градов. Не позволите ли вы мне пригласить на танец вашу очаровательную жену?

Произнесено это было идеально по-русски, однако первые же звуки очевидно отрепетированной фразы выдавали американца. Она посмотрела через плечо. За спинками их стульев стоял высокий и узкий полковник. Немолодой. С высоким лбом. Разумеется, что-то детское в лице. У всех американцев что-то мальчишеское в лице, как будто только за пятьдесят они начинают жить.

Вероника встала. Прошелестела юбкой. Ну, черт, шикарно! Пока, маршал, уплываю за океан!

Никита смотрел вслед удаляющейся, удлинненной паре. Грустно. Почему так все получилось? Почему я не могу ее больше любить? Знает ли она о Тасе?

*Третий день подряд
Сквозь тучи от горизонта
«Юнкеры» летят
К твердыням фронта...*

Сама Клавдия Шульженко на сцене! Впрочем, кому же здесь еще быть, если не «самой»? Здесь все – самые, самые! Самые кровавые и самые славные. Ну и самая красивая женщина Москвы. Это, конечно, я! Самая красивая женщина, с которой ее муж не хочет спать.

*Третий день подряд
Глядя через прицел зенитки,
Вижу небесный ряд,
Как на открытке...*

Э, да это же та самая, Нинкина песенка! Нинка злится, когда с ней заговаривают о «Тучах», а между тем вся страна поет, весь фронт поет, как обалделый. Черт, вот уже и союзники мычат. What a great tune!^[13]

Этот полковник из посольства... как он представился, Тэлавер? ...минуточку, минуточку, да он смотрит на меня, как влюбленный пацан... черт, он на меня смотрит, как Вадим Вуйнович еще до вчерашнего дня смотрел, то же самое обожание. Поздравляю вас, зека Ю-5698791-014!

– Вы часто здесь бываете? – от растерянности спросил Тэлавер. Он держал в руках воплощенную прелесть и мягко с ней скользил по навощенным паркетам. Прелесть иногда касалась его мокрых ног своим прелестным коленом, иногда, при поворотной фигуре танца, прелестное бедро целиком ложилось вдоль его жилистого бедра. Он старался не смотреть на прелестное декольте, но все равно голова у него основательно туманилась, и он катастрофически не знал, что говорить.

– Где бываю? – изумилась Вероника.

– В Кремле, – пробормотал он.

Прелесть вдруг неудержимо и с некоторой прелестной вульгаринкой расхохоталась:

– Oh, yes! We're quite frequent here! The Kremlin dancing hall! Oh, no, my colonel, I'm joking! This is my first visit here, very first! First Kremlin ball, haha!^[14]

– Первый бал Наташи Ростовской? – сострил Тэлавер и очень

обрадовался, что так удачно и находчиво сострил по-русски.

Вероника еще пуще расхохоталась:

– Скорее уж Катюши Масловой!

Тэлавер пришел в полнейший восторг: великолепный обмен литературными, «толстовскими» шутками с романтической русской аристократкой!

– Вам, кажется, нравится Толстой, мадам Градова?

Прелестница совсем уже развеселилась:

– Мне нравятся толстые намеки на тонкие обстоятельства!

Этот «изыск» даже и до Кевина Тэлавера с его русской Пизэйч-Ди^[15] не совсем дошел, однако он просиял, поняв, что его партнерша – а почему бы так прямо с ходу не сказать «избранница»? – обладает сильным чувством юмора и легким, жизнелюбивым характером.

Вокруг самозабвенно плясало атлантическое камарадарство по оружию. Оказалось, что в смежном зале накрыты были столы для артистов, а среди них немало оказалось и премиленьких партнерш.

– Видите, какие балы умеет закатывать дядя Джо, – сказал Рестону Жан-Поль Дюмон.

– С таким умением ему место в «Уолдорф-Астории», – проскрипел неисправимый антисоветчик. – Мажордомом в бальном зале, не находите?

Француз в ужасе отшатнулся.

На эстраде в это время феерически гулял по клавишам советский еврей Саша Цфасман. Рядом с ним свистел, заливался виртуозный кларнетист. Пьеса в ритме джиттербага называлась «Концерт для Бенни» и посвящалась американскому еврею Бенни Гудману.

– Геббельс тут бы сдох на месте! – предположил полковник Тэлавер.

В паузе вокруг запыхавшейся Вероники собралось блестящее разноплеменное общество, один был даже в чалме, генерал из жемчужины Британской империи, Индии. Вот уж, насамделе, звездный час! Воображала ли она когда-нибудь в бараке, особенно однажды, когда три курвы таскали ее за волосы – я ей сикель выжру, суке! Спас Шевчук. Ногами расшвырял вцепившихся оторв. Повел в медчасть. На обратном пути трахнул в снегу за кипятилкой. Воображала ли она тогда, что будет вот так сыпать направо и налево английскими фразами, и даже свой школьный французский припомнит, а все вокруг, настоящие джентльмены, будут ловить эти фразы и восхищенно им внимать? Беспокоило немного присутствие на периферии молодого советского генерала с загадочно знакомой, кавказской внешностью. Он, кажется, мало понимал по-английски, но зато был весьма чуток к русскому. А впрочем, пошли бы они

подальше, все эти «чуткие»: все изменилось, война все старое переломала, Россия теперь двинется к демократии! Вот как странно может переломаться народное горькое выражение «кому война, а кому мать родна!».

– Скажите, джентльмены, – по-светски обратилась Вероника к присутствующим, – это правда, что в Германии запретили перманентную завивку?

Присутствующие переглянулись и засмеялись.

– Откуда вы это взяли, Вероника? – спросил Тэлавер.

Вероника пожала плечами:

– Мне муж сказал. Он где-то вычитал.

– Значит, маршал Градов интересуется не только танками? – ловко тут вставил какой-то англичанин.

Тэлавер положил ему руку на плечо:

– Между прочим, друзья, вопрос вполне серьезный. Я недавно был в Стокгольме и читал нацистские газеты. Вот как обстоит дело. После поражения под Курском и высадки наших войск в Сицилии в Германии, как известно, была объявлена «тотальная война». В рамках этой кампании по всему рейху на самом деле – Вероника права – были запрещены приборы для завивки. Все для фронта, так сказать, все для победы, экономия электричества! Тут, однако, вмешались некоторые романтические обстоятельства. Киноактриса Ева Браун, по слухам, близкий друг фюрера, обратилась к нему с просьбой не лишать арийских женщин их излюбленных машин, из-под которых они выходят еще большими патриотками. Фюрер как романтический мужчина – вспомните эти снимки в пальто с поднятым воротником, – конечно, не устоял перед этой просьбой. Перманенты были возвращены с одной оговоркой: категорически запрещалась починка завивочных машин!

– Какая грустная история, – неожиданно сказал индус.

– А как в России делают перманент? – спросил Жан-Поль у Вероники.

– Вопрос не ко мне, мон шер, – бойко ответила она. – Мои сами выются. Волны Амура. Не знаю, почему они не выются у порядочных людей?

Я погибаю, подумал Тэлавер, я просто погибаю в ее присутствии.

– Ну что ж, – вздохнула она. – Пора возвращаться в расположение Резервного фронта.

Тэлавер повел ее обратно к маршальской части стола.

– Вы мне дадите, Вероника, хотя бы один, хотя бы самый маленький шанс вас снова увидеть? – тихо и серьезно спросил он.

Она посмотрела на него уже без светского лукавства и тоже понизила

голос:

– Я живу на улице Горького наискосок от Центрального телеграфа, но... но в гости вас, как вы, надеюсь, понимаете, не приглашаю.

Ему захотелось тут же нырнуть в словари, чтобы отыскать там слово «наискосок».

После окончания банкета уже на лестнице маршала Градова с супругой догнал стройный генерал-майор кавказской наружности.

– Никита Борисович! Вероника Александровна! Я весь вечер верчусь перед вами, надеюсь, что узнаете, а вы не узнаете!

– Кто же вы, генерал? – холодно спросил Никита. Вероника мельком глянула на него, сообразив, что маршал крайне удивлен колоссальным нарушением неписаной субординации: какой-то генерал-майоришка напрямую, да еще по имени-отчеству, обращается к нему, человеку из первой дюжины.

– Да я же Нугзар Ламадзе, а моя мама Ламара и ваша мама Мэри – родные сестры!

Никита сразу переменялся.

– Кузен! – вскричал он, охватил Нугзара за плечи, потряс. Глянул на погонные значки. – Ты, значит, в танковых войсках?

Нугзар хохотал, счастливый:

– Да нет, Никита, это просто небольшая маскировка, ну, понимаешь, для союзников! Я вообще-то в органах, но... – он добавил гордо: – Но в том же чине.

Никита снова переменялся, сощурился презрительно:

– Ага, вот по какому пути ты пошел...

Нугзар замахал руками:

– Нет, нет, Никита, не думай, я не из этих... – понизил голос, сыграл глазами, – не из ежовцев... Просто, ну ты ж понимаешь, так жизнь сложилась...

– Какого же черта, Нугзар, ты в органах гниешь, когда такие события происходят? – строго сказал Никита, как будто он только и делал, что думал о судьбе Нугзара, который «в органах гниет». – Твое место на фронте! Ну, иди хотя бы ко мне, на Резервный! Хоть бы даже и по вашей части, а все-таки на фронте! Захочешь, танки дам, поведешь в атаку! Ну, хочешь ко мне начполитом?

– Позволь, позволь, Никита, да ведь у тебя там, кажется, в комиссарах Стройло Семен?

– А на кой мне хер это говно?! – вскричал Никита. – Кого вы мне посылаете, в действующую армию?! Я такие мешки с говном еще в

тридцатом году от себя откидывал!

– А мы тут при чем, Никита-батона? Это его ПУР к тебе направил, а не мы, – мягко, улыбочиво, почти открыто предлагая не верить его словам, заговорил Нугзар.

– Ладно, ладно, – прервал его Никита. – Знаю я, кто такой Стройло. Я не против органов, а против отдельных «органистов». Тех, что хуево играют!

– Когда это вы стали таким матерщинником, маршал? – улыбнулась Вероника.

Нугзар сиял, доверительно пожимал кузену локоть. Ему явно понравилось политически правильное замечание маршала об органах.

– Подумай над моим предложением, Нугзар, – сказал на прощанье Никита и повел жену дальше, вниз по исторической лестнице. Нугзар сопровождал их до исторических дверей.

– Ну, вы вообще заходите, Нугзар, – сказала Вероника. – Пока на Резервный фронт не уехали, забегайте по дороге из органов. Мы живем...

– Я знаю, – скромно сказал Нугзар.

– Откуда?! – вскричала Вероника с совершенно театральным изумлением.

– Иногда знаешь больше, чем хочешь знать, – развел руками Нугзар.

– Ты слышишь, Никита? Он знает больше, чем хочет знать! – восклицала Вероника. Странное чувство превосходства над этими проклятыми, вездесущими, всю жизнь испоганившими органами кружило ей голову больше, чем выпитое шампанское.

Никита грубовато, уверенно хохотнул, хлопнул кузена по плечу:

– У меня, на Резервном фронте, Нугзар, ты будешь знать ровно столько, сколько захочешь.

Дверь за ними закрылась. Минуту или две Нугзар стоял в оцепенении. Ошеломляющие мысли – о смене хозяина, о переходе под защиту миллионной массы войск – проносились в его голове.

* * *

Был третий час ночи, когда Никита и Вероника вышли из Спасских ворот Кремля и пошли по диагонали через Красную площадь. В небе двигались тучи, мелькали звезды, иногда являлась луна, размаскировывая затемненный город. Воздушными путями летели не только бомбардировщики, подступала еще и зима. Пока еще сухой морозной

осенью цокали по каменной мостовой бальные туфли, стучали маршальские каблуки.

«Наверное, воображает, как будет здесь на ворошиловском коне принимать парад, – с неожиданной злостью подумала Вероника о муже. – Победитель Никита! Все в порядке, все подчиняются, ничего не боюсь, наступаю! Две ППЖ исправно исполняют свои функции, одна полевая-походная, другая паркетно-парадная! Сейчас вот скажу тебе, Александр Македонский, что подаю на развод!»

В огромном пространстве вокруг было пустынно, не спали только стража вокруг Кремля и зенитчики, да иногда проезжали машины с разъезжающимися гостями. За стеклами поворачивались к маршальской чете удивленные лица.

– Знаешь, Ника, со мной что-то неладное происходит, – вдруг произнес Никита.

– С тобой, по-моему, все только очень ладное в последнее время происходит, – холодно откликнулась Вероника.

Он доверчиво и как-то очень по-юношески взял ее под руку:

– Нет, в человеческом смысле неладное. Я превратился в какую-то командную машину. Бросаю в прорыв дивизии, выдвигаю на заслон корпуса и так далее. Люди для меня стали просто гигантским набором пешек. Проценты потерь, проценты пополнений. Недавно в Ставке я отстоял свой план наступления и спас тем самым не менее тридцати тысяч жизней... Это хорошо, ты хочешь сказать? Да, но ты пойми, что я уж только задним числом, мимолетно, подумал об этих жизнях, а главное-то для меня было – подтвердить эффективность моего плана наступления! Конечно, я понимаю, что другим командующий группы армий и быть не может на этой войне, но я иногда хватаюсь за голову – да почему я должен быть таким, почему такое выпало на мою долю? Во мне всегда все человеческое было живо, даже в лагере. Теперь – засыхает...

Вероника, не отрываясь, смотрела сбоку на маршала, а тот выговаривал все это, ни разу на нее не взглянув, как будто все это выговаривалось и вслух, и в уме впервые, как будто он лихорадочно старается не упустить этой возможности выговориться, то есть возможности побыть наедине с единственным мыслимым собеседником при таких откровениях. Ну и, конечно, кому же ему еще все это выговаривать, не пропиздюхе же Таське! Бедный мой мальчик, вдруг подумала она о нем. Сволочи, грязные красные, что вы с нами сделали?

– Сердце, понимаешь, Ника, как будто покрывается мозолями, – продолжал он.

Бедный мой мальчик, которому я когда-то сумками таскала пузырьки с бромом из аптеки Ферейна. Говорили, что бром снижает потенцию, но за ним этого не замечалось. Наоборот, после брома он меня мучил без конца. Бедный мой мальчик, помнит ли он свои кронштадтские кошмары?

Никита продолжал, будто отвечая напрямую на ее мысли:

– Это ужасное чувство, Ника, когда все рубцуются. Я потерял свои старые страхи, угрызения совести... помнишь мои кронштадтские кошмары?.. Они больше не посещают меня...

– Бедный мой мальчик, – проговорила она.

Он, потрясенный, остановился. Луна в это время вышла из-за туч и освещала шишастую темную глыбу Исторического музея, делая его похожим на отрог Карадага в восточном Крыму, где когда-то они познакомились с Вероникой. Ее отец, шумный московский литературствующий адвокат, с альпенштоком, возглавлял горные экспедиции с плетеными корзинками для пикников. В горах засиживались до темноты, до луны. Там он и загляделся в ее юное лицо, освещенное луной. Вот и сейчас перед ним ее лицо, освещенное луной... и она называет его «мой мальчик»... «Мой бедный мальчик», – говорит она человеку, которому подчиняется миллион вооруженных мужиков, планы которого пытаются разгадать в Oberkommando des Heeres^[16] в ставках «Вервольф» и «Волчье логово»... Моя бедная девочка, мать моих детей... Ничто не оторвет меня от тебя...

* * *

Он не сказал ни слова, но она поняла, что с ним произошло в этот момент что-то очень значительное, размыв какой-то ком слежавшейся грязи. Они пошли дальше еще медленнее, взявшись за руки, как дети. Спустились к Манежной, миновали гостиницу «Москва» и собирались уже пересечь Охотный ряд, когда вдруг, неизвестно откуда, явился перед ними вытянувшийся в струнку адъютант Стрельцов.

– Разрешите обратиться, товарищ маршал? Какие будут распоряжения до утра? Самолет прикажете отменить?

Вероника оглянулась и увидела медленно приближающуюся группу офицеров. Очевидно, они следовали за командующим от самых ворот Кремля. Подъехали и остановились «виллис» и два «доджа», заполненные градовскими «волкодавами». Словом, группа сопровождения не дремала во время лунной прогулки.

– Какая у вас деликатная свита, Никита Борисович! – засмеялась маршалыша.

Офицеры заколыхались в ответных улыбках. Ба, да тут знакомые все лица: и зам по тылу Шершавый, и личный шофер, дослужившийся уже до третьей офицерской звездочки Васьков, и две-три персоны из Особой Дальневосточной, кажется, Бахмет, кажется, Шпритцер, а самое замечательное состоит в том, что в группе шествует, успешно соревнуясь в росте, в округлости груди и в значительности лица с генералом Шершавым, не кто иной, как бывший серебряноборский участковый, ныне капитан Слабопетуховский. Никита явно окружает себя своими собственными «органами».

– Слабопетуховский, и вы здесь?!

– Так точно, Вероника Александровна! Обрел смысл жизни под флагами Резервного фронта и лично маршала Градова, а точнее, в АХУ штаба; к вашим услугам!

Никита выглядел немного смущенным, и понятно почему: кого теперь этим людям называть хозяйкой? Быть может, впервые они видели его в состоянии нерешительности: отменять ли ночной полет к фронту?

Она положила ему ладонь на щеку:

– Не верь своим мозолям, Китутка, ты все такой же. Когда тебя теперь ждать?

Он облегченно вздохнул и поцеловал ее. В щеку. Во вторую. В нос. Губы – на замке, иначе придется отменять полет. И вообще, надо сначала сделать ремонт в квартире, вот именно сделать ремонт, побелить потолки, натереть полы, вычистить ковры, ну и... ну и отослать Шевчука, черт... отослать его, конечно, не на фронт, куда-нибудь в теплое место, но покончить с этим...

– Теперь уже, очевидно, не раньше чем через месяц, – сказал Никита.

– Ну, вот и хорошо, – вздохнула она. – Жду тебя через месяц еще с одной маршальской звездой, чтобы ты уже стал дважды маршалом. Дважды маршал Советского Союза, неплохо, а? А что с Борькой делать?

– Борьке скажи, что я категорически против его военных планов. Пусть окончит школу, тогда посмотрим. Верульку поцелуй сто тридцать три раза. Ну, пока!

Он прыгнул в «виллис». Кавалькада тронулась. Вероника в своей короткой лисьей шубке и длинном шелковом платье пересекла Охотный ряд. До дома было два шага. Вот и кончился «первый бал Катюши Масловой», теперь я опять одна. А он даже и не вспомнил про мое сорокалетие.

Глава пятнадцатая

Офицерское многоборье

Эту главу нам приходится начать маленькой сценкой, которая никак не хотела повисать на хвосте главы предыдущей, хотя и имела к ней прямое отношение. Дело в том, что, простившись с женой в Охотном ряду ноябрьской ночью 1943 года, маршал Градов не сразу отправился к ожидавшему его во Внуково бомбардировщику Ил-4, а сделал предварительно большой круг по спящей столице. В глухой час, когда московская флора, устав трепетать под западным ветром, поникла ветвями в извечном русском крепостническом стиле, а фауна только чирикала спросонья, отгоняя суматошные сны, все его машины подъехали к старому градовскому дому в Серебряном Бору. Оставив всех людей за забором, маршал открыл калитку все тем же старым приемом, известным ему с детства, а именно путем оттягиванья одной из планок забора и просовывания внутрь неестественно изогнутой руки. Этот способ почему-то считался недоступным воображению грабителя. Довольно часто, впрочем, калитка вообще не запиралась на засов, и вот эта уж картина с виду запертой, а на самом деле совершенно незапертой калитки действительно не поддавалась преступному воображению, если не считать чекистов, явившихся сюда за Вероникой осенью 1938 года.

Никита Борисович надеялся увидеть свет в кабинете отца или лампочку у постели матери, тогда бы он зашел в дом, однако ни Борис Никитич, ни Мэри Вахтанговна в ту ночь бессонницей не страдали. Отец, впрочем, мог быть в эту ночь где угодно, кроме дома. Замначмедсанупра Красной Армии, он не столько сидел в своем московском кабинете, сколько перемещался по всей огромной линии фронта от Баренцева моря до Кавказа. Прошлым летом, в конце июля, Никита случайно натолкнулся на отца в самом пекле, на плацдарме Лютеж.

* * *

Только что закончилась знаменитая танковая «битва в подсолнухах». Семечки, надо сказать, поджарились там на славу! Десятки, если не сотни «тигров», «пантер», «тридцатьчетверок», «шерманов», «грантов» и «черчиллей» горели и дымили на полнеба, стоя почти вплотную. Огромные

клубы дыма поднимались из-за бугра, закрывая вторую половину небесного свода: там кто-то только что взорвал чье-то бензохранилище. Вот он – типичный пейзаж тотальной войны: черное бесконечное вознесение, языки огня, мелькающие остатки живой природы.

Между тем на бугре вокруг дымящихся развалин разворачивался полевой госпиталь. Солдаты еще натягивали палатки, а под одной из них уже шли операции. Никита, проезжая мимо в своем броневику, бросил взгляд на госпиталь, отметил оперативность разворачивания – представить к наградам! – и уже проехал было дальше, как вдруг увидел выходящего из палатки отца.

Борис Никитич был в заляпанном кровавыми пятнами хирургическом халате. С горделивым видом, всегда появлявшимся у него после удачной операции, он стаскивал с рук асептические перчатки. Кто-то, очевидно, по его просьбе уже всовывал ему в рот дымящуюся папиросу.

Никита хотел было броситься и заорать: «Какого черта ты здесь делаешь, в самом пекле? Тебе шестьдесят восемь лет, Борис Третий! Ты генерал, ты должен руководить по радио, по телефону, какого дьявола ты лезешь под снаряды?!» К счастью, он вовремя сообразил, что этого делать не следует. Он спокойно вышел из броневика, подошел к отцу и обнял его. Два фронтовых фотографа немедленно запечатлели трогательную сцену.

– Только что оперировал сержанта Нефедова, – сказал отец. – Просто мифическая какая-то личность. Откуда только у людей такое бесстрашие берется?

Никита уже слышал о взводе Нефедова, который в течение суток умудрился отразить все атаки на высоком берегу Десны и продержался до подхода 18-й дивизии.

– Знаешь, во время боя возникает какое-то особое возбуждение, заглушающее страх, – сказал он. – Вот танкисты, видишь, наши и фрицы, лупили друг друга в упор, никто не ушел. Что это такое? Они же все были как пьяные. Это нас и спасает, и это же нас всех и губит, если хочешь знать.

– Может быть, ты прав, – задумчиво сказал отец. – Скорее всего, ты прав... ты это лучше понимаешь как профессионал...

В этот момент через бугор стали перелетать и падать в подсолнухи реактивные снаряды немецких шестиствольных минометов, так называемых «ванюш». Ни отец, ни сын не обратили на это ни малейшего внимания.

– Мы все под этим газом войны, – сказал Никита. – И ты, и я...

Отец кивнул. Он, видимо, был чертовски благодарен сыну за этот разговор, за эту встречу на равных посреди побоища.

– Ну, а как вообще-то? – спросил он, обводя рукой черный горизонт.

– Давим! – шепнул ему Никита.

По его душу уже бежали связисты и адъютанты. Они еще раз обнялись и расстались, даже не поговорив о матери.

Сейчас, глухой ночью, сидя на пеньке сосны напротив градовского старого гнезда, Никита лишь мимолетно вспомнил эту сцену и тут же постарался от нее отделаться. Его уже тошнило от войны. Он жаждал невойны. Он и в Серебряный Бор завернул не из сентиментальных, если разобраться, соображений, а оттого, что ему хотелось прикоснуться к чему-то своему, исконному, невоенному, неисторическому, к чему-то гораздо более важному, к тому, что излучает и поглощает любовь. Даже не к матери и отцу лично, а к материнству и отцовству.

Он вспомнил тех, кто построил этот дом, – своего деда Никиту и бабушку Марью Николаевну, урожденную Якубович; из тех Якубовичей.

Он помнил тут себя лет с семи. Они приезжали с родителями по праздникам. Дед встречал их, трубя в большие усы, профессура восьмидесятых, эдакий российский путешественник и исследователь. Он, между прочим, одно время и был таковым, они и с Машей Якубович познакомились в Абиссинии, где работали в миссии Красного Креста.

Дед обожал Никитку, мечтал, чтобы тот жил с ними в Серебряном Бору. Пробы показывали серьезную загрязненность воздуха Москвы. Здесь же был чистейший кислород и первородная мечниковская простокваша. Он даже завел для прельщения пони. Сажал мальчика верхом на маленького коня, торжественно провозглашал: «Грузинский царь!» – намекая, стало быть, на происхождение по материнской линии. Впрочем, и без пони Никитка только и мечтал перебраться сюда, на сосновый берег изгибающейся реки, к таинственным оврагам и к озеру с холодящим названием Бездонка.

Сидя сейчас в тиши и стыни перед все еще надежным, крепким, хоть и осевшим кое-где по углам террасы домом, Никита пытался вызвать в памяти не просто далекие, но космически недостижимые воспоминания детства и всеобщей любви. Мелькали лишь блики, потом все заволакивалось словесным дымом, рассказанной и зажеванной историей семьи. Вернутся ли ко мне эти блики, соединятся ли они в картины, хотя бы в мой смертный час?

«Волкодавы» из своих «доджей» смотрели через забор на сгорбленную спину командующего. Они были вооружены автоматами, немецкими пистолетами «вальтер», наборами ручных гранат и тесаками. Никто из спящих в доме так никогда и не узнал, что ночью к ним приближалось

такое воинство. Иначе двое из спящих никогда бы себе не простили своего молодого сна. Этими двоими были Борис IV и его верный друг и единомышленник, чемпион Москвы по боксу в среднем весе среди юношей Александр Шереметьев.

Утро Борис и Александр начали, естественно, пятикилометровым кроссом. Для того, собственно говоря, и приезжали на дачу с ночевкой, чтобы утром в парке поработать над одной из программ офицерского многоборья. Даже фехтованием вообще-то приятнее заниматься на дорожке под соснами, ну, а для бега и плавания в ледяной воде лучшего места не найдешь.

Во время бега немного поговорили о фехтовании. Казалось бы, чистейший атавизм в условиях современной механизированной войны, а все-таки необходимый элемент в воспитании молодого офицера. Очень много дает – гибкость, координированность, способность принимать мгновенные решения.

За завтраком – по твердому настоянию Бориса IV варилась только крепкая овсяная каша, предлагались также два мощных источника белка – крутые яйца, больше никаких разносолов – обсуждалась ситуация на фронтах. При всех колоссальных успехах радоваться было еще рано. Враг по-прежнему силен. Вот, например, Третья гвардейская танковая армия, только что взявшая Житомир, была вынуждена вновь отдать город «панцерным» гренадерам генерал-полковника Германа Хофа и отойти, как сообщило Совинформбюро, «на заранее подготовленные позиции». А посмотрите на атлантический театр военных действий, Александр: фашистская Италия разваливается, однако нацисты перебрасывают все больше войск через Альпы и явно намерены ударом бронированного кулака сбросить союзников в море. Ударом бронированного кулака, вот так! Добавьте сюда бесчинства подводных лодок, все более наглые перехваты северных конвоев! Иными словами, «злейший враг свободлюбивых народов мира» совершенно не собирается сдаваться.

– В общем, Борис, на нашу долю хватит, – понизив голос и с подмигом произнес Александр Шереметьев.

– Ну, а как тебе нравятся японцы, дед? – громко, чтобы заглушить нарек Шереметьева, сказал Борис IV. – Первейшие оказались нарушители Женевского соглашения по военнопленным! – Под столом он сильно пихнул ногу боксера.

Борис Никитич за своим неизменным «мечниковским» кефиром – в доме все-таки удавалось поддерживать почти довоенный уровень питания – шелестел газетами.

– Фокус событий, мальчики, сейчас перемещается в сферу дипломатии, – сказал он, подчеркивая ногтем невзрачное коммюнике о встрече Молотова с Корделлом Хэллом и Энтони Иденом. – Вот это самое главное на сегодня. Это говорит о приближающейся встрече в верхах. Надо уметь читать газеты!

Две старые женщины любовно смотрели на завтракающих мужчин, то есть на старика и двух мальчишек. Если бы вот каждое утро за кухонным столом собиралась такая компания! Увы, все чаще Мэри и Агаша оставались в скрипучем, а иногда почему-то как-то странно ухающем доме вдвоем и вспоминали о пропавших: о Кирилле, о Мите, о Савве, о бурнокипящем Галактионе, чье сердце не вынесло предательства и ареста в родном его Тифлисе, которому он принес столько добра. Вспоминали, и очень часто, своего домашнего ангела в виде остроухого пса с вечно лукавой улыбкой зубастой пасти, Пифочку, Пифагора. Пес прожил с ними все свои шестнадцать лет, и его кончина четыре года назад оставила их опустошенными и недоумевающими: как этот мир, особенно Серебряный Бор этого мира, может существовать без Пифагора? Мэри долго не могла играть Шопена. Пес вообще любил ее фортепиано, но звуки Шопена тянули его в кабинет, как магнит. Обычно он ложился у нее за спиной и клал морду на вытянутые лапы. Немножко похрапывал и явно наслаждался.

Мэри начинала «Импровизацию» и всегда оглядывалась, ожидая увидеть своего любимца. Вместо него представала перед ее взором полнейшая пустота, «Импровизация» захлебывалась.

Приезжавшая иногда мрачная и резкая Нинка просила мать не играть Шопена. Нет, пожалуйста, что угодно другое, Рахманинов, Моцарт, но Шопена почему-то не могу. Стыдно было признаться, что это из-за Пифочки.

Приезжала и Циля, как всегда, расхристанная, юбки сваливаются, носки отцовских штиблет загигают вверх, всегда пахло от нее каким-то прокисшим супом. Она продолжала поиски Кирилла, но уже без прежнего жара: война задвинула тюрьму в глубину, как ненужную до поры декорацию. На письма «в инстанции» она теперь уже не получала даже формального ответа, а однажды, когда ей удалось пробиться в комиссию партконтроля, ей там сказали: «Все-таки непонятно, товарищ, страна истекает кровью, борется за свое существование, а вас, коммуниста, волнует судьба какого-то бухаринца! Подождите до конца войны, тогда во всем разберемся...» Иногда, в моменты раздражения и, как казалось Мэри, даже некоторого подпития, Цецилия начинала метаться в кругу градовской семьи, бросала какие-то как бы абстрактные обвинения в адрес тех, кто не

дает себе даже труда подумать о судьбе своих самых близких, для кого нет ничего важнее собственного комфорта. Есть, конечно, и другие люди, кричала она, есть люди, которые жертвуют всем для любимого человека, есть женщины, которые могли бы устроить свою судьбу, которым делают мужчины прямые предложения сожительства и даже брака, но они, эти женщины, отвергают все ради одной лишь идеи; ради фикции, мифа верности тратят свои лучшие годы...

Мэри терпела эти дурацкие намеки, старалась не развивать тему. Однажды, когда она попыталась сказать, что на все запросы Бо и даже на требования самого маршала Градова неизменно приходят ответы, что Градов Кирилл Борисович в списках живых не числится, и что надо, родная, примириться с ужасной мыслью, Цецилия впала в сущую истерику. Она носилась по даче, срывала почему-то шторы с окон, кричала: «Не верю! Не верю! Он жив! Кончится война, и во всем разберутся, мне обещали!»

«Правильно, правильно, детка, – увещевала ее Мэри. – Может быть, после войны вдруг откроются какие-то тайны. Может быть, и Митенька вернется. Ведь вот после Первой мировой множество возвращалось из тех, что числились пропавшими без вести». – «Ну, Митька-то, конечно, вернется, – успокаиваясь, говорила тогда Цецилия. – Это вне сомнений, он вернется с орденом, искупит свое кулацкое происхождение...»

«Искупит?! – взрывалась тут Нинка, если, конечно, присутствовала. – Что ты несешь, Ция, марксистка дубовая! Может быть, всем нам придется перед этим происхождением вину искупать, ты никогда об этом не думала?» – «А ты – декадентка! Играешь на мещанских настроениях своими песенками! – тут же снова вскипала Цецилия и передразнивала: – „Ту-учи в голубо-ом...“ И тут же бывшие подружки-синеблузницы разлетались в разные углы.

Настоящее блаженство испытывала Мэри Вахтанговна, когда под серебряноборской крышей встречались две ее внучки, Ёлка Китайгородская и Веруля Градова. Обе хорошенькие блондиночки – Ёлка в папу, Веруля в маму, – девчонки могли часами шептаться друг с другом, вместе смотрели альбомы по искусству, вместе приставали к бабушке – сыграй нам, пожалуйста, фокстрот «Джордж из Динки-джаза»!

А вот с Вероникой прежняя доверительность опять пропала. Мэри женским чутьем догадывалась о разладе и, конечно, инстинктивно становилась на сторону сына, хотя никогда, Боже упаси, не касалась этой темы. Ну а Вероника, естественно, как человек достаточно тонкой душевной организации улавливала этот Мэричкин совсем незаметный

антагонизм и каждым словом, каждым жестом как бы бросала в ответ совсем незаметный вызов. Страшные передрыги жизни, все эти взлеты, падения и новые взлеты, все-таки здорово изменили Веронику, думала Мэри. Вся ее жизнь сейчас – это какой-то вызов. Всем окружающим, нищей Москве, войне, прошлому. Бросает вызов, идет, шикарная, в мехах, в серьгах, дерзейшая, если не сказать наглая. И потом, этот постоянный шофер, что это за личность, страшно даже подумать, что это за личность постоянно сопровождает генеральшу – а теперь уже маршалшу – Градову!

Мэри Вахтанговна, хотя могла бы еще с двадцатых годов привыкнуть к постоянным продвижениям Никиты вверх по военной лестнице, все-таки еще не могла до конца взять в толк, что ее сын – один из ведущих полководцев этой невероятной войны. Однажды в трамвае произошел любопытный эпизод. Раз в месяц она ездила в консерваторию на абонементные концерты. Садилась в трамвай на кольце и потому занимала сиденье у окна. Народу по дороге набивалось, конечно, битком, но она все-таки сидела у окна и всю дорогу до центра смотрела на печальные виды Москвы. К концу концерта обычно за ней приезжал автомобиль Главмедсанупра, и она не видела причин его отвергать: все-таки уже сильно за шестьдесят. Так вот однажды, по дороге туда, то есть в трамвае, кто-то из пассажиров произнес громким шепотом: «А вы знаете, братцы, кто там сидит у окна? Мать маршала Градова!»

Мэри сделала вид, что не замечает любопытных и восхищенных взглядов, не слышит бормотания: «Мать маршала Градова, подумать только, в трамвае, мать маршала Градова, какая дама, какая скромность, нет, это насамделе мать маршала Градова с нами в трамвае?» Новость передавалась без конца от выходящих к вновь поступающим, а Мэри Вахтанговна сидела, умирая от гордости, но ничем не показывая, что эти разговоры относятся к ней, прямая и строгая, скромнейшая русская интеллигентка, мать защитника отечества, маршала Градова. «Ой, граждане, ну куда ж вы давите-то, тут же мать маршала едет!»

Никита, мой мальчишечка, помню, будто было вчера, как он тут галопировал в матросском костюмчике на пони, а дед кричал ему, раздувая усы: «Грузинский царь! Ираклий! Багратион!»

Цилины истерики, между прочим, имели некоторую семейную подоплеку: Кирюша никогда не был любимцем. По совершенно никому не понятным причинам он был чуть-чуть – ну, действительно самую малость, почти незаметную толику – обделен родительской любовью: львиные доли доставались старшему Никитке и младшей Нинке. Впрочем, может быть, это сущая чепуха, может быть, это только сейчас кажется, после гибели

Кирюшки. Сколько мук они пережили с Бо, и, конечно, оба казнились из-за Кирюши, хотя никогда и не говорили об этом вслух.

Все это ведь так относительно, зыбко. Ну вот, например, разве означает, что я люблю Ёлку и Верульку меньше Борьки IV, даже если он и мой любимчик? Даже Митю, неродного, я любила ничуть не меньше, и он меня любил как свою настоящую бабушку. И все же нельзя не признать, что никто из других внуков не обладает такими совершенными качествами, как Борька IV. Подумать только, какой в высшей степени положительный вырос юнец! Какие исключительные серьезность, ясность взгляда, четкость, спортивность, целеустремленность, самостоятельность мышления, физическая подготовка! И товарищей себе выбирает под стать: чего стоит один лишь Саша Шереметьев! Исключительная сила воли, очевидная, несмотря на этот его жуткий вид спорта, интеллигентность, безукоризненные манеры; ну просто что-то юнкерское, кадетское, из прежних времен. Удивительна манера двух юнцов обращаться друг к другу на «вы». Мальчики явно оказывают друг на друга замечательное влияние. Чего стоит, например, их решение не получать в школе ни по одному предмету оценки ниже «отлично». Школа – это такая чепуха, такой вздор, говорят они, получать в ней что-то кроме высшей оценки просто ниже человеческого достоинства. Собранная концентрированная личность все школьные премудрости должна усваивать быстро, четко, без малейшей зацепки.

Есть в этом стремлении к совершенству один пугающий элемент, эдакая современная «рахметовщина». Мальчишки помешаны на закалке, на самоограничении. Грубейшие свитеры, например, носят на голое тело, спят зимой в тридцатиградусный мороз с открытыми окнами, растираются снегом, едят только самую простую пищу, а однажды, прошлым летом, на неделю вообще отказались от еды, с утра уходили в лес и возвращались в темноте, самым вежливым тоном заявляя: «Спасибо, мы не голодны». Потом со смехом признались, что проводили эксперимент на выживание в обстановке «разрозненного десантирования».

Какое, право, странное свойство обнаружилось у меня к старости, думала Мэри. Наслаждаюсь, глядя на то, как мои внуки поглощают пищу. Ловлю себя на том, что вместе с ними приоткрываю рот, словно бессмысленная гусыня, как будто происхожу не из Гудиашвили, а из каких-нибудь Ламадзе...

Вот так и в то утро она наслаждалась, глядя, как уплетают овсянку Борис IV и его друг Александр Шереметьев, не зная, что это в последний раз разворачивается перед ней столь волшебное зрелище.

Агаша, естественно, тоже обожала наблюдать семейные трапезы, однако с Борисом IV у нее были в последнее время большие огорчения. Отворачивается от своих любимейших пирожков со смешанной начинкой, да и товарищу не дает попробовать. Истинное получается кощунство, прости меня, Господи! Не в силах совладать со своими руками, она то и дело подталкивала к мальчикам блюдо с пирожками и тоже, конечно, не подозревала, что последний раз вот так подталкивает к любимому Бабочке (так она называла IV в отличие от Борюшки III) румяный, с мясом и грибами, соблазн.

* * *

Между тем «идеальные мальчики» собирались сегодня оставить школу и родительские дома и перебраться в казармы сверхсекретного училища Главразведуправления Красной Армии, где их уже ждали. Все приготовления держались, конечно, в тайне, иначе домочадцы поднимут такой хай, что дойдет и до самого маршала, и тот тогда мгновенно все предприятие поломает.

* * *

– Вот так, мальчики, надо уметь читать газеты, – повторил дед Бо, свернул свою «Правду» и встал из-за стола. – Увидите, не далее как через месяц Сталин встретится с Черчиллем и Рузвельтом, и тогда окончательно определится дата открытия второго фронта!

Дед уехал, а вскоре стали собираться и ребята. На прощанье Борис поцеловал бабушку и няню. Обе просияли – нечастый подарок!

Ребята прошли с полкилометра по дороге к трамваю, а потом свернули и вернулись к забору дачи со стороны леса. Здесь под стеной сарая припрятан был гибкий спортивный шест. Бросили жребий – кому прыгать? Выпало Борьке. Он разбежался и махнул через забор. Прыжок оказался эффективным, но технически далеким от совершенства. Надо еще много работать. Борька открыл двери сарая и вытащил изнутри два заранее подготовленных рюкзака с личными вещами добровольцев. Перебросил их через забор. Потом перелез сам. С внутренней стороны можно было обойтись без шеста. С внешней, впрочем, тоже.

В трамвае они обсуждали перспективы открытия второго фронта.

– Если бы вы были Эйзенхауэром, где бы предпочли высаживаться? – спросил Борис IV Александра Шереметьева.

– Конечно, в Нормандии, – ответил Александр. – Силам вторжения там придется пересечь всего лишь узкий пролив Ла-Манш, и все базы в Англии будут под рукой.

– Да, но там их встретят мощные укрепления Атлантического вала, – возразил Борис. – Немцы уже два года готовятся к отражению именно там, в Нормандии. На месте Эйзенхауэра я выбрал бы неожиданный вариант и высадился бы в Дании. Побережье практически не защищено, земля плоская, население дружелюбное, прямой путь для марша на Берлин!

– Это интересно! – с жаром, с нажимом воскликнул Александр, так что пассажиры в трамвае обернулись. – Дайте подумать!

Он думал весь остаток пути до центра и потом, уже на подходах к школе, что располагалась в районе площади Маяковского, все продолжал думать. Только уже у ворот вдруг бурно атаковал друга фиктивными боксерскими приемами, восклицая:

– Нет, вы не правы, вы не правы, Борис Четвертый Градов!

Их 175-я школа была, очевидно, самой уникальной в Москве: здесь учились дети высших членов правительства и генералитета. Учителя тут были предельно запуганы, перед учениками робели, однако во время перемены в коридорах можно было услышать шепотки: «Микоян сбежал с урока! Прямо не знаю, что делать с Буденной. Ну, знаете ли, вчера Молотова отличилась...» Кроме такой вот «аристократии» были тут, конечно, и простые ученики. К ним-то как раз и относился Александр Шереметьев.

Ребята вошли в школьный двор, когда там мельтешила малышовка, начальные классы. Не разбирая происхождений, мелюзга носилась друг за другом, наслаждаясь первой переменкой. Среди этого кишения прогуливались также несколько старшеклассников, в том числе сумрачная сутуловатая девочка в клетчатом пальто. Она ни с кем не разговаривала и только похлопывала себя по толстым коленкам вполне простецким ученическим портфелем. Это была не кто иная, как Светка, дочь Верховного главнокомандующего, как называли Сталина Борис и Александр. В отдалении, не спуская со Светки глаз, пнем стоял ее сопровождающий, лейтенант из кремлевской охраны.

Оставив свои рюкзаки в раздевалке спортзала, друзья направились к завучу. Предстояла самая серьезная часть операции – извлечение школьных табелей для представления в тайное училище. Заведению этому, похоже, было плевать на излишние формальности, требовались просто молодые

здоровые парни для обучения диверсионной работе в тылу врага, однако даже и там надо было представить школьные табели с отметками по всем предметам.

Борис и Александр загодя уже говорили с завучем, старым почтенным лосем, обычно проходившим через школьные помещения медлительно и осторожно, так, как его сородичи передвигаются по лесу. Ребята навели тень на плетень, запутали все направления, сказав, что собираются после получения аттестатов зрелости поступать в сверхсекретную школу ВМС во Владивостоке, а туда нужно уже сейчас послать заявление и табель в придачу. Мой отец, добавил Борис IV, все это держит под контролем. Скорее всего, этого достаточно, думали ребята, но если вдруг возникнут подозрения, что ж, ничего не останется, как запугать лесного великана жестким физическим воздействием.

К счастью, антигуманные действия не понадобились: табели уже были приготовлены и выданы без лишних расспросов. То ли авторитет маршала Градова подавил все подозрения, то ли старый лось полностью доверял своим круглым отличникам.

Счастливые, ребята выскочили из школы и вдруг сразу же приуныли. «Самая серьезная часть операции» показалась им сущим пустяком перед тем, что еще предстояло. Они шли по улице Горького, смотрели на женщин, стоящих в очередях, выходящих из магазинов со своими жалкими покупками, на теток, подметающих мостовые, на теток-милиционеров и думали о том, что через несколько часов они окончательно уйдут из этого женского мира в мир мужчин, но прежде им надо попрощаться (по телефону, конечно, чтобы не сорвалась вся операция) со своими главными женщинами: маршальшей Градовой и бухгалтершей Шереметьевой.

В зале Центрального телеграфа, отстояв очередь, ребята влезли в соседние телефонные будки.

– Что случилось?! – услышав голос Бориса, тут же закричала Вероника неприятным, «утренним» голосом.

Борис мгновенно покрылся горячим потом. Ему захотелось тут же бросить трубку, пустить все на самотек, только лишь не вести этот невыносимый разговор, однако усвоенные им в ходе самоподготовки принципы говорили, что он не может увиливать и что как «человек прямого действия» он должен преодолевать все встречающиеся на пути преграды.

– Ничего особенного не случилось, – твердо сказал он. – Пожалуйста, не беспокойся, мама. Просто я уезжаю. Ненадолго.

– Куда уезжаешь?! – еще пуще завопила Вероника.

– В действующую армию, – сказал он и закрыл глаза.

Разговор шел практически через улицу. Борису, пока он стоял с закрытыми глазами, вообще казалось, что они находятся в одной комнате. Разговором это, впрочем, вряд ли можно было назвать, потому что мать просто кричала как оглашенная:

– Негодяй, ты что, меня убить решил?! Что ты задумал, паршивец?! Ты несовершеннолетний, тебя отправят домой с позором! Я немедленно соединяюсь с отцом! Тебя поймают, подлец! – Вдруг голос ее упал, и она зашептала явно на грани рыданий: – Боренька, Боренька, да как же ты так...

Он открыл глаза:

– Мамочка, пожалуйста, не нужно... Ты, кажется, забыла, что я давно уже не ребенок. Я говорил с тобой не раз о своем отношении к данному историческому моменту. Я не могу себе позволить остаться в стороне от того, что сейчас переживает моя страна, все человечество. Я не допускаю мысли, что война закончится без моего участия, и, как человек прямого действия, я тебе об этом напрямую говорю.

– Какая жестокость, – еле слышно прошептала Вероника, но потом голос ее снова окреп: – Куда ты собрался?

– Я же сказал, мама, в действующую армию.

– Надеюсь, к отцу? Надеюсь, на Резервный?

– Да, да, – поспешно сказал он. – Я еду на Резервный.

Она поняла, что он врет, и снова сорвалась на крик:

– Где ты сейчас находишься? Откуда звонишь?

– Мамочка, не нужно меня искать, не нужно поднимать паники! Миллионы парней вроде меня едут на фронт. Я не хочу быть маменькиным, а тем более папенькиным сыном, не хочу позорить отца! Я тебе сразу же напишу и все объясню. Все будет хорошо. Я люблю тебя.

Он повесил трубку и вышел из будки в собравшуюся вокруг телефонов шинельно-вещмешочную толпу. Страшная тяжесть, ощущение какого-то неизбежного горя сковали молодого человека. Он вдруг почувствовал, что это ему не внове, что он уже испытывал это горе, горе вечной разлуки. Когда? Он не мог сразу вспомнить.

Сквозь стекло соседней будки он видел лицо Александра Шереметьева. По железной щеке чемпиона, кажется, текла слеза. Он умоляюще что-то шептал в трубку своей «матери-одиночке». Александр никогда не говорил об отце. Неизвестно было, есть ли у него отец, а если есть, где он воюет. Борису иногда казалось, что он понимает причину этого молчания. Может быть, его отец и не воюет вовсе? Однажды Саша спросил Бориса: «Это правда, что ваш отец сидел?» Борис, как человек прямого действия, немедленно ответил: «Да, сидел. И мать тоже сидела. Их

оклеветали». Боксер мотнул головой, будто пропустил удар: «Как, и мать тоже? Невероятно!»

Наконец все было кончено. Закинув рюкзаки на плечи, они вышли на улицу Горького. За то время, что они толкались на телеграфе, небо над Москвой потемнело. Косо, будто по линейке, летел в лица колючий снег прямого действия.

Антракт VII. Пресса

«Нью-Йорк Таймс»

Конгрессмен Гамильтон Фиш, республиканец от Нью-Йорка, сказал: «Сталин окружен той же группой людей, что пришла к власти вместе с ним, и их цель по-прежнему распространение коммунизма».

«Нью Рипаблик», апрель 1943 г.

По всей Северной Америке, в Канаде и США, сейчас можно слышать предположения, что победа России может приблизить опасность мировой революции... Между тем это предположение является главным оружием гитлеровской пропаганды.

«Крисчен Сайенс Монитор»

Существование в Москве Коминтерна долгие годы было серьезным препятствием для более доверительного сотрудничества между СССР и другими странами... Теперь Коминтерн распущен...

«Известия», ноябрь 1943 г.

Гвардейцы Красной Армии и Флота! С честью несите ваши знамена! Будьте примером доблести и отваги, дисциплины и упорства в борьбе с врагом! Да здравствует Советская Гвардия!

«Нью Рипаблик», ноябрь 1943 г.

СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА В ДНИ ВОЙНЫ

Николай Тихонов: «Целься лучше, солдат Красной Армии! Помни, что, уничтожая еще одного Ганса, ты спасаешь жизни советских людей, освобождаешь родную землю!»

Лев Славин: «Ни в чем не верь гитлеровцу! Бей его без жалости и промедления, до конца! Бей его в голову, в бок, в спину, но только бей его!»

Пьеса «Фронт» Корнейчука идет в переполненных театрах по всей стране.

Талантливый молодой поэт Твардовский написал слегка киплинговскую окопную балладу о хорошем солдате, который не теряет способности шутить ни при каких обстоятельствах.

Неистоцимый стихоплет Демьян Бедный выступает со скромным в своей невинности произведением, которое заканчивается словами: «Смерть

кровопийцам и людоедам!»

В целом советские писатели вдохновляются выражением И.Сталина: «Нельзя победить врага, не научившись его ненавидеть!»

«Рашен Ревью»

Среди переводчиков, работающих с советскими летчиками в Элизабет-Сити, выделяется высокий, красивый лейтенант Грегори Г.Гагарин. Русские летчики поначалу относились к нему с подозрением, поскольку его мать была графиней, а отец кавалергардом. Обнаружив, однако, что они получают от переводчика больше сведений о радио и радарах, чем из любых советских книг, они переменили к нему отношение.

«Новое Русское Слово», 1944 г.

До 1 января этого года в Россию отправлено 780 самолетов, 4700 танков, 170000 грузовиков, 33000 армейских автомобилей «джип» и 25000 иных автомобилей.

Красная Армия получила 6000000 пар американских сапог. Послано 2250000 тонн продовольствия...

Уильям Рандольф Херст отвечает «Правде»

«Маршал Сталин называет меня гангстером и другом Гитлера. Такие обвинения имеют и свою смешную сторону, ибо исходят от человека, возглавляющего самую гангстерскую печать в мире.

А кто был ближайшим и лучшим другом Гитлера до того, как?..»

«Радио Берлин», 28 февраля 1944 г.

Выступление Геббельса: «Наши враги втянули нас в эту войну, потому что образец нашего социалистического строя стал угрожать их отсталым политическим системам.

...Если мы проиграем войну, для Германии будет потерян и социализм. Как только успех войны будет обеспечен, мы снова начнем проводить в жизнь наши главные социалистические планы...»

«Ууси Суоми»

Русские части, подчиняющиеся генералу Андрею Власову, на Эстонском фронте перешли на сторону Красной Армии и помогли ей при захвате Нарвы.

Антракт VIII. Бал светляков

Июнь, месяц балов: выпускных церемоний, всевозможных commencements с вручением почетных степеней выдающимся гостям и ораторам, с подбрасыванием в воздух шапочек, с юношескими лавинами, низвергающимися по мраморным лестницам, с захватывающим ожиданием чуда, счастья, любви, с торжеством светляков в темных деревьях, в светлых ночах, с перекличкой, пересвистом пересмешников, с руладами соловьев.

Так когда-то и выпускницы Смольного института благородных девиц кружились белой ночью, глядя на парящих в парке светляков, спрашивая друг друга, что такое эти светляки, что в них, какая тайна кроме вечной поэзии, не догадываясь или, может быть, смутно догадываясь, что в этих множественных вспышках по всему парку, над мрамором скульптур, над куполами деревьев перед ними мелькают восторги предыдущих выпускниц всего человеческого рода. Кто-нибудь в разгромленной, частично сожженной Германии, в лагере для перемещенных лиц, в американской зоне оккупации, лежа на траве, руки под голову, смотрит на возникающие над ним медленно парящие бесшумные крошечные геликоптеры, думает о том, почему вдруг в них происходит вспышка, в чем смысл этой реакции, в чем состав этой реакции, имеет ли это какое-нибудь отношение к процессу фотосинтеза?

В чем смысл этих крошечных вспышек, этой весенней феерии, почему в ней такая грусть? Это уже думает поэтесса в Серебряном Бору. Весь дом спит, а она сидит, обхватив колени, на крыльце террасы. Что это за сигналы? Крошечный воздушный корабль с огромным по его-то размерам прожектором снижается к ней на ладонь и вдруг гаснет, сливается с темнотой. Выпускной бал института благородных девиц, с усмешкой думает она. Мимолетности, похороны нежности, возрождение и угасание, июнь сорок пятого года...

Глава шестнадцатая

Концерт фронту

Американские грузовики, поступающие сейчас неудержимым, каким-то неправдоподобным потоком во все доступные советские порты, а также через иранскую границу, годились, как оказалось, не только для монтажа гвардейских минометов, для перевозки войск и амуниции, но также и для установки на них больших концертных роялей. Вот так однажды под вечер в конце марта 1944 года, на стыке Первого Белорусского и Первого Украинского фронтов, где-то на лесной поляне к западу от Овруча, «студебеккер» с откинутыми бортами превосходно выполнял функции эстрады. На нем стоял рояль, и вдохновенный Эмиль Гилельс оглашал рощу вариациями Листа, а потом аккомпанировал вдохновенному Давиду Ойстраху, что «Кампанеллой» добавлял огня к бледному свечению занимающегося за голыми ветвями заката.

Совсем неподалеку, впрочем, бухал и другой аккомпанемент, артиллерийская перестрелка через линию фронта, да с небес то и дело слетали отголоски пулеметных очередей – там беспрерывно занимались своей небезопасной игрой немецкие «мессеры» и советские Як-3, Ла-5 и «Аэрокобра», но на эти бытовые мелочи никто не обращал внимания. Над «студом» висел транспарант: «Артисты тыла – героям фронта», и герои сидели вокруг на склонах холмиков, образуя естественный амфитеатр.

Народу собралось на концерт не менее шести-семи тысяч. Стволы танковых пушек и самоходок торчали из толпы в сторону эстрады, сообщая происходящему нечто античное, как будто армия Ганнибала со своими слонами сделала привал для забавы. В передних рядах на деревянных скамьях, а то и на настоящих стульях сидели офицеры из расположенных неподалеку частей, и среди них даже сам прославленный генерал Ротмистров. Артистов сейчас по фронту шаталось великое множество, немало было и простой, как мычание, халтуры, бригады сколачивались наобум, богема охотно валила развлекать «бесстрашных воинов», а в основном подкормиться у полевых кухонь, разжиться тушенкой. «Красотки кабаре» к тому же всегда были не прочь прокрутить в блиндаже блицроманчик. Этот концерт, однако, представлял собой редкое исключение. Участвовали звезды первой величины: Эмиль Гилельс, Давид Ойстрах, Любовь Орлова, Нина Градова, а вел программу знаменитый московский толстяк, кумир сада «Эрмитаж», конферансье Гаркави. Потому-

то и аудитория собралась в первых рядах солидная, потому-то в задних рядах, то есть на башнях танков, царило особое возбуждение, жажда восторга.

После музыкантов Гаркави, облаченный во фрак с пожелтевшей со времен нэпа манишкой, читал какой-то свой бесконечный фельетон. Он то впадал в стекленеющий патриотический транс на тему «Не смеют крылья черные над Родиной летать» и тогда застывал время от времени в монументальном величии с отвалившейся чуть в сторону челюстью, то вдруг весь поджимался, позорно юлил и суетился, изображая презренных врагов. «Бом-биль-били-били во вторник и четверг! Бом-биль-били-били Берлин и Кенигсберг! – пел он, подпрыгивая канканной ляжкой на мотив из американской кинокомедии „Три мушкетера“. – Бом-биль-били-били за каждые полчаса. А Гитлер в это время рвал в Европе волосы!»

«Ух ты!» – рывкали восторженно солдаты и без удержу хохотали, то ли от полупохабного изображения Гитлера, под бомбами рвущего, известно где, свои волосы, то ли от самого препохабнейшего кривляния знаменитого сатирика.

Закончив свой фельетон, Гаркави принял привычный барственный вид и с благороднейшими модуляциями объявил:

– А теперь, дорогие друзья, я счастлив воспользоваться редчайшей возможностью и представить вам нашу замечательную советскую поэтессу Нину Борисовну Градову!

Кто-то из офицеров предложил Нине помощь, но она сама ловко вскарабкалась по дощатой лесенке в кузов «студебеккера» и остановилась возле рояля. «У-у-у», – загудели оцетинившиеся пушками холмы и долины. Издали Нина в синем лендлизовском пальто и в сапожках со своей короткой гривкой выглядела как девчонка. «Люди, видимо, что-то иное имеют в виду, когда слышат „советская поэтесса“, – саркастически подумала она. Она уже не раз бывала с артистическими бригадами на фронте и всякий раз испытывала какую-то удручающую неловкость. Оказавшись внезапно в корпусе советских знаменитостей, она не знала, как себя вести. Всю жизнь она принадлежала к узкому кругу, сейчас „широкие массы“ заявляли на нее свое право. Эстетка, модернистка, формалистка, она вдруг оказалась выразителем какой-то сильной патриотической идеи, соединенной к тому же с неизбывной фронтовой ностальгией и мечтой о любви. Почему-то только ее имя соединилось с этой дурацкой песенкой „Тучи в голубом“, Сашку Полкера, композитора, никто и не вспоминает. „Тучи в голубом“, Нина Градова, они просто рехнулись! Люди ее круга поздравляли ее со всенародной популярностью, пряча, как ей казалось,

иронические улыбки. А что прикажете мне делать на концертах в частях? Солдаты, кажется, ждут от меня песен, но уж никак не заумной поэзии.

Ниночка, деточка, утешали ее доки, эстрадные администраторы, вам совершенно нечего волноваться. Можете делать что угодно, хоть Пушкина по книжке читать. Народ просто счастлив вас видеть, особенно когда вы такая молоденькая и хорошенькая.

Ну, если они действительно хотят меня видеть, значит, они должны меня видеть, думала Нина. Они заслужили, в конце концов, хоть изредка видеть то, что они хотят, а не то, что им предлагает проклятая война. Она начала читать сначала из цикла «Довоенное». Несколько стихов, посвященных О.М., Т.Т., П.Я. Строчки об ослепительности вина и поэзии, о сменяющих друг друга стихиях страха и любви, о трепещущих под луной оливковых рощах и о черных подвалах, в которых один за другим пропадают артисты бродячего балагана. Прочти она эти посвящения в Доме литераторов, уже несколько стукачей пробирались бы к выходу, соревнуясь, кто быстрее настроит донос о том, что Градова прославляет врагов народа О.Мандельштама, Т.Табидзе и П.Яшвили. Здесь к выходу пробирались только те, кому пора было на позиции или в самолет влезать. Остальные каждый стих сопровождали заглушающими канонаду аплодисментами.

Ободренная, она прочла несколько сложных, зашифрованных четверостиший из новой поэмы, построенной на эротических воспоминаниях о ночах с Саввой и об исчезновении «вечного любовника». Снова бурный восторг. Особенно стараются те, на танках. С улыбкой она кланялась, вспоминая, что Бенедикт Лившиц в окопах Первой мировой войны читал заумные футуристические стихи к полному восторгу псковских и воронежских мужиков.

Наконец послышалось неизбежное: «Тучи в голубом»! Спойте «Тучи в голубом»!»

— Товарищи! — взмолилась Нина. — «Тучи в голубом» это не характерная для меня вещь! И потом, я же не композитор, вообще не музыкант! А главное, я не умею петь!

Вооруженный амфитеатр возмущенно зашумел. «Даешь „Тучи в голубом“!» Прорезался голос какого-то армянина, сидевшего верхом на пушечном стволе: «Пой, сестра, это твоя песня!» Тысяча лыбящихся ряшек. Ванек с аккордеоном вдруг вскарабкался на «студебеккер», потащил Нину к микрофону. Аккордеон заряжал вступительные аккорды. У Нины на глаза навернулась дурацкая слеза. Скольких из них завтра убьют, а скольких сегодня ночью? Она запела дурацким, забитым дурацкой слезой голосом,

совершенно по-дурацки: «Тучи в голубом напоминают тот дом и море, чайку за окном, тот вальс в миноре»... Весь амфитеатр подхватил, и она тогда перешла на речитатив: все-таки не так глупо, как петь без голоса и без слуха. Так и «пропела» до конца, а когда песня кончилась, солдаты завопили: «Еще! Бис! Пой еще, Нина!» Все были счастливы, хохотали, у нее кружилась голова. Мелькнуло в поле зрения бледное лицо Любви Орловой. Она, звезда «Веселых ребят», «Цирка», «Волги-Волги», была гвоздем этой программы и должна была привести весь концерт к триумфальному завершению, и вдруг такой фурор вокруг какой-то поэтессы. Не хватает только испортить отношения с Любой! Нина взмолилась:

– Товарищи, я не умею петь, у меня нет слуха! Я уже охрипла! Армянин с пушки крикнул:

– А ты не пой, сестра! Просто стой! Бешеный хохот потряс амфитеатр, и Нину после этого наконец отпустили.

Она спрыгнула с «эстрады», и кто-то тут же предложил ей стул рядом с самим Ротмистровым. Очкастый, симпатичный, похожий на чеховского интеллигента генерал поцеловал ей руку, начал что-то говорить о том, как ему нравятся ее стихи, а также о том, какие они большие друзья с Никитой. Она удивилась: оказывается, и здесь известно, что она – родная сестра маршала. Она начала что-то говорить в ответ, но тут возник такой шум, который заглушил бы, наверное, гром Везувия. Поляна извергалась восторгом. На площадке грузовика появилась под джазовый аккомпанемент мечта Советского Союза, сама Любовь Орлова! В лучших голливудских традициях она приподнимала над головой цилиндр, крутила тросточку и отщелкивала высокими каблуками чечетку.

«Хау ду ю ду! Хау ду ю ду! Я из пушки в небо уйду! В небо уйду!...» – бессмертная песенка из всеми обожаемой кинокартины «Цирк». Чтобы забить успех Нины, опытная Любовь начала со своего коронного номера, и битва была сразу выиграна. Нина со своего места помахала ей рукой и показала большой палец: никаких, мол, претензий не имею.

Вдруг она заметила стоящий неподалеку открытый «виллис» и в нем трех молодых офицеров, явно не окопных, а штабных, если можно было судить по щегольской подгонке всего их обмундирования и по свободным позам, с которыми они расположились в заокеанской военной машине. Все трое по какой-то причине смотрели не на сцену, а на нее и о чем-то переговаривались, усмехаясь. По какой причине? Разве ты не понимаешь, по какой причине могут так смотреть на женщину три офицера, три наглых и избалованных бабами «ходока»? Можно без труда представить, что они

говорят. Вот этот, например, с усами, кажется, наиболее заинтересованный: «А она еще ничего, ребята! Вполне годится на пистон». Второй, с чубчиком из-под пилотки: «Может, хочешь попробовать?» Первый: «А почему бы нет?» Третий, мордатый: «Ну ты, трепач! Кто она и кто ты? Знаменитая поэтесса, сестра маршала, а ты обыкновенный армейский хмырь!» «Чубчик» хохочет: «Война все спишет!» «Усики»: «Хотите заложимся? Я ее сегодня приспособлю по-офицерски!» Ну, вот они и закладываются на пари, «усики», «чубчик» и «морда»...

Когда концерт окончился, в неразберихе трое молодчиков выпрыгнули из «виллиса» и стали приближаться. Нина видела это краем глаза и не спешила уходить, отвечала на бесчисленные вопросы солдат, а сама краем глаза наблюдала, как приближаются эти трое.

Из вопросов самый основной, конечно, был: «А вы замужем?» Многие солдатики, впрочем, не вдаваясь в подробности русского языка, спрашивали: «А вы женаты?» – «Мой муж – военврач», – привычно отвечала Нина. «А детки есть?» – «Дочка, Леночка, ей десять лет». – «Ух ты! – восхищались солдаты. – А вам-то самой сколько лет?» – «Тридцать шесть».

В этом месте неизменно слышались крики недоверия. Один, мальчишка-пехотинец, даже рот раскрыл от изумления: «Да как же это может быть, да ведь моей мамке, вон, тридцать шесть!»

Трое офицеров отодвинули солдат – «давай-давай, ребята, разберись!» – и приблизились. Один, «усики», приблизился даже почти вплотную, так что посматривал на знаменитую поэтессу как бы свысока.

– А не хотите ли, Нина Борисовна, покататься на нашем «козлике» до банкета?

Откровенными модуляциями голоса парень, разумеется, задавал другой, более существенный вопрос. Противная кожа, вся в буграх, ему бы лучше бородку запустить, чем франтоватые усики. Ну да черт с ним.

– До банкета? – удивилась она. – А мне ничего не сказали о банкете.

Гадина, подумала она о себе, ты говоришь с ним так, что он понимает. Понимает, что не исключен положительный ответ на его «существенный вопрос».

– Как же, как же! – подрабатывает сбоку «чубчик». – Командование дает банкет выдающимся артистам. А пока что можно покататься часика два-три. Воздухом подышать!

– Мы вам покажем недавно захваченный командный бункер люфтваффе, – сказали «усики». Будто лейб-гусар, он предложил Нине руку.

Руку она не взяла, но прошла вперед к «виллису» и по дороге с

улыбкой обернулась на офицеров. Заметила, что мордатый восхищенно хлопнул себя по ягодице.

Уже начинались сумерки, хотя в небе над лесом все еще блестели в лучах солнца петляющие и кувыркающиеся истребители. Начавшие шевелиться танки бредили и разбрызгивали весеннюю грязь, подминали пласты слежавшегося снега. «Студебеккеры» зажигали фары, в их свете шевелились сотни голов, постепенно выравниваясь в маршевые колонны. Светляками роились в складках оврага огоньки сигарет. Фронт, надвигаясь на пустынную местность, заселял ее своей хлопотливой жизнью, а потом уходил дальше, оставляя за собой несметные груды мусора и дерьма.

– Вот это машина! – сказал усатенький ухажер, хлопнув по плоскому капоту «виллиса», которого уже повсеместно в советской армии величали «козлом». – Знаете, мы их таскали по дну во время переправы через Днепр. Вытащишь на другом берегу, садись за руль, повернешь ключ – мотор немедленно заводится!

– Не преувеличиваете, капитан? – улыбнулась Нина.

И опять все, что они говорили друг другу, означало совсем другое. Нине уже становилось неважно от этой шифровки. Между тем все не ехали, ждали «чубчика», который куда-то побежал за чем-то существенно важным, скорее всего, за «горючим», и, уж конечно, не для «виллиса».

– Нина, – вдруг негромко позвал кто-то из толпы. Она прижала ладонь ко лбу, ей показалось, что голос пришел из прошлого. Или из будущего. Или еще откуда-нибудь сбоку. Но уж только не из этой толпы солдат. Не из артистической бригады. Не от какого-нибудь «просто знакомого». В сумерках уже нельзя было различить лиц.

– Кто зовет? – с вызовом крикнула она и отмахнула волосы со лба. Готова ко всему, даже к разочарованию!

Танковый прожектор на несколько мгновений осветил «виллис» и солдат вокруг, и в этом свете она увидела товарища своей тифлисской юности Сандро Певзнера. Боже, он и тогда-то был каким-то щемяще трогательным, а теперь, в мешковатой шинелишке с загнутыми лейтенантскими погонами, стал истинным Чарли Чаплиным!

– Это я. Не узнаешь, Нина? – Этот его дивный, грузинско-еврейский акцент!

Забыв мгновенно о своих ухажерах, Нина обогнула «виллис» и направилась к нему, вглядываясь из-под руки, как будто в несусветное далеко.

– Имя! Фамилия! – крикнула она.

– Александр Певзнер, – пробормотал дурачок как будто бы в

священном ужасе.

– Год рождения! Номер паспорта! – еще громче крикнула она и тут уже, не выдержав, завизжав от неслыханной радости, бросилась ему на шею.

– Певзнер! – хохотали сзади офицеры. – Ой, сдохнуть можно – Певзнер!

– Пойдем, пойдем, Сандро! – Она потянула его за отворот шинели, резко врезалась в толпу, полезла по какому-то откосу, по раскисшей глине. Хохоча, будто в юности, будто в те блаженные тифлисские дни, она тащила его куда-то, сама не зная куда, лишь бы подальше от тех офицеров с их «козлом». Фары разъезжающихся машин иногда ослепляли их, она оглядывалась и видела его ослепленное то ли фарами, то ли счастьем, вот именно, сомнамбулически счастливое, болтающееся, как у марионетки, лицо.

Через несколько минут они выбрались на посыпанную щебенкой дорогу и, успокоившись, пошли по ней, держась за руки, словно дети. Время от времени мимо проходили колонны грузовиков или танки, и тогда они отшатывались на обочину, и Нина прижималась к Сандро. Он рассказал ей, что работает (язык его, видно, не выговаривал слова «служу») в агитбригаде Первого Украинского фронта, то есть по специальности, художником, рисует вдохновляющие плакаты и карикатуры на врага, сотрудничает во фронтовой газете «Прямой наводкой!». Он слышал о ее несчастье и очень горевал:

– Поверь, Нина, я мало знал Савву, но он был для меня каким-то эталоном мужества, чести, понимаешь, каким-то был в моем воображении просто рыцарем.

– Почему «был»? – сказала Нина. – Совсем необязательно, что он мертв. А вдруг жив? Я, во всяком случае, жду.

– Правильно делаешь, что ждешь, – горько сказал Сандро, – но... – и замолчал.

– Что «но»? – Она нажала ему на локоть, заглянула в глаза. – Говори!

– Ну, я просто слышал, что тот госпиталь, где он был, просто сровняли с землей... – пробормотал он.

Топот сотен шагов приближался к ним из темноты, вскоре под светом Плеяд обозначились очертания пешей колонны. По бокам колонны вдоль обочин шли солдаты с ружьями наперевес. Время от времени они светили ручными фонариками по головам колонны.

– Пленных ведут, – сказал Сандро.

Они отстранились от приблизившейся колонны, а потом перепрыгнули

через кювет и прислонились к стволу тополя.

Лучи фонариков иной раз выхватывали из темноты впалые небритые щеки, безжизненные, почти рыбы глаза пленных, разрозненное обмундирование, немецкие пилотки, советские шинели, незнакомые оборванные погоны... В глухом говоре колонны стали различаться русские слова.

– Эге, да это похуже, чем пленные! – цокнул языком Сандро. – Это предателей ведут!

– Каких предателей? – У Нины дыхание перехватило. – Куда их ведут?

Сандро схватил ее руку, зашептал прямо в ухо:

– Их ведут за Харитоновку, в дубовую рощу, и там их всех кончают. Всех расстреливают и сваливают в овраг. Их очень много, Нина, вот что ужасно. Говорят, что там одни полицаи, нацистские прислужники, власовцы, но мне кажется, там есть и просто те, кто был в немецком плену. Ты же знаешь, у нас не признают своих пленных, всех считают предателями Родины... а мне кажется, я, должно быть, плохой офицер, да и вообще, какой я офицер, ты же знаешь, я художник, и больше никто, только художник... так вот, мне кажется иной раз, что это просто часть нации ведут мимо нас, за Харитоновку...

– Ты хочешь сказать, что они продолжают свое дело и во время войны, палачи проклятые? – шепотом спросила она.

– А куда же они делись, Нина, как ты думаешь? В каждом соединении разбухшие отделы СМЕРШ, повсюду шныряют особисты...

Колонна продолжала тянуться мимо них, и вдруг Нину охватило ощущение, что кто-то знакомый только что посмотрел на нее из плотных рядов обреченных предателей. Просто мелькнуло какое-то знакомое лицо. Мгновенная вспышка. Все пропало. В ужасе она едва не задохнулась: это мог быть Савва! Так стекаются иногда невероятные совпадения, черти хлопотливо ткут сеть кошмара, и наконец выскакивает результат – комок ужаса! Отказываясь верить в смерть Саввы, Нина иногда представляла его военнопленным, а стало быть, по сталинской доктрине, предателем Родины. Нет, это не мог быть он. Лицо, мелькнувшее сейчас под пятном конвойного фонарика, было совсем юным, не Саввино лицо, да и вообще незнакомое лицо, просто лицо юнца, которого сейчас за Харитоновкой сбросят в овраг с дыркой в затылке.

Колонна прошла, слилась с темными буграми леса, вдруг возникла тишина и пустота, только Стожары продолжали гордо стоять над презренной землей. Они вернулись на дорогу и вдруг заметили, что к звездам присоединился тонюсенький, будто нитка в лампочке, серп луны.

– И все-таки я надеюсь, что мы вздохнем свободнее после войны, – сказала Нина. – Не может быть, чтобы все осталось по-прежнему после такой войны!

– Сомневаюсь, – пробормотал Сандро. – Вряд ли что-нибудь изменится. Гитлер и Сталин своей ссорой загнали нас всех в ловушку...

Он вдруг, кажется, испугался, что высказал свои тайные мысли вслух. Протянул руку, сжал Нинино запястье, как будто хотел убедиться, что это именно она и ему ничего не угрожает.

– Ты знаешь, Сандро, – проговорила Нина, – после отъезда Саввы на фронт у меня не было ни одного мужчины.

Она шла, опустив голову, повисшие волосы скрывали от Сандро ее лицо.

– Не знаю, что случилось со мной, – глухо продолжала она. – Никому не позволяла до себя дотронуться. Бесилась. А сегодня это дошло уже до точки. Ты знаешь, я едва не уехала с теми, на «виллисе»...

Он отвел рукой ее любимые волосы, робко заглянул в любимое, отяжелевшее в этот момент, но все равно любимое лицо.

– Нет, это ужасно, Нина, с этими козлами, нет!

– У тебя тут есть что-нибудь? – Она подняла лицо так резко, что в глазах ее мгновенно промчались все Стожары и серп луны.

– Что? – со страхом спросил влюбленный в нее уже шестнадцать лет и никогда даже не мечтавший о таком моменте художник Певзнер.

– Комнатенка, шкаф, сарай, где мы можем уединиться? – высокомерно спрашивала она.

Он потащил ее за руку, больше уже не в силах вымолвить ни слова. Они быстро, деловито пошли по дороге, больше уже не перепрыгивая за кювет, а только лишь чуть-чуть отклоняясь от проходящих машин. В конце концов минут через двадцать быстрого хода Нина увидела походный лагерь штаба фронта, с большими американскими палатками, наспех сколоченными вышками, фонарями, отцепленными от тягачей фургончиками. В одном из этих фургончиков у Сандро была мастерская. Трясущимися руками он стащил амбарный замок, пропустил любимую в пропахшую красками, сырую, холодную темноту. Дверь закрылась, они остались одни.

– Подожди, подожди, – зашептала Нина. – Я хочу, чтобы мы оба разделись догола, как будто мы на ночном пляже возле Гюльрипша...

...В крошечное забрызганное глиной окошечко сонм небесных светил смотрел, как два обнаженных человека, сидя на табуретке и стоя, любили друг друга. Прилечь было негде.

– Какое счастье, что я тебя встретила, – шептала Нина. – Какое счастье, что не уехала с теми...

* * *

Между тем мелькнувшее перед Ниной в луче конвойного фонарика лицо приближалось к цели своего назначения, оврагу за сгоревшей деревней Харитоновкой. В лесу перед оврагом блуждало множество огней, передвигались сотни теней человеческой расы. Из оврага доносились то мерное тюканье выстрелов, то лихорадочно галопный темп пальбы, как будто мерное тюканье вдруг истерически обижалось на непонимание и старалось во что бы то ни стало и как можно скорее объяснить свои намерения. Интенсивно и не без энтузиазма работала ночная смена экзекуторов военной контрразведки СМЕРШ.

Вновь прибывшая колонна втянулась в лес. Любопытно, что все двигались с относительной бодростью, как будто еще не поняли, что их здесь ждет. Весенний морозец, звезды над соснами, блуждающие за стволами огни, возможно, вызывали у каждого в душе нечто сродни вдохновению Владимира Набокова, написавшего в одном стихотворении: «...Россия, звезды, ночь расстрела, И весь в черемухе овраг!» Впрочем, скорее всего, мы преувеличиваем, и все просто устали от ненависти, страха, боли, надежды смыться и хотели, чтобы все это кончилось. Такие чувства, быть может, владели юным лицом, мелькнувшим перед Ниной Градовой в луче конвойного фонарика.

Колонну загнали на вырубленную в лесу поляну, и сразу смершевцы, от которых разило спиртом, побежали со списками по рядам, выкликая фамилии, выдергивая людей одного за другим, подгоняя их прикладами в спину, пинками в зад. Лицо, мелькнувшее перед Ниной, вдруг покрылось страшным смертным потом. Ему вдруг страстно захотелось оттянуть конец, не попасть в первые очереди, еще и еще раз надышаться ночным воздухом, на прощание пропитаться до последней клетки этой странной комбинацией химических элементов.

Другим хотелось надышаться никотином. Сосед, высокий тридцатилетний парень в обрывках вермахтовского офицерского мундира с уцелевшим на рукаве значком РОА, жадно вытягивал заначенную напоследок сигаретку.

– Вот, значит, где нас будет кончать красная сволочь, – говорил он между затылками. – Вот, значит, где... в лесу... на воздухе... а я-то все

подвал чекистский во сне видел... Хочешь затянуться? – И, получив отрицательный ответ, продолжал жадно, захлеб втягивать сигарету, с каждой затяжкой приближая ее огонек к пальцам, пока прямо меж пальцев этот огонек и не погас.

– Гитлер во всем виноват, грязная обезьяна! – с силой сказал курильщик. Он был, по слухам, парижанином, отпрыском белогвардейского дома. – Если бы не эта грязная обезьяна, le merd, у нас бы была уже миллионная русская армия, и мы бы сами кончали красную сволочь...

И тут как раз его выкрикнули:

– Чардынцев! – И потащили волоком, потому что у парижанина вдруг ноги отказали. – Вставай, сука! Вставай, блядь! Сейчас за хуй повесим, срака фашистская!

Оказалось, что первых вызванных не под пули волокли, а в петлю. Неподалеку от распределительной площадки в свете фар стояла длинная поперечная виселица. К ней медленно задом подъезжали с откинутыми бортами грузовики-«студебеккеры». Там, в кузовах, держали жертву смершевцы. Каждой жертве зачитывали персональный приговор трибунала: «Именем Союза Советских Социалистических Республик... за совершенные против советского народа преступления... к смертной казни через повешенье... обжалованию не подлежит...» Один из смершевцев надевал жертве на шею петлю, после чего грузовик – многоцелевая, в самом деле, машина – двигался вперед, и жертва обрывалась вниз, чтобы совершить свой последний танец, сопровождаемый, как утверждают знатоки, сладчайшими эротическими видениями.

В промежутках между экзекуциями баба-подсобница наливала палачам спирту из четвертной бутылки. Можно было его развести водой по вкусу или так жახнуть, прямиком. Все оставшиеся на площадке, и в том числе и тот, мелькнувший перед Ниной под лучом конвойного фонарика, совсем потеряли самообладание. Кто-то выл низким голосом, кто-то блевал, валились на колени, молили палачей: «Пощадите, братцы!»

Вдруг, словно выстрел прямо в ухо, он услышал свое имя: «Сапунов Дмитрий!» Голова провернулась в бешеной спирали, он зацепился носком сапога за недовыкорчеванный пенек, упал, обмочился и пролился чудовищным поносом, однако встал и шагнул навстречу группе деловито шагающих вдоль площадки палачей. Долетел чей-то начальственный голос, сверяющий список: «...Решетов, Ровня, Сапунов, Сверчков... Давай, тащи этих, что на ногах, к оврагу, а тех, что лежат, кончай на месте, блядей! Давай, ребята, шевелитесь, а то так до утра не управимся!»

И вот его тащат, обмотав веревкой вместе с другими, а если он падает,

по спине или по голове тут же огревают дубовой палкой, и он снова встает. Он все еще думает, что его тащат к виселице, и хрипит: «Вешайте, красная сволочь!» – однако его тащат мимо грузовиков, мимо виселиц, в темную прорву леса, откуда доносится то мерное тюканье, то лихорадочный галоп пальбы. На его долю не выпало чести специального приговора трибунала, он подпадает под массовое постановление.

Как же случилось, что Митя Сапунов, присоединившийся в июле 1943 года к советским партизанам соединения «Днепр», вновь оказался в группе «предателей Родины», на этот раз разоруженной и приговоренной к смерти? В тот знойный месяц в белорусско-украинских дубравах ему вдруг впервые с начала войны показалось, что он попал по-настоящему к своим. Нашедшие их ребята больше походили на казачью вольницу времен гражданки, чем на советскую воинскую часть, скованную армейской, а также партийно-комсомольской дисциплиной. Картузики набекрень, расстегнутые до пуза гимнастерочки или пилотские куртки, а главное, кожаные фрицевские пояса, увешанные подсумками, гранатами, ножами. Шик состоял в том, чтобы носить пистолеты не сзади, по-советски, на ягодице, а спереди или на бедре – удобней, дескать, немедленно обнажить огнестрельное оружие. Соответственно и манеры: никакого чинопочитания, командиров величают Лукич, Фомич, движения свободные, ловкие, общее настроение разбойничье – «ну, давай, хуе-мое, воткнем им шершавого и рвать когти!».

Обессилевших Митю и Гошку Круткина в виде двух слабо мычащих мешков поперек лошадиных спин привезли на главную базу, разбросавшую свои блиндажи в оврагах посреди непроходимой чащобы. Разведчикам с «фокке-вульфа» нелегко заметить признаки цивилизации среди густо-зеленых крон, внизу одна лишь царственная природа, а между тем там, внизу, вослед пролетающей докучливой «раме», молча до поры, поворачиваются зенитные пулеметы.

Ну, а под кронами дубов и вязов, под тяжелыми юбками вековых елей сосредоточилось все партизанское хозяйство: и конюшни, и гаражи, и мастерские, и склады, и землянки с нарами для ребят, и штаб с радиостанцией, и «хавалка», то есть большая столовая, где «хавали» все от пуза, без всяких норм, хотя, конечно, иной раз и на зубариках приходилось поиграть, особенно во время фрицевских карательных операций, когда склады запечатывались, а штаб и все службы сворачивались и по-быстрому перемещались. Кашеварили, конечно, по ночам, чтобы не демаскировать себя дымом, значит, и горячую пищу хлопцы по ночам лопали, ну, что ж, дело привычки. По ночам топили и баню, вот там-то, в парной, крутым

кипятком и прошли санобработку Митя с Гошей. Там-то им и дикие башки под ноль окатал базовый парикмахер. Лазарь, сокращенно Лазик.

Интересно, что никто в отряде их ни о чем особенно не спрашивал. Пленные так пленные, чего ж ясней, тиканули от фрицев, и порядок, влиться хотите в ряды народных мстителей, добро пожаловать! В штабе записали ф.и.о., год рождения, место постоянного жительства, номер части, из которой в плен попали, и кранты: никакие их сказки до поры не понадобились. А как оклемались ребята, их приписали к той самой группе разведки, что их обнаружила. Выдали с полным доверием по комплекту оружия, в том числе автоматы ППШ с круглым диском, отечественные. Основной костяк группы был, конечно, экипирован «шмайссерами», однако командир Гриша Первоглазов сказал, что теперь от них самих зависит, если хотят фартовенько вооружиться.

Гриша Первоглазов был ростовский, и похоже было на то, что в городе своем, Ростове-папе, он не принадлежал к самым почтенным семействам. Во всяком случае, всю свою партизанскую деятельность он, кажется, рассматривал как одну массивированную гоп-стоп забаву.

И в самом деле было весело с Гришей Первоглазовым. Лежишь в кустах, ждешь; или байки слушаешь про половое прошлое, или кемаришь. Вдруг Гриша Первоглазов – ох, чутье у парня! – объявляет: «Едут! Внимание! Кто шмальнет без команды, будет иметь дело со мной!» Появляется конвой: броник со скорострельной-безоткатной, грузовики с добром, «хорьхи» с охраной. Каски у фрицев раскалились под августовским солнцем, клюют арийскими носами, не знают, что «капут» сидит за кустами; в такой идиллии «Огонь!» – кричит Гриша Первоглазов и для пущего форса подвешивает сигнальную ракету. Дальше – все как по нотам: броневики натываются на мину и под жопу получают хлыста из противотанкового оружия; по «хорьхам», по каскам, по спинам и в грудь немецко-фашистским захватчикам кинжальным огнем во имя нашей советской родины! Грузовики врезаются друг в дружку и в придорожные деревья, взрываются гранаты. Те, кто уцелели из охраны, бегут в кювет, на них из кустов прыгают народные мстители. Весело! Но вот конвой разгромлен, развеялся дым короткого боя. Пленных, какие есть, допрашиваем на месте действия. Тут большую помощь оказывают новички-москвичи, Митя и Гоша. Очень успешно учились в средней школе ребята, могут по-немецки вопросы задавать.

Дальше самая веселая часть операции – интересуемся содержимым транспортных средств. Иногда попадают любопытные предметы. Например, однажды вытащили из-под фельдфебеля три ящика датской

водки «Аквавит». Во завелись хлопцы! Раскочегарили пару машин, надели фрицевские мундиры и в Овруч, к блядям, закатились. Любо, братцы, любо! Любо, братцы, жить! С нашим атаманом (Гришей Первоглазовым!) не приходится тужить!

При всей этой вольнице в группе сохранялись отличные товарищеские отношения и авторитет командира. Такая вообще образовалась капелла – ну просто как в детстве мечталось: вот бы подобрать таких ребят, один за всех, все за одного, «мы спина к спине у мачты, против тысячи вдвоем!..».

«Я тебя, Сапунов Митя, представил к медали „За боевые заслуги“, – как-то сказал Первоглазов после успешного завершения спланированной в Москве операции по одномоментному взрыву двух мостов через Припять. Поохотали, ну, поохотали, как вдруг в декабре сорок третьего, в пургу, прилетает с Большой земли на тайный аэродром „дуглас“ и из него выбрасывают мешок с медалями, а среди них и Митины „Заслуги“.

К концу сорок третьего, надо сказать, связь с Большой землей стала почти регулярной, и однажды прибыл широкоскулый и злобный генерал с целым штабом прихлебателей. «Лукичей» и «Фомичей» мигом раскассировали по вновь организованным ротам и взводам. Весь отряд стал именоваться Шестой партизанской бригадой имени Щорса. Построили специальный блиндаж для особого отдела. Мутноглазые, криворотые особисты начали «просеивать кадры». Митю и Гошку несколько раз уже вызывали «для уточнений», всякий раз по отдельности. За прошедшие месяцы оба основательно подзабыли свою первоначальную легенду и на первоначальных беседах с майором Лапшовым многое напутали. Оказалось, например, что из санпропускника они сбежали хоть и вместе, но на расстоянии ста километров друг от друга, да и по времени вроде бы показания на пару недель разошлись. Лапшов, как ни странно, к этому не придрался, может, других дел у него было много о ту пору. Исчез, например, из бригады бравый разведчик Гриша Первоглазов. Народ интересовался: куда наш герой делся? Отвечали: отозван! Куда же его отозвали, интересовались отвыкшие от порядка партизаны. Куда надо, туда и отозвали, был кривогубый ответ. А за тем еще следовал встречный вопрос от кривогубых: «А вы почему так Первоглазовым интересуетесь?» И тогда уже все вопросы прекращались.

В январе сорок четвертого фронт по всем признакам приблизился к партизанской зоне. Восточная часть небосвода стала постоянно озаряться зимними сполохами. Оттуда слышался все нарастающий гул. Поступил приказ о передислокации к западу, чтобы продолжать работу в тылу врага, прерывать его коммуникации, выводить из строя живую силу и технику.

Две недели с тяжелыми боями шли через густо забитую отступающими немецкими частями местность. Фронт, однако, приближался быстрее, чем они уходили на запад.

– Похоже, Митяй, что Германия дала трещину, – говорил, озираясь, Гошка. – Что делать-то будем?

– Как что делать будем? – притворялся непонимающим Митя. – Воевать будем вместе с нашими.

– «С на-а-шими», – передразнивал Гошка. – Ты что, не понимаешь, что дело пахнет керосином? Надо когти рвать из отряда!

– Да куда же когти-то рвать? – цепenea от дурного керосинового запаха, бормотал Митя.

– Черт его знает, – шептал, шныряя глазами, друг ситный.

За одно только это шныряние глазами его могли поволочь в СМЕРШ.

– Может, к украинцам подадимся?

Ходили слухи, что в западных областях формируются украинские силы, которые собираются биться на два фронта: и с немцами, и с русскими.

– Только на хуя мы им нужны, украинцам?

В один прекрасный вечер на построении запах керосина смешался с густым кремовым ароматом духов «Красная Москва». Перед строем партизан вместе с генералом Рудняком и его особистами появилась статная девка в капитанских погонах, не кто иная, как библиотекарьша Лариса, ну, та. Ну, вот именно та, с которой Митя Сапунов воспарял в аргентинской страсти и которую потом шакалы из команды «Заря» «под хор» пропускали.

Увидев ее, Митя и Гошка стали сползать. Значит, верно тогда болтали, что большевистская шпионка. В общем, вот что оказалось: та, первая, Лариса еще под доваторскими казачками погибла, а на ее место прислали вот эту Ларису, далеко не девушку, а опытную чекистку. Явившись же в партизанский отряд, выявилась она совсем и не Ларисой, а капитаном Ватниковой Эльзой Федоровной и, что интересно, значительно старше своего летнего возраста.

Сначала она не замечала ни Митю, ни Гошку, видно, дел было слишком много. Партизан, теперь по алфавиту, продолжали вызывать к особистам, и не все возвращались в строй. До Круткина и Сапунова еще очередь не дошла, и они старались скрыться от глаз капитана Ватниковой среди трехтысячной массы. Начали даже бороды запускать, одновременно отчаянно думали, куда тикать, что делать. Возникла даже идея пригласить капитана Ватникову на свиданку в лес, и вдруг однажды на построении она этак запросто приблизилась к ним и, даже не взглядываясь, сказала с

отвращением:

– Ну, хватит ваньку валять, власовская сволочь! Оружие положить! Следовать за мной!

И тут же обоих взяли под микитки, поволокли в страшную часть оврага. Чека и в лесу умудрилась устроить свою Лубянку. Здесь их разъединили и начали поодиночке лупить, выколачивать чекистскую правду. Потом бросили в яму, где еще дюжины две подследственных ворочались.

На следующий день Митю приволокли в избу лесника на допрос лично к капитану Ватниковой Эльзе Федоровне. Когда они остались одни, бывшая библиотечка Лариса вытащила из кобуры пистолет и засунула его себе за пояс. Вот последний шанс, подумал Митя. Оглушить оторву, забрать пистолет, попробовать к украинцам прорваться. Сил, однако, после вчерашней разминки не было даже поднять башку, не то что руки.

Эльза, глядя на него в упор, вдруг вынула помаду и густо, по-цирковому, намазала себе губы. Потом подошла, прижала грудями и животом к бревенчатой стенке, руку запустила в штаны, свирепо ухватила главную жилу. Митя затуманился, поехал вбок. Она расхохоталась, вытерла руку о подол.

– Встать, говно! Встать не можешь?! Небось на чувства рассчитывал, ублюдок? Ха-ха, у меня тут ебарей хватает! – Открыла дверь, позвала вежливым, партийным голосом: – Заходите, товарищи!

Вошли два заплечных дел мастера. Опять начался «разговор по существу». Митя признался, что был во вспомогательных русских частях вермахта. Насильно забрали. Всегда ненавидел захватчиков. Мечтал о побеге. Убежали вместе с Круткиным, как только случай представился. «Врешь, скотина! – кричали особисты. – Давай, все рассказывай, а то мы сейчас из тебя ремней нарежем!» Они явно не знали, какие еще можно получить сведения от юнца Сапунова, просто хотели чего-нибудь еще. Митя, хоть и едва уже шевелил мозгами после бесконечных ударов по голове, все-таки умудрялся хитрить, рассказывал только то, что могло быть известно библиотечке Ларисе, об остальном же давал смутную картину.

Так продолжалось несколько дней. К избиениям прибавилась еще одна пытка, именуемая «инкубатор». Засовывали с завязанными руками и с кляпом во рту в клетку с курами. Лишенные трех четвертей жизненного пространства, куры гадили на непрошеного гостя, а потом начинали остервенело расклевывать ему все обнаженные участки тела.

В одну из ночей, после целого дня «разговоров» и «инкубатора», Митя полубредил в общей яме под густо падавшей с небес белой благодатью,

тети Агашиной сладчайшей и теплейшей, единственно любимой, сопровождаемой мэричкиным Шопеном, манной кашей. Подполз еле живой Круткин, уткнул голову ему в колени, трясаясь от рыданий, пробудил к реальности.

– Митька, прости, не выдержал я, раскололся, заложил я тебя, родной мальчик, единственный мой друг, сказал, что ты добровольцем к немцам пошел и меня увлек...

– Ну что ж, спасибо, Гоша, – усмехнулся Митя. – Другого я от тебя и не ожидал. Будь здоров и выживай, а с меня этого всего уже хватит...

Он был уверен, что его теперь немедленно шмальнут там, где они всех шмаляют, за мусоркой, однако сразу же после Гошкиного предательства все как-то странно переменялось. Во-первых, их обоих перевели из ямы в сарай, где даже крыша была, хоть и худая. Во-вторых, стали малость подкармливать: то баланды скотской дадут, то даже солдатской каши, не то что в яме, куда раз в три дня одну лишь бадью гнилой картошки сбрасывали. Допросы пошли более по-деловому, меньше стало мата, слюноизвержения, истерик, хотя, конечно, засаживали порой по-прежнему очень крепко.

Потом двое совсем уже серьезных появились, по всей вероятности, прилетели с Большой земли. Эти уже совсем никаким хулиганством не занимались, и даже спиртягой от них не пахло. Больше всего их интересовал тренировочный центр Дабендорф, где ребята провели четыре месяца перед отправкой на Украину. Кого там видели и что можете сказать о Боярском, Малышкине, Благовещенском, Жиленкове и особенно о Зыкове? Появлялся ли перед вами сам Андрей Андреич? Какой, простите, Андрей Андреевич, расторопно переспросил Гошка. «Что же, вы своего вождя, Власова, по имени-отчеству не знаете?» – усмехнулись серьезные товарищи. Ну, а немцы, какие с вами работу проводили? Вот, например, некий Вильфрид Карлович появлялся? А вот такой, фон Тресков? Тут уж Гошка просиял: «Помнишь, Мить, мы его Треской прозвали? Мы его, товарищи, Треской дразнили». А ну-ка, перестань веселиться, предатель Родины, нахмурились вдруг серьезные товарищи, и Гошка тут же скис, поняв, что от расстрела все же совсем не гарантирован.

Далее еще более странный какой-то поворот произошел с Митей. В ходе допроса пришлось ему рассказать свою биографию и, естественно, упомянуть о том, что воспитывался с восьми лет в семье профессора Градова. Авось не вспомнят про сыновей – «врагов народа», надеялся он, не зная, что его приемный дядя Никита давно уже не враг, а великий герой народной войны, командующий легендарным Резервным фронтом, маршал

СССР. Серьезные товарищи молча переглянулись, получив эти сведения, после чего Митя был переведен в теплую землянку, возле которой был поставлен отдельный солдат.

Фронт уже прошел через их края, и теперь партизанская база оказалась в близком тылу сражающихся войск. И однажды на эту базу прибыл по Митькину душу странный гость. Он пролез большой лысой морщинистой башкой в землянку, а за ним сам командир бригады внес керосиновый фонарь. Поверх формы на госте был овчинный тулуп, так что чина не различишь, однако ясно, что чин большой. Больше часа сидел гость в вонючей землянке и задавал страшному от исхудалости и побоев юнцу вопросы о его жизни в семействе Градовых. Проявлял удивительную осведомленность.

Вот когда вашего приемного отца Кирилла Борисовича арестовали? А когда Вероника Александровна из Хабаровска приехала? А что вы вообще можете сказать о Веронике Александровне? Получали ли старшие Градовы письма от арестованных детей и как на них реагировали? Не замечалось ли... хм... предвзятого отношения по национальному вопросу к вашей приемной матери Цецилии Наумовне Розенблюм? А вот насчет Нины Борисовны, как она? Ну, в том смысле, как проживала, часто ли бывала у родителей, не ссорилась ли с мужем, как к дочери относилась, вообще как высказывалась? Как, интересно, изменилась жизнь семьи после ареста старшего сына, Никиты Борисовича? Заезжали ли его старые друзья или полностью все отвернулись? А как вот к вам, приемышу из крестьян, все эти Градовы относились? Не унижали вашего человеческого достоинства?

Последний вопрос показался Мите таким диким, что он даже как-то захаркался, сглатывая мокроту, что, возможно, было задумано, как изумленный смех. После этого странный гость, не прощаясь, выбрался из землянки.

Еще несколько дней прошло в неопределенности. В кашу стали совать кусочки мясных консервов. Митя подумал, что шамальнут теперь не сразу: он кому-то там для чего-то нужен, странный гость посетил его явно неспроста.

Вдруг опять все перевернулось и покатилося, теперь уже прямо в волчью пасть. Вдруг вытащили из землянки, накидали ни за что ни про что пиздюлей, погнали прикладами на дорогу, прибили к колонне предателей Родины, и вот оттуда уже начался его окончательный марш на ликвидацию, за Харитоновку, в тот овраг. Откуда было знать Мите, что с каких-то высот поступил приказ немедленно ликвидировать всех предателей и сотрудничавших с оккупационными властями лиц в том секторе, где он

имел несчастье находиться. Операция проводилась, во-первых, в порядке «справедливой мести» за недавнее убийство украинскими партизанами-бандеровцами генерала Ватутина, а во-вторых, в превентивном порядке, поскольку генерал Хюбе с тремя танковыми дивизиями начал развивать в этом секторе успешное контрнаступление.

* * *

И вот его подтаскивают к освещенному прожекторами краю оврага, из которого ошеломляюще разит смертью. Стоят, покачиваясь, тени людей, похожие на мишени в форме людей. Другие тени быстро проходят от одной тени к другой – стреляют из пистолетов в голову, в затылок. Тени-мишени пропадают, тени-стрелки утирают рьяно: кое-что, очевидно, на них попадает при выстреле в упор.

Подтаскивают одну за другой шатающиеся кучки людей, связанных вместе веревкой. При развязывании веревки в ответ на приказ «разобраться!» иногда случается «непорядок»: какой-нибудь псих начинает ваньку валять, падает на колени, театр тут всякий устраивает: «Братцы, пожалейте! Братцы, пощадите!» Один так просто всех насмешил. «Я сам шел! – кричит. – Я же шел, как положено!» Как будто если сам шел на расстрел, так его расстреливать не надо. Ну, если сам шел, так теперь сам и вставай, падло, как положено! Давай, ребята, живей! Кончайте этот театр, так до утра не управимся! Иной раз галопом-галопом, как конница-буденница, по кучам предателей начинали работать «максимы», и тогда дело шло веселее, хотя точность, конечно, снижалась. Ну, ничего, в яме все сойдется.

Митя еще хотел распрямиться во весь рост, еще надеялся успеть выкрикнуть в слепящие фары красной, жадной до трупов электрификации, выкрикнуть что-то, пролаять все-таки с оцетинившейся холкой, показать зубы трупа, чтобы запомнили, когда отпущенная без предосторожностей кривая всеобщей диаграммы коммунизма саданула его по боку и пошла дальше, срезая целый пласт земли и обнажая слежавшиеся эпохи, кости и окаменевшие печени.

* * *

На обратном пути в Москву Нина делила купе с Любовью Орловой.

Она была очень весела, хохотала, рассказывала кинозвезде какие-то фронтовые курьезы, и Люба подхохатывала, прекрасно понимая, что у Градовой завязался роман. Наверное, уж какой-нибудь летчик-истребитель, воздушный ас, вся грудь в орденах, кто-нибудь вроде знаменитого Покрышкина. Меньше всего, конечно, походил на героя фронтового романа некто сутулый и тощий, в жеваной-пережеванной шинелишке, который толкался вокруг автобуса с артистической бригадой до самого отъезда на железнодорожную станцию.

Когда погасили свет, Нина долго лежала в счастливой дреме. Все тело ее вспоминало прикосновения Сандро, и в глазах стояли его обожающие, какие-то ритуальные глаза. Язычник, смеялась она в полусне, из драной кошки сотворил себе кумира. Она знала, что он может быть красивым. Когда расстанется с этой гнусной формой, ничто не помешает ему стать красивым, даже маленькая плешь.

Она попыталась представить себе их будущую жизнь, закатное, хорошей старой меди небо над вечным Тбилиси, но вместо этого вдруг увидела головы шагающей в темноте колонны, мертвую зыбь голов, и вдруг совершенно отчетливо поняла, чье лицо мелькнуло перед ней в луче конвойного фонарика. Контрактура всей кожи, мгновенный и незабываемый спазм.

* * *

Все, что выливалось из сверху лежащих, стекало на Дмитрия Сапунова в его последний час. Когда этот час прошел, он начал выкарабкиваться. Отодвигая отяжелевшие конечности беспардонно сверху лежащих. «Одной-то пули нам мало, – бессмысленно бормотал он. – Одной-то пульки-шмульки-фитюльки нам маловато...» Пролезал из черного мрака в серый мрак. Предраассветный туман прикрыл толстыми слоями все ночное дело. Стали вырисовываться стволы невинных животных земли – деревьев. Перекликались часовые, навьюченные пулями упыри. Сверху с небес гудела боевая слава – авиация. Все дальше он уходил, зажимая локтем располосованный рикошетной пулей правый бок. Почти не скрываясь, проковылял мимо обгорелых печей Харитоновки. С другой ее стороны, с полевой, видны были привольные, лежащие в талых лужах луга. Первые лучи из-за бугра осветили водяные пятна и заставили их, как в старину, отразить облака. Тогда он упал в кусты, на прошлогодние листья, вдохнул весеннюю гнильцу и заснул, вызывая серьезный интерес у двух сидящих

поблизости ворон. Тление невинное и тление греховное, казалось, думали вороны, что разлучает вас в космических полях?

Проснулся он от посвистывания. Незнакомая ему мелодия «Тучи в голубом». По вьющейся поперек поля и уходящей к горизонту грунтовой дорожке шел, удаляясь, одинокий солдатик. Он весело перепрыгивал через лужи и удалялся, на плече вещмешочек. Никакого оружия, вот что интересно, подсказала Сапунову одна из ворон. Солдатик, похоже, возвращался из госпиталя в свою часть.

Сапунов, подавляя стон, поднялся и тяжело побежал за ним. Рухнул на маленькую спинку, железными, может, еще трупными пальцами сжал горло, бесповоротно круша хрящи. За шиворот потянул приконченное так легко тело к себе в кусты. Синь удушья отлилась от солдатика, он лежал с румянцем на щеках, будто кемарил. Сапунов залез в нагрудный карман, вытащил пачку помятых папирос «Норд», штук десять в ней было, точнее, одиннадцать; там же была и зажигалка, сделанная вручную из гильзы бронебойного патрона.

Сапунов начал курить и не остановился, пока не выкурил все одиннадцать штучек. Хорошо было, лежишь рядом с каким-то военным служащим, будто с корешем, дымишь, в небе над тобой на большой высоте пролетает международная авиация. Потом вспомнил, что не для курева же душил. Полез в другой нагрудный карман, вытащил красноармейскую книжку. Вот ради этого душил. Документика. Ксивка-бурка вещая каурка.

Глава семнадцатая

Virtuti militari^[17]

Девятка больших перелетных гусей стройным клином заходила на посадку. Балтийский высокий закат отражался по всей поверхности городского пруда. Эта поверхность и была посадочной площадкой для гусиной эскадрильи. Вожак аккуратно снижал скорость, громко требовал синхронности: «Делай, как я! Делай, как я! Делай, как я!» Для него, видимо, важна была не просто посадка, а посадка, выполненная в идеальном стиле, в полном синхроне. Все остальные гуси молчали, стараясь точно и ритмично повторять взмахи его крыльев. Сели все одновременно, с минимальным количеством брызг. Сели и только тогда уже загоготали, вознося хвалу своему вожаку. И он теперь гоготал наобум, счастливый и гордый, встряхивался, нырял большой головой в немецкое озеро, выныривал весь в брызгах, в лучах заката. Долетели! Привел свою семью без потерь и в лучшем стиле!

Маршал Градов, прогуливаясь вдоль пруда, с интересом смотрел на гусиные радости. Прилетели, должно быть, из Северной Африки, от Тобрука и Эль-Аламейна; не из долины ли Нила? Напрямик, как требует тысячелетняя традиция, невзирая на зенитный огонь и воздушные бои, в точности следуя своему навигатору и садясь на поверхность озера в Данцигском коридоре, не зная, впрочем, ничего про этот так называемый коридор; однако весьма довольные тем, что очертанья городка не изменились.

А могли бы ведь измениться, и очень сильно, как, например, изменились очертания Кенигсберга. Если бы фон дем Боден не капитулировал, вряд ли удалось бы городскому замку сохранить свои башни. Волны «летающих танков» Ил-2 вкупе с гвардейскими минометами и с артиллерией всех трех основных калибров превратили бы всю эту готику в «плюсквамперфект». Увы, таковы обстоятельства конца игры, ваше превосходительство «сумрачный германский гений».

Так элегически размышлял командующий Резервным фронтом, прогуливаясь, как всегда, под бдительным оком своей охраны по берегу городского пруда в маленьком и вылизанном, несмотря на войну, до последнего булыжничка прусском городе на спорной германо-польской территории в апреле 1945 года.

Интересно превращение абстрактного, исчисляемого количеством дивизий генерал-полковника фон дем Бодe в конкретного военнопленного человека. Не первый раз наблюдает Никита этот феномен в ходе войны. Прошлым летом при завершении операции «Багратион»... Сначала ты смотришь на карту, на огромный «котел», в котором «варятся» 60 000 окруженных гренадеров Хиттера. Этот «котел» скорее похож на амебу, он то расширяется на севере, то сужается на юге. Вокруг амебы день за днем сжимаются стальные пальцы трех фронтов, трех отвлеченных стратегических понятий под именами «Мерецков», «Градов», «Рокоссовский». Идет тактическая игра, перемещения колонн, пересечение коммуникаций, подсчет процентов потерь... У Хиттера только одно преимущество – огромное болото под брюхом амебы. Если у него есть еще надежда, он надеется отсидеться за этим болотом до подхода каких-то гипотетических подкреплений. Однако раньше подходит «Захаров», и дальше стратегия начинает стремительно превращаться в кровь, пот и слезы, в бешеное сопротивление других. Тысячи солдат плетут себе из ивняка эскимосские сетчатые лыжи и на них форсируют болотную топь. Хиттер приказывает своим гренадерам примкнуть штыки и контратаковать. Проходит два дня, и все кончено, амеба расплющена, непобедимая еще два года назад армия превращена в мечущийся по лесу панический сброд. Победители хлеблют суп из брошенных на дороге еще теплых вермахтовских полевых кухонь, берут из ящиков запасенные впрок «железные кресты», ставшие среди солдат своего рода валютой. Стратегическое понятие «Бобруйский котел» в конце концов превращается в сомнамбулическую фигуру немецкого генерала, одиноко бредущего вдоль дороги и что-то бормочущего себе под нос.

У меня в «виллисе» были тогда Илья Эренбург и американский журналист Рестон. Мы остановились и пошли навстречу потерявшемуся генералу. Ни русского, ни английского он не знал, а я забыл свой школьный немецкий. Эренбург кое-как слепил фразу: «Кто вы такой» – и расхохотался, получив ответ: «Я немец, а не блоха!» Почти по Зощенко. Впрочем, остается на совести у Эренбурга, поскольку перевод некому было проверить.

Позднее, когда ужинали в Бобруйске, то есть когда стратегические понятия «Рокоссовский», «Мерецков», «Захаров» превратились в собутыльников Костю, Кирилла, Жору, начали говорить на эту тему, то есть о превращении военных, стратегических, исторических понятий в судьбу отдельного маленького человека, и тут же осеклись, потому что все сообразили, что приблизились к опасному пределу. Могучие маршалы

побаивались касаться острых тем.

Никита вспоминал выходящего из бункера, продрогшего, измученного, явно очень грязного, в нарушение всех имперских традиций, генерал-фельдмаршала фон Паулюса. Клубок распутан, выдергивается последняя ниточка, на грязном снегу Сталинграда остается человек, мечтающий о горячей бане и смене чистого белья.

То же самое могло случиться и со мной при другом повороте событий, как это случилось с Андреем Власовым, когда он потерял свою армию и был загнан со своей Марией Игнатьевной в последний сарай. С каждым историческим деятелем это может случиться. Вообрази себе Сталина, изгнанного из Кремля и бредущего пешком в Гори. А что произойдет в ближайшем будущем с историческим понятием, именуемым «Гитлер»? Немецкие генералы, вроде этого фон дем Боден, из заштрихованных участков карты превращаются в военнопленных, ну, а я из лагерного доходяги с его мучительным «ну-если-еще-значит-еще» превратился в грозное для немецкого генштаба понятие «Градов». Не следует забывать и обратного движения, я никогда не должен забывать трагикомической подоплеку человеческих судеб.

Акт капитуляции соединения фон дем Боден происходил в городском замке Шлоссбурга. Никита обменялся с пленным генералом рукопожатием и даже пригласил его на чай в кабинет бургомистра. Немец не выказывал никакого прусского несгибаемого величия, наоборот, был явно благодарен за прием, словоохотлив, как будто напрашивался на дружбу.

– Вы разбили нас с помощью нашей собственной стратегии глубоких танковых клиньев, концентрации огня и пехотной массы. Оставьте нам хоть это утешение, маршал Градов!

Никита благосклонно кивал, оставлял разбитому врагу хоть это малое утешение, подмечал, с каким явным наслаждением пленный генерал-полковник обсасывает ломтик лимона.

– Маршал Градов, вы не прикажете меня расстрелять, если я задам вам один личный вопрос? – спросил фон дем Боден.

Никита тут же понял, что это будет вопрос о лагере. Разумеется, немцы знали, что я провел четыре года в заключении. Интересный типус этот фон дем Боден, по его вопросу можно уже судить, как он сам будет себя вести в лагере.

В этот как раз момент доложили, что за генералом прибыли представители военной разведки, и двум джентльменам, советскому и нацистскому, пришлось распрощаться. Перед уходом фон дем Боден обвел ясным взглядом стены: прощайте, мол, тевтонские скрижали. На прощанье

Никита отдал ему честь и с удовольствием увидел, что, пока немец шел по анфиладам, все его ребята брали под козырек.

* * *

Вооруженные силы должны держать свое достоинство не только при поражении, но и в разгуле победы. То, что сейчас происходит, это чудовищная деградация армии. И нации! Позор нам всем, русским! Позор нашей цивилизации! За танками мчится толпа мародеров с мешками! И это мы, которые так классно защищались! Агиттреп опять нравственно разлагает народ! Сначала была бдительность и всеобщий донос, сегодня – эта грязная идея неудержимого мщения! Отовсюду, из всех щелей, из газет, из радио, от политруков, лезет на обалдевшего от четырехлетнего грохота бомб солдата эта подлость, и все мы, включая и меня самого, отвечаем за это. Не я ли орал: «Не давать передышки гадам»? Да ведь и нельзя было давать передышку. Однако именно из этой неудержимости и для поддержания оной это и возникло: мстить! Ярость и жажда – жажда! – мщения! Разотрем их всех в пыль! Бей, насилуй, бери трофеи, то есть грабь! И совершенно понятен циничный «социальный заказ». Разнуздать в солдате мародера – значит сделать его бесстрашным, свирепым варваром, значит такой ценой приблизить цель – окончательный разгром дезорганизованного врага. Ну, а если глубже копнуть, то можно увидеть нечто еще более подлое и зловещее, осуществляемое, возможно, бессознательно, но с присущим этой банде точным инстинктом. Впервые за столько лет, после униженной рептильной жизни, наш народ совершил колоссальный нравственный подвиг, обрел новое достоинство. Надо снова превратить его в свиней, замазать всех одним говном; иначе – несдобровать! Ну а если еще глубже, то сколько же еще кругов этого ада нам надлежит пройти, чтобы... Но тут мысли Никиты Градова прерывались коротким приказом маршала Никиты Градова: «Не впадать в метафизику!»

Так или иначе, они несутся за танками и хватают все, что попадется под руку: швейные машинки, радиолы, велосипеды, лампы, шторы, белье, подушки, фарфоровые сервизы, кучи часов, тащат охапками одежду из шкафов, срывают шторы, волокут мебель... Обозы пухнут от этих так называемых «трофеев». Самое же ужасное состоит в том, что они сделали своей дичью женщин и маленьких девочек. «Они наших баб ебли, а теперь мы ихних всех переебем!» Все женщины, не успевшие убежать из Пруссии, теперь передвигаются с растопыренными ногами. Да откуда же у наших

славных «васей теркиных» появляется страсть раздирать ноги и старухам, и крошкам школьницам?

* * *

Третьего дня Никита не выдержал и лично вмешался в этот содом. Случайно до него долетел разговор среди его штабных о том, что некий капитан захватил неподалеку немецкий хутор и творит там такое, что не снилось и Чингисхану. Дикий переполох в штабе: командующий опоясывается ремнем с личным оружием, берет взвод своих «волкодавов» и отправляется на хутор.

На хуторе они застали самый разгар «священной мести». Пьяные вдребезину, капитан и дюжина его прихлебателей, натянув на голые тела женское розовое и голубое белье, скакали по комнатам, как существа обезьяны. Хозяин и два работника-югослава были убиты, когда пытались остановить изнасилование трех малолетних дочерей. Стреляли мужчинам преимущественно в пах, стараясь расквасить половые органы. Девочки, самой старшей было одиннадцать, ползали наверху в лужах крови. Их мать повесилась – или была повешена – в кладовке.

Подтянутый к ногам командующего капитан бессмысленно улыбался и бормотал: «Шмерце, говоришь? Врешь, сучка! Нихт шмерце!»

На следующий день вся теплая компания по приговору полевого суда, то есть просто по приказу маршала, была расстреляна. Приказ о немедленном расстреле за мародерство, связанное с человеческими жертвами, был зачитан во всех частях, батареях и эскадрильях Резервного фронта.

Бесчинства почти немедленно прекратились, и это еще раз показало, с тоской и прискорбием подумал Никита, что не некий мистический огонь мщения жжет солдатские души, а преступное попустительство и даже науськивание сверху.

– На самом высоком уровне – вы понимаете, что я хочу сказать, Никита Борисович? – проявлено понимание справедливой мести, пылающей в груди советского солдата! – почти кричал на маршала начальник политуправления, дослужившийся уже до генерал-лейтенантского чина Стройло.

Узнав о казни мародеров, он вкатился в штаб фронта, пылая не менее справедливым, чем солдатская месть, негодованием. Большая, со слоновьими складками кожи лысая голова, тонкие губы, вечно кривящиеся

в улыбке, которая как бы на последнем уже пределе скрывает накопившуюся обиду, – посмотрела бы сейчас Нинка на того, кто был когда-то ее любимым «героем-пролетарием»!

– Не слишком ли много на себя берете, товарищ маршал?! – кричал он. – Боюсь, что в Ставке Верховного главнокомандующего вас теперь не поймут!

Мужланский рык то и дело срывался в бабью, коммунальную визгливость.

– Пока что прекратите визжать! – со своим коронным леденящим спокойствием произнес маршал. – Иначе я прикажу вас немедленно выставить из штаба!

Стройло тут же сник, снизил сразу на пол-оборота:

– Никита, прости, нервы... я как представил, что парней за каких-то немцев... ведь чуть не до Берлина дошагали...

– Таким скотам нет места среди человеческого рода, – сказал маршал. – Вот моя докладная в Ставку! Попустительствуя разбоем, мы увеличиваем количество собственных жертв! Немцы теперь уже дерутся не за Гитлера, а за свои собственные жизни, им некуда деваться, они защищают своих женщин и детей от прямого уничтожения! Идет массовый откат населения на запад. Вы подумали о послевоенной картине? Вот, ознакомьтесь!

Он протянул Стройло несколько листов машинописи. Еще не ознакомившись, тот уже понял, что Никита опять выиграл. Буржуазная, псевдогуманистическая мораль, весьма странный, согласитесь, атавизм у советского военачальника, завалена здесь массивными булыгами «наших интересов», демонстрируется также зоркий прицел на будущее, а Сталин это любит. Морща лоб и изображая усиленную работу мысли, он начал читать докладную. Он ненавидел Никиту Градова.

Маршал сел за огромный дубовый с резьбой стол шлоссбургского бургомистра. Он не сводил взгляда с фигуры своего главного политического надзирателя. Воплощение всей нынешней высокопоставленной вульгарности. Так и не удалось от него избавиться, несмотря на все усилия. Ясно, что Сам дал добро на его назначение. В принципе, вреда принес не так уж много по причине исключительной тупости. Смешно, но продолжает претендовать на какие-то доверительные отношения, впрочем, все эти комиссаришки нынче лезут к командующим с личной дружбой. Одновременно собирает на меня материал, старается гадить на каждом шагу. Догадывается ли он, что мне все известно, что у меня тут своя «чека» работает? А что, если я его недооцениваю и далеко не

все знаю о его деятельности? От этой мысли маршал поежился.

* * *

Несколько месяцев назад в Вильнюсе со Стройло произошел курьезный случай. Какой-то полковник артиллерии вдруг дал ему на ступеньках штаба оглушительную пощечину. Ничего не сказав, за здорово живешь, вдруг оглушил артиллерийской рукой политического генерала. Сцена получилась комической, ординарцы, стоявшие на ступенях, покатались от хохота, однако полковник был все-таки задержан.

– Ты рехнулся, Вадим, – сказал полковнику маршал, зайдя в кутузку. – Не понимаешь, чем тебе это грозит? За что ты так его?

– Он знает, – ответил Вуйнович, спокойно покуривая у окна.

Экая все-таки романтическая фигура, и отвечает в духе «героя ее романа». Никита знал, что может спасти Вадима, и потому позволял себе немного поехидничать. Он отправил его с личным письмом к командующему Четвертым Украинским фронтом Толбухину, так что сейчас Вадим землю своих предков освобождает, Югославию. Что касается пострадавшего начальника политуправления, то он, разумеется, не знал причины неожиданного оскорбления. Вадим преувеличивал, не мог же столь заслуженный чекист запомнить всех, кого допрашивали в его присутствии. И на наказании бешеного полковника не настаивал. При всей профессиональной низости мужик он был, что называется, не злой.

* * *

– Я понимаю твои доводы, Никита, – сказал Стройло, возвращая докладную, – однако и наших солдат можно понять, согласись! Подумай только, что натворили эти немцы на нашей земле, да и везде. Ты же сам – помнишь? – места не мог найти, зубами, помню, скрежетал, когда мы увидели все это дело в Майданеке. Миллион пар обуви задушенных газом, сожженных людей...

– Конечно, нацистская сволочь заслуживает мщения, – сказал Никита. У него возникло ощущение, что внутри начинают подрагивать трахея, бронхи, диафрагма... – Всех преступников надо судить, казнить, однако гражданское население-то тут при чем? Большинство из них вообще не знало о лагерях смерти. Наши люди ведь тоже далеко не все знают...

Проговорился. Почти проговорился. Стройло, как бы давая ему время зажевать почти сказанное, отошел к окну.

Ну, ясно. Хорошее, очень хорошее дополнение к накопленному материалу, думал Никита, вышагивая взад-вперед по дорожке красного утрамбованного песка вдоль берега муниципального пруда брошенного жителями городка Шлоссбург, вышагивая что твой Фридрих Прусский, и даже два пальца за отворотом мундира, на фоне башен городского замка, то есть, с точки зрения недавно приводнившихся заморских гусей, и на фоне пламенеющей готики собора, если смотреть из замка, то есть из стрельчатого окна, в котором, чуть отодвинув штору, стоит начальник политуправления Стройло, и на фоне большого среднеевропейского заката, если смотреть со всех сторон, и даже с запада, потому что закатные лучи зажгли кресты и купола на востоке. Стоит великим другом и вождем, с точки зрения совершенно уже обалдевшего от преданности пса по имени Полк.

Маршал был в очень дурном, взвинченном по кривой резьбе состоянии духа. Казалось бы, конец войне, ликуй, готовься к окончательному ликованию победы, однако все вызывает беспокойство и раздражение: положение в войсках, настроение в верхах, личные дела. Наметившиеся было новые, гармоничные, по-настоящему дружеские отношения с Вероникой пошли наперекос сразу же после бегства Бориса I V. Законная супруга бомбит его письмами, радиogramмами, при встречах закатывает отвратительные истерики, припоминает все грехи, обвиняет в черствости, равнодушии к сыну, врывается вдруг с выкатившимися глазами, с устремленным прямо в лицо, в межглазье карающим пальцем: «Ты страшный человек!»

Чего она хочет? Чтобы я поднял на ноги всю разведку и госбезопасность для поисков восемнадцатилетнего пацана? Да я ведь и сам в его возрасте, никого не предупредив, ушел из дома, прибил к Фрунзе. Ясно, что он на фронте, но где его найдешь среди двадцатимиллионной массы? Я уже обращался ко всем командующим фронтам, и все обещали искать, а значит, поиски идут – к просьбе Градова не могут отнестись несерьезно, – однако пока безрезультатно. Она воображает, что он мне меньше дорог, чем ей, мой мальчик, мой Борька Четвертый, о котором я думаю всегда с такой щемящей нежностью и жалостью и чувством вины, которое он бы мне никогда не простил. Что же поделаешь, если он захотел вписать эту войну в свою биографию? Она ничего не слышит, ходит на всеобщее посмешище по инстанциям, обращается к этому кузену, подозрительному Ламадзе, даже к Стройло. А этот гад приходит и

предъявляет: твоя жена, Никита, встречается с американцем из посольства.

Как она переменилась за время нашего обоюдного отсутствия! Лагерь уже не отмывается от нее. Должно быть, там научилась накачивать себя, выдавать «психовку». Однажды провизжала: «Ты только о ней сейчас думаешь, о пизде!» Вика, нежная девушка из волошинского Крыма, из современных домов Москвы! На этом все коммуникации были прерваны.

И та, кого она так называла, столь однозначно, так по-блатному, Таська, верная спутница, которая до сих пор даже в постели называет меня на «вы», тоже стала мрачнеть, грузнеть: «Вы меня ни капельки не цените, Никита Борисович! Ни разу не взяли с собой на самолете в Москву!» В довершение ко всем этим прелестям, невзирая на все меры предосторожности, она забеременела.

* * *

Стройло в щелку шторы смотрел, как командующий отламывает от аккуратной яблони прутик, как машинально посвистывает этим прутиком вокруг себя, будто чертей отгоняет, как садится на камень у самой воды и сечет прутиком эту ни в чем не повинную воду. Градовы, тонкая кость, наглая аристократия, почему это вы всегда чувствуете себя героями романа, а нас, Стройло, всю мою семью, отодвигают на периферию? Теперь, кажется, приближается новая переоценка ценностей. Он думает, что я не знаю, кто был тот обидчик с пощечиной, и где он сейчас, и какая во всем этом лежит ползучая антисоветчина. Жалко, на Украине идиоты расстреляли того пацана: он мог быть полезен.

* * *

Стемнело. На мальчишеской спине маршала перестали выпирать лопатки. Сидевший рядом Полк потрогал лапой его плечо: пора! Сзади приблизились три массивных фигуры в плащ-палатках, личная охрана. Стройло собирает на меня информацию, думал маршал. Он готовит докладную записку, это ясно. Также очевидно, что кто-то его подталкивает на это дело в Москве, возможно, сам Берия. Легко себе представить пункты повестки дня: Градов противопоставляет себя линии партии, ищет дешевой популярности в войсках, превратил Резервный фронт в свою личную вотчину, окружил себя своими людьми и подхалимами, содержит гарем,

обогащается (гарем, может быть, докажут, обогащение вряд ли, но это не важно: будет решение сожрать, сожрут в один миг, пуговиц не выплюнут); ну, что еще, если этого недостаточно, ну, вот – постоянно высказывает сомнительные мысли, проводя параллели между германским фашизмом и советским коммунизмом, применяет политику террора по отношению к заслуженным военнослужащим... Ну и, наконец, польский вопрос...

* * *

Ну и, наконец, самое главное – «польский вопрос», завершил свою собственную затянувшуюся мысль генерал-лейтенант Стройло. В итоге, товарищи, можно сделать вывод, что маршал Градов ищет личной популярности на Западе и имеет бонапартистские тенденции. Ему конец. Или мне конец.

Стройло отошел от окна, не зная, что кто-то через парк из маленького окошечка собора держал его все это время под прицелом бинокля.

Ну и, наконец, этот проклятый «польский вопрос». Этот проклятый вопрос, вообще тема Польши стали для Никиты едва ли не кошмаром сродни тем его, юношеским, кронштадтским снам. Еще в Белоруссии, в Катынском лесу, когда он увидел черепа с одинаковыми дырочками в затылках, он понял, что немцы в данном случае не врут, что это все тех же «рыцарей революции» мокрое дело.

Затем, после сражения за Вильнюс, в котором как союзники дрались вместе с советскими войсками отряды АК, все прекрасно экипированные, в конфедератках и маскхалатах, настоящая регулярная армия... Первое позорное дело, подлое предательство! Мы сидели с польскими командирами за дружеским столом, а потом их всех куда-то увезли особисты, и они пропали – с концами!

«Таракан», похоже, давно уже разработал свой сценарий для Польши. Недаром однажды в Ставке положил здоровую лапу на карту, закрыв бугром ладони Варшаву, пальцами Краков и Данциг, и произнес одно только слово: «Золото!»

Недаром и создавалось позорное Войско Польское, куда набирали солдат с фамилиями на «ский». И далее: июль сорок четвертого, воззвание Польского комитета национального освобождения во главе с этим Осубко-Моравским. Главная идея – противопоставить какие-то мифические польские силы правительству Миколайчика в Лондоне. А между тем в коммунистических отрядах Армии Людовой было не больше 500 человек.

Что касается АК, то в ней под командой генерала Бур-Комаровского насчитывалось не менее 380 тысяч штыков. В Варшаве только полковник Монтер к началу восстания выставил 40 тысяч бойцов! Ясно как Божий день: решено раскассировать настоящее движение сопротивления и заменить его фальшивым, коммунистическим. Идет череда непрерывных провокаций. Московское радио «Тадеуш Костюшко» призывает варшавян к восстанию: «Час освобождения близок! Поляки, к оружию! Не теряйте момента!» В августе восстание разгорается, а наши войска останавливаются на восточном берегу Вислы и спокойно наблюдают, как в город входит дивизия «Герман Геринг», а вслед за ней какие-то особые части, составленные почти целиком из уголовников, бригады Дирлевангера и Камински. Мы созерцаем, как гигантские мортиры начинают планомерное уничтожение города, танкетки «Голиаф» разворачивают баррикады, как идут поголовные расстрелы мирных жителей, насилие, грабежи...

В штабе Резервного фронта по приказу Никиты несколько молодых офицеров, интеллигентные мальчишки, давно уже слушали передачи Би-Би-Си и подготавливали ежедневную сводку для командующего. Строило небось и этот факт не забудет упомянуть в своей докладной. Так или иначе, из этих сводок Никита знал, что восстание задыхается, что Черчилль и Миколайчик обращаются к Сталину с просьбой о помощи и не получают ответа. Части Резервного фронта стояли за двести километров к северо-востоку от места трагедии. Никита звонил в Ставку. Достаточно только приказа, и Резервный фронт форсирует Вислу, обрушится с севера всей своей мощью на Бах-Залевского и в течение трех дней освободит столицу союзной державы. Штеменко ответил ему излюбленной советской поговоркой: «Попэред батьки в пэкло нэ лезь!» Как оказалось, Сталин вообще делает вид, что в Варшаве нет никакого восстания. Может быть, там и есть какая-то кучка авантюристов, но это не значит, что мы должны оказывать им помощь. Он приказал даже прекратить дозаправку американских челночных бомбардировщиков в Полтаве, в связи с тем что они сбрасывали на Варшаву парашюты с оружием и медикаментами.

И снова: сразу после поражения восстания обосновавшийся в Люблине Польский комитет национального освобождения опять выступает с каким-то странным призывом: «Час освобождения героической Варшавы близок! Немцы дорого заплатят за руины и кровь! Продолжайте сражаться!» Такое впечатление, что Сталин хочет руками немцев убрать всех, кто будет сопротивляться его польскому сценарию.

Победы сильно изменили «Таракана». Теперь он уже не особенно

прислушивался к своим генералам, как в сорок втором году. Сумрачное величие, ощущение полной и окончательной непогрешимости – вот его новая поза. Временами, когда выпьет, начинает играть с людьми, ставить окружающих в дурацкие ситуации, испытывать. Станным образом иногда кажется, что он устал от власти. Вернее, от эстетики и этики, что сложились вокруг его власти. Этика сталинской власти! Следовало бы сказать – грязный этикет! Так или иначе, в трезвом состоянии он раздражен и груб. Шестьдесят пять лет. Может быть, его какая-нибудь болячка сосет? Сколько он проживет, сто лет, двести?

В феврале маршал Градов как член группы военных экспертов летал в Крым на совещание Большой Тройки. На аэродроме в Саки вместе с союзническим top brass^[18] встречал Рузвельта. Президента выкатили из «священной коровы» бледным, с темными подглазьями, что называется, не жилец. Среди военных и журналистов в Ялте ходили разговоры, что Сталин совсем перестал считаться с больным американцем. Даже и на здорового британца рычит. Предъявляет наглейшие требования. Настаивает, например, на том, чтобы Советский Союз был представлен в ООН шестнадцатью делегациями, по числу союзных республик. Самую же неудержимую и непреклонную наглость выказывает всякий раз по «польскому вопросу». Видимо, потому, что давно уже считает Польшу своей собственностью. Выказывает самое оскорбительное презрение к «эмигрантикам», к Станиславу Миколайчику, бойцов Армии Крайовой называет пособниками оккупантов, отвергая любые компромиссы, робко предложенные Рузвельтом.

Ну а сейчас похоже на то, думал Никита, что приближается уже полнейшее сталинское изнасилование Польши. Комитеты лондонского правительства повсюду разгоняются. Шуруют особисты. Разоружаются группировки АК. Оставшимся не остается другого выбора, как драться против отступающих немцев и наступающих русских.

Черт побери, почему я опять оказался на берегах этого предательского моря? Опять передо мной страшный выбор, и теперь мне уже не найти такого однозначного решения, как в двадцать первом году!

* * *

В ходе недавнего наступления через Данцигский коридор в зоне действий Резервного фронта оказалась дивизия АК. Ее разрозненные и сильно выбитые части – в общей сложности не больше 3000 бойцов, –

очевидно, пробирались к морю, чтобы уйти в нейтральную Швецию. Обнаружив себя в советском тылу, поляки яростно атаковали вчерашних союзников. Ставка в ответ на запрос Никиты предложила решить этот вопрос «в рабочем порядке», то есть смять злополучную дивизию и немедленно о ней забыть. Вместо этого Никита начал переговоры с поляками.

Поляки требовали свободного прохода на побережье в районе Эльбинга и Остероде. Там, за пятимильной ширины лагуной Фрише-Хафф тянулась длинная песчаная коса Фрише-Нерунг, оттуда они и собирались отступить – как они выражались, эвакуироваться, – как настаивали представители Резервного фронта, в нейтральную страну.

Больше всего на свете – даже, кажется, больше взятия Берлина – Никита хотел обойтись без крови. Польская тема почему-то потрясала его своим вероломством и наглым давлением сильных на слабых, хотя, казалось, с его жизненным опытом он должен был бы быть застрахован от таких сентиментальностей. Польша – это русский позор, думал он. Начиная с Суворова – вот был гнуснейший старичок! – мы терзаем эту страну. Впрочем, кого мы больше терзаем, себя или их? Русские патриоты, мы еще не начали своей благородной истории! У нас только сейчас появился маленький шанс, и мы будем полными говнюками, если им не воспользуемся. Произнося в уме «маленький шанс», он тут же отодвигал, и подальше, всякие дальнейшие мысли об этом маленьком шансе: рано еще, нужно кончить войну. В общем-то он даже и не знал, что имеет в виду, говоря «маленький шанс». Вернее, не хотел знать. Пока не хотел.

Переговоры с поляками шли уже несколько дней. Ставка настаивала на разоружении дивизии и старалась обходить молчанием свободный выход к морю. Никита предложил полковнику Вигору (это, разумеется, была подпольная кличка поляка, настоящее имя держалось в секрете) свободный проход на Фрише-Нерунг, но без оружия. Вигор поначалу категорически отверг это предложение как унижительное: «Польская армия отступает с оружием в руках!» Он держался как гордый шляхтич, но был похож на учителя черчения. «Сохраните своих людей, полковник, – сказал ему тихо Никита, когда они отошли, разумеется, под бдительным оком Стройло, покурить к окну. – Еще два-три дня, и мне просто прикажут вас всех уничтожить». После этого пришли к соглашению: дивизия оставляет вооружение в распоряжении Резервного фронта, однако офицеры сохраняют личное оружие. Дивизии гарантируется свободная эвакуация (в русском тексте), то есть отступление (в польском тексте), через Балтийское море в нейтральную страну. Проход поляков к морю был назначен на

завтра, то есть на утро после той ночи, начало которой застало нас вместе с маршалом Градовым на берегу муниципального пруда в пустынном, как театральная декорация, прусском городке Шлоссбурге.

Гуси уже плавали по пруду – деловито, как хозяева. Иные из них приближались глянуть круглым оком на человека, бессмысленно тревожащего веточкой водную поверхность, и на его зверя по кличке Полк.

«Существование равняется сопротивлению, – бормотал Никита. – Вот это формула. Она может выворачиваться наоборот, однако никто не ответит тебе прямо: равняется ли сопротивление существованию?»

* * *

Может показаться странным или даже надуманным, но пропавший сын маршала Градова Борис IV был в тот вечер тоже озабочен «польским вопросом». Собственно говоря, «польский вопрос» заботил его давно, поскольку он уже целый год находился на территории этого государства, столь неудачно расположенного между Германией и Россией, однако именно в тот сумеречный час, когда его отец предавался нелегким мыслям на берегу пруда в Шлоссбурге, Борис, или Бабочка, как звала его бабушка Мэри, подошел к этому вопросу, в который уже раз, с исключительной остротой.

Произошло это в городе Тельцы Краковского воеводства. В восемь часов вечера на Рыночной площади, где под сильным юго-западным ветром раскачивались три уцелевших фонаря и где инвалид неизвестно каких войск пан Талуба играл на гармошке «Вальс Гнойной улицы», сидя под выщербленной рикошетками стеной со знаком «Готвицы», то есть аковского якоря, там, на этой площади, вобравшей в себя, казалось, все худосочие измороженной Центральной Европы, появилась шестерка молодых людей. Предварительно эта компания оставила за торговыми рядами четыре мощных немецких мотоцикла.

Парни были одеты в черные дождевики и кепки-восьмиклинки со значками АК, наспех приколотыми булавками. В одном из них не без труда можно было узнать нашего Бабочку. Твердыня юношеской челюсти поросла слегка рыжеватой, «папашинной», щетиной. Быстрыми шагами парни пересекли площадь и приблизились к зданию ратуши. Там горели все огни, на крыльце царило оживление. Народ входил и выходил, собирался в не совсем трезвые кучки дискутантов. Шло первое заседание многопартийного зажонта мейски. Здание охранял отряд бойцов из леса.

Появление шестерки не осталось незамеченным. «Чешчь, хлопаки, – окликнул один из охранников. – Вы откуда?» – «Ма мы лист от генерала Бура, – ответил вожак шестерки. – Особишче для пана Ветушинского!»

Охранник махнул было рукой «проходи», но потом застыл с открытым ртом. Какой странный акцент! Пся крев, то не наши! «Марек! – крикнул он другому охраннику, тому, что стоял чуть выше по ступеням. – Эти, в плащах... Эй, стой!.. Курвы сын! Эй!..»

Это было последнее «Эй!» в его жизни. Из-под плаща одного из «не наших» сделал несколько горячих плевков ствол короткого автомата. Шестерка мгновенно, будто не раз репетировала, рассыпалась по зданию ратуши. Двое, присев за парадной лестницей, встретили выбежавших охранников кинжальным огнем. Двое ринулись вверх по этой лестнице в зал заседаний. Почти мгновенно оттуда стали доноситься взрывы гранат, дикие вопли публики. Оставшиеся двое деловито носились по вестибюлю, окатывали бархатные шторы бензином из принесенных под плащами канистр, вздувая и раздувая всепожирающее пламя.

Весь налет продолжался не более десяти минут, но за это время были перебиты все сидевшие на сцене члены зажонта, вся охрана и немалое число подвернувшейся под пули и гранаты публики.

Кто-то слышал, как переговаривались налетчики, и теперь уже под сводами ратуши среди воплей ужаса и отчаяния несло: «Русске! Русске нас мордую! Русске бандиты!»

«Уходим!» – крикнул наконец командир отряда Станислав Трубченко. Все как по нотам: четверо бегут, двое прикрывают огнем, потом двое других стреляют, а четверо бегут. Все, как доктор прописал.

Снова двое из шестерки, наш Бабочка и еще один, из-за угла торговых рядов окатывают плиты площади стальной поливкой. Пан Талуба хрипит на боку, гармонь пробита. Четверо за рядами заводят мотоциклы.

Взревели моторы. Борис прыгнул за спину Трубченко. Напарника его, Сережку Красовицкого, привязывали ремнем к седлу: зацепила руку парню белопольская пуля. Вырвались из-за рядов, пошли в отрыв, стреляя из «шмайссеров» и «вальтеров», расшвыривая гранаты. Колесница огня! Все в порядке, задание выполнено. Перехват на дороге вряд ли возможен: телефонный щит разбит перед самым началом операции.

Теперь они мчались под луной, словно мирная компания. Только девчонок не хватает. На всякий случай, чтобы под огонь своих не попасть, меняем кепари на родные советские пилоточки. Кого тут сейчас в Польше встретишь на дорогах, никогда не знаешь: Крайову, Людову, Красной Армии регулярную часть, а то и на фрица шального наскочишь или вот на

такой отрядик, как наш собственный, как говорится, не приведи Господь!

Пока что они мчались, как в мирном сне. Мелькали пятна озер, озаренные луной верхушки леса, подъемы и спуски, склоны со спящими хуторами, костелы. Бурно, по-юношески, взлетали на серебрящиеся бугры первоклассные мотоциклы. Изредка шлепалась на асфальт плюха крови Сережи Красовицкого.

Проехав километров шестьдесят по шоссе, они свернули в разбойничий лес. Только тут, под нависшими крыльями елей, Борис остыл от жара битвы. Курва-мать, какая, на хуй, битва, бандитский налет на ратушу. Знал бы, что нас на Польшу готовят, никогда бы не пошел в «диверсионку»! С первого же дня тогда в Москве они удивлялись с Александром Шереметьевым: а почему, интересно, нам больше дают польского языка, чем немецкого? Им объясняли: на территории союзной Польши действуют многочисленные вооруженные немцами отряды реакционеров; до подхода частей Красной Армии вам придется обеспечивать охрану прогрессивных деятелей Польской республики, мирного населения, действовать в контакте с силами сопротивления; вот зачем вам понадобится элементарное знание польского языка; итак, повторим: руки вверх! клади оружие! ложись на землю!

Если бы мы знали тогда с Сашей, что тут в этой Польше на самом деле происходит, как тут на самом-то деле население ненавидит все советское и что тут нам придется делать, никогда бы не пошли в это училище, лучше бы в Мурманское водолазное записались. А теперь я даже не знаю, что произошло с моим лучшим другом, чемпионом Москвы среди юношей Александром Шереметьевым. И мне даже не отвечают на вопросы о его судьбе. «Забыли, Градов? До конца войны никаких дополнительных вопросов не задавать!»

* * *

Сначала, весной 1944 года, ребятам казалось, что они не на грешную землю спустились, а поднялись с парашютами на седьмое небо. Все было так классно! В отряде пятьдесят человек разных возрастов: опытнейшие тридцатилетние парни, подрывники, скалолазы, самбисты и ребяташки Бориного с Сашей плана, координированная молодежь. И дело вроде делали полезное: пускали под откос немецкие составы, нападали на станции и аэродромы, взрывали склады боеприпасов. А вот потом пошло все наперекос, начал воцаряться какой-то хаос. Чем ближе к

освобождению, тем больше все запутывалось в «польском вопросе». Не всегда можно было понять, на чьей стороне правда. Тем не менее выполняли задания, как положено, без дополнительных вопросов. Все чаще происходили столкновения с АК. Народ там был смелый, злой, однако, конечно, не так хорошо подготовленный, как выпускники «диверсионки».

«Как вы видите, товарищи, они нас очень не любят», – говорил бойцам политрук, который в отряде по совместительству исполнял обязанности повара.

«А за что им нас любить, – тихо говорил Александр Борису. – Достаточно вспомнить некоторые моменты истории...»

Так или иначе, сражались и дополнительных вопросов не задавали. Прежнего вдохновения уже не наблюдалось. Иногда в отряде даже возникало препаршивейшее, пше прашам, настроение, особенно когда приходилось по политическим или тактическим соображениям ликвидировать пленных или убирать каких-то не вполне опознанных штатских лиц.

* * *

Однажды вообще вляпались в настоящее мерзейшее говно. Сидели в засаде, задача была – перехватить парашютный десант. Чей десант? Ну ясно чей – немецкий! Последние судороги смертельно раненой гадины. Десант Himmelfahrtkommando^[19]; вот их-то и надо будет отправить на небо!

В результате получилась полнейшая несуразица. Над лесной поляной мрачайшей ночью сделал несколько кругов самолет без опознавательных знаков. Потом стали один за другим опускаться парашютисты, всего десять человек. Подвесили осветительные ракеты, всех перебили, одного за другим. Оказались мужики не немцами, а англичанами, то есть, выходит, к АК на связь шли. Понимаете, хлопцы, какая провокация? Нет, не понимаем, товарищ капитан. Как же можно на союзников по антигитлеровской коалиции нападать? Молчать, хуи моржовые! Эти парашютисты стали жертвой провокации, многоходовой провокации реакционных сил Польши. Понятно? И дополнительных вопросов не задавать!

– Вам не кажется, Борис, что вся эта хуйня не совсем то, о чем мы с вами мечтали? – однажды спросил Александр Шереметьев. Они были по-прежнему на «вы».

Однажды, к концу лета сорок четвертого, произошло нечто на самом деле вдохновляющее, историческое. Они уже знали, что в Варшаве кипит восстание, что там их сверстники, в том числе и красивые польские девчонки, сидят на баррикадах, отражают атаки эсэсовских дивизий. И вдруг им объявляют, что ночью они вылетают и будут сброшены на Варшаву. Общая цель – помощь героическим защитникам города, конкретная цель будет объявлена на месте. «Ура!» – вдруг возопили в один голос Сашка Шереметьев и Борька Градов. Десантники от неожиданности захохотали, а командир и повар переглянулись.

– Что это значит, «ура»? – спросил позже капитан Смугляный.

– Ну, вообще, – ответил Александр.

– Ну, как-то вообще, товарищ капитан, – сказал доверительно Борис.

– Вас что, на самом деле в самое пекло тянет? – спросил Смугляный.

– Так точно, товарищ капитан, – еще доверительнее сказал Борис. – Мы как лермонтовский парус. Вы согласны, Александр?

– А какого хера вы друг друга на «вы» называете? – спросил Смугляный.

– Да просто потому, что мы с ним еще на брудершафт не пили, – пояснил Александр.

Этих парней, по-моему, плохо проверили, подумал капитан Смугляный. В спешке их, должно быть, проверили не должным образом.

Ну, все-таки трудно не воскликнуть «ура», если тебе объявляют, что завтра ты примешь участие в Варшавском восстании, в одном из ключевых событий Второй мировой войны, будешь вместе драться со всеми свободолюбивыми народами мира! Не за немцев же нас посылают драться!

Утром на тайный аэродром прилетели два «дугласа» с Большой земли, а к вечеру стали грузиться.

– Варшава горит, – предупредил командир. – Смотрите, пацаны, не зажарьтесь!

Через полтора часа после вылета они уже увидели под собой во мраке нечто, напоминающее извержение японского вулкана, которое до войны показывали в кинохронике. Текли ручейки огня, то там то сям вспыхивали

и опадали кусты огня, прокатывались шары огня. Сквозь клочья дыма, мрачно озаренные, возникали пустые дыры окон.

Высаживаться решено было на Краковском предместье. Главная задача – собраться вместе всем, кто уцелеет. В нашем распоряжении три рации. Держитесь поближе к радистам. Используйте сигнальные фонарики, в крайнем случае нашу комбинацию ракет. Ну, пошли, хуи моржовые!

Очень быстро, по одному, они начали выпрыгивать в красноватую адскую бездну. Борис приземлился с удивительной гладкостью, пролетев вплотную мимо зияющих развалин с опасно торчащими железными балками. Он быстро отстегнул и свернул парашют, снял автомат с предохранителя, стал пробираться вдоль стен, оглядываясь. За переплетами сгоревших крыш совсем неподалеку прошли вниз два парашютных купола. Значит, ребята садятся кучно. К счастью, ветра нет, не относит. Однако жарко тут, как в преисподней. И запах гнили – разлагаются трупы то ли поляков, то ли немцев. Вон они разбросаны вокруг, кучки тел. Перевернутый автобус, мешки с песком, еще дымящийся бронированный «слон»: остатки баррикадного боя. Стоит странная тишина, если не считать треска пожарищ. Он побежал туда, где по его расчетам приземлились два парашютиста, периодически прижимаясь к стенам, прокатываясь и переползая через пустые места. Вдруг страшный, долгий и множественный грохот прошел по округе. То ли дом рухнул, то ли минометная батарея разрядила стволы. Он завернул за угол и увидел над собой зрелище, которого, как говорили в отряде, Гиммлеру не пожелаешь. Горели опавшие, как скатерти после пьянки, два парашюта. На третьем этаже поджаривался пробитый насквозь голыми прутьями балкона один из бойцов их отряда. Равиль Шарафутдинов. Он, кажется, был уже мертв или без сознания. Чуть выше, запутавшийся в стропях, вниз головой свисал из дыры окна Александр Шереметьев. Правая его нога была чем-то заклинена, он на ней и висел, на своей правой ноге.

– Сашка, вы живы? – крикнул вверх Борис. – Держитесь, еб вашу мать, сейчас я вас вытащу!

Он побежал вверх по лестнице, проскакивая через площадки, охваченные огнем, и слыша, как позади обрушиваются ступени.

С шереметьевской ногой, похоже, было покончено: придавлена стальной балкой и остатками какой-то каменной наяды. Борису удалось при помощи парашютных строп втащить Александра в окно. Тот был без сознания. Улыбка какого-то высокомерного превосходства застыла на лице. Теперь надо было вытаскивать ногу, не отсекая же ее штыком-тесаком. Расшвырвав куски наяды – грудь с соском, венки с виноградом, прочее, –

Борис взялся за балку. Нечего было и думать о том, чтобы хоть чуточку приподнять пятидесятиметровый ржавый брус. Единственный выход – подорвать на полпути, уменьшить вес и длину тормозящего рычага. Отбежав в конец бывшей квартиры – в пробоины увидел раскинувшуюся на полу старую пани, рядом с ней расколотую фаянсовую фигурку альпийского пастушка, – Борис заложил заряд, укоротил взрывной шнур, поджег, бросился назад, упал на тело Сашки, зашептал: «Господи Боже, правый и милосердный, спаси нас» – то, что слышал не раз от Агаши. Взрыв грохнул, все вокруг протряслось и затихло. Послышался страшный рык Александра Шереметьева. Ошметки его правой ноги теперь тряслись в воздухе. Стальная балка откатилась в сторону.

Рык перешел в истерический хохот: «Борька, жопа, вы жизнь мне спасли, а на хуя?! А видели вы, как Равилька-то Шарафутдинов поджаривается? Ну, прямо шашлык! Ха-ха-ха-ха-ха-ха...»

Совершенно невредимый, но трясущийся, как отбойный молоток, Борис потащил друга вниз. Перетягивал через провалы лестницы. Шереметьев то впадал в прострацию, то начинал вопить: «У вас что, пули нет для друга, пули экономите?» – и тогда начинал бешено хохотать. Наконец, достигнув первого этажа, Борис взвалил друга на плечи и отбежал на середину улицы. Вовремя – вся стена дома вместе с висящим на балконе телом Шарафутдинова медленно и торжественно обвалилась.

В следующий момент он увидел бегущих к нему своих, весь сплотившийся заново отряд. С ними вместе бежали уже какие-то поляки. Эти последние вытащили из-под камней носилки, положили на них Шереметьева. Размочаленную ногу перетянули под пах парашютной стропой. Сделали укол морфина из десантной аптечки. Побежали дальше; автоматы наизготовку. Поляки вели.

По дороге командир ознакомил группу с основным заданием. К разочарованию Бориса и других парашютистов, это был не налет на штаб-квартиру немецких карателей, не захват Бах-Залевского, а всего лишь спасение какого-то важного польского коммуниста, генерала Армии Людовой Стыхарьского, эвакуация его из опасной зоны.

Парашютисты бежали за польскими проводниками, среди которых, кажется, была одна женщина в комбинезоне, временами занимали боевую позицию и простреливали подозрительную улицу. В частности, изрешетили пулями и подорвали гранатой немецкий фургон с антенной перехвата. Затем все нырнули в катакомбы развалин, ушли в подземелье и неожиданно выскочили в освещенный электричеством подвал, где на стене мирно, что в твоём красном уголке, посиживал в рамочке В.И. Ленин с газетой. Там уже

Стыхарьский и сопровождающие лица в сильном волнении ждали отправки. При виде сталинской гвардии сразу повеселели: «Спасибо, товарищи! Мы знали, что братья по классу нас не забудут!»

Через вонючий люк вся группа спустилась в сточный канал. Битый час брели по щиколотку в жидком дерьме. Вдруг вышли к решетке, а за ней мирный мир, восток: купы деревьев, река в отдалении течет, и только зарево оставленного позади города в ней отражается. Решетку взорвали, вышли на волю. Весь остаток ночи пробирались к Висле. Грохот боя в Старом Мясте стал глуше. Несколько раз видели из кустов деловито катящиеся по дорогам немецкие колонны, однако обошлось без столкновений. На рассвете вышли точно в назначенную точку. Там ждали моторки. Борис с автоматом в руках стоял по пояс в воде, повернувшись лицом к городу. Хотя бы говно с ног смоем быстро текущая Висла. Рядом с ним стояла девка в комбинезоне. Красивое мрачное лицо. «Ну, а ты чего? – сказал он ей. – Полежай в лодку!» Она не поворачивалась. «Ну!» – сказал он. Тогда она повернулась к нему. «Это ты иди в лодку! – шепотом закричала ему в лицо. В глазах слезы, а рот искривлен презрением. – Русские предатели! Мы в вас верили, а вы только смотрите, как нас убивают! Иди! А я туда пойду, где все мои умирают!» – и побрела к берегу.

«Градов!» – свирепым голосом позвал командир. Борис бросил автомат в лодку и вскарабкался сам. Через несколько минут они достигли восточного берега, где стояла в бездействии могучая армия. Там царила идиллия. Двое артиллерийских ездовых, будто в ночном, обмывали в заводи упряжку своих коней.

* * *

«Убийцы, предатели, захватчики» – только это мы и слышим от здешнего народа, думал Борис I V, медленно на глухо ворчащем мотоцикле подъезжая к тайной базе отряда. Даже та, коммунистка из Армии Людовой, предпочла на баррикады вернуться, чем с нами и со своим Стыхарьским тикать. Что-то мы не то здесь делаем, что-то неправильное. Сашка был прав, мы не о такой войне мечтали. Выжил ли он? Ни слуху ни духу, вопросов задавать нельзя. Отправили в тыл, а нас снова за линию фронта забросили, мы – не люди, а тени, согласно инструкции. Письма домой писать запрещается. У вас нет дома, кроме отряда, и мамыши, кроме вашего папаши, командира, ясно?

Из училища он все-таки умудрялся посылать треугольнички, каждый

раз начинавшиеся так: «Дорогая мамочка! Я нахожусь на N-ском участке фронта. Жив, здоров, обут, одет, согласно солдатской формуле. Это письмо бросит в московский почтовый ящик один мой товарищ, находящийся в командировке проездом через Москву...» Он временами остро скучал по матери, но не по той, что вернулась из мест не столь отдаленных. Препятствия мать, молодая красавица, что шутливо хватала Бобку Четвертого то за вихор, то за ухо, тормошила его, тискала чуть ли не до двенадцати лет, вот она возникала в памяти как символ тепла, дома, детства, а потом, после черного разрыва, сразу появлялась другая, не совсем своя. Нынешнюю Веронику он жалел, однако как бы со стороны; она не входила в жизнь сосредоточенного юнца. Он понимал, что у них неладно с отцом, однако и отец ведь вернулся другим, да и вообще, какое нашему поколению дело до всяких плачевных драм в мире немолодых?

Лишь только тогда его пронизывало глубокое, почти прожигающее до какого-то темного основания, почти невыносимое, но непонятное чувство, когда он видел по утрам проходящего из маминой спальни в ванную Шевчука в галифе с висящими по бокам подтяжками.

Может, я от этого и убежал? – иногда задавал он себе вопрос. От ее похмельного вида и циничной улыбочки?

Проехали первый КП отряда. Акульев и Рысс вышли из дупла дуба словно два шурале. На втором КП Верещагин и Досаев свисали с ветвей, как два питона в маскхалатах. Наконец открылась потаенная поляна и на ней двухэтажное шале, в котором уже вторую неделю располагалась база. Здание выглядело заброшенным и абсолютно аварийным, внутри, однако, все было, как положено; даже «ленинский уголок» с соответствующей литературкой, чтоб подзаправить агитбаки усилиями капитана Смугляного.

Вышел командир, жилистый сорокалетний Волк Дремучий. Поздравил шестерку с выполнением задания (ему уже кто-то «соответствующий» радировал, что все прошло чин чинарем), распорядился об оказании первой помощи Сереже Красовицкому, радистам приказал снести с «соответствующими» по поводу переправки раненого в ближайший дивизионный госпиталь. «А ты, Градов Борис, зайди ко мне после ужина», – вдруг сказал он и отправился к себе на мансарду, где в свободное время любил заниматься с бесконечными картами: большой был любитель топографических игр.

Что бы это значило? Может, про Сашку Шереметьева что-то хочет сообщить нехорошее? Стряпня Смугляного всегда носила несколько тошнотворный характер, а сейчас Борису в глотку не полезла. Быстро выпил кофе с печеньем, с трофейным конфитюром, пробухал бутсами на

чердак:

– Прибыл по вашему приказанию, товарищ майор!

Майор Гроздев (он знал, что подчиненные называют его Волк Дремучий, и это ему нравилось) сидел за столом, как будто ждал Бориса.

– Садись, друг! Некуда садиться? Да садись на койку, пенёк с ушами! Ну, во-первых, разреши тебя поздравить. За сегодняшнюю операцию будете все представлены к ордену Красной Звезды, и по звездочке на погоны. Кроме того, за Варшаву польское правительство наградило нас всех орденами «Виртути Милитари».

– Какое польское правительство? – спросил Борис без особого восторга.

Волк Дремучий усмехнулся:

– То правительство, которое мы признаем, то есть единственное польское правительство. Однако позвал я тебя не для этого.

– Понятно, что не для этого, – буркнул Борис. Долгие месяцы диверсионной работы научили его не очень-то заискивать перед начальством. – Ну, говорите, товарищ майор!

– Я тебя хотел спросить, Борис... Ну, просто по-товарищески. – Гроздев вдруг как-то странно, в совсем ему не свойственном ключе, замялся. – Что же ты при поступлении-то в училище не написал, что ты из тех Градовых, что ты маршала сын?

Борис Четвертый только слюну сглотнул, не зная, что сказать, пропустил, можно сказать, неожиданный прямой в голову.

– Ты думаешь, мы ничего не знали? – чей-то голос сказал сзади. Обернулся – в дверях стоял, облокотившись, капитан Смугляный. – Знали, Боря, с самого начала. Мы все знаем.

– Кончай, Казимир, баки забивать, – уже в привычной своей манере рыкнул Волк Дремучий. – Просрали, ну и нечего баки забивать. Однако, Борис, ты поставил раком все наше начальство, вот какое дело. Подразделение у нас, как ты знаешь, секретнейшее из всех секретных, справок никому никаких не даем, а тут приходит запрос от Рокоссовского. Что делать? Я сам не знаю, друг. Не исключено, что мне тебя придется отчислить, хотя ты такой хороший товарищ, просто отличный товарищ и настоящий мужик! Что ты сам-то об этой херне думаешь?

– Если отчислите, значит, мамаше моей поможет сделать из меня паразита, – мрачно и независимо сказал Борис, а сам, к собственному удивлению, подумал: «Ну и отчисляйте, хватит с меня этого говна!»

– А это уж от тебя самого зависит, Борис! – с некоторым пафосом начал Смугляный. – От тебя самого зависит, станешь ты человеком,

коммунистом или тунеядцем ка...

– Обожди, Казимир, – оборвал его Гроздев. – Ты же знаешь, Борька, что я тебя как младшего брата люблю, почти как сына...

– Никогда этого не замечал, – буркнул Борис и подумал, что все, видно, уже решено, а сейчас просто подслащивают пиллюлю. Ну, сейчас Волк Дремучий поймет, что это дело пустое, подберет сопли и войдет в свою привычную роль: «Все ясно? Можете идти!» Командир, однако, продолжал задушевничать. В чем дело? Неужто на самом деле не хочет со мной расставаться?

– Ты пойми, Борис, ведь мы же не существуем. Ты же сам клятву давал, отказывался на время войны от существования, да? Нас ведь даже к наградам под другими фамилиями представляют, и вдруг сведения проникают, что сын Градова среди нас. Такого быть не может, нас нет. Никто ж не знает, что мы, ну, в натуре, существуем...

Кто-то все-таки знал, что они «в натуре» существуют, хотя, кажется, вот именно хотел, чтобы не существовали.

Взрыв произошел почти вплотную с домом, едва ли не под террасой. Он потрянул дом и зигзагом распорол дряхлую стену. Свет погас, и сквозь прореху мгновенно приблизился черный лес, внутри которого стал быстро-быстро мелькать огненный язык пулемета. Гроздев, Смугляный и Градов кубарем покатались вниз разбирать оружие. Все диверсанты уже выскакивали из окон и дверей и занимали круговую оборону. Команд не требовалось: ситуация была многократно отработана на учениях.

Следующая мина, пущенная из леса, снесла мансарду и окончательно перекосила все строение. Взлетела осветительная ракета нападавших. Считают, очевидно, сколько стрелков уцелело. Пока эта лампочка висела, оборонявшиеся пустили свою. Обстановка получилась почти праздничная, как на катке в ЦПКиО имени Горького. В зеленом свете замелькали перебегающие от куста к кусту фигурки. Ну, что и требовалось доказать, АК! Решили мстить за Тельцы. «На их месте я бы тоже отомстил, – думал Борис. – На их месте я бы тут всех до единого сукиных детей уничтожил!»

Огонь шел со всех сторон. Да их тут набралось не меньше батальона! Кажется, всем нам крышка! И поделом!

Капитан Смугляный между тем весело хлопотал за пленницей дров: «А где же наши минометики? Давай тащи, еб вашу мать, наши минометики!»

Прогремел голос командира:

– Со мной остается отделение Зубова! Остальные по машинам! Идите на прорыв. Сбор по первому варианту!

– Я тоже останусь! – крикнул ему Борис. Стайка стальных птичек срезала верхушку холмика, за которым они лежали.

– Ты что, сука, приказа не слышал?! – в ухо ему влез здоровенный ствол командирского ТТ. Вот теперь Волк Дремучий в своем репертуаре.

Зубовские ребята уже подтащили два 50-миллиметровых минометика, начали расторопно стрелять по опушке леса. Вдруг сам Зубов покатился по щепкам, зажимая рану в животе. Основная масса отряда, человек тридцать, уже неслась на полной скорости к лесу на трех «доджах». Борис лежал на днище одного из них спина к спине с Трубченко, палили из автоматов без всякого прицела. Швырнули несколько гранат. «Хорошо едем!» – весело крикнул в прошлом альпинист-значкист, покоритель Памира Стасик Трубченко и тут же дернулся за Борисовой спиной и скукожился: похоже, мгновенно и ушел в свое заоблачное прошлое, к пикам Сталина и Советской конституции.

Весь вопрос состоял в том, сможет ли тройка машин без зажженных фар на полном ходу влететь на замаскированную дорогу, не врежется ли в деревья под градом пуль? Под упомянутым выше градом у пассажиров, однако, возникали и другие вопросы. Теперь за Трубченко, значит, и меня, да? Так, должно быть, спрашивал каждый в течение всей минуты, пока летели с ревущими моторами, отлаиваясь по мере возможностей от оглушительного лая леса.

«Ну, теперь и моя, ха-ха, очередь, да?» – повторял как заведенный Борис Градов, которого бабушка Мэри и нянюшка Агаша любили называть Бабочкой, которого и мать Вероника нежно любила, хотя и назвала на прощанье мерзавцем, в котором и папа, маршал Градов, и дедушка, профессор Градов, души не чаяли и видели продолжателя рода, которого и тетка Нинка, известная поэтесса, и дядя Кирилл, пропавший на каторге... которого и весь его высокососенный и звездный, морозный Серебряный Бор... «Ну, теперь и моя, ха-ха, очередь, да? Ну, теперь и моя, ха-ха, очередь, да?..» Не отвязывалось идиотское «ха-ха». «Ну, теперь и моя, ха-ха...» Кажется, произношу вслух. Мелькнул чей-то удивленный глаз. Вдруг небо скрылось, и лай леса мгновенно притих. «Доджи» один за другим, неся на себе убитых и раненых и орущих «ха-ха» диверсантов, влетали на замаскированную дорогу.

* * *

По фасаду собора святого Августина, что в Шлоссбурге, Пруссия,

разбросано было не менее двух дюжин гранитных исчадий, когтистых и гривастых ящерков, нередко с человеческими физиономиями. Иные из них использовались функционально в качестве водостоков – прошедший под утро дождь сливался, например, из пастей двух удлинённых чудищ, нависших над балкончиком, где сидел Зигель, однако большинство никакой функции не несло, кроме олицетворения изгнанных из храма злых духов. Главнейшая, по мнению Зигеля, и наиболее близкая к первооснове химера, то есть та самая, изначально произведенная Тифоном и Ехидной, располагалась на самом балкончике, заслоняя своей львиной гривой, козьим телом с хилыми ножками и могучим драконьим хвостом восточную часть балтийского небосвода.

Зигель любил ставить на изгиб ее хвоста свою бутылку. Она ему вообще нравилась. Ему даже казалось, что в чертах ее лица есть некоторое сходство с его мордой: те же удлинённые губы, тот же нос с вывернутыми ноздрями, вечно смеющиеся припухшие глазки. Химера с большой буквы, под пузом которой можно было бы укрепить пулемет! Вообще хорошо, что на балкончике обошлось без этого христианского детского лепета.

Внизу ходили русские солдаты, их голоса иногда доносились до Зигеля с его мальчишками. Солдаты грабили церковное имущество, хлопотливо что-то все время вытаскивали из собора. Что там было такого, что можно так долго вытаскивать? Может быть, мощи тянут из бездонных катакомб? Дурачье, самое ценное перетащил в эту поднебесную келью из покоев прелата лично он, гауптштурмфюрер Зигель. Три ящика крепкого и душистого «Бенедиктина». Один хороший глоток – и живешь полчаса. В общем, должно хватить до конца. А русское дурачье, наверное, там внизу церковное вино лакает. Лучше не думать об этих унтерменшах. Сиди себе под брюхом у своей сестры Химеры и жди момента. Он скоро придет. Думать об этих недолюдах, которые по какому-то непредвиденному повороту стихий явились на землю главной «юги», было невыносимо. Если бы хоть еще евреи пришли, тогда было бы понятно, однако евреев мы все-таки успели всех отправить в астрал. Всю еврейскую «югу» спровадили туда, куда ей пришло время уходить.

– Хюнтер, что, мы всех евреев успели отправить?

– Яволь, херр гауптштурмфюрер.

– Очень хорошо, дай-ка я ущипну твою ягодичку, мой мальчик. Не вздрагивай, пожалуйста, это так у нас всегда полагалось в бригаде недооцененной родиной и историей Оскара Дирлевангера – ущипнуть за попку в знак поощрения.

Все трое мальчишек лежали попками кверху на гранитном, вытертом

четырёхвековым ветром балкончике и смотрели в бинокли на городской замок. Какое счастье, что я завершаю всю эту историю вместе с тремя четырнадцатилетними мальчишками! Трое самых юных фольксштурмистов и один старый шакал из бригады, которую презирали все вооруженные силы разбитой империи и за которой всегда посылали, когда все остальные обсирали свои штаны. Идеальная химмельфарткоммандо! Мы с Оскаром всегда предпочитали мальчишек, хотя вынуждены были это скрывать, находясь под мнимой властью плебея Шикльгрубера. Мы даже девок брали, воображая, что под нами мальчишка.

– Ханс, как ты думаешь, кто был первым в нашем движении?

– Я не очень понимаю, о чем вы говорите, херр хауптштурмфюрер Зигель.

– Я спрашиваю, кто считался первым в нашем симфоническом великом движении? Ты скажешь – Адольф Хитлер и ошибешься, мое дитя!

– Кто же, если не великий фюрер, херр Зигель?

– Кто, я тебе не скажу, потому что и сам этого пока не знаю, но Ади Шикльгрубер был сто двадцать седьмым, паршивый аршлох!

– Мне не совсем по душе то, что вы говорите, херр хауптштурмфюрер Зигель, – проговорил, поворачивая к нему свой чистый зеленый глаз, третий и самый главный мальчик, Хуго. Идеальное здоровье, идеальное арийское воспитание, идеальный раб плебейской силы, захлестнувшей наше движение.

– Мне кажется, херр хауптштурмфюрер, вам нужно слегка ограничить потребление «Бенедиктина», – продолжал зеленоглазый. – Приближается решительный момент, херр хауптштурмфюрер!

Он прав, этот зеленоглазый юнец. Момент приблизился вплотную. Брахма удаляется, Вишну горько плачет, плечи расправляет и гулко хохочет великий Шива.

Рушится закон, и беззаконие торжествует! Гауптштурмфюрер Зигель готов ко всем повторным циркуляциям. Он хотел бы, ну, если будет в этом нужда, вернуться именно вот в таком виде, вот с этими козьими ножками, с драконьим хвостом, с собственной мордой химеры; увы, таких на этой земле пока что не существует.

С трудом он вылез из своего угла, отпил из горлышка полбутылки благодатной вязкой влаги, потом рухнул тяжелыми чреслами на мускулистую попку Хуго, стал имитировать общедоступную акцию благоволения. Мальчишка, сначала растерявшийся, а потом превратившийся в стальную пружину, сбросил его с себя, пинками гитлерюгендовских сапожек в раскисшее пузо загнал обратно, поднял

пистолет.

– Херр хауптштурмфюрер, нам придется избавиться от вас. Вы мешаете операции!

– Хорошая мысль, мой мальчик, однако кто, кроме меня, покажет вам, как обращаться с реактивными «кулаками»?

* * *

Поляки шли через Шлоссбург разрозненной толпой. У них были усталые, равнодушные лица. Они старались не смотреть на парадный подъезд замка, где стояло советское командование, как будто хотели пройти незамеченными. Если же кто-нибудь случайно бросал взгляд на маршала Градова, тут же отводил глаза в сторону, как будто не было для этих лесовиков ничего особенного в том, что их провожает в шведскую ссылку командующий Резервным фронтом советской армии.

Подъехал на «виллисе» полковник Вигор с помощниками. Согласно договору на офицерах было личное оружие, пистолеты в обтрепанных кобурах. Никита взял под козырек. Скосил глаза на свое окружение – кто последовал его примеру? Оказалось, что все это сделали, даже главный оппонент, начальник политуправления Стройло. Вдруг одна странная деталь бросилась в глаза: на груди Стройло среди его орденов сегодня опять красовалась круглая медалька «XX лет РККА». Когда он только появился в штабе фронта, на нем была эта медаль. Никита тогда демонстративно на нее уставился. Стройло ерзал, а он все смотрел. Потом взял комиссара под локоть, отвел в сторону: «Послушайте, Семен Савельевич, это не совсем этично. Здесь многие знают, что вы не были двадцать лет в составе РККА. Зачем быть посмешищем? Снимите!» Стройло тогда весь зацвел разными оттенками вареной свеклы и с тех пор никогда не надевал эту, весьма уважаемую среди советских командиров медальку. Что бы это могло означать? Почему сегодня опять навесил?

Поляки встали в «виллисе» и тоже взяли под козырьки своих конфедераток. Джентльменская церемония продолжалась не больше одной минуты. «Этот Градов – необычный какой-то парень для красных гадов, – думал полковник Вигор, бывший варшавский архитектор. – Неужели не обманут? Глядя на Градова, трудно не верить его слову...»

Стояние с ладонями у козырьков чуть-чуть, может быть, на несколько секунд затянулось. Несколько неловких секунд были связаны, естественно, с вопросом рукопожатия. Выйти из машины и подойти к нему с протянутой

рукой? Нет, это уж слишком, думал Вигор. Спуститься к ним и пожать руки? Нет, это уж слишком даже для меня, думал маршал. Немедленно передадут в Кремль, что напутствовал «антисоветчиков».

В конце концов он сделал жест ладонью от козырька к полякам – пока, мол, поляки! – повернулся и пошел внутрь замка. Все двинулись за ним, в оперативный отдел штаба, большой зал с тремя высокими застекленными дверьми, выходящими на террасу и далее на пруд, за которым над переплетением ветвей парка возвышался собор святого Августина. В пруду, заметил Никита, совсем уже по-домашнему плавали вчерашние послы из Эль-Аламейна.

Все встали вокруг стола с расстеленной картой Германии и лежащей поверх нее картой Померании. Каждый день ожидался приказ о финальном штурме Берлина. Работы по координации армий и отдельных дивизий было больше чем достаточно.

– Какие теперь будут предприняты действия по отношению к Вигору? – вдруг спросил Стройло.

– Что за странный вопрос? – нахмурился Никита. – Мы разошлись с Вигором. Больше нет никаких действий.

– Вы, конечно, шутите, Никита Борисович? – голос Стройло сильно набирал высоту и угрожающую, весьма странную, совсем не свойственную вечно униженному политработнику силу. – Вы что же, собираетесь дать уйти целой дивизии антисоветчиков? С тем чтобы они продолжали свои провокации из-за рубежа?

Никита понял: что-то серьезное произошло за ночь, уперся двумя руками в карту Германии и вперился в каменеющее с каждой минутой лицо своего генерального соглядатая.

* * *

За ночь действительно произошло кое-что. Трижды по каналу связи СМЕРШа Стройло разговаривал с кабинетом Берии. К утру прилетела группа оперативников, явно нацеленная на удар по непосредственной охране маршала. Среди них был некий майор Ересь, которому предписывалось в случае нужды выполнить особо ответственное задание. Письмо, доставленное в пакете с личной печатью Берии, содержало окончательную инструкцию по поводу поляков: разоруженную дивизию Вигора интернировать, в случае сопротивления применить соответствующие меры; также принять немедленные меры по

оздоровлению атмосферы в руководящем составе Резервного фронта; учитывать специфику продолжающихся военных действий, возможность внезапной вспышки боевой активности.

* * *

– Вы, кажется, забыли, товарищ генерал-лейтенант, – медленно заговорил Никита, не спуская глаз с начполитуправления, – что я подписал договор с полковником Вигором, что я поручился своим честным словом, то есть честным словом Резервного фронта, а значит, и...

– Вы, кажется, уже отождествляете себя со всей Красной Армией, Градов? – вдруг с диким надрывом, почти по-театральному завопил Стройло и сделал жест своему человеку из штаба. Тот мгновенно распахнул двери. Из коридора быстрыми шагами в зал вошла группа оперативников, среди них майор Ересь.

– Тревога! – закричал один из «волкодавов» маршала, но бросился не к оперативникам, а к стеклянным дверям.

Все обернулись и в последний момент своей жизни увидели взлетающих на террасу трех мальчишек с нацеленными прямо в зал фаустпатронами. Высокий и ярко-зеленоглазый... автоматная очередь поперек груди уже не смогла остановить его палец... Три взрыва слились в один мощный разворачивающий удар. Тела повалились в клубы дыма, меж тем как беспредметные сути людей отошли в сторону от этой страшной картины, хотя и сохранили еще нити с последними мыслями убитых.

«...Она, которую хотел украсить» – вот что успел вспомнить Семен Стройло.

«...Теперь прохожу дуновением в кустах под окном моей матери» – вот что успел осознать Никита Градов.

Глава восемнадцатая

Словесный соблазн

Похоронная процессия во всю ширину Большой Пироговской двигалась по направлению к Новодевичьему кладбищу. Впереди медленно поднимала и опускала сверкающие голенища рота гвардейцев. Солнце поблескивало на широких штыках. За блеском кожи и стали двигался блеск меди, духовой оркестр Резервного фронта заполнял весь объем улицы траурным маршем Шопена, что было как нельзя более кстати: ведь он не предал поляков.

Самого молодого маршала Советского Союза везли на орудийном лафете. Большой отряд офицеров впереди нес на бархатных подушечках его ордена. Далее следовал неровный ряд скорбящих, в центре которого в глубочайшем трауре шла жена Вероника и держащая ее под руку двенадцатилетняя Верочка с распухшим личиком. С другой стороны вдову поддерживал маршал Рокоссовский. В первом ряду шли крупнейшие военачальники, сумевшие прилететь на один день в Москву из расположения своих фронтов и армий. Вперемешку с ними родственники героически погибшего маршала – мать его с измученным, но все-таки еще очень гордым лицом, отец, внешность которого напоминала о неплохих людях из русской истории, сестра Нина Градова, да-да, та самая... Далее двигались генералы Ставки и генштаба, адмиралы флота, знаменитые летчики, деятели науки, литературы и искусства, целая колонна выдающихся личностей, в самом хвосте которой шли шофер лейтенант Васьков, работник АХУ штаба Резервного фронта старший лейтенант Слабопетуховский, а также заплаканная молодуха, лейтенант медслужбы Таисия Пыжикова, несущая в своем чреве ребенка провожаемого в последний путь маршала. У ворот Новодевичьего монастыря отделенную от масс москвичей цепью охраны процессию ожидала еще одна толпа деятелей, среди которых были дипломаты и представители военных миссий союзников, в частности полковник Кевин Тэлавер. Рота, медь, орденосносцы, траурные кони, орудийный катафалк с закрытым гробом, колонна скорбящих медленно втягивалась в ворота монастыря.

Во время церемонии прощания Тэлаверу удалось занять выгодную позицию, с которой он мог видеть Веронику. Значительность печального события, а значительность события не подлежала сомнению, ведь многие эксперты видели в маршале Градове некий будущий день России, отодвинулась в глубину, как всякий раз все на свете отодвигалось в глубину или отъезжало в сторону, едва лишь он бросал взгляд на Веронику. Подумать только, какое изящество, какое благородство сквозит в каждом ее жесте, в каждом наклоне головы, сколько поэзии немедленно проникает в воздух с каждым, самым малым огоньком ее глаз! Что бы случилось со мной, если бы я не встретил ее? Кремль краснокирпичный, символ мирового мрака, ты для меня стал Италией, Падуей и Вероной, Римом и Венецией моей любви!

Произносились речи, прогреготал артиллерийский салют, оркестр взмыл крещендо, когда стали опускать гроб, потом начался русский ритуал – каждый бросал в могилу пригоршню земли. Пусть будет земля ему пухом, так они, кажется, говорят. Отходя от могилы, важные военные и штатские сановники почти немедленно начинали оживленно переговариваться. Обрывки фраз долетали до Кевина Тэлавера. Оказывается, ждали Самого, то есть Сталина, но он почему-то не явился. Присутствовал, однако, Берия, и даже вытирал платком пенсне. Были Маленков, Хрущев и Микоян. Уровень вполне приличный. Они все время говорят об «уровнях» и сопровождают это словом «приличный». В принципе, перед нами не что иное, как весьма серьезная «светская жизнь» сродни нью-йоркским сборищам of anybody who's somebody^[20]. Очень важен момент присутствия, хотя бы промельк в глазах других членов номенклатуры. Хроники светских событий здесь нет, в газетах сообщается одной строчкой: «Присутствовали руководящие работники партии и правительства, деятели литературы и искусства». Однако где-то в домах и офисах этого дымного, безрадостного города, очевидно, обсуждается: этот был на похоронах маршала Градова, а того не было на похоронах маршала Градова, и это, очевидно, очень много значит. Здесь, конечно, уже возник новый класс, едва ли не наследственная иерархия. Очень любопытное развитие марксизма. Новый класс со своей Анной Карениной, не так ли?

Вырос холм, покрылся цветами и лентами, гвардейская рота дала тройной залп в серые, такие рутинные апрельские небеса, и все было кончено. Масса людей медлительно, «прилично» качнулась к выходу. Тэлавер видел сзади затылок Вероники с зачесанными наверх, под черную шляпку, золотистыми волосами, с трогательными, юными колечками непослушавшихся прядей. Принцесса Греза, недостижимая мечта

коннектикутского слависта!

Их сына не было на похоронах. Она никогда о нем не говорит, только пожимает плечами – «он где-то на фронте» – и отворачивается со слезами на глазах. Задавать какие-либо вопросы бестактно.

То, о чем всегда как бы мимоходом, как бы по-дружески, по-мужски, всегда с затаенным раскатиком докладывал начполитуправления Стройло командующему Градову, соответствовало истине, но только в абсолютно прямом смысле слова. Вероника Градова и Кевин Тэлавер действительно встречались. Встречались на улице, на улице и расходились.

Обычно происходило это возле телеграфа. Вероника, к примеру, задумавшись, переходила улицу Горького. Перейдя, поднимала голову: высокий военный денди в шинели из верблюжьей шерсти спускался по ступеням. «Миссис Градова! Вот так сюрприз!» Ну и она, разумеется, удивлялась: «Ба, кого я вижу! Полковник Тэлавер, I assume?^[21]» Или другой пример: она спускается по ступенькам телеграфа, а полковник Тэлавер как раз пересекает улицу Горького. «Ба, кого я вижу! – произносит он быстро усвоенную русскую фразу. – Миссис маршал Градов, I assume?!» Она хохочет, в глубине рта чуть-чуть поблескивает золотой грибочек. «Ха-ха, кажется, я в руках буржуазной разведки?!» Они немного прогуливаются у всех на виду, чтобы не было кривотолков. Говорят о театре: в Москве уже вовсю функционируют и Малый, и Большой, а главное, МХАТ, МХАТ! Говорят о литературе. Вообразите, новая публикация Ахматовой, цикл Пастернака... У вас, кажется, ренессанс? Вам нужно познакомиться с моей sister-in-law, она знаменитая поэтесса. О, я буду счастлив! Ну, до свидания, мне пора!..

Иногда он видел издали, как она выходила из подъезда своего дома с мордастым офицером явно не фронтового типа. За время своих многочисленных поездок на фронт Тэлавер научился улавливать так называемый «фронтной шик», по отсутствию которого сразу можно было определить тыловику. У этого офицера почему-то всегда на губах блуждает кривая, слегка криминальная улыбочка, из-под козырька на брови спускается богатый чуб. Он открывает перед Вероникой дверь большой немецкой машины, а сам садится за руль. Очевидно, шофер. Скорее всего, приписанный к семье маршала военный шофер. Вот так живет советская элита: разъезжает в лимузинах с подлейшими порочными шоферами.

Иногда Тэлавер и Вероника проходили в толпе, как бы не замечая друг друга. Ничего удивительного, собственно говоря, не было в том, что они часто проходили друг мимо друга в этой московской толпе. Что может быть в этом странного, если твой офис находится в двух шагах от ее дома?

Каждый идет по своим делам и может по несколько раз в день пройти мимо другого, не заметив последнего.

Однажды, не замечая ее, он заметил, как она, не замечая его, улыбнулась. Сердце его забабахало, будто лошадь копытами в галопе. Она улыбается не только тому, что как бы не замечает его, а тому, что он как бы не замечает ее, и таким образом становится понятно, что она на самом деле замечает, что он так часто мелькает на этом людном перекрестке просто по своим делам, не замечая ее, и, не замечая ни капли его, она своей улыбкой дает понять, что она тоже его не замечает, потому что это было бы странно так часто его замечать, когда человек вот просто так тут проходит, поскольку его офис просто за углом...

У Кевина Тэлавера был, прямо скажем, небогатый любовный опыт, хотя в тридцатые годы в Париже его друг Рест немало сделал для того, чтобы дать ему необходимое современному мужчине образование. Буря тех лет, однако, прошла, и Кевин как-то весь подсох, смиренно уже, в епископальном стиле, готовясь к пожилой комфортабельной холостяковщине. Вину за нынешний «бахчисарайский фонтан» он сваливал целиком на русскую литературу. Вот к чему может привести предмет невинного «хобби», вот перед нами чистая инкарнация словесного соблазна! А самое печальное состоит в том, что у нашего романа – романа, ха-ха, несколько прогулок по улице! – нет никакого будущего. Теоретически он и то безысходен. Даже в нацистской Германии перед войной, если бы я встретил женщину, мы смогли бы вместе уехать. В красной России это невозможно, хотя мы союзники. Большевики создали тут такой климат, что даже психологически это невозможно. Иностранец для них не совсем принадлежит к человеческой расе. Мне и самому что-то противоестественное видится в самой идее сближения с русской женщиной. Тем более с Вероникой Градовой! Это уже нечто вроде бунта против самого Сталина!

Несмотря на эти мысли, Кевин Тэлавер не мог себя заставить прекратить хождения по улице Горького и всякий раз замирал, как школьник, едва только открывалась дверь ее подъезда. Даже гнусный шофер, прогуливающий ее собачонку, – ухоженная болонка посреди убогой Москвы! – вызывал у него не по возрасту сильные чувства.

Он увидел ее на третий день после похорон. Она была в весеннем костюме. Короткая жакетка с большими плечами. Не знаю, какие моды возникли под немцами в Париже, но на Пикадилли-стрит она бы вполне сошла за свою.

Возле телеграфа, ну, разумеется, возле телеграфа... «они встречались

возле полюбившейся им скалы на берегу океана», то есть они встречались у телеграфа... Он прямо подошел к ней и сказал:

– Миссис Градова, позвольте мне выразить вам глубочайшие соболезнования. Маршал Градов всегда был для меня воплощением всех героических качеств!

Она пожала ему руку, и они пошли вверх по Горького. Временами они ловили на себе дикие взгляды. Американский офицер и модная красавица казались в той толпе пришельцами с другой планеты.

Таких пришельцев, впрочем, к концу войны становилось в Москве все больше: связи разрастались, шла постоянная циркуляция военных и гражданских лиц, англичане даже начали издавать свою газету «Британский союзник», распространялся и глянцеви́тый журнал «Америка». Никогда еще со времен большевистского переворота у России не было таких живых связей с Западом. Тому начинали способствовать и явно прозападные вкусы московских красоток. Может быть, и дальше так пойдет? Может быть, Россия намерена к нам вернуться? В этом случае и моя влюбленность выглядит не так уж безнадежно.

Вероника вдруг начала ему рассказывать о своем сыне. В конце сорок третьего семнадцатилетний Борис сбежал на фронт. Полтора года мы не могли его найти. Вообразите, командующий Резервным фронтом не мог найти своего сына! Мы были почти уверены, что он погиб. Наконец совсем недавно он был почти обнаружен, оказалось, что он все это время был на секретном задании в тылу немцев. У меня просто холодели конечности, Кевин (да-да, так запросто – Кевин; просто у нее холодели конечности, Кевин!), когда я представляла себе моего мальчика на секретном задании в тылу врага! Короче говоря, я уже торжествовала: он жив, война кончается, мне обещали, что он скоро будет дома, как вдруг что-то ужасное случилось, мне ничего не говорят, но Борис снова пропал... Ну, как вам это нравится? Не слишком ли это много для одной немолодой женщины? Тэлавер, переполненный чувствами, симпатией, жалостью, восхищением, какими-то струнными пассажами Моцарта, витающими в воздухе, вдруг предложил:

– Послушайте, Вероника, ведь настоящая весна вокруг! Почему бы нам не поехать в Сокольники? Там столько берез, такая Россия!

Она смотрела на него с грустной улыбкой. Наверное, она любит Блока, не может не любить. Возможно, думает сейчас почти блоковской фразой: «Ну вот, и этот влюблен». Далее в голове Тэлавера промелькнуло что-то из более близкой ему культуры: «...и башмаков еще не износила, в которых шла за гробом...» Но это же совсем не о том, и речь вовсе не идет о... Это просто душевная близость, обычные человеческие симпатии, желание

отвлечь обожаемое существо от военного мрака, хоть на час вернуть ее к собственной красоте, к природе, к идеальной России...

– Ну хорошо, давайте поедем. – Она улыбнулась повеселее. – Ну что, поедем на метро?

– Нет, подождите, у меня есть машина!

Он оставил ее на Тверском бульваре, а сам помчался в посольский гараж за своим «бьюиком». Возвращаясь, трепетал вместе со стареньким мотором: а вдруг не дождалась и ушла? Прелесть, однако, сидела на той же скамейке, перелистывала «Британский союзник». Рядом поселилась с вязаньем идеальная русская старушка, истинный оплот этой культуры, Арина Родионовна.

Пока добирались до Сокольнического парка, начался закат. Он отражался в многочисленных лужах на главной аллее, скромненько подкрашивал стволы явно символических берез. Было пусто. Кевин и Вероника медленно огибали лужи. Иногда она протягивала ему руку, и он поддерживал ее прыжок через малое водное пространство. Можно было бы надышаться дивным воздухом, то есть воздухом дива, если бы она столько не курила. Курит без остановки. Интересно, что курит «Честерфилд». Этот запах вызывает в памяти бар, атмосферу пьяной толкучки, когда у стойки обмениваются откровенными взглядами. Разумеется, у тех, кто хаживал по таким барам, не у нас же!

Она рассказывала ему о погибшем маршале. Не странно ли слышать, как стратегическое понятие Второй мировой войны называют по имени, Никитой? И выясняется к тому же, что это стратегическое понятие, только что под гром салюта и музыку меди отправленное в землю, в бытность свою геройским юношей Никитой, в 1922 году, встретил у ночного костра в горах мечтательную девушку Веронику, и костер этот трепетал на скале, над огромным морским пространством, под ветром, который она называет чисто гомеровским, то есть под ветром «Одиссеи»... И дальше, как они жили, черт побери, в общем-то весело, хотя его и мучили кошмары Гражданской войны. Хотите верьте, хотите нет, но я была классной теннисисткой, ха-ха, чемпионкой Западного военного округа. Хотите верьте, Вероника, хотите нет, но я был тоже когда-то чемпионом в кантри-клабе «Нью-Хэвэн». Ах, вот как, вы тоже теннисист, это очень приятно. Вот и сразимся летом, если не... Что «если не»?.. Да так, ну просто сразимся...

Расскажите мне о вашей семье. Моей семьей была его семья. Она рассказывала о Градовых, о вечерах в Серебряном Бору, где иногда казалось, что с Россией ничего не случилось... Как вы сказали, Вероника?

Почему вы замолчали?

После тягостной паузы она сказала, что оттуда как раз ее и забрали. Что значит «забрали», дорогая Вероника? Арестовали. Простите, я, кажется, вас не совсем понимаю, вы хотите сказать, что вашего мужа арестовали? Я слышал, что у маршала Градова в прошлом четыре года военной тюрьмы, но вас ведь не могли же арестовать, мадам?

На каждом шагу она оглядывалась. Сначала ему казалось, что она оглядывается, чтобы запечатлеть всю красоту медленно уплывающего заката, потом ему показалось в этом что-то нервическое. Говоря о военной тюрьме, вы, надеюсь, не имеете в виду что-то вроде замка Монте-Кристо, господин полковник? Он был в шахте, и там он чуть не сдох от голода. Что касается «миссис маршал», то она провела четыре года на лесоповале, на мерзкой войлочной фабричонке, в гнусных бараках, и...

Говоря это, она уже не оглядывалась, а смотрела прямо на него, как будто спрашивала: «Ну что, Кевин, теперь-то рухнул твой образ советской Анны Карениной?» Рука ее с сигаретой и губы подрагивали. Прижаться бы хоть на миг к этим губам!

– Хватит об этом! – Она бросила сигарету и пошла прямо по лужам.

Он бросился вслед.

– Я надеюсь, вы мне больше расскажете о тех временах?!

– Не надейтесь! – резко бросила она. – Уже темнеет, поехали по домам!

Несколько минут шли быстро и молча. Разлетались брызги. Туфельки на каучуке и шелковые чулочки были в грязи, но шелест ее юбки, шелест ее юбки... ей-ей, это из Достоевского, Полина и Алексей...

Навстречу плелись два русских мужичка. Тэлавер попытался отвлечь свою спутницу от мрачных воспоминаний.

– Посмотрите на этих мужичков, Вероника! Просто тургеневские персонажи, не правда ли? Ну чем вам не Хорь и Калиныч, а?

Вероника вдруг вся передернулась и дико посмотрела на мужичков. Они разошлись. Прошли молча еще полсотни метров, и она вдруг схватила Тэлавера за руку:

– Кевин, я боюсь «тургеневских персонажей»! Обернитесь! Он обернулся и увидел, что мужички остановились и смотрят им вслед. В сумерках уже не было видно их лиц, но так могли смотреть вслед и агенты полиции, и простые любопытствующие лесники. Каждую минуту приходится напоминать себе об особенностях этой страны, о вечно цветущей паранойе.

– Разве вы не понимаете, они повсюду, – шептала Вероника. – Всякий

раз, когда мы с вами встречаемся на улице Горького, они немедленно появляются вокруг. Сегодня, когда я осталась на бульваре, они немедленно подсунули мне какую-то свою мерзкую старуху с вязаньем. А когда мы ехали сюда, вы не заметили «скорую помощь»? Вы думаете, это действительно была «скорая помощь»?

Было совсем уже темно. Вокруг уже не было никого. Уже пропали из глаз и из памяти все персонажи классической литературы, и никого вокруг не было. Была только ранняя уже ночь, нарождалась уже луна, обещающая прибыток; ночь последней недели второй уже мировой войны, если, конечно, не считать Японии, а ее следовало считать. Но было не до Японии уже. Уже в березах только поблескивали глаза, так было.

Она взяла его за руку и потянула с аллеи в березы.

– А, черт, – прошептала она. – Пошли бы все, ну, к черту, – продолжила она. – Гады, скоты! – чуть не заплакала она. – Никого больше нет, – продолжила она.

Он, позабыв о парижском опыте, положил ей руку на плечо, как будто верному другу. Не плачь от одиночества, хотелось сказать ему, теперь ты не одна, хотелось продолжить, но он промолчал. Она расстегнула ему пальто.

– Ну, что же, целуйте! – сказала она.

Он прикоснулся к ее нежнейшим, хоть и прокуренным, губам. Она расстегнула свою жакетку и блузку, пуговицы мягкой жилетки. Он взял ее грудь. «Ну, вот, идите сюда! Ну, вон туда, разве не видите?» Он увидел свежеспиленный пенек. Наверное, Хорь и Калиныч позаботились. Он сел. «Ну, что же, где же они, где же ваши пуговицы?» – «Пуговицы нет, это – зип». – «Ха-ха, никогда раньше не видела». – «Позвольте, теперь уже я...»

Он быстро вспоминал парижский опыт. Она стонала, то откидывая голову назад, то кладя ее ему на плечо. «Гады, мерзавцы, вот вам, вот вам! – бормотала она. – Ненавижу, ненавижу...»

«Забудьте о ненависти, – нежно увещевал он ее. – Забудьте обо всем, любимая Вероника, я вас больше уже никому не отдам...»

* * *

– Вот это баба! – сказал как бы с некоторым восхищением Лаврентий Павлович Берия после того, как Нугзар Ламадзе доложил ему о художествах маршалыши Градовой. У Берии, впрочем, никогда не поймешь – то ли действительно восхищается, то ли проявляет зловещую иронию. – Вот это русская баба! – продолжал Берия, как бы углубляясь в

размышления. – Помнишь, Нугзар: «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет...»

Вспоминая строчку из Некрасова, давно уже ставшую расхожим местом, Берия говорил так, как будто он и не «коня» и не «избу» имеет в виду, а что-то другое, только лишь слегка созвучное.

Потом он ударил ладонью о ладонь, посмотрел на Нугзара поверх пенсне и улыбнулся так, как будто самого себя вообразил на месте помощника военного атташе США.

– На пеньке, говоришь? Ах, неплохо!

Ламадзе, как всегда, подыгрывал хозяину, старался угадать направление его мыслей, но не высказывался. Берия вышел из-за стола, прогулялся по кабинету, в отдаленном углу расхохотался, еще раз хлопнул ладонью о ладонь. А говорят, что лагерный опыт на пользу не идет! Потом он вдруг быстрыми шагами подошел к сидящему в кресле Нугзару, тряхнул его за плечо:

– Ты почему молчишь, Нугзарка? Почему всегда меня подталкиваешь к решению? Ну, что, не понимаешь обстоятельств – ночью в лесу, на пеньке, с американцем, со шпионом, ну! Ну, говори, шени дэда товтхан, что предлагаешь?

– Я думаю, Лаврентий Павлович, что нельзя упускать такого случая. Она, по-моему, хочет с ним уехать, но нам нельзя этого так упускать.

– Тогда действуй! – сказал Берия и тут же перешел к другим делам. То есть к другим своим преступлениям, как скажут неблагодарные потомки.

* * *

Уже отгремели залпы финального победного салюта, уже знамена немецкой армии были брошены к подножию Мавзолея Ленина, то есть к подошвам Сталина, когда в самом конце июня 1945 года на квартире покойного маршала Градова состоялся весьма примечательный ужин.

Ужин вроде совсем не парадный, всего на три персоны, однако для устройства, готовки и сервировки Вероника на три дня привезла из Серебряного Бора саму Агашу.

Первым из гостей явился генерал Нугзар Ламадзе. Для этой okazji он облачился в новенький серый костюм, весьма выгодно ниспадавший вдоль его стройной талии. К костюму неплохо был подобран галстук в «огурцах» и аналогичный платок, только чуть-чуть высовывающийся из нагрудного кармана, чтобы ни у кого не возникло желания в этот платок высморкаться.

Никому, конечно, не должно было прийти в голову, что приятный молодой кавказец обладает высоким чином страшного секретного ведомства.

Хозяйка дома встретила его в темно-вишневом платье, у которого был такой вид, будто оно только что покинуло плечи хозяйки и не намерено долго задерживаться на груди.

– Вероника, душа моя, клянусь Алазанской долиной, ты неотразима! – нашел нужным воскликнуть Ламадзе и сделал это не без удовольствия. – Если бы не долг службы, ха-ха, впрочем, что я, ты меня сейчас не узнаешь, Вероника, душа моя. Повеса Нугзар стал образцовым семьянином. Ты должна взять под опеку мою Ламару, она все еще дичится в столице...

Стол был идеально сервирован: хрусталь, фарфор, салфетки в серебряных кольцах. По русской традиции все напитки были выставлены на обеденном столе. Водки – одна простая, другая лимонная – в тяжелых штофах, бутылки вина и коньяку соседствовали с закусками, частично прибывшими из отдела снабжения высшего командного состава Министерства обороны, частично – из Агашиных немалых серебряноборских резервов. Основной гость, которого ждали, хоть и был иностранцем, но предпочитал именно русскую традицию.

Погуляв по хорошим туркменским коврам квартиры, Нугзар присел к столу и налил себе тонкую рюмочку водки. Вероника присела рядом со своей неизменной сигаретой. Они хотели было уже возобновить один из своих тяжких, хоть и волнующих, вернее, просто переворачивающих все существо Вероники разговоров, когда в столовую вдруг вошел шофер Шевчук. Чуб у него был сегодня припомажен, прохоря начищены до исключительного блеска, с ними соперничали пуговицы парадного кителька и новенькие, торчавшие крылышками лейтенантские погоны. Он явно собирался тут отужинать, хотя его никто не приглашал.

Спокойненько, со своим вечным хулиганским перекосом рта, он отодвинул стул, уселся и только тогда уже спросил с полным этикетом:

– Надеюсь, не возражаете, Вероника Александровна?!

В последнее время Шевчук Леонид капитально психовал. Маршальша, которую он за глаза называл не иначе, как зазнобой, перестала допускать к себе, а вместо этого шляется с нерусским офицером, не исключено, что югославом, о чем Шевчук уже бросил пару рапортичек куда положено. Теперь еще этот кацо, пижон засранный, появился на горизонте. Бесится баба! Однажды он даже имел с ней веселый разговорчик. Ты, видно, Вероника, хочешь, чтоб все узнали, какую я из тебя делал кошечку? Может, еще и про лагерную самостоятельность рассказать югославским товарищам? Вместо желаемого результата получил в ответ форменную истерику,

бросание неподобающими вещами, в частности нерусской книгой.

В тот вечер Шевчук по месту жительства, то есть в подвале того же дома, принял четвертинку, начистился и явился, чтобы поставить все точки над «і». Вероника же, как только он уселся, тут же встала и торжественно, в своем блядском платье, проследовала на кухню, будто по хозяйству. Теперь кацо сверлит нехорошим глазом. Ну, давайте в гляделки играть, товарищ кацо; посмотрим, кто выиграет.

– Леонид, – представился он гостю и с вызовом потянулся за штофом.

– А ну, убирайся отсюда, Леонид! – спокойно сказал сидящий бочком на стуле гость.

– То есть как это? – не понял Шевчук.

– Собирай прямо сейчас все, что у тебя тут есть, и немедленно испаряйся, Шевчук Леонид Ильич, тысяча девятьсот пятнадцатого года рождения, – сказал гость таким голосом, что бывший нижний чин вохры сразу понял, кому, каким голосам извечно подражало лагерное начальство; это был один из основных голосов.

– Да как же, эй, товарищ, куда ж я, – еще пытался он дрыгаться, как полураздавленный муравей, однако уже со стула встал и кителек одернул.

Гость вынул из кармана блокнот со страшными буквами, чиркнул что-то, вырвал, протянул:

– Завтра придешь на Кузнецкий мост, восемь. Покажешь вот это в бюро пропусков. Все. Вали!

Когда Вероника заглянула из кухни в столовую, докучливого шофера больше в ее пространстве не обнаруживалось.

– Все в порядке, Вероника, – весело улыбнулся Нугзар. – Больше он никогда не будет тебя шантажировать.

Она подошла и поставила почти целиком явившуюся из разреза платья ногу на стул:

– Послушай, черт, откуда ты знаешь, что он меня шантажировал? У вас тут что, аппараты какие-нибудь в стенах?

Он добродушно улыбнулся:

– Ну, а как ты думаешь? Маршал Градов, как ты думаешь, что это такое?! Это ж было дело большой государственной важности!

– Значит?.. – Она расхохоталась вроде бы с прежней дерзостью, но он ясно видел, немного струхнула. – Значит, все слышали?

– Спокойно, спокойно, – он умиротворял воздух ладонью. – Многое слышали, но не все, конечно. Оттуда почти все слышали, ты уж извини. Отсюда похуже. Но это не важно, Вероника, ты можешь не беспокоиться. К нашему делу не имеет никакого отношения. И потом, не зови меня чертом.

Я хоть и не ангел, но все-таки не черт!

Нугзар появился почти сразу же после Сокольников. День или два мелькал, не делая секрета из неслучайности своих мельканий. Потом вдруг прибыл с букетом цветов явно не из подмосковных огородов, а из каких-то спецоранжерей.

– Вы что, ухаживать за мной взялись, кузен? – с автоматическим кокетством спросила Вероника, хотя, конечно, уже понимала, какого рода тут идет ухаживание.

– Ах, если бы! – вздохнул он. – Увы, я к тебе по службе. Послушай, Вероника, тебе, наверное, придется познакомить меня с полковником Тэлавером.

– С какой это стати? – резко спросила Вероника, спросила так, будто и не испугалась вовсе, а, напротив, возмущена.

Нугзар усмехнулся: он прекрасно видел, что она дрожит от страха.

– Служба, дорогая. Государственные интересы. К вашим личным делам это имеет только косвенное отношение.

– А все-таки имеет косвенное отношение?! – опять взвилась она. – С какой это стати?

– А вот с такой стати, – вдруг возвысил он голос, – что ты являешься вдовой дважды Героя Советского Союза, кавалера Ордена Суворова первой степени, не считая полсотни других орденов, маршала Советского Союза Никиты Градова. Ты что, не понимаешь, что твои личные дела – это не совсем твои личные дела?

С этого разговора началась открытая «психическая атака» органов на красотку Веронику. Типчики, или, как она их теперь называла, «тургеневские персонажи», поджидали ее повсюду: плелись по пятам, дежурили на лестнице, цинично скалились из проезжающих машин. В Сокольниках теперь казалось, что из-за каждой березы торчит национально причастная морда. Однажды, когда они целовались с Кевином, их вдруг ослепили три сильных фонаря. Потеряв голову, дипломат бросился было на огни с кулаками, но фонари тут же пропали, и только прокатился меж стволов дикий хохот лесовиков. Шина «бьюика» оказалась в тот вечер проколотой. Тэлавер бесился. Вероника не могла прийти к нему и не решалась пригласить его к себе. В огромном городе им нигде не было места. Пожаловаться в официальном порядке он тоже не мог. Государственный департамент и Пентагон, скорее всего, отозвали бы его из Москвы во избежание скандала.

– Нам нужно пожениться как можно скорее! – настаивал он. – Нужно идти в этот, как его, в этот ваш загс.

Она молчала, но не возражала. После одного из таких порывов американца Нугзар завел с ней страннейший разговор:

– Знаешь ли, несмотря на все заслуги, репутация Никиты была далеко не безупречной. Эти фаустпатроны спасли его от кончины другого рода, хотя, конечно, маршальские похороны в любом случае были обеспечены. Что я хочу этим сказать? Почему что-то зловещее? Ну, не преувеличивай, красавица! Как ты докажешь, что я на что-то намекал? Смешно. Я просто хотел сказать, что взгляды моего кузена были, к сожалению, далеки от совершенства. Прости, но многим товарищам казалось, что маршал Градов лелеет какие-то далеко идущие планы. А вот скажи, Вероника, он ничего после себя не оставил? Почему «вздор»? Почему «гадко усмехаюсь»? Ты как-то нехорошо преувеличиваешь, дорогая. А вот некоторым товарищам кажется, что он оставил какие-то записи. Ты ничего не припрятала, Вероника?

Тут он увидел, что она по-настоящему испугалась. Успокаивающе положил ладонь на ее подрагивающую руку:

– Ну-ну, не надо так волноваться. Подумай о дочери. Без материнской заботы с ребенком все, что угодно, может случиться.

Она начала задыхаться. Он налил ей стакан вина:

– Хорошее вино всегда помогает. Не надо театра, Любовь Яровая. Пока что с твоей дочерью ничего не случилось, верно? Надо просто всегда думать о детях. Вот я всегда думаю о своих детях, и о Шоте, и о Цисане. И тебе нельзя забывать о Вере, о Борисе. Что о Борисе? Как что о Борисе? Конечно, знаю о Борисе. Мы всегда все знали о Борисе. Ты еще не убедилась, что мы все знаем? Надо было думать, куда за справками обращаться. Кстати, о Борисе. Не все товарищи уверены, что и у него идеальные взгляды. Он, конечно, герой, храбрый юноша, однако некоторые думают: не унаследовал ли он от отца какие-нибудь ущербные взгляды. Нет-нет, пока он не приедет. Война, да, кончилась, но он еще нужен. Надеюсь, что скоро приедет, если ничего не случится. Как что может случиться? С живым человеком все может случиться. Что из того, что война кончилась? Не на войне все то же самое может случиться. Ну, в философском смысле, конечно.

Совершенно потрясенная этим разговором, Вероника на несколько дней прекратила встречаться с Кевином. Услышав его голос в телефоне, опускала трубку. Старалась не подходить к окну, чтобы не увидеть вышагивающую возле телеграфа смехотворно-любимую фигуру этого стареющего мальчика. Коннектикут... «к» в середине почему-то не произносится... профессорская должность в Йеле, Гепите... нью-йоркская

берлога на Риверсайд, с окнами на Гудзон, который, конечно, не Гудзон, а Хадзон... там будем ночевать, когда приедем на концерт в Карнеги-Холл... почему-то все это представляется в осеннем, прозрачном свете, красные и темно-лиловые листья... Зимой будем уезжать на Бермуды, sweetheart... на Бермуды там, оказывается, ездят зимой... Все кончено, ничему этому не бывать. Они меня уничтожат, думала она. Как только он уедет, мне конец. И всем моим конец; теперь уж они не отстанут...

В панике она перевезла Верулю в Серебряный Бор под присмотр бабушки. Мэри что-то почувствовала. Может быть, уехать с девочкой в Тифлис? Там когда-то Нинка спасалась. Бо возьмет отпуск. Не надо, не надо, ой, я сама не знаю, Мэричка, милая, ничего сказать не могу, не спускай глаз с Верульки... Выскочила из калитки. На углу лениво курят два больших мужика. Неужели они уже и здесь, «тургеневские персонажи»?

Вдруг все переменялось. Опять вынырнул Нугзар со сладчайшими улыбками, с предупредительными жестами. Он боится, что она его неправильно поняла. Зачем эта паника? Разве кто-нибудь что-нибудь сказал против полковника Тэлавера? Отношения между нашими странами никогда не были такими хорошими, а будут еще лучше. Вместе сокрушили такого врага! Полковник Тэлавер – хороший офицер, честный ученый человек. Русофил к тому же. Давай поговорим обо всем спокойно, без истерики, все взвесим. Конечно, я на государство работаю, однако я же тоже человек, и даже родственник...

В таких вот делах странное трио – Вероника, Нугзар, Тэлавер – подошло к своему церемонному ужину.

* * *

Кевин тоже пришел в штатском: пиджак в «селедочную косточку», вязаный галстук.

– Простите, что я вас не предупредила, господин Тэлавер, что будет еще один гость, – церемонничала Вероника. – Это двоюродный брат моего покойного мужа Нугзар Ламадзе. Он появился неожиданно, как... – тут она хохотнула, – как черт из табакерки!

– Ай-ай-ай, Вероника, – зажеманничал Нугзар, который в своем модном костюмчике и ярком галстуке, да еще и с горячей кавказской фактурой, по американской классификации выглядел как что-то близкое к категории «латинский любовник». – Ай-ай-ай! Опять «черт»?

Веронику поразило, что всеильный энкавэдэшник явно стесняется

иностранца.

– Я, конечно, не ангел, но все же не черт! – повторил Нугзар свою излюбленную шутку.

– Я вижу, – сказал Кевин.

– Что? – как бы слегка вздрогнул Нугзар.

– Что вы не ангел, – улыбнулся Кевин.

– А вы, господин Тэлавер? – Нугзар, явно для того, чтобы побороть свое странное смущение, прищурился на американца. – Вы, по-моему, тоже не ангел?

Вероника развеселилась:

– Ну, садитесь к столу, черти!

За столом, едва выпили по первой рюмке, Кевин склонился к соседу и спросил:

– Вы из энкавэдэ, Нугзар?

От неожиданности «латинский любовник» уронил на скатерть давно уже облюбованный гриб.

– А почему вы так решили, господин Тэлавер?

– Сразу же видно, – любезно пояснил американец. – Как только я вас увидел, сразу же подумал: ну, сегодня у мадам Градовой человек из тайной полиции.

Все рассмеялись вполне добродушно, но Нугзар не смог остановиться, когда другие замолчали. Он все хохотал, пуще и пуще, вытирал лицо своим красивым платком и снова начинал кудахтать так, что Вероника и Кевин стали переглядываться с опаской.

– Ой, вы меня утомили, Кевин, – наконец сказал Нугзар. – Вот коллегам расскажу, тоже обхохочутся! Ну, давайте выпьем за американский зоркий глаз!

– Не распространяйте это на всех американцев, – сказал Кевин. – Уверяю вас, любой мой коллега сразу же поверил бы, если бы вы представились, скажем, укротителем питонов. У меня это просто от занятий русской литературой.

– Вот и прекрасно! – воскликнул Нугзар. – Давайте выпьем за русскую литературу! Эта нация ни хрена не создала великолепного, кроме литературы и тайной полиции, как вы выражаетесь. Мы выражаемся иначе – органы пролетарской диктатуры. Вам смешно? Почему не смеетесь? Можно смеяться, не бойтесь! Теперь, когда я разоблачен, давайте говорить напрямую. Вот скажите, Кевин, какие планы у Америки на Тихом океане?

Опять все трое начали хохотать, хотя вроде ничего смешного не было сказано. Как будто веселящий газ Чека пускает через какие-то свои тайные

дырки. Так и весь ужин прошел. Агаша даже несколько раз в столовую заглядывала. Что происходит? Хохот стоит, звон бокалов, как будто целая большая рать гуляет, а там всего лишь Вероникочка и Нугзарчик (Агаша помнила его еще по танцам 1925 года) да один приличный гражданин из ненаших.

Часа через два Нугзар стал прощаться. Естественно, облобызал «атлантического союзника» и взял с него слово приехать в Грузию на кабанью охоту. Не в том смысле, Кевин, что кабаны будут охотиться на людей, а наоборот. Чуть-чуть, в хорошем стиле, покачиваясь, потащил с вешалки плащ, по дороге зацепил телефонную трубку, буркнул в нее «Ламадзе» и двинулся к дверям. В дверях прихватил Вероникино ухо, шепнул в него: «Хороший парень!» – после чего исчез.

В квартире теперь стояла полная тишина. Вероника погасила свет в прихожей, сбросила туфли. Потом подумала: «Войду к нему совсем голой!» – и стащила через голову платье. Когда она вошла, в столовой тоже было темно, только за окнами через улицу на стене телеграфа светился под лампами огромный портрет Сталина. Полковник Тэлавер, выключив свет, тоже сильно саморазоблачился – сбросил пиджак и расслабил галстук. Явление голой нимфы потрясло его. Вот она, награда за танталовы муки! «Стой, стой, – прошептала она. – Ну-ка, дай-ка! Ой, что же, а здесь почему просто пуговки?»

Всю ночь они предавались любви, как двадцатилетние дети, а к утру она прижала к губам палец и написала в блокноте карандашом: «Это наша первая и последняя ночь, Кевин. Они требуют, чтобы я работала на них, шпионила за тобой. Иначе – не выпустят».

Прочтя, он взял у нее карандаш, перевернул страницу блокнота и написал одно слово: «Соглашайся». Подумав, поставил восклицательный знак. Потом вырвал оба листочка, смял и поджег их зажигалкой. Подбрасывал в ладонях, пока они не сгорели дотла.

В Серебряном Бору теперь еще до темноты начинали филигранствовать соловьи. Нина, сидя на ступенях террасы, цитировала Зоценко: «Жрать им хочется, вот и поют!» Мэри Вахтанговна издали бросала на нее взгляды и видела, что все не так-то просто: дочка, кажется, опять влюблена. Снова она не лишняя человек в «соловьином саду». Нина следила взглядом за полетами светляков. Они возникали иной раз у самого носа, зажигали фонарик и, повисев долю секунды в диогеновом раздумье, сливались с темнотой. Вспышки мелькали по всему саду, поднимались даже к вершинам деревьев. Мгновенные имитаторы планет. Я ему скажу, чтобы нарисовал такой примитивный пейзаж, ранняя летняя ночь со

светляками. Пусть потрудится. А я припишу внизу соловьиный свист. Это будет примитив, жалкая человеческая жалость, прощание с войной.

Мэри и Вероника сидели в отдалении на скамье, следили за мелькающими девочками, тихо разговаривали. Смерть Никиты опять притянула их друг к другу.

– Посмотри, родная моя, – сказала Мэри с нежнейшими грузинскими придыханиями. – Видишь эти кусты под окном спальни? В тот день и, я уверена, точно в тот момент, что-то меня толкнуло к окну. Мы как раз только что выставили зимние рамы, все открыли... воздух, запах весны... и вдруг мне показалось, что там Никита прошел, вернее, не прошел, а как-то быстро проплыл, как будто на боку проплыл через кусты... Уверена, что это он прощался со мной...

Вероника целовала ее щеку и ласкала плечо.

– Мэричка, я никому не хочу пока говорить, но я, возможно, скоро уеду в Америку.

– А как же Бабочка? Ты не дожدهшься его? – спросила старая женщина так, будто и не удивлена Америкой.

– Мне нужно как можно скорее уехать, – зашептала Вероника. – Это очень важно. Для всех. Для Борьки тоже. Поверь мне, Мэри, я спасаю не только себя.

– Кому же мне еще верить, если не тебе? Ты – мать моих внуков.

Они поцеловались и прижались друг к дружке. Подошла ревнивая Нинка:

– Пустите, что ли, меня в серединку!

Теперь сидели, обнявшись, втроем.

– Там, на похоронах, – вдруг сказала Вероника, – была женщина, которую он любил. Я хотела ее найти, но это было невозможно.

– Надо ее найти, – сказала Мэри.

– Зачем? – пожала плечами Нина. – Любил, ушел. Вспыхнул, погас. Так вот и мерцает вся земля.

Глава девятнадцатая

Озоновый слой

– Цецилия Наумовна, вас к телефону! – долетел из коридора голос соседской дочки, семиклассницы Марины, вполне благовоспитанной школьницы. На кухне между тем продолжали полускандално перекликаться, базлать, как они выражались, привычные женщины, квартиросъемщицы. Огромная коммуналка на Фурманном, вместившая двенадцать семей плюс одиночку Цецилию, продолжала жить своей кухонно-туалетно-коридорной возней.

– Эй, Наумовна! – хрипло проорала с кухни главная баба квартиры, тетя Шура Погожина. Она с утра уже была на посту у своей конфорки, все что-то перемешивала и дирижировала оттуда коммунальной жизнью.

– Ты, Маринка, в дверь ей стукни, небось не слышит!

* * *

В эту квартиру, к отцу, Цецилия Розенблюм переехала в тридцать девятом. До этого прожили они с Кириллом несколько счастливых лет в знаменитом московском доме «Деловой двор», что украшал собою бывшую Варварку. Этот дом, когда-то пристанище большого московского торгового дома, теперь давал крышу сонмищу советской бюрократии, министерствам и ведомствам. В тридцатые годы несколько его коридоров с оставшимися от прежних времен гостиничными зеркалами и решетчатыми дверями лифтов принадлежали жилфонду ВЦСПС. Там, в бывших номерах, селились по ордерам партийцы средней руки. Там даже жила легенда революции, знаменитая Анка-пулеметчица, о которой ходили пугающие слухи, что ее дочь Зинаида прижита от иностранца. По ночам в тридцать седьмом году ковровые купеческие дорожки, хоть и основательно вытертые за два десятилетия, все-таки приглушали шаги «соответствующих органов». Однажды как-то, уже после ареста Кирилла, Цилия проснулась от беспрерывного скрипа чьих-то дверей. Выглянула в коридор, там уже собралось несколько соседей. Все молча смотрели на восьмилетнюю Раечку Келлер, которая с отпечатанной будто не на рту, а на щеке улыбкой каталась на тяжелой двери своей комнаты, где она жила с отцом Илюшей

Келлером, преподавателем кафедры общественных наук МГПИ. Раечкина мама Ньюша уже несколько месяцев как не вернулась домой с работы, из того же МГПИ. В комнате, внутри, было темно, только видно было, как сильно вздуваются на огромном открытом окне бязевые занавески.

– Ты что же, Раечка, так среди ночи катаешься? – засуетилась было Циля, еще не понимая, что случилось что-то страшное.

– А вот так я и катаюсь, – грустно и нежно ответствовала Раечка.

Кто-то из соседей решился, попытался снять Раечку с дверей, она не поддавалась. Все еще ничего не понимая, Циля забежала в комнату. «Илюша! Илюша!» Ответа не было. На подоконнике она увидела след резиновой подошвы. Глянула вниз – Илюша, раскидав руки и ноги, недвижно лежал на тротуаре. Рядом с ним сочилась влагой оставленная на ночь тележка газированной воды.

Словом, жили. Однако в тридцать девятом гостиничные номера стал занимать Наркомат черной металлургии. Циле без излишних церемоний приказали собирать манатки: «Прописывайтесь обратно к отцу, Розенблюм!» Таким образом она и оказалась в коммуналке на Фурманном, подселась к своему скромнейшему «деду Науму», сидевшему уже двадцать лет счетоводом в райжилуправлении и все свое свободное время отдававшего любимому занятию – шитью великолепных сапог из материала заказчика, что приносило ему все ж таки, худо-бедно, что вы хотите, некоторый дополнительный доход. В конце концов и на Фурманном Циля осталась совсем одна, если не считать, конечно, двенадцати семейств по соседству, потому что дед Наум вдруг, не причиняя никому никаких хлопот, перебрался в неведомые края, где, возможно, уже не требовалось прятать взгляд и с притворной старостью шаркать подошвами.

После смерти папаши соседи стали присматриваться к Цилиной комнате, некоторые уже напрямую высказывались, что метраж ей отошел непропорциональный. «Четырнадцать квадратных метров на одну неряху, немножко несправедливо, не находите, товарищи?» – так, например, иной раз возвышала голос нотариус Нарышкина. Выручила, как ни странно, тетя Шура Погожина. Однажды вечером явилась к Циле с поллитрой:

– Давай выпьем, Цилька, за упокой души! – Слезы текли по бородавчатому лицу еще не старухи. – Эх, Наум, Наум, – все говорила она, всхлипывая. – Эх, Наум, Наум! Хошь верь, Цилька, хошь не верь, но я никогда на него не сказала, что сапоги шьет!

Обнявшись, они проплакали всю поллитру, и с той поры все разговоры о метраже прекратились: могущественней тети Шуры в квартире никого не было.

– Иду, иду! – Циля выскочила в коридор без юбки, спохватилась, бросилась назад, накрутила какую-то простыню вокруг тяжелой попы, что-то опять получилось, по выражению Иосифа Виссарионовича, «типичное не то», прибежала обратно, заметалась среди бесчисленных книг, пока не пришла спасительная идея надеть пальто.

В коридоре уже стоял грубый хохот. Там у входных дверей шпанистый подросток Сранин подтягивал спицы на своем пиратском велосипеде. Всякий раз при виде Цецилии Наумовны этот юный хмырь, почему-то гордившийся своей нецензурной фамилией, начинал петь популярную о ту пору антисемитскую песенку:

*Дохожку не спеша
Стахужска перешла,
Навстхечу к ней
Идет мильционех.*

Тетя Шура нередко цыкала на него, а то и веником замахивалась, но он неизменно доводил до конца великолепное пение:

*Свистка не слушали,
Закон нахушили,
Платите, бабушка,
Штхаф тхи хубля!
Ах, боже-боже мой!
Ведь я спешу домой,
Сегодня у Абхаши выходной.
Купила кухочку,
Фханцузску булочку,
Кусочек маслица, два пихожка.
Я никому не дам,
Все скушает Абхам,
А кухочку разделим пополам.*

– Артист, – со скрытым чувством говорил пространщик из Сандунов, папаша Сранин, если ему случалось быть поблизости к моменту

завершения куплетов. Подросток Сранин, спев все до конца, немедленно про еврейку Цилю забывал и начинал соображать, что бы ему сегодня сорвать, пролетая по Сретенке на велосипеде.

Между тем в телефонной будке звучал басок Нади Румянцевой:

– Ну, Цилька, тебя ждать, сдохнуть можно! Опять небось с голой попой в коридор выкатилась?

* * *

После той встречи у ворот Лефортовской тюрьмы в самом начале войны Циля и Надя стали душевными подругами, несмотря на существенные различия в политических и философских взглядах. Надя всегда выручала плохо организованную марксистку. Однажды пришла и видит Цилю у плиты. Читает, дура, как всегда, труды «симбирского идиота» и ужин, видите ли, себе готовит, а именно: стеариновой свечкой смазывает сковородку и кладет на нее где-то одолженные картофельные очистки. Оказалось, что не прикрепилась Цецилия ни к одному магазину и даже практически не знает, как это сделать; все продовольственные карточки пропадают втуне. Практически получается парадоксальная ситуация: из Института мировой политики ее еще до войны попросили как нераскаявшуюся жену врага народа и больше, конечно, никуда в штат не берут. Практически «вольный казак», Цецилия пробавляется лекциями через партпросвет, но те, разумеется, шваль марксистская, и слышать не хотят о прикреплении одиночки к своей системе. Словом, подыхай!

Сама Надя Румянцева много лет работала корректором в издательстве «Правда» и, хотя зарплата у нее была микроскопическая, получала надежный «литер В» и отоваривалась на полную катушку.

Ну, в общем, худо-бедно, ей удалось все-таки прикрепить подругу хотя бы к хлебному, получать свои 400 граммов черняшки. Просто на горло взяла в райисполкоме, на демагогию. Человек партийное слово проводит в жизнь, а вы ее голодом морите?! Затем познакомила дуреху с местной княжной, заведующей вузовской столовой на Маросейке, Гудьял Любомировной Мегаполис. Вот, Гудьял Любомировна, этот товарищ сможет для вашей дочки Осанны писать вдохновенные патриотические классные сочинения. Гудьял Любомировна пропела: «Любопытно», долго изучала пучок бесцельных Цилиных продовольственных карточек, встряхивала его, будто битую птицу, а потом произнесла с неожиданно широкой и ясной улыбкой:

– Приходите, милочка, с бидончиком к заднему ходу и назовите свое имя-отчество. Только не фамилию, умоляю!

В бидончик стали Цецилии почти регулярно наливать чечевичный суп, а иногда даже питательную жидкость «суфле». Чечевичный суп надо было, конечно, отстаивать. Часа через три вся грязь оседала на дне бидончика, а питательные бобы всплывали. Жидкость «суфле» она употребляла сразу, иногда даже не доходя до дома. Та же самая Надя Румянцева, между прочим прошуровав по сусекам покойного Наума, обнаружила сберкнижку с неплохим вкладом, явным результатом подпольного сапожного дела, она же настояла и на оформлении Цициного наследственного права.

Та же самая Надя Румянцева, между прочим, еще до всей этой волокиты с продовольственными карточками умудрилась вытащить Цецилию из ее кратковременной, но почти катастрофической эвакуации, где она уже почти прощалась с «формой существования белковых тел» на проклятой станции Рузаевка, но это уже отдельная история, не вмещающаяся в этот роман.

Здесь мы только лишь хотим указать на то, как Циле повезло в мире «объективной реальности». Вдруг явился сильный и чистый друг, приносящий столько благодетей. Приносящий и получающий, хотим мы добавить, потому что хоть от Цильки и мало было практической пользы, Надины благодетей приносили благо в ее собственную одинокую жизнь. Дающий всегда что-то получает взамен, хотя частенько этого и не замечает. Она замечала.

Она давно уже отказалась от поисков мужа, смирилась с потерей «Громокипящего Петра», однако никогда не осаживала подругу, если та начинала заново рассказывать о своих бесчисленных заявлениях и апелляциях. Никким образом не устроилась и личная жизнь Надежды. Похоже, что и на этом уже можно было поставить крест, подвести черту, завязать концы, как вам будет угодно. «Куда уж нам сейчас с тобой, Цилька, – говорила она. – Молодые девки с ума сходят, бросаются на любой обрубок, на любой крючок, а кто уж на нас-то с тобой позарится, на старых выдр». Говоря так, она, конечно, имела в виду самое себя. Цилья даже не очень-то, похоже, и понимала, о чем идет речь. Половая жизнь для нее просто закрылась как исчерпанный аргумент с уходом Кирилла. Иногда, впрочем, они забирались с ногами на кровать, курили в темноте и вспоминали своих мужей, их фигуры, одежду, голоса, фразы, романтические моменты жизни и даже интимные подробности, порой даже очень интимные подробности. Ну вот, и он тогда, ну и я... Ну и что ты? Ну?.. Ну и я, признаться, была удивлена...

Это были, пожалуй, самые сокровенные минуты для Надежды Румянцевой. Она тогда, пожалуй, просто обожала свою Цильку. Даже ее вечный противный запашок переставала замечать, этот ее вечный вульвовагинит.

* * *

– Ну что, ну что, ну что, ну что? – затарахтела Цецилия. С некоторого времени у нее стала иногда проявляться какая-то ступорозность: зацепится за какое-нибудь слово и бесконечно, бессмысленно им тарахтит: – Ну что, ну что, ну что, ну что?

– Цилька, ты не поверишь, произошло событие! – Голос Нади вдруг выдал сильнейшее, столь несвойственное ей волнение. – Приехал зоотехник Львов! Не важно, какой зоотехник Львов, важно, что оттуда! Откуда «оттуда»? Дуреха, не понимаешь? Короче, приходи к шести, он придет и все расскажет. Что расскажет? Цилька, это не телефонный разговор! Приходи, все узнаешь. Оденься попримечнее. Надень ту синюю, что я тебе дала. Обязательно надень ту синюю и белые носки! Поняла? И потом, помойся как следует, ты поняла? Нагрей воды и вся помойся, ты поняла?!

Ничего, разумеется, не поняв, Цецилия все-таки сделала, как говорили: промыла в ванной комнате все складки тела и даже приласкала слегка свои тяжелые груди. Из-под двери заброшенной ванной комнаты, которую жильцы давно уже использовали только для стирки, стала вытекать в коридор лужица. Нотариус Нарышкина базлала: вот вам, пожалуйста, не пора ли задуматься о некоторых, что разводят антисанитарию?!

К шести часам Цецилия в синей юбке и белых носках, а также в отцовском вельветовом пиджаке прибыла на Зубовскую, где в полуподвале с отдельным (!) входом проживала ее подруга Надя Румянцева.

Зоотехник Львов занимал своей персоной всю сторону стола: он был невероятно широк, хоть и не толст. При виде новой дамы встал, заполнив собой половину лачуги: он был исключительно высок, хотя обладал очень маленькой головой, небольшими женскими ручками и деликатными ступнями, обутыми в модельные (почти «розенблюмовские», подумала Цецилия) сапожки. В целом исключительно видный, представительный мужчина, отличный представитель нашего инженерно-технического персонала. Короткие светлые волосы, славянские глаза, слегка уже затуманенные, но опять же по-хорошему, чистым полезным ректификатом.

«Кажется, беспартийный», – подумала Цецилия, когда он поцеловал ей руку, и не ошиблась. Зоотехник Львов отсидел пять лет по бытовой статье, до войны еще освободился (судимость снята «за отсутствием состава преступления») и теперь работал вольнонаемным специалистом, «энтузиастом Крайнего Севера», то есть заместителем директора зверосовхоза «Путь Октября», что возле Сеймчана, то есть по соболям и черно-бурым лисицам.

Он рассказывал чудеса о том крае, откуда приехал в отпуск:

– У нас там сам Вадим Козин поет, девушки! «Сашка, ты помнишь эти встречи в приморском парке на берегу...» Колыма – это золото, девушки, лес, пушнина, огромные ставки с северными надбавками! Знаете, сколько с собой в отпуск везу? Я сам не знаю, сколько везу! Вот, пожалуйста, угощайтесь! – Он вываливал на стол из огромного мешка, что стоял за его стулом, разнокалиберные плитки американского шоколада. – У нас там Америка под боком, девчата! Ленд-лиз через нас идет, самолетами, пароходами!

И впрямь дивным американским уютом пахнуло из крохотной Надиной кухоньки, где жарилась привезенная Львовым американская ветчина, в сопровождении подмосковной картошки с лучком.

– Вот, говорят, витамины, – продолжал гость. – Некоторые утверждают, что на Колыме бушует авитаминоз. Не верьте, девушки! Посмотрите на мои зубы, один к одному, ни одной пломбы к сорока годам! Цингой никогда не страдал, даже в лаге... ну, в общем, даже в трудных условиях! А почему? Потому что летом Колыма превращается в неисчерпаемый резервуар витаминов! Все сопки красными становятся от брусники, орехов кедровых навалом! Нажрешься так, что на всю зиму хватает! А зима у нас знаете какая? «Эх, Колыма ты, Колыма, чудная планета. Двенадцать месяцев зима, остальное – лето!» Ну это так, фольклор! Зимой надо пить настойку стланика, милое дело! Мы даже зверю примешиваем в пищу, и что бы вы думали, зверь прибавляет в пушистости, а наши меха на международном аукционе за фунты стерлингов, за целые фунты стерлингов, девушки, за фунты, фунты, килограммы и центнеры стерлингов, стерлингов, стерлингов...

Голубые глаза временами стекленели, и рука сама по себе начинала плясать по столу в поисках бутылки с прозрачной жидкостью. Выпив, зоотехник Львов с некоторой лихорадочностью начинал закусывать, растаскивать хваленными зубами соленую кету, что крупными кусками громоздилась на столе.

– А рыба-то, а рыба! Вот эту кету сам брал! Заходи по колено в ручей и

руками вытаскивай! Такова Колыма!

– А вы не могли, вы, товарищ Львов, – начинала Циля (в кармане у нее лежало заготовленное письмо без адреса, но с именем любимого на конверте), – а вы не могли бы? – Но тут вбегала Надежда со свежими добавками кулинарии.

– Ну-ну, девушки, так нельзя! – хохотал Львов, разливая спирт по граненым стаканчикам, подкрашивая его «Тремя семерками». – Я один пью, а вы только закусываете! Интоксикация должна быть взаимной! Давайте за дружбу! За будущее счастье присутствующих и отсутствующих!

Надю Румянцеву узнать было нельзя: раскраснелась, размолоделась, словно комсомолка первой пятилетки. Щечки яблочками рдеют, чистый Дейнека!

– Ты посмотри, ты посмотри, Цилька, что мне привез зоотехник Львов! – вскричала она, вытаскивая из-за фартучка. – Письмо от Петра! Он жив и здоров, работает при звероферме! Ой, да я просто не знаю, ну просто не знаю, что для тебя сделать, зоотехник Львов! – И она присаживалась к гостю на длинное колено и ерошила его волосы. – Да, ой же, Цилька, ты его попроси про твоего там справки навести, он всех на Колыме знает!

Циля вытащила из вельветового кармана заветное письмо:

– Я как раз, товарищ, хотела вас попросить, вот, если вам не составит труда, вдруг какая-нибудь случайность... У моего мужа, с которым, без сомнения, произошла серьезная ошибка... ну, в общем, говорят, что без права переписки, но в деле этого нет, то есть формально он именно с правом переписки, хотя...

– Ну-ну, Цилечка! – Зоотехник Львов одной рукой оглаживал спину Надежды Румянцевой, второй же сильно и дружески, едва ли не целительно, провел по всему Цилиному хребту от затылка до копчика. – Ну-ну, девчата, не скулить! – Он подцепил Цилино письмо, глянул на имя и кивнул: – Лады, Кирюше Градову доставим!

– Что-о-о?! – вскричала, вскакивая, хватаясь за сердце и сверху, над грудью, и снизу, под грудью, Цецилия. – Вы его знаете?!

– Как ни странно, вообразите, знаю! – хохотал зоотехник Львов. – И с Петей они знакомы, даже друзья неразлучные. Только вот нынче он на бесконвойную командировку в Сусуман этапировался. Я сам его временно туда отослал, чтобы начальство не придиралось. Но там он в порядке будет, ты, Цилечка, не беспокойся. Интересный человек твой Кирюша, очень положительный...

Спасаясь от нарастающего головокружения, Циля хватанула до дна стаканчик обжигающей подкрашенной влаги. Нечто бравурное, сродни

какому-то нарастающему детскому маршу, охватывало ее. Он жив! Мой мальчик жив!

– Зоотехник Львов, вы какой-то необыкновенный, вы какой-то просто сказочный, если не сочиняете, посланец! – млела под мужской рукой Румянцева.

Гость уже влек ее за штору, где высилось пухлявое безбрачное ложе. Шторка задернулась, кровать пошла на разнос. «Вот такие пироги, – приговаривал с надсадом зоотехник Львов. – Вот такие пироги!» Надя Румянцева заливалась по-соловьиному. «Цилька, не уходи!» – крикнула между руладами.

Циля и не думала уходить. Не обращая ни малейшего внимания на зашторную раскачку, ходила взад-вперед по полуподвалу, папироса в зубах, папироса на отлете, дым изо рта, как из полыхающей домны. За окном иногда в свете фонаря прошлепывали разбитые сандалии с окаменевшим набором пальцев.

«Значит, ты жив! – думала Циля. – Значит, я была права, а не те, серебряноборские! Значит, мы с тобой еще увидимся, значит, снова схватимся по Эрфуртской программе, снова вместе разнесем в клочки релятивизм Шпенглера!»

«Все выше, и выше, и выше!» – запели за шторкой на два голоса. Выше было уже некуда. Триумф авиации!

Что такое? С масляной мордочкой, будто собственная несуществующая дочка, из-за шторы выскочила Надя Румянцева. Влезает в какие-то красные – что-то раньше таких не наблюдалось – трусики.

– Цилька, теперь ты! Иди-иди, дуреха, это не измена! Это же друг приехал к нам, большой друг!

– Нет уж, увольте! Вы что, товарищи?! Товарищи, товарищи! – Циля упиралась, но маленькая рука большого друга, высунувшись из-за шторы с лютиками, уже ухватила ее за подол.

– Эх, Цилечка, да разве же ты не понимаешь? Войне конец, и тюрьме конец.

* * *

Угомонившись, все трое прогуливались по ночной Кропоткинской, до Дворца Советов и обратно.

– Вот здесь, между прочим, жила Айседора Дункан, – на правах

москвички показала Циля зоотехнику Львову. – Слышали о такой деятельнице революционной эстетики?

– Только в связи с Сергеем Есениным, – сказал колымчанин и неожиданно для дам процитировал: «Пускай ты выпита другим, но мне остались, мне остались твоих волос стеклянный дым и глаз осенняя усталость».

У всех троих были смоченные и приглаженные волосы. Впервые за долгие годы вокруг них образовался озоновый слой свежести и надежды.

– А вот скажите, Львов, – по-светски неся папиросу в чуть откинутой вбок руке, спросила Надежда Румянцева, – вот вам не страшно передавать приветы женам врагов народа?

– Страшно, – сказал зоотехник Львов. – Однако в мире есть кое-что и кроме страха.

* * *

Как раз в ту ночь, а с учетом разницы во времени, возможно, как раз к моменту этой августовской прогулки, на Хиросиму была сброшена атомная бомба. Начинался век большой технологии.

Глава двадцатая

«Путь Октября»

В октябре 1945 года в Елоховском соборе служили торжественную литургию в связи с окончанием военных действий, разгромом злейшего врага Германии и победой над Японией. Службу вел сам митрополит Крутицкий и Коломенский Николай. Пел хор из Большого театра, участвовали и солисты, народные артисты СССР.

«Вознесем Господу нашему, братия, благодарственную молитву за дарование победы в великой войне! Вознесем славу героической нашей армии и ее вождю, великому Сталину!»

Великолепно вступил хор: «Славься, славься ты, Русь моя! Славься ты, русская наша земля!»

– Помнишь, откуда это? – шепнул Кевин Веронике.

Она кивнула:

– Ну, Глинка, конечно, «Иван Сусанин».

– Раньше эта опера называлась «Жизнь за Царя», – напомнил он, – и пели иначе: «Славься, славься, наш русский царь, Господом данный нам государь...»

Она улыбнулась ему через плечо, на котором покоилась высококачественная черно-бурая лисица.

Кевин недавно вышел в отставку и с удовольствием перекочевал из пентагоновских одеяний в свои длинные коричневые и серые костюмы, а также в темно-синее пальто из мягкой альпаки. Днями они уезжали из СССР. Сначала в Стокгольм, потом в Лондон, а дальше уже к коннектикутским подстриженным лужайкам.

Надо бы расчувствоваться, пустить слезу, думала Вероника, ведь это же прощание с родиной. Нет, не могу, слеза не выдавливается, родины не чувствую. За Тараканище молиться? Пардон, без меня!

Великолепно шла литургия, однако духовенству было не по себе. Присутствовали лишь члены дипломатического корпуса да некоторые, редкие «деятели науки, литературы и искусства». Никто из ожидавшихся высших чинов не явился. Церкви вновь напомнили, что она отделена от государства.

Осенью 1945 года рано запуржило на Колыме в районе прииска Джелгала. В октябре по открытым местам, по слежавшемуся уже насту мела могучая поземка, порой взлетающая и завивающаяся у валунов, как

волна у парапета. В иных распадках, впрочем, зелень стояла еще нетронутая, бока сопок синели или багровели под перезревшей ягодой, падавший мирно, как в опере, снег тут же таял у теплых источников. Туда устремлялись бесконвойные зеки, чтобы нахаваться витаминами на всю зиму. Жадно пили и воду из петляющего по распадкам ручья: считалась, конечно, чудодейственной.

Иногда выпадало такое благо и на долю обычной, то есть подконвойной, рабсилы, если попадались человеческие вохровцы. Вот, например, Ваня Ночкин, рязанский лапоть, как он сам себя иной раз любовно называл. Конвоируя знакомую «контру» на ночную смену в зверосовхоз, он нередко в сумеречный час останавливался в таком оазисе вроде бы отлить или на корточках посидеть; отпускал, стало быть, рабсилу попасться в ягоднике. Сидел, кряхтел, любовался полосками заката над дикой землей, мечтал о том, как домой вернется после «дембиля», как будет врать сельчанам про войну с японцами.

В тот вечер, однако, протопали поверху над распадком, прямо сквозь пургу к огонькам совхоза. Никто из «контриков» даже не намекнул Ване, что, мол, неплохо было бы облегчиться. Вся дюжина бодро чимчикovala и меж собой разговаривала мало, как будто боялась опоздать на работу. Народ в общем-то был сытый, трудоспособный: подкормились и обогрелись при зверье капитально.

Среди этой дюжины шел и сорокатрехлетний Кирилл Градов. В ушанке, телогрейке, ватных штанах и крепких чунях, он выглядел как надежно пристроенный к какому-то блатному или полублатному, во всяком случае к неубийственному, делу зек. Так оно и было на исходе восьмого года его заключения, но сколько всякого этому предшествовало, сколько умираний и тлеющих ненавистных возрождений!

* * *

В колымские лагеря он попал еще на исходе так называемой гаранинщины, когда гулял по приискам бесноватый полковник Гаранин с пистолетом в руке, когда на каждом вечернем разводе хмыри из УРЧа выкрикивали имена так называемых саботажников, которых тут же, что называется, не отходя от кассы, выводили в расход за углом барака. «Нам-то с вами, Градов, как тюрзекам уж наверняка не уцелеть, – говорил ему московский знакомый, сосед по нарам Петр Румянцев. – Так что не рассчитывайте на золотую старость и вечерок у камелька с Аристотелем на

колених».

Вдруг в начале сорокового по Севлагу пошло другое поветрие – сохранение рабочей силы. Гаранин куда-то исчез, и Градов с Румянцевым временно уцелели. В бесконечной лагерной пересортировке они потеряли и забыли друг друга, естественно не подозревая, что через полтора года их жены, или, как нередко с юмором говорили в мужских зонах, «наши вдовы», встретятся в очереди у Лефортовской тюрьмы и станут закадычными подругами.

Кирилл угодил в шахту на прииске «Золотистый», что находился всего лишь в сотне-другой, если по прямой, километров от адской прорвы Зеленлага, специального лагпункта для особо опасных государственных преступников, где в это время пытался выжить его родной брат, гордость семьи, Никитушка-Китушка.

Трудно сказать, какие преимущества имели обычные севлаговцы перед обреченными зеленлаговцами. На «Золотистом» Кирилл стал очень быстро «доходить», все даже как-то уже и смешалось в его голове, однако вновь незадолго до войны прошел какой-то слегка не столь наждачный бриз, и он вместо морга угодил в ОПЗ, то есть в оздоровительный пункт, где стал получать невыносимо вонючий, но явно полезный жир «морзверя».

Едва оклемался Кирилл в ОПЗ, как началась война и вместе с ней по Колыме, будто проволокой помели, пошел свирепый ураган все новых и новых инструкций об усилении режима, повышении бдительности к предателям, террористам, оппозиционерам, фашистским наймитам и троцкистам, поди разбери. Подхваченный этой проволочной метлой Кирилл загремел на леденящую душу еще с гаранинских времен Серпантинку. Традиции железного чекизма там поддерживались на славу, хотя инструкций кончать прямо за углом пока еще не поступало. Он снова начал там очень быстро «фитилить», и снова случай выдернул его из увядающей, слабо шамкающей неживыми ртами массы. На этот раз это был медбрат Стасис, он взял его к себе санитаром.

Вот так и швыряло кандидата марксистских наук Кирилла Градова все восемь лет его хождений по стране практического марксизма. То захлопывалась уже над ним крышка канализации и он опускался для окончательного размыва в хлорную известь, то он вдруг выскакивал каким-то никчемным пузырьком на поверхность. Из шахты вдруг попадал в рай земной, в теплую долину, подсобником на квашпункт. Капусты! Турнепса! А то вдруг среди голодухи сорок третьего получал от сердобольной поварихи целую пол-литровую кружку дрожжей. Сытым бабам в кошмарной округе почему-то нравились его глаза. «Ну и глаза у тебя,

мужик! Чего стоишь, как неродной? Давай заходи, не студи хавиру!»

Была одна любопытная деталь в лагерной судьбе Кириллы, деталь, о которой он сам не имел отчетливого представления и о которой, к счастью или к несчастью, не имело представления лагерное начальство. В тридцать седьмом, после двух недель чекистских беснований, его приволокли на суд так называемой тройки и быстренько отштамповали приговор: десять лет исправительно-трудовых работ без права переписки. Далее пошло все, как у обычных зека: пересыльные тюрьмы, этапы, доставка на Колыму. К тому времени он уже прекрасно знал, что означает формулировка «без права переписки», однако чем дальше, тем больше ему начинало казаться, что эта формулировка где-то потерялась по отношению к нему по мере продвижения на восток.

Надя Румянцева, сказав как-то у ворот Лефортовской тюрьмы: «Не удивлюсь, если у них там такой же бардак, как везде», была близка к истине. Скорее всего, формулировка осталась по недосмотру в какой-то одной папке кирилловского дела и не перекочевала в другие. В одних списках он, возможно, существовал как ликвидированный, в других же получал лагерное довольствие как обычный составной элемент колымской рабсилы. Однажды он решил испробовать судьбу, написал письмо Циле. Ответа он не получил, но года через два в лесной командировке на Сударе свалилась ему в руки из почтового грузовика посылка, производя эффект мягко опустившегося из небесных глубин золотого метеорита. В посылке была и написанная ее любимым псевдоготическим, как они шутили, почерком записка, из которой он понял, что то его письмо до нее преспокойно дошло, а вот ее все предыдущие отправки либо канули в неизвестность, либо были отвергнуты.

Стоит ли рисковать, думал он, и ее будоражить, и вызывать на свет зловещую формулировочку? Пусть живет так, как будто я мертв, пусть найдет себе мужа; я ведь все равно не совсем тут жив, хоть и привык к этой нежизни и боюсь «формулировочки».

Вдруг он признался себе, что нередкие мастурбации оттеснили Цецилию к периферии в его памяти. Здоровые молодые мужики в лагере решали половую проблему хоть и простым, но довольно вдохновенным образом. Это называлось «сходить за кипятилку». По ночам, за полчаса до отбоя, за сараем с двумя пыхтящими титанами всегда стояла группа, а иногда даже и толпа мечтательно зырящих в небо зеков. Слышались стоны, иногда рыканье; каждый плавал в собственном воображении. Кириллу почему-то никогда не грезилась собственная жена, зато всегда появлялась в этих «путешествиях» какая-то смуглая тоненькая девчонка, похожая на его

сестру, если не она сама.

Иные ушлые зеки умудрялись заводить за зоной знакомых вольнонаемных и через них налаживали надежную корреспонденцию. Кирилл ни разу не попытался этого сделать. Иногда он признавался себе, что ему даже не хочется, чтобы его считали живым там, в том мире, где отец его стоит с добрыми огнями в глазах посреди своего, похожего на него самого дома и сам похожий на этот дом, где мать тащит его, четырехлетнего, приговаривая со смехом: «Кирилл-Упал-с-Перил! Вот уж этот Кирилл-Упал-с-Перил!» Брат наверняка убит, что мне-то вылезать в живые? Что же мне-то опять унижаться, вместо него выставляться живым, говорить им: хе-хе, все-таки не унывайте, Никитушка-Китушка убит, но я-то, Кирилл-Упал-с-Перил, все-таки жив!» Такие странные мысли иногда мелькали в его голове, но он, спохватываясь, немедленно приписывал их авитаминозу.

Нередко, впрочем, ему казалось, что он и не жив вовсе. Вполне возможно, что «формулировочка» еще тогда, в тридцать седьмом, была приведена в исполнение, а я из-за побоев этого просто не заметил. Может быть, меня сбросили в общую яму и засыпали хлоркой, а то, что сейчас со мной происходит, это просто постепенное, посмертное угасание сознания, или наоборот... Что «наоборот»? Что может быть наоборот?

А вот, может быть, наоборот, нынешнее несуществование – это лишь начало чего-то грандиозного, мучительный проход к феерии истинной жизни и бестелесному царству свободы и красоты?

В обоих случаях, что значит наш земной путь с его триумфами и провалами, с его шампанским и хлорной известью? Что все это значит и не является ли весь наш марксизм простым увиливанием от вопроса? Весь этот революционный порыв, которым я с такой страстью и верностью жил, лишь увертка?

– Как ты думаешь, есть в этом какой-то смысл? – спросил он однажды медбрата Стасиса.

Могучий литовец из Мемеля всем своим видом, казалось, опровергал нереальность лагерного существования. На самодельных лыжах он скользил по снежному насту, прокладывал путь от одной командировки до другой. И доходяги, увидев появляющегося из пурги широкоплечего, длиннорукого лыжника с поросшими ледяным мхом бровями, с серым свечением глаз, с яблочным румянцем, со всей этой комбинацией красок, напоминающей о каких-то детских снегирях, встряхивались, чтобы прожить еще один день и отойти к еще одному живому сну.

– Пожалуйста? – не поняв вопроса, Стасис всем телом повернулся к

своему санитару.

Они сидели в покосившейся хавире медпункта. Во всех углах постанывал упорно просачивающийся под крышу ветер. Снег быстро заметал мутное окно. На плите в углу кипятились шприцы. «Если бы слушался отца и шел в медицинский, – говорил часто Стасис, – ты был врач, врач! Ты понимаешь, врач даже в лагере врач, не зек!» Медбрат обожал медицину, и среди его заветных книг, что он таскал за собой с одной командировки на другую, был учебник общей хирургии профессора Б.Н.Градова, написанный в давние времена, когда тот только занял кафедру и обнаружил существенные недостатки в методике преподавания. Этот учебник, собственно говоря, и спас жизнь Кириллу. Перевязывая обмороженных, медбрат Стасис вдруг споткнулся на фамилии Градов и со смехом спросил, не родственник ли знаменитому профессору. Узнав же, что родной сын, бросился немедленно спасать. С тех пор чуть ли не год, до очередного колымского поветрия, они были неразлучны, обходя самые отдаленные лесоточки и командировки, то есть охватывая их медицинской помощью и санитарными мероприятиями, стараясь все-таки не только форму соблюсти, но и на самом деле что-то сделать для обитателей этих призрачных «точек» и «командировок».

– Ну, есть какой-нибудь смысл в человеческой жизни? – продолжал Кирилл той ночью в свистящей и воющей на все голоса тайге. – Мы всегда называли это «проклятыми вопросами», Стасис, и привыкли относиться к ним с улыбкой. «Проклятые вопросы русских мальчиков» и все такое. Все это снисходительно, но никогда не всерьез воспринималось. Особенно в нашей семье, с ее позитивизмом девятнадцатого века, с верой в человеческий гений, в науку... Ты все понимаешь, Стасис? Если не все, скажи: я повторяю, могу даже немного по-немецки...

– Я все понимаю, – коротко сказал медбрат Стасис. Он сидел теперь спиной к Кириллу, не оборачиваясь и глядя прямо перед собой на отсвечивающий под слабой лампочкой бок стерилизатора.

– Понимаешь, вроде бессмысленный неврастенический вопрос, когда нужно бороться за свои идеи, за будущее, за новое общество, когда жизнь почти полностью подменена литературой о жизни и ты сидишь за чайным столом в окружении не только своей семьи, но и всего сонмища лиц, формирующих внутренний мир русского интеллигента, лиц, которые уже столько раз задавались тем же вопросом и как бы отвечали на него фактом своего существования в некоем умозрительном пространстве.

Даже на войне, среди смерти, среди постоянного и привычного надругательства над плотью, этот вопрос кажется неуместным, потому что

там бушует страсть, гомерические чувства, разыгрывается действие, идет театр. «За родину!» – вот бессмысленный смысл мгновенно уничтожаемых жизней, «За свободу!» ну и так далее, вся эта музыка.

Музыка, Стасис! Только здесь нет музыки, на каторге, в лагерях, за тачкой, в бараке, в баланде... Здесь уже все без обмана, просто распад белка, смерть литературы, утрата всех героических и антигероических поз, простое шествие в яму...

– Здесь тоже есть, имеет быть музыка! – вдруг с жаром перебил его Стасис, но тут же, будто спохватившись, сразу замолчал.

Кирилл щелчком сбросил в печурку остатки докуренной почти до пальцев сигарки:

– Я знаю, что ты имеешь в виду, медбрат. Веру? Христианские мифы? Я знаю, что ты верующий, видел, как ты молишься. Не бойся, не наступчу.

– Я не боюсь, Кирилл. И это не обман, Кирилл. – Стасис теперь повернулся лицом к Кириллу и сидел ссутулившись, приподняв большие, будто навьюченные мешком плечи и опустив переплетенные набухшими венами руки и длинное лошадиное лицо.

– Ну, научи меня верить, Стасис! – с удивившей его самого страстью попросил Кирилл. – Я знаю, что Маркс сдох, но откуда мне знать, что Бог жив, когда все говорит об обратном? Ну, научи, медбрат?!

– Хочешь взять выпить? – спросил Стасис, кивком головы показывая на заветную склянку с притертой крышкой.

– Не надо, – отказался Кирилл. – Со спиртом это легко, но только на минуту. Я хочу всерьез... попытаться уверовать... Ну... ну расскажи мне о себе! Кто ты?

Ветер, очевидно, оторвал от дерева сук и швырнул его на провода. Маленькая лампочка погасла. Красноватый, дрожащий и слабый свет из печурки как нельзя лучше подходил для ночных откровений.

Стасис Йонаскис происходил из балтийского племени куршей, что расселилось на песчаных дюнах перед вечным накатом моря между Мемелем и Кенигсбергом. Отец его в Первую войну потерял ногу и потому вынужден был оставить хутор и баркас и найти себе другую работу, а именно сторожем при монастыре францисканцев. В монастыре прошло все детство Стасиса. Он прислуживал на мессах, монахи учили его читать и писать, а также географии, истории и биологии. Разумеется, читал по-немецки и по-латыни святые книги. Кроме того, занимался спортом. Пожалуйста? Да-да, конечно, спортом. В семнадцать лет он выступал за команду монастыря по гребному спорту. Так что получилось вполне натурально быть монахом. Да, постричься в монахи, спасибо. Не

натурально, ты говоришь? Пожалуйста? Нет-нет, я хотел быть слуга Бога, и я был счастливый. Изучал медицину. Вот именно, будучи монахом, Стасис изучал медицину в фельдшерской школе. Это было уже в Литве, в Паланге. Там, после катастрофы, он попал в облаву. На переписи сказал, что фельдшер, но не сказал, что монах. Вот и все. Никто в Советской России не знает, что он монах. Теперь только Кирилл знает, но он ему верит. Если узнают, что он францисканец, тогда ему конец, потому что для них это, наверное, хуже, чем троцкист. Между прочим, он очень счастлив, что его здесь называют «медбрат Стасис», потому что это звучит почти как «брат Стасис», если не лучше.

* * *

– Ты сказал, что ты очень счастлив? Разве можно быть счастливым на Колыме? – спросил Кирилл.

Медбрат Стасис был убежден, что можно. Медицинская помощь дает очень много не только пациенту, но и врачу. Особенно если веришь в Бога и постоянно молишься ему. Здесь, в лагерях, надо молиться не только время от времени с чтением молитв, но каждый миг. Он, медбрат Стасис, научился вдыхать Бога, и это всегда будет с ним, никто не сумеет это отобрать до конца земного плена. Вот именно плена, Кирилл, но если потом ты хочешь свобода, это твой воля, ты делай это сам сейчас для свобода всех, прости мой русский язык. Этому, к сожалению, нельзя научить, это не спорт и не медицина. Вера и жизнь – это одно, если ты это постиг, значит, победил.

– Но все-таки ты меня научи хотя бы каким-нибудь молитвам, медбрат Стасис, – вдруг, прослезившись и хныкая, как дитя, попросил Кирилл.

– Я, к сожалению, не знаю их по-русски, – сказал Стасис. Он не уговаривал Кирилла перестать плакать, а, наоборот, смотрел на все усиливающиеся рыдания морщинистого сурового лица с самой что ни на есть светлейшей радостью.

– Дай мне их по-латыни, я запомню, – умолял Кирилл.

Так началась их дружба, что совсем не означает, будто Кирилл немедленно усвоил сокровенное умение медбрата «вдыхать Бога». Несколько месяцев они провели вместе как фельдшер и санитар, потом колымские сквозняки разбросали их по разным лагпунктам. Иногда их дорожки пересекались, и тогда они радостно бросались друг к другу, обхлопывали друг друга по всем бокам, как бы желая удостовериться, что

кореш жив, говорили чаще всего о лагерной чепухе, о том, чем жив был полуживой люд лютого царства, и только урывками шептали вместе латинские слова молитв. Иногда они не виделись месяцами, но всегда, на протяжении всех этих лет, да и дальше, на протяжении всей оставшейся жизни, в памяти Кирилла не тускнела та, почти кромешная ночь в хавире инструментальщика, переделанной во временный медпункт, когда он вдруг весь пролился детскими слезами.

В 1945 году вдруг несказанно подфартило: попал под надежную крышу зверосовхоза «Путь Октября», в котором правил удивительный человек, зоотехник Львов. Совхоз этот напрямую подчинялся московскому могущественному ведомству «Союзпушнина», поэтому местные бонзы УСВИТЛа на него только издали клацали зубами: их власть туда не распространялась. Кто-то там вычислил, что пушной зверь лучше размножается в колымских вольерах, чем где бы то ни было, и зоотехнику Львову даны были большие полномочия и по развитию производства, и по набору рабочей силы. Чудаковатый Львов вел себя так, как будто не понимал, что живет в сердцевине гигантской каторги. Охотился, рыбачил, выпивал, слушал пластинки с музыкой из оперетт. Это не мешало ему, как хорошему рабовладельцу, приезжать в лагпункты для отбора рабочей силы. Отобрав, однако, он уже за свой народ стоял и зеков никогда не унижал, напротив, с некоторыми даже здоровался за руку, поддерживал почти приятельские отношения. Вот съездил в отпуск на «материк» и привез живые приветы от жен Петру Румянцеву и Градову Кириллу. Ну и зеки ему платили верностью, рвением в работе. Совхоз процветал. Работаем, ребята, на фунты стерлингов, говорил зоотехник Львов, на тяжелую валюту! Тяжелее золота!

Сегодня ночная смена двигалась от зоны к совхозу через нарастающую пургу особенно споро, крепким шагом, что твоя блоковская дюжина. «Революционный держите шаг, неугомонный не дремлет враг!» Причина такой спешки, однако, крылась не только в рвении, но также и в том, что этой ночью ожидался приезд медбрата Стасиса.

Пока шли, окончательно стемнело, впереди не видно было ни зги, однако стал уже доноситься характерный шум зверосовхоза, никогда не прекращающийся лисий лай. Сотни животных с драгоценными шкурами крутились в вольерах, вокруг кормушек, выясняли свои отношения, требовали еды. Кормили их так, как не снилось в лагерях и «придуркам». Государство знало, кого как кормить. Если бы у зеков были такие же пушистые, красивые шкуры, нас бы тоже здорово кормили, а потом бы забивали, обдирали и дубили, как мы забиваем, обдираем и дубим этих лис.

Не знаю только, жрала бы тут обслуга котлетки, как мы иногда жрем тут котлетки из лисятины. Страшный концлагерь, вот что это такое, в моменты мрака думал Кирилл. Фабрика смерти, капище первородного греха.

Он работал в дубильном цехе, где свежие шкурки подвергались первичной обработке. Оттуда их отправляли в упаковочную и далее на «материк», на мехкомбинат, где они уже превращались в элегантнейший товар. Временами ему удавалось отвлечься от сути своего дела и посмотреть на шкурки лишь как на сырье. Счищал скребком окровавленную мездру и даже умудрялся думать о чем-нибудь другом, разговаривать с товарищами. Иной же раз эта суть вдруг пронзала его, и он казался себе грязным блудливым губителем живого, Божьей твари, столь гибкой и ловкой, с вертящимся хвостом, с искринками в меху, с лукавинкой в маленьких, все мгновенно улавливающих таежных глазах. Однако ведь и тварь эта для поддержания жизни должна убивать или, как вот здесь в своем концлагере, жрать убитое, и так все и идет в тварном мире, круговорот жестокости, выливающийся, в конечном счете, в море человеческого террора. Где же исход?

Топали чунями, бахилами, валенками, а то и настоящими галошами, стряхивали треухи, шарфухи, рукавицы в прихожей совхозоуправления, тут же вениками выметали наружу снег. Ваня Ночкин ружжо поставил в угол, благо незаряженное, не стрельнет. «Ну а что, медбрат сегодня пришедши?» – «Ну а как же, давай-давай, ребята, топай все на прививку в красный уголок!» Дюжина потопала по дощатому долгому коридору, все были тут друзья и надеялись, что среди них нет стукача.

По дороге в коридоре попался сменившийся Румянцев Петр, этот на ходу уже читал что-то фундаментальное. Шутливо пихнул локтем Градова Кирилла, шепнул: «Клерикалы вы, мракобесы!»

В полутемной комнате «вечно живой» тускло отсвечивал лысиной черного камня. «Десять сокрушительных сталинских ударов» синими клиньями пересекали пространство незабываемого «материка». Под картой медбрат Стасис быстро из акушерского чемоданчика вынимал и расставлял на полочке свое хозяйство: распятие, крошечный складень, триптих лагерного художника «Мадонна Литта», мензурки разведенного вина и нарезанный мелкими кусочками американский «ватный» хлеб для причастия. Ваня Ночкин с ружжом встал в углу: «Быстрее молитесь, робята, а то нас всех тут на месте пришибут!»

Медбрат Стасис обернулся к дюжине зеков и поднял руки. «В день всех святых помолимся, братья, нашему Господину Иезусу Христу!»

Он встал на колени, и вся дюжина быстро к нему присоединилась, и

Ваня Ночкин, зорко оглянувшись, последовал примеру старших.

Тихо запел медбрат Стасис свой собственный перевод из матери языков, святой латыни:

*Верим в единого Бога,
Отче Всемогущего,
Небес и Земли Творца,
Всего видимого и невидимого.
Верим в нашего Господина, Иезуса Христа,
Сына Бога Единственного,
Навеки рожденного от Всемогущего,
Бог от Бога, Свет от Света...*

Подвывала по углам пурга. Доносился неумолчный лисий лай.

Антракт IX. Пресса

Скандинавское телеграфное бюро

Генерал Власов во время пропагандистского тура был арестован в Риге гестапо за то, что слишком много говорил о России. По слухам, он помещен в концлагерь.

«Обнова», Белград

Глава Русской освободительной армии генерал Власов сказал, что его внешняя политика строится на основе «искренней, стойкой дружбы между русским и германским народами.

Нашим главным врагом, – продолжал он, – была и сейчас является Англия, чьи политические и экономические интересы всегда противоречили России. После войны в России должна быть тоталитарная система».

«Нью-Йорк Таймс», 21 мая 1945 г.

Во время баррикадных боев в Праге на помощь партизанам пришел, явно желая спасти свою шкуру, генерал Власов. Партизаны приняли помощь, однако никто, похоже, не знает, что произошло с Власовым, когда 9 мая пришла Красная Армия.

29 мая 1945 г.

Как выясняется, Гитлер был против того, чтобы иностранные прогерманские части носили немецкую форму. «Каждый бродяга лезет в немецкую униформу!.. Пусть эти казаки носят свою форму!»

27 июня 1945 г.

Генерал Власов в руках Советов, сообщает корреспондент газеты в Москве.

Части власовской армии гитлеровцы использовали против партизан в Югославии и против «маки» во Франции.

2 августа 1946 г.

Московское радио сообщило, что по приговору военной коллегии Верховного суда генерал Власов и десять его офицеров были подвергнуты казни через повешение.

«Ньюсуик», январь 1944 г.

Передают, что во время Тегеранской конференции Уинстон Черчилль от имени Короля Георга VI вручил маршалу Сталину на церемонии в советском посольстве так называемый «Меч Сталинграда», выкованный 83-летним кузнецом Томом Бизли. Глубоко тронутый Сталин поцеловал меч, после чего передал его маршалу Ворошилову. Ворошилов уронил королевский подарок.

Аверелл Гарриман: «Вести переговоры с русскими – это все равно что дважды покупать одну и ту же лошадь».

Антракт Х. Лейб-гвардии гуси

В конце нашей второй книги, осенью 1945 года, мы видим профессора Бориса Никитича Градова на берегу озера Бездонка. В закатный час. В одиночестве. Любой час сейчас для меня закатный, думал он. Война окончилась. Мне семьдесят лет. Семья разрушена. Все вдохновения – фальшь. Даже медицина. Закатный час. Жизнь может оборваться в любой момент. Как, впрочем, и у любого *Homo sapiens*, как старого, так и молодого. Каждый день, в принципе, напоминает тот танковый бой в подсолнухах, после которого мы встретились с Никитушкой. Как верно он тогда говорил об интоксикации войны, об опьянении, которое только и дает возможность идти в бой, то есть жить, не думая о смерти. Сейчас мой хмель уже испарился до конца, и эти отблески заката на зеркальной воде не вдохновляют больше ни на миг, ни на долю мига, если только не...

Если только не появляются гуси. Они появляются. Девятка могучих птиц, нагулявших силу на заполярных болотах, направляется по вечному маршруту к дельте Нила. Озеро Бездонка, оказывается, одна из посадочных площадок на их пути. Клин снижается, вожак старается посадить всю команду разом, в одно касание. «Делай, как я! Делай, как я! Делай, как я!» – кричит он. На мгновение эскадрилья как бы зависает и затем приводняется. Высший пилотаж!

Старый профессор вдруг преисполняется восторгом от причастности к гусиному триумфу, ко всей этой странной феерии, что разыгрывается на планете Земля. Может быть, некогда и некая часть моей сути была перелетной тварью? Кто знает, через какие трансформации проходят наши сути за пределами суеты? Что помешает нам вообразить эту девятку отрядом павловских гвардейцев, приученных к гусиному шагу под свист русско-прусских флейт и бой преображенского барабана? Что помешает нам представить, как они стаскивали сапоги, чтобы перейти с гулкового гусиного шага на бесшумный кошачий по коридорам Инженерного замка? Ради свободы, ради избавления родины от тирана, во имя либеральной истории – тихий перепрыг к грязному, мокрому делу... И все вокруг корчится от греха, и все вокруг задыхается от любви.

Старому профессору кажется, что кто-то вместе с ним проходит через те же мысли, сидя на берегу холодной и темной воды, кто-то маленький и бесконечно любимый. Он поворачивается и идет по тропе в сторону дома.

Вашингтон – Москва

Книга 3. Тюрьма и мир

*Мы все ходили под богом.
У бога под самым боком...
Однажды я шел Арбатом,
Бог ехал в пяти машинах...*

Борис Слуцкий

Выделявшийся среди поэтов зрелой советской поры своим талантом, автор приведенных в эпиграфе строк все-таки не достиг ясности Хлебникова, а потому этот, как и предыдущий наш эпиграф Л.Н.Толстого, нуждается в некотором пояснении.

Называя Сталина «богом», Борис Слуцкий, естественно, как человек, воспитанный на идеалах коллективизма, материализма, интернационализма и прочей коммуналки, употребляет это слово в сугубо негативном смысле. Уж конечно, не Бога, Творца Всего Сущего, имеет он в виду, а некое идолище, узурпатора светлых идей революции, тиранище, надругавшееся над вдохновениями молодых ифлийцев, установившее свой культ над поруганной народной демократией. Потому и снабжает он своего «бога» ошеломляющим, с точки зрения материалиста, парадоксом – едет одновременно в пяти машинах! Перед нами морозящая кожу картина: ночь, Арбат, размножившееся на пять машин идолище едет в своем неизвестном направлении. Отнюдь не мчится. Кажется, не любил быстрой езды. Как с человека нерусского, с него и взятки гладки.

В шестидесятые годы в гараже «Мосфильма» стояла одна из этих пяти машин, может быть, самая главная, где основная часть идолища передвигалась, его тело. Это был сделанный по заказу бронированный «паккард» с толстенными стеклами. Даже с очень мощным мотором такую глыбу трудно было вообразить мчащейся. Неспешное, ровное, наводящее немыслимый ужас движение. Впереди и сзади катят еще четыре черных чудища. Все вместе – одно целое, «бог» коммунистов.

Писатель иной раз может испытать соблазн и, сопоставив два противоположных чувства – страх и отвагу, сказать, что это явления одного порядка. Страх, однако, более понятен, он ближе к биологии, к естеству, в принципе он сродни рефлексу: отвага сложнее. Так, во всяком случае, нам представляется к моменту начала нашего третьего тома, к концу сороковых

годов, когда страна, еще недавно показавшая чудеса отваги, была скована ошеломляющим страхом сталинской пятимашинности.

Глава первая

Московские сладости

В Нагаевскую бухту входил теплоход «Феликс Дзержинский»; весьма гордая птица морей, подлинный, можно сказать, «буревестник революции». Таких профилей, пожалуй, не припомнит Охотское море с его невольничьими кораблями, кургузыми посудинами вроде полуразвалившейся «Джурмы».

«Феликс» появился в здешних широтах после войны, чтобы возглавить флотилию Дальстроя. Среди вольноотпущенников ходили насчет заграничного гиганта разные слухи. Болтали даже, что принадлежало судно самому Гитлеру и что в тридцать девятом злополучный фюрер подарил его нашему вождю для укрепления социалистических связей. Подарить-то подарил, а потом пожадничал и отобрал назад, а заодно и чуть Москву не захапал. История его, конечно, наказала за коварство, и теперь кораблик снова наш, закреплен навеки гордым именем «рыцаря революции». По этой байке выходило, что чуть ли не вся Великая Отечественная разгорелась из-за этой посуды, однако чего только не намелют бывшие зеки, сгрудившись вьюжной ночью в бараке и наглотавшись чифиря. Ну и, конечно же, непременно пристегнут к любой подобной истории своего любимого героя по кличке Полтора-Ивана.

Полтора-Ивана был могучий и прекрасный, как статуя, юный, но в то же время очень зрелый, звероподобный зек. Сроку у него было в общей сложности 485 лет плюс четыре смертных приговора, отмененных в последний момент самим великим Сталиным. Именно Полтора-Ивану, а не какому-нибудь адмиралу вождь поручил провести «Феликса» с живым товаром на Колыму. Как так – зеку поручил командовать этапом? Вот именно зеку, но не какому-нибудь охламону, как мы с тобой, а самому Полтора-Ивану! Секрет в том, что у «Феликса» в трюмах сидели тогда 1115 бывших Героев Советского Союза, то есть беспокойный народ. Довезешь гадов до Колымы, сказал Сталин Полтора-Ивану, сам станешь героем, впишешь свое имя золотом в анналы... Куда? В анналы, жопа, в анналы! Не довезешь, расстреляю лично или поручу Лаврентию Павловичу Берии.

Ваше задание, товарищ Сталин, будет выполнено, сказал Полтора-Ивана и полетел с Покрышкиным на Дальний Восток. Что же получилось? Вместо Нагаева «Феликс» причалил в американском порту, санитарном Франциско. Там уже их встречал президент Генрих Трумен. Всем героям

вернули их звания и дали по миллиону. Теперь они хорошо живут в Америке: сыты, обуты, одеты. А Полтора-Ивану Генрих Трумен десять миллионов отвалил за предательство СССР, и дачу в Аргентине. Нет, сказал тут Полтора-Ивана, я не родину предавал, а спасал товарищей по оружию, мне ваших денег не надо, гражданин Трумен. И повел «Феликса» обратно к родным берегам. Пока он плыл, обо всем доложили Сталину. Сталин беспрекословно восхитился: вот такие люди нам нужны, а не такая гниль, как вы, Вячеслав Михайлович Молотов!

На Дальний Восток был послан полк МГБ для расстрела героя нашего романа. Кинооператор заснял фильм о конце Полтора-Ивана, который показывали всему Политбюро вместе и по отдельности. На самом деле расстрелян был, конечно, двойник, а Полтора-Ивана со Сталиным съели при встрече жареного барана и выпили самовар спирту, после чего Полтора-Ивана в форме полковника МГБ отправился на Дальстрой и затерялся на время в одном из дальних лагерей.

Такие байки иногда доходили и до капитана «Феликса», но он подобного рода фольклором не интересовался. Вообще не совсем было понятно, чем интересовался этот человек. Стоя на капитанском мостике своего корабля, бывшего атлантического кабелеукладчика, взятого нацистами у голландской компании, а потом оказавшегося в Союзе в качестве трофея, капитан без интереса, но внимательно озирали крутые скалы Колымы, без проволочек уходящие ко дну бухты Нагаево, что приплясывала сейчас под северо-восточным ветром всеми своими волнишками одномоментно, словно толпа пытающихся согреться зеков. Сочетание резких, глубинных красок, багрян timer, скажем, некоторых склонов, свинцовость, к примеру, проходящих туч вкупе с прозрачностью страшных далее капитана не интересовало, но к метеорологии, естественно, он относился внимательно. Вовремя пришли, думал он, хорошо бы вовремя и уйти. С этой бухтой в прошлом случалось, что и в одну ночь схватывалась льдом.

Негромким голосом отдавая приказы в машинное отделение, ловко швартуя махину к причалам «шакальского края», как он всегда в уме называл Колыму, капитан старался не думать о грузе, или, как этот груз назывался в бесчисленных сопроводительных бумагах, о контингенте. Всю войну капитан водил сухогрузы через Тихий в Сиэтл за ленд-лизом добром, очень был доволен своей участью и японских подлодок не боялся. Совсем другим тогда был человеком наш совсем не старый капитан. Тогда его как раз все интересовало в заокеанской союзнической стране. Общий язык с янки он находил без труда, потому что неплохо его знал, то есть бегло

«спикал» по-английски. Совершенно восхитительное тогда было морское осмысленное существование. «Эх, если бы...» – нередко думал он теперь в одиночестве своей каюты, однако тут же на этом «бы», на камешке столь безнадежного теперь сослагательного наклонения, спотыкался и мысль свою не продолжал. В конце концов чем занимался, тем и занимаюсь – кораблевождением. Совсем не мое дело, что там грузят в Ванине в мои трюмы, бульдозеры или живую силу. Есть другие люди, которым вменяется в обязанность заниматься этой живой силой, пусть их и называют зековозами, а не меня, капитана данной плав-единицы двадцати трех тысяч тонн водоизмещением. Совсем не обязательно мне вникать в какой-то другой, ненавигационный смысл этих рейсов, да они меня, эти смыслы, и ни хрена не интересуют.

Единственно, что на самом деле интересовало капитана, был легковой «студебеккер», который всегда сопровождал его в специально выделенном отсеке трюма. Машину эту он купил недавно в Сиэтле в последний год войны, и теперь во время стоянок, как в Ванине, так и в Нагаеве, ее лебедкой опускали на причал, и капитан садился за руль. Ездить ни в том, ни в другом порту капитану было некуда, но он все-таки ездил, как бы утверждая свое лицо международного мореплавателя, а не презренного зековоза. Он любил свой «студ» больше родной жены, которая, похоже, и думать о нем забыла, проживая среди большого количества флотских во Владике. Впрочем, и с машиной, похоже, назревала порядочная гадость: не раз уже на парткоме поднимался вопрос о том, что капитан злоупотребляет служебным положением, выделяется, увлекается иностранщиной. В нынешнем 1949 году такая штука, как американская легковушка в личном пользовании, может до нехорошего довести. Короче говоря, опытный мореход, капитан зековоза «Феликс Дзержинский», пребывал в хронически удрученном состоянии духа, что стало уже восприниматься окружающими как черта характера. Это не мешало ему, впрочем, проявлять исключительные профессиональные качества и, в частности, провести очередную швартовку к нагаевской стенке без сучка и задоринки.

Швартовы были закреплены, и трапы спущены, один с верхней палубы – для экипажа, другой из люка чуть повыше ватерлинии – для контингента. Вокруг этого второго уже стояли чины вохры и цепь сопровождения с винтарями и собаками. За цепью толклась бригада вольнонаемных из обслуживания санпропускника, и среди них кладовщик Кирилл Борисович Градов, 1903 года рождения, отбывший свой срок от звонка до звонка и еще полгода «до особого распоряжения» и теперь поселившийся в Магадане, имея пятилетнее поражение в гражданских правах. Работенку эту в

кладовых санпропускника добыл Кириллу кто-то из зверосовхозовских «братанов». После всех колымских приключений работенка казалась ему синекурой. Зарплаты вполне хватало на хлеб и табак, удалось даже выкроить рубли на черное пальто, перешитое из второго срока флотской шинели, а самое главное состояло в том, что кладовщику полагалось в одном из барakov нечто такое, о чем Кирилл уже и мечтать забыл и что он теперь называл всякий раз с некоторым радостным придыханием: отдельная комната.

Ему исполнилось недавно сорок шесть лет. Глаза не потускнели, но как бы несколько поменяли цвет в сторону колымской голубой стыни. Разрослись почему-то брови, в них появились алюминиевые проволочки. Поперечные морщины прорезали щеки и удлиннили лицо. В кургузой своей одежде и в валенках с галошами он выглядел заурядным колымским «хмырьком» и давно уже не удивлялся, если на улице к нему обращались с криком: «Эй, отец!»

Теоретически Кирилл мог в любой момент купить билет и отправиться на «материк». В Москве и в области его как пораженца, конечно, не прописали бы, однако можно было, опять же теоретически, устроиться на жилье за сто первым километром. Практически, однако, он сделать этого не мог, и не только потому, что цена билета казалась астрономической (и отец, и сестра, конечно, немедленно бы выслали эту сумму, 3500 рублей), а в основном потому, что возврат к прошлому казался ему чем-то совершенно противоестественным, сродни входу в какие-нибудь гобеленовые пасторали.

Нине и родителям он написал, что, конечно же, приедет, но только не сейчас, потому что сейчас еще не время. Какое время, он не уточнил, и в Москве переполошились: неужели будет высиживать все пять лет поражения в правах? Между тем по Магадану шла так называемая вторая волна. Арестовывали тех, кто только что вышел по истечении сроков на так называемую волю. Кирилл спокойно ждал своей очереди. Укоренившись уже в христианстве, он видел больше естественности в общем страдании, чем в радости отдельных везунков. Он и себя считал везунком со своей отдельной комнатой. Наслаждался каждой минутой так называемой воли, которую он в уме все еще полагал не волей, а расконвоированностью, восхищался любым заходом в магазин или в парикмахерскую, не говоря уже о кино или библиотеке, однако вот уже полтора «свободных» года прошли, а он все еще почти подсознательно пристыживал себя за то, что так нагло удалось «придуриться», «закосить», в глубине души, а особенно в снах, считая, что естественное место страждущего человека не в вольном

буфете с пряниками, а в этапных колоннах, влекущихся к медленной гибели. Он помнил, что богатому трудно войти в Царствие Небесное, и полагал себя теперь богатым.

На всю Колыму, на весь миллионный каторжный край, наверное, не было ни одного экземпляра Библии. «Вольнягу» за такую крамолу неизбежно поперли бы из Дальстроя, а то и взяли бы под замок, что касается зека, тот был бы без задержки отправлен в шахты Первого управления, то есть на уран.

И все-таки кое-где по баракам среди Кирилловых друзей циркулировали плоды лагерного творчества, крохотные, на полладони, книжечки, сброшюрованные иголкой с ниткой, крытые мешковиной или обрывком одеяла, в которые чернильным карандашом новообращенные христиане записывали все, что помнили из Священного писания, обрывки молитв или просто пересказ деяний Иисуса, все, что удалось им спасти в памяти из добольшевистского детства или из литературы, все, что как-то протащилось сквозь три десятка лет безбожной жизни и их собственного атеистического, как они теперь полагали, бреда.

Однажды как-то Кирилла окликнули на магаданской улице, на скрипучих деревянных мостках. У него даже голова крутанулась от этого оклика – голос прилетел из «гобелена», то есть из нереальной страны, из Серебряного Бора. Две кургузые фигуры бывших зеков в ватных штанах, разбежавшись мимо и споткнувшись, теперь медленно, в изумлении, друг к другу оборачивались. Из полуседого обрамления косм и бороды, из дубленых складок лица на Кирилла смотрел Степка Калистратов, имажинист, неудачливый муж его сестры Нины. «Степка, неужели выжил?!»

Оказалось, не только выжил, но даже как-то и приспособился бывший богемщик. Вышел из лагерей значительно раньше Кирилла, поскольку и сел раньше. Работает вахтером на авторемонтном заводе, то есть ни черта не делает, как и всю жизнь, только пишет стихи. Что ж ты, и в лагере стихи писал? Степан помрачнел. В лагере ни строчки. Вообрази, за десять лет ни строчки стихов! А здесь вот пошла сплошная «болдинская осень». А второй посадки не боишься, Степан? Нет, теперь уже ничего не боюсь: главное за плечами, жизнь прошла.

Степан свел Кирилла со своей компанией. Раз в неделю собирались у двух петербургских литературных дам, которые сейчас работали няньками в детучреждении. На шатких табуретках сидели, положив ногу на ногу, будто в гостиной Дома литераторов. Говорили о ранних символистах, о Владимире Соловьеве, о культе Софии.

*Не Изида трехвенечная
Нам спасенье принесет,
А сияющая, вечная
Дева Радужных Ворот... —*

декламировал некто с феноменальной памятью, бывший сотрудник Института мировой литературы, ныне пространщик в городской бане.

Казалось бы, что еще нужно человеку, который оставил свою марксистскую веру, будто змеиную кожу, в каторжных норах Колымы? Расконвоированность, хлеб насущный, радость и робость новой веры, мистические стихи в кругу утонченной интеллигенции, да ведь это же ренессанс «серебряного века» под дальстроевской маскировкой! Кирилла же не оставляло чувство своей неуместности в магаданском раю, едва ли не вороватости какой-то, как будто он, если пользоваться блатным жаргоном, «на халяву причимчивал к итээровскому костру». Встречая беспрерывно прибывающие новые этапы и провожая отправляемые после санобработки на север, в рудники, он видел себя в их рядах. Вот для этого он был рожден, Кирилл Градов, а не для чего-нибудь другого. Уйти вместе со всеми страждущими и вместе с ними исчезнуть.

Вот и сейчас, глядя на выход этапа из чрева «Феликса», он ощущал в себе сильное желание пройти сквозь цепь солдат и слиться с этой измученной трюмным смрадом, вонючей толпой. Он так и не научился видеть в этих разгрузках привычное, бытовое, рабочее дело. Всякий раз при разгрузках, при выходе человеческих масс из стальной упаковки на простор каторги слышалось ему какое-то симфоническое звучание, орган с оркестром, трагический голос неведомого храма.

Вот они выходят, и жадно хватают ртами щедроты Божьей атмосферы, и видят ясность небес и мрак новой земли – тюрьмы, в которой двум третям из них, а то и трем четвертям предстоит скрыться навеки. Так или иначе, дни полуудушья, качки, тошноты позади. Пока их сортируют в колонны, можно насладиться ненормированными дозами кислорода. Они шевелятся, покачиваются, поддерживают друг друга и оглядывают новые берега. Может быть, для солдат и для вохровского офицера в этих минутах ничего нет, кроме рутины, для зеков же, для любого из нового этапа, каждый миг сейчас полон значения. Не из-за этого ли тут и слышится Кириллу какая-то трагическая и все-таки ободряющая музыка? Вот так же и я одиннадцать лет назад, выкарабкавшись из трюма «Волочаевска», ошеломленный воздухом и ширию, испытал какое-то, неведомое раньше

грозное вдохновение. Тогда я еще не хотел думать о том, что это могло быть приближением к Богу.

Этап с котомками, узлами, перетянутыми веревкой чемоданами собирался толпой на причале у подножия мостовых кранов. Видны были то тут, то там остатки чужеземного обмундирования – то шинель нерусского кроя, то шапчонка, в которой угадывалась бывшая четырехугольная конфедераточка, то финский армейский треух. Да и среди штатского барахла вдруг мелькало нечто, чудом залетевшее сюда из модной европейской лавки, – шляпенка ли тонкого фетра, клетчатый ли шарф альпака, неуместные ли в стылой грязи штиблетики... Сквозь ровный гул иной раз прорывалось какое-нибудь нерусское имя или возглас из иных, придунайских наречий... В непотребности измученных лиц вдруг начинал светить странно восторженный взгляд, Впрочем, не обязательно и зарубежный: может быть, и русские глаза не все еще потеряли способность к свечению.

Солдаты оттеснили мужской этап от борта «Феликса» за рельсы. Началось излияние женской части груза. Сразу возникла другая звуковая гамма. Среди женщин в этот раз явно преобладали галицийские крестьянки. Общность, должно быть, придавала смелости их голосам, они галдели как на ярмарке. Их тоже оттеснили за рельсы, прямо к подножию клыкастой и мшистой сопки, и там начали сортировку.

Кирилл и другая обслуга санпропускника ждали соответствующих указаний от командования. В зависимости от степени завшивленности и количества инфекционных заболеваний определялся уровень санобработки одежды. В связи с вечной нехваткой спецовок надо было решить, по какому принципу и сколько выдавать бушлатов, штанов, чуней, а также какого срока спецодежда пойдет в расход: большинство этих бушлатов, штанов и чуней были латаными-перелатаными, сущее тряпье, достающееся вновь прибывшим от тех, кто никогда уже свои бушлаты, штаны и чуни не востребует. Решался вопрос, кому выдавать одежду, а кто еще в своем до приисков и лагпунктов дотянет. Кирилл, хоть ему и запрещалось разговаривать с заключенными, многим объяснял, что в лагпунктах могут им выдать что-нибудь более доброкачественное. Ну, а уж если получил тряпье из санпропускника, сменки не жди. Нередко он также говорил новичкам, что он и сам еще вчера был таким же, как они, что вот отбухал десятку и вышел, выжил. Новички смотрели тогда на него с острейшим любопытством. Многим он давал надежду этой информацией – все-таки жив человеке, уцелел, значит, и у нас есть шанс, значит, не такое уж это гиблое место «Колыма, Колыма, чудная планета»... Кое-кто, однако, взирал

с ужасом: десять лет, от звонка до звонка, как вот этот папаша! Неужели ж и наши десять, пятнадцать, двадцать лет вот так же пройдут, и никакого чуда не произойдет, и не распадется узилище?

Хлопот было много. Вохра бегала вокруг с бумагами, выкликала фамилии, номера, статьи Уголовного кодекса. Надо было еще от костяка этапа отделить спецпоселенцев, а из них выделить спецконтингент, а там разобраться, кто СВ (социально вредный), а кто СО (социально опасный). Вольнонаемная обслуга шустрила вокруг вохры, подхватывая приказания. Шустрил и Кирилл с блокнотиком, со связкой ключей, из которых один, между прочим, был от кладовой с ножными кандалами для особо важных гостей. В общем-то проявлялась определенная забота о сохранности живого состава заключенных, иначе какой бы смысл был везти их в такую даль. Рентабельность – один из принципов социалистического строительства.

Сегодняшний этап вызывал у начальства особенную головную боль. Наполовину он состоял из «социально нечуждых», то есть из блатных. Среди них, согласно слухам и сообщениям разных «наседок», в огромный магаданский карантинный лагерь прибывала банда «чистяг», боевики одной из двух враждующих по всей гигантской лагерной системе уголовных клик. Когда-то в старые, может, еще ленинские времена уголовный мир разделился на два лагеря. «Чистяги» были верны воровскому кодексу, в лагерях не горбатили, косили, с начальством в жмурки не играли, психовали, бунтовали. «Суки» хитрили, стучали, приспособлялись, доходили даже до такой низости, как выход на общие работы, то есть «ссучивались». Вражда, стало быть, началась на идеологической основе, как между двумя фракциями социал-демократов, однако впоследствии все эти кодексы были забыты, и смысл вражды теперь состоял лишь в самой вражде. С полгода назад один из казахстанских лагерей был избран полем боя. Туда путем сложной внутрилагерной миграции стеклись крупные силы «сук» и «чистяг». В кровавой схватке победили «чистяги». Остатки «сук», смешиваясь с регулярными этапами путем взяток, вымогательств и угроз, мигрировали на Колыму и здесь, по слухам, основательно укреплялись, особенно в огромном карантинном лагере Магадана – Нагаеве. Теперь в Управлении северо-восточных лагерей стало известно, что сюда разрозненными группами и поодиночке начали прибывать «чистяги» и цель у них одна – окончательное искоренение «сук». Естественно, не обошлось в этой истории и без Полтора-Ивана, который был, конечно, самым «чистым» из «чистяг», а может быть, и их главным подпольным маршалом. Он, по слухам, то ли прибыл в этапе под

видом рядового зека, то ли прилетел на самолете Ил-14, маскируясь под личного друга генерала Водопьянова, то ли его в кандальную команду определили, то ли лично начальник Дальстроя генерал Никишов встретил, а его супруга, младший лейтенант МВД Гридасова, приготовила ему постель в особняке на проспекте Сталина; во всяком случае, Полтора-Ивана был здесь.

Так или иначе, но УСВИТЛ ко всем этим шепоткам, рапортичкам и болтовне относился довольно серьезно, резня могла значительно ухудшить баланс рабочей силы, и потому у карантинной вохры в этот день прибавилось головной боли: надо было теперь кроме политических еще и блатных серьезно сортировать.

Вдруг, в разгар этого хипежа, через ящики генгруза перепрыгнул какой-то морячок, крикнул поспешавшему в этот момент по другую сторону проволочного забора Кириллу:

– Эй, керя, ты тут такого хера не знаешь, Градова Кирилла?

Кирилл споткнулся.

– Да это, собственно говоря, я и есть, Градов Кирилл...

– «Собственно говоря-я-я», – передразнил морячок, потом сощурился юмористически. – Ну, иди тогда встречай, дядя, к тебе там пассажирка приехала!

– Какая еще пассажирка? – удивился Кирилл.

Слово «пассажирка» морячок произнес с каким-то особым издевательством. Ему, очевидно, было неловко перед самим собой, что он делает одолжение какой-то пассажирке, ищет какого-то Градова, который к тому же оказывается паршивым старым хмырем, как видно, из троцкистов. Кирилл этот тон уловил и почему-то жутко заволновался, как в тот день двенадцать лет назад, когда ему позвонил следователь НКВД и попросил зайти «покалякать».

– Все пассажиры уже на площадке, – нелепо сказал он и показал в сторону проволочного забора, за которым толпились зеки.

Морячок расхохотался:

– Я ж тебе, батя, говорю про пассажирку, а не про зечку!

Он ткнул большим пальцем себе за плечо в сторону шаровой стены правого борта «Феликса» и пошел прочь.

Почти уже поняв, в чем дело, и отказываясь верить, Кирилл осторожненько, как будто этой осторожностью еще можно было что-то предотвратить, пошел к причалу. Он осторожненько огибал ноги кранов и штабели генгруза и вдруг в десяти метрах от себя увидел спускающуюся по главному трапу знакомую старуху.

В первую секунду у него как бы отлегло от души: все-таки не то, в чем он был почти уже уверен, просто какая-то знакомая по прежней жизни, может быть, из высланных, все-таки не Цецилия явилась, ведь не может же быть... В следующую секунду он понял, что это как раз и была его законная супруга Цецилия Наумовна Розенблюм, а вовсе не какая-то там знакомая старуха.

Сутулая или согбенная под невыносимым числом туго набитых сумок и авосек, она неуклюже шкандыбала вниз по трапу, юбка, как всегда, наперекос, тонкие ноги в невыносимых ботах, еще более невыносимый, как будто с картины Рембрандта, бархатный берет, свисающие из-под него, сильно траченные сединою рыжие космы, пудовые груди, не вмещающиеся в явно маловатое пальто. Казалось, она сейчас рухнет под тяжестью своих сумок, и этих грудей, и всего этого ошеломляющего момента. И впрямь вот ее первый шаг на колымскую землю, и она споткнулась о бревно, зацепилась за канат, разъехалась в луже и упала коленкой в грязь. Мотнулся за ее спиной и даже вроде бы сильно ударил ее меж лопаток большой, как капустный кочан, бюст Карла Маркса, который и сам, словно зек из-за проволоки, выпирал частями лица из ячеек авоськи. Естественно, на борту «Феликса» расхохоталась вахтенная сволочь, а на причале охотно заржала вохра. Кирилл бросился, подхватил жену сбоку под мышки, она глянула через плечо, сразу узнала, рот ее с нелепо намазанными губами распахнулся в истошном и долгом, как пароходный гудок, крике: «Кири-и-илл, родной мо-о-ой!» – «Циленька, Циленька моя, приехала, солнышко...» – бормотал он, целуя то, что он мог поцеловать из неловкой позиции, а именно ее молодое ухо и отвисшую, сильно припахивающую котлетой с луком щеку.

Тут, казалось бы, самое время похохотать молодежи, глядя на любовную сцену двух огородных пугал, однако почему-то и пароходная команда, и вохра немедленно отвлеклись по своим делам, предоставив пугалам упиваться наедине своей встречей. Для успешного издевательства нужно, конечно, чтобы объект как-то реагировал, злился ли, сгорал ли от стыда, данный же объект, то есть воссоединившаяся супружеская пара, был настолько далек от окружающего, что над ним и хохотать становилось неинтересно. Не исключено, впрочем, что у некоторых представителей охранной молодежи жалкая эта сцена тронула какие-то струны в душе, смутно напомнила о непрерывной и непреходящей российской тюремной беде. Во всяком случае, все пошло по своим делам, а двое дневальных спокойно, без всяких подгребков спустили с борта на причал основное Цилино добро – два ковровых чемодана от прежних папашиних времен и

ящик с классиками марксизма.

Они никак не могли сдвинуться с места. Вдохновенно сияя очами и положив руки на плечи Кирилла, Цецилия вещала, будто со сцены:

– Кирилл, мой любимый, если бы ты знал, сколько мук я перенесла за эти двенадцать лет! Если тебе что-нибудь передавали, не верь! Я была тебе верна! Всех мужчин отвергала, всех! А их было немало, Кирилл, знаешь ли, их было немало!

Кирилл все еще не мог прийти в себя.

– Что ты говоришь, Циленька, что ты говоришь, я не понимаю. Как ты оказалась здесь, на этом... на «Феликсе Дзержинском»?

Она победоносно рассмеялась. Все оказалось не так сложно. Она приехала по путевке Политпросвета, каково? Меня зачислят здесь в штат вечернего университета марксизма-ленинизма, вот так, мой дорогой! Смелость города берет, вот так! Она пошла к самому Никифорову в сектор ЦК, и он после долгого разговора дал добро. Нет-нет, ничего такого, о чем ты думаешь, между нами не было, если не считать, ну, нескольких красноречивых взглядов с его стороны. Ну, все же он понял, что она не из этого числа, проявил настоящий партийный подход к серьезному делу.

Самое ужасное было здесь, на Дальнем Востоке. Ты знаешь, все здесь так бурно растет, повсюду новое строительство, потоки молодежи, неподдельный энтузиазм, транспортные линии перегружены. Она неделю моталась в Находке, пытаясь заполучить билет на какой-нибудь дальневосточный пароход, все бесполезно. Потом ей сказали, что из Ванина на Магадан идет «Феликс Дзержинский», и она тут же понеслась в это Ванино. Там с ней никто разговаривать не хотел, и тогда она вдруг выскочила прямо на капитана. На что я могла рассчитывать, кроме женского обаяния? Ни на что! И вот результат: она плывет на «Феликсе» и капитан, такой суровый морской джентльмен, приглашает ее на обед в кают-компанию. Нет, разумеется, я все поставила в свои рамки, и наши отношения ни разу не вышли за пределы...

Цецилия то бормотала, то выкрикивала весь этот вздор, ничего не замечая вокруг, а только сияя глазами на своего любимого «мальчика». Она, похоже, даже не замечала существенных изменений во внешности «своего мальчика». Читатели первых двух томов нашей саги, разумеется, заметили, что Цецилия Розенблюм принадлежала к сравнительно небольшому числу людей, что не замечают деталей, живя в мире только основных идей.

Между тем до Кирилла начинала из-за совсем недалекого проволочного забора доноситься его собственная фамилия в сопровождении крепких междометий: «Градов, ебенать! Где этот Градов

ебаный болтается? Куда, на хуй, Градов блядский испарился?»

Нет, невозможно больше находиться среди этих вохровских скотов и придурков, вдруг подумал Кирилл так, как будто ему уже давно была невмоготу работа в санпропускнике. Теперь, когда жена приехала, я не могу здесь больше оставаться. Бог даст, устроюсь истопником в среднюю школу или в Дом культуры, да хоть и в любую другую котельную.

Мимо шествовал редкий прохвост, сменщик Кирилла Филипп Булкин. Хоть ему и нечего сегодня было делать в порту, он, конечно, не мог упустить прибытия парохода и этапа в надежде чем-нибудь поживиться. Кирилл пообещал Филиппу бутылку ректификата за подмену.

– Вот, видишь, жена приехала, – сказал он. – Не виделись двенадцать лет.

– Интересная у тебя жена, – сказал Булкин, быстрым взором оглядывая Цецилин разношерстный туалет, а также, с особенным вниманием, разваленный вокруг багаж, Филипп Булкин, похоже, принадлежал к числу людей, что как раз сосредоточиваются на деталях, не замечая основной идеи. – Скажи, а не привезла ли она с собой патефонных иголок?

С удивлением узнав, что градовская жена не привезла с собой этого дефицита, что шел на Колыме по рублю за крошечную штучку, он отправился на подмену. Это было ему, конечно, на руку.

Порыскав в портовых джунглях, Кирилл отыскал какую-то бесхозную тачку и погрузил на нее добро Цецилии. Одна из туго набитых сеток оказалась в поле зрения «пассажирки», и она вдруг бросилась на нее, как на приготовленную к обеду курицу. Газетные обертки каких-то кульков разлетались, словно пух курицы, попавшей в оцип.

– Смотри, что я тебе привезла, Кирюша, московские сладости! Ты, наверное, соскучился по московским сладостям!

Все эти «московские сладости» за время ее двухнедельного путешествия порядком утрамбовались, замаслились, расплылись или окаменели в зависимости от консистенции. Тем не менее она все терзала кульки, отламывала кусочки и запихивала их в рот Кириллу:

– Вот курабье, вот грильяж, вот тебе ойла союзная, фэйн-кухен, струдель, эйер-кухелах, такая вкуснятина, ведь ты же это все так когда-то любил, Градов!

Он посмотрел на нее с нежностью. Этими сладкими и действительно немислимо вкусными, хоть и малость заплесневевшими, кусочками, равно как и внезапно выплывшим из памяти партийным обращением «Градов», его нелепая жена пытается, очевидно, ему сказать, что все исправимо в этом лучшем из материалистических миров.

Они шли к воротам порта. Рот его был забит огромной смешанной сладостью.

– Спасибо, Розенблюм, – промычал он, и они оба прыснули.

У ворот пришлось притормозить. Проходила первая мужская колонна нового этапа. Все свое имущество зеки несли теперь вынутым из мешков, в охапках, направляясь на прожарку вшей.

– Кто эти люди? – изумленно спросила Цецилия.

Еще более изумленный Кирилл заставил себя разом проглотить сладкий комочек.

– Как кто, Розенблюм? Ведь ты же с ними вместе приехала!

– Позволь, Градов, как это я с ними вместе приехала? Я приехала на теплоходе «Феликс Дзержинский»!

– Они тоже на нем, Розенблюм.

– Я никого из них там не видела.

– Ну да, но разве ты не знала... разве ты не знала, что... кого сюда перевозит «Феликс», эта птица счастья?

– Ну что ты болтаешь, Градов?! – воскликнула она. – Это такой прекрасный, чистый корабль! У меня была крохотная, но идеальная каютка. Душ в коридоре, чистое белье...

– У нас тут этот корабль называют зековозом, – сказал Кирилл, глядя в землю, что было нетрудно, поскольку они шли в гору, а тачка была тяжела.

– Что это за жаргон, Градов? – строго спросила она и потом зачастила, ласково теребя его загривок, пощипывая щеку: – Перестань, перестань, Градов, милый, дорогой мой и ненаглядный, не нужно, не нужно преувеличивать, делать обобщения...

Он приостановился на секунду и твердо сказал:

– Этот пароход перевозит заключенных. – В конце концов должна же она знать положение вещей. Ведь нельзя же жить в Магадане и не знать магаданскую норму.

Короткая эта размолвка пронеслась, не омрачив их встречи. Они шли в гору по разбитой, еле присыпанной щебнем дороге, толкая перед собой ее пожитки, словно Гензель и Гретель, сияя друг на друга. Между тем уже темнело, кое-где среди жалких избенок и перекосившихся насыпных, почему-то в основном грязно-розового цвета бараков поселка Нагаево зажигались огоньки. Цецилия начала наконец замечать окружающую действительность.

– Вот это и есть Магадан? – с искусственной бодростью спросила она. – А где мы будем ночевать?

– У меня тут отдельная комната, – он не смог удержаться от гордости,

произнося эту фразу.

– О, вот это да! – вскричала она. – Обещаю тебе жаркую ночь, дорогой Градов!

– Увы, я этого тебе обещать не могу, Розенблюм, – виновато поежился он и подумал: если бы от нее, от миленькой моей старушки, хотя бы не пахло этими котлетами с луком.

– Увидишь, увидишь, я разбужу в тебе зверя! – Она шутливо оскалилась и потрясла головой. Рот, то есть зубы, были в плачевном состоянии.

Они прошли вверх еще несколько минут и остановились на верхушке холма. Отсюда открывался вид на лежащий в широкой ложбине между сопкок город Магадан, две его широких пересекающихся улицы, проспект Сталина и Колымское шоссе, с рядами каменных пятиэтажных домов и скоплениями мелких строений.

– Вот это Магадан, – сказал Кирилл.

На проспекте Сталина в этот момент зажглись городские фонари. Солнце перед окончательной посадкой за сопками вдруг бросило из туч несколько лучей на окна больших домов, в которых жили семьи дальстроевского и лагерного начальства. В этот момент город показался с холма воплощением благополучия и комфорта.

– Хорош! – с удивлением сказала Цецилия, и Кирилл вдруг впервые почувствовал некоторую гордость за этот городок-на-косточках, за этот сгусток позора и тоски.

– Это город Магадан, а там, откуда мы пришли, был только лишь поселок Нагаево, – пояснил он.

Мимо них, сильно рыча на низкой передаче и сияя заокеанскими фарами, прошел легковой автомобиль. На руле лежали перчатки тонкой кожи с пятью круглыми дырками над костяшками пальцев. В суровой безмятежности проплыл мимо английский нос капитана.

Чем дальше они шли, тем больше отклонялись в сторону от фешенебельного Магадана, тем страшнее для Цецилии Розенблюм становились дебри преступного поселения: перекошенные стены бараков, подпорки сторожевых вышек, колючая проволока, помойки, ручьи каких-то кошмарных сливов, клубы пара из котельных. Временами вдруг возникало нечто ободряющее, связывающее хоть отчасти с животворной современностью: то вдруг детская площадка с фигурой советского воина, то вдруг лозунг: «Позор поджигателям войны!», то портрет Сталина над воротами базы стройматериалов. Однако Кирилл все толкал тачку, и они оставляли за спиной и эти редкие бакены социализма и углублялись в

сплошной бурелом послелагерной зековской жизни. Тут еще ни с того ни с сего из черного неба мгновенно, без всякой раскачки понеслись снежные вихри.

– Вот так тут всегда, – пояснил Кирилл. – Внезапно начинается первый буран. Но мы уже пришли.

Под бешено пляшущим фонарем видна была низкая розовая, поствосахарная стена с кустистой трещиной, из которой вываливался всякий хлам. Прямо в дверь бил снежный вихрь. Кирилл не без труда ее оттянул, стал втаскивать вещи.

Пол длинного коридора, в котором оказалась Цецилия, казалось, пережил серьезное землетрясение. Кое-где доски выгибались горбом, в других местах проваливались или торчали в стороны. В конце коридора были так называемые места общего пользования. Оттуда неся смешанный аромат испражнений, хлорки, пережаренного жира нерпы. Не менее трех десятков дверей тянулись вдоль стен, изогнутых и выпученных уже на свой собственный манер. Из-за дверей несло множество звуков в спектре от робкого попердывания до дивного голоса певицы Пантофель-Нечецкой, исполнявшей по первой программе Всесоюзного радио арию из оперы «Наталка-Полтавка». Откуда-то со странной монотонностью исходила угроза: «Откушу!» Мужской ли это был голос, женский ли, не понять. Заунывно и зловеще голос злоупотреблял двумя первыми гласными неприятного слова, на третьей же гласной всякий раз совершенно одинаково взвизгивал, так что получалось нечто вроде «О-о-откуу-у-ушуй!».

В середине коридора лежало неподвижное тело, о которое Цецилия, разумеется, споткнулась.

– Ну тут, как понимаешь, не Москва, – смущенно произнес Кирилл, снял висячий замок и открыл фанерную дверь в свою «отдельную комнату». Висящая на длинном, впрочем, укороченном несколькими узлами шнуре «лампочка Ильича» осветила пять квадратных метров пространства, в котором едва помещались топчан, покрытый лоскутным одеялом, этажерочка с книгами, маленький стол, два стула и ведро.

Ну вот, садись. Куда? Вот сюда. Ну, вот я села, а теперь ложусь, гаси свет! Ну, разве ж сразу, Розенблюм? Я двенадцать лет этого ждала, Градов! Всех ухажеров отгоняла, а сколько их было! Да я ведь, Циленька, что называется, совсем... Нет-нет, такого не бывает, чтобы совсем... вот, бери и жми, и жми, и сам не заметишь, как... ну вот, ну вот, вот вам и Кирилльчик, вот вам и Кирилльчик, вот вам и Кирилльчик...

Хорошо хоть темно, думал Кирилл, все же не видно, с какой старухой

совокупляюсь. Вдруг он увидел в полосе мутного света, идущего из крохотного окна, лежащую на столе авоську с Марксом. Закругленные черты основателя научного коммунизма были обращены к потолку завального барака. Присутствие основоположника почему-то придало Кириллу жару. Запах пережеванной котлеты испарился. Погасли все звуки по всему спектру, включая монотонное «откушу». Синеглазочка, комсомолочка 1930-го, великого перелома, огромного перегиба; электрификация, смык, тренаж! Цецилия торжествующе завизжала. Бедная моя девочка, что случилось с тобой!

В тишине, следовавшей за этой патетической сценой, кто-то крикнул так близко, как будто лежал на той же подушке.

– Кирюха-то, чих-пых, бабенку приволок, – сказал ленивый голос.

– Да неужто Кирилл Борисыч шалашовку себе обеспечил? – удивился бабий голос.

– А то ты не слыхала, дура, – пробасил, поворачиваясь, ленивый. Стенка при его повороте прошла ходуном, в ногах сквозь отслоившуюся фанеру видна была черная пятка обитателя соседней «отдельной комнаты».

– Жена приехала с «материка», Пахомыч, – негромко сказал Кирилл. – Законная супруга Цецилия Наумовна Розенблюм.

– Поздравляю, Борисыч, – сказал Пахомыч. Он явно лежал теперь спиной к стене. – А вас с приездом, Цилия Розенблюмовна.

– Я тебе обещаю, что у нас скоро будет настоящая отдельная комната, – прошептала Цецилия Кириллу прямо в ухо.

Шепот ее щекоткой прошел через ухо прямо в нос. Кирилл чихнул.

– Хочешь спирту? – спросил Пахомыч.

– Завтра выпьем, – ответил Кирилл.

– Обязательно, – вздохнул Пахомыч.

Кирилл пояснил в розенблюмовское молодое ухо:

– Он как раз из нашей с тобой Тамбовщины. Добрейший мужик. Сидел за вооруженный мятеж...

– Что за глупые шутки, Градов, – усталой баядеркой отмахнулась Цецилия.

Надо, однако, раскладываться. Кирилл взялся распаковывать багаж, стараясь увиливать от прямых взглядов на копошащуюся рядом старуху. Да вовсе и не старуха же она. Ведь на три года младше меня, всего лишь сорок четыре. Сорок лет – бабий цвет, сорок пять – ягодка опять. Глядишь, и помолодеет Розенблюм.

– А это еще что тут такое у тебя, Градов?! – вдруг воскликнула Цецилия. Подбоченившись, она стояла перед этажерочкой, на верхушке

которой располагался маленький алтарь-триптих, образы Спасителя, Девы Марии и святого Франциска с лесной козочкой под рукой. Эти лагерные, сусуманской работы образа подарил Кириллу перед разлукой медбрат Стасис, которому еще оставалось досиживать три года.

– А это, Циля, самые дорогие для меня вещи, – тихо сказал он. – Ты еще не знаешь, что в заключении я стал христианином.

Он ожидал взрыва, воспламенения, неистового излияния марксистской веры, однако вместо этого услышал только странное кудахтанье. Бог мой, Розенблум плачет! Будто вслепую протягивает руку, опускает ему на голову, как Франциск Ассизский на братца-волка, шепчет:

– Бедный мой, бедный мой мальчик, что с тобой случилось... Ну, ничего, – встряхнулась тут она. – Это у тебя пройдет!

Бодрыми движениями рассупонила Маркса, водрузила его на этажерку рядом с образами. Вот теперь уж и посмотрим, кто победит! Оба облегченно рассмеялись.

Ну, разве ж не идиллия? Кипит московский электрический чайник. Распечатана пачка «грузинского, высший сорт». Комки слипшихся сладостей разбросаны по столу. Посвистывает первая метель осени сорок девятого года. Затихает завальный барак, только откуда-то еще доносится голос Сергея Лемешева: «Паду ли я, стрелой пронзенный», да гребутся по соседству увлеченные примером Пахомыч со своей бабой Мордехой Бочковой. Цецилия же извлекает большую фотографию девятнадцатилетней давности. На веранде в Серебряном Бору после их свадебного обеда. Все в сборе: Бо, и Мэри, и Пулково, и Агаша, и восьмилетний их кулачонок-волчонок Митя, и Нинка с Саввой, и четырехлетний Борька IV, и хохочущий пуще всех молодой комдив, и неотразимая, белое платье с огромными цветами на плечах, Вероника, ах, Вероника...

– Эта сволочь, – вдруг прошипела Цецилия. – Тебя могли освободить еще в сорок пятом, освободить и реабилитировать как брата маршала Градова, всенародного героя, а эта сволочь, проститутка, спуталась с американцем, со шпионом, удрала в Америку, даже не дождавшись известий о сыне! Не говори мне ничего, она – сука и сволочь!..

– Не надо, не надо, Циленька, – бормотал он, поглаживая ее по голове. – Ведь мы же все тогда друг друга любили, посмотри, как мы все влюблены друг в друга и как мы счастливы. Этот миг был, вот доказательство, он никуда не улетел, он всегда вместе с нами существует...

Когда она злится, лицо, нос и губы вытягиваются у нее, как у какой-то смешной крысинды. Но вот лицо разглаживается, кажется, уже перестала

злиться на Веронику...

– Ты говоришь, мы все любили друг друга, а я никого из них вокруг просто не видела, только тебя...

Глава вторая

Бьет с носка!

От колымского убожества, дорогой читатель, столь верно идущий за нами уже несколько сотен страниц, заграничное мое перо, купленное на углу за один доллар и семь копеек и снабженное по боку загадочной надписью «Paper-mate Flexgrip Rollen – Micro», уведет вас в огромный город, склонный на протяжении веков очень быстро впадать в полнейшую мизерность и затрапезность и со столь же удивительной быстротой выказывать свою вечную склонность к обжорству, блуду и странной какой-то, всегда почти фиктивной, но в то же время и весомой роскоши. Итак, мы в городе, давшем название всему этому трехступенчатому сочинению, в Москве, н.д. и у.ч., то есть наш дорогой и уважаемый читатель.

По-прежнему на общих кухнях коммунальных квартир хозяйки швыряли друг в дружку кастрюли со щами, а молодожены спали на раскладушках под столом в одной комнате с тремя поколениями осточертевшей семьи. По-прежнему на покупку гнусных скороходовских ботинок уходило ползарплаты, а шитье зимнего пальто было равносильно постройке дредноута. По-прежнему очереди в баню занимались с утра, а посадка в автобус напоминала матч вольной борьбы. По-прежнему вокруг вокзалов валялись пьяные инвалиды Великой Отечественной, а в поездах слепые и псевдослепые пели жестокий и бесконечный романс «Я был батальонный разведчик». По-прежнему содрогался обыватель при виде ночных «воронков», и по-прежнему все остерегались открывать двери на кошачье мяуканье, дабы не впустить банду «Черная кошка», во главе которой стоял, по слухам, могучий и таинственный бандит Полтора-Ивана.

Голод, впрочем, кончился. Собственно говоря, в Москве он на самом деле никогда и не начинался. Худо-бедно, но снабжение столичного населения по карточкам во время войны осуществлялось, ну а после денежной реформы сорок седьмого и отмены карточной системы в хлебных магазинах появились батоны, крендели, халы, французские булочки (через два года, впрочем, переименованные в городские, дабы не распространять космополитическую заразу), сайки, баранки, сушки, плюшки, всевозможные сдобы, затем по крайней мере полдюжины названий ржаных изделий – бородинский, московский, обдирный... в кондитерских же отделах среди щедрой россыпи конфет воздвиглись кремовые фортификации, подкрепленные серьезными, в каре и в овалах, формациями

шоколадных наборов, в гастрономах же в отделе сыров можно было теперь увидеть не только жаждущих пожрать, но и знатоков, ну, какого-нибудь грузного москвитянина с налетом прошлого на мясистом лице, который благодушно объясняет более простодушной соседке: «Хороший сыр, голубушка моя, портяночкой должен пахнуть...»

Да и мясная гастрономия, хо-хо, не плошала, ветчины и карбонады радовали глаз своим соседством с сырокопчеными рулетами, разнокалиберными колбасами, вплоть до изысканных срезов, обнажавших сущую мозаику вкуснейших элементов начинки. Сосиски, те свисали с кафельных стен какими-то тропическими гирляндами. Сельди разной жирности полоскались в судках, чертя над головами покупателей невидимые, но ощутимые траектории к отделу крепких напитков. Ну, а там представал глазу патриота суший парад гвардейских частей, от бутылочных расхожих водок до штофных ликеров. Икра всегда была в наличии, в эмалированных судках она смущала простой народ, веселила лауреатов Сталинских премий. Крабы в банках были повсюду и доступны по цене, но их никто не брал, несмотря на потрескивающую в ночи неоновую рекламу. То же самое можно было сказать и про печень трески, и это может подтвердить любой человек, чья юность прошла под статичным и вечным полыханием сталинской стабилизации: «Печень трески! Вкусно! Питательно!»

У простого народа были свои радости: «микояновские» котлеты по шесть копеек, студень, что повсюду стоял в противнях и продавался за цену почти символическую, то есть максимально приближенную к коммунизму.

Живы еще были кое-где знаменитые московские пивные в сводчатых подвалах. Вот спускаешься, например, в «Есенинскую», что под Лубянским пассажем. Товарищ половой тут же, не спрашивая, ставит перед тобой тарелочку с обязательной закуской: подсоленные сухарики, моченый горошек, ломтик ветчины или косточка грудинки; о, русские ласкательные, едальные уменьшительные! А пивко-то, пивко! И бочковое, и бутылочное к вашим услугам! «Жигулевское», «Останкинское», «Московское» в поллитровках, «Двойное золотое» в маленьких витых сосудах темного стекла!

Откуда же оно взялось – и довольно скоро после военной разрухи – это сталинское гастрономическое изобилие? Впоследствии нам объяснят, что возникло оно в городах за счет ограбления села, и мы с этим согласимся, хотя и позволим себе предположить, что объяснение не покрывает всей проблемы.

Порядок был тогда, неизменно гаркнул нам в ответ ветераны

вооруженной охраны. Воровства не было! И в этом тоже содержится истина или, скажем так, часть истины. В самом деле, народ наш российский доведен был Чекой до такой кондиции, что уж и воровать боялся. За мешочек колосков со вспаханного поля, за полусгнившую, никому не нужную картошку отправляли «по указу» на десять лет кайлить вечную мерзлоту. Не важно было, что ты взял, колбасы вязку или золотишка на сто тыщ, все получали «за расхищение социалистической собственности» жутчайшие каторжные сроки, а то и вышку могли схлопотать, если дело отягощалось какими-нибудь обстоятельствами. В лагеря отправлялись и те недотепы, что опаздывали на работу, то есть совершали проступок, близкий к саботажу великой реконструкции. В общем, трудно отрицать: порядок был.

И все-таки для того, чтобы полностью объяснить грандиознейшую стабилизацию и распространение могущества, возникшие к концу сороковых и распространившиеся на первую половину пятидесятых годов, нам придется скакнуть с накатанных рельс реализма в трясины метафизики. Не кажется ли нам, елки-палки, что дело все в том, что к тому времени организм социализма, который мы теперь в связи с недавними событиями не можем не сравнить с простым человеческим организмом, хотя бы по продолжительности жизни, что к тому времени этот организм социализма просто-напросто достиг своего пика, не кажется ли нам? То есть в том смысле, что... вот именно в том смысле, что социализм, если его рассматривать как некое биотело, а почему бы нам не рассматривать его как тело, достиг вершины своего развития, и вот именно потому-то и работал тогда некоторое время без сбоев.

И впрямь, ему было в те времена слегка за тридцать, расцвет каждого отдельно взятого тела. Предельно развитая суть всякого тела и данного тела, то есть социализма, в частности. Наконец-то было достигнуто сбалансированное совершенство общества: двадцать пять миллионов в лагерях, десять миллионов в армии, столько же в гэбэ и системе охраны. Остальная часть дееспособного населения занята самоотверженным трудом; состояние умов и рефлекторных систем великолепное. Произошло максимальное и, как впоследствии выяснилось, окончательное геополитическое расширение. Возникший под боком, как гирлянда надувных мешков, социалистический лагерь, старательно подравнивался к метрополии, чистил ячейки. К моменту начала нашего третьего тома, то есть к осени 1949 года, прошли уже в каждой «стране народной демократии» свои большие чистки. Одна лишь банда бывших друзей умудрилась увернуться от сталинских объятий, «банда Иосипа Броз Тито с

его гнусными сатрапами, банда американских шпионов, убийц и предателей дела социализма». Ненависть, обращенная к Югославии, была так горяча, что безусловно свидетельствовала не только о желчном пузыре стареющего паханка, но и об активности, то есть совершенстве, социалистических процессов. Разоблачение предателей не затихало ни на минуту ни в прессе, ни на радио, ни в официальных заявлениях. Кукрыниксы и Борис Ефимов соревновались в похабнейших карикатурах. То изобразят строптивного маршала в виде толстожопой бульдожицы на поводке у долговязого «дяди Сэма» – с когтей, конечно, капает кровь патриотов, то в виде расплывшегося в подхалимском наслаждении пуфа, на котором все тот же наглый «дядя Сэм» развалился своей костлявой задницей. Постоянно делались намеки на толстые ляжки вождя югославских коммунистов и на нечто бабье в очертаниях его нехорошего лица. В каких только преступлениях и злостных замыслах не обвинялся этот человек, однако один, может быть, самый гнусный замысел никогда не упоминался. Дело в том, что у вождя южных славян была тенденция не только к отколу от лагеря мира и социализма, но и к слиянию с оным. Еще в сорок шестом «клика Тито» предложила Сталину полный вход Югославии в СССР на правах федерации союзных республик, ну и, разумеется, вход всей «клики» в Кремль на правах членов Политбюро. Сталин тогда струхнул больше, чем в сорок первом. Явится «верный друг СССР» в Кремль со своими гайдуками, а ночью передушит всех одновременно в кабинетах и спальнях. Вот в чем причина упорства – хочет, мерзавец, стать вождем не только южных, но и вообще всех славян. Любопытно, что этот в общем-то самый страшный заговор против прогресса никогда не упоминался в советской печати. Слишком уж кощунственной казалась сама идея посягательства на великого отца народов и его главное детище – Советский Союз.

Вообще, не так много преступлений упоминалось конкретно, особенно когда речь шла о клевете на Советский Союз. Вот, например, Юрий Жуков, один из лучших, можно сказать, бойцов пера, пишет из Парижа о взрыве клеветы в империалистической прессе, а в чем суть клеветы, никогда не сообщает, просто «гнусная клевета, исполненная зоологической ненависти к оплоту мира и прогресса». В этом неназывании, неупоминании тоже проявлялась вершина социализма, его полный расцвет, ибо новому советскому человеку вовсе и не нужны были детали для того, чтобы преисполниться благородным гневом.

И все главные советские писатели, особенно международно нацеленные на борьбу за мир, такие, как Фадеев, Полевой, Симонов,

Тихонов, Турсун-заде, Грибачев, Софронов, Эренбург, Сурков, очень хорошо знали, что не нужно ничего уточнять, говоря о злобной клевете. Вообще, с писателями в те времена было фактически достигнуто партией предельное взаимопонимание. Литературная общественность решительно отвергла как космополитический декаданс, так и высосанный из пальца конфликт внутри советского общества. Спустя некоторое время неразумные выбросили «бесконфликтность» как извращение, а ведь и в ней тоже выражалась молодая зрелость, полный апофеоз социалистического тела.

У каждого зрелого тела все должно быть хорошо внутри, однако извне у него обязательно должен быть сильный враг. Этот враг был и у нас, да не какая-нибудь Югославия, а самый гнусный, самый коварный ну и, конечно, самый обреченный – Америка! Все другие враги, даже Англия, были менее гнусными, менее коварными и даже менее обреченными, потому что были слабее Америки. Вот и в этом противостоянии с Америкой наше социалистическое тело достигло тогда значительных успехов. Во-первых, разрушило ее атомную монополию; во-вторых, выставило нерушимый заслон в Германии в виде республики рабочих и крестьян; в-третьих, мощно атаковало американских сатрапов в Корее – «Но время движется скорее, / И по изрытой целине / Танкисты Северной Кореи / Несут свободу на броне...» (С.Смирнов); в-четвертых, путем развернутого движения за мир укоротило руки реакции в Западной Европе, в-пятых, у себя дома окончательно и бесповоротно покончило с тлетворными атлантическими влияниями.

И вот перед нами распростертый через эти славные годы лежит огромный, воспетый сатанинскими хорами, но все-таки на удивление все еще живой, жрущий и плюющий, бегущий, марширующий и пьяно вихляющийся город, и мы смотрим на него глазами шестнадцатилетнего вьюноши, явившегося на Сретенский бульвар из татарского захолустья, и глазами двадцатитрехлетнего мужчины, вернувшегося на улицу Горького из польских лесов.

* * *

Куда девались инвалиды Великой Отечественной войны? В один прекрасный день вдруг исчезли все, о ком ходила в народе столь милая шутка: «Без рук, без ног, на бабу – скок!» Администрация позаботилась: на прекрасных улицах столицы и в мраморных залах метро нечего делать

усеченному народу. Так мгновенно, так потрясающе стопроцентно выполнялись в те годы решения администрации! Инвалиды могут прекрасно дожить свой век в местах, не имеющих столь высокого символического значения для советского народа и всего прогрессивного человечества. Особенно это касалось тех, что укоротились наполовину и передвигались на притороченных к обезноженному телу платформочках с шарикоподшипниками. Эти укороченные товарищи имели склонность к черному пьянству, выкрикиванию диких слов, валянью на боку колесиками в сторону и отнюдь не способствовали распространению оптимизма.

Пьянство вообще-то не особенно возбуждалось – если ему предавались здоровые, концентрированные люди в свободное от работы или отпускное время. Напитки были хорошего качества и имелись повсюду, вплоть до простых столовых. Даже глубокой ночью в Охотном ряду можно было набрать и водок, и вин, и закусок в сверкающем чистотою дежурном гастронOME. К началу пятидесятых годов полностью возродились огромные московские рестораны, и все они бывали открыты до четырех часов утра. Во многих играли великолепные оркестры. Борьба с западной музыкой после полуночи ослабевала, и под шикарными дореволюционными люстрами звучали волнующие каскады «Гольфстрима» и «Каравана». В большом ходу были так называемые световые эффекты, когда гасили весь верхний свет и только лишь несколько разноцветных прожекторов пускали лучи под потолок, где вращался многогранный стеклянный шар. Под бликами, летящими с этого шара, танцевали уцелевшая фронтовая молодежь и подрастающее поколение. В такие моменты всем танцорам казалось, что очарование жизни будет только нарастать и никогда не обернется гнусным безденежным похмельем.

Процветал корпус московских швейцаров, широкогрудых и толстопуzych, с окладистыми бородами, в лампасах и с галунами. Далеко не все из них были рвачами и гадами, некоторые горделиво несли традицию, удовлетворенно подмечая эстетический поворот в сторону имперских ценностей. Особенно нравилось швейцарам введение формы в различных слоях населения: черные мундиры горняков и железнодорожников, серые с бархатными нашивками пиджаки юристов различных классов... По мере увеличения успехов легкой промышленности вся страна, разумеется, будет одета в форму, и тогда легче будет угадывать клиентуру.

Пока что есть, конечно, отдельная анархия. Московские парни, например, любят ходить с поднятыми воротниками и в резко сдвинутых набок восьмиклинках из ткани букле. Модники особенно дорожат длинными клеенчатыми плащами, поступающими из Германии в счет

репараций. Чрезвычайно популярны чехословацкие вельветовые курточки с молнией и кокеткой, а также отечественного производства маленькие чемоданчики с закругленными краями. Вот вам портрет молодого москвитянина 1948 – 1949 годов: кепка-букле, курточка с молнией, клеенчатый плащ, в руке чемоданчик. Детали в виде носа, глаз и подбородка дописывайте сами.

Идеалом тогдашней молодежи был Спортсмен. Довоенное слово «физкультурник» употреблялось лишь в насмешку, как показатель непрофессиональности. Высококласный носитель слова «спортсмен» был профессионалом или полупрофессионалом, хотя в стране Советов профессионального спорта в отличие от растленного Запада не существовало. Спортсмен получал от государства стипендию, точные размеры которой никто не знал, поскольку она шла под грифом «совершенно секретно». В крайнем случае, если Спортсмен до стипендии еще не дотянул, он должен был получать талоны на спецпитание. Спортсмен был нетороплив и неболтлив, среди публики цедил слова, передвигался с некоторой томностью, скрывающей колоссальную взрывную силу. Из репарационных клеенок настоящий Спортсмен, конечно, вырос. Являл обществу струящийся серебристый габардин или богатую пилотскую кожу. Кепарь-букле, однако, на башке задерживался, иногда даже с подрезанным козырьком, как память о хулиганской мальчиковости.

Из всех спортсменов главными героями были футболисты команд мастеров, особенно ЦДКА и новоиспеченного клуба ВВС, опекуном которого был генерал-лейтенант авиации Василий Иосифович Сталин. Большой популярностью пользовались игроки нового послевоенного вида спорта, который сначала назывался канадским хоккеем, а потом в ходе антикосмополитической кампании был переименован в хоккей с шайбой. Очень часто хоккеистами оказывались те же самые футболисты. Зимой, когда поля затягивались льдом, «мастера кожаного мяча» обувались в железо, на голову же водружали «велосипедки» с продольными, «вдоль по черепку», дутыми обручами или даже шлемы танкистов; и-и-и, пошла писать губерния: свистит шайба, скрежещут коньки, сшибаются, исторгая из печенок матерок, сильные офицерские тела.

Самым, конечно, любимым был лейтенант Сева Бобров, который на футболе мог метров с двадцати, перевернувшись через себя, «вбить дулю в девяточку», ну, а на хоккее, заложив неповторимый вираж за воротами, влеплял шайбу вратарю прямо «под очко». Да и внешностью молодой человек обладал располагающей: бритый затылок, чубчик на лбу,

квадратная, наша русская, ряшка, застенчиво-нахальная улыбочка: Сева такой.

Хоккейные побоища на «Динамо» в двадцатипятиградусный мороз. Клубы пара над могучей толпой, что твоя торфяная теплоэлектростанция. Опытные болельщики в тулупах поверх пальто, в карманах стеклоцех: «четвертинки» и «мерзавчики». Да и какой же русский не любит ледяных забав!

Катками, вообще, невероятно увлекалось население в Москве. В Казани, скажем, или в Варшаве такого не было. В вечерний час от метро «Парк культуры» к самому залитому льдом Парку культуры шли через Крымский мост толпы молодежи, несли свои «норвеги», «ножи», «снегурочки». Там, в ледяных аллеях, под электрическими арками, назначались свидания, шло скользжащее ухаживание, проливалась и кровянка. «Догоню, догоню, ты теперь не уйдешь от меня!» – разносился из репродукторов тоненький, девчачий голос популярной певицы.

Популярен был и баскетбол, однако не в столь широких кругах. Старшие школьники и студенты особенно увлекались этой американской игрой, которую так и не умудрились переименовать на патриотический манер в «корзиномяч». Казанский провинциал, что сам недавно начал играть и уже умел передвигаться с мячом и бросать из затяжного прыжка, совершенно обалдел от размаха баскетбольной жизни столицы. Одни прибалты чего стоят! Команда Эстонии, настоящие европейские атлеты, выходила на площадку в кожаных наколенниках, тщательно набриолиненные волосы разделены на пробор, все улыбаются, расшаркиваются перед судьями, никакого мата, хрипа, плевков, выигрывают, как хорошо сказано было в газете, «с легкостью и изяществом». Или литовские гиганты, крутящие так называемую «восьмерку» перед ошеломленными игроками Киргизии. Счет 115:15 в пользу больших людей малой страны.

Между тем идеал московской женщины тех дней был весьма далек от спортивных ристалищ. В этом идеале сочетались черты певицы Клавдии Шульженко и киноактрисы Валентины Серовой. Идеал прогуливался по Москве в туфлях-платформах с ремешками, переплетенными на щиколотке, и в белых войлочных «труакарах». Взгляд этого идеала обещал уцелевшим мужчинам и подрастающему поколению удивительное воплощение каких угодно романтических мечтаний. У нашего «поляка», весьма сдержанного в сложных условиях работы за рубежом, в Москве закружилась голова. Однажды на Сретенке он покупал свой «Дукат» (десяток сигарет в маленькой оранжевой пачечке), когда все мужики возле табачного киоска

повернули головы в одном направлении. Среди кургузых эмок и трофейных лягушек «БМВ» мимо скользил огромный зеленый открытый «линкольн», и в нем на заднем сиденье мечтательная белокурая головка. «Серову в Кремль ебать повезли», – похмельным басом пояснил кто-то из курящих. Была ли это Серова, и в Кремль ли ее везли, и действительно ли для патриотической миссии, никому неизвестно, однако наш «поляк» долго еще выискивал среди московской транспортной шелупени зеленый «линкольн», всерьез собираясь в следующий раз прыгнуть на его подножку и вырвать у «мечты» номер телефончика. Так никогда больше не увидел и вообще усомнился в реальности того момента на Сретенке у табачного киоска; не во сне ли привиделось, а потом уже в ложных воспоминаниях переселилось на Сретенку?

В сценке этой наблюдался еще один любопытный момент – эдакое небрежное, запросто, упоминание Кремля в контексте московского блядства. Похмельный хмырь, конечно, не представлял большинства населения, а только лишь разрозненный, растрепанный московский «мужской клуб», однако клуб этот был еще до конца не добит, в нем еще играли на бильярде, делали ставки на бегах, дули водку и пиво под сардельки с кислой капустой или, напротив, на крахмальных скатертях «Националя» употребляли марочный коньяк под семгу, бардачили по «хатам».

Что касается Кремля, то как-то трудно было себе представить, что столь легкая и милая красавица направлялась в эту мрачную твердыню. Еще куда ни шло, если бы под покровом ночи, в «воронке», с кляпом во рту волокни красавицу на поругание... Ведь, по слухам, Он как раз по ночам там сидит, думает о судьбах мира и прогресса...

Проходя как-то в полночь по Софийской набережной, «варшавянин» не мог оторвать взгляда от Кремлевского холма. Рубиновые звезды отчетливо светились и как бы поворачивались под темным осенним ветром, все, что ниже башенных шатров, было недвижимо и ужасно. Вдруг появился и прополз некий огонь. Скорее всего, это была фара патрульного мотоцикла, и все-таки наш «варшавянин» содрогнулся: трудно было не подумать, что это глаз дракона прошел во мраке.

Кажется, никто не заметил, как содрогнулся опытный, выдавший всякое «варшавянин». Набережная была пуста, ни души, за исключением какого-то юнца, притулившегося в десяти шагах под аркой, но он, кажется, тоже не заметил, потому что и сам содрогнулся, когда по кремлевскому бугру прошел светящийся глаз.

Что за странный юнец, что он тут делает один, почему вперился

взором в резиденцию главы государства? В Польше пришлось бы такого повернуть лицом к стене и обыскать...

– Спичек нет? – спросил «варшавянин».

– Я не курю, – ответил наш «казанец».

Чудак, усмехнулся первый, как будто я его спрашиваю, курит он или нет. Да ведь он меня не про курение спрашивает, а про спички, подумал второй и покраснел. Позор, краснею перед каким-то парнем. Чего это он покраснел, этот пацан?

Не холодно? Парень, конечно, имел в виду сомнительную одежду пацана. Ветер парусил сатиновую рубашку. Под ней, правда, что-то еще было надето, однако что бы там ни было надето, все-таки слабовато для октябрьской ночи. Парень, естественно, не знал, что это «что-то еще» было скрытой мукой пацана. По каким-то непонятным причинам пацан считал, что рубашка у него как раз такая, в какой надлежит прогуливаться «юноше конца сороковых годов», а вот это «что-то еще» совсем, совсем «не из той оперы»: бабушкина фуфайка. Растянувшийся, неопределенного цвета утеплитель он надевал под рубашку и глубоко засовывал в штаны, чтобы не деформировалась фигура сзади. При ходьбе, однако, фуфайка собиралась комками на задуге и на боках, лишая население столицы возможности любоваться безукоризненными юношескими формами. Была, конечно, еще и телогреечка, стеганый ловкий ватник, который мог бы решить эту проблему, однако в Москве, в отличие от Казани, ватники эти были явно не в ходу среди «юношей конца сороковых годов», а больше принадлежали дворницкому сословию. Вот почему пацан доходил до минусовой температуры в своей «хорошей» рубашке, под которой таилась нехорошая, постыдная фуфайка. Нет, спасибо, не холодно, ответил он незнакомому парню.

Они собрались было уже разойтись, но на секунду задержались, словно хотели запомнить друг друга. Парень в черном пальто с поднятым воротником – темно-рыжие волосы, светло-серые жесткие глаза – восхитил провинциального пацана. Вот оно, воплощение современной московской молодежи, такая уверенность в себе, наверняка мастер спорта, подумал пацан. Может, подарить свитер этому сопливному романтику, с усмешкой подумал парень. Из Польши он привез полдюжины толстых свитеров. Однако это будет как-то странно, дарить свитер незнакомому пацану.

Они разошлись. Пацан дошел до угла небрежной неторопливой походкой, боясь, что парень, обернувшись, может подумать, что ему холодно. На углу оглянулся. Парень садился в седло мотоцикла. Развевалась шевелюра. Он смирял ее извлеченной из багажника лыжной

шапочкой. Если бы у меня был такой старший брат, вдруг подумал пацан, завернул за угол и тогда уже дунул во все лопатки, забыв о сомнительных подошвах, о которых, признаться, помнил всегда, помчался, спасаясь от ветра, а временами вдруг как бы сливаясь с ветром, как бы восторженно взлетая, к станции «Новокузнецкая», к теплым кишкам метрополитена.

Его старший брат погиб в Ленинграде во время блокады. Его отец сидел свой пятнадцатилетний срок в воркутинских лагерях. Его мать только что освободилась из колымских лагерей и осела в Магадане, то есть в том месте, откуда мы начали третий том нашей градовской саги. Считая себя, однако, представителем «молодежи конца сороковых годов», этот пацан думал не о тех миллионах своих сверстников, что числились там, где положено им было числиться, «детьми врагов народа», а о тех, кто играл в баскетбол, футбол и хоккей, проносился мимо на трофейных и отечественных мотоциклах, танцевал румбу и фокстрот, уверенно, ловко подкручивая своих партнерш, сногшибательных московских девчонок.

Москва, собственно говоря, была для этого пацана промежуточной остановкой на пути в Магадан. До этого он ни разу не выезжал из Казани, там воспарял юношеской душой к урбанистической романтике. Не замечая повсеместного убожества, озирали только закатные силуэты башен и крыш, засохшие фонтаны и перекошенные окна «прекрасной эпохи». И вдруг попал в большой мир, в кружение столичного обихода, вот он где, Город, какая уж там Казань, о которой певец Города Владимир Маяковский не нашел ничего лучшего сказать, как только: «Стара, коса, стоит Казань...»

Из Москвы он должен был лететь в Магадан вместе с маминой покровительницей, колымской вольной гражданкой, возвращающейся из отпуска. Покровительница в связи с семейными делами затягивала отъезд, а он пока что кружил по московским улицам, и в деловой толчее, и в ночной пустыне, в день по десять раз влюблялся в мелькающие мимо личики, кропал стишки на обрывках «Советского спорта»: «Ночная мгла без содроганий / Неслышно нанесла удар, / Упал за баррикадой зданий / Зари последний коммунары...», вообще вел себя так, как будто напроочь забыл, кто он такой, как будто никто не может украсть его молодость, как будто ему никогда не приходило в голову – ну, за исключением, может быть, того момента, когда по ночному Кремлю прополз драконий глаз, – что этот город до последнего кирпича пронизан жестокостью и ложью.

А между тем Москва...

Глава третья

Одинокий герой

От чего я точно пьяный бабьим летом, бабьим летом... – пел московский бард в шестидесятые годы. Бабьим летом сорок девятого, в начале октября, то же настроение охватывало двадцатитрехлетнего мотоциклиста, еще не знавшего этой песни, но уже как бы предчувствовавшего ее появление. Он кружил в вечерний час пик по запруженным улицам в районе Бульварного кольца на трофейном мотоцикле «цюндап», и закатное, начинающее принимать оттенок зрелой меди небо, открывающееся, скажем, при спуске со Сретенки, почему-то сильно волновало его, как будто обещало за ближайшим поворотом некую волшебную встречу, как будто оно открывалось не перед матерым диверсантом из польских лесов, а перед каким-нибудь наивным вьюношей-провинциалом. Все это дело, очевидно, связано с бабами, думал Борис IV Градов. Собственно говоря, он уже целый год был основательно влюблен во всех баб Москвы.

* * *

В это же время по Садовому кольцу, держась вблизи от тротуара, медленно ехал черный лимузин с пуленепробиваемыми стеклами. В нем на заднем диване сидели два мужика. Одному из них, генерал-майору Нугзару Ламадзе, было слегка за сорок, второму, маршалу Лаврентию Берию, заместителю председателя Совета Министров, отвечающему за атомную энергию, и члену Политбюро ВКП(б), отвечающему за МГБ и МВД, было за пятьдесят. Последний тоже, можно сказать, был влюблен во всех баб Москвы, однако несколько иначе, чем наш мотоциклист. Чуть раздвинув кремовые шторы лимузина, маршал в щелку внедрял свое зоркое стеклянное око, следя за проходящим, большей частью очень озабоченным женским составом трудящихся столицы. От этого подглядывания его отяжелевшее тело принимало какой-то неестественный поворот, вывернувшийся голый затылок напоминал ляжку кентавра. Левая рука маршала поигрывала в кармане брюк.

Совсем уже, свинья такая, меня не стесняется, тем временем думал Нугзар. Во что меня превратил, грязный шакал! Какой позор, второй

человек великой державы и чем занимается!

Он делал вид, что не обращает внимания на своего шефа, держал на коленях папку с бумагами, сортировал срочные и те, что могут подождать. Рука маршала между тем вылезала из штанов, вытаскивала вслед за собою большой и местами сильно заскорузлый клетчатый платок, вытирала увлажнившуюся плешь и загривок.

– Ай-ай-ай, – бормотала голова. – Ну, посмотри, Нугзар, что нам предлагает новое поколение. О, московские девчонки, где на свете ты еще найдешь такие вишенки, такие яблочки, такие маленькие дыньки... Можно гордиться такой молодежью, как ты считаешь? А как она перепрыгивает через лужи, а?! Можно только вообразить себе, как она будет подпрыгивать... хм... Ну посмотри, Нугзар! Перестань притворяться, в конце концов!

Генерал-майор отложил папку, вздохнул с притворной укоризной, посмотрел на маршала, как на расшалившегося мальчугана; он знал, что тот любил такие взгляды с его стороны.

– Кто же так поразил твое воображение, Лаврентий?

В такие минуты возбнялось называть всесильного сатрапа по имени-отчеству, а уж тем более по чину: простое, дружеское «Лаврентий» напоминало добрые, старые времена, город-над-Курой, блаженные вакханалии.

– Она остановилась! – вскричал Берия. – Смотрит на часы! Ха-ха-ха, наверное, ебара поджидает! Стой, Шевчук! – приказал он своему шоферу, майору госбезопасности.

Тяжелый бронированный «паккард», наводящий ужас на всех постовых Москвы, остановился неподалеку от станции метро «Парк культуры».

Сзади подошел и встал к обочине ЗИС сопровождения. Берия извлек цейсовский бинокль, специально содержащийся в «паккарде» для наблюдения за лучшими представительницами здешних масс.

– Ну, Нугзарка, оцени взглядом знатока!

Генерал-майор пересел на откидное сиденье и посмотрел в щелку сначала без бинокля: метрах в сорока от их машины у газетного стенда стояла тоненькая девушка в довольно шикарной жакетке с большими плечами. Она читала газету и ела мороженое, то есть, как и полагается современному советскому человеку, старалась получить сразу не менее двух удовольствий. В сгущающихся сумерках казалось, что ей лет двадцать, однако сбивала с толку нотная папка, которой она с некоторой детскостью похлопывала себя по коленке.

– Почему так долго не зажигают свет? – возмущенно спросил Берия. – Форменное безобразие, люди топчутся в потемках.

В десяти метрах за правым плечом девушки было метро. У дверей закручивались потоки входящих-выходящих. Ей нужно не больше двух секунд, чтобы исчезнуть, подумал Нугзар. Поворачивается и исчезает, и свинье остается только дробить, на чем он, конечно, не успокоится, будет искать себе другую и, уж конечно, найдет, но уж хотя бы не эту прелесть. Увы, она не уходит. Стоит, дура, со своим мороженым, как будто ждет, когда он пошлет Шевчука или... или... даже меня, генерал-майора Ламадзе... скорее всего, меня и пошлет, «не в службу, а в дружбу»... почему меня никто не попросит его убить?..

В последний год ненависть Нугзара к шефу достигла, казалось, уже предельной точки. Он понимал, что время уходит и что Берия никогда не позволит ему подняться на следующую ступеньку, занять более независимое положение в системе. Неожиданно дарованная Сталиным в тяжелый военный год генеральская звезда так и осталась сиять в одиночестве. Да разве в чине дело? Генерал-майоры в системе иной раз командуют целыми управлениями, осуществляют большой объем работ, получают творческое удовлетворение, накапливают авторитет. Берия, однако, перекрыл ему все пути для роста. Очевидно, он решил это еще тогда, в сорок втором, после памятного ужина у Иосифа Виссарионовича. Крысиным чутьем чувствует опасность. Остановить молодого Ламадзе! Конечно, он мог его просто убрать, как убирал десятки других из своего окружения. Уж кто-кто, а Нугзар-то знал, что Лаврентий любит кончать опасных карьеристов лично, в своем кабинете, неожиданным, в ходе дружеской беседы, выстрелом в висок. Тогда, однако, он не решился таким излюбленным методом избавиться от выдвигенца самого Сталина, а сейчас ему, очевидно, кажется, что и всякая необходимость отпала. Уничтожил Нугзара Ламадзе, максимально приблизив его к себе. Что это за должность: помощник зампредсовмина? Может быть, это человек неслыханного влияния, посвященный во все важнейшие дела государства, а может быть, просто адъютант, холуй, которого за бабами посылают?

Никогда не забывает, скотина, темных пятен в послужном списке Нугзара. Нет-нет да вспомнит «связь с троцкисткой» и то, как спасал эту троцкистку, любимую Нинку Градову, от органов, перепрыгивал ее дело из одного шкафа в другой. Половая связь с врагом партии, дорогой товарищ Ламадзе, нередко приводит к идеологической связи. Да я шучу, шучу, хихикает он, ты что, юмора не понимаешь?

А тут еще вся эта история с маршалышей Градовой – и опять эта

семейка, какой-то рок! – из этой истории органы явно не вышли победителем; так считает негодяй. Да как же, Лаврентий Павлович, вот же ее подпись на документе, она в наших руках, в любой момент можем задействовать. Ну, Нугзарка, ты опять лезешь в официальщину! Лучше расскажи старому товарищу, как ты ее ебал, как породнился своим концом, можно сказать, с американской разведкой. Фу, даже пот прошибает от таких шуток, Лаврентий. Фу, Нугзар, уж и пошутить нельзя? Что-то у тебя с чувством юмора появились недостатки.

Сам себе Нугзар иногда признавался, что с Вероникой и Тэлавером далеко не все было ясно в 1945 году. Психологический рисунок операции вроде был безупречный, одного только в нем не хватало: русской бабской истерики. Вдруг на второй или третий день после предложения без всяких стенаний и даже с каким-то высокомерием Вероника подписала соглашение о сотрудничестве. Уж не открылась ли жениху красotka, не ведет ли двойную игру, подумал тогда Нугзар, однако руководству своих подозрений не выдал. Во-первых, не хотелось все снова запутывать, снижать ценность такого блестящего дела, как помещение своего человека в постель крупного американского военного специалиста. Во-вторых, было немного жалко Веронику, которая ему где-то по-человечески, ну, как говорится, по большому счету, в общем-то нравилась. Второй посадки она, конечно, уже не выдержала бы. Ну, а если бы просто «закрыли семафор», было бы еще хуже: окончательно бы спилась красавица Москвы.

Все прошло неожиданно гладко. Во-первых, Лаврентий, который поначалу лично курировал операцию, вдруг утратил к ней интерес. Во-вторых, похоже было на то, что вмешались самые крупные чины союзников, чуть ли не сам Эйзенхауэр из Германии через союзническую контрольную комиссию или даже прямо через Жукова обратился к Сталину с просьбой не чинить препятствий женитьбе полковника Тэлавера на вдове дважды Героя Советского Союза. Так или иначе, но Берия перестал спрашивать об этом деле, а на прямые вопросы только отмахивался: делай, мол, как хочешь, не имеет, дескать, большого значения. И вот только тогда, когда голубки улетели в Заокеанию – по последним данным, мирно живут в Нью-Хэвене и ни хрена не имеют общего с государственными секретами, – тогда только маршал начал жутковато шутить насчет половых связей с американской разведкой. Снова этот подлец сделал вилку конем: с одной стороны, мол, дело ерундовое, значит, и не надо поощрять Ламадзе, а с другой, пахнет, мол, слегка, чуточку так смердит самым страшненьким, так что если, мол, плохо будешь соображать, можно и раздуть этот запашок.

Что касается запашков, то, как говорится, в доме повешенного ни слова о веревке. От вождя в последние годы частенько смердит. Жене осточертел со своими бесконечными случками на стороне, перестала следить за его кальсонами. Ну, а сам чистоплотностью не отличается, хорошо моется только перед заседаниями Политбюро... Вообще, с годами какие-то странности стали наблюдаться в чудовище. Вдруг помешался на спорте, на своем любимом «Динамо». Еще до войны упек в лагеря футболистов-спартаковцев, четырех братьев Старостиных, чтобы не мешали успехам «команды органов», а теперь вообще съехал с резьбы: охотится за спортсменами, переманивает их из армейских клубов, а иногда просто похищает. Особенно докучает ему новое общество ВВС, что под эгидой Василия, самого генерал-лейтенанта Сталина. Вдруг ни с того ни с сего начинает беситься. Думаешь, в разведке какой-нибудь провал, в Иране что-нибудь неладно или в Берлине или там какой-нибудь сбой в развороте «ленинградского дела», а оказывается, вся беда в том, что Васька опять к себе каких-то хоккеистов перетащил.

А то вдруг вообще начинается нечто не вполне рациональное, чтобы не сказать иррациональное. Не так давно Нугзар, войдя в кабинет, застал Лаврентия Павловича за чтением «Советского спорта». Сразу понял, что чем-то недоволен вождь в жалкой газетенке, чем-то она его вдруг раздражила. Что-нибудь не так, товарищ маршал?

Можно сказать, что «не так». Вот полюбуйся, что печатают, негодяи. Палец, похожий на миниатюрный хрен в морщинистом гондоне, упирается в стихотворение «На Красной площади». Нугзар мучительно читает:

*На площадь в потоке колонн
Под звуки чеканного марша
Вплывает заря знамен.
Вливается грохот металла
И кованый цокот копыт.
И в солнечном шелке алом
Октябрьский
ветер
кипит.
Но вот за полками пехоты
Проходят полки труда,
Заводы идут, как роты,
И песня
звенит*

в рядах.

«Читай вслух!» – вдруг гаркнул Берия. Нугзар вздрогнул: таким криком можно и без пистолета человека пришить. Все-таки набрался мужества, развел руками: надо иногда показывать характер чекиста. «Не понимаю, что тут такого читать, Лаврентий Павлович?» Берия нервно хохотнул, вырвал газету: «Не понимаешь? Тогда слушай, я тебе сам прочту с чувством, с толком, с расстановкой». Он начал читать, то и дело останавливаясь, упираясь пальцем в строку, взглядывая на Нугзара и продолжая, распалялся каким-то странным бешенством, часто делая неправильные ударения в русских словах.

*Сегодня у стен кремлевских
Спортсменов
я узнаю.
Отвага,
юность
и ловкость
Проходят
в строгом строю.
Над площадью
солнца лучи,
Золотом
плиты
облиты,
Приветствуют москвичи
Любимцев своих
знаменитых.
Колонны шагают легко,
И Красная площадь
светлеет,
Стоит полководец веков
На
мраморном
Мавзолее.
Бессильная ярость
за океаном,
От злобы*

корчатся
черчилли,
А он
строительством мира
занят —
Будущее
вычерчивает.
По всей неоглядной Отчизне,
Равнение
на Кремль
держа,
Строится коммунизм
По Сталинским
чертежам.
Вскипают
в степи седой
Полезащитные
полосы,
Тундра
в осаде садов
Покорно
пятится
к полюсу.
Встают города,
расцветают пески,
Распахнуты
светлые дали!
И нам,
как имя Отчизны, близки
Два имени,
Ленин и Сталин!

«Ну вот, – чтение закончилось как бы в каком-то изнеможении. – Ну, что теперь скажешь?»

«Ничего не понимаю, Лаврентий Павлович», – без всякого сочувствия ответил помощник. Он и в самом деле не понимал, ради чего тут было устроено, один на один, такое фиглярство вокруг стиха. «Ах, ты не понимаешь, Нугзар? Это печально. Если даже ты не понимаешь, то на кого

же я могу положиться? Только на свое чутье?»

«Простите, Лаврентий Павлович, что же тут можно найти? Тут все, что полагается...»

«Эх, Нугзар, Нугзар, не по-дружески себя ведешь... Сколько раз я тебя просил, один на один не называй меня по отчеству, Нугзар-батано. Я тебя всего на десять лет старше, всю жизнь вместе работаем, понимаешь...» Отшвыривает «Советский спорт», начинает расхаживать по кабинету, причем ходит так, что только и жди, как бы не повернулся с пистолетом. «Никто меня не понимает в этой блядской конторе, кроме Максимильяныча!» Имеется в виду Маленков. «Ты что, Нугзар, между строк не можешь читать? Не видишь, сколько тут издевательства? Над нами над всеми издевается негодяй! Как его зовут? Посмотри, как подписывается? Евг. Евтушенко. Что это за фамилия такая, Евг. Евтушенко? С такой фамилией нельзя печататься в советской прессе!»

«Слушай, Лаврентий, дорогой, что такого в этой фамилии, – возразил Нугзар в том стиле, который вроде от него требовался. – Обыкновенная украинская фамилия, а „Евг.“ – это, наверное, сокращение от „Евгений“...»

«Я этому Евгению не верю! – взвизгнул Берия. – Меня чутье никогда не подводило! Суркову верю, Максиму Танку верю, даже Симонову верю, даже Антанасу Венцлове, а этому нет! Откуда такой взялся – Евг.?»

Вдруг смял комом «Советский спорт», ударил ногой, как вратарь, выбивающий мяч. «Проверить и доложить, товарищ Ламадзе!»

Одернул пиджак, нахмуренный пошел к столу читать протоколы ленинградских допросов.

Нугзар тогда подумал: сам с собой играет в кошки-мышки, зловещий бандит. Пытается отвлечься от бесконечных убийств. Конечно, нелегко забыть, как вот в этом же лубянском кабинете поросенком визжал под допросом вчерашний член Политбюро Николай Вознесенский. А сколько таких «поросят» у него на совести! У всех у нас. Все мы тут черные духи, дьяволы, иначе и не скажешь. Однако этот хочет отвлечься: девчонки, спорт... Вот он читает эту газетенку, такой, видите ли, нормальный болельщик, и вдруг опять мрак накатывает, опять крови захотел, теперь какого-то Евг. Евтушенко...

А тот, несчастный, и не подозревает, кто им заинтересовался. Старается, делает из одной строчки три себе на пропитание, то есть под Маяковского крутит. Наверное, какой-нибудь бывший лефовец, пожилой и замшелый неудачник...

Нугзар надел штатский макинтош, мягкую шляпу и поехал в «Советский спорт». Редактор там сразу же, похоже, описался от страха.

Вскочил, зашатался, побежал куда-то, в коридоре закричали: «Тарасова к главному!» Прибежал какой-то заведом. Вот товарищи из органов интересуются вашим автором. Спокойно, спокойно, товарищ редактор, почему множественное число? Не «товарищи интересуются», а вот лично мне интересно, почему вы печатаете такого Евг. Евтушенко. Звонко пишет, говорите? Молодо, говорите, пишет? Любопытно, любопытно. Он сейчас здесь, говорите? А где же? Да вот он здесь, товарищ генерал, на лестнице курит. Позвать? Не надо. Просто покажите. Редактор лично открыл дверь на лестницу. Там стоял долговязый мальчишка в вельветовой курточке, в кепочке-букле, торчал сизый от дыма нос, гордо позировали новые туфли на микропорке. «Вот это и есть Евг. Евтушенко?» – «Так точно». – «Сколько же лет этому вашему Евг. Евтушенко?» Редактор дернулся из-за стола, потом, остановленный жестом грозного гостя, плюхнулся обратно в свое стуло. Трудно было взирать на такого гостя из-за начальственного стола, хотелось навтыжку, по-курсантски. «Тарасов, сколько лет этому вашему автору?» У Тарасова лицо непроницаемое, даже презрительное: от страха, должно быть, утратил всякую искательность. «Шестнадцать, – бормочет он, – или восемнадцать... Во всяком случае, не больше двадцати...» – «Наверное, еще школьник?» – «Кажется», – с каким-то даже высокомерием прогундосил Тарасов.

Через коридор видно было, как кто-то сверху, из другой редакции, прошел мимо Евг. Евтушенко и как тот потянулся к прошедшему длинной шеей, прозрачный зрачок блеснул неожиданно умудренной лукавинкой. Прошедший хохотнул, что-то сказал, явно вдохновляющее, отчего Евг. Евтушенко сплясал на лестничной площадке маленького трепачка-четочку: дела идут, контора пишет!

«Чем же вас подкупили его стихи?» – спросил Нугзар у Тарасова. На главного редактора он уже не обращал никакого внимания. Тарасов сидел, как Будда, почти отключившись от действительности. Все-таки разомкнул уста: «Звонкостью такой... ну, молодостью такой...»

В этот момент Евг. Евтушенко прикончил папиросу каблуком микропорки и заметил, что дверь в кабинет главного редактора открыта. Немедленно поспешил мимо по коридору в туалет и, проходя, заглянул в кабинет с огромным, всеохватывающим интересом. Каков пацан, подумал Нугзар, и вдруг сложилась другая оригинальная мысль: нет, такому в тюрьме явно нечего делать.

Тарасов тут вытащил из кармана бумажный лепесток. Вот, еще одно стихотворение принес. Есть неожиданные рифмы... идейность безупречная...

Последнее стихотворение Евг. Евтушенко называлось «Судьба боксера» и рассказывало о тяжелой судьбе американского атлета по имени Джин.

*Вспомнил войну,
русского солдата,
Уроженца Сибири дальней,
который,
дружбе солдатской
в задаток,
Джину подарил
портрет
Сталина.
Ничего сейчас у Джина нет,
Только
этот
портрет!
Идет чемпион неоднократный,
Сер сквер.
А наверное, сейчас
бьют куранты
В Москве.
Там люди, как воздухом,
дышат свободой
Под знаменем
Сталинских светлых идей.
Там спорт —
достояние всего народа,
Воспитывает людей!..*

«Где же здесь неожиданные рифмы?» — спросил Нугзар. Вся ситуация вдруг показалась ему чрезвычайно забавной. Странная какая-то необязательность присутствует в этой россыпи обязательных слов. Неужели Берия это уловил? «Неоднократный — куранты, сквер — Москве...» — пробормотал Тарасов. «Что?» — «Корневые рифмы». — «Ах да». Это поколение явно не собирается в лагерь. На что они рассчитывают? На корневые рифмы? «Вы пока что, товарищ Тарасов, воздержитесь от напечатания этого стиха, — мягко посоветовал он. — Лады?» — «Как

скажете», – сказал Тарасов. «Ну, просто до моего звонка, пока не надо. Стихи, ей-ей, не испортятся за пару недель. Помните, как один поэт сказал: „Моим стихам, как драгоценным винам, наступит свой черед“?»

Тарасов проглотил слюну, отвлекся взглядом в угол: виду подавать нельзя, что помнишь запрещенную Цветаеву. Наверное, думает: ну и чекисты пошли с такими стишками на устах. Не знает этот Тарасов, что я рос рядом с поэтами. Там, рядом с поэтами, и вырос в убийцу. Такой, стало быть, облагороженный вариант душегуба.

За две недели Берия, разумеется, и думать забыл об авторе стихов «На Красной площади». Приближалось главное событие 1949 года, испытания «устройства» в Семипалатинске. Несколько раз собирали актив засекреченных ученых, накручивали кишки на кулак. Совершили поездку по объектам. Проверяли схему агентуры влияния в западных средствах массовой информации. Если испытание пройдет успешно, надо будет, чтобы об этом, с одной стороны, никто не узнал, а с другой стороны, чтобы узнали все. Хозяин не раз намекал, что от испытания зависит новая расстановка сил на мировой арене. Возможно наступление по всему фронту.

В утренней почте Берии всегда присутствовал «Советский спорт». Иной раз он вытаскивал его из кучи газет, быстро заглядывал в сводку футбольного чемпионата – как там возлюбленное «Динамо» крутится, хлопал ладонью по краю стола то с досадой, то с удовольствием и тут же отбрасывал орган Госкомитета по физкультуре. Однажды Нугзар для собственного алиби все же упомянул о посещении редакции – сделал он это именно тогда, когда шеф был меньше всего расположен говорить о чем-нибудь, кроме «устройства». Однако Лаврентий Павлович тут же его перебил: «О чем ты говоришь, генерал? Да пошел он на хер, этот гамахлэбуло Шевкуненко!» Из этого можно было сделать вывод, что тот приступ необъяснимой ярости в адрес поэта, скорее всего, относится к чудачествам среднего возраста, что все это надо забыть в той же степени, как не следует держать в уме разные прочие эскапады сатрапа, и уж во всяком случае молодой Евг. Евтушенко может пока что благополучно трудиться над своей «корневой рифмой» во славу завоеваний революции.

* * *

Он просто сделал из меня своего холуя, думал Нугзар, следя в щелку за тоненькой фигуркой с торчащими накладными плечами, просто

потакателя своим гнусным причудам, хоть и просит всякий раз помочь ему «как мужчина мужчине». Тут перед станцией метро загорелись фонари.

– На! – сказал Берия. – Вот, полюбуйся, какая прелесть! Я просто влюблен!

– Что «на»? – спросил Нугзар.

Шеф протягивал ему свой охотничий бинокль. Он влюблен, оказывается. Влюбленный кабан. Такому бы хороший заряд в лоб, чтобы стекла посыпались. Нугзар подкрутил колесико. Ничего не скажешь, хороша цейсовская оптика. Перед ним отчетливо выделялось из толпы прелестное детское лицо: светлые глаза избалованной красоточки, крутой лобик, говорящий о мало испорченной породе, тоненький и чуточку, самую чуточку, длинноватый носик, полнокровные губки, мелькающий между ними, словно язычок огонька, изничтожитель мороженого. Все это овевалось под нарастающим ветром трепещущей волной каштановых волос.

– Хороша! – проговорил генерал-майор Ламадзе.

– А я что говорил! – воскликнул маршал Берия. Из рта пахнуло, как из преисподней. Зубы не чистит, мученик идеи!

– Хороша будет! – закончил свою мысль Ламадзе.

– Что значит будет? – возмущенно возопил Берия, словно гадкий мальчик, у которого отнимают кость. Пардон, что-то тут не сходится: гад, срака!

– Года через два-три хороша будет, – мягко и лживо улыбался Нугзар. Почему-то он не мог себе представить, что подойдет к этой девчоночке, покажет ей свою эмгэбэшную книжку и поволочет затем в лимузин. К кому угодно, но только не к этой! Пусть хоть глаза выкалывает, не пойду!

– Ты говоришь не как кавказец, – продолжал чванливо, с выпячиванием подбородка брюзжать Берия. – Вспомни, в каком возрасте в Азербайджане девчонок берут в постель.

В Азербайджане может быть, думал Ламадзе, в цивилизованных христианских странах никогда! Его собственная дочка Цисана, между прочим, тоже подходила уже к «возрасту», кажется, уже месячные начались, и хоть держалась еще за мамкину юбку, а вдруг... через годик привлечет внимание какого-нибудь, если можно так сказать, тлетворного маршала. От этой мысли потемнело в глазах. Убойной силы у меня в правой руке еще достаточно, вот этим биноклем со всего размаху прямо под челюсть, чтобы проломить основание черепа...

– Притащить девчонку, товарищ маршал? – вдруг спереди бойко сделал запрос верный Шевчук.

– Зачем ты пойдешь?! Зачем не Нугзарка пойдет?! – взвизгнул Берия. Когда злится, начинает неправильно говорить по-русски.

Нугзар весело рассмеялся:

– Я просто подумал, Лаврентий, что по закону РСФСР... ха-ха-ха, ведь мы же на территории РСФСР, нас... ха-ха-ха, могут привлечь за растление малолетних...

Мысль о привлечении по закону РСФСР показалась Берии такой забавной, что он даже на минуту забыл о девчонке.

– Ха-ха-ха, ну, Нугзар, насмешил... все-таки ты еще не совсем занудой стал... Шевчук, слышал? По закону РСФСР!

В этот момент вся диспозиция возле метро «Парк культуры» резко переменилась. К девчонке подошел молодой крепкий парень в короткой суконной заграничного покроя куртке. Снисходительно и уверенно хлопнул ее по попке. Девчонка обернулась и радостно бросилась ему на шею, не выпуская, однако, полусъеденного мороженого. Парень сердито отмахивался от сладких капель. Схватив за руку, бесцеремонно потащил ее через толпу к пришвартованному под фонарем могучему мотоциклу. Через несколько секунд мотоцикл уже отчаливал, сразу же разворачиваясь в сторону Садового кольца. Девчонка сидела на заднем сиденье, обхватив парня вокруг талии, то есть по всем правилам послевоенного московского романешти.

– За ними, товарищ маршал? – вскричал Шевчук. Восклицанием этим он, разумеется, только лишь выказывал стопроцентную преданность и двухсотпроцентное рвение. Может ли возникнуть по Москве более нелепое зрелище, чем бронированный «паккард» второго человека в государстве, преследующий фривольную парочку на мотоцикле? Передавать приказ машине сопровождения тоже было нелепо: за эти несколько минут мотоцикл умчится далеко, ищи-свищи его по необъятной Москве. Да и вообще сам стиль бериевской похотливой охоты не предусматривал суеты, спешки, погони. Наоборот, все должно проходить в медленном неотвратимом, как сама нынешняя власть, гипнотизирующем темпе. В общем, сбежала антилопка!

– Это все из-за тебя, Нугзар, – с досадой, но, к счастью, без особенной злобы проговорил Лаврентий Павлович. – Малолетку, видите ли, пожалел, а за ней как раз и подъехал ебарь. – Вдруг расхохотался: – Это же анекдот, привлекут, говорит, к ответственности за растление, а за малолеткой ебарь-шмобарь тут же подъезжает!

Нугзар, сообразив, что опасность вдруг утекла по прихотливым извивам тиранической психологии, тоже охотно расхохотался, закрутил

красивой головою с благородными седыми опалинами на висках.

– Сплоховал, сплоховал я, Лаврентий. Отстал от жизни, старею, наверное.

– Ну, вот теперь за это сам и ищи новую дичь! – весело хихикал Берия. – Даю тебе пять минут. На ночь глядя нам надо еще к Хозяину заехать.

Он нажал кнопку. Из вмонтированного в спинку переднего кресла шкафчика выехал поднос с коньяком, хрустальными стаканами, боржомом и лимончиком. Неудачу надо быстро запить и зажевать лимоном.

Дичь не заставила себя ждать. Из недр метрополитена явилась прямо как по заказу московская Афродита с плебейской юной мордахой, завершённый вариант наложницы. Не говоря ни слова, Берия кивнул. Нугзар выпростался из «паккарда» и двинулся к девушке.

По разработанной схеме в таких случаях он должен был быть чрезвычайно вежлив, что было нетрудно, учитывая хорошее в общем-то тифлисское воспитание. Ему надлежало притронуться к козырьку – если в штатском, то к полям мягкой шляпы, – затем извлечь, увы, не то, что вы думаете, уважаемый читатель, а наводящую на всех ужас книжечку МГБ и только потом уже мягким баритончиком произнести: «Простите за беспокойство, но с вами хочет поговорить человек государственной важности». Нугзар всю эту схему выполнял неукоснительно за исключением сакраментальной фразы, которую он подавал на свой манер: «Простите за беспокойство, но с вами хочет поговорить один из государственных мужей Советского Союза». Какая разница в конце концов, однако ему казалось, что он вносит в ситуацию какую-то убийственную иронию. Именно этими «государственными мужами Советского Союза» он как бы на одно мгновение убивал злодея, а самого себя спасал от грязнейшего унижения. Неизвестно еще, как шеф реагировал бы, узнай он о нугзаровском варианте приглашения: ведь до недавнего времени он даже и от верного оруженосца, и может быть особенно от него, ждал подвоха. Сейчас, кажется, он уже не ждет от меня ничего, кроме подлейшего раболепия, ну а жертвам, тем уж не до словесной игры: естественно, голову теряют от страха, ничего не помнят.

Плебеечка, только что гордо под взглядами мужчин несшая свои божественные формы, съезжилась при виде вылезшего из страшного лимузина и направившегося прямо к ней красавца генерала. Приближался самый драматический момент ее маленькой жизни. «Помню, я еще молодухой была» – так будет петь когда-то поближе к старости. Он взял под козырек и извлек из нагрудного кармана – нет-нет, дорогой читатель, –

извлек книжечку с испепеляющей аббревиатурой: МГБ, Московская Геронтократия Блядожоров, что-то в этом роде.

На лице у нее вдруг россыпью выступили веснушки, проявилось несколько оспинок. Ничего, сойдет на сегодня.

– Простите за беспокойство, но с вами хочет поговорить один из государственных мужей Советского Союза.

Девушка так перепугалась, что не могла ни вымолвить слова, ни шевельнуть ногою. Нугзар мягко взял ее под руку. Он вообразил, что шеф в этот момент уже законтачивает свою систему в кармане штанов.

– Вам не нужно ни о чем беспокоиться. Как вас зовут?

– Л-л-люда, – еле слышно пробормотала жертва.

Нугзар заметил, что за этой сценой внимательно наблюдают постовой милиционер и киоскерша.

– Не волнуйтесь, товарищ Люда, поверьте, нет никаких причин волноваться. Просто с вами хочет познакомиться... (подчеркнул голосом многозначное слово, чтобы поняла, дура, просто выебать хотят, а не под расстрел... ну, поняла?.. ну, не целочка же... нет, ничего не понимает, трясется идиотка...) хочет познакомиться один важный государственный... (чуть не сказал «преступник») деятель...

Он повел ее с осторожностью, словно больную. Открылась дверь, но не в главной машине, а в сопровождающей. Очевидно, Шевчук уже сбегал, передал приказ быкам: благополучно доставить к соответствующему подъезду на Качалова. Очевидно, решено сначала к Хозяину с докладом, а уж потом, как скотина выражается, в царство гармоний.

Возле самой машины Люда вдруг взбрыкнула, вся вытянулась стрункой да так заартачилась, что у Нугзара у самого шевельнулось нечто мужское в «остывшей душе», однако тут же майор Галубик выскочил, ловко подсадил девицу под задок. Дверь захлопнулась. Нугзаровская часть операции благополучно завершилась.

* * *

А мотоциклист с пассажиркой между тем мчались. Уродливая, с точки зрения какого-нибудь парижанина, Москва казалась им, двадцатитрехлетнему и шестнадцатилетней, прекрасней и, уж конечно, загадочней любых кинематографических Парижей. Эх, сейчас бы вместо Ёлки сидела бы сзади какая-нибудь взрослая девка, думал Борис IV. Предположим, Вера Горда обнимала бы меня за мускулы живота. А вот

если бы вместо нашего Бабочки мчал бы меня сейчас какой-нибудь известный спортсмен, предположим, чемпион по прыжкам в высоту, моряк Ильясов, думала Елена Китайгородская, дочь поэтессы Нины Градовой, то есть родная кузина нашего мотоциклиста. Вот такое тесное соприкосновение со спиной спортсмена, разве это возможно? Обвив прелестными руками мускулистого живота неродственного мужчины разве мыслим? Да и вообще, слово «обвив» – разве это существительное?

Сегодня оба обещали деду и бабке приехать на ужин в Серебряный Бор. У Ёлки был урок фортепиано в частном доме на Метростроевской, а после урока, как договорились, Борис подхватил ее у метро «Парк культуры». Ни тот ни другая, разумеется, не подозревали, что попали в фокус некоей вельзевуловской компании из бронированного автомобиля.

Проехали мимо первого в Москве высотного дома, шестнадцатизэтажной гостиницы «Пекин». Она была еще в лесах, однако огромный портрет Сталина уже закрывал окна ее верхней, башенной части. Тот же персонаж, по сути дела, присутствовал в любом московском окоме, куда бы ни отлетало око. Там над крышами виднелся профиль, выложенный светящимися трубками, сям вздымалась парсуна – герой в мундире наконец-то приобретенного высшего титула – генералиссимуса отечески озирает веселящиеся под его сенью народы: «Сталин – знаменосец мира во всем мире!» Через пару недель, к 32-й годовщине Октября, лик его явится в самом зените московского небосвода среди фонтанов праздничного салюта.

Когда в прошлом году Борис Градов вернулся из Польши, Москва как раз пульсировала огненными излияниями. Вождь народов плыл над Манежной, подвешенный к заоблачным невидимым дирижаблям. Вокруг разрывались и вспыхивали тысячами многоцветные шутихи, которые давно уже утратили способность шутить, а стало быть, и собственное имя в условиях грандиозных торжеств. Уже и слово «фейерверк» было к подобным зрелищам не применимо. В ходу был лишь вдохновляющий «салют» вместе с его могучими «залпами».

После четырех лет в лесах или на окраинах полусожженных городов старший лейтенант Градов даже несколько растерялся посреди столичного великолепия. Тысячи запрокинутых лиц с застывшими улыбками взирали на распростертый в небесах цезарский лик. Цезарский, если не больше, подумал основательно к этому моменту пьяный Борис. Разноцветные пятна, летящие по щекам и по лбу, проплывающие иной раз розовые и голубые облачные струйки явно намекали на небесное происхождение этого лика.

«Ах, какими красочными мы сделали наши празднества!» – громко вздохнула рядом представительная дама. Над верхней губой у нее красовались, будто подклеенные, основательные черные усики. Борис потягивал шнапс из плоской, обтянутой сукном офицерской фляги. «Он на нас прямо как Зевс оттуда, сверху, смотрит, правда?» – сказал он даме. «Что вы такое говорите, молодой человек?» – с испуганным возмущением прошептала дама и стала от него поскорее в толпе отдаляться. «А что такого я сказал? – пожал плечами Борис. – Я его просто с Зевсом сравнил, с отцом олимпийских богов, разве это мало?» Не переставая отхлебывать из своей фляги, он выбрался с Манежной на улицу Горького, то есть прямо к своему дому, где ждала его в любой день и час огромная и пустая маршальская квартира. Маршальская квартира! Маршал здесь в общей сложности не провел и недели. Здесь жили чины помельче. Однажды вернулся с тренировки в неурочный час, забежал в «библиотеку» (так все чаще здесь называли кабинет отца) и остолбенел от стонов. На диване, распростертая, лицом в подушку, лежала мать: золотая путаница головы. За ней на коленях, в расстегнутом кительке трудился Шевчук. На лице застыла кривая хулиганская усмешка. Увидев Борьку, изобразил священный ужас, а потом отмахнул рукой: вали, мол, отсюда, не мешай мамаше получать удовольствие.

Пьяный старший лейтенант теперь, вернее, тогда, в мае сорок восьмого, то есть сразу по возвращении из Польской Народной Республики, где он огнем и ножом помогал устанавливать братский социализм, сидел на том же самом диване, в темноте, тянул свой шнапс и плакал.

Здесь нет никого. Здесь меня никто не ждал. Она уехала и сестренку Верульку забрала. Теперь живет в стане поджигателей войны. Не знаю, можно ли ее называть предателем Родины, но меня она предала.

По потолку и по стенам все еще бродили отблески затянувшегося до полуночи салюта. На карниз падали обгоревшие гильзы шутих. Одна пушка салютной артиллерии палила поблизости, очевидно, с крыши Совета Министров. Водки становилось все меньше, жалости к себе все больше.

Последний год в Польше Борис уже не воевал. За исключением двух-трех ночных тревог, когда всю их школу на окраине Познани вдруг ставили «в ружье», а потом без всяких объяснений командовали «отбой». Аковцы, то есть те, что назывались на политзанятиях «силами реакции», уже либо были уничтожены, либо умудрились выбраться за границу, либо растворились среди масс замиренного населения; теперь за ними охотились местные органы. Бориса вместе с еще несколькими лесными боевиками

МГБ и ГРУ откомандировали на должности инструкторов в Познанскую школу. Там он в течение года передавал свой вполне приличный убивальный опыт курсантам польской спецхраны, народу, надо сказать, довольно уголовного типа, которым иногда приходилось не просто показывать какой-нибудь прием самообороны без оружия, но доводить его до конца.

В течение года он послал не менее дюжины рапортов с просьбой о демобилизации для продолжения образования. Всякий раз ответ был однозначный и исчерпывающий: «Вопрос о вашей демобилизации решен отрицательно». Он уже стал подумывать, не принять ли приглашение в закрытую школу старшего командного состава, чтобы хоть таким образом перебраться в Москву, поближе к деду с его связями, как вдруг его вызвали в совместный польско-советский директорат и объявили, что пришла демобилизация.

Впоследствии выяснилось, что как раз дед, Борис III, и был непосредственно замешан в это дело. Проведав какими-то путями, кому непосредственно подчиняется его таинственный внук, Борис Никитич начал планомерную осаду этой инстанции, стараясь дать понять товарищам, что всему свое время, что мальчик, движимый романтикой и патриотизмом, вернее, наоборот, патриотизмом и романтикой, вот именно в этом порядке, отдал родине и вооруженным силам четыре года своей жизни, а между тем ему необходимо продолжить образование для того, чтобы принять эстафету династии русских врачей Градовых. В конце концов ему, заслуженному генералу, профессору и действительному члену Академии медицинских наук, отцу легендарного маршала Градова, трудно было отказать. Невидимая инстанция пошла на попятный и со скрежетом отдала деду его внука, столь ценный для дела мира во всем мире диверсионно-разведывательный кадр.

И вот блаженный день. Борис IV запикивает форму с погонами на дно вещмешка. Отправляется на познанскую толкучку и закупает себе кучу польского штатского барахла. Пьет с начальником АХО, дает ему на лапу и получает в личное пользование как бы списанный огромный эсэсовский «хорьх» с откидной крышей. Денег куча – и рублей, и злотых: Польская объединенная рабочая партия щедро благодарит за помощь в закладывании основ пролетарского государства. Затем – и в Познани, и в Варшаве, и в Минске, и в Москве – соответствующие товарищи проводят с ним леденящие душу собеседования. Ты, Градов, – грушник и, хоть ты уходишь от нас, никогда не перестанешь быть грушником. В любой момент ты можешь понадобиться и обязан прийти, иначе тебе пиздец. Если же ты нас

предашь, то тогда, где бы ни был, в любом месте земного шара, тебе «пиздец со щами»; знаешь, что это такое? Хорошо, что знаешь. Если же ты останешься нашим верным товарищем, тогда тебе во всем «зеленый семафор».

Намекалось, и довольно прозрачно, чтобы никогда ни при каких обстоятельствах не принимал предложений от чекистов. У них своя компания, у нас своя. Если прижмут, беги к нам.

Официально ему объявили, что он остается в сверхсекретных списках резерва ГРУ. Разумеется, дали подписать не менее дюжины инструкций о неразглашении того, что знал, в чем приходилось принимать участие во время спецопераций на временно оккупированной территории Советского Союза и в сопредельной братской стране Польше. В случае нарушения к нему будут применены строжайшие меры согласно внутреннему распорядку, то есть опять все тот же пиздец.

Так или иначе, прибыл на тяжеленном «хорьхе» (нагружен в основном запчастями) к родимым пенатам, в Серебряный Бор (предоставляем тем, кто уже успел прочесть два наших первых тома, возможность вообразить эмоции обитателей градовского гнезда), и там получил ключ от пустой квартиры на улице Горького. Он уже знал из смутных намеков в бабкиных письмах, что мать уехала в какие-то места, не столь отдаленные, однако предполагал, что куда-нибудь на Дальний Восток с каким-нибудь новым генералом или высокопоставленным инженером, а то и, чем черт не шутит, с тем же самым мелким демоном его юношеских ночей, вихровцем Шевчуком, однако такого отдаления, американского, не мог себе даже и в бреду вообразить. К тому времени, то есть к весне 1948 года, всю уже разыгрывалась новая человеческая забава, «холодная война». Вчерашние «свои парни», янки стали злобными призраками из другого мира. Склонный к метафорам вождь бриттов вычеканил формулу новой советской изоляции – «железный занавес». О почтовой связи с Америкой даже и подумать-то страшно советскому обывателю, что касается такого спецсолдата, как Бабочка Градов, то для него любая попытка связаться с матерью была теперь равносильна измене своему тайному ордену, что носил имя, схожее с голубиным воркованием «гру-гру-гру», и в то же время напоминал грушу с откушенной мясистой задницей.

Намерения у Бабочки поначалу были весьма серьезные. Немедленно и самыми скоростными темпами получить аттестат зрелости. Все его одноклассники уже заканчивали четвертый курс вузов, и поэтому надо было догонять, догонять и догонять! Что потом? Поступить и окончить за три года какой-нибудь престижный московский институт, ну, скажем,

Востоковедения, или Стали и сплавов, или МГИМО, или Авиа, ну... Ну, уж конечно, не какой-нибудь заштатный «пед» или «мед». Аргументация деда была хороша только для выхода из армии, но уж никак не для честолюбивых амбиций Бориса IV. Далеко не заглядывая, он хотел принадлежать к лучшему кругу столичной молодежи, не к середнякам из всех этих «педов» и «медов», до того ординарных, что их уже просто по номерам называют – первый, второй, третий... Медицинский? Трупы резать в анатомичке? Нет уж, прости, дед, посмотрелся я трупов. Борис III разводил руками: ну, что ж, этот аргумент действительно не отбросишь.

Благие намерения Бабочки в практической московской жизни, однако, забуксовали. В вечерней школе, куда он записался для получения аттестата, он чувствовал себя кем-то вроде Гулливера в стране лилипутов. И впрямь что-то лилипутское появлялось в глазах одноклассников при его появлении. Никто из них не знал, кто он такой, но все чувствовали, что им не ровня. Учителя и те как-то поеживались в его присутствии, особенно женщины: темно-рыжий, отменных манер и образцового телосложения парень в свитере с оленями казался чужаком в плюгавой школе рабочей молодежи. «У вас какой-то странный акцент, Градов. Вы не с Запада?» – спросила хорошенькая географичка. Бабочка рассмеялся; идеальная клавиатура во рту: «Я из Серебряного Бора, Людмила, хм, Ильинична». Географичка затрепетала, вспыхнула. В самом деле, разве ей под силу научить такого человека географии? И всякий раз с тех пор, встречаясь с Градовым в школе, она потупляла глаза и краснела в полной уверенности, что он не берет ее только лишь по причине пресыщенности другими, не чета ей, женщинами: аристократками, дамами полусвета.

Между тем о пресыщенности, увы, говорить было рановато. Двадцатидвухлетний герой тайной войны, оказавшись в Москве, вдруг стал испытывать какую-то странную робость, как будто он не в родной город вернулся, а в чужую столицу. Заколебалась и мужественность, вновь возник некий отрок «прямого действия», как будто все эти польские дела происходили не с ним, как будто тот малый с автоматом и кинжалом, субъект по кличке Град, имел к нему не совсем прямое отношение, и вот только сейчас он вернулся к своей сути, а этой сути у него, может быть, не намного больше, чем у того пацана, что он однажды ночью повстречал на Софийской набережной.

Не будет преувеличением сказать, что таинственный красавец Градов сам немного подрагивал при встрече с географичкой. С одной стороны, очень хотелось пригласить ее на свидание, а с другой стороны, неизвестно откуда появлялась чисто детская робость: а вдруг потом начнет гонять по

ископаемым планеты?

Среди множества женских лиц вдруг высветилось одно под лучом розового ресторанного фонарика: эстрадная певица Вера Горда. Как-то сидел один в «Москве», курил толстые сигареты «Тройка» с золотым обрезом, пил «Особую», то есть пятидесятишестиградусную, не залпом, а по-польски, глотками. Вдруг объявили Горду, и, шурша длинным концертным платьем, поднимая в приветственном жесте голые руки, появилась белокурая красавица, что твоя Рита Хейворт из американского фильма, до дыр прокрученного в Познани. Весь зал закачался под замирающий и вновь взрывающийся ритм, в мелькании многоцветных пятен, и Боря, хоть и не с кем было танцевать, встал и закачался; незабываемый миг молодости. «В запыленной пачке старых писем мне случайно встретилось одно, где строка, похожая на бисер, расплылась в лиловое пятно...» Одна среди двадцати мужланов в крахмальных манишках, перед микрофоном, полузакрыв глаза, чуть шевеля сладкими губами, наводняя огромный, с колоннами, зал своим сладким голосом... какое счастье, какая недоступность...

Да почему же недоступность, думал он на следующее утро. Она всего лишь ресторанная певичка, а ты отставной разведчик все-таки. Пошли ей цветы, пригласи прокатиться на «хорьхе», все так просто. Все чертовски просто. Совсем еще недавно тебе казалось, что в мире вообще нет сложных ситуаций. Если был уже продырявлен пулей и дважды задет ножом, если не боишься смерти, то какие могут быть сложные ситуации? К тому же она, кажется, заметила меня, видела, как я вскочил, смотрела в мою сторону... Он опять пошел в «Москву», и опять Вера Горда стояла перед ним с протянутыми руками, недоступная, как экранный миф.

«Мне кажется, что Бабочка проходит через какой-то послевоенный шок», – сказал как-то Борис Никитич. «Наверное, ты прав, – отозвалась Мэри Вахтанговна. – Ты знаешь, он не позвонил ни одному из своих старых друзей, ни с кем из одноклассников не повстречался».

Бабушка была почти права, то есть права, но не совсем. Приехав в Москву, Борис на самом деле не выразил ни малейшего желания увидеть одноклассников – «вождят» из 175-й школы, однако попытался узнать хоть что-нибудь о судьбе своего кумира, бывшего чемпиона Москвы среди юношей Александра Шереметьева.

Последний раз он видел Александра в августе сорок четвертого на носилках. Его запихивали в переполненный «дуглас» неподалеку от Варшавы. Тогда тот был еще жив, бредил под наркотиками, бормотал бессвязное. Потом на запрос о судьбе друга пришел приказ впредь не

делать никаких запросов. Судьба Шереметьева оказалась предметом высшей государственной тайны, очевидно, потому, что ранение произошло во время сверхсекретной операции по вывозу коммунистического генерала из горящей Варшавы.

В сорок восьмом, уже получив на руки все документы, то есть частично освободившись от «гру-гру-гру», Борис рискнул обратиться к непроницаемым товарищам, которые его провожали: «Ну, все-таки хотя бы сказали б, товарищи, жив ли Сашка Шереметьев, а если нет, то где похоронен». – «Жив, – сказали вдруг непроницаемые товарищи и добавили: – Это все, что мы вам можем сказать, товарищ гвардии старший лейтенант запаса».

Что же получается, думал Борис, жив и до сих пор засекречен? Значит, до сих пор служит? Значит, руки-ноги целы? Но ведь этого не может быть: его правая нога при мне была расплющена стальными стропилами.

Оставшись при этих сведениях, Борис IV продолжил свое одиночество. В общем-то одинок он был не из-за высокомерия и даже не из-за послевоенного шока, как предполагали дед и бабка, а просто потому, что отвык – или никогда не умел – навязываться. Иногда он ловил себя на том, что, как подросток, надеется на какой-нибудь счастливый случай, который соединит его с какими-нибудь отличными ребятами, с какими-нибудь красивыми девушками.

В отношении первых случай не заставил себя слишком долго ждать, и все произошло вполне естественно, на почве мото-авто. Однажды подошли двое таких в кожаночках, Юра Король и Миша Черемискин. Боря как раз в этот момент раскочегаривал свой вдруг заглохший «хорьх», подняв капот, возился в обширном, как металлургическое предприятие, механизме. Ребята несколько минут постояли за его спиной, потом один из них предложил обследовать трамблер: там, по его мнению, отошел контакт. Так и оказалось. Когда машина завелась, парни с большой любовью долго смотрели на мягко работающее восьмицилиндровое предприятие. «Потрясающий аппарат, – сказали они Борису. – Судя по номеру, это ваш собственный?»

Так они познакомились. Ребята оказались мастерами спорта по мотокроссу. Их мотоциклы стояли рядом, ну, разумеется, два «харлей-дэвидсона». Пока еще гоняем на этих, объяснили они, но с нового сезона придется пересаживаться на нечто похуже. Спорткомитет издал приказ о том, что к официальным соревнованиям будут допускаться только отечественные марки.

Тут как раз подъехали еще двое, Витя Корнеев, абсолютный чемпион

страны по кроссу, и Наташа Озолина, мастер спорта; тут же подключились к разговору. Тема была животрепещущая в этих кругах. В общем-то, склонялись спортсмены, есть в этом решении некоторая сермяжная правда. Импорт из Америки в ближайшее время вряд ли предвидится, надо свою поощрять мотоциклетную промышленность. Вот такие машины, как Л-300, ИЖ, ТИЗ, «Комета», если их довести до кондиции, могут с европейскими поспорить.

Боря был в восторге от новых знакомств: вот нормальные ребята мне, к счастью, повстречались! Ну и «нормальные ребята» его радушно приняли в свою компанию, особенно когда узнали, что он сын маршала Градова и сам человек с туманным боевым прошлым, да и квартира у него пустая, всегда к общим услугам, на улице Горького, ну, а когда обнаружилось, что он неплохо разбирается в марках немецких мотоциклов, совсем зауважали.

Естественно, молодой человек мгновенно ринулся в мотодело. «Хорьх» был оставлен для редких вечерних выездов. Совсем забросив школу рабочей молодежи, Борис IV все дни теперь проводил в гаражах ЦДКА и «Динамо», а также в одной из аллей Петровского парка, где по воскресеньям собиралась моторизованная молодежь для обмена запчастями и общего трепа. «Харлея», этот признак высшего мотогонщика, ему пока что достать не удалось, зато приобрел по случаю могучий вермахтовский «цюндап», который во время Второй мировой войны был оборудован коляской и пулеметом и мог отлично тащить на себе трех мясистых фрицев. Между тем в спортклубе ему выделили отечественную марку, гоночный компрессорный ДКВ с движком объемом 125 кубических сантиметров. Ну, естественно, машину эту он стал «доводить» под чутким руководством Юры Короля и Миши Черемискина. Вскоре стал показывать на ней приличные результаты: на отрезке один километр – 125,45 километра в час на ходу и 89,27 километра в час с места. Через год, гарантируем, станешь мастером, обещали шефы. Раньше стану, усмехался про себя Борис.

Весной сорок девятого поехали всей гопой в Таллин на ежегодную гонку по кольцевой дороге Пирита – Козе. Ехали своим ходом через псковские и чухонские леса, хоть и пугали там «лесными братьями».

Кольцевая гоночная дорога привела Бабочку в полный восторг. Ну, тут уж и вопросов нет, думал он, я должен выиграть когда-нибудь эту карусель. Пока что он был записан запасным в команду ЦДКА, в гонках не участвовал, но прикидки делал вполне прилично. Спортивно грамотная публика на него явно глаз положила, и в частности некая Ирье Ёун,

гонщица из «Калева», двадцатилетняя голуболупоглазица чистой балтийской породы. «Получается, что с женщинами поработенной Европы я чувствую себя как-то проще, естественней», – сказал ей Борис после того, как они очень сильно познакомились лунной ночью в готической крепости Тоомпеа. Она, к счастью, не поняла ни бельмеса, только хохотала. «Среди проклятых оккупантов попадаются неплохие ребята, – хохотала она по-своему, – к тому же привозят такое веселое вино „Ахашени“.

Что касается «лесных братьев», то на опытный спецназовский глаз казалось, что их тут не меньше пятидесяти процентов среди публики на автотрассе и уж никак не меньше восьмидесяти процентов в городе. Однажды под утро в ресторане «Пирита», построенном в стиле «буржуазная независимость», брат Борисовой подружки Рэйн Ёун, подвижный такой, координированный баскетбольный краек, отвел Бориса в угол и показал ему подкладку своего клубного пиджака. Там, в районе сердца, был нашит трехцветный лоскут: белый, синий, черный – цвета свободной Эстонии.

«Понял?» – угрожающе спросил Ёун. «Понял!» – вскричал Борис. Все было так здорово: мотороман, полурассвет, антисоветчина. Жаль только, что он не эстонец, нашил бы себе такой же лоскут. Что же мне, русскому пню, нашить себе под мышку? Двуглавого орла? «Я тебя понял, Рэйн, – сказал он ее брату. – Я с вами!» – «Дурак!» – сказал баскетболист. Очень хотелось подраться с русским, дать ему по зубам за Эстонию и за сестру. Страна несчастна, сестра хохочет, очень хочется дать по зубам хорошему парню, мотоциклисту Москвы.

Вот в таких делах проходили дни гвардии старшего лейтенанта запаса, когда вдруг позвонила из школы Людмила Ильинична (откуда номер-то узнала, фея географии?) и сказала, запинаясь: «Вы, может быть, забыли, Градов, но через неделю начинаются экзамены на аттестат зрелости».

Первым делом Борис, конечно, бросился покупать кофе, потом к знакомому медику за кодеином. В студенческих кругах ходила такая фея: кодеину нажрешься и можно за ночь учебник политэкономии или еще какую-нибудь галиматью одолеть. Вот так неделю прозанимался, сначала кофе дул до посинения, потом к утру на кодеин переходил, шарики за ролики начинали закатываться. Ну, или провалюсь с треском, или – на золотую медаль! Получилось ни то ни другое. В школе рабочей молодежи для статистики никого не заваливали, провалы заполняли трешками. Кодеиновые озарения тоже ни у кого тут восторгов не вызывали. Шикарный и таинственный ученик Борис Градов получил полноценный, но, увы, весьма посредственный аттестат: одни четверочки да троячки.

Ну и пошли они на фиг, эти детские игры! Назад, к нормальным ребятам, к мотоциклам! Все лето катали по мотокроссам – Саратов, Казань, Свердловск, Ижевск. К осени оказалось, что он набрал полный зачет для получения звания мастера спорта СССР. Бумаги, подписанные тренером, ушли в комитет.

Тогда же выяснилось, что катастрофически опоздал к вступительным экзаменам в вузы. Ну что ж, ничего страшного, ждал четыре года, подожду еще один. За этот год стану чемпионом, и меня в любой институт с восторгом без экзаменов примут. Да еще с моей фамилией, сын дважды Героя СССР маршала Градова, чье имя уже украшает неплохую улицу в районе Песчаных! На всякий случай Борис поездил по приемным комиссиям престижных вузов – МГУ, Востоковедения, МГИМО, Стали и сплавов, МАИ... И тут вдруг выяснилось совершенно неожиданное обстоятельство. Оказалось, что на «зеленую улицу» в этих вузах ему рассчитывать не приходится. Оказалось, что он вовсе не принадлежит к тем, «кому открыты все пути». Во всех приемных комиссиях сидели специальные люди, которые после наведения справок давали понять, что не рекомендуют ему подавать бумаги.

Зря потеряете время, товарищ Градов. Здесь у нас идет отбор абитуриентов с совершенно незапятнанной репутацией. То есть ваша-то личная репутация безупречна, ей-ей, лучше не придумаешь, как там сказали... хи... ну, вы знаете где... однако в анкетных данных у вас пятна. У вас странные, нетипичные анкетные данные, товарищ Градов. С одной стороны, ваш дед, медицинское светило, гордость нашей науки, ваш покойный отец, герой и выдающийся полководец, однако с другой стороны, ваш дядя Кирилл Борисович числится в списках врагов народа, а самое главное, ваша мать, Вероника Александровна Тэлавер, проживает в Соединенных Штатах, будучи супругой американского военного профессора, и вот это, конечно, является решающим фактором... Что стало со мной, думал иногда в пустынный час Борис IV, шляясь по комнатам своей огромной квартиры, где едва ли не в каждом углу можно было найти пол-литровую банку, забитую окурками, батарею пустых бутылок, оставшихся после очередного мотосборища, пару колес с шипами для гонок по льду или без оных, ящики с промасленными запчастями, свалку одежды, стопки учебников. Как-то не улавливаю связи между собой сегодняшним и тем, позавчерашним, которого мама в хорошие минуты называла «мой строгий юноша». Куда подевался, скажем, мой патриотизм? Все чаще вспоминаются слова приемного кузена Митьки Сапунова об «извергах-коммунистах». Да я ведь и сам теперь из их числа, вступил тогда,

в польском лесу, всех тогда было предписано принять в партию. Нет, я не об этом. Патриотизм – это не партия, даже не коммунизм, просто русское чувство, ощущение традиции, градовизм... Что-то такое росло в душе, когда убегал из дома, боялся не успеть на войну, глупец. Все это растеклось в мерзости карательной службы – вот именно карательной, кем же мы еще были в Польше, если не свирепыми карателями, – все это, понятие «родина», растеклось, осталась только внутренняя циничная ухмылка. Никто из парней никогда не ухмылялся при слове «родина», все хранили серьезное молчание, однако у всех по лицам проходил, он замечал, какой-то отсвет этой ухмылки, как будто сам черт им ухмылялся прямо в лица при слове «родина».

А сейчас я просто потерял какие-то контакты сам с собой, вернее, с тем, со «строгим юношей», какой-то трамблер во мне поехал, и я никак не могу вернуться к себе, если только тот «строгий» был я сам, а не кто-то другой, то есть если вот тот, что я сейчас собой представляю, бесконтактный, с поломанным трамблером, не есть моя суть.

Я просто не могу тут без матери, вдруг подумал он однажды в пустынный час. Там, в лесу, мне не нужна была мать, а здесь, в Москве, я не могу без матери. Может быть, я тут и кручу сейчас без конца эти моторы, потому что не могу без матери. Вот эта пожирающая скорость – это, может быть, и есть бессмысленное стремление к матери. Но до нее не добежишь, она в Америке, предательница. Америка – страна предателей, бросивших свои родины. Вот и она туда убежала со своим длинным янки, которого ненавижу больше, чем ненавидел Шевчука. Если бы встретились на поле боя, я бы ему вмазал! Предала эту нашу хитротолстожопую родину, предала отца, предала меня. И Верульку увезла. Теперь у меня нет и никогда не будет сестры.

Все-таки еще хотя бы есть двоюродная сестра Ёлочка, думал Борис IV, погоняя свой вермахтовский «цюндап» вдоль Ленинградского проспекта. Киска все-таки какая. Держит меня за стальное пузо нежнейшими пальчиками. В старину, черт возьми, женились на кузинах. В старину я бы на Ёлке женился. Сейчас нельзя. Сейчас мне больше, может быть, сестра нужна, чем жена. Какому-нибудь дураку наша Ёлочка достанется. Вряд ли какому-нибудь концентрированному парню, мастеру мотоспорта. Скорее всего, с каким-нибудь болваном-филологом познакомится на абонементных концертах в консерватории.

Было уже совсем темно, когда они подъехали к даче. Ворота были открыты: старики ждали их прибытия. Борис въехал во двор и остановился напротив большого окна столовой, за которым видны были собравшиеся

вокруг стола остатки градовского клана: седовласый печальный патриарх, все еще прямая и гордая бабушка Мэри, все еще молодая и красивая и донельзя стильная со своей вечной папиросой поэтесса Нина, ну и Агаша, совсем уже как бы утратившая понятие возраста и все хлопочущая вокруг стола в постоянном монотоне и все с тем же репертуаром, коим мы потчевали читателей двух предыдущих томов: пирожки, капусточка провансаль, битки по-деревенски... Кое-что новое, впрочем, появилось в ее кружении: временами она стала застывать с блюдом в руках и с философским выражением на лице, вытесняющим привычную лучезарную доброту. Казалось, она задает кому-то немой вопрос: только лишь в любви ли к ближнему заключается смысл человеческой жизни?

Не следует нам также скрывать от читателей, что после стольких потерь в клане Градовых появилось и прибавление, то есть некоторое расширение, если это дефинитивное существительное применимо к лысенькому и узкоплечему, с пушистыми пиросманиевскими усами живописцу Сандро Певзнеру, которого Агаша в телефонных разговорах со старым другом, заместителем директора киностудии имени Горького по АХЧ товарищем Слабопетуховским, называла не иначе как «то ли муж наш, то ли друг».

Ёлка спрыгнула с мотоцикла. Боря грубовато, как надлежит кузену, хлопнул ее по лопаткам:

– Что-то слишком нежно обнимаетесь, мадемуазель! Где это вы так научились?

– Дурак! – замахнулась она нотной папкой, и у него мелькнуло вдруг нечто немотоциклетное: эх, если бы задержать, ну хоть бы повторить это мгновение!

Тоненькая девчонка в таком легком порывистом движении, с таким счастливым и чистым лицом. Он смотрел на нее, словно сам уже не был юнцом, словно сам уже точно знал, что это значит – больше никогда не испытать вот такого, как сейчас у Ёлки, очарования и ожидания жизни.

* * *

Ей было шестнадцать лет, она начинала девятый класс. Пуританское воспитание школы и общее ханжество общества, а также некоторый недостаток внимания со стороны блистательной мамочки и некоторый переизбыток внимания со стороны величественной бабули привели к тому, что Ёлка только совсем недавно поняла, что означают странные взгляды

мужчин в метро и на улице. Сначала она думала, что, может, пуговица оторвалась на пальто или носок съехал на пятку, краснела, заглядывала в отражающие поверхности, в чем дело, почему такие пристальные взгляды, да еще нередко и в совокупности с кривыми улыбочками, направлены в ее адрес. Однажды с мамой ехали в метро, с поэтессой Ниной Градовой. Вдруг какой-то уставился. Такой толсторожий, в большом кожаном пальто с меховым воротником и в белых фетровых с кожаной оторочкой бурках. Мама, хоть и книжечку, по обыкновению, читала – кажется, дневники Адели Омар-Грей, – заметила мордатого, резким движением откинула волосы назад и посмотрела ему прямо, как она умеет, с вызовом, в лицо. Далее произошло нечто для обеих, матери и дочери, захватывающее и незабываемое. Прошло мгновение, в течение которого мать поняла, что это не на нее направлено похотливое внимание мужчины, а на ее дочку. Вспыхнув, она повернулась к Ёлке, и тут вдруг до вчерашнего ребенка дошел весь смысл этого промелька. Произошло какое-то неизвестное доселе, пакостно всколыхнувшее и в то же время музыкально и радостно опьяняющее озарение. Мать же, схватившая ее за руку и повлекшая к выходу из вагона, благо и их остановка подошла, испытала мгновенную и острейшую грусть, если то, что мгновенно жалит, может называться грустью. Конечно, они не сказали друг другу ни слова и никогда в течение всех последующих дней не говорили об этом эмоциональном вихре, налетевшем на них из-за мерзкого мордатого дядьки в поезде метро на перегоне от «Охотного ряда» до «Библиотеки имени Ленина», однако, из всех скопом валивших и пропадающих мигів жизни этот ярко выделился и не забывался никогда.

Короче говоря, Ёлочка повзрослела и теперь после школы перед музыкальным уроком не упускала возможности забежать домой, в Гнездниковский, чтобы сменить опостылевшую коричневую, с черным фартучком школьную форму на мамину жакетку с плечами, как не забывала и подкрасить ресницы, чтобы оттенить исключительное, градовско-китайгородское лучеглазие.

Уже половина ее жизни, то есть восемь лет, прошла без отца. Папа вспоминался как друг-великан, с которым вечно куролесили, возились и хохотали. Вспыхивали и пропадали яркие картинки раннего детства: папа-лыжник, папа-пловец, папа-верблюд, то есть это когда едешь у него на плечах от озера к железнодорожной станции, папа-мудрец объясняет «Дон-Кихота», папа-обжора съедает целиком сковороду макарон с сыром, папа-вечный-мамин-кавалер подает поэтессе Градовой шиншилловую шубу в виде обыкновенного драп-пальто, одергивает фрак в виде спинжака –

отправляются на новогодний бал в Дом литераторов... «Как Сам, как Сам! – помнится, кричал папа. – Ну, разве вы не видите, что я, как Сам, во фраке?»

Мама и Еленка, вслед за ней, от смеха умирали. Только много лет спустя Ёлка узнала, что под словом «Сам» имелся в виду Сталин. Оттого мама и «умирала», что вообразить Сталина во фраке было невыносимо. Конечно, было бы еще смешнее, если бы папа тогда просто говорил: «Я сегодня, как Сталин, во фраке», однако он вполне разумно не произносил этого, боясь, что на следующий день в детсаду дочка будет показывать сверстникам «Сталина во фраке». И не ошибался, конечно: Ёлка помнила, что она и в самом деле потом в детсаду прыгала и кричала, как оглашенная: «Сам во фраке! Сам во фраке!»

Слова «погиб на фронте», которые она писала в графе «отец» при заполнении школьной анкеты, никогда не доходили до нее в их подлинном смысле, то есть она никогда не представляла себе, что тело ее отца было истерзано пулями и истлело в сырой земле. «Погиб на фронте» сначала означало, что он просто исчез, что он, конечно, где-то есть, но никак не может до нее, своей единственной дочери, добраться. Она видела, как мама тайком плачет в подушку, и сама, подражая ей, плакала в подушку, будучи, однако, в полной уверенности, что эти слезы в конце концов помогут папе найти дорогу обратно. С возрастом она поняла, что он уже не доберется, что его нет, и все-таки мысль об истреблении его плоти никогда ее не посещала.

Вдруг появился старший брат. То есть не полный старший брат, а двоюродный, но зато какой великолепный, Борька IV! Они мгновенно сдружились, частенько даже ходили вместе в кино и на каток. Иногда он брал ее с собой на соревнования, и тогда она замечала, что он явно гордится ею перед друзьями: вот такая, мол, имеется красивая сестренка. В их отношениях присутствовало нечто любовно-юмористическое, то, что как-то косвенно относилось к тому отдаленному детскому куролесничеству, нечто имеющее какую-то связь с ее полузабытой отцовщиной. Жаль, что он мне брат, думала она иногда, вышла бы за него замуж.

Итак, они вошли вместе в дом к полному восторгу ожидавшего их семейства. Тут когда-то ведь был еще и пес, наш любимый Пифагор, одновременно вспомнили они. Борису это было нетрудно: овчар был в расцвете сил во времена его детства. Почти серьезно Борис всегда утверждал, что Пифагор сыграл серьезную роль в его воспитании. Однако и Ёлке казалось, что она прекрасно помнит, как ползала здесь по ковро, а старый благородный Пифочка ходил вокруг и временами трогал ее лапой.

Итак, они вошли, и все просияли. Даже нервная Нина мимолетно

просияла, прежде чем снова уткнуться в газету; просиял и Сандро. Этот последний, вернувшись с войны, умудрился прописаться в Москве у единственной своей родственницы, престарелой тетки. Счастью его не было границ. Он не мог себе представить, что будет жить вдалеке от Нины. Поначалу все шло хорошо. Первая официальная выставка прошла успешно. Ободрительная рецензия в «Культуре и жизни», между прочим, сообщала, что «лучшие живописные традиции „бубновалетовцев“ Сандро Певзнер наполняет глубоким патриотическим содержанием, сильными впечатлениями своего недавнего боевого прошлого». Сейчас даже невозможно себе представить, что так могли писать в 1945 году: «бубновалетовские» традиции и патриотизм! В те времена, однако, его реюме подскочило, МОСХ даже выделил студию на заброшенном чердаке в Кривоарбатском переулке. Взявшись за плотницкие и малярные принадлежности, Сандро превратил затхлую дыру в уютное гнездо процветающего богемного художника: огромное полукруглое окно над крышами Москвы, спиральная лестка на антресоли, камин, полки с книгами, альбомами, древними паровыми утюгами, медными ступками, чайниками, самоварами; на отциклеванные своими руками полы бросил два тифлисских старых ковра, где-то раздобыл «древесно, что звучит прелестно», которое – то есть старинный маленький рояль – звучало прелестно пока только в воображении, ибо в нем отсутствовали две трети струн, да и клавиши все западали, однако, будучи отреставрировано в будущем, оно, конечно, зазвучит и в реальности, создавая особую атмосферу московских артистических вечеров, главным и постоянным украшением которых, несомненно, станет поэтесса Нина Градова.

«Ну, что ж, храбрый воин и патриот с сильными впечатлениями своего недавнего боевого прошлого, – сказала последняя, посетив завершённую „певзнеровку“, – можешь считать, что это твоя окончательная победа. Отсюда я уже никуда не уйду!»

Так Нина стала жить на два дома, Гнездиновский и Кривоарбатский, благо расстояние между ними было небольшое. Взрослеющая Ёлка к этой ситуации быстро привыкла и ничего не имела против. Художник ей нравился, и она звала его просто Сандро без добавления мещанского «дядя». Впрочем, она и маму свою часто звала Ниной, словно подружку.

Сандро умолял любимую «оформить отношения», но она всякий раз начинала придуриваться, допытываясь, что он под этим имеет в виду, ведь она всякий раз, ложась с ним в постель, старается как можно лучше оформить отношения.

Все шло, словом, дивно в жизни «божьего маляра», как Нина его

иногда называла, пока не началась идеологическая закрутка конца сороковых. После ареста членов Антифашистского еврейского комитета сверху в творческие организации стали спускаться жидоморческие инструкции. В январе сорок девятого партия произвела направляющий документ «О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению». Выявлена была антипатриотическая группа театральных критиков, состоящая, в частности, из неких Юзовского, Гуревича, Варшавского, Юткевича, Альтмана, которые пытались дискредитировать положительные явления в советском театре, с эстетских, немарксистских, космополитических позиций атаковали выдающихся драматургов современности, в частности, Сурова, Софронова, Ромашева, Корнейчука, протаскивали в репертуар идейно чуждые пьески Галича (Гинзбурга) и прочих «со скобками», низкопоклонничали перед буржуазным Западом. Оформилась могучая антикосмополитическая кампания советского народа, в редакции потекли возмущенные письма доярок, металлургов, рыбаков, требующих «до конца разоблачить космополитов». В творческих организациях проходили бесконечные пленумы и общие собрания, на которых записные ораторы истерически требовали «открыть скобки» у космополитов, скрывшихся под русовидными псевдонимами. Особенно старались, разумеется, писатели, однако и художники не хотели отставать.

До Сандро Певзнера очередь дошла не сразу. Держиморды, очевидно, спотыкались о его грузинское имя, вместе с которым автоматически проглатывалась и еврейская фамилия. Дружбу народов СССР надо было все-таки всячески опекать, вот, очевидно, благодаря этому постулату Сандро и смог некоторое время, как Нина злобно шутила, придуриваться под чучмека.

Вдруг однажды секретарь МОСХа, некий червеобразный искусствовед Камянов, с трибуны нашел его взглядом в переполненном и потном от страха зале и заявил, что пришла пора серьезно поставить вопрос о последышах декадентских групп «Бубновый валет» и «Ослиный хвост» и, в частности, о художнике Александре Соломоновиче Певзнере. Что он несет советскому человеку на своих полотнах? Перепевы ущербной, безродной, космополитической поэтики Шагала, Экстер, Лисицкого, Натана Альтмана? Советскому человеку, русскому народу с его высочайшими реалистическими традициями такие учителя не нужны.

Попросили высказаться. Бледный Сандро начал заикаться с трибуны, но постепенно окреп и высказался так, что хуже и не придумаешь. Во-первых, он не понимает, чем живописная эстетика «Бубнового валета» противоречит патриотизму. Во-вторых, «Валет» и «Хвост» нельзя

смешивать друг с другом, они находились в непримиримой вражде. В-третьих, обе эти группы состояли из ярких индивидуальностей и о каждом художнике хорошо бы говорить отдельно. В-четвертых, вот товарищ Камянов набрал тут для пущего страха одних еврейских фамилий космополитов-декадентов... – в этом месте Камянов в гневе ударил кулаком по столу президиума и обжег оратора уже не червеобразным, а змеиноподобным взглядом, – но почему-то, продолжил Сандро, не привел ни одной русской фамилии, таких, скажем, мастеров, как Наталья Гончарова, Михаил Ларионов, Василий Кандинский...

Тут присутствующий из ЦК некто Гильичев – глиняная глыба лба, влажные присоски губ и ноздрей – с мрачным вопросом повернулся к Камянову. Тот что-то быстро ему нашептал про упомянутых. Гильичев тогда прервал художника Певзнера, пытающегося сбить с толку присутствующих разглагольствованиями о какой-то «переплавке» традиций революционного, видите ли, авангарда, и поинтересовался, как это так получается, что советский художник, член творческой организации, оказывается столь осведомленным в так называемом творчестве эмигрантского отребья, белогвардейцев от искусства? Нет ли тут какой-то уловки во всех этих разглагольствованиях о творческой «переплавке»? Не пытаются ли тут нам подмешать в нашу сталь буржуазной коросты?

Сандро сошел с трибуны, и тут сразу полезли разоблачители. Немедленно отмежевалось несколько старых товарищей. Кто-то предлагал тут же разоблачить миф о талантливости Сандро Певзнера. Какой-то дремучий и всегда полупьяный ваятель даже заорал, что надо раскрыть у Певзнера скобки, после чего Сандро уже возопил, забыв о всех околичностях: «Какие скобки тебе нужны, идиотина? Со своей дурацкой башки сними скобки!»

Пьяный захохотал, начал передразнивать грузинский акцент, однако его никто не поддержал: все знали, что в Москве еще кое-кто говорит с грузинским акцентом. Воцарилось молчание, и в этом, совсем уже зассанном страхом молчании Сандро Певзнер гордо покинул помещение. Так он, во всяком случае, потом рассказывал Нине, с резким отмахом ладонью вбок и вверх: «И я пакынул памэцэние!» На самом деле еле-еле до дверей добрался и по коридору бежал в панике, скорей-скорей на свежий воздух. Друг-коньяк спасал его до утра в ожидании ареста, однако ареста не последовало. Из ведущих «космополитов» тогда почти никто не был арестован: то ли у партии руки еще не дошли до их мошонок, то ли «солили» впрок для более важных событий. Страх, однако, всех терзал животный, во всех трех смыслах этого слова: во-первых, нечеловеческий,

во-вторых, непосредственно за «живот», то есть за жизнь, а не за какую-нибудь опалу, в-третьих, такой страх, что вызывает унижайшую перистальтику в животе, когда в самый драматический момент в вашем подполье с глухой, но явственной угрозой, будто последние силы сопротивления, начинают перемещаться газы. И не удивительно: ведь за каждой строчкой партийной критики стоял чекист, мучитель, палач, охранник в вечной лагерной стыни.

Страх подвязал все либеральные языки в Москве. Люди Нининого круга уже не обменивались даже шуточками, в которых можно было хотя бы мимолетно заподозрить какой-нибудь идеологический сарказм. Даже и ироническая мимика была не в ходу. Попробуй хмыкнуть в ответ на какую-нибудь речь всесоюзного хряка Анатолия Софронова. Немедленно полетит на тебя соответствующая рапортничка «туда, куда надо». Остались только взгляды, которыми еще обменивались при полной неподвижности лицевых мышц. По этим взглядам, к которым вроде нельзя было придраться, либералы научились определять, кто еще держится, в том смысле, что еще принадлежит к их кругу. Опущенные глаза немедленно говорили: на меня больше не рассчитывайте, вскоре появится гнусная статья, или мерзкий стук, или подлейшая «патриотическая» повесть за моей подписью.

Жизнь тем не менее шла, и на нее надо было зарабатывать деньги. Сандро оказался в полной блокаде: о выставках и об официальной приемке картин не могло быть и речи. Он радовался, если доставалась хоть небольшая халтура – оформить стенгазету в подмосковном совхозе или через вторые-третьи руки получить заказ на макет почтовой марки, посвященной героической советской артиллерии. Основной доход в семью шел от Нины, которая приспособилась переводить «верстами» с подстрочников стихи лучезарных акынов Кавказа и Средней Азии, этих чудовищных порождений социализма, творящих новую культуру, «национальную по форме, социалистическую по содержанию». Республики платили поэтессе Градовой довольно щедрый гонорар, а одна, хоть и завалищенькая, дала ей даже титул заслуженного деятеля своей культуры.

Эти так называемые переводы с языка, ни единого слова которого ты не знаешь, были главным подспорьем поэтов. Даже и загнанная еще Ждановым Ахматова, и полностью замолчавший и укрывшийся в переделкинских кустах Пастернак занимались этим делом. Забыть обо всем, думала иногда Нина, жить, как Борис Леонидович. Он ведь, кажется, ничуть не тужит. Свое пишет «в стол», неплохо зарабатывает переводами, говорят, даже влюбился в шестьдесят лет, живет так, как будто не очень-то замечает, что происходит вокруг: «Какое, милые, у нас тысячелетие на

дворе?» Отчего же меня-то всю колотит? Почему я не могу оторваться от этих гнусных статей, «раскрывающих скобки», почему я хожу на эти кошмарные собрания и запоминаю, кто что сказал, как будто когда-нибудь можно будет спросить с грязных ртов?

* * *

За ужином она сильно и зло хлопнула ладонью по «Правде», смяла папиросу, расхохоталась:

– Ну, я вам скажу, тут, оказывается, есть что почитать сегодня, сеньоры и сеньориты!

Все с удивлением посмотрели на нее.

– Перестань, – тихо сказал Сандро: ему не хотелось, чтобы она начала читать дубовые правдистские словеса на разные голоса, как это часто случалось наедине с ним. Совершенно не обязательно нарушать таким образом мирную семейную трапезу, да к тому же и присутствующую молодежь заражать опасным сарказмом.

– Что ты там такого выискала, тетка Нинка? – снисходительно спросил Борис IV. Сам он в этой газете просматривал только последнюю колонку, где иногда печаталась кое-какая спортивная информация.

– Сегодняшний текст достоин всеобщего внимания, – продолжала ерничать Нина. – Вот слушайте, какие даже и в наше время случаются стилистические чудеса!

Статья называлась «Порочная книга». Автор, товарищ В.Панков, со сдержанным гневом и с легкой партийной издевкой рассказывал о том, как некий вологодский сочинитель Г.Яффе взялся за перо, чтобы написать книгу «Колхозница с Шлейбухты» в серии «Портреты новаторов наших дней». Своей героиней он избрал лауреата Сталинской премии свинарку Люськову Александру Евграфовну.

Описывая эту знатную колхозницу, Г.Яффе говорит, что она как бы «выступает от лица природы», зная все мельчайшие свойства свинюшек, кур и петушков, анализируя все хрюканья и пiski, при помощи которых она может даже предсказывать погоду. Именно глубокое понимание природы позволяет Люськовой перестраивать живые организмы. Так, по Яффе, вера в прогнозы пети-петушка приводит к серьезным практическим и научным выводам... Этот сочинитель явно не без скабрёзной цели называет новатора «фермершей», «опекуншей», «усердной попечительницей»; что это за термины, откуда?.. Он опошляет народный

язык, употребляя надуманные пословицы, вроде «не люблю назад пятками ходить».

«...Яффе грубо искажает деятельность депутата, говоря, что Люськова только и делает, что борется против несправедливостей. В превратном виде представлены жизнь советской деревни и достижения новаторов... Есть и такие, пишет он, которые пришли к совершенно фантастическим (?) результатам. К счастью, эти достижения выражены живыми занумерованными поросятами. Иначе рассказ о них несомненно (?) показался бы новеллой барона Мюнхгаузена...

...А как вам понравятся, читатель, вот такие перлы. «Свиньи нередко рождают таких существ, которые, едва взглянув на белый свет, словно сразу решают: „Э, жить не стоит!“ Вот к какой глупости приводит литературщина!

А разве не видна оскорбительная ухмылка в таких, например, фразах, как: «Все наше садоводство надо до корня „промичурить“... Непонятно, почему редактор Вологодского издательства К.Гуляев беспечно пустил гулять по свету такое издевательство над обобщением опыта передовых людей страны... Книги о передовиках сталинских пятилеток должны воспевать вдохновенный труд строителей коммунизма...»

Кончая читать, Нина уже захлебывалась от смеха.

– Ну, каково?! – вопрошала она присутствующих. – Каков Яффе, ну не Гоголь ли? Каков Панков, ну не Белинский ли? Да ведь это же, товарищи, не что иное, как новое письмо Белинского Гоголю! Думаю, не ошибусь: перед нами один из основных текстов русской культуры!

Она наслаждалась своей сатирической находкой: новое «письмо Белинского Гоголю», снова и снова оглядывала окружающих, понимают ли они смысл шутки. Мама сдержанно, очень сдержанно улыбалась. Отец улыбался живее, однако вроде бы слегка покачивал головою, как бы говоря «язык твой – враг твой». Ёлка прыснула: они как раз проходили «письмо Б. – Г.», и не исключено, что оно ей что-то другое напомнило, совсем не связанное с мамиными эскападами. Борис IV улыбочиво жевал кусок кулебяки: секретная служба приучила его не шутить по адресу государства, а газета как-никак «острейшее оружие партии». Няня кивала с неадекватной сокрушенностью. Сандро, просияв было от «находки», тоже благоразумно смолчал. Короче говоря, народ безмолвствовал. А вот возьму завтра и повторю этот номер на секции переводчиков, подумала Нина, зная прекрасно, что никогда этого не сделает: не сумасшедшая же ж!

Молчание прервала Агаша.

– А зачем же так без конца дымить, как печка? – строго сказала она

Нине и потянулась за ее папиросой. Не дотянувшись, тут же повернулась к Ёлке: – А ты чего же так все глотаешь, не жуя, как чайка? Вот учись у Бабочки, как он жует хорошо, будто тигр.

Вот тут уж все наконец замечательно расхохотались и обстановка разрядилась.

– А у меня, между прочим, для вас сюрприз, ваши величества, – обратился Борис IV к деду и бабке. – Надеюсь, вы, Борис Третий, августейший повелитель, не грохнетесь со стула, узнав, что ваш нерадивый отпрыск в конце концов решил поступить в медицинский институт?

Он не зря так пошутил насчет стула. Семидесятичетырехлетний хирург давно уже не испытывал такого сильного счастья. Уши не изменяют мне? Глаза не изменяют мне? Руки не изменяют мне? Борис Никитич кружил вокруг внука, обнимая его за могучие плечи, заглядывал в стальные глаза:

– Неужели передо мной сидит продолжатель династии русских врачей Градовых? Бабочка, родной, ты будешь, я уверен, очень хорошим врачом! После всего того, что тебе довелось пережить, ты будешь великолепным врачом-терапевтом и клиницистом!

Вечер завершился, как в добрые старые времена, Шопеном. Мэри Вахтанговна импровизировала на тему Второго концерта фа минор; получалось сегодня мажорно! Верный ее рыцарь, никогда за всю жизнь не изменивший ей ни с одной женщиной (в отличие от нее, грешной, изменившей ему однажды во время короткого грузинского ренессанса), стоял, как и встарь, облокотясь на рояль, и кивал с глубоким пониманием. Он знал, что это не только в честь Бобки-Бабочки, но и в его честь, в знак благодарности за проявленное мужество. Как раз сегодня утром Борис Никитич отверг предложение партбюро Академии, выдвинувшего его на пост вице-президента. Сослался, правда, на возраст и состояние здоровья, но все прекрасно поняли, что совесть русского врача не позволяет ему занять место изгнанного «безродного космополита», академика Лурье.

* * *

После концерта Борис, который решил остаться на ночь со стариками, пошел проводить до трамвая тетку, кузину и «нашего-то-ли-мужа-то-ли-не-знаю-кого» Сандро Певзнера. По дороге в темной аллее все четверо непрерывно курили. Автор не оговорился, уважаемый читатель, знакомый с пуританскими в отношении юных школьников нравами конца 40-х и 50-х

годов: Ёлке тоже иногда, разумеется не в присутствии деда с бабкой, разрешалось подымить, что всякий раз приводило ее в состояние тихой экзальтации.

– Что же тебя вдруг подвигнуло на благородную стезю, Борис? – спросила Нина.

Племянник пожал плечами:

– А что прикажешь делать? Конечно, я думал о МГИМО или о МАИ, но там эти представители... ну, вы понимаете, о ком я говорю... дали мне ясно понять, что шансов нет никаких. Расскажи кому-нибудь, не поверят. Сын дважды героя, маршала Советского Союза, и сам почти герой... ты знаешь, меня ведь представляли на героя, но потом заменили на Красное Знамя... И вот у меня нет доступа в престижные вузы. Туфта какая-то. Дядя, видите ли, из «врагов», а самое главное, мамаша в США, замужем за империалистом-янки. Это перевешивает. Сиди, не вертухайся. Что же мне делать? Высшее образование надо получать? Единственный вариант – к деду под крыло. Он, кстати, обещал, что, может быть, еще в этом году как фронтовику задним числом оформят вступительные экзамены. Почему бы не стать врачом, в конце концов? Все-таки, действительно, династия, традиции. Буду гонять машину за спортобщество «Медик»...

Он еще что-то говорил, пожимал плечами, усмехался, бросал сигарету и закуривал новую, когда Нина вдруг плотно взяла его под руку, слегка как бы повисла и заглянула в глаза.

– Скажи, Боря... ты скучаешь по ней... тебе хотелось бы ее увидеть?..

Зачем я это делаю, подумала она. Писательское любопытство на грани жестокости, ей-ей...

Несколько шагов Борис еще прошел с теткой под руку, однако она уже чувствовала, как враждебно каменела эта конечность. Вырвал руку, прошел чуть вперед, вдруг обернулся с горящим и прекрасным юношеским лицом.

– Вы... вы... – Он явно, будто утопающий, искал, за что бы уцепиться, наконец вроде бы что-то нашел, усмехнулся надменно: – Вы, ребята, надеюсь, понимаете, что, если бы я захотел ее увидеть, я бы это сделал просто вот так! – И он щелкнул пальцами у себя над правым ухом. Какой-то странный жест, мелькнуло у Нины. Ах да, Польша!

– Что ты имеешь в виду, Борька? – ужаснулась Ёлочка. – Через границу, что ли?..

Он пожал плечами:

– А почему бы нет?

Девочка всплеснула белыми в темноте ладошками:

– Но ведь это же невозможно! Борька! Через советскую границу? Что

ты говоришь?!

Довольный, что его вспышка и промельк детского отчаяния вроде бы прошли незамеченными, Борис IV усмехнулся:

– Ничего особенного. В принципе, ничего нет легче, чем это... Вы уж простите, Нина, Ёлка, Сандро, но вы, похоже, не совсем понимаете, что я за человек и чем мне приходилось заниматься во время войны и три года после.

В этот момент они остановились под уличным фонарем и образовали маленький кружок. Борис смотрел на Нину с непонятной улыбкой. Ой, какой у меня брат, подумала Ёлка с восхищением. Кажется, я понимаю, чем он занимался во время войны и три года после, подумал Сандро. Такие убийцы (он решительно перечеркнул жуткое слово и заменил его «головорезами», как будто оно было хоть чем-то лучше)... в общем, таких ребят он видел: они прилетали иногда из тыла противника для каких-то инструкций в штабе фронта.

Нину вдруг пронзило: да ведь он же просто ребенок, потерявший мамочку, давно уже, еще с той ночи 1937 года, с той ночи она уже к нему никогда не возвращалась; это ведь просто сиротка, бабушкин Бабочка. Она бросилась к нему на шею, повисла, зашептала в ухо:

– Умоляю тебя, Борька, родной, никогда никому, даже нам, не говори больше об этом! Неужели ты не понимаешь, с чем шутишь? Ради всего святого, ради всего нашего, градовского, перестань даже думать о переходе границы!

Он был поражен. Что за горячие мольбы? Значит, она все это восприняла всерьез, значит, тетка Нинка до сих пор не понимает шуток мужчин моего типа?

– Спокойно, спокойно, тетушка Нинушка... Легче, легче, мальчик просто пошутил. – Он погладил ее по спине и вдруг почувствовал нечто совершенно неподобающее племяннику по отношению к сорокадвухлетней тете. Быстро отстранился. Фрейдизм проклятый, подумал он. Проклятущая мерзопакостнейшая фрейдуха. Закурил спасительную сигарету. – К тому же должен добавить, дорогие товарищи, у меня нет ни малейшего желания увидеть мою матушку. Пусть она там...

Подошел восемнадцатый трамвай, две больших коробки электрического света. Выпрыгнули два хулигана в восьмиклинках с подрезанными козырьками: укоренившийся еще с конца тридцатых тип под названием Костя-капитан. Семейство художника Певзнера погрузилось. «Кондуктор-Варя-в-синеньком-берете» дернула за веревочку, звоночек пробренчал. Коробки света двинулись в темноту, три милых башки – во

второй. Мирный быт трамвайного кольца в поселке Серебряный Бор.

Борис притушил каблуком сигарету и тут же начал новую. Хулиганы стояли у закрытого киоска и смотрели в его сторону. Может, хотя бы потолковать пацаны? Хорошо бы сейчас с этими двумя поговорить. Одному – левой по печени, другому – правой в зубы. Отлетит прямо вон к тому забору. Говна не собрать! Сейчас самое время поговорить с этими двумя «костиками». Он прошел вплотную к ним и внимательно посмотрел в лица. Оба испуганно отвели глаза. Один шмыгнул носом.

* * *

Не менее трех часов продрожала ученица парикмахерского училища Люда Сорокина в особняке на улице Качалова в ожидании неизвестности. А чего, казалось бы, бояться девушке в такой уютной роскошной обстановке? Огромный нежнейшего ворсу ковер покрывает пол салона, вот именно, иначе и не скажешь, салона с мягкими неназойливыми, да еще и затененными изящными абажурами, источниками света. В трех узких хрустальных вазах стоят три расчудеснейшие розы: красная, розовая и кремовая. Еще два великолепных ковра, правда, не новых, явно бывших в употреблении, один с какими-то маврами в крепости, другой с морскими чудовищами, свисают со стен. На третьей стене библиотечные полки с книгами в кожаных переплетах. Четвертая стена задрапирована товаром высшего класса, шелк с кистями, за драпировкой высоченное окно; в шелковую щелку видать – под окном взад-вперед прохаживается военный. Что еще заметила Люда Сорокина за эти три часа? В углу стоит мраморная фигура обнаженной девушки, такая фигура, как вроде у самой Люды, когда ее можно увидеть в зеркале Даниловских бань по дороге в моечную залу. Как раз вчера Люда была с матерью и соседкой в бане и очень хорошо промыла все сокровенные места. Мраморная девушка остатками одежды прикрывает свое главное место, но на губах у нее порочная улыбка. У Люды губы дрожат: неизвестно, что ее ждет в салоне, какие обвинения будут предъявлены. Вот еще одно непонятное наблюдение. Таких красивых зеркал, как из Даниловских бань, то есть в резных рамах, здесь целых три. Слева от койки, справа от койки и, что еще довольно интересно, в наклонном виде прямо над койкой. Ну вот, значит, и койка, похожая, как бы старший мастер Исаак Израилевич сказал, на произведение искусства. Эту койку даже и койкой-то не назовешь, потому что по жилплощади она, может быть, не уступает всей сорокинской комнате в дальнем

Замоскворечье, то есть 9 кв. метров. У нее есть головная спинка из резного дерева, там, мама родная, сплетаются два лебедя, а вот ножная спинка отсутствует. Койка очень низкая, полметра высотой, под ней не спрячешься. В общем, это, конечно, не койка, а вот, как в «Королеве Марго» Александра Дюма написано, ложе. Вот именно, ложе, покрытое опять же ковром с переплетенными цветами, и кроме того, разбросаны бархатные подушки. Оно, кажется... Люда оглянулась, потрогала рукой поверхность: тугое и малость пружинит. Что со мной тут будут делать? Неужели, как в училище говорят, будут совкуплять с мужским органом? Да ведь генерал же такой красивый приглашал, такой солидный. Ой, лишь бы не расстреляли!

Приходила тетя в кружевном фартучке и в такой же наколочке на голове. Принесла поднос, мама родная, с очаровательными фруктами и с тремя шоколадными наборами, в каждом серебряные щипчики. «Дамочка, дорогая, где я нахожусь?» Тетя улыбнулась совсем без душевной теплоты. «Вы в гостях у правительства, девушка. Кушайте эти вкусные вещи».

Люда съела одну штучку. Ой, какая же вкусная, моя любимая, которую и пробовала-то один раз в жизни: орех в шоколаде! Ну, правительство ведь не расстреливает же, само-то ведь оно не расстреливает же. Ну, ведь и совкуплять, наверное, не будут, иначе как-то будет выглядеть несолидно. Вдруг заиграла музыка, и от этих звуков симфонических Люда опять вся затрепетала и поняла, что добром отсюда все же не уйдешь. И вот наконец через три часа пришел старик в театральном халате с кистями, как на занавеске. На голове коврая тубетейка, на мясистом носу очки без дужек, кажется, называются «пениснэ». Люда вскочила, ну прямо как эта мраморная девушка, хоть и была вся одетая.

– Добрый вечер, – культурно сказал старик, кажется, нерусский. – Как вас зовут?

– Люда, – пролепетала юная студентка волосяного искусства. – Люда Сорокина.

– Очень приятно, товарищ Люда. – Он протянул руку. Кажется, он только Люду услышал, Сорокина ему как будто без надобности. – А меня зовут Лаврентий Павлович.

От страха Люде это довольно благозвучное имя показалось каким-то жутким «Ваверием Саловичем».

– Не надо волноваться, товарищ Люда, – сказал Ваверий Салович. – Сейчас мы будем ужинать.

Он сел рядом с Людой в кожаное кресло и нажал какую-то кнопку на

высокохудожественном столике. Почти немедленно давешняя женщина вместе с военнотружущим вкатила столик на колесиках; Люда даже и не знала, что такие бывают. Все блюда прикрывы серебряными крышками, кроме хрустальной вазы с холмом икры. Этот продукт Люде был знаком еще по культпоходу в ТЮЗ, когда в антракте угощались бутербродами. Вот что было совсем малознакомо, так это ведрерко на столе, из которого почему-то торчало горлышко бутылки. Две других бутылки приехали самострутельно, то есть без ведрышек. Все расставлено было на художественном столике перед Людой и Ваверием Саловичем. После этого обслуживающий персонал укатил свое транспортное средство. Ваверий Салович улыбунулся, как добрый дедушка, и продемонстрировал Люде, как надо разворачивать салфетку.

– Вы любите Бетховена? – спросил он.

– Ой, – выдохнула Люда.

– Давайте-ка начнем с икры, – посоветовал он и строго добавил: – Надо съесть сразу по три столовых ложки. Это очень полезно.

Может быть, это доктор правительственный, подумала Люда. Медосмотр?

– Как вы чудно кушаете эту серебристую икру, товарищ Люда, – улыбунулся Ваверий Салович. – У вас губки, как черешни. И наверное, такие же сладкие, а? – Он гулко, заглушая музыку, расхохотался. Нет, медики так не смеются. – А вот теперь надо выпить этого коллекционного вина.

Собственноручно Ваверий Салович наполнил хрустальный бокал темно-красным и прозрачным напитком.

– Да ведь я же не пью, товарищ, – пробормотала она.

Он лучился добротой.

– Ничего, ничего, вам уже пора пить хорошее вино. Сколько вам лет? Восемнадцать? Скоро будет? Охо-хо, опять эти законы РСФСР! Ну-ну, пейте до дна, до дна!

Люда сделала глоток, потом еще глоток, еще, ну, никак не оторвешься от этого вина. Вдруг рассмеялась соловьиной трелью: «Ваверий Салович, вы, наверное, доктор?» Показалось, что покачивается на волнах. Весь стол покачивался на мягких волнах. Приятнейшие волны раскачивают всю нашу комнату – вот Ваверий Салович правильное слово нашел: будуар...

– Вам нравится наш будуар, Людочка?

Мы раскачиваемся все вместе, с мебелью, всем будуаром, и потому тарелки не падают. А почему же так плотно приближаться? Если нужен медосмотр, пожалуйста, но зачем же так тянуть? Меня вырывают из

будуара, куда-то тянут. Ваверий Салович, помогите! Ведь я в гостях у правительства! Ваверий Салович, вы меня так не тяните, вы мне лучше помогите вырваться от этого Ваверия Саловича. Ой, смешно, да ну вас, в самом деле, как-то несолидно получается, Исаак Израилевич...

Берия перетащил обмякшую девицу на тахту, начал раздевать. Она по-детски бубукала вишневыми губками, иногда повизгивала поросеночком. Какое ужасное белье они тут носят в этом городе. От такого белья любое желание ебать пропадает, понимаете ли. Комбинашка самодельная в горошек, штанишки розовые, байковые, кошмар... Еще хорошо, что девчонки укорачивают эти штанишки, обрезают их повыше резинок, которые безбожно уродуют их ляжечки. Безобразие, никакой у нас нет заботы о молодежи. В первую очередь надо будет наладить снабжение женским бельем. Он раскрыл штанишки, прижал к носу. Пахнет неплохо, парное, чуть кисленькое, по шву немного какашечкой потягивает, но это естественно в таком-то белье. Желание стремительно увеличилось. Сейчас надо всю ее раздеть и забыть про социальные проблемы. В конце концов имею я право на небольшие наслаждения? Такой воз на себе тащу!

Он раздел Люду догола, вот тут уже все первосортное, стал играть ее грудями, брал в рот соски, поднял девушке ноги, начал входить, вот сейчас, наверное, заорет, нет, только лишь улыбается в блаженном отключении, какое-то еврейское имя шепчет – и тут они! Не-е-т, теперь, как видно, по Москве целки не найдешь!

Тут Берия понял, что приходит его лучшая форма, блаженное бесконтрольное либидо. Теперь полчаса буду ее ебать без перерыва. Даже жалко, что она в полубессознательном состоянии, лучше бы оценила. Эти порошки из спецфармакологии немножко все-таки слишком сильные. Он стащил с себя халат и увидел в зеркале восхитительно безобразную сцену: паршивый, с отвисшим мохнатым брюхом старик ебет младую пастушку. В верхнем зеркале зрелище было еще более захватывающим: желудевая плешь, складки шеи, мясистая спина, по которой от поясницы к лопаткам, что твои кипарисы, ползут волосяные атавизмы, видна также розоватая, ноздреватая свинятина ритмичнодвигающихся ягодиц. А из-под всего этого хозяйства раскинулись в стороны девичьи ножки, ручки, виднеются из-за его плеча затуманенные глазки и стонущий рот; такая поэзия! Жаль только, что нельзя одновременно осветить и наблюдать главные участки боевых действий. Эта техника у нас пока не продумана.

Берия таскал Люду Сорокину вдоль и поперек необъятной тахты. Иногда, для разнообразия, переворачивал девушку на животик, под лобок ей подсовывал подушку, сгибал ноги в желаемую позицию: вот идеальная

партнерша – горячая кукла!

Влагалище у нее слегка кровило. Недостаточно разработано. Этот Исаак Израилевич недостаточно еще девушку разработал. Ничего, в недалеком будущем в нашем распоряжении окажется идеальное влагалище! Для пущего уже куражу Берия начал щипать Люду Сорокину за живот, причинять боль, чтобы заплакала. Не заставила себя ждать, разрыдалась сквозь эмгэбэшную фармакологию. Какая красота, мени дэда товтхан, кавказский злодей, понимаешь, ебет рыдающее русское дитя!

И вот наконец подошло то, о чем Берия Лаврентий Павлович, названный через четыре года на июльском пленуме ЦК в речи Хрущева Н.С. наглым и нахальным врагом СССР, всегда мечтал в казематах и углах своей плохо освещенной души. Исчезли все привходящие, дополнительные мотивы его ненасытной похоти. Забыв о своем всесильном злодействе и о всей прочей своей мифологии, столь скверно всегда его возбуждавшей, – я, мингрел, могу любую русскую бабу ебать, могу любую превратить в блядь, в рабыню, в трофей, могу расстрелять, могу помиловать, могу пытаться, могу хорошую квартиру дать, французское белье, родственников освободить из-под стражи или, наоборот, всех втоптать в вечную мерзлоту, – забыв обо всем этом, он вдруг просто ощутил себя мужчиной, жарким и страстным, влюбленным в мироздание, открывшееся ему всей своей промежностью, то есть в Женщину, товарищи, с большой буквы.

Кто хорошо это понимает, так это Петр Шария, думал Берия, умиротворяясь рядом с бормочущей сквозь забытие девчонкой, вытирая свой горячий еще отросток ее рубашечкой в горошечек. Хорошо, что я его тогда вытащил из когтей этого большевистского мужичья. Экую, видите ли, нашли измену – пессимистические стихи, посвященные умершему от туберкулеза юному сыну. В глубине особняка, ему показалось, слышался визг законной супруги. Закатывает истерику. Требуется, чтобы ее пропустили в будуар. А если я сейчас прикажу ее пропустить, испугается, спрячется наверху. Дождется, что привяжу ее в саду к березе и выпорю ногойской плетью. Гордая Гегечкори, чучхиани чатлахи! Кто вам сказал, что второй человек государства должен быть под каблуком у фригидной бабы?

Шария это понимает. С ним я могу откровенничать. Он поэт, пессимист, такая же блядь, как я, он меня не боится. Зураб – не друг, он меня боится. В нем уже никакой жизни нет, в нем только страх перед Берией живет, больше ничего. С ним я не могу откровенничать, а Шарии я могу рассказать все о своей ебле и о своей жене, забыть всякую политику. Если я их двоих сейчас ночью приглашу выпивать, ебать эту голубушку, Зураб не захочет. Он, хлэ, конечно, приедет, но только от страха. А Шария

приедет, если захочет. А если не захочет, не приедет. Поэт, партийный авантюрист, совершенно меня не боится.

Я окружен говном. Когда момент придет, все это говно вычищу. Надо себя окружить настоящими товарищами, когда момент придет. Мужчинами, поэтами, не большевиками, а партийными авантюристами. Все это мужичье разгону из Политбюро. Хватит, поиздевались над народом. Дундуку Молотову, кретину Ворошилову, этой лошади Кагановичу, Никитке-свинтусу Хрущеву, всем им пора на свалку. Жорку Маленкова, Жорку Маленкова... Жорку тоже вычищу; в новом, бериевском обществе не потянет. Как только момент придет, сразу начнем решительную перестройку всего общества. Коммунизм подождет. Распустим колхозы. Радикальное сокращение лагерей. В стране не может быть такой процент врагов, это может неприятно сказаться в будущем. Главное, что надо сделать? Перемещение власти от большевистского мужичья к железным чекистам, своим ребятам. Постепенно начнем выкорчевывать всех шпионов ЦК из аппарата, братья Кобуловы займутся этим делом. Сразу нельзя: начнется визг о «буржуазном перерождении». Сначала мы партию задвинем в огород, пусть своими кадрами занимается и пропагандой, а в государственные дела не лезет. Артачиться начнут, устроим процесс ведущей сволочи, обвиним... ну, в шпионаже в пользу английской короны. Можно не сомневаться, все признаются. У Абакумова даже ишак признается, что был коровой. Воображаю, как Никитка будет признаваться. Любопытно будет посмотреть, никогда не откажу себе в этом удовольствии. Все это дурачье гроша не стоит, сотрем в лагерную пыль.

Давайте разберемся. Берия прикрыл халатом храпящую в глубоком провале девушку, откатился к краю тахты, встал на тонкие ножки, надо похудеть, давайте разберемся, что такое коммунизм. Вот когда выпивали у Микояна (этого армянина не вычистим, способный, циничный, давно все понял), вот тогда я у Никитки спросил: ну, как ты видишь себе коммунизм, Сергеевич? Ну что может сказать курский мужик? Сала, говорит, много будет, говядины. А у нас, говорит, многие отрасли сельского хозяйства находятся в запущенном состоянии. А какой же, говорит, коммунизм, если нет лепешек и масла? И это будущее для великой страны? СССР должен быть богатым и шикарным, и если это не коммунизм, пусть этот коммунизм собаки пожрут.

В будуаре по-прежнему горели три маленьких лампочки, темно-кремовый свет разливался по коврам. Изнасилованная девица подрагивала под халатом. Соломенная куча волос. Берия налил себе стакан вина из другой бутылки. Выпив, закурил длинную гаванскую сигару. Вот

блаженство, ночное удовлетворение эротических и эстетических запросов, развитие любимых тайных концепций. Без Запада, конечно, не обойтись. Западу надо сразу показать, что с нами можно иметь дело. Пойдем на решительные уступки Западу. Отдадим им эту говеную ГДР, на хера создавали такого уродца, Ульбрихта и всю эту бражку – на Колыму! Объединенная Германия должна быть миролюбивой, нейтральной страной. Дальний прицел – противопоставим Европу Америке. Ну, просто для баланса. С Америкой – торговать, торговать, торговать! Откроем двери для больших фирм. Вот вам и «холодная война», господин Уинстон Черчилль! Что за абсурд, батона? Если война, она должна быть горячей, как ебля. «Холодная война» – это онанизм.

Конечно, замирюсь с Тито, съезжу к нему на Бриони, посмотрю, как устроился. Средиземноморские вожди должны друг друга уважать.

Когда момент придет, конечно, надо будет разобраться в национальной политике. Мужичье тут немало дров наломало. Активный костяк многих наций искорежен, на Западной Украине, в Литве, в любимой Мингрелии... Из этих людей, тех, что уцелели, надо внимательно отобрать таких, кто сможет быть нам помощниками в такой грандиозной перестройке. Надо, чтобы люди понимали меня с полуслова, а лучше с одного взгляда. Когда момент придет, нам часто придется говорить одно, а делать другое...

В углу будуара вдруг глухо гукнул дважды самый важный телефон страны, как бы предупреждая маршала: хватит фантазировать, момент еще не пришел. Этот глухой двойной сигнал пробуждал Берию из самого глубокого сна. Хозяин! Взял себе в привычку ночью сидеть в кабинете. Видно, опять сова его стала по Кремлю гонять. Да, момент еще не пришел.

– Слушаю, товарищ Сталин!

На тахте вдруг белорыбицей всплеснулась Люда Сорокина, забормотала: «Исаак Израилевич, Ваверий Салович...» Берия прыгнул, зажал ей ладонью вишневые губки.

– Что там у тебя, Лаврентий? – спросил Сталин.

– Персонал, товарищ Сталин, – проговорил он в ответ.

Сталин кашлянул:

– Если не спишь, давай приезжай. Есть ыдеи.

Антракт I. Пресса

«Зери и популит»

Тито – это всего лишь ошипанный попугай американского империализма!

Энвер Ходжа

«Правда»

...Студентка в Пензе сидит над томиком Радищева. От благородных слов чаще бьется сердце. Что ей «Стандарт ойл», что ей речи Даллеса и Черчилля?.. Теперь американские рвачи хотят вытоптать сады Нормандии... Они боятся русских, потому что русские хотят мира...

Илья Эренбург

«Тайм»

Анна Луиза Стронг о советских колхозниках: «Сто миллионов самых отсталых в мире крестьян почти в одночасье перешли к ультрасовременному сельскому хозяйству... Их увеличившийся доход трансформировался в шелковые платья, парфюмерию, музыкальные инструменты...»

Кремль об Анне Луизе Стронг: «Скандално известная журналистка была арестована органами государственной безопасности 14 февраля 1949 года. Ей предъявлено обвинение в шпионаже и подрывной деятельности против СССР...»

На этой неделе Москва выслала А.Л.Стронг из России. Стронг потеряла своего коммунистического бога, которому так хорошо служила.

«Правда»

*Да, снова лгут они
в конгрессах и сенатах.
Да, лжет газетный лист,
и книга, и эфир,
Но время мчит вперед,
и нет путей обратных —
Не тот сегодня век,
не тот сегодня мир.*

Мы видим их игру...
Николай Грибачев

С именем Сталина трудовые люди мира выиграют борьбу за мир!
Элие Сезер, поэт (остров Мартиника)
Обуздать поджигателей войны! Над площадями Варшавы долго и неумолчно гремело: «Сталин! Сталин! Сталин!»

«Тайм»

Самым трагическим гостем Нью-Йорка на прошлой неделе был знаменитый композитор России Дмитрий Шостакович. Он прибыл, чтобы участвовать во Всемирном конгрессе деятелей культуры и науки за мир. Являясь символом свирепости полицейского государства, он говорил как коммунистический политик и действовал так, как будто его приводил в движение часовой механизм, а не сознание, творящее удивительную музыку...

Среди спонсоров нью-йоркского Конгресса мира знакомые имена леваков, вроде драматурга Артура Миллера, романиста Нормана Мейлера, композитора Аарона Копланда...

Боссом и директором русской делегации является румяный, узкоглазый Александр Фадеев, политический руководитель советских писателей и чиновник МВД.

«Чикаго трибюн»

Два советских авиатора, белокурый 29-летний Анатолий Барсов и черноволосый 32-летний Петр Пирогов, угнали самолет в Линц (Австрия) и попросили у американских властей политического убежища.

«Культура и жизнь»

ОБ ОДНОМ МЕСТНОМ ТЕАТРЕ

Наши театры должны стать рассадниками всего самого передового. Однако в старейшем театре страны – Ярославском драматическом имени Ф.Г.Волкова – не всегда выполняется постановление ЦК ВКП(б) «О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению». Ставятся безыдейные порочные пьесы, в том числе даже «Парусиновый портфель» М.Зощенко. Такой пьеске, как «Вас вызывает Таймыр» А.Галича

(Гинзбурга), и вообще не место на сцене театра им. Волкова...

Художественный руководитель Степанов-Колосов и директор Топтыгин попали под влияние подголосков буржуазных космополитов, разоблаченных в постановлении ЦК «Об антипатриотической группе театральных критиков»...

«Литературная газета»

Трудящиеся Советского Союза требуют окончательного разоблачения критиков-космополитов Юзовского, Гуревича, Альтмана, Варшавского, Холодова, Бояджиева и иже с ними...

«Тайм»

Полковник В.Котко в газете «Вечерняя Москва» разоблачает немарксистский подход к вопросу о чаевых. В парикмахерской, пишет он, человек со щеточкой стряхивает с тебя несуществующие волосы и смотрит выжидательно. В театре вам предлагают бинокль и в ответ на вопрос о цене говорят: «сколько дадите»... Новые социальные отношения сделали отвратительными эти отжившие унижительные привычки.

«Нью-Йорк таймс»

Суд в Варшаве приговорил к смертной казни сборщика лома за кражу медной проволоки.

«Тайм»

Военная разведка США сообщает, что венгерский кардинал Мидсенти после ареста и следствия находится под наблюдением тюремных психиатров.

Советские газеты обвиняют в жестокостях югославские власти и, в частности, возлагают личную ответственность на министра внутренних дел Александра Ранковича, который в 1946 году провел долгое время в Москве, стажирясь в своем деле под руководством босса советской секретной полиции Лаврентия Бери.

«Правда»

ЯНКИ В РИМЕ

На улицах ты видишь жирного заокеанского хама в огромных башмаках. Он жует чуингам и тащит за руку местную девушку. Кабальный план Маршалла предлагает итальянцам назойливые рекламы американских

фирм. То тут, то там видишь изображение наглой девицы с кока-колой. И это в стране натуральных лимонадов и оранжадов!

Борис Полевой

«Литературная газета»

К ЮБИЛЕЮ ГЕТЕ

Понять такое сложное, многообразное, противоречивое явление, как жизнь и творчество Гете, оказалось не под силу буржуазной мысли. И только коммунистическая мысль смогла в полном объеме показать творчество Гете.

И.Анисимов

«Правда»

ЗА БОЕВОЙ ФИЛОСОФСКИЙ ЖУРНАЛ

В статье «Космополитизм – идеология империалистической буржуазии» чрезмерно много места уделяется разной дряни, вроде мертворожденных писаний реакционных буржуазных профессоров Милюкова, Яценко, Гершензона, писаний, от которых за версту несет трупным смрадом...

**ПОДНЯТЬ ИДЕЙНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
УРОВЕНЬ ЖУРНАЛА «ЗВЕЗДА»**

Глубоко порочна повесть Юрия Германа «Подполковник медицинской службы». Передовые советские люди изображены в ней безвольными хлюпиками, погруженными в нудное психологическое самокопание. Центральный персонаж, доктор Левин, – пустой и вздорный старик, ложно выдаваемый автором за смелого экспериментатора.

В.Озеров

«Литературная газета»

В газете «Монд» появилась статья некоего Андре Пьера. Он утверждает, что произведения Пушкина будто бы обедняются, когда их переводят на грубый язык бурят, коми, якутов и чувашей. Группа якутских писателей разоблачает фашистского борзописца и его хозяев. Эстетствующий мракобес, видимо, и не слышал о всемирно известном 13-томном словаре якутского языка академика Пекарского. Отвечая глубоким презрением на выходку Андре Пьера, мы горячо приветствуем трудовой народ Франции.

«Тайм»

Шесть месяцев прошло с тех пор, как Вячеслав Молотов был освобожден от поста министра иностранных дел, и, хотя он удерживает звание заместителя премьер-министра, пушечное ядро его головы ни разу не появлялось на официальных фото.

«Вашингтон пост»

**СУД НАД ПРЕДАТЕЛЕМ ВЕНГЕРСКОГО НАРОДА
(РЕПОРТАЖ ИЗ ЗАЛА СУДА)**

Второй человек в иерархии Венгерской компартии Ласло Райк признался перед народным судом в Будапеште, что он в течение 18 лет был шпионом последовательно диктатора Хорти, гитлеровского гестапо и американской разведки.

«Правда»

Напрасно стараются господа белградские писаки: тайные рычаги заговора были в руках Аллена Даллеса и Александра Ранковича... Белградское радио продолжает нечленораздельно бубнить о кознях Коминформа. Перед судом стоит человек и монотонным, равнодушным голосом рассказывает историю чудовищных предательств, затеянных и уже совершенных убийств.

Борис Полевой

«Юманите»

Кампанией клеветы на Советский Союз реакционеры хотели бы заставить народы забыть тот простой факт, что социализм – это мир, а капитализм – это война.

Морис Торез

«Непсабадишаг» – ЮПИ

Адвокат на будапештском процессе сказал о своем подзащитном генерал-лейтенанте Дьерде Палфи: «Я должен защищать этого человека, хотя он мне отвратителен».

«Тайм»

На долю хорошенькой негритянки миссис Тельмы Дайел, домохозяйки и жены музыканта, выпало от лица 12 присяжных (4 мужчин и 8 женщин) объявить вердикт по отношению к одиннадцати подсудимым, боссам американской компартии: каждый из обвиняемых признан виновным в заговоре по подстрекательству к насильственному свержению

правительства США.

Закончился длиннейший в истории страны криминальный процесс, который вел судья Гарольд Медина, плотный человек с элегантными усиками и большими меланхолическими бровями. Он продолжался 9 месяцев. Защита опросила 35 свидетелей, правительство 15 свидетелей. Показания состоят из 5 000 000 слов. Стоимость процесса для защиты 250 000 долларов, для правительства 1 000 000 долларов. Установлено, что подсудимые хотели в нужный момент путем стачек и саботажа парализовать экономику, насильственно свергнуть правительство и установить диктатуру пролетариата. Приказы поступали непосредственно из Москвы.

«Правда»

Судебная расправа над коммунистами продолжалась 9 месяцев. Присяжные были тщательно просеяны ФБР. В списке свидетелей предстали 13 шпионов, провокаторов, ренегатов, продажных людей. Судья Медина стал символом дикого преследования коммунистов и всех прогрессивных сил в Америке.

Кукрыниксы: «Американская дубина – судья Медина!»

Капиталистический способ земледелия неизбежно ведет к истощению почвы. В США многие миллионы гектаров доведены до крайнего истощения.

Претворяя в жизнь сталинские планы, колхозное крестьянство полностью овладело силами природы в интересах создания изобилия продовольствия, в интересах построения коммунизма.

Впечатления советского моряка, электромеханика Задорожного, от Нью-Йорка. «В магазинах покупателей нет. Прилично одетые люди просят цент на пропитание. Трое дюжих молодчиков били негра. Наш пароход повсюду встречали возгласами: “Да здравствует Сталин!”»

«Литературная газета»

Роман Павленко «Степное солнце» – это горячий, стремительный, оптимистический рассказ о больших делах простых советских людей.

Валентин Катаев

«Тайм»

На экранах Москвы идут пять фильмов, которые названы просто

иностранными без указания источника, среди них «Последний раунд» и «Школа ненависти» об ирландском восстании против Англии. Эти фильмы на деле являются продуктами геббельсовского ведомства пропаганды, они были направлены на возбуждение антибританских и антиамериканских чувств.

«Лайф»

О сыне советского диктатора генерал-лейтенанте Василии Сталине в Москве ходит немало слухов. Согласно одному из них, В.Сталин однажды пилотировал самолет, на котором кроме него находилась только некая женщина с ребенком. Над полями Белоруссии В.Сталин выпрыгнул из самолета на парашюте.

«Нью-Йорк таймс»

372 беженца из СССР достигли Швеции на судне, которое может вместить не более 50 пассажиров. Среди них поляки, эстонцы, белорусы и латыши.

Одиннадцать признанных виновными боссов американской компартии явились в суд, чтобы узнать о приговорах. Десятеро из них получили по 5 лет тюрьмы и 10 000 штрафа за заговор по подстрекательству насильственного свержения правительства США. Одиннадцатый, кавалер Креста за выдающуюся службу во время войны, получил три года.

«Лайф»

Восторженные москвичи не могли оторвать глаз от неба, когда над парадной Красной площадью пролетел огромный четырехмоторный бомбардировщик в сопровождении истребителей. На следующий день у всех отвалились челюсти, когда в газетах и по радио было объявлено, что самолет пилотировал командир воздушного парада генерал Василий Иосифович Сталин. Большинство граждан не знало, что у отца народов есть сын.

Василий имеет двух детей от своей второй жены, дочери маршала Тимошенко. Он отличается вспыльчивостью, пьянством и склонностью улаживать споры с помощью кулаков.

«Правда»

*Дочь отчизны,
Советской женичиной зовусь,*

*И этим я горда.
Екатерина Шевелева*

ТОРГОВЦЫ ЯДАМИ

Правительство Трумена хочет насадить американские нравы по всей маршаллизированной Европе. Париж наводнен голливудскими киновоевиками. Погнавшись за большими долларами, Марлен Дитрих снялась в антисоветском пасквиле «Железный занавес», который потерпел сокрушительный провал на французском экране. В фильме «Скандалистка из Берлина» дана правильная сатира на американские нравы, но одновременно этот фильм представляет из себя циничный и наглый поклеп на советскую армию.

Юрий Жуков (Париж)

«Руде право»

Я люблю Советский Союз! Я видел своими глазами, как эту землю целовали Пабло Неруда, Эми Сяо, многие молодые женщины. Мы живем в эпоху тов. Сталина!

Ян Дрда

«Правда»

Гагина извивается. В Софии начался процесс Трайчо Костова.

Со Сталиным в наш дом вошла мечта.

Как утренняя песня молодца.

Алексей Сурков

С тех пор, как с нами Сталин, сбывается всякое затаенное желание советского народа.

Леонид Леонов

Коль Сталин с нами, значит, правда с нами.

Джамбул

М.Шолохов: «Отец трудящихся мира». Ф.Гладков: «Вдохновитель созидания». А.Первенцев: «Наш Сталин». М.Исаковский: «Надежда, свет и совесть всей земли».

Антракт II. Ничтрусы – туда!

Кот профессора Гординера любил стоять на одной ноге. То есть не то чтобы он на ней просто-напросто стоял, забыв о трех остальных конечностях, или, скажем, кружился на одной ноге, как балерина Лепешинская, однако он любил положить две передних лапы на подоконник и созерцать происходящее на дальней стороне улицы, на углу переуллка, на крышах низких домов и на карнизах высоких и в эти минуты поджимал к пузу то левую, то правую ногу, уподобляясь тем редким людям, у которых иногда возникает желание постоять на одной ноге.

Все-таки не зря я его назвал Велимиром, думал профессор Гординер. Сидя в глубоком кресле у батареи отопления в ожидании ареста, завернувшись в толстый плед верблюжьей шерсти, он созерцал кота, созерцающего объективный мир. Он вспоминал того, в честь кого семь лет назад назвал толстого боевого котенка, принесенного ему в подарок любовницей Оксаной. Смешно, но в мяуканье котенка почудилась ему какая-то веселая хлебниковская заушь. Тогда и возникло имя кота. Настоящий Велимир, конечно, не обиделся бы, наоборот, был бы польщен, тем более что у кота с возрастом появилась хлебниковская манера стоять на одной ноге. То есть, простите, на одной лапе.

Бронислав Гординер когда-то входил в футуристическую группу «Центрифуга» и по этой линии не раз встречался с Хлебниковым. Тот был старше его на несколько лет; мифическая фигура поэта-странника, словотворца и вычислителя истории. Молодой критик благоговел, хотя по групповой принадлежности полагалось не благоговеть, а задирать одного из ведущих кубофутуристов, нагло предъявлявших права на все движения.

Хлебникова, надо сказать, групповая политика мало занимала, как мало его занимали молодые, благоговеющие перед ним критики. В разгар бурной дискуссии и посреди какого-нибудь места, на суарэ ли у сестер Синяковых, в толпе ли у Сухаревской башни, он мог замереть, обкрутив праздную ногу вокруг другой, рабочей; с выражением лица полнейшего идиота что-то бормотать пухловатыми губами под вечно беспокойным носом. В такие минуты вокруг поэта возникало разреженное пространство: творит, не мешайте!

Ах, как здорово жилось тогда! Все эти полуголодные вернисажи! Головокружительное ощущение принадлежности к новому веку, к творителям новой культуры! Давно все это уже ушло. Сначала перестали

хохотать, потом прекратили улыбаться, наконец, бросили собираться вместе, отошли от групп, то есть разобрали их до нуля общим отходом, потом, эх, потом вообще настали времена, когда о группах старались забыть, да и личные дружбы прежних грешных лет не особенно афишировались, а если где-нибудь в неподходящем месте вдруг выплывало чье-нибудь некогда славное имя, прежний групповщик лишь бормотал «ах, этот» и тут же переключал стрелку на главную магистраль. Хлебников, измученный возвратным тифом, недоеданием, а в основном персидской анашой, умер еще в двадцать втором. Центрифуга поэзии, которой надлежало, по замыслу ее теоретиков Сергея Боброва и Ивана Аксенова, поднимать на поверхность крем словесного мастерства, пошла наперекосяк, взбаламутила на дне безобразный осадок. Лучше тем, кто ушел заблаговременно, как Иван; что бы он делал сейчас со своими «елизаветинцами», со своим «Пикассо»? Плачевны мы, оставшиеся, Сергей, я, Николай, даже Борис... Вот так, десятилетие за десятилетием, сидеть в маленьком холодном потцу, ждать ареста, не высовывать носа, Велимир, сжиматься в комочки, что твои мышки, строчить аккуратненькие, благонамеренные рецензийки, рифмовать версты подстрочного перевода; плачевны мы, Велимир. Я знаю, что ты сейчас скажешь...

«Времышы-камышы! Жарбог, Жарбог!» – отозвался кот. «Вот так так! – сказал Гординер. – Нет, не зря я называл тебя Велимиром».

Кот отпрыгнул от окна и даже, как показалось Гординеру, перед тем как заскочить ему на колени, сделал некий однолапный пируэт. Устраиваясь на коленях любимого Бронислава, копая его плед и вельветовые штаны колючими лапами, бодая подвздошие ему крутою головою, кот мурчал: «Пинь, пинь, пинь, тарарахнул зензивер. О, лебедиво! О, озари!»

Говорят, что коты любят не человека, а свое место, думал недавно разоблаченный критик-космополит. Может быть, может быть, но меня Велимир любит явно больше, чем нашу комнату. То есть в этой комнате он больше всего любит меня. Мне отдает предпочтение даже перед диваном. Бесконечно следует за мной, лижет мне пятку во время совокуплений с Оксаной. Вполне возможно, он видит во мне не человека, а свое место, такое свое ходячее место... Эдакое побряхтывающее, бормочущее матерщинку, покуривающее, попукивающее, писающее в ведро, когда лень идти в коммунальный туалет, скрипящее перышком, шевелящее страницы любимое место. Только тяга к законному пространству соперничает в нем с привязанностью ко мне, только поэзия кошачьего космоса...

«Ну, что ты там лицезрел сегодня, в своем законном пространстве,

Велимир?» Кот посмотрел на него снизу вверх, как заговорщик, и, словно, убедившись, что подвоха нет, возбужденно запел: «Сияющая вольза желаемых ресниц и ласковая дольза ласкающих десниц. Чезоры голубые и нравы своенравия. О, право! Моя моролева, на озере синем – мороль. Ничтрусы – туда! Где плачет зороль»...

«Эка хватил, – пробормотал Гординер. – Мы все обманываем себя, дружище Велимир. Красоты в объективном мире не существует, есть только ритм. Наш мир – лишь жалкий заговор культуры...»

Он вспомнил, как они вот в этой же комнате еще в тридцать четвертом говорили на эти темы с Иваном Аксеновым, только тот, естественно, сидел не на его коленях, а вон на той, тогда еще не протертой до мездры шкуре медведя. Хотя бы обои переклеить один раз с тех пор, хотя бы выветрить когда-нибудь запах холостяцкой мизантропии!

Привычное советское многолетнее вялое ожидание ареста недавно сменилось у профессора Гординера более ощутимым, то есть до некоторых спазмов в кишечнике, его ожиданием. После нескольких упоминаний его имени в списках других людей с неблагозвучными для русского уха именами все его статьи в журналах завернули, а самого его вычистили из профессуры ГИТИСа, где он читал курс по Шекспиру. Хоть никого еще из отъявленных мерзавцев-космополитов не посадили, однако в печати все чаще появлялись требования трудящихся разоблачить до конца, а это означало, что общий знаменатель приближается.

Все это было еще окрашено чудовищной иронией. На фоне бесконечных требований «раскрыть скобки» Гординер являл собой парадоксальный выверт литературы и судьбы. Дело в том, что у него в скобках как раз скрывалось самое что ни на есть великолепное не еврейское, белорусское благозвучие, а именно Пупко. В далекие футуристические годы юный критик Бронислав Пупко решил, что с такой фамилией в авангард не проедешь, вот и выбрал себе псевдоним, в котором, как ему казалось, звучала как бы славянская стрела, перелетающая немецкую твердыню. К имени этому в литературных кругах скоро привыкли, и он сам к нему привык до такой степени, что про Пупко своего изначального даже и забыл, даже и паспорт получил в начале тридцатых на фамилию Гординер. Кто же думал тогда, что придется отвечать за такое легкомыслие, что такое неизгладимое еврейство приклеется к его седым бакенбардам и пегим усам вместе с этим псевдонимом? Что же теперь делать? Не вылезать же на трибуну, не бить же себя в грудь, не вопить же: «Я Пупко, я Пупко!» Нет, до такого падения он все-таки не дойдет! Отказываться от Гординера – это все равно что отказываться от всей жизни,

перечеркнуть свое место в литературе, оплевать все свое творческое наследие! Нет уж, пусть приходят и берут Гординера; Пупко отсюда не убежит, в комсомол возвращаться постыдно! «А ты уходи, – говорил он Велимиру. – Когда они явятся, я открою форточку, ты прыгай туда и сразу уходи по крышам. Ты знаешь, где живет Оксана, немедленно отправляйся к ней один или со своей мороловой. Им в руки не давайся!»

«Проум, праум, преум, ноум, взум, роум, заум», – отвечал кот.

Ближе к вечеру приехала Оксана и прямо с порога начала снимать юбку. Их связь тянулась уже много лет, и, как они оба говорили друг другу и сами себе, она заполняла собой их «кулуары романтики». Оксана когда-то, естественно, была студенткой Гординера по шекспировскому курсу, тогда-то и выяснилось, что оба они не могут говорить о «пузырях земли» без волнения. С годами она из девчонки с задранным носиком превратилась в статную даму с чуть поблескивающим меж по-прежнему дивных губ металлокерамическим мостом. В лице у нее иногда уже мелькало что-то мрачновато-величественное, и Гординер во время свиданий прилагал все усилия, чтобы хоть на миг сквозь обычную для московской женщины усталость выглянула та прежняя, с шекспировской лекции, восторженная девчонка. Свидания, увы, становились все более деловитыми, как бы рассчитанными до минуты. Семья обременяла Оксану: муж, сотрудник Минтяжпрома, и трое детей, из которых среднее дитя, дочь Тамара, было, по ее убеждению, зачато вот в этой самой комнате, на этом самом протертом кожаном диване.

Довольно часто в конце свиданий Гординер вспоминал эгофутуриста Игоря Северянина и начинал канючить:

*Ты ко мне не вернешься даже ради Тамары,
Ради нашей малютки, крошки вроде крола,
У тебя теперь дачи, за обедом омары,
Ты теперь под защитой вороного крыла.*

Хохоча, собирая белье и тайком то и дело поглядывая на часы, Оксана возражала: «Хороши омары! Питаемся одними „микояновскими“ котлетами, к вашему сведению».

Так вот и сейчас, едва переступив порог, сбросив заляпанные боты и расстегнув юбку, Оксана уже бросила косяка на часы. Одиночество – удел критика-космополита, думал Гординер, с кривой улыбкой вылезая ей навстречу из своего кресла. Кот между тем, по-светски покрутившись

вокруг быстро обнажающейся Оксаны, решительно направился к окну. В последнее время он резко сократил свое участие в «заполнении кулуаров романтики», то есть облизывание папиных пяток. Оксанины визиты начали его раздражать, потому что женщина отказывалась жить с ними постоянно.

«Галагала гэгэгэ! Гракахата гророро!» – потребовал он.

Гординер открыл форточку: «Возвращайся до темноты!» Велимир выпрыгнул на карниз, спустился на низлежащую крышу и прошел к трубе, держа перпендикулярно колеблющийся, словно гвардейский султан, хвост. Помимо всего прочего, он был флагманом здешнего флота. Лучи заката просвечивали сквозь густой пух хвоста, отчетливо выделяя стержневую мощную пружину.

...Заполнив «кулуары романтики», Оксана и Бронислав еще некоторое время лежали в объятиях друг друга. Профессор нажатием на лопатки подавлял внутреннюю суету возлюбленной: «Перестань смотреть на часы!» Она гладила его по голове, нежнейшим образом пощипывала славно поработавший старый орган. «Да-да, ты прав, Броня, не будем наблюдать сей странный механизм». Она вздыхала: «Вчера он искал папиросы, залез в мою сумку, нашел ключ от твоей квартиры. Разумеется, скандал. В который раз? Ах, это почти невыносимо!»

Гординер молчал. Обычно после таких сообщений он начинал бурно требовать, чтобы она немедленно ушла от докучливого Минтяжпрома, чтобы все они начали новую, романтическую жизнь, без всякой фальши и тягомотины. Сейчас молчал. «Что же ты молчишь?» – спросила она. Все-таки хотелось, чтобы поклянчил, хоть и знала, что никогда к нему не уйдет.

«Молчу потому, что мне теперь нечего тебе предложить. За мной, наверное, скоро придут. Вчера на открытом партсобрании секции критики опять требовали полного разоблачения. Позаботься о коте, Оксана, не дай ему пропасть».

Кот между тем несся по конькам крыш. Домой – с благой вестью! Последние закатные лучи ударяли в открывающиеся форточки, пьянили и слепили, как когда-то, в незапамятной жизни, в плавнях Волжского устья, ослепляли и пьянили мальчонку закатные, сквозь камыши, блики, когда за каким-то папенькой-орнитологом поспешал, волоча калмыцкий челнок с выводком окольцованных птиц. Экое счастье было, экое счастье – сейчас! Вперед, вперед, на молодых или, ну, еще не старых, там, мускулах, страшная железобетонная радиосхема последней наркотической ночи в Санталово еще впереди или уже позади, а может, ее и совсем нет, хоть и присутствует, а главное, эти блики, этот полет любви, главное, как можно быстрее сообщить любимому ходячему местечку, а именно папочке

Брониславу Григорьевичу Гординеру, в прошлом Пупко, о том, что он не будет арестован!

Откуда взял это кот Велимир, с какого панталыку? Высокочастотную связь, что ли, подслушал? В эфире ли прошел какой-то сдвиг, что улавливают коты и что недоступен людям? Во всяком случае, вдруг озарило, и он понял, что всем их страхам теперь конец: папа уцелеет! Скорей! Скорей! Теперь самое главное, как передать эту новость Гординеру? Поймет ли он универсальный язык, унаследованный из глубин онтологии?

Оксана рыдала. Только сегодня она поняла, что Гординер обречен. Рыдала не только от горя, но и от стыда, ибо знала, что не останется с ним даже сегодня, что он ей давно уже немного в тягость, а также потому, что, невзирая на все благородное сострадание, там, и даже скромные потуги самопожертвования, в предательских мыслях то и дело возникает молодой сослуживец по библиотеке ВТО – совсем молодой, на 15 лет ее младше, – который давно уже дает понять, что не прочь заполнить ее «кулуары романтики». Гординер ее не утешал.

Вдруг за окном бурно возникла фигура кота во весь рост, в распушившейся шубе, с огнем в глазах. Барабанил передними лапами по стеклу, требовал впуска. Вот кто никогда не предаст, подумал Гординер, бросаясь к окну.

Впрыгнув в комнату, кот заколесил, хвост трубой, меж ног своего папы и его любовницы. Громко и торжествующе он пытался донести до них свою новость:

*Лили эги, ляп, ляп, бэмь.
Либибиби нираро
Синоано цицириц.
Хию хмапа, хир зэнь, ченчь
Жури кака син сонэга.
Хахотири эсс эсэ.
Юнчи, энчи, ук!
Юнчи, энчи, пипока.
Клям! Клям! Эпс!*

«Что это с ним случилось? – перепугалась Оксана. – Валерьянки, что ли, где-нибудь насосался или мышьяку перехватил?»

Профессора вдруг осенило: «Да как же ты не понимаешь? Велимир

где-то узнал, что меня не арестуют! Правда, Велимир?»
Кот в восторге вдруг сделал пируэт на одной ноге.

*Иверни выверни,
Умный игрень!
Кучери тучери,
Мучери ночки,
Точери тучери, вечера очери.
Четками чуткими
Пали зари.
Иверни выверни,
Умный игрень!*

Оксана смотрела, мучительно не понимая. Старый ее любовник, которого она всегда из-за его возраста немного стеснялась, хотя и не замечала, что в последнее время народ на улице уже не видел в их редких совместных прогулках никакого несоответствия, теперь стоял на одной ноге посреди комнаты, балансировал руками и бормотал: «Хоть здесь и нет объективной красоты, но все-таки есть ритм, а это немало. Ну что ж, ну что ж, пусть еще потянется этот заговор культуры, пусть пройдет вся игра»...

Глава четвертая

Пурга пятьдесят первого

Зимы в начале пятидесятих годов были исключительно морозные, что впоследствии дало возможность обиженным сталинистам ворчать: в те времена все было крепким, неуклонным, порядок был повсеместный, даже и зимы отличались ядреностью, настоящие русские были зимы, не то что нынешняя слякоть.

А ведь и в самом деле, климат значительно рассопливился после Сталина. В 1956 году, например, очень долго не наступала зима в Петербурге, то есть в тогдашнем городе Ленина, как будто вместе с эскадрой британских кораблей, ведомой авианосцем «Триумф», в Неву вошел прародитель атлантической демократии, теплый поток Гольфстрим. Случилось даже небольшое наводнение, столь романтически окрасившее одну из ночей нашей юности. Естественно, напрашивается некоторое поверхностное предположение, что, мол, все наши либерализации зависят от каких-нибудь солнечных взрывов или пятен, что малейшие изменения в потоках энергии влияют на состояние умов, а следовательно, и на политическую ситуацию. Желаящих развить эту идею отсылаю к началу второго тома нашей трилогии, а именно туда, где дебатировалась историческая концепция Льва Толстого с ее миллионами произволов.

С другой стороны, если на этой гипотезе массовых произволов заторчать с особенной силой, можно будет даже преодолеть притяжение истории, подняться выше и предположить, что поворот в состоянии миллионов умов способен развеять иные астральные мраки, а это, в свою очередь, повлияет и на климат.

Так или иначе, но в ту январскую ночь, о которой сейчас пойдет речь, никому в Москве не приходила в голову мысль о либерализации климата и смягчении политического курса, а злая пурга, гулявшая от Кремля по всей циркулярной топографии, казалась вечной. Естественно, и Борис IV Градов не предавался философии или историософии. Отоспавшись после занятий в анатомическом театре, сдав кое-как зачет по костям и отгоняя от себя тошнотворные мысли о зачете по сухожилиям, он решил на всю сегодняшнюю ночь, а может быть, и на весь следующий день выдавить из себя занудного студяру и вернуться к своей сути, то есть к молодости, моторам и алкоголю.

Спускаясь в лифте со своего пятого этажа, он думал о том, удастся ли

ему сейчас завести «хорьх». Температура – 29° С, при порывах ледяного ветра падает, очевидно, до минус сорока. Гаража нет, «хорьх» стоит во дворе, напротив задних дверей магазина «Российские вина». Ну вот и он – превратился в гигантскую гробницу Третьего рейха. Что ж, увидим, кто кого. В мотоциклетно-автомобильных кругах считалось высшим классом не смотреть на погоду: мотор заводится всегда! Использовались всякого рода присадки к маслу – скажем, авиационные, с полярных аэродромов; больше всего ценились, конечно, оставшиеся с войны ленд-лизские или вынесенные по великому и тайному благу из гаража особого назначения. Иные, особо выдающиеся мотористы, фанатики и профессора своего дела, предпочитали сами изготавливать какие-то смеси и, разумеется, держали их в секрете.

Борис IV, увы, был не из их числа. Слишком много времени отнимали институт, спортобщество, рестораны и «хаты», как в те времена называли вечеринки с горячим и девицами. Фанатики и «профессора», особенно один пожилой апостол двигателя внутреннего сгорания по кличке Поршневич, нередко его стыдили: «У тебя, Борис, редкий дар в отношении механизмов. Зачем ты пошел в медицинский, вообще зачем время зря тратишь?» Борис иной раз с похмелья отправлялся в гараж Поршневича, проводил там целый день, будто грешник, отмаливающий грехи в церкви. Смешно, думал Борис, но в этих автолюдах и в самом деле есть что-то от святости, во всяком случае отрешенность от паскудного мира налицо.

Паскудный этот мир иногда представлял перед двадцатичетырехлетним Градовым волшебной феерией, чтобы потом, перекатившись даже и через грань паскудности, свалиться уже в настоящий отстойник дерьма. Может быть, даже и не в пьянках было дело, а в общем послевоенном, послеармейском похмелье, когда он ощущал себя никому не нужным, не вознагражденным, глубоко и необратимо оскорбленным и выжатым, как лимон. «Если нельзя найти ничего посвежее, называйте меня „выжатый лимон“, – иногда говорил он партнерше по танцу медленного темпа, как теперь в ходе борьбы с иностранщиной стали именовать танго. У девушки от восхищения закатывались глаза и приоткрывался ротик. Боря Градов был известен в веселящихся кругах столицы как личность таинственная, романтическая и разочарованная – современный Печорин!

В синдром его похмелья прочно вошел анатомический театр Первого МОЛМИ. Никогда он, хоронивший растерзанных пулями и осколками товарищей и сам изрешетивший и проколовший штыком немало человеческих тел, не мог себе представить, что его в такую подлую тоску будут вгонять проформалиновые останки, на которых ему полагалось

изучать анатомию. «Прихожу к какому-то чудовищному парадоксу, – жаловался он деду. – Война с ее бесконечными смертями кажется мне апофеозом жизни. Анатомичка, формалиновые ванны, препаровка трупов – это, может быть, мрачнее смерти, окончательный тупик человека... У тебя такого не было, дед?»

«Нет, такого не было никогда, – решительно отвечал старик. – Прекрасно помню, как я был вдохновлен на первом курсе факультета. Первые шаги в космосе человеческого организма, будущее служение людям...» Он клал на плечо внуку усыпанную старческой пигментацией, но все еще вполне хирургическую кисть руки, заглядывал в пустоватые, слегка пугающие глаза отставного диверсанта. «Может быть, мы оба ошиблись, Бабочка? Может быть, тебе уйти?» – «Нет, я еще потяну», – отвечал внук и уходил от дальнейшего разговора, чувствуя страшнейшую неловкость. Дед, очевидно, думает, что при таком отвращении к анатомичке из меня никогда не получится хорошего врача, а я, говоря «еще потяну», проявляюсь как полный хер моржовый, как пацан, у которого в мозгу с пятнадцати лет засел только лишь один постулат: я человек прямого действия, отступать перед трудностями не в моих привычках. Как давно все это было, все эти упражнения с Сашкой Шереметьевым... как мать тогда злилась, подозревая нас в заговоре... мать... где она?.. превратилась в какой-то недобрый дух... вот все, что от нее осталось в этом доме... оскорбление и забвение... «Ну что, будем заводиться, герр „хорьх“?» – обратился он к могучему и как бы слегка уже окаменевшему сугробу. Из магазина выскочил и пробежал к своему фургону шофер Русланка. Увидел Бориса, тут же переменял курс, подошел, проваливаясь в наметенном из-под арки сугробе. «Привет, Град! Раскочегариться хочешь?» Борис был уже популярной личностью среди шоферов улицы Горького, а также и среди милиции. Постовые обычно козыряли при виде несущегося «хорьха», а некоторые, у светофора, подходили, чтобы пожать руку: «Под твоей батькой всю войну прошел на Резервном фронте, лично видел его три раза, орел был твой батька, лучший военачальник!»

Вдвоем с Русланкой дворническими лопатами они освободили лимузин из ледяного плена. За последнюю морозную неделю машина задубела до состояния ископаемого, из вечной мерзлоты, мамонта. «Давай огня ей засунем под жопу, – предложил Русланка. – А потом на проводах от моего газка мотор погоняем». Расторопности необыкновенной, шоферюга «Российских вин» мигом откуда-то приволок лист кровельного железа, на нем они развели костерок из смоченных в мазуте тряпок, затолкали его под картер. Такой же горячей тряпкой отогрели замок, отодрали заледеневшую

дверь. Борис влез внутрь словно водолаз в затонувшую подводную лодку. Кожаное сиденье жгло через кожу эсэсовских штанов, доставшихся ему когда-то в качестве трофея после боя на окраине Бреслау. Нелепо, конечно, даже пробовать завести мотор ключом, аккумулятор, хоть и танковый, все равно мертв, масло не разгонишь и на адском огне. Отступать, однако, нельзя, если уж взялся: мотор заводится всегда! Русланка тем временем пытался, маневрируя меж сугробами, подогнать свой фургон поближе, чтобы протянуть провода от плюса к плюсу, от минуса к минусу, то есть «прикурить». Борис раскачал педаль газа, крутанул вправо-влево руль и, наконец, повернул ключ в замке. Как ни странно, звук, последовавший за этим движением, не показался ему безнадежным. Искра явно прошла, мотор сделал два-три оборота. Он выбросил наружу заводную ручку и попросил Русланку покрутить. Вдвоем они минут десять пытались подхватить обороты, однако ничего не получалось. Борис уже хотел было бросить это дело, чтобы окончательно не добить аккумулятор, и уповать теперь только на провода, когда «хорьх» вдруг взвыл, как вся устремившаяся в прорыв армия Гудериана, а затем, как только газ был сброшен, заработал ровно и устойчиво на низких оборотах. Вот так чудеса! Что же тут в конце концов оказалось решающим – немецкая технология, самогонная присадка Поршневича или энтузиазм двух молодых москвичей? «Мы киты с тобой, Русланка! – сказал Борис, употребив недавно усвоенное студенческое выражение. – С меня пол-литра!»

«Ловлю на слове! – весело отозвался шоферюга. – Жди в гости, Град!» Все ребята с этого двора мечтали побывать в загадочной маршальской квартире, в честь которой к фасаду дома уже прибили мемориальную плиту с чеканным профилем героя. «Хорьх» деятельно прогревался, льдинки сползали со стекол, внутри оттаивала кожаная обивка, играло радио: монтаж оперы «Запорожец за Дунаем». Борис отправился наверх, отмыл замазученные руки, переоделся в синий костюм с большими вислыми плечами, расчесал на пробор и малость набриoliniл свои темно-рыжие волосы, сверху надел черное легкое пальто в обтяжку, трехцветный шарф: либертэ, эгалитэ, фратернитэ. Головной убор побоку: московским денди мороз не страшен.

Сквозь метущие широким пологом или завивающиеся в торнадные хвосты снежные вихри целый час он ездил по Садовому кольцу с одной лишь целью – полностью разогреть и оживить своего роскошного любимца, а потом вернулся на улицу Горького и остановился возле тяжелой двери, над которой висела одна из немногих светящихся вывесок, конусообразный бокал с разноцветными слоями жидкости и с

обкручивающейся вокруг ножки, словно змея в медицинской эмблеме, надписью «Коктейль-холл». Из бокала к тому же торчала некая светящаяся палочка, которая означала, что полосатые напитки здесь не хлобыщут через край до дна, а элегантно потягивают через соломинку. Самое интригующее из всех московских значных мест начала пятидесятых. Существование его под этой вывеской уже само по себе представляло загадку в период борьбы со всяческой иностранщиной, особенно англо-американского происхождения. Даже уж такие ведь слова, как «фокстрот», то есть лисий шажок, были отменены, а тут в самом центре социалистической столицы, наискосок через улицу от Центрального телеграфа, со скромной наглостью светила вывеска «Коктейль-холл», которая ничем была не лучше отмененных джаза и мюзик-холла, а может быть, даже и превосходила их по буржуазному разложению. Иные московские остряки предполагали, что если заведение с позором не закроют, то, во всяком случае, переименуют в ерш-избу, где уж не особенно будут заботиться о разноцветных уровнях и о соломинках. Время, однако, шло, а коктейль-холл на улице Горького преспокойно существовал, чрезвычайно интригуя среднего москвича и гостей столицы. Поговаривали даже, что туда среди ночи на обратном курсе с Центрального телеграфа, то есть после отсылки клеветнических антисоветских телеграмм, иной раз заворачивает корреспондент американской газеты «Юнайтед диспетч» Ф.Корагессен Струобэри.

От Борисова дома сие заведение было в пятидесяти секундах ходьбы по прямой, и он, естественно, не преминул тут стать завсегдатаем. Всякий раз строго, чуть нахмуренно шел в обход очереди, коротко стучал в дубовую, будто прокурорскую, дверь. В щелке появлялось узкое око и широкий брыл швейцара, нехорошие, неприступно советские черты лица. Увидев, однако, гостя, лицо тут же стряхивало неприступность: «Борису Никитичу!» Публика, конечно, не возражала: раз пускают, значит, этому товарищу положено. Так, собственно говоря, тут вся публика разделялась: те, что в очереди стояли, случайный народец, среди них иногда даже и студент попадался, решивший за одну ночь прогулять всю стипендию, и «свои», которых знали в лицо, а то и по имени, в основном, конечно, деятели литературы и искусства, выдающиеся спортсмены и детки больших чинов, американизированная молодежь, называвшая улицу Горького Бродвеем, а то, еще пуще, Пешков-стрит; эти, конечно, в очереди не стояли.

При входе светился, будто многоярусный алтарь, бар с полукруглой стойкой. За стойкой священнодействовали старшая барменша Валенсия Максимовна и два ее молодых помощника Гога и Серега, о которых,

естественно, говорили, что оба в капитанских чинах. Эти последние сливали и сбивали в смесителях коктейли. Валенсия же Максимовна, похожая в ореоле своих перекисьводородных волос на Елизавету, дочь Петрову, лишь принимала заказы. Только уж очень избранным персоналиям она соизволяла преподнести изделия своих собственных имперских десниц.

– Что вам сегодня предложить, Боренька? – серьезно и благосклонно спросила она молодого человека.

– «Таран», – сказал Борис, усаживаясь на высокую табуретку.

Укоризненно чуть-чуть качнув головою, Валенсия Максимовна отошла к многоцветной пирамиде своего хозяйства. Внутри, вокруг столиков и в бархатных нишах, былолюдно, но не многолюдно, имелись даже свободные кресла. В основном все были «свои», уютное и веселое сборище, и трудно было даже представить себе, что за дверью имеется под порывами пурги очередь общей публики. На антресолях играл маленький оркестр. Его репертуар, разумеется, тоже находился под строгим идеологическим контролем, но музыканты умудрялись исполнять даже «Жил на опушке рощи клен» так, что получалось что-то вроде джаза.

Валенсия Максимовна поставила перед Борисом большой бокал с пузырящейся и переливающейся многоцветной влагой.

– Не нужно начинать с «Тарана», Боренька. Примите «Шампань-коблер», – сказала она так, как будто и не ожидала возражений.

– Хм, – Борис пожал плечами. – Кажется, меня тут все еще за взрослого не считают? Впрочем, вы наверняка правы, Валенсия Максимовна.

Взрыв хохота долетел до бара из одной бархатной ниши. Кто-то там махнул рукой Борису: «Причаливайте, сэр!» Это были писатели и артисты, созвездие лауреатов. Площадкой владел (таково было новое выражение, вошедшее в обиход с легкой руки футбольного радиокomentатора Вадима Синявского: «владеть площадкой»), итак, площадкой владел композитор Никита Богословский, автор песни «Темная ночь», которую по популярности можно было сравнить только с «Тучами» Борисовой тетки Нины.

– Тут недавно в Москве, уважаемые товарищи, сделано удивительное открытие... – «Уважаемые товарищи» звучали в его устах, шевелящихся над галстуком-бабочкой в горошек, словно «леди и джентльмены». – Вот, обратите внимание, обыкновенная фотокарточка... – С этими словами он извлек из кармана снимок совокупляющейся в довольно похабной позе пары. – Ну, самая обыкновенная продукция... ну, кто из нас не знаком с

такого рода изделиями... ну, словом, самая элементарная маленькая порнушка...

С той же небрежностью, с какой говорил, Богословский бросил карточку на середину стола. Все вокруг умирали от этой небрежности – обыкновенная, видите ли, порнопродукция, и это в самой пуританской стране суровых пролетарских нравов. Все хохотали, однако Борис с удивлением заметил, что некоторые, в частности Валентин Петрович Катаев и Константин Симонов, обменялись короткими многозначительными взглядами.

– А теперь возьмите любую газету, – продолжал Богословский. – Ну любую! Ну вот хотя бы эту ежедневную газету. – Он вытащил из портфеля и развернул рядом с фотографией «Правду».

Ничего себе, «любая ежедневная газета», боевой орган ЦК ВКП(б), которую каждое утро кладут на стол не кому-нибудь, а самому Хозяину! Смех тут начал немного увядать, общество отвлекалось к напиткам. Заметив это, Богословский юмористически сморщил на удивление свежую, круглую мордашу:

– Нет-нет, товарищи, никакой контрреволюции! Тут просто удивительный перекося человеческой логики. Дело в том, что этот снимок может быть иллюстрацией к любому заголовку любой газеты. Пари? Извольте! Ну вот, Саша, читай заголовки, а я буду картинку показывать. – Он подтолкнул газету к автору недавно раскритикованной комедии «Вас вызывает Таймыр» Александру Галичу, высоколобому молодому человеку с усиками, которые аккуратной подстриженностью и элегантностью спорили со знаменитыми усиками шестижды лауреата Сталинской премии Кости Симонова.

– Пардон, пардон. – Галич отодвинулся от газеты. – Читай уж сам!

– Нет, так неинтересно. – Богословский обвел глазами присутствующих. – Надо, чтобы кто-нибудь другой читал. Ну, Рубен Николаевич, может, вы будете читать как мастер читки? Миша, ты? А, вон Сережа Михалков пришел, вот он нам прочтет!

– Б-б-без меня! – сказал, проходя мимо сразу в туалет, длинный дятлоподобный «дядя Степа».

– Ну давайте я прочту, – сказал Борис IV Градов.

– Ха-ха-ха! – вскричал Богословский. – Вот студент прочтет своими устами младенца!

Катаев, с которым Борис оказался рядом, тихо пробормотал: «Зачем это вам?» Однако уста младенца зазвучали ко всеобщему удовольствию.

– «Новый приступ безумия в лагере поджигателей войны», – читал

Борис.

– Извольте! – восклицал Богословский, демонстрируя совокупающуюся с ослиными лицами парочку.

– «Крепнет связь науки и практики», – читал Борис.

– Ну, лучше не придумашь! – восклицал Богословский.

Снимок и в самом деле отлично иллюстрировал неразрывность науки и практики.

– «Сказы латышского народа».

– А вот и картинка к ним!

– «Районная животноводческая выставка».

– Товарищи, товарищи!

– «Подготовка национальных кадров».

– Ну не гениально ли?

– «Молдавия отвечает на призыв...»

Тут разошедшегося Бориса прервал Симонов:

– Ну, хватит, ребята! Так ведь окочуриться от смеха можно.

– Кто же это, интересно, придумал? – спросил Катаев, шелковым платком отирая лоб.

– Понятия не имею. – Богословский забрал карточку, газету и, очень довольный, удалился.

Все вдруг заговорили о войне. Вот тогда народ умел шутить, хохмили за милую душу. Парадокс, не правда ли? В окопах юмора было больше, чем сейчас, в мирной жизни.

Борису, признаться, чрезвычайно льстило, что он запросто вхож в этот круг старших да еще и таких знаменитых мужчин Москвы, хоть сам-то он был, конечно, им интересен лишь как сын маршала Градова. Многие из них, в частности Симонов, водили знакомство с его отцом во фронтовые годы. «Ваш отец, ста'ик, был п'ек'асный па'ень и великий солдат», – сказал шестижды лауреат со своей знаменитой картавостью, когда в том же самом коктейль-холле молодого Градова представил компании сильно нагрузившийся актер Дружников. Все тогда спешили с табуреток, выпростались из бархатных седалищ, окружили Бориса. Не может быть, сын маршала Градова?! Старик, позвольте пожать вашу руку! Ваш отец был прекрасный парень и великий солдат. Что, Костя это уже говорил? Нет, это я сам сказал. Это в стиле Хемингуэя. Ну, конечно, в стиле Хемингуэя. Да, мы с Никитой... Я о нем очерк писал для «Звездочки», неужели не помните – «Вещмешок маршала Градова»? Он был бы сейчас наверняка министром обороны... Помню, летел в его самолете в район Кенигсберга. Отличные хлопцы там были в штабе, Кока Шершавый такой, зампотылу, майор

Слабопетуховский... расписали там «пулю», ну и... Эх, Никита, Никита... недели не дожид до Победы... Настоящий мужчина... безупречная храбрость... философ и практик войны... Чья-то пухлая лапа обхватила Бориса за плечи, прямо в ухо влез мокрый рот, зашептал: «А я твою маму знал, Боренька... Ох, какая она была...» «Боренька» дернулся, сбросил пухлую лапу, еле сдержался, чтобы не залепить в мокрую пасть. Кто-то оттащил любителя интимных откровений. Ты что, с ума сошел, пьяный дурак? Нашел чем делиться с парнем, такими воспоминаниями! Вскоре все в этой компании поняли, что с сыном маршала можно говорить о чем угодно, только не о матери.

В разговорах о войне вдруг выяснилось мимоходом, что и Борис воевал.

– Когда же вы успели, старик? – удивился Катаев. – Может быть, были «сыном полка»?

Все засмеялись. За повесть «Сын полка» почтенный мастер «южной школы» пять лет назад получил свою Сталинскую.

Борис усмехнулся. Он понял, что дело тут не в возрасте, просто все уверены, что уж сыну-то маршала не пришлось в окопах вшей кормить.

– Я никогда не был в полках, – сказал он. – У нас был отряд не больше роты по личному составу.

– Но все-таки ведь ваша рота была частью полка, старик, не так ли? – спросил какой-то только что подсевший, которому вовсе вроде бы и не полагалось подсаживаться к такой компании и уж тем более пользоваться шикарным обращением «старик».

Борис внимательно на него посмотрел и ничего не заметил, кроме желтых глазенок.

– Нет, наша рота не была частью полка, старик, – сказал он. Лауреаты заулыбались, оценив сарказм молодого Градова. Борис продолжил в том же духе, хотя немедленно понял, что немного перебарщивает:

– Простите, больше ничего не могу вам сказать, старик.

Симонов разливал по стаканам уже третью бутылку коньяку. Кому еще заказывать такие напитки, как марочный «Арарат», если не шестижды лауреату?

– Между прочим, старики, в заведении появилась интересная публика, – проговорил он. – Сразу не оглядывайтесь, но вон там под антресолями столик заняли три американца.

– Т-т-то есть к-к-как это три американца? – удивился Михалков, немедленно уставивший в указанном направлении два своих глаза, похожих на линзы кинокамер. – Откуда они тут взялись? С парашютами?

– Двоих я знаю лично, – сказал Симонов. – Один, моего возраста, это Ф.Корагессен Стробиери, он корреспондент газеты «Юнайтед диспетч» в Москве, хорошо говорит по-русски, не бздун, плавал в Мурманск на конвоях, летал в Ленинград во время блокады. Второй, старики, это вообще большой человек, дада, вот этот старик, старики, большая антисоветская скотина, знаменитый Тоунсенд Рестон. Откройте любую нашу газету... – тут все захихикали, вспомнив «изобретение» Никиты Богословского, – и увидите сразу, как его гребут и в хвост и в гриву, паразита, за клевету и дезинформацию. Ну, а третий, наверное, из посольства, этого не знаю.

Увидеть зимой 1951 года трех вылупившихся из московской вьюги розовощеких американцев было все равно что увидеть марсиан. Вздрыгнул задремавший было в своем кресле Михаил Светлов.

А может быть, это не американцы, а марсиане? Боря Градов пошел к бару и попросил у Валенсии Максимовны десятирублевую сигару. Закурив ее, отправился обратно, окружая себя чем-то вроде дымовой завесы. Прекрасная идея – наблюдать за врагом сквозь дым сигары! Я им, конечно, не виден, вместо лица косматое облако, а их вижу отлично со всеми их проплешинами, очками, перстнями, обручальными кольцами, толстенными авторучками, торчащими из карманов толстых пиджаков в рыбью косточку – почему еще зубные щетки не торчат из этих карманов? – с их золотыми часами и кожаными портсигарами... Интересно, какого черта они все трое смотрят на меня, если у меня вместо лица косматое облако дымовой завесы? Вот вам их фальшивые улыбки, вот вам «лицо врага», как наш друг Константин Михайлович писал в стихотворном репортаже из Канады... «Россия, Сталин, Сталинград, три первые ряда молчат...»

Он вернулся к своему столу и обратился к автору вспомнившихся строк о битве за мир:

– Вот вы, старик, говорите, что из тех трех двое вам лично известны. А почему же тогда не здороваетесь?

– Вы что, не понимаете, старик, почему я не здороваюсь? – поднял брови Симонов. – А вот они понимают, почему я не здороваюсь, и тоже не здороваются, проявляют отличный политический такт.

– А вот я сейчас пойду и с ними поздороваюсь, – сказал Борис неожиданно для себя самого. Вот так с сигарой главного калибра в зубах прямо вот через зал протопать и с поджигателями войны познакомиться.

– Вы этого не сделаете! – неожиданным фальцетом вознесся Катаев. – Как старший за столом не советую вам, старик, этого делать!

– Прошу прощенья, уже не могу этого не сделать. – Борис поднялся. – Как человек прямого действия уже не могу этого не сделать.

Оркестр заиграл «Красную розочку, красную розочку я тебе дарю!». За перилами антресолей был виден контрабасист, ловко перебирающий струны сардельками пальцев, большой, совсем молодой, хоть и уже лысеющий, к тому же сильно застекленный солидными очками парень, с блуждающей таинственной улыбкой на толстых губах; о нем тот же Катаев однажды сказал, что это талантливый прозаик Юрий... Юрий... ну, не важно... Борис направился к американцам, однако тут из туалета выпорхнули две хорошеньких девчонки и, пролетая мимо, обронили:

– Ах, неужели это мастер спорта Боря Градов собственной персоной?

Естественно, все американцы и вообще вся осложняющаяся день за днем международная ситуация были немедленно забыты. В дальнейшем забыты были и многие другие базовые проблемы середины двадцатого века. Оказавшись в компании людей своего поколения, то есть сборной солянки из всяких там физтехов, инязов, мгимошников, маишников (начались как раз зимние каникулы, студент гулял), Борис IV Градов немедленно стал одним из двух главных действующих лиц животрепещущего спора. Вопрос был поставлен остро: кто сильнее опьянеет – тот, кто сразу выдует пол-литра «Московской особой», или тот, кто употребит указанное количество зелья рюмками в течение получаса? Как человек прямого действия, Борис, разумеется, выступил за первый вариант: дескать, легче выдуть пузырь из горла или двумя стаканами по 250 граммов. Противником его оказался дюжий малый, чемпион МГУ по борьбе классического стиля. Его звали Поп, из чего можно было сделать предположение, что фамилия его была Попов. На ручке его кресла сидела очаровательная девчонка в свитере с двумя полярными оленями. Вот именно этой девчонке, Наташке, будет сейчас доказано преимущество прямого действия над тягомотиной, мотоциклиста над жиртрестом. Вы все сейчас увидите, как держат банку штурмовые десантники ГРУ, к тому же еще теперь вооруженные передовой медицинской наукой, знатоки нормальной анатомии. Вот теперь пусть все это пижонство наблюдает, все эти папины-мамины сыночки из тех, что в Ригу ездят заказывать себе штиблеты с тремя пряжками, сливки нашей молодежи с неподмоченными анкетками... Спокойно, сказал он себе почти вслух, только не звереть. Ребята отличные, Наташка со мной уедет, борец Поп, отличный малый, будет лежать в полном туше.

Он налил себе до краев тонкий стакан, выпил его одним духом, даже не почувствовав вкуса водки. Поп в это время, хитрый морж, махнул рюмашечку и подцепил солидный, как сторублевая ассигнация, пласт семги. О закуске, между прочим, не договаривались, ну да черт с ним. Пока

наливал второй стакан, 250 граммов, как доктор прописал, вдруг нахлынула густая пьяная волна. Мгновенно сконцентрировался, не пролил ни капли. Волна сошла. Водка прошла. Перевернул бутылку, выжал, как полагалось в разведке, все четырнадцать оставшихся капель. Гром аплодисментов. Жадный до зрелищ московский плебс. Тем не менее благодарю тебя, мой добрый народ. «Закусывайте, Град! – крикнула Наташка. – А то не сможете ничего!» – «Будь спок, Наташка! – ответил он ей с ослепительной улыбкой героя фильма „Мост Ватерлоо“. – Обо мне не волнуйся, о себе подумай!» Четким гвардейским, как на параде, шагом, вот так бы прямо к Мавзолею, швырнуть к подножию генералиссимуса Сталина штандарт дивизии «Мертвая голова», прошагал к бару за новой сигарой, попутно получил от сеньоры Валенсии граненую рюмочку «Маяка», изумрудный шартрез с яичным желтком внутри, пьется тоже одним глотком. «Эй, Поп, даю тебе фору!» Кажется, все заведение смотрит на меня, так я прекрасен у стойки бара с сигарой, опрокидывающий «Маяк». Или наоборот, никто не смотрит на меня, такое я дешевое говно. На кой хер я ввязался в этот идиотский спор? Ведь мне все-таки не восемнадцать лет, ведь я все-таки не маменькин сынок. Нет-нет, я не маменькин сынок, кто угодно, но не маменькин сынок. Может быть, бабкин внук и теткин племянник, но уж никак, никак, ей-ей, клянусь Польской Народной Республикой, не маменькин сынок.

Писатели между тем покидали помещение. Кто-то вальяжный уже стоял в шубе с бобровым воротником и в шапке-боярке. Некто другой, то ли знаменитый, то ли на подхвате, теперь уже не отличишь, проходя, полуобнял Бориса за стальное плечо:

– А мы в «Ромэн», не хотите ли с нами? Сегодня там банкет, петь будут до утра. Эх, хорошо под выюгу-то завить тоску цыганщиной!

«Надо было с ними пойти, – думал Борис, вертя в пальцах рюмку из-под „Маяка“, – эх, под выюгу-то запеть! Жаль, что я не цыган, эх, послать бы всех на хуй и зацыганствовать! Эх! Не-е-т, шалишь, мы пойдем другим путем! Кто так сказал? Кому? Гоголь Белинскому или наоборот? Да нет, это же Ленин сказал, наш Владимир Ильич сказал царю. Пальцы под мышки, под жилет, с небольшой усмешкой... Не-ет, батенька, мы пойдем другим путем. Мы знаем, куда сегодня ночью пойдем». Идея вдруг с ходу откристаллизовалась, теперь он понял, чем все завершится этой ночью. Мы знаем, куда пойдем и кому мы сегодня наконец-то покажем, что мы не маменькины сынки, отнюдь не маменькины сынки, может быть, мы сукины дети, но, ей-ей, не маменькины сынки.

Вдруг все звуки питейного заведения прорезались: стук стульев и пьяный смех, бум-бум-бум контрабаса, лабает «надежда русской прозы»,

голос Валенсии Максимовны: «Гаврилыч, закройте дверь, вы нас всех простудите!» – кто-то рядом хохочет с нерусским акцентом, бздынъ, кто-то кокнул бокал, – пора отчаливать, чтоб не размазаться тут на сладком полу.

Он вернулся к столу, за которым начался «эксперимент». Борец, чуть-чуть отрыгивая, продолжал пропускать рюмочки. Бутылка его была опорожнена только наполовину. «Я проиграл», – сказал Борис и бросил на стол залог, три сотенных бумажки с изображением Кремля, Москвы-реки и маленького пароходика на воде. «Куда же вы, Град?!» – едва ли не с отчаянием воскликнула Наташа. Должно быть, именно этот Боря Град олицетворял для нее девичью мечту о принце, а вовсе не Поп, чемпион по классической борьбе.

– Пьян в дупель, – извинился Борис. – А меня дома мамочка ждет.

По паркетной диагонали четко прошагал к выходу, ни разу не оступился. Позади Поп сползал из кресла на пол, почти бессмысленно бормоча: «Ха-ха, Града перепил, ха-ха». Подготовка чемпиона оставляла желать, как тогда говорили, много лучшего.

«Хорьх» стоял на месте. Все нормально. Видимость нулевая. Осадки не в виде снега, а в виде ведьминых косм и хвостов. Если это мирное время, то какого черта навешивать собак на войну? Заводимся вполоборота. Танковое сердце России в железных кишках Германии! Снег разгрести не будем, поедем с метровым холмом на горбу. Привет работникам ОРУД – ГАИ! Сын маршала Градова спешит объясниться в любви одной поющей проститутке.

* * *

Ехать было недалеко: два квартала по улице Горького и потом левый поворот в Охотный ряд, прямо к подъезду гостиницы «Москва». Там в огромном ресторане на третьем этаже пела по ночам его мечта, Вера Горда.

Много раз Борис говорил себе: плюнь ты на эту блядь, тоже мне мечта, фальшивка и подделка, да и не очень молода, наверное, если увидеть ее при дневном свете. Тут же, впрочем, сам себя опровергал: ее и не нужно видеть в дневном свете, она – мечта твоих пьяных ночей, ночная птица «Лалабай», воплощение блядства и нежности. Много раз он видел, как к концу программы в зале среди пьяного мужичья поднимался опасный спор – кто увезет Горду? Иногда она смывалась или уходила под защитой оркестра, а иногда с каким-то даже как бы вызовом ждала окончания спора и удалялась в сопровождении кавалеров, очень часто грузин. В эти минуты Борис

сгорал от ярчайшей ревности: да как они, козлы, смеют посягать на это существо, самой судьбой мне предназначенное?! Да что посягать, наверняка ведь тянут ее, напоят допьяна и употребляют! В следующий раз никому не дам ее увезти, всю кодлу расшвыряю, затащу ее к себе в «хорьх»! Да ей и самой интересней будет с таким парнем, как я, вместо всех этих барыг... Подходил, однако, «следующий раз», и он опять, как мальчишка, смотрел на высокую женщину в облегающем черном платье, интимно чуть-чуть изогнувшуюся перед микрофоном, чутьчуть отставившуюся в сторону, чуть-чуть появившуюся из длинного разреза длинную ногу в шелковом чулке. Низкий голос, будоражащий что-то очень далекое, почти забытое, мальчишеское, в глубинах отставного диверсанта...

*Здесь под небом чужим
Я как гость нежеланный
Слышу крик журавлей,
Улетающих вдаль...*

Всякий раз он напивался, когда ее видел и слышал, и всякий раз почти в отчаянии ощущал какую-то дичайшую недоступность этой, по всей видимости весьма доступной, особы.

Нужно к чертовой матери все это послать, говорил он себе и довольно успешно все это томящее, развратное, высасывающее к чертовой матери посылал, забывал, тем более что московская его жизнь становилась все более интенсивной: институт, спорт, моторы, околоспортивные девчонки, выпивоны в мужских компаниях... Месяцами он не появлялся в близлежащей (30 секунд ходу по прямой) гостинице, однако потом вдруг, будто из морского мрака, белоголовый вал возникал и швырял его прямо к подножью ресторанной сцены, где стояла в луче фонаря Вера Горда, где она поднимала к золотоволосой голове обнаженные руки, голосом своим как бы держа ритм всего биг-бэнда.

*Молча лежат в песках верблюды,
И в тишине безлюдной
Ночи медленной нет конца...*

Весь ее репертуар состоял из полузапрещенных песен, которых уж ни под каким предлогом не услышишь по радио или в концертах, ритмы блюза

и танго, с сильной нотой российско-цыганской романтики, словом, самая что ни на есть «ресторанщина», а рестораны в те годы хоть и существовали, однако всенародно считались капищами греха, пережитками капитализма.

В кругах ресторанных завсегдатаев, то есть людей не идеальных, с которых не следовало брать пример подрастающему поколению, о Вере Горде говорили: «Вы слышали, как Горда поет „Караван“ Айвазяна? Это, знаете ли, нечто!»

...«Хорьх» шел к намеченной цели с опущенным боковым стеклом. Борис этого не замечал и весь покрылся инеем и снегом. Вспоминалось даже нечто блоковское: «кружится снег, мчится мгновенный век, снится блаженный брег...» При всем моторном направлении ума не чурался иной раз в захламленности квартиры подцепить с полки томик стихов из маминой коллекции. Она, наверное, там и русские стихи забыла, зачем ей теперь русские стихи? Не заметил, как вдруг совершенно протрезвел и оробел. Не надо мне туда идти. Ну что туда идти на посмешище? Ну как я к ней подойду, что скажу? Простите, Вера, но я вас хочу. Но это же совершенно немыслимо – от меня к ней. Любой барыга может ей так сказать, будет нормально. Для меня – абсолютно ненормально. Чудовищно. Немыслимо. С девчонками все это получается естественно и как будто между прочим, а эта блядь почему-то за каким-то барьером недоступности...

Был уже почти час ночи. Надо домой пилить, повыть в одиночестве и отключиться. Два раза он объехал вокруг центрального московского квартала: гигантская гостиница, кинотеатр «Стереокино» со своей вечной и единственной картиной «Машина 22-12», потом «Гранд-отель», потом снова «Москва»... Хмель совсем прошел, остался только стыд за гусарство в коктейль-холле: в конце концов добьюсь того, что все меня будут держать за дешевого пижона. Черт, я сам себя загнал в ловушку этой ночью, выюга залепила мне мозги. Я не могу уйти и не могу кружить здесь без конца; в конце концов меня в МГБ поволокнут за это кружение. В конце концов надо с этим покончить раз и навсегда!

У входа стояли только две «Победы» – такси с работающими моторами. Не видно было даже обычной очереди. Швейцар зевал за полузамерзшими стеклышками двери. Внутри, в вестибюле, бузил какой-то пьяный. Два официанта, бульдог и мартышка, обшаривали его карманы: видно, хорошо погулял по буфету Ваня-золотишник, а расплатиться позабыл. Обычно уже здесь слышен был грохот оркестра, сейчас стояла тишина. Борис оставил пальто швейцару, который, разумеется, его знал.

Тоже под знаменами легендарного батеньки служил на Резервном фронте. Бегом поднялся в зал. Оркестр, очевидно, был на перерыве, сцена пустовала, если не считать нескольких оставленных инструментов: раскрытый рояль, горка ударных, многозначительные вопросительные знаки саксофонов. Буржуазная загогулина, ничего не скажешь. Не так давно газета «Культура и жизнь» объявила игру на саксофоне злостным хулиганством.

Борис пошел меж столов, пытаюсь найти местечко с видом на сцену. К этому часу все в зале были уже более или менее пьяны. Салаты разрушены и размазаны. Торчали окурки из неожиданных мест, например из апельсина. Много обнажалось металлических ртов, преобладало червонное золото. Где-то было слишком много вина, где-то не хватало. Кого-то выводили под руки. Кто-то сам мчался, шатаясь, закрыв ладонями рот, пытаюсь донести до сортира свое праздничное откровение. В основном, однако, царило некоторое остекленение, вызванное, по всей вероятности, тридцатиминутным отсутствием оркестра. В час ночи, конечно, всем хотелось двигаться, прижиматься телами, качаться, как романисты той поры писали о загранице, «в ударном трансе». Вдруг кто-то его окликнул. Из-за колонны махал рукой цэдэковский гонщик Сева Земляникин:

– Привет, Боб! Слушай, вали к нам, тут мой одноклассник, летчик-испытатель, гуляет. Грушей привез с Дальнего Востока вагон и маленькую тележку!

Прикинув, что сцена отсюда будет видна как на ладони, Борис шагнул за колонну и сразу увидел Веру Горду. Она сидела за дальним концом большого стола рядом с капитаном ВВС. Тот что-то ей шептал на ухо, она улыбалась. Там, в темном углу, на фоне какой-то бордовой портьеры, за скопищем пустых, полупустых и непочатых еще бутылок, в каких-нибудь трех шагах от него, как будто вдруг материализовавшаяся с киноэкрана, сидит она, один голый локоть на столе, вторая рука с отставленной длинной папиросой возле левого уха, глаза надменно полуприкрыты, а красный рот полуоткрыт так, как будто она уже в постели с этим гадом, летчиком-испытателем, чья рука, запущенная под скатерть, давно уже, наверное, путешествует меж ее колен.

Вокруг стола еще сидело персон не менее десяти, но Борис ровным счетом никого из них не заметил и даже не слышал обращенных к нему слов. Он руки чьи-то пожимал, не отрывая взгляда от Горды, с жадностью фиксируя все детали: опасно полуоторванную бретельку концертного платья, крупные кольца завивки, серьги, браслет, маленькую бородавочку на виске.

Она вдруг чуть отодвинулась от летчика, вдруг улыбнулась прямо новоприбывшему, окатила вдруг теплой синевой очей, вот именно: «очей-синевою-сейчас-я-завою». Пронзило и мгновенно отлетело ощущение, что этот момент уже был когда-то в его жизни.

– Простите, я не расслышала, как ваше имя? – спросила она.

– Борис Градов, – произнес он так, как будто она могла это немедленно опровергнуть.

– Борис Градов, неплохо звучит, – сказала она как маленькому мальчику. – А я Вера, если вы не расслышали.

– Я расслышал, – сказал он.

– Давайте выпьем! – вскричал летчик, бухая себе в фужер сразу из двух бутылок водку и шампанское, то есть формируя популярный в те годы напиток «Северное сияние».

– В Горду врезался Эдька, – сказал про него Сева Земляникин Боре Градову. – Как услышал «В запыленной пачке старых писем», так сразу в пике вошел, все свои шиши готов отдать за одну ночь.

– Мало ли что он готов отдать, – сказал Боря и сразу же, резко, пошел на опасное сближение с летчиком-испытателем. – А что же вы испытываете, Эдуард, если это не государственный секрет? Большие самолеты или маленькие?

Летчик с хмельным оскалом погрозил пальцем Борису, хотя тот вряд ли отчетливо в данный момент для него фокусировался.

– А вот это и есть как раз большой секрет, молодой человек. Маленький самолет под большим секретом. – Наклонив голову, он явно боролся с алкогольными перегрузками, потом, очевидно победив, весело осветился и вывалил самый уж что ни есть чудовищный государственный секрет: – Я этот самолетик, друзья и Верочка, на практике испытываю. Спросите где? Строго между нами, в Корее. Нелегкая там у нас работа, Верочка и вы, остальные. Одной рукой гашетки нажимаешь, а другой рукой глаза растягиваешь, под корейца косишь, вот такие дела.

Таким образом вдруг совершенно неожиданно подтвердилась грязная клевета империалистической прессы о том, что советские летчики якобы участвуют в боях на стороне Корейской Народно-Демократической Республики. Все присутствующие, хоть и под газом, не поддержали этой темы, только Горда, засмеявшись, прикрыла ладошкой рот гусарствующему авиатору. Боря же Градов вдруг почувствовал некоторую симпатию к пьяному дураку: свой все-таки, спецназ, с американцами воюет, вот нервы и не выдерживают.

На эстраде вдруг зазвучал рояль. Вера приподнялась и заглянула за

колонну:

– Ну, мне уже пора работать.

Музыкантов на эстраде еще не было, один только пианист в медленном темпе наигрывал «Сент-Луис блюз». Летчик было приподнялся, чтобы проводить свою гостью, однако рука у него сорвалась со стола, и он чуть не упал. В этот момент Боря Градов быстро прошел за стульями, взял певицу под локоток и повел к эстраде.

– Профессионально сделано, Боб! – хохотнул за спиной Сева Земляникин.

– Давайте потанцуем, – предложил Борис.

– Ну что ж. – Она положила ему руку на плечо.

Они начали танцевать под пианино. Она что-то напевала под нос по-английски, потом спросила:

– Кто вы такой? Я давно вас заметила.

Поворачивая ее в танце, он касался ее груди и бедер. На высоких каблуках она была почти одного с ним роста. Спина у нее была влажная, пот добавлял к ее духам какую-то совсем уже убийственную нотку.

– Я... я... – забормотал он, – я офицер разведки в запасе, мастер спорта по мотогонкам, кроме того... кроме того, знаете ли, я – сын маршала Градова... у меня пустая пятикомнатная квартира на улице Горького... и еще, еще... автомашина «хорьх», и все это...

Она на мгновение прижалась к нему:

– Ну что вы дрожите, мальчик? Не волнуйтесь, я буду с вами.

Лабухи уже возвращались и рассаживались. Пианист, подмигнув Горде, продолжал играть, Борис уже не мог вымолвить ни слова. Наконец дирижер, пожилой павиан в торчащей коробом крахмальной манишке, объявил:

– Уважаемые товарищи, эстрадный оркестр ресторана «Москва» начинает завершающее отделение своей программы.

– После концерта ждите в вестибюле гостиницы! – шепнула она.

Снова погас весь свет, закутился под потолком стеклянный шар, поплыли над быстро сбежавшейся толпой танцоров разноцветные блики. Борис не вернулся к столу авиатора, а плюхнулся на какой-то стул поближе к эстраде. Горда стояла в глубине, весело болтала с пианистом, может быть, о нем, может быть, как раз о том «сумасшедшем мальчике», с которым она танцевала, пока тот наигрывал «Сент-Луис».

Потом луч прожектора вывел ее вперед, и она, почти прижав губы к микрофону, запела, плечами и коленками поддерживая медленный и пружинящий ритм:

*Когда-нибудь пройдет пора ненастья,
Сумеем мы вернуть былое счастье,
И мы пройдем весь этот путь
Когда-нибудь,
Когда-нибудь!*

Ну да, она пела теперь для него, только для него, вовсе не для денежного капитана, которому так трудно нажимать на гашетки, когда приходится растягивать глаза «под корейца», вовсе не для еще более денежных, извечных своих грузинских поклонников, которые так горячо ей сейчас аплодируют, стуча перстнями, ни для кого из этой нажравшейся толпы, а только для Бори Градова, которому она обещала быть с ним, назвав его именно так, как ему мучительно хотелось, – мальчиком!

Подошел официант. Борис заказал бутылку «Гурджаани» и тарелку сыра. Оглядевшись, увидел, что сидит среди каких-то молодых мужиков, никто из которых не обращал внимания ни на него, ни на его мечту. Разговор шел, разумеется, о «гребле с пляской». Один какой-то, уверенный в своих статях крупный малый лет тридцати, рассказывал, как он целый вечер маялся с «шалавой», никак не мог найти «станка», чтобы «пистон бросить». Остальные очень серьезно внимали. Ну, как на зло, Петьки дома нету, у Гачика в карты играют, к Семичастному тетка с дочкой приехала. Весь вечер таскаемся, обжимаемся, мороз, бля, яйца трещат от натуги. Ну не «стояка» же играть под забором. Наконец, она говорит, берите тачку, Николай, поехали ко мне. «Шалаву», очевидно, в этой компании знали. Один какой-то, фиксатый, сказал: «Она в Сокольниках живет». Один, другой какой-то, в очках, подтвердил: «Да-да, в Сокольниках». Один, третий какой-то, бородатый, только хохотнул. Рассказчик подтвердил: «Вот именно, в Сокольниках, в аварийной хате. Дверь открываешь, а за ней прямо яма с водой. Вот такая шикарная шалава, а живет в таких жилищных условиях. Комнатенка крохотная, одна только полутораспальная койка помещается, а на ней бабка ее лежит, дрожит под лоскутным одеялом. Потом-то я узнал, что у них батарея в ту ночь от мороза лопнула. „А ну, давай! – кричит она бабке. – Пошла отсюда!“ Сбросила бабку на пол, тянет меня на себя. Ну тут, товарищи, я забыл обо всех нормах мировой литературы. Стащил с нее трусики, вогнал свой шатун и пошел вперед на полных оборотах. И смех и грех, ей-ей! Койка короткая, ноги у меня в заднюю спинку упираются, капэдэ от этого еще увеличивается, шалава визжит, пузыри пускает, бабка плачет в уголке, только и бормочет: „Боже,

какой кошмар!“... – „К чему это вы все рассказываете?“ – вдруг, совершенно неожиданно для себя, громко спросил Борис. Все тут повернулись к нему, как будто только что заметили. Бородатый выдохнул „ха!“ и застыл с улыбкой в глубине своей растительности.

«А вам какое дело?» – с интересом обратился к Борису красивый сильный мужик, рассказчик Николай.

«А просто противно стало, – еще громче и даже с некоторой звонкостью ответил Борис. Снова возникло ощущение быстро увеличивающейся скорости. – Вас девушка от отчаянья в свою трущобу привела, унизила из-за вас свою бабушку, может быть, единственное любимое существо, а вы ее „шалавой“, а вы про нее „визжит, пузыри пускает“!»

Тут сразу несколько человек зашумели: «Вот наглый хмырь, стилига сраный... Вас кто-нибудь приглашал слушать?.. Сидишь тут со своим сыром, с „Гурджаани“, ну и сиди, только пасть не открывайте, молодой человек!...» Все были очень рассержены, один лишь только бородатый с каким-то почему-то весьма знакомым выражением хохотал гулким, неестественным баском, выговаривал: «А в нем что-то есть, братцы, ей-ей, что-то есть, все по Достоевскому обрисовал!»

Борис спокойно под этот хор выпил фужер вина, закусил сыром.

– Простите, что случайно подслушал вашу беседу, джентльмены, однако стою на своем, а если бы я знал ту девушку, о которой вы так рассказывали, разговор вообще пошел бы иначе!

Все даже задохнулись от такой, еще пущей, наглости. Герой Сокольников хлопнул лопатистой ладонью по столу:

– Вы что, не понимаете, ребята? Товарищ напрашивается. Он тут ходит туда-сюда, ищет приключений на собственную жопу, напрашивается.

– Напрашивается, так напросится, – сказал фиксатый. – Мы тебя подождем, – сказал он Борису.

Только этого мне не хватает, подумал Борис, вместо свидания с Гордой влезаю в кабацкую драку. Он забрал недопитую бутылку и пошел назад, к Севе Земляникину.

– А где Вера?! – закричал, увидев его, летчик. – Ты куда мою любовь затащил, гад?!

– А ты что, не видишь, где Вера?! – закричал ему в ответ Борис. – Вон, на сцене поет! Не видишь, не слышишь? Ослеп, оглох на корейской войне?!

– Да что такое, весь вечер пошел наперекосяк! – огорченно восклицал Сева Земляникин. – Банку разучились держать в вооруженных силах!

Когда программа, после нескольких персональных заказов «для наших

гостей из солнечного Узбекистана, из солнечной Молдавии, из солнечной Тьмутаракани», наконец закончилась и свет над эстрадой погас, Борис быстро вышел из зала и сбежал вниз, в вестибюль гостиницы. Там в креслах спали люди, которым обещали на завтра номера. Свирепые морозные пары врывались с улицы, когда открывались двери. По всему обширному помещению звучали пьяные голоса: народ упорно выяснял отношения; естественно, кто-то кричал, что его никто не уважает.

Бориса ждали. Человек пять-шесть кучковалось вокруг героя Сокольников, который оказался не менее двух метров ростом. Все рухнуло, и Вера опять другой уведет. Может быть, вот этот двухметровый со своим «шатунном» ее и увезет после того, как раздавит мне горло своим ботинком сорок пятого размера. Может быть, на этот-то раз у Гачика в карты не играют. Ходу! Быстро пройти так, как будто их не замечаешь. Оркестр выходит вон через ту дверь, под лестницей, оттуда и Вера минут через десять появится. Тогда вихрем с ней к верному «хорьху»!

– Слушайте, ребята, я вам не советую с Борисом связываться, – уговаривал один из компании, некто бородатый, остальных. – Этот человек отлично владеет приемами самообороны без оружия!

– Отскочи, Саня! – говорил ему сильный Николай. – Не хочешь, не ввязывайся. Все знают, что у тебя есть уважительная причина. Даже, как выясняется, две. Эй, молодой человек! – крикнул он якобы спокойно дефилирующему мимо «искателю приключений». – Эй, Борис, я к вам обращаюсь!

Градов запнулся:

– А вы откуда знаете мое имя, черт бы вас побрал?!

– Слухом земля полнится, – усмехнулся Николай. – Давай-ка сближаться!

Он сделал шаг к сближению. И Борис сделал шаг к сближению. И в этот как раз момент в шубке, накинутой прямо на концертное платье, из артистической дверцы выпорхнула Вера Горда.

– Борис, я здесь!

Градов бросился, схватил ее за руку, вихрем помчал красавицу через огромный вестибюль к верному «хорьху», который, согласно некоторой информации, возил когда-то эсэсовского ублюдка Оскара Дирлевангера. Компании Николая Сокольниковского в силу ее стратегического расположения ничего не стоило перехватить влюбленных, и она это, без сомнения, сделала бы, не оказись в ее рядах предателя. Бородатый мужик Саня, сильно хромая, выскочил вперед и встретил набегавших друзей двумя мощными ударами: правым хуком по скуле фиксатому, левым

апперкотом Николаю в живот. Оба на мгновение отключились, каждый в соответствующей позиции. Это дало возможность Борису проскочить мимо. Изумленный, он оглянулся на бородатого, однако бега не замедлил. Неслась и Вера, хохотала, придерживала рукой летящие волосы. Ей, конечно, казалось, что это, как нередко тут и раньше бывало, в ее честь разыгрывается битва. Впрочем, она была недалеко от истины: из другого угла вестибюля пикировал на них «сталинский сокол» Эдуард. По привычке, приобретенной во время реактивных полетов над Корейским полуостровом, он одной рукой нажимал воображаемые гашетки, другой растягивал глаза, становясь и в самом деле похожим на азиата. Тут уже самому Борису пришлось применить прием, отлично разработанный во время борьбы за становление социализма в братской Польше, а именно швырнуть капитана через бедро, став на долю секунды невольным пособником американского империализма. После этого выпростался вместе с певицей, будто выпрыгнул из «дугласа», в завывающую пургу.

Ну, заводись, эсэсовская сволочь! Колымага, знавшая немало черных дел, и в этом деле, не совсем светлом, не подкачала: взревела, будто целая колонна танков, идущая на форсаже брать Дюнкерк. Руки обиженных мужиков рвали дверцы, в боковые стекла лезли хари недогулявших хлопцев, среди них вдруг прилипло к стеклу некое любимое, вдруг пронзительно узнанное, хоть и бородатое лицо: брат по оружию Александр Шереметьев! Ну и ночка!

– Сашка, вы знаете, я все там же! – проорал Борис в щелку ветровика.

Бородатая физиономия кивнула. «Дворники» расчистили снег с ветрового стекла для того, чтобы явить в позе Маяковского стоящего перед машиной Николая Сокольнического: «Пою мое отечество, республику мою!»

– Прикажете давить?! – оскалился Борис.

– Этого ни в коем случае! Задний ход, командир! – хохотала Вера Горда.

– Благодарю за альтернативу! – прорычал отставной диверсант.

Развернувшись посредине Охотного ряда, превращенного пургой в пугачевское русское поле, «хорьх» двинулся к улице Горького и через мгновение исчез из поля зрения анархического мужичья. Николай Высокий уцелел для того, чтобы еще раз появиться в этом романе.

Все последующие телесные и душевные движения – а последние тоже весьма сильно присутствовали, хоть и скажут иные критики, что ничего тут душевного не было, один голый животный секс; присутствовали, милостивые государи, хоть и в немыслимо спутанном, недоступном для раскручивания комке, – все это потом вспоминалось Борису как продолжение той же пурги, только теперь в горячем варианте.

Уже в лифте он потерял способность отвечать на вопросы Веры Горды. Войдя в квартиру, он сильно взял ее за руку и, не говоря ни слова, повлек через переднюю, столовую и кабинет прямо в родительскую спальню. «Боже мой, что это за квартира, – бормотала она, – что это за немыслимая квартира!» В спальне, не зажигая и ночничка – залепленные снегом фонари главной улицы бросали внутрь метельные несущиеся тени, – он прямо в шубке положил ее на широченную, столь любовно маменькой добытую у антикваров «павловскую» кровать, начал вытаскивать из-под длинной юбки шелковое белье, запутался, рванул, потянул, какую-то гирлянду обрывков, после чего все, чего он так сокрушительно жаждал, открылось перед ним волшебным цветком, просящим лишь одного – войти поглубже в сердцевину. Она стонала, гладила его по голове и бормотала: «Боренька, Боренька, мальчик мой!» От этих обращений у него совсем мозги пошли набекрень, и он едва сдерживался, чтобы не выкрикнуть заветное слово. Потом она совсем прекратила его называть и только вскрикивала раз за разом с нарастающей дикостью, пока вдруг не произнесла сквозь дрожь презрительной сомнамбулой: «Ты меня заеб совсем, а ни разу даже не поцеловал, ебать подлый! Что же, для тебя, кроме пизды, ничего не существует?» Он понял, что именно в этот момент ей нужно было сказать что-то грязное, что оба они приближаются к оргазму, и вмазался ей губами в горячий рот. Губы, да, конечно же, губы ее, которые шептали в микрофон эти пошлейшие дурманящие слова. Длинные ногти вцепились ему в затылок, Вера Горда заметалась, будто пытаясь сорваться, убежать, а он тут же слился с ее судорогой, как бы умоляя ее каждым новым ударом остаться со своим «мальчиком», с «Боренькой»... И вот наконец с торжествующими воплями, словно встреча союзников на реке Эльбе, подошел триумф, и не воробушком проскочил, а длился взмахами и клекотом, будто полет орла, и переливался постепенно в блаженнейшую и нежнейшую, безгрешную благодарнейшую заливную пойму.

Когда и это прошло, он почувствовал мимолетный стыд – чем я лучше того Николая? Но тут же отогнал его – разве это можно сравнить с той гадостью? Они лежат теперь рядом, не прикасаясь друг к другу, оба еще в верхней одежде и в туфлях.

– Сколько вам лет, Борис? – спросила она.
– Двадцать четыре, – ответил он.
– Боже мой! – вздохнула она.
– А вам, Вера?
– Тридцать пять, – хохотнула она. – Что, испугались?
– Я не хочу, чтобы вы были моложе, – пробормотал он.
– Вот как? Это интересно. – Она начала подниматься, свесила ноги, встала. – Ой, вы мне там все порвали, все мое дорогое белье...

Он вытащил из кармана пачку с переломанными сигаретами, нашел обломок подлиннее, чиркнул спичкой.

– Там, в шкафу, – сказал он, – еще осталось много хорошего белья, и, по-моему, ваш размер...

Тут он испугался, что сказал, кажется, слишком много, что она сейчас начнет расспрашивать, от кого осталось, что и как... Горда, однако, ничего не сказав, зажгла ночник, открыла шкаф, подцепила пальцем что-то из маменькиного белья, присвистнула – неплохо! – юмористически и весело посмотрела на него. Он засмеялся радостно: ах, как с ней, наверное, будет легко!

Она посмотрела на себя в зеркало, все еще в шубке, в концертном платье с помятым и задранном подолом.

– Ну и ну, – опять присвистнула она. – Изнасилованная тридцатипятилетняя певица... – Затем она приблизилась к телефону, набрала номер, проговорила: – Меня сегодня не будет, – и тут же повесила трубку.

– Кому вы звонили? – спросил Борис и тут же устыдился вопроса: она меня ни о чем ведь еще не спросила, а я уже лезу в личную жизнь.

– Какая разница, – с легкой печалью сказала она. – Ну мужу.

От этого «ну мужу» ему опять захотелось немедленно затащить ее в постель. С восхищением он наблюдал, как она двигается по комнате, снимает шубку, змеей вылезает из серебристо-черного платья.

– У вас, наверное, тут и ванна работает? – вдруг спросила она с какой-то странной, как бы несколько задирающей и в то же время униженной интонацией.

– Почему же нет, конечно, – удивился Борис. – Вон по тому коридорчику до конца и направо. Извините за всеобщий бардак, Вера, но я тут один живу, и ребята, мотоциклисты, все время таскаются.

– Ничего, ничего, – весело крикнула она и пробарабанила на каблучках, подтягивая оборванный пояс с чулками, прямо в ванную.

Пока она плескалась, он перестелил постель (к счастью, нашлась

чистая простыня), разделся, лег под одеяло в ожидании и не заметил, как заснул. Разбудили его какие-то сладчайшие ощущения. Голая Горда сидела у него в ногах и облизывала его член, брала его целиком в рот, сосала, потом снова облизывала, все время глядя Борису в лицо большими и невиннейшими глазами. Потом она подвинулась ближе и с замечательной ловкостью, впустив член в себя, оседлала Бориса, будто дама высшего света, привыкшая к галопированию на чистопородных жеребцах. Склонившись, предложила «мальчику Бореньке» свои груди с острыми сосками. «Боренька» начал сосать одну грудь, нежно пожимая другую, потом, вспоминая о принципах справедливости, сосал слегка обиженный второй парный орган, гладил и пощипывал первый, чтобы не обижался.

– Ну вот, а теперь давайте спать, мальчик Боренька, – сказала Горда после того, как ровная скачка, закончившаяся сумасшедшим стипль-чезом, наконец завершилась. Доверчиво положила голову на его плечо, обняла правой рукой и правой ногой и немедленно заснула, засвистела носом. Блаженно потягиваясь в теплейшем и нежнейшем объятии, он тоже засыпал, или, может быть, скорее, растворялся, это ли не нирвана, пока вдруг не проснулся вместе со всеми своими членами.

– Ну вот, опять, – сквозь сон забормотала она. – Хватит уж тебе, уймись, Боря... Ну что, что... ну, хорошо, делай, что хочешь, только меня не буди, я устала... ну, как ты еще хочешь... попойкой кверху, да?.. ну, пожалуйста... Ну, Боря, ну сколько же можно, ну, уймись же наконец, оставь себе немного на утро...

Он снова засыпал и снова просыпался, чтобы услышать эти увещевания: «Уймись, Боря!» Как она умудряется найти именно те слова, что он жаждет услышать?

Наконец отключился, но только лишь для того, чтобы через полчаса вылететь из кровати, бессознательно броситься к комоду, вытащить из-под белья спецназовскую игрушку, именной парабеллум. В дверях заливался звонок. На часах было без десяти пять. Вера даже не шелохнулась, блаженно подсвистывала, что-то бессвязное проборматывала. Первое, что пришло Борису в голову: неужели Сашка Шереметьев привел сюда ту шарагу? Сейчас шугану их пистолетом, церемониться не буду! Натянул халат, помчался босой ко входу. Звонок между тем затих. Он посмотрел в глазок. Под мутным плафоном тускло отсвечивал кафель лестничной площадки. Никого. Осторожно, с пистолетом в руке, открыл дверь. Пусто, гулко; подвывание бури из вентиляции. Под дверью стоял туго набитый большой бумажный мешок. Именно стоял этот странный мешок, а не лежал, как подобает обыкновенному мешку. Стоял поставленный на попа,

то есть на свое плоское плотное днище. Это был не наш мешок. Россия не может произвести такой мешок. России нужно еще сто лет, чтобы построить такой мешок с нервущимися двойными стенками из плотной коричневой бумаги, с плоским днищем, с синими завязочными шнурами.

Он внес мешок в столовую, поставил на стол и развязал синие шнуры. Первое, что он извлек, было теплейшим и мягчайшим. Два свитера, свернутых вместе, один темно-красный, другой темно-синий, с одинаковыми этикетками, на которых выделялось одно слово: «cashmere». Затем появились две теплые плотные рубашки, одна в большую зеленую клетку, другая – в коричневую. Две пары кожаных перчаток. Часы на металлическом браслете. Невиданный аппарат, в котором впоследствии была опознана электробритва, толстые шерстяные носки, красная пара, голубая, желтая. Мокасины с бахромой и сапоги на меху. Зимнее белье – комбинезон. И наконец, последнее, то, что примято было к самому дну – в реальное существование таких вещей поверить было трудно, – пилотская кожаная куртка с цигейкой внутри, с огромными карманами там и сям, с маленькими кармашками там и сям, с молниями там и сям, с вешалкой-цепочкой и большой кожаной этикеткой, на которой была изображена «летающая крепость», а для уточнения написано: «Bomber jacket, large».

Черт побери, черт побери, я ничего не понимаю с перепоя, с перегреба, от усталости, что это за ночь, что это за вещи, кому они предназначаются, что это за... вдруг отчетливо и страшно оформилось в сознании: что это за провокация? Покрывшись потом, дрожащими пальцами он стал расстегивать молнии, обыскивать карманы; ничего не нашел. Заглянул в опустошенный мешок – там что-то еще было, большая глянцевитая картинка, изображающая зимний поздний пополудень на окраине западного городка с уже освещенными окнами, ранний закат, лед пруда, и на нем катающихся на коньках детей, дам и господ в одеждах XIX века, и между ними, разумеется, несколько простодушно и самозабвенно развлекающихся собак. На обороте серебристой выпуклой вязью было начертано «Merry Christmas and Happy New Year!», а под этим круглым детским, ее почерком: «Мой мальчик, как я тебя люблю!»

Это она подарок сыночку посылает к прошедшему Новому году, и кто-то, крадучись, среди ночи, как диверсант, подарочек этот доставляет. Кто-то из американцев, может, из тех, что сидели в коктейль-холле, а может быть, и из других, тайных американцев. Не сошла ли она с ума? Ее мальчика, которого она так любит, за такой подарок могут загнать на Колыму. Тайный, в ночи, засыл из вражеской, шпионской, агрессивной Америки; контакт! Нет, за такие штучки Колымой не отделаешься, застрелят в

подвале. Ей лишь бы удовлетворение получить: дескать, послала сыну подарок к Новому году, а в остальном – хоть трава не расти. Может быть, в таких буколических городках, на таких коннектикутских прудах забыла, где четыре года отгрохала, откуда своего Шевчука привезла? В ярости он швырнул бесценную бомбовозку в угол. Это резкое движение вдруг вызвало поток мыслей в противоположную сторону. С каких это пор я стал таким трусом? Кажется, в Польше я научился ничего не бояться, ни автомата, ни штыка, а тут испугался подарка от матери! От своей любимой матери, которая вовсе не виновата в том, что мир вокруг сошел с ума, раздробил и расшвырял ее семью. Ты посмотри лучше, как все это любовно собиралось, одно к одному, все первоклассное, а главное, все такое теплое, как будто именно свое тепло она хотела мне послать в этом мешке, сгусток своего тепла. Все буду носить, и куртку буду носить с гордостью, а на вопросы буду отвечать: мать из Америки прислала!

Он подошел к окну, отдернул шторы и увидел, что снежная буря кончилась и небо стремительно очищается. В темно-лиловом небе в сторону Кремля, в каком-то симфоническом бравурном аллегро, быстро, ладьями, плывут продолговатые белые тучки. Вдруг от счастья перехватило дыхание. Захоти только, и вот так же поплывешь вместе с этими белыми тучками в темно-лиловом послеметельном небе!

– Боренька, куда же ты ушел? – донесся из спальни голос эстрадной певицы Веры Горды.

Глава пятая

Ну и зигзаги!

Через месяц с мелочью после только что описанной бурной ночи мы попадаем в край застывшей голубизны; солнечные блики и сверху, и снизу, ледяное неподвижное небо и залитая льдом чаша столичного стадиона «Динамо». Морозам нет конца, однако теперь над Москвой уже которую неделю застаивается антициклон, сухой слежавшийся снег скрипит под ногами. Мороз вымораживает из воздуха микробов, в аптеках залеживается аспирин, публика, во всяком случае здесь, на «Динамо», демонстрирует здоровые, привыкшие к зиме русские физиономии. Каждый понимает, что жить ему досталось именно сейчас, что до оттепели еще пять лет, а до перестройки и все тридцать пять и, если тебе довелось уцелеть в войне, не попасть в тюрьму, значит, можно вполне прожить в сухом, безмикробном воздухе позднего сталинизма и даже получить некоторое удовольствие от жизни, в частности наблюдая тренировки к предстоящим соревнованиям по мотогонкам на льду.

Несколько знатоков, разумеется, завязтые бездельники, пенсионеры внутренней службы и физкультурного ведомства, притоптывая фетрами, наблюдали с трибуны, как на шипованных колесах проносились вниз, будто весенние кабаны, ревущие мотоциклы, как они закладывали виражи, поднимая вееры ледяной пыли.

– Что же, Черемискин-то, видать, с «Арды» на НСУ пересел? – обсуждали знатоки.

– А Грингаут, говорят, на льду больше не катается.

– Да как же не катается, когда я сам видел, как он свой ИЖ-350-й на шины ставил.

– А это кто там, такой борзой?

– А это Боря такой Градов. Он летом-то второе место в Москве взял по кроссу, а сейчас, вишь, на лед тоже пошел.

– И какие прикидки дает, приличные?

– А вот я засекал: девяносто с полтиной с места дает, сто двадцать пять и сорок пять на ходу.

– Прилично!

Все мастера, делавшие в тот день прикидки по ледяному кольцу «Динамо», работали со своими тренерами, и у Бориса тоже был его личный тренер, который замерял хронометром его отрезки и подбрасывал цзу, то

есть ценные указания. Тренер был очень вежливый, кричал своему подопечному на «вы»:

– Какого же хера, Борька, вы не подгазовали на вираже, как я вам говорил?

Борис с засыпанной ледяной пылью счастливой красной мордой медленно подъезжал к аляповатой фигуре в вахтенном тулупе и в валенках с галошами.

– Простите, Сашка, вовремя не включился, пропустил момент. Давайте сначала.

Разумеется, он виду не показывал, что ему немного смешна серьезность, с которой Шереметьев относился к своей новой работе. В мотоциклах пока что этот бывший боксер разбирался на сугубо любительском уровне.

* * *

Их дружба восстановилась вскоре после только что описанной метельной ночи. В одно прекрасное утро Борис, со скрежетом зубовным одолевавший ненавистный учебник биохимии, пошел открывать на звонок и увидел за дверью молодого человека во флотской шинели, с чистым и интеллигентным, хотя немного квадратным лицом. Бороды как не бывало. Оказалось, сбрил ее сразу после битвы в вестибюле «Москвы».

– Увидев вас, сукин сын, я посмотрел на себя в зеркало и понял, как я гнусно опустился. Сбрил бороду и перестал ходить по пивным, даже от приглашений в рестораны отказываюсь.

И все-таки такая встреча через шесть с половиной лет, ну как тут не отречься от залога. Друзья пошли в «Есенинскую», как называли тогда в Москве сводчатый подвал под Лубянским пассажем. Лучшего места не найдешь для грустных повествований. Пиво подают без заказа, как только увидят, что у тебя на доньшке. Слабеющие нравственные силы всегда можно поддержать граненым стопариком.

Вот вам в лапидарном изложении история последних шести с половиной лет из жизни Александра Шереметьева. Размозженную ногу ему ампутировали сразу после эвакуации из Варшавы. Однако коленный сустав удалось спасти, значит, нога все-таки живая. В торжественной обстановке был вручен секретному герою – меня ведь тогда к званию героя представили – американский поколенный протез, потрясающая вечная штука, вот посмотри, можешь потрогать, не бойся, дар медицинской секции

еврейского общества «Бнай Брит». Очень быстро привыкнув к нему, Александр даже начал думать о возвращении на ринг, надо было только весу поднабрать, чтобы перейти в менее подвижную категорию.

– Ну, это, конечно, шутка, главная проблема стояла передо мной – не спиться! Тогда я приковылял к командованию и попросил не списывать меня в инвалиды. Война еще идет, я могу принести пользу, да и в мирное время понадобится. Знаете, Борька, все что угодно можно сказать о ГРУ, однако своих, особенно таких головорезов, какими мы были с вами, они стараются не предавать. Меня послали в школу военных переводчиков на Дальний Восток специализироваться по английскому языку в американском варианте. Ну, естественно, я воспрял духом, нафантазировал там себе сорок бочек арестантов: международный шпионаж, отели на карибском побережье, слегка прихрамывающий молодой американец, душа общества, пловец и ныряльщик, который на деле оказывается советским разведчиком, ну, и так далее в этом духе; разрешите напомнить, что, несмотря на весь польский опыт, нам с вами было тогда восемнадцать лет. Короче говоря, в этой школе я старался превзойти всех и во всем, ну, конечно, за исключением бега с барьерами. И преуспел, черт побери! Английский у меня и раньше, как вы помните, был вполне приличный, а через год в этой школе, где нам вообще запрещали даже в бане говорить по-русски, я уже спикал, как янки, и даже мог имитировать южный акцент, техасский акцент, бруклинский еврейский говорок. В стрельбе, как вы помните, я даже и в отряде был не последний человек, а здесь, компенсируя свое увечье, стал абсолютным и непререкаемым чемпионом. Особенно всех удивляло мое плавание. Я плавал в заливе среди льдин, нередко со стадом моржей, мог ложиться на дно и там впадать в какой-то парабиоз, позволяя течению медленно влачить неполноценное тело, чтобы потом вдруг бурно вынырнуть из глубины прямо под сторожевой вышкой. Начполит училища был, между прочим, весьма озабочен этими способностями человека-амфибии. Не надо преувеличивать беспечность потенциального противника, нередко говорил он мне, в том смысле, что объект наших занятий, поселившийся на японских островах американский империализм, может меня когда-нибудь заманить в свои сети.

Короче говоря, к окончанию двухгодичного курса я рассчитывал, не без основания, что меня направят либо «нелегалом» за границу, либо уж в крайнем случае каким-нибудь сверхсекретным консультантом в генштаб. И вдруг все полетело в пропасть, в глубокую задницу, мой друг.

Этому предшествовала одна романтическая история, о которой я вам сейчас не расскажу. Ну, не расскажу и все. Потом расскажу, не сейчас.

Потому что просто не хочу сейчас об этом рассказывать. Я знаю, что вам, Борька-гад, больше всего на свете хочется слушать романтические истории и в ответ рассказывать свои романтические истории, потому что вы у нас сейчас такой счастливый любовник, покоритель Веры Горды, но, может, поэтому я вам сейчас как раз ничего и не расскажу про свою романтическую историю. Нет, нет, вовсе не поэтому. Причина более веская: мне просто хочется побыть с вами, а если я вам расскажу эту немного страшненькую, романтическую в кавычках, историю, мне тогда придется вас немедленно оставить. Когда я вызываю в памяти всю эту «романтическую историю», мне потом три дня не хочется никого видеть. Ну, я вижу, вы совсем заинтригованы, хер моржовый, вот именно моржовый, поверьте, я знаю, о чем говорю, и больше ни о чем другом уже не хотите слышать. Ну, а если хотите, тогда закажите еще триста и по тарелке карбонада с огурцом.

Короче говоря, я перешел дорогу одному гаду с тремя звездочками на двух просветах и поплатился за это. Короче говоря, вместо карибских отелей в колониальном стиле меня закинули на остров Итуруп, в такую глухую жопу, что выброс на берег дохлой лошади считается там событием тихоокеанского значения. Там была станция слежения за американскими самолетами, и я должен был по двенадцать часов в смену работать на радиоперехвате, то есть подслушивать разговоры летчиков с наземными базами и между собой. Как вы догадываетесь, для этого вовсе не обязательно было в течение двух лет прочесывать оксфордские словари, читать Шекспира и современных американских писателей. Словарь кокпита насчитывает не больше трехсот entries, включая всю мыслимую матерщину. Созерцание катящихся на остров волн через три месяца превращается в назойливую бредовину. Сатанеешь от сослуживцев с их спиртом и домино, волком начинаешь выть от этой нашей пресловутой секретности...

– Кстати, Сашка, – прервал его в этом месте Борис. – Вы, конечно, понимаете, что, рассказывая все эти вещи здесь, в «Есенинке», вы со страшной силой нарушаете эту нашу пресловутую секретность?

– А пошла бы она подальше! – загорелся Шереметьев. – С этой секретностью мы все становимся параноиками!

– Еще чего-нибудь желаете, молодые люди? – спросил проносящий мимо свое пузо завзлом, которому как раз и полагалось в этом месте, весьма близком к штаб-квартире «вооруженного отряда партии», следить за неразглашением секретов.

– Да нет, вы только подумайте, Адрианыч, – возмущенно сказал ему

Шереметьев, – присылают на днях для перевода английский каталог наших природных ископаемых, а там половина текста замазана черной чушью. От кого же секрет, спрашивается?

Завзалом, навалив пузо на край стола, послушал, покивал, потом сказал:

– Я тебе чанах сейчас принесу, Сашок, надо покушать, – и удалился.

– Вы тут, я вижу, свой человек, – засмеялся Борис.

– А знаете, мне эта берлога почему-то напоминает лондонский паб где-нибудь в районе Челси, – серьезно сказал Александр.

Борис рассмеялся еще пуще:

– Значит, еще где-то побывали, Сашок, кроме Итурупа? Где-то в районе Челси, а?

Шереметьев помрачнел и свесил черную челку в желтое пиво.

– Нигде я не побывал и нигде никогда не побуду, а на Итурупе я покончил самоубийством.

– Каталог минералов – это одно дело, Сашка, – сказал Борис, – а станция радиоперехвата – это все-таки совсем другое. Вы бы все-таки поосторожней на эту тему...

Шереметьев расстегнул пиджак и задрал дешевенький свитер. На левом боку, прямо под сердцем, синела глубокая яма.

Адрианыч поставил на стол два горшочка с густым бараньим супом чанах.

– Давайте-ка, давайте-ка, ребята, закусывайте, сучьи дети, а то окосеете!

После нескольких ложек наперченной до пылания жижи Борис сказал:

– Ну, давайте, сукин сын, повествуйте о вашем самоубийстве.

Шереметьев продолжил свое повествование:

– Эта наша база на Итурупе, как девяносто процентов всего остального, была секретом Полишинеля. Неужели вы думаете, что янки, пролетая мимо на своих «flying fortresses», напичканных аппаратурой, не знали, кто там их снизу щупает своими волнами? Наверняка уже сфотографировали все, вплоть до последней консервной банки. Несколько раз мы даже видели, как нас фотографируют. Вдруг возникает на бреющем полете здоровая дура без опознавательных огней, наверняка фотографирует инфракрасной оптикой. Это были события посильнее дохлой лошади, хотя говорить о них категорически воспрещалось; мы должны были делать вид, что нас никто не фотографирует. Короче говоря, я понял, что мне надо прощаться с вооруженными силами и со всем моим прошлым, со всем этим нашим, простите меня, Баб (он произносил именно «Баб», а не «Боб»),

мальчишеским «прямым действием». Послал докладную с просьбой о выходе в отставку в связи с ухудшившимся состоянием наполовину укороченной правой нижней конечности, а также с желанием получить высшее образование. Ответ пришел через месяц: отставку признать нецелесообразной. Тут же отправил еще одну докладную, и снова через месяц ответ: признать нецелесообразной. Так и пошли месяц за месяцем. Вы говорите, что это вам знакомо по Познани, Борька, однако в Познани вы хоть могли к блядам сходить, тогда как на Итурупе единственной воображаемой партнершей могла бы стать только какая-нибудь симпатичная сторожевая овчарка. Гуманоидное население острова опровергало всякую мысль об эротике. Только пить были горазды. Все гироскопы опустошили, хотя сучье начальство водочным снабжением нас не обижало, как будто говорило: спивайтесь себе спокойно, ребята, и забудьте о высшем образовании.

Самое ужасное, Борька, состояло в ощущении полнейшей заброшенности, оставленности, никому ненужности. Кроме этих ответов на рапортики, я не получал никакой почты, ни от матери, ни от... ну... ни от «романтической истории»... Впоследствии выяснилось, что мать-то без конца писала, однако ее письма по нашей системе попадали как раз к тому трехзвездочному гаду, которому я потом челюсть сломал... Ну да, челюсть сокрушил одним прямым и вторым крюком... слабая оказалась, хилая, хрупкая, крякнула сразу в двух местах, весь штаб слышал... Но это уж потом было, а сейчас по порядку... Оказывается, без писем, Борис Никитич, можно в один прекрасный вечер, вот именно прекрасный, без осадков, большие морские дали, можно в такой вечер взять под расписку свое табельное оружие якобы для тренировки – такое не возбранялось, – на пляже выдуть пузырь почти не разведенного спирта, плакать, очень себя жалеть, ваньку валять под Печорина, под Чайльд-Гарольда, как все эти русские романтики в провинциальных гарнизонах, а потом сунуть себе ствол под ребро и шмальнуть. В общем, на счастье, а может быть, и на посмешище, пуля прошла навывлет в пяти сантиметрах от сердца. До сих пор пытаю себя с пристрастием: а может, все-таки блефовал там, на диком берегу Итурупа, может, знал, что в несмертельное место ствол сую, может, и в самом деле одна лишь была бравада провинциального офицера? Ответа на этот вопрос у меня нет.

После операции и следствия меня наконец списали в резерв. В характеристике появилась замечательная фраза: «Эмоционально неустойчив». Всякий раз, когда меня теперь просят прояснить, я отвечаю: «Ну обидчив». Заехал я также в училище якобы для того, чтобы забрать

свои книги, а на самом деле для того, чтобы бросить взгляд на свою, столь странно молчавшую все это время «романтическую историю». Вдруг оказалось, что ее больше не существует. Да не переехала никуда, а просто ее нет. Прости, сейчас не могу об этом говорить, скажу лишь, что именно в тот день я сломал челюсть полковнику Маслюкову и попал в военную тюрьму. Дело мое разбиралось довольно долго, потому что возникло противоречие. Приличные ребята в трибунале шили мне то, что и было на самом деле: оскорбление старшего офицера действием в состоянии аффекта, мотивированного ревностью, за что полагался жуткий срок штрафбата. Ну, а гады, которых в трибунале было больше чем достаточно, с подачи Маслюкова накручивали «соучастие в шпионаже», а за это, как вы сами понимаете, итурупскому лорду Байрону полагалась пуля в затылок.

О'кей, о'кей, как-нибудь я вам подробнее обо всем этом расскажу, не сейчас, одно только хочу, чтобы вы знали: вырвался я из этой преисподней только благодаря дружбе с вами. Как так, а вот так. В округ приехал с инспекцией маршал Ротмистров, ну и мой ангел каким-то образом подсказал ему завернуть в военную тюрьму. Кто был этот ангел? Странные вы вопросы задаете, Борька. Мой ангел значит мой ангел-хранитель, только это я и имею в виду. Там, в тюрьме, какой-то приличный парень из администрации подсунул маршалу мое дело: ну, мол, герой, потерял ногу в тылу врага, остался в строю, в общем, «Повесть о настоящем человеке»; тоже, конечно, моего ангела делишки. Маршал вызвал меня к себе, и мы с ним два часа проговорили. Оказалось, что он слышал о нашей высадке в Варшаве и даже лично знал Гроздева, ну, помните, Волка Дремучего. Потом вдруг спрашивает: а вы Борю Градова там встречали? Оказалось, что они были близкими друзьями с вашим отцом и деда вашего он со страшной силой уважает, бывал не раз в Серебряном Бору. Вот таким образом вся маслюковская интрига закрутилась в обратную сторону. Не исключаю даже, что подонок пережил серьезные неприятности, впрочем, такие хмыри умеют выкрутиться из любой истории. Из одной только истории ему не выкрутиться, из отношений со мной, а когда-нибудь у меня снова дойдут до него руки. Короче говоря, мое дело закрыли, меня сактировали по состоянию здоровья, и я вот уже год, как обретаюсь в Москве, влачу тут жалкое существование, влачу, как бурлак, свое тяжелое, как баржа с говном, существование, вот так, Борька, волокусь без руля и без ветрил, копеек не считаю, но они меня сами считают, сучки... досчитали и дотерли до дыр... я весь в дырах, old fellow, как сыр голландский... только без слезы... кореш, в присутствии ангела своего заявляю: слезы от меня не дождутся, клянусь бронетанковыми войсками маршала Ротмистрова!..

Боря Градов, мотобог и счастливый обладатель лучшей любовницы Москвы, положил ему руку на плечо:

– Сашка, вашу-так-и-разэта, пусть наше «прямое действие» провалилось, но мы ударим во фланг! Никто нам не помешает ударить во фланг! И никто не осудит! Маршал Ротмистров не раз бил во фланг, а потом уже мой папа валил всей ватагой! По флангам, друг! Как Костя Симонов писал: «Ничто нас в жизни не может вышибить из седла, такая уж поговорка у майора была!» У майора, старик! Такая вот, старик, была поговорка у старого майора Китчинера! А Маслюкова твоего мы вдвоем возьмем и повесим его яйца на сук! Помнишь тот ласковый вальс: «Тихо вокруг, только не спит барсук, яйца свои повесил на сук и тихо танцует вокруг»?..

Вот так, обмениваясь вот такими монологами, друзья покинули «Есенинский» подвал, выбрались в безмикробный мир морозного социализма и, тихо подтанцовывая под «Вальс барсука», пошли через Театральный проезд к памятнику первопечатнику Федорову, чтобы у его подножия прикончить взятую на всякий случай чекушку. И так начали заново дружить в своей лепрозорной столице.

* * *

Александр Шереметьев, что называется, вышел из армии с волчьим билетом и, в отличие от нашего Бабочки, без денег. О продолжении образования не могло быть и речи. Мать, конечно, не потянула бы здорового инвалида. Надо было искать работу и приработки. Со вторым, пожалуй, было легче, чем с первым: можно было давать уроки английского или делать технические переводы, однако требовался официальный статус для милиции; не хилить же, в самом деле, за инвалида с гармошкой: «Он был батальонный разведчик, подайте, братья и сестры...» От таких Москва в те годы брезгливо и надменно освобождалась. В конце концов после немалых мытарств (подозревал даже, что, несмотря на заступничество могущественного маршала, идет за ним «хвост» от дальневосточных особистов), в конце концов нашел себе официальное место работы, в которой души не чаял, а именно в отделе переводов Государственной библиотеки имени В.И.Ленина, которую в обиходе народ московский называл «Ленинкой» и этим приносил в торжественное звучание некоторое легкомысленное фрондерство. Там, в бесконечных залах с книгами, в коридорах и особенно в курилке, Шереметьев свел

знакомство с незаурядными людьми своего возраста и постарше, ребятами, которые свободное после работы в разных «почтовых ящиках» время проводили в Ленинке за чтением философской литературы. Много спорили о прошлом, об исторических судьбах России, о характере русского человека и человека вообще. Обменивались старыми изданиями Достоевского и Фрейда. Средняя школа и вузы все-таки оставляют сейчас в образовании молодого человека много белых пятен. Хочешь стать мыслящей личностью, без самообразования не обойтись, а в Ленинке, если там работаешь и постепенно становишься своим человеком, можно получить доступ к уникальным, чаще всего закрытым, печатным материалам. В конце концов в этой группе знакомых читателей образовался интеллектуальный костяк, который стал собираться для обмена мнениями на квартирах или, в теплое время, за городом, на Истре или на Клязьме, под рыбалку или под костерок с бутылочкой, и все это называлось, разумеется не для афиширования, а так, между собой, «кружок Достоевского».

Как ни странно, именно на членов этого кружка натолкнулся в ту памятную метельную ночь мастер спорта Боря Градов. Он-то их принял за обычных барыг и похабников, а они просто-напросто собрались в «Москве» для того, чтобы обмыть крупную премию, которую получил их товарищ Николай, инженер по самолетным крыльям. Конечно, все тогда, во втором часу ночи, были основательно под газом, однако рассказ Николая о его приключениях в Сокольниках вовсе не был бахвальством и издевательством. Он стал делиться с друзьями своим недавним опытом, поскольку ему показалось, что в этой истории сложилась весьма «достоевская» ситуация. Вот такой произошел разнобой: вместо того чтобы опознать в Борисе Градове человека с довольно сильной интеллектуальной потенцией, его приняли за стилигу, который напрашивается.

Разъяснив все эти дела старому другу, Александр Шереметьев как-то сказал, что, по его мнению, Борис вполне мог бы стать одним из членов «кружка Достоевского» и даже подружиться все с тем же самым Николаем, который, разумеется, еще со школьных лет носил в районе Зубовской площади кличку Большущий.

А почему бы нет, вполне возможно, что эти типы – вполне славные ребята. Боря Градов в эти дни готов был обнять весь мир. В сокрушительной американской куртке он прогуливался по улице Горького или по Невскому проспекту в Ленинграде, куда нередко ездил в двухместном купе «Красной стрелы» со своей красавицей Верой Гордой. Все у него прекрасно получалось, везде успевал, даже зачеты институтские больше на шее не висели. Больше стал и на льду заниматься к предстоящим

соревнованиям конца зимы; особенно, конечно, усердствовал, когда Вера приходила на стадион и хлопала ему меховыми рукавицами. Значительно меньше стал клясть, потому что исчез главный стимул пьянства – задержать, заинтриговать и потом заполнить демимодентную красавицу певицу в луче прожектора. Эта *la fe fatale* теперь превратилась в нежнейшее и преданнейшее существо. Блаженство переполняло его, и он побаивался: не слишком ли сильно перебирает в безоблачности, не возмутится ли природа?

Тучки, впрочем, иногда набегали, закручивались самумчиками ревности: а вдруг она вот так же, как со мной, с ходу, в темпе, кому-нибудь еще дает, где попало: в лифте, в поезде, на лестнице – что ей стоит? Она мгновенно ощущала закручивание этих туч, садилась к нему на колени, увещевала щекочущим шепотом в ушную раковину. Перестань торчать в ресторане и караулить! Разве ты не видишь, что я влюблена в тебя, как кошка, даже и подумать не могу ни о ком другом. У меня и вообще-то до тебя никого не было. Нет, не вру, а просто так ощущаю, все, что было, из памяти просто вычеркнула!

Все-таки к концу программы он шел ее встречать в гостиницу. Завсегдатаи сразу смекнули, что Горда переменилась, завела себе мальчика, и больше не беспокоили. Остались, однако, заезжие безумцы, всякие там полярники, летчики, моряки, закавказские директора и партработники, с этими иногда приходилось проводить сеансы самбо, хотя Вера сердилась, говоря, что она и сама с этим дурачком легко справится.

Он хотел, чтобы она переехала к нему, что называется, с вещами. Она хоть и проводила на Горького большую часть своего времени, с вещами – отказывалась. Иной раз, чаще всего по воскресеньям, она исчезала, отправлялась куда-то на такси, никогда не позволяла Борису заводить «хорьх» ради этих okazji. Как он понял, в доградовское время она жила на два дома: где-то был заброшенный муж («Ну жалкое существо, ну просто самое жалкое существо!»), а в другом месте обреталась в трущобной коммуналке любимая тетка, старшая сестра умершей матери. Утонченная, прелестная, беззащитная, вся семья пропала на Колыме. Вот эта тетка, похоже, была главным предметом Вериних забот.

Где-то в пучинах Москвы обретался и ее отец, но это была полумифическая личность, старый холостяк, чудака, бывший футурист, а ныне профессор-шекспиролог. Оказалось, что сценическое имя Горда не с потолка слетело, а было взято от настоящей отцовской фамилии Гординер. Звучит по-еврейски, но мы не евреи, настойчиво повторяла Вера, скорее уж шляхтичи польские. В общем-то отец из-за каких-то старых распрей с

туберкулезной маменькой единственную дочку Веру почти не признавал, во время ее визитов – очень редких, может быть не чаще одного раза в год, – держался сухо, отчужденно. Исключительным высокомерием по отношению к ней отличался и его мыслящий кот Велимир.

– Вот ты, Бабочка, во мне свою маму Веронику компенсируешь... – однажды вполне небрежно сказала она, – а мне отца никто не компенсирует, потому что у меня его и не было никогда.

Борис задохнулся. Во-первых, откуда она узнала его детское, смешное и немного, в самом деле, по нынешним-то временам, по отношению-то к офицеру разведки и мастеру спорта обескураживающее прозвище? А во-вторых, оказывается, самый его глубоко подкожный секрет, то, в чем и самому себе почти никогда не признавался, оказывается, для нее вовсе и не секрет. Ну да, это ведь так и было: в первый же момент, когда он ее увидел, она поразила его сходством с матерью. Может быть, сейчас в своем Коннектикуте мать наконец-то постарела, ведь ей уже сорок семь, но он ее помнил только молодой, ослепительной Вероникой. Потому-то и еле сдерживался тогда, в первую ночь с Гордой, чтобы не выкрикнуть: «Мамочка, мамочка моя!»

Оказалось, что Вера даже один раз видела его мать. Да-да, это было в конце 1945-го. Она тогда уже пела в «Савое», и там был банкет американских союзников, и она пела по-английски из «Серенады» и из «Джорджа». Не исключено, что она даже видела Бабочкиного отчима, во всяком случае это был длинный, немолодой полковник, с которым его мать в тот вечер все время танцевала, настоящий джентльмен. А Вероника... ох, это была женщина... какой класс... как я мечтала тогда, вот бы мне стать когда-нибудь такой, как эта знаменитая маршальша Градова, вот бы мне выйти замуж за американца! Слава Богу, что не вышла, а то я бы не встретила тебя, мой сыночек Бабочка!

Тут она начинала бурно и лукаво хохотать, чтобы спровоцировать его на очередную атаку, и, надо сказать, никогда эти провокации не оставались без ответа.

Впрочем, однажды она пришла печальной и, заведя разговор о матери, старалась показать всем своим видом, что сейчас не до излишних подспудных чувств и не до эротики.

– Ты должен быть осторожен, Боря, – сказала она. – Каждый момент должен быть начеку. За тобой очень пристально наблюдают. Для тебя, конечно, не секрет, что у нас почти все музыканты, да и вообще весь персонал гостиницы, по негласному договору обязаны являться к этим, ну, определенным товарищам. Ну, и они там вопросы свои задают. Ну, в

общем, ты знаешь, как это бывает. Ну, а со мной, знаешь, у них как бы особые отношения, ну, в общем, потому что однажды я попала в очень неприятную историю, мне грозила тюрьма, ну, и они как бы меня выручили, ну, и теперь как бы своей считают, ну, Боря, ты только на меня так не смотри. Мне тридцать пять лет, я всю жизнь в ресторанах и с лабухами провела, ты же не ожидал, что Зою Космодемьянскую в постель затаскиваешь, правда? А вот теперь ты, пожалуйста, не отворачивайся и посмотри на меня. Ну, и скажи теперь: какой я агент? Я им всегда все путаю, чепуху всякую несусь, они ко мне не очень серьезно относятся. А вот вчера вдруг с булыжными такими физиономиями явились трое. Мы, говорят... прибавь, пожалуйста, громкости в радио... мы хотим, говорят, с вами о вашем новом друге потолковать... Что, кто были старые друзья? Ну, Боря, ну, нельзя же так, ну, не было же никого, я же тебе говорила, маленький, что никого до тебя не было, вообще ничего не было в моей жизни, кроме тебя. Ну, в общем, они говорят, мы, конечно, не возражаем против вашего романа, они не возражают, понимаешь, Боря, как тебе это нравится, все обсудили и не возражают, Борис Градов, говорят, сын дважды героя, маршала СССР, сам боевой офицер, разведчик, наш кадр...

– Никогда я их кадром не был! – немедленно вклинился Борис. – У них своя компания! У нас своя!

– Да я знаю, знаю, но не буду же я с ними на эту тему спорить. Только брови удивленно поднимаю, как глупая кукла. Однако, они говорят, нам сейчас нужна о нем кое-какая дополнительная информация в связи с его сложными семейными обстоятельствами, а также в связи с некоторыми странностями в поведении. Ну вот, говорят, например, у нас есть сведения, что он участвовал в распространении антисоветских анекдотов в «Коктейль-холле». Вы слышали что-нибудь об этом? С американскими журналистами держался запанибрата... такие вещи не красят мастера спорта СССР. По последним, вот, данным, завел дружбу с человеком весьма сомнительной репутации, неким Александром Шереметьевым. При наличии родной матери в США, да еще замужем за пресловутым мистером Тэлавером, который сейчас одну за другой антисоветские статьи печатает в машине американской пропаганды, вашему другу постороже надо себя держать, пособранней. Ну, я тут сразу начала соловьем заливаться: и какой ты патриот, и как ты нашего Иосифа Виссарионовича любишь, а что же, ведь и есть за что, он нас к победе привел, и с каким презрением ты к американскому империализму относишься, а сама дрожу от страха, как бы сейчас про ночной подарок не спросили. Нет, знаешь ли, не спросили и вообще вопросов мало задавали, мне даже показалось, что они просто

хотели через меня как бы на тебя подействовать, сделать такое серьезное предупреждение...

– И вот ты его сделала, – печально произнес Борис. – И вот ты его сделала, – повторил он в острой тоске. – И вот ты его сделала, – в третий раз сказал он, и тут на мгновение его затошнило.

Она прижалась к нему, зашептала в ухо:

– Милый, если бы ты знал, как я их боюсь! Я когда их вижу в зале, за микрофон хватаюсь, чтобы не упасть. Но их же все боятся, их нельзя не бояться, ты тоже их боишься, сознайся!

– Я не боюсь, – шепнул он ей в ответ прямо во внутреннее ухо, то есть в отверстие, окруженное дужками внешнего уха, уравновешенными нежной висюлькой мочки, в свою очередь уравновешенной бриллиантовой абстракцией серьги.

Какой странный орган – человеческое ухо, почему-то подумал Борис. И мы все равно находим в нем красоту, если оно принадлежит женщине. Мы его увешиваем серьгой. Первый раз они прижимались друг к другу не для любви, а для того, чтобы их не услышало некое большое нечеловеческое ухо.

– О чем ты думаешь? – спросила она.

– О человеческом ухе, – ответил он. – Такая странная форма. Не понимаю, почему мне оно так нравится.

– А ты знаешь, что мочка уха не стареет? – спросила Вера, снимая серьги. – Все тело обезображивается, а мочка по-прежнему молода.

В ее природе было забывать побыстрее о всяких гадостях, в частности, о контактах с «органами», что она и делала в данный момент, быстро и деловито снимая серьги, поворачиваясь к Борису, чтобы расстегнул пуговицы на спине.

– Вот я вся скоро постарею, скукожусь, а ты все будешь любить мочку моего уха.

О чем только не болтают эти придурки, думал недавно размещенный на чердаке маршальского дома слухач, старший сержант Полухарьев. У него уже барабанные перепонки гудели от оперетты «Мадемуазель Нитуш», через которую он ровным счетом ни хрена не слышал, когда вдруг неизвестно почему заржавевшая с войны аппаратура стала оглушительно передавать любовный шепот про уши. Ну что несут, рычал сержант, как будто попросту поебаться не могут.

Я их не боюсь, все чаще думал Борис. Мне ли их бояться? Ну, в конце концов, посадят. Немедленно убегу, мне это не составит труда. Ну застрелят при побеге или расстреляют по приговору суда, однако я ведь

столько раз рисковал своей жизнью за четыре года службы, мне ли бояться такой элементарной штуки, как пуля. Вот пытки, это другое дело, не уверен, что и пыток не боюсь. Нас готовили психологически, как сопротивляться пыткам, однако я не уверен, что я их не боюсь. Нас к тому же знакомили с тем, как вести «активный» допрос. Слава Богу, не пришлось самому никого «активно» допрашивать, однако вспомни: ведь ты же видел, как Смугляный, Гроздев и Зубков допрашивали пленного капитана Балансиагу, хотели узнать его настоящее имя. Нет, я не уверен, что психологически готов к пыткам...

Да что это я себя стал так накручивать? Почему я стал просыпаться среди ночи рядом со своей красавицей и вместо того, чтобы любить ее, лежу и думаю о них? Почему мне раньше никогда в голову не приходило, что она связана с ними? Я живу так, как будто их нет, а они есть, они повсюду. Они даже мою любовь обмазали, хотя она ни в чем не виновна. В чем ты ее можешь обвинить, когда ты сам весь замазан, охотник из польских лесов? Они, наверное, к каждой красивой бабе в Москве подлезают на всякий случай, потому что красивая баба всегда может быть приманкой. Они, как крысы, прожрали все вокруг...

Ну вот, докатился уже до прямой антисоветчины, еще минута – и зашиплю, как мой названный кузен Митька Сапунов: «Ненавижу красную сволочь». Вот парадокс, ненавидел чекистов и коммунистов, а погиб за родину, вот вам простой парадоксишко нашего чокнутого века. Трудно поверить тетке Нинке, будто она видела Митькино лицо в колонне предателей, которых там кончали в овраге, скорее всего, ей просто померещилось: на войне часто кажется, что видишь вокруг знакомые лица. В конце концов разница между отдельными людьми очень небольшая, это особенно видно, когда смотришь на трупы. Инопланетянам, возможно, мы все покажемся на одно лицо, никаких красивых и некрасивых, что Вера Горда, что гардеробщица тетя Клаша, все одно. Жалко Митьку, какой страшной была его короткая жизнь! Мне-то еще повезло, я не видел того, через что он, через что мои родители прошли. Бабушка Мэри и дедушка Бо умудрились среди всего этого бедлама сохранить серебряноборскую крепость. Вот только там-то и не было их. Постой, постой, как это не было их? Ты что, забыл свою самую страшную ночь, когда они уводили твою мать, а ты идиотом смотрел, как накладывают сургуч? Ну да, они, может быть, туда иногда проходили, но они никогда не могли там жить, потому что там Мэришкин Шопен, дедовские книги, Агашины пироги, а они этого не выдерживают и, если не могут сразу разрушить или подменить фальшивкой, тогда испаряются.

Вот так и надо делать – жить так, как будто их нет, создавать среду, в которой они задыхаются. Жить с аппетитом, со страстью, мучить любовью Веру Горду, гонять мотоцикл на предельных оборотах, одолевая медицину, дружить с этим чертовым одноногим суперменом, всем их предостережениям вопреки, танцевать под джаз, пить водку, когда весело, а не когда тошно! В конце концов все здесь у нас, в России, образуется, ведь у нас все-таки не кто иной, как Сталин, во главе, личность исключительных параметров! Значит, я их не боюсь!

Убедив себя, что жить можно только так, без страха, Борис так и старался не бояться, однако то и дело ловил себя на том, что слишком упорно как-то не боится, слишком старается о них не думать, на самом же деле думает почти всегда и не то чтобы боится, но в большой компании почти всегда и почти бессознательно прикидывает, кто тут стучит и как вот в данном конкретном случае может выглядеть информация о поведении Бориса Никитича Градова.

Встречаясь с Сашей Шереметьевым и его друзьями-достоевцами, в том числе и с Николаем Большущим – он оказался вполне приличным парнем, хорошим волейболистом, хоть немного и задвинутым на своей мужской неотразимости, – Борис охотно включался в их беседы о российском гении, которого в те времена выкинули из школьных программ и прибрали с библиотечных полок как «писателя, проникнутого реакционным пессимизмом и мистицизмом, несовместимыми с моралью социалистического общества». И все-таки, встречаясь и включаясь, Борис не раз ловил себя на том, что не одобряет друзей за их игру в некоторое подобие какой-то свободомыслящей организации. Ну, и собирались бы, как сейчас все собираются, под «банку», под селедку, под огурчики, зачем же называть-то себя «кружком Достоевского», зачем тем давать возможность сварить из этого грязное варево?

Ну вот, пожалуйста, что и требовалось доказать! Однажды Сашка пришел к нему и сказал, что его выгнали с работы. Борис ударил кулаком в ладонь:

– Ну вот, доигрались со своим «кружком Достоевского»!

– При чем тут «кружок Достоевского»? – холодно спросил Шереметьев.

Борис вдруг понял, что как-то нехорошо в этот момент раскрылся перед другом, показал тому, что, хоть и посещал собрания, всегда все-таки имел какие-то двойные мысли насчет кружка.

– Ну, в общем-то, Сашка, я иногда думал, что в этом есть какой-то риск, вот так называться – «кружок Достоевского», – промямлил он. –

Какие-нибудь идиоты могут и подпольщину пришить...

Шереметьев нервно хромал по комнате. Он снова начал запускать бороду и сейчас с двухнедельной щетиной на щеках напоминал известную фотографию в профиль молодого бунтаря Сосо Джугашвили.

– Риск? – хохотнул он. – Ну, что ж, конечно, риск! Совсем неплохое, между прочим, слово – риск!

Оказалось, что к делу о его увольнении из библиотеки «кружок Достоевского» имеет только косвенное отношение. Получилось так, что, пользуясь своим служебным положением, Саша Шереметьев вынес из спецхрана книгу реакционного философа Константина Леонтьева «Восток, Россия и Славянство». Конечно, не первый уже раз он пользовался расположением спецхрановских девчонок, которые и в самом деле видели в прихрамывающем молодом атлете некий байронический тип и прямо умирали, когда Александр на польский манер целовал «паненкам рончики». Обычно книга исчезала из спецхрана на неделю, а за это время знакомая машинистка распечатывала ее в трех экземплярах, которые потом поступали в кружок. Никому и в голову не приходило хватиться какого-нибудь забытого всеми на свете «реакционера», и вдруг случилась инспекция из ЦК или из каких-то других соответствующих органов, обнаружилось опасное несмыкание корешков на спецполках, проверили каталоги, началось ЧП, вызвали девчонок, и те под нажимом признались, что это просто Саша Шереметьев взял – полистать на сон грядущий. Ну вот, все и завершилось изгнанием из рая, да еще с такой характеристикой, с какой и в преисподнюю на работу не устроишься, а это, как ты понимаешь, грозит неприятностями с участковым, с милицией.

– Хреново, – сказал Борис и тоже стал ходить по комнате, только по другой диагонали. В этот момент Вера в оставшемся от Вероники яркосинем длинном с кистями халате внесла в столовую кастрюлю с дымящимися сосисками. Срезав гипотенузу, по короткому катету Борис подошел к буфету и извлек графин с напитком.

Ни хрена с ним пить не буду, подумал Шереметьев. И зачем я ему все это рассказал здесь, да еще почти при этой шалавеаристократке с кистями?

Впервые он почувствовал какую-то социальную зависть к старому другу. Почему это у него всегда так все здорово: квартира, в которой заблудиться можно, дед-академик, обе ноги целы, хер в хорошей, постоянной работе?

– Сашка, у меня идея! – вдруг подпрыгнул Борис. – Я вам дам работу! Будете моим личным тренером!

Он быстро развил перед изумленным Шереметьевым простейший и

гениальнейший план. В «Медике» он единственный мастер спорта по мотоспорту. С ним носятся, как с кинозвездой. Приближаются зимние мотогонки на льду, у спортобщества впервые появился шанс на медаль. Мне нужен тренер, а тренера в «Медике» нет. Вдруг я случайно налетаю на гениального мототренера, который как раз на этом деле потерял ногу и приобрел огромный опыт. Некий Александр Шереметьев. Практически Александр Шереметьев – это единственный шанс задрипанного «Медика»! В полном восторге совет подписывает с тобой договор и кладет зарплату, о которой ты мог только мечтать в своем хранилище знаний, 1200 рублей плюс талоны на питание во время соревнований.

Секунду или две они смотрели друг на друга, а потом, не сговариваясь, бросились к хрустальному графинчику – запить подтекст. Этот скрытый подтекст был отчетливо ясен обоим: не важно, получит Сашка в «Медике» работу или нет, важно, что предложение сделано, значит, дружба сохраняется, значит, Борька Град все еще понимает не только уродство, но и красоту слова «риск»!

«Медик» Шереметьева на работу взял по первой же рекомендации своего чемпиона, и вот теперь, в марте 1951 года, личный тренер мастера Градова замеряет его прикидки, да еще так вошел в роль, что и советы дает строгим голосом.

* * *

Между тем на Бориса Градова, делающего круги по ледяному стадиону, смотрели не только всезнающие бездельники-ветераны, но и два человека, что были явно при деле, два полковника ВВС в своих несусветных мерлушковых папах, больше подходящих для казачьей конницы, чем для современной авиации. Похоже было даже на то, что эти двое пришли на стадион именно по Борисову душу. Стоя на утоптанном снегу второго яруса под огромным лозунгом: «Великому Сталину и родной Коммунистической партии наши победы в спорте!», один из них внимательно, в бинокль, изучал физиономию Бориса, его посадку, его движения и его мотоцикл, второй тем временем пускал в ход хронометр, замерял прикидки и делал пометки в блокноте.

– Ну, что скажешь? – спросил один полковник другого, когда Градов закончил тренировку, передал мотоцикл своему тренеру и пошел в раздевалку.

– Вполне, – таков был лаконичный ответ.

Через пятнадцать минут Борис вышел из раздевалки. Поверх свитера с высоким горлом на нем была его знаменитая на всю Москву американская «бомбовая» куртка. В длинном и широком проходе под трибунами курили два офицера в полковничьих папах. При виде Бориса оба одновременно загасили каблуками свои папиросы. Это его рассмешило – как будто гангстеры из кинофильма «Судьба солдата в Америке».

– В чем дело, ребята? – спросил он.

– Привет, чемпион! – сказал один полковник. – А мы, собственно говоря, по вашу душу!

– Не продается, – быстро сдохмил Борис.

– Что ты сказал? – спросил второй полковник.

– Мы из спортклуба ВВС, – сказал первый, кладя осаживающую ладонь на большую ватную грудь второго.

– Добро пожаловать, – все-таки сказал второй.

– Здоровеньки булы, – ответил ему Борис фразой модного конференсье Тарапуньки.

– Давайте сразу быка за рога, – сказал первый полковник. – По-моему, вам, Борис, спортсмену такого калибра, давно пора переходить из вашего жалкого «Медика» в наш славный ВВС.

– Да ну, что вы, полковник, – улыбнулся Борис. – Я же студент Первого МОЛМИ, так что мое место в «Медике». Кроме того, я отдал армии четыре года жизни, этого и мне, и ей достаточно.

– Это кому это «ей»? – спросил второй полковник.

– Ну подожди, Скачков, – опять первый сдержал второго, потом весь сосредоточился на многообещающем мотоциклисте. – Вы, может, меня не совсем поняли, товарищ Градов? От таких предложений спортсмены сейчас не отказываются. Вы знаете, кто руководит нашим спортклубом?

Борис пожал плечами:

– Кто же этого не знает? Вася Сталин.

– Вот именно! – с энтузиазмом воскликнул первый полковник.

– Командующий ПВО МВО, генерал-лейтенант Василий Иосифович Сталин! Никто лучше него не понимает спорт! Мы уже сейчас лидируем во многих видах, а в будущем у нас вообще не будет равных!

Второй полковник тут пошел всей грудью вперед.

– Вот ты прикинь, Борис, что ты будешь у нас сразу иметь. Чин капитана, оклад плюс спортивная стипендия плюс пакеты и премиальные после выступлений. Бесплатный пошив одежды в нашем ателье. – Он сильно и мясисто подмигнул. – Самые модные лепехи заделывают! Путевки на ЮБК и Кавказ, подчеркиваю, бесплатно! Это сразу, а в

недалеком будущем отдельная, подчеркиваю, отдельная двухкомнатная квартира со всеми удобствами!

– Ну ладно, – сказал Борис, отходя в сторону под напором. – Это несерьезно, товарищи офицеры.

Первый полковник все же подцепил его под руку:

– Обождите, Борис Никитич. Я вам хочу сказать, что матобеспечение, конечно, важная вещь, но для спортсмена – не это главное. Главное в том, что только у нас вы сможете развить свой незаурядный талант мотогогонщика.

– Простите, спешу. Позвоните мне по телефону А15-502, – сказал Борис, чтобы отвязаться, но в этот момент в тоннель влился говор многих голосов и шум шагов.

В просвете появилась плотная куча неторопливо приближающихся людей. Из них дюжины две парней были значительно выше остальных, потому что передвигались по бетонному полу на коньках, будучи облаченными в полную боевую хоккейную форму и снабженными главным своим оружием, клюшками. Когда они приблизились, Борис узнал новый состав хоккейной команды ВВС, ведомый все тем же легендарным Всеволодом Бобровым. Месяца два назад старый состав гробанулся разом в самолетной катастрофе возле Свердловска, а Бобров, о везучести которого по Москве ходили мифы, умудрился с девочкой загулять и опоздал на фатальный рейс.

Что касается девочек, то они в этой толпе тоже присутствовали в не меньшем, чем хоккеисты, количестве. Неизвестно, перешли ли они по наследству от угробившегося состава, или уже новые подобрались, выглядели они, во всяком случае, вполне типично: околоспортивные модницы, быстроглазые и румяные, как матрешки, шубки в талию и меховые сапожки «румынки». О таких девочках в командах мастеров обычно говорилось «все умеют», а при уточнении добавлялось «вафли делать умеют».

В толпе, кроме того, шел всякий другой народ: тренеры, массажисты, доктор, спортивные фотографы и журналисты, несколько офицеров в форме ВВС, а во главе двигался невысокий и широкий в плечах молодой человек с крепко очерченной челюстью и припухшими подглазьями, одетый в такую же, как у Бориса, только похуже, пилотскую куртку без всяких знаков различия, скандально известный по Москве, как бы сейчас сказали, плейбой, Василий Сталин.

Заметив полковников вместе с Борисом, он остановился, крикнул по-хозяйски:

– Ну что, Скворцов, Скачков, еб вашу мать, в чем дело?

Борис с любопытством смотрел на всесильного Васю. Виски у того отсвечивали темной медью, как и у самого Бориса. Он полугрузин, а я грузин на четверть, подумал Борис. Конечно, как и все спортивные люди Москвы, он знал о невероятной активности, с какой «принц крови» создавал свои собственные спортивные конюшни под флагом клуба ВВС.

Не так давно Борис встретил на телеграфе молодого пловца, с которым как-то познакомился в Таллине, эстонского еврея Гришу Гольда. Дожидаясь разговора с домом, Гриша прогуливался по залу в полной форме лейтенанта ВВС. Что, да как, да откуда? Гриша под строгим секретом поведал ему свою любопытную историю. В прошлом году он выиграл первенство Прибалтики на 100 и 200 метров баттерфляем. Выступал он за «Динамо», то есть за спортклуб, опекаемый «органами». Вдруг на улице к нему подходят два полковника ВВС, которые, оказывается, специально из Москвы прилетели по его душу. Начинают петь сладкие песни о переезде в Москву, в центральный клуб ВВС. Могучий мальчик Гриша Гольд происходил из буржуазной формации, он не мог себе представить переезда в варварскую Москву из своего ганзейского городка, где еще сохранилась «элементарная вежливость». На следующий день эти два полковника (может быть, те же самые Скворцов и Скачков) плюс еще два сержанта прямо на улице впихнули вежливого Гришу в «Победу» и привезли на аэродром. Уже в самолете ему зачитали приказ военкома Эстонской ССР о его мобилизации в ряды Советской Армии и о немедленном переводе в 6-ю авиадивизию ПВО МВО. В Москве его привезли в какую-то комнату, и первое, что он там увидел на голой стене, был мундир младшего лейтенанта ВВС точно Гришиного размера. Тут же вручили пакет денег и расписание тренировок в команде ватерполо. Да почему же ватерполо, если я чистый пловец, изумился Гриша. Так надо, пояснили ему, и он стал играть в ватерполо. Тренера там поначалу толкового не было, и командовали все те же полковники. Если, скажем, проигрывали в первом тайме харьковскому «Авангарду», полковники командовали: меняем тактику! Нападение переходит в защиту, защита – в нападение! Да как же так, возражали ватерполисты, так как-то не того чего-то. На них орали: молчать, выполнять команду! Если вдруг команда выигрывала соревнования, игрокам в ударном порядке шили костюмы, устраивали банкет с девочками в ресторане, если «просирали» (Гриша, кажется, не до конца понимал значение этого русского слова), отправляли на аэродром чистить поле от снега.

Однажды Гришу снова похитили. Приехали из МВД оперативники с

тяжелыми карманами. Есть предписание вам немедленно вернуться в родное спортобщество «Динамо». Подписано самим министром. Гриша и опомниться не успел, как оказался на динамовских тренировках, однако как только Вася узнал, устроил такое «чэпэ» (это русское слово Гриша Гольд определенно понимал как «чепуха наоборот»), разбил в своем штабе несколько лиц – ну да, морд – и послал за Гришей «додж» с автоматчиками из своего штаба. Так он снова примкнул к стальным когортам современной авиации.

– По внешнему виду, Гриша, ты не очень-то похож на рабамученика, – сказал тогда Борис.

– Пожалуйста? – переспросил Гольд.

– Я говорю, у тебя вполне довольный вид.

– Понимаешь, мы завтра едем на тренировочные сборы в Сочи, а там я имею одна женщина, которая имеет сильный интерес к этот Гольд, – волнуясь, Гриша начинал путать склонения и спряжения, однако воду разрезал своими вислыми мускулистыми плечами всегда с постоянной завидной динамикой.

Вспомнив теперь эту историю, Борис подумал: ну, со мной-то у них этот номер не пройдет, перевозить себя в роли скакового жеребца никому не позволю.

Первый полковник стоял навтыжку с ладонью у папах.

– Разрешите доложить, товарищ командующий? Мы вот только что познакомились с мастером спорта по мотогонкам Борисом Градовым и в настоящий момент обсуждаем его будущее.

Вася повернулся к Борису, прищурился:

– А, Градов, помню-помню. Мне нравится, как ты едешь, Борис.

Хоккеисты, девчонки, журналисты и офицеры подошли поближе. Борис слышал, как в толпе перешептывались: «Градов... Боря Градов... ну да, тот самый... Град...» Синеглазые, румяные не скрывали восторга: «Ой, девчонки, какой парень!» Знаменитый круглорожий Сева Бобров подтолкнул его локтем, шепнул: «Давай, Боря, полный вперед!» Хоккеисты улыбались, постукивали коньками и клюшками. Все, очевидно, уже считали его «одним из наших». Всем явно нравилось то, что к их молодой и настойчивой «хевре» теперь примкнет известный по Москве не только спортивными успехами, но каким-то особым классом жизни Боря Град. Вдруг и он сам почувствовал, что совсем не прочь примкнуть к этой новой банде, где атаманом не кто иной, как сын вождя. Может быть, вот этого мне как раз и не хватало. Если это и армия, то совсем особый отряд. Тем сюда хода не будет.

Сталин-младший вдруг ухватил Бориса за рукав и присвистнул:

– Эй, ребята, смотрите, какая у этого парня куртка! Это же настоящая американская пилотская шкура!

Борис усмехнулся и растянул молнию на всю длину:

– Хотите обменяемся, Василий Иосифович?

Сталин-младший разразился неудержимым хохотом:

– Ну и парень! Ну что ж, давай обменяемся!

Оба одновременно сбросили свои куртки и обменялись.

– Выгодная сделка! – хохотнул Василий.

– Для меня тоже, – улыбался Борис.

И все вокруг смеялись. Так здорово все получилось, так по-свойски, непринужденно. Два парня, ну просто, что называется, «махнулись не глядя»! А один-то из этих парней просто-напросто сын вождя, их могущественный шеф Вася. Нет, этот Борька Градов нам подойдет, ей-ей, похоже, что нашего полку прибыло!

– Хочешь посмотреть, как наш новый состав тренируется? – спросил Василий.

Борис посмотрел на свои часы, извинился:

– С большим бы удовольствием, Василий Иосифович, да не могу сейчас. Очень спешу.

Это тоже всем и, кажется, самому шефу очень понравилось. Вдобавок к такой замечательной молодой непринужденности этот Боря Градов демонстрирует такую хорошую независимость, не суетится под клиентом. Другой бы про все забыл, пригласи его сын вождя, а этот вот тактично извиняется, потому что спешит, и видно, что действительно человек спешит, может, у него свидание с девушкой.

– Ладно, скоро увидимся! – Сталин-младший хлопнул Бориса по плечу и пошел к ледяному полю. И все пошли за ним, а по пути каждый, кто мог дотянуться, хлопал Бориса по плечу: «До скорого!» Из девушек же две самых находчивых умудрились поцеловать мотогонщика в тугие морозные щеки.

Оставшись с полковниками Скворцовым и Скачковым, Борис сказал:

– Ну что ж, я, пожалуй, примкну к советской авиации, только с одним условием, что вы и моего личного тренера к себе возьмете, героя Отечественной войны Александра Шереметьева.

– Без проблем! – радостно тут взмыл Скачков.

Борис побежал к выходу из тоннеля, где уже виден был на солнечном снегу его тренер с мотоциклом. Ну и зигзаги, подумал Борис на бегу. Теперь, значит, и «кружок Достоевского» вливается в спортклуб ВВС!

Глава шестая

Кодекс Полтора-Ивана

Капитан медицинской службы МВД Стерлядьев, войдя в барак санобработки карантинного ОЛПа УСВИТЛ (Отдельный лагерный пункт Управления северо-восточных исправительно-трудовых лагерей), сразу же увидел не менее тридцати голых спин и, соответственно, не менее шестидесяти голых ягодич. Застонав, как от зубной боли, он минуту или две взибал на эти страшные поверхности – фурункулы свежие, фурункулы в первостепенной гнойной зрелости, фурункулы инкапсулированные и окаменевшие, следы вырезанных фурункулов, вырезанных, естественно, по-янычарски, где-нибудь на отдаленных лагпунктах при свете керосиновой лампы, полоснул раз, полоснул два, подковырнул, затампонировал, всевозможные варианты сыпи, в том числе и явно сифилитического происхождения, джентльменский набор шрамов, ножевых, штыковых, «безопасной» бритвочкой-с, некоторое число и хирургических, в основном последствия недавней войны, имелся даже один, свисающий вялым стручком из-под лопатки кожный трансплантант, общее состояние кожи за пределами медицинских норм, зато в художественном и литературном отношении не подкачали, демонстрация шедевров кожной графики, все эти, почти уже классические, кошки-с-мышкой, кинжал-змея, орел-девица, бутылка-карты, места на грудях и на животах, видно, уже не хватает даже для таких банальностей, не говоря уже об уникальных произведениях, вроде вот этого межлопаточного пиратского брига с пушками в виде пенисов, или распахнутых женских ног с анатомически правильным изображением цветка посредине и с надписью вместо лобковых волос «Варота шчастья», или вот этого дерзкого четверостишия: «В Крыму весна, там пахнет розой, там жизнь легка, как та игра. А здесь тебя ебут морозы, одна сосна да мусора»; цвет кожных покровов бледный, желтоватый, синюшно-багровый, общее состояние подкожной жировой клетчатки удовлетворительное – а потом прошел в свой так называемый кабинет, отделенный от общего безобразия жалкой выгородкой.

Капитан Стерлядьев, молодой еще, хоть быстро и беспорядочно лысеющий человек, работал на Колыме уже три года и все три года не переставал себя корить за то, что погнался за длинным рублем и подписал с МВД контракт на работу в этом мрачном краю, где от недостаточной

инсоляции не усваиваются витамины и, как следствие, человек начинает быстро и беспорядочно терять волосы, где и ножом могут в любую минуту пырнуть за милую душу. Особенно если ты работаешь в медсанчасти Карантинки, огромного пересыльного лагеря на северной окраине Магадана, в котором окопались самые страшные подпольные паханы блатного мира, включая даже, согласно весьма надежным источникам, самого неуловимого атамана «чистяг» Полтора-Ивана. Здесь тебя могут подколоть не за здорово живешь, даже без «извините», просто могут, прошу прощения, в карты проиграть капитана медицинской службы.

На оперативных совещаниях офицеров предупреждают, что не исключена возможность колоссальной вспышки окончательной битвы между «суками» и «чистягами». Агентура докладывает, что обе стороны подтягивают силы на магаданскую Карантинку из лагерей по всему Союзу, запасаются оружием, то есть точат и складировать где-то на территории какие-то пики.

И вот в таких условиях мы должны обеспечивать стабильное прохождение рабочей силы на прииски. Попробуй обеспечить, если любой блатарь чувствует себя здесь хозяином, заходит в медсанчасть за справкой об освобождении от работы с такой же непринужденностью, с какой вольняга заходит в аптеку за аспирином. А не дашь освобождения, смотрит волком, настоящим таежным гадом с вонючей безжалостной пастью.

Поток рабочей силы практически обеспечивается только за счет политических, да ведь и политический-то сейчас пошел не тот, какой, говорят, был в тридцатых годах. Процент интеллигенции значительно уменьшился, привозят больше крестьян из западных краев, военнопленных и антисоветских партизан, которые с большим интересом и с большим знанием дела присматриваются к пулеметам на сторожевых вышках. Нет-нет, что-то не то происходит в стране, вдруг как бы тайно от самого себя начинал нашептывать доктор Стерлядьев, что-то неладное происходит в стране, лагеря слишком разрастаются, в какой-то момент может произойти общий взрыв, с которым никакая вохра не справится.

Эх, черт догадал попасть мне в эту систему с моими данными клинициста, отмеченными, между прочим, самим профессором Вовси. Ведь так прямо и сказал в ответ на мою разработку больного Флегенова, 1888 года рождения, со сложным печеночно-дуоденальным синдромом: «У вас, молодой человек, есть все данные, чтобы стать серьезным клиницистом». Мог бы не отстать от сокурсников, ведь вровень шел даже с Додом Тышлером, который, говорят, уже защитил докторскую диссертацию, стабильно удерживает пост старшего хирурга в Третьей

градской, счастлив со своей дивной Милкой Зайцевой, никаких признаков быстрого и беспорядочного облысения: в Москве пока еще витамины великолепно усваиваются.

И это все она, Евдокия, с ее неудержимым пристрастием к буфетам, горкам, столам и креслам красного дерева и карельской березы. Ведь только лишь ради того, чтобы денег набрать для бесконечных покупок всей этой антикварщины, и спровоцировала она вербовку в МВД, на Колыму. Вот накупит всего этого добра, расставит и сядет посредине в бархатном платье, бездетная Евдокия Стерлядьева. Вот предел счастья, картина Кустодиева!

Таким раздраженным мыслям предавался дежурный врач медсанчасти, пока команда, зады которой он лицезрел в первых строчках главы, мылась под обжигающим – регулировке зековским составом не подлежит! – душем.

После помывки вошел сержант, гаркнул с прирожденной свирепостью: – Построиться в одну шеренгу!

Зеки неторопливо разобрались, усталились на сержанта нехорошими взглядами. Он должен был их отвести по коридору на осмотр к капитану Стерлядьеву, а потом, не дав никому опомниться, выдать всем этапные телогрейки и ватные штаны для отправки вверх по трассе. Вместо этого он почему-то смешался, этот сержант. Прямо на него смотрел светлыми безжалостными глазами плечистый молодой мужик с сильно развитой грудной и ручной мускулатурой, поджарым животом и хорошим, темной замши, елдаком. Сержант хотел было уже скомандовать «Направо! Вперед – марш!», однако только рот открыл да так и застыл под взглядом этого авторитетного урки, чье фамилие, кажись, было Запруднев.

– Поди-ка сюда, Журьев, – тихо сказал сержанту зек, скрещивая руки на груди, где в отличие от остальной папуасины вытатуированы были над левым соском только птичка-бабочка да блядская головка. Э, нет, это не блядская головка у него, а маленький Ленин с кудрями, защитник всего трудового крестьянства. Наверное, чтобы в сердце ему не привели в исполнение высшую меру, заделал себе Запруднев этого малыша. Сержант приблизился и подставил ухо, пряча глаза.

– Поди скажи лепиле, что Полтора-Ивана приказал нашу команду на Север не отправлять, – отдельно и понятно, очень доходчиво произнес Запруднев.

Сержант похолодел, потому что сразу понял, что это всерьез. У сержанта, можно сказать, сразу очко сыграло, потому что не всерьез имя Полтора-Ивана в зоне не употреблялось, а если кто пробовал с этим именем пошутить или приврать, немедленно получал хорошую пробоину

во внутренних органах.

Похолодев, сержант на цирлах почимчиковал к дежурному офицеру медслужбы; ребята улыбались. Официально эта команда называлась «По уходу за территорией», и сейчас после приятного, хоть и слишком горячего, душа она, не дожидаясь распоряжений, вместо перехода в этапный отсек пошла одеваться в свое обычное.

– Товарищ капитан, – задышал в ухо Стерлядьеву сержант Журьев недопереваренной картофью, – тут мне зек передал от Полтора-Ивана, чтобы «По уходу за территорией» на прииски не отправлять.

Паника протрясла хрупкую конституцию Стерлядьева. Впервые вот так до него напрямую дошел приказ лагерного Сталина, Полтора-Ивана.

– Ладно, Журьев, ты мне ничего не говорил, я ничего не слышал. Отпусти людей, – пробормотал он, вытирая липкий и холодный – что: пот, лоб, лобпот, потлоб?

Между тем людей и отпускать-то было не надо: они сами разбрелись по обширной зоне. Кто в АХЧ подался, кто в КВЧ, кто в УРЧ, кто по кочегаркам разошелся, кто в пищеблок, кто в пошивочную: дел было немало на большой территории Карантинки, и везде эти люди вели приглушенные разговоры, вымогали, запугивали, распоряжались, ибо группа «По уходу за территорией» была самым что ни на есть костяком воинственных «чистяг», подчинявшимся только самому таинственному Полтора-Ивану, которого, признаться, даже из них никто в глаза не видел.

Запруднев Фома (такое ему когда-то, а именно 29 лет назад, было дадено папаней и маманей незажеванное имя в Нижегородской прохладной губернии) между тем отправился в инструменталку освежиться после бани. Он был самый авторитетный мужик, потому что именно через него шли в «По уходу за территорией» приказы Полтора-Ивана. В инструменталке, большом бараке, превращенном штабелями ящиков в некоторое подобие критского лабиринта, Запруднев и еще трое авторитетных с комфортом расположились на старых автомобильных сиденьях. «Шестерки» принесли солидный пузырь ректификата и заварили чифирик. На атанде стоял надежный малый из социально опасных, можно было не беспокоиться и хорошо отдохнуть душой у такого «итээровского костерка».

Однако и тут – дела. Дела, дела, покой нам только снится, подумал Фома Запруднев. Пришли ребята и сказали, что привели того хмыря из недавнего этапа, который, несмотря на предупреждение, все-таки сделал свое черное дело, то есть затащил в свой барак малолетку Ананцева и пустил его по «шоколадному цеху». Разведка к тому же донесла, что непослушный жопошник этапировался сюда из Экибастуза, то есть, по всей

вероятности, принадлежал к тем «сукам», что потихоньку съезжались в Магадан на «последний и решительный бой».

Ладно, тащите его сюда, приказал Фома Запруднев. «Шестерки» коленками в корму протолкнули за ящики несуразную фигуру в лохмотьях дамского пальто, однако в хороших меховых унтах. Фигура ковыляла, согнувшись в три погибели, защищала башку свою докерскими рукавицами и, кажется, истерически рыдала, во всяком случае, кудахтала. Когда же подняла голову и взглянула в определенное лицо Фомы Запруднева, испустила, как в романах пишут, вопль ужаса.

Свидетели этой сцены утверждают, что и у Фомы Запруднева на суровом лице промелькнула, как мышка, молчаливая гримаса крика при виде длинноносенькой, грызунковой физиономии, на которой zenки висели, что две твои обсосанные карамелинки. Похоже, что узнали друг друга ребята, однако виду не подали, в том смысле, что сука-жопошник вопил что-то нечленораздельное, а Фома резко встал и отвернулся, изобразив, по своему обыкновению, с руками на груди, фигуру задумчивости.

– Ну, что с ним делать будем? – спросил один из «По уходу за территорией».

– Ну не пачкать же здесь, – сказал другой. – Давай мы его к коллектору сведем.

Оба посмотрели на задумчивого Фому. В мусорном коллекторе обычно находили тех, кто не подчинялся кодексу Полтора-Ивана. Жопошник тут прорезался: сообразил что к чему.

– Ребята, пожалейте! Я ж молодой еще! Жена, детишки на «материке», старики родители! – Заерзал на коленях. – Я всю войну прошел, чего только не видел, ребята! Товарищ, эй, ну, ты же ж меня знаешь! – уже совсем поросенком завизжал в спину Запрудневу.

– Ты, мандавошка, предупреждение получил от «самого»! – тряхнул тут жопошника один из «По уходу за территорией». – «Сам» тебе приказал не трогать малолеток!

– Да что? Из-за малолетки, да? Своего товарища? Да у него очко-то опытное было, у вашего малолетки! Ну, мужики, ну, хотите я вам, всем присутствующим, минтяру отстрочу сейчас по первому классу?

Обреченный дурак еще не знал, что «По уходу за территорией» такими посулами соблазнить было трудно, поскольку у них был отличный контакт с женской зоной.

– Ну, хватит, – сказал кто-то. – Давай тащи его к коллектору!

– А ты, Фома, чего молчишь? – обратился тут другой к Запрудневу.

Парнюга Запруднев обернулся с улыбкой.

– А я поиграть хочу, мальчики! – сказал со своей любимой ростовской интонацией. Известно было, что Фомочка Запруднев прошел хорошую школу в освобожденном от немецко-фашистских захватчиков Ростове-на-Дону.

Все замерли, и обреченный жопошник выпялил свои обсосанные карамельки из половой позиции.

– Что значит «поиграть хочу», Фомка? – поинтересовались «По уходу за территорией».

– А вот обратите внимание, граждане зеки! – начал выступать Фома Запруднев. – Напрягите свое воображение и представьте себе, что мы не в инструментальном складе карантинного ОЛПа, а в критском лабиринте, синьоры, широко известном по всему бассейну Средиземного моря...

Для всех близких сподручных Фомки-Ростовчанина было секретом, где учился этот парень, откуда приобрел такие литературные, даже почти что как в театре изречения.

– И вот мы запускаем в этот лабиринт раба-пленника. – Запруднев пнул жопошника сильной ногою. – Иди, сука! А за ним, мужики, туда входит не кто иной, как бык Минотавр! – С этими словами он вытащил из каких-то внутренних карманов двадцатисантиметровый финкарь.

За ящиками уже мелькала безобразная малахайка жопошника. Он отчаянно пытался найти какую-нибудь нужную щелку и смыться из инструменталки, сквозануть к своим «сукам», настучать «оперу», упросить, чтоб отправили на трассу, неизвестно, на что он там еще рассчитывал.

Фома, выставив нож, вышел в лабиринт. Он хохотал:

– Эй, эй, я человекобык Минотавр! Говорят, граждане, что тут у нас в лабиринте герой Тезей появился? Любопытно, любопытно!

Он вдруг стремительно рванул вправо, влево, снова вправо. Малахайка жопошника исчезла, видно, пригнулся, исчезла и башка Фомы, тоже маскируется. Остальные участники сцены, в роли гостей царя Миноса, раскинувшись на автомобильных сиденьях, потягивали чифирь и ждали крика зарезанного. Фомке Запрудневу никто тут не перечил. Хотит поиграться, пусть играет. Как-никак правая рука Полтора-Ивана, из всей команды единственный, кто лично встречается с героем лагерной России.

На самом деле Фоме Запрудневу было не до игры, совсем не до быков Минотавров. Встреча с жопошником – неизвестно, как его теперь звать, – взбудоражила всю его вроде бы уже устоявшуюся в преступности суть. В общем-то он даже и не знал, что сейчас делать: отправить ли призрак прошлого хорошим почерком к Харону (вот именно, к тому лодочнику: «Мифы Древней Греции» были любимой книжкой этого заключенного) или

пощадить во имя... во имя чего-то там, чего сам не знаю... не во имя же дружбы... Пригнувшись и держа нож острием вниз, он петлял между штабелями, выжидал, прислушиваясь к шагам, и снова петлял, пока ему на голову не обрушился разводной ключ. В последнее мгновение он успел подставить руку, и ключ срезался в сторону, лишь поцарапав щеку. В следующее мгновение он уже давил коленом на хрипящее горло Гошки Круткина и уже хотел было его кончать, то есть рука с ножом уже шла на замах, когда вдруг вырвавшееся из этого хрипящего горла прежнее имя «Митя-Митя!» поразило его чем-то немыслимо далеким и родным, словно блеяние козы Сестрицы там, в детстве, на сапуновском хуторе.

– Митя-Митя, – рыдал Круткин, – да не может этого быть, чтоб это был ты! Ведь я же сам видел, как ты валился в яму под пулей там, за Харитоньевкой. Ведь я ж там был в похоронной команде, мы ж сами и засыпали те рвы. Если это ты, Митя, так ты меня не убьешь! Мальчик мой родной, Мить, это ты?

Уже семь лет его никто не называл Митей. Сколько сменил он имен, и воровских кличек, и ксив, сам уже запутался, однако всегда возвращался к своей исходной, что тому пацанчику принадлежала, которого придушил по совету придорожной вороны, тому Фомочке Запрудневу, уроженцу города Арзамаса Нижегородской губернии. Всякий раз, когда следователи раскалывали его, чтоб узнать настоящее имя, он стойко держался, не раскалывался до последнего момента, пока наконец не выплевывал им в протокольные ряшки: «Ну, ладно, пишите, мусора, Запруднев я, Фома Ильич Запруднев».

Иногда, в те редкие моменты, свободные от уголовщины, он думал: «Как видно, я все-таки сошел с резьбы, там за Харитоньевкой. Почему же я мальчика того вспоминаю не как жертву своих лап, а как хорошего товарища?»

Корешам из воровских шаяк, ну, скажем, из той первоначальной ростовской «Черной кошки», знавшим Фомку как человека решительной жестокости, конечно, невозможно было представить, что он по ночам может мерлихлюндии предаваться, даже вафельное полотенце к глазам прижимать, вспоминая какие-то обрывки человеческой жизни, какие-то лица, звуки Шопена, приветливый лай огромного пса, горячие пироги с вязигой, а между тем все это нередко проходило перед ним в памяти, пока мирно и приветливо не вытеснялось самым страшным днем его жизни, первым убийством невинного человека. Хлюпанье его сапог по апрельским лужам, веселенькое посвистыванье «Туч в голубом» на слова поэтессы Нины Градовой, вот солдатик идет по земле опаленной, ну концерт –

фронту, да и только, в кадр не попадает несущийся за ним смердящий труп... ну и потом, как курилито вместе, лежа за кустом, то есть как все одиннадцать гвоздиков из пачки употребили... то есть почему же это во множественном числе?.. ведь Фомочка-то Запруднев лежал, розовел, тихомирно, как спящий кореш, совсем не курил, пока ты весь его запас с наслаждением вытягивал...

– Какой я тебе Мить-Мить?! – свирепо тряхнул он плененного «суку», Гошку Круткина, вечного друга и предателя. – Ты запомни навсегда, что меня зовут Фомка-Ростовчанин, и как только услышишь, что зову, беги на цирлах!

Пнув носком трепещущее от счастья тело – сразу понял, что помилован! – отвалился в сторону.

– Ты теперь нашим человеком будешь среди «ссученных», понял? – Он усмехнулся: – Солдатом невидимого фронта, так?

– Так, так, Мить, ой, прости, Фомка! – трепетал по-старому, как еще в батальоне «Заря», Круткин.

– Ну, а тебя-то как сейчас зовут? – спросил Запруднев. – Жопошник несчастный, как твое имя?

Движением женственного тюленя Круткин всплеснулся и быстро шепнул:

– Вова Желябов я, из Свердловска...

– Ну вот, Вова Желябов, учти, ты теперь не просто будешь небо в лагере коптить и за малолетками охотиться – кстати, еще раз узнаю, не пощажу! – теперь ты будешь выполнять задание «По уходу за территорией» и... – он подтянул вверх полуослиное ухо старого товарища по оружию и полувыдохнул, полуплюнул прямо в шахту: – И Полтора-Ивана!

Через несколько минут Фомка-Ростовчанин вывел к несколько разочарованным сотоварищам поработанного, но невредимого «суку».

– Еще один шпион в стане врага не помешает, – коротко объяснил он. Дополнительных вопросов не последовало.

* * *

Уже вечерело, когда Запруднев вышел из инструменталки и быстро пошел в котельную. Тонюсенький серпик луны над волнообразной пустыней обещал большой привар серебра. По расчетам, именно в этом цикле малой планеты будет взята сберкасса в близлежащей Якутии. Котельная обслуживала как мужскую, так и женскую зоны, посему и

располагалась, одним своим боком выпирая в край гераклов и тезеев, другим – в волшебную страну нимф и амазонок. Это замечательное расположение не могло, конечно, ускользнуть от внимания Фомки-Ростовчанина и всей его команды. Простому зеку даже приближение к мрачному бетонному строению без окон могло стоить жизни, между тем «По уходу за территорией» почти без помех использовала жаркие закоулки для огненных встреч с «марухами» из соответствующей женской команды.

Фому Запруднева в тот вечер ждала его постоянная, то есть уже почти что трехнедельная, зазноба Маринка Шмидт, профессиональная воровка из Ленинграда. Первое свидание им подстроили вслепую, однако они так по вкусу пришлись друг другу, что теперь оба только и мечтали, как бы побыстрее снова оказаться вместе голышом под раскаленными трубами. «Мы, Маринка, тут с тобой, как детеныши в сумке кенгуру», – однажды пошутил Запруднев, и вскоре это «кенгуру» к нему вернулось: все посвященные в обеих зонах стали называть котельный цех «кенгуру». «Ну, пока, ребята, я в „кенгуру“, авось там какая-нибудь халява, какой-нибудь фраер дожидается!»

Как ни странно, Маринка оказалась совсем чистая, то есть в том смысле, что он даже веселеньких насекомых от нее не подцепил, не говоря уже о мистической «бледной спирохете», этой Снежной Королеве Колымского края. «Как же это так, мадам Шмидт, получается, что вы не столько проститутка, сколько институтка?» – удивлялся Фомочка. «А я с девчонками больше игралась до встречи с вами, гражданин Ростовчанин, – смеялась она. – От вас, кобелей, одна грязь, а на нашем острове только пальмы да птички». Ростовчанин с его трижды залеченным «архиерейским насморком» даже несколько благоговел перед нежной монашеской кожей. Это раздражало. К тому же временами он стал теперь ловить на себе ее влюбленный взгляд. Это еще больше раздражало. Войдя в тот вечер в котельную, Фома кликнул бригадиру:

– Петро, а Петро, ты, слышь, скинь малость пару, а то мы с Маринкой там, как Сергей Лазо, зажаримся!

Башкой вперед он полез по подпольному лазу и вскоре оказался в приличной хавире с койкой и тумбочкой и с тусклой электрической лампочкой, что свисала с обернутой асбестом трубы. Маринка ждала его на койке, она была только в кружевных трусиках и лифчике. Где взяла такое бельецо? Где, простите, граждане, можно раздобыть такое бельецо, сидя на магаданском карпункте? Русские бабы, знаете ли, это сплошная тайна.

Не рассусоливая, Запруднев стащил с марухи это фартовое бельецо и приступил к делу. Пока занимался делом, много думал о финансовых

вопросах группы, о транспортных средствах на случай неожиданного развития событий и возможного ухода с концами в Якутию. Так задумался, что, когда Маринка заверещала, даже удивленно ее спросил: «Ты чего?»

После половухи они немного, по обыкновению, поиграли, пощекотались, пощипались, похихикали. Вот были бы мы нормальными людьми, Маринка, то есть просто молодыми специалистами, энтузиастами Дальнего Севера, вот тогда могли бы, ха-ха, хи-хи, иначе жизнь построить. Ой, Фомочка, мне так хочется с тобой в театр сходить! Большое дело, хочешь, возьму тебя за зону? Ой, возьми, возьми меня за зону, Ростовчанин! Там, говорят, в Доме культуры такая оперетка фартовая идет, «Одиннадцать неизвестных» Никиты Богословского, наши же зеки и играют!

Вдруг помрачнев, Маринка Шмидт С-Пяти-Углов (так она себя иногда называла) подняла на Фомочку светло-зеленые кошачьи глаза:

– А еще я решила ребенка от тебя заиметь, гражданин Запруднев.

На такие неожиданные удары под дых Ростовчанин привык отвечать мощнейшим выбросом правого кулака вперед. Маруха отлетела к горячей стенке, завизжала и оцетинилась, вот уж действительно, как одичавшая колымская кошка:

– Гад! Гад!

Фома Запруднев, он же Митя Сапунов, оправился от неожиданности, протянул левую руку ладонью вперед, чтоб погладить. Маринка клацнула зубами, чуть пальцы не отхватила.

– Ты что, охерела, маруха?! – завопил он. – Раба им хочешь родить? Еще одного раба?

– Вора хочу родить! – визжала Маринка. – А тебе до этого никакого дела нет! Тебя, гада, в папаши не приглашаю! Мне от тебя, пидор гнойный, ничего, кроме хуя, не надо!

Фомка-Митя задом уже влезал в секретный лаз, ретировался. Хотелось уши заткнуть, как Одиссей, воском, чтобы не слышать воплей любимой марухи. Дура какая, идиотка, от кого решила чистое дитя родить, от убийцы и ублюдка! Куда она решила дивного мальчика или нежную девочку принести, в этот мир большевистский?

Он долго еще трясся, сидя в углу за каким-то бойлером, смоля папиросину. Наконец успокоился, пошел в дежурку, переоделся в нормальный, «вольный» костюмчик, сверху надел бобриковое пальто, на голову аккуратненькую ушаночку с кожаным верхом. В этом цивилизованном виде – в натуре молодой специалист, энтузиаст Дальнего Севера – он без всякого хипежа, спокойненько прошел через проходную за зону: вахта была

здесь, на Карантинке, почти целиком «смазана», надо было только смотреть, как бы на «неосторожного» не нарваться.

От лагеря до города было четыре километра, не расстояние, а тут еще подвернулся медленно ползущий американский железный мамонт «даймонд». Все же немного быстрее движется, чем человек. Митя вспрыгнул на прицеп-платформу, ухватился за какой-то стояк и так прокачался с папиросочкой все двадцать минут, пока автопоезд катил к столице Колымского края. Большой закат распространялся над сопками, зеленели ранние звезды, как красивые марухины глаза, цепочки фонарей и пятнышки частных окон загорались в темнеющей долине. Как жалко, что я тогда в Италию не ушел. Можно было в Италию уйти. Можно было лесами и оврагами, ночными переходами постепенно в Италию уйти. Вот тогда мне и надо было в Италию уйти, в сорок третьем. Не к партизанам в «Днепр», а так потихонечку, целенаправленно, ну, вместе с Гошкой, конечно, говенным, в сторону Италии пробираться. Ну, Гошку, конечно, по дороге мадьяры за яйца бы повесили, а я бы до Италии дошел и там перешел бы на сторону атлантических союзников. Эх, нельзя переиграть всю эту ситуацию, вот жаль; как мне тогда все-таки не хотелось превращаться в злое животное!

В городе по деревянным тротуарам дефилировала, как Митя ее называл, золотопогонная чернь со своими бабами в мехах. «Валентина, дорогая, вы давно ли с „материка“?» – «Ах, чудесно провели время в городе-курорте Сочи!» Среди аристократии шаландался и свой брат, бывший зек, ну, то есть рабского сословия, презренный и блудливый. Как и подобает вольнонаемному – с понтом! – специалисту, он не обращал на них никакого внимания. Зашел в продмаг, купил голову сыра, положил в чемоданчик: в зоне неплохо бывает сырком побаловаться. Зашел в аптеку, купил полдюжины склянок пантокрина для ребят из «По уходу за территорией». Среди ребят существовало мнение, что от пантокрина концы так стоят, что хоть ведро на них вешай. Сам Митя не нуждался в этой вытяжке из рогов северного оленя: на его рычаг, особенно в присутствии Маринки Шмидт, можно было хоть гирю чугунную подвешивать. Затем небрежненько посетил сберкассу, снял со счета на имя Шаповалова Георгия Михайловича 25 000 рублей. На «материке» такой суммы сразу могли бы и не выдать, а то еще и милицию бы вызвали для проверки личности вкладчика, в Магадане же с его двойными, тройными, четверными окладами снятие такого куска с книжки было делом самым обычным. В этом, собственно говоря, и состояла главная цель сегодняшней вечерней прогулки: вохру на Карантинке надо было не только в страхе держать, но и

«смазывать», чтобы все гаденыши «склеились».

Оставалось еще два часа до вечернего развода, можно было в кинотеатр зайти посмотреть первую половину фильма «Девушка моей мечты». Эту девушку из трофейного кино, Марику Рокк, мы с Гошкой видели еще в Германии, там-то она из бочки с водой голая выскакивала, ну, а тут, конечно, бочку эту из картины вырезали, чтобы советский человек не облизывался на живое тело. А все ж таки можно посмотреть виды альпийской Германии. Можно так посидеть полчаса, а потом как бы спохватиться. Ой, товарищи, простите, дорогие, у меня же телефонный разговор с Москвой, с министерством, заказан!

Вот как раз пятнадцать минут до начала сеанса, как раз можно еще пройти по Советской улице, посмотреть на их два окна в доме № 14.

На Советской было пусто. В отсутствие больших снегопадов сугробы вдоль мостков малость почернели от городской гари и слегка уже повесенному засахарились. Тусклые паршивые фонарики висели на сегодняшнем редкостном небе, словно итальянские апельсинчики. Прошел патруль из двух вохровцев и офицера. Внимательно посмотрели на Митю, но не остановили. Магадан как солидный советский город, жемчужина Дальнего Севера, как бы не предусматривал проверку документов у любого прогуливающегося с чемоданчиком гражданина. Если бы спросили, впрочем, Шаповалов Георгий Михайлович смог бы представить любые доказательства своей благонадежности, от паспорта до короткоствольного револьвера.

Те два окна в доме № 14 были темны. Митя обошел вокруг двухэтажного, вполне пригодного для жилья строения, крашенного в излюбленный магаданцами цвет «тела испуганной нимфы». Кое-где светились в окнах большие абажуры с тесьмой. Свисали из форточек авоськи со скоропортящимися продуктами. Из нашей форточки – он криво усмехнулся: «из нашей»! – вывешена была голенастая кура. «Купила кухочку, фханцузску булочку...» Он уже не раз подходил в сумерках к этому дому и смотрел, прячась за трансформаторной будкой на другой стороне улицы, на окна квартиры своих приемных родителей, Цецилии Наумовны Розенблюм и Кирилла Борисовича Градова. Сначала у них там голая лампочка висела, а потом, как у людей, появился просторный шелковый абажур с кистями. Иногда к окну приближались их головы. Однажды он видел, как они кричали друг на дружку, размахивая руками: спорят, наверное, как и тогда, по теоретическим вопросам мировой революции. В другой раз воровской его взгляд перехватил их затяжной поцелуй, по завершении которого свет в квартире немедленно погас. Бесшумно

расхохотавшись, то есть оскалив несколько раз свои фиксатые зубы, он покрутил тогда башкой: неужели и сейчас они этим занимаются, такие старые и нездоровые?

* * *

Прошло уже полгода после того, как он в костюме Шаповалова Георгия Михайловича нос к носу столкнулся с тетей Цилей на главном перекрестке Магадана, пересечении улицы Сталина и Колымского шоссе. Отца, наверное, так бы и не заметил: тысячи таких полузеков слоняются в здешней округе, ну, а Цецилию-то невозможно не выделить среди безликой толпы; тащилась, как всегда, расхристанная, пальто пристегнуто петлей к пуговице кофты, шарф волочится по слякоти, морковная губная помада не вполне совпадает с очертаниями рта, полыхание веснушек, разлет полузавитых полуседин, довольно громко вылетающий во внешний мир внутренний монолог: «Позвольте, позвольте... вот справка... кубатура... держитесь в рамках... социалистическая мораль...» Вот так из колыхания толпы вдруг материализовалась его еврейская «мамаша», стыд и жалость его отрочества. Митя остолбенел. Скользнув по нему невидящим взглядом, Цецилия прошла мимо.

Весь вечер тогда он шлялся за ней соглядатаем. Она заходила, явно по каким-то сутяжным делам, в управление Дальстроя и в горисполком, потом стояла в очереди за сгущенным молоком, потом топталась возле мастерской «Ремонт радиоаппаратуры», из которой вдруг раскорякой вышел отец с каким-то большущим, вроде бы самодельным радиоприемником на руках. Митя увидел, что его сильно постаревшая физиономия сияет от удовольствия. Ему, видно, очень нравился весь этот уклад жизни – корячиться с огромным, как дедовские кабинетные часы, приемником на руках, видеть, что на улице его ждет жена... Значит, оба живы, оба снова вместе, лишь только меня с ними нет, лишь только я погиб без остатка! Нагоняющий ужас на всю Карантинку Фомочка-Ростовчанин вдруг содрогнулся в мгновенном рыдании.

* * *

Митя, разумеется, не мог знать, что всего лишь за неделю до этой встречи его приемный отец был выпущен из магаданской тюрьмы «Дом

Васькова». Не более полугода после воссоединения Кирилл и Цецилия наслаждались своим «раем» в завальном бараке на окраине Магадана. В городе шли неспешные методичные аресты бывших политических. Обсуждая очередной арест, знакомые интеллигенты приходили к выводу, что вся кампания идет в строго алфавитном порядке: Антонов, Авербух, Астафьев, Барток, Батурина, Берсенева, Бланк, Венедиктов, Виноградова, Вольберг... «Вчера взяли Женю Гинзбург, – как-то сказал Степан Калистратов, – так что скоро твоя очередь, товарищ гражданин Градов, готовь, Цилька, узелок с „Кратким курсом истории ВКП(б)“, ну, а до меня еще полдюжины букв, так что погуляем».

От пристрастия к алкоголю имажинист в лагерях почти излечился, зато приобрел склонность к каким-то порошкам и таблеткам, вызывавшим, как он утверждал, исключительно оптимистическое и юмористическое восприятие действительности.

– Перестань болтать глупости, Степан! – тут же атаковала его Цецилия. – Какие еще алфавитные аресты?! Что за вздор? Этот юмор висельника по отношению к законам великой страны по меньшей мере неуместен! Вот ты можешь поплатиться за свой язык, а нам с Кириллом до этого никакого дела нет!

Они действительно жили с каким-то странным ощущением, что теперь, после их встречи, все должно налаживаться:

жилищные условия, снабжение, культурный уровень населения, международная обстановка, даже климатические условия. Кириллу удалось устроиться в кочегарку горбольницы и оторваться, таким образом, от лагерного мира и хамской вохры. Цецилия почти сразу активно включилась в график Дома политпросвещения, принялась окармливать население теоретическим анализом развала мировой империалистической системы на фоне нарастающей борьбы народов за мир и социализм в обстановке быстро приближающегося окончательного триумфа. Руководство Дальстроя МВД СССР, очень довольное приездом вольнонаемного теоретика, благодаря которому так резво заполнялись клеточки Политпросвета, обещало товарищу Розенблюм хорошую комнату в доме № 14 по Советской, которая вскоре должна была освободиться, поскольку там доживала свои дни гражданка с неоперабельной формой легочной болезни.

Пока что жили в «раю». Стенка дышала в унисон с дыханием и прочими отправлениями тамбовского мятежника. Когда Кирилл уединялся и начинал что-то шептать у своего францисканского алтарика, Цецилия шумно перелистывала страницы «Анти-Дюринга» или «Материализма и эмпириокритицизма», восклицала: «Как глубоко!» – или: «Кирилл, ну вот

послушай: так называемый „кризис в физике“ есть лишь выражение несостоятельности идеализма в истолковании нового этапа в развитии науки». Очень часто после таких «противосидений» они сталкивались в споре, причем всякий раз, сходясь в середине, ибо больше и негде было сойтись, обжигали головы об электрическую лампочку.

– Да ведь еще со времен Демокрита, со времен Эпикура известно, что материю никто не создал! – кричала Цецилия. – Мир от начала и до конца познаваем!

Кирилл амортизировал ее наступательные, пышущие яростным партийным огнем дирижабли буграми своих ладоней.

– Кому это известно, Цилечка? Как это может быть известно? Что это значит «не создал»? Скажи мне, что такое «начало»? Что такое «конец»? А если ты бессильна перед этими вопросами, как ты можешь сказать, что мир познаваем?

В таких вот поединках проходили часы под вой гиблого колымского ветра и визги из коридора, причем, как читатель, безусловно, заметил, Цецилия фехтовала восклицательными знаками, Кирилл же отбивался вопросительными. «Эй, Наумовна, Борисыч, кончайте базарить, идите щи хлебать!» – кричала из-за перегородки посетительница вендиспансера по графе «хроники» Мордеха Бочковая.

В том «раю», где они жили, почти каждый вечер бабы на общей кухне вцеплялись друг другу в космы, норовили острых щепок набросать в варево, детки – иные с сифилитическими или туберкулезными свищиками – день-деньской носились по завальному коридору, одержимые одним лишь только разрушительным инстинктом. В то же время в дальнем конце, за галюном, жил ангел созидания, некий старичок одессит, дядя Ваня Хронопулос, у которого даже десятилетний срок не отбил охоту творить шедевры – то скрипочку прекрасной наружности соорудит из затоваренных ящичков, то шкатулку-сигаретницу с музыкой «Венского вальса»; но больше всего старался дядя Ваня Хронопулос по части патефонов, радиол и приемников. У негото Кирилл как раз и купил тот грандиозный радио-дом, который мы уже видели несколько страниц назад при выносе из ремонтной мастерской. Мастерская же нам понадобилась для упоминания о том, что, пока Кирилл повторно в тюрьме сидел, магаданская гэбэ прокатилась уже по всему алфавиту, загребла и букву «Х», которая в силу своей отдаленности довольно долго помогала дяде Ване крутить отверточкой, пилить лобзиком, паять лампочкой, то есть наслаждаться своей «райской жизнью» под сенью Хроноса.

Покупая ламповый приемник марки «Дядя Ваня Хронопулос»,

Кирилл, конечно, ни сном ни духом не предполагал, что когда-нибудь из этого самодельного ящика вдруг сквозь треск электрических разрядов прокльонется и окрепнет чисто русская православная молитва. Оказалось, радиостанция такая имеется – «Голос Америки», направленная на слушателей в Советском Союзе, и вот на волнах именно этой империалистической радиостанции читал русскую молитву сан-францисский проповедник.

Как ни странно, скрытая в нелепом ящике вражеская радиостанция не вызвала никаких возражений со стороны Цецилии Наумовны. Напротив, она теперь нередко, не отрывая глаз от первоисточника, бросала ворчливо: «Ну, включи!», услышав же рекламный и как бы глянцеви́тый призыв: «Слушайте „Голос Америки“, слушайте голос свободного радио!», усмехалась с притворной издевкой, «свободного!», ну, а потом уже не отрывала от сводки новостей чуткого уха.

Когда Кирилла забрали прямо из горбольницы и привезли на допрос в похожий на дворянскую усадьбу особнячок гэбэ, он был уверен, что уж радио-то обязательно выплывет среди обвинений. Однако похоже было на то, что гэбисты даже и не слышали о могучем ламповом сооружении. Монотонно и бесстрастно повторяли они пункт за пунктом обвинение 1938 года: участие в контрреволюционной троцкистско-бухаринской организации, попытки дискредитировать политику советского правительства путем протаскивания вредных идей через печатные органы и так далее. «Да ведь я уже десять лет за это отсидел», – слабо возражал Кирилл. «Не будь слишком умным, Градов, – говорили на это следователи. – Давай подписывай все заново, ты же опытный, знаешь, что будет, если сразу не подпишешь». Им явно не хотелось его лупить: как видно, никакого аппетита у них не вызывал этот жилистый, морщинистый, лысовато-седоватый смиренный истопник. На этот аргумент у него не было даже слабых возражений, и он все подписывал заново. «Вот я и возвращаюсь к своей сути, – спокойно думал он, – а суть моя не в теплой хавире с женой сидит, не московскими сладостями угощается, а в колоннах зековских бредет, за баландой стоит, от цинги пухнет. Господи, укрепи!»

Цецилия же Наумовна была потрясена вторым арестом мужа, может быть, не меньше, чем первым. «За что, за что», – шептала она в ночи, в отчаянии сжимая свои груди. К кому же я обращаю этот вопрос, думала она. Если к ним (впервые так подумала о власти трудового народа: они), то теперь-то вроде хоть немного, но есть за что: все-таки «религиозником» стал, иностранное радио слушает... Однако я, кажется, вовсе не у них вопрошаю, а у чего-то ночного, молчаливого, всезнающего...

Надо радио это проклятое разломать, стащить на помойку, по утрам с яростью думала она и уже заносила молоток над изделием Хронопулоса, однако тут же обнимала проклятую штуку и обливала ее слезами: ведь вместе же, вместе с любимым по вечерам под вой норд-оста слушали эти странные несоветские голоса из нереального мира!

А вот не буду выбрасывать, а вот, наоборот, буду слушать так же, как и с Кирилльчиком моим слушала!

Снова у ворот тюрьмы, снова с кулками и мешочками, с той только разницей, что очереди здесь не такие длинные, как в Лефортово, да и передачи принимают без проволучек. И снова письма, пространные заявления, только теперь уже не в Контрольную комиссию ЦК (как-то нелепо в ЦК просить за «религиозника»), а в Дальстрой, в МВД, министру Государственной безопасности товарищу Абакумову.

Однажды в главном продмаге Магадана, в очереди за чаем, она увидела Степку Калистратова, который в ожидании ареста вдруг стал поражать местное население элегантностью туалета: мягкая шляпа, пальто с каракулевым воротником, шарф, переброшенный через плечо, трость, то есть абсолютно та же сбруя, в которой фигурировал когда-то на знаменитом снимке вместе с Мариенгофом, Есениным, Шершеневичем и Кусиковым. Цецилия бросилась, забарабанила кулачками по драповой спине:

– Ты, Степка, накликать беду! Это ты, ты говорил о посадках по алфавиту!

Он обернулся, сама светская любезность, настроение великолепнейшее: верная комбинация кодеина с папаверином!

– Графиня Цецилия прекрасней, чем лилия!

Подцепил ее под руку и вдруг жарко шепнул в ухо:

– Стали выходить!

– Что ты говоришь? Кто? – ахнула она.

– Наши! Уже на «А» вышло несколько человек, на «Б», видели даже на «В»... а сегодня – сенсация, выпустили Женю Гинзбург... Так что: не унывай, Цецилия, откроется Бастилия!

Беспутный поэт, как ни странно, опять оказался прав. Не прошло и пяти месяцев со дня посадки, как Кирилла, все с теми же скучающими ряшками, с гэбэшной псевдольвиной зевотинкой, выпустили, оформив, как и всем другим «алфавитчикам», «вечную ссылку» в пределах семикилометрового радиуса вокруг города Магадана.

После этого, как ни странно, все как-то быстро наладилось. Чета Градов и Розенблюм даже обрела некое чувство стабильности: «вечная ссылка» – это все-таки статус! Цецилия даже испытала некоторое

удовлетворение. Как-то солиднее сказать «мой муж – ссыльный», чем «бывший заключенный». Все-таки и Ленин Владимир Ильич был в ссылке в селе Шушенском, и даже великий вождь народов Сталин Иосиф Виссарионович был сослан в Туруханский край, откуда, наподобие легендарного Полтора-Ивана, дерзновенно бежал. Кирилла приняли на прежнее место работы, Цецилии повысили лекционную ставку. В скором времени освободилась комната в доме № 14 по Советской, и вот тут начался совсем волшебный, почти идиллический период их жизни – переезд на новую квартиру, в которой кроме них жили всего лишь две семьи, где стены почти не пропускали даже умеренно громких звуков, вроде, скажем, мелодичного храпа билетерши Дома культуры Ксаверии Олимпиевны, где у них была даже своя собственная конфорка на газовой плите и ограниченный только лишь очередностью доступ в теплые места общего пользования.

* * *

Вот именно к этому дому и завел себе привычку в темноте приходить гроза Карантинного лагпункта Фомочка Запруднев-Ростовчанин, он же Дмитрий Сапунов, волчонок кулацкого послада, найденный или пойманный 21 год назад молодыми активистами коллективизации Градовым и Розенблум. Да что им я, думал Митя, присев на лагерный манер за трансформатором на корточки, одна рука локтем на колено, другой подбоченившись, смоля в рукаве папироску за папироской, они обо мне и думать забыли. Приемный сын – это даже не седьмая вода на киселе, вообще никакого киселя, одни благородные побуждения. Пропал мальчонка на войне, и дело с концом, эх, батя, батя, эх, мамочка моя Цецилия...

Как всегда, стало очень жалко себя, и он подумал, что это, может быть, главная причина, по которой он себе позволяет короткие бдения за трансформаторной будкой на краю земли под окнами своих приемных родителей: жалость, слабость, сопля смешивается со слезой перед тем, как все выхаркивается, и снова встает на задние лапы этот человекоподобный волк, я.

Он вышел из-за будки и пошел прочь от дома посередине улицы, как это часто делали по ночам и другие магаданцы, поскольку легковое автомобильное движение было в те годы в этих краях до чрезвычайности мало развито. Под одним из фонарей в начале улицы, где за воротами Парка культуры виднелся с поднятым семафором слишком длинной руки

памятник Ленину, появились две кургузые фигуры с авоськами. Он сразу же понял, что это они, родители. Прыгнул в сторону, через кювет, прижался к стене за выступом какого-то здания. Кирилл и Цецилия медленно приближались, переходя из освещенного пятна в темноту и снова появляясь в следующем освещенном пятне. Уже слышны были их голоса. Они вели, по обыкновению, философскую дискуссию: позитивное мышление воевало обскурантизм. Цецилия кипятилась:

– Знаешь, Кирилл, ты смотришь на Вселенную, как неграмотная крестьянка! Как будто ты проспал всю эпоху Просвещения!

Кирилл петушился:

– Твое так называемое Просвещение, Циля, не имеет никакого отношения к тому, о чем я говорю! Просвещение и Вера существуют в разных измерениях! Понимаешь, в разных измерениях!

– Тебе изменяет логика! Ты видишь только тупики! – кипятилась Цецилия.

– Это не просто тупики! Это знаки наших пределов! Сказано ведь, что нельзя объять необъятное! – петушился Кирилл.

Цецилия докипятилась до хаотического бурления.

– А ваша жена еще объятная, Кирилл Борисович!

Кирилл допетушился до объятия с двумя авоськами на крыльях, как будто для того, чтобы не взлететь. Митя, между прочим, был прав: они его редко вспоминали, но совсем не по причине чужеродности. Слишком увлеченные друг другом, они вообще никого не вспоминали.

В этот момент Митя, подчиняясь непонятной какой-то, неподконтрольной тяге, вышел из своего укрытия и спросил измененным хриплым голосом:

– Эй, товарищи, огонька не будет?

Супруги передернулись.

– Что вам нужно?! – резко выкрикнула Цецилия, одним плечом как бы уже защищая Кирилла.

– Пожалуйста, товарищ, пожалуйста! – Кирилл отодвинул супружницу, вынул спички из кармана, зажег одну и протянул прохожему огонек в ладонях. Ветер дул меж пальцев, однако Митя успел прикурить. Спичка погасла, но он не сразу оторвался от заскорузлых ладоней. Он успел еще раз затянуться, чтобы в мгновенном красном мерцании увидеть, наверное, в последний раз линии судьбы своего отца.

Антракт III. Пресса

«Тайм»

26-этажное здание, сооружаемое в Москве на Смоленской площади, выглядело бы обычно на Манхэттене, однако для Европы – это колосс.

Великолепные станции метро построены на московском подземном кольце.

Перед футбольными матчами к стадиону «Динамо» съезжаются сверкающие автомобили, принадлежащие в основном советской коммунистической элите.

Западных дипломатов в Москве поражает мрачная осторожность и отстраненность второго человека в стране, господина Маленкова. Ожиревший, агатовоглазый, с восковым лицом, Маленков источает смутную угрозу. «Если бы я знал, что меня будут пытаться, – сказал недавно один бывший посланник, – Маленков был бы последним из всех членов Политбюро, которого я бы выбрал для этого дела».

Всех поражает исчезновение молодого члена Политбюро Николая Вознесенского. Недавно вышедшая книга по истории не упоминает его имени в списке членов Политбюро военного времени. Невольно вспоминается «Министерство правды» Джорджа Орвелла.

«Правда»

...Продолжается поток приветствий в связи с 70-летием товарища И.В.Сталина. Трудящиеся обращаются к вождю с сердечными пожеланиями доброго здоровья и долгих лет жизни.

«Известия»

Подразделения Народной армии Кореи в тесном взаимодействии с частями китайских добровольцев потопили один эсминец противника, производивший обстрел окрестностей Вонсана.

«Советский спорт»

На ежегодных таллинских соревнованиях мотоциклистов в классе

машин до 750 куб. сантиметров первым финишировал В.Кулаков (спортклуб ВВС МО).

«Правда»

Глава иранского правительства Моссадык призвал к продолжению антиимпериалистической «священной войны за нефть».

...На ежегодном празднике «Юманите» в Венсенском лесу в воздух поднялись сотни белых голубей. Трудящиеся скандировали: «Фашизм не пройдет! Мир победит войну!»

Юрий Жуков (из Парижа)

«Тайм»

В 1936 году нацистское министерство пропаганды утвердило «движение по очищению языка», то есть германизацию многих обиходных слов и выражений. «Радио» превратилось в «рунд-функ», «телефон» в «ферншпрехер», «автомобиль» в «крафтваген». Теория относительности знаменитого беженца из нацистской Германии Альберта Эйнштейна стала именоваться «беуглихкайтсаншауунггезетц». На прошлой неделе коммунистическая матушка-Русь вступила на тропу, проторенную Геббельсом. Академия наук приняла решение о тщательной русификации русского языка.

«Партизан ревью»

Противоречия возникли вокруг филологической системы, основанной покойным Николаем Марром, который выступал за единый универсальный, не обязательно русский, язык мирового коммунизма. Оставалось только ждать, на кого обрушится топор. Вскоре в «Правде» появилась бомба, статья самого Сталина, разрушившая «фальшивую» теорию Марра и расставившая все по своим местам.

«Правда»

Повышать уровень советского киноискусства! Все советские киноработники помнят слова товарища Сталина: «Обладая исключительной возможностью духовного воздействия на массы, кино помогает рабочему классу и его партии воспитывать трудящихся в духе социализма, организовывать массы на борьбу за социализм, подымать их культуру и политическую боеспособность».

Вышел в свет 8-й том сочинений В.И.Ленина на узбекском языке.

«Культура и жизнь»

Болгарская киностудия закончила съемки нового фильма «Слава Сталину!». В фильме отображена безграничная любовь болгарского народа к знаменосцу мира во всем мире товарищу Сталину.

...Творческие провалы и неудачи некоторых кинематографистов происходят прежде всего оттого, что они забывают постановления партии по вопросам литературы и искусства. Особенно это сказалось на производстве таких посредственных картин, как псевдонаучный фильм «Человек идет по следу».

И.Большаков, министр кинематографии СССР

«Нэшнл энд англиш ревю»

Советы, может быть, смогут начать «блицкриг» на германский манер, но они совершенно не в состоянии без ленд-лиза выдержать продолжительное наступление.

Условия, в которых живет большинство русских, хуже, чем все, что я видел в беднейших кварталах Неаполя или Дублина.

Что мы можем противопоставить сейчас немыслимому напряжению в Европе? Безусловно, перевооружение, но кроме того, укрепление «железного занавеса».

Творческая активность России, застрявшая целиком в двадцатых годах, вскоре окончательно остановится. Все новое, что там появляется, включая атомную бомбу и истребитель МиГ, западного происхождения. Творческая энергия великого народа под влиянием большевизма идет на убыль.

Отрезанный от Запада, СССР постепенно настолько отстанет, что уже не сможет начать войну.

Русские не будут о нас хуже думать в результате жесткой политики, ничто уже не сможет сделать их более враждебными к нам, чем они есть сейчас. Может быть, впоследствии они будут думать о нас лучше.

Тоунсенд Рестон

«Скынтейя»

Тов. Георгиу-Деж призвал до конца разоблачить банду Фориша — Патрошкану, агентов американской и белградской разведок.

«Правда»

ВОСПИТЫВАТЬ КАДРЫ В ДУХЕ НЕПРИМИРИМОСТИ К

НЕДОСТАТКАМ!

Слово в песне. Советский народ привык жить под знаком того, что «нам песня строить и жить помогает...». В последнее время созданы чистые, проникновенные песни на слова М.Исаковского «Ой, туманы мои растуманы», «Катюша»... Большой песенный дар проявляет А.Сурков: «По военной дороге», «Стелятся черные тучи»... Всем помнятся песни Лебедева-Кумача «Песня о родине», «По долинам и по взгорьям» С.Алымова, «Каховка» М.Светлова.

Однако в этой области подвизается немало деляг. Хочется спросить некоторых композиторов, задумывались ли они над тем, какой словесный хлам они подчас кладут на музыку?.. В этой связи не могут не вспомниться пустые, разухабистые тексты Я.Зискинда, Масса и Червинского, Дыховичного и Слободского... С.Фогельсон оскорбляет традицию Некрасовского стиха...

«Тайм»

Наше господство в воздухе над Северной Кореей хоть еще и не потеряно, однако находится под вопросом.

МиГ-15 на высоте 25 000 футов обгоняет и опережает в маневрировании наш Г-86.

Генерал Уондерберг

Необычная фотография Сталина оказалась на Западе. Официальные снимки обычно тщательно ретушируются. На фото, сделанном в Большом театре, стареющий диктатор выглядит седым и усталым. По бокам у него с непроницаемыми лицами стоят два политбюрократа Лаврентий Берия (52 года) и Георгий Маленков (49), оба потенциальные наследники трона.

...Иван Бунин, поэт, романист и аристократ, одно из последних эхо старой России. Ему 80 лет, он почти прикован к постели и живет в своей парижской квартире полузабытый, несмотря на полученную в 1933 году Нобелевскую премию.

Побывавший недавно у Буниных на скромном литературном вечере принц Ольденбургский вздохнул: «Как жаль, что Коля никогда не бывал на таких вечерах...» Коля был расстрелян в подвале вместе со своей семьей. Он больше известен как царь Николай II...

«Правда»

Народы отстают великое дело мира. И.В.Сталин учит народы: «Широкая кампания за сохранение мира как средство разоблачения преступных махинаций поджигателей войны имеет теперь первостепенное значение».

«Мира не ждут, мир завоевывают!» – эта крылатая фраза нашла отклик в сердцах миллионов.

Леонид Леонов

...Фестиваль советских фильмов в Иране прошел при переполненных залах. В представленных на кинофоруме картинах хорошо показана роль тов. И.В.Сталина во всех областях советской жизни. Между тем демонстрация американской отравленной кинопродукции проходила в пустых залах...

ТАСС

Новый пассажирский теплоход «Иосиф Сталин» начал курсировать по Днепру.

Восстановить независимость и суверенитет Франции призвал в своем докладе товарищ Жак Дюкло.

Неустанно повышать идейный уровень партийного просвещения!

«Тайм»

Не хотела ли бы советская делегация посмотреть на карту Советского Союза? «С восторгом», – ответил Громыко. Разворачивая карту, конгрессмен от Миссури О.К.Армстронг с готовностью пояснил: «Здесь содержится точное обозначение всех лагерей рабского труда в Советском Союзе». Громыко замигал, а потом пробормотал: «Хотел бы я знать, какой раб капитализма изготовил эту карту».

Население лагерей рабского труда в Советской России превышает 14 миллионов. Из них более чем 1 600 000, очевидно, умрут еще в этом году.

«Фигаро»

«Прошлой ночью я не мог спать, – заявил Вышинский с трибуны парижского Пале де Шайо. – Я все смеялся. Даже и сейчас, на этой трибуне, я не могу удержаться от смеха!»

Таким был ответ России на предложение Запада по разоружению.

«Ньюсуик»

...Во время своей хорошо охраняемой прогулки по Москве посол Джордж Кеннан и его личный гость журналист Рестон натолкнулись на плакаты к празднику Дня советских ВВС. На них изображались советские истребители, сбивающие американские самолеты. Вернувшись домой, Кеннан отправил в МИД разгневанное письмо. В ответ на следующий день он получил приглашение посетить парад советских ВВС. Кеннан отверг приглашение. Из солидарности британский и французский посланники тоже бойкотировали парад. Однако, будучи практическими людьми, все трое послали на парад своих военно-воздушных атташе. Рестон тоже был на параде.

«Юманите»

Зрители организовали манифестацию протеста против демонстрации антисоветского фильма, сострепанного американцами по сценарию небезызвестного реакционера Ж.П.Сартра. Французские фильмы должны призывать к миру!

«Правда»

Народы Советского Союза и прогрессивное человечество отмечают 50-летие сталинской газеты «Брძзола» («Борьба»). Никогда не изгладятся в памяти напечатанные на ее страницах стихи:

*«Брძзола», будь трубой призывной!
Мрак ночной вокруг развеи!
Подними поработанных
И униженных людей!*

...В Англии пять ведущих солистов балета Белграда и Загреба заявили о своем отказе возвратиться в Югославию, так как у них там нет возможности свободно заниматься творческой деятельностью.

...Части Народно-освободительной армии Китая вошли в столицу Тибета Лхасу в обстановке поддержки и всесторонней помощи местного населения. Тибетцы приветствовали войска с искренним удовольствием и радостью. Впервые в своей истории тибетский народ увидел армию, которая приносит трудящимся подлинную свободу.

Антракт IV. Думы Ганнибала

Знакомя читателей нашей саги не только с человеческими характерами, но и с представителями московской фауны, мы наконец добрались и до слона. Извольте: в столице нашей родины проживал в своем вполне комфортабельном, даже по нынешним временам, стойле африканский слон Ганнибал. Читатель, привыкший уже к астральным инкарнациям, вправе предположить, что автор при помощи этого примечательного в российской истории имени и африканских корней вознамерился уже потревожить Солнце нашей поэзии, Александра Сергеевича Пушкина, однако автор, во избежание малейших недоразумений, должен немедленно заявить, что речь идет о Луне нашей прозы – в том смысле, что в пятитонном теле с длинными клыками и с ушами-вигвамами на этот раз поместилась некая астральная суть Александра Николаевича Радищева, потомка татарских мурз и просвещеннейшего джентльмена своего, то есть екатерининского, времени.

Слону было сто два года, из них пятнадцать, за исключением двухлетней эвакуации в город Куйбышев, он прожил в Москве. Он очень нравился генералиссимусу И.В.Сталину. Еще в тридцатых годах, то есть тогда, когда этот титул вождю трудящихся и не снился, Сталин нет-нет да заворачивал, как бы ненароком, к стойлу Ганнибала, садился на раскладной стульчик и подолгу взирал на ритмично покачивающийся хобот самого крупного на сухопутной части планеты Земля животного. «Кое-кто меня сравнивает со слоном в посудной лавке, – думал вождь. – Нет, это неуместное сравнение».

В начале же пятидесятых, когда Сталин полностью перешел на ночной образ жизни, встречи его с Ганнибалом, как ни странно, участились. Вдруг среди ночи он вылезал из-под зеленой лампы и заказывал свой пятимашинный экипаж. Свита уже знала – к Ганнибалу!

Слон обычно по ночам все эти пятнадцать лет грезил жеванием сахарного тростника на краю плантации в Кении, хрум-хрум, работали коренные зубы, блям-блям, падали из-под хобота пол-литровые капли слюны. При виде же задумчивой фигуры генералиссимуса тростник затуманивался, из бездонных глубин астрала являлась радищевская тираноборческая мысль.

Тяжко моей душе, вспоминалось в ночи, страдаю и тоскую. В бликах свечей мелькали черты единомышленников по ложе «Урания», медленно

текли гекзаметры Клопстока.

Слон поворачивался, показывал левое ухо, косил глаз. Может быть, ты из наших? Встань, тиран, покажи наш тайный масонский знак, тогда тебе многое простится. Может быть, замысел твой высок, хоть и позорна власть?

Сталин не принимал сигналов, не обнаруживал никаких нематериальных связей. Вот и она... только лишь, как спасительный дурман, потекли через сознание длинные волны большого мелкого озера, рассвет, сахарная голова горы, детеныш, бодающийся крутой башкой под пузо, розовое небо трубящей зарю подруги... и снова vyplывает из небытия напудренное высокомерное существо, которое, видите ли, зарубежным вольтерам кадит в льстивых письмах, а своих-то вольтеров готово подкнут... Душистой пудрой пылит в глаза Европы, лично месье Дидерот в библиотеках дворца, а вне дворца крушит печатный станок скромного таможенного офицера... значит, нам-то, русотатарам, нельзя быть умнее дидеротов, гнедиге фрау? Медлительно, словно старая музыка, проходили через слоновий мозг, сменяя друг друга, идеи сострадания и возмездия как проявления человеческого естества. О ты, дрожавшая перед масонами, приказы твои, что та палка майора Бокума, огорчившая чье-то космически отдаленное детство.

Сталин внимательно наблюдал медлительные, протяженные по пространству кожи волнения слона. «Самое крупное сухопутное животное, – думал он. – Самое крупное животное, и не хищник!» Он вставал, подходил к доске, на которой указывалось количество ведер картофеля, которое слон якобы может съесть. «Увеличить рацион!» – коротко командовал он, после чего возвращался в свою всенародную твердыню.

Однажды, поздней весной 1952 года, в 3 часа 30 минут утра Ганнибал покинул свое стойло, пересек вольер, без труда – слава Богу, присмотрелся за пятнадцать лет минус два года эвакуации – открыл хоботом ворота, вышел на улицу и начал свое «Путешествие с Пресни в Кремль», которое продолжалось ровно один час. Чем ближе подходил, тем больше понимал, что движется по правильному адресу: именно там, за зубчатой стеной, должно было дикой плюхой лежать чудище обло, озорно, стозевно и лаяй.

Генералу Власику пришлось с досадой прервать свой лососино-икряной ужин, переходящий в завтрак. Сталин поднял голову из-под зеленой лампы. Как приятно работать, когда все 250 миллионов дрыхнут, и вот тебя прерывают! Как приятно бичевать ленинской плетью зарвавшегося в своих псевдореволюционных умствованиях академика Марра, и вот

докладывают, что пришло «самое крупное сухопутное животное».

– Где слон? – спросил он.

Ганнибал ждал Сталина на кремлевской площади. Нас утро встречает прохладой, подумал Сталин, нас ветром встречает река. В предрассветном небе, пощелкивая, полоскались гордые кровавые флаги.

– Ну, что вам угодно? – сухо спросил генералиссимус, с головой ученого, в одежде простого солдата.

Слон Ганнибал адресовался к старому знакомому всей передней частью своего тела, то есть не только самой выразительной ее частью в виде изгибающегося пальца на конце хобота, но и слегка трепещущими пластами ушей, и даже переступающими колоннами ног, и даже глубоко запрятанными лампочками Ильича, то есть глазами. Некоторые элементы задней части, а именно хвост, тоже участвовали в адресе, однако задние колонны стояли твердо и неподвижно, как бы устраняя всякие сомнения в том, что адрес будет услышан.

– Покайся, пока не поздно, старый знакомый! – говорил слон Сталину всем своим телом. – Вот, посмотри на меня, я каюсь уже семьдесят лет в том, что однажды задней левой задавил шакаленка. А ты, братец, как я заметил, ни в чем не каешься. Сделай это, пока не поздно, а то ведь сдохнешь без покаяния!

– Я вас не понимаю, – сухо ответил Сталин. Ему вдруг совсем перестало нравиться это раннее утро. Слон пришел своей дорогой в Кремль, что же, нельзя полагаться на охрану? Сова, скотина, совсем уже не пугается дневного светила, парит над плечом, значит, даже и профессор Градов как врач – говно?

Охрана между тем, стремясь исправиться, образовала круг вокруг Ганнибала. На передний край выкатили 45-миллиметровое противотанковое орудие.

Он меня не понимает, с тревогой, опять же долгой и протяжной, как тревога всей рощи, когда в ней появляется тигр, подумал Ганнибал. Он поднял хобот и протрубил какое-то свое отдаленное, радищевское страдание. Ну, теперь ты понял?

– ведите, – поморщился Сталин, но никто не решился подойти.

– Уберите, – брезгливо поправился вождь, и тогда грянула пушка. Так погибло самое крупное сухопутное животное, а мысли его, собравшиеся после выстрела в клубок, затем раскрутились и штопором вырвались из старой крепости на волю.

Глава седьмая

Архи-Медикус

Весной 1952 года в Серебряном Бору, вокруг дома Градовых, вновь появились из прошлогоднего навоза грибы-соглядатаи. Масляная морда одного из них то и дело просовывалась в прорехи обветшавшего забора. Двое других, нахлобучив шляпки-набалдашники на сморчковые физиономии, не скрываясь, прогуливались по аллее. Частенько подъезжала темно-синяя «Победа», останавливалась на углу возле будки телефона-автомата, в ней виднелись еще три землисто-мухоморных рыла.

Что это за порода людей-грибов, думал Борис Никитич. Появляются на поверхности и торчат без всякого оправдания существования. Явиться в Божий мир, чтобы стать эмгэбэшным соглядатаем! Впрочем, ведь даже эти люди могут заболеть, и тогда они присоединяются к благородному племени пациентов. Заболев, даже эти бессмысленные ядовитые грибочки становятся людьми. Страждущими людьми. Людьми, подлежащими лечению. Может быть, только тогда они оправдывают свое существование, участвуя в максимально гуманной человеческой акции: болезнь – лечение.

Соответствующие органы, собственно говоря, никогда не обделяли вниманием градовское гнездо. Телефон наверняка находился на постоянном прослушивании, участковые уполномоченные, начиная еще с младшего командира Слабопетуховского, наверняка получали специальные инструкции по надзору. Иной раз являлись необычные, пожалуй, даже странные учетчики электроэнергии и противопожарного состояния. Однако вот такой плотной осаде дом подвергался только в третий раз; так было в двадцать пятом, сразу после операции Фрунзе, в тридцать восьмом, после ареста сыновей, и вот сейчас.

Первые два раза я ничего не боялся, вспоминал старый хирург. В двадцать пятом я, может быть, и не заметил бы слежки, если бы Мэри не сказала. В самом деле, чего можно было бояться, каких пыток, если самое страшное тогда разыгрывалось у меня внутри, чтобы не сказать у меня в душе: я казался себе предателем, осквернившим весь свой род, все российское врачебное сословие. Ну а в тридцать восьмом я ничего не боялся, потому что был готов понести наказание за двадцать пятый. Или убеждал себя, что не боюсь. В общем, я был готов. В принципе, они ничего не могли придумать страшнее, чем вместо меня увести невинную. Они всегда, очевидно подсознательно, очевидно лишь в силу своей дьявольской

натуры, находили возможность унижить меня самым максимальным, непоправимым образом. Самое поразительное заключалось в том, что оба раза тогда вместо ареста и гибели на меня начинали сыпаться их благодеяния, почести, звания, повышенные оклады. Тут, очевидно, опять действовала какая-то подсознательная логика. Все-таки они, очевидно, ощущали какой-то во мне скрытый ущерб, недостаток, ну, скажем так, рыцарских качеств. Что ж, может быть, они это правильно нащупали. Страх перед ними, очевидно, всегда жил во мне, иначе я бы не поддался панике тогда, на Красной площади, когда позорно убежал от иностранца. А эта прочистка сталинского кишечника! Какой гнусный, говенный смысл заключался в этой сверхсекретной процедуре, хотя я всего лишь выполнял свой врачебный долг. Чего же мне ждать сейчас, когда в околокремлевской медицине стали происходить какие-то загадочные и зловещие события. Арестован профессор Геттингер, куда-то пропал, а стало быть, скорее всего, тоже арестован, профессор Трувси, изгнан с кафедры и ждет ареста профессор Шейдеман... Что все это значит и почему все пострадавшие – евреи? Если это имеет отношение к уничтожению Еврейского антифашистского комитета, к исчезновению десятков, если не сотен еврейских интеллигентов, не значит ли это, что теперь и медицину пытаются пристегнуть к антикосмополитической, антисемитской кампании?

Однако я-то тут при чем, ведь я не еврей, думал он, и тут же его продирала дрожь позора. Жаль, что я не еврей, думал он. Я хотел бы быть евреем, чтобы избежать двусмысленности. Для этих бесов всякий российский интеллигент должен быть евреем, потому что – чужой!

Не могу я заканчивать жизнь, прочищая их грязные людоедские кишки, думал несчастный Борис Никитич Градов, профессор и академик и кавалер многих советских орденов. Заклинаю вас, гады, возьмите меня и расстреляйте! Все мои внуки уже выросли, как-нибудь пробьются, уцелеют; я больше не хочу жить рядом с вами!

Такие мысли иногда приходили во время бессонных ночей. Однажды он постучался в комнату Агаши, из-за двери которой пробивалась узенькая полоска света. «Агашенька, дорогая, не бойся, это я, Бо!» За дверью возник переполох, едва ли не паническое шуршание, топоток, метание туда-сюда. Наконец дверь приоткрылась, старушечка с мышинными хвостиками косичек, в длинной байковой рубаше трепетала в проеме, на кончике носа очки. «Что случилось-то, Борюшка?» Он погладил ее по голове: «Ну, дай мне войти, родная».

За 45 лет, что Агафья прожила в этом доме, такое случилось впервые,

чтобы Борюшка, извечно любимый, пришел к ней в комнату. Ох, грехи наши тяжкие, а ведь как когда-то, в молодые-то сочные годы, мечталось о таком! Вот тихонький скрип в ночи, и Борюшка входит, и ласкает, и милует, и мучает немножко, и мы все трое еще больше друг друга любим, и Борюшка, и Мэрюшка, и Агашенька... Несметное ж количество раз грешила в мечтах!

Он вошел и сел на шаткий венский стул. Она, трепеща, на краешек кровати присела.

– Агашенька, родная, – проговорил он, – ведь ты же Библию читаешь, где там сказано про зверя?

Она успокоилась сразу и важно покивала:

– А это, Борюшка, в «Откровении Иоанна Богослова».

Борис Никитич кашлянул:

– Не дашь ли мне Библию посмотреть, Агашенька? Мне нужно, ну... для работы, я ведь, знаешь, сейчас почти беллетристику пишу...

Ей неловко было видеть, как Борюшка смущается. Немедленно кинулась и тут же извлекла желаемое из-под подушки. Значит, как раз Библию и читала, когда постучал. По ночам, значит, читает, чтобы не смущать позитивно мыслящего профессора.

«Позитивное мышление – это чистейший примитив», – думал Борис Никитич, медленно, с Библией под мышкой проходя по сильно скрипящим полам – пора перестилать паркет, пора, кроме того, обновить забор, чтобы не заглядывали в прорехи эти грибные морды. «Как мало это мышление понимает человека, вернее, как мало оно старается понять. Что за странную модель мира предлагает нам диалектический материализм? Ведь это же не что иное, как фантом примитивизма, если не дьявольского, со скрытой усмешкой, одурачивания. Это все равно, что вот этого Архи-Меда изобразить в виде картонной полой копии и сказать, что это и есть Архи-Мед».

Год назад внучка Ёлка подарила ему на семидесятипятилетие толстолапого щенка немецкой овчарки.

«Вот тебе, дед, на память о Пифагоре, изволь, – АрхиМед! – хохоча от удовольствия, пояснила она. – Только этот Архи-Мед пишется через черточку, ибо он не кто иной, как Архи-Медикус, как и ты, мой любимый дед!»

Естественно, все сразу влюбились в наследника Пифагора; «если только это не сам Пифочка к нам снова явился», – добавляла Мэри, а Агаша, разумеется, тут же заменила гордое имя на Архипушку. Едва начав подрастать, Архи-Мед тут же выделил из всех главного, папу Бориса, и

стал за ним всюду ходить. Переставал ходить только тогда, когда старый профессор садился, ложился или уезжал из дома. Вот и сейчас, став уже огромным годовалым красавцем, Архи-Мед, полусонный, все-таки сопровождал бессонного старика по скрипучему паркету и сел рядом с ним, возле кресла, точно так же, как Пифагор когда-то садился. Ну, в самом деле, похоже на реинкарнацию, жаль только, что на моем месте не сидит в расцвете лет новый пятидесятилетний профессор, еще не пришибленный операцией над наркомом Фрунзе. Он открыл «Откровение Иоанна Богослова» и сразу нашел о звере:

«...и поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему? и кто может сразиться с ним?

И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть...

...и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком и племенем.

И поклонятся ему все живущие на земле...»

Борис Никитич читал и перечитывал тринадцатую главу «Откровения» и думал о том, какая тут сокрыта тайна и можно ли все эти таинства и пророчества приложить к тому, что происходит в XX веке, ведь за первым зверем приходит второй, его прямой наследник и «...обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя...». В молодые годы, в расцвете, в зрелости Борис Никитич к этим тайнам если и обращался, то с улыбкой. С незлой, надо признать, улыбкой, но со снисходительной улыбочкой, естественной перед некими поэтическими вольностями. Сейчас, вдруг, словно бездонный космос открылся ему со всем ужасом непознаваемых тайн... «Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть».

Как я могу это постичь своей дарвинистской и материалистической башкой, думал Градов. Что это за страшные знаки и предначертания? Ясно только, что наше время пришлось на власть зверя и лжепророчества. Вся эта подмена христианских ценностей новыми ценностями суть не что иное, как лжепророчество и дьявольская насмешка. Даже ведь и крест, символ христианской веры, заменен его вывернутыми, искривленными, изогнутыми карикатурами, нацистской свастикой и нашим жуком, серпом и молотом. Подменяется все: и государство, и политика, и экономика, и искусство, и наука, и даже самая человеческая из наук пошла наыверст, и смысл этой подмены состоит только в самой подмене, в издевательской усмешке, которая к нам обращена из неживого космоса...

В одно туманное, с пробивающимися сквозь пелену лучами весеннее утро из округи исчезли грибные мордочки шпиков, и едва только он это заметил, как позвонил телефон. Говорил из 4-го управления Минздрава некто могущественный, предположим, Царенгой Вардисанович.

– Сегодня, в шесть часов вечера, Борис Никитич, за вами придет машина. Вам предстоит важное правительственное задание.

– Нельзя ли уточнить, Царенгой Вардисанович? Ведь мне нужно подготовиться.

– Нет, уточнять сейчас нельзя. Все будет уточняться в процессе выполнения. Могу сказать лишь, что это важнейшее правительственное задание. Постарайтесь отдохнуть и быть свежим к шести часам вечера.

Неужели опять к нему, к воплощению зверя? После тридцать восьмого Градов ни разу не видел Сталина, однако до него иной раз доходило, что вождь не забывает своего спасителя – прочистителя. Больше того, имя Градова для него стало как бы каким-то талисманом, как бы такой последней инстанцией в медицине: любые, мол, Трувси-Вовси, Геттингеры-Эттингеры могут провалиться, но останется Градов, и этот никогда не подведет!

Он не ошибся: машина новой модели ЗИС с ослепительно белыми ободами колес повезла его к Сталину, но не туда, где он уже однажды священнодействовал над бесценным телом, не на ближнюю дачу в Матвеевской, а прямо в Кремль.

Вождь на этот раз не стонал в полукомадном состоянии, а, напротив, лично открыл дубовую дверь и своими собственными ногами вошел в приемную, где среди хороших ковров и кожаной мебели ждал его профессор Градов. Они пожали друг другу руки и уселись в кресла vis-a-vis. Основательно постарел, подумал Градов, глядя на полуседыя волосы и набрякшее мешочками и оползнями лицо. Снимки не передают истины.

– Не молодеем, – прямо отвечая на его мысли, усмехнулся Сталин.

– Я намного старше вас, товарищ Сталин, – сказал Градов.

– Всего лишь на четыре года, товарищ Градов, – снова усмехнулся вождь, само добродушие. У него подрагивали пальцы здоровой руки: волнуется.

– Чем я могу быть вам полезен, товарищ Сталин?

Сталин прокашлялся в платок. Застойный бронхит многолетнего курильщика.

– Я бы хотел, чтобы вы сделали мне полный медицинский осмотр, профессор Градов.

– Но ведь я не терапевт, товарищ Сталин.

Если бы кто-нибудь из ведомых этим человеком миллионов в этот момент посмотрел на вождя, не нашел бы и струйки грозной, гипнотизирующей силы. Сталин не любил – читай: боялся – врачей: ему всегда казалось, что начни с ними иметь дело, так и покатишься безостановочно к концу; последнее же понятие просто не умещалось в сознании. Что же это за вздор такой, к концу, к концу всего дела, что ли, к концу коммунизма? При всей неприязни к медицинскому персоналу, всегда, начиная еще с тридцатых, была у него в уме некая окончательная преграда, последний резерв: профессор Градов. Это имя олицетворяло для него нечто более существенное, чем «передовая советская медицина». И вот, по некоторым причинам, приходится вызывать этот последний резерв и, стало быть, уповать только на него, не оставляя уже никаких вспомогательных сил. Впервые за долгие годы Сталин снова почувствовал страннейшую зависимость от другого человека, и это выводило его из себя. Однако мы, профессиональные революционеры – как замечательно однажды охарактеризовала его Светлана, написав в анкете: «отец – профессиональный революционер», – мы, профессиональные революционеры, не имеем права на обычные человеческие слабости. Еще Троцкий когда-то хорошо сказал: «революционер – это рупор веков», или это не он, нет тут что-то не то, Троцкий ничего не мог хорошего сказать, он – пособник Гитлера и Черчилля... нет... кто передо мной?... да... доктор Градов, профессор Градов, врач милостью Божией... нет, так нельзя сказать...

От Градова не ускользнуло, что несколько секунд Сталин был в странном замешательстве, однако затем он сказал своим привычным весомым тоном:

– Я считаю, профессор Градов, что вы, прежде всего, врач... хм... по призванию... вы – выдающийся знаток человека, что подтверждается вашей последней книгой «Боль и обезболивание».

Борис Никитич был поражен:

– Неужели вы знакомы с этой книгой, товарищ Сталин?

– Да, я читал, – с природной скромностью и не без удовольствия произнес Сталин. Поразить собеседника неожиданной осведомленностью – это всегда приятно.

Тут уже профессор Градов заволновался:

– Но ведь это сугубо специальная книга, сугубо медицинская, биологическая, во многих местах даже биохимическая. Широкому читателю вряд ли...

Что-то не то говорю, подумал Градов и еще больше заволновался.

Сталин улыбнулся, протянул руку, слегка притронулся к колену профессора:

– Разумеется, я не вникал в медицинские тонкости, однако общее гуманистическое направление даже и мне, широкому читателю, удалось проследить. Человек и боль – это, может быть, самый фундаментальный вопрос цивилизации. Я не удивлюсь, если узнаю, что вы удостоены за этот труд Сталинской премии первой степени. Хотя, должен признаться, мне показалось, что кое-где там звучат пессимистические нотки, но мы не будем их касаться.

Каков фрукт! Именно так, фрукт, и подумал Градов о своем собеседнике. Даже пессимистические нотки уловил в медицинском трактате. Странно начинается наш разговор. Тут, очевидно, я действительно могу и премию получить, и башки лишиться. Подумав об этом, он успокоился и даже повеселел.

– Итак, Иосиф Виссарионович, вы хотите, чтобы я сделал заключение о состоянии вашего здоровья. Разрешите мне, прежде всего, узнать, как вы себя чувствуете?

Каков фрукт, подумал Сталин, даже не поблагодарил за высокую оценку его книги. Как будто не понимает, что пессимистические мотивы его книги тоже могут быть взяты под прицел. Впрочем, это ведь профессор Градов, это ведь не какой-нибудь там Эттингер или Вовси, это уж врач... врач по призванию... С ним надо отставить в сторону весь политический аспект моего здоровья...

– Я чувствую себя, в общем, вполне... – хмуро заговорил он. Как сказать: вполне нормально? Тогда зачем вызывал? – Вполне работоспособным, – продолжил он. – Однако возраст уже солидный, и товарищи по Политбюро...

– Простите, Иосиф Виссарионович, – мягко, в паузу, вступил Градов, – но меня сейчас как врача интересуют не мнения членов Политбюро, а ваши собственные, как моего сегодняшнего пациента, ощущения. Жалуетесь ли на что-нибудь?

Ему показалось, что Сталин в этот момент с досадой глянул на обшитые дубовыми панелями стены приемной. Неужели этот Градов заметил, что я боюсь подслушивания, подумал Сталин.

– Как ваше имя-отчество? – вдруг, неожиданно для себя самого, спросил он профессора.

Градов даже вздрогнул: книгу «Боль и обезболивание» прочел, а имени и отчества не помнит.

– Меня зовут Борис Никитич.

– Хорошо, – кивнул Сталин. – Так удобнее обращаться, Борис...

– Никитич, – еще раз подсказал Градов.

– Жалобы есть, конечно, Борис Никитич. Увеличилась утомляемость. Бывает большое раздражение. Кашель. Боли в груди, в руках и ногах. Бывает, голова кружится. Желудок не всегда идеально функционирует. Моча шалит... вот такие дела, то да се... Борис Никитич... Ну, знаете, в наших краях люди до ста лет живут... – В этот момент Градову показалось, что Сталин повысил голос. – До ста лет спокойно живут. Жалуются, но живут, – он улыбнулся, видимо вспомнив кого-то в «своих краях».

– Ну что ж, давайте работать, Иосиф Виссарионович, – сказал Градов. – Я начну с личного опроса, как мы говорим, «сбора анамнеза», и осмотра, а потом, как вы понимаете, нам понадобится оборудование и помощники.

– Оборудование, помощники... – недовольно пробормотал Сталин. Очевидно, он как-то иначе представлял себе свою встречу с профессором Градовым.

– Ну, конечно, Иосиф Виссарионович, как же иначе? Без рентгенограммы, ЭКГ, лабораторных данных я не смогу сделать заключения. В связи с этим я бы предложил, чтобы мы с вами перебрались на Грановского...

– Никакого Грановского! – оборвал его Сталин. – Все можно сделать в Кремле!

Повернувшись в кресле, он нажал кнопку на письменном столе. Почти немедленно в комнату вошли два человека в белых халатах. Оказалось, что по соседству ждет распоряжений целая группа сотрудников 4-го управления.

– Ну что ж, прекрасно, это еще удобнее, – проговорил Градов.

Он поздоровался за руку с вошедшими и попросил первым делом принести... он чуть было не сказал «историю болезни», но вовремя поправился – историю медицинских осмотров товарища Сталина. Спецврачи замялись, робко поглядывая на своего чудовищного пациента.

– Принесите! – буркнул Сталин. Он все больше мрачнел. Профессор Градов, оказывается, тоже не может обойтись без этой медицинской формалистики.

«История медицинских осмотров товарища Сталина» оказалась тоненькой папочкой с тесемками. Открыв ее с конца, Борис Никитич сразу же увидел совместное заключение профессоров Геттингера и Трувси, то есть двух исчезнувших недавно светил терапии: «Гипертоническая болезнь, артериосклероз, коронарная недостаточность, эмфизема легких, глубокий

бронхит, явления легочной недостаточности, подозрение на склеротические изменения почек в сочетании с хроническим пиелонефритом...» Ну и букетик! «Диагноз подлежит уточнению после проведения цикла клинических анализов», – написано было хорошо знакомым Борису Никитичу почерком Трувси. Может быть, за это их и упекли, за этот диагноз? Может быть, и меня здесь ждет «таинственное исчезновение»?

Он попросил Сталина снять китель. Исторический, очевидно, любимый и удобный, в котором, быть может, еще и первая сталинская пятилетка зародилась, пообтертый на обшлагах. Все тут принадлежит истории: китель, байковое нижнее белье, галифе на подтяжках, не говоря уже про шевровые сапоги. В историю, по всей вероятности, не войдет сильный запах стариковского пота: вождь, очевидно, среди государственных дел забывает принимать ванну. А может быть, у него идиосинкразия к ваннам, чудится влетающая в разгаре омовения Шарлотта Корде? Шутки такого рода неуместны во время медицинского осмотра, профессор Градов, даже если они лишь мелькают ласточками среди ваших серьезных, как тучи России, соображений. Прежде всего перед вами пациент. Он прощупал дряблое тело вождя...

– Вы не занимаетесь физкультурой, товарищ Сталин?

– Ха-ха, что я, Ворошилов?

...Прощупал железы, в том числе и в паху, для чего попросил генсека приспустить галифе. Открылся длинный вялый шланг; говорят, что у всего старшего поколения вождей вот такие длинные шланги. Бориса Никитича очень интересовали сосуды конечностей вождя. Предположения его подтвердились: нижние части голеней и икры были изуродованы синюшными вздутиями, набухшими гематомами. Варикозное расширение вен, облитерирующий эндартерит...

– У вас немеют ноги, Иосиф Виссарионович?

– Бывает. У вас разве не немеют, профессор Градов?

Опять забыл мое имя и отчество или раздражен? Старая, большевики, видимо, дико раздражаются против своих врачей. У Сталина явная «иатрофобия», он ненавидит врачей, потому что они разрушают миф величия.

Он сильно пристукнул Сталина сзади в области почек. Дедовский метод: нижней частью ладони сначала по одной, потом по другой. Почки больны, левая больше больна, нежели правая. Теперь вам нужно прилечь на спину, Иосиф Виссарионович. Мнем всеми чуткими, хоть и семидесятишестилетними пальцами, – в каждом 55 лет медицинской практики, считайте, все вместе 550 лет медицинской практики

представляют здесь эти пальцы! – мнем ими дряблый живот, отлично ощущаем даже сквозь слежавшийся за годы нашей славы жир вождя его внутренние органы; как ни презираешь человека, а все-таки в роли пациента он вызывает у тебя сердечное сочувствие – вот его дуоденум, панкреас, мгновенная болевая реакция, печень, конечно, увеличена, уплотнена, бугриста, не исключено что-нибудь совсем нехорошее, хотя в этом возрасте это уже течет вяло, замедленно; эти органы-то его ведь в самом деле ни при чем, они ведь такие же, как у всего человечества, ей-ей, ни коллективизация, ни чистки тридцать седьмого года в этом рыхлом пузе не прощупываются; обычная печальная человеческая судьба; газы, перистальтика, изжога, вкус свинца во рту... нет-нет, это не тогда, когда стреляют в рот, а когда почки не справляются со своей очистительной функцией.

Приступим теперь к перкуссии и аускультации. Тот же несчастный Трувси – мы с ним как-то замечательно играли в шахматы после ужина в Доме ученых – не раз мне говорил, что хирург не убил во мне терапевта. Боже мой, чего мы только не слышим и не простукиваем в грудной клетке отца народов! Хрипы, сухие и влажные, выпоты экссудата в нижних частях плевры, глухие тона в верхушках легких, сердце увеличено, аритмия, шумы... Как он еще может ходить со всем этим кошачьим концертом. Ко всему прочему, стойкая «обезглавленная гипертония», амплитуда угрожающе мала...

Сталину все меньше нравился профессор Градов, опять забыл, понимаешь, его имя-отчество. Он задает неуместные вопросы. Такие вопросы нельзя задавать самому главному человеку так называемого человечества, даже если он твой пациент-шмациент. Чувствуется по рукам, что он меня не любит, в руках нет волнения, какое бывает у всех народов. А что я ему плохого сделал? Из заключенного его сына сделал маршала Советского Союза, это плохо? По просьбе «товарищей по оружию» выпустил в царство капитализма вдову, известную в Москве «прости-господи». Ради гуманизма отдавали не худших женщин. Может, он злится на меня за второго сына, троцкиста? Вдруг почему-то отчетливо припомнилось, как Поскребышев докладывал о письме маршала Градова в защиту брата и как сформулировалась тогда резолюция: «Приговор оставить в силе». Нельзя было тогда помиловать троцкиста: политически это могло создать нехороший прецедент и резонанс. Вот именно: резонанс и прецедент.

– А как поживает ваш сын Кирилл Борисович Градов? – вдруг спросил Сталин.

Профессор в этот момент был сосредоточен на прослушивании аорты, и ему показалось на мгновение, что именно из этой кровеносной трубы, очевидно забитой холестериновыми бляшками, словно из порожиистой колымской реки, донеслось до него имя сына. Вспомнил имя! Неужели он обо всем еще помнит с таким склерозом?

– Спасибо, Иосиф Виссарионович. Он находится в ссылке. Здоров. Работает...

– Если возникнут просьбы в связи с вашим сыном, обращайтесь, Борис Борисович, – сказал Сталин, гордо отвлекаясь взглядом в окно, за которым в весенних оптимистических струях летел над куполом не выцветающий ни при каких обстоятельствах флаг державы, надежда миролюбивых народов мира.

Он говорит «спасибо», но это вовсе не означает, что он просит, что он мой друг. Он чему-то нехорошему научился у этих умников евреев. У этих профессоров нет исторической благодарности. Мы спасли их от «черной сотни» и от Гитлера, а они все равно смотрят на нас, как на голого человека, как на учебное пособие для своих теорий. А ведь профессиональный революционер – человек особой закалки, так Троцкий говорил. Нет, Троцкий ничего не говорил. У Льва было слишком большое самомнение, и он ничего хорошего не говорил. Если бы он был скромнее, не возникло бы такое безобразное явление, как троцкизм. Теперь поздно говорить. Вовремя не выкорчевали, и вот он распространяется по всему телу, принимает форму этих безобразных диагнозов. Профессор Градов может оказаться невольным пособником международного троцкизма. Нет, не этого я от тебя ждал, генацвале! Нередко воображалось, что после разгона всех этих олоокремлевских трутней приходит профессор Градов, вечный спаситель, тот, что когда-то уже разогнал излишки свинца, пробил путь в Алазанскую долину, то есть, по-мужски говоря, помог просрать, внес свою лепту в борьбу за всеобщее счастье, вот он приходит, лоб высокий, глаза ясные, руки теплые. Бережно и легко, тактично проводит осмотр, после чего говорит: «Сталин-батона, да ты здоров, как весь СССР, и не обращай внимания на то, что тебе говорят все эти Трувси-Вовси, Геттингеры-Эттингеры!» Вместо этого он прощупывает каждую жилку, прослушивает каждую клетку, как будто решил узнать, от чего я умру. В том смысле, что сдохну без покаяния. Странное желание, ничем не лучше антисоветского шпионажа. Ведь его же вызывают опровергнуть, а не подтвердить, неужели он этого не понимает? Странная глухота, надо будет внимательнее перечитать его книгу «Боль и обезболивание», там внезапно может многое открыться. Может быть, я, великий Сталин, как тут все

вокруг кричат, уже приговорен и теперь остался совсем один, как в школьные годы, без помощи и без покаяния? «Отпусти мне грехи мои, Владыко», – еле слышно по-грузински пробормотал пациент. Нет, это не то, не к тому обращаюсь...

– Вы что-то сказали, товарищ Сталин? – спросил Градов.

Сталин вынырнул из тяжелой дремоты, усмехнулся:

– Нет-нет, вы меня немножко просто усыпили своим осмотром, профессор.

– Ну что ж, осмотр закончен, – с профессиональной бодростью сказал врач, – а теперь, Иосиф Виссарионович, мы вместе с персоналом должны будем снять у вас электрокардиограмму, сделать рентгеновский снимок грудной клетки, анализы крови и мочи. После этого мне понадобятся часа два для анализа всех этих данных.

– Значит, после анализов я смогу вернуться к делам? – спросил вождь.

– Если можно, никаких дел сегодня, Иосиф Виссарионович. Лучше всего было бы отвлечься, почитать что-нибудь легкое или посмотреть кино.

– Сегодня вы хозяин в Кремле, – хмурая шутка была произнесена каким-то совсем не шутливым, скорее, зловещим тоном. Градов, никак не отвечая на шутку – приглашаешь врача, изволь подчиняться, будь ты хоть трижды дракон своей страны, – открыл дверь в смежную комнату и громко сказал:

– Попрошу халат для товарища Сталина! Какой халат? Лучше всего теплый халат!

Среди персонала возникла бестолковая суета.

– Идиоты, – устало сказал Сталин.

Градов пожал плечами. Общее недовольство бестолковостью персонала как-то смягчило их взаимоотношения. Вдруг произошло одно из кремлевских чудес: явился халат. Только что не было никакого халата, и вдруг смятение и ужас родили великолепный махровый, тяжелый и длинный, почти до пола халат, никоим образом не унижающий человеческого достоинства генерального секретаря, а, напротив, даже поднимающий это достоинство. Эти длинные одежды увеличивают достоинство руководителя; почему к ним не вернуться?

Вместе со Сталиным, ведомый двумя холопами в белом, профессор Градов отправился по кремлевскому коридору в процедурные кабинеты медсанчасти. В почтительном отдалении позади тащилась целая толпа других холопов.

...На все худо-бедно ушло не менее трех часов, прежде чем Сталин и Градов снова оказались наедине.

– У меня сложилось впечатление, Иосиф Виссарионович, – начал Градов говорить любезным, но отнюдь не заискивающим, даже, пожалуй, чуть-чуть слишком не заискивающим тоном для хорошего тона, – что состояние вашего здоровья вызывает серьезные опасения. Кроме медикаментозного лечения, список которого я подготовил, я бы предложил для такого больного, как вы... – Сталин при этих словах, «больного, как вы», глянул на него подышающим тигром... – я бы предложил более важные даже, чем медикаменты, мероприятия, а именно полную перемену образа жизни. Две ваших самых главных беды, товарищ Сталин, то есть я хотел сказать, две ваших главных заботы – это колоссальное нервное напряжение и наличие в организме избыточного количества вещества, именуемого холестерин. Мировая медицина, к сожалению, пока не может на должном уровне провести ангиографию ваших сосудов, однако я боюсь, что они сильно изменены холестерином. Есть, однако, способы уменьшить этот проклятый, забивающий артерии холестерин. Прежде всего следует немедленно и бесповоротно бросить курить. Затем категорическим образом изменить питание, то есть полностью исключить животные жиры, сосредоточиться главным образом на овощах и фруктах. Третий важнейший фактор: движение. Под руководством специального врача вам следует приступить к ежедневным физическим упражнениям, сначала очень легкого характера, потом увеличивать. Что же касается нервных перегрузок, то их надо категорически избегать, полностью устранить их из своего режима дня, иными словами, вам нельзя более работать так, как вы работаете сейчас. В принципе, вам вообще нельзя работать, Иосиф Виссарионович.

– Вы понимаете, что вы говорите, профессор Градов? – перебил его Сталин и так посмотрел на врача, как будто не Градов ему, а он Градову ставит в этот момент нехороший диагноз. – Вы понимаете, что это значит: мне перестать работать?

Градов выдержал взгляд с прохладным спокойствием. Он уже решился. Больше не запугаете. Мне семьдесят шесть лет, и больше я не потеряю ни капли своего достоинства. Может быть, даже восстановлю несколько капель. А зачем они тебе, эти капли, в семьдесят шесть лет? Вот, вообразите, генералиссимус, они мне нужны.

– Понимаю я или не понимаю, что это значит в политическом смысле, не имеет в данный момент большого значения. Меня пригласили сюда как врача, и я без всяких утаек сообщаю вам свое врачебное заключение, товарищ Сталин.

– Это любопытно, – произнес Сталин, еле сдерживая гнев и тоску:

пропал, улетучился многолетний его охранительный символ, именуемый профессор Градов, перед ним сидел холодный и спокойный почти враг. – Любопытно, что заключение старого русского врача совпадает с мнением этих Геттингера и Трувси.

– Профессора Геттингер и Трувси, товарищ Сталин, крупнейшие специалисты в области кардиоваскулярной симптоматики, и я очень жалею, что не могу сейчас с ними проконсультироваться.

Градов внимательно смотрел на лицо Сталина, в котором временами, по ходу этого разговора, вдруг проявлялось что-то молодое и бандитское. Знает ли он о том, что профессора исчезли? Неужели это по его прямому приказу они исчезли? Трудно что-либо прочесть на этом лице, кроме страшной и подлой власти.

Сталин вдруг встал и пошел в дальний конец кабинета, где постоял некоторое время спиной к Градову под картиной Бродского, на которой Ленин сидел среди складок мебельных чехлов, похожих на попоны слона.

– Мне не нравится, как вы тут занимаетесь физиономистикой, профессор Градов, – сказал он, не оборачиваясь. – Скажите, а какого вы мнения о профессоре Виноградове? – С мимолетным юмором он нажал на «вино», то есть на то, отсутствие чего характеризовало фамилию его собеседника.

– О Владимире Никитиче? – Градов вдруг совершенно не к месту вспомнил, что к этому заведующему кафедрой факультетской терапии Первого меда недавно приклеилась странная кличка Куцо. Он страдал заиканием, и логопеды предписали ему в такие моменты, в порядке самогипноза, произносить слово «куцо», что он и делал весьма успешно на лекциях к великому восторгу студентов. – Владимир Никитич Виноградов тоже является большим и выдающимся терапевтом нашего времени.

– Я вас больше не задерживаю, профессор Градов, – сказал Сталин и тут же покинул кабинет.

Ну, вот и все. Борис Никитич откинулся в кресле и закрыл глаза. Увижу ли я сегодня свой дом? Это под большим вопросом. Промелькнуло выражение безграничной любви в глазах Архи-Меда. Ничего впрямую не сказав, я показал, что больше их не боюсь. Вряд ли они прощают такие демонстрации. Несколько минут он сидел с закрытыми глазами. За ним не шли. Два уборщика ввезли в комнату тяжелый агрегат – пылесос. Тогда он поднялся и пошел к выходу. Часовые в коридорах провожали его бесстрастными взглядами человекообразных следящих устройств, однако не делали ни малейших попыток остановить либо сопроводить.

В нижнем холле дежурный офицер молча показал ему на отдаленную в

глубину помещения линию стульев, а сам снял телефонную трубку и что-то тихо доложил.

Градов сидел в этом пустынном холле не менее получаса. По разработанной им самим методике он старался ни о чем не думать и не менять позы, дабы смирить накатывающие дрожь и головокружение. Нечто вроде виноградовского способа преодолевать заикание, только вместо «куцо» в уме повторяется произвольная чередка слов: «бом, мом, бром, гром, фром, сом, ком, флом...». Таким образом ты ограждаешь себя от внешних влияний и в то же время все-таки еще присутствуешь в мироздании на правах, скажем, маленького пруда с лилией.

Вдруг позвали: пришла машина. Что пришло? Куда пришло? Почему пришло? Зачем пришло? За кем пришло? И наконец: за мной пришла машина, вывозят из Кремля. В машине был только шофер, но профессору Градову указали на заднее сиденье. Выехали из Кремля через Боровицкие ворота и почему-то остановились возле Манежа. Подошли два мужика в черных костюмах, влезли с двух сторон на заднее сиденье, сильно сжав профессора Градова и обдав запахом лошадиного пота. «Шляпу сними!» – приказал один из них. «Простите?» – повернул к нему лицо профессор. «Шляпу сними, старый мудак!» – рявкнул второй и, не дождавшись добровольного снятия шляпы, сорвал ее с головы профессора и швырнул на переднее сиденье. После этого на глаза профессору была надета тугая, непроницаемая повязка. Машина тронулась и ехала куда-то какое-то время; покачивалось озерцо с лилией, над ним враскоряку повисали фразы, медлительно произносимые двумя мужиками: «Ну, а он чего?» – «А он ничего». – «А она-то чего?» – «А чего ей?» Помимо захвата профессора Градова у них еще были свои дела.

Машина остановилась, и с профессора сняли повязку. Вокруг был тускло освещенный, ничего не говорящий двор многоэтажного дома. Его ввели в подъезд и подняли на лифте. За дверью оказалась чередка комнат с ничего не говорящей мебелировкой. В одной из них вышел навстречу профессору невысокий округленный человек с ничего не говорящим лицом. Кое-что все-таки говорил его китель с генеральскими погонами.

– А, привезли это говно! – петушиным голоском приветствовал он вошедших. – Бросьте его вон там! – Он показал на диван.

Профессора взяли под микитки и в буквальном смысле бросили на диван, отчего совершенно седые, но не поредевшие волосы Бориса Никитича упали ему на глаза, словно космы пурги.

Генерал закурил длинную папиросу, приблизился и поставил ногу на валик дивана.

– Ну что, жидовский подголосок, сам будешь раскалываться или выбивать из тебя придется правду-матку?

– Простите, что это за манера обращения? – гневно поднял голос профессор Градов. – Вы знаете, что я – генерал-лейтенант медицинской службы Советской Армии? Вы ниже меня по чину, товарищ генерал-майор!

Округлый генералишка с внешностью бухгалтера домоуправления внимательно выслушал эту тираду и даже кивнул головой, после чего спросил:

– Ты скажи, срать-ссать хочешь? Давай-ка перед началом разговора прогуляйся в галюн, старый мудак, а то начнешь тут, в чистом месте, пачкать.

Он вдруг схватил профессора Градова пятерней за галстук и рубашку, подтянул к себе,дохнул в лицо вчерашним, частично отблеванным винегретом.

– Сейчас ты, блядь, так у меня завизжишь, как ни Трувси, ни Геттингер не визжали! Мы тебе все твои ордена прямо в жопу загоним!

Не отдавая ни в чем себе отчета, Борис Никитич вдруг в ответ схватил генерала за ватные титки кителя и тряхнул, да так сильно, что у того, то ли от изумления, то ли от самой тряски, вылупились зенки, по-петрушечьи заболталась голова. Борис Никитич отшвырнул от себя мерзопакостного генерала и упал на диван. Почему я еще жив, довольно спокойно, как бы со стороны, подумал он. Откуда берутся такие неожиданные резервы организма? Кроме адреналина тут, очевидно, еще кое-что присутствует, не изученное.

Генерал, видимо потрясенный не только в буквальном, но и в переносном смысле, пытался поймать оторванную профессором и крутящуюся по паркету пуговицу. По всей вероятности, органы госбезопасности давно уже не видели подобного афронта. Пуговица раскручивалась между ножками кресла, пока наконец не легла на бок, звездой к потолку, в северо-восточном углу. Рюмин, это был он, подобрал ее и положил в карман. Ну, что мне теперь делать с этим ебаным профессором, подумал он. Решение бить пока еще не сформулировано, высказано было лишь желание попугать. Взять на себя инициативу? Рискованно даже в моей нынешней должности. Абакумов выше сидел, а вон как покатился.

Он встал спиной к профессору и снял трубку телефона, рычажок, однако, не отпустил.

– Ну-ка, пришлите ко мне Прохезова с Попуткиным! Кое-кого тут надо поучить уму-разуму!

Наверное, это те же самые, что меня везли, подумал Борис Никитич. А может быть, и другие. Мало ли тут у них таких Прохезовых и Попуткиных. Не завизжать, очевидно, и мне не удастся. Крик, визг, стон, рыдания – это естественные реакции на боль, бессознательные. Переключить сознание с ожидания новой боли на что-то другое – вот задача. Пусть это будет моим последним экспериментом...

Дверь открылась. Вместо ожидаемых горилл в кабинет вошел человек в плаще и шляпе, Берия Лаврентий Павлович собственной персоной. Он снял шляпу, стряхнул с нее брызги дождя – где же под дождь-то попал всесильный зампредсовмина, неужто пешком сюда шел или под фонарем где-нибудь стоял, мечтал? – сбросил плащ на руки Рюмину и спросил, как бы не замечая профессора Градова:

– Ну, что тут у тебя происходит?

– Да вот, Лаврентий Павлович, не желает вступать в беседу этот... этот профессор, – будто обиженный мальчик стал жаловаться Рюмин. – Я, говорит, выше вас по званию, встать, говорит, по стойке «смирно»...

– А вот так нельзя, Борис Никитич, – милейшим тоном обратился тут Берия к Градову, – партия нас учит демократичности, товарищескому отношению к младшим по званию. Кроме того, ведь этот вот генерал-майор, – он большим пальцем показал на Рюмина, – в настоящее время занимает пост заместителя министра госбезопасности.

Рюмин обмер: что это значит, «в настоящее время»? Неужели вслед за Абакумовым покачусь? Неужели «еврейское дело» решили закрыть?

– Этот человек угрожал мне в самых грязных выражениях, – произнес Борис Никитич. Все слова этой фразы показались ему несцепленными и повисшими в безобразном перекосе.

– А кто мне пуговицу оторвал?! – вдруг по-дурацки вскрикнул Рюмин. Под внимательным взглядом Берии он вдруг почувствовал, что этот крик, может быть, самая большая ошибка в его жизни.

Берия засмеялся:

– Ну что, друзья, будете считаться, кто первый начал? Послушай, Михаил Дмитриевич, ты не можешь нас ненадолго оставить? Необходимо посекретничать с профессором.

Подрагивая подбородочком, Рюмин забрал со стола какую-то папочку и вышел. Берия проводил его взглядом – в буфет побежал Мишка, коньяком подзарядиться, – потом подтянул стул к дивану и уселся напротив Бориса Никитича.

– Вы давно не любите советскую власть, Борис Никитич? – доброжелательно спросил он.

– Лаврентий Павлович, зачем вам эти приемы? – ответил с раздражением Градов. – Мне семьдесят шесть лет, моя жизнь закончилась, вы все-таки должны это учитывать!

– Почему приемы? – Берия был как бы оскорблен в лучших чувствах. – Я просто подумал, что человек вашего происхождения и воспитания, возможно, не любит советскую власть. Чисто теоретически, да? Такое бывает, Борис Никитич. Человек верно служит советской власти, а на самом деле ее не любит. Человек бывает сложнее, чем некоторые, – он посмотрел на дверь, – думают. Для нас, например, не было секретом, что ваш сын, будучи дважды Героем Советского Союза, не любил советскую власть. То есть не всегда не любил, иногда, конечно, любил. Знаете, некоторые предпочитают блондинок, но иногда им нравятся и брюнетки, но все-таки они предпочитают, конечно, блондинок.

Нет, этот профессор не воспринимает юмора. С ним по-хорошему разговариваешь, а он даже не улыбнется. Что за туча!

– Давайте все-таки по существу, Лаврентий Павлович. На каком основании меня задержали и привезли сюда?

– Разве вам не объяснили? – удивился Берия. – Это очень странно. Вам должны были еще в Кремле объяснить, что я хочу с вами встретиться. Я проверю, почему вам не объяснили. Понимаете, мы, в правительстве, очень взволнованы вашим заключением о состоянии здоровья товарища Сталина. Скажите, вы действительно считаете, что ему нельзя работать, или это у вас, так сказать, эмоциональное, что ли, ну, как бы по отношению ко всему?

– Вы можете думать обо мне все, что вам будет угодно, товарищ Берия, – с суровостью, его самого бесконечно удивлявшей, сказал профессор Градов и вдруг даже с вызовом ударил себя ладонью по колену. – Я в ваших руках, но ничего не боюсь. И вы прекрасно знаете, что я – врач, прежде всего врач! Ничего для меня нет священнее этого звания!

Интересный человек, подумал Берия. Жаль, что слишком старый. Не боится нас. Это любопытно. Это о чем-то говорит. Жаль, что он такой старый. Если бы был хоть немного моложе! И все-таки не совсем обычный, даже интересный человек.

– Борис Никитич, вот именно как с врачом разговариваю, дорогой! – взмолился Берия. – Как же иначе? Вы – большой врач, ваши заслуги во время войны титанические, понимаешь! А вашу книгу «Боль и обезболивание» каждый чекист должен изучить: ведь мы на опасном участке работы. Товарищ Сталин вам верит, как отцу родному, и вот потому, – тут вдруг Берия как бы махнул перед своим лицом темным веером и вынырнул из-за него совсем другим: лоснящиеся брыла

окаменели, очки ослепли, – вот потому мы все так и обеспокоены вашим заключением. Рекомендовать великому Сталину, человеку, буквально, знаменосцу мира, уйти с работы, это, по моему мнению, слишком смелое, слишком дерзкое, профессор Градов, заявление. Ведь это же вам не Черчилль какой-нибудь. Мы, вожди, приходим в ужас – да? – что же скажет народ?

Эти медленные слова были пострашнее хулиганских криков Рюмина, однако Борис Никитич, как бы уже приняв свою участь, сохранял на удивление самому себе полное спокойствие.

– Простите, товарищ Берия, но вы не совсем понимаете суть отношений «врач – пациент». Когда я осматриваю товарища Сталина, для меня он не больше и не меньше любого Иванова-Петрова-Сидорова. Что же касается политического аспекта этого дела, я прекрасно понимаю его важность, но не могу же я толкать своего пациента к быстрейшей гибели.

– Он, что же... обречен? – совсем уже медлительно, будто брал в руки незнакомого кота, спросил Берия.

Борис Никитич усмехнулся:

– Я думаю, вы понимаете, товарищ Берия, что каждый человек обречен. А Сталин, вопреки общему мнению, это смертный человек...

Как говорит, думал Берия, как держится! Жаль, что слишком старый, и все-таки...

– Состояние его здоровья приближается к критическому, – продолжал Градов, – однако это совершенно не обязательно означает, что он скоро умрет. Он может выйти из кризиса, принимая медикаменты и полностью изменив образ жизни. Диета, физические упражнения, полное, и на довольно длительный срок, ну, скажем, год, устранение эмоциональных, психологических и интеллектуальных нагрузок, то есть отдых. Вот и все, дело проще пареной репы.

Несколько секунд царило молчание. Лицо Берии было непроницаемо. Лицо Бориса Никитича было проницаемо. Маски не наденешь, все ясно, все сказано. А чтобы еще яснее все стало, пусть заметит мое презрение. Он усмехнулся:

– А народ, ну что ж... в нынешних условиях народ может и не заметить годового отсутствия вождя...

Интереснейший человек, едва не воскликнул Берия. Оставив профессора в прежней позе на диване с высокой спинкой, он ушел к окну, там чиркнул зажигалкой и с наслаждением закурил душистую американскую сигарету. Резиденты из-за границы неизменно привозили ему запасы «Честерфилда».

– А ведь вы не всегда, Борис Никитич, были таким стойким, нестигаемым врачом, – лукаво сказал он от окна и даже погрозил гордецу пальцем. – Я вот только сейчас перелистал ваше дело и кое-что увидел, записанное нашими товарищами еще в старые времена.

Профессор Градов порывисто встал.

– Сидеть! – рявкнул Берия.

– Не сяду! – крикнул в ответ профессор: да что это со мной? – С какой стати я должен сидеть? Предъявите ордер на арест, а потом приказывайте!

Впоследствии, пытаясь анализировать свое, столь невероятное поведение в застенках Чека и стараясь по интеллигентской привычке все-таки самого себя унизить, Градов решил, что он в эти минуты, очевидно, подсознательно почувствовал, что Берии нравится его независимость, и, стало быть, эта неизвестно откуда взявшаяся отвага – совсем и не отвага вовсе, а что-то вроде упрямства любимчика ученика.

Берия улыбнулся и произнес любезнейшим тоном:

– Слушай, старый хуй собачий, если эта информация куда-нибудь просочится, блядь сраный, если кому-нибудь скажешь о нашей встрече, понял, о нашем разговоре, я тебя отдам со всеми потрохами Мишке Рюмину и ты свою гордость проглотишь вместе со своими кишками и яйцами точно так же, говно козы, как ее твои еврейские дружки, Геттингер и Трувси, проглотили. Шкуру спустим, سراка, в буквальном смысле!

Он надел плащ, шляпу и протер шарфом очки. Любезнейшая улыбка все еще блуждала по его губам, у которых было какое-то странное свойство то сужаться, превращая рот в подобие акульего отверстия, то распускаться мясистым алчным цветком.

Страннейший человек в большевистском правительстве, вдруг совершенно спокойно подумал Борис Никитич. Меньше всего он похож на большевика. В нем есть что-то итальянское, что ли, такой зарубежный злодей. Он даже ругаться по-русски не научился. Итак, что же является самой страшной тайной: здоровье Сталина или его к этому интерес?

– А ведь мы с вами едва ли не родственники, Борис Никитич! – вдруг милейшим образом рассмеялся Берия. – Ведь супруга ваша Мэри Вахтанговна – моя землячка, ведь верно, а ведь все грузины немножко родственники, даже и мингрелы с картлийцами переплелись. Поищите в наших летописях «Картлис Цховреба» и наверняка найдете родственные связи между Берия и Гудиашвили. Не надо вздрагивать! Все мы люди, а племянник вашей супруги Нугзар Ламадзе – мой ближайший помощник. Видите, ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха, мир мал, мир мал!

– Да, мир тесен, – как бы подтвердил и в то же время как бы поправил

Градов.

Берия приблизился и запросто полуобнял профессора за плечи:

– Пойдемте, я провожу вас до машины. Не бойтесь, мне нравится ваша, понимаешь, приверженность клятве Гиппократата...

В ночном воздухе после дождя вокруг дома в конце жизни сильно и сладко пахли цветы – табаки. Сосны, подруги жизни, ровно и нежно шумели под ветром, который не исчезает никогда, самый молодой и самый древний обитатель всех пространств и закоулков земли. И в освещенном окне проходит силуэт старой подруги, единственной женщины, которую я любил всю свою жизнь, ну, если не считать нескольких медсестер в командировках, спина ее все еще не ссутулилась, седая коса тяжела, все с той же гордостью проплывают ее груди, которые я когда-то так упоенно ласкал и из которых левая так теперь обезображена недавней операцией.

Давайте теперь наслаждаться каждым миготом в родном доме, табаками и ветром и нежным видом старухи любви: надолго ли я отпущен назад, в жизнь? Почему же щенок не чувствует моего присутствия и не лает? Нет, он не сторож, заласкан моими женщинами, как и тот, предыдущий.

Срываю белый цветок табака, погружаю в него свой давно уже окаменевший нос, поднимаюсь по крыльцу, наслаждаясь каждой его ступенькой. Поднимаю руку, чтобы насладиться стуком в свой дом. Залаял Архи-Мед. Наконец-то! Это я, Архипчик, твой хозяин, архи-медикус Борис. Видишь, отпустили еще немножечко пожить.

Глава восьмая

Знаешь, я тебя знаю!

«Ну что, Град? – Порядок, Град? – Ребята, Град толкнул терапевшку! – Что отхватил? „Пйтух“? Не верю! – А ну, Град, покажь нам свой „пйтух“! – Все чин чинарем, ребята, у Града в зачетке „пйтух“! – Ой, Боренька, ой-ой, как мы тебя поздравляем! Как мы рады, что ты с нами сдавал и „отлично“ получил! Ведь ты у нас такой знаменитый! Такой красивый! Такой стильный! – Слушай, Град, ты кому сдавал, Тарееву или Вовси?..»

Студент третьего курса Первого МОЛМИ Борис IV Градов, он же чемпион Союза по мотокроссу в классе 350 кубических сантиметров, мастер спорта СССР и член спортклуба ВВС Б.Н.Градов, он же известный в Москве молодой человек Боря-Град, с наслаждением стаскивал с атлетических плеч кургузый и коротколапый белый халатишко. Амба, экзамены позади! И самое потрясающее – никаких задолженностей! Удивляюсь, как ты смог все махнуть в одну сессию, Град, сказал ему подошедший студент по кличке Плюс, боксер-перворазрядник, один из немногих однокурсников, с кем Борис держался более или менее на равных.

– «Высокие горы сдвигает советский простой человек», – пояснил Борис.

Вокруг пищали девчонки и басили, сбиваясь на фальцеты, двадцатилетние мальчишки. Град снисходительно взирал на эти телячьи радости. Народ совсем зеленый, совсем стручки. Колоссально задерживается в развитии послевоенный молодой народ. Сплошная девственность, заторможенность полового развития. Однажды, когда заглядывали друг другу через плечо, как профессор мнет живот больному, к Борису прижалась студентка Дудкина. Этой девице с ее великолепными формами давно пора было бы встать во главе передовой Москвы. Однако она трепетала при этом невольном прикосновении. Чтобы ободрить Дудкину (она к тому же еще была комсоргом потока), он положил ей руку на попку и немного даже съехал вниз, к завершению округлости. Девчонке стало плохо, черт побери! Пришлось ей дать капель Зеленина в граненом стакане. С тех пор старается его не замечать, а если вдруг перехватываешь взгляд, то в нем легко читается «письмо Татьяны». Смеху полные штаны.

И вот комсорг Дудкина как раз сейчас, после экзаменов, к нему направляется. Прямо к пожирателю птенцов.

– Боря, вы будете с нами отмечать окончание курса?

Он, будто кореш, теперь обнимает за плечи:

– Знаешь, Элька, я бы рад, да через два дня команда на Кавказ отправляется.

Губки-карамельки трогательно так задрожали.

– Через два дня... а ведь мы послезавтра... да нет, я просто так... просто тут складчина...

– По сколько складывается? – Он уже вытягивал из кармана свои «хрусты».

Глазки Элеоноры Дудкиной радостно осветились.

– По пятьдесят.

– Не много ли? – заботливо спросил он. – Не перепьются ребята? – А сам сунул ей в кармашек халата сотенную бумажку.

– Не учите меня жить, мужчина! – шикарно так, хоть и не совсем к месту, ответила она.

Цитата из «Двенадцати стульев». По курсу гуляла эта полузапрещенная книженция вкупе с «Золотым теленком» в довоенном издании, и многие студенты говорили исключительно цитатами из некогда знаменитой, а сейчас почти наглухо закрытой сатиры Ильфа и Петрова. Вот, значит, и отличница-зануда Дудкина теперь перешла к лексикону Элочки-людоедки, чтобы показать герою своих грез Борису Градову, что она тоже не лыком шита, хоть и отличница, но все-таки не зануда и что, если он придет на складчину к Саше Шабалу, его могут там ждать приятные неожиданности. Нетрудно представить это сборище стручков: цитаты из Ильфа и Петрова, радиолы с довоенными пластинками плюс «джаз на костях», то есть Нат Кинг Коул и Пегги Ли, переписанные на рентгеновскую пленку, ну и, конечно, танцы с выключением света, то есть с «обжимоном».

В принципе, может быть, и мы с Сашкой Шереметьевым были бы такими же детьми к двадцати годам, если бы не оказались в «диверсионке», где нас так здорово и быстро научили убивать. Дико после тех лет начинать все сначала, вливаться в здоровый телячий коллектив, штудировать премудрости, чтобы стать специалистом по лечению, когда ты давно уже стал специалистом по убиванию. Приводить в трепет девственниц вроде Элеоноры Дудкиной после половой закалки в спортклубе ВВС. Говорить цитатами из «Золотого тельца». Участвовать в пятидесятирублевых складчинах.

В этом году, когда начались курсы пропедевтики внутренних болезней и общей хирургии, Борис IV впервые ощутил какой-то смысл в своих

штудиях. Впервые он увидел, что перед ним не абстракция, а страждущее человеческое тело, которому нужно, а иногда даже и можно помочь. Вот, должно быть, просыпается генетический градовский зов, усмехался он про себя, требует продолжения прерванной династии. Дед, Борис III, который явно не рассчитывал, что Бабочка, с его мотоциклами, дотянет и до второго курса, бывал теперь несказанно польщен, когда на воскресных обедах в Серебряном Бору вдруг получал от внука снисходительный вопрос из сокровенной области.

И все-таки стаскивать халат и забрасывать его в угол до сентября было сущим наслаждением! Через два дня большим табором мотоциклисты и сопровождающий персонал понесутся в Тбилиси, к месту всесоюзных соревнований этого года. За несколько дней пробега выветрится из башки бесконечная московская пьянка. И потом эта Грузия, извечная родина, где он никогда не был...

Впрочем, приближался. Прошлогодние сборы в Сочи. Сочи – это почти Грузия. Волшебный край. Сверкающее море. Гостиница «Приморская» на высоком берегу в стиле «радостных тридцатых». ВВС там занимали целый этаж. Что-то неприятное выплывает из памяти при слове «Сочи». Что же это может быть? Ах да, те девчонки! Нечего притворяться, какие там «ах да», вот именно, те девчонки и их мальчишки, с которыми так жестоко, по-подлому, поступили супермены из ВВС.

* * *

Они сидели за ужином в ресторане, когда появилась та компания, шестеро юнцов с девчонками, на них сразу все обратили внимание. Это были не кто иные, как недавно обнаруженные в обществе стилиги. В газетах теперь то и дело появлялись фельетоны про стилиг, повсюду мелькали сатирические рисунки, на которых злобный стилига изображался с длинной гривой и петушиным коком на голове, в огромном клетчатом пиджаке и брюках-дудочках, с обезьяной на галстуке и в туфлях-автомобилях на толстой каучуковой подошве. Народ быстро научился освистывать этих буржуазно-разложившихся американизированных стилиг и даже иногда применять физические методы воспитания. Может быть, поэтому стилиги предпочитали появляться группами, ну, чтобы у народа реже проявлялись воспитательные наклонности.

Пришедшая в «Приморскую» в тот вечер дюжина была стилигами высшего качества, то есть имела мало общего с карикатурными образцами.

Все вроде было в стилижном наклонении, однако не утрировано, а как бы даже подогнано со вкусом. Вэвээсовские атлеты и сами были в этом наклонении, так что никто из них и не подумал про юную компанию: «Во стилиги приперлись!» Девчонки у них были классные, вот на что все обратили внимание. Все, как на подбор, девчонки – тоненькие, коротко подстриженные, с отлично подведенными глазищами.

– Эта гопа утром приехала на трех «Победах», – сказал барьерист Чукасов.

– В общем, папина «Победа», – заметил тренер по плаванию Гаврилов, вспомнив нашумевшую крокодильскую карикатуру, бичующую нерадивых деток высокопоставленных родителей. Кажется, в точку попал. Борису показалось, что он даже встречал двух-трех юнцов из этой команды, кажется, в «Ершизбе», кто-то говорил, что вот, мол, сыночки лауреатов гуляют, пока папы симфонии и металлургические трактаты сочиняют. Все посмеялись, после чего перестали смотреть на молодежь, занявшись сугубо спортивными разговорами. Так бы все мирно и сошло, если бы не появился в кабаке «хозяин», Василий Иосифович, ну, и если бы оркестр не стал подогревать обстановку бурным ритмом «Гольфстрима».

Васька был уже сильно пьян и зол. В клубе знали, что в этом состоянии он начинает искать приключений на собственную жопу. Любит придраться к чепухе и заехать кому-нибудь в морду. Однажды, между прочим, доигрался. Четверо обиженных при свете дня офицеров-реактивщиков ночью подождали всесильного сыночка у ангара, накрыли тулупом и поучили его втемную. Наутро весь дивизион ждал всеобщего, прямо у боевых машин, расстрела. Однако, к чести Васьки следует сказать, он даже виду не подал, что ночью с ним что-то случилось. Только постанывал, притрагиваясь к побитым бокам, да матерился больше обычного.

На пользу ему этот урок, впрочем, не пошел. Выдув бутылку коньяку, немедленно начинал выискивать новое приключение. Так и тогда в «Приморской» подошел к краю стола, по-атамански уперся кулаками, обвел всех ребят нехорошими глазами – «Ну, что вы тут, ебвашукашу, сидите, как хуесосы, котлетки жуετε?» – и тут же заказал подскочившим официантам пятнадцать бутылок коньяку. Тренерам это, как всегда, не понравилось: с одной стороны, Василий Иосифович спаивает ребят, а с другой – требует высоких спортивных результатов. Давайте договоримся, товарищ генерал-лейтенант: или то, или другое – или спорт, или рыгаловка. Для него же это без разницы, все аргументы побоку.

Постепенно, по мере снижения уровней в пятнадцати бутылках,

спортсмены стали проявлять больше внимания к полукруглому залу «Приморской», за высокими окнами которого колыхались кипарисы, плыла извечно вдохновляющая молодежь луна. Там был такой маленький толстенький рыжий еврей с могучим сакс-баритоном. Вот он, вкупе с барабанщиком, и накачивал ритм «Гольфстрима». Под этот ритм вновь прибывшие и выкаблучивали, поддразнивали своих девчонок, подбрасывали их юбками кверху, сами подпрыгивали, и все это с очень серьезными, едва ли не драматическими лицами, как будто бросали вызов существующему порядку.

– А ну, ВВС, давайте у них девчонок уведем! – сказал вдруг Василий Иосифович. – Почему это такие девчонки с пацанами сидят, а не с настоящими мужчинами? Справедливость, я считаю, должна быть восстановлена.

Ребята, посмеиваясь, пошли приглашать девчонок на танец, а тех, что уже танцевали со своими дружками, отхлопывали. Вместе со всеми отправился и Боря IV Градов, потомственный московский интеллигент. Впоследствии он не раз себя спрашивал: что со мной случилось в те годы, почему я так легко покупался на дешевку в команде Васьки Сталина? Может быть, ловил этот привкус экстерриториальности, принадлежности к своего рода «мушкетерам короля», которые даже всесильному МГБ с его «Динамо» бросают вызов? В принципе это, должно быть, было какое-то подсознательное желание возродить дух «диверсионки», не подчиняющейся никому, кроме верховного командования. Так или иначе, в течение двух лет он был одним из ближайших сподвижников коммунистического «принца крови». Именно он, весь в коже, на ревущем мотоцикле увозил давнишнюю, еще со школьных лет, Васькину зазнобу, жену знаменитого драматурга. Именно он отбивал у динамовцев только что привезенного из Белоруссии могучего дискометателя. Именно он участвовал в идиотской шутке Васьки, когда «кирюху», заснувшего в полночный час под памятником Пушкину в Москве, реактивным самолетом перебросили под памятник Богдану Хмельницкому в Киеве, а потом потешались, глядя, как тот ничего не узнает, проснувшись. Да сколько еще такого было за эти годы, пьяного, дурного и наглого суперменства! Что же, врожденные, что ли, у меня были такие наклонности к свинству или приобретенные во время войны? Такие вопросы задавал себе Борис много лет спустя, однако в то раннее лето 1952 года он таких вопросов себе не задавал, а только лишь отмахивался от чего-то неприятного, связанного с курортом Сочи.

Из тех шестерых трое оказались самбистами неплохого класса, а один

из этих трех, уже в самом разгаре драки, вдруг применил незнакомый прием и саданул Борю-Града пяткой своего «говнодава» прямо под челюсть. Такого не встречалось даже и в Польше. Борис немного «поплыл» под несмолкающий гул «Гольфстрима», в течение секунды пытаюсь определить, из какого куста бьет пулемет, то есть куда надо бросать гранату... Противник, однако, не смог воспользоваться преимуществом этой секунды. В следующую секунду его собственная челюсть оказалась под ударом градовского кулака, и он через стол, сбивая бутылки и расшвыривая объедки, вывалился на балкон. Борис и еще один взвээсовец, а именно полузащитник футбольной команды Кравец, бросились за ним, однако юноша в руки врага не отдался. Вместо этого он вспрыгнул на балюстраду, почему-то разодрал на груди рубашку, трагически взвыл и спрыгнул вниз, на клумбу. «Не ушибся?!» – крикнул сверху Борис, но парень уже драл по аллее к морю. За ним неслась милиция.

Битва продолжалась недолго. Могучий спортивный коллектив не оставил стилигам никаких шансов. Девчонок быстро растащили по номерам. Последнее, что запомнилось Борису, это когда он вытаскивал из кучи разгоряченных парней голубоглазую, беленькую, чуть-чуть сутуловатую девчонку, был истерический хохот Василия Иосифовича. «Ну дела, ну дела!» – ликовал отпрыск.

В коридоре девчонка неистово материлась и размахивала сигаретой, пытаясь прижечь Борису щеку. До начала битвы она, очевидно, уже успела основательно хватануть. В темной комнате она швырнула сигарету в умывальник, захохотала, потом зарыдала, застучала кулаками в стену, потом повернулась к Борису: «Ну, что, гад, брать меня будешь?» – «Не валяй дурака, – скривившись сказал Борис. – Что я тебе, оккупант какой-нибудь? Не хочешь, уходи на все четыре стороны. Только подожди, пока ребята разбредутся».

Он лег на кровать и стал смотреть в потолок, по которому проплывали отсветы фар милицейских машин. Из ресторана еще неслись дикие вопли. Как это всегда бывает, к концу пьяного шабаша никто уже не помнил, кто начал и по какой причине, всем просто хотелось драться. Доносился голос рыжего саксофониста:

*На рошу как-то пал туман,
Начался дикий ураган.
Березку милую любя,
Клен принял вихри,
Клен принял вихри*

На себя!

Спев куплет, он начинал гудеть в свою гнутую трубу. Он явно любил свою работу. Девчонка тихо присела на кровать и стала расстегивать Борису рубашку.

Самое замечательное произошло утром. В буфете к Борису подошли трое из вчерашних стилиг.

– Доброе утро, – сказали они.

– Доброе утро, – удивленно ответил Борис, присматриваясь, какой стул схватить для обороны.

– Ниче вчера было, правда? – спросили стилиги.

– Значит, вы не в обиде? – спросил Борис.

– Не, мы не в обиде. Вы наших чувих барали, мы ваших.

– То есть как это? – удивился он.

Стилиги охотно пояснили:

– А вот когда Вася приказал нас освободить из милиции, мы еще сюда вернулись, а тут ваши три пловчихи сметану рубали, ну, мы их к себе взяли и оттянули будь здоров. В общем, есть что вспомнить, Боря-Град! Верно, Боря-Град?

* * *

Спускаясь сейчас по ступеням факультетского здания, Борис вспоминал лица тех троих. Побитые, подмазанные йодом, распухшие, подрагивающие от подобострастия лица трех щенков. Куда пропала столь артистическая мрачноватость вчерашних чайльд-гарольдов? Набиваются в друзья и тут же выдумывают чепуху про пловчих. Дескать, мы квиты. Им бы надо тут бутылкой кефира меня по голове огреть, а не врать про сметану. Боятся враждовать с вася-сталинским ВВС и ко мне хотят подмазаться, чтобы потом врать в «Ерш-избе», как с Борькой-Градом в Сочи бардачили...

Большая Пироговская была залита солнцем и расчерчена резкими тенями зданий, будто футуристический чертеж. Пахло молодой листвой. Как Агаша говорит: «На Троицу все леса покроются». Ночью здесь орут соловьи. Их слушает мечтательная Элька Дудкина. Вдруг ему пришло в голову, что эта улица клиник не что иное, как прямая дорога на Новодевичье кладбище, и что по ней, очевидно, шла похоронная процессия

с останками его отца. После прямого попадания фаустпатрона там, очевидно, не много осталось. Впереди толпы шла мать в элегантном трауре. Вместе с нашими чинами, очевидно, шествовали и американские союзники. «...Женщина! И башмаков еще не износила, в которых шла за гробом...» Мы все – говно: и те стилиги из «Приморской», и вэвээсовцы, наглая банда, и все... Никто из тех, кого я знаю, и я сам в первую очередь, не стоят и одного колеса старого «хорьха», хоть он и служил эсэсовцам.

Старый «хорьх» с сумрачной верностью поджидал его на углу переулка. Борис надел темные очки (предмет особой зависти московских стилиг, штучка, извлеченная со дна того ночного американского бумажного мешка) и тут же снял их, потому что увидел быстро направляющегося к нему высокого офицера. Вдруг его пронзило незнакомое ранее чувство дикого ускорения жизни, сродни тому, как бывает, когда поворачиваешь до отказа ручку газа на своем ГК-1, и тахометр уже показывает 170 километров в час, и ты боишься, как бы карбюратор не засосал щебенку, и уже выключаешь зажигание, чтобы не перегрелся двигатель, а мотоцикл будто все набирает, и тебе на минуту кажется, что он никогда не перестанет набирать, что все остальное уже не зависит от твоей воли.

Приближался полковник. По военной привычке Борис сначала посмотрел на его погоны и только потом на лицо. Артиллерийские эмблемы. Седые виски, седоватые, аккуратно подстриженные усы. Под глазами набухшие полукружья, статная фигура уже тронута возрастной полнотой, армейский китель, увы, только подчеркивает нависшие боковики. Под мышкой полковник Вуйнович (да, это он, тот самый, любовник моей матери!) нес толстую кожаную папку.

– Борис, мне показали вашу машину, и я тут вас поджидал. Вы меня узнаете?

– Нет, не узнаю.

– Я Вадим Георгиевич Вуйнович. В детстве вы нередко видели меня, а в последний раз мы встречались в вашей квартире на улице Горького, в сорок четвертом.

– Ах, вот что! Ну, теперь узнаю.

– Ну, здравствуйте!

– Ну, здравствуйте!

Вуйнович удивленно прищурился: отчего, мол, такая холодность, однако протянутой руки не убрал, а перенес ее на кожаное плечо молодого человека.

– Послушайте, Борис, мне нужно с вами очень срочно и очень конфиденциально поговорить.

Он, видимо, очень волновался. Вытащил из-под мышки и как-то нелепо взвесил на ладони кожаную папку. Теперь уже Борис прищурился. Юмористически и неприязненно.

– Не собираетесь ли вы мне передать какой-нибудь артиллерийский секрет?

Вуйнович хохотнул:

– Нечто в этом роде. Только гораздо серьезнее. Давайте поедem куда-нибудь, где меньше прохожих и машин. Ну, скажем, на Ленинские горы.

В машине они молчали. Пару раз покосившись, Борис ловил взгляд полковника, полный любви и печали. Какая все-таки хорошая морда у этого Вуйновича, неожиданно для себя подумал он.

– Уникальная машина, – сказал Вуйнович. – Я встречал такие на фронте, но редко.

Борис кивнул:

– Эсэсовская, – помолчал и приврал: – Я взял ее в бою.

Купола Новодевичьей лавры проплыли справа. Они проехали по мосту и вскоре выехали к смотровой площадке, повисшей над поймой Москвы-реки, то есть над всей «столицей счастья».

Борис проехал немного дальше и оставил машину возле заброшенной, потемневшей, но все еще красивой церкви, живо представляющей здесь первую половину XIX века. Так же, как полковник Вуйнович каким-то образом представляет здесь XIX век российского офицерства. Как будто приехал из своего захудалого поместья бывший кутила и дуэлянт, бывший «лишний человек», а теперь не очень-то нужный даже и для литературы.

Они пошли к балюстраде. По дороге Вуйнович говорил:

– Ваше дело, Борис, доверять мне или нет, но вы, возможно, знаете, что я всю жизнь был другом ваших родителей... и вы, наверное, догадываетесь, что я всю жизнь обожал вашу мать...

Борис посмотрел на Вуйновича. Тот, не ответив взглядом, продолжал:

– Я сейчас команду артиллерийским дивизионом, и мы расположены в Потсдаме, возле Берлина. Хотите верьте, хотите нет, но у меня там была возможность контакта с вашей матерью. Это устроил один американец, мой старый фронтовой товарищ. Он был в нашем соединении инструктором по американской технике. Несколько месяцев назад мы случайно столкнулись с ним на улице в Берлине. Все это, конечно, жутко опасно, но на фронте, вы это знаете не хуже меня, было страшнее. Словом... Боря... ну, в общем, верь не верь, но я видел твою мать всего лишь неделю назад...

– Нет! – вдруг отчаянно выкрикнул Борис и в ужасе зажал себе ладонью рот, как будто боялся, что дальше из него вылетит какое-то совсем

уже непозволительное откровение детства.

– Она прилетела из Америки специально, чтобы увидаться со мной, то есть чтобы через меня передать привет тебе... Мы встретились в западной части города, в маленькой темной пивнушке. И весь наш разговор продолжался не больше двадцати минут. Ты понимаешь, Берлин наводнен шпиками, агентурой со всех сторон, в любую минуту можно ждать любых неприятностей...

– Расскажите подробнее, Вадим Георгиевич, – уже спокойно попросил Борис. Руки все-таки дрожали, пока вынимал свой «Дукат» и прикуривал.

Вуйнович кивнул:

– Этот мой друг, его зовут Брюс, то есть почти твой тезка, на фронте мы его так и звали Борис, все устроил замечательно и, как мне кажется, из чисто филантропических соображений. В условленном месте за американским КП, его там называют Чекпойнт Чарли, он ждал меня на машине. Если даже кто-то за мной пошел от КП – все-таки странно, что советский полковник так запросто направляется на Запад, хоть я и изображал полную деловую сосредоточенность, как будто по делам союзнической комиссии, – все-таки мы с Брюсом сразу оторвались от любого возможного хвоста. Он мне привез огромное какое-то пальто и шляпу. Из-под пальто, правда, торчали советские сапоги, но на темных улицах никто не обращал ни на кого особого внимания. Оставив меня в той кнайпе со стружками на полу, Брюс поехал за Вероникой. Между прочим, он весь сиял, этот Брюс Ловетт, он явно казался себе героем приключенческого фильма. Странные извивы психологии, знаешь ли: я так волновался весь этот день, глотал таблетки, а тут вдруг, в этой кнайпе, совершенно успокоился и наслаждался теплым, старым пальто, кружкой отличного пива, джазиком, доносящимся из приемника за стойкой. Помню, я умиленно смотрел, как играли среди опилок два щенка спаниеля. Видимо, армия, знаешь ли, осточертела, вдруг расслабился от иллюзии другой жизни...

Когда она появилась, я не сразу ее узнал. На ней был плащ с поясом, а голова укутана в темный платок. В Берлине в те дни было холодно, и весь этот наш маскарад казался вполне естественным. Она сразу направилась ко мне и тогда уже сняла платок. Восемь лет прошло со дня нашей последней встречи...

– Как она выглядит? – спросил Борис. Они теперь стояли, опершись на балюстраду над огромным городом, в котором так бурно шла его молодость и который в эти минуты попросту для него не существовал.

– Знаешь, ей скоро будет сорок девять, – медленно проговорил

Вуйнович. – Она совсем не подурнела, но это уже какая-то другая красота. Вот, посмотри, она это передала для тебя... – Он расстегнул верхние пуговицы кителя и вынул из внутреннего кармана цветную, не раскрашенную, а именно цветную, снятую на цветную пленку «Кодак» фотографию.

Все, что приходит оттуда, с Запада, всегда кажется чем-то инопланетным, и вот на одном таком инопланетном лепестке, на цветной кодаковской карточке, он видит два самых любимых и теплых лица из своего собственного мира: мамки и Верульки.

На снимке на фоне большого старого дома из белых досок, на ярко-зеленом подстриженном газоне стояла группа премило улыбающихся персон: его мать в белых, легких и широких брюках, талия по-прежнему узка, грудь по-прежнему высока, ее муж, длинный и сухопарый, со славным лошадиным лицом, Верулька, очаровательная американская девчонка в ковбойских штанишках, повисшая у нового папы на плече, и еще некто, пожилой джент, пиджак внакидку, трубка в руке, на лице ироническое благодушие.

– А это кто? – спросил Борис.

Вуйнович засмеялся:

– Представь себе, это был и мой первый вопрос. Она объяснила, что это старый друг Тэлавера, известный журналист, год с чем-то назад он был в Москве как гость посла Кеннана, и вот с ним она отправила тебе какую-то посылку, которую ты, по каким-то ее сведениям, получил...

Бориса вдруг просвистел страх: а вдруг он от них, вдруг провоцирует? Подняв глаза на полковника, он устыдился. Все-таки не может быть у провокатора такое человеческое, такое любящее и печальное лицо. Такую маску не наденешь, это лицо без маски, оно как будто осуществляет ритуал прощания.

– Она думает только о тебе, – продолжал Вуйнович. – Вытягивала из меня все возможные сведения о своем Бабочке. Я, к сожалению, немного знал. Слышал о мединституте, читал о спортивных успехах. Для нее это все было ново. Изоляция стопроцентная. За все время она не получила ни одного письма из Союза...

– Хотя бабка ей пишет, – вставил Борис.

– Ну значит, письма перехватываются, – сказал Вуйнович. – Сама Вероника давно прекратила писать: боится повредить близким...

Еще одна предательская мысль посетила Бориса: а посылочку-то не боялась отправлять по американским шпионским каналам? Вадим Георгиевич, будто расслышав, тут же на эту мысль ответил:

– Она себя кляла, что отправила тебе посылку. Очень уж, говорит, соблазн был велик. В ужасе просыпалась по ночам, пока не узнала, что все в порядке, что ты сам забрал этот пакет и никто не видел, кроме того, кто принес. – Он замолчал, глядя куда-то поверх крыш Москвы, потом вздохнул: – Вот в таком мире мы живем. Ты знаешь, большинство женщин, вышедших во время войны замуж за союзников, оказались в лагерях...

– Если вдруг снова увидите ее... – сказал Борис.

– Маловероятно, но не исключено, – быстро вставил Вуйнович.

– Ну, если сможете ей написать, скажите ей, чтобы она за меня не волновалась. Я уже совсем не тот Бабочка, которого она знала...

Вуйнович дружески положил ему ладонь на плечо:

– Я вижу, Боря, что ты стал сильным парнем, однако...

– Не волнуйтесь, никаких «однако», – усмехнулся Борис. Кажется, он все-таки немного тот же самый Бабочка, которого она знала, подумал полковник.

– Скажите, Вадим Георгиевич, вы были маминым любовником?

Задавая этот вопрос, Борис постарался показать Вуйновичу, что никакого особого смысла он в него не вкладывает, просто чистая информация. Не веря своим глазам, он увидел, что полковник смешался, что на его щеках даже появилось некоторое подобие румянца и сквозь морщины, седины и бородавки промелькнуло нечто юношеское.

Что ему сказать, мучился Вадим. Ведь не сказать же, как долго и как подробно я был любовником его матери в своих мечтах и как прискорбно прошла наша единственная интимная встреча...

– Нет, – сказал он. – Я никогда не был ее любовником, Борис. Я всю жизнь обожал ее, это правда. В старомодном смысле она была моей мечтой. Знаешь, во всех этих московских разговорах о Веронике не так много правды. На самом деле всю жизнь она любила только одного человека – твоего отца.

– Как у вас все было сложно, Вадим, – сказал Борис. – У нас, по моему, все гораздо проще...

Вуйнович был рад. Он не очень-то надеялся на хороший разговор, а тут этот «Бабочка» называет его по имени без отчества, словно приятель, как будто Никита. Он и в самом деле очень похож на отца, может даже возникнуть иллюзия обратного хода времени.

– Давай, Боря, поживем еще лет десять и тогда поговорим с тобой о сложностях жизни, – улыбнулся он.

– Где вы остановились? – спросил Борис.

– Ты еще не женился? – спросил Вадим.

– С какой стати? – спросил Борис.

– Но у тебя кто-то есть? – спросил Вадим.

Борис рассмеялся:

– Так где вы остановились? Можно ведь у меня, на Горького.

– Спасибо. Был бы рад с тобой пожить под одной крышей, да некогда. – Вуйнович явно без большого удовольствия возвращался к своим собственным делам. – У меня через четыре часа самолет.

– В Германию?

– Да, в ГДР.

– Как вы думаете... – начал было Борис, но осекся.

– Что?

– Да нет, – махнул рукой Борис. Он хотел спросить: «Будет ли война с Америкой?» – но потом подумал, что это прозвучало бы неуместно в разговоре с полковником артиллерии, да еще из Германии. Да и вообще вопрос дурацкий. Что это значит, «война с Америкой»?

– Когда хотят спросить и не спрашивают, возникает какое-то болото, – после минуты молчания сказал Вуйнович.

Борис виновато усмехнулся. Он вдруг почувствовал, что ему вовсе не хочется перед Вуйновичем подчеркивать свое превосходство и выказывать снисходительность. Скорее, наоборот: хочется какие-то вопросы дурацкие задавать и с интересом ждать ответов. Вдруг совсем нечто несусветное пришло в голову: вот если бы после смерти отца мать вышла замуж за этого Вадима, мы могли бы дружно жить.

– Да нет, Вадим, вы не думайте, что я что-то утаиваю. Мне просто дурацкий вопрос в голову пришел о войне с Америкой.

Вуйнович посмотрел на часы и положил на балюстраду свою раздутую кожаную папку, вместившую явно больше того, что она могла вместить.

– О войне с Америкой мы с тобой, я надеюсь, еще поговорим, если она, не дай Бог, не разгорится. Сейчас мне уже надо спешить, и... знаешь, я взял эту папку с собой на всякий случай, я не знал, можно ли тебе довериться... Ну, а теперь вижу, что можно... знаешь, я хотел бы, чтобы ты забрал все это хозяйство... здесь мой самый, ну, так сказать, интимный архив... Снимки, записи, письма, стихи... в общем, всякие сентиментальности... Мне необходимо это где-то оставить, а кроме тебя, Борька, больше нет никого... Ну хорошо, придется, видимо, все сказать. Понимаешь, я почти уверен, что меня со дня на день снова возьмут. Нет-нет, совсем не в связи с берлинскими делами. Уверен, что они об этом ничего не знают. Просто вокруг меня сложилась такая предрестная обстановка. Я это чувствую по каким-то отрывочным разговорчикам, по

взглядам особистов, по вопросам на партсобраниях. Скорее всего, кто-то из близкого круга доносит о моих настроениях, ну... и потом, дело тридцать восьмого года никуда не исчезало... там, конечно, помнят, как я держал себя на следствии... и в лагере... конечно, они бы меня там уничтожили, если бы не твой отец... Словом, моя реабилитация под вопросом, несмотря на все ордена и ранения... Что ж, от сумы и тюрьмы не зарекайся, гласит некая мудрость нашего загадочного народа, однако я не могу себе представить, что в моих бумагах, вот в этом, самом дорогом, снова будут возиться эти... – он осекся, посмотрел в глаза Борису и твердо закончил фразу: – Эти грязные крысы. Поэтому я и прошу тебя взять это.

– Конечно, возьму, – сказал Борис.

– Можешь прочитать то, что там есть, просмотреть снимки, в общем все, без стеснений. Может быть, лучше поймешь поколение своих родителей.

– Конечно, просмотрю, – пообещал Борис.

– Ну вот и прекрасно, – вздохнул полковник. – Теперь я сажусь на вон тот троллейбус и еду в центр, а оттуда на аэродром.

Какой печальной была жизнь у этого Вадима, подумал Борис. Никаких триумфов. Постоянное и безнадежное соперничество с моим отцом, безнадежная любовь...

– Послушайте, Вадим, что же так вот ехать-то на заклание? – проговорил он. – Может быть, побороться? Послушайте, хотите я поговорю с одним человеком? Он действительно может помочь.

На лице Вуйновича отразилось какое-то острое беспокойство.

– Ни в коем случае, Борька! Никому, прошу тебя, ни слова о нашей встрече! Будь что будет, я не хочу больше никаких протекций, никаких игр. Поверь мне, я честный человек, а это для меня самое главное. Жизнь проходит, амбиций никаких не осталось. Единственное, о чем я мечтаю – ладно уж, признаюсь тебе в своих мечтаниях, – это тихо стареть и видеть, хоть изредка, стареющую Веронику. Это, собственно говоря, мечта о мечте, и ее никто у меня и нигде не отнимет. Ну, я пошел. Дай-ка я тебя обниму на прощание!

Они обнялись. Запах пота и «Шипра» из-под мышек армейского полковника. Черт побери, это действительно похоже на прощание с «поколением родителей».

Вуйнович тяжело побежал к троллейбусу. Перед тем как ступить на подножку, обернулся, махнул. Китель, натянувшийся на спине, подчеркнул не только излишки, но и некоторый изъян плоти, основательную впадину под лопаткой. Черт побери, он, кажется, мне очень много сказал. Он,

кажется, сказал то, о чем я даже не решаюсь подумать.

* * *

«Прощание с поколением родителей» оказалось не окончательным: Бориса в тот день поджидал еще один сюрприз. Согласитесь, читатель, так бывает ведь не только в романах. Текут ваши дни один за другим, демонстрируя одну лишь рутину, одно лишь присутствие здравого смысла (или отсутствие такового), одно лишь бытовое, подсчет денег например (или долгов), как вдруг включается какое-то ускорение – Борис I V, естественно, сравнивает это с мотоциклом, – и вдруг события начинают громоздиться одно на другое, как будто все они только и поджидали какого-то дня, чтобы явиться разом. Читатель может сказать, что реальность и роман несравнимы, что в жизни события возникают стихийно, а в романе по авторскому произволу; это и верно, и неверно. Автор, конечно, многое придумывает, однако, оказавшись в тенетах романа, он иногда ловит себя на том, что становится как бы лишь регистратором событий, что они в некоторой степени уже определяются не им, а самими персонажами. Таковы неясные ходы романа, где каждый норовит дудеть в свою собственную дуду. Говорят, что иные авторы для того, чтобы упорядочить этот бедлам, составляют картотеки персонажей, где заранее определяются, а стало быть, и основательно взвешиваются их возможные поступки, мы же еще десять страниц назад, ей-ей, не предполагали, что вот сейчас снова появится в нашем повествовании Тася Пыжикова, и не одна.

Войдя в подъезд своего дома с рюкзаком, где лежали отработанные медицинские учебники, в одной руке и с архивом Вуйновича в другой, Борис сразу же увидел миловидную провинциальную дамочку, сидевшую на стуле вечно отсутствующей лифтерши. О ее провинциальности прежде всего говорило испуганное выражение лица с ярко намазанными губками и только потом уже жакеточка в талию и с некоторыми буфиками на плечах. При виде вошедшего из солнечного света в сумрак вестибюля парня дамочка вскочила со стула, словно просительница в приемной, скажем, министра, когда уважаемый товарищ внезапно покидает кабинет. Борис удивленно посмотрел на нее и, как хорошо воспитанный бабушкой молодой человек, даже слегка кивнул: мол, добрый день, сударыня, ну, а затем уже нажал кнопку лифта. Лифт успел опуститься, когда он услышал взволнованный голос «сударыни»:

– Товарищ, вы не Борис Никитич Градов будете?

Он глянул на нее и увидел, что она едва ли не задыхается от волнения; руки ее были сжаты на груди, густо намазанные губки трепетали.

– Да, это я, – удивленно сказал Борис. – А вы, простите...

– А я вас жду весь день, – забормотала она. – Поезд пришел в шесть пятьдесят, ну мы сразу сюда, конечно, немного растерялись, не туда на трамвае заехали, но потом все шло таки... Ой, я что-то не то говорю...

– А по какому, собственно... – начал было Борис, но она не дослушала вопроса, бросилась куда-то за шахту лифта, в глубину вестибюля, восклицая: – Никита, где ты? Никитушка, ну куда ж ты заховался опять, горе мое?!

Слова ее гулко неслись вверх по лестничной клетке. Внимая им, смотрели сверху два кота, оранжевый и темно-красный. Такими их, во всяком случае, делал луч, преломляющийся в витраже. Все это немного похоже на сновидение, подумал Борис. Дамочка появилась из-за колонны, стуча высокими каблуками туфель, очевидно сделанных на заказ. Довольно хорошая фигура. За руку она вела мальчика лет шести-семи в кофточке с пуговками, коротких штанишках и чулках на резинках.

– Ну, вот, Никита, посмотри, это дядя Боря! – говорила женщина. – Вот это и есть тот самый дядя Боря. Вот сейчас вы и познакомитесь!

Мальчик дичился, смотрел светло-серыми глазками из-под крутого лобика, топорщилась не очень-то аккуратно подстриженная темно-медная щетинка волос.

Еще ничего не понимая, но уже предчувствуя что-то чрезвычайно важное для себя и для всех своих, Борис открыл дверь лифта.

– Давайте поднимемся, – сказал он.

– Никита еще ни разу не ездил в лифте, – почему-то с гордостью сказала женщина.

– Мама, я не хочу, – басовито сказал мальчик.

– Не бойся, – улыбнулся ему Борис. Он протянул ему руку, и мальчик вдруг охотно подал ему свою маленькую ладошку.

В лифте она прижала к глазам платок:

– Ой, какой же вы, какой же вы, Борис Никитич...

Открывая дверь квартиры и пропуская гостей вперед, Борис сказал:

– Прежде всего, как мне вас называть?

– Тасей меня зовут, – сказала она. В голосе уже слышались сдавленные, приближающиеся рыдания. – Таисия Ивановна Пыжикова.

– Проходите вот сюда, пожалуйста, в столовую, вот на диван, прошу вас, располагайтесь, я уже почти понял, кто вы, но не могу еще во все это поверить...

Борис потащил стул для себя, на нем оказалась коробка со свечами зажигания. Поставил было коробку на некогда роскошный, но давно уже заляпанный и замазюканный стол и увидел на нем валяющиеся кожаные штаны.

– Извините за беспорядок, – пробормотал он и подумал, как быстро здесь все захламляется. Кочующая команда гонщиков и публика с улицы Горького чего только не оставляют за собой, однако особенно неопрятные последствия сборищ – это открытые и неопустошенные, сразу же начинающие основательно подванивать банки рыбных консервов. Ну и окурки, черт бы их подрал, повсюду натыканы, скрюченные, гнусные, как подзаборные бухарики, источники вони. Вон кто-то мыльницу притащил из ванной и заполнил ее смердящей дрянью. Вера Горда, которая в начале их романа так ревностно взялась за очистку «Борисовых конюшен», в последнее время в связи с некоторыми обстоятельствами ее все усложняющейся личной жизни несколько утратила рвение, да и вообще реже заглядывает. А квартира этого как будто только и ждет, мгновенно превращается в свалку.

– Ой, как вы на него похожи! – тихо воскликнула Таисия Ивановна Пыжикова.

Она как будто немного успокоилась, хотя все еще сжимала руки над колыханием груди. Что касается мальчика, то ему в этой квартире явно нравилось. Особенное же его внимание привлекала стоящая в коридоре на подпорках рама мотоцикла «харлей» с одним, уже подвешенным колесом и с множеством разбросанных вокруг деталей.

Борис не мог оторвать глаз от мальчишки. Тот выглядел почти точь-в-точь, как отец на детских снимках.

– Ой, неужели же вы обо мне что-то слышали? – спросила гостя.

– Вы знаете, Тася, я сам вернулся из Польши только в сорок восьмом году, ни о чем не ведая, однако бабушка узнала что-то от штабных. Как я понимаю теперь, вы та самая женщина, с которой отец прошел всю войну?..

Она мгновенно разрыдалась:

– Да... да... это я... ну знаете, как тогда-то говорили, пэпэжэ... даже немного унижительно... а мы, ну вот, ей-богу, не вру... Борис Никитич... а мы ведь так любили друг друга... Я ведь ничего от него не хотела, только любви... только рядом быть, заботиться, чтоб все было чисто... чтобы вовремя ел горячее и вкусное... ведь такой военачальник... Ой, Боречка Никитич, никому, кроме вас, не говорила... ведь когда мне в НКВД приказали: иди к Градову, на гитаре поиграешь... ну неужто ж я думала, что

так все закружится... что вся жизнь с ним, незабвенным моим, так закружится... что так мы с ним и окажемся не разлей вода... Я ведь в жены-то не просилась, понимала, что «походно-полевая», и Веронику Александровну, законную, не поверите, очень уважала... а только иногда, как видела ваши карточки у Никиты Борисовича на столе, только плакала немножко... ну вот...

– А вот этот молодой человек, стало быть, мой братик? – спросил Борис, и у него у самого ком начал гулять в горле, рука потянулась за спасительной сигаретой.

Таисия зарыдала еще пуще:

– Значит, признаете, Борисочка Никитич, признаете? Кто же он вам, если не братик, ведь я же на шестом месяце была, когда Никиту Борисыча убили...

– Иди ко мне! – сказал Борис мальчику, и тот охотно перебрался с дивана к нему на колени.

Таисия совсем уже поплыла, потекли неумело намазанные ресницы, размазался рот. Шелковым платком она пыталась вытереть все это красно-синевато-черное и выглядывала из-за кружевных каемок потрясенным личиком. Совсем еще молодая и хорошенькая бабенка, подумал Борис. Семь лет прошло с той поры, ей сейчас, должно быть, немного за тридцать. Моложе Веры Горды.

– Как твоя фамилия, Никитушка? – спросил он мальчика.

– Пыжиковы мы, – солидно ответил тот и обхватил ручонкой сплетение мощных шейных мышц всесоюзного чемпиона. – Это твой там мотоцикл? Он игрушечный?

– Ему надо нашу фамилию носить, – сказал Борис. – Он же вылитый папа в детстве. Ну, хватит, хватит уж плакать, Таисия Ивановна, дорогая. Расскажите мне теперь что к чему, а ты, братишка, – он прищлепнул мальчика по попке, – иди к мотоциклу, только смотри, как бы тебе там на ногу что-нибудь не упало.

Таисия Ивановна побежала в ванную привести себя в порядок. Борис поежился: там в ванной, в углу, еще валялся сброшенный вчера презерватив. Он смотрел, как мальчик возится, что-то сосредоточенно бормоча, вокруг мотоцикла. Незнакомое и очень теплое чувство возникло в душе: вот теперь об этом мальчишке надо будет заботиться, о брате, о младшем брате, об этом сильно младшем брате, о брате, настолько сильно младшем, что он может показаться сыном.

Таисия Ивановна вернулась. Кажется, ничего не заметила. Во всяком случае, лицо серьезное. Ну, что же рассказывать? Обыкновенная жизнь

заурядной женщины. После гибели маршала Тася уехала к сестре в Краснодар, там и родила. Работала в клинике мединститута, дальневосточный опыт быстро помог восстановить квалификацию. Здесь ей встретился интересный человек Полихватов Илья Владимирович, терапевт и музыкант. Да, у него колоритный тенор, и он поет в опере Дома культуры медработников. Положительный и чистый душой человек, он никогда не предъявлял ей претензий в грустные минуты воспоминаний. Я уважаю тебя за эту память, Таисия, часто говорил он. И к Никитушке маленькому относится с полной справедливостью. В этом году Илья ушел из семьи, и они расписались. Естественно, встает вопрос жилплощади. Ждать очереди на квартиру – состаришься, не дождешься. Можно купить домик в пригороде, однако финансы поют романсы, тем более что после алиментов от оклада Ильи остается с гулькин нос. Тогда возникла идея завербоваться на Север, в частности, на Таймыр, где можно за три года заработать нужную сумму. Идея, кажется, неплохая, правда? Однако что же делать с Никитушкой? Ведь не тащить же маленького растущего ребенка в край вечной мерзлоты и полярной ночи! И тут Таисия вспомнила этот дом на улице Горького, мимо которого не раз в слезах прогуливалась после окончания войны, когда она носила мимо свой большой живот, а из дома выходила совершенно великолепная Вероника Александровна. Может быть, Борис Никитич как чемпион Советского Союза поможет устроить Никитушку в какой-нибудь хороший интернат, если, конечно, признает в нем своего полубратика. Она видела в «Советском спорте» фотографию Бориса Никитича, и он ей показался очень содержательным молодым человеком...

– Гениально! – в конце рассказа воскликнул Борис. – В самом деле, Таисия Ивановна, ничего лучшего вы просто не могли придумать!

Он вдруг вскочил и забегал по квартире, захлопал дверцами шкафов, пронесся на кухню и обратно. Еще не зная, чего это он так бежит, Тася Пыжикова поняла, что из своей, в общем-то не ахти какой восхитительной жизни ее снова, пусть ненадолго, пусть не так, как во время войны, пусть хоть на момент, что-то подбросило на самый гребешок волны. Слава тебе, Господи, подумала она, что увидела я ту фотографию в «Советском спорте». Борис между тем носился по квартире, пытаясь определить, есть ли там хоть какие-нибудь съестные припасы. Не найдя практически ничего, он ворвался в столовую, где, как пай-девочка, сидела порозовевшая, повеселевшая Таисия Ивановна.

– Поехали! – закричал он. – Сообразим чего-нибудь к ужину! Где ваши вещи, Таисия Ивановна? На Курском вокзале? Ну, сейчас мы это нарисуем!

Ну где ты там, Никитушка-Китушка?

Давно уже он не испытывал такого подъема. Что это со мной, думал он, глядя на мелькающее в зеркалах свое возбужденное отражение. Может быть, что-то сугубо клановое, градовское, радость от прибавления семейства?

Никита выползал из-за этажерки. На шее у него висела пара боксерских перчаток, в руке он тащил Борисов эспандер.

– Это так отца в детстве звали, Никитушка-Китушка, – пояснил Борис счастливой Таисии.

* * *

Ну, конечно, большего подарка мальчику нельзя было придумать, чем поездка по Москве на огромной, сдержанно рычащей иностранной машине! Никитка, стоя прямо за спиной водителя, то и дело взвизгивал и бесцеремонно уже теребил шевелюру могущественного брата. В конце концов я сам его могу усыновить, думал Борис. Закон, кажется, разрешает такие формальные усыновления. Главное, чтобы пацан стал Градовым, а не каким-то там Полихватовым! Взяв вещи из камеры хранения и закупив провизии в Смоленском гастрономе – севрюга, лососина, икра, ветчина, сырокопченый рулет, цыплята, пельмени, торт «Юбилейный», конфеты «Мишка на Севере», все лучшее, что могла предложить процветающая в то время столичная торговля, – они вернулись в маршальскую квартиру.

– Пируем! Пируем! – ликовал маленький Никитка.

Тут все закипело в руках Таисии Ивановны. Она явно была в своей стихии. Вскоре уже блюдо цветной капусты дымилось рядом с адекватно дымящимся блюдом пельменей и все деликатесы были вполне изящным образом разложены на идеально промытых блюдах. Ну, а после ужина с некоторой застенчивостью Таисия Ивановна обратилась к хозяину:

– Борисочка Никитич, давайте я вам приборку тут устрою, а? Да нет, я не устала вовсе, а только лишь одно сплошное удовольствие будет убираться в этом доме.

Глазам своим не веря, Борис наблюдал, как переодевшаяся в халатик Таисия рьяно со шваброй и ведрами набрасывается на те углы квартиры, о которых Вера Горда обычно говорила «места, куда не ступала нога порядочного человека».

Повезло этому тенору-любителю Полихватову, думал Борис. Кухня, дом, щетки, мыльная пена – это же прямо ее стихия! Никитка между тем

водил его за руку по комнатам и задавал вопросы. А это что? А это? Это глобус, Никита. А это такая напольная лампа, называется торшер. Это барометр, по нему определяют погоду. А это ящик с запчастями, дорогой друг. Вот это поршни, а это вкладыши, серьезное дело. Это, мой друг, ты угадал, скелет человека, по нему твой старший брат изучал анатомию костей. А это уже из животного мира, малец: шкура уссурийского тигра, подстреленного, по некоторым сведениям, твоим отцом, а по другим сведениям, его шофером Васьковым. Энциклопедия, Никита, энциклопедия, поставь ее на место. А вот сейчас смотри внимательно: это портрет твоего и моего отца маршала Советского Союза Никиты Борисовича Градова. Да-да, много орденов. Ну, сам сосчитай – сколько орденов? Только до десяти умеешь? Ну, давай считай – сколько раз по десять? Правильно, три раза и еще три иностранных креста, значит, все вместе тридцать три ордена. А это телевизор. Что такое телевизор? Ах, ты еще ни разу не видел, как работает телевизор!

Последний предмет, здоровенный ящик с маленьким экранчиком и выпуклой водяной линзой, произвел на Никитку совершенно сокрушительное впечатление. Едва только сквозь линзу проникли к нему балерины Большого театра с укороченными на японский манер ножками и несколько расплывшимися головами, он плюхнулся на ковер и больше уже не отрывался от волшебного зрелища, пока не уснул.

Звуки энергичной уборки долго еще долетали до Бориса, пока он говорил по телефону сначала с Грингаутом, потом с Королем, потом с Черемискиным. С многочисленными деталями и с применением самых мускулистых выражений русского языка мотоциклисты обсуждали завтрашний «кавказский перегон». Решено было из города выбираться по отдельности, сборный же пункт каравана назначен был в Орле.

Отделавшись наконец от телефона, Борис уже хотел было выключить свет, когда в спальню, деликатно постучав, вошла Таисия Ивановна. Никаких следов усталости не замечалось, наоборот, дамочка вся как бы лучилась блаженством.

– Ну вот теперь, Борис Никитич, смею вас уверить, не узнаете места общего пользования, – с торжеством сказала она.

– Места общего пользования? – несколько смешался он.

Она засмеялась:

– Ну да, у вас же не коммуналка! Вы один тут сидите в таких чертогах! Ну, я имела в виду ванную, туалет, кухню, кладовки... Ну вот пойдите посмотрите, ну, пойдите же, пойдите! – Она взяла его пальчиками за запястье и слегка потянула. – Ну вот, пойдите, посмотрите, Борисочка

Никитич!

Вдруг сладкая тяга прошла от руки по всему его телу. Этого еще не хватало. Он убрал руку.

– Я верю, верю, Таисия Ивановна! Сразу видно, какая вы замечательная хозяйка...

Она обвела глазами стены спальни:

– Конечно, тут за один вечер не управишься, в таких-то хоромах. Вот если бы мы так не спешили, Борис Никитич, я бы у вас тут на неделю осталась и навела бы полный блеск. Вы, наверное, читали роман «Цусима», да? Вот как там адмирал-то проверял чистоту на корабле? Вынет белоснежный платок из нагрудного кармана, – она изобразила извлечение адмиральского платка, – и к палубе прикладывает, – она нагнулась, чтобы показать, как адмирал чистоту проверял, и посмотрела на Бориса снизу.

Жар опять прошел по его телу. Ну вот, только этого не хватало. Нет уж, этого не будет, это уж слишком даже для такого скота, как я...

– Вы, наверное, устали, Таисия Ивановна? Наверное, чертовски устали после такого-то дня, да? Там в Никиткиной комнате вторая кровать, вполне удобно...

– Вовсе я не устала, Борис Никитич. Ни капельки совершенно не устала. У меня такое сегодня радостное чувство, Борис Никитич, и такая к вам благодарность, что вы Никитушку признали и меня приветили. – Рыдания снова подошли к ее горлу и, словно для того чтобы не дать им разразиться, она быстро сняла халатик и отшвырнула в сторону, оставшись лишь в лифчике и трусиках. – Я просто не знаю, как вас отблагодарить, Борисочка миленький Никитич. – Она присела на кровать спиной к нему и попросила: – Расстегните мне, пожалуйста, лифчик, Борис Никитич...

Прошло довольно продолжительное время, пока после череды всех излюбленных Борисом классических поз они наконец отпали друг от друга.

– Вот теперь-то уж я устала, Борис Никитич, – прошептала она. – Теперь уж ни рук, ни ног не поднять... Ой, давно уж я так не уставала...

Ну вот, еще одну мамочку приобрел, идиот, зло думал Борис, в то время, как нежно поглаживал спутанные светло-каштановые волосы Таисии Ивановны.

– Спасибо, Таисия Ивановна, – проговорил он. – Спасибо вам за нежность, а теперь идите, пожалуйста, к Никитке в комнату. Ну, хотите, я вас туда на руках перенесу?

– Не могу даже мечтать об этом, – пробормотала она.

Он поднял ее и пронес в другую спальню, бывшую детскую, где сейчас как раз и спало новое градовское дитя. Положив голову ему на

плечо, она все бормотала слова благодарности. Когда они вступили в комнату, Никитка вдруг сел в кровати, слепо посмотрел на них и тут же рухнул башкой в подушку. Борис положил Таисию Ивановну на вторую кровать и накрыл одеялом. Она тут же заснула.

Хорошо еще, что Вера не явилась со своим ключом среди ночи, как это часто с ней бывает, подумал он, возвращаясь к себе. Опять бы разгорелось что-нибудь чрезвычайно драматическое. Ей почему-то можно ревновать, а мне полагается не спрашивать ни о ком, уж тем более о ее муже. О муже, собственно говоря, ведь она сама мне рассказала, я ее за язык не тянул.

* * *

Знаешь, он очень ранимый человек, просто огромный ребенок, как-то вдруг стала рассказывать она. Его родители в лагерях, то есть отец в лагере, а мать в ссылке, но он придумал себе фиктивную биографию, чтобы окончить МАИ. Теперь он работает в «почтовом ящике» и дрожит, что дело раскроется. Он вообще всего вокруг боится, и меня тоже. Когда мы поженились, он месяц не ложился со мной в постель, боялся своей несостоятельности. Напивался, хамил, безобразничал, ох, как он меня оскорблял, ты себе не представляешь. А вот теперь как-то стал гораздо лучше, во всех отношениях стал человечнее, добрее. Я ведь уже хотела его выбросить на помойку, а теперь мне как-то его жалко: все-таки муж. На него как-то хорошо действует дружба с этим твоим другом, ну, «лордом Байроном», ну, этим исключительным Сашей Шереметьевым.

– Позволь! – изумленно воскликнул тут Борис.

– Ну, конечно, это он, – засмущалась звезда ресторанной эстрады. – Ты же его знаешь, ну, это же Николай Уманский, они еще его зовут Николай Большущий...

После этого неожиданного признания между Борисом и Верой вдруг образовалось некоторое чужое пространство, куда вошли не только Большущий, но и Сашка Шереметьев, и все другие члены «кружка Достоевского». Борису казалось, что вовсе не теплые чувства Веры к своему незадачливому мужу отталкивают их друг от друга, а вот именно ее косвенная принадлежность к этому так называемому кружку.

За прошедший год он несколько раз бывал на их собраниях и всякий раз ощущал не очень-то прикрытую неприязнь в свой адрес. «Достоевцы» явно его не принимали всерьез, с его мотоциклами и маршальской квартирой на улице Горького. Единственный раз он пригласил компанию

собраться у него (читали тогда и комментировали запрещенных «Бесов»), однако это приглашение было немедленно всеми, включая даже и Сашку, отвергнуто. Вряд ли они меня считают стукачом, однако явно не доверяют как представителю «золотой молодежи». Ну и черт с ними, думал Борис. И без них в конце концов могу освоить Достоевского: вон у деда полное собрание сочинений стоит в старом издании. Тоже мне «мудрецы и поэты», расковыряют под бутылку банку «ряпушки в томате» и машут друг на друга вилками! Огорчало только, что с Сашкой дороги пошли врозь. Не надо было, конечно, и думать, что в личных тренингах он удержится надолго, при столь гомерической гордости. Однажды он ему сказал: «Ваш ВВС, Борька, это грязная придворная конюшня, и я не хочу с ним иметь ничего общего!» Оказывается, уже сторожем устроился на книжный склад. Вас, Сашка, когда-нибудь погубит пристрастие к печатному слову, сказал другу Борис. Шереметьев расхохотался: это вы, сукин сын, очень точно в кофейную гущу заглянули!

Борису в его поспешной жизни, по правде говоря, некогда было разбираться в психологии этого человека, которого он когда-то спускал на обрывках парашютных строп из горящего, обваливающегося дома на Старом Мясте и с тех пор стал полагать своим едва ли не братом. Нынешняя Сашкина мрачная поза казалась ему наигранной ролью некоего современного варианта «лишнего», комбинацией «байронита» и «человека из подполья». Иные девушки в нем, что называется, души не чаяли, замирали, трепетали, едва появлялась на горизонте прихрамывающая фигура в резко скошенном черном берете. Иной раз он снисходительно устраивал, как он выражался, допуск к телу, однако на серьезные увлечения, вроде романа Бориса и Веры Горды, ни одна из поклонниц не могла рассчитывать: что-то было такое в Шереметьеве, что исключало романы.

* * *

Однажды он исчез из Москвы месяца на два и, вернувшись, пригласил Бориса заехать «раздавить пузырь». Первое, что заметил Борис в Сашкиной камерке, был стоящий на этажерке среди книг человеческий череп. Привыкший за последнее время к такого рода учебным пособиям, он не удивился, но потом сообразил, что Шереметьев-то не имеет к урокам анатомии никакого отношения.

— А это у вас что за новшество? — спросил он. Они по-прежнему то ли

по инерции, то ли из снобизма придерживались обращения на «вы», однако для придания то ли некоторой естественности, то ли еще большего снобизма постоянно добавляли осколки матерщины: «что, бля, за новшество?»

– Это она, – как бы между прочим заметил Шереметьев и замолчал, увлекшись откручиванием проволоки с пробки. В моду тогда вошло розовое вино «Цимлянское игристое» как отличный стимулятор основного напитка, то есть водки.

– Что это значит – «она», Сашка? – спросил Борис. – Перестаньте выебываться и рассказывайте: ведь для этого же и пригласили.

Далее последовала некоторая патологическая история, рассказанная намеренно беззвучным тоном. Это череп первой женщины Александра Шереметьева, девятнадцатилетней радистки Риты Бурэ. Они любили друг друга, как Паоло и Франческа, хоть и находились в разведывательном центре вблизи корейской границы. Именно Рита стала яблоком раздора между юным лейтенантом и полковником Маслюковым. Старый козел начал дрочить на нее со страшной силой, каждый день вызывал к себе и требовал, чтобы она ему села на хер. Именно он загнал Шереметьева на Итуруп, а Рите запретил следовать за ним под угрозой трибунала. По всей вероятности, она сдалась, и полковник порядком над ней поиздевался со своими похотливыми фантазиями. Потом что-то между ними произошло. Тот парень, который Шереметьеву все это рассказывал уже здесь, в Москве, думает, что был какой-то колоссальный бунт со стороны Риты, попытка освободиться от ублюдка Маслюкова. Тот начал ее шантажировать, пришел однажды на комсомольское собрание и обвинил девчонку в том, что у нее родственники за границей, белогвардейская ветвь, и что она это скрывает при заполнении анкет. Ну, дальше все пошло, как по нотам: вызовы в особый отдел, допросы, ждали только из штаба округа санкции на арест. В медсанчасти также было известно, что Рита беременна. Короче говоря, она исчезла с лица земли, по официальной версии ушла в тайгу и там покончила самоубийством. Спустя время после этого ее возлюбленный Саша, сам едва не сыгравший эту дальневосточную версию Ромео и Джульетты – похоже на то, что он стрелял себе в бок именно в тот день, когда она исчезла, – появился в штабе, и вот тогда-то выяснилось, что у полковника Маслюкова слишком хрупкая челюсть.

Говорят, что все быльем порастает, но под этим «все», наверное, имеют в виду всякую чепуху. Любовь и преступления не порастают равнодушным быльем. Не было дня, чтобы Саша Шереметьев не вспомнил Риту Бурэ и полковника Маслюкова. Как будто он знал, что история на этом

не закончится. И точно: через три года перед ним появился парень, с которым вместе кончали языковую школу; тоже демобилизовался. Этот парень рассказал ему версию, которая, оказывается, бытовала еще три года назад, но осталась Шереметьеву неизвестной, потому что все бздели, как запуганные скоты. Вот такие оказались дела...

– Дальше? – спросил Борис, стараясь быть таким же хладнокровным, как и рассказчик. Череп, чистый и матовый, стоял теперь на столе между опустошенной бутылкой «Цимлянского» и почти пустой «Московской особой». Нижняя челюсть, то есть mandibula, была аккуратно прикручена проволочкой.

– Стоит ли дальше? – заглянул ему в глаза Шереметьев.

– Кому же еще вы расскажете дальше, если не мне? – усмехнулся Борис.

– Ну, хорошо, слушайте, Борька, но только потом не шипите на меня за то, что потревожил чистую душу советского спортсмена. Я выкопал из загашника свой «ТТ» и отправился на Восток. Из Благовещенска неделю лесом пробирался в запретную зону. Маслюкова я увидел утром, когда он провожал свою младшую дочку в школу. Положительный такой дядяша, образцовый отец семейства, челюсть починил, папироской попыхивает, дочку поучает... На обратном пути от школы я его и затащил в кусты. Когда он очухался, я ему сказал: «Вы, кажется, поняли, что я не шучу, а теперь вставайте и показывайте, где закопали Риту». По правде сказать, не понимаю, почему он меня так старательно вел к этому месту. Может быть, выжидал момент, чтобы сбежать или обезоружить похитителя. Много говорил патриотического, взывал к моей совести комсомольца. Мы шли почти весь день, и потом передо мной, как в бреду, среди бурелома открылось заболоченное озерцо и над ним бугор с тремя елками и с глубоким проемом в восточную сторону, к Японии. Я сразу понял, что это то самое место. И Маслюков тут сказал: «Вот здесь лежит шпионка Бурэ, и здесь я часто сижу и вспоминаю, какая она была».

Могила, Борька, вернее, эта яма была давно разрыта зверьем, так что можете не думать, что я совсем уже с резьбы сошел и копался там наподобие вурдалака. Я просто взял вот именно этот, столь знакомый вам по вашим штудиям предмет, что сейчас смотрит на нас глазами пустыми, как весь космос. Он был почти в таком же виде, что и сейчас, я только лишь хорошенько протер его плащ-палаткой...

– А что же Маслюков? – спросил Борис.

– Его больше нет, – пробормотал, свесив волосы над пепельницей, Александр и вдруг грянул кулаком по столу: – Что же вы хотите? Чтобы я

разыграл сцену христианского всепрощения? Чтобы вместе с убийцей пролил слезы над объектом общей любви?!

– Перестаньте орать! – в свою очередь шарахнул кулаком по столу Борис. – Вы что, не понимаете, что об этом нельзя орать?!

Два этих мощных удара нарушили гармонию стола. Темная бутылка покатилась и упала вниз, на коврик, не разбившись. Прозрачная бутылка тоже покатилась, но была вовремя подхвачена и опорожнена в стакан, после чего заброшена на стоящее почти вплотную лежбище Шереметьева с зеркальцем в изголовье и с декадентской Ледой, вырезанной по дубу.

– Хотел бы я знать, сколько в этой истории правды, – сердито сказал Борис.

– Не знаю, – хитро сощурился Шереметьев. – Иногда я кладу руки на этот череп, и мне кажется, что это именно те бугорки, которые я ощущал, когда гладил ее такое прекрасное лицо. Я в этом просто уверен, что это именно те самые бугорки... Значит, она всегда со мной. Хотя бы это я могу сделать: посреди полной беспомощности и заброшенности соединить ее прах со своим...

– Слушайте, Сашка, а вы не заигрываетесь, а? – В Борисе почему-то нарастало раздражение. – Вам не кажется, что вы тут стараетесь перещеголять всех героев Достоевского? Я боюсь, как бы вы, ребята, вообще не заигрались вкрутую с этим вашим кружком. Знаете, я недавно у деда прочел, что самого Достоевского за такой же вот кружок к смертной казни присудили и уже мешок на голову надели, а ведь время тогда не такое было, как сейчас. Вы слышали об этом?

– А как вы думаете? – надменно, с черепом в ладонях, спросил Шереметьев. – Неужели вы думаете, что мы не знали об имитации расстрела на Семеновском плацу? К вашему сведению, мы именно и начали с петрашевцев, и все поклялись на этом мешке, что не струсим.

– Ах вот как! – воскликнул Борис. – Я вижу, что этот кружок у вас не только для самообразования!

– Идите на хуй, Борька, – отмахнулся Шереметьев. – У вас все еще какой-то школьный подход к действительности. Поэтому ребята вас и чураются. Вам на мотоциклах гоняться, а не... а не Достоевского читать...

Проклиная себя за столь неуместное раздражение – чем оно было вызвано, странной завистью ли к Шереметьеву, злостью ли на себя за отсутствие таких глубоких и страшных провалов в подсознание, – Борис встал и сделал шаг к выходу. Вдруг положил руку Шереметьеву на плечо:

– Простите, Сашка, что я не совсем поверил в ваш рассказ. Может быть, вы правы, у меня развивается какое-то спортивное, безобразное

легкомыслие, какая-то наглость от причастности к ВВС. Однако я хотел вас спросить: помните вы хоть один случай, когда я струсил или предал?

– Нет, не помню, – мрачно ответил Шереметьев.

На этом они и расстались. Дружба вроде бы была подтверждена, однако оба начали ловить себя на том, что к новым встречам не очень-то тянет.

* * *

...Вспоминая сейчас, в ночь перед выездом на Кавказ, эти недавние разговоры, Борис совсем разгулялся. Сна не было ни в одном глазу. Он ходил по спальне, прислушивался к доносящемуся издали похрапыванию своих милых гостей и вдруг увидел в углу раздутую папку, полученную утром от Вуйновича. Он бросил ее на кровать, сам плюхнулся рядом, отщелкнул застёжки и вдруг мгновенно, щекой к этой папке, заснул.

* * *

Сад в тумане, а сверху уже наступает солнце. «Встану я в утро туманное, солнце ударит в лицо» – вот именно о таком утре было сказано. Мэри Вахтанговна подстригала садовыми ножницами кусты, подвязывала к забору тяжелеющие розы. АрхиМед сидел на крыльце террасы, иногда провожая взглядом пролетающих тяжелых шмелей.

Мэри вдруг посетило ощущение, что вот так она уже пятьдесят с лишним лет подстригает кусты, а может быть, и все сто. Женщина, подстригающая кусты и подвязывающая розы, – таков постоянный сюжет художника-импрессиониста. *L'impression de vie*, лучше уж сказать: *l'impression d'existence*. Издалека, сквозь повисший солнечный туман и шумно присутствующий повсюду грай грачей, доносились звонки конки. Быть может, Бо любимый уже возвращается с практики. Позвольте, какой конки? Это все фокусы барометрического давления. А также прошедшей жизни. На самом деле, чем крики гимназистов, гоняющих на велосипедах по аллее Серебряного Бора, отличаются от... Позвольте, каких гимназистов, уж давно нет никаких гимназистов. Сейчас поднимется туман, и все встанет на свое место.

За забором, всхрапнув, остановился автомобиль. Приехали за Бо из наркомата? Боже мой, уже и наркоматов ведь нет, вернулись министры...

Калитка открылась, и на аллее появился молодой человек: Никита Второй ли, Борис ли Третий, да нет, это Бабочка – наш Четвертый, неподражаемый!

– Мэричка, я тебе привез сюрприз! – крикнул внук. АрхиМед уже был тут как тут, крутился, напрыгивая на любимого молодого человека. Тот взял его за ошейник, и пес застыл в фигуре вполне человеческого, двуногого удивления.

В калитку между тем проникала нежным бедром миловидная белошвейка; в том смысле, что появилась незнакомая женщина, принадлежащая к тому типу, что когда-то назывался белошвейкой. За руку она тянула... да-да-да, и вот уже подтянула, и вот, чуть подталкивая, выставляет вперед маленького, лобастенького, сероглазенького ежика-мальчика, моего мальчика...

– Китушка! – ахнула Мэри Вахтанговна. И мальчик тотчас же побежал к ней.

Архи-Мед от этой картины взвизгнул, что прозвучало даже неприлично в устах остроухого сторожевого пса, размерами не уступающего легендарной собаке Индус, что вместе с пограничником Карацупой так бдительно охраняла границы Советского Союза.

– Ну вот вам и интернат для Китушки, Таисия Ивановна! – смеялся Борис. – Лучшего интерната, поверьте, не найдете. Засим разрешите откланяться. Времени у меня в обрез, потому что сегодня уезжаю на соревнования, в Грузию. Я надеюсь, мы с вами еще увидимся, и не раз.

– Вы меня смущаете, Борис Никитич, – зарделась она.

– Я очень хорошо теперь понимаю своего отца, – чуть понизив голос, сказал он.

– Вы меня совсем уж смущаете, Борис Никитич, – весело шепнула она. На этом они расстались.

* * *

Он вернулся на Горького и начал – в темпе! в темпе! – сваливать в рюкзаки барахло. Рюкзаки до Орла поедут в коляске, там их перебросят в автобус спортклуба, а в коляске и на заднем сиденье пристроится кто-нибудь из ребят, их тех, что любят скорость. Надо выбраться из Москвы пораньше: впереди, за Орлом, почти три тысячи километров дороги, да еще какой дороги! Постой, постой, да ведь тебя же вечером однокурсники ждут на свою складчину. Элеонора Дудкина с утра уже, наверное, обмирает. Ну, хватит, довольно, вполне достаточно, и даже немного с перебором, всех

этих женщин и девушек! Начинаются соревнования, объявляю обет безбрачия!

Он пошел в спальню, чтобы взять трусы и майки, и тут увидел на кровати кожаную папку Вуйновича. Взять с собой? Нет, нельзя: черт знает, где там придется обретаться, черт знает, какие любопытствующие рыла полезут с вопросами. Он открыл папку, вытащил из одного ее кармана черный пакет для фотобумаги, вывалил снимки на покрывало и сразу забыл о соревнованиях, о мотоциклах и о дороге, той самой дороге, по которой когда-то пылил Александр Пушкин, стараясь догнать экспедицию графа Паскевича до начала штурма турецких твердынь.

Боже, Вероника – с толстой косой, переброшенной из-за спины на грудь! Ей тут не больше восемнадцати, височки затянуты и все-таки кудрявятся, взгляд восторженный, ожидание волшебной жизни. Снимок, скорее всего, был сделан еще до встречи с юным красным командиром. Так и есть, на обороте полустертая и все-таки сохранившаяся (!) карандашная скоропись: июнь 1921-го... Тридцать один год назад! А они, кажется, познакомились в 1922-м, в Крыму. Любопытно, каким же образом добыл этот снимок Вадим? Наверное, просматривал альбом, небрежно ронял комплименты, а потом, когда хозяйка зазевалась, взял и притырил. Тут много следов подобного воровства. Или, может быть, сам снимал красавицу? Трудно представить командира с фотоаппаратом той поры. Вот один и крымский снимок: компания отдыхающих в бухточке, на галечном пляже, загорелые тела, а мать почему-то в белом платье. Должно быть, был ветер, она придерживает рвущуюся юбку, хотя чего ее придерживать, когда вокруг все голышом? Какая была девчонка! Я бы от нее не отошел, если бы в те времена родился от другой женщины. То есть если бы я в момент этого снимка был таким, как вот этот парень, смеющийся, голый по пояс, в мешковатых армейских штанах, босой, – мой отец.

А вот этот снимок Вадим приобрел законным порядком, потому что они на нем втроем. Здесь, очевидно, зона учения: в глубине стоит тогдашний танк безобразной конструкции, марширует взвод красноармейцев. На переднем плане Вероника, откинувшись на плечи двух комбатов, Никиты и Вадима. Тут она уже коротко подстрижена, изображает из себя кинозвезду. Она всегда, и в шутку, и всерьез, немного играла какую-то свою кинозвезду...

Борис стал засовывать карточки обратно в пакет: нет, если начать все это хозяйство рассматривать, еще три дня никуда не уедешь. Надо оставить все это дома и по возвращении внимательно разобраться, может быть, действительно удастся что-то извлечь из этих уроков разрушения любви.

Пока засовывал пакет обратно, вывалился толстый блокнот, распахнулась страница в полоску, мелькнула стихотворная строфа:

*Забудь о ней, не тот момент,
Шептал он в дебрях медсанбата:
Любовь – не лучший инструмент
Из амуниции солдата.*

Это, кажется, дневник. Стихи перемежаются с записями, мелькают даты конца войны. К одной из страниц скрепкой приторочено треугольное письмо с почти размытым адресом, написанным чернильным карандашом. Здесь на странице запись апреля 1944 года: «Пишу в воздухе по дороге на фронт. Какая горечь от этой неожиданной и такой, казалось бы, счастливой встречи! Опять не занес по адресу это злосчастное письмо. Еще один груз ложится на душу. Сколько лет этот, скорее всего, последний привет несчастного блуждает вслед за мной после Хабаровска. Впрочем, все-таки лучше, что треугольничек уехал тогда со мной, а не был захвачен на квартире Н.Г. С моим-то опытом нетрудно себе представить, как несчастный парень по дороге на Колыму бросал этот треугольничек сквозь решетку вагона, не имея почти никакой надежды, что оно дойдет. И все-таки это „почти“ в данном случае является решающим фактором, он подползает по телам товарищей к крохотному окошечку и бросает. Какая разница, большая у него надежда или маленькая? Надежда, может быть, не измеряется в обычных параметрах. И вот опять не довез, и через день забуду об этом письме. И так мы во всем: сражаемся храбро и кажемся себе великолепными, а там, где пули не свищут, оказываемся говном собачьим...»

Борис покрутил пожелтевший треугольник, свернутый из листа тетради для арифметики, то есть в клеточку. Адрес еще можно было разобрать: Москва, Ордынка, 8, кв. 18, Стрепетовым. Он посмотрел на часы: ну что ж, крюк небольшой, надо хоть что-нибудь сделать не для себя, хоть самую малость...

* * *

В подъезде большого желтого дома, естественно, пахло кошками, естественно, лифт не работал, и кафель из мозаики на полу, естественно,

выкрошился. Одинокий ребенок играл на площадке третьего этажа, что-то строил из всяческого хлама: коробки «монпансье», бигуди, руины примуса, катушки... «Ты не из Стрепетовых?» – спросил Борис. «Пятый этаж», – равнодушно ответил ребенок.

«Стрепетовым 2 длинных, 1 короткий», – гласила узкая полосочка бумаги среди десятка таких же. Борису всегда было совестно бывать в коммунальных квартирах: ведь он один занимал площадь, на которой по московским условиям поместилось бы не менее 15 – 20 душ. В конце концов, успокаивал он себя, квартира не моя, а министерская. Меня отсюда могут выставить в любой момент, если решат наконец там делать музей маршала или, что более вероятно, дадут ее какому-нибудь шишке; ну, а пока почему не жить?

Дверь приоткрылась сначала на цепочке. Хрипловатый женский голос из темноты спросил:

– По какому вопросу?

– Добрый день, – сказал Борис. – Я к Стрепетовым.

– А по какому вопросу? – повторил голос. Ближе к цепочке придвинулось лицо с папиросой. Неожиданно выглядели на нем глаза свежей голубизны.

– Да ни по какому вопросу, – пожал плечами Борис. – Просто письмо принес.

Его, очевидно, внимательно рассматривали. Потом цепочку откинули, и дверь открылась. Сутуловатая «еще-не-старуха» отступила в сторону.

– Проходите, но Майки дома нет.

– Я не знаю, кто такая Майка, но у меня письмо к Стрепетовым. Вы Стрепетова, сударыня?

– Как вы сказали? – изумилась курильщица.

– У меня письмо...

– Нет, вы сказали «сударыня»?

– Ну да, я сказал «сударыня»...

– Вот вы иронизируете, молодой человек, а между тем это очень хорошее, вежливое обращение.

– Я не иронизирую, – засмеялся Борис. – Просто у меня письмо к Стрепетовым.

Несколько физиономий выглянуло из дверей. Мальчишка лет четырнадцати застыл, раскрыв рот при виде моторыцаря: весь в коже, связанные перчатки переброшены через плечо, очки-консервы сдвинуты на макушку.

– Проходите, проходите, товарищ, – засуетилась «еще-не-старуха»,

будто стараясь заслонить Бориса от любопытных глаз. – Маечка сейчас придет. – Дернула за рукав мальчишку: – Марат, ну что стоишь, проводи товарища!

Борис вошел в довольно большую комнату, разгороженную хлипкими стенками, не достигающими до потолка. Все предметы мебели – шифоньер, трюмо, круглый стол, оттоманка, этажерка, стулья, ширма – были поставлены почти вплотную друг к другу, все говорило о другой жизни, в которой, возможно, было больше простора. Окно этого, очевидно, главного отсека комнаты, так сказать, гостиной, выходило в проулок. За ним ничего не было видно, кроме кирпичного брандмауэра. Две капитальных стены и три фанерных были завешаны репродукциями картин, в основном морскими и среднерусскими пейзажами. Бросились в глаза общеизвестная «Княжна Тараканова» и увеличенная, в рамке, фотография приветливого и холеного молодого человека в светло-сером, явно очень хорошем костюме, возможно, автора злополучного треугольника.

– Садитесь, пожалуйста, – сказала хозяйка и сделала паузу, чтобы дать возможность гостю представиться.

– Меня зовут Борис, – сказал Борис.

Женщина удовлетворенно улыбнулась:

– А я – Калерия Ивановна Урсова, мать Александры Тарасовны Стрепетовой.

Круглый стол, покрытый истертой «ковровой» скатертью, опасно накренился под локтем мотогонщика. Марат, подросток с восточными чертами лица и уже пробивающимися усиками, стоял в дверях и глазел на гостя.

– Хотите чаю?

– Нет-нет, благодарю вас, Калерия Ивановна, я очень спешу. Я, знаете ли, просто хотел передать письмо многолетней давности и в двух словах объяснить обстоятельства...

За перегородкой что-то сильно скрипнуло и потом что-то упало и разбилось. Калерия Ивановна метнула в ту сторону панический взгляд, а Марат весь напряжился, словно пинчер.

– Маечка должна прийти с минуты на минуту. Если вы соблаговолите ее подождать, Борис, – с фальшивой светскостью произнесла хозяйка, не отрывая глаз от перегородки.

– Бабушка, можно я посмотрю, что с ней? – со страданием в голосе спросил Марат.

– Стой на месте! – резко скомандовала Калерия Ивановна.

– Простите, я, может быть, не вовремя. – Борис приподнялся и достал

из кармана куртки треугольничек. – Простите, я вашей Маечки не знаю, я только лишь принес вот это письмо...

Что-то еще грохнулось за перегородкой, отлетела шторка, и из закутка вышла дочь Калерии Ивановны в обвисшем зеленом плюшевом халате, из-под которого видна была ночная рубашка. Нельзя было усомниться в степени их родства: те же глаза, те же черты лица, с поправкой на возрастную разницу в двадцать с чем-нибудь лет. Впрочем...

– Какое письмо? – вдруг страшным голосом спросила вошедшая. Рывком она протянула руку к письму, волосы распались в космы, показалось, что карга какая-то вошла, шекспировская ведьма.

– Подожди, Александра! Ты должна сейчас спать! – волевым, как бы гипнотизирующим голосом скомандовала Калерия Ивановна. Марат уже тихонечко приближался, как бы готовясь схватить вошедшую Александру.

Она успела все-таки выхватить треугольничек из рук Бориса, взглянула на адрес и вдруг испустила совершенно безумный, ошеломляющий и испепеляющий все вокруг вопль.

В коридоре тут же зашумели:

– Что тут творится?! Безобразие какое! Опять психиатричку развели!

Входная дверь распахнулась, на пороге появилась тоненькая девчонка, в синем платьишке, со спутанной гривой, будто бы выгоревших, хотя как они могли так выгореть в начале лета, волос. Откинув волосы, девчонка пролаяла себе за спину, в коридор:

– Перестаньте базлать, Алла Олеговна! На себя бы посмотрели! – и только после этого бросилась ко все еще вопящей, но уже на угасающих нотах Александре. – Мамочка, успокойся! Ну, что теперь случилось?

Александра совсем перестала кричать при виде дочери, ее теперь только терзала крупная дрожь, сестра судороги. Калерия Ивановна между тем со свежей папиросой во рту щелкала пальцами, чтобы кто-нибудь ей дал прикурить, но на нее никто не обращал внимания. Борис сделал еще один осторожный шаг к выходу.

– Он жив! – горячечным свистящим шепотом заговорила Александра. – Майка, посмотри! Письмо от него! Папа жив! Ну! Ну! Мне никто не верил, а он жив! Маратка! – Она повернулась к мальчику. – Видишь, твой папочка жив!

При этих словах и на лице подростка промелькнуло нечто сродни метнувшейся лягушке.

– Жив! – торжествующе и страшно опять завопила Александра.

На этот раз ответа из коридора от Аллы Олеговны не последовало.

– А где гонец? – вдруг совершенно милым, оживленным и светским

тоном спросила Александра и повернулась к Борису.

Ах, значит, я гонец, подумал тот, однако ничего не оставалось, как только поклониться: гонец к вашим услугам, сударыня. Только лишь после этого и вбежавшая Майка увидела гонца. Вдруг вспыхнула и изумленно вытаращила стрепетовское, еще более усиленное синим платьишком, синеглазие. Все женщины этой семьи светились синевою, в то время как мальчик Марат излучал кавказский агат. Майка держала безумную мать за плечи, а сама была вся повернута, радостно и изумленно повернута к гонцу. Запоминающаяся картинка, подумал Борис и сделал еще один шаг к выходу.

– Это письмо попало ко мне случайно. Как я понимаю, ему не менее пятнадцати лет... – проговорил он.

– Значит, вы совсем недавно видели Андрея, молодой человек? – тем же светским тоном продолжила разговор Александра. – Вы, кажется, спортсмен, не так ли? У вас, наверное, много с ним общих интересов? Ах, как он делал утреннюю зарядку! Какие подбрасывал гири! Я не могла ни одной из них даже оторвать от земли!

Майка взяла из ее рук письмо, быстро развернула его и отвернулась, закрыв локтем глаза. Чернильный карандаш внутри совсем размазался.

Борис, еще больше приблизившись к двери, огорченно развел руками:

– Простите, я не знал... Только сегодня утром я нашел это письмо в бумагах... друга нашей семьи... Как я понимаю, его бросили из вагона еще в тридцать седьмом... Ну, знаете, из этих спецвагонов... а потом наш друг... ну, сам... ну, вот, и я подумал...

– Ну, давайте теперь читать, – мирно и торжественно провозгласила Александра. – Дети, мама, все к столу! Вы, молодой гонец, тоже! Любопытно, что пишет Андрей? Знаете, я не отказалась бы от бокала вина!

Майка вдруг рванулась, резко обогнула, как будто он был не круглый, а квадратный, стол, схватила за руку Бориса и вытащила его в коридор.

– Пойдем! Пойдем! Ей больше ничего не нужно знать! Спасибо тебе за письмо и забудь о нем! Знаешь, я тебя знаю! Знаешь, знаю! Я как тебя увидела, так и обалдела! Ёкалэмэнэ, вот он и явился!

Из туалета выглянуло непривлекательное, как коровья лепешка, лицо Аллы Олеговны. Майка, сверкая зубами и глазами, тащила мотоциклиста вон из пропотевшей бедами квартиры. Какая тоненькая, подумал Борис, можно сомкнуть пальцы у нее на талии.

– Откуда же ты меня знаешь? – спросил он уже на лестнице.

– А я тебя видела в Первой градской. Я там медсестрой работаю на госпитальной терапии. Как увидела тебя, так и ахнула: ну вот и он!

– Что значит «ну вот и он»? – недоумевал Борис.

– Ну, то есть мой, – пояснила Майка.

– Что это значит, «ну то есть мой»? – улыбался Борис. Они спускались по лестнице, Майка все не отцеплялась от кожаного рукава. Владелец этого рукава, то есть руки, засунутой в этот рукав, чувствовал цепкие пальчики. Внутренний смрад коммуналки быстро испарялся.

– Ну то есть такой, о каком мечтала, – пояснила Майка с некоторой досадой, как непонимающему. – Ну, в общем, мой парень.

– Вот так прямо? – покосился на нее Борис.

– А чего же косить? – рассмеялась она. – Я тогда замешкалась в Первой градской, потом хватилась, ну, рванула, а ты уже уехал на мотоцикле, так и дунул по Большой Калужской и пропал. Ну все, думаю, никогда больше этого моего не встречу. И вдруг сегодня, ну и ну, екалэмэнэ, мамка кричит, бегу, вбегаю, а дома он сидит, мой, вот это да!

– А что это мама твоя... давно она такая странная?.. – осторожно спросил он.

– Бабушка говорит, с того времени, как папа... ну, пропал... Ей то лучше, то хуже, но последнее время все хуже. Соседи требуют, чтобы мы ее в психушку сдали, но мы не хотим. И я, и бабка, и Маратка, ну братик, за ней ухаживаем, ну... – Она резко оборвала свои пояснения, как бы показывая, что совсем не об этом ей сейчас хочется говорить.

Они уже были в подъезде дома. Борис в последний раз бросил взгляд наверх. Там через перила, словно бронзовый апельсин с черной шевелюрой, свисало взволнованное лицо Марата. Вот этот, кажется, узнал меня по «Советскому спорту», подумал Борис.

– Этот Марат, он что же, приемный тебе брат? Или по матери?

– Нет, родной, и по отцу, и по матери.

– Позволь, как же родной? Сколько ему лет?

– Тринадцать с чем-то, скоро четырнадцать...

– Ну, а письму-то этому пятнадцать.

– Ну так что же?

– Ну ты же медсестра, правда?

– Ну да, так что же?

– Ну как же он может быть тебе родной, без твоего отца?

– Ну мать говорит, что родной, и бабка говорит, что родной.

– Ну понятно.

– Ну хватит об этом! Мы сейчас куда пойдем?

Они уже стояли на улице. По Ордынке летел сильный теплый ветер. Майка одной рукой придерживала волосы, другой – юбку. Ветер

разбередил даже набриолиненный кок Бориса.

– Я не знаю, куда ты сейчас пойдешь, а я сейчас уезжаю на Кавказ.

– Ой, я с тобой поеду! Подождешь десять минут?

– Перестань дурака валять!

Он подошел к мотоциклу. Коляска была плотно зачехлена брезентом.

– Ой, это тот же самый?! – радостно вскричала она.

Он пожал плечами:

– Откуда я знаю, что ты имеешь в виду?

Ситуация стала его уже немного раздражать. Точно так же бывает, когда какая-нибудь хорошенькая и несчастенькая собачонка увязывается. Не отгонять же ее палкой.

Он сел в седло, снял противоугонный крюк, вставил ключ в замок, завел машину. Собственными руками доведенный до совершенства ГК-1 заворчал со сдержанной мощью.

– Ну, до свиданья, Майя. Я зайду, когда вернусь.

– Нет, ты не зайдешь! – с отчаянием воскликнула она. – Я с тобой поеду! Подожди!

Но он уже тронулся.

Отъехав метров десять вниз по Ордынке, он оглянулся и увидел, что Майка бежит за ним. Платье облепилось вокруг девчоночьей фигуры, волосы летят назад, мелькают кулачки. Инстинктивно он чуть прибавил газу и снова оглянулся. Она, естественно, отстала, но темпа не сбавляла, наоборот, кажется, еще прибавила оборотов, чаще мелькают кулачки. Э, да она теперь босая бежит, сбросила на ходу свои копеечные босоножки. Что же делать, что за дурацкая ситуация? Плюнуть на нее и газануть? Через десять секунд она исчезнет из виду. И останется на душе тяжелым грузом, как тот треугольник у Вуйновича. В конце концов что она для меня? Семнадцатилетняя девчонка, каких тут десятки тысяч по Москве шатаются со своими целочками... Ну, спасибо, Вадим Георгиевич, удружил! Вдруг отчетливо прорезалась совершенно идиотская мысль: раз она говорит, что я «ее парень», значит, я и есть «ее парень», значит, я не могу ее бросить, это будет предательство... Он стал тормозить и смотрел через плечо. Майка домчалась, прыгнула, будто в школе на уроке гимнастики через козла, с разбегу на заднее сиденье, задыхаясь, уткнулась носом и губами ему в спину, руками обхватила его за талию вокруг той самой «сталинской» кожаной куртки, с которой по случаю июня была снята теплая подкладка. Теперь за городской чертой придется останавливаться, рассупонивать коляску и вытаскивать для нее стеганый комбинезон. Иначе вместо Майки привезу в Орел дохлую синюю курицу...

Глава девятая

Античный курс

В тот же самый день, когда Борис IV Градов с неожиданной пассажиркой на заднем сиденье отчалил в южные края, в жизни его кузины Ёлки Китайгородской тоже произошли неожиданные встречи; отнесите это за счет прихоти романиста или за счет каникулярного времени. В начале лета восемнадцатилетние, то есть почти девятнадцатилетние девицы, скажем мы в свое оправдание, излучают нечто, что способствует возникновению неожиданных ситуаций в любом многомиллионном городе, даже и в столице, как тогда начали говорить, «мирового социалистического содружества». Ну что ж, содружество отчаянно сражается за мир во всем мире, особенно на Корейском полуострове, а жизнь все равно идет своим упрямым античным курсом. Изничтожили всяких там бергельсонов, маркишей, феферов, зускиных, квитко, пробравшихся в Еврейский антифашистский комитет для выполнения заданий сионистской организации «Джойнт», посадили в тюрьму некую Жемчужину, случайно оказавшуюся женой заместителя Председателя Совета Министров Молотова, известного в кругах пресловутых и предательских Объединенных наций с их проамериканской машиной голосования под провокационной кличкой «Мистер Ноу», а жизнь тем не менее идет, в принципе не очень даже и отличаясь от тех ее форм, что сложились несколько тысячелетий назад в бассейне Средиземного моря. Уж если, как мы недавно видели, даже и в зоне магаданского карантинного ОЛПа находятся субъекты, склонные подражать сюжетам мифологии, то что говорить об огромной массе людей, не охваченных конвоем, то есть о населении Москвы, великого города, лежащего на так называемой русской плите верхнего протерозоя? Здесь жизнь идет вовсю, и, в частности, идет, вернее, спешит с нотной папкой в руке и с теннисной ракеткой под мышкой указанная выше кузина мотоциклиста, студентка Мерзляковки и подающая надежды теннисистка, игрок сборной Москвы по разряду девушек Елена Саввична Китайгородская.

В тот день, в час пополудни, она играла четвертьфинал на кортах парка ЦДКА. Играла без азарта, потому что слишком многое отвлекало от «большого спорта», и в первую очередь, конечно, музыка. Мерзляковка уже окончена, теперь надо держать экзамены в Гнесинку, то есть и на лето никуда не уедешь: придется штудировать фортепианные пьесы, да и не

только классиков, но и занудных советских композиторов. Сама виновата, поддалась бабкиным уговорам – «Ленок, поверь, ты можешь стать пианисткой мирового класса» – и лести отчима Сандро – «Ёлка, не лыщу, душа воспаряет, когда слышу твоего Моцарта» – и вот запряглась в каторгу, теперь будет не до тенниса.

К тому же и возраст. Ведь это же наверняка мои последние соревнования по разряду девушек, а в разряд женщин мне, наверное, уже никогда не перейти. Почему не введут в спорте разряд старых дев? Так думала спартаковка Китайгородская, без всякого энтузиазма сражаясь с динамовкой Лукиной. Длинноножие, впрочем, помогало: там, где коренастая Лукина пробегала два шага, Ёлке требовался только один. «Можешь стать теннисисткой мирового класса», – говорил ей тренер Пармезанов, который недавно, хлебнув для храбрости коньяку, предпринял в раздевалке попытку перевода ее в разряд женщин. Еле вырвалась. Ну и зря вырвалась. Далеко не самый противный этот Толик Пармезанов. Все меня хотят видеть в мировом классе, а я так и останусь мирового класса идиоткой со своей мембраной.

Эта проблема, то есть полное отсутствие любовного опыта, стала для Ёлки наваждением. В ванной она внимательно себя рассматривала и радовалась: что ни говорите, а большой класс, мировой класс! А потом вдруг мысль о мужчине повергла ее в полнейший ужас: ну это же невозможно, ну это же просто немыслимо, чтобы какой-нибудь Пармезанов или любой другой, пусть хоть Аполлон Бельведерский, нет, это просто невообразимо, чтобы их штуки входили ко мне, вот сюда!

Однажды она спросила у матери: «Нина, а ты в моем возрасте уже?..» Та с юмором на нее посмотрела: «Увы, увы...»

Вот гадина мамка, подумала Ёлка, нет чтобы попросту рассказать, как это у нее было, а то выпендривается: увы, увы...

Нине тоже было неловко. Ёлка просто хочет, чтобы я рассказала, как это делается, а я не могу. Этот социализм нас всех сделал ханжами. Нет, я должна ей все-таки рассказать, какие вольные и дурацкие были времена, полная противоположность нынешнему пуританству, хотя тоже противные, потому что все опять же на идеологию завязывалось, на эти нудные утопии. Как я тоже мучилась точно такими же страданиями, и как ячейка решила соединить меня с этим долбоебом Стройло, и как я потом стала из него лепить миф победоносного и лучезарного пролетария. Ей нужно все это рассказать, включая самое первичное, даже анатомию. Почему же мне трудно это сделать? Неужели оттого, что это сейчас не принято? Или, может быть, оттого, что ее время неудержимо подступает, а мое так

неудержимо утекает?.. Так думала Нина, но Ёлка, увы, не могла прочесть эти мамины мысли.

Зрителей на теннисном стадионе ЦДКА было мало, да и кого загонишь на четвертьфинал Москвы ранним пополуднем в конце июня? Длинными свингами гоняя коротконожку Лукину из одного угла площадки в другой, Ёлка бросала иной раз взгляды на чахлую трибуну, не появится ли обиженный тренер, и вдруг вместо Пармезанова заметила там другого парня, лет на десять моложе, то есть ее собственного возраста. Парень сидел нога на ногу, обхватив колено руками, и, не отрываясь, восхищенно смотрел на нее. Волосы у него были с намеком на стилижные прически, но, к счастью, без бриолина. Темно-синий пиджачок внакидку, плечи торчат вверх. Похож на молодого Джека Лондона. Лукина в этот момент неожиданно вышла к сетке и мощно загасила мяч прямо перед носом Китайгородской. Раздались жиденькие аплодисменты, и паренек зааплодировал. Ах ты, гад такой, ты что же, против своей девушки болеешь? Пройдя вдоль сетки, Ёлка сердито на него посмотрела. Влюбленность и восторг были написаны на его лице со впалыми щеками и выпуклым подбородком. Да он просто не видит никакой игры, он просто следит, как двигается тут его девушка; поэтому и аплодировал невпопад.

Матч закончился. При всей сегодняшней паршивости Ёлка все-таки обыграла Лукину. По дороге в душевую она остановилась возле трибуны прямо напротив обожателя и посмотрела на него. Поймав ее взгляд, он дико перепугался и сделал вид, что так, вообще озирает панораму и потная, раскрасневшаяся девица не представляет для него большего интереса, чем, скажем, деревья или лозунг: «Да здравствует великий Сталин, лучший друг советских физкультурников!» Да он совсем мальчишка, этот типус! Никогда сам не решится ни подойти, ни заговорить.

– У тебя там не занято? – спросила она, показывая на совершенно пустую в обе стороны скамейку.

– Что? – восторженно он, растерянно глянул вправо, влево, посмотрел за спину, может, кого другого спрашивают, там никого, по-дурацки как-то хохотнул, наконец, выдавил из себя: – Нет, не занято.

– Придержи для меня одно место, – сказала она и величественно проследовала мимо.

В душевой она подумала: вот этот пусть и переведет меня из разряда девушек в разряд женщин. И сам, соответственно, к мужчинам присоединится. Если, конечно, еще не убежал без оглядки.

Ну что ж, внешность у нас «мирового класса», хотя какие там бывают внешности в мировом классе, нам неведомо. Во всяком случае, не хуже,

чем в странах народной демократии, если судить по знакомым студенткам из Польши и Чехословакии. Волосья мокрые, но через полчаса они высохнут и начнут летать, сводя с ума всех этих мальчишек-провинциалишек. Она почему-то была уверена, что он не москвич, хоть и в узких брюках щеголяет.

Провинциалишка не убежал. Напротив, действительно забронировал для нее место своим пиджаком. Она прошла вдоль пустой скамьи и села рядом. Пиджак, словно тюлень, поспешно, всеми фалдами, ретировался.

Она удивилась, почему он не спрашивает, как ее зовут. Он сказал, что и так знает, в программке написано: Елена Китайгородская. В свою очередь, надо представиться, сэр, если занимаете даме место на пустой скамейке. Оказывается, его зовут Вася, ну, в общем, Василий. Вот так имя! А что такое? Ну, вокруг одни Валерики и Эдики, а тут старорусский Василий. Впрочем, и у нас тут есть один, хм, Вася такой, хм, таковский. Он должен признаться, что ему его имя осточертело, а вот Елена Китайгородская – это здорово звучит. В семье меня Ёлкой называют, а ты откуда? Из Казани, был ответ. Фью, она разочарованно присвистнула, вот уж небось медвежья дыра! Вот уж ошибаешься, он воспламенился, у нас там университет старинный, баскетбольная сборная второе место в РСФСР держит, ну и джаз, как всем известно, лучший в Союзе. Джаз? В Казани джаз? Ну, умора! Ну, знаешь, ты не знаешь, а смеешься, знаешь, как будто знаешь! У нас в Казани шанхайский джаз Лундстрема... вот помнишь, во время войны такая картина была, «Серенада Солнечной долины»? Вот они в такой манере играют! Он погудел немного в нос и пошлепал паршивой сандалетой. Еще недавно в Шанхае играли, в клубе русских миллионеров. Ой-ой, ну вот, как расфантазировались казанские мальчишки! Ёлка, ты меня заводишь, а сама не знаешь, что Лундстрем входит в мировую десятку, между Гарри Джимом и Гуди Шерманом; его Клэн Диллер называл королем свинга восточных стран! Хо-хо-хо, вот это демонстрируется эрудиция! Там, в Казани, когда шанхайцы играют, знаешь, когда они втихаря от начальства играют, все балдеют: и москвичи, и даже ребята из Праги, из Будапешта, Варшавы варежки разевают, никогда такого живьем не слышали! Она еще больше рассмеялась и хлопнула его ладошкой по плеч у, от чего вдоль обтянутого шелковой «бобочкой» позвоночника прошла волна. В общем, Казан б-а-ал-шой, Москва м-а-аленький, да? Весьма к месту припомнила фразу из фильма «Иван Грозный», от которой миллионы кинозрителей хохочут до икоты. А ты где учишься-то, Василий? Он поежился: вот сейчас она совсем разочаруется, если бы он хотя в КАИ учился, или в КХТИ, или в университете имени Ульянова-Ленина, а то... Да

ну, в меде я учусь. В медицинском?! Вот здорово! По учебнику Градова занимался? На следующий год по нему будем заниматься, а что? А то, что это мой дедушка. Ну, кончай заливать! Слушай, Вася, откуда у тебя такие манеры, как будто не в Казани воспитывался! В натуре, Градов – твой дедушка? В натуре, в натуре – что это за выражение такое, в натуре, – а моя мать, между прочим, поэтесса Нина Градова. Вот уж, действительно, произвела впечатление: мальчик, очевидно, литературой интересуется. Что за странное хвастовство? Не хватает, что ли, своих собственных качеств, чтобы произвести впечатление? И далее благовоспитанная московская девушка, что называется, из хорошей семьи задает незнакомому Васе абсолютно неуместный вопрос: ну, а твои кто родители? Он почему-то набычивается, смотрит сбоку и исподлобья; некий волк. Ну, если уж задала неуместный вопрос, придется его повторить: так кто же твои родители? Служащие, неохотно отвечает он и переводит разговор на спортивные рельсы. Здорово ты обыграла Лукину, а у меня больших талантов к спорту нет, только вот в высоту неплохо, тренер говорил: развивай свою природную прыгучесть! Ну, в общем, вот, попробую этим летом. Не, я сейчас на Юг еду, в Сочи, там уже наша кодла собралась, а я вот в Москве решил на несколько дней... Кодла собралась, ну, значит, гоп-компания; никогда такого слова не слышала? Странно.

Странно, что мне все твои слова знакомы, а тебе некоторые мои слова незнакомы. Мне это нравится, ты, я вижу, не прост. А кто сказал, что я прост? Ого, да ты совсем не прост! Ты в Сочи был раньше? Ёлка снова чувствует какую-то неловкость от своего вполне невинного вопроса: спрашиваю, видно, чтобы похвастаться, дескать, я-то там уже два раза была, в том смысле, что, мол, все-таки знай свое место, провинциал и сын «служащих», когда говоришь с аристократкой из семьи Градовых. Я в том смысле, что если ты еще не видел моря... Что? Ну, как ты говоришь, обалдеть можно. Оказывается, он уже видел море. Там, в Казани, как видно и море самое большое или, по крайней мере, входит в мировую десятку. Василий вдруг начинает проявлять снисходительность, напускать джек-лондонского туману. Он, оказывается, жил возле моря. Два года жил на берегу моря, только не Черного, а другого. Интересно, а какого? Магелланова или Лигурийского? Охотского. Вот те раз! А это что за выражение такое «вот те раз», Елена Китайгородская? Он жил два года в Магадане и, в общем, там как раз и среднюю школу окончил. Почему же невозможно? У нас там школа была получше любой московской, с прекрасным спортзалом.

Но как же он там оказался, вот что любопытно. Если ты не

фантазируешь, то как ты в этом Магадане оказался? В лице у любителя джаза снова появляется нечто неприрученное, как бы вдруг обнаруживается какая-то другая, не казанская, порода. Ну, там... просто... ну, мама моя живет... вот я к ней приехал и школу там окончил... Между прочим, Ёлка, вон тот толстый игрок, это что же, неужели тот самый знаменитый радиокomentатор Николай Озеров? Как бы он ни переводил разговор на другую тему, становится понятно, почему он сразу переводит разговор на другую тему при упоминании родителей. Ах вот в чем дело: он из этих... Она смотрела на него теперь с двойным интересом: оказывается, не просто какой-то симпатичный провинциалишка, он, оказывается, из этих... А знаешь, Вася, видно, правильно говорят, что мир тесен: у меня ведь в Магадане дядя живет... Да-да, родной брат мамы... он... он тоже из служащих...

Между тем народу на скамейках прибавилось: начался главный матч дня, Озеров играл с Корбутом. Знаменитый человек своего времени, комментатор, заслуженный мастер спорта и артист Николай Николаевич Озеров, сын другого Николая Николаевича Озерова, певца, был, очевидно, самым жирным теннисным чемпионом в мире. Между тем, носясь с исключительной подвижностью и непринужденностью по площадке, он довольно легко обыгрывал стройного и мускулистого Корбута.

Василий больше смотрел на публику, чем на игру. Среди зрителей большинство было, очевидно, людьми одного круга, теннисная столица, загорелые женщины и мужчины в легких светлых одеждах и парусиновых туфлях. Ни в Магадане, ни в Казани таких не увидишь, почти заграница. Многие перекликались, смеялись. Ёлочка тоже то и дело помахивала кому-то ладошкой. Ну и девчонка! Василий, с его почти нулевым опытом по части девиц, был совершенно очарован. Это же надо, сама взяла и подошла к нему. Мало похожа на наших телок с лечфака. А как хороша, какая фигура, какие глазки, веселые, насмешливые и немного грустные, и гриву свою все время отбрасывает назад. Одно это движение рукой, гриву назад, незабываемо. Даже если случится самое страшное, если вдруг встанет и скажет «ну, пока!», все равно уже никогда не забудется. Этот день на двадцатом году жизни, конечно, никогда уже не забудется.

Мимо прошел какой-то пожилой красавец со знакомой внешностью, наверное, из кино, серьезно посмотрел на Ёлку, спросил: «Как мать?» – и кивнул в ответ на ее «все в порядке». Внучка автора учебника по хирургии, дочь знаменитой поэтессы, о которой даже мама в Магадане говорила: одаренная.

Неподалеку втиснулся между двумя спортсменами некий тип в

тренировочном костюме с засученными рукавами. Тип с длинными волосами, зачесанными назад и обтянутыми сеткой для укладки прически; эдакая гладкость головы и в то же время павианья волосистость предплечий. Он мрачно смотрел на Китайгородскую.

– Что же вы, Пармезанов, даже не приходите, когда ваша подопечная играет? – Ну и девка, ядовито так обращается к человеку в два раза старше.

– Не мог, – ответил трагический тип Пармезанов.

– Что же случилось? Жена, детки? – продолжала ехидничать Китайгородская.

– Не надо, – сурово сказал Пармезанов, отвернулся и тут же оглянулся.

Ёлка встала и громко сказала:

– Ну, пошли, Вася. Здесь все ясно. Озеров выигрывает.

Василий тут же встал с чрезмерной радостной готовностью.

Да она меня просто себе подчинила. Просто поработила. Я уже себе не принадлежу. Что она скажет, то и сделаю, и все вокруг будут смотреть и говорить: «Смотрите, Ёлка Китайгородская совсем уже себе этого Васю подчинила!» Вот счастье!

Тип Пармезанов провожал их нехорошим взглядом, пока они пробирались среди любопытствующей публики.

В парке на пруду меж медлительных лодок резво плавали современники динозавров – сытые селезни. Куски бывших французских, ныне переименованных в городские булок висели в воде, словно маленькие медузы. В центральной аллее высилась похожая на удлинённый стог сена скульптура пограничника в тулупе до пьедестала. Под этой надежной охраной в павильоне разливали коньяк, нередко по прихоти товарищей офицеров смешивая его с шампанским. Вася извлек из брючного кармана солидный рулончик сталинских денег.

– А что, если коньяку выпить с шампанским?

– Хорошая идея, чувствуется Магадан, – восхитилась Ёлка.

– В Магадане мы пили девяностошестиградусный спирт. – Он начал рассказывать обычную колымскую спиртовую чепуху, как в рот набирали спирту, и спичкой поджигали, и так вот и бегали с огнем во рту. Вот на выпускном вечере так балдели, даже перепугали почетного гостя, генерала Цареградского.

Пока сидели на трибуне, он боялся, что Ёлка окажется выше него, однако теперь, к великому счастью, выяснилось, что они просто под стать, он даже сантиметров на пять повыше.

– Залпом пьем? – спросила она.

– А вы совершеннолетние? – спохватилась буфетчица сорокалетней

сливочной выдержки.

Бухнули залпом. У Васи сразу расширились горизонты. Вернулся Билл из Северной Канады.

– Твоя мама – одаренный поэт, – сказал он Ёлке.

– А ты откуда знаешь? Она сейчас не печатает ничего, кроме переводов.

– А мне моя мама ее стихи читала, помнит еще с тридцатых годов.

– А можно я тебя на ухо спрошу, Вася? Твоя мама – враг народа?

– Подставляй теперь свое ухо. Мои родители – жертвы ежовщины, а я – пария в этом обществе.

Ёлка вдруг с жалостью сморщилась:

– Не надо, не нужно так, Вася, никакой ты не пария. Родители одно, а дети ведь другое.

– На самом деле – это одно и то же, – сказал он. – Яблоко от яблони...

– Ну, давай переменим пластинку. Каких ты еще поэтов любишь?

– Бориса Пастернака.

– Ну, Вася, ты меня просто удивляешь. Сейчас все студенты Сергея Смирнова любят, а ты Бориса Пастернака.

«Он, у меня уже голова кружится. Больше ни капли!»

– Откуда же ты Пастернака взял?

– А мать читает Пастернака на память, просто километрами. «Годами когда-нибудь в зале концертной / Мне Брамса сыграют, – тоской изойду. / Я вздрогну, я вспомню союз шестисердный, / Прогулки, купанье и клумбы в саду».

– «Художницы робкой, как сон, крутолобость, / С беззлобной улыбкой, улыбкой взახлеб», – немедленно продолжила она.

Они посмотрели друг на друга с неожиданно откровенной нежностью. Ладони соединились и тут же отдернулись, как будто слишком много в этих подвижных лопаточках с хватательными отростками собралось электричества.

– Ты знаешь, утки не видоизменились со времен динозавров, – сказал он.

Они шли вдоль пруда. Ёлка раскачивала своей сумкой, из которой торчала ручка ракетки.

– К Брамсу вообще-то я довольно равнодушна, – так она отреагировала на его сообщение об утках.

– А кто твой композитор?

– Вивальди.

– Я даже и не слышал такого. – Василий впервые признался в

некоторых своих несовершенствах.

– Хочешь послушать переложение Вивальди на старом пианино?

– А где?

Она внимательно на него посмотрела, как бы оценивая, потом пришла к решению:

– У моей мамы сегодня вечером, ну, вернее, у ее мужа, вернее, друга, он художник, они живут на чердаке, ну, в общем, я буду играть...

– А ты еще и на фортепьяно?

– Что значит «еще»? Да я будущая пианистка мирового класса! Когда-нибудь услышишь меня в зале концертном, тоской изойдешь!

Он даже помрачнел от этого сообщения. Это уже слишком: теннис, происхождение, пианизм! Слишком много для парии в этом обществе.

Она, должно быть, уловила это мимолетное изменение настроения, засмеялась и – о боги! – поцеловала Василия в щеку. Ну что, пойдешь? Еще бы не пойти! Конечно, пойду! Ты где остановился в Москве? Нигде. То есть как? На вокзале вчера спал, на газете «Культура и жизнь». Понимаешь, я собирался в общежитии МИСИ прокемариться, у друга, а его там нет, вахтерша не пустила... Ее вдруг осенило: будешь у меня сегодня спать на Большом Гнездиновском. Не волнуйся, я одна живу. То есть как это одна? Ну, мама бывает иногда, но вообще-то она у своего художника живет, у Сандро Певзнера. Василию, который всю жизнь свою на раскладушке обретался в теснейшем соседстве с родственниками, трудно было даже представить себе, что девчонка его лет живет одна, в квартире с отдельным входом. Некая тучка опять опустилась на его чело: может быть, это «особа свободных нравов», «тигрица» любви? Ночами на раскладушке этот Василий иногда казался себе победителем таких «тигриц», увы, при свете дня победоносное копьё предпочитало отстаиваться в кулуарах. Тучка пролетела. Черт знает что в голову придет! Такую девчонку вообразить «тигрицей»! Послушай, Ёлка, а твои родители в разводе? Их война развела, грустно сказала она. Отец пропал. Погиб? Ну да, пропал. Он был хирург. Как бы ты сказал, Вася, он был мощный хирург. И вот такой мощный хирург, мой красавец папа, мощага, как бы ты сказал, пропал на фронте, ну то есть погиб. Она вовсе не так уж счастлива, эта девочка, в которую я так по-страшному влюбился, подумал Василий, и вовсе не так безмятежна, и уж совсем не похожа на «тигрицу» из моего воображения.

Договорились, что он поедет на вокзал за своим рюкзаком, а она через два часа придет к метро «Маяковская», чтобы отвести его к себе в Большой Гнездиновский. Ну, а потом они вдвоем отправятся в Кривоарбатский, на суарэ. На чем, переспросил Василий. Не на чем, а куда, рассмеялась она.

Суарэ – это не трамвай, мой друг из блестящей Казани. Это что-то вроде плиссе-гофре, как я понимаю, нашелся он, вспомнив часто попадающуюся в Москве вывеску. На этом они расстались у ворот парка ЦДКА, который на всю жизнь обоим запомнится как место юношеского щемящего очарования.

* * *

Первый час разлуки Ёлка провела, размышляя о том, что надеть. Время было тревожное: перелом в моде. От подставных крутых плечиков все более переходили к так называемому женственному силуэту. Прежде всего, разумеется, надо надеть узкую юбку с разрезом, ту, что маме не нравится, ну а жакетку, которая ей уже три года так нравится, выбросить к чертям! Итак, низовой вопрос решен, теперь подходим к верхам. Блузки летели из шкафа на кровать будто флаги фестиваля молодежи и студентов. Дело не в цвете, а в линиях. Увы, все они не придавали данной девице достаточно современных очертаний. Одна была какая-то слишком детская, другая какая-то слишком солидная. Все плохо монтировались с юбкой, с которой, ну, в общем, вопрос был решен. Вдруг пришла блестящая идея: с этой шикарной, стильной юбкой надену простую студенческую ковбойку; вот и все, вот и все дела; звучит просто гениально! А свитер будет переброшен через плечо! Василий, ты не видел таких девушек ни в Казани, ни в Магадане! Затем началась проблема прически. Подкрутить ли щипцами концы волос, чтобы получилось нечто напоминающее последний крик, «венчик мира»? Поднять ли все вверх, чтобы открылась лебединая шея, или расчесать на стороны, или зажать назад? Вот мамка здорово придумала: подстриглась под мальчишку и сразу столько сомнений ликвидировала, да еще и помолодела на десять лет. С проблемой волос непосредственно связана проблема губ. Подмазывать или не подмазывать? Распущенные волосы и помада... Хм... пардон-пардон, сюда еще присоединяется юбка с разрезом... как бы этот Вася не испугался такой московской тигрицы... к тому же ковбойка в таком ансамбле выглядит просто по-идиотски... На помощь опять приходит природный гений: губы подмажем, а волосы заплетем в косищу! Блеск! Итак, за пятнадцать минут до встречи, то есть без четверти шесть, на улице Горького появляется интригующая юная особа, то ли студенточка, то ли девица полусвета. Полусвет, демимонд... из той же оперы, что любимые стишки Толика Пармезанова, которыми он пытался охмурить свою подопечную: «...Я хочу

с перламутровым стеклом проходить по вечерней Москве...» Экая пошлятина! Поменьше надо думать обо всей этой чепухе: что надела, то надела, небрежность – неперменный элемент хорошего вкуса. Можно записать это изречение? Мужчины, разумеется, оборачивались почти без исключения. От двадцати до сорока, во всяком случае, без исключения. Некоторые столбенели. Вот, например, один невысокий, хромой, но удивительно интересный мужчина остолбенел, потом потряс головою, поиграл дьявольскими глазами, произнес знакомым голосом «Батюшки-матушки!» и остался позади по правому борту, у афишной тумбы с названием кукольного спектакля «Под шорох твоих ресниц».

У метро всю торговали пирожками и мороженым. Возле газировщицы лежал большой задумчивый пес. Василия в хаотическом кружении толпы пока не определялось. Интересно, кто кого должен ждать? Впрочем, еще и нет шести часов. Без пяти шесть. Если так буду стоять, обязательно привяжутся. Встану в очередь к киоску «Мосгорсправка». Какому-то человеку чистильщик, зазевавшись, провел ваксой по белым брюкам. Газировщица показывала через улицу на магазин колбас: «Эй, замазанный, поди там у грузчиков спирту попроси!» Из толпы вдруг выдвинулся и направился прямо к Ёлке статный мужчина кавказской внешности. Хороший серый костюм в полоску. Одной рукой притрагивается к шляпе, другой показывает красную книжечку с тремя золотыми буквами МГБ: «Простите, девушка, с вами хочет познакомиться один из государственных мужей Советского Союза». Инстинктивно она оглядывается и видит за своей спиной двух офицеров: погоны, пуговицы, зажим авторучки, орденские планочки, комсомольский значок... Один на двоих, один на двоих...

Никто в суматошной толпе часа пик не обратил особого внимания на посадку стройненькой девушки в брюхатый черный лимузин, никто, кроме трех баб: газировщицы, пирожницы и справочницы из «Мосгорсправки». Эти три постоянных мойры «Маяковки» переглянулись с улыбочками, но, конечно, ничего друг дружке не сказали.

Через минуту появился Василий с рюкзаком. Ему предстояло здесь провести несколько часов в бесплодном ожидании.

* * *

В студии на Кривоарбатском между тем Сандро Певзнер мастерил подрамник для нового холста. Холсты с готовыми работами,

подсыхающими и не законченными, стояли повсюду. Сандро сладко мычал. У него уже несколько месяцев протекал новый, как он его называл, «оранжерейный» период. Цветы стали его главными героями. Можно сказать, большими друзьями. Если только не членами семьи. Детьми. Лепестками любви. Выражением Нины в ее самой сокровенной части. Он писал цветы. Иногда сильно увеличивал. Иногда значительно уменьшал, словно в перевернутом бинокле. Иногда в натуральную величину. Иногда это был холстенок размером с почтовую открытку. Иногда метр на метр. Но не больше. Пока, к сожалению, не больше. Задуман был гигантский холст с апофеозом цветов. Он немного боялся его начинать: могут неправильно понять. Боишься не боишься, но все равно начнешь, смеялась Нина. Пожалуй, ты права, моя дорогая. Пока что скромно трудился над своей скромной оранжереей. Иногда, вспоминая Вермеера и прочих малых голландцев, выписывал каждую прожилку, каждую каплю росы, жука или пчелу в гуще букета. В другой раз размашистыми мазками создавал импрессионистские отражения. Пионы, хризантемы, розы, конечно, гвоздики, тюльпаны, всякая мелочь: лютики и васильки, анютины глазки – и фаллически неотразимые гладиолусы, шепот герани, воплощение сирени, что-то с натуры, а что-то из памяти, почти из ночи, может быть, из сновидений.

– Этот Певзнер, – говорила Нина, прогуливаясь среди цветов, – чем-то не тем занимается. Создает мнимо красивый мир, сознательно противопоставляет его нашей действительности. Не стоит ли присмотреться, товарищи, к этим псевдоневинным квазиботаническим упражнениям?

Он хохотал:

– Перестань, дорогая. Канэчно, хорошая ымытаця, но не по существу. Своими цветами художник Певзнер как раз подчеркивает красоту нашей социалистической действительности, выдающиеся успехи нашего советского цветоводства, глубокую справедливость нашего образа жизни, в котором объект красоты принадлежит не обожравшемуся буржуазному эстету, а простому труженику. Художник Певзнер демонстрирует, что он извлек хороший урок из принципиальной партийной критики.

Она снимала с одной из манекенных голов, расставленных по студии, чеховское пенсне, внимательно приглядывалась к мазкам, потом к личности самого ваятеля с седеющими усами.

– Доиграетесь, Певзнер, ох, доиграетесь, Соломонович!

И впрямь доигрался. Крошечная выставка в Доме культуры Пролетарского района, на которую он прорвался с полудюжиной полотен,

вдруг привлекла всеобщее внимание. Народ съезжался смотреть на странные цветы, вызывающие какую-то непонятную, хотя почему-то как бы знакомую, будто из прежней жизни, жажду. Приезжали даже ленинградцы специально на выставку в ДК Пролетарского района столицы. На ступенях обменивались мнениями, мелькали нехорошие слова: импрессионизм, постимпрессионизм и даже символизм. В конце концов «Московская правда» разразилась статьей «Сомнительная оранжерея», в которой, среди прочего, говорилось, что «Певзнер (употребление неблагозвучной фамилии в печати даже без инициалов считалось вполне зловещим признаком) пытается создать внешне невинный, как бы старомодный, безобидный эстетизм, который на деле подрывает основные принципы социалистического реализма. Оранжерея этого художника нехорошо пахнет...»

– Почти твоими словами, дорогая! – хохотал Сандро. С бокалом красного «Мукузани» он отмечал свой успех. Вызвать шум в столице бесконфликтного искусства, написать взрывоопасные цветы!

– А что же ты думал, Певзнер Соломонович, нас плохо учат в Союзе писателей? Каждый из нас в любую минуту готов дать отпор зарвавшимся декадентам по призыву... ммм... ну, в общем, по призыву... ммм... в общем и целом, по зову сердца!

Этот юмор висельников напоминал Нине тридцатые годы на Большом Гнездиновском. Все эти объявления на кухне: «Если за тобой придут раньше, не забудь проверить газ и выключить электричество», все то ерничество, что помогало им с Савкой не свихнуться. Тогда, впрочем, было некоторое парадоксальное преимущество: метла мела без разбора, что-то вроде стихийного бедствия. Теперь же партийный критик через газету «Московская правда» обращается к органам с верноподданническим сигналом, призывает любимые органы обратить внимание на «внешне невинного» художника. А мы все шутим. Не слишком ли затянулась наша ирония? Не пора ли ей пройти вместе с молодостью? Однако без нее-то уж совсем конец, мрак и маразм.

Ну что ж, будем жить и шутить, авось кривая вывезет, как тогда вдруг вывезла, несмотря на довольно широко известное троцкистское прошлое. Больше ничего не остается – жить и писать свои цветы.

Что они будут делать со всем этим хозяйством, если придут с обыском, арестом и последующей конфискацией? Любопытно было бы увидеть чекистскую опись этого имущества. Последнее пристрастие Сандрика к раскрашиванию магазинных манекенов может вызвать неразбериху в инвентарных списках МГБ. Самое опасное, однако, не на стенах и не вдоль

стен, а вон в том дряхлом письменном столике на антресолях, за которым член Союза писателей СССР Нина Борисовна Градова иной раз проводит часы, свободные от переводов с каракалпакского. Стихи и проза, которым никогда не увидеть свет. Кому у нас лучше, художнику или писателю? Это зависит от того, что считать конечным результатом творческого процесса: рукопись или книгу? Художник так или иначе видит результат своего труда, завершённую картину. Можно ли считать рукопись конечным результатом, рукопись, что никогда не станет книгой?

Таким не очень-то вдохновляющим мыслям предавалась Нина, пока тащила сумки с вином и продуктами. Вопрос «кому у нас лучше» элементарно переводится в «кому у нас хуже». Обидно, что вся жизнь прошла под этим свирепым жульем. И никакого просвета не предвидится. Подумать, ни разу в жизни не побывать за границей! Отец и мать в молодые годы все каникулы проводили в Европе, добирались и до Египта, бродили среди пирамид! Жулье запечатало все наши двери, и навсегда. Есть только один способ пересечь границу – включиться в эту их жульническую борьбу за мир, то есть продаться сразу и с потрохами, как Фадеев, Сурков, Полевой, Симонов, как, увы, и Илья... Начать выступать на собраниях, страстно обличать Уолл-стрит и Пентагон, втирать очки заезжим европейским и американским простакам, вот и сама в конце концов войдешь в делегацию доверенных лиц на конгресс мира. Женщина еще не старая, хорошенькая, вдохновенная поэтесса... усвоить этот идиотский пафос... на этот крючок можно зацепить каких-нибудь фредериков жолио-кюри... Вот придет же в голову такая мерзость. Это из-за того, что приходится тащить тяжесть, да еще будучи на высоких каблуках. Этот «далеко не безвредный художник» совсем меня поработил! Сидит себе там на верхотуре, пластиночки прослушивает, кисточками и красочками балуется, а Женщина, то есть существо, которое всегда в Тбилиси как бы с большой буквы произносится, но за стол не всегда приглашается, разумеется, должна таскать эти сумки. Представляю усатую физиономию избранника, когда я вдруг включусь в борьбу за мир и уеду с делегацией в Вальпараисо.

Почему-то в последнее время она стала часто думать о Западе. Нередко вспоминала свое «максимальное» приближение к Западу, когда во время воздушной тревоги в сорок первом, в глубинах метрополитена, с ней рядом спиной к спине оказался американский журналист с трубкой, торчавшей из кармана твидового пиджака. От него пахло чем-то исключительно западным, тем, что долго держится, очевидно даже в пропотевших бомбоубежищах, – смесью хорошего мыла, хорошего табака,

хорошего алкоголя, то есть всего хорошего. Они разговаривали, и ей казалось, что она опознает этот космополитический тип человека прессы, который имеет какое-то отношение к тому, что имел в виду Мандельштам: «Я пью за военные астры, за все, чем корили меня... / За музыку сосен савойских, полей Елисейских бензин... / За рыжую спесь англичанок и дальних колоний хинин...» Ей тогда показалось, что он предлагает ей какой-то выход, какое-то головокружительное бегство, однако вскоре в метро началась паника, и они навсегда потеряли друг друга. Веронике больше повезло: вот стреканула от всех и от всего – и от лагерей, и от могил. Живет себе в каком-то там штате с игрушечным названием Коннектикут. Впрочем, что я знаю сейчас о ее жизни? Может быть, воеет там от тоски. От тоски по сыну или по своим сногсшибательным появлениям на улице Горького... Может быть, весь свой Коннектикут променяла бы на мой чердак с художником и «небезвредными» цветами? В бегстве, как таковом, всегда есть мотив беды, недаром говорят: от себя не убежишь.

Она поднялась на лифте на шестой этаж, еще два марша пешком и, наконец, открыла дверь чердачного логова, которое ей все чаще вообще не хотелось покидать ни для чего. Пластика, конечно, крутилась: концерт Баха для двух скрипок. Сандро сидел в дальнем углу с очередным цветком, совсем уже неподвластным никакой классификации. Недавно он сделал там себе треугольный просвет в небо и возлюбил сидеть в трехгранном световом столбе, то есть как бы отгороженный от презренного быта, где какие-то там бабцы таскают сумки с провизией. Гумилевские «Романтические цветы». Нина вдруг почувствовала ревность к возникающему очередному шедевру, полураспустившемуся бутону с почти калейдоскопической сердцевинкой. Вот сейчас подойду, и начну целовать его в шею, и руками скользить вниз, и отниму его у тебя. Странное что-то происходит с этим художником. С тех пор как он начал эту серию или, если угодно, «период», его интерес к натуре – а ведь он явно все время пишет ее цветок – несколько увял. Стены разгораются все большим огнем, а его собственные полыхания побледнели. Вдруг ее поразила одна мысль: а ведь этот «оранжерейный» период начался у него как раз тогда, когда она познакомилась с Игорем. Он, конечно, ничего не знал и сейчас не знает о ее связи с юнцом, откуда ему знать, он почти не спускается с чердака, никакая сплетня до него не могла дойти – он просто что-то почувствовал, руками, кожей, членом почувствовал ее «новый период» и подсознательно ответил на него своими цветами, то есть памятью о том времени, когда у нее никого, кроме него, не было.

Не показав даже самой себе виду, что ее что-то поразило, она поставила сумки в выгородке, которая им заменяла кухню, и крикнула через всю студию:

– Ёлка не звонила?

– Пока нет, – ответил он и пошел помогать ей выгружаться.

– Послушай, Сандро, – сказала она, не глядя на него, занимаясь баклажанами, – тебе не кажется, что ты с этими своими цветами... немного преувеличиваешь?..

Теперь они посмотрели друг на друга. Он улыбнулся и подставил ей свою плешь, и, как было у них заведено, она приласкала эту плешь несколькими шлепками, будто ребенка.

После семи стали появляться гости. Любопытно, что молодые музыканты, друзья Ёлки, вместо того чтобы опоздать, явились раньше всех. Пришла, например, флейтистка Калашникова, которую не очень-то и ждали. Интересно, она-то откуда сюда дорогу знает, подумала Нина, глядя, как непринужденно разгуливает бойкая барышня среди певзнеровских цветов. Может быть, я несколько заблуждаюсь насчет затворничества Сандро? Ревность пронзила ее, словно мгновенная почечная колика.

– Как у вас замечательно здесь, Нина Борисовна, – сказала флейтистка. – Я так благодарна Ёлке, что она мне работы Александра Соломоновича показала и сегодня пригласила.

Ах да, она преподает в Мерзляковке. Ваши колики немного смешны, почтенная Нина Борисовна Градова, заслуженный деятель искусств Адыгейской АО. Ведь мы все-таки для них уже отжившее старичье. Игорь не в счет, он поэт.

Вбежал, таща футляр с виолончелью, молодой гений Слава Ростропович, о котором говорили в Москве, что он второй, если не первый, Пабло Казальс. Сразу же полез со всеми целоваться. Облобызал как старого друга флейтистку Калашникову, хотя явно видел ее впервые. Сжал в объятиях Сандро, целовал его в щеки, в губы, в нос, в лоб, в промежутках между поцелуями успевая выкрикнуть слово «сногшибательно!», которое, по всей вероятности, относилось к картинам, а не к целуемым объектам. Помчался на кухню, взялся за обцеловывание поэтессы.

– Ниночка, ты просто потрясающе выглядишь! Ты просто какая-то чудо-женщина! Ты должна ко мне прийти! Или я к тебе приду!

– Да ты ведь уже ко мне пришел, Слава! – улыбалась Нина, пытаясь вспомнить, когда же они перешли на «ты», если не только сейчас.

– А где Ёлочка? – спросил Ростропович, выпячивая свой кашалотский подбородок, тряся белокурым хохолком, оглядывая кухню таким образом,

будто искомое, то есть Ёлочка, могло присесть за плиту или под стулом как-то примоститься. – Где она, где она, где она? Я ее просто обожаю, просто боготворю! Нинка, хочешь честно? Я, когда тебя увидел, подумал: вот это женщина, она должна ко мне прийти, я ей должен играть наедине, знаешь, глаза в глаза, а потом, когда с Ёлочкой познакомился, ну, ты не представляешь, все просто перевернулось – она, она, играть с ней вместе, глаза в глаза! Где же она?

Какой славный Слава, думала Нина. Вот если бы они на самом деле сыгрались, лучшего не придумаешь.

Несколько раз она набирала номер телефона на Большом Гнездиновском. Ёлки дома не было. За Славой появился Стасик Нейгауз, сын знаменитого Генриха Нейгауза и сам пианист. Замысел Ёлки прояснился. Трио должно было состояться из Ростроповича, Калашниковой и нее. Стасик Нейгауз, красавец и тоняга (не стилига!), – соло на закуску. И вот все явились, не было лишь зачинщицы.

Стасик чинно подошел к ручке, попросил рюмку водки, чтобы понять, какое тысячелетие на дворе, и сказал, что отец, возможно, приедет вместе с дядей Борей, то есть с Пастернаком.

Последний, однако, вскоре явился один и сразу же уселся возле телефона. Все присутствующие и вновь появляющиеся – всего набралось гостей не более десяти – благоговейно посматривали, как классик разговаривает с возлюбленной. Им всем как людям одного круга было, разумеется, известно, что в жизни гениального и загнанного теперь на задворки литературы поэта имеется незаконный и прекрасный источник вдохновения, сродни Арарату, который, как известно, стоит за пределами Армении. Пастернак, очевидно, ощущал всеобщее внимание и немного работал на публику: чуть-чуть артистичнее, чем нужно, играл ладонью, чуть-чуть сильнее хмурился, чуть-чуть романтичнее, чем требовали обстоятельства, рокотал невнятицей. Присутствующий среди гостей двадцатилетний студент Литинститута, «талантливый-начинающий», розовощекий, со щедрым развалом лишь слегка засаленных волос, Игорь Остроумов взирал на мэтра в состоянии, близком к столбняку: неужели это он, сам, и я с ним под одной крышей?

Нина между тем беспокойно ходила вокруг, бросала на Пастернака красноречивые взгляды – сколько же можно бубнить одно и то же? – которых он явно не улавливал или не понимал, и, как только он отошел от телефона, бросилась снова звонить. Б.Гнездиновский молчал вглухую. Тогда она нашла телефон теннисного тренера Пармезанова. «Послушайте, Толя, вы, конечно, видели Ёлку на игре, как она?» – «Все в порядке, –

недовольно ответил Пармезанов, – выиграла у Лукиной». – «А куда она потом отправилась, она вам ничего не говорила?» – «А с какой стати, Нина Борисовна, ей мне что-нибудь говорить? – почти возмутился Пармезанов. – Ушла с каким-то стилижкой. Да нет, чего там опасного, молокосос».

Ну что же, не с милицией же искать взрослую, девятнадцатилетнюю девицу, если она уходит куда-то со «стилижкой» и не является на вечер, который сама же в свою честь и затеяла. Ну что же, к столу, товарищи? Ей-ей, нельзя же столько людей томить. Начнем ужинать, а потом и Ёлка, негодяйка, прибежит, тогда и концерт, так, что ли?

– Нет, уж, давайте сначала поиграем, потом к столу, – предложил Стасик.

– Правильно! – вскричал Слава. – Сначала поиграем, потом поужинаем, а потом, когда Ёлочка придет, опять поиграем! Стаська, садись за этот маленький рояльчик! Ох, как я, ребята, люблю эти маленькие воронцовские рояльчики! Почти как свою бандуру! – С плотоядной улыбкой он лапал рояльчик за черные бока, казалось, высматривая, куда бы его поцеловать, и наконец вполне резонно поцеловал в клавиши.

– Ну, а мне все равно, когда играть, – сказала флейтистка. – Я не пью.

Начали играть и играли не меньше часа. Струилась, временами взмывая к поднебесному вдохновению, старая итальянская музыка – «Времена года» Антонио Вивальди. Играли свободно, иногда сбиваясь и останавливаясь, смеясь, начиная снова. «Недурно получается, ей-ей, неплохо сварганили, ребята. Давайте еще раз „Примаверу“, – иногда бормотал Ростропович, словно выныривал из воды, потом снова поднимал к потолку залепленное вдохновением лицо и снова погружался. Не дойдя еще до широкой публики, музыка „барокко“ властвовала в консерваторских кругах.

Ёлка не появилась ни во время концерта, ни даже тогда, когда после ужина Слава и Стасик, дурачась, «лабали», то есть играли что-то танцевальное и джазовое. Нина глазами спрашивала Сандро: что делать? Сандро руками ей отвечал: что поделаешь, вспомни себя в девятнадцать лет.

Все гости разошлись около полуночи, один только Остроумов Игорь все колготился вокруг Нины, помогая убирать со стола и подпевая Сандро, который ходил с бокалом по студии, пел грузинскую песню и смотрел на свои цветы.

– Вы, кажется, в родственники тут собираетесь записаться? – тихо спросила Нина юнца. – А ну-ка, немедленно шапку в руки и откланивайтесь!

– Значит, до завтра, Нина Борисовна, да? – еле спышно шептал Игорь. – В то же время, да? Как обычно?

Наверное, уже предвкушает свою любимую и так вначале поразившую его позицию.

– Старая идиотка, – бормотала она себе под нос. – Вот с Ёлкой что-нибудь случится, вот будет тебе награда за все твои штучки!

Оставшись одни, они сели к длинному столу, на котором еще остались бутылки с вином и сыр.

– Жду еще полчаса, после этого звоню в милицию, – сказала Нина.

– Давай все-таки до утра подождем, – предложил Сандро. Тут она разразилась:

– Тебе, конечно, наплевать на мою единственную дочь! Холодный и пустой человек! Тебе лишь бы писать свои цветы, эти дыры, дыры, дыры! Дыры в несуществующий рай! К чертовой матери, сейчас все соберу и уйду в Гнездиновский! Больше сюда никогда!

Тут он так округлил глаза и стал так смешон в своем ужасе, что она едва не расхохоталась.

– Нинуля, дорогая, если ты уйдешь, я все тут сожгу! Устрою тут аутодафе! Без тебя меня нет! Это все для тебя, о тебе, из-за тебя! Все пройдет, Нинуля, только ты от меня не уходи!

Чарли Чаплин дурацкий, любую драму своим внешним видом превращает в комедию. Ее стало трясти.

– Но ты пойми, что нет буквально никакой причины, по какой она не могла бы позвонить! Ну влюбилась, ну в постель пошла с кем-нибудь, но не могла же она забыть, что мы ее ждем, что это ее вечер в честь окончания училища!

В этот момент зазвонил телефон. Паршивая девчонка! Нина полетела через студию. Сейчас наору на нее, а потом выпью целую бутылку, стакан за стаканом, и спать! Вместо Ёлкиного в трубке прозвучал густой мужской голос:

– Простите за поздний звонок, Нина Борисовна...

* * *

За полчаса до этого звонка генерал-майор Ламадзе приехал в свой кабинет в канцелярии зампреда Совета Министров СССР, что занимала едва ли не целый этаж огромного здания в Охотном ряду. Так обычно он поступал, когда маршалу (приближенные чекисты обычно называли своего

столь партикулярного в шляпенке и пенсне шефа маршалом) снова приходил в голову каприз «снять» девчонку с улицы. Необходимо было установить личность очередной счастливой во избежание недоразумений и непредвиденных обстоятельств. Разумеется, из гуманных соображений надо было предупредить родителей. В общем, за одни только эти ночные хлопоты грязная жаба заслужила пулю в пасть!

Ночной дежурный по канцелярии капитан Громовой доложил обстановку, «объект» в настоящее время находится там же, куда был доставлен, то есть в особняке на улице Качалова. Нугзар нередко думал, почему Лаврентий почти всегда привозит девчонок в свой семейный дом, при неограниченном количестве других вариантов. Может быть, хочет лишний раз над супругой из почтенного рода Гегечкори поиздеваться или это просто входит у него в понятие «отдохнуть у себя дома»? Капитан Громовой продолжал: в сумочке «объекта» обнаружен студенческий билет музыкального училища. Вот первые данные: Китайгородская Елена Саввична, 1933 года рождения, по классу фортепиано. Сейчас на Лубянке уточняют эти данные, с минуты на минуту должны привезти дополнительную информацию. Вот как раз звонок, должно быть, курьер приехал. Поправив кобуру пистолета на поясе, капитан отправился открывать курьеру.

Эта девушка, за которой они ехали от Пушкинской до Маяковской, просто потрясла воображение маршала. «Она, она... – бормотал он, не отрываясь от бинокля. – Нугзар, вот она, моя мечта!» Нугзар нарочито фыркал: «А мне кажется, Лаврентий, она не в твоём вкусе». Берия похотывал, постанывал: «Ты лучше знаешь, мой вкус, да? Ты думаешь, мне только парикмахерши годятся, да? А такие аристократочки не для меня, да? Эх, старый друг, ты так и не понял Лаврентия Берия!» Влажные губы шевелились, нос лоснился полной непристойностью. Издевается или говорит серьезно?

Оба лимузина остановились в середине площади, напротив выхода из метро. «Ну, Нугзар, не в службу, а в дружбу! Видишь, она в очереди стоит. Удобный момент!» Нугзар томился от нехорошего чувства. Опять разыгрывается пошлый фарс, как будто мы просто два товарища на Головинском проспекте в Тифлисе. «Мне почему-то не хочется, Лаврентий». Берия вдруг прильнул к нему, зашептал в ухо: «Ты не понимаешь, скоро начинаем всеобщую войну, может быть, все погибнем. Знаешь, дорогой, не время миндальничать!»

Шагая к метро, Нугзар бесился. Что за вздор он несет, грязный шакал? Какая еще всеобщая война, если в Корее не можем справиться с

америкашками, которые вообще воевать не умеют. Пора его убить или... или... выйти каким-нибудь образом на товарища Сталина, сигнализировать, что его ближайший соратник готовит реставрацию капитализма... Показав ошеломленной девице книжечку МГБ и произнеся сакраментальную фразу, он повернулся и пошел прочь, предоставив сопровождающим запихивать ее в немедленно приблизившийся лимузин.

И вот перед ним на столе рапортिका с Лубянки: Елена Саввична Китайгородская, 1933 г.р., русская, место рождения г. Москва, прописана в г. Москве, Б. Гнезниковский пер., 11, кв. 48, студентка музыкального училища. Отец погиб на фронте. Мать Градова Нина Борисовна, 1907 г. р., прописана там же, член Союза писателей СССР...

– Что с вами, товарищ генерал-майор?! – крикнул дежурный. – «Скорую» вызвать?

Нугзар рвал крючки на воротнике кителя. Из клубящегося тумана вдруг на него уставились два кровавых глаза. Все, только что прочитанное, надо хорошенько промокнуть, чтобы не размазалось. Чтобы ни в коем случае не слилось в одно неразборчивое. Дышать каждой возможной трубочкой тела... Уф-ф-ф-ф...

– Не надо «скорую». Налейте коньяку! – скомандовал он.

Капитан Громовой не заставил себя ждать. После коньяку Нугзар подумал спокойно и даже как-то приподнято: ну вот, кажется, все подходит к концу. Дочку Нины, единственной женщины, в которую был по-человечески, по-юношески влюблен, то есть ребенка, который мог бы быть и моим, отдал на изнасилование нездоровому чудовищу! Постой, нечего примазываться к людскому племени, ты, черт! Ты – наемный убийца, насильник, заплечных дел мастер, нечего тебе в обмороки падать от человеческой ерунды. Но нет, нет, я все-таки не такой, ведь я же не чудовище, я ее действительно любил, и дядю Галактиона любил, и семью свою люблю, спасите и простите меня! А если и мучил людей, то ведь только из идейных соображений, а вовсе не из-за приверженности к сильной банде. Так или иначе, но все подходит к концу. Представить себе Нинину дочку под Лаврентием – не по силам! «Машину и одного сопровождающего к четвертому подъезду!» – распорядился он. Недопитую бутылку «Греми» сунул в карман. Собрал все бумаги со стола в папку. Вдруг остановился – лицом в угол кабинета и не менее минуты стоял там – ждал, когда придет какая-нибудь мысль. Наконец она пришла: что я собираюсь делать? Вслед за этой мыслью покатались другие. Надо немедленно увидеть Нину. Она может сделать что-то страшное, непоправимый шаг. Надо ее остановить. Далее поплыли быстрой чередой

некоторые шкурные соображения. В отчаянии люди могут неожиданно выходить на высшие уровни. Случай будет предан огласке. Поползут слухи, что чекисты изнасиловали дочь поэтессы, внучку академика, племянницу легендарного полководца... О нем, конечно, никто не осмелится говорить, покаты бочки, конечно, на более низкий уровень, есть и козел отпущения: ведь именно он, генерал Ламадзе, подходит к девушкам на улицах... Лучше всего было бы прямо сейчас увезти Елену с улицы Качалова. Может быть, отпустит?

Он набрал одному ему в этом доме известный телефон. Берия снял трубку: «Что случилось?» Голос мрачнейший, страшнейший. От волнения у Нугзара перехватило дыхание: «Лаврентий Павлович, считаю своим долгом сообщить. Получилась неприятная накладка. Эта девушка... она из семьи Градовых... внучка академика... ну, вы знаете...» – «Дзыхнеры, – прорычал маршал, – я тебя спрашиваю, гамохлэбуло, что случилось, почему, хлэ, звонишь по ночам?» – «Никаких распоряжений в этой связи не будет? – спросил Нугзар. – Может быть, отвезти ее домой?» Берия выматерился уже по-русски и швырнул трубку. Нашел чем пугать всесильного сатрапа, какими-то Градовыми! Какие могут быть «накладки», когда речь идет о прихоти члена Политбюро, зампредсовмина, шефа всех внутренних органов? Непогрешимый, неприкосновенный, всесильный, пока не войдет какой-нибудь храбрый офицер и прямо с порога, как когда-то в Ладо Кахабидзе, не всадит ему в лоб каленую пулю.

Нугзар спустился на лифте и вышел в Охотный ряд. Москва была пуста. Только пьяные шумели на другой стороне широкого, как Волга, проспекта у выхода из ресторана, да проносились мимо такси, будто сущие черти. Счастливые пьяницы, счастливые таксисты, счастлив даже шофер моего подлого автомобиля, даже сопровождающий громила-старлей, все счастливы, кто не сидит этой ночью в шкуре генерала Ламадзе!

Поехали на Арбат, точнее, на Кривоарбат, в студию того тифлисского недоноска Сандро, за которой уже давно ведется пристальное наблюдение. Надо все-таки позвонить, предупредить. Народ все-таки нервничает, когда ночью приходят военные в форме МГБ. Он позвонил из углового телефона-автомата в ста метрах от дома. По-джентльменски: «Простите, Нина Борисовна... Нугзар Ламадзе... нет, ничего страшного не случилось... необходимо увидеться... буду через пять минут...»

Она уже стояла в дверях, когда они поднялись на чертову верхотуру. Время ее не берет, что за загадка в этой женщине!

– Послушай, Нина, клянусь Арагвой, время тебя не берет, что за загадка в этой женщине!

Сильно расширенными от страха глазами Нина смотрела, как он приближается со своим дуболомом. Абрека теперь почти уже не видно в этом большом теле, скорее, какой-нибудь левантийский купец. С чем он пришел? О Боже, ускорь бег минут, если ничего страшного! Если купец шутит, значит, все-таки не так уж страшно, правда?

Оставив дуболома у дверей, Нугзар прошел в глубину студии.

– Гамарджоба, Нина! Гамарджоба, Сандро-батано! Вот извивы судьбы, а? Звезда Тифлиса, Наша Девушка теперь принадлежит такому... – очевидно, едва не сказал «еврейчику», но вовремя поправился: – Такому Сандрику!

Он уселся к столу. Как приятно попасть вдруг в грузинский дом! В центре Москвы такой кахетинский стол! Ей-ей, не откажусь от стакана вина...

Вино дрожало в его руке. Нина заметила это и покрылась испариной.

– Ну, что случилось, Нугзар? Ёлку... ваши... арестовали?

Он добродушно рассмеялся, осушил стакан:

– Напротив, напротив, она сама арестовала одного из наших, и какого!

Схрумкал редис, отрезал ломтик сыра, еще раз, как бы изумленно, оглядел Нину:

– Ах, Нина, клянусь Рионом, как хорошо, что ты худенькая. Одна англичанка сказала: нельзя быть слишком богатой, как нельзя быть слишком стройной, или наоборот...

Нина яростно ударила ладонью по столу:

– Перестань фиглярничать! Говори, в чем дело!

– Ну хорошо, друзья, давайте по существу.

Нугзар отодвинул бутылку, сел прямо. Фуражка с овальной кокардой МГБ лежала на столе, словно некое отдельное идолище, так автоматически отметил Сандро.

– Считайте, друзья, что на вас свалился главный выигрыш по трехпроцентному займу. Дело в том, что Ёлка произвела огромное впечатление на одного из ведущих государственных мужей Советского Союза, а именно на моего шефа и личного друга, человека, которого я уважаю всеми фибрами моей души, Лаврентия Павловича Берию. Поверьте мне, это человек сложный и интересный, человек большой эрудиции и художественного вкуса, мудрый и щедрый, словом, выдающийся человек. Я мог бы вам обо всем этом деле вообще ничего не говорить, меня никто сюда не посылал, однако я счел своим дружеским долгом к вам прийти и оповестить вас об этом событии, чтобы у вас не создалось об этом событии превратного впечатления как о нехорошем тривиальном событии, тогда как

это событие является глубоко гуманистическим событием, хотя и эмоциональным событием. Я прошу меня не перебивать! Прежде всего, давайте поговорим о том, что это событие сулит нашей Ёлке, которую я хоть и не имею чести знать, но люблю, как дочь. В результате этого события она получит самую могущественную поддержку, о которой может только мечтать юная девушка-пианистка. Блестящее окончание консерватории, турне за границу и победы на конкурсах, вот какие события ждут ее впереди после этого события. Всякие мелочи-шмелочи, такие, как лучшие кремлевские ателье и магазины, полнейшее материальное обеспечение, великолепная просторная квартира, путевки в санатории-люкс на Черном море, назовите все, о чем может мечтать человек, все будет предоставлено ей в знак благодарности за это событие. Я знаю, о чем я говорю, потому что я знаю этого человека, как самого себя. Он сумеет отблагодарить за глубоко эмоциональное событие. Больше того, он уже и о вас, друзья, будет теперь думать, как о своих людях. Я знаю, что он неравнодушен к поэзии, и, безусловно, после сегодняшнего волнующего события любая книжка твоих стихов, если, конечно, не антипартийного, не оппозиционного, как тут нам некоторые товарищи из Союза писателей сообщают, содержания, во что я лично не верил, нельзя всегда помнить за человеком юношеские грешки, любая книжка, даже сложная по форме, сможет увидеть свет. И твоя «оранжерея», Сандрик, дорогой, получит должное признание, и весь ваш этот фантастический дом будет в полной безопасности после этого события, хотя к нам и поступали сведения о вашем доме, как будто тут читаются подозрительные стихи под церковную музыку. Теперь, друзья, вы будете в безопасности после этого хорошего волнующего события, о котором только злые языки могут болтать грязные глупости, а злые языки мы будем отсекаать!

По лицу его точным зигзагом, начиная с левого угла лба, кончая правым углом подбородка, прошла судорога, и он наконец замолчал.

Пока он все это выговаривал, Нина сидела со сцепленными под столом пальцами, не отрывала взгляда от преступного, синеватого на выбритых поверхностях лица и поражалась своей тупости: она не понимала, о чем он говорит, о каком событии? Она беспомощно повернулась к Сандро:

– О чем он говорит? Сандрик, ты понимаешь, о чем он говорит?

Сандро обхватил ее за плечи, грозно полыхнул всем лицом в сторону страшного генерала:

– Он говорит о том, дорогая, что нашу Ёлку увезли к Берию!

Тут наконец все соединилось в Нинином сознании, отчетливо выплыла фраза «после сегодняшнего волнующего события», и она поняла, что все

уже свершилось, ничего уже не вернешь, ее дочь, ее единственный, взлелеянный в искусстве ребенок, дитя ее любви, опоганена, и сейчас ее за милую душу употребляет государственный муж Советского Союза Берия. Взвизгнув, схватила со стола нож и бросилась на Нугзара. Изумленный генерал, остолбенев, смотрел, как к его горлу летит довольно остро заточенный предмет, которым он только что отрезал себе кусочек сулугуни. Сандро в последний момент успел перехватить Нинину руку. На шум прибежал из прихожей дуболом с пистолетом.

– Стоять на месте! Стрелять буду! – взвыл он, очевидно, и сам перепугался. Бледный, синюшный Нугзар одной рукой придерживал дулолома – «Спокойно, Юрченко, спрячь пистолет!» – другую простирает к Нине, которая в беспамятстве и ярости выглядела не то что на все свои, но и еще на десяток лет старше, обнаруживая и «базедку», и мешки под глазами, дряблость щек.

– Как можно так трактовать события?! – взывал Нугзар. – Давайте поговорим, друзья, я еще раз вам все объясню!

– Где она?! – страшным голосом завопила Нина.

– Она в полной безопасности, – пробормотал Нугзар.

– Отдавайте ее немедленно!

– Друзья, друзья, что за шекспировские страсти?! – увещевал Нугзар. – Вы просто еще не понимаете, как вам повезло. В наше серьезное время...

Сандро усадил трясущуюся Нину в глубокое кресло, решительно подошел к Нугзару, протянул ему его идолище, фуражку с кокардой:

– Убирайся из моего дома, подонок! И идиота своего уводи!

– Какое мещанство! – скривился Нугзар. – Послушай, ты, Певзнер, у тебя-то хоть должен быть практический ум...

Фуражка, пущенная рукой художника, полетела к дверям.

– А вот за это ты заплатишься, – проговорил Нугзар, и из купеческих щек выглянул прежний остролицый тифлисский бандит.

К утру Берия уже знал все о своей случайной «гостье». Среди ночи даже поднимали директора Мерзляковки, чтобы собрать нужную информацию. Отличница, большой музыкальный талант, успехи в спорте, однако заносчива, избалована семьей, слишком высокого о себе мнения... Черт дернул связаться с этой целкой, думал вождь. Не тот у меня уже возраст, чтобы возиться с целками. Вообще, нахлебался таких унижений! Визжала и с таким ужасом смотрела, как будто к ней крокодил прикасается, а не мужчина средних лет. Мы неправильно воспитываем молодежь, в этом вся проблема. Красивые девушки вырастают без малейшего понятия об эротике. Целое фригидное поколение. В будущем обществе этому следует

уделить особое внимание. Даже одурманенная, после того бокальчика «Боржоми», она все еще старалась защищать свою щель. Большое сокровище, ха-ха! Даже гордые нации в конце концов сдаются и отдают свои щели под напором превосходящих сил. К сожалению, и настоящего напора не получилось. Последнее обстоятельство повергает в уныние. Это что же получается, неужели импотенция подобралась? Почему такое напряжение и психологическое препятствие? Держа в руке своего огорченного, он долго смотрел на забывшуюся наконец в дурмане Елену. Обнаженная красавица только вздрагивала и беззвучно плакала во сне. Как хороша, однако! Из-за такой Елены можно начать войну!

Быть может, в будущем меня осудят за некоторую бесцеремонность с девушками, однако неужели не постараются понять? Конечно, во мне живет Дон-Жуан, но я вынужден руководить огромным государством, так распорядилась судьба. Не могу же я ухаживать за девушками, находясь среди этого мужичья, среди большевиков, и притворяясь одним из них. Никто, конечно, мне слова не осмелится сказать, пока это, как сейчас, под покровом секретности, однако попробуй я открыто приблизить к себе этих девушек, как тут же припишут буржуазное разложение. В будущем государстве глава правительства будет всегда окружен группой выдающихся девушек страны, вроде вот этой Елены.

Если бы я мог ее сейчас открыто приблизить к себе, не было бы никаких истерик в градовском клане. Что теперь делать с этим кланом? Уничтожить надо весь этот клан до основания. Поручить Ламадзе полное искоренение этого клана. Оставшись одна, эта Елена будет держаться только за меня. Старый дурак профессор – такой смелый, понимаешь ли, – пойдет по «делу врачей». Присутствие русского в преступной шайке евреев будет политически верным шагом. Его грузинская старуха явно зажила, ей легко помочь, чтобы поскорее переселиться в мир иной. Поэтесса отправится на Таймыр, если только доедет до места назначения. Художником, кажется, хочет заняться сам Нугзар, он знает, как это делается. Дядю моей красавицы засунем в урановую шахту, через полгода от него и куска не останется. Есть еще этот мальчишка, сын маршала, мотогонщик. Его Васька прикрывает, однако он занимается опасным спортом, вообще любит опасности, пусть пеняет на себя. Его мать, шпионку в Америке, тоже могут подстеречь такого же рода опасности, дочка, увы, разделит ее участь. Необходимо проверить все их корни в Грузии: от моих земляков любой гадости можно ждать, любой вендетты. Ну, а когда все будет закончено, придется попрощаться и с Нугзаром, он ведь тоже их родственник. Фу, черт, какие только мысли не приходят из-за

бессонницы! У Берии к утру уже начали проявляться признаки черного похмелья, но он все еще не мог оторвать взгляда от спящей Елены. Если бы я был ее ровесником, я бы влюбился в нее на всю жизнь. Луч солнца вдруг мягко, словно поглаживающий палец, выпростался из-за высокой трубы дома напротив, лег на лицо девушки, на ее голую грудь с торчащим набухшим соском, на живот и на внутреннюю поверхность бедра, где запеклись несколько красных пятнышек: то ли остатки недавней менструации, то ли он что-то ей повредил во время бесплодной борьбы. Она улыбнулась во сне и кокетливо махнула кистью руки, как будто хотела кому-то сказать: перестань болтать глупости! Огорченный между тем не проявлял никаких признаков активности. Этот рассвет – это мой закат, гнуснейшим образом подумал Берия. Жена, скотина, не спит всю ночь, прислушивается к звукам из моей половины. Он вытащил блокнот и стал писать записку спящей нимфе.

«Прелестное создание! Наша встреча перевернула меня всего, как соната Аппассионата Людвиг ван Бетховена. Вы моя последняя любовь! Любовь стареющего бойца. Темные силы вокруг, их много, нужна борьба, а я думаю только о вас, моя любовь. А пока отдыхайте и чувствуйте себя в полной комфорте и безопасности. Мы скоро увидимся. Благодарю за любовь. Л.Берия».

«Любовь» в его правописании не имела мягкого знака. Оставив записку на столе, где была брошена одежда пленницы, он предпринял еще одну попытку поправить свое настроение, присел на кровати, стал гладить и целовать Еленины волшебные груди. Увы, огорченный опять не проявлял достаточной энергии, а ведь было бы совсем неплохо начать день с хорошего почина. Дзыхнери, выругался он и оставил спящую в покое.

Предстоял тяжелый день. Он должен был председательствовать на коллегии Совета Министров по вопросу перемещения рабочей силы в район Дальнего Востока, где, севернее Амура, прокладывался трубопровод и строилась железная дорога важнейшего стратегического значения. Час или два зампредсовмина приводил себя в порядок водными процедурами, то ли кофе, то ли рюмочкой столетнего коньяку. Наконец вышел в приемную. Там, среди прочих, уже сидел мрачный и опухший Ламадзе. Поздоровавшись вполне вежливо, маршал приказал отвезти товарища Елену Китайгородскую на одну из секретных дач, обеспечить полный комфорт, включая плавательный бассейн, теннисный корт и рояль; особенно важен рояль. К телефону не подпускать. До особого распоряжения – полная секретность. Засим Л.П.Берия отбыл на совещание.

Проезжая по улице Горького, он вдруг вспомнил, что вот в этом

переулке, за Моссоветом, проживает уже три года одна из его подопечных, некая Люда Сорокина, и даже нянчит его ребенка, он не помнил, девочку или мальчика. При воспоминании о ней огорченный вдруг мощно воспрял, сбросил все афронты прошедшей ночи, то есть стал победоносным. Он заехал к Сорокиной и полчаса драл ошеломленную и счастливую красотку в ванной комнате, то есть там, где ее и нашел. Что все это значит, думал он, продолжая путь в Совет Министров. Нет, Чарльз Дарвин, ты не во всем прав.

Люда Сорокина весьма поспособствовала в то утро тому, что коллегия прошла под знаком исторического оптимизма, а иначе это могло бы плохо кончиться для некоторых ее, коллегии, членов.

Во второй половине того же дня Нина и Сандро подъехали на такси к самому зловещему зданию Москвы на площади Дзержинского. Водитель никак не хотел останавливаться у главного подъезда МГБ, где прогуливались два старшины с пистолетами, приподнятыми крутыми ягодицами. Под напором полнотелых ног, казалось, вот-вот лопнут тонкие сапожки. «Еще засекут! Давайте я лучше на Сретенке вас высажу». Нина, однако, настояла, чтоб высадил именно там, куда сказано было приехать, – у подъезда № 1. Шофер нервничал, пока она уговаривала мужа ее не ждать, а отправляться сразу в студию, на Кривоарбатский. Сандро отказывался: он должен быть рядом с ней. Она наконец едва ли не закричала, потрясая кулачками перед его носом: «Немедленно убирайся!» Особенного смысла в ее настойчивости не было, за исключением того, что ей хотелось почему-то всю эту страшную беду принять одной. Ни с кем не делиться ценностью этой беды, сокровищем немыслимого унижения! С утра она обивала пороги писательского начальства и сейчас с отвращением вспоминала, как мгновенно менялись все эти фадеевы, тихоновы, сурковы при упоминании МГБ, как они на ее глазах впадали в паническую суету, когда в связи с исчезновением дочери называлось имя Берии. У генерального секретаря СП СССР, чьи голубые глаза не раз останавливались на поэтессе Градовой с откровенным мужским интересом, едва только он понял суть дела, руки заплясали по письменному столу, словно пара подстреленных вальдшнепов, и он едва унял их агонию, схватившись за ручки кресла и произнес: «Это уж, Нина Борисовна, совсем не в нашей компетенции».

Боясь за своих стариков, она решила пока ничего им не говорить, хотя, может быть, единственным человеком, который мог реально помочь, был отец. Бросилась к Борису IV, оказалось, его нет в городе, только что укатил на Кавказ. Впрочем, что он может сделать, этот спортсмен и бывший десантник? Грузинские гены, наверное, сразу толкнул его к оружию, только

уж не к столовому ножу, а к чему-то посерьезнее. Это может погубить нас всех, и Ёлку в первую очередь. Вечером, если ничего не произойдет, придется отправиться в Серебряный Бор, поднимать отца.

Вдруг явился до смерти перепуганный управдом, передал доставленную нарочным из МГБ повестку на прием к генерал-майору Н.Ламадзе. На гнусной бумажке в скобках было написано: «По личному вопросу».

Вестибюль, куда она вошла, отвергал какую бы то ни было малейшую идейку о том, что сюда может кто-нибудь войти «по личному вопросу», в том смысле что по собственному желанию. Царил установившийся в конце сороковых и утвердившийся в пятидесятые, как будто бы навсегда, тяжелый государственный стиль: бархатные портьеры, массивные люстры, медные дверные ручки. Висел большой портрет Сталина с золотыми погонами. В глубине на лестнице стоял Ленин черного камня, некий «негр преклонных годов». Шутит еще, подумала о себе Нина, сурово предъявляя повестку и удостоверение личности, писательский билет. Страж в стеклянной будке бесстрастно взялся за телефонную трубку, однако исподволь метнул на нее любопытный жирненький взглядик. Вспомнил, наверное, «Тучи в голубом», подумала она. Очень скоро спустился молодой офицер. «Генерал Ламадзе вас ждет, товарищ Градова». Нугзар пошел ей навстречу, дружески, но все-таки с намеком на прошлые, более чем дружеские отношения, притронулся к локоткам, усадил в кресло, сел напротив. Последний раз они были наедине тогда, когда она уже была беременна Ёлкой, то есть двадцать лет назад.

– Ну, успокоилась? – ласково спросил он, потом добродушно рассмеялся: – Нет, ты все-таки больше наша, Нинка, чем русская! «Владеть кинжалом я умею, я близ Кавказа рождена!» Хочешь «Боржоми»?

– Я ничего не хочу, кроме своей дочери, – сказала она, подчеркивая голосом, что никакой интимный тон и шуточки не принимаются. – Я требую, чтобы мне была немедленно возвращена моя дочь!

Он слегка поморщился, как будто от привычной мигрени:

– Послушай, не надо поднимать волны. Зачем ты обращаешься к этим людишкам? Ведь они немедленно бросаются к нам и обо всем докладывают, да еще и подвигают в свою пользу. Никуда она не денется, твоя дочь, поверь мне, с ней ничего плохого не произойдет. Вернется еще более красивая, чем раньше.

Нина еле-еле сопротивлялась своей ярости. Еще миг – и мог бы повториться ночной неумолимый поступок. Ножа здесь не видно, но вот можно схватить мраморное пресс-папье и расколоть этот подлый лоб, на

который с висков столь жеманно наползают седоватые кулисы. Ламадзе беспокойно проследил ее взгляд и вздрогнул, остановившись на пресс-папье.

Она пригнулась в своем кресле и тихо произнесла, глядя ему прямо в глаза:

– Мы что же тут, все крепостные, если наших дочерей могут в любой момент увезти на растление?

Страх и отчаяние. Это идиотка. Конец. Она идет на самоуничтожение. И тянет за собой, и тянет за собой...

– Ну, знаете ли, Нина Борисовна, это уже посерьезнее столового ножичка! Это уже идеологический терроризм! – почти рявкнул он, но тут же добавил: – Я, разумеется, преувеличиваю, но только для того, чтобы вы выбирали слова. – Еще одна попытка (последняя!) свернуть ее с губительного курса. – Давай отбросим этот официальный тон. Почему ты не веришь мне? Ведь я вам, Градовым, не чужой.

Последняя попытка провалилась. Плюют в протянутую руку. Ничем уже не остановить взбесившуюся бабу.

– Если в течение этого вечера моя дочь не будет возвращена, я... я... Нечего щуриться и издевательски подхихикивать! Подонки! Ты всегда был подонком, а сейчас стал совсем жалким подонком, Нугзар! Не думай, что твой хозяин всесилен! Я пойду в Министерство обороны к друзьям брата! Я выйду на Молотова, мы лично знакомы! Ворошилов мне вручал орден! Отец, в конце концов, не последний человек в стране! Мы найдем возможность известить Сталина! – Она кричала, захлебывалась, превращаясь на мгновения то в страшную фурию, то в жалкую до слез девочку.

Он вылез из своего кресла. В облаке мрака, пронизанном лишь благосклонными нечеловеческими взглядами Ленина, Сталина и Дзержинского с инвентарных портретов, пошел к дверям кабинета. Тоска выжигала весь кислород из его некогда столь живого тела. Все кончено, теперь никого уже не спасти. Он приоткрыл дверь кабинета и приказал:

– Вызовите конвой!

* * *

Из полукруглого окна студии в Кривоарбатском открывался вид на необозримое становище Москвы. Сегодняшний ветреный вечер создавал впечатление старинной подкрашенной гравюры. Под закатным солнцем

отсвечивали купола и окна верхних этажей. Совсем не было видно никакой власти, кроме временного благоволения стихий. Ниже, над колодцем внутреннего двора, трепетал, будто королевский флаг, вывешенный на просушку цветастый пододеяльник. Еще ниже, сквозь пересечения городских контррельефов, виден был кусок залитого солнцем асфальта с афишной тумбой, прижавшись к которой спиной и подошвой левой ступни стояла девочка с эскимо.

Сандро нестерпимо хотелось присесть к холсту. Однако он стыдил себя: не имею права, жена там, у них, а я работаю, нет, не имею права. Он ходил по студии, перекладывал кисти с места на место. Уже целый день не работаю из-за этого страшного происшествия, думал он. Вчера весь вечер не работал из-за приятной компании, а потом началось это страшное происшествие. Наверное, еще несколько дней будет потеряно. Надо быть вместе с Ниной, поддерживать ее, у нас нет выбора, надо бороться за девушку, никуда не убежишь с красками и холстом. Считается, что пианист должен каждый день разрабатывать кисти, однако никто не говорит, что художник должен работать ежедневно, если не ежечасно. Однако, если я сейчас возьмусь за кисть, буду сам себя презирать как бездушного эгоиста. Он присел к приемнику «Балтика», который, быстро нагревшись, стал ободрять его зеленым, флюктуирующим глазом свободных стихий. «Не спи, не спи, художник, не предавайся сну...» Иногда нужно не только с кисточкой сидеть. Многие переживания помогают живописной работе. Радио Монте-Карло передавало волнующий вальс «Домино». Виднелись темно-зеленые аллеи подстриженных деревьев, яркое пятно домино, мотивы Сомова... Как далеко летит сигнал этого радио: из «Мира искусства» в социалистический реализм! Скользнув дальше, в диапазоне коротких волн он поймал еще один вальс, на этот раз Хачатуряна к драме Лермонтова «Маскарад». Вечер вальсов. Лермонтов, любимый герой, поэт своих собственных поступков, еще не успевший практически сесть за работу, сильно прошампаненный юноша; шампанское дули даже в партизанском отряде, без шампанского не взяли бы Кавказа, кто лучше выразил Кавказ, чем этот шотландец с испанскими глазами; мы все современники – Лермонтов, Певзнер, Хачатурян, радио Монте-Карло, земляне тех времен, когда росли цветы... Скользнув еще по волне, он услышал вой глушилки, а рядом с ней мужской спокойный голос: «...вот с тех пор я и стал работать хирургом в Hospital Saint Luis». Не поворачиваясь от приемника, он почувствовал, что в студию вошли трое.

Повернулся и увидел этих троих, одетых по-марьянорощински – крошечные кепарики со срезанными козырьками, флотские тельняшки из-

под рубах, прохаря в гармошку, – но явно не марьинорощинских. Как они попали сюда? Не слышно было ни стука, ни поворота ключа в массивном замке. Трое могучих мужланов приближались с кривыми улыбками, словно перед расправой.

– Вам что тут нужно?! – храбро, как Лермонтов, закричал Сандро. – Кто такие?! А ну, убирайтесь!

– Встать! – тихо сказал один из мужланов, приблизившись вплотную.

– Не встану! – воскликнул художник. – Вон отсюда!

– Не встанешь, так лягешь! – сказал мужлан и чем-то железным, зажатым в кулаке, страшно ударил Сандро прямо в глаза.

Этого удара, собственно говоря, было достаточно. С залитым кровью лицом художник рухнул на пол бессильно и почти бессознательно, однако переодетые оперативники еще долго ломали ему ребра коваными башмаками и, стащив одежду, оттягивали по спине резиновыми палками, быть может, теми же самыми, которыми их папаши в 1938 году добивали Мейерхольда.

– Вот тебе, жидок пархатый, за невежливость!

Все это продолжалось минут десять, а когда прекратилось, до увядающего сознания Сандро долетело из все работающей «Балтики»: «Говорит радиостанция „Освобождение“, мы передавали беседу с доктором Мещерским, бывшим московским хирургом, ныне главным врачом известной парижской больницы».

* * *

В одиночной камере внутренней тюрьмы МГБ, куда отконвоировали Нину, под высоким потолком горела яркая лампочка, глазок в дверях приоткрывался каждые десять минут, давая возможность видеть всеобъемлющий зрак надзирателя. Каждый раз хочется плюнуть в этот зрак, каждые десять минут. Я им теперь не сдамса никогда, твердила Нина. Им все кажется, что они со слабой женщиной имеют дело, с жалким человеком, а я теперь и не женщина, и не человек вообще. Я им никогда теперь не поддамся, что бы они ни делали со мной. Все, что накопилось во мне с той поры еще, когда нас избивали в Бумажном проезде, когда дядю Ладо застрелили, когда дядю Галактиона в тюрьме сгноили, когда братьев пытали в камерах и рудниках, когда Митю расстреляли в овраге, все то, что накопилось во мне, теперь, когда и дочь мою единственную похитили и растлили, все это поможет мне не сдаться им, любую пытку выдержать,

испугать даже их непреодолимой яростью.

Камера эта, очевидно, была предназначена лишь для предварительного задержания, и, видимо, поэтому Нину даже не подвергли санобработке и не отобрали у нее сумочки с личными вещичками, среди которых был даже блокнот, в который она нет-нет да записывала какие-то строчки или словечки для стихов. Все еще дрожа от ярости, Нина стала вырывать из блокнота странички, не глядя на записи, измельчать их на кусочки, швырять в мусорную корзину. Я им больше не поэт! Нельзя быть поэтом в этой стране! Мелькнула строчка «...ветер-чеканщик в лунную смену»... Это когда в апреле Игоря ждала на гагринском волноломе. К черту! Какой позор, чем всю жизнь занималась: стишки, любовники, «Тучи в голубом»... Да разве можно так жить в гигантском лагере, в необозримом лепрозории, где все обречены на окончательное искажение черт?! Почему мы им никогда практически не сопротивлялись после двадцать седьмого? Надо было в подполье уходить, выбивать их террором. Погибнуть, конечно, погибнуть, но не вальсировать же, глядя, как вокруг работает убойная кувалда! Надо было, как та девушка, как та единственная героиня, как Фаня Каплан, стрелять по бесам!

Ужас потряс ее словно свирепый озноб! Договориться до такого, до Фанни Каплан! Надеюсь, что хоть не вслух прокричала! Инстинктивно она зажала себе рот рукой и тут сообразила, что ей нестерпимо хочется в уборную, что еще миг, и вся ее ярость превратится в вонючее посмешище.

Здесь же должна быть эта, как называется, ну, параша! В тюремной камере должна быть параша! В той комнате, где она сидела на железной койке, не было унитаза, только умывальник. Если она даже при помощи стула залезет задницей в умывальник, вряд ли что-нибудь получится, кроме посмешища, а ведь за ней наверняка сейчас из какой-нибудь дырки наблюдает Нугзар, ее когдатошний стремительный абрек, убийца и ублюдок.

Дверь отворилась, вошла толстая равнодушная баба в гимнастерке с сержантскими погонами. Поставила на столик поднос с ужином: заливной судак, битки с гречкой и даже бутылка «Вишневого напитка».

– Мне нужно в уборную! – грозно выкрикнула Нина.

– А пошли, – вяло и даже не без некоторого добродушия пробормотала баба.

Вдоль коридора тянулась зеленая ковровая дорожка. В какой-то нише, под портретом того же самого милейшего Ильича с газеткой, сидели два офицера и курили. Оба взглядами знатоков проводили постукивающую каблукками особу, подвергнутую предварительному задержанию.

Облегчившись, Нина снова продефилировала мимо Ильича. Вместо тех двух молодых офицеров в нише теперь сидел один, пожилой, с обвисшим ужасным лицом.

– Вы если ночью сикать или по-большому захотите, стучите мне лучше в стенку, – сказала сержантиха.

Нина поймала себя на том, что даже этот замкнутый мир чекистского узилища после удачного облегчения несколько преобразился в положительную сторону. В частности, она совсем не против того, чтобы съесть заливного судака, биточки с гречневой кашей, выпить вишневого и закурить свою албанскую сигарету. Боже, какие же мы жалкие! Что же это за создание такое со всеми его вливаниями и излияниями, подумала она. Что же это такое – человеке?

Глава десятая

Архитектор Табуладзе

– Ой, луна-то какая висит, екалэмэнэ! – вскричала Майка Стрепетова. – Ну прямо, как... ну прямо... прямо, как Татьяна какая-то!

– Ну что ты, Майка, несешь! – засмеялся Борис. – Ну какая еще тебе Татьяна?

Их спутник, Отар Николаевич Табуладзе, местный, тбилисский архитектор, улыбнулся:

– А знаете, это неплохо! Луна, как Татьяна. Это вам из «Евгения Онегина» вспомнилось?

– Может быть, – сказала Майка.

Отар Николаевич еще раз улыбнулся:

– Тут важно, что не Татьяна, а Татьяна какая-то... В этом весь сок. Луну все время с чем-то сравнивают. Один мой друг, поэт, в старые времена называл ее «корзинкой с гнилью». А Пушкин, конечно, Татьяну с луной сравнивал, а не наоборот...

Они медленно шли по горбатой, мощенной булыжником улочке старого Тифлиса. Майка то и дело повисала у Бориса на плече, хныкала, как будто устала. На самом деле, уж он-то знал, она могла все эти холмы облететь, как крылатая кобылка. Отар Николаевич, крепкий, элегантный, что называется, представительный мужчина, шел чуть-чуть впереди, как бы в роли гида.

– А вы, я вижу, поэзией увлекаетесь, Отар Николаевич? – не без кокетства обратилась к нему Майка.

Гадина какая, с нежностью подумал о ней Борис. Уже с тертыми мужиками кокетничает. Что означает это «уже», было известно только им двоим.

– Когда-то и сам ходил в поэтах, – сказал Отар Николаевич. – Когда-то, вот в вашем возрасте, мы все тут по этим старым улочкам бродили, поэты. С вашей тетей, Борис, с Ниной, и с ее первым мужем мы были одна компания...

– С первым мужем тетки Нинки? – удивился Борис.

– Ну да, разве вы не слышали – Степан Калистратов? Это был известный имажинист.

– Я никогда о нем не слышал, – сказал Борис.

– Печально, – проговорил Отар Николаевич так, что нельзя было

понять, к чему это относится: к забвению ли известного поэта или вообще к ушедшим годам.

Он остановился под старым чугунным фонарем возле какого-то подвала, откуда слышались пьяные голоса и тянуло сильным сухим жаром.

– Между прочим, Борис, я ведь с вами тоже в родстве, может быть, не в меньшем, чем дядя Ладо Гудиашвили. Моя мать Диана – родная сестра вашей бабушки. Вы обо мне не слышали, возможно, по той же причине, что и о Степане... О нас было не принято говорить. Он потом вообще пропал, а меня спасло только чудо, но обо мне по-прежнему было не принято говорить...

С симпатичным архитектором они познакомились пару часов назад в доме знаменитого художника Ладо Давидовича Гудиашвили, с которым бабушка Мэри состояла в отдаленном родстве и в весьма близкой дружбе и переписке, чем гордилась. Соревнования в колхидской долине уже закончились, Борис подтвердил свое звание чемпиона по кроссу в классе машин до 350 кубиков и занял третье место в абсолютном зачете. Команда ВВС, разумеется, опередила все клубы. Триумф усилился еще тем, что к концу соревнований через Кавказский хребет лично за штурвалом реактивного МиГа перелетел «Васька» с новой пассией, молодой пловчихой, чьи формы отличались поистине дельфиньей гладкостью. На спортсменов посыпались царские дары: всем были заказаны и почти немедленно сшиты костюмы из ткани бостон-ударник, каждый получил золотые часы с золотым же браслетом и по плотному пакету с ассигнациями. Назначен был огромный ночной банкет в ресторане на горе Давида, где когда-то еще пировали поэты из группы «Голубые роги», о чем, разумеется, в эти дни никто не знал и не хотел знать.

Перед банкетом Борис решил выполнить просьбу бабушки и зайти к маленькому Ладо, как она выражалась. Я могу так называть своего кузена, поскольку я старше него на пятнадцать лет, хотя он большой, самый большой в Грузии художник, так говорила Мэри. А тебе, Бабочка, необходимо с ним познакомиться, хотя бы для того, чтобы увидеть, что в мире существует еще кое-что, кроме твоих трескучих и вонючих, ах, таких опасных самокатов.

Он ожидал найти в старом особняке на тенистой, пропахшей нагретой листвой улице признаки прозябания и упадка – как еще иначе мог жить художник, которого критиковали за формализм, – а попал на шумный пир. Длинный стол был завален свежими овощами, ягодами и сушеными фруктами, заставлен блюдами с дымящейся едой, бутылками и кувшинами с вином. Не менее тридцати гостей, мужчины все в галстуках, иные в

бабочках, дамы в вечерних платьях, иные декольте, энергично занимались главным грузинским делом: пировали. Майка в панике рванула назад. Куда ей в такое общество, в ее наспех купленном на базаре сарафанчике?! А ну, стой, паршивка! Он ухватил ее под руку. Такой уже у них установился стиль взаимоотношений: он как бы строгий папаша, она как бы непослушная девчонка. Нет, она туда не пойдет, она никогда в таких местах не бывала. «Иди, Борька, я тебя тут подожду, посижу в садике». – «Молчать, дикарка! Тебе не только это тут приходится делать впервые!» Она вспыхнула от радостного стыда и так вошла в особняк; комбинация ярких красок, от которой хозяин-художник пришел в еще больший восторг, чем от неожиданной встречи с племянником. Оказалось, что чуть ли не половина гостей в разное время встречалась с Мэри Вахтанговной, а многие были даже немного родственниками. Многие, если не все, знали «тетку Нинку», и, уж конечно, каждый почитал погибшего героя, маршала Градова, в подвигах которого сыграло важную роль одно немаловажное обстоятельство: он был полугрузин! «По матери грузин, это значит вообще грузин, – заявил самый важный гость, народный писатель, живой классик Константин Гамсахурдия. – Мать – это стержень Грузии. Грузия – это мать!» Очень удивило Бориса то, что никто из присутствующих не был в курсе основного события сезона, то есть только что прошедших мотоциклетных соревнований, то есть, таким образом, никто не знал, что молодой Градов подтвердил свое звание чемпиона СССР по мотокроссу в классе 350 кубических сантиметров.

Хозяин настаивал, чтобы он звал его дядя Лад. Маленький, длинноволосый, в раздувшемся, как пион, фуляре под подбородком, настоящий парижский художник, он потащил молодых гостей вдоль стен с картинами, показывал им свою недавнюю серию, названную «Прогулка Серафиты». То и дело он оглядывался на Майку и бормотал:

– Я хочу писать этого ребенка! У этого ребенка мои краски! Я хочу его писать!

Приоткрыл дверь в смежную комнату, зажег свет, мелькнуло некое живописное буйство, тут же погасил свет и притворил дверь.

– А там что? – спросил Борис.

– Ничего, ничего, просто юношеские глупости, – как-то странно, обоими глазами, Гудиашвили подмигнул ему и «этому ребенку».

Вдруг громко застучали вилкой по вазе. Во главе стола в позе памятника стоял Константин Гамсахурдия. В позе памятника, если можно представить памятник с рогом вина в правой руке.

– Дорогие друзья, говорю по-русски, чтобы все понимали. Мы уже

пили за великого Сталина и советское правительство. Теперь я предлагаю выпить за одного из выдающихся членов этого правительства, нашего земляка, Лаврентия Павловича Берия. Я лично не раз встречался с Лаврентием Павловичем и всегда находил в его лице большого патриота, знатока нашей национальной культуры и настоящего читателя литературы. Лаврентий Павлович поддержал мой престиж в годы ежовщины, что дало мне возможность создать ряд новых произведений. Он поддержал мой роман «Похищение луны», когда на него стали напирать тучи недобросовестной критики, а недавно... – здесь Константин Симонович сделал паузу и величаво повел вытянутой рукой с рогом по всему полупериметру с некоторым даже заносом за правое плечо, – а недавно он дал на прочтение «Десницу великого мастера» самому Иосифу Виссарионовичу Сталину, и тот...

В паузе Борис заметил, что все присутствующие просто ошеломлены этим, очевидно, неожиданным тостом. Никто не переглядывался, все не отрывали взглядов от писателя.

Гамсахурдия продолжал:

– ...И тот выразил свое удовлетворение прочитанным. Товарищи и друзья! В древней истории нашей соседки Греции был золотой век Перикла, когда поощрялись литература и искусства. Я пью за то, чтобы Лаврентий Павлович Берия стал Периклом грузинской литературы и грузинского искусства! Алаверды к тебе...

Он отыскал взглядом хозяина дома, застигнутого тостом у стены под большой картиной, изображающей сборщиков чая в процессе их вдохновенного труда. Борис увидел, как на висках художника стали мгновенно проступать крупные капли пота. Гамсахурдия с легкой улыбкой перевел взгляд с Гудиашвили на одного из гостей, чья спина была слишком плотно обтянута чесучовым кителем, и по ней было видно, что гость несколько раздражен то ли теснотой одежды, то ли чем-то еще, может быть, даже и тостом живого классика...

– Алаверды к моему другу Чичико Рапава! – торжествующе закончил Гамсахурдия и, закинув голову, стал пить кахетинскую влагу.

Все зашумели:

– За Берию! За Лаврентия Павловича! За нашего Перикла!

Кто-то стал передавать бокалы с вином стоявшим у стены Борису, Майке и дяде Ладю.

– Ой, я тут надерусь совсем, – захохотала девчонка.

– Мне за Берию пить, все равно что за «Динамо», – шепнул ей на ухо Борис. Та еще больше приснула. Все-таки оба выпили до дна.

Ладо, выпив свой бокал, приложил на мгновение руку ко лбу и прошептал:

– Что он творит, что он творит?

– Кто этот Рапава? – спросил Борис. Он старался побольше запомнить, чтобы потом рассказать бабке.

– МГБ, – сказал ему на ухо художник. – Пойдемте за стол, ребята!

Спереди китель еще больше обтягивал Чичико Рапаву. Сильно просвечивала голубая майка. Орденовые планки скособочились над карманом, из которого торчали три авторучки. Со своими «шверниковскими» усиками Чичико Рапава строго выдерживал стиль зари социализма, золотых тридцатых.

– От всей души поддерживаю тост нашего тамады, пью за человека, который дал мне... – после паузы он вдруг заорал страшным голосом: – ВСЕ! Который дал мне ВСЮ мою жизнь! За Лаврентия Павловича Берию!

Выдув свой рог и взяв закуски, Рапава не сел, но немедленно, еще жуя кусочек сациви, снова наполнил рог и поднял над головой:

– А теперь, товарищи, пришла пора выпить за нашего тамаду, за живого классика грузинской СОВЕТСКОЙ (некоторые слова в речи этого человека имели свойство обращаться в оглушительный вой) литературы, моего друга Константина Гамсахурдия! И если он, опираясь на мифологию – да? – сравнил нашего Лаврентия Павловича с Периклом, я сравню его с Язоном – да? – который всю жизнь плыл за ЗОЛОТЫМ руном! Алаверды к Иосифу Нонешвили!

Гости опять зашумели. Мелькало перепуганное круглое лицо молодого поэта Нонешвили. Он прикладывал руки к груди, умоляюще бормотал:

– Почему такая честь, товарищ Рапава?

Хозяин-художник в отчаянии махнул рукой:

– Вах, просто не знаю, чем все это кончится!

Борис потянул Майку к выходу:

– Давай-ка, детка, делаем ноги! Тут какой-то скандал назревает!

Один из гостей вышел вместе с ними:

– Куда сейчас направляетесь, молодые люди? Хотите, я вам покажу старый город?

Это был как раз тот архитектор Отар Николаевич Табуладзе.

* * *

– Я вам хотел вот эту старую пекарню показать, – сказал Отар

Николаевич. – Мы здесь много времени проводили нашей поэтической компанией. Она нисколько не изменилась с тех лет, хоть и принадлежит горпищеторгу.

Они спустились по узким и неровным ступеням в какую-то преисподнюю, где в глубине исходила жаром огромная печь, и там взбухало, превращаясь в пахучий хлеб, пшеничное с примесью кукурузы тесто. Два мужика в белых фартуках, с голыми волосатыми плечами и руками, вынимали готовый хлеб и задвигали в печь новые противни с тестом. Один из них, отвлекшись, бросил горячий, почти обжигающий круглый чурек вновь прибывшим и поставил кувшин с вином и три жестяных кружки. Вино оказалось холодным.

Они сидели на завалинке, что тянулась вдоль стен. Вокруг возбужденно клочкотали грузинские голоса. Зарево хлебной печи освещало лица и руки, остальное скрывалось во мраке.

– Здесь и сейчас обретаются поэты, – пояснил Отар Николаевич. – И старики, и молодые... вон там в углу талантливые юноши спорят, Арчил Салакаури, Джансуг Чарквиани, братья Чиладзе, Томаз и Отар, это новое поколение...

Вдруг кто-то мощно и мрачно запел, перекрывая все голоса. Борис не понимал ни одного слова, однако наполнялся неведомым ему раньше вдохновением. Ему казалось, что он приближается к какому-то пределу, за которым сразу и безгранично все поймет.

– Это древняя песня о храме Светицховели, – шепнул архитектор. – Я слышу ее второй раз в жизни. – Он явно тоже разволновался, рука его с куском чурека висела в воздухе, будто обращенная к алтарю. – Нет, Грузия все еще жива, – пробормотал он.

Все это, очевидно, имеет ко мне самое прямое отношение, подумал Борис. Эта жизнь, которая мне на первый взгляд кажется такой экзотической и далекой, на самом деле проходит через какую-то мою неосознанную глубину, как будто я не мотоциклист, а всадник. Как будто конь мой летит без дорог, то есть по пересеченной местности, как будто вслед мне каркает ворон злоокий: «Тебе не уцелеть, десантник спецназначения», как будто все мои мысли скоро смешаются с ревом бури и с прошлыми веками, как будто я погибну в бою за родину, но не за ту, за которую я «действовал» в Польше, а за малую родину, как ее ни назови, Грузией, или Россией, или даже вот этой девчонкой, что так доверчиво теперь вlepилась мне в плечо.

Он с нежностью погладил Майку Стрепетову по пышноволосой голове. Девчонка благодарно сверкнула на него глазами. Рука его ушла

вниз по ее тощей спине. Ее пальчики вдруг съехали в темноту, к нему в промежность. Страсть и желание без конца ее, ну, скажем так, терзать сочетаются с такой нежностью, о которой он никогда и не подозревал, что она выпадет на его долю. В самом деле, нечто почти отцовское, как будто он вводит девочку в новый мир, знакомит ее с ошеломляюще новыми субъектами мира: вот это я, Борис Градов, мужчина двадцати пяти лет, а это мой член, мужской член Бориса Градова, ему тоже двадцать пять лет. Потрясенная, она знакомится и с тем, и с другим, и ей, видно, стоит труда понять, что это части одного целого.

Сегодня и она, Майка Стрепетова, женщина восемнадцати лет, со всем, что ей принадлежит, тоже вводит его в новый, неведомый ему ранее мир, в мир вот этой ошеломляющей нежности. Такая вот вдруг приклеилась дурища.

Когда они выбрались из поэтической пекарни, ночь показалась им прохладной. Ветер порывами взвизгивал и серебрил листья каштанов. Борис набросил на Майкины плечики свой новый пиджак. За углом дряхлого дома с покосившейся террасой вдруг открылась панорама Тбилиси с подсвеченными на высоких склонах руинами цитадели Нарикала и храмом Метехи. За следующим поворотом вся панорама исчезла, и они начали спускаться по узкой улочке в сторону маленькой уютной площади с чинарой посередине и со светящимися шарами аптеки; замкнутый мир старого, тихого быта.

Отар Николаевич по дороге говорил:

– Я вас прошу, Борис, расскажите Мэри Вахтанговне о нашей встрече и передайте ей, что в моей жизни уже давно все самым решительным образом переменялось. Я работаю в городском управлении архитектуры, защитил кандидатскую диссертацию, у меня семья и двое детей... – Помолчав, он добавил: – Я бы хотел, чтобы и Нина узнала об этом. – Еще помолчав, он полуобернулся к Борису: – Не забудете, жена, двое детей?

– Постараюсь не забыть, – пообещал Борис и подумал, что наверняка забудет. Трудно не забыть о каком-то Отаре Николаевиче, когда к тебе все время пристает такая девочка, как Майка Стрепетова.

– Ой, как мне хорошо с тобой! Ой, как тут здорово! – жарко шептала она ему на ухо.

За окном аптеки, под лампой, с книгой сидела носатая женщина, дежурный фармацевт. Плечи ее были покрыты отнюдь не аптечной шалью с цветами. Портрет Сталина и часы на стене, атрибуты надежности: время течет и в то же время, вот именно, время в то же время стоит.

– Здесь когда-то работал мой самый любимый человек, дядя

Галактион, – сказал Отар Николаевич. – Вы когда-нибудь слышали о нем?

– Еще бы! – улыбнулся Борис. – И бабушка, и Бо, ну, то есть дед, столько о нем рассказывал! Вулканического темперамента был человек, правда? Мне иногда кажется, что я его помню.

– Вполне возможно, – сказал Табуладзе. – Ведь вам было уже одиннадцать лет, когда он был убит.

– Убит?! – вскричал Борис. – Бабушка говорила, что он умер в тюрьме. Его оклеветали во время ежовщины и...

Табуладзе прервал его резким движением ладони, как будто рассек воздух перед собственным носом:

– Он был убит! Самое большее, что ему грозило, семь лет лагерей, однако его убил человек, который хотел выслужиться, и мы здесь, в Тбилиси, знаем имя этого человека!

Видит Бог, я не хочу знать имя этого человека, подумал Борис и тут же спросил:

– Кто этот человек?

Отар Николаевич глазами повел в сторону Майки: можно ли при ней? Майка заметила и вся сжалась. Борис кивнул: при ней все можно. Майка тут же расслабилась и запульсировала благодарными токами: экая чуткая ботаника!

– Пойдем, сядем там, под чинарой, – Табуладзе вдруг перешел на «ты», – прости, я волнуюсь. Не могу об этом говорить спокойно, может быть, потому, что это недавно выяснилось. Одна женщина, которая там работала, хотела отомстить и рассказала, как было дело. Дядю Галактиона убили ударом пресс-папье прямо в висок. Сильной рукой молодого человека, понимаешь, нет, эх, проклятье! Его убил мой двоюродный брат и, значит, его родной племянник Нугзар Ламадзе! Ты знаешь о таком?

– Я слышал, – проговорил Борис. – Моя мать говорила как-то о нем. Он крупный чин там, да?

Табуладзе кивнул:

– Ну да, он генерал-майор, но это его не спасет!

Видит Бог, я не хочу говорить об этом, думал Борис. Зачем мне все это сейчас, под луной, в старом Тбилиси, после победы в чемпионате, с Майкой в обнимку?

– Что это значит? – спросил он. – Что можно сделать с таким чином?

Отар Табуладзе вдруг усмехнулся совсем не в духе кандидата наук и почтенного архитектора:

– Понимаешь, Борис, здесь все-таки еще живы кавказские нравы. Ламадзе не только дядю Галактиона убил, на его совести немало других

грузин. Он и начинал-то свою карьеру как наемный ствол. В конце концов это все накапливается. Даже сейчас кое-где родственники таких вещей не прощают. Я не о себе в данном случае говорю, понимаешь? Кроме меня появляются еще и другие. То один, то другой появляются. Слухи идут, многое подтверждается. Этому злодею лучше бы самому уйти, чем ждать...

Порывы ветра проходили сквозь листву над их головами, шевелили Майкину гриву. Луна, склонившись, как «какая-то Татьяна», светя сама себе, смотрела на дворы старого Тифлиса. На крутой улочке остановилось такси, слышно было, как шофер затягивает ручной тормоз. Грузный человек позвонил у двери аптеки. Дежурная сняла цветастую шаль и пошла открывать. Неужели эти тихие малыши могут творить столько безобразий, думала Луна. Сколько бы я ни отгонял от себя эту тему, она всегда меня догоняет, думал Борис. В конце концов после всего, через что пришлось пройти, надо раз и навсегда понять, где, с кем и когда ты живешь свою жизнь.

Глава одиннадцатая

Воздух и ярость

Вирази на трассе Бориса IV Градова между тем становились все круче, и времени для размышлений, для осмысления, «где, когда, с кем», не оставалось; приходилось полагаться на интуицию гонщика. Вернувшись в Москву, он сразу же отправился с Майкой Стрепетовой в Серебряный Бор. Он предвкушал, как Мэри, наслаждающаяся обществом нового Китушки, будет счастлива теперь увидеть новую Вероникушку. Почему-то он не сомневался, что Майка понравится старикам. Увы, обычные радости снова отлетели от градовского гнезда. Непостижимые новости все из «той же оперы» поджидали мотоциклиста: Ёлка похищена людьми Берии, Нина арестована, Сандро зверски избит, ослеп после двустороннего отслоения сетчатки, мастерская в Кривоарбатском разгромлена, многие картины распороты ножами.

Потрясенный, он рухнул в дедовское кресло и закрыл лицо руками. В тишине слышались только всхлипывания ошеломленной Майки да из сада доносились птичьи рулады. Первая мысль, что пришла ему в голову, была: «Как это все выдерживают старики?» Он открыл глаза и увидел, что Майка сидит на ковре, уткнувшись лицом в колени Мэри, а та с окаменевшим, как это у нее всегда бывало в моменты несчастья, лицом гладит ее по голове. В глубине дома прошла старая Агаша, провела Китушку на прогулку в сад.

В саду, между прочим, в полосатых пижамах прогуливались два отцовских сослуживца из штаба Резервного фронта, Слабопетуховский и Шершавый: по приглашению тетушки Агаши, то есть по-родственному, явились отдохнуть на несколько дней, подышать чистым воздухом. Не забыли, конечно, прихватить именное оружие, ну чтобы похвастаться боевым прошлым.

Дед в парадном костюме с орденскими планками, бледный, но совершенно прямой и даже как будто помолодевший, стоял у телефона. До Бориса донеслось как будто из приглушенного телевизора: «С вами говорит академик Градов. Меня интересует состояние больного Александра Соломоновича Певзнера. Да, немедленно доложите главному врачу. Я жду на проводе».

Только тут он почувствовал, что к нему возвращаются силы, и вместе с ними или опережая их очень быстрым, но спокойным потоком его начинает заливать ярость. Холодный поток, стремительно и беззвучно вытесняя

воздух, заполнял все его пространство. Вскоре ничего из старого вокруг не осталось, все тело было теперь окружено и заполнено яростью. Что ж, несмотря на леденящий холод, в ней можно жить, действовать и даже кое-что соображать. Хевра думает, что ей все позволено, даже изнасиловать сестренку Бориса Градова? Ошибается!

– В какой больнице лежит Сандро? – спокойно спросил он.

– В больнице Гельмгольца, – сказала Мэри. – Куда ты собрался, Борис?

– Ну вот что, – сказал он, – Майка, ты останешься здесь. Я заеду на Ордынку и скажу твоим, что с тобой все в порядке. За меня не беспокойтесь. Вернусь поздно или очень поздно. Буду периодически звонить.

Майка сквозь слезы радостно кивала. Можешь не сомневаться, Борька, милый, здесь все будет в порядке, ведь я же медработник! Ее, видно, просто почти до перехвата дыхания захлестывало чувство причастности, собственной нужности, полезности, своей уже почти окончательной неотрывности от этого Бори Градова. Мэри, при всей ее окаменелости, любовно оглаживала соломенную голову: она явно была в восторге от нового члена только что разрушенной семьи. Дед, ожидая соединения с главврачом, махнул внуку: подойди!

– Прежде всего, Борька, ни в коем случае не появляйся у себя на Горького, это небезопасно, – сказал он ему, зажав рукой трубку. – Во-вторых, ты можешь мне сказать, куда направляешься?

– Туда, где я еще состою на учете, – ответил Четвертый, – это, может быть, единственное место, где могут помочь или дать совет. Во всяком случае, там я могу говорить без обиняков.

– Очень правильное решение, – кивнул Третий и внимательно заглянул Четвертому в глаза: – Будь осторожен, не лезь на рожон!

Он вдруг переложил трубку из правой руки в левую и правой, чуть дрогнувшей, перекрестил внука.

* * *

Борис, по правде сказать, направлялся совсем не туда, где «все еще состоял на учете», то есть вовсе не в ГРУ. При всей таинственности и независимости этой организации он сомневался, что там найдется хоть один человек, который осмелился бы пойти против члена Политбюро и зампредсовмина. У него был несколько иной – он усмехался, – не столь громоздкий, вот именно более изящный, план действий. Прежде всего, он

углубился на мотоцикле в глубину серебряноборской рощи и нашел там один из своих тайников, сохранившихся еще со времен детских игр в компании Митьки Сапунова. Здесь он после возвращения из Польши закопал один из своих пистолетов, безотказный девятимиллиметровый «вальтер». Оружие оказалось на прежнем месте, смазанное и готовое к действию. Он и себя чувствовал на манер этой штучки – смазанным и готовым к действию. Он был почти уверен, что осечки не будет.

Сначала он дунул во всю прыть своего «коня» в больницу Гельмгольца. Ехал четко, останавливался перед всеми светофорами и делал правильные повороты. Многие постовые узнавали героическую фигуру и салютовали: с победой, Град! В больнице без всяких проволочек, несмотря на солидную очередь посетителей, он получил халат и отправился на второй этаж в послеоперационное отделение. Его никто не останавливал: персонал, очевидно, думал, что молодой человек с такой внешностью зря не явится. Сандро он узнал по кончику носа и по усам. Подняв забинтованное лицо к потолку, художник плашмя лежал на кровати. Медленно приблизившись, Борис тихо позвал:

– Сандро!

Художник ответил совершенно обычным голосом:

– А, это ты, Борис! – Свесив ноги с кровати, он нащупал ногами шлепанцы, похожие на музейные лапти, и встал. – Дай мне руку и пойдем на лестницу, покурим... – Боль уже почти прошла, – сказал он на лестнице. – Могу тебе все рассказать по порядку. – И начал по порядку рассказывать, как ждали Ёлку, и как вместо нее после полуночи явился Нугзар Ламадзе с рассказом об «эмоциональном событии», и что было дальше...

– Ты так спокойно об этом говоришь, Сандро, – сказал Борис. Он давно уже привык обращаться на «ты», как к приятелю, к этому художнику, который был старше его в два раза.

– У меня против них нет другого оружия, – проговорил художник.

Это неплохое оружие, подумал Борис, особенно если все-таки есть еще кое-какое оружие.

– Вчера ко мне приходил какой-то человек, как будто из милиции, – тем же спокойным тоном продолжал Сандро. – Он сказал, что ему поручено расследовать нападение на студию. На самом деле он был, конечно, от них. Когда я напрямую спросил его, где Ёлка и Нина, он сказал, что, хотя он лично совсем не в курсе дела, он все-таки предполагает, что с ними все будет в порядке, если семья не будет, ну, ты знаешь эти выражения, поднимать волну. В общем, в общем... – только тут голос

Сандро задрожал, – мне всю войну надо было пройти... все эти бомбежки... все это... а сейчас вот... такая шальная пуля... и всем моим милым конец... и моим цветам конец...

Борис на секунду вынырнул из своей холодной ярости: не удержался, обнял этого смешного, милого, такого родного человека.

– Пойдем я отведу тебя в палату, Сандро. Лежи спокойно, выздоравливай. Теперь можешь не волноваться, я здесь.

– Что ты можешь сделать, Борька? – пробормотал Сандро. – Кто может что-то сделать против них?

– Я знаю, что делать, – ответил Борис и снова нырнул в свою обжигающую арктическим холодом среду.

Может быть, она слишком жжет? Может быть, слишком большой риск? Может быть, после этого они просто искоренят нас всех? Несколько жалких попыток глотнуть обыкновенного воздуха. Нет, этим не насытишься. Дыши яростью и делай то, что решил, это твой единственный шанс. Где-то он вычитал, что кобру нельзя победить, не сунув ее башку в темный мешок. Он даже помнил, как это называется на языке буров: крангдадигкайт.

В киоске возле метро «Красные ворота» он купил несколько шоколадных батончиков и сунул их в карман все той же «сталинской» куртки. Понадобятся, если придется сутки напролет лежать на крыше. Солнце уже подбиралось к зениту. Откуда-то с верхнего этажа доносился фортепианный урок. Его вдруг посетило ощущение колоссальной всемирной скуки. Бесконечный повтор, сольфеджио скуки. Не очень подходящий гость в данный момент. Бросить все к черту, все бессмысленно. Он побрел к мотоциклу и тут увидел дюжину гладких больших морд, полукругом расположенных на выходе из метро, чтобы каждый мог полюбоваться: вожди, хозяева. И он среди них на первом месте:

отшлифованная ряшка, лысина выглядит так убедительно, словно каждый должен быть лыс. Снова примчалось спасительное облако ярости, и с этим облаком за плечами Борис помчался вниз по Садовому кольцу, через Самотеку и Маяковку, к площади Восстания, свернул на улицу Воровского, потом в проходной двор возле Дома кино, где под раскидистым вязом, рядом с каким-то полуразвалившимся грузовичком, в патриархальном московском углу, оставил мотоцикл и приступил к выполнению своей не очень-то патриархальной операции, в том смысле, что она была направлена против одного из патриархов отечества.

Он знал, где находится массивный, серого камня, особняк Берии,

окруженный высоким глухим забором в два человеческих роста. Задача состояла в том, чтобы незаметно подобраться поближе и занять удобное положение на какой-нибудь из ближних крыш. Как ни странно, одну такую крышу он присмотрел заранее. Однажды, лунной ночью, ехали в машине с шефом ВВС. Васька, как обычно, к этому часу был пьян. Мотнув подбородком в сторону особняка, он хохотнул: «Вот тут Берия окопался со своей хеврой!» Он не любил Берию как шефа своего главного соперника, «Динамо», и как человека, слишком приближенного к отцу. В тот момент Борис, тоже нетрезвый, окинул взглядом диверсанта окрестности и почти немедленно присмотрел себе крышу, откуда можно было бы вести наблюдение и стрелять. Ну, теоретически, конечно.

Практически сначала надо было пройти по тихой Воровского, пересечь более оживленную Герцена, потом углубиться в проходные дворы, ведущие к той крыше, причем пройти, пересечь и углубиться так, чтобы никому из прохожих не броситься в глаза, тем более милиционерам у подъездов иностранных посольств. Призываем на помощь польский опыт. В Дом кино направляются два знакомых биллиардиста. Шаг в сторону, в тень афишной тумбы. Биллиардисты проходят мимо. Монотонная прогулка толстопузого сержанта (у которого, очевидно, дома лежат майорские погоны) мимо ворот шведского посольства. Бесшумное и молниеносное скольжение по теневой стороне. Сержант, профессионально натренированный на запоминание лиц, задницей ничего не увидел. Теперь по улице Герцена мимо остановки троллейбуса идешь как обыкновенный прохожий, как будто у тебя нет шести шоколадных батончиков в кармане и девятимиллиметрового «вальтера» за пазухой. Спокойно заворачиваешь в подворотню и сразу за аркой сливаешься с поверхностью стены, отмечаешь все выступы в кирпичной кладке, железные прутья балкончиков (Варшава!), дряхлость или устойчивость водосточных труб, все желобы стоков, ветви старого вяза, на которых в крайнем случае можно повиснуть, превратившись в помесь ленивца и хамелеона, то есть слившись с ветвями и листвой, перепады высоты, все скаты и коньки крыш, по которым ты в конце концов достигнешь вон той высокой трубы, из-за которой, по твоим расчетам, перед тобой откроется часть внутренней территории подлого поместья на улице Качалова, бывшей Малой Никитской.

Мимо Бориса, почти вплотную, в сторону Герцена, то есть Большой Никитской, прошли две тетки. Одна из них говорила: «Хоть бы скорей его в армию забрали, паразита...» Прошли, не заметили. Он снял свои тяжелые ботинки и спрятал их за железной бочкой с дождевой водой. Приноровившись, пополз вверх по стене. Нет, навыки еще не утрачены,

пальцы рук и ног отлично используют все шероховатости. Он почти уже дотянулся до водосточного желоба, когда справа на уровне его колена распахнулось окошко и из квартиры вылетел сладкий голос певца: «За городом Горьким, где ясные зорьки, в рабочем поселке подружка живет...» Высунулась шестимесячная завивка, просипела в листву: «Никого, ни хуя, там нету...» Окно закрылось. Он подтянулся, перебросился на крышу, залег в желобе, ощупывая ладонями жестяную кровлю, пытаюсь определить, где она может прогнуться или выгнуться, а потом распрямиться с ненужным хлопком. По гребню крыши прошел большой кот в темно-бурой шубе, хвост трубой, белые гамашы, жабо и подусники, похожий на английского генерала. Кажется, не заметил, а может быть, продемонстрировал полнейшую нейтральность. Так или иначе, но через четверть часа офицер запаса оперативного резерва ГРУ, студент третьего курса Первого московского ордена Ленина медицинского института, мастер спорта СССР, чемпион страны по мотокроссу в классе 350 куб.см и третий призер в абсолютном зачете, Борис IV Никитич Градов лежал за высокой, облицованной дореволюционным, то есть отличным, кафелем трубой и обзирал внутренний двор городского особняка зампредсовмина, члена Политбюро ВКП(б), маршала Лаврентия Павловича Берии. Прежде всего, он заметил удивительную малочисленность и небрежность охраны. Видимо, ничего не боятся. Очевидно, давно уже решили, что в этом городе некого бояться. У ворот в будке сидит один чекист, второй прогуливается вокруг дома, третий подстригает кусты, вроде бы садовник в фартуке, но на заднице пистолет в кобуре. Больше никого снаружи не обнаруживается. В дом можно попасть двумя путями: через калитку с железной дверью, выходящую в переулок, и через главный вход, к которому ведет асфальтовое полукружие. Будет трудно или почти невозможно достать его, если он войдет или выйдет через калитку. Здесь он мелькнет на какую-нибудь секунду. Этой секунды было бы достаточно, если постоянно держать калитку под прицелом, однако в этом случае несколько драгоценных секунд будет упущено, появившись он в главном входе. Все окна в доме плотно зашторены. Живут, как сычи, света белого не видят. Людей не боятся, а света белого боятся. В доме, должно быть, не меньше тридцати комнат, и в одной из них, возможно, находится пленница этого гада, сестренка Ёлка, избалованная всей семьей красоточка, музыкантша, пижонка, милейшая и чудеснейшая подружка. Он ее превратил в наложницу. Ебет нашего, градовского, ребенка. Выпивает, должно быть, коньяку для долгого сухостоя и тянет, и тянет свое скотское удовольствие, растлевают девчонку, вытягивает из нее всю ее юность, всю ее суть, вливает

в нее свой тлен. Да будь ты хоть самым Сталиным, заслуживаешь за это пули в пасть или под подбородок!

Солнце было уже в зените, прямо над трубой. Через час на стрелка ляжет тень трубы, но пока печет невыносимо, и жесьь накалилась вокруг, хоть пироги пеки, и нельзя пошевелиться: нужно занимать вот эту выбранную изначально позицию. Нужно поддерживать уровень ярости, чтобы самому тут не размазаться по раскаленной кровле. Он тут растлевают не только Ёлочку, но в ее лице, в ее теле и всех моих женщин: мамочку мою, заокеанскую Веронику, и Верку Горду, и тетку Нинку, и, уж конечно, Майку Стрепетову, избравшую меня для себя раз и навсегда, и даже всех наших околэвээсовских блядей, и всех студенток моего потока, и даже бабушку Мэри, и даже Агашеньку, и Таисию Ивановну Пыжикову, мать моего нового братишки Китушки... Все продумал, только кепку забыл в мотоцикле, нечем башку накрыть; теперь мой котелок тут по всем швам расплавится, нечего будет пожертвовать для анатомического музея. А ведь человек должен не только потреблять, но чем-то жертвовать для будущих поколений. Есть ли в этом какой-нибудь смысл? Может быть, есть, может быть, и нет. Есть ли в этом какая-нибудь разница? Может быть, есть, а может быть, и нет. Ну вот и тупичок, поздравляю с прибытием. Начитавшийся Шопенгауэра Сашка Шереметьев скажет, что все это вообще никуда не течет, а все это одновременно стоит в бесконечном количестве копий, все прошлое и все будущее, не говоря уже о настоящем, где так вот бесконечно и лежит на раскаленной крыше расплавляющийся болван-мститель с обжигающим пальцы пистолетом. В бесконечном повороте существуют и кафельная труба, и солнце на выжженном, без единого облачка, небе, и долетающая ария из оперетты Стрельникова «Сердце поэта»:

«Под-осень-я-сказал-Адели-прощай-дитя-не-помни-зла-расстались-мирно-но-в-апреле-она-сама-ко-мне-пришла-бутылку-рома-открывая-я-понял-смысл-волшебных-слов-прощай-вино-в-начале-мая-а-в-октябре-прощай-любовь!», и истерический женский крик, перекрывающий арию в московском сослагательном наклонении: «А пошел бы ты на хуй!»

Сантиметр за сантиметром, он вытащил из кармана штанов носовой платок, завязал узелки на четырех углах и натянул на голову. Как будто бы стало немного полегче. Сквозь выявленную жарой субстанцию воздуха он еще раз внимательно осмотрел внутренний сад городского поместья. Теперь там совсем никого не было, исчез и садовник с кобурой на заднице, только в затененном углу на клумбе, словно абстрактная скульптура, белели кости большого животного: позвонки, лопатки, ребра, твердыня таза, будто

бы слоновьи, ну да, вот и бивни, все вместе довольно красиво – останки слона, расстрелянного из противотанковой пушки; апофеоз масонской вольной оды. Впрочем, вон там кто-то движется и живой: мягкими шлепками плоского пуза по увлажненному травяному ковру передвигается большая жаба, студенистыми глазами взирает на зашторенные окна с почти осмысленной укоризной: за что же, мол, меня-то так, ведь ничего же не жаждала на самом деле, кроме непогрешимости.

Вдруг весь двор и сад наполнился людьми. К воротам пробежали два холуя в штатском. Из парадных дверей вышло еще несколько, кто в форме, в фуражках с ярко-синим верхом, кто в пиджаках с тяжелыми карманами и в плоских кепках с подвешенными к ним морковными носами, к которым в свою очередь подвешены были пучочки грачиных перьев, то бишь кавказские усы. Ворота открылись, и по асфальтовому полукружью подъехали два черных лимузина с кремовыми шторками. Из них вышло еще некоторое количество соответствующих людей. Многие переговаривались, некоторые похохатывали, упираясь кулаками в бока. Может быть, над Ёлкой смеются? Борис поднял пистолет, и в этот момент все лишнее исчезло из его сознания, как и солнце перестало жечь. Остались только те десять метров, которые его цель должна была пройти от непроницаемого дома до пуленепробиваемого лимузина. За эти десять метров он должен его по крайней мере три раза убить. Удар, другой, третий, и распадутся все звенья заклатья.

Вся свора, собравшаяся на дворе, подобралась. Некоторое подобие стойки «смирно». Из дверей на крыльцо вышел Берия в светлом костюме и соломенной шляпе. Одно из стекол его пенсне послало Борису приветственный лучик. Давай, нажимай гашетку, накрышный стрелок! В тот же момент траекторию неосуществившегося выстрела пересекла немолодая женщина в шелковом платье с лилово-синими цветами, прямо под стать общему настроению в преддверии неосуществившегося теракта. Хитрый Берия остановился: теперь он был под ее защитой. Она стояла боком к пистолету, но бок ее был достаточно объемист, чтобы прикрыть гада. Она что-то говорила ему, мягко жестикулируя обнаженной до локтя рукой, как бы приводя мягкие, но неопровержимые аргументы. В лад с рукой покачивалась приятная голова с уложенной на макушке косой самоварного золота. Плешь Берии все-таки чуть-чуть высывалась из-за этой латунной змеи. Что тут церемониться, надо бить! При таких ситуациях нередко гибнут невинные люди. Если первая пуля заденет жену, вторая-то уж точно найдет свою мишень. Все последующие мгновения стояли перед Борисом, как мишени на стрельбище. Берия что-то сказал, отчего голова

женщины дернулась назад, словно от пощечины. Борис отвел ствол, он не мог выстрелить сквозь эту женщину. Берия шагнул к лимузину, ну, вот ему конец, в тот же миг и женщина шагнула к лимузину, умоляюще простирая руки. Еще три такта они прошли, как в балете, шаг в шаг. Стеклышко пенсне метнуло в сторону накрывного стрелка издевательский лучик: ага, не можешь, кишка тонка! По обеим сторонам лимузинной двери стояли два холуя, один в форме, другой в штатском. Сцена сгустилась до предельной тесноты. Берия грубо оттолкнул свою супругу и тут же нырнул в пуленепробиваемый мрак. Можно было еще попасть в подтягиваемую ногу, но в этом не было никакого смысла: злодей с раненой конечностью страшнее злодея, у которого ноги в порядке. Дверцы захлопнулись, лимузин тут же тронулся. Почти мгновенно двор и сад опустели. Проплюхала и скрылась в кустах укоризненная жаба, кости в углу станцевали фигуру печального матлота и застыли, женщина плюхнулась цветастым задом на мрамор крыльца, змея упала с ее головы на плечи... «Прощай, дитя, не помни зла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла», – буксовала по соседству пластинка. Неудавшийся Гаврила Принцип стал сползать с крыши. От его ладоней пахло жареным. Здесь нечего больше было делать: злодей, по всей вероятности, уехал надолго.

Он не нашел за бочкой своих ботинок. Его бросило в жар, если так еще можно сказать о человеке, пролежавшем два часа на раскаленной крыше. Неужели кто-то заметил, что он прячет там свои могучие «гэдэ»? Если нет, то кого, черт возьми, угораздило именно в это время заглянуть за бочку с зацветшей дождевой водой? Так или иначе, но ботинок нет. Во всяком случае не искать же их, не требовать же их у судьбы обратно! Смываться немедленно!

Он вышел на улицу Герцена. Сначала никто из прохожих не обращал никакого внимания на некоторую незавершенность в туалете весьма заметного молодого человека, хотя москвичи обычно почти немедленно оценивают туалеты встречных: стоит ли посторониться или можно пихнуть в бок. Потом какая-то восхищенная девчонка смерила его взглядом, чтобы запомнить, и разинула рот при виде ног в носках с двумя солидными дырками, постоянно возникающими из-за отсутствия привычки стричь когтистые ногти. Потом еще распахнулся чей-то рот, потом еще, и вскоре весь его путь превратился в череду розоватых пещерок. Что же касается пузатого болвана у шведского посольства, то тот, как тренированный на все самое неожиданное, в том числе и на молодых людей, прогуливающих в носках, мигом бросился в свою будку к телефону: тревога, высылайте кавалерийский взвод!

Мотоцикл, в отличие от ботинок, стоял на своем месте. Без всяких дальнейших размышлений, как будто это входило в разработанный заранее план, Борис помчался на Плющиху к Сашке Шереметьеву. Продуваемый – наконец-то! – встречным ветром, он вдруг сообразил, что вернулся из своей плотнейшей ярости в обычную воздушную среду. Теперь нужно к Сашке, думал он, больше я не могу в одиночку, немедленно найти Александра, этот что-нибудь придумает!

* * *

Шереметьев, к счастью, оказался дома. Лежал на тахте, разумеется, с нехорошей книжкой в руках. Протез, как часовой, стоял рядом. Три липких ленты с прилипшими мухами свисали с люстры. В соседней комнате тоже шла эта извечная война двух видов жизни: доносились хлопки мухобойки.

Увидев вошедшего друга и, конечно, сразу же заметив ноги в носках, Шереметьев иронически улыбнулся:

– Это как прикажете понимать?

Борис сел к столу, жадно потянулся за албанской сигаретой. Только что появившийся в продаже крепчайший «Диамант» немедленно стал любимой маркой крепчайших молодых людей Москвы. Некоторые называли его «Диаматом», то есть диалектическим материализмом.

– Прежде всего, Сашка, я бы предложил отбросить это дурацкое обращение на «вы», – сказал он после первой глубокой затяжки.

– Что у тебя случилось? – тут же спросил Шереметьев, садясь и откладывая книгу.

– Горе опять обрушилось на нашу семью, – сказал Борис.

Он начал рассказывать, что произошло здесь, пока он гонял свой ГК-1 по кавказским холмам. Внимательно слушая, Шереметьев надевал протез. Вдруг, не защелкнув еще все застёжки, он побелел, закусил губы и с закрытыми глазами отвалился к стене. Продолжалось это не больше полуминуты, потом краски вернулись к его лицу.

– Продолжай! – В глазах его теперь стояло какое-то новое, непонятное, интенсивное выражение. – Итак, – сказал он, когда Борис кончил, – что мы имеем на данный момент? Сандро ослеп, Нина в тюрьме, Ёлка неизвестно где... Ну что же, за такие дела надо четырехглазую кобру... – Три раза он ткнул большим пальцем себе за правое плечо.

– Уже пробовал, – сказал Борис и подумал: мы все-таки с этим типом звери одной крови. Он рассказал Сашке и о своем накрышном бдении.

– Ну, Боб! – только и сказал Шереметьев в ответ на этот рассказ.

Встал, скрипнули и протез, и все половицы, прошагал мимо, на мгновение сильно нажал Борису ладонью на плечо, исчез за шторкой, отделявшей от комнаты кладовку. Тут же оттуда вылетели армейские сапоги: «Надевай, они тебе впору!» – а потом появился и он сам с пистолетом в руках.

– Надо было ту бабу убирать, которая тебе мешала, – деловито сказал он. – Ну да ладно. Сейчас давай делом займемся. Из всего, что ты рассказал, я делаю вывод, что нам нужно как можно скорее поговорить по душам с товарищем Ламадзе.

На лестнице Саша Шереметьев пришел вдруг в веселое возбуждение, стал еще и еще раз выпрашивать у Бориса, как тот целился, где кто стоял, как там вообще все выглядит.

– Сашка, отчего ты недавно так побледнел? – спросил Борис.

Шереметьев остановился. Он смотрел прямо перед собой на обшарпанную стену лестничной клетки. Снова что-то похожее на прежнюю бледность, только мгновенное, будто махнули белым полотенцем, прошло по его лицу.

– От ненависти, – коротко ответил он и захромал дальше.

Уже на улице, по пути к мотоциклу, он вдруг взял Бориса под руку: жест совершенно не свойственный современному байрониту.

– Я тебе должен признаться, Боб. В последнее время я очень часто думал о твоей Ёлке. Нет, не то что я был в нее уже влюблен, но... наверное, очень близок к этому. Она как-то воплощала весь мой идеал юной женщины, понимаешь? Конечно, я не сделал никаких попыток и, может быть, никогда не сделаю. Ты это учти, о'кей? Никому ни слова, о'кей? Я только стал замечать за собой, что слишком часто болтаюсь по Горького в районе Большого Гнездниковского, и вообще весь центр Москвы для меня как-то окрасился иначе... Я уже и не думал, что такое может повториться в моей жизни после дальневосточного урока...

Напоминание о «дальневосточном уроке», то есть о всем том гиньоле, о котором Сашка откровенничал по пьяной лавочке, неприятно резануло Бориса: Ёлка для него как-то не соединялась с «дальневосточным уроком». Шереметьев, кажется, заметил, что друга покорило.

– Ну, в общем-то я, конечно, понимал, что я ей не пара, – сказал он.

– Почему же ты ей не пара? – хмуро спросил Борис.

– А ты не понимаешь, почему я ей не пара? – вопросом на вопрос, и не без злости, ответил Шереметьев. Он уже жалел, что разоткровенничался. Однако перед кем еще ему откровенничать, если не перед Борькой

Градовым? – Давай-ка эту тему оставим. Твоя кухня – моя мечта, и только...

– Фраза почти лермонтовская, – улыбнулся Борис. Мимолетное раздражение отхлынуло. Он был счастлив, что рядом с ним Сашка: все стало казаться почти естественным – два парня с пистолетами за пазухой, чего проще. Город большой, почему в нем двум таким не ходить, двум мстителям?

– Ты знаешь, сукин сын, что я всегда боюсь твоей иронии, – вдруг сказал Шереметьев.

– А я твоей, – сказал Градов.

Они толкнули друг друга локтями и стали говорить о деле. Прежде всего надо было узнать, где живет генерал Ламадзе, наш почтенный жандармский дядюшка. Борис был почти уверен, что в одном из трех новых домов на Кутузовском проспекте. В Москве говорили, что эти двенадцатизэтажные массивные терема с мраморными цоколями почти целиком населены «органами». На всякий случай обратились в киоск «Мосгорсправка». Там, разумеется, ответили, что человек с таким именем среди жителей Москвы не значится. Есть почти такие, но все-таки не совсем тот, о котором вы спрашиваете, молодые люди. Есть, например, Ломанадзе Элиазар Ушангиевич или вот, Нугзария Тенгиз Тимурович, а вот вашего родственника, молодые интересные, у нас нет. Обращайтесь в милицию. Александр предложил спросить в ресторане «Арагви»: уж там-то наверняка слышали об именитом земляке. Эта идея была им же самым немедленно отвергнута: хмыри из «Арагви» тут же стукнут куда надо, что двое парней ищут генерала. Вдруг Бориса осенило: надо Горду спросить! Он вспомнил, что она как-то упоминала генерала Ламадзе, который, в отличие от многих других представителей, настоящий джентльмен.

Вера сама ответила на звонок:

– Ой, Боренька, ну, что совсем пропал?

Да, она, конечно, случайно знает, где живет Нугзар Сергеевич. Как-то раз ехали компанией, и вот он пригласил к себе помузицировать. Извинился за беспорядок, семья где-то была, на даче, что ли, однако предложил вина, фруктов, немного шоколада, и рояль, рояль!.. Ну, у тебя, конечно, одно на уме, Борька, вздор какой! Борис сказал ей, что привез посылку из Тбилиси, а адрес потерял. Нет, она адреса не знает, с какой стати, но дом запомнился, да-да, на Кутузовском, там внизу большой гастроном. Кажется, пятый этаж или восьмой, а ты, Боренька, говорят, влюблен? Откуда я знаю? Она печально засмеялась. Южные ветры принесли... Уже повесив трубку, Борис сообразил, что дома на Кутузовском достроили уже после начала их бурной

и беззаветной любви. Верочка Гордочка...

В доме с гастрономом было три подъезда. Борис наугад зашел в № 1. Там, зевая, расчесывая бока, сидел над кроссвордом «Вечерки» бульдожистый мильтон. Не снимая мотоциклетных очков, крепко стуча по кафелю армейскими прохарями, Борис приблизился.

– Генерал Ламадзе у себя?

– По какому вопросу? – с некоторым перепугом спросил мильтон.

– У меня к нему пакет.

– Откуда?

Борис усмехнулся:

– Много вопросов задаете, сержант.

В это время спустился лифт, и из него вышел сам генерал Ламадзе в костюме нежнейшего габардина и темно-синей бабочке. Сержант открыл было рот, но ничего не произнес: язык, видно, прилип к небу. Рукой лишь только показал в спину проходящему в подъезд генералу: вот, мол, кому ваш пакет предназначается, многоуважаемый секретный товарищ.

Удобней ситуации не придумаешь. Ламадзе стоит под молодой липкой, поглядывает на часы, видимо, поджидает машин у. Сзади ему под лопатку через две тонких ткани упирается до чрезвычайности знакомый и все-таки всегда удивляющий своей категоричностью предмет. Одновременно перед ним возникает с серьезной понимающей улыбкой молодой человек в беретике. На мгновение распахнув пиджак, он показывает ему торчащую из внутреннего кармана рукоять другого категорического предмета. Из-за плеча прямо в ухо генералу слышится приказание:

– Идите вперед и поворачивайте за угол здания!

Значит, все-таки он предал меня, думал генерал, идя вперед и поворачивая за угол. Чем я ему не угодил? Что он, мысли мои читает, что ли? Или слишком большая преданность уже не нужна? Кто меня сдал, Кобулов, Мешик?.. Из какого подразделения эти двое? Не похожи на наших. Из внешней разведки? Странная плотная группа из трех лиц, никем не замеченная в общей сутолоке часа пик, прошла мимо лесов строящегося дома в боковую улицу. Здесь генерал Ламадзе ожидал увидеть привычный черный автомобиль, который отвезет его куда-то на избиение и позор, то есть почти прямоком на свалку, однако ничего похожего на такой автомобиль в переулке не обнаруживалось. Как-то нетипично все это выглядит, вдруг сообразил он. А вдруг обыкновенные грабители? – радостно заволновался он. Снимут костюм, там бумажник с тысячей... Хороший юмор, генерал госбезопасности ограблен возле собственного дома!

Он еще не успел бросить взгляд на того, кто угрожал ему сзади и справа, тыча под последнее ребро твердым рыльцем «категорической штуки», однако едва лишь он попытался вывернуть шею, этот сзади жестко сказал:

– Не крутитесь под пистолетом, идиот!

Из переулка открывался вид на зады высотной гостиницы «Украина», там заканчивалась разбивка обширного сквера, стояли скамейки с львиным изгибом и урны в виде античных ваз. Несколько няnek уже пасли там высокопоставленных деток.

– Куда вы меня ведете? – с некоторым намеком на угрозу спросил Ламадзе. – Кто вы такие? Вам что, деньги нужны?

– Это не ограбление, Нугзар Сергеевич, – усмехнулся первый, прихрамывающий негодяй. – Вот здесь, садитесь на эту скамью!

Сердце заколотилось у Ламадзе по всему телу. В руках, в ногах, в голове, в груди и по всему животу тяжело бухало пойманное сердце. «Знают меня по имени, действуют с таким профессионализмом, какой нашим ублюдкам и не снился! Да что же это за наваждение!» На гудящих, бухающих ногах он еле добрался до скамьи, упал на нее и тогда увидел первого похитителя, парня в кожаной куртке и в мотоциклетных очках, сдвинутых на лоб. Медные волосы, загорелое лицо, почти кавказская внешность и большие светлые глаза; что-то очень знакомое, нечто сродни...

– Я Борис Градов, – сказал похититель.

Нугзар вдруг разразился рыданиями.

– Боря, Боря, – сквозь рыдания и всхлипыванья, а потом и сквозь носовой платок, бормотал он. – Ты с ума сошел, Боря! Умоляю тебя, прекрати это! Неужели ты не понимаешь, что с вас за это в буквальном смысле стянут кожу?! В буквальном смысле, в буквальном, Боря, за нападение на генерала МГБ в буквальном смысле обдерут! Боря, Боря, я же с твоим папой дружил, я же твою ма-маму в Америку провожал...

– Заткнись! – тихо рявкнул Борис. – Ни слова о маме! Что за истерика, генерал? Не понимаете, что мы всерьез?! Не поняли, по какому делу?

Нугзар высморкался в платок, несколько секунд не открывал лица, потом заговорил совсем иным, жестким тоном:

– Самое лучшее, что я могу сделать для вас, молодые люди, это не доложить куда следует о случившемся. А теперь идите по своим делам, а меня оставьте в покое.

Борис сел на скамью рядом с Ламадзе и сказал Александру Шереметьеву:

– Видишь, какие перепады настроения.

– Генерал в депрессии, – кивнул друг. – Однако до сих пор не все понимает. Придется кое-что прояснить.

Он вдруг схватил Нугзара правой рукой за горло и на мгновение пережал артерию каротис. В этом мгновении оказалось бесконечное количество долей мгновения. Бесконечные доли мгновения мерк закат, вернее, его отражения в окнах исполинской гостиницы, и в этих отражениях проявлялась квинтэссенция нугзаровского детства, то есть нежнейшая суть будущего убийцы. Вдруг вырос и все собой затмил октябрьский вечер двадцать пятого года на градовской даче в Серебряном Бору, сосны и звезды оказались воплощением лезгинки, лезгинка раскрутилась той дорогой, какой он мог бы пойти, но не пошел. И так, по мере прекращения доступа свежей крови к артериям головного мозга, в течение этого мгновения Нугзар головой вперед, словно катер, поднимающий в темноте белые буруны, уходил все дальше к подлинному смыслу вещей, пока Шереметьев не разжал зажима, и тогда кровь хлынула, куда ей надлежит, и восстановились жизнь и действительность, и вместо подлинного смысла возник один лишь сплошной и непрекращающийся ужас.

После этого он поклялся молодым людям рассказать все, что знает, и сразу же начал врать. Нет, он не в курсе этого дела, вообще. Вообще, совсем не в курсе деталей, только в общих очертаниях, вообще. Просто товарищи попросили успокоить родителей, ну, вообще. И сейчас, ни вообще, ни в частности, он не знает, где находится Елена Китайгородская. Но может попытаться узнать. Если угодно вам, Борис, и вам, товарищ, который сейчас чуть-чуть не убил, он попытается узнать. В общих чертах попытается выяснить, в городе или на даче и каковы перспективы на воссоединение, ну, вообще, с семьей. Завтра в это же время можно встретиться на этом месте. Безопасность гарантируется, ну, конечно, вообще, под честное слово офицера. Как еще он мог говорить с этими безумцами, как он мог не врать?

– Ну, вот и отлично, – сказал Борис. – Завтра в это же время, то есть без четверти восемь, вы придете сюда с моей двоюродной сестрой. Если явитесь без нее, будете убиты, сучий потрох. Ты разоблачен, скот и гад! Мне известно, как ты дядю Галактиона убил мраморным пресс-папье. И не только мне это известно, подонок и ублюдок! Ты изуродовал, ослепил художника Сандро, за одно это тебе нет пощады! Ты же кавказец, ты знаешь, чем это все кончается, но в данном случае будешь размазан об стенку без промедления. Единственное, чем ты можешь спасти свою гнусную жизнь, это тем, что завтра привезешь сюда Ёлку. Дальше должна

быть освобождена ее мать, и ты сделаешь для этого все, что можешь, потому что Нина тоже будет на тебе «висеть». Мы ее не забудем! Да, и вот еще что: ты нас пытками не пугай, мы знаем, как от них избавиться. Ну, а если с нами что-то случится, найдутся еще двое, которые за нас...

И снова грозный генерал разразился истерическими рыданиями, затыкая себе уши, не желая слушать жестоких слов.

– Ты ничего не знаешь, Боря, – бормотал он, – ничего не знаешь, как было на самом деле...

– Давай закурим, товарищ, по одной, – пропел тут Саша Шереметьев, вынимая свою плоскую коробочку с темным силуэтом чего-то восточного, то ли дворца, то ли мечети.

Приближался медлительный, слегка любопытствующий милиционер. Все трое разобрали по сигарете. «Крепкая», – закашлялся Нугзар Сергеевич, как раз вовремя: мильтон улыбнулся, проходя мимо. И впрямь было чему: прилично одетый гражданин явно злоупотребил алкоголем, еще не дожидаясь темноты.

– Обещаю вам узнать как можно больше, – сказал Борис, возвращаясь к вежливому тону. – А теперь возвращайтесь домой, Нугзар Сергеевич, и не забудьте, что часы тикают.

Несколько минут они смотрели на уходящего шаткой походкой, действительно как будто сильно подвыпившего Ламадзе.

– Этот малый весь в говне, – как бы даже с некоторым сочувствием проговорил Шереметьев. – На него можно не рассчитывать.

– У меня есть еще один вариант, – сказал Борис. – Ты, наверное, догадываешься какой.

– Черт, – пробормотал Шереметьев. – Этот вариант еще опасней твоей крыши. Может быть, подождем до завтра? Вдруг они все-таки привезут Ёлку? Технически, как ближайший к Берии человек, он мог бы...

– Мне нужно выпить, – вдруг сказал Борис. – У меня, кажется, тоже нервы пошли ходуном. Прости, но я просто не в силах сидеть и ждать, пока они там... Понимаешь, я сейчас как бы становлюсь главным в градовском клане, а у меня все трясется внутри. Руки еще не трясутся, стрелять еще могу, но что толку в этом. Сашка, Сашка, как нас всех употребили! Мы совсем не в тех стреляли после конца войны...

Шереметьев резко встал, чуть поморщился от привычной боли ниже колена:

– Пойдем, я знаю, где тут неподалеку разливают коньяк.

* * *

В тот вечер клуб ВВС гулял на всю катушку. Сняли целиком Дом культуры завода «Каучук». Из Казани привезли десяток джазистов Олега Лундстрема. Сбежались лучшие девчонки Москвы. Столы ломились от коньяка и шампанского. Рядом с шашлыками из «Арагви» тут же, навалом, громоздились коробки с тортами. Гуляй, дружина! Хочешь мясного, жуй! Хочешь сладкого, влипай в крем! Заместитель командующего Московским военным округом генерал-лейтенант авиации Вася Сталин показывал свой размах.

У него были причины веселиться. ВВС уверенно становился ведущей спортивной силой страны, подминал под себя и ЦДКА, и «Динамо», не говоря уже о жалких профсоюзниках – «Спартаке». В составе олимпийской команды, отправляющейся через две недели в Хельсинки, было множество вэвээсовцев – и футболисты, и баскетболисты, и волейболисты, и боксеры, и борцы, и гимнасты, и легкоатлеты, и ватерполисты, и пловцы, и стрелки, и т.д., и т.п.; словом, не зря работали, есть кому поддержать славу родины.

* * *

Предстоящее это неслыханное событие, первое в истории участие СССР в Олимпийских играх, будоражило всю Москву. Еще вчера газеты называли олимпиады позорным извращением физической культуры трудящихся масс, буржуазным, империалистическим псевдосоревнованием, направленным на одурачивание пролетариата, на отвлечение его от насущных задач классовой борьбы. В противовес этим мерзостям еще с двадцатых годов в стране гордо шествовали спартакиады, то есть подлинные праздники физической культуры и нравственного здоровья. Слово «спорт» вообще не очень-то поощрялось, оно было каким-то слишком английским, то есть каким-то в принципе не советским, и только после войны все больше стало внедряться в обиход, пока наконец не грянула сенсация: СССР вступает в олимпийское движение! И вот уже разбитной американец, председатель Всемирного олимпийского комитета Эвери Брэндиж, которого еще вчера иначе как лакеем Уолл-стрита не называли, прилетает в Москву, и собирается огромная команда по всем видам, чтобы дать бой на стадионах, чтобы доказать на деле, а не на словах преимущество советского спорта и нашего образа жизни. Досужим и

падким до сенсации западным журналистам остается только гадать, что означает таинственный ход дяди Джо: разборка «железного занавеса» или репетиция третьей мировой войны? Советским людям, быть может, было бы резонно представить разговор Сталина-отца со Сталиным-сыном. «А ты уверен, что не проиграем, Василий?» – спросил отец. «Уверен, что победим, папа!» – пылко воскликнул юный генерал-лейтенант. «И Америки не боишься?» – лукаво сощурился вождь. «Да нам ли ее бояться, отец!» Затем начинается знаменитое сталинское маятниковое хождение по кабинету. Думает ли он или просто что-то выхаживает, некую основную эмоцию? А пусть поиграют, вдруг выходил старый пахан. Почему им наконец не поиграть с другими? Пусть Василий будет доволен, в конце концов. Он лучше Яшки, он в плен не попал. Он на ту девчонку похож, которую я однажды на подпольной квартире в Сестрорецке прижал, ну да, на мать свою. Пусть поиграет этот генерал-лейтенант... Такая сцена иной раз может представиться советскому человеку, и самое смешное состоит в том, что так, очевидно, и было на самом деле. Помешанный на спорте, Васька под хорошее настроение вытянул из отца согласие на участие в Олимпийских играх. Чем еще прикажете объяснить это невероятное решение, принятое в разгар «холодной войны» против американского империализма и югославского ревизионизма, когда уже и раскаленными сковородками шаршили друг друга на Корейском полуострове?

* * *

Борис и Майка Стрепетова подъехали к «Каучуку» в одиннадцатом часу вечера, когда бал был в полном разгаре. Выписанные из казанского захолустья джазисты за милую душу «лабали» запрещенные ритмы, в частности, к моменту прибытия наших героев «The Woodchopper's Ball», или, как объявил гладкопричесанный, с тоненькими усиками, король свинга стран Востока, «Бал дровосеков», прогрессивного композитора Вуди Германа! Спортсмены и их подружки отплясывали кто во что горазд. Несколько пробравшихся и сюда стилижек показывали, как это надо делать, по образцам американских фильмов тридцатых годов.

Борис посмотрел на себя и на Майку в зеркало. Морда у меня – на море и обратно, а вот ты, дорогая, ярко представляешь здесь пшеничные поля нашей родины с сорняками васильков и незабудок. Когда он, уже в темноте, весь почти обуглившийся, с ободранными ладонями, вдруг явился в Серебряный Бор и потащил ее на какой-то таинственный ночной бал, она

едва успела натянуть тбилисское платьишко, зачесать вверх и сколоть шпильками свою скирду. Общее впечатление, однако, получилось неплохое: вот именно, пшеница с сорняками. Борис же в мятом костюме и в скошенном галстуке выглядел по-дикарски, то есть в общем-то в унисон с ней.

У Града новая девчонка! – прошел слух по всему залу. Град явился с новым кадром! Ватерполист Гриша Гольд, воплощение восточнобалтийской элегантности, поцеловал Майке руку, что заставило ее, то есть руку, дернуться, будто лягушку под током.

– У вас такой вид, друзья, как будто вы из сено вылезать этот момент, – очаровательно улыбнувшись, Гольд отплыл в поисках своей партнерши.

– Он на Тарзана похож, – восхитилась Майка. – Такой Тарзан в стильном костюме!

Они присели к дальнему концу огромного П-образного стола, и Борис сразу налил себе и немедленно выпил «тонкий», то есть двухсотпятидесятиграммовый, стакан коньяку. Простодушная Майка на это даже глазом не моргнула: ей и в голову не приходило, чем все это может кончиться. Она была переполнена недавними событиями в ее жизни: явление принца и бегство на Кавказ, первые эротические откровения, вхождение в градовский клан и немедленная, с первого взгляда, влюбленность в бабушку Мэри. Толком она еще не понимала, что за несчастье свалилось на семью, но, конечно же, уже любила заочно и жалела и тетю Нину, и дядю Сандро, и похищенную кем-то Ёлочку. Самое же главное состояло в том, что она оказалась в Серебряном Бору в самый подходящий момент, что она нужна этим людям и как новый член семьи, и даже, не в последнюю очередь, как медработник. Вот, например, когда сегодня пополудни любезнейшей Агашеньке на нервной почве стало плохо, она немедленно ей сделала укол камфоры монобромата.

И вот теперь она на этом странном балу, где открыто буржуазными инструментами, саксофонами, исполняется эллингтоновский «Караван», где тоненькие девчонки с кукольными личиками без стеснения прижимаются к могучим парням, где все на нее поглядывают со странным любопытством. И как же это здорово – сидеть рядом с любимым и быть центром всеобщего внимания!

Борис вдруг потащил ее танцевать, сильно обнял, чтобы не сказать облапил, тоненькую спинку и целеустремленно начал разрезать толпу по направлению к отдельно стоящему в нише стола, где расположились явно не любители потанцевать, а любители поговорить.

– Привет начальству! – довольно нахально крикнул Борис,

выкаблучивая возле этого стола со своим «стогом сена».

– А, Борька, хер моржовый! – Кто-то в центре стола помахал рукой. – Ты где пропадал? Давай садись к нам, выпьем!

Миг – и Майка уже сидит среди солидной публики; иные в погонах, другие в галстуках строгого направления. В центре, рядом с розовощекой сильной женщиной, – молодой человек в темном френчике, черты лица не отталкивающего характера; это он как раз и крикнул Борису, употребив не вполне светское обращение. Сейчас он по-свойски ему подмигивает и кивает на Майку:

– Ты, я вижу, с новым товарищем? – Оглядывает Майку, будто приценивается. – Вполне подходящий товарищ. – Теперь уже ей подмигивает: – Тебя как зовут?

– Майя Стрепетова. А тебя?

За столом оглушительно грохнули. Молодой человек тоже расхохотался.

– Зови меня Васей, – сказал он и налил ей шампанского.

Разговор за столом возобновился. Речь шла, как ни странно, не о спорте, а о легендарном в узких кругах бомбардировщике ТБ-7. Вокруг В.И.Сталина в тот вечер сидели конструкторы и ведущие летчики-испытатели. Один из конструкторов, бритоголовый носастый Александр Микулин, в пиджаке с двумя лауреатскими медалями, утверждал, что по всем характеристикам этот бомбардировщик бил американскую «летающую крепость» и даже «суперкрепость». Потолок у него был 12 тысяч метров, а скорость выше, чем у немецких истребителей. Уже это делало его неуязвимым, вот спросите Пуссепа, он столько раз водил эту машину над Германией...

Подполковник Пуссеп, скромно улыбаясь, кивал:

– На самом деле, зенитные снаряды к этой высоте подходили на излете, а истребитель-перехватчик плавал там, как сонная муха, становился просто мишенью для моих пушек. Что касается полетов с Молотовым в Англию, вот Василий Иосифович не даст соврать, по последним расшифровкам выясняется, что германская ПВО даже не могла нас засечь, просто не знали, что мы над ними катаемся. Верно, Василий Иосифович?

Молодой Сталин кивал и немедленно поднимал бокал: давайте выпьем за скромнягу Пуссепа! Кто-то из присутствующих спросил Микулина насчет пятого, скрытого, двигателя. А вы откуда знаете об этом двигателе, прищурился над своим «шнобелем» Микулин. А все знают об этом двигателе, был ответ. А вроде бы никто не должен знать об этом двигателе. А все равно все знают... Все начали хохотать и толкать друг друга локтями.

А вот любопытно, вступил тут в беседу чемпион СССР по мотокроссу в классе 350 куб. см, теоретически, знаете ли, любопытно: если у нас уже к началу войны был такой бомбардировщик, какого же черта мы не разбомбили Берлин? Тут вдруг все перестали смеяться, потому что чемпион по наивности, конечно, коснулся действительно запретной темы – о срыве серийного выпуска ТБ-7. Выпуск же этот был отменен, как всем присутствующим было отлично известно, на самом высшем уровне, то есть данная тема обсуждению не подлежала.

– Ты, Борька, лучше в стратегические высоты не забирайся, – с некоторым добродушием, которое нередко, как все знали, переходило у него во взрывы неумняемой брани и маханье кулаками, проговорил Васька. – Нечего хуевничать. Ты великий мотогонщик, и за это тебе честь и хвала! Давайте выпьем за Борьку Градова! Эх, жаль, на Олимпийских играх нет мотосоревнований, ты бы стал чемпионом!

– А стрельба там есть в программе, Василий Иосифович? – Боря Градов, упершись локтем в край стола, склонился плечом в сторону шефа. – Почему бы вам меня туда не взять как стрелка? Вы же знаете, что в этом деле я не посрамлю ВВС. Вы же знаете, правда, видели ведь, кажется, как я из полуавтомата сажал, верно? А из маленьких штучек я тоже умею, любой парень в «диверсионке» вам это бы подтвердил... – Он сунул руку во внутренний карман пиджака.

Народ за столом как-то забеспокоился. Чемпион нависал над хорошим комплектом закусок, галстук его плавал в бокале с «Боржоми», сквозь волосы, упавшие на лицо, пьяным холодным огнем светили на шефа градовские глаза.

– Ты что хуевничаешь?! – визгливо закричал через стол Васька. – А ну, вынимай, что у тебя в кармане!

Борис с улыбкой достал и показал всем свой пистолет.

– «Вальтер», девять миллиметров, – шепотом определил Пуссеп.

– А ну, клади свою пушку на стол! – Продолжая визжать, сын СССР ударил кулаком по столу: – Разоружайся!

– Разоружусь, если вы мне ответите на один вопрос. Могу я вас считать своим другом?

– Разоружайся без всяких условий, мудак пьяный! – Василий Иосифович встал и отшвырнул стул.

Боря Градов тоже встал и даже отступил на шаг от стола. Он одновременно производил три действия: левой рукой – мягкие, тормозящие, ну, стало быть, успокаивающие движения в сторону совершенно обалдевшей Майки, лицом – пьяное странное сияние в адрес

шефа и, наконец, правой рукой с пистолетом – предостерегающие, из стороны в сторону покачивания в адрес всей остальной компании: не двигаться! Часть танцующего зала, что видела эту сцену, остолбенела, большинство, однако, продолжало томно кружиться.

– Условие остается, Василий Иосифович. Могу я считать вас своим другом? – проговорил Борис.

Это продолжалось несколько секунд. Из толпы за спиной Бориса стали уже выделяться несколько боксеров и похожий на мухинский символ рабочего класса декатлонист. Сын СССР и сам был, признаться, уже основательно пьян. В нем закипало бешенство, но совсем не в адрес Градова, напротив, к этому идиоту он даже чувствовал некую ухмыльчивую симпатию, как к части своего собственного бешенства, направленного не на кого-то и не на что-то определенное, а во всех направлениях. Уже почти пустившись под откос, он вдруг зацепился за мысль, что теперь тут все зависит от него, что только он один может спасти ситуацию, и весь этот вшивый народ, и всю эту хуевую авиацию, и весь этот расхуевейший спорт. Тогда он подавил закипающее. Обогнул стол и двинулся прямо к Борьке:

– Ну, допустим, мы друзья, прячь пушку, хуй моржовый! Пойдем поговорим!

«Вальтер» немедленно исчез. Борис застегивал пиджак и ладонями забрасывал назад волосы. Василий Иосифович, очень довольный, жестом остановил предлагавших свои услуги боксеров. Конструктор моторов Микулин громогласно подмазался:

– Вот у кого поучиться выдержке!

* * *

В кабинете директора ДК Борис сказал своему «другу», что его двоюродная сестра похищена Берией. Васька расхохотался:

– Ты не одинок в этом городе, ей-ей, не одинок! У Лаврентия дымится на всех хорошеньких девчонок.

Борис возразил, что ему плевать на всех хорошеньких девчонок, речь сейчас идет о его двоюродной сестре. Василий Иосифович, должно быть, знает, чем он, Борис, занимался в Польше, и, если Ёлку немедленно не вернут, он готов повторить кое-какие подвиги. Сын вождя еще пуще развеселился. Воображаю твою встречу с Лаврентием! Вот уж не знал, что ты такой наивный парень, Борька! Из-за чего вообще-то весь сыр-бор? Ну, потеряла целочку твоя сестренка, ну и что? А может быть, ей сейчас

хорошо с нашим очкастым старпером, откуда ты знаешь? Лаврентий у нас по этому делу чемпион во всем правительстве! Борис шарахнул по директорскому столу, стекло под его кулаком образовало звезду-дикобраза. Как-то иначе он представлял разговор с другом!

– Боюсь, что мне сейчас придется покинуть помещение. Через данное окно на заданную улицу, как в школе проходили. Уйти с концами в джунгли большого города.

Сын вождя в ответ шарахнул кулаком по звезде-дикобразу. Осколки стекла разлетелись, обнажая шулерские записки директора клуба.

– Ты на кого, ебена мать, Град позорный, кулаком стучишь? Кто тебя чемпионом сделал?

Они глядели друг на друга в упор, в глаза.

– Родина меня чемпионом сделала, Коммунистическая партия, великий Сталин, а мне это все сейчас по херу!

– По херу тебе все? На Колыму, сука, захотел?

– Живым не дамся, Василий-как-вас-по-батюшке... – Свирепый пьяный хохот с обеих сторон, лицо в лицо. – Не зря меня кое-чему в «диверсионке» научили!..

Сын вождя вдруг выскочил из-за стола, распахнул одно за другим все три окна в кабинете.

– Ну, давай трезветь, Борис! Давай выкладывай все по порядку.

Неслыханной молодой благодатью вошел внутрь мерзости ночной воздух со звездами. Через пять минут сын вождя прервал своего чемпиона:

– Все ясно. Ты, конечно, понимаешь, Борька, что я – твой единственный шанс. Давай руку, сучонок, обещаю тебе помочь! Мои условия такие: сдаешь лично мне свою пушку и из этой комнаты не выходишь до моего возвращения. С тобой тут посидят три парня. Понятно? Не принимаешь условий, вызываю патруль и вычеркиваю твое имя на веки вечные из славных дружин ВВС. Понятно?

* * *

Условия были приняты. Василий Иосифович Сталин четким, трезвым, то есть почти непьяным, шагом прошел через банкетный зал.

– Приеду через час, – сказал он своей компании. – Вместе с Борькой, – добавил он, бросив взгляд на перепуганное Майкино синеглазие.

Жена Василия Иосифовича, пловчиха, в обтягивающем ее дельфинье тело шелковом платье, бросилась вслед за ним:

– Вася, я с тобой!

Он сначала было оттолкнул этот порыв верности, но потом, хохотнув, подхватил супружницу под руку. Два телохранителя из команды самбистов уже двигались вслед за ними.

– Кто же такой этот Вася? – приложив ладони к щекам, спросила Майка.

– Сын Сталина, – ответил кто-то.

– Ёкалэмэнэ! – ахнула она.

В этом было нечто несоразмерное. Сыном Сталина является весь народ, гигантское море голов, но есть, оказывается, еще одна голова, стоящая отдельно, личный сын Сталина, плод его любовных утех. Да разве мог когда-нибудь Сталин заниматься этим? Майка Стрепетова отняла руки от своих ланит, которые полыхали. За столом все, или, во всяком случае, все мужчины, смотрели на нее. «Они так все смотрят на меня, – подумала она, – как будто я имею к ним какое-то самое прямое отношение. А ведь среди них есть самые настоящие старики, не моложе пятидесяти лет. Вот одна из странностей жизни: старухи пятидесяти лет не имеют к мальчикам моего возраста никакого отношения, в то время как старики пятидесяти лет почему-то имеют к восемнадцатилетним девочкам какое-то основательное отношение. Во всяком случае, они так смотрят на нас, как будто приглашают куда-то. Экое старичье! Во всяком случае, вот эти все так смотрят на меня, как будто поиграть хотят. И даже как бы уверены, что и я не против».

Один из этих стариков, основательный дядька с оттопыренными ушами, выпяченными губами, набухшим выдвинутым носом и крошечными, похожими на капельки подсолнечного масла глазками, подсел к ней:

– А мы ведь с вами так еще и не познакомились, красавица.

– Майя, – пробормотала она.

– Миша, – представился старик и добавил: – Академик. Генерал.

Затем он осторожно, ну, скажем, как какую-нибудь рыбу, поднял за локоть и за кисть ее руку.

– Послушайте, пойдете танцевать, Майя!

Они танцевали под медленную сладкую музыку из кукольного спектакля «Под шорох твоих ресниц». При поворотах старик сильно прижимал к себе полыхающую тремя цветами спектра девочку. У него был круглый, но очень твердый живот и еще некий каменный сгусток ниже. Слегка заплетающимся, экающим и мекающим, языком он рассказывал, какая у него шикарная дача в Ялте, куда хочется иногда, девочка моя, э-э-э,

м-э-э, убежать. Майка вдруг оттолкнулась от футбольного пуза и выскользнула из-под жадной руки.

– А пошел ты! – каким-то скандальным голосом, будто Алла Олеговна на кухне, закричала она. – Где мой Борька?! Куда моего Борьку упрятали? – Работая локтями и плечами и даже иногда бодаясь, девчонка пробивалась через танцующую толпу.

Сын вождя направился прямо на так называемую ближнюю дачу своего отца, что располагалась по дороге на Кунцево, в Матвеевской. Он сам вел открытый «бьюик». Женщина-дельфин любовно раскинулась рядом. На заднем сиденье располагались адъютант и два самбиста. Машина, не обращая внимания на светофоры, неслась по осевой. Регулировщики вытягивались по стойке «смирно»: сын едет! Не прошло и десяти минут, как «бьюик» подъехал к воротам, за которыми невидимая охрана немедленно взяла под прицел всех присутствующих.

Пока летели со свистом по ночной Москве, сын вождя совсем отрезвел. На мгновение в просвистанной башке мелькнула мысль: «Зачем я это делаю? Отец может прийти в ярость». Мысль эта, однако, как влетела, так и вылетела. Ходу! Он оставил машину с пассажирами на площадке у ворот и направился к даче. «Вася, причешись!» – сказала вслед жена. Между прочим, она права. Причесаться необходимо. Охрана его сразу узнала. Дверь рядом с воротами открылась, и он прошел на территорию. Сразу же увидел, что в огромном кабинете отца горит свет. Не только настольная лампа, но все люстры. Так бывает, когда собирается узкий круг Политбюро: Берия, Молотов, Каганович, Маленков, Хрущев, Ворошилов, Микоян. Ну и вляпался: иду стучать на Берию, а четырехглазый сам у отца сидит. Власик и Поскребышев подбежали еще на крыльце:

– Василий Иосифович, что случилось?

– Мне нужно повидать отца, – сказал он, интонацией не давая никаких шансов на отказ.

– Да ведь у нас же заседание Политбюро, Василий Иосифович!

Он отстранил нажратое на семге и икре пузо генерала:

– Ничего, я на минутку!

Проходя по комнатам все ближе к кабинету, он увидел отражающийся в зеркале ряд стульев, на них сидел ожидающий вызова чиновный народ, в том числе Деканозов, Кобулов и Игнатьев – бериевская хевра, «динамовцы». Поскребышев забежал вперед и встал в дверях кабинета:

– Да ведь нельзя же прерывать, Василий Иосифович!

Сын вождя нахмурился, произнес с отцовской интонацией:

– Перестаньте дурака валять, товарищ Поскребышев!

Верный страж в ужасе качнулся под волной перегара.

В кабинете между тем обсуждался довольно важный вопрос – о поголовном переселении евреев в дальневосточную автономную республику со столицей в Биробиджане. В частности, обсуждались проблемы транспортировки. Лазарю Моисеевичу Кагановичу как ответственному за пути сообщения – недаром ведь в свое время народ назвал его «железным наркомом» – был задан вопрос: достаточно ли будет накоплено к определенному сроку подвижного состава, речь ведь все-таки идет о почти одномоментной переброске двух миллионов душ. Лазарь Моисеевич заверил Политбюро, что к определенному сроку будет высвобождено достаточное количество вагонов и паровозов.

– Ну, а дальше? – прищурился на него Сталин. – Какие перспективы развития этого края тебе представляются, Лазарь?

Он посасывал пустую трубку: проклятые врачи все-таки настаивают на прекращении курения. Массивная физиономия Кагановича мелко задрожала, как будто он сидел не у старого друга на даче, а в купе поезда на полном ходу.

– Я думаю, Иосиф, что трудовые силы еврейского народа сделают все, чтобы превратить свою автономную республику в цветущий советский край.

Сталин хмыкнул:

– А что, если они тебя там выберут своим еврейским президентом?

Все вожди хохотнули, в том числе и Молотов, которому лучше бы помолчать: у всех ведь на памяти, как его евреечка Полина крутила шашни с Голдой Меир и с разоблаченными сейчас членами Антифашистского комитета, как она по указке «Джойнта» ратовала за то, чтобы в Крыму был создан новый Израиль. Каганович дернулся вперед, как будто его вагон внезапно остановился.

– Ты что, Лазарь, уже шуток не понимаешь? – упрекнул его Сталин и повернулся к Берии: – А как, Лаврентий Павлович, по вашему мнению, воспримут эту акцию наши друзья в капиталистическом мире?

Зампредсовмина и куратор органов безопасности был, очевидно, готов к такому вопросу, ответил бодро и шибко:

– Уверен, товарищ Сталин, что подлинные друзья Советского Союза правильно поймут действия советского правительства. В свете приближающегося раскрытия зловещей группы заговорщиков эта акция будет воспринята как меры по защите трудовых слоев еврейского народа от вполне объяснимого гнева советских людей. Таким образом, эта акция будет еще одним подтверждением незыблемой интернационалистской

позиции нашей партии.

Хорошо, подумал Сталин, очень хорошо размышляет мингрел.

– Ну а какие меры вы примете для разъяснения подлинной сути этой интернационалистской акции?

Берия и к этому вопросу оказался готов.

– Мы сейчас прорабатываем целую серию мероприятий, товарищ Сталин. Есть мнение начать с коллективного письма выдающихся советских деятелей еврейской национальности, которые одобрят...

В этот как раз момент в кабинет в буквальном смысле на полусогнутых вошел Поскребышев. Всем своим телом выражая благоговение ко всем присутствующим, он прошел к Хозяину и стал ему что-то нашептывать на ухо. Напрягшись до предела своих немалых возможностей, Берия смог уловить только «...крайне срочно... на несколько минут...». Он почувствовал почти непреодолимую потребность выйти из кабинета и выяснить, кто или что осмеливается прерывать историческую сессию, однако все-таки сумел обуздать эту потребность, и правильно сделал, потому что Сам вдруг встал и вместе с Поскребышевым вышел из кабинета. Даже не извинился, подумал Берия, даже не посмотрел на ведущих деятелей государства. Какая бесцеремонность! Какой все-таки недостаток воспитания у этого картлийца!

Сталин вышел в столовую и увидел стоявшего у окна Василия. В последнее время стали поступать сигналы – безусловно, идущие через Берию или с ведома Берии – о непомерном пьянстве сына. Якобы частенько голову теряет, дерется, шляется в непотребном виде. Сейчас Сталин с удовольствием увидел, что слухи, очевидно, преувеличены. Василий был трезв и строг, застегнут на все пуговицы, волосы гладко причесаны; в общем и целом, неплохой парень. Он любил сына – не того, а этого, то есть того, который не тот, а другой, вот именно этот – и нередко жалел, что марксистское мировоззрение мешает ему передать власть по наследству.

– Ну, что у тебя стряслось? – довольно добродушно спросил он.

В последнее время под давлением проклятых врачей, среди которых, к счастью, становилось все меньше евреев, он бросил курить и увеличил прогулки. В результате стало меньше раздражительности, четче обрисовывается историческая перспектива.

– Отец, я знаю, что тебе сигналият про меня, – сказал Василий, – а между тем я вот сегодня сам пришел к тебе с важным сигналом о нездоровой обстановке...

Через десять минут Сталин вернулся в кабинет. Вожди за время его отсутствия не сказали друг другу ни одного слова: в оцепенении ждали, чья

откроется шкафа. Он сел на свое место, минуту или две копался в бумагах... будто стайка пойманных птиц трепетали в тишине сердчишки вождей... потом вдруг отодвинул все бумаги, вперился страшным взглядом в залоснившуюся физиономию Лаврентия, свирепо заговорил по-грузински:

– Чучхиани прочи, что ты творишь, подонок?! Работаем над историческими решениями, от которых счастье человеческое зависит, а ты, дзыхнера, не можешь свой, хлэ, грязный шланг завязать, гамохлэбуло! А ну, сними очки, нечего на меня стеклами блеснуть! Немедленно отпусти эту девчонку и оставь всех этих Градовых в покое, дзыхнериани чатлахи!

Из всех присутствующих только Микоян немного понимал что к чему. Он обменялся взглядами с Хрущевым и прикрыл глаза: дескать, объясню потом. Нам всем надо было грузинский учить, подумал Никита. Эх, лень российская...

* * *

Обратно летели по той же осевой, на виражах дико раскрывались московские панорамы. Васька скалился, гордился собой: недавний разговор с отцом был почище любого испытательного полета. Пловчиха нежно шептала в джугашвилиевское ухо:

– Какой ты смелый, как ты ценишь дружбу!

Он захохотал:

– При чем тут дружба? Кого я вместо Борьки Градова выставлю на осенний кросс?

На второй день после только что описанных событий в своем кабинете на площади Дзержинского был найден генерал-майор Нугзар Сергеевич Ламадзе. Простреленной головою он лежал на письменном столе. Вся правая половина обширного зеленого сукна была залита кровью; посреди стоял стаканчик с великолепно отточенными карандашами. На левой, чистой стороне зеленого сукна притиснутая тяжелым мраморным пресс-папье лежала записка с тремя словами: «Больше не могу». Пистолет, из которого предположительно был произведен фатальный выстрел, со странной аккуратностью лежал в мертвой ладони, что, конечно, могло навести на мысль, что он был в ладонь эту вложен постфактум. Экспертиза, впрочем, не проводилась. Случай был хоть и нетипичный, но нередкий на площади Дзержинского.

Антракт V. Пресса

ОЛИМПИЙСКАЯ ХРОНИКА

«Тайм», 18 февраля 1952 г.

На прошлой неделе президент Олимпийского комитета Эвери Брэндидж согласился с олимпийскими лидерами других стран – лучше сказать, они согласились с ним – в том, что советские спортсмены должны быть допущены к соревнованиям в Хельсинки. «Для ребят будет неплохо выбраться из-за „железного занавеса“, – сказал он. – Иногда при таких обстоятельствах они не возвращаются домой...»

«Тайм», 28 июля 1952 г.

Президент Финляндии Паасикиви объявил открытыми XV Олимпийские игры нашей эры. Знаменитый финский атлет Пааво Нурми зажег олимпийский огонь. Русские участвуют в соревнованиях впервые после Олимпийских игр 1912 года в Стокгольме.

Двукратный чемпион Олимпиады, капитан чехословацкой армии Эмиль Затопек, бежит свою дистанцию с искаженным лицом и руками, вцепившимися в живот, как будто пытаясь побороть извержение кислых яблок...

Американские и русские яхты пришвартованы в яхт-клубе Ниландсак. Вчера две команды встретились на пирсе. Русские уставились на американцев, те на них. Разошлись в полном молчании...

Русские официальные лица презрели олимпийскую деревню. Они расквартировали своих спортсменов и спортсменов стран-сателлитов в 12 милях от их западных соперников, неподалеку от своей военно-морской базы в Поркала...

«Лайф»

На удивление всем, русские спортсмены вдруг начали демонстрировать дружелюбие и веселый нрав: смеются, дурачатся, объясняются на пальцах. Один советский пловец так сказал об этих странностях: «Мы здесь с миссией мира».

«Советский спорт»

XV Олимпийские игры. Триумф советских гимнастов. Абсолютный чемпион Олимпиады В.Чукарин сказал: «Победа наших гимнастов убедительно доказала превосходство советской школы. Советский стиль, строгий и четкий, с тщательно отработанными элементами, оказался наиболее прогрессивным».

Руководитель советской делегации Н.Романов рассказал о массовости советского спорта, о его основной цели – укреплении здоровья трудящихся, об исключительной заботе партии и правительства.

Три алых флага Страны Советов одновременно поднимаются на мачтах в честь знаменательной победы трех советских спортсменов. Нина Ромашкова, Елизавета Багрянина и Нина Думбадзе стали сильнейшими в метании диска. Одержанные победы радуют и наполняют гордостью сердца советских людей.

«Лайф»

По сравнению с советской мускульной машиной нацистские усилия по подготовке спортсменов при Гитлере были лишь мягкими каплями дождя в сравнении с ревом Волги...

Похожая на танк Тамара Тышкевич толкает ядро. Вместе с дискоболкой Ниной Думбадзе могучие женщины составляют главную олимпийскую надежду Советского Союза...

Встреча спортсменов на территории советского лагеря. Братание проходит со сравнительной элегантностью под бдительным наблюдением официальных представителей и под портретами Сталина...

Одному американцу, обменявшемуся значками со своим русским соперником, советский чиновник сказал: «Тебя посадят на электрический стул, если ты с этим значком пройдешь по Бродвею».

«Нью-Йорк таймс»

Русские внезапно становятся дружелюбными. Их лагерь открывает ворота для гостей. Очевидно официальное изменение политики...

Гребец Клиффорд Гоэс говорит: «Мы у них были вчера. Я думал, мне

тут уши отгрызут, а вместо этого все было просто здорово, отличная компания».

Русские подкузьмили американского прыгуна в воду майора Сэмми Ли. Ему подарили значок с «голубем мира» Пабло Пикассо и тут же сфотографировали его с этим значком. Бросовый значочек с голубком нынче стал таким же коммунистическим символом, как серп и молот. Когда кореец по происхождению Сэмми Ли понял, что происходит, он сказал советскому корреспонденту: «Э-э, браток, что ты делаешь, я ведь тоже в армии служу».

«Правда»

ВЫДАЮЩИЙСЯ УСПЕХ СОВЕТСКИХ СПОРТСМЕНОВ Всеобщее восхищение в мире вызывают мастерство советских спортсменов, их моральные и волевые качества, дисциплинированность, дружеское отношение к соперникам.

«Советский спорт»

Демонстрируя высокие достижения, советская команда добивается общего первенства. По мнению западных журналистов, американской команде уже не удастся догнать советскую.

«Нью-Йорк таймс»

Олимпийский дух одержал хоть и небольшую, но победу, показав, что «холодная война» может уступить дорогу дружелюбию, если мистер Сталин и другие узколобые жестяные божки в Москве разрешат проявления человеческой натуры.

Русские пригласили американцев на ужин в свой лагерь. Подготовка была тщательная: специально привезенные шеф-повара, официанты в униформе, огромное количество великолепной еды. Портреты Сталина и членов Политбюро свисали со стен большого обеденного зала. Бокалы наполнялись крепким коньяком и водкой. «Джи, – воскликнул пловец Стивенс, – я никогда такого и не пробовал! Потенцирующая штука!» – «Ну, а бифштекс?! – сказал впечатленный бегун Филдс. – Какова говядина!» – «Жалко, что мы даже не можем пригласить их в наш кафетерий», – вздохнул гребец Симмонс.

«Советский спорт»

Во втором среднем весе золотую медаль получил негр С.Паттерсон

(США). В полутяжелом весе победителем стал негр Н.Ли (США). В тяжелом весе олимпийским чемпионом стал негр Ч.Сандерс (США).

Руководитель советской делегации Н.Романов подчеркнул многочисленные факты необъективного судейства, особенно в последние дни соревнований. Судьи незаслуженно присуждали победу некоторым американским спортсменам.

Никакая ложь продажной буржуазной прессы не помогла идеологам поджигателей войны скрыть правду о советских людях, о миролюбии советского народа, о желании всех честных спортсменов мира стойко бороться за мир во всем мире.

«Нью-Йорк таймс»

Главным событием только что закончившихся в Хельсинки XV Олимпийских игр оказалось участие в них огромной советской команды. Несмотря на оторванность от мира современного спорта, русским удалось занять общее второе место, ненамного отстав от американской команды.

«Правда»

Выдающаяся победа советской команды закономерна. Это естественный итог огромного внимания и заботы партии о физическом воспитании советского народа. Олимпийская победа стала еще одной победой нашего советского строя.

Антракт VI. Соловьиная ночь

К середине лета жаба доплюхала с улицы Качалова до Царицынских прудов. Передвигалась она в основном по ночам, чтобы не быть раздавленной уличным движением. Чем-чем, а инстинктом самосохранения была наделена недюжинным. Иной раз проскальзывали картинки несуществующих воспоминаний: чистейший снег вокруг желтого ампира, прочищенная спецдворником аллея – физкультурные упражнения необходимы для поддержания тонуса упитанного отца даже осажденного, подышающего города. По ночам улицы Москвы казались ей испаряющейся поверхностью чего-то ноздреватого. К утру она пристраивалась за какой-нибудь противопожарной бочкой под подошвами кем-то забытых сапог или в свалке металлолома и открывала ротовое отверстие. Приглашением, разумеется, тут же начинало пользоваться московское, довольно жирное, комарье. Накушавшееся за ночь чего-то из жильцов комарье само становилось кушаньем жабы. Однажды перед ней открылась перспектива больших достижений: нарастающие зубцы диаграмм, крупные маховики, колеса различных диаметров, уступы сверкающих зданий со шпильями, металлические и фанерные фигуры – все несъедобное, неживое, то есть в том смысле, что небелковое, но тревожащее какой-то другой, прошлой сутью. Среди предметов перспективы то там то сям мелькали лица величиной с дом, макушками вровень со шпильями. К ним жабе хотелось обратить большой и существенный упрек: зачем вы меня так, зачем так насильственно, не по-товарищески? Ведь я ничего не хотел, кроме идеологической чистоты. Быть может, и сами когда-нибудь прошлепаете, прожужжите по Москве в жабьем ли, в комарином ли виде, быть может, поймете хоть что-нибудь из рептильных, илистых истин. Я мог бы остаться с вашими лицами, думала жаба, но меня тянет к соловьям. Нетрудно понять, почему ее тянуло к соловьям, если ознакомиться с партийными документами послевоенного периода.

Итак, она продолжала свой путь, влекомая через весь огромный город, через испарения булочных, столовок, моргов, живодерен, автобаз и красилен, запахом гнили Царицынских прудов.

Однажды ночью в развалинах чего-то старинного жаба встретилась с крысиндой. Последняя лет пятьдесят уже дремала в глубинах этих развалин, слегка питаясь плесенью, то есть почти чистым пенициллином, и уплывая в дремах иной раз очень далеко от этих развалин, в некие блеклые

пространства над северным немецким морем, над которым когда-то в подтверждение материалистической модели мира был развеян прах, почему-то имеющий к этой добродушной крысинде самое прямое отношение. Потревоженная работающим в ночную смену бульдозером, крысинда вылезла из своей дремотной щели и вдруг увидела сразу три плана бытия: отдаленное созвездие, не очень далекую, перегруженную цветением ветку сирени с высывающейся из этой кипени головкой птицы и близкую жабу, буровато-пеговатое существо с прозрачными укоризненными глазами. Какая странная форма существования белковых тел, промелькнуло впервые за 51 год в голове у крысинды, никогда не думала, что такие вещи могут соединиться в столь волшебную комбинацию. Почему-то и созвездие показалось ей в этот момент воплощением белковой молекулы. Бульдозер затих, и тут послышалось сильное, настойчивое, абсолютно уверенное в своем праве на самовыражение пение соловья. Жаба поняла тогда, что она достигла своей цели и что развалины располагаются на берегу большого, водяного, илистого, заросшего по краям осокой, подернутого ряской, немного загрязненного городом, но все еще очаровательного пространства. Попрощавшись с крысиндой, то есть подышав в ее сторону раздувающимися и опадающими боками и грудью, авось еще увидимся среди этой фантазмагии, она поплухала вниз по осколкам двухсотлетнего кирпича, упала в первый же маленький, отражающий многозначительную комбинацию звезд заливчик, тут же непроизвольно нажралась ряски вкупе с личинками все того же комарья и приготовилась внимать.

Собственно говоря, никакой подготовки не требовалось. Сильное, уверенное и филигранное пение не прекращалось ни на минуту вне всякой зависимости от перемещений жабы. Жабе, однако, казалось, что именно к ней обращено это пение, что она наконец достигла цели своего существования. Не в упреке же товарищам по Политбюро она состояла, в самом деле, а в покаянии соловьям. Вот они заливаются, думалось ему теперь, вот и ее слышится царскосельский голос, исполненный вечной страсти и жажды пения, вот и его руладится пересмешничество рядом, а вместе – какое гармоние! Простите мне, соловьи, все вольные и невольные оскорбления. Отчасти ведь почти искренне думал я тогда: почему же не вместе со всеми поют? Нелегко было сразу понять, что все-то не поют, а режут. Вот и обмишулился, хоть и полагал себя довольно образованным... кем? чем?.. ну то есть, членом, конечно. Когда-то вот, откинув фалды, изумляя всех иных членов промелькнувшими округлостями, присаживался

к чему-то черному и белозубому, мельканием десяти отростков извлекал из данного некоторые «Картинки с выставки». Полагал себя среди гадов первым, чтобы судить соловьев. Гады воздали должное полным стаканом яду. Жалоб в принципе нет: не воздали бы должное, все еще сидел бы в секретариате, оскорбляя соловьев, а теперь вот лежу в темной и сытной воде, рядом с колеблющимся отражением звезды, гляжу на ряд колышущихся вдоль развалин стены сиреневых кустов, вот они, понимаете ли, товарищи, ожившие «Картинки с выставки», внимаю переливам соловьев, всем холоднокровным, но все-таки не снабженным подлостью телом прошу у них прощения за нечто прежнее, округлое, отрыгивающее, постоянно выпиравшее из штанов.

Жаба, между прочим, ошибалась, адресуясь в соловьиной ночи Царицынских прудов к тем двум, что шесть лет назад попали под партийные сапоги. Во-первых, те двое пребывали еще в своем прежнем облики и пели не глотками, а скрипучими пушкинскими перьями. Ну, а во-вторых, к тому, что пел в ту ночь над отраженным небом и над развалинами замка, наша жаба не имела никакого отношения или, если учесть, что нет в этом мироздании ничего, что не имело бы ко всему прочему какого-либо отношения, весьма отдаленное, весьма-весьма, почти совсем уже космическое, едва ли не внегалактическое отношение. Впрочем, тот, кто пел в ту ночь соловьиной глоткой, а именно бывший хозяин этих мест поэт Антиох Кантемир, смотрел из сирени на жабу и думал: «Слушай меня, ты, жаба, слушай!»

Глава двенадцатая

Итээровский костер

В комнате Кирилла и Цецилии было три окна, чем они очень гордились. Три полноценных окна с прочными рамами плюс великолепная форточка. Одно из этих светилищ смотрело на полноценную советскую Советскую улицу с трансформаторной будкой, другое, торцовое, взирало на сопку, что плоской и ровной своей вершиной запирала западные склоны магаданского неба, напоминая «железный занавес», и, наконец, третье светилище охватывало огромную южную перспективу, пространство неба, пологий подъем с некоторой коростой крыш, за которыми не видно было, но угадывалось море, то есть бухта Нагаево. «У вас тут иногда возникает ощущение юга, едва ли не Италии», – улыбался инженер Девеккио, отсидевший на Колыме десятку по коминтерновской линии. «Хороша Италия! – усмехалась парижанка Татьяна Ивановна Плотникова, сотрудница городской прачечной и бывший лингвист Института восточных языков Сорбонны. – Иногда тут так воет в этих трех окнах, что кажется, будто все ведьмы Колымы беснуются. Три таких больших стеклянных окна слишком жирно для нашего колымского брата».

Медбрат Стасис блаженствовал, вырисовывая свои могучие плечи на фоне «морского» градовского окна. «Каждое окно – это икона, – говорил он. – Если вы не имеете иконы, но имеете три окна, значит, вы имеете три иконы». Освободившись из лагеря, медбрат Стасис работал теперь фельдшером в Сеймчане и в Магадане бывал наездами, каждый раз привозя с собой ощущение устойчивости, благоразумия, здравого смысла, как будто там, в Сейчане, была не лагерная, шакалья земля, а какая-то Швейцария.

«Ну что это за глупости, Стасис Альгердасович, – обычно реагировала на подобные высказывания Цецилия. – Источники света не имеют никакого отношения к вашим иконам». Обычно она делала вид, что не принимает участия в беседах бывших зеков, сидела в своем «кабинете», то есть за шторкой возле супружеской кровати, готовилась к лекциям, погрузившись в свои первоисточники, однако не выдерживала, то и дело подавала реплики, которые, по ее мнению, сразу все ставили на свое место.

Вот и сегодня, в погожий январский вечер, а такие, как это ни покажется странным, выпадали даже среди шабаша зимних ведьм, итак, в погожий январский вечер 1953 года у Кирилла Борисовича Градова,

истопника горбольницы, собралась компания: автомеханик Луиджи Карлович Девеккио, прачка Татьяна Ивановна Плотникова, фельдшер Стасис Альгердасович, чьей фамилии никто никогда правильно не мог выговорить, а звучала она между тем совсем просто: Грундзискаускас. Заглянул на огонек также и сторож авторемонтного завода Степан Степанович Калистратов, который в свободное от вахты время прогуливался по улицам Магадана, будто член лондонского артистического кружка Блумсбери. Разговор шел на весьма уютную тему кремации. Вольно раскинувшись на так называемом диване, то есть на шаткой кушетке с подушками, Калистратов весело говорил, что кремация, по его мнению, это лучший способ отправки брэнной плоти в круговорот веществ.

– Меня еще в юности увлекала поэтическая сторона кремации. – Он отхлебывал чаю, полной ложкой зачерпывал засахаренной брусники: фармакологические эксперименты отнюдь не уменьшили у него вкуса к сладкому. – Никогда не забуду впечатления от истории сожжения тела Перси Шелли. Он утонул, Луиджи Карлович, в вашей благословенной Италии, точнее, в заливе Леричи, то есть, собственно говоря, в лирической воде, не так ли? И извлеченное «из лирики» тело предано было сожжению там же, на берегу, в присутствии группы друзей, включая и Байрона. Как это великолепно: все жаворонки мира, как писала Анна, раскалывают небо, море и холмы Италии вокруг, лорд Джордж с факелом в руке, возгонка в небеса почти всего телесного состава, и серебристая кучка пепла вместо отвратного гниения, превращения в кучу костей... Нет-нет, товарищи, кремация – это великолепно!

Кирилл задумчиво возражал:

– Ты, может быть, и прав как поэт, Степан, – с поэтом не поспоришь! – однако я не уверен, что мы можем принять кремацию с точки зрения христианской религии. Телам ведь предстоит воскресать не в переносном, а в буквальном смысле. Правильно, Стасис?

– Истинно, – улыбался медбрат.

– Послушай, Кирилл! – восклицал тут Степан. – Неужели ты думаешь, что для чуда воскресения необходима куча костей?

Тут, естественно, все начинали говорить разом. Татьяна Ивановна «прорвалась», сказала, что еще в Париже она читала «Философию общего дела» Федорова, и если говорить о научном «воскрешении отцов», то тогда останки, возможно, и понадобятся.

– Это научное воскрешение, если оно и возможно, не может быть не чем иным, как именно великим божественным чудом, – сказал Кирилл. – В этом смысле Степан, может быть, и прав, говоря, что наличие останков в

могиле вряд ли ускорит процесс воскрешения и что рассеянный в мироздании пепел или даже какие-то еще неведомые нам первичные элементы человеческих сущностей, ну... вы понимаете, что я хочу сказать...

Стасис Альгердасович тут постучал ложечкой о чашечку:

– Я все-таки имею буквальный взгляд на постулаты веры, а вы, Луиджи Карлович?

Итальянец, или, как он часто поправлял, венецианец, хлопнул в ладоши и сильно потер руки, как будто и в лагере никогда не сидел:

– Эх, гони кота на мыло, я люблю, етит меня по шву, все проявления утопии!

Камарадо Девеккио обогатился на Колыме не меньше чем тысячей пролетарских междометий. Тут из-за занавески выскочила Цецилия с «Анти-Дюрингом» в левой руке и с грозно потрясаемыми очками в правой:

– О чем вы тут говорите, несчастные?! Кремация, воскрешение! Что за вздор вы несете?! Нет, не зря, не зря...

Она не успела договорить, когда страшный взрыв едва не оторвал всех прибежище, то есть шестнадцатиквартирный дом, от земли. Небо в «морском» окне мгновенно озарилось ослепляющей латуной. Они не успели еще посмотреть друг на друга и на осколки посуды, когда грянул второй, еще более страшный, по всей вероятности, еще более неожиданный, чем первый, потому что, очевидно, после первого неожиданного, раздирающего невинные небеса, второй кажется еще более неожиданным, совершенно ошеломляющим, взрыв. Третьего уже ждешь.

– На колени! – крикнул медбрат Стасис и сам рухнул среди осколков посуды на колени, поднял лицо и ладони к дикому свечению окна. И все участники мирной беседы упали на колени в ожидании третьего, может быть уже окончательного, апокалиптического. Даже и Цилечка оказалась на коленях со своим «Анти-Дюрингом».

Третьего, однако, не последовало. Через пару минут за близким горизонтом, то есть над бухтой Нагаево, стали вздыматься гигантские, сначала белые, бурлящие, грибообразные, а потом стремительно багровеющие облака. Дом огласился криками жильцов, по улице в сторону порта промчались машины.

– Неужели война? – промолвил Кирилл. – Атомная бомба?

Все начали смущенно вставать с колен. Атомная война казалась уже хоть и страшным, но вполне нормальным, едва ли не бытовым явлением по сравнению с тем, что вдруг их всех так стремительно озарило.

– Чепуха, будут они атомную бомбу тратить на говенный порт Нагаево, – сказал Степан.

Кирилл включил радио. «Голос Америки» передавал джазовую программу. Вскоре выяснилось, что в порту просто-напросто взорвались котлы на каком-то большом танкере. Вместе с танкером взлетели на воздух еще два стоявших рядом судна и много построек на берегу. Повсюду полыхают пожары, масса убитых и покалеченных, однако до Судного дня еще далеко, то есть в том смысле, что не далеко и не близко, ибо сказал Спаситель: «...как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого... О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один...» Так прочитано было Кириллом в подпольном лагерном Евангелии, что привез медбрат Стасис.

* * *

За час до этих взрывов на противоположном конце магаданского поселения, на Карантинке, царила мертвящая сука-скука. Фома-Ростовчанин, он же Запруднев, он же Шаповалов Георгий Михайлович, он же носитель полсотни имен, не исключая и изначального, кровного имечка, то есть Мити Сапунова, врубелевским демоном сидел на ящиках во дворе инструменталки и смотрел за зону, то есть на бесконечные каменные волны Колымы. Такого давно уже с ним не было – оказаться запертым в зоне без малейшей надежды в ближайшем будущем на свободный проход. Не надо было возвращаться на Карантинку месяц назад из Сусумана. Вместо этого, может быть, следовало опять сквозануть на материк и, может быть, даже с концами. Если уж и здесь, на Карантинке, «чистяги» дали себя согнать в стадо под командой «сук», то хули тут еще делать: все рушится. В мрачайшем настроении взирал Ростовчанин на ближний распадок, где балдохо, то есть солнце, висело в дымке низко над горой, будто зрачок вертухая.

Как раз чуть больше месяца назад режим начал на Карантинке кампанию оздоровления. Самое страшное, что инициатива исходила не от вохровца, а от затруханного лепилы, капитана медицинской службы Стерлядьева. Сначала этот морж с усами в три волоса призывал на партсобраниях к борьбе с коррупцией. Агентура доносила в «По уходу за территорией», что капитан кричит на партсобраниях, как истеричка, дескать, все куплены и запуганы, дескать, хозяином в УСВИТЛе стал Полтора-Ивана, дескать, нельзя позорить благородные цели исправительно-трудовой службы СССР! Сержантишка Журьев, дрожа, как профурсет,

докладывал Ростовчанину, что Стерлядьев совсем поехал. Озверел товарищ врач. Чуть ли уже не имена называет тех, кто куплены и запуганы. От него баба ушла, вот в чем дело. Ушла к бывшему зеку, артисту оперетты, и забрюхателя от него большим ребенком. Вот таким образом, значит, капитан неприятности в личной жизни вымещает на всем личном составе. Требуя инспекции, рапорты строчит. Ростовчанин сразу понял, что дело серьезное. Однажды подождал Стерлядьева в проходе за медсанчастью. Крикнул вслед моржовой фигуре на тонких, будто не своих, ножках: «Капитан Стерлядьев!» Доктор весь передернулся, заскользил по зассанному льду в своих сапожках, рукой за кобуру хватается: «Кто тут?! Кто зовет?! В чем дело?» Ростовчанин с чувством юмора пробасил из темноты: «Все в порядке, капитан. Проверка слуха». От растерянности Стерлядьев, видимо, никак не мог понять, откуда идет голос. Ростовчанин тогда спросил его почти в упор: «Тебе что, Стерлядьев, больше всех надо? Спокойно жить не хочешь? Жмурика сыграть хочешь?» И тут же растворился, слился с джунглями Карантинки, со всеми этими сотнями тварей с заточенными рашпилями в штанах.

Предупреждение не подействовало. В один прекрасный день и впрямь приехала комиссия. Отсортировали по баракам сразу почти треть контингента, потом притормозили по причине банкета с собственным офицерским мордобоем и блевотиной. Через три дня опохмелки сортировка возобновилась, хоть и не такими штурмовыми темпами, но упорно и настойчиво. Лучшие люди, «чистяги», отправлялись с этапами на прииски, а самое главное, в одночасье была распущена «По уходу за территорией». Костяк группы все ж таки удалось сохранить, в частности, сам Фомка-Ростовчанин зацепился на должности табельщика в инструменталке, однако было ясно, что организация доживает последние дни: в любой момент можно было ждать общелагерной облавы и разоблачения. Новый начальник по режиму майор Глазурин, подражая всем большевистским мусорам, ходил по лагерю перетянутый ремнями в сопровождении трех автоматчиков. Рядом с ним нередко чимчииковал и тот, кому «больше всех надо», капитан медслужбы МВД Стерлядьев. У последнего вроде бы что-то наподобие базедки наметилось: потемнение кожи, дрожь конечностей, выпуклость глазных яблок. После ухода жены капитан начал часто пить по-черному, в одиночку, закусывая лишь пятерней в недельной свежести щак. Зброшены были книги, как медицинские, так и художественные. Прежде капитан был известен как знаток текущего литературного процесса, теперь он прямо с порога швырял все эти «Новые миры» в угол комнаты, где они и накапливались в нелепейших позах. О

приближении к Дому культуры, где когда-то так мило, в интеллигентных одеждах, прогуливались по фойе с Евдокией, не могло быть и речи, ибо именно в этом капище греха благоверная и познакомилась с троцкистом-опереточником, который блял арию Стэнли из «Одиннадцати неизвестных»: «По утрам все кричат об этом: и экран, радио, газеты. Популярность, право, неплоха!»

Одна лишь оставалась у капитана Стерлядьева потеха: онанизм. Всю стенку слева от кровати покрыл откровениями, а иной раз в фантазиях достигал и потолка. Начиная же запой, после первого стакана Стерлядьев писал письма И.В.Сталину: «Родной Иосиф Виссарионович! Под Вашим гениальным руководством советский народ во время Великой Отечественной войны преподавал хороший урок прислужнику мирового империализма Адольфу (иногда получалось Альберту) Гитлеру. Однако Германия дала нам не только Гитлера. Она дала нам также Карла Маркса, Энгельса, Ленина, Вильгельма Пика. Она накопила также хороший и плодотворный опыт в деле оздоровления человечества. Как сотрудник МВД СССР и как представитель самой гуманной профессии, я считаю, что нам следует использовать наиболее позитивные черты германского опыта в деле сортировки контингента заключенных Управления северо-восточных исправительно-трудовых лагерей Дальстроя. Иначе, родной товарищ Сталин, нам предстоит в недалеком будущем встретиться с неумолимым законом диалектики, когда количество переходит в качество...»

Отправляя эти письма, он твердо знал, что когда-нибудь получит ответ. Кстати, и не ошибался: не будь бунта, его бы вскоре арестовали как автора провокационных посланий в адрес вождя. Пока что ходил по территории, сопровождая майора Глазурина, вращал выпуклыми желудевыми гляделками, отдавал приказания о санобработке целых бараков, то есть о потрошении всего барачного хозяйства и о сожжении тюфяков, в которых лагерные любители фехтования прятали самодельные хорошо отточенные пики. Зеки молча наблюдали за непонятной активностью мусоров. Всех, конечно, интересовало: чего же это Полтора-Ивана молчит?

Вот такие события предшествовали данному моменту в романе, в котором нам ничего не остается, как экспонировать вожака некогда могущественной «По уходу за территорией» в позе врубелевского демона в секретном местечке инструментального двора. «Не надо было возвращаться на Карантинку, – мрачно зевал Митя, – ничего меня здесь не держит». Думая так в этот вечерний час, он, кажется, прежде всего имел в виду отсутствие Маринки Шмидт С-Пяти-Углов. Маруха уже больше года назад ушла по этапу на Талый, где и родила в лагерном роддоме Митино

дитя, которое сейчас (неизвестно, девочка, или мальчик, или вообще какое-нибудь чудо таежное) пребывает в лагерных яслях, где и маруха умудрилась пристроиться санитаркой. Так и не добрался до нее Ростовчанин во время последнего блуждания по лагерям, а жаль: теперь уж вряд ли скоро доберешься. Хорошая была маруха, эта Маринка Шмидт. Введешь в нее и как будто снова себя человеком чувствуешь. Он научил ее звать его Мить-Мить, и она с тех пор иначе его и не называла, как будто догадывалась, что это не просто какое-то ебальное журчание, а его собственное имя. Увы, как говорили предки, одних уж нет, а те далече, а самое паршивое состоит в том, что никакую другую маруху теперь из женской зоны не вызовешь: по наводке стукачей майор Глазурин забил все ходы, а некоторые даже залил цементом. Со стукачами придется разбираться, Полтора-Ивана не может уже третью неделю отмалчиваться, и вот тогда все покатится к окончательной резне, которая в нынешних условиях превратится в последний бой «Варяга».

Последний раз, когда подрезали «сучат» в большом Сеймчанском лагере, Митя с группой товарищей попал под внутренний суд и получил еще один четвертак на имя Савича Андрея Платоновича, давно уже упокоившегося в вечной мерзлоте. И хоть все – и судьи, и подсудимые, и вохра – прекрасно знали, как мало значит для этого страшноватого красивого парня очередной четвертак на явно подставное имя, сам Митя в момент вынесения приговора почувствовал сильное, исподтишка, рукопожатие своей судьбы-тоски. Сколько уже набралось этих четвертаков на разные имена? Не меньше чем на пятьсот лет. Эй, не слишком ли много для одного крестьянина? Не слишком ли много всей этой жути для одного мальчика: сожжение Сапуновки, с голоду подыхание, а потом, после градовского санатория, опять все эти дела XX столетия – «юнгерсы», танки, огнеметы, плен, власовщина, партизанщина, все эти бесконечные подыхания и выживания, расстрелы и убийства, и Фомочка Запруднев с его одиннадцатью папиросками, и дальше уголовщина до упора, и... «привет из дальних лагерей от всех товарищей-друзей, целую крепко, крепко, твой Андрей»... и хоть ты и стал тут «королем говна и пара», а все-таки не слишком ли много? Вот уже тридцать второй год подходит, и значит, не выбраться никогда из блатной, атаманской шкуры. В ней и сдохнуть, благодаря судьбу за увлекательное путешествие? А может, по-мичурински попробовать, то есть не ждать милостей от природы, а взять их? Выбраться из Карантинки, увезти Маринку с родным выблядком, выехать на «материк» в виде счастливого семейства отработавших по контракту специалистов... Технически нетрудно: денег и ксив рассовано по разным

хавирам и на Колыме, и на «материке» вполне достаточно. Там, на необъятном, густонаселенном материке, с отличными эмвэдэшными документами, партбилетом и характеристиками устраиваемся на работу по административной линии. Если уж здесь весь УСВИТЛ держал в кулаке, с тамошними щипачами как-нибудь управлюсь. Главное – взбодриться, ощетиниться, поверить опять в свои недюжинные. Поселимся в Москве и в Серебряный Бор будем ездить к дедушке и бабушке чай пить, Шопена слушать. Маринку отучу матом ругаться и ценные вещи пиздить. Он вообразил себе вечер в Серебряном Бору, рояль, разгуливающего в кабинете с книгой под носом деда, и себя, вводящего в дом взрослую девушку в шелковом платье, неотразимую воровку с Пяти Углов. Устроившись в Москве, пишем письмо в Магадан, на Советскую улицу. Здравствуйте, дорогие приемные родители Цецилия Наумовна и Кирилл Борисович! Вы, возможно, думали, что меня уже давно волки сожрали, а я между тем жив и здоров, чего и вам вместе с моей молодой семьей от всей души желаю...

И никогда вас не забывал, дорогие дураки. И никогда вас не переставал любить, дорогие мои два дурака... Ну, этого-то, конечно, не напишу, тут споткнусь. А вообще-то лучше не в Москве, а на Северном Кавказе поселиться. Там больше жулья, вкус к длинным рублям, да и горы близко: если засветят, можно уйти с винтом и долго скрываться.

Бабушка Мэри, может быть, уже и не играет на рояле, ведь ей уже за семьдесят, а дедушка Борис, может быть, и не разгуливает так со своими томами, читая их на ходу, может быть, и вообще свалил уже туда, где к святым не надо ксив... Двенадцать лет ведь уже прошло с тех пор, как я ушел из того дома, подумал Митя и, подумав так, немедленно покатился со сверкающих горизонтов новой жизни вниз, в свою нынешнюю непролазную клоаку. Если уйду, не сделав того, ради чего сюда из Казахстана вся гопя пробиралась, мне не жить. Тогда пиздец придет всему этому Полтора-Ивану. Тогда меня наше шакалье и минуты не пожалеет, найдут повсюду, кишки выпустят и намотают на кулак. Размечтался, фраер! Нет у тебя никакого другого пути, кроме кровавого и подлого...

Тут кто-то рядом шумно вздохнул:

– Эх, Митя-Митя.

Вслед за шумным вздохом долетел потаенный, еле слышный голосок. Рядом на ящике сидел Вова Желябов, он же Гошка Круткин, известный в лагере, как ни странно, под той же старой, фронтовой кличкой Шибздо. Митя схватил его за загривок:

– Ты как меня тут нашел, падла?!

Гошка закрутил башкой, как бы наслаждаясь под Митиной рукой:

– Да случайно, случайно, Митяша, родной ты мой! Просто ходил, грустил и вдруг тебя увидел в грустях. У нас ведь с тобой сродство душ. – Запустив лапу в глубины своего многослойного тряпья, Гошка вдруг вытащил патентованный, толстого стекла флакон ректификата. – Давай, друг, захорошеем, как бывалоча-то, в Дебендорфе-то, а? В кинцо-то там, помнишь, ходили?

Он хохотнул и сделал свободной лапой дробильные движения, напомнив многое.

– Ты где ж такое добро достал? – подозрительно удивился Митя.

– А нас сегодня в город на малярные работы водили, – охотно пояснил Гошка. – Ну, ты ж меня знаешь. – Он подмигнул, как бы желая еще что-нибудь напомнить товарищу по оружию, может быть, вообще все, что когда-то вместе хлебали. – Ну, вот давай, дуй!

– Нет уж, ты первый дуй!

– Ха-ха, не бойсь, Митяй, не отравленная! – Он сделал большой глоток и весь содрогнулся. – Чистый огонь! Красота!

Митя последовал за ним. И впрямь, оказалось, красота, огонь, эхма, молодость в жидком виде. Прекрасно понимая фальшивость этой бодрости, он тем не менее взбадривался, глоток за глотком хорошел и даже к сидящему рядом стукачу и педриле преисполнялся хорошим. Даже обнял его за плечи, тряхнул:

– Эх, Шибздо ты мое шибздиновское!

Все-таки единственная ведь душа из всех тут присутствующих, что знала меня чистым мальчиком. Гошка в ответ вдруг лизнул его в губы, сильно и страстно. Сумерки собирались в тени сопки. Вдруг мощно и неудержимо замаячило.

Гошка Круткин взялся за рубильник не хуже Маринки Шмидт, совсем манеры дамские. Да ты что, охерел? Митя, Митя, мальчик мой родной, я ведь тебя не замочил, а ведь мог бы, да? Утомленное солнце нежно с морем прощалось. Небо, бля, такое, как будто убежал в Италию. Еще бы ты меня замочил, из тебя бы тут котлет нарезали. Эх, Митя-Митя, глупый мальчик мой любимый, ой-е-ей, какой дурачок! Отпусти елду, Шибздо, подавишься! Эх, Митенька, ты мой сладенький, да ведь я же тебя двенадцать лет люблю, год тринадцатый! Диалог превращается в монолог: ссученный Гошка, падла ты заразная, что ты знаешь о любви, кроме отсоса, зубы-то чистишь, паскуда окаянная?! Глоток за глотком огонь вливается, проходит во все, вплоть до капиллярных кровеносных сосудов, току в теле, как в будке с черепом, высокое напряжение, а снизу земля какая-то в тебя впилась, по

принципу сообщающихся сосудов, круговорот огня и сахара, в такие минуты он не догадывается, что снова предан, что политически раскрыт под страхом уранового этапа, что разработка началась и что скоро... штаны опадают, пьеса продолжается, ну, ладно уж, ну, залупи уж, я ведь чистая, что скоро по политической он пойдет, может, и на уран, вот хоть выпало счастье по-настоящему, по-человечески попрощаться, эх, очко игривое, а откуда, Шибздо, она у тебя такая нежная, а это для тебя, Ростов-папа, ох-ох-ой, она такая, как всегда, о тебе...

Вот в этот как раз момент два взрыва, один за другим, потрясли вечеряющий свод небес и уже потемневшую землю. Гошка и Митя отлетели друг от друга в полной уверенности, что это им наказание за грех «сообщающихся сосудов». Гром небесный еще несколько минут прогуливался по распадкам. Над горизонтом, там, над воротами Колымы, через которые эта земля столько уже лет всасывала сталинское человеческое удобрение, поднимались столбы с клубящимися шапками, за ними повалил черный дым, возникло зарево пожаров.

Гошка, подтягивая штаны, полз уже к тайному лазу. Оглядываясь на Митю, беззвучно хохотал. В нескольких местах сразу завывли сирены. С вышки у проходной слышались выстрелы. Топот ног. Панические вопли. Митя рванул к своему тайнику, сорвал доски, вышвырнул кирпичи, вытащил друга удалого – автомат. Гошка визжал:

– Это вы, да, да? Скажи, Митька, ваших рук дело, да? Восстание, да? Анархия – мать порядка, что ли?! Говори!

Митя вогнал в автомат рожок, три других рожка рассовал по карманам и за пазуху. Мало что соображал. Одно было ясно – началось, и теперь вали, раскручивай на всю катушку. Гошка стал уже вползать грешной задницей в свой хитрый лаз. Рожа его то расплывалась идиотским сальным блином, то моченым грибом скукоживалась.

– Ну, отвечай же, Сапунов, ваши, «чистые», бомбы рвут? Ну что, в молчанку играть будем? Ну, отвечай, фашистская гадина!

Митя поднял автомат:

– Сам себя выдаешь, стукач! Пули хочешь?!

В последний миг не нажал спуск, дал этому другу с сахарной жопой в последний миг улизнуть. Друг этот миг подаренный не принимает, сучонок, наоборот, попер из своего лаза назад, выкрикивает тайные слова, клички, которые никому, кроме Ростовчанина, вместе не встречались, даже в «По уходе за территорией».

– Ну, говори, кто там, в порту сработал? Ишак, Концентрат, Стахановец, Голый, Морошка, Сом, ЮБК?.. Ну, видишь, я всех твоих

волков знаю, давай, раскалывайся, Полтора...

– Пули выпрашиваешь, шпион, ну, получай три!

Короткая очередь разнесла вдребезги пульсирующую физиономию Круткина. Теперь плачь по Шибздику, плачь по своей увлекательной молодости! Некогда плакать, все разваливается.

Он выбежал со двора инструменталки. Мимо, неизвестно куда, неслась толпа зеков.

– Эй, стой, Полтора-Ивана приказал!..

Никто его уже не слушал. Куда бегут? Он бежал вместе со всеми. Мелькнуло окно медсанчасти, там ЮБК и Ишак резали капитана Стерлядьева. Толпа вокруг потрясала самодельными, напиленными из железных кроватей пиками. Неслись валить вышки, выдирать у вохры огнестрельное оружие, а главное, замки сбивать, до спирта добраться... Племя колымского мумбо-юмбо, выродки вечной мерзлоты, все уже были и без спирта бухие, от одного лишь великого хипежа, от взрывов, пожаров, воя сирен, трескотни выстрелов, и всем только одного хотелось – не терять этот кайф, подлить в него спирту, резать, колоть, стрелять. Весь тщательно разработанный план Полтора-Ивана – одномоментное уничтожение всех «сук», разоружение охраны и затем стремительный захват ключевых точек Магадана, – все это полетело в тартарары. Теперь уже и сам инициатор этого плана, пропитанный влитым спиртом и не излитым сахаром, не понимал, куда его несет в этой толпе, где все смешались: и «суки», и «чистяги», и спецконтингент, и СО, и СВ, все придурки, и обреченный рабочий скот – все неслись на проходную, на вышки, на пулеметы.

Вот вам и железные объятия МВД – немедленно распадаются под ударом народных масс. Ворота уже трещат. Распахиваются. Прут зековские массы. На одной из двух основных вышек у вахты врубили прожектора, заработал пулемет.

– Эй, Ростовчанин! – крикнули в толпе. – Где твое кривое ружье?

Митя, не думая ни о чем, побежал, с ходу врубил веером по прожекторам и пулеметам. Толпа опять свободно повалила за зону. Кто-то уже захватывал грузовики и «козлы», вышвыривал тела вохровцев. Орда понеслась к охваченному паникой Магадану. Рев, вой, свист, гости едут в твои теплые хавиры, милый городок! В этом порыве, конечно, забыли про начальника режима майора Глазурина, к тому же основательно оглушенного кирпичом по голове. Забыли и телефонные провода в его конторе перерезать. Оглушенный майор, верный чекистскому долгу, позвонил в Дальстрой генералу Цареградскому. Последний, тоже порядком оглушенный, только не кирпичом, а разворотом событий в порту, успел в

последнюю минуту выслать стрелковую роту, а та в последнюю минуту заняла позицию поперек Колымского шоссе у самого входа в город. Так в одну ночь взорвался монотонный быт тюремной колымской столицы, чтобы, отбушевав, вернуться к привычному дремотному перекачиванию живой силы и техники.

* * *

Мимо градовских окон ночью везли грузовиками из порта раненых и обожженных. Выстрелы, а иногда что-то похожее на залпы, то есть как бы раздирающие тугое полотно, неслись с противоположной стороны, с северной окраины. Цилия и Кирилл вытаскивали из рам осколки стекла, пытались заделать зияющие дырки фанерками, дощечками, заткнуть подушками. Несмотря на жаркие дела, стеклянная стынь затягивала всю приморскую равнину, обещая по крайней мере неделю стойких морозов. То и дело являлась соседка Ксаверия Олимпиевна, солидная дама, билетерша Дома культуры. Женщины советовались, что можно сделать, чтобы защититься от холода, и к кому первым делом надо завтра обращаться в домоуправлении. Цецилии доставляло большое удовольствие беседовать с Ксаверией Олимпиевной. Возникало ощущение совершенно нормальной жизни в совершенно нормальном городе. Иногда Цецилия пыталась обиняком выяснить, каким образом такая типично московская дама оказалась на Колыме: может быть, у нее все-таки какие-нибудь родственники в лагерях или, напротив, в охране. Ксаверия Олимпиевна вроде бы даже не понимала, о чем идет речь. Ее занимали только новые оперетты, покупки, интриги в штате Дома культуры, планы на отпускной период. Только впоследствии, под бутылочку материковского ликерчика «Какао-Шуа», выяснилось, что дама приехала в Магадан, как и Цецилия, к выходу из заключения мужа. Возникла, правда, несколько пикантная, хотя и тоже вполне как бы нормальная – не политическая, не антисоветская – сугубо житейская ситуация: муж умудрился выйти из отдаленного лагеря, уже имея новую, якутскую жену и двоих детей. Вот такая пикантная ситуация, моя дорогая. Се ля ви, моя дорогая. Вот именно, она такова, ля ви, такая пикантная крепкая штука, и не важно, где она происходит, на Арбате или в тайге под сенью сторожевых вышек: ля ви!

Наконец все как-то утряслось, заткнулось, закупорилось. Страшные взрывы с апокалиптическими озарениями отъехали в страну свежих воспоминаний, чтобы потом отправиться еще дальше. К трескотне

выстрелов на периферии зоны «вечного поселения», как выяснилось, вскоре можно и привыкнуть. Кирилл включил радио и сразу оказался в середине сводки новостей «Голоса Америки»:

«Странное происшествие в Берлине. Сегодня утром в американский сектор на военной машине прибыл командир артиллерийского дивизиона Советской Армии полковник Воинов. Он обратился к американским властям с просьбой о политическом убежище. Советская администрация выступила с заявлением, в котором утверждается, что полковник Воинов был похищен западными разведслужбами, и потребовала немедленного возвращения этого офицера.

На корейском театре военных действий временное затишье. Так называемые китайские народные добровольцы подтягивают новые бронетанковые части в район Панмынджонга. Авиация Соединенных Штатов продолжает налеты на цели в тылу противника...»

Из комнаты Ксаверии Олимпиаевны донеслась пластинка: «Под осень я сказал Адели: „Прощай, дитя, не помни зла...“

* * *

В городе у Фомочки-Ростовчанина было три тайных хавиры. К одной из них он доковылял, цепляясь за обвисшие заборы и за слегу, подпиравшие стенки завальных барачных бараков, плача, хохоча, слюнявсь, сопливсь, истекая кровью и лимфой из раны в верхней части живота. Там, в животе, в царстве кишечника, по соседству с могучими склонами печени, поселился ебанный-разъебанный-хуевейший-наихуевейший зверек трихомонада, наподобие металлического ерша. Пока он спал, минутную можно было еще идти, когда же просыпался, грязная ссученная мандавошка позорная, немедленно начинал танком утюжить внутреннее незащищенное царство, рвать кишечные своды, жечь фашистским, то есть большевистским, огнем. Что же там, партизанщины, что ли, нет, чтобы мину заложить, покончить с этими бесчинствами к хуям собачьим?

Дверь в хавиру оказалась заколоченной досками, и в довершение еще на ней висел родной брат того внутреннего гада – пудовый замок. Попробуй проберись сквозь весь этот металл, попробуй свои кишочки протолкнуть сквозь эти металлические зажимы! Улица закрутилась к тупику, тупик встречал ковыляющего, роняющего блямбы густой крови, волокущего автомат стройным рядом хорошо заостренных пик; каждая предназначена для полного и окончательного разрыва сраки любому

нарушителю. Митя пополз вдоль железного забора. Шапки у него на голове давно уже не было. Шапочкой-кожаночкой он еще пытался заткнуть свой столь неуместно расплющенный, развороченный живот. Башка между тем, покрытая замерзшими выделениями, превратилась в своего рода глазированный ананас-хуй-в-глаз. Вдруг за забором, под строем этих пик, в снегу обнаружился подкоп, и он перекатился на ту сторону, в благодатный мир шикарно обарахленных снеговыми шубами лиственниц. В такую бы шубу обратиться и затихнуть. Стоять и тихо ветвями разговаривать с невинной, остывающей пулькой-хуюлькой внутри. Пошел под лиственницами, проваливаясь в снегах, грязня снега своим разьебанным присутствием. Похоже, приближаюсь к детству, уже звучит рояль, бабуля моя дорогая. Вдруг впереди увидел человека с ружьем. Немедленно шмальнув в него, перекошил человека. Оказалось, это не человек с ружьем, а ребенок-пионер с горном. Куда иду? Неподалеку от перекошенного пионера стояли другие фигуры: пионерка с салютом над головой, девушка с веслом, дискобол. В отдалении спиной к присутствующим маячил с вытянутой к городу лебедкой руки главный хмырь на пьедестале. Вот этому в сраку надо вклеить пару зарядов: пусть знает, как стоять с пулей в кишках!

– Эй, Ростовчанин! – позвал кто-то с веселой шумной улыбкой. – Хлопцы, гляньте, Фомка-то наш еще жив!

Стахановец, Морошка и Сом, отборные ряхи из «По уходу за территорией», сидели под большим кайфом в беседке с колоннами, держали костерок на листе железа, вынимали из ящика склянки вроде той, что Митя сам недавно с вонючим дружкой сосал.

– Итээровский костер! – хохотало мудачье. – Ну, лафа тут в парке Горького! И горького целый ящик, и колбасы до хуя! Гребни к шалашу, Фома, устроим тут мусорам «оборону Севастополя»! Эй, глянь, Фома, что мы тут главной бляди на кумпол надели!

На башке у скульптуры и впрямь, закрывая историческую перспективу, надето было помойное ведро. Смутно улыбаясь, Митя проковылял мимо сподвижников. «Какой я вам Фома? Фома-то, живой мальчик, мимо шел, покуривал да песенку насвистывал, а я был расстрелянный труп...» Вежливо отодвинув предложенный стакан, он прошел по сугробам на главную, расчищенную аллею парка и встал лицом к скульптуре с поганым ведром на голове. Ведро, между прочим, придавало скульптуре еще более незыблемые черты.

– Ну, вот получай, картавый, получай за все, – пробормотал он и, забыв даже о железном ерше в кишках, начал расстреливать скульптуру из

своего автомата.

В эти моменты пальбы ему казалось, что он уже перестал соединяться с землей, что какая-то горячая струя оторвала его от земли и держит в подвешенном великолепном состоянии. Классные пули тульского закала прошивали алебастровое говно. В беседке хохотали над фартовым театром Морощка и Сом. Стахановец закемарил, прислонившись спиной к колонне ротонды. Пули кончились, и Митя рухнул из своего восторга прямо на все точки своей боли. Ну, пиздец же, пиздец, ну, где ж ты, пиздец?! Бросив на снег, туда, где стоял и напачкал, автомат, он потащился к выходу из парка, туда, где под фонарями в морозной радуге мирно лежала Советская улица с домами телесного цвета и с трансформаторной будкой. Вот, оказывается, я куда тащусь: к трансформаторной будке. Вот, оказывается, каково мое направление: к тем самым окнам.

Дотащившись до будки, хотел сесть спиной к ней, лицом к окнам, однако ноги поехали по наледи, и он растянулся плашмя, не в силах уже встать. Теперь лежал он под фонарем, красивый и молодой, почти такой же, каким Фомочка Запруднев лежал, только малость сочащийся, малость к тому же подмороженный, глазированный. Сил еще хватило позвать: «Циля! Кирилл! – однако кто же услышит сквозь заткнутые подушками окна... – Все-таки рядом коньки отбрасываю, – еще смог подумать он, – все-таки к родному рядом...» Он уже не слышал, как захлопали двери, не видел, как выскочили две темные фигуры, и только в самый последний миг осознал, что над ним склонились два любимых лица. «Все-таки, кажись, узнали», – прошелестело тамбовской листвой в голове, после чего из него мощно стал выходить какой-то горячий поток, и этот же поток, как бы изливаясь из него, тут же и вздымал его ввысь, и он уходил все выше, оставляя под собой географию колымского скованного льдом побережья.

Глава тринадцатая

Митинг в МОЛМИ

Экое, право, чудо эти новые долгоиграющие пластинки: на одной стороне двадцать пять минут Сороковой симфонии Моцарта! Блаженный моцартовский час царил на чердаке в Кривоарбатском переулке. Сандро сидел у холста, интенсивно, почти как дирижер, работал кистью. В эти минуты он забывал о том, что почти слеп, и ясно впечатлял новое и ярчайшее, хотя слегка все-таки по краям размазанное воплощение Нининого цветка. «Ну что ж, он теперь хотя бы не видит, как я старею, – говорила Нина Ёлке в такие вот минуты, когда они вдвоем лежали с сигаретами на антресолях. – Или, скажем так, почти не видит». Лежание с сигаретами на широченной, застеленной тифлисским ковром тахте стало любимым времяпрепровождением сдружившихся после несчастий прошлого года женщин. Часами они теперь могли беседовать, повернувшись друг к другу, поставив между собой пепельницу, телефон, чашки с кофе, а нередко и пару отменных «наполеонов» из «Праги». Если Нине звонили, Ёлка брала книгу и читала, краем уха прислушиваясь к саркастическим интонациям матери. Эти интонации немедленно появлялись у Нины, как только звонил кто-нибудь из братьев писателей. На какую бы тему ни шел разговор, голосом она невольно как бы старалась передать одну кардинальную идею: все мы не что иное, как полное говно, уважаемый коллега.

Полгода уже прошло после того, как Ёлку привезли в черном автомобиле с Николиной горы, и вот только сегодня, под январскую серую и ветреную погоду с налетающими по крышам к окнам мастерской снежными вихрями, она заговорила о Бери.

– Если ты думаешь, что он там меня терзал, то очень ошибаешься, – вдруг сказала Ёлка матери. – Он мне все время в любви объяснялся, знаешь ли. Включал свою американскую радиолу и под классическую музыку читал стихи, часто Степана Щипачева...

– Пытка, пострашнее многих, – вставляла тут Нина.

– Брал мою руку, целовал от ладони до локтя, – продолжала Ёлка, – и читал: «Любовью дорожить умеете, с годами дорожить вдвойне...» Иногда что-то по-грузински также читал, и это звучало даже красиво. Когда выпивал, пускался в какие-то туманные откровения: «Ты моя последняя любовь, Елена! Я скоро умру! Меня убьют, у меня столько врагов! Я имел

тысячи женщин, но никого до тебя не любил!» Вот в таком духе, воображаешь? – Голос Елены дрогнул, ладонью она прикрыла глаза и губы.

– Крошка моя, – прошептала Нина и стала ее гладить по голове. – Ну, расскажи, расскажи мне все. Тебе будет легче.

– Знаешь, я была там, на этой даче, все время в каком-то странном состоянии, – успокоившись, продолжала бывшая пленница. – Какая-то апатия, заторможенность. В теннис охотно поигрывала, пьесы начинала и бросала, днями бродила в каком-то полубессмысленном состоянии по саду под присмотром любезнейшей сволочи... Могли бы и не присматривать, между прочим: мне ни разу в голову не пришло убежать. И на него я совсем не злилась. Мерзость, но я даже стала ждать его приездов. Он мне говорил: «Елена – то есть он произносил „Элена“, – ты уж извини, что я тебя увез. Посмотри на меня и сама реши: разве могу я, как нормальные люди, ухаживать за девушками?» В такие минуты я даже смеялась: он был забавен, лысый, круглый, очкастый, такой комический персонаж из иностранного фильма...

– Боже мой, – прошептала Нина, – они тебе там, очевидно, что-то подмешивали в пищу, что-то расслабляющее волю.

Ёлка вздохнула, закусил губу, опять попыталась спрятаться за собственной ладонью.

– Наверное, наверное, – пробормотала она. – Ой, мама, почему же мне самой это ни разу в голову не приходило?

Нина опять ласкала свою единственную, длинноногую «крошку», гладила по волосам, щекотала затылок, даже целовала в нежнейшую, как известно, никогда не стареющую тряпочку тела, то есть в мочку уха.

– Послушай, колючка, – сказала она, – давай поговорим на самую интимную тему. Насколько я понимаю, до этого ты была невинной, да? Скажи, он... ну... он, ну, спал с тобой, то есть, ну, прости за грубое слово, он ебал тебя?

Задав этот вопрос, Нина вся окаменела: вопреки всему, она отказывалась верить, что первым мужчиной ее «крошки колючки» оказался монстр. Ёлка уткнулась ей носом в грудь, разрыдалась. Вот наконец и подошло то, к чему обе женщины так осторожно подбирались все эти месяцы во время лежаний с кофе и сигаретами на антресолях. Обе понимали, что без этого разговора им не преодолеть отчуждения, возникшего еще несколько лет назад, когда Ёлка только лишь начала подходить к «возрасту любви».

– Ну, мамочка, я же ничего не понимаю в этом, – бормотала Ёлка. – Я до сих пор не понимаю, что у меня там... Я многого не помню, ну, просто

не помню совсем... В первое утро я проснулась совсем голая, белье было порвано, и там как-то жгло, а потом, на даче, он как бы со мной играл, ну, как с котенком, гладил, залезал в лифчик, в трусы, потом уходил, почему-то очень мрачный, даже как бы трагический. Однажды, пьяный, набросился, затыкал ладонью рот, обмусолил всю губами... невыносимый, совершенно кошмарный запах чеснока... начал ноги раздирать, совал туда руки, может быть, и еще что-то, но у меня тогда была, ну, ну, в общем, ну...

– Ну, менструация, детка моя, – сказала Нина.

«Боже мой, – подумала она, – если бы она знала, какой я была в ее возрасте, какими мы все были, паршивки, со всем этим нашим коллонтаевским вздором, с антропософией и „стаканом воды“. Почему я ей никогда не рассказывала об этом? Почему я просто-напросто не нарисовала ей всю эту анатомию на бумаге: вот член, вот влагалище, клитор, плева?.. Все так просто и все так... все как?.. Я сама ни черта не понимаю, как все это... Что нам с этим со всем делать...»

– Ну да, менструация, – продолжала Ёлка. – В общем... потеки, пятна, все вокруг заляпалось, меня затошнило, когда эта жаба из себя исторгла... там все перемешалось, запахи просто рвотные, и он уперся, что-то гнусное вопя по-грузински... я только запомнила «чучхиани, чучхиани»... Вот так это было, мамулечка, а на следующий день меня уже отвезли домой... Так что я так ничего и не поняла, и никогда не пойму, потому что больше никогда в моей жизни не будет ни одного мужчины.

– Да ты с ума сошла, дуреха! – воскликнула Нина.

– Ничего мне не говори больше об этом, – решительно, как прежде, сказала Ёлка, – это уже решено раз и навсегда. Знаешь, в тот день я ушла с тенниса с одним мальчишкой. Он мне колоссально понравился, я, может быть, даже влюбилась. Я как раз его ждала у метро, когда меня поволокли к машине. Знаешь, я такую испытывала радость, когда его ждала, вся жизнь вокруг как будто трепетала для меня и для него, все ощущалось с такой остротой: солнце, тени, ветер, листва, камни домов... Ну, словом, теперь я понимаю, что такое со мной больше никогда в жизни не повторится, потому что я «чучхиани», что, как ты знаешь, по-грузински означает «грязная»...

Вдруг что-то грохнуло вниз, и раздался жуткий голос Сандро:

– Слушайте! Сообщение ТАСС!

Он прибавил громкости, и по всему чердаку начал разноситься драматический голос диктора: «Некоторое время тому назад органами государственной безопасности была раскрыта террористическая группа врачей, ставивших своей целью путем вредительского лечения сократить

жизнь деятелям Советского Союза. В числе участников этой террористической группы оказались профессор Вовси, врач-терапевт, профессор Виноградов, врач-терапевт, профессор Коган М.Б., врач-терапевт, профессор Коган Б.Б., врач-терапевт, профессор Егоров, врач-терапевт, профессор Фельдман, врач-отоларинголог, профессор Эттингер, врач-терапевт, профессор Гринштейн, врач-невропатолог...

...Преступники признались, что они, воспользовавшись болезнью товарища Жданова, неправильно диагностировали его заболевание, скрыв имеющийся у него инфаркт миокарда, назначили противопоказанный этому тяжелому заболеванию режим и тем самым умертвили товарища Жданова. Преступники также сократили жизнь товарища Щербакова.

Врачи-преступники старались в первую очередь подорвать здоровье советских руководящих военных кадров и ослабить оборону страны, вывести из строя маршала Василевского, маршала Говорова, маршала Конева, генерала армии Штеменко, адмирала Левченко...

Арест расстроил их злодейские планы.

Врачи-убийцы, ставшие извергами человеческого рода, растоптавшие священное знамя науки, состояли в наемных агентах у иностранной разведки. Большинство участников террористической группы (Вовси, Коган, Фельдман, Гринштейн, Эттингер и другие) были связаны с международной еврейской буржуазно-националистической организацией «Джойнт», созданной американской разведкой... Арестованный Вовси заявил следствию, что он получил директиву «об истреблении руководящих кадров СССР» из США от организации «Джойнт» через врача Шимелиовича и известного еврейского буржуазного националиста Михоэlsa.

Следствие будет закончено в ближайшее время».

Наступила тишина. Ёлка и Нина свесились с антресолей. Сандро стоял посреди студии в перепачканном красками халате.

– Это все? – спросила Нина.

– Кажется, все, – сказал Сандро.

– Какая-то странно долгая пауза, – сказала она.

Он пожал плечами:

– Ну, что ты говоришь, Нина? Обыкновенная пауза.

– Нет, слишком долгая, – настойчиво она возразила.

Он махнул рукой, будто пингвин с крылом орла:

– Да ну!

Наконец зазвучал знакомый сладкий голос дикторши Всесоюзного радио: «Мы передавали сообщение ТАСС. Продолжаем передачу концерта

по заявкам. „Песня индийского гостя“ из оперы Римского-Корсакова „Садко“...»

– Выключи! – закричала Ёлка.

– Спокойно, спокойно, ребята! – начала командовать Нина. – Ну, собирайтесь все! Едем в Серебряный Бор!

* * *

По прошествии трех дней после заявления ТАСС в актовом зале Первого мединститута было назначено общее собрание преподавателей и студенческого актива. Пурга мела поперек Хорошевского шоссе. Видимость приближалась к невидимости. Два Бориса Градовых, Третий и Четвертый, в трофейном «хорьхе» плыли сквозь снежную муть к следующему повороту в их судьбе. Судьба, впрочем, предлагала некоторые варианты. Можно было, например, не плыть к ее повороту. Остановить машину посреди шоссе; осторожно поворачивая крякающую уже, несмотря на все смазки, баранку, врубая взад-вперед скрежещущую уже кулису скоростей, развернуться в обратном направлении; отобедать всей семьей борщом и пожарскими котлетами, подкрепиться при этом водкой; вечером, когда пурга утихнет, отправиться на Курский вокзал и отчалить в южные края на заслуженный отдых. От имени судьбы эти варианты предлагались деду внуком. От ее же имени дед осекал внука:

– Перестань болтать! Двигайся!

– Не дури, дед! Зачем тебе это собрание говенное? – Борис с тревогой поглядывал на благородный профиль Бориса Никитича. – Ну, вот видишь, что на шоссе творится?

Судьба явно принимала его аргументацию. Впереди на обледенелом шоссе случилось ЧП: какая-то машина съехала в кювет, скопились грузовики, ворочался кран, каждую минуту все залеплялось налетающими эшелонами снега.

– Ну, вот видишь, дед, – говорил Борис IV, – пока не поздно, давай разворачиваться.

Борис Никитич III уже не без некоторого раздражения отмахнулся от внука. Вскоре и за ними скопились грузовичье и фургоны, и развернуться стало невозможно.

Простояв в пробке не менее сорока минут, они прибыли с опозданием. Борис Никитич сразу прошел в президиум. Боря же, за неимением свободных мест, сел в проходе на ступеньку. Он ловил на себе озадаченные

взгляды студенческого актива, в том числе тревожный и влюбленный взгляд комсорга потока Элеоноры Дудкиной. С какой это стати чемпион явился на собрание по осуждению «убийц в белых халатах»? Стараясь не обращать внимания на эти взгляды, он смотрел на бледное лицо деда во втором ряду президиума. «Бабка права, – думал он, – с ним происходит что-то особенное. Этот мрак может стоять ему жизни».

Майка, ставшая теперь частой гостьей в Серебряном Бору, заметила вчера, как дед, раскрыв газету, увидел там свою подпись под письмом академиков, осуждающих клику вредителей и заговорщиков из еврейского «Джойнта». С газетой Борис Никитич немедленно прошел к себе в кабинет и позвал туда Мэри. Очень долго они были вдвоем за закрытыми дверьми. Майка успела уже погулять с маленьким Никитушкой и Архи-Медом, а разговор старых супругов все еще продолжался, временами на высоких тонах, но неразборчиво. Она еще долго помогала тете Агаше с бельем и с готовкой, а старики все не выходили. Часто звонил телефон, глухо слышался официальный голос Бориса Никитича. Тетя Агаша в сердцах бросала полотенце, стучала кулачком по столу: «Зачем он трубку берет?! Ну зачем он трубку берет?!» Наконец двери открылись, и бабушка Мэри вышла с громкой фразой: «А вот этого уж совсем не надо делать!» Потом появился Борис Никитич, он был, как ни странно, в полном порядке и даже оживлен. Спросил у Майки, где, по ее мнению, может сейчас пребывать его внук. Майка сказала, что, по всей вероятности, легендарный спортсмен находится сейчас в своей резиденции на улице Горького, готовится к экзамену в обществе Элеоноры Дудкиной и других влюбленных в него студенток. Борис Никитич рассмеялся: «Вам ли, Маечка, ревновать его к каким-то студенткам!» – то есть по-джентльменски сделал замечательный комплимент. И тут вдруг ты явился на своей фашистской колымате, Борька-Град, и мы все вместе ужинали, и это было так замечательно, хотя у Мэри и у Агаши очень дрожали пальцы, чего ты, конечно, не заметил. Ну, а потом, хочу напомнить, ты меня долго-долго мучил вот здесь, в комнате своей матери, дурачина таковский, совсем замучил своим этим самым; я, по-моему, забеременела. Вот только этого еще не хватало, подумал Борис и тогда еще немного, по-утреннему, как бы вместо гимнастики, помучил свою любимую.

За завтраком разбирались разные варианты неявки Бориса Никитича на общеинститутский митинг. Вдруг старик, решительно вытерев салфеткой рот, заявил, что он непременно туда направится, «хотя бы для того, чтобы все увидеть своими глазами». Мэри и Агаша немедленно бросились из-за стола в разные стороны, а Боря побежал одновременно за

обеими, то есть сначала потрепал по плечу кухонную даму, а потом устремился к фортепианной, нимало не подозревая, что в точности повторяет движения своего отца за несколько месяцев до собственного рождения. «С ним что-то особенное происходит, – сквозь увлажнившийся платок твердила Мэри. – Этот мрак может стоять ему жизни. Неужели недостаточно подписи, которую они поставили, даже его не спросив? Теперь еще этот митинг! Можно ли пережить такой позор?»

Двигаясь сквозь вьюгу, то есть то и дело выкручивая руль «в сторону заноса» и тормозя, Борис заметил, как по мере приближения к институту отливала кровь от дедовского лица, то есть как мертвело, как каменело это лицо. Ну что его несет на митинг? Уехал бы на юг, снял бы комнату в Сочи, гулял бы там по набережной... может быть, это звучит наивно, но все-таки здесь есть хоть какой-то шанс. Речами на митингах сейчас, похоже, не защитишься. Хевра опять вроде собралась разгуляться, как в 1937 году. Сашка Шереметьев прав: вооружаться в конце концов придется на последний и решительный бой. Только кто будет вооружаться? Пятнадцать человек из «кружка Достоевского»?

Профессора Градова в президиуме собрания, очевидно, уже и не ждали. Президиум иллюминировался улыбками. Уцелевшие столпы медицинской науки нееврейской национальности переглядывались. Председатель хотел было потесниться, чтобы посадить его рядом с собой, однако Борис Никитич скромно стушевался во втором ряду стульев. На трибуне между тем заканчивал выступление член бюро парткома, доцент кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии Удальцов: «...а тем, кто запятнал нашу благородную профессию, мы говорим: вечный позор!» Последние слова взлетели к люстре едва ли не церковным дискантиком, претендуя на серьезный реверберанс как в хрустале, так и в сердцах присутствующих. Среди аплодисментов Удальцов пошел было с трибуны, как вдруг в третьем ряду встала студенточка; Борис узнал ее – третьекурсница Мика Бажанова.

– Товарищ Удальцов, скажите, а что нам с учебниками делать? – прозвучал Микин совершенно детский голосок.

– С какими учебниками? – опешил доцент.

– Ну все-таки, – сказала Мика. – Ведь эти вот врачи-вредители, они большие ученые и преподаватели. Мы по их учебникам занимаемся. Что же нам теперь с этими учебниками делать?

Удальцов левой рукой схватился за трибуну, а правой как-то странно стал шарить справа от себя. В зале кто-то хихикнул, неосторожный. Удальцов вдруг выхватил то, что искал, длинную академическую указку,

которую он, очевидно, подсознательно заметил на столе справа от трибуны; скорее всего, предмет остался здесь от прошлых заседаний, на которых, возможно, использовался по назначению, то есть для демонстрации экспозиций.

– Книги их?! – жутким виевским голосом возопил доцент и тут показал, для чего ему понадобилась указка: рубанул ею поперек трибуны, словно буденновец. – Книги их смрадные сожжем и пепел развеем по ветру! – Еще один удар по трибуне, еще один; указка, на удивление, все это выдерживала. – Малейшее упоминание позорных имен, всех этих коганов, вышвырнем из истории советской медицины! Пусть кости этих убийц поскорее сгниют в русской земле, чтобы от них никаких следов не осталось!

Перепуганная Мика всхлипывала. Доцент и сам трясся в конвульсиях: у него был явный истерический срыв. Приблизившись осторожно под взмахами карающей указки, два члена парткома с большим сочувствием и товарищеской теплотой свели Удальцова с трибуны.

– Ну и ну, каков разряд эмоций, – сказал Боря-Град в притихшем смущенном зале.

И тут вдруг предоставили слово его деду, заслуженному профессору, действительному члену Академии медицинских наук. Давая слово сразу после Удальцова Градову, председательствующий, сам весьма почтенный, профессор Смирнов явно хотел показать солидность собрания; дескать, не только молодые доценты, о которых кое-кто может сказать, что не благородный гнев, а болезненный карьеризм доводит их до истерики, но также и славные представители старой школы, увенчанные уже всеми возможными титулами и наградами, участвуют в патриотической акции: нет-нет, уважаемые, советская медицина вовсе не обезглавлена, отнюдь, отнюдь, и как это славно со стороны Бориса Никитича, что он, несмотря на неважное самочувствие, счел возможным... Как часто бывает в подобных случаях, профессор Смирнов лукавил сам с собой, перекидывая удальцовскую истерику на «болезненный карьеризм». На самом деле он, конечно, понимал, что вовсе не в карьеризме тут дело, а в чудовищном, парализующем всю нервную деятельность страхе, страхе, который и всех присутствующих тут сковал, который и старика Градова сюда притащил и сейчас тянет на трибуну, который и его самого, председательствующего, заставляет столь неестественно, каким-то предельным растягиванием рта, улыбаться.

Борис Никитич, поднявшись на трибуну, поправил галстук и пощелкал третьим пальцем правой руки по микрофону. Все вдруг обратили внимание,

что семидесятисемилетний академик отнюдь еще не дряхл. Напротив: собран, строг, чрезвычайно отчетлив в лице, посадке, движениях, в глазах живой свет, на щеках легкий румянец, отлично оттеняющий красивую седину.

– Товарищи, – сказал он ровным, спокойным голосом, в обертонах которого, казалось, за «товарищами» стояли «милостивые государи», – мы все потрясены случившимся. Теперь стало ясно, что означали исчезновения ведущих специалистов нашей медицины. Кто может поверить в нелепейшие сказки о террористической деятельности профессоров Вовси, Виноградова, Когана, Егорова, Фельдмана, Эттингера, Гринштейна, а также многих других, названных в заявлении ТАСС? Бок о бок с большинством из этих людей я работал всю мою жизнь, многих из них я считаю своими друзьями и совершенно не собираюсь из-за нелепейших и постыдных – да-да, товарищи, я подчеркиваю, постыдных! – обвинений отказываться от этой дружбы и от высокой оценки безупречной профессиональной деятельности этих людей. Без исключения, все названные самоотверженно трудились на фронтах Великой Отечественной войны – чего стоит лишь одно организованное Мироном Семеновичем Вовси впервые в истории терапевтическое обслуживание действующей армии! Все они были удостоены воинских званий и наград, а сейчас на их головы сваливается такой позор! Мне совершенно ясно, что наши коллеги стали жертвами какой-то мутной политической игры. Люди, санкционировавшие эту акцию, выбившие из жизни выдающихся врачей и ученых, видимо, не думают о судьбе советской медицины, не думают даже и о своем собственном здоровье. Хочу еще сказать, что я совершенно потрясен откровенно антисемитским характером газетной кампании в связи с этим делом. Для меня нет сомнения, что кто-то пытается спровоцировать наш народ, нашу партию и нашу советскую, верную идеалам научного коммунизма интеллигенцию. Как старый русский врач, сын врача, внук врача и правнук полкового лекаря в суворовской армии, я заявляю протест против издевательства над моими коллегами!

Зал был настолько ошарашен выступлением профессора Градова, что позволил ему договорить до конца и даже спуститься с трибуны при полном молчании. И только когда уже сошел и на секунду притормозил, не зная, куда двинуться – на прежнее ли место в президиуме или к выходу, – раздался панический, как будто стремящийся наверстать опоздание, вопль: «Позор профессору Градову!» Сразу же прорвалась плотина. От сатанинского рева, казалось, задрожали портреты корифеев. «Позор! Позор! Долой сионистов, космополитов, убийц! Долой пособников

реакции!»; далее все слилось в сплошной вой, сквозь который в один момент прорезалось звонкое, комсомольское: «Долой еврейского прихлебателя Градова!» Комсомольский и студенческий актив вскочил на ноги, потрясая кулаками: «Но пасаран!» Ассистенты и доценты тоже старались вовсю, профессора резкими движениями ладоней отрекались от отщепенца. Пробегая по проходу к сцене, Борис заметил, что и Мика Бажанова, задавшая незадачливый вопрос об учебниках, машет возмущенно ручонкой. Увы, даже и влюбленная Элеонора Дудкина, кажется, в общем строю. Сильным прыжком взлетев на сцену, он обнял деда, потом взял его под руку и повел к выходу. Через минуту они оказались в пустом коридоре и стали удаляться от все еще ревущего зала.

– Дед, ты герой, – сказал Борис IV.

– Оставь, – сказал Борис III, – я просто сделал то, что мне подсказывало...

– Ладно, ладно, – перебил его Борис IV, – все ясно, хватит риторики.

Борис III слегка задохнулся от какой-то сильной эмоции, кажется, от счастья.

– Сделано! – почти воскликнул он и пошел четким, молодым шагом, как бы даже поигрывая своей тростью, на которую еще недавно тяжело опирался.

– Вот это верно, – сказал Борис IV. Всеми силами он старался не расчувствоваться, не прижать любимого деда к груди, не разрыдаться. – Дело сделано, а теперь надо подумать, как рвать когти. Предлагаю сразу махнуть на юг. Сразу едем вдвоем в Грузию, или в Сочи, или в Крым... – Он вспомнил о женщинах и поправился: – Вернее, ты едешь один, а я к тебе присоединяюсь после экзаменов. Связь будем держать через Майку.

– Перестань, Бабочка, – легко сказал Борис III. – Неужели ты думаешь, что от них можно спрятаться?

– И можно, и нужно, – сказал Борис IV. – Не сидеть же, не ждать же!

Они вышли на крыльцо и увидели, что, пока внутри бушевали страсти, снаружи выюга улеглась. Густо подсиненные тучи, скопившиеся в дальней перспективе над крышами Москвы, как бы обещали возможность побега. Дворники бодро расчищали снег широкими фанерными лопатами.

– Бегство? Ну что ж, можно и это попробовать, – усмехнулся Борис III. – Завтра отвезешь меня на вокзал.

– Нужно сегодня, немедленно. Поверь чутью разведчика, – возразил Борис I V.

– Ну-ну. – Борис III похлопал внука по плечу своей меховой, девятьсот тринадцатого года, варежкой. – Не нужно преувеличивать. Решения об

аресте таких людей, как я, проходят по инстанциям. Это занимает время. Уж по крайней мере два дня. Они ведь не спешат, потому что никто никогда не убегает. Никто никогда от них, никогда, никто...

Вдруг вся эйфория вышла, испарилась, и Борис Никитич сразу осел на палку. Ему вдруг показалось, что дворники только делают вид, что собрались на перекур, а на самом деле смотрят на него. В окнах клиники по соседству маячили некоторые лица – соглядатаи? Пара полковников выпросталась из троллейбуса; полковники – оттуда? Группа дошколят прошествовала по свежевытопанной тропинке, держась за пояса впереди идущих; никто из детей не улыбнулся деду, воспитательница посмотрела в упор с исключительной враждебностью.

– Никто никогда от них не убегал...

– Никто никогда так и не выступал против них, как ты, – тихо сказал Борис I V. – Никто никогда, может быть, так и не выступит... – Намеренно рассмеялся: – Так что надо создавать прецедент.

Борис Никитич с нежностью, почти прощальной, посмотрел на внука. «Надо сделать так, чтобы меня взяли в его отсутствие. Иначе мальчишка еще начнет сопротивляться, устроит стрельбу – не секрет, что у него есть оружие, – и погибнет».

– Давай сделаем так, – предложил он. – Я пойду сейчас на кафедру и разберу там свои бумаги: мне многое надо будет взять с собой. А ты отправляйся к себе и жди моего звонка. За это время узнай расписание поездов. Вечером вернемся в Серебряный Бор и там все решим.

Они разошлись, две таких разных фигуры: Четвертый в своей кожанке и волчьей шапке и Третий в черном длинном пальто с шалевым каракулевым воротником и в типично профессорском, в тон воротнику, «пирожке». Один из дворников тут же весело закосолапил к телефонной будке – докладывать.

* * *

Подъезжая к улице Горького, Борис все думал о деду. Ну, дал! Все думали, что он из малодушия едет на этот гнусный митинг, а оказалось, из великодушия, если правильно понимать это слово. Еще неизвестно, способен ли я на такое. Над Берией, на крыше, висел, но это было нечто сугубо личное, нечто вроде кавказской вендетты. Дед совершил колоссальный общественный акт. Лет через сорок, вспоминая эти времена, скажут: единственным, кто поднял голос против лжи, оказался профессор

Градов. Вот нам наши снисходительные похлопывания по плечу, говно – молодое поколение. Мы думаем, что на семьдесят восьмом году уже ни о чем, кроме теплых кальсон, не думают, а в человеке тем временем кипят страсти. У деда явно кипели страсти, когда он принимал решение вмазать по поганым чушкам. У него, кажется, что-то было на совести, что-то с давних времен, еще до моего рождения, что-то смутное доходило, какой-то компромисс, какое-то малодушие... Он, может быть, всю жизнь мечтал об искуплении, и вот его мечта сбылась: он уходит по-рыцарски. Они ему не простят великодушия. Они и сотой доли подобного никому не прощают, они и невиновным не прощают их невиновности. Деду – конец, что бы я ни фантазировал о бегстве на юг. Может, конечно, произойти чудо, но вероятность равна «минус единице». А этот дед – мой любимейший человек. Он мне, может быть, больше отец, чем дед. Отец всегда был в каком-то отдалении, пока не отбыл по окончательной дистанции, а дед был близок. Он, между прочим, меня и плавать научил, не отец, а дед. Прекрасно помню этот момент в затончике на Москве-реке. Мне лет пять, и я вдруг поплыл, а дед стоит по пояс в воде, веселый, и капли летят с его козлиной бородки, как из водосточной трубы... Что делать? Проклятье, ведь это же закон природы, мощные внуки должны помогать слабеющим дедам, а я ничего не могу сделать для своего старика в этом проклятом обществе. В этот момент Борю Градова посетила предательская мысль. Лучше бы его взяли в мое отсутствие. Если придут при мне, я наверняка не выдержу, перестреляю гадов и погублю всех, всех наших женщин и самого себя. Лучше бы без меня. Он с силой отбросил гадкую мысль. В конце концов я тоже должен бросить им вызов. Сашка Шереметьев прав: гонять тут мотоцикл на соревнованиях и получать кубки, может быть, аморально...

Жизнь тянется как привычный монотон, а события тем временем скапливаются и приближаются, чтобы вдруг свалиться на тебя, как сброшенная с крыши лопата снега. Открыв дверь в квартиру, Борис даже не особенно удивился, увидев выходящую ему навстречу из кабинета Веру Горда. У нее был ключ, но она сюда уже год как не заходила. Что-то случилось, это ясно, ну, что ж, прошу вас, события, вваливайтесь.

– Весь «кружок Достоевского» арестован, – сказала Вера. Она стояла, положив руку на притолоку, платье плотно облегалo фигуру. Яркие губы, светящиеся глаза. Казалось, что происходит сцена из иностранного фильма.

– И Сашка тоже? – спросил он.

Она скривила губы:

– А ты как думал? И Николай, и Саша, все... Ах, Боря! – разрыдалась. В рыданиях простучала каблучками, бросилась к нему на грудь. – Боря,

Боря, я не могу, я просто умираю, я каждую минуту умираю, Боря...

Он усадил ее на диван, сел рядом, пытаясь сохранить хотя бы маленькую дистанцию: поднималось совершенно неуместное желание.

– Ну, расскажи все, что знаешь.

По мнению Веры, во всем был виноват этот румынский еврей Илюша Вернер. Прогуливаясь по улице Горького, неподалеку от памятника Юрию Долгорукому, он познакомился с молодой мамашей привлекательной наружности. Ну, разумеется, началось с комплиментов ребенку, а перешло к комплиментам мамочке. Потом он стал к этой красотке захаживать. Она жила почему-то одна, на удивление в хорошей квартире, неподалеку от места их первой встречи. Ну, в общем, разгорелся, как ты понимаешь, сумасшедший роман. Вернер бегают, сияет, все героини Достоевского у него на уме: и Полина, и Грушенька, и Настасья Филипповна. Вдруг однажды его в подъезде встречают двое квадратных, ну, в общем, сотрудники, сильно его трясут и предупреждают: жить хочешь, больше сюда не заходи! Оказалось, что красоточка в содержанках состоит при каком-то члене правительства. Представляешь?

Эту историю, сначала со смехом, рассказал Вере ее муж, Николай Большущий. Вскоре, однако, стало уже не до смеха. То один, то другой, «достоевцы» стали обнаруживать за собой слезку. Вполне возможно, Илюша не прекратил своих встреч, и его можно понять: в любовной горячке человек забывает о благоразумии, не правда ли? Видимо, органы начали копать, что, мол, за человеке, и в конце концов вышли на кружок.

В течение трех дней всех арестовали. Шереметьева одним из первых. Там что-то было ужасное, чуть ли не перестрелка. Вера с Николаем метались по городу, как загнанные, думали убежать, но куда убежишь? Сегодня утром и за ним пришли. Теперь конец, всей моей жизни конец! Конечно, я к тебе помчалась, Боренька, к кому же еще мне бежать, ведь ты мой самый близкий, самый любимый друг... а тебя не было весь день... я просто в отчаянии тут металась... прости, выпила полбутылки коньяку... ну, я, конечно, знаю, что у тебя теперь эта девочка, ну, я вам только счастья желаю... я ее, между прочим, видела, довольно мила... Ну, я не знаю, Боря, что мне теперь делать, что делать, все рушится, все рассыпается, меня и из оркестра теперь могут выгнать как жену врага народа...

Она снова упала к нему на грудь, обвила руками вокруг шеи, рыдала в плечо. Он сидел, боясь пошевелиться, заливаемый мраком и все нарастающим «неуместным желанием». Наконец смог с достаточной деликатностью освободиться от ее рук.

– Вера, а тебя-то они не вызывали? – спросил он, даже и не

представляя, какую сильную реакцию вызовет этот вопрос.

Горда сжала свое лицо в ладонях и издала какой-то дикий крик, сродни пронзительному кличу монгольского всадника. Все тело ее потрясла конвульсия. Борис бросился за коньяком. Выпив, она сказала почти спокойно:

– Ой, какой ужас, все мои глаза потекли, все размазалось! Не смотри на меня. Я знаю, что ты подумал. Это неправда, Боря! Я не доносила. Конечно, они меня вызывали, я же тебе откровенно еще тогда, в начале нашей недолгой любви, сказала, что они на меня выходят. Ну а как еще могло быть иначе, конечно, они меня и в этот раз вызвали, этот гад, Нефедов, сопляк, орал, как на холопку, а Константин Аверьянович, скотина, проявлял, видите ли, суровую сдержанность. Однако они уже всех и все знали к этому моменту, такими сведениями ошарашивали, о которых я даже и понятия не имела. Например, ты слышал когда-нибудь, что «кружок Достоевского» планировал теракт?..

– Перестань, Вера, – поморщился Борис. Он думал о Сашке. Если не расстреляют, каково ему придется в лагерях с его протезом?

Вера опять стала виснуть на нем, прижималась грудью, коленом, может быть, не нарочно, может быть, все еще как к «лучшему другу», но почти уже невыносимо. Голос ее перешел на шепот:

– Они и о тебе, конечно, спрашивали, Боренька. Дай ухо. Ты знаешь, я всегда боюсь, что тут подслушивают. Они, конечно, спрашивали, ходил ли ты в «кружок Достоевского». И я им сказала, что, по-моему, ты эту компанию терпеть не мог, даже чуть не подрался с ними, когда за мной ухаживал. Ну, для них, конечно, не секрет, что мы встречались. Ну, Боря, ну, скажи, – она захныкала, как маленькая девочка, – ну, ты меня доносицей не считаешь? Ну, скажи прямо, умоляю тебя. Не считаешь, нет? Поверь, я ни на кого не донесла, ни на единого человека! Может быть, они что-то из меня, дуры, вытягивали, но я ни на кого, никогда... Может, даже наоборот... выгораживала некоторых... ты веришь? Ну скажи, веришь? Ну, неужели я тебе больше не нравлюсь? Ну выеби меня, мой дорогой!..

На диване было мало места, и они легли на ковер, благо, недавно пропылесосенный Майкой Стрепетовой. Глядя на блуждающую под ним улыбку Горды, Борис подумал: «Может быть, только в этом она и освобождается. От „них“, да и вообще от всех, даже от своих ебарей, и от всего; единственные минуты свободы».

– Спасибо тебе, дорогой, – прошептала она, отдышавшись. – Теперь я вижу, что ты мне веришь.

– С каких это пор ебля стала символом веры? – мрачно пробормотал

он. Он хотел было еще кое-что добавить, нечто совсем уже жестокое, «может быть, я тебя сейчас барал как раз как стукачку», однако не сказал этой жестокой и, в общем, лживой гадости, а, напротив, поцеловал бывшую любовницу в щеку и в мочку уха:

– Я тебе и без этого верю.

Так и есть, она почувствовала себя оскорбленной, резко встала с ковра, подошла к столу, хлебнула прямо из горлышка коньяку, закурила, сказала с вызовом:

– А я без этого никому не верю.

– Ну, хорошо, – он тоже поднялся, – пока что прошу тебя, дорогая, приведи себя побыстрее в порядок. Дело в том, что в ответ на твои замечательные новости, я тебе должен рассказать свои. События, похоже, начинают раскручиваться как на ледяной гонке...

В ответ на его «замечательные новости» она воскликнула:

– О, Боже мой! Чем все это кончится!

Прозвучало это с усталостью и даже как бы без интереса. Он тут подумал, что если бы вот так воскликнула Майка, то в этом был бы только один смысл, и именно тот, что и выражен в восклицании, в то время как у Веры, как всегда, лежат еще несколько каких-то, может быть, ей самой не совсем ведомых смыслов. Может быть, и у Майки к этому возрасту накопится этих смыслов немало. Было уже половина шестого, за окном стемнело, только сияла оставшаяся после новогодних празднеств иллюминация телеграфа. Собственно говоря, она могла бы там и всегда сиять: в ней не было ничего новогоднего, одно лишь агитационное величие. Борис позвонил деду в клинику. Гудки, молчание. Может быть, он едет сюда? А может быть... уже? Да нет, это невозможно! Вера сидела на диване с сигаретой. Отворачивала лицо, показывая оскорбленное достоинство.

– Скажи, официально тебе уже сообщили, какие обвинения предъявляются Николаю? – спросил он.

Она усмехнулась:

– Официально? Нет, официально не сообщали! – Слово «официально» подрагивало всеми филигранями обиды.

– Мне нужно обязательно увидеть сегодня мать Сашки, – проговорил он.

– Обязательно? – переспросила она. Теперь уже «обязательно», будто искусственный алмаз, испустило лучики какой-то непонятной издевки.

«А тебе обязательно надо сейчас уйти», – подумал Борис. Он чувствовал себя едва ли не в западне. Дед почему-то не звонит. Не исключено, что сюда без звонка, по ее обыкновению, может влететь Майка.

Без малейшего промедления, только взглянув на Веру, она поймет, что здесь происходило на ковре. Между тем надо что-то делать, искать деда, ехать к Сашкиной матери, может быть, опять пробиться к Ваське, ведь все-таки Шереметьев работал тренером в ВВС... А, бред! При чем тут ВВС и все прочее? Разве непонятно, что начинается новый тридцать седьмой год, что скоро все мы окажемся в лагерях?

Он поцеловал Веру в щеку, тряхнул ее за плечи как бы по-приятельски, сказал с фальшивой дружеской интонацией:

– Давай держать связь, Вера. А пока пойдем, я провожу тебя до такси.

У Веры была роскошная лисья шуба, в которой она выглядела едва ли не величественно, словно жена какого-нибудь сталинского лауреата. На улице Горького огромный термометр со славянскими завитушками показывал минус 18оС. Светились вечно вращающийся глобус над входом в телеграф, диаграммы достижений, вывески «Сыр» и «Российские вина», озарялся лучами портрет Сталина. «Вот кого надо было бы убрать, – вдруг с полной отчетливостью подумал о Сталине Борис Градов, офицер резерва ГРУ МО СССР. – Вот этот давно уже на девять граммов напрашивается».

Они стояли на краю тротуара и ловили такси, когда из толпы вдруг вылетела Майка. В распахнутой шубейке (старенькая, но хорошенькая шубейка была ей недавно подарена теткой Нинкой), с выбившимися из-под платка щедрыми патлами, оставляя по обоим бортам столбенеющих мужчин, девчонка неслась к подъезду.

– Майка! – крикнул Борис.

Она резко затормозила, увидела Бориса и Веру и медленно пошла к ним, глаза расширены, приоткрытые губы как бы что-то бормотали.

– Майка, Майка, что ты, – забормотал Борис. – Вот познакомься, это Вера, мой старый друг. У нее большая беда, арестован муж...

– А у нас, Борька, дедушка арестован! – выкрикнула тут Майка, будто на всю Москву, и в слезах бросилась к нему на шею.

Глава четырнадцатая

Боль и обезболивание

Зачем я тогда, на том митинге, все-таки произнес эти жалкие слова о своей советской принадлежности, о нашей советской, верной идеалам научного коммунизма интеллигенции? Ведь все было ясно, я знал, на что иду, все было продумано, я сам себе подписал арест и приговор о расстреле, а самое главное, санкцию на пытки. Ничего нет страшнее этого: пытки! Они не расстрелами всех запугали, а пытками. Все население знает, или догадывается, или подозревает, или не знает, не догадывается, не подозревает, но понимает, что там, за этими дверями, больно, очень больно, невыносимо больно и снова больно. Анестезии нет. Ее уже нет, хотя человек не может не думать об анестезии. Мои фальшивые, советские слова были не чем иным, как попыткой анестезии. Дяденьки, пожалуйста, ведь я же все-таки свой, пожалуйста, не делайте мне больно, ну, хотя бы не так больно, ну, хотя бы хоть немножечко не так больно, пусть очень больно, но хотя бы уж не так невы-ы-ыносимо: ведь советский же человек, ведь верный же идеалам научного коммунизма! Вместо этого надо было сказать: «Презираю бандитскую власть! Отказываюсь от вашего научного коммунизма!» Наивная попытка в мире, где идея обезболивания отвергается как таковая. Сказано: «Претерпевший же до конца спасется». В этом, как ни странно, заключается антитеза пыткам. Боль – это мука, с другой стороны – это сигнальная система. Давая анестезию больному на операционном столе, мы отключаем его сигнальную систему: она нам не нужна, и так все ясно. Снимаем муку. Если же мука не снимается, остается только терпение, переход к другим сигналам, к святому слову. «Претерпевший же до конца спасется». Претерпеть до конца и выйти за пределы боли. То есть за пределы жизни, так ли это? Боль и жизнь не обязательно синонимы, так ли это? Уход за пределы боли не обязательно смерть, так ли это? Они мне все время грозят болью, мне, семидесятисемилетнему борцу против боли. «Или давай показания, старый хуй, жидовский хуесос, или перейдем к другим методам!» Их хари, гойевские кошмарные хари. Один только Нефедов в этой толпе – вот это самое гнусное, когда вместо одного следователя входит целая толпа ублюдков, – лишь один только этот молодой капитан сохранил в лице что-то человеческое, хотя, возможно, ему сказали: «А ты, Нефедов, сохраняй в лице как бы такую, вроде бы, ебена мать, жалость к этому жидовскому

подголоску. Мы его, бля, доведем до кондиции, а потом твоей жалостью его, как пизду, расколем!» Таков их лексикон. Очевидно, не только с подследственными, но и между собой они так говорят. Почему же не начинают свою хирургию? Может быть, ждут какого-нибудь высочайшего распоряжения? Ведь сорвалось же у Самкова: «Сам товарищ Сталин контролирует следствие!» Трудно представить, что они этим именем пугают заключенного, что это просто прием. Для большинства людей в нашей стране Сталин – это воплощение власти, а не пахан банды, это последняя инстанция, последняя надежда. Все дрожат перед ним как перед держателем скипетра, повелителем гор и морей и стад людских, но уж никак не перед человеком, который приказывает пытаться. Его именем пугать не будут. Между тем не исключаю, что именно он, сам лично, входит во все детали моих допросов, тем более что я для него не был пустым звуком в течение стольких лет и он, конечно, помнит не только нашу первую, такую благостную встречу, но и последнюю, такую неприятную. Вся эта антимедицинская истерия, без сомнения, продумана и приведена в действие именно им самим. У него, очевидно, на почве артериосклероза развивается паранойя. Ходили слухи, что еще Бехтерев в двадцать седьмом году заметил ее проявления, что и стоило ему жизни. Вполне возможно, что именно Сталин сам и приказал надеть на меня наручники. Ну, это уж слишком! Не развивается ли и у меня самого какая-то паранойя? Смешно, не правда ли, семидесятисемилетний узник в одиночке, с изощренными, впивающимися в тело наручниками на запястьях, боится, как бы у него не развилась паранойя. Эти наручники – никогда не думал, что такое существует в природе. Самое ужасное, что в них нельзя почесаться. Иными словами, ты лишен блага прикосновений кончиков собственных пальцев. Какое огромное благо, оказывается, в этих мимолетных самолечениях. Невозможность притронуться к самому себе напоминает некий самый страшный кошмар – очнуться в гробу. Наручники сконструированы большим специалистом – пытки ведь это тоже наука. Волей-неволей руки дергаются в бессмысленной попытке освободиться, почесаться. При каждой такой попытке зубчики затягиваются все теснее, кисти распухают, становятся синюшными подушками, какими-то глубоководными чудовищами. Не впадать в отчаяние. Можно впасть в истерию, ведь это тоже своего рода анестезия. Пока что повторяй, что готов претерпеть до конца, повторяй, повторяй, повторяй и в конце концов забудешь про руки. Вот, забыл про руки. Их больше нет у меня. Имеются только две попавшие в капкан глубоководные лягушки. Или черепахи, вылезшие из панцирей освежиться и тут как раз угодившие в капкан. Во всяком случае, эти

лягушки, эти черепахи не имеют ко мне никакого отношения. У меня были когда-то руки, это верно. Они неплохо поработали: оперировали, совсем неплохо оперировали, такие анастомозы накладывали, так чувствовали пациента, они также неплохо строчили пером, то есть одна из них строчила нечто почти художественное о сути боли и обезболивания, а вторая в это время постукивала пальцами по столу, как бы отсчитывая какой-то ритм, они также в свое время неплохо ласкали мою жену, ее плечи, груди, бедра, они немного и грешили, те мои руки, особенно правая, но сейчас это уже не важно; главное, что от них осталась богатая память. Их-то самих уже нет. А раз их нет, значит, ничто уже не может сжимать их стальными зубцами. Солдат, потерявший на войне руки, тоже не может почесать нос. Чем ты лучше этого солдата? Научись почесывать нос о плечо, о колено, о стенку, о спинку кровати... Сколько дней уже я забываю свои руки? Семь, десять? Самков заорал тогда: «Ну, а что ты делал, Градов, у Раппопорта в Государственном научно-контрольном институте противинфекционных препаратов имени Тарасевича?! Видишь, блядь старая, мы все знаем! Признавайся, пидор гнойный, договаривались с жидком, как фальсифицировать данные вскрытий?» Тут кто-то ему позвонил, и он пошел к выходу и, проходя мимо, страшно замахнулся как бы для убийственного удара. Конечно, этого, того, ну, который там все эти крики выслушивал, можно было убить одним таким ударом, однако этот, тот, ну, то есть я сам, почему-то даже не моргнул, глядя на замахнувшийся кулак. Остался только один Нефедов, бледный офицерик, который все строчил протокол, почти не поднимая головы. Наедине с подследственным он поднял голову и тихо сказал: «Лучше признаться, Борис Никитич. Зачем вам все это упорство? Ведь все признаются. Ну зачем вам все эти мучения? Ну давайте, я сейчас запишу, что вы состояли в заговоре с Раппопортом или, даже лучше, что Раппопорт вас втянул в заговор, и вас сразу переведут на общий режим». Тот тогда, то есть я, который там сидел словно призрак русской интеллигенции, которому спать не давали уже двадцать семь с половиной лет, в том смысле, что, кажется, более недели или сколько там прошло с того момента, когда в кабинет на кафедре госпитальной хирургии ввалились три толстяка в синих драповых пальто с каракулевыми воротниками, эдакие гнусные пудовые пальтуканы на вате, им повезло, тем трем мерзавцам, что они на Борьку не нарвались, на моего мальчика, вот этот тот, который мною был, который от дремоты даже убийственного кулака не испугался, вот этот, стряхнув мурашек с головы, сказал другому участнику спектакля, топорной драмы на двоих: «Пишите, капитан. С выдающимся ученым Яковом Львовичем Раппопортом я встречался в

институте имени Тарасевича для обсуждения вопроса о возможности медикаментозного воздействия на процессы отторжения после операций по пересадке органов. Это все, что я могу заявить в ответ на беспочвенные и дикие обвинения старшего следователя полковника Самкова». – «Какие обвинения?» – переспросил Нефедов. «Беспочвенные». – «Беспочвенные и еще какие? Тихие? Вы сказали „тихие“?» – «Нет, я сказал „дикие“. Если угодно, дикарские...» Тут сразу вошел Самков и приказал Нефедову надеть на «старого распиздяя» наручники. И Нефедов еще больше побледнел. Он пошел звать сержанта. «Сам надевай!» – заорал Самков. «Да я...» – начал было Нефедов. «Учись! – еще громче заорал Самков. – На хуя ты мне тогда тут нужен?!» Даже и в окопах Второй мировой войны, то есть второй Отечественной, подследственный не слышал такого количества мата... 1885 год. Мы едем с папой, мамой и сестренкой Дунечкой, Царствие им Небесное, на поезде в Евпаторию. Волшебное путешествие! Мальчик высовывает нос из окна и покрывается паровозной сажей. «Ты туда уже негром приедешь!» – хохочет отец. В окружающем пространстве России распространено не так уж много матерщины. Рулады, которые туда прорываются, идут из 1953 года из Лефортовской тюрьмы. «Вот какой у нас клоун!» – смеется мама. «Мы из тебя, разьебай-профессор, сейчас такого клоуна сделаем, – обещает Самков, приближая свое мясистое лицо с маленьким крестообразным шрамом над углом челюсти; довольно искусное удаление фурункула. – Ты, падла, забудешь тогда об интеллигентском достоинстве, паразит трудового народа!» Лицо приближается еще ближе. Может быть, хочет зубами вцепиться в остатки моей плоти? «Может, ты забыл своего дружка Пулково? Могу напомнить. Твой дружок уже десять лет на американских атомных бандитов работает. Ну, отвечай, вас одновременно завербовали?» Боже мой, какое счастье, впервые за столько лет, хоть и из уст идиота, пришла новость о Ле! Значит, еще жив, значит, ему удалось вырастить своего Сашу, значит – в Америке?! Где моя Мэри, почему я так мало о ней думаю? То и дело возвращается мать, вплоть до младенческих воспоминаний: большая грудь матери, средоточие мира, желанный сосок, тогда еще у меня были руки, я брал все это богатство руками. Но где же Мэри? Почему она никогда не появляется? Ведь мы с ней были двумя половинками одного целого. Она раздвигала ноги, и впускала меня к себе, и в конечном счете вздувалась, заполнялась продолжением рода, и снова раздвигала ноги, являя Китушку, Кирилку, Нинку, и потом того, не названного, мертворожденного. Чудеснейшая, фантастическая пульсация женщины. Мужчина банален, женщина – пульсирующий цветок. Вспоминай Мэри, даже если не вспоминается,

вспоминай! Так же, как ты заставил себя забыть руки, вспоминай теперь свою жену. Когда ты первый раз ее увидел и где? Ну, конечно же, тысяча восемьсот девяносто седьмой, балкон Большого зала консерватории. Она опоздала к началу моцартовского концерта. Уже играли «Eine Kleine Nachtmusik», когда по проходу прошло и обернулось на двадцатидвухлетнего студента некое юное, тончайшее, нерусское создание, которое даже и взглядом как-то страшно было повредить. Принцесса Греза! Она потом уверяла, что заметила его много раньше, чем он ее, что даже однажды шла за ним по улице в полной уверенности, что он какой-нибудь молодой поэт нового символистского направления, уж никак не предполагала медика. Итак, ты вспомнил юную Мэри: вот она скользит в говорящей толпе консерватории, вопросительно смотрит на тебя, мимо проносятся ворохи шуб, ну, подойди же, вы сближаетесь, у тебя тогда уже не было рук, во всяком случае, ничего похожего на раздутые и окаменевшие лягушки более поздней поры...

В 1897 год прорвался лязг открываемых запоров одиночной камеры Лефортовской тюрьмы, и Борис Никитич встряхнулся от полуобморочного погружения. Он понял, что самым наглým образом нарушает режим: осмелился прилечь на койку в дневное время. Сейчас надзиратель начнет орать и угрожать карцером. Вошел не самый подлый, которого Борис Никитич для того, чтобы отличить от других, называл Ионычем. Даже и орать сегодня не начал, сделал вид, что ничего не заметил. Поставил на столик миску баланды и миску каши. Тошнотворно, но желанно пахла рыбная баланда, каша же благоухала совершенством перлового зерна.

В первую неделю тюремной жизни Борис Никитич, очевидно, на почве психической анорексии, перешедшей в церебральную кахексию, испытывал отвращение к пище. Миски оставались нетронутыми, и в тюрьме решили, что Градов держит голодовку протеста. Любые формы протеста подлежали здесь немедленному подавлению. В камеру пришел какой-то толстый полковник с медицинским значком на погонах – почему-то большинство эмгэбэшников вокруг были толстыми, жопастыми и брюхастыми, настоящими свиньями – и пригрозил принудительным кормлением. Борис Никитич тогда начал опорожнять содержимое мисок в парашу, пока вдруг не понял, что симптомы кахексии уходят и он начинает снова испытывать интерес к еде.

«Ну, давай сыму». Ионыч отщелкнул замок и не без труда стащил с запястий зека воспитательные браслеты. В течение десяти минут, отведенных на прием пищи, можно было насладиться наличием рук. Борис Никитич попытался взять ложку, увы, это оказалось невозможным:

раздутые сарделины пальцев и не думали сгибаться. Придется, как в прошлый раз, пить баланду через край, а уж потом гущу подгрести всей лопатой ладони. «Да ты сначала руки-то разотри, – как неразумному ребенку сказал ему Ионыч и шепнул: – Не спеши!» Неожданное проявление человечности подействовало на Бориса Никитича едва ли не ошеломляющим образом. Он расплакался, затрясся, а Ионыч отвернулся, то ли еще более проявляя гуманизм, то ли в смущении от уже проявленного. В целом удалось провести без наручников не менее двадцати минут. Нельзя сказать, что пальцы смогли овладеть ложкой, однако кое-как держать ее, чтобы не уподобляться животным, все-таки удалось. Водружая педагогическое средство обратно, Ионыч защелкнул наручники на последнюю скобу, то есть, очевидно, в нарушение инструкции дал запястьям возможность чуть-чуть безнаказанно шевелиться. Уходя из камеры, Ионыч вдруг подмигнул заключенному толстым веком и сделал жест обеими ладонями под ухом: можешь, мол, поспать. Склоняя голову к подушке, Борис Никитич подумал, что, пожалуй, в течение всей своей семидесятисемилетней жизни никогда он такого послеобеденного блаженства не испытывал. Ровным счетом никакого плаванья во времени он во время этого сна не испытывал, одно лишь полнейшее растворение, нирвана. Сколько времени прошло, неизвестно, но проснулся он от истерического крика другого надзирателя, которого он мысленно называл Чапаем.

«Ты что, мать-твою-перемать-на-четвереньках, расположился, сучий потрох, с комфортом, еще похрапывает! Сейчас докладную на тебя подам за нарушение режима! Отправишься в карцер, блядь, будешь там в шкафу стоять, пока весь говном не выйдешь!» Борис Никитич вскочил. Вдруг весь кошмар ночей и дней его узилища, а может быть, и весь вообще кошмар Лефортовской тюрьмы за все времена сдавил его посильнее карцерного шкафа и одновременно пронзил изнутри, то есть из самой глубины кошмара, то есть из самого себя. «Убейте! – завопил он, вздымая скованные руки и просовывая свою голову между этими несуществующими или, во всяком случае, несвоими руками, как будто пытаюсь продрасть каким-то узким лазом. – Убейте, убейте, мучители, бесы!» Чапай даже отшатнулся. Взрыв обычно молчаливого, погруженного в себя «предателя родины» застал его врасплох. «Ну, че ты, че ты, распахивался-то, Градов?! – зачастил он блатной скороговоркой. – Да ладно, хер с тобой, давай-ка, давай, оттолкнешься щас за ужином и на допрос тебя сведу. Ну, хули психовать-то?»

Руки у Бориса Никитича упали. Теперь его трясла сильная дрожь.

«Неожиданно большой выброс адреналина в кровь, – подумал он. – Прорыв Чапая сквозь оболочку моего блаженного сна вызвал такую реакцию».

* * *

В следственном кабинете, по заведенному у чекистов обычаю, на него некоторое время не обращали внимания. Нефедов углубленно копался в папках, сверял что-то по какому-то толстому справочнику – само воплощение юридической деятельности. Самков сидел боком, развалясь, телефонная трубка под ухом, подавал кому-то односложные реплики, живот, обтянутый кителем, пошевеливался, словно свернувшийся клубком барсук. Наконец он повесил трубку, с улыбочкой покачал крутой башкой, пробормотал «ох, говна кусок» и только тогда уже развернулся в сторону подследственного.

– Ну что ж, Борис Никитич... – Он с удовольствием заметил, как вздернулась голова «сраного профессора» при таком необычном обращении. – Ну что ж, профессор, наше следствие переходит в другую фазу. Вы теперь остаетесь наедине с капитаном Нефедовым, а я вас покидаю.

Он с интересом и, как показалось Борису Никитичу, с каким-то напряжением уставился на свою жертву: какая последует реакция? Борис Никитич заставил себя усмехнуться:

– Что ж, была без радости любовь, разлука будет без печали.

– Взаимно! – рывкнул Самков и встал, собирая со стола какие-то нелепо распадающиеся папки. Ожесточившись от этих непослушных папок, он еще раз глянул на «жидовского подголоска» совсем уже темным, ненавидящим взглядом. – Вопросы есть?

– Есть один вопрос, – проговорил Борис Никитич. – Я все время тут у вас жду встречи с Рюминым. Почему же он не появляется?

Более сильного вопроса он, очевидно, не мог задать в этих стенах. Нефедов весь вытянулся и сжал губы, как будто ему в рот вдруг попало горячее яйцо. Самков выронил только что собранные папки, уперся кулаками в стол, весь выпятился в сторону Градова.

– Ах ты, су... Да как ты... Да как вы смеее тут провоцировать?! Забыли, где находитесь?! Можем напомнить!

Забыв про папки, он зашагал к выходу, обдав Бориса Никитича на ходу волной «Шипра» и пота. «Пошлопотный большевик», – подумал ему вслед

Борис Никитич.

Оставшись без руководящего товарища, Нефедов еще минуту смотрел на захлопнувшуюся дверь с тем же выражением лица, скрывающего во рту то ли яйцо, то ли горячую картофелину. Потом лицо все целиком активно задвигалось: картофелина прожевана.

– Ну, мы начнем с наручников, Борис Никитич, – заговорил он. – Они вам больше не нужны, правда? Зачем они вам? – говорил он как бы с некоторой шутливой укоризной.

Он приблизился к подследственному и бодро, ловко, умело отщелкнул с запястий подлые браслеты. Почти с шутливой миной двумя пальцами, словно пахучую рыбу, отнес их к столу и бросил в ящик:

– Ну, вот и все, с этим покончено. Ни мне они не нужны, ни вам, Борис Никитич, ведь правда?

– Мне они помогли, – сказал Градов. Не глядя на Нефедова, он начал по очереди растирать одной мертвой кистью другую мертвую кисть. Странное чувство испытывал он: изъята хоть и подлая, однако как бы неотъемлемая часть его личности.

– Что вы имеете в виду, профессор? – с чуткостью и интересом спросил следователь. Он весь представлял собой теперь, когда следствие целиком перешло в его руки, некое воплощение чуткости, интереса, корректности и даже как бы некоторой симпатии. «Работают по последнему примитиву, – подумал Борис Никитич. – Сначала кнут – Самков, потом пряник – Нефедов».

– Вам этого не понять, гражданин следователь. Вам же не приходилось жить в этих браслетах.

«Кажется, это я уже слишком, – подумал Градов. – Сейчас и этот начнет орать». На бледном лице капитана, однако, не появилось ничего, кроме мимолетного ужаса.

– Ну хорошо, Борис Никитич, забудем об этом. Давайте всерьез вернемся к... к нашему разбирательству. Прежде всего, я вам хотел сообщить, что некоторые вопросы сейчас сняты. Например, вопрос о конспирации с Раппопортом снят. – Нефедов внимательно подождал реакции на это сообщение. Борис Никитич пожал плечами. – Отменяются также ваши очные ставки с Вовси и Виноградовым...

– Они живы? – спросил Градов.

– Живы, живы, чего же им не жить, – торопливо ответил Нефедов. – Просто очные ставки отменяются, вот и все.

«Видимо, ждет, что я спрошу почему, – подумал Борис Никитич, – и тогда он мне скажет, что уж вот это-то не моего ума дело». Нефедов между

тем горестно вздохнул над бумагами и даже почесал себе макушку.

– Однако появляются и некоторые новые вопросы, профессор. Вот, например: чем все-таки было мотивировано ваше выступление на митинге в Первом МОЛМИ? Отчаянным призывом к единомышленникам? Были у вас в зале единомышленники, профессор?

– Конечно, были, – ответил Градов. – Уверен, что все мыслили так же, только говорили наоборот.

– Ну, это уж вы зря, Борис Никитич, – как бы слегка надулся Нефедов. – Что же, все у нас такие неискренние, что ли? Я не согласен. Но все-таки скажите, что вас подвигло на этот поступок? Бросить вызов правительству, это ведь не шутка!

– Я хотел подвести черту, – совсем спокойно, как бы даже не обращая внимания на следователя, сказал Градов.

– Подвести черту? – переспросил Нефедов. – Под чем же?

– Вам этого не понять, – сказал Градов.

Нефедов вдруг несказанно обиделся:

– Да почему же мне этого не понять, профессор? Почему же вы во мне априорно видите примитива? Я, между прочим, окончил юридический факультет МГУ, заочно. Всю классику прочел. Спросите меня что-нибудь из Пушкина, из Толстого, немедленно отвечу. Я даже Достоевского читаю, хоть его и в реакционеры записали, а я вот читаю и думаю, что это полезно, потому что помогает нам лучше понять психологию преступника!

– Чью психологию? – переспросил Градов.

– Психологию преступника, профессор. Ну, мы следователи, юристы, нам ведь нужно понимать преступников.

– И в этом вам Достоевский помогает, гражданин следователь? – Теперь уже Градов вглядывался в черты Нефедова.

Заметив это, последний весьма заметно порозовел и помрачнел.

– Ага, ну-ну, я понимаю, что вы имеете в виду, профессор. И на этот раз понимаю, можете не сомневаться.

– Это очень хорошо, – сказал Градов.

– Что хорошо? – удивился все с той же застывшей обидой на лице Нефедов.

– То, что вы все понимаете. Однако, говоря о подведении черты, я вовсе не имел в виду ваш уровень, гражданин следователь, а просто долго рассказывать, гражданин следователь, и к следствию это ни с какого угла не имеет никакого отношения.

– Вот вы меня все время, Борис Никитич, гражданином следователем называете, то есть формально, а почему не перейти на Николая

Семеновича, а? Или даже на Николая, а? Ведь я вам даже отчасти и не чужой, – говоря это, Нефедов быстро стащил с лица свою обиду и натянул вместо нее некое лукавство, добродушную усмешечку.

– Что это значит? – поразился Градов. И Нефедов, следовательно, тогда сделал ему, подследственному, удивительное признание.

Оказалось, что он является не кем иным, как сыном хорошо знакомого градовскому семейству Семена Савельевича Стройло. Вот именно, подлинное фамилие (почему-то всегда употреблялся средний род по отношению к фамилии) Стройло было Нефедов, а Стройло – это, так сказать, революционное фамилие, ну, в том смысле, по моде тех лет, что строительство социализма. Папа был большой энтузиаст, кристальный коммунист, вы, конечно, помните. Николаю Семеновичу на данный момент исполнилось двадцать девять лет, то есть он был первенцем Семена Савельевича и его супруги Клавдии Васильевны, то есть, когда у папы и тети Нины возникли романтические революционные отношения, Коле уже было годика два. Ну, естественно, тетя Нина не знала о существовании Нефедовых в связи с большим разрывом культурного уровня. То есть папа был для тети Нины как бы холостым юношей, хотя к тому времени уже и сестренка родилась, Пальмира. Папа потом вернулся в семью, но нередко тетю Нину вспоминал с большой душевной мукой. В общем, еще с детства Николай не только знал семейство Градовых, но был как бы вовлечен в какие-то с ним отношения. Даже ездили в Серебряный Бор и прогуливались с папой вокруг вашего дома, Борис Никитич. Ну, зачем так вздрагивать? Ведь это же все было такое человеческое, романтическое, страдания большого гордого человека. Николай отца никогда не осуждал. Большому кораблю большое плаванье. Вот вы удивляетесь, профессор, что я вашу дочь называю тетей Ниной, а как же мне еще ее называть, если о ней столько говорили в моем детстве и отрочестве? Пусть по-разному говорили, но все ж таки она для меня стала почти как родственница. Всегда с большим вниманием следил за ее поэтическими успехами, а «Тучи в голубом», можно сказать, стали песней юности. В училище все ее пели, даже иногда и неприличные варианты придумывали: ну, молодежь...

В тридцатых годах Семен Савельевич Стройло, конечно, покинул Нефедовых, поскольку шел большой, можно даже сказать, головокружительный его рост в иерархии комиссариата. Да, в иерархии комиссариата. Однако заботы о семье он никогда не оставлял и, в частности, о Николае, которого в разгар войны прямо за руку привел в училище госбезопасности, за что, конечно, нельзя не испытывать к нему чувства большой благодарности. Так уж распорядилась судьба, Борис

Никитич, то есть внешние исторические обстоятельства, что никаких других чувств, кроме положительных, Николай Нефедов к своему родителю никогда не питал. Эти чувства у него, конечно, еще более гипертрофировались в связи с героической гибелью отца в самом конце войны. Обстоятельства гибели никогда публично не освещались, однако в кругах разведки было известно, что генерал Стройло как лицо наиболее приближенное к маршалу Градову, вот именно, разделил судьбу командующего Резервным фронтом в одних и тех же, простите, до сих пор волнуясь, обстоятельствах. Ну, вы же по-человечески должны понимать, Борис Никитич, что это еще больше, как-то вдохновенчески, приблизило меня к вашему семейству...

– Как приблизило? Вдохновенчески, вы сказали? – переспросил Градов. Он смотрел на бледное, плоское лицо молодого следователя, и ему казалось, что он и на самом деле видит в нем черты Семена Стройло, которого он только однажды в своей жизни и успел рассмотреть, кажется, осенью 1925 года, ну да, в день рождения Мэри, во время дурацкого представления «Синих блуз».

– Ну, я хотел сказать, что хоть и не идеалистически, но как-то все-таки духовно, – пробормотал Нефедов.

– То есть вы как бы стали нашим родственником, гражданин следователь, не так ли? – сказал Градов.

– Не надо яду, профессор! Не надо яду! – с каким-то даже как бы страданием, едва ли не по-шекспировски, вроде бы даже взмолился следователь, как будто он давно уже не исключал возможности «яда» со стороны подследственного, и вот его худшие ожидания оправдались.

«Любопытный сын вырос у того „пролетарского богатыря“, – подумал Борис Никитич. – Может и папашу перещеголять». Руки между тем возвращались к жизни. Ситуация становилась все более двусмысленной. Нефедов вроде бы вспомнил, что не ему тут полагается откровенничать, а наоборот, и задал вопрос:

– Итак, вы не отрицаете, Градов, что в зале находились ваши единомышленники?

Однако, не дождавшись ответа, посмотрел на часы и сказал, что Борису Никитичу сейчас предстоит проделать небольшое путешествие. «А вдруг отпускают, – метнулась мысль, – вдруг Сталин приказал меня освободить». Он сделал усилие, чтобы не выдать этой безумной надежды, однако что-то, видимо, по лицу проскользнуло – Нефедов слегка усмехнулся. «С тем же успехом, вернее, с гораздо большим, в тысячу раз более вероятным успехом могут и в подвал отправить, под пулю. Что ж, я

готов, как племянник Валентин, по слухам, в тысяча девятьсот девятнадцатом году в Харькове рвануть на груди рубашку и крикнуть перед смертью: „Долой красную бесовщину!“ – однако я не сделаю этого, потому что мне не двадцать один год, как было племяннику Валентину, а семьдесят семь, и я уже не могу, как он, швырнуть им в лицо такой вызов в виде всей будущей жизни, и я молча паду под ударом».

Через час Бориса Никитича высадили из воронка прямо перед входом в длинный, совершенно безликий коридор, однако ему по каким-то самому непонятным приметам показалось, что стража тут лубянская, в том смысле, что не лефортовская. На этом его тюремный опыт заканчивался: после ареста привезли на Лубянку, потом отправили в Лефортово.

– Куда меня привезли? – спросил он сержанта, препровождавшего его в бокс, то есть в одиночный шкаф ожидания.

– В приличное место, – усмехнулся пухлый и белесый от подземной жизни сержант.

Камера, в которую он попал после бокса, также напомнила ему первую, лубянскую, камеру. Здесь все было как-то чуть-чуть получше, чем в Лефортовской следственной тюрьме МГБ: умывальник, кусок мыла, одеяло...

Приличное место, думал Борис Никитич, положив перед собой на стол возвращающиеся руки. Я нахожусь в приличном месте в самом центре приличного города Москвы, где все это прожил, где все это промелькнуло, словно в фильме о Штраусе, что начинается его рождением и кончается смертью, и все укладывается в два часа, в этой приличной стране, от которой я не считал возможным тогда оторваться, в такой приличный момент истории. «Где будет труп, там соберутся орлы». Давайте будем оплакивать родину в момент ее высшей несокрушимости. Кто-то на Западе сказал, что патриотизм – это прибежище негодяев, однако тех, кого этот западник имел в виду, возможно, нельзя назвать патриотами, потому что они не вдумываются в корень слова, но лишь славят могущество. Говоря «отечество», далеко не каждый думает об отцах, то есть о мертвых. Забыв об отцах здесь, в России, мы из отчества сделали Молоха, закрылись от вечности, от Бога, прельщенные лжехристами и лжепророками, что предлагают нам ежедневно и ежечасно вместо истин свои подделки. В чем смысл этой чудовищной имитации, что выпала на долю России? Сколько ни ищи, другого ответа не найдешь: смысл имитации – в самой имитации. Все подменено, оригиналов не найдешь. Позитив обернулся негативом. Космос смотрит на нас с темной ухмылкой. И все-таки: «Претерпевший же до конца спасется». К чему еще мы можем прийти в результате всего этого

нашего дарвинизма?

* * *

Через несколько дней утром у Бориса Никитича во рту сломался и просыпался кусочками в миску весь нижний мост. Случилось то, чего он так опасался, когда Самков махал возле его лица кулаками. Вдруг ударит по челюсти и разрушит давно уже ненадежное стоматологическое сооружение. Тогда я сразу же впаду в дряхлость, думал он. Меня тогда даже не расстреляют. Просто выбросят догнивать на помойку. И вот мост развалился, когда прекратились уже и угрозы кулаками, и попытка наручниками. Просто ни с того ни с сего развалился на кусочки. Дурно пахнущие, ослизненные, пожелтевшие кусочки. Опускай их в парашу, пусть циркулируют по вонючим потрохам Лубянки, там им и место. Почти немедленно на небе обнаружилась серьезная трофическая язва. Распад идет довольно быстрыми темпами, если к этому еще присоединить непрекращающуюся диспепсию, сильный зуд по всему телу, сыпь с коростой. Он теперь почти не мог говорить с достаточной для коммуникации ясностью. Впрочем, это уже и не требовалось. Допросы почти прекратились. Нефедова он видел теперь не чаще двух раз в неделю, да и то, очевидно, только для формы. Во время этих коротких, не более пятнадцати минут, встреч «почти родственник», по сути дела, не задавал никаких вопросов, а только лишь возился в бумагах, изредка поднимая на Бориса Никитича какой-то странно тревожный и как бы вопросительный взгляд; эдакий сталинский вариант «человека из подполья». Борису Никитичу, который еще несколько дней назад с некоторой гадливостью думал о причастности следователя к своей семье, теперь уже было все равно. О чем ты спрашиваешь, человек, своим взглядом? Нет у меня никаких ответов, человеке.

Однажды в кабинете Нефедова оказались двое посторонних, носители больших ватных грудей с орденскими планками. Все три офицера с большой торжественностью встали, и старший по званию зачитал Борису Никитичу некоторый документ:

«В соответствии со статьей пункта 5 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР следствие по делу Градова Бориса Никитича прекращено. Градов Борис Никитич из-под стражи освобожден с полной реабилитацией. Начальник отдела МВД СССР А.Кузнецов».

По прочтении документа все трое направились к нему с протянутыми

руками. Он аккуратно пожал все три руки. Справка была вручена, как хорошая правительственная награда.

– Куда прикажете двигаться? – любопытствовал Борис Никитич.

– На курорт, на курорт отправляйтесь, профессор, – заколыхались ватные груди. – Справедливость восстановлена, теперь самое время в Мацесту, на курорт!

– Теперь куда прикажете двигаться? – снова любопытствовал Градов.

– Теперь о вас капитан Нефедов позаботится, профессор, а мы вам от лица руководства министерства и от правительства Советского Союза выражаем самые лучшие пожелания совместно с восстановлением вашего драгоценного для родины здоровья.

«Кричат, как будто я глухой, а между тем слух пока еще совсем не затронут распадом», – подумал Градов.

Большие чины покинули кабинет, а Нефедов, сияя своей бледностью, принялся вручать профессору отобранные после его ареста во время обыска в Серебряном Бору сертификаты личности: паспорт и разные дипломы, профессорский, академический, военный билет... Явилась сержантская челядь с личными вещами, в частности, с великолепной, 1913 года, из английского магазина на Кузнецком мосту, шубой, которая, просуществовав сорок лет, не проявляла никаких признаков распада. Последним, на цыпочках, подлетел запыхавшийся пухлый страж с довольно тяжелым пакетом. Заглянув в пакет, Борис Никитич обнаружил там своего рода пещеру Алладина: золотом, серебром и драгоценной эмалью светящиеся свои правительственные награды.

– Теперь куда прикажете двигаться? – спросил он, держа в руках этот пакет.

– Сейчас мы в приемную спустимся, Борис Никитич! – возбужденно объявил Нефедов. – Там вас некоторые родственники дожидаются. Мы, конечно, могли бы и сами вас доставить с полным комфортом на дачу, однако они проявили очень сильное желание, в частности, ваш внук, Борис Никитич, которому я бы все-таки посоветовал проявлять сдержанность по отношению к органам.

Капитан Нефедов возглавил процессию. За ним двигался профессор Градов, стражи с личными вещами шли позади, словно африканские носильщики. На повороте коридора Борис Никитич опустил в урну пакет со своими наградами.

В этом месте, уважаемый читатель, автор, который – вы не будете этого отрицать – столь долго держался в тени по законам эпической полифонии, позволит себе небольшой произвол. Дело в том, что ему какими-то мало еще изученными ходами романной ситуации пришла в голову идея рассказать короткую историю этого пакета с высокими наградами. Случилось так, что после освобождения Б.Н.Градова пакет был найден в урне ночным уборщиком штаб-квартиры органов безопасности старшиной Д.И.Гражданским. Весьма далекий от идейной цельности человек, старшина Гражданский решил, что теперь старость его обеспечена: как и многие другие советские граждане, он был уверен, что высшие ордена СССР производятся из самых драгоценных в мире сплавов. Будучи не очень сообразительным, старшина Гражданский не продумал до конца механику превращения драгоценностей в расхожие денежные знаки и поэтому умер в бедности. Идея, однако, пережила своего создателя. В 1991 году внучатый племянник Гражданского, известный на Арбате бизнесмен Миша-Галоша продал весь комплект американскому туристу за триста долларов и остался чрезвычайно доволен сделкой.

Борис Никитич медленно, но вполне устойчиво спускался по последнему маршу лестницы в приемную. Прямо за его спиной высился большой портрет Сталина в траурных драпьях. Проходя мимо портрета, он его не заметил и теперь, разумеется, меньше всего думал о том, что его спуск по этой лестнице может выглядеть символически. Совсем забыв, что его здесь ждут «некоторые родственники», он думал о том, как предупредить Мэри и Агашу. Они не выдержат, если я вот просто так войду в дом, они просто умрут от неожиданности. Забыв про телефоны и автомобили, он думал, что вот, спускаясь так по лестнице, он в конце концов и войдет в свой дом. Он спускался все ниже, а капитан Нефедов между тем отставал. С каждой ступенькой профессор Градов отдалялся от капитана Нефедова, который в конце концов застыл в середине марша, с рукой на перилах, глядя на спуск старика.

– Дед! – прогремел вдруг по всему пространству сильный молодой голос. И тут наконец Борис Никитич увидел своих, несущихся к нему внука Борьку и трех девчонок – Нинку, Ёлку и Майку. Капитану Нефедову хотелось разрыдаться от компота чувств, в котором все-таки преобладала обида.

Антракт VII. Пресса

«Тайм»

Иосифа Сталина в конце концов постигла общая участь всех людей.

Генри Хэзлит: «Смерть Иосифа Сталина открывает огромные возможности, сравнимые лишь с теми, что возникли после смерти монгольского хана Огдая в 1241 году».

Наследником Сталина стал жирный и дряблый Георгий Маленков, 51 год, по происхождению уральский казак, рост 5 футов 7 дюймов, вес 250 фунтов. Женат на актрисе, имеет двоих детей.

Следующий за ним – Лаврентий Берия, 53, грузин, как и сам Сталин, шеф тайной полиции и проекта красной атомной бомбы, спокойный, методичный, любит искусство и музыку; может быть и сговорчивым, и беспощадным. Женат, двое детей, живет на загородной даче, ездит на пуленепробиваемом черном «паккарде», похожем на катафалк. Старый друг Маленкова. Никогда не был за границей.

В окне манхэттенского русского ресторана появился портрет Сталина с надписью: «Сталин умер! Сегодня бесплатный борщ!»

«Правда», начало марта 1953 г.

Имя Сталина – мир!

Имя Сталина – жизнь и борьба!

Его светлое имя – народов советских судьба!

О, Литва моя!

С именем Сталина ты расцвела!

Ты в борьбе и строительстве счастье нашла!

Антанас Венцлова

Торжественно-строгое, терпеливое ожидание... Распахнулись двери Дома союзов, и живая река потекла плавно, молчаливо... Прощание великого народа с великим вождем.

А.Сурков

И наш железный Сталинский Цека,

*Которому народ Вы поручили,
К победе коммунизма на века
Нас поведет вперед – как Вы учили!
К.Симонов*

*В этот час величайшей печали
Я тех слов не найду,
Чтоб они до конца выражали
Всенародную нашу беду.
Всенародную нашу потерю,
О которой мы плачем сейчас.
Но я в мудрую партию верю —
В ней опора для нас!
А.Твардовский*

Да живет и побеждает дело Сталина!
А.Фадеев

«Тайм»

МНЕНИЯ О СТАЛИНЕ

Бизнесмен Доналд Нельсон, занимавшийся ленд-лизом: «Нормальный малый, вполне вообще-то дружелюбный малый».

Леонид Серебряков: «Самый мстительный человек на земле. Если проживет достаточно долго, до каждого из нас доберется».

Посол Джозеф Дэвис: «Его карие глаза были более чем мягкими и нежными. Любой ребенок захотел бы покачаться у него на колене».

Биограф Борис Суворин: «Отвратительная личность; хитрый, вероломный, грубый, жестокий, непоколебимый».

Адмирал Уильям Лихи: «Мы все думали, что это атаман бандитов, пробравшийся на вершину власти. Это мнение было неверным. Мы сразу

поняли, что имеем дело с интеллигентом высшей пробы».

Уинстон Черчилль: «Сталин оставил во мне впечатление глубокой холодной мудрости и отсутствия иллюзий».

Рузвельт: «В общем, очень впечатляюще, я бы сказал».

Троцкий: «Самая выдающаяся посредственность в Партии...»

Мать Сталина: «Сосо всегда был хорошим мальчиком».

ЗАГОЛОВКИ СОВЕТСКИХ ГАЗЕТ

*Родной, Бессмертный!
Бодр наш дух, непоколебима уверенность!
Творец колхозного строя
Гениальный полководец
Будет жить в веках
Китай и СССР сплотятся еще теснее!
Сталин – освободитель народов
Партия
родная держит
знамя,
Ей вручаем
мысли
и сердца.
Сталин умер —
Сталин
вечно с нами!
Сталин – жизнь,
а жизни
нет конца!
Н.Грибачев*

Прощай, отец!
М.Шолохов

*Мы стоим – пусть слезы наши льются!
И сегодня, как всегда, сильны
Дети Партии, солдаты Революции,
Сталина великие сыны.
А.Софронов*

ЗАГОЛОВКИ

*Сталинская забота о советских женщинах
Корифей науки
Великое прощание
Клятва трудящихся Киргизии
Скорбь латышского народа
...Что умер он. Земля осиротела,
Народ лишился друга и отца.
И мы клянемся Партии сегодня.
М.Исаковский*

«Тайм»

Сталинская империя занимала одну четвертую часть земной суши, насчитывала одну треть земного населения.

Британский лейборист Герберт Моррисон: «Он был великий, но нехороший человек».

Премьер-министр Индии Неру: «Человек гигантского статуса и непоколебимой отваги. Я искренне надеюсь, что с его кончиной не прекратится его влияние на дело мира».

Американские «джи-ай» в корейских окопах: «Джо загнулся! Ура! Ура! Еще одним краснопузым меньше!»

Художник Пабло Пикассо как коммунист-доброволец своими голубками внес хороший вклад в дело партии. Две недели назад партия заказала ему портрет Сталина. Вскоре этот портрет на три колонки

появился в мемориальном выпуске «Ле лэтр франсэз». Лондонская «Дейли мейл» начала тут издеваться: «Обратите внимание на большие, плавающие глаза, пряди волос, как бы забранные в парикмахерскую сеточку, жеманно скрытую улыбку Моны Лизы; да это просто женский портрет с усами!» Через два дня секретариат партии выразил категорическое неудовлетворение портретом. Член ЦК товарищ Арагон, в прошлом поэт, получил выговор за публикацию этого портрета. Пикассо сказал: «Я выразил то, что чувствовал. Очевидно, это не понравилось. Tant pis. Жаль».

ЗАГОЛОВКИ СЕРЕДИНЫ МАРТА

*Животворящий гений
Бессмертие
Сталин – наше знамя!
Величайшая дружба с Китаем
Клятва трудящихся Индии
Дело Сталина в верных руках
Скорбь простых людей Америки
Стальное единство
Сталин о повышении колхозной собственности
до уровня общенародной собственности
как условия перехода к коммунизму
Всеобъемлющий гений
И как ему,
верны мы партии любимой,
Центральный комитет,
тебе
мы верим, как ему!
М.Луконин*

*Обливается сердце кровью.
Наш родимый! Наш дорогой!
Обхватив твое изголовье,
Плачет Родина над тобой...
О.Берггольц*

*Поклялись мы перед Мавзолеем
В скорбные минуты, в час прощанья,
Поклялись, что превратить сумеем Силу скорби в силу созиданья.
В.Инбер*

ЗАГОЛОВКИ

Сталин учил нас быть бдительными
Мудрый друг искусства
Творец новой цивилизации
Коммунистическая партия – вождь советского народа

Последний заголовок остановил стихотворные излияния скорби, да и прозаические тексты в конце марта изменились:

Киев растет и хорошеет
Хлопковые поля Узбекистана
Улучшать идейно-воспитательную работу
Полностью использовать резервы производства
Неотложные задачи орошаемого земледелия
О некоторых вопросах повышения урожайности
в нечерноземной полосе

Эпилог

Жарким сверкающим днем в начале июня Борис Никитич III Градов сидел в своем саду и наслаждался бытием. Ярчайшая манифестация природы, ничего не скажешь! Как хороши все-таки в России эти ежегодные метаморфозы! Еще недавно безнадежно скованная снегом земля преподносит чудесные калейдоскопы красок, небо удивляет глубиной и голубизной, бризы, пробегая меж сосен, приносят запахи прогретого леса, смешивают их с ароматами сада. Весь этот праздник можно было бы без труда назвать «лирическим отступлением», если бы он не пришелся на эпилог.

После освобождения Борису Никитичу первым делом сделали нижние зубы, и он теперь то и дело, по выражению внука Бориса IV, вспыхивал голливудской улыбкой. Пришли большие деньги за переиздания учебников и капитального труда «Боль и обезболивание». Увеличившееся семейство ходило вокруг со счастливыми придыханиями, величало героем и титаном современности; последнее, разумеется, было плодом Борькиной любовной иронии. Что касается мелкодетья (последнее словечко являлось плодом уже самого героя и титана), то оно, то есть Никитушка и Архи-Медушка, буквально устраивали на него засады, чтобы, напав внезапно, зацапать и зализать. Жизнь, словом, улыбалась старому доктору в эти майские и июньские, такие яркие дни, она даже предлагала ему нечто недоступное другим, а именно: некое льющееся переливами темно-оранжевое облако, которое с застенчивой подвижностью располагалось сейчас шагах в тридцати от кресла Бориса Никитича, возле куста сирени, и колыхалось, как бы предполагая за собой некоторую суету актеров, смущенных какой-то неувязкой.

Борис Никитич, отложив «Войну и мир», открытую на сцене охоты, с интересом наблюдал за колыханием этого, казалось бы, одушевленного или жаждущего одушевиться облака-занавеса. Оно, казалось, хотело приблизиться к нему и уже вроде бы отделялось от куста сирени, однако потом в смущении и крайней застенчивости ретировалось.

Между тем все семейство с благоговением передвигалось и развлекалось на периферии сада. Мэри подстригала свои розы и обихаживала тюльпаны. Агаша на террасе сооружала грандиозный салат «Примавера». Нинка сидела в беседке со своей портативкой, строчила что-то явно «непроходимое», если судить по тому, как была зажата сигарета в

углу саркастического, но все еще яркого рта. Муж ее Сандро в темных очках стоял в углу сада. Ноздри его трепетали в унисон с трепещущими пальцами. Ухудшившееся зрение как бы компенсировалось обострившимися обонянием и осязанием. Китушка и Архи-Медушка безостановочно – что за энергия – носились по дорожкам то с мячом, то с обручем, то просто друг с другом. Борис IV почти в той же позе, что и дед, только более горизонтальной, лежал в шезлонге с книгой Достоевского: это был «Игрок». Еще два прелестнейших игрока, Ёлка и Майка, резались в пинг-понг. Темно-оранжевое облако-занавес, меланхолично отдалившись, уже как бы готовилось пересечь забор и отойти к соснам.

Не хватало здесь только тех, кто был далеко, Кирюшки и Цили, ну и, конечно, множества тех из человеческого большинства – отца, мамы, сестры, того мертворожденного крошки, маршала Никиты, Галактиона, Мити... Как, значит, Митя все-таки там? Ну, конечно же, проколыхалось облако-занавес. Теперь оно уже оказалось на полпути от куста сирени до кресла Бориса Никитича, стояло в нерешительной и выжидательной позе: ну, пригласи!

Вместо приглашения он перевел взгляд на тоненькую, соломенно-васильковым вихрем налетающую на мячик Майку, недавно, ему в подарок, ставшую из Стрепетовой Градовой. В этот момент ему стало совершенно ясно, что в ней уже растет его семя. А где же наше облако? Ах, оно опять ушло в сосны и там как бы затерялось, как бы давая понять, что оно собой представляет не что иное, как игру теней и света. Все вокруг находилось в состоянии игры друг с другом, как в хорошо отлаженном симфоническом оркестре. Корневая, то есть закрепленная за землей, природа гармонично предоставляла свои стволы, ветви и листья временно отделившимся от земли частичкам природы, всяким там бйлкам, скворцам, стрекозам. В траве недалеко от своей сандалии Борис Никитич увидел большого и великолепного ярко-черного жука-рогача. Отлично бронированный, на тонких чешуйчатых, но непримиримо стойких ножках, он открывал свои челюсти, превращая их в щупальца. Эге, милый мой, подумал про жука Борис Никитич, увеличить тебя в достаточной степени, и ты превратишься в настоящего Джаггернаута. Облако-занавес в этот момент быстро явилось, прошло сквозь куст сирени, окружило собой Бориса Никитича и тут же вместе с ним растворилось, как бы не желая присутствовать при переполохе, который начнется, когда обнаружат неподвижное тело. Сталин между тем в виде великолепного жука-рогача, отсвечивая сложенными на спине латами, пополз куда-то в сверкающей траве. Он ни хера не помнил и ни хера не понимал.

19 апреля 1992 г.

Москва – Вашингтон – Гваделупа – Вашингтон

notes

1

Дословно: уже виденное (фр.).

2

Провокационный вопрос (англ.).

3

Извините, сэр, вы случайно не говорите по-английски? (англ.)

4

Да (англ.).

Не будете ли вы так добры, сэр, уделить мне несколько минут? Я американский журналист (англ.).

Показательные процессы (англ.).

Загородный дом (англ.).

Прошу прощения, мадам, за подобные неудобства (англ.).

Вы говорите по-французски, мадам (фр.)?

10

Нина, где вы?! Ответьте, пожалуйста! Ответьте же (фр.)!

Нина, Нина. Интересная личность, не так ли? Попытаться найти ее? Нина... О, я забыл ее фамилию... Нина... Как дальше (англ.)?

Тринитротолуол.

Какая чудная мелодия (англ.)!

О да! Мы здесь завсегдатаи! В кремлевском дансинге! О нет, полковник, я шучу! Я здесь впервые, совершенно впервые. Первый кремлевский бал, ха-ха (англ.)!

От англ. Philosophy Doctor. Здесь: докторская диссертация.

Верховное главнокомандование (нем.).

Воинская почестъ (лат.).

Здесь: верхушка, шишки (амер. воен. жаргон).

«Вознесение», буквально: «отправляющая на небеса» – карательная команда (нем.).

Тех, кто что-либо собой представляет (англ.).

Здесь: если не ошибаюсь (англ.)?